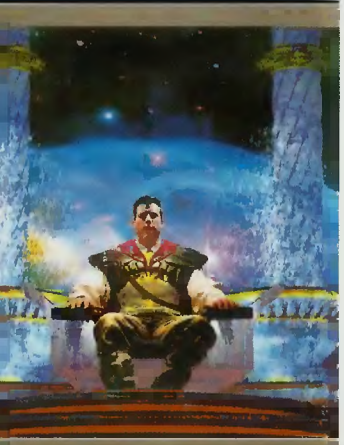
ЮРИЙ БРАЙДЕР
НИКОЛАЙ ЧАДОВИЧ



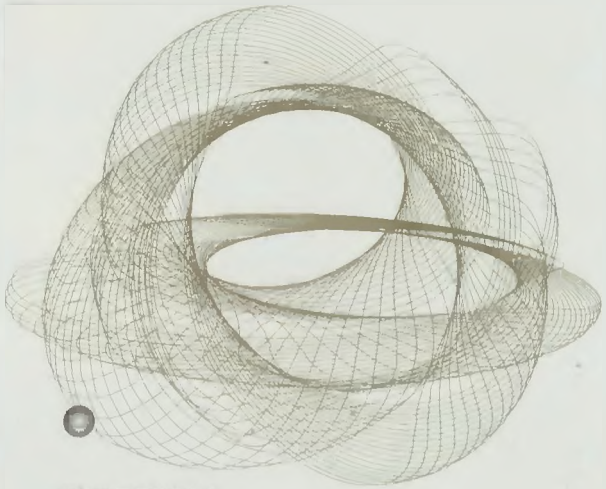
Спасем человечество в предельно сжатые сроки!

ОХОТА НА МИНОТАВРА

ЭКСМО

ЮРИЙ БРАЙДЕР

НИКОЛАЙ ЧАДОВИЧ



ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ОХОТА НА МИНОТАВРА

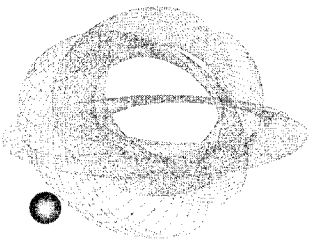
Трилогия об Олеге Наметкине



ЮРИЙ
БРАЙДЕР
НИКОЛАЙ
ЧАДОВИЧ

ОХОТА НА МИНОТАВРА





ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ЮРИЙ БРАЙДЕР
НИКОЛАЙ ЧАДОВИЧ

ОХОТА НА МИНОТАВРА

Трилогия об Олеге Наметкине

ГВОЗДЬ В БАШКЕ

ВРАГ ЗА ГИМАЛАЯМИ

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО...

ЭКСМО
Москва
2005

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б 87

Оформление серии художника *Е. Савченко*

Серия основана в 2003 году

Брайдер Ю. М., Чадович Н. Т.

Б 87 Охота на Минотавра. Трилогия об Олеге Наметкине. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 960 с. — (Шедевры отечественной фантастики).

ISBN 5-699-12386-5

Олег Наметкин, ставший жертвой терроризма и собственного добросердечия, за мгновение превратился из здорового молодого парня в беспомощного инвалида, навсегда прикованного к постели. Однако в качестве компенсации за мучения он приобрел удивительный дар: теперь его душа может, покидая на время бренную оболочку, путешествовать по ментальному и временному пространству. Но игры со Временем очень опасны: одна из вылазок «душеходца» Наметкина в глубокое прошлое заканчивается катастрофическими последствиями для всего человечества...

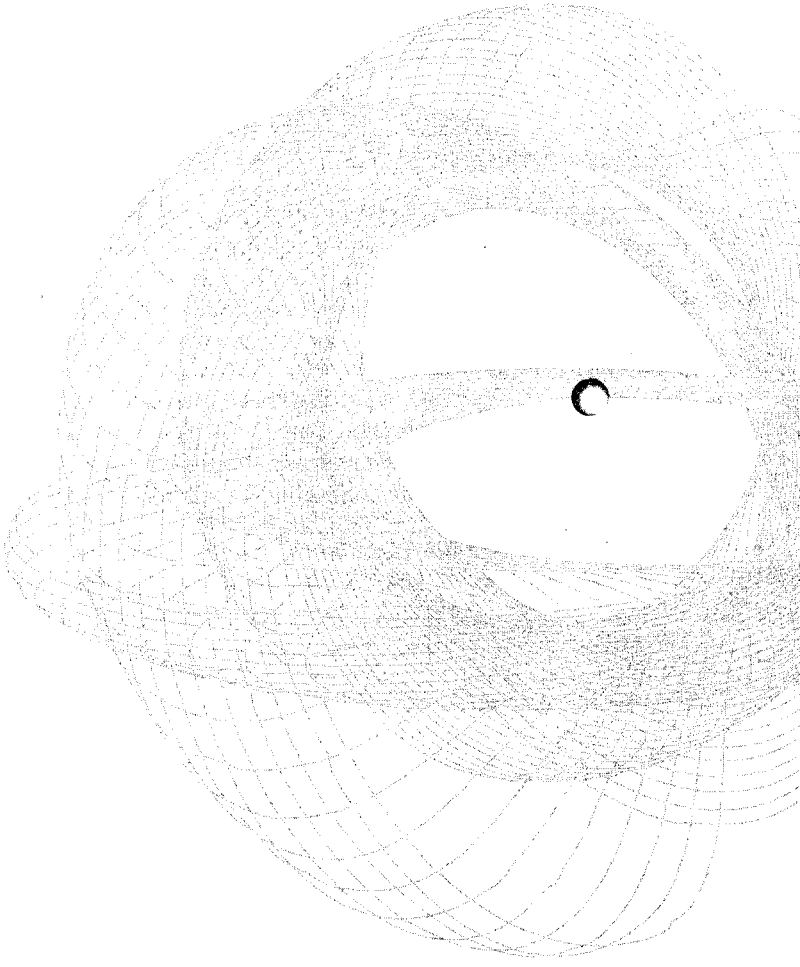
УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-12386-5

© Брайдер Ю. М., Чадович Н. Т., 2005
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2005

ГВОЗДЬ В БАШКЕ

РОМАН



ПРОЛОГ

ТЕСЕЙ ЭГЕИД, АФИНЯНИН

О, благословенный Крит, отец ста городов (в чем местные патриоты от географии, конечно, привирают, но пусть им будет судьей сам царь Минос, известный беспристрастностью не только на земле, но и в Аиде), остров кедров и кипарисов, изобильных виноградников и тучных пашен, центр цивилизованной Ойкумены (дряхлеющий Египет и младую Грецию можно вынести за скобки), край действительно богатый и многолюдный, в сравнении с которым другие страны кажутся дикой пустыней!..

Правда, здешний народ, избалованный достатком и покоем, имеет пристрастие к праздности. Недаром ведь для благоустройства столицы пришлось приглашать зодчих со стороны.

Да и нравы у островитян весьма вольные. Вино они употребляют с самого утра, а нужду справляют там, где приспичило. Что поделаешь, местные боги не воспрещают этого. Неспроста, наверное, впоследствии их сменяют другие боги, не приветствующие винопития и весьма скрупулезно регламентирующие процесс отправления естественных надобностей.

Известны критяне и своей чувственностью (выразиться более откровенно, пусть и грубо, мешает мой статус гостя). Не зря же к этим берегам прибило пену (а по сути дела, семя злодейски оскопленного Урана), из которой родилась фиалковенчанная Афродита, богиня любовной страсти и покровительница блудниц. Да и где в другом месте вы найдете царицу, сожительствующую с быком?

Не только из гавани, но и с любой точки кносской равнины хорошо видна конечная цель моего путешествия — Лабиринт, огромный храм-дворец, посвященный лабрис, обоюдоострой секире.

Мне до сих пор неизвестно — по-прежнему ли там царствует Минос или власть перешла к свирепому выродку Астерию, называемому также Тавром. По крайней мере ни тот ни другой на людях давно не появлялись. Опасаются, наверное, разделить участь Андрогея, еще одного члена этой зловещей семейки, погибшего

в Аттике при весьма загадочных обстоятельствах (тот еще был типчик — ничего хорошего о нем не могут сказать даже те, кто не одобряет этого убийства).

Ничего нового не слышно и про Ариадну. Девица в возрасте. Ей бы давно пора свою семью завести, а не скрываться в гинекее отцовского дворца. Впрочем, по слухам, какой-то знатный сердцеед уже соблазнил гордую дочь Миноса. При расставании он одарил Ариадну венцом необыкновенной красоты, который с тех пор она носит, не снимая.

Ариадна единственная, кто может стать моим союзником. С ней нужно познакомиться в первую очередь.

Не исключено, что о моем появлении уже известно при дворце. Очень уж сильно я выделяюсь среди других пассажиров тридцативесельного корабля «Делиас», существ столь юных и нежных, что с первого взгляда парней нельзя отличить от девушек.

Интересно, зачем эти малолетки понадобились Астерию? Могу побиться об заклад, что каннибализмом здесь и не пахнет. На Крите найдется немало вполне съедобных рабов. Какой смысл посылать за ними еще и в Афины? Ну, с девочками, допустим, понятно. На «клубничку» все мы падки. А при чем тогда юноши? Неужели в придачу ко всему Астерий еще и извращенец? Хотя от сыночка такой матери можно ожидать чего угодно.

Вот только на меня этот урод пусть не рассчитывает. Не тело мое он получит, а смерть от бронзового меча, сработанного лучшими оружейниками Арголиды. На его лезвии выгравированы письмена, которые спустя много-много веков должны возвестить потомкам о еще одном торжестве рода человеческого, о победе над врагом, куда более беспощадным, чем потоп или извержение вулкана.

Встретили нас не приветственными звуками труб, как послов, но и не бичами, как живой товар. Даже усадили в изящные носилки, занавески которых были затканы изображениями местных святынь — быка, секиры и двуглавого орла, олицетворяющего Зевса Критского, легендарного прародителя местных царей. Ничего удивительного — таких красавчиков и милашек грешно гонять босиком по пыльным, раскаленным улочкам, где каждый полупьяный бродяга норовит задеть тебя соленым словцом либо ущипнуть за бочок. Отныне все мы — царская собственность, а любая царская собственность неприкосновенна, будь то слиток золота или пустой горшок.

На меня стражники глянули с недоумением — что, дескать, за чудо такое? Возраст далеко не юношеский. Тело, а особенно рожа, не внушают страсти. Бандит какой-то, а не мальчик для утех. Никак эти афиняне окончательно ополоумели? Или просто издеваются? Ничего, царь быстро поставит их на место...

Конечно, стражников можно понять. Мул незаменим в ярме, но неуместен в свадебной упряжке. Вороне голубкой не бывать. Царское ложе позволено украшать только свежими цветами.

Да только не сподобилось подобрать другой, более пристойный образ. Все мои пращуры, обитающие в близлежащих краях (а главное, в сопоставимое время), выглядят несколько мужиковато. Как говорится, плохо скроены, да крепко сшиты. Не люди, а медведи.

Говоря иначе, нежному цветку требуется соответствующий уход. А под ледяными ветрами невзгод и палящим зноем степных стычек вырастает только горькая полынь да жгучая крапива.

Ничего, надо надеяться, что вскоре все разрешится самым благоприятным образом, и я обрету прежний облик, от которого давно успел отвыкнуть...

Во дворце нас сразу разделили. Хотя юные аристократы и чурались меня, без них стало как-то тоскливо. Словно после потери красивой безделушки. Судьба, ожидающая их, незавидна. Даже не знаю, свидимся ли мы еще когда-нибудь.

Свое единственное имущество — меч — я до поры до времени прячу под одеждой. Лабиринт никакое не подземелье, а просто очень большое здание с запутанными внутренними переходами. Поэтому в клубке Ариадны я, конечно же, не нуждаюсь.

Тем не менее доверенное лицо мне бы не помешало. Пусть не Ариадна, так сестра ее Федра, чье имя почему-то тоже связано со мной. Или сам Минос, который просто обязан ненавидеть незаконнорожденного ублюдка. В крайнем случае сгодится любой повар, стражник, придворный звездочет, служанка. Лишь бы этот человек разбирался в хитросплетениях дворцовых интриг, знал здесь все ходы и выходы, мог помочь дельным советом.

Но единственное живое существо, посещающее меня, глухо и немо, пусть и не в силу физических изъянов, а вследствие своего иноземного происхождения. Это черный, как сажа, эфиоп, понимающий только язык жестов — принеси, подай, убери, пошел прочь.

А время между тем идет. Если я и буду представлен Астерию, то в самую последнюю очередь. Даже странно, почему он так

долго возится с дюжиной отроков и отроковиц. Пора бы уже и наиграться.

Дабы хоть как-то напомнить о своем существовании, я запел однажды гимн Посейдону, авторство которого приписывается Орфею, учителю всех поэтов и царю всех певцов.

Слушай меня, Посейдон,
Владыка морского пространства.
Всадник, волну оседлавший,
Трезубцем доставший до неба.
Недра земли потрясаешь,
Блюдешь кораблей продвиженье.
Рыбы потехой тебе,
А нереиды усладой.
Властвуй и дальше,
Бессмертный отец Ориона.
Нас не забудь.
Подари хоть немного сокровищ:
Счастья, удачи, достатка,
Любви и здоровья.

И меня услышали. Недаром ведь Посейдон, вернее, одна из его чудовищных ипостасей, считается отцом Астерия (между прочим, если верить легенде, мы с ним единокровные братья).

На сей раз мой неразговорчивый эфиоп явился в сопровождении целого сонма служанок. Они раздели меня, обмыли тепленькой водичкой, причесали, умастили ароматными маслами и облачили в какое-то весьма легкомысленное одеяние — белое, воздушное, полупрозрачное. Как говорится, посыпали мукой рыжего козла, авось он овечкой станет.

Меч мне кое-как удалось перепрятать в рукав — длины-то в нем было всего две пяди, а кроме того, именно для таких случаев я всегда ношу на левом бицепсе широкий кожаный ремень. Чашу с вином, которую подал эфиоп (такой чести меня удостоили впервые), я отверг. Мало ли какого зелья туда подмешали. Усну, а Астерий и набросится. Бр-р-р...

Затем меня провели в покои, скупо освещенные жаровней, от которой исходили дурманящие запахи ладана, стиракса и смирны. Похоже, что тут собирались приносить жертвы богам. Впрочем, говорят, что ароматные курения отгоняют злых духов, единственным представителем которых здесь мог быть только я.

Служанки поспешно удалились, но одна старая стерва ткнула пальцем в пол у моих ног и едва слышно прошипела: «Стой здесь, тебя позовут».

Вскоре глаза мои привыкли к полумраку. В дальнем углу я

различил низкую кушетку, на которой возлежал некто, с ног до головы закутанный в черное траурное покрывало.

Если бы я знал наверняка, что это Астерий, то бросился бы вперед и постарался разом покончить с проблемой, которая привела меня сюда. Но это могла быть и коварная ловушка. Прежде я неоднократно слышал о чем-то подобном. Тебя, например, заманивают в притон разврата, плату берут вперед, но вместо юной потаскушки подсовывают дряхлую каргу, покрытую гнойными язвами, или, хуже того, — наемного убийцу с кинжалом.

— Ты хорошо поешь, афинянин, — произнес голос, который с одинаковым успехом можно было принять и за мужской и за женский. — Очень хорошо.

— Спасибо за похвалу, — сдержанно ответил я. — Но в сопровождении кифары этот гимн прозвучал бы куда торжественней.

— Где ты научился своему искусству? Не от самого ли Аполлона Мусагета?

— Увы! — печально вздохнул я. — Блистательный повелитель мышей и гонитель волков не удостоил меня своим высоким покровительством. Игре на кифаре и пению я научился в одиноких скитаниях.

(Знал бы ты только, ради чего я на самом деле вызубрил все эти дурацкие гимны, пеаны и элегии, так, наверное, схватился бы за свою дурацкую голову.)

— Спой еще что-нибудь, — задушевно-вкрадчивый голос, которым были сказаны эти слова, совсем не вязался с представлениями о чудовище, насилующем человеческих детей.

Весьма озадаченный такими впечатлениями, я смиренно поинтересовался:

— Кого мне восславить на этот раз — Совоокую Афину, Змеемудрых Эриний? Мать времен Селену? Или самого тучегонителя Зевса?

— Восславь меня! — Голос зазвенел, как самая тонкая струна кифары. — Восславь царскую дочь Ариадну.

Сказать, что я оторопел, — значит, ничего не сказать. О бессмертные боги! Где были мои глаза? Где были мои уши? Где была моя интуиция?

Любая фальшь, любая заминка могли выдать мои истинные чувства, и, дабы выкрутиться из неловкого положения, я, потупив глаза, произнес:

— Как можно воспеть то, о чем не имеешь никакого представления? Даже тени твоей мне не довелось коснуться. Если ты

действительно хочешь, чтобы я сочинил гимн в твою честь, нам следует познакомиться поближе.

Конечно, это было нахальство, граничащее с кощунством. Как-никак она была царской дочерью, а я всего лишь искупительной жертвой, предназначенной на растерзание Астерию. Однако Ариадна ничуть не обиделась. Более того, повела себя словно гетера, принимающая состоятельного клиента.

— Так приблизься ко мне, афинянин, — черное покрывало было сброшено столь решительно, словно оно жгло ее тело, по контрасту показавшееся мне ослепительно белым. — Все мои прелести открыты перед тобой. Нынче тебе позволено коснуться даже моей плоти, а не то что тени.

Что называется, подфартило, подумал я, делая к Ариадне первый шаг. Так меня, глядишь, и под венец загонят. Вернее, свяжут узами Гименея. Кем тогда будет приходиться мне Астерий? Не иначе как шурином. Впрочем, это не важно. Главное, что я теперь не один.

Просто ума не приложу, как я так опростоволосился, приняв Ариадну за Астерия. Наверное, сработал стереотип мышления. Если долго ожидать встречи с драконом, за него можно принять обыкновенную ящерицу.

В том, что Ариадна женщина, не могло быть никаких сомнений. Давно мои руки не мяли столь тяжелых и упругих грудей. Это уже не говоря обо всем остальном.

Вот только любила она совсем не по-женски — требовательно, эгоистично, грубо. Ничего не поделаешь, царская дочь. Имеет право. Да и наследственность неистовой Пасифаи, наверное, сказывается.

Имелась у нее еще одна странность. Свой знаменитый венец, отороченный длинной, густой вуалью, она так и не сняла.

Перед тем как покинуть ложе страсти, я произнес:

— Твоим обольстительным телом я усладился сверх всякой меры. Но почему ты скрываешь свой лик, соперница Афродиты? Как я смогу потом воспеть его?

— Воспой пока что-нибудь другое, — она вскинула вверх ногу, действительно достойную олимпийской богини. — А что касается лика, то знай, что женщины моего рода открывают его только после свадьбы.

— Отчего же такие строгости? — невольно удивился я.

— Чтобы жених не ослеп! — рассмеялась Ариадна. — Поэтому с ликом придется повременить. Зато всем остальным можешь

пользоваться сколько угодно, — она попыталась вернуть меня на свое ложе.

— На сегодня, думаю, хватит, — (нет, я не струсил, просто всему есть свой предел). — Давай лучше встретимся завтра.

— Непременно. Ночью я вновь пошлю за тобой, — пообещала она.

Так продолжалось больше двух недель.

Не буду кривить душой — за этот срок Ариадна надоела мне хуже горькой редьки. Любовь притягательна лишь до тех пор, пока в объекте страсти (да при этом и в себе самом) ты раз за разом открываешь что-то новое, ранее не изведанное. В противном случае сладостный праздник превращается в постылую повинность, в унылые будни.

Ариадна была скупа на слова и ласки, а к любовной игре относилась, как профессиональный солдат к войне, — пощады сопернику не давала, хотя себя старалась беречь. Иногда мне даже казалось, что я очутился в лапах Астерия, вот только лапы эти были гладкие, гибкие, с шелковистой кожей и хрупкими пальцами.

Вуаль она принципиально не снимала, и скоро я перестал корить ее за это. Какая разница — полумрак спальни и излюбленные ею экзотические позы (если сверху, то спиной ко мне, если снизу, то, соответственно, задом) все равно не позволили бы рассмотреть черты лица. Хотя во снах она почему-то всегда виделась мне чернокудрой и голубоглазой.

Однажды я спросил:

— Ты представляешь себе, кто я такой и какая участь меня ожидает?

— Да, — ответила она вполне равнодушно. — Ты один из тех, кого Афины отдают нам во искупление смерти моего брата Андрогея, коварно умерщвленного твоими соплеменниками. Дальнейшая твоя участь целиком и полностью зависит от Астерия, другого моего брата.

— Не знаешь, как он собирается поступить со мной? — осторожно поинтересовался я.

— Вот уж нет! Он с самого детства вспыльчив, как кентавр. Никогда нельзя предсказать, что взбредет в его голову через мгновение. За один и тот же поступок он может разорвать человека в клочья или одарить его драгоценными подарками. Скорее всего ты станешь жертвой его очередного каприза. Не забудь, что с некоторых пор тебя не защищают ни критские, ни афинские законы. Сейчас ты бесправнее раба.

— Клянусь Гераклом, мне надо готовиться к самому худшему!

— Вот именно, — охотно подтвердила Ариадна.

— А ты не будешь печалиться, если Астерий погубит меня? — Как бы напоминая о наших отношениях, я погладил ее по бедру.

— Разве я могу печалиться обо всех, кто прежде делил со мной это ложе? — Мысль была вполне резонная, но не стоило облекать ее в столь циничную форму. Тут и не хочешь, а оскорбишься.

— Ты такая же бессердечная, как и твой братец, — с горечью произнес я. — А раньше ты казалась мне совсем другой.

— Не смеши меня, — фыркнула Ариадна. — По сравнению с Астерием я кроткая нимфа.

Проглотив обиду (на сердитых, как говорится, воду возят), я продолжил расспросы. Правда, сменил пластинку.

— Как поживает ваш отец, мудрый царь Минос?

— Весь в делах, — зевнула Ариадна. — Строит флот, сочиняет законы, воюет с пиратами, затевает шашни с владыками Египта. И не замечает того, что творится у него под самым носом. Ничего не поделаешь, годы берут свое.

Да и детки проблем подбрасывают, подумал я. Доконают они в конце концов старика... Кстати, а что это такое творится у него под самым носом? Интриги? Кровосмешение? Казнокрадство? Непонятно...

— Говорят, что Астерий весьма силен? — я исподволь вернулся к прежней теме.

— Боги наградили его всеми доблестями, присущими воину: силой, быстротой, выносливостью, неукротимостью. Здесь, на Крите, ему нет равных ни в борьбе, ни в кулачном бою, ни в поединке на мечах, ни в гонке колесниц.

— Почему же он не сыскал себе лавров, достойных Ахилла или Диомеда, а сидит взаперти?

Сказав это, я прикусил язык. Троянской войной еще и не пахло, а Гомеру предстояло родиться лишь пять веков спустя (если, конечно, люди еще будут рождаться в ту пору). Однако Ариадна, у которой совсем другое было на уме, моего промаха не заметила.

— Спросишь у него сам. Такая возможность тебе скоро представится, — может, мне и показалось, но в ее голосе прозвучало что-то похожее на злорадство.

— А ты ничем не поможешь мне? — В душе еще теплилась надежда, что Ариадна вдруг опомнится и, согласно канониче-

скому тексту легенды, проявит искреннее участие к моей дальнейшей судьбе.

— Словечко, может быть, и замолвлю, — не очень искренне пообещала она. — А теперь уходи. Меня клонит ко сну. Это была наша последняя ночь, афинянин. Если нам не суждено больше встретиться, то прощай. Положись на милость богов.

— А как же обещанный тебе гимн? Он уже почти готов. Осталось дописать пару строк и подобрать соответствующую мелодию, — похоже, я уподобился тому самому утопающему, который из всех возможных средств спасения выбрал соломинку.

— Останешься жив — споешь его какой-нибудь другой бабенке.

Вот вам и влюбчивая, нежная Ариадна! Сучка она похотливая — и больше никто. Уличная девка! Да еще с каменным сердцем. Не завидую ее будущему супругу, если такой дурак когда-нибудь найдется. Она ему не только с быком, а даже с крокодилом рога наставит. Превзойдет свою прославленную в скабрезных анекдотах мамочку по всем статьям.

Еще целых десять суток я пребывал в полной изоляции. Можно было подумать, что про меня опять забыли. Один только молчаливый эфиоп наведывался регулярно.

Вынужденное безделье и обильная пища губили меня. Стал округляться живот. Привыкшие к труду руки висели плетьми. Терзала изжога. Расстроился сон. Ночами я долго не мог заснуть, а заснув — мучился кошмарами.

Любой другой античный герой, призвав на помощь благоволящих к нему богов, давно бы вырвался на свободу и сейчас крушил бы дворец в поисках достойных противников. Но я не герой. Я обыкновенный среднестатистический человек и верю не в богов, а в суровую реальность, которая подсказывает мне, что выбраться отсюда без посторонней помощи невозможно.

Сами посудите — стены, воздвигнутые из каменных монолитов, способны выдержать удар тарана, в узкие, расположенные под самым потолком окна разве что кошка пролезет, а тяжелые бронзовые двери открываются исключительно ради того, чтобы пропустить внутрь моего чернокожего кормильца (и когда это происходит, я вижу за его спиной обнаженные мечи и секиры стражи).

Но недаром говорят, что мельницы богов мелют медленно, да верно. В конце концов наступила ночь — одиннадцатая по счету после расставания с Ариадной, — в ходе которой должна

была решиться не только моя участь, но и дальнейшая судьба человечества в целом (уж простите за высокопарность).

Сразу признаюсь, что никакие особые предчувствия меня накануне не посещали. Отсутствовали и всякие мрачные знамения, обычно предваряющие большую беду, — затмение солнца, массовое нашествие морских и болотных гадов, багровые пятна на лунном диске и так далее.

В сумерках я доел и допил то, что осталось от обеда, погасил светильник и, завалившись на ложе, стал гадать, кто же на сей раз посетит меня — бог забытья Гипнос или безымянный демон бессонницы.

Но, паче чаянья, на этот раз я уснул быстро и глубоко, словно тяжко трудился весь день (вполне вероятно, что в мое питье добавили какое-то наркотическое зелье).

Не знаю точно, что меня разбудило среди ночи (раньше я такой привычки не имел). Но это было не сладкое медленное пробуждение, а как бы резкий толчок, последовавший изнутри.

Еще даже не открыв глаза, я понял, что горят все светильники, а из приоткрытых дверей тянет ночной свежестью. Мое вынужденное затворничество было нарушено — напротив в позе терпеливого ожидания сидел какой-то человек. Стараясь ничем не выдать себя, я стал рассматривать его сквозь опущенные ресницы.

Незнакомец был одет в хитон из грубой ткани и простой солдатский шлем с поперечной прорезью для глаз. Обычно вне боя такие шлемы носят на затылке, но сейчас он был надвинут на лицо.

Мышцы ночного гостя даже в расслабленном состоянии вздувались буграми, а длинные лохмы, выбивавшиеся из-под шлема, по виду ничем не отличались от конских волос, составлявших султан.

Еще меня удивило то, что колени его были сбиты, как у рабарудокопа, а шею и грудь покрывали многочисленные царапины.

Время шло, и я продолжал притворяться спящим. Молчал и незнакомец. Впрочем, я уже догадался, кто это такой.

Расстояние между нами не превышало сажени. Казалось, Астерий мирно дремлет. Волосатые руки с корявыми пальцами мирно покоились на коленях. Никакого оружия при нем, похоже, не было.

Надо было действовать. Другого столь удобного момента могло и не представиться.

Делая вид, что меня укусила блоха, я заворочался, зачмокал

губами и как можно незаметнее сунул руку в изголовье — туда, где под свернутой циновкой хранился мой меч.

Однако там было пусто. Вот когда я понял, что означает выражение «холодный пот прошиб».

— Не ищи, — глухо сказал Астерий. — Твое оружие у меня.

Он поднял с пола меч и стал разглядывать его, поворачивая к свету то одной, то другой стороной. Мне же не оставалось ничего другого, как молча пялиться на эту сцену и в душе проклинать себя за оплошность.

— На каком языке сделана эта надпись? — спросил он.

— На киммерийском, — соврал я.

— И что она означает?

— Я неграмотный.

— Киммерийцы, насколько мне известно, — тоже.

Я промолчал. А что можно было ответить в подобной ситуации?

— Не похоже, чтобы этот меч часто бывал в деле, — продолжал Астерий, пробуя лезвие пальцем. — Давненько его не точили.

— Меч нужен мне для обороны, а не для нападения, — выдавил я из себя. — Сейчас в Греции повсюду мир. На дорогах спокойно. А обнажать оружие по пустякам я не привык.

— Для обороны нужен щит, — наставительно произнес Астерий. — А мечи издревле куются только для нападения. Не равняй осла с Пегасом.

(Очевидно, эта фраза означала что-то вроде: «не путай божий дар с яичницей».)

Был он спокоен, деловит, все, похоже, схватывал на лету и ничем не напоминал неукротимого и кровожадного дикаря, образ которого успел сложиться у меня на основании досужих слухов и россказней Ариадны.

А если это вовсе и не Астерий, а обыкновенный стражник, решивший со скуки навестить пленника? Но почему он тогда обыскал мою постель? Предусмотрительность профессионала? Эх, глянуть бы ему в лицо...

Внимательно присмотревшись, я произнес:

— Ну и шлем у тебя! Таких здоровенных я отродясь не видел.

— Голова не маленькая, — солидно ответил он. — Пришлось изготовлять по особому заказу.

— Такой шлем, наверное, и Гераклу пришелся бы впору, — я старательно изображал восхищение. — Не дашь примерить?

— Зачем? Тебе далеко до Геракла, — усмехнулся он. — Или

ты хочешь увидеть мое лицо? Так бы прямо и сказал. Я не гордый. За смотрины денег не беру.

Слегка отклонившись назад, он расстегнул пряжку подбородочного ремня и спокойно, без лишних ужимок освободился от тяжелого и неудобного (по собственному опыту знаю) шлема. То, что я испытал при этом, можно, наверное, сравнить только с чувством юного Париса, перед которым обнажались красивейшие из богинь.

А впрочем, стоило ли так волноваться? Что я ожидал увидеть? Лик вселенского зверя, призванного пожрать род людской? Бычью морду, посаженную на человеческие плечи? Нечто такое, от чего кровь застывает в жилах, а глаза каменеют в орбитах? Вовсе нет. Все это, мягко говоря, детские сказки, в которые я перестал верить много лет назад.

И тем не менее увиденное впечатляло! Судьба действительно свела меня с Астерием.

Конечно, под шлемом скрывалась отнюдь не бычья морда. Но и не человеческая голова в привычном смысле этого слова.

Никаких рогов, естественно, не было и в помине, однако на висках торчали внушительные шишки, зрительно увеличивавшие размер черепа едва ли не вдвое. Лицевые кости, особенно нос и скулы, резко выдавались вперед, отчего рот казался непропорционально маленьким и каким-то кривым, а чересчур широко поставленные глаза почти соседствовали с ушами.

Какие-либо признаки усов и бороды напрочь отсутствовали, зато шевелюра отличалась совершенно невообразимым видом. Фигурально говоря, не шевелюра это была, а парик, составленный из множества худосочных, но злобных змеенышей. В каком-то смысле Астерия можно было назвать дальним родственником горгон.

О глазах его умолчу. Не встречал я раньше таких глаз ни у людей, ни у животных. В любом случае назвать их зеркалом души язык не поворачивался. То ли наличие у Астерия души не предполагалось изначально, то ли мне, жалкому человечишке, не дано было оценить ее мрачное величие.

Если говорить в общем и целом, то зрелище было не для слабонервных. Представляю, что ощущали бедные дети, внезапно узревшие этот нечеловеческий лик.

— Ну как, нравится? — поинтересовался он.

— Весьма, — ответил я через силу. — Очень похоже на египетского бога.

— Какого? Амона-барана или Анубиса-шакала?

— Скорее на Гора-сокола, — я закашлялся.

— Спасибо за доброе слово, — его тонкие, бесцветные губы причудливо изогнулись, что, наверное, должно было означать улыбку. — А то некоторые недоброжелатели приписывают мне сходство с быком. И при этом еще берут под сомнение целомудрие моей матушки. Разве это справедливо? Хотя на прозвище «минотавр» я не обижаюсь. Надо ведь нам как-то называться. Не людьми же!

— Разве ты не один... такой? — насторожился я.

— Будто бы ты не знал! А моя сестра Ариадна, с которой вы делили ложе на протяжении стольких ночей? Неужели ты не заметил в ней ничего странного?

— Нет, — с содроганием произнес я. — Темно было... Да и не открывала она своего лица.

Ну и дела! Я-то, дурак, думал, что услаждаю женщину. А тут какая-то зоофилия получается... Вот почему Ариадна уклонялась от лобзаний, вот почему отстраняла мои руки, когда я хотел дотронуться до ее волос или губ, вот почему всем другим способам соития предпочитала только те, которые приняты в животном мире.

— Стеснялась, значит, — Астерий передернул своими могучими плечами. — И напрасно... Стесняться нужно не нам, богоизбранным минотаврам, а вам, обезьяньим отродьям. Ваши дни сочтены! Скоро над миром воцарится совсем другая раса!

Страсть, сквозившая в каждом слове этого, в общем-то, спорного заявления, не оставляла никаких сомнений в том, какую именно расу он имеет в виду.

— Куда же тогда деваться людям? — с легкой иронией поинтересовался я.

— А куда они девались прежде? Где пеласги, некогда заселявшие всю Грецию? Их истребили минии. А где минии? Об этом нужно спросить ахейцев, ныне попирающих их могилы. Так было всегда! Каждый новый завоеватель под корень уничтожал своих предшественников. И это при том, что все вы люди, единое племя. Минотавры совсем другие. Мы более сильные, сообразительные, живучие. Вместе нам не ужиться, как крысам не ужиться с мышами.

— Вдвоем с сестрой вы решили осилить все человечество? — с сомнением произнес я.

— Почему вдвоем? Ты не задумывался над тем, почему Крит требует дань не золотом, а девушками? Семь в год от Афин. Да столько же от Египта, Тира, Фригии, Эфиопии. Добавь сюда ра-

бынь, которых доставляют на кносский рынок пираты. Да и наложниц-критянок в Лабиринте немало. Все ночи напролет я провожу в трудах праведных. Скоро детей у меня будет больше, чем у самого Зевса Прародителя. Мужчина вроде тебя давно протянул бы ноги, а я, как видишь, не унываю.

— Насчет детей ты, возможно, и прав. А вот по поводу внуков не обольщайся. У лошадей и ослов бывает потомство. Но оно, как правило, бесплодно. Если люди и минотавры действительно принадлежат к разным породам, то через сотню лет от вас не останется и следа.

— Надеюсь, что нас отличает только это, — он коснулся рукой груди и лба, а затем сделал неприличный жест. — Здесь же нет никакой разницы, в чем ты сам мог убедиться... Кстати, хочу тебя обрадовать. Ариадна понесла. И, скорее всего, от тебя.

Неважно, лгал он или нет. Но это был как раз тот вопрос, который я обсуждать не собирался. Поэтому и поспешил сменить тему.

— Скажи, а зачем тебе нужны мальчики? Для отвода глаз?

— В прежние времена на Крите просто не было прохода от волков, — он опять полуулыбнулся-полуоскалился. — Впоследствии всех их уничтожили пастухи, охранявшие свои стада. В этом им очень помогли специально обученные собаки. Улавливаешь мою мысль? Из мальчишек я воспитаю верных псов, которые будут беспощадно преследовать людей. Вот так-то, Тесей Эгеид.

Новый сюрприз! Откуда он узнал мое имя? Хотя что тут странного... У царя Миноса должны быть соглядатаи по всей Греции. Кроме того, мог проговориться кормчий «Делиаса». Как, бишь, его? Кажется, Ферекл Амарсид. То-то он пялился на меня всю дорогу, как лапиф на кентавра. Ладно, ничего страшного пока не случилось. Только не следует подавать вида, что я обеспокоен своим разоблачением. Спокойствие, только спокойствие...

— Разве мы уже где-то встречались? — я скорчил удивленную гримасу.

— А как же! Я имел удовольствие видеть тебя на последних марафонских играх. Ты тогда показал себя молодцом. Меня так и подмывало вызвать тебя на поединок. Но, к сожалению, я не имел права выдать себя.

Это точно, подумал я. Вот бы подивились афиняне, узрев такого урода! Могли и прикончить под горячую руку, как до этого

прикончили его братца Андрогея, отличавшегося буйным нравом и непомерной гордыней.

Вслух же я произнес следующее:

— Что за беда! Поединок можно устроить и здесь. Было бы желание.

— Хочешь убить меня? — сразу оживился Астерий.

— С чего ты взял? — Ох, не люблю я лукавить, да только сейчас иначе нельзя.

— Нетрудно догадаться. Ради чего ты затесался в толпу несчастных мальчишек и девчонок? Собирался принести жертву Зевсу Критскому? Так ведь время вроде неурочное. Или тебе захотелось отведать молока божественной козы Амальтеи? Но она, увы, давно вознесена на небо. Никто не приглашал тебя сюда. А незваный гость всегда вызывает подозрение. Кроме того, я получил предсказание от Дельфийского оракула. Хочешь услышать его?

— Сначала скажи, о чем ты спрашивал оракула, — положение осложнялось с каждой минутой, и мне не оставалось ничего другого, как тянуть время.

— Сам понимаешь, что больше всего меня интересовала судьба потомков. Еще я хотел узнать, кого мне следует опасаться.

— И что тебе поведал оракул?

Астерий как будто только и ждал этого. Склонив башку набок, он продекламировал стишок, многозначительный и туманный, как и все творчество Дельфийских прорицателей (можно подумать, что их сочиняют не одурманенные бабы-истерички, а лукавый бог Мом, чьи советы еще никого не доводили до добра):

Сей свое семя и дальше,
Законный наследник Миноса.
Род твой повсюду заменит
Немощных исчадий золы.
Но опасайся двуличного гостя,
Избравшего путь Мнемозины.
Держат его под эгидой
Чужие, еще не рожденные боги.

Даже мне, далеко не новичку в этом мире, было трудно сразу разобраться в подобной зауми. Недаром, наверное, едят свой хлеб доморощенные мудрецы, подробно истолковывающие скрытый смысл Дельфийских пророчеств. Для этого мало иметь светлую голову. Для этого нужно здесь родиться.

Немного подумав, я сказал:

— Честно признаюсь, что не все из услышанного мне до конца понятно. Но в общем предсказание выглядит благоприятно.

— Как сказать! — возразил Астерий. — С одной стороны, оракул обнадеживает меня. «Дети золы», то есть люди, созданные Зевсом из праха испепеленных им титанов, должны уступить свое нынешнее место моим потомкам. Но это случится лишь при условии, что я не паду жертвой «двуличного гостя» — человека, выдающего себя за кого-то другого. Кроме всего прочего, ему доступен «путь Мнемозины». Это надо понимать так, что моему врагу дана способность проникать в память иных людей. А главное, ему покровительствуют боги далекого будущего, которым суждено прийти на смену олимпийцам.

Положение у меня было — хуже некуда. Однако я невольно зауважал Дельфийских предсказателей. Бывают у них иногда истинные озарения, ничего не скажешь. Про «путь Мнемозины» — это они в самую точку угодили. Вот только относительно нерожденных богов, держащих меня под эгидой, переборщили (хотя определенный смысл есть и в этих словах). Нет у меня сейчас иной защиты, кроме собственного разума и собственных рук.

Между тем Астерий, уже закончивший разъяснять потаенный смысл пророчества, вопросительно уставился на меня. Пришлось с самым невинным видом ответить:

— Похоже, ты принял меня за этого самого «двуличного гостя». Ответь, сын Миноса, что общего ты видишь между нами?

— Ты выдаешь себя за афинянина, но твое истинное прошлое скрыто мраком. Старый Эгей вовсе не отец тебе. Ты при помощи всяких хитрых уловок просто втерся ему в доверие.

— Откуда... — я попытался было запротестовать, но Астерий решительным жестом остановил меня.

— Хочешь спросить, откуда это мне известно? Не буду скрывать — преданные мне люди давно наблюдают за тобой. И не за тобой одним. И не только в Афинах. Ты с самого начала вел себя неосторожно. Распускал нелепые слухи о своем происхождении, хотя едва-едва мог изъясняться на ахейском наречии. Все твои подвиги скорее всего тоже вымысел. Их очевидцы или откровенно лгут, или путаются. Таким образом, твое двуличие не вызывает никакого сомнения. Есть в твоем поведении и немало других странностей. Судя по некоторым высказываниям, особенно сделанным на пирах, тебе открыто будущее. Ты предрекаешь скорое падение Илиона, что совпадает с тайными откровениями оракулов, которые известны лишь немногим избранным. Вполне возможно, что здесь не обошлось без подсказки неведомых нам богов. Как видишь, все сходится.

Тут он, безусловно, прав, подумал я. Нечего язык распус-

кать. Расскажешь, например, анекдот из жизни хитроумного Одиссея, а в компании обязательно найдется кто-то один, знающий, что на острове Итака, в семье царя Лаэрта, недавно родился мальчик под таким именем и мальчику этому предрекают бурную, богатую приключениями жизнь, поскольку его дедом по матери является небезызвестный Автолик-вор, проходимец и клятвопреступник. Объясняйся потом, что это случайное совпадение. А все вино проклятое! Раньше я его терпеть не мог, а здесь пристрастился. Хоть и слабенькое оно, хоть и кислое, а в голову ударяет, потому что на пирах смешивается не с водой, как считалось раньше, а с настойкой мака.

Астерий тем временем продолжал обличать меня:

— И отправился ты на Крит добровольно, а не по жребию. И белый парус припас, чтобы на обратном пути заранее возвестить о своей победе. И меч приготовил, да еще нанес на него какие-то магические письмена.

— Ты знаешь обо мне больше, чем самый близкий друг, — сказал я. — Польщен таким вниманием к моей скромной персоне. Но если ты считаешь меня столь опасным, то почему не убил сразу? По дороге к дворцу, например? В спальне Ариадны? Или прямо здесь, пока я пребывал в тенетах Гипноса?

— Сначала нужно было убедиться, что ты именно тот, кого я ожидаю. А кроме того, у меня есть к тебе один очень важный вопрос, — могу поклясться, что в словах Астерия сквозила некая неуверенность; сейчас он напоминал щенка, отыскавшего в траве маленького, но кусачего жука и не знающего, стоит ли с этим жуком связываться.

— Какой вопрос? — я внутренне напрягся.

— Допустим, сегодня я одолею тебя. Будет ли эта победа окончательной? Не пошлют ли боги будущего против меня еще кого-нибудь?

Юлить дальше не имело смысла. Карты, как говорится, были открыты. Что ни говори, а логика у Астерия была железная. Да и его осведомленности оставалось только позавидовать. Далеко пойдут минотавры, очень далеко! Если только я не сумею остановить самого первого из них.

Другой вопрос — как остановить? Хитростью? Силой? Пока дело не дошло до рукопашной, попробую-ка я запугать его.

— Обязательно пошлют, — твердо ответил я, глядя Астерию прямо в переносицу (заглянуть в глаза мешали особенности строения его черепа).

— Человека или демона?

— Снова меня.

— Не понимаю, — он помотал головой, совсем как бык, на которого хотят надеть ярмо.

— И не поймешь, даже не старайся. Если поединок закончится моим поражением, жди нового гостя. Как бы он ни выглядел, все равно это буду я. Мы будем биться раз за разом, и в конце концов я добьюсь своего. Ты не сможешь побеждать бесконечно, а мне будет достаточно и одной победы.

— Ты бессмертный?

— Вроде того, — гордо кивнул я.

— И даже если я скормлю твое тело псам, ты все равно вернешься?

— Можешь не сомневаться, — самое интересное, что я говорил истинную правду.

— Это надо проверить.

Не вставая с места, Астерий переломил меч о колено, что свидетельствовало не только о его нечеловеческой силе, но и о крушении всех возлагавшихся на меня надежд (что я имею в виду, вы поймете потом).

Тем не менее сдаваться было рано.

Ухватив увесистый жертвенный треножник (ух, как шибануло в нос благовониями), я смело ответил на вызов Астерия:

— Попробуй проверь!

Отшвырнув разделявший нас низкий столик, проклятый урод поднялся во весь рост (в мои времена такие верзилы играли в баскетбол или выполняли роль живых щитов при богатеньких буратино).

Куда только девалось его недавнее спокойствие и рассудительность! Если еще минуту назад я беседовал с человеком, пусть и весьма безобразным, то сейчас мне противостоял дикий зверь, глаза которого быстро наливались бешеной кровью.

Был ли у меня хоть какой-то шанс справиться с Астерием голыми руками? Очень сомневаюсь. Все хитрые борцовские приемчики, изобретенные людьми на протяжении тридцати грядущих веков, не помогли бы мне сейчас (тем более что и знал я их в основном теоретически). Броском через плечо не утихомирить взбесившегося слона. Удар пяткой в звериную морду куда более опасен для пятки, чем для морды. Апперкот в солнечное сплетение не страшен тому, у кого кости — как рельсы, а мышцы — как железный панцирь.

Как ни странно, но единственной моей союзницей была его

поистине необузданная ярость. Прояви он хоть немного хладнокровия, и со мной было бы покончено в считаные минуты.

Однако Астерий бросался в атаку безоглядно, напролом. Окажись сейчас на моем месте опытный матадор, и тогда врагу рода человеческого пришлось бы несладко.

Был даже момент, когда, удачно увернувшись, я огрел Астерия треножником по голове. Гул пошел такой, словно удар пришелся по большому медному гонгу. Но, к сожалению, этим все и ограничилось. Столь крепкую башку, наверное, можно было пробить только секирой.

Все внутреннее убранство моих покоев пришло в полное разорение, все столы и лавки были разбиты, вся посуда превратилась в черепки. Обломки дубовой мебели и осколки мраморных статуй летали от стены к стене, словно мячики.

Грохот стоял такой, что все многочисленные обитатели дворца, включая стражу, прислугу, царя Миноса, царских наложниц, царицу Пасифаю, ее любовников, моих юных спутников-афинян, коварную Ариадну и комнатных собачек, должны были неминуемо проснуться.

Последней рухнула на пол объемистая чаша, предназначенная для омовения рук (каюсь, иногда я использовал ее вместо ночного горшка). Полированный мозаичный пол, на котором были изображены сцены рождения и воспитания Зевса, сразу превратился в подобие ледяного катка. Еще слава богу, что мы поскользнулись на нем одновременно.

Вот только, к великому сожалению, поехали мы не в разные стороны, а навстречу друг другу. В самый последний момент я попытался вскочить, но Астерий налетел на меня, как сорвавшийся с горного склона стопудовый валун.

— Ну вот и конец тебе, двуличный гость! — проревел он дурным голосом.

— До новой встречи! — успел ответить я.

Спустя еще мгновение на мое лицо обрушился каблук тяжелого солдатского котурна, подбитого бронзовыми гвоздями.

Что-то здесь не так, подумал я, умирая. Не одолел Тесей критского выродка, а все наоборот... Или легенды врут, или история вовсе не застывший монолит, как мы считали раньше, а изменчивый и прихотливый поток...

Часть I

ОЛЕГ НАМЕТКИН, РОССИЙСКИЙ ИНВАЛИД

Знающие люди утверждают, что жизнь наша состоит из нескольких отдельных периодов, часто весьма несхожих между собой.

Например, юный Левушка Толстой, душка-военный, волокита и повеса, разительно отличается от старца Льва Николаевича, самозваного пророка, сермяжного философа и зануды.

И дело тут вовсе не в возрасте. Дескать, молодой на гульбу, а старый на думу. Один наш сосед, в прошлом заслуженный рационализатор и депутат горсовета, после выхода на пенсию успел уже дважды сменить свою личину — сначала примкнул к наиболее радикальному крылу движения «зеленых», а потом устроил на квартире притон, обслуживавшийся исключительно несовершеннолетними проститутками.

К нашему счастью, эти периоды перетекают друг в друга плавно и постепенно, и то, что по прошествии времени кажется парадоксом, на самом деле есть плод подспудной душевной эволюции или, наоборот, деградации.

Теперь о личном. Так уж случилось, что мне не суждено было пройти всеми бесконечными пролетами жизненной лестницы, по которой сначала бежишь вприпрыжку, потом солидно шествуешь, а в самом конце еле бредешь, поминутно оглядываясь назад.

Едва преодолев начальные ступени и не добравшись даже до первой площадки, которая, надо полагать, ассоциируется с браком и экономической независимостью, я сверзился на самое дно лестничного пролета (а может, даже и в подвал).

Моя судьба изменилась резко, бесповоротно и, что печальнее всего, — в самую худшую сторону. Позже мне часто приходила на ум мысль о том, что в сложившейся ситуации смерть была бы гораздо более предпочтительным вариантом.

Не знаю, какой срок пребывания на белом свете отмерен мне, но тот трагический момент, ставший поворотной точкой в моей судьбе, я запомню до гробовой доски.

К тому времени моя молодая и, скажем прямо, беззаботная жизнь успела дать первую трещину (хотя в сравнении с грядущими испытаниями это была вовсе и не трещинка, а так — еле заметный скол).

Полтора года честно отмучившись на химическом факультете университета, я перестал посещать занятия. Нет, меня пока еще не исключили, но гора «хвостов», незачтенных лабораторных работ и отвергнутых курсовых проектов выросла до такого размера, что я мог считать себя заживо погребенным под ней.

Да и не мое это было призвание, честно говоря. Если в неорганической химии я еще кое-что петрил, то органическая представлялась мне темным лесом, потусторонней кабалистикой, письменностью аборигенов острова Пасхи.

Признаться во всем матери (отец мой, номенклатурный работник, благополучно скончался в самом начале перестройки) у меня недоставало душевных сил. Для нее высшее образование было не только непременным атрибутом приличного человека, как, например, брюки, но и неким сакральным знаком, возвышавшим дипломированного человека над серой толпой.

Каждый телефонный разговор с подругами она заканчивала перечислением моих успехов на поприще науки, успехов чаще всего мнимых. Дескать, мой Олежка и в учебе преуспел, и в студенческом совете заседает, и с деканом на короткой ноге, и в аспирантуру идет полным ходом, словно атомный ледокол «Сибирь» к Северному полюсу.

Оттягивая неминуемую развязку, я каждое утро, как и прежде, покидал родное жилище и часов до трех-четырех слонялся по улицам, посещая дневные киносеансы, или просто катался на метро.

Кстати говоря, это был самый дешевый способ убить время. В вагоне и подремать можно было, и книжку почитать, и завести ни к чему не обязывающее знакомство с милой девушкой. Скоро я изучил все маршруты метрополитена настолько досконально, что по характерному стуку колес мог заранее определить, к какой станции мы приближаемся.

Всякие печальные мысли я старательно гнал прочь. А задуматься было над чем. Хуже всего, что у меня не имелось абсолютно никаких планов на будущее (хотя наиболее реальным следст-

вием моей лени и малодушия был призрак армейской службы, маячивший где-то на рубеже апреля—мая).

Нет, кое-какие прожекты я, безусловно, строил, и программа их была весьма широкой — от суицида до вступления во французский иностранный легион. Однако, это был лишь способ краткого самоуспокоения, хрупкая раковина, в которую пыталась спрятаться моя измученная душа.

Конечно, к наукам гуманитарным, таким, например, как история или литература, я испытывал чувства совсем иные, чем к распроклятой химии. Но проблема состояла в том, что я вообще не хотел учиться — даже сам этот процесс вызывал у меня отвращение. Так уж с детства повелось, что в голову мне западало лишь то, к чему лежала душа. Все остальное прошивало мой мозг насквозь, словно элементарная частица нейтрино.

Иногда, как бы в оправдание себе, я начинал мысленно перечислять великих людей, добившихся такого статуса и без помощи высшего образования. Компания получалась впечатляющая: Джек Лондон, Бунин, Грин, Шолохов, Дали, Брэдбери, Мао Цзэдун, Бродский.

И это только в нашем веке! Что уж говорить о таких героях дней минувших, как светлейший князь Меншиков, не удосужившийся даже грамотой овладеть, или механики-самоучки Черепановы, на честном слове и русском «авось» сварганившие едва ли не первый в мире паровоз.

Надо добавить, что от безделья я пристрастился к курению, и это обстоятельство сыграло немаловажную роль во всех последующих событиях.

В тот памятный день, навсегда разделивший мою жизнь на два периода, которые условно можно назвать розовым и черным, я посетил книжный рынок, где на последние деньги приобрел давно приглянувшуюся мне «Апологию Сократа» в академическом издании, от корки до корки проштудировал бульварную газетенку, особое внимание обращая на объявления типа: «Требуются одинокие молодые мужчины для выполнения опасной, высокооплачиваемой работы», помог приезжей старушке перейти улицу, в качестве свидетеля подписал пару милицейских протоколов и имел удовольствие созерцать потасовку попрошаек, не поделивших сферы влияния.

В половине второго я спустился в метро, прокатился с ветерком по нескольким наименее загруженным маршрутам, но потом допустил оплошность, перейдя на Кольцевую линию. Была

пятница, самое начало уикенда, погода стояла прекрасная, и народ так и пер к пригородным вокзалам.

В вагоне, набитом до такой степени, что, подняв руку вверх, ее потом уже нельзя было опустить, мне оттоптали ноги, несколько раз обложили матом, причем больше всех зверствовали юные леди в дорогущих шубах, которым по всем понятиям на «Мерседесах» надо было кататься, а не на метро, и даже пытались обчистить карманы.

С трудом выбравшись на свободу, я проверил наличие пуговиц на пальто (о карманах можно было не беспокоиться — там давно ветер гулял) и решил отправиться прямиком домой, дабы там честно покаяться во всех своих прегрешениях.

Скандала, конечно, не избежать, но это дело привычное. Ну поревет мамаша часок-другой, ну подуется недельку, ну лишит на весь сезон карманных денег — что из того? Не смертельно. Зато у меня камень свалится с плеч.

Уже завтра можно будет начать жизнь с чистого листа. Без всяких там лекций, сессий, зачетов, курсовых и лабораторных. Сколько заманчивых перспектив открываются для молодого одинокого мужчины! Как подумаешь, голова кругом идет. Тут тебе и брачный аферизм, и транспортировка наркотиков, и игорный бизнес, и выгуливание чужих собак, и мойка стекол в высотных зданиях, и, в конце концов, республика Чечня, куда человеку в моем положении и против собственной воли загреметь очень даже просто.

Перейдя на соседнюю платформу, я стал дожидаться поезда. От души сразу отлегло, как это бывает всегда, когда полная неопределенность уступает место какому-либо конкретному решению. Правильно подмечено, что кошмарный конец лучше, чем кошмар без конца. Эх, сейчас бы еще задымить — и жизнь заиграет всеми красками.

Дабы убедиться в наличии курева, я вытащил купленную накануне пачку «Космоса» (на такое добро даже карманники не покусились) и встряхнул ее. Судя по звуку, сигареты имелись, хотя и в ограниченном количестве — штуки три-четыре, не больше. На вечер хватит. От души отлегло еще больше.

Из черной дыры туннеля, гоня перед собой пахнущий озоном ветер, вылетел поезд, вагоны которого были сплошь расписаны легкомысленной рекламой. Ну зачем, скажите, в подземном царстве рекламировать прокладки с крылышками? Куда на них здесь улетишь?

Продолжая держать пачку сигарет в руке, я шагнул поближе

к краю перрона. В этот момент ко мне подскочил оборванец с носом-морковкой (не в том смысле, что длинным, а в том смысле, что красным) и с бородой Карабаса-Барабаса. Из других его особых примет в глаза бросались пестрые дамские шаровары, такие просторные, что вполне заменяли комбинезон.

— Удружи, красавец, папироску, — попросил он, с собачьей преданностью глядя мне в глаза. — Не дай пропасть ветерану Ватерлоо.

Это было что-то новое. С жертвами Кровавого воскресенья и с участниками штурма Зимнего дворца (кстати, теперь на папертях стали появляться и его бывшие защитники) мне приходилось встречаться, но здесь уже был явный перебор.

— И за кого вы там сражались? — сдерживая улыбку, поинтересовался я. — За французов или за англичан?

— Я только сам за себя могу сражаться, — охотно пояснил оборванец. — А Ватерлоо — это такой фаянсовый завод, где ватерклозеты делают. Так его в народе прозвали. Горячий цех, вредное производство. Проявляя ежедневную трудовую доблесть, довел себя до состояния инвалидности.

Козе понятно, что до состояния инвалидности его довело неумеренное употребление горячительных напитков, но мы-то, слава богу, живем в России, а не в какой-нибудь Швеции или там Саудовской Аравии. Что тут зазорного? Каждый сам вправе выбирать жизненный путь. Так, кстати говоря, и в нынешней Конституции записано.

— Папирос нет. Сигареты подойдут? — с царской щедростью я протянул ему мятую синюю пачку.

— Какие проблемы! — обрадовался оборванец. — Это с «Мальборо» на «Беломор» трудно переходить. А после «Беломора» что угодно можно курить. Хоть гаванские сигары, хоть анашу, хоть опилки, хоть твой «Космос».

Грязными негнущимися пальцами он залез в пачку, но действовал при этом так неловко (хотя и энергично), что та, вывалившись из моей руки, упала на перрон. Сигареты, сразу почуявшие волю, сиганули врассыпную. Их оказалось всего три штуки.

Мы одновременно нагнулись, но оборванец опередил меня, с обезьяньей ловкостью овладев сразу двумя сигаретами. Мне пришлось довольствоваться одной-единственной. Ничего не поделаешь, такова печальная участь многих меценатов. Сначала даешь деньги на социальную революцию, а потом пьяные социалисты в матросских бушлатах отбирают у тебя последнюю жилетку.

Что касается поезда, то он, естественно, ждать меня не стал и, зашипев по-змеиному, укатил вдаль.

На опустевшем перроне остались только двое, я — да оборванец, оба с сигаретами в руках. Белобрысый милиционер с нездоровым румянцем во все лицо погрозил нам издали пальцем. Оборванец от греха подальше спрятался за колонну, а я демонстративно заложил сигарету за ухо.

Очень скоро перрон стал заполняться новыми пассажирами. Спустя пару минут я должен был укатить в светлые дали (правда, попутно пройдя через упреки, головомойку и остракизм), но тут моей особой вновь заинтересовался дотошный милиционер.

— Это ваши вещи? — хмуро спросил он, указывая пальцем куда-то мне за спину.

Волей-неволей пришлось обернуться. На каменной лавке, созданной, наверное, еще под идейным руководством наркома Кагановича, а потому монументальной и впечатляющей, как ковчег завета, одиноко стоял новенький черный кейс из тех, что подешевле. Могу поклясться, что еще пять минут назад его здесь не было.

— Нет, — я покачал головой и на всякий случай отступил подальше.

Милиционер, озираясь по сторонам, воззвал к толпе:

— Граждане, чьи вещи?

Граждане, с приходом демократии отвыкшие уважать любую власть, а тем более такую белобрысую и краснорожую, признаваться не спешили, а только косились через плечо да фыркали.

Живое участие проявил лишь бородатый ветеран клозетного производства.

— А ничьи! — ухмыляясь до ушей, он, как бы взвешивая, приподнял кейс за ручку. — Ого, тяжеленький! Не иначе как золотыми слитками набит.

— Не трогай! — взвыл милиционер, почему-то ухватившись за козырек своего дурацкого кепи.

Надо сказать, что руки у оборванца были как крюки (в худшем смысле этого выражения). То ли он их на своем знаменитом заводе разбил, то ли отморозил, ночуя под открытым небом, но история с сигаретами повторилась один к одному — бесхозный кейс брякнулся на перрон.

А затем...

В этом месте своего рассказа я обычно прерываюсь. Хотя сказать есть о чем. Но эти речи могут впечатлить лишь тех, кто не знал иных страданий, кроме зубной боли да зуда в мочеис-

пускательном канале. Лично я придерживаюсь сейчас того мнения, что вопль, исторгнутый из самых недр человеческого существа (и неважно, чем он порожден — болью, страхом или удовольствием), гораздо выразительнее любых слов, пусть и самых прочувствованных.

Ну как, скажите, описать словами солнцезрачную вспышку, случившуюся в десяти шагах от тебя? Или звук, от которого мгновенно лопнула барабанная перепонка левого уха?

Короче говоря, не прошло и доли секунды, как я, ослепший и оглохший, кувырком летел вдоль перрона, то и дело сталкиваясь со своими товарищами по несчастью. Еще спасибо, что ударная волна не сбросила меня под колеса прибывающего поезда.

Впрочем, так, наверное, было бы и лучше.

Тут по всем канонам жанра полагается сделать многозначительную паузу... .

В бессознательном состоянии я оставался совсем недолго, чему впоследствии весьма удивлялись врачи-реаниматоры.

Зрение и слух вернулись, хотя и не в полной мере. Видел я как сквозь воду, а слышал как сквозь вату. Вот только пошевелиться не мог.

Помню едкий дым, застилавший все вокруг. Помню многоголосый и неумолчный женский крик. Помню, как мимо меня протащили злополучного оборванца, нос которого теперь походил не на морковку, а на чернослив. Помню, как вслед за оборванцем пронесли его же ногу, вернее, башмак с торчащим наружу кровавым обломком кости.

«А меня? Когда же будут спасать меня?» — хотел вымолвить я, но вместо этого изо рта вырвалось какое-то бессвязное мычание.

Сильно болело все, что находится у человека с левой стороны, от макушки до пяток, но в особенности скула. Окружающий мир, с давних времен закосневший в тяжких оковах трех пространственных координат, на сей раз вел себя весьма вольно — то сжимался, то расширялся, то перекашивался.

Надо сказать, что никакого страха смерти я тогда не испытывал. Просто было обидно, что на меня никто не обращает внимания. (Позже мне сказали, что я выглядел как стопроцентный мертвец, а этих эвакуировали в последнюю очередь.)

Похоже, что меня сильно задело взрывом, но соображать-то я соображал. Увидев, как милиционер, совершенно утративший свой прежний румянец, бережно несет на руках очень юную и

очень привлекательную девушку, я даже подумал с долей иронии, что следующий такой случай ему вряд ли представится.

Дым между тем рассеялся. Пожару разгореться не дали. Хотя что, спрашивается, может гореть там, где все каменное или железное? Разве что остатки проклятого кейса или чье-нибудь утерянное при взрыве пальто.

На перроне, напоминавшем мрачное батальное полотно из серии «После битвы», появились люди в униформе — серой, белой, оранжевой. Однако ко мне по-прежнему никто не подходил.

Если бы не боль, продолжавшая грызть тело, можно было предположить, что я окончательно превратился в труп, а за всем происходящим наблюдает со стороны моя воспарившая душа.

Тут, кстати, выяснилось, что правая рука действует. Я не преминул этим воспользоваться и, смутно догадываясь, что сейчас узнаю о себе много нового, стал ощупывать те части тела, до которых мог дотянуться.

Кишки наружу, слава богу, не торчали, зияющих ран нигде не обнаружилось, хоть чего-чего, а крови хватало. Впрочем, вскоре выяснилось, что эта кровь обильно подтекает под меня со стороны, от лежащей ничком женщины в синей железнодорожной шинели. Помню, я даже вздохнул с облегчением. Ох уж этот зоологический эгоизм, столь непристойный для воспитанного человека!

Немного передохнув, я приступил к изучению головы — по-видимому, наиболее пострадавшей части моего тела. (Вот уж действительно злой рок! И так все говорили, что я на голову слаб, а тут еще такая беда приключилась.)

Справа все было в порядке, зато стоило мне только коснуться левой щеки, как боль буквально взорвалась, извергнув из глаз фейерверк искр.

Мне бы полежать спокойно да поберечь силы, тем более что двое спасателей уже взвалили даму-железнодорожницу на носилки, а двое других с точно такими же носилками спешили ко мне, но попутало дурацкое любопытство.

Кончиками пальцев я опять коснулся лица и с ужасом убедился, что в скуле торчит солидный железный гвоздь из тех, которые в просторечье называются «половыми». Откуда он здесь взялся, нельзя было даже и предположить.

Не помню точно, но, наверное, я попытался выдернуть гвоздь, поскольку боль резанула так беспощадно, что сознание вновь погасло.

И на сей раз надолго.

...Много позже я узнал, что в кейсе, чей хозяин так и не был установлен, кроме самодельного взрывного устройства, находилось также несколько килограммов гвоздей, каждый из которых был разрублен на две части.

Основной ущерб моему здоровью нанес не обрубок со шляпкой, вошедший в гайморову пазуху, а другой, без оной, пробивший черепную коробку и застрявший глубоко в мозгу.

В принципе такие раны считаются смертельными, но история медицины знает и более заковыристые случаи. Некоторые счастливчики оставались живы даже после полной потери лобной или височной доли мозга, разве что характер у них портился, а в прошлом веке один ковбой, разъезжая по ярмаркам, демонстрировал сквозное пулевое ранение в череп, за осмотр которого брал с каждого желающего по доллару.

Мне в этом смысле повезло гораздо меньше. Все тело, за исключением правой руки и шеи, оказалось парализованным. Кроме того, я на пятьдесят процентов утратил зрение и слух, перестал ощущать запахи и заполучил несколько весьма обширных провалов в памяти.

Возможно, причиной моего плачевного состояния было присутствие в мозгу этого самого окаянного гвоздя, который мало того, что постепенно коррозировал, но и мешал нормальной циркуляции цереброспинальной жидкости (вот каких мудреных словечек я здесь со временем нахватался!).

Однако никто из нейрохирургов, занимавшихся мной, так и не решился извлечь гвоздь наружу. Дескать, предполагаемая операция сопряжена со смертельным риском, что противоречило медицинской этике.

Лицемеры! Потрошить живых собак и лягушек — так это запросто. А лишний раз поковыряться в черепе существа, на девять десятых уже мертвого, — святотатство.

Правильно говорил мой непутевый братец, в пику всем другим занятиям на свете избравший торговлю мотылем: не якшайся с милицией, пожарными и медиками. Милиция посадит, пожарные сожгут, медики залечат.

Впрочем, все эти эмоционально окрашенные умозаключения относятся к гораздо более позднему периоду, когда я уже малость оклемался и даже научился стучать одним пальцем по клавишам компьютера.

Нам же следует вернуться к событиям, непосредственно следующим за взрывом в метрополитене.

В сознание я пришел только спустя месяц, но еще долго не мог сообразить, кто я такой, где нахожусь и что вообще произошло. За последующие полгода мне сделали столько операций, что под это дело, наверное, пришлось истребить целое стадо баранов, из кишок которых, как известно, изготовляются хирургические нитки — кетгут. Про донорскую кровь, перевязочные материалы, антисептики и обезболивающие средства я уже не говорю. Счет тут, наверное, идет на бочки, рулоны и ящики.

Надо сказать, что мои проблемы не ограничивались одним только черепом. Я был нашпигован гвоздями так густо, что, по выражению рентгенолога, напоминал самого главного урода из фильма ужасов «Восставший из ада».

К счастью, ни один из гвоздей не задел сердце.

Естественно, что все это время меня держали на наркотиках. В еде, питье и утке я не нуждался. Все необходимое для жизнедеятельности организма поступало извне по пластмассовым трубочкам, оплетавшим мое тело наподобие щупальцев спрута, и примерно тем же манером уходило прочь.

Скажите, кто я после этого — человек или растение?

Старший и младший медперсонал общался со мной по тому же принципу, по которому прежде референты общались с Генсеком, а прежде прежнего — бояре с царем. То есть если о чем и докладывали, то новости плохие обязательно переиначивали в нейтральные, а нейтральные — в распрекрасные.

Из ласковых речей этих облаченных в белые халаты мясников и клизм выходило, что спустя год я уже смогу играть в футбол, плясать на собственной свадьбе гопака (лечащий врач у меня был хохол) и активно размножаться. О-хо-хо! Нет ничего проще, чем обмануть любящую женщину и больного человека.

Глаза на реальное положение вещей мне открыл не кто иной, как родной братец (по крайней мере, я тогда считал его таковым, хотя мы были схожи между собой, как боровик и бледная поганка, а кто из нас кто — решайте сами).

Если не считать следователя прокуратуры, это был первый посетитель, допущенный сюда после того, как мое положение более или менее стабилизировалось и инъекции морфина стали постепенно заменяться анальгином. (Мамаша моя от пережитых волнений сама захворала и уехала поправлять нервы в Испанию.)

Братец был уже слегка подшофе, хотя заметить это мог толь-

ко наметанный глаз. Кроме того, он прихватил с собой вместительную плоскую фляжку, к которой время от времени прикладывался якобы для поддержания душевного равновесия.

При том, что братец пил почти постоянно, к категории горьких пьяниц он отнюдь не относился. Просто алкоголь был для него примерно то же самое, что для Сократа — его знаменитый внутренний демон: советчик, указчик, где надо толкач, где надо — тормоз и даже, если хотите, внутренний стержень.

В трезвом состоянии братец напоминал тупую и безвольную амебу. Выпив, становился активен, предприимчив, изворотлив, красноречив.

Без бутылки он не мог принять ни одного мало-мальски серьезного решения. По пьянке он женился, по пьянке развелся, по пьянке создал свой мотылевый бизнес и, следуя традиции, разориться должен был тоже по пьянке.

Когда братец в очередной раз отхлебнул из фляжки, я поинтересовался:

— Что там?

— Текила, — ответил он.

— Богато живешь. В цене, значит, мотыль.

— Мотыль-то в цене, — кисло улыбнулся он. — Да от конкурентов спасу нет. На ходу подметки рвут. Не поверишь, совсем обнищал. Если что и нажил за последнее время, так это только три вещи: триппер, трахому и тремор, — он продемонстрировал свои дрожащие пальцы.

— Ну с триппером и тремором понятно. А трахома откуда? Я где-то читал, что в нашей стране она ликвидирована еще в тридцатые годы.

— Ага, вместе с больными... Впрочем, я не так давно в Малайзию летал. К тамошнему мотылю присматривался. Вполне возможно, что в тех краях и заразился. Сейчас одна муть в глазах стоит... Не жизнь, а просто каторга.

— Хочешь, чтобы я тебя пожалел, такого разнесчастного?

— Вот это не надо! — решительно отказался братец, но, немного подумав, добавил: — Хотя в каком-то смысле можно пожалеть и меня.

Смысл этой довольно загадочной фразы дошел до меня гораздо позднее.

Разговор у нас с самого начала как-то не заладился.

И ладно, если бы я себя неправильно повел, какой спрос с человека, у которого гвоздь в мозгу засел, так нет же — братец всю малину испортил.

Вместо того чтобы ободрить меня, поддержать добрым словом, отвлечь от тяжких дум, внушить надежду, пусть и призрачную, он вдруг стал резать голую правду-матку, столь же неприемлемую в больничной палате, как, скажем, ложь — в церковной исповедальне.

(Кстати говоря, все подробности о состоянии моего здоровья братец выведал у одного местного врача, с которым был шапочно знаком опять же на почве того же самого мотыля.)

С его слов выходило, что перспективы на улучшение у меня нет никакой. Да, со временем я научусь питаться с ложечки и смогу самостоятельно испражняться в памперсы (есть уже, оказывается, такие — специально для взрослых), но появятся проблемы с вентиляцией легких, пролежнями и, конечно же, с психикой.

Отпущенные мне пять или шесть лет превратятся в непрерывную пытку, в сравнении с которой муки всех Танталов, Сизифов, Прометеев и Данаид покажутся легкой щекоткой.

Более того, я стану обузой для семьи, поскольку в самое ближайшее время клиника постарается от меня избавиться. Все заботы падут на мать, еще не утратившую шанса устроить личную жизнь, а расходы, естественно, на него, братца. Это при том, что сейчас даже обыкновенные антибиотики стоят бешеных денег. Тут целого центнера мотыля в месяц не хватит!

Какая-то логика в его словах, безусловно, была. Со всех сторон выходило, что я мерзкий эгоист и неблагодарный корыстолюбец, сознательно загоняющий в гроб мать и разоряющий брата. Подспудно даже проскальзывала мысль, что взрыв в метро я подстроил специально, дабы впоследствии безбедно существовать на правах инвалида.

— Выходит, что мне лучше было бы сразу подохнуть? — напрямик спросил я.

— Не надо передергивать, — сразу спохватился братец. — Я так не говорил. Но против правды не попрешь. А я, сам знаешь, всегда стоял за правду.

— Разве? — я не преминул уязвить его. — И в тот раз, когда продал на рынке отцовские ордена, а вину хотел свалить на меня? И когда торговал подкрашенной смесью вареного риса и рыбьего жира, выдавая ее за красную икру?

— Ты еще про детский садик вспомни! — обиделся он и немедленно приложился к фляжке.

Тут я проявил слабость — разревелся. И даже не от осознания своей обреченности, сколько от обиды.

Во всем этом огромном и разнообразно устроенном мире, где гуманистические ценности приобретали все больший вес, где был расшифрован геном человека, где полным ходом шло объединение Европы, где людей давно перестали жечь на кострах за убеждения, где почти искоренили каннибализм, где стабилизировались цены на энергоносители и услуги падших женщин и где только одних китайцев насчитывалось полтора миллиарда, я вдруг оказался таким одиноким, словно ударная волна проклятой бомбы забросила меня куда-нибудь на Марс.

Брат, превратно истолковавший мои слезы, шепотом предложил:

— Хочешь, я тебе текилы в капельницу плесну? Сразу на душе полегчает.

— Ты бы лучше, гад, какого-нибудь яда туда плеснул! — ответил я сквозь слезы. — Все бы проблемы сразу и разрешились.

— Ага! — хитровато улыбнулся он. — Не хватало еще, чтобы меня потом в твоей смерти обвинили.

— Вот чего ты боишься! Не моей смерти, а собственных неприятностей.

Упрек, конечно, вышел малоубедительный, но отповедь я получил по полной программе. Братец, постоянно черпавший из фляжки все новые и новые силы, стал горячо доказывать, что неприятностей он как раз и не боится, поскольку нельзя бояться того, что уже и так висит на шее, а вот мне следует вести себя скромнее и не взваливать собственные беды на всех подряд, а в особенности на близких.

Тут спешно появилась медсестра, наблюдавшая за нашей милой беседой сквозь стеклянную дверь палаты, и чуть ли не взашей принялась выталкивать братца вон.

Когда этот подонок был уже за порогом, я неизвестно почему крикнул ему вслед:

— А каков хоть мотыль в Малайзии?

— Высший сорт! Не мотыль, а удав! На такую наживку даже сома можно ловить! Кто его у нас сумеет развести, сразу разбогатеет! — слова эти безо всякого сомнения шли у братца от самого сердца, в котором нашлось достаточно места для жирных, противных личинок, а вот для меня — нет.

Мысль о самоубийстве, в течение всего срока пребывания в клинике никогда окончательно не покидавшая меня, во время перепалки с братцем созрела окончательно. Более того, я решил не откладывать дело в долгий ящик.

Действовал я скорее под влиянием аффекта, чем по заранее разработанному плану — оборвал все трубочки, до которых смог дотянуться правой рукой, опрокинул капельницу, а потом стал обдирать с головы бинты.

Однако я был плохого мнения о бдительности дежурного персонала (или просто выбрал неудачное время). Не прошло и минуты, как медсестра (не та, что выгоняла братца, а другая, помоложе) оказалась тут как тут, а спустя четверть часа возле моей койки собрался целый консилиум, первую скрипку в котором играли не нейрохирурги, формальные хозяева этого отделения, а пришлые психиатры, владения которых располагались в соседнем корпусе.

— Вы делаете большую ошибку, молодой человек! — заявил один из них, пухлый, словно надутая насосом резиновая игрушка. — Вспомните высказывания классика русской литературы Куприна о ценности и неповторимости человеческой жизни...

Мне бы каяться или, в крайнем случае, молчать, так нет же, не удержался, сцепился в споре с ученым человеком:

— Это насчет того, что жизнь надо любить, даже оказавшись под колесами железнодорожного состава? — уточнил я, а когда психиатр машинально кивнул, добавил: — Почему бы Куприну и не восславлять жизнь, если он большую ее часть из кабаков не вылазил. Но лично мне ближе высказывание другого русского классика: «Не хочу я быть настоящим, и пускай ко мне смерть придет».

— Кто же такую глупость мог сморозить? — удивился он. — Не иначе какой-нибудь декадент.

— Нет, акмеист Осип Эмильевич Мандельштам. И эти строки он написал на стене лагерного барака, подыхая от голода и цинги.

— Парафреновый синдром, — толстяк обменялся взглядом со своим коллегой, стоявшим у меня в головах.

— Нет, скорее синдром Корсаковского, — возразил тот. — Но, во всяком случае, клиент нашего профиля.

Они отозвали в сторону моего лечащего врача Михаила Давыдовича и долго что-то втолковывали ему, в то время как медсестры восстанавливали порушенную систему пластмассовых трубочек, меняли капельницу и прибинтовывали мою правую руку к койке.

— Доигрался ты, Олег, — сказал Михаил Давыдович после того, как психиатры покинули палату. — Будешь теперь на особом контроле. А твой поступок я расцениваю как черную небла-

годарность. Особенно учитывая количество сил и средств, затраченных на лечение.

— После лечения человек выздоравливает, — дух противоречия продолжал тянуть меня за язык, что, наверное, и было одним из признаков загадочного «парафренового синдрома». — А мне это не грозит. Зачем же зря тратить лекарства и отнимать время у занятых людей?

— Не дури. Курс лечения не закончен. В нашем деле бывают самые неожиданные случаи ремиссии. Тем более что организм у тебя такой молодой... Шанс на благополучный исход всегда имеется. — Не знаю, кого хотел успокоить Михаил Давыдович — меня или себя самого.

Меня щедро накачали успокоительным и наконец-то оставили в покое. Уже проваливаясь в пучину тяжкого обморочного сна, я поклялся, что при первой же возможности возобновлю попытки раз и навсегда покончить с этой постылой жизнью.

Как она ко мне, так и я к ней.

С какой мыслью я уснул, с такой и проснулся. Это хорошо. Значит, у меня начала вырабатываться психологическая установка. Что это такое — расскажу позже.

За это время в палате мало что изменилось, только на прикроватном столике появился какой-то мудреный прибор типа осциллографа, провода от которого уходили под марлевую чалму, намотанную на мою бедную головушку.

По белому потолку ползла одинокая муха, а это означало, что в мире, который я собрался покинуть, наступила весна.

Оно и к лучшему. Меньше будет мороки с могилой. А то помню, когда хоронили отца, промерзшую почти на метр землю пришлось разрушать буровой, предназначенной для установки электрических опор. Обошлось это нам в четыре бутылки водки. Бурильщик прямо так и сказал: «Четыре дырки — четыре бутылки. Зимняя такса. А нет, так будете ломами целые сутки махать».

Судя по тишине в коридоре и расположению теней на стене, стояло раннее утро. Счеты с жизнью надо было покончить еще до прихода медсестры, иначе ее болтовня и живая мимика могли отвлечь меня от задуманного.

Возможности мои, надо признаться, были весьма ограничены. После того как мою нашкодившую руку лишили подвижности, я — увы — мог положиться только на разум и на волю (тем более, разум ущербный, а волю, подточенную бесконечными инъекциями анальгетиков и барбитуратов).

Говорят, что есть люди, способные по собственному желанию регулировать частоту сокращения сердца и даже останавливать его. Я к числу таких талантов, к сожалению, не принадлежу. Не подвластны мне и другие внутренние органы (стыдно сказать — с некоторых пор даже мочевой пузырь). Выход один — прекратив дыхание, умереть от кислородного голодания. Будем надеяться, что это мне по силам.

Освежив в голове психологическую установку: «Умереть, умереть, умереть...», я сделал глубокий выдох и весь напрягся, дабы не позволить воздуху самопроизвольно проникнуть в легкие. Сонная муха продолжала свой затяжной рейд по потолку, и, наверное, это было последнее, что мне предстояло увидеть в земной жизни.

Так прошла минута, другая, третья.

Я держался из последних сил, и вскоре в глазах стало темнеть, а в ушах раздался похоронный звон. Однако умереть я не смог. Стоило сознанию слегка померкнуть, как освободившиеся от его диктата легкие стали на путь прямого саботажа, то есть задышали на полную катушку.

Мое тело, превратившееся в бесполезные руины, тем не менее не хотело умирать окончательно. Доводы разума не находили отклика у тупой плоти, доставшейся нам в наследство от трилобитов и динозавров.

Целый день с небольшими перерывами я продолжал это самоистязание, однако добился только того, что у меня носом хлынула кровь.

Это обстоятельство на некоторое время зародило новую надежду, хотя, если честно, мне не доводилось слышать о людях, скончавшихся от носового кровотечения. Но тут, как назло, появилась вездесущая медсестра. Она быстро уменьшила поступление физраствора из капельницы и вставила мне в ноздри ватные тампоны, пропитанные перекисью водорода.

Ближе к вечеру в палату заглянул пухлолицый и полнотелый психиатр, накануне пытавшийся наставить меня на путь истинный посредством цитат из Куприна (которого я, кстати сказать, терпеть не могу).

Разговор у нас получился весьма содержательный, хотя я все время чувствовал себя, как иностранный агент, которого испытывают на детекторе лжи.

В заключение он, как бы между прочим, заметил, что творчество Осипа Эмильевича Мандельштама, поэта безусловно замечательного, противопоказано для юных впечатлительных душ,

не успевших очерстветь в житейских передрягах. Ведь буквальное понимание фразы «Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу», может привести к непредсказуемым последствиям.

Я спорить не стал. Глупо вступать в полемику, стоя на самом краю вечности. Это то же самое, что станционному зеваке переругиваться с пассажирами мчащегося мимо скорого поезда.

А психиатр-то оказался очень не прост. Уверен, что еще вчера про Осипа Эмильевича, этого «семафора со сломанной рукой», он и слыхом не слыхивал. Зато сегодня, надо же, — цитирует.

День пошел насмарку. Вся надежда теперь была на ночь. Но сначала следовало добиться, чтобы психологическая установка, уже завладевшая сознанием, распространилась также и на периферическую нервную систему, включая вегетативный отдел.

Что это такое, поясню на примере, взятом из средневековой истории. Пример, кстати, вполне достоверный. В те времена морские разбойники свирепствовали даже на Балтике. Само собой, что это не нравилось ни купцам, ни рыбакам, ни прибрежным жителям. И вот главарь одной такой пиратской шайки угодил в руки властей. Да не один, а вместе со всеми подручными. С приговором долго тянуть не стали — лишить всех головы, и баста!

По тогдашним законам каждый осужденный на смерть имел право высказать последнее желание, в пределах разумного, конечно. Воспользовались этим правом и наши разбойники. Кто-то потребовал кружку рома, кто-то трубочку, кто-то свидание с родней. Желания простые и вполне приемлемые.

Зато главарь озадачил судей. Во-первых, он хотел, чтобы ему отрубили голову в первую очередь. Во-вторых, просил помиловать тех своих соратников, мимо которых сможет пройти в обезглавленном виде.

Подумав немного, судьи согласились. Все были уверены, что у главаря ничего не выйдет. Ведь человек, в конце концов, не петух, который и без головы способен бегать.

Палач был специалистом своего дела и снес осужденному голову с первого удара. Тем не менее тот встал на ноги и, обливаясь кровью, двинулся вдоль шеренги своих соратников.

Он успел миновать семерых и, безо всякого сомнения, пошел бы дальше, но коварный палач, которому за каждую голову платили поштучно, швырнул ему под ноги свой топор.

Всех осужденных потом, естественно, казнили, честное слово властей и в те времена ничего не значило, но дело не в этом. Главарь разбойников поставил перед собой такую четкую и сильную психологическую установку, что тело повиновалось ей даже при полном отсутствии головного мозга.

Если нечто подобное удастся повторить и мне, смерть станет желанием столь же осуществимым, как, например, отход ко сну или утоление жажды.

Но пока это не произошло, я должен был беспрестанно внушать себе: «Умереть, умереть, умереть... Уйти, уйти, уйти...»

И когда мне уже стало казаться, что тленное тело согласно отпустить на волю бессмертную душу, внезапно напавший сон спутал все мои планы.

Впрочем, ничего удивительного тут не было — в этот день я намаялся как никогда. Так что даже снотворное не потребовалось...

ОЛЕГ НАМЕТКИН, НЕУДАВШИЙСЯ САМОУБИЙЦА

Что такое сон (так и хочется, вопреки законам орфографии, написать это слово с большой буквы), вновь возвращающий человека в благословенные былые времена, когда он был молод, здоров, свободен, бесшабашен и любвеобилен, лучше всего известно заключенным, отбывающим длительные срока, да прикованным к койке калекам.

Для них сон — это часть жизни, столь же неотъемлемая, как явь, это единственный способ показать кукиш злосчастной судьбе, это счастье и мука. Набегавшись по цветущим лугам за девками, приласкав своих детей и наказав обидчиков, они просыпаются потом на нарах в душной камере или на хирургической койке в душной палате и, осознав, что все недавно пережитое — лишь иллюзия, лишь мираж, в кровь кусают губы.

В сети этого сладкого обмана, столь же древнего, как и человеческий род, доводилось попадаться и мне, особенно в последнее время.

Сон, посетивший меня на сей раз, был необычайно детален, странен (странен именно в силу своего реализма) и тематически, так сказать, резко отличался от всего того, что бог Морфей посылал мне прежде.

Начался он ощущением... как бы это лучше выразиться... нет, не падения, а быстрого и плавного скольжения, словно бы я, вернувшись в детство, катаюсь на санках с ледяной горы.

О последующих своих впечатлениях мне говорить как-то даже неудобно... Но куда денешься? До ранения я был вполне нормальным парнем, не обделявшим противоположный пол своим вниманием, но в клинике многие прежние страсти покинули меня. В том числе и страсть к продолжению рода, опоэтизированная людьми сверх всякой меры. Ничего не поделаешь — тело мое ниже пояса было практически мертво. Сейчас же, скатившись по невидимой, существующей только в моем сознании горке, я очутился в страстных (простите за банальность, но другого выражения не подберешь) женских объятиях. Нас окружал жаркий, душистый мрак (и это при том, что я давным-давно не ощущал никаких запахов, даже резкую вонь хлорки).

Ничего не могу сказать за женщину, но, судя по всему, акт любви — испепеляющий, как разряд молнии, и почти такой же краткий, — для меня уже закончился.

На смену плотскому (читай — скотскому) удовлетворению быстро пришла мучительная тоска, хорошо знакомая любому совестливому человеку, внезапно открывшему в себе какой-то моральный изъян.

Как бы почувствовав это, женщина выпустила меня из объятий и отстранилась. Запели пружины кровати.

«Что случилось? — спросила она голосом, родившим во мне смутные, явно не поддающиеся анализу ассоциации. — Тебе плохо?»

«Сам не пойму, — буркнул я. — С головой что-то... Все перемешалось».

«Пить меньше надо», — произнесла она наставительно.

«Да не пил я вроде сегодня».

«Как же не пил, если я сама тебе наливала?»

«Это не считается...» — слова выскакивали из меня как бы сами собой, безо всякой связи с мыслями.

«Ничего, сейчас полегчает».

Руки женщины вновь пустились в путешествие по моему телу, однако ощущение было такое, будто бы это змеи вкрадчиво и осторожно прикасаются ко мне, выискивая место, наиболее удобное для смертельного укуса.

«Пора собираться, — сказал я. — Как говорится, хорошего понемножку».

«Побудь еще, — нотки обиды появились в ее голосе. — Муж сегодня до утра дежурит».

«Говорю, плохо мне... Совсем ничего не соображаю. Отравился, наверное».

Я сел на край кровати и стал в темноте одеваться. Гардеробчик был какой-то странный — кальсоны, галифе, сапоги с портянками. Ничего похожего я отродясь не носил, но руки сами собой застегнули все многочисленные пуговицы и замотали портянки, а ноги, опять же сами собой, нырнули в сапоги.

Уже встав, я поверх тесного кителя приладил какую-то сложную сбрую, кроме всего прочего отягощенную еще и пистолетной кобурой. Зачем мне — пусть и во сне — понадобилось оружие, трудно было даже предположить.

И тут меня качнуло из стороны в сторону, как марионетку в руках неопытного кукловода. С ночного столика рухнула ваза, но благодаря ковровой дорожке, похоже, уцелела.

«Да ты и в самом деле нездоров! — воскликнула женщина, на ощупь отыскивая халат. — Вызвать «Скорую»?»

«Еще чего не хватало... Лучше проводи до дверей. Только свет не включай».

Уже и не помню, как я очутился в замусоренном подъезде, потолок которого был утыкан черными скелетиками сгоревших спичек, а стены испещряли матерные слова, исполненные явно детской рукой.

Добавив ко всему этому неистребимое зловоние мочи, латаные-перелатаные двери и почтовые ящики, в прошлом неоднократно служившие местом аутодафе для писем и газет, можно было прийти к выводу, что здесь проживают сплошь философы-киники, предпочитающие вопиющую бедность сомнительным благам богатства.

Снаружи стояла ночь, слякотная и зябкая, а вдобавок черная, как межгалактическое пространство. Голая лампочка над подъездом освещала только ближайшие окрестности в радиусе десяти шагов да обшарпанную стену дома, на которой гудроном было намалевано: «ул. Солнечная, д. 10, кор. 2».

Эта недобрая осенняя ночь так соответствовала состоянию моей души, что я нырнул в нее чуть ли не с благоговением, как жаба в родное болото, как больной зверь в глухую берлогу. Ноги сами выбирали путь, надо было только не мешать им. Куда я шел — не знаю. Но только не домой, потому что впереди расстилался мрак, не дающий никаких надежд на существование человеческого жилья. В таком мраке могли обитать разве что волки да еще, по слухам, упыри.

Внезапно я остановился, словно наткнувшись на невидимую преграду. Впереди маячило огромное голое дерево. Кто-то таил-

ся в его тени, явно поджидая меня. Рука машинально тронула кобуру, но тут же отдернулась.

«Не спится?» — спросил человек, силуэт которого был почти неразличим во мраке.

«Как видишь», — ответил я, чувствуя стеснение в груди и дрожь в коленках.

«Порядок проверяешь?» — продолжал человек, которого, могу поклясться, я уже встречал прежде, и не во сне, а наяву.

«И его тоже».

«К моим не заходил?»

Надо было ответить «нет», но я успел судорожно сглотнуть это слово, уже готовое сорваться с языка, и ответил, как топором отрубил: «Заходил».

«Вот, значит, как», — с расстановкой произнес человек и стал чиркать спичкой о коробок.

«Сырые, — сказал я, — возьми мою зажигалку».

Рука, вновь задев кобуру, потянулась к карману галифе.

«Ничего, обойдусь. — Спички в его руках ломались одна за другой. — Мы уж как-нибудь сами».

«Что будем делать?» — выдавил я из себя.

«Не знаю, — ответил он. — Не знаю».

«Прости меня, если сможешь».

«Бог простит. А я не могу».

Отбросив коробок, он пошел прочь усталой и шаткой походкой много дней подряд отступающего солдата.

Я остался столбом торчать на прежнем месте. Вихрь мыслей метался в голове, причем мыслей таких, которые никогда не могли принадлежать мне.

Окружающий мир неумолимо стягивался, давя на сердце и душу, пока из черной бесконечности не превратился в черный тупик, имевший один-единственный выход. Внутренне я был давно готов к этому. «Умереть, умереть, умереть, — билось в сознании. — Уйти, уйти, уйти».

Отстегнув клапан кобуры, я потянул за торчащий сбоку специальный ремешок, и пистолет сам прыгнул мне в ладонь (господи, откуда только взялись эти навыки?).

Патрон, как обычно, был в стволе, оставалось только снять предохранитель. Приставляя дуло к виску, я невольно направил его туда, где в глубине мозга должен был сидеть проклятый гвоздь. Клин клином вышибают.

«Не надо!» — завопил кто-то внутри меня.

«Умереть, умереть, умереть», — ответил я.

Вспышка. Удар. Вкус крови. Запах сгоревшего пороха. Смерть.

Меня завертело, как листок в бурю. Ночь разлетелась на мириады осколков, а потом съежилась до размеров печной трубы, оба конца которой уходили в бесконечность. Бездна была вверху, бездна была внизу, и мне надо было выбирать какую-либо из них.

Не знаю почему, но я рванулся вверх (наверное, гимн «Все выше, и выше, и выше...» засел в генах). Меня понесло, понесло, понесло, понесло куда-то и вышвырнуло на больничную койку, обжитую и знакомую, как вурдалаку — его гроб, мумии — саркофаг, а грешнику — адский котел.

Электрический свет, бивший прямо в глаза, ослепил меня, а дружный радостный вскрик едва не оглушил.

— Жив, — произнес Михаил Давыдович с облегчением. — Ну слава те, господи!

— Рассказать кому, не поверят! — медсестра Нюра по молодости лет еще способна была чему-то удивляться.

— То-то и оно, — с сомнением произнес реаниматолог Стась. — Случай беспрецедентный. Даже и не знаю, стоит ли его фиксировать.

— Фиксируй, фиксируй, — распорядился Михаил Давыдович.

— Я-то зафиксирую. Только потом от всяких комиссий отбоя не будет... Ох, грехи наши тяжкие!

— Олег, как ты себя чувствуешь? — Михаил Давыдович склонился надо мной.

— Нормально.

— Что с тобой было?

— Ничего.

— Как ничего, если у тебя почти час полностью отсутствовала активность головного мозга? Понимаешь, полностью! Вот энцефалограмма, — он взмахнул длинной бумажной, так и норовившей свиться в спираль. — Альфа-ритма нет. Бета-ритма нет. Тета-ритма нет. Даже дельта-ритма нет. У покойника, пока он еще не остыл, энцефалограмма лучше бывает.

— Вам виднее. Вы университеты кончали, — рассеянно произнес я. — А тот погиб?

— Кто? — вопрос мой, похоже, слегка ошарашил Михаила Давыдовича.

— Ну тот... с пистолетом. Военный или милиционер.

— Тебе привиделось что-то?

— Нет, не привиделось, — уперся я. — Он жить хотел. А я его заставил. Умереть, умереть, умереть...

— Ты заставил его умереть? — догадался Михаил Давыдович.

— Ага.

— За что?

— За дело.

— За какое?

— Кабы я знал! Но он-то свою вину чуял. Поэтому сначала и не сопротивлялся. Только под конец опомнился. Но поздно было. Пуля в виске. Умереть, умереть, умереть...

— Тэк-с, — Михаил Давыдович выпрямился. — Похоже, долечиваться ты будешь в психушке. А пока поспи еще. Нюра, сделай соответствующий укольчик. И глаз с него не спускай.

В тот же день, но уже ближе к вечеру, меня посетил толстяк-психиатр, на этот раз соизволивший представиться. Звался он простецки — Иван Сидорович, а вот фамилию имел забавную — Котяра. Не Кот, не Котик, не Котов, а именно Котяра.

Перечисление всех его ученых степеней, титулов и званий заняло бы слишком много места. Скажу только, что докторскую диссертацию Иван Сидорович Котяра защитил еще в те времена, когда я под стол пешком ходил.

— Я закурю, с вашего позволения, — сказал он первым делом.

— Пожалуйста, — я постарался изобразить радушного хозяина. — Закуривайте, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Можете даже галоши снять.

— Как я понимаю, мысль о самоубийстве вас не оставляет, — не обращая внимания на мои шуточки, поинтересовался он.

— Есть такое, — признался я.

— И говорят, что под эту марку вы кого-то уже застрелили? — курил он тоже по-простецки, стряхивая пепел в кулек из газетной бумаги.

— Так то во сне!

— Ничего себе сон у вас. С полным прекращением мозговой деятельности. Честно скажу, что с подобным явлением я сталкиваюсь впервые.

— Сон у меня обыкновенный, как у всех. Вы лучше свои приборчики отрегулируйте, чтобы у них стрелки не зашкаливали.

— Поучи, поучи меня, старика.. А не то я за тридцать лет практики в своем деле так ничего и не понял...

— Вот вы сразу и обиделись, — печально вздохнул я.

— Нисколечки, — он едва заметно улыбнулся (улыбаться заметно ему не позволял добрый слой подкожного жира), — это хирурги на своих пациентов могут обижаться. Или венерологи. Но только не психиатры. Как можно обижаться на шизофреников или маньяков?

— А я по вашей классификации кто буду?

— Пока только неврастеник... Но вы бы лучше про свой знаменитый сон рассказали.

А почему бы и нет, подумал я. Сон-то действительно странный. Чертовщиной какой-то попахивает. Вот пусть этот Котяра и разбирается. Как-никак доктор медицинских наук. Светило. На разных там психоанализах собаку съел.

И я как можно более подробно пересказал все, что приснилось мне прошлой ночью. Упомянул и про чужую постель, в которой я оказался на пару с любвеобильной женщиной, и про свое скверное самочувствие, и про дом номер десять по улице Солнечной, и про странный разговор в ночи, и про приставленный к виску пистолет, и про случившееся в последний момент раздвоение личности.

Умолчал я только про свои опыты, связанные с выработкой психологической установки на самоубийство.

— Забавно, — сказал Иван Сидорович, дослушав мою исповедь до конца. — Весьма забавно. Так говорите, вы во сне и запахи ощущали?

— Ощущал.

— А сейчас? — он помахал перед моим носом дымящейся сигаретой.

— А сейчас ничего.

— И половое удовлетворение испытывали?

— Как вам сказать... — я замялся. — К тому времени уже все закончилось. Осталось за пределами сна... Ну, короче, вы меня понимаете.

— Если я не ослышался, сначала вам казалось, что вы в той истории — главное действующее лицо. Так?

— Так.

— Но потом возникло подозрение, что здесь вы не один? — он постучал пальцем по своей башке, очень напоминавшей приплюснутый с полюсов рельефный глобус, на котором из розового океана лоснящейся кожи торчали лесистые острова бровей, архипелаги мелких бородавок и обширные континенты губ и носа.

— Примерно... Хотя сон есть сон. Как его объяснить? Все так смутно...

— У вас как раз и не смутно! — возразил он. — Сколько деталей. Да еще каких! А ведь обычно они выветриваются из головы сразу после пробуждения.

— У нормальных людей они выветриваются, — произнес я многозначительно. — А у меня гвоздь в мозгах застрял. Возможно, он сновидения к себе магнитом притягивает.

— Возможно, возможно, — задумчиво повторил Иван Сидорович. — Сон, знаете ли, явление весьма загадочное. Относительно его природы существует множество гипотез. Но истина пока не установлена.

— Кто же вам мешает ее установить? Действуйте. Нобелевку получите.

— Совет дельный. Вот если бы вы мне еще и помогли... — Трудно было понять, шутит он или говорит серьезно.

— Много вам проку от калеки.

— Не скажите... Так, значит, на этой Солнечной улице вы прежде никогда не бывали?

— Даже не знаю, где это.

— Тогда на сегодня, пожалуй, и хватит, — прежде чем встать, он уперся руками в колени. — Я тут распорядился телевизор в вашу палату поставить. Если хотите, медсестра книжки почитает. Вы какие больше любите? Поэзию?

— Нет, эссеистику. Что-нибудь из Карлейля или Монтеня... А за что такая честь?

— Потом узнаете... Время у нас еще будет. А мысли о самоубийстве советую из головы выбросить. Теперь я сам буду вами заниматься. Если на ноги и не поставлю, то к активной жизни обязательно верну. Президент Рузвельт полжизни в инвалидном кресле провел, зато, неслыханное дело, на четыре срока подряд избирался. Главное, не падать духом.

— И за чей же счет, интересно, я буду существовать? — Фраза братца о центнере мотыля, необходимого на мое содержание, не шла из головы. — За ваш?

— Пока за счет науки, — ответил Иван Сидорович. — А впоследствии, в чем я почти уверен, вы и сам научитесь зарабатывать.

Едва только дверь за психиатром Котярой закрылась, как ко мне заявилась медсестра Нюра.

— Что этот бегемот хотел от тебя? — осведомилась она тоном ревнивой жены.

— Сказал, чтобы все вы ублажали меня. Телевизор сюда поставили. Книжки читали.

— Про эти новости я уже знаю. А что еще?

— А еще медсестры должны беспрекословно исполнять все мои пожелания. Ну-ка быстренько изобрази стриптиз!

— Я не против. Только за белье стыдно. Вторые сутки без смены. Взмокла вся, как сучка.

— Это меняет дело, — сразу согласился я, тем более что великовозрастная Нюра не привлекала меня ни в одетом, ни в голом виде.

— Я вот что хочу тебе сказать, — она подошла поближе. — Ты, Олежек, с этим бегемотом не связывайся. Он не лечить тебя будет, а опыты над тобой ставить. Как над морской свинкой.

— С чего ты это взяла?

— С того! Лечат врачи. Ординаторы. А он, заметь, профессор. У него амбиций выше нашей крыши. Болезнь Альцгеймера есть. Болезнь Боткина есть. А болезни Котяры нет. Вот он и мечется по клиникам, отыскивая для себя какой-нибудь уникальный случай. А потом раскручивать его будет. Не ты первый, не ты последний.

— Так я, значит, уникальный случай?

— Ему виднее.

— Вот подвезло так подвезло! Гвоздь из моей башки потом, наверное, в музее выставят. Вместе с дырявой черепушкой.

— Не заводись, Олежек. Большая просьба у меня к тебе будет. Пусть этот разговор останется между нами.

— Обещаю. Но любезность за любезность. Не коли мне сегодня на ночь снотворное. Я и так усну. Естественным образом.

— Ладно, — согласилась она. — Только смотри у меня, без фокусов...

Свое решение я менять не собирался. Тем более что это было никакое не решение, а принципиальная жизненная (вернее, антижизненная) позиция. Такими вещами не шутят.

А главное, я уже почти дозрел до такой кондиции, когда поступок, прежде абсолютно неприемлемый, кажется единственно возможным. Вчера ночью я уже почти добился своего, да силенок не хватило. Зато сегодня, чувствую, все должно решиться раз и навсегда.

Что касается лукавых посулов Котяры, то меня они ничуть не заинтересовали. Я не хочу быть обузой для семьи, но и в подопытного кролика превращаться не собираюсь. Нашли дурачка!

Если этим нехристям одного гвоздя мало покажется, они мне и второй в голову забьют. Им ведь наука превыше всего.

А самое смешное то, что он хотел меня купить телевизором. Как будто бы мне интересно смотреть, как другие гоняют мяч, рубятся на мечах и огуливают барышень. Это то же самое, что голодного дразнить видом самой аппетитной снеди. Вот был бы специальный канал для инвалидов — тогда другое дело.

Нюра, убавив свет до минимума, удалилась к себе на пост. Клиника затихла, только в корпусе напротив орали роженицы да возле подъезда приемного отделения то и дело хлопали дверцы машин «Скорой помощи».

Я расслабил все мышцы, еще пребывавшие под моим контролем, и постарался отрешиться от суеты, которой за сегодняшний день хватало с лихвой. Все тленное, сиюминутное, суетное уходило из меня, уступало место пустоте, в которой мерно — в такт ударам сердца — звучало сакраментальное: «Умереть, умереть, умереть... уйти, уйти, уйти...»

Сначала я утратил ощущение времени, а потом — ощущение своего тела. Казалось, еще чуть-чуть — и последняя ниточка, связывающая меня с этим миром — мое деформированное гвоздем сознание, — навсегда оборвется.

«Умереть, умереть, умереть... Уйти, уйти, уйти...»

Вот уже что-то сдвинулось во мне. Последнее усилие — и я присоединюсь к сонму эфирных созданий, населяющих астрал. Оттуда, пусть и незримый для смертных, я покажу дулю своему братцу и язык психиатру Котяре. Ну, еще немного! Тужься, тужься, как говорят роженицам акушеры.

Под аккомпанемент «умереть, умереть, умереть...» я поднатужился, но не взмыл вверх, что было бы логично, а вновь стремительно заскользил вниз — в область дурных снов и воплощающихся в реальность кошмаров.

На сей раз спуск занял гораздо больше времени — то ли горка оказалась длиннее, то ли я не проявил прежней прыти. Один раз, помню, меня как бы повело в сторону и едва не развернуло, но затем мистическое скольжение возобновилось в прежнем темпе.

Я вылетел на свет, но он не ослепил меня, возможно, потому, что глаза застилали слезы.

Место, куда меня занесло, было мерзким — какой-то заброшенный хлев. И пахло здесь мерзко — дерьмом (причем не благородным, конским или коровьим, а свинячьим), замоченными

для выделки шкурами и бардой, оставшейся от самогонного производства.

Да и положение мое было незавидное. Кто-то крепко держал меня за волосы, не давая поднять лицо от перепревшей сенной трухи, при этом выворачивал правую руку да еще пребольно поддавал чем-то сзади в промежность.

— Что ты делаешь, паразит! — истошно орал я (и почему-то женским голосом), — меня фрицы пальцем не тронули, а родной красный боец ссильничал! Мы же вас как ангелов небесных ждали! Как на бога молились! Все командирам расскажу! Пусть тебя, гада такого, трибуналом судят!

— Молчи, сука! — промычал кто-то за моей спиной. — Задушу!

Не успел смысл происходящего дойти до меня, как эта позорная пытка окончилась. Меня смачно огрели всей пятерней по голой заднице и отпустили на волю. Только сейчас, обернувшись, я воочию узрел своего мучителя — плюгавенького никудышного солдатика, на которого просто плюнуть хотелось.

Это я и сделал с превеликим удовольствием, но от болезненного удара в грудь (и откуда только у меня взялась такая округлая и мягкая грудь?) тут же свалился в кучу прошлогоднего сена, где колючек было куда больше клевера.

Спускать обиду было не в моих правилах, и, преодолевая некое странное внутреннее сопротивление, я попытался вскочить, но запутался в одежках — задранной к поясу юбке и, наоборот, спущенных ниже колен трусах и чулках.

Я не успел даже удивиться, почему облачен в женское убранство, как руки сами собой, вне зависимости от моей воли, навели порядок — щелкнув резинкой, подтянули трусы и одернули юбку.

— Красную Армию, говоришь, ждала, — похабно скривился солдатик. — А исподнее немецкое носишь. Знать, заслужила чем-то, подстилка фашистская.

Только сейчас я понял, что одет в женское платье не случайно, что я и в самом деле натуральная женщина со всеми присущими ей от природы причиндалами. Это было ужасно само по себе, но еще ужасней был тот факт, что меня изнасиловал и избил вот такой недоносок, которого я в своем прежнем виде (до взрыва в метро, конечно) пришиб бы одним пальцем.

Человек я от природы довольно спокойный, но сейчас на меня накатила прямо-таки сатанинская злоба.

Преодолевая телесную бабью слабость и бабий же врожденный страх, я сорвал со стены ржавый зазубренный серп, который

прежде видел разве что на стягах державы, сгинувшей еще в пору моего отрочества.

— Не балуй! — солдатик потянулся к карабину, прислоненному к бревенчатой стене хлева. — Иначе я тебе на этом месте сразу и трибунал организую, и высшую меру социальной защиты.

Прямо скажем, не повезло солдатику. Он-то, козлик серый, думал, что перед ним прежняя баба, которую можно драть и мусолить, как душе заблагорассудится. Не приметил он случившейся в ней перемены и поэтому к новому повороту событий готов не был.

Серп вжикнул в воздухе и угодил куда следует, однако голову подлецу, паче чаянья, не снес, а застрял, до половины вонзившись в шею. Крови было совсем немного, но когда я попытался извлечь серп — очень мешали зазубрины, — она хлынула потоком. Но мне ли, исполосованному вдоль и поперек, было бояться крови!

Ноги у солдатика подломились, и он рухнул навзничь, потянув за собой серп, ручка которого колебалась с частотой камертона. Фистулой запела рассеченная гортань.

На какое-то время моя власть над благоприобретенным телом прервалась. Уж слишком велико было душевное потрясение, испытанное его хозяйкой. Я завыл, запричитал, рванул себя за волосы и стал торопливо распутывать вожжи, целый пучок которых висел на поперечной балке крыши. Цель, для которой эти вожжи понадобились несчастной бабе, лично мне была хорошо понятна.

Нет, подумал я. Хватит с меня одного самоубийцы. Что они все — сговорились! Или виною тому я — разносчик роковой идеи? В этом случае нам нужно поскорее расстаться.

Для просветления мозгов тюкнув пару раз головой о стенку, я выскочил из хлева наружу.

Зима, судя по всему, заканчивалась. Серый снег уже просел, обнажив кое-где бурую прошлогоднюю траву и сгнившие листья. Лес стоял в предвечернем тумане, как черный глухой частокол.

Возле низенькой избенки плакал ребенок лет пяти, так плотно закутанный в платки и шали, что нельзя было даже разобрать — мальчик это или девочка.

Это был мой ребенок. Я любил (вернее, любила) его всей душой и обязан был жить ради него. А все остальное как-нибудь образуется. Главное, что война наконец закончилась. Солдатика, как стемнеет, надо будет оттащить подальше в лес. Там бро-

дит столько одичавших немецких овчарок, брошенных при отступлении, что к утру от него и костей не останется. Жалко, конечно, придурка. Хотя сам виноват. Не надо было нахрапом лезть. Мог бы и ласково попросить. Что мы — не люди...

Теперь за женщину можно было не беспокоиться. Мысли о самоубийстве вряд ли вернутся к ней. Как говорится, будет жить. А я? Что происходит со мной? Сон это, бред или особое состояние психики, балансирующей на узкой грани, отделяющей жизнь от смерти? Куда я загнал самого себя? Уверен, что на этот вопрос не сможет ответить даже профессор Котяра.

Говорят, черта вспомнишь — а он тут как тут. Как вы думаете, кого первого я увидел, очнувшись в палате на больничной койке? Конечно же, его, Ивана Сидоровича Котяру собственной персоной. Подперев голову пухлым кулаком, он внимательно наблюдал за процедурой моего пробуждения.

Стояла глухая ночь. В такую пору, если что случится, и дежурного врача не дозовешься. А этот тип тут как тут, хотя к отделению нейрохирургии формально никакого отношения не имеет. Впрочем, для него, наверное, и в гинекологии все двери открыты.

Словно прочитав мои мысли, Котяра неторопливо произнес:

— Извиняюсь, что побеспокоил. Звякнули мне среди ночи, что вы опять в кому впали. Вот и подкатил на такси. А вы уже в полном порядке. Сегодня быстрее управились. Вчера мозговая активность отсутствовала целый час, а нынче всего сорок минут. Совершенствуетесь. Во всем нужна сноровка, закалка и, само собой, тренировка. Только не заиграйтесь. Помните сказку про колобка? И от бабушки он ушел, и от дедушки, и еще много от кого, а на лисице погорел. Это я относительно ваших странных снов.

Спросонья, а лучше сказать — с кошмарья, я соображал плохо и не нашелся, как достойно ответить на двусмысленные намеки Котяры. Впрочем, похоже, что в моих ответах он и не нуждался. Ему на каждый жизненный случай и своих теорий хватало.

— Вы бы пошли поспали, гражданин профессор, — выдавил я наконец из себя. — В вашем возрасте здоровый сон то же самое, что в моем — активный отдых. Освобождает организм от шлаков и лишних гормонов.

— Шутовство — хороший способ отгородиться от жизни. Лучше — только крышка гроба, — Котяра поднял вверх указательный палец. — Кто так сказал?

— Вы.

— Нет. Один мой пациент, много лет страдавший депрессивно-маниакальным психозом. Сейчас, между прочим, возглавляет в Государственной думе какую-то комиссию.

— Передавайте при случае привет... А сколько хоть времени сейчас?

— Начало пятого. — Он глянул на наручные часы. — Я, кстати говоря, сегодня еще не ложился. И все из-за вас.

— Почему из-за меня? — я невольно насторожился.

— Не идет у меня из головы ваш прошлый сон. Боюсь, что и старик Юнг тут оказался бы в тупике... Вот и стал наводить кое-какие справки. Я ведь, кроме всего прочего, еще и органы консультирую. Уже лет двадцать примерно. Связи, сами понимаете, у меня там обширные. Прежней власти у них, конечно, нет, зато появилась информационно-поисковая компьютерная сеть. Сейчас нужного человека или, скажем, автомобиль проще простого найти. Лишь бы он где-нибудь был зарегистрирован.

— Интересно, а кого вы искали?

— Адрес. Улица Солнечная, дом десять, корпус два. Не забыли еще про него?

— Нет.

— Оказывается, что в нашем городе такой улицы нет. Зато она имеется в тридцати двух иных городах и поселках, начиная от Псковской области и кончая Хабаровским краем. Здание под номером десять есть почти везде, но чаще всего это частное домовладение или какая-нибудь контора. А вот точный адрес, то есть включающий в себя еще и добавку «корпус два», обнаружился только в городе Чухлома Костромской области. Вы про данный населенный пункт хоть что-нибудь слышали?

— Ничегошеньки, — честно признался я.

— Так я и думал, — кивнул Котяра. — И тем не менее в городе Чухломе по указанному адресу одно время проживала семья Наметкиных. Правда, это было еще до вашего появления на свет. Каково?

— Н-да-а, — только и смог произнести я.

— Город Чухлому ваши родители покинули в семьдесят шестом году, после случая, наделавшего достаточно много шума. Ветераны органов хорошо его помнят. Однажды ночью в полусотне шагов от того самого дома застрелился из табельного оружия участковый инспектор по фамилии Бурдейко. Злые языки намекали, что причиной этому была интимная связь с вашей матерью, женщиной редкой красоты и недюжинного темперамента. Отца даже таскали в прокуратуру на допросы, но, когда эксперты

дали стопроцентную гарантию суицида, все обвинения с него были сняты. Хотя, с другой стороны, участковый был человеком весьма уравновешенным, психически устойчивым и алкоголем, в отличие от большинства своих коллег, не злоупотреблял. По этому поводу в городе ходило много пересудов, и ваши родители сочли за лучшее уехать, тем более что открывалась очень перспективная вакансия в другом месте. Вы родились уже здесь, в роддоме имени Сперанского, учились в сто девяносто пятой школе и, судя по всему, Чухлому никогда не посещали, хотя место происшествия описали весьма достоверно. В то время Солнечная улица находилась на самой окраине города и подъезд десятого дома выходил прямо в лесопарк, где и был обнаружен труп Бурдейко.

— И что эти сведения вам дали?

— Мне — ничего. А вам?

— Пока тоже ничего... Значит, та женщина в постели была моей матерью? — меня слегка передернуло.

— Скорее всего.

— А под деревом стоял отец... Вот почему мне показалось, что я знаю этого человека.

— Таким вы его знать не могли, — мягко возразил Котяра. — В ту пору ему не было и тридцати.

— Если верить фотографиям, он и к пятидесяти не очень изменился... Да, случай заковыристый. И как же моя болезнь называется в медицинской практике?

— В том-то и дело, что никак. Прежде ничего подобного не случалось. Как я ни старался, но прецедент отыскать не смог. Впрочем, это как раз и не важно... Ну а что вам приснилось сегодня? — он буквально ел меня глазами.

— Даже и не знаю, стоит ли вас в это посвящать. — Уж если у меня появилась возможность поводить Котяру за нос, нельзя было ею не воспользоваться. — Сны, как я понимаю, имеют непосредственное отношение к личной жизни человека. А личная жизнь любого гражданина по закону неприкосновенна.

— Я врач, не забывайте об этом, — нахмурился Котяра.

— Мой врач Михаил Давыдович. И лечат меня, кстати, от травмы головного мозга, а не от психоза.

— Ну зачем же вы так, — Котяра заерзал на стуле. — Михаил Давыдович сделал для вас все, что мог. Более того, все, на что способна современная нейрохирургия. А я могу сделать для вас гораздо больше. Здесь вы рядовой пациент. И блага, предусмотренные для вас, — стандартные, рядовые. Питание, содержание, медикаменты, количество койко-дней — все строго по норме.

Как в армии для солдата. А в моей клинике вы будете пациентом уникальным. И, соответственно, блага вам будут предоставлены тоже уникальные.

— Как в армии для любимчика генерала, — подсказал я

— А хотя бы!

Видимо, на моем лице отразились некие негативные эмоции, потому что Котяра уже несколько иным тоном добавил:

— Учтите, что в случае крайней необходимости я могу забрать вас и помимо вашего согласия. Пациенты с травмами черепа — контингент особый. Им от нейрохирургии до психдиспансера один шаг. Тем более что ваша родня, как мне стало известно, возражать не будет.

Тут Котяра попал в самую точку. Последний бомж, способный самостоятельно переставлять ноги, имеет больше гражданских прав, чем я. Кто заступится за паралитика с дырявой башкой, от которого родной брат отказался. Да Котяра с его связями может вообще оформить меня как труп, предназначенный для прозекторской. Нет, придется идти на попятную.

— Мне надо обдумать ваше предложение, — произнес я тоном привередливой невесты. — Но про сегодняшний сон, так и быть, расскажу. Хотя и сном-то это назвать нельзя. Так, блажь какая-то...

— Подробнее, пожалуйста.

— А подробности жуткие. Привиделось мне, что я превратился в женщину. Буквально за считаные минуты я подвергся... вернее, я подверглась изнасилованию, была избита, зарезала своего обидчика ржавым серпом, хотела с горя наложить на себя руки, но в конце концов при виде собственного дитяти вновь обрела душевный покой.

— Все?

— В основном все.

— Какие-нибудь привязки во времени и пространстве имеются? — оставив пустопорожнюю лирику, Котяра заговорил быстро и по-деловому сухо.

— Привязки? А, понял... Случилось это ранней весной, году этак в сорок четвертом или сорок пятом, сразу после освобождения. Надругался надо мной красноармеец, но очень уж зачуханный. Наверное, нестроевой. По крайней мере, его погон я не видел. Место действия — лесной хутор или усадьба лесника. Особых деталей я не рассмотрел. Смеркалось уже, и туман стоял... Да, совсем забыл! Ребенку моему тогда было примерно лет пять. Про его пол сообщить ничего не могу.

— Говорите, сорок четвертый или сорок пятый, — задумался

Котяра. — Скорее всего сорок четвертый. В сорок пятом наши уже в Польше и Венгрии были... Лесной хутор. Явно не Украина. Скорее всего Белоруссия или северо-запад России. Надо будет как-то уточнить.

— Уточняйте, — милостиво разрешил я. — Неужто опять рассчитываете на моих родственников выйти?

— Там видно будет... Сейчас меня больше всего интересует другое. — Котяра уставился на меня своими водянисто-голубыми глазками, которые супротив массивных желтоватых век были почти то же самое, что Суэцкий канал супротив Синайской пустыни. — У вас в каждом сне ясно прослеживаются две навязчивые идеи. Одна, связанная с половой сферой, причем в самых откровенных ее проявлениях, другая — с идеей самоубийства. Как вы это можете объяснить?

— Относительно половой сферы объяснить ничего не могу. Возможно, это просто совпадение. А что касается идеи самоубийства, каюсь, виноват. В последние дни только тем и занимался, что вдалбливал эту идею самому себе, дабы она до каждой клеточки тела дошла. Заявляю откровенно — в таком виде я жить не собираюсь.

— А придется! — он опять нахмурился. — Про самоубийство прошу забыть. Причем прошу в самой категорической форме. Иначе к вам придется применить весьма действенное медикаментозное лечение. Штука эта, заранее предупреждаю, не весьма приятная... Нет, надо вас отсюда поскорее забирать!

— Но учтите, никаких опытов над собой я ставить не позволю, — предупредил я.

— Да вы их сами над собой ставите! — Котяра воздел руки к потолку. — Ваши сны не что иное, как продукт этих самых непродуманных опытов. В гроб хотите себя раньше срока загнать? А мы все поставим на строго научную основу. Исключим всякую вероятность риска. Если эти сновидения будут опасны для вас — избавимся от них. Если нет — углубим и расширим, как выражался наш последний генсек. А пока берегите себя. Все решится в течение ближайших суток.

И он удалился так поспешно, что я не успел и слова вставить.

Наутро стало окончательно ясно, что в моей жизни намечаются большие перемены. Капельницу убрали, многострадальную руку освободили, под голову подложили еще пару подушек (странная закономерность — почти любая медсестра или нянечка со стажем толще своей ровесницы, занятой в другой сфере

человеческой деятельности, а наши матрасы и подушки, соответственно, тоньше обычных).

Нюра, которой до окончания дежурства оставалось всего ничего, сама напоила меня крепким бульоном. Со мной она принципиально не разговаривала и, только уходя, обронила:

— Уговорил все же тебя этот бегемот.

— Уговорил, — подтвердил я.

— Смотри, как бы потом жалеть не пришлось, — посулила она.

— Ты меня навещай почаще, вот я и не буду ни о чем жалеть.

— Издеваешься! — фыркнула она. — Кто же посетителей в режимную психушку пускает. Эх, ты... Обманули дурачка на четыре кулачка.

Короче, своего она добилась — настроение мне подпортила... хотя какое настроение может быть у такой человеческой развалины, как я.

После завтрака в палате установили телевизор, а меня снабдили пультом управления. По всем программам шли мыльные оперы, и пришлось остановить свой выбор на канале «Культура», где как раз в этот момент внушительная кодла людей самых разных национальностей изображала оркестр русских народных инструментов.

То и дело заглядывали врачи, знакомые и незнакомые, оформлявшие на меня самые разнообразные формуляры, справки и документы. Можно было подумать, что я международный преступник, которого одно суверенное государство собирается выдать другому.

Впрочем, об ослаблении режима не могло быть и речи. Новая медсестра, прогуливавшаяся в коридоре (и, кстати говоря, очень похожая на переодетого и загримированного бойца конвойных войск), буквально не сводила с меня глаз. Да и энцефалограф бойко чертил зигзаги, характеризующие состояние моего мозга.

Дело понятное — Котяра хочет получить вожделенную добычу в целости и сохранности и потому рисковать не собирается. Обложил меня со всех сторон уже здесь.

А что, если взять да обмануть его, подумал я. Подохнуть назло науке. Вот будет фокус! Мысль, безусловно, была занятная, и я решил попозже вернуться к ней.

*

А пока меня ждал еще один сюрприз.

Мамаша, накануне вернувшаяся из странствий по заграницам (о чем свидетельствовал свежий загар, впрочем, отнюдь не

красивший ее), наконец-то решила посетить своего увечного сыночка.

Чмокнув меня в лоб и едва не оторвав при этом все датчики энцефалографа, она первым делом сообщила, что противные медработники не принимают никаких продуктовых передач, даже фруктового сока.

— Ничего страшного. Мне всего хватает, — заверил я ее. — У нас ананасы и бананы каждый день.

— Откуда у вас ананасы? — удивилась мамаша. — Люди говорят, что сейчас в больницах даже хлеба не хватает.

— Тут зоопарк поблизости. Ихний персонал над нами шефство взял. Все, что мартышки не сожрут, нам достается, — сообщил я с невинным видом.

Она посмотрела на меня долгим взглядом, однако ничего не сказала. С юмором у моей родительницы всегда было не очень. Точно так же, как и у братца.

Негативно оценив мой внешний вид (одна кожа да кости), она перешла к изложению семейных новостей. Очень скоро выяснилось, что я жестоко оскорбил братца, приписав ему слова, которых он не говорил, и поступки, которых он не совершал (а также мысли, которые его не посещали, хотел добавить я).

После визита ко мне братец якобы пребывает в глубоком душевном расстройстве, следствием которого стал еще более глубокий запой, повлекший за собой массовую гибель элитного мотыля.

На это я вполне резонно возражал, что человек, не расстающийся с заветной фляжкой даже в туалете, запить не может, точно так же, как утопленник не может захлебнуться, а кроме того, дохлый мотыль расходится ничуть не хуже живого. Просто нужно знать, в каком месте и в какое время его продавать.

Затем разговор перешел непосредственно на меня. Начались ахи, охи и причитания, которые отнюдь не могли помочь мне, а, наоборот, только выводили из себя. Из путаных слов мамаши я понял, что о грядущих переменах в моей судьбе она уже наслышана и считает их величайшим благодеянием.

— Учти, что попасть в эту клинику считается большой удачей, — на полном серьезе сообщила мамаша. — Говорят, она одна из лучших в стране. Там даже иностранцы лечатся. И заметь, платят за это немалые деньги.

— Там психи лечатся, — ответил я. — Те, у кого один день мания, а другой депрессия. Я же нормальный человек, пусть и с

гвоздем в голове. И в том, что меня собираются засунуть в эту клинику, никакой удачи не вижу.

— Хорошо, — надулась она. — Тогда как ты сам представляешь свое будущее?

— Я хочу дома жить. И там же подохнуть, когда придет срок. И чтобы горшки за мной выносили родные люди, а не практикантки из медучилища, которых от этого воротит.

— Где жить? — едва не взвизгнула она. — На наших двадцати четырех квадратных метрах? А мне что прикажешь делать? Бросить службу? За пять лет до пенсии?

— Сиделку наймешь.

— А за какие, интересно, деньги?

— А за какие деньги ты по курортам разъезжаешь?

Тогда мамаша применила свое главное оружие — слезы. С ее слов выходило, что я никого не люблю, что я патологический злюка и даже непонятно, в кого я такой уродился.

Короче, она меня довела. Не надо было, конечно, этого делать, но я не удержался и высказал все, что наболело на сердце. Впрочем, даже учитывая разброд, царивший последнее время в моей душе, заключительный попрек нельзя было назвать корректным. Тут я, каюсь, переборщил.

— А почему это вдруг непонятно, в кого я такой уродился? Мне самому сказать или ты поможешь? Ну так вот — всей Чухломе давно понятно, что Олег Наметкин уродился в участкового инспектора Бурдейко, который то ли от любви к тебе, то ли от стыда перед твоим мужем застрелился поблизости от вашего дома.

И хотя это было всего лишь шальное предположение, ни с того ни с сего посетившее меня, ее бурная истерика косвенно подтверждала тот факт, что я, как говорится, уродился не в мать, не в отца, а в заезжего молодца.

Покидая палату, мамаша так хлопнула дверью, что на экране телевизора появились помехи.

ОЛЕГ НАМЕТКИН, СКИТАЛЕЦ В МЕНТАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Вот так и случилось, что собственные подспудные страхи, Нюрино презрение и ссора с матерью, слившись воедино, вновь привели мой внутренний мир (уже начавший понемногу упорядочиваться) в состояние хаоса. Я опять ощутил себя тем, кем являлся на самом деле — беспомощным инвалидом, амбициозным ничтожеством, недостойным коптить это небо.

Нужен я был одному только профессору Котяре, да и то исключительно в незавидной роли бездомного пса Шарика, за кусок колбасы позволившего совершить над собой вивисекцию.

Короче, настроение было хуже некуда. Да и самочувствие тоже. В сознании, вытесняя последние крохи здравого смысла, уже набирал силу зловещий набат: «Умереть, умереть, умереть... Уйти, уйти, уйти...» Пусть и с третьей попытки, пусть и с грехом пополам, но я был просто обязан довести свой замысел до логической развязки.

Главное, не повторить прошлых ошибок и следовать по пути в небытие до самого конца, не делая никаких остановок, как преднамеренных, так и случайных.

Конечно, предпочтительнее было бы использовать какой-нибудь старый, апробированный веками способ, как-то: пистолет, яд, петлю, осколок стекла, паровоз, крышу многоэтажки или глубокие воды, но — увы! — мне все это недоступно. Даже до фаянсовой чашки с остатками чая я не могу дотянуться самостоятельно, а пультиком от телевизора (даже пультиком марки «Сони») не зарежешься.

Поэтому вернемся к прежним играм... Ну, начали! «Умереть, умереть, умереть... Уйти, уйти, уйти...»

На сей раз я сорвался в бездну почти без всякой натуги, да и спуск мне достался куда более крутой, чем прежде. Сказывался, наверное, кое-какой опыт двух предыдущих попыток ухода из жизни.

Вскоре я ощутил некий мистический толчок, последовавший скорее изнутри, чем извне. Надо полагать, что это была первая развилка в моем, как выражался Эдгар По, «странствии странствий», и вела она в год тысяча девятьсот семьдесят шестой, к участковому инспектору Бурдейко. «Привет, папаша!» — мысленно отсалютовал я, благополучно проносясь мимо.

Еще один толчок, еще одна боковая развилка, на этот раз к году тысяча девятьсот сорок четвертому, к изнасилованной бабе, так и оставшейся для меня безымянной.

Затем толчки стали следовать раз за разом, и, досчитав до десятка, я сбился, поскольку сознание мое было целиком занято куда более важной заботой: «Умереть, умереть, умереть...»

Ну и глубок же колодец вечного успокоения! Не всякий желающий зачерпнет с его дна мертвой водицы. А поначалу-то дело казалось таким простым...

И вот мне почудилось, что я все же достиг предела пределов, хотя, что это такое в плане конкретном, понять пока не мог.

Ощущение неудержимого скольжения пропало, но мое состояние не имело ничего общего со смертью.

Более того, я был жив как никогда прежде, если только так можно выразиться. Дикая, необузданная сила, заставляющая быка кидаться на первого встречного, буквально распирала меня. Хотелось действовать — мчаться куда-то на горячем скакуне, топтать врагов, хлестать водку, перечить всем подряд, лобызать (и не только лобызать) женщин.

В темной комнате пахло вином, терпкими ароматами заморских пряностей и березовыми дровами. Постель на этот раз мне досталась такая широкая, что, даже раскинув руки, нельзя было дотянуться до ее краев.

Заранее догадываясь, какие сюрпризы могут ожидать меня на этом необъятном ложе любви, я осторожно пошарил вокруг.

Так и есть! Вновь я был не один, вновь рядом со мной оказалось теплое, обнаженное тело, судя по шелковистой коже — женское.

— Пора, — сказала моя соседка по постели. — Хватит нежиться, сударь.

— Подарите мне еще миг блаженства, моя повелительница, и я сочту себя счастливейшим из смертных, — произнес я, потянувшись к женщине.

— Не сейчас! — возразила она. — Если бог пошлет нам удачу, завтра вы вновь получите все нынешние наслаждения и даже сверх того. Это я обещаю. А пока вы должны помнить о своем высоком предназначении и о данных перед аналоем клятвах.

— Всенепременно! — молодцевато воскликнул я. — Думать с детства не приучен, это уж как водится, зато память имею отменную. И от своих клятв не откажусь даже на дыбе.

— Рада слышать это. Умников ныне развелось изобильно, а вот верных людей — можно по пальцам пересчитать. Ох, мерзкие времена...

Затем вспыхнула свеча. Узкая, но твердая ладошка ухватила меня за запястье, и я был почти силой извлечен из постели. Освещая путь массивным шандалом, женщина потащила меня за собой через целую анфиладу комнат, высокие окна которых были плотно закрыты тяжелыми шторами.

Более или менее светло было только в последней комнате, где мы и остановились. Шторы здесь были слегка раздвинуты, но свет, пробивавшийся сквозь заледенелое стекло, был так скуден, что не мог всерьез соперничать даже с огоньком свечи.

Оба мы были совершенно обнажены, но при этом моя спут-

ница не выказывала никаких признаков стыда. Вовсе не распутство побуждало ее к подобному поведению. Просто она была выше всяких мелочных бытовых условностей.

При ближайшем рассмотрении я убедился, что передо мной вовсе не ядреная, повидавшая жизнь матрона, а скорее, как говорится, девица на выданье. На мой вкус она была чудо как хороша — рослая, стройная (хотя и в теле), высокогрудая, с густыми и длинными светлыми волосами, какие принято называть русалочьими. Еще запомнились голубые, с изрядной долей сумасшедшинки глаза и вздернутый носик.

— Все ли наставления вы усвоили, сударь? — строго осведомилась она. — Не забывайте, что от вашей смелости, расторопности и хладнокровия зависит судьба многих весьма достойных людей, а в равной мере и ваша собственная. Дерзайте, и вам воздастся щедрой рукой. Если порученное вам дело закончится удачей, вы будете незамедлительно произведены в чин гвардейского офицера и пожалованы деревнями в любой губернии по вашему выбору. В противном случае вы должны избрать добровольную смерть, дабы не бросить тень сомнения на доверившихся вам людей, в том числе и на меня. Готовы ли вы к этому подвигу самопожертвования?

— Завсегда, моя повелительница! — бодро отрапортовал я и даже попытался козырнуть, что для голого молодца с восставшим мужским достоинством было не совсем прилично. — Порукой тому моя честь и моя шпага!

— Шпагу вы оставите здесь, а взамен получите вот это, — она продемонстрировала мне тонкий, как вязальная спица, острейший стилет. — Потом спрячете его в рукав или голенище. Смерть от него легка и безболезненна, а роковой удар следует наносить сюда.

Приподняв левую грудь, моя красавица приставила острие стилета к тому месту, где под тонкой кожей равномерно вздрагивало сердце.

— Все сделаю, как велено! В лепешку расшибусь, а сделаю!

Упав перед ней на колени, я принялся страстно лобызать тонкие, унизанные перстнями пальцы, хотя блудливые руки сами собой лапали крутые бедра и пышные ягодицы.

— Опомнитесь, сударь! Вы и так получили больше того, на что может претендовать простой смертный. Умейте ценить оказанную вам милость. А теперь к делу! — Она дернула за украшенный кистью шнур, свисавший сверху, и где-то за стеной звякнул колокольчик. — Сейчас вам помогут облачиться в подобающее

случаю платье и скрытно доставят по назначению. Все остальное будет зависеть только от вас. А теперь позвольте удалиться. Храни вас господь.

Держа шандал на отлете, дабы капли горячего воска не задели кого-нибудь из нас, она быстро перекрестила меня и удалилась прежде, чем в противоположных дверях показались двое наглядно знакомых мне мужчин, одетых чересчур тепло — в собольи шапки и подбитые лисьим мехом бархатные шубы.

Прежде мы не были представлены друг другу, но оба гостя, несомненно, принадлежали к числу заговорщиков.

При себе вошедшие имели внушительных размеров узлы, из тех, в которые мещане и дворяне-однодворцы по заведенному обычаю хранят в дороге носильные вещи.

Обменявшись со мной сдержанными поклонами, они развязали узлы и вытряхнули на ковер целую кучу одежды, может быть, и добротной, но скроенной по какому-то шутовскому образцу. Да и пахло от нее так, как обычно пахнет от ямщиков — сырым зипуном, конским потом, смазанными дегтем сапогами.

— Не побрезгуй, — сказал тот из заговорщиков, что был постарше и у кого под шубой была надета облегченная офицерская кираса. — Рухлядь сия у калмыка позаимствована, того самого, которого ты в свадебном поезде должен заменить. А они, идолы косоглазые, страсть как не любят ополаскиваться. Язычники, одно слово...

— Заразы никакой нет? — брезгливо поинтересовался я, поднимая за петельку грубые домотканые порты.

— Не должно, — пожал плечами старший заговорщик. — Их же всех, прежде чем ко двору допустить, лейб-медик осмотрел... Ну если только пара вошек в тулупе завелась.

— Какова же судьба калмыка? — поинтересовался я. — Не довелось ли ему через меня пострадать?

— Спит, дармовой водкой упившись, — человек в кирасе сдержанно улыбнулся в усы. — Мы его жидовской пейсаховкой напоили, на изюме настоянной. Супротив ихнего кумыса она как кричный молот супротив бабьей скалки. Любого богатыря свалит... Ну давай, что ли, обряжаться. Время-то не ждет.

Прежде всего я облачился в свое собственное малоштопанное егерское белье, а уж затем с помощью заговорщиков стал натягивать на себя вонючие басурманские одежды. Сапоги оказались тесны, рукава тулупчика коротки, а малахай едва держался на макушке.

— Сам виноват, что таким великаном вымахал, — сказал

старший заговорщик, критически осмотрев меня. — Ну да недолго тебе придется в этих отрепьях обретаться. Завтра, даст бог, в шелка и золото нарядишься.

Я и савана не убоюсь, — заявил я для пущего молодечества.

Типун тебе на язык! — оба заговорщика перекрестились. — Нельзя такими словами всуе бросаться. Удачи не будет.

Ладно, это я шутейно.

То-то же, что шутейно... А теперь прими свое главное снаряжение. — Младший из заговорщиков, рожу имевший чрезвычайно ухарскую, подал мне упрятанный в сагайдак тугой калмыцкий лук, дуги которого были сработаны из рогов горного козла. — Там же и стрелы, числом две штуки.

— Не маловато ли?

— В самый раз, — недовольно нахмурившись, вмешался старший. — Ежели с двух попыток промахнешься, третий раз тебе стрельнуть не дадут. Драбанты набегут, да и тайная канцелярия там повсюду своих людишек расставила... Ты, главное, хотя бы нацепи эту квашню толстомясую. Мы наконечники стрел в ядовитом зелье вымочили, которое даже для медведей смертоубийственно.

— Вот это вы зря... Не по-благородному. Я бы и так управился.

— Ежели попадешь под кнут заплечных дел мастера, тогда про царское благородство все познаешь, — зловеще посулил заговорщик с ухарской рожей. — В нашем деле ошибаться нельзя. Береженого бог бережет.

Взяв лук, я для почина несколько раз натянул его. Спущенная тетива отзывалась коротко и звонко, как лопнувшая сосулька, недаром ведь была сделана из самых упругих жильных ниток.

— Не подведет рука? — поинтересовался старший заговорщик.

— С детства этим искусством владею. Пленный крымчак обучал, — похвалился я. — Да и весь последний месяц с самого Крещения ежедневно упражняюсь. С сорока шагов игральную карту поражаю.

— Славно, — кивнул он. — Хотя от прошпекта до дворца поболее сорока шагов будет. Благо цель такая, что промахнуться трудно... Ты про главное бди, но и про калмычку свою тоже не забывай. Как бы она раньше времени шум не подняла. Очень уж дика и непокорна, как степная кошка.

— Мне ли с бабой не управиться! — Я пренебрежительно махнул рукой. — Тем более, с калмычкой... Вы бы лучше, госпо-

да, угостили меня штофом водки на дорожку. А то мерещится всякое...

— Что тебе мерещится? — разом насторожились они.

— Будто бы лежу я в белой келье на беленькой постели, в белое полотно замотан, и белые шнурки от моей головы к какой-то хитроумной машине тянутся. Ей-богу!

— Ничего страшного, — сказал самозваный кирасир. — Такие приметы знатный урожай капусты обещают.

— Как же насчет водки? — напомнил я.

— Успеется... Потом, братец. Все потом. Сначала надо дело сладить. — Они подхватили меня с обеих сторон под руки и увлекли к выходу.

В предназначенное место меня доставили в простых мужицких розвальнях, прикрыв сверху рогожами. И то верно — не велик чином калмык-кочевник, ему любые салазки барским возком покажутся.

Еще даже не выбравшись из-под рогож на белый свет, я весьма удивился царившему вокруг шуму, весьма нехарактерному для северного российского города. Мало того, что ржали кони и тявкали собаки, так еще мычали волы, ревели верблюды и даже трубил слон.

А уж как простой народ глотки надрывал — даже описать невозможно! Куда индийскому слону против пьяных русских мужиков.

Богато украшенный свадебный поезд, сплошь составленный из причудливых, шутейного вида экипажей, запряженных к тому же самым разнообразным тягловым скотом, включая северных оленей, свиней и ослов, уже тронулся в путь — мимо Зимнего дворца, к конному манежу, где для дорогих гостей уже было приготовлено угощение.

Впереди всех выступал слон, обутый в огромные теплые поршни, но, если судить по хриплому, натужному реву, уже изрядно простуженный. На его спине возвышалась позолоченная клетка с новобрачными.

А вот и мой калмыцкий возок, влекомый парочкой низкорослых косматых лошадок, ведущих свое родство, наверное, еще от табунов хана Батыя. Молодая калмычка с чумазым лицом и насурьмленными бровями диковато покосилась на меня, но, узрев перед носом увесистый кулак, смирилась с судьбой и покорно взялась за вожжи.

Когда мой грядущий подвиг счастливо завершится, надо бу-

лет взять ее к себе и проверить на предмет соответствия женскому идеалу. Немало перебрал я разных прелестниц, даже с арапкой амуры крутил однажды, а вот испробовать калмычку бог не сподобил. А глазища-то, глазища — дыру можно такими глазищами прожечь.

Свадебный поезд продвигался мешкотно, через пень-колоду, как все и вся в нашем горемычном царстве-государстве — больше стоял на месте, чем продвигался. Впрочем, мне торопиться было некуда. Можно и с мыслями собраться, и дух перевести.

Короткий зимний денек угасал, но вокруг, словно в аду, полыхали костры, сложенные из целых поленниц, чадили наполненные нефтью и ворванью плошки, пылали факелы всякого рода. Пепел кружился над набережной вперемежку со снегом.

За Невой, в которую вмерзли до весны караваны барж и плашкоутов, немым укором торчал шпиль Петропавловской крепости (ох, видел бы ее основатель творящиеся ныне безобразия!). С другой стороны мало-помалу приближалась громада Зимнего дворца, похожего на разукрашенный кремом и марципанами торт.

На высоком дворцовом балконе расположилась кучка людей, для увеселения которых и было предназначено все это маскарадное шествие, включая слона, шутов-новобрачных и сто тридцать пар инородцев, собранных в столицу изо всех пределов необъятной матушки-России.

Отсюда я еще не мог различить лиц этой публики, и все они, взятые вместе, казались пышным облаком, составленным из брюссельских кружев, соболиных мехов, перьев страуса, золотых позументов, песцовых муфт и бриллиантовых токов.

Да только не облако это было вовсе, а туча — туча алчной иноземной саранчи, облепившей российский престол.

Вдоль проспекта, не позволяя простонародью смешаться со свадебной кавалькадой, гарцевали на вороных аргамаках кирасиры, чьи пышные усы и бакенбарды успели поседеть от инея. Хватало здесь и пеших гвардейцев, многие из которых могли легко опознать меня. Пришлось натянуть малахай на самые глаза.

Слон опять подал трубный глас, но завершил его хриплым чиханьем, весьма напоминавшим человеческое, только несравненно более громким. Дать бы ему, бедолаге, горячего грога с медом и корицей, сразу бы здоровье поправил, да, не ровен час, еще взбесится от подобного снадобья. Выручай потом новобрачных.

Мой возок к этому времени почти поравнялся с балконом. Придворные обоего пола стояли чуть ли не навытяжку, вольготно ощущали себя лишь две персоны — дородная бабища с лицом сырым, грубым и туповато-злобным да надменный кавалер весьма холеного вида, куривший трубку с непомерно длинным чубуком. На свадебное шествие он почти не смотрел, а если иногда и косился, то как барский пудель на вытаявшую из-под снега падаль.

Его, злодея курляндского, тоже следовало бы прикончить, да только жалко драгоценные стрелы на всякое ничтожество переводить. Испустит дух венценосная покровительница — сразу и временщику придет конец. Рассыплется, подобно трухлявому грибу, угодившему под подошву сапога.

Взглядом я измерил расстояние, отделявшее меня от балкона, вернее, от громадного, как лошадиный зад, бюста узурпаторши. Да, давешний заговорщик не ошибся, тут побольше сорока шагов будет. Бери все шестьдесят.

Выдернув лук из сагайдака, я покинул возок, на прощание крепко чмокнув младую калмычку в уста. Ах, как она зыркнула на меня при этом! До самой печенки обожгла. Ничего, разлюбезная, скоро свидимся. Узнаешь тогда, что такое гвардейская любовь.

В такой суете и неразберихе мой маневр не должен был привлечь к себе нежелательного внимания. Гремели барабаны и литавры, гудели рожки, взлетали в небо фейерверки, сиречь потешные огни, народ орал кто во что горазд. Вавилонское столпотворение, да и только! Выпали сейчас из пищали — никто и ухом не поведет.

Тут меня бесцеремонно окликнули со стороны:

— Васька! Гвардии сержант Лодырев! Ай, не слышишь меня?

— Тебе чего? — оглянувшись на крик, я узрел своего однополчанина Степана Зозулю, тоже гвардейского сержанта, не единожды мною по пьяному делу битого.

— Ты почему не на службе? — сощурившись, поинтересовался он. — Тебя на разводе ротный командир три раза выкликал. Смотри, отведаешь шомполов.

— Какой это изверг посмеет новобрачного под шомпола послать! — возмутился я.

— А ты... разве тоже... новобрачный? — опешил скудный умом Зозуля.

— Разве ж не видно! Решил чужому примеру последовать. Если князю Голицыну не зазорно на безродной камчадалке же-

ниться, то мне сам бог велел калмыцкую пейзанку окрутить. Ты обрати внимание, какие у нее глазенки узенькие, — я кивнул в сторону возка, еще не успевшего далеко отъехать. — Если ненароком глянет не туда, куда следует, я их велю суровыми нитками зашить.

— А лук тебе почто? — не преминул поинтересоваться любопытный однополчанин. — Куропаток стрелять?

«Нет, остзейских ворон», — хотел ответить я, но вовремя сдержался и перевел все в шутку:

— Калмык без лука, что хохол без шаровар.

— Чем тебе хохлы не потрафили? — нахмурился Зозуля, по слухам, имевший малороссийские корни. — Хохлы, между прочим, на волах едут, как честные христиане, а твоя татарва на свиньях, вопреки природе.

Не состоял бы он нынче на гарнизонной службе, так давно бы имел дулю под глазом. Мои пращуры хоть и происходили из касимовских татар, зато царского роду, а его дед-хохол всю жизнь волам хвосты крутил. В других обстоятельствах я бы эту разницу ему доходчиво объяснил. Да только сейчас не время было ссору заводить.

— Ладно, — сказал я примирительно. — Так и быть, штоф водки с меня.

— Да и закусить бы не мешало, — сразу оживился Зозуля. — Мы ведь здесь не евши, не пивши с самого утра стоим.

— Сейчас собью тебе с небес копченого гуся, — как бы шутейно сказал я и вложил в лук первую стрелу.

Цель я присмотрел заранее — украшенный драгоценными каменьями крест Святой Екатерины, сверкавший на груди супостатки.

Крест по статусу полагалось носить на алой ленте, так что кровь придворные заметят не сразу...

И тут я наконец опомнился! Виданное ли это дело, убивать человека, мне лично никакого зла не причинившего, тем паче — женщину, да еще к тому же и венценосную особу? Ну пусть глупа она, пусть сластолюбива, пусть поет с чужого голоса, пусть разоряет страну — что с того? Не такие чудовища сиживали на этом троне. Не мне, Олегу Наметкину, перелицовывать историю.

(Полноте, да разве я Олег Наметкин? С каких это пор? Раньше меня завсегда Васькой Лодыревым звали.)

С самого начала этого дурного, так похожего на явь сна я

пребывал как бы в оцепенении, хотя все видел, все понимал и о многом догадывался. Говорил и действовал кто-то другой — дерзкий, разнузданный, как говорят нынче — «отмороженный» (таким типам, честно признаюсь, я никогда не симпатизировал).

Нет, что бы там ни говорил профессор Котяра, но во мне определенно есть предрасположенность к раздвоению личности.

Тем временем тот другой, считавший себя гвардейским сержантом Василием Лодыревым, моими руками (а может, как раз и своими — кто сейчас разберет) до предела натянул лук. Лишь в последний момент я пересилил этого стародавнего киллера, и палец, отпустивший тетиву, дрогнул.

Стрела, пронзив толстый персидский ковер, прикрывавший парапет балкона, в нем и застряла, никого не задев (однако незамеченной не осталась).

Мгновение спустя отчаянный визг заглушил все другие шумы, производимые свадебным поездом, потешной стрельбой и верноподданным народом. И что интересно, вопила даже не сама императрица, соображавшая довольно туго (говорят, ей за обедом нередко мухи в рот заползали), а ее многочисленные приживалки, фрейлины, карлицы и арапки, от которых не отставали и голосистые собачки-левретки.

На балконе случилась паника, как на палубе прогулочной шнявы, наскочившей на риф. Не растерялся один только надменный временщик, до этого державшийся за спиной императрицы. Можно было подумать, что к подобному повороту событий он был готов заранее.

Резко наклонившись с балкона, этот лиходей, лошадник, выскочка и плут, махнул кому-то трубкой и отдал короткое распоряжение на немецком языке.

Вторая отравленная стрела уже легла на кибить лука, да вот выстрелить было некому — два антагониста, два таких непохожих друг на друга существа отчаянно боролись во мне. Один, прохвост и рубака, не ценивший ни своей, ни чужой жизни и все, дарованное ему природой и богом, включая тело и душу, поставивший на сомнительную, а может, даже и крапленую карту. Другой — потенциальный самоубийца, тоже выпавший из руки божьей, но, в отличие от своего соперника и прапрапрапрапрадедушки, не желавший проливать чужую кровь.

Борьба эта продолжалась весьма недолго, поскольку в нее незамедлительно вмешались посторонние лица.

— Слово и дело государево! — завопил какой-то ряженый

мужиком ферт (хоть бы лаковые сапожки онучами прикрыл). — Вяжите, люди православные, злодея!

Вот тут-то Семен Зозуля и показал свою подлую сущность. Помощи я от него, знамо дело, не ожидал, но зачем же ружейным прикладом прямо в уста бить? Чай, они у меня не казенные. Как я после такого с барышнями целоваться буду?

Ни лука, ни стрелы в моих руках уже не было, зато удалось выхватить из-за голенища стилет. Первым получил свое иуда Зозуля. Клинок, венецианскими мастерами откованный, вошел в его грудь, как в ком теста.

Налетевший со всех сторон сброд рвал меня в клочья, как борзые — волка, и давно, наверное, прикончил бы, да фискал из тайной канцелярии беспрестанно вопил:

— Живьем его брать! Только живьем!

Из одежды на мне остались одни портки, пара сапог да гайтан с нательным крестом, но и супротивникам моим немало досталось — у кого нос короче стал, у кого глаз вытек, у кого в дополнение к натуральному рту еще и другой появился, пошире.

Трудно было ухватить меня такого — полуголого, верткого, взмокшего от пота и крови.

Напоследок полоснув голосистого фискала стилетом по роже, я угрем выскользнул из свалки и рванулся вслед за удалявшимся калмыцким возком.

Эх, поверну его сейчас, погоню супротив движения, напугаю быков и верблюдов, устрою великий переполох и вырвусь на волю вместе с пригожей калмычкой. Не стал князем при дворе, стану ханом в степи.

И тут на моем пути возник, словно бы из метельной круговерти родившись, тот самый усатый заговорщик, у которого под шубой таилась кираса.

Не с добром он меня подстерег, а со злым умыслом, иначе зачем бы имел при себе тяжелый турецкий пистолет, от которого, почитай, любая рана смертельная. Для этих вельмож цена моей жизни — грош без копейки. Им собственную шкуру надо спасать.

Уворачиваться было поздно — черная дырка пистолетного ствола подмигивала мне, как глаз циклопа.

Выстрела я не услышал, зато увесистый щелчок по лобешнику ощутил. Вот и пришел твой бесславный конец, гвардии сержант Лодырев...

Тогда, возможно, удастся умереть и мне, Олегу Наметкину. Заодно, так сказать. Ведь мрак, застлавший мои глаза после пре-

дательского выстрела, вполне соответствует определению «могильный».

Прощайте, люди...

А фигушки не хотели? Жив я. Оказывается, что через пропасть в триста лет никакая пуля не достанет, даже выпущенная в упор. Опять неудача.

Жив-то я жив, но, когда свинцовый шарик размером с лесной орех на сверхзвуковой скорости щелкает тебе по лбу, память об этом событии остается надолго. Мне, например, чтобы окончательно очухаться, понадобилось минуты две.

Профессор Котяра уже караулил мое пробуждение, это я осознал прежде всего. Ну как же без него обойдешься!

Присутствовал в палате и еще какой-то тип, но мне пока было не до него.

Затем я с удивлением убедился, что вся окружавшая меня обстановка резко переменилась. Окно было уже не позади меня, как прежде, а слева (скромные зеленые занавесочки не могли скрыть расходящиеся веером прутья решетки).

Прежняя кровать, слышавшая и мои рыдания, и мой зубовный скрежет, уступила место другой — столь мягкой, что казалось, будто бы я не на матрасе лежу, а расслабляюсь в бассейне. Что касается всяких хитрых приборов, то здесь их было не меньше, чем в кабине реактивного самолета.

Вот оно, значит, как. Пока я, поминутно рискуя жизнью, интриговал против иноземцев, захвативших российский трон, меня из родного нейрохирургического отделения столь же родной десятой больницы перевели в дурдом, стыдливо именуемый психиатрической клиникой.

Нет, нравы человеческие за последние три века определенно не смягчились. Гражданские права в загоне, зато процветают закулисные козни. Ничего, вот приснится мне генсек ООН или папа римский, стукану я на вас, профессор Котяра!

Неизвестный мне тип сдержанно кашлянул в кулак. Наверное, напоминал о своем присутствии. Взаимное молчание действительно несколько затягивалось.

— Давно я здесь? — полагаю, что в моем положении такой вопрос звучал вполне уместно.

— Где — здесь? — Котяра сделал многозначительные глаза. — В клинике?

— Естественно. А вы что имеете в виду?

— В клинике вы находитесь около часа. Были доставлены

сюда в состоянии глубокого ступора. А в эту реальность возвратились около пяти минут назад... Далеко нынче занесло? — последний вопрос был задан доверительным, можно даже сказать, интимным тоном.

— Ох, не напоминайте даже! — я отмахнулся здоровой рукой.

— Опять на крыльях суицида?

— Опять, — вынужден был сознаться я. — Других-то крыльев все равно не имею.

— Предупреждаю в последний раз, что подобная самодеятельность до добра не доведет, — глаза-щелочки превратились в глаза-буравчики. — Отныне вы обязаны согласовывать со мной каждый... э-э-э... факт ухода в иную реальность.

Недолго думая, я возразил:

— Профессор, представьте на секундочку, что вы не психиатр, а проктолог. Стали бы вы тогда требовать от пациентов, чтобы они согласовывали с вами каждый... э-э-э... факт дефекации?

— Если это будет вызвано интересами науки, то и потребую. Можете не сомневаться! Но я прекрасно понял, куда вы клоните. Хотите сказать, что эти странные сны посещают вас непроизвольно?

— Именно! — понятливость Котяры радовала. — Так оно и есть. Зачем бы я умышленно превратился в бабу, которую насилуют чуть ли не на куче навоза? Имей я свободу выбора, то, безусловно, предпочел бы Синди Кроуфорд и парижский подиум.

— Кстати, хорошо, что вы напомнили про ту несчастную бабу. Я тут собрал кое-какие сведения, имеющие отношения к вашему предыдущему сну, — он вытащил из нагрудного кармана вчетверо сложенную бумажку. — Думаю, вам это будет интересно.

— Когда человеку объясняют его собственные сны, это всегда интересно.

— Сначала я даже не знал, как и подступиться к этой проблеме, — Котяра был весьма доволен собой (грехом гордыни, оказывается, страдают и психиатры). — Зацепок-то никаких, кроме весьма приблизительной даты и еще более приблизительного географического района. Тут никакая информационно-поисковая программа не поможет. Кто регистрировал баб, изнасилованных во время войны? Или где искать данные на пропавшего без вести красноармейца, если известны только его приметы? Темная ночь! Но потом меня посетила одна идейка. Стал я проверять родственные связи. Сначала вашей матери, потом отца, а уж потом участкового инспектора Бурдейко. И что вы думаете — попал в самую точку! Оказывается, свою фамилию Бурдейко по-

лучил в детском доме, где воспитывался с годовалого возраста. Настоящая его мать — Мороз Антонида Дмитриевна, осужденная к пятнадцати годам исправительно-трудовых лагерей за убийство красноармейца Файзуллина. Надеюсь, я не очень засоряю вашу память всеми этими фамилиями?

— Абсолютно не засоряете. Я к ним даже и не прислушиваюсь.

— Хорошее свойство... Кстати говоря, эта Мороз, уже имевшая на иждивении малолетнюю дочь, заявила о своем преступлении в прокуратуру непосредственно после рождения сына. Прокуратура данное обстоятельство учла и направила дело в народный суд, а не в особое совещание, чем и объясняется сравнительная мягкость приговора. Умерла Мороз в пятьдесят третьем году в тюремной больнице от крупозного воспаления легких. Судьба ее первого ребенка неизвестна.

— И что из всего этого следует? — поинтересовался я, хотя заранее ожидал чего-то подобного.

— Из этого следует, что ваш сон оказался в некотором роде вещим. Мать Бурдейко в состоянии аффекта прикончила его фактического отца, а после родов покаялась. Как видно, совесть замучила. Вы стали невольным свидетелем как изнасилования, так и убийства. Следовательно, мы имеем дело с реальными фактами прошлого, которые открылись вам в форме сна. Кроме того, прослеживается ваша родственная связь с участниками обоих эпизодов. Скорее всего Бурдейко ваш отец, а Мороз, таким образом, бабушка. Выводы можно делать хоть сейчас, но мы от них пока воздержимся. Сначала хотелось бы ознакомиться с содержанием вашего последнего сна.

— Вы уверены, что я обязан его кому-либо рассказывать? — это была жалкая и, наверное, последняя попытка сохранить свой внутренний мир в неприкосновенности.

— Полноте! — Котяра поморщился, от чего его кожа на лбу собралась в гармошку. — Не ломайтесь, как девочка. Согласен, что любая патология — это интимное дело больного. В его праве отказаться от лечения. Но только не в том случае, если он представляет опасность для окружающих. Ваши странные сны связаны с реальными человеческими трагедиями, и у меня даже создалось впечатление, что вы сами провоцируете их каким-то мистическим образом.

— Иногда и у меня создается такое впечатление, — задумчиво произнес я, ощущая, как по участкам кожи, еще сохранившим

чувствительность, пробежали мурашки. — Тут я с вами солидарен.

— Вот видите! — Котяра даже ладони потер. — Но перед тем, как начнется рассказ, хочу представить вам моего старинного приятеля Петра Харитоновича Мордасова. Тоже, кстати сказать, профессора.

— Профессор психиатрии? — уточнил я.

— Нет, исторических наук. Если в вашем повествовании вдруг возникнут какие-либо исторические реалии или малопонятные для несведущего человека факты, он постарается дать необходимую консультацию.

— Что, по любому факту? — удивился я.

— Ну если и не по любому, то почти по всем. Абсолютные знатоки, надо полагать, возможны только в математике.

— Пусть тогда ответит, сколько орденов имелось в Российской империи? — даже не понимаю, с чего бы это вдруг я решил проэкзаменовать профессионального историка.

— После того, как Мальтийский крест был исключен из числа российских орденов, осталось восемь, — ответил он, глядя на меня, как мамаша, первенец которой произнес свое первое словечко.

Фамилия Мордасов вообще-то предполагала человека дородного, полнокровного, с апоплексическим румянцем на лице, а историк, наоборот, выглядел как добрый моложавый гном. Если бы не лукавый, как принято говорить, «ленинский», прищур, с него можно было писать портрет другого великого человека — Л. Н. Толстого.

— Скажите, пожалуйста!

Как было не удивиться, если я почему-то считал, что таких орденов имелось не меньше полусотни. В советское время и то целых двадцать штук успели учредить, считая «Мать-героиню». А тут все-таки двухсотлетняя империя.

Впрочем, еще на один вопрос мне фантазии хватило:

— Какой же орден, к примеру, ставился ниже всех остальных?

— Полагаю, что Святого Станислава третьей степени, — улыбнулся Мордасов. — Еще вопросы имеются?

— Никак нет. — Его эрудиция и доброжелательность просто обескураживали, хотя чем-то и настораживали (я придерживаюсь того мнения, что доброжелательнее всех ведут себя те люди, которые собрались залезть в ваш карман). — Больше вопросов не имеется. Но уверен, что скоро они появятся у вас.

Теперь представьте себе такую картину.

Глухая ночь. Больничная палата. Решетка на окне. Медицинская аппаратура что-то сосредоточенно регистрирует. Парализованный сопляк, психическое здоровье которого находится под большим сомнением, пересказывает двум солидным дядькам свой кошмарный сон, отягощенный массой подробностей, не характерных для нашего времени.

Ну не абсурд ли это?

Тем не менее оба профессора слушали меня весьма внимательно. Котяра — тот вообще не перебивал, только начинал интенсивно сопеть в наиболее занятных местах, а Мордасов время от времени задавал всякие уточняющие вопросы типа: «Нельзя ли поподробнее описать экипировку кирасиров?» или «На каком этаже располагался балкон со зрителями?»

Не знаю точно, сколько времени длился мой рассказ, но к его концу я, во-первых, охрип, а во-вторых, категорически изменил свое отношение к персонажам собственного сна.

Нагая блондинка уже не казалась мне идеалом красоты, а ее антипод, тучная венценосная особа, не вызывала прежней безоглядной ненависти. Первая, говоря объективно, напоминала шалаву, такса которой не превышает сотню рублей за час, вторая — официантку из привокзальной забегаловки. Что касается чумазой калмычки, то ее место вообще было на загородной свалке.

Единственным, к кому я сохранил стойкое чувство недоброжелательности, был гвардии сержант Зозуля. И в кого он только такой уродился?

Услужливая память немедленно воскресила мрачные тени гетмана Мазепы, атамана Петлюры, могильщика эсэсэсэра Кравчука и доцента Головаченко, с садистским упорством пытавшегося приобщить меня к таинствам аналитической химии. Но тут же возникал и контрдовод: а как же тогда Богдан Хмельницкий, писатель Гоголь, отец русской демократии Родзянко и футболист Бышевец?

Нет, национальными особенностями характера тут ничего не объяснишь. Сволочь может родиться в любой семье. Самый яркий пример тому — небезызвестный Каин Адамович.

И зачем я (а вернее, мой двойник Василий Лодырев) вообще ввязался в это заведомо безнадежное дело? За державу стало обидно? Вряд ли. Смазливая баба окрутила? Как-то не хочется в это верить. Что же тогда? Неужели элементарное корыстолюбие, тяга к житейским благам? Тогда ты, Василий Лодырев, дурак! А я, Олег Наметкин, насмотревшийся в детстве пустопорожних

фильмов про опереточных мушкетеров и фальшивых гардемаринов, — дважды дурак!

Хорошо хоть, что дело не дошло до кровавой развязки. Своя собственная смерть не в счет.

Тем временем Котяра и Мордасов обменялись многозначительными взглядами, но отнюдь не как единомышленники. Во взгляде психиатра сквозил немой вопрос, во взгляде историка — немое восхищение.

— Что имеете сказать по поводу услышанного, коллега? — поинтересовался Котяра.

— Рассказ весьма занятный. Хотя не исключено, что здешние стены слышали и куда более душераздирающие истории, — в раздумье произнес Мордасов. — Как я понял, описанный случай относится к эпохе царствования Анны Иоанновны, племянницы Петра Великого, бывшей курляндской герцогини.

— Вы имеете в виду потешную свадьбу, устроенную ради развлечения впавшей в депрессию императрицы? — оказывается, Котяра разбирался не только в психических расстройствах.

— Совершенно верно, — кивнул Мордасов. — Венчание придворного шута Голицына и карлицы Бужениновой, первая брачная ночь которых прошла в знаменитом Ледяном доме. Празднество даже по тем временам отличалось необычайной помпезностью. Шествие специально выписанного из Персии слона. Свадебный поезд, составленный из представителей почти всех коренных народностей империи. Грандиозный фейерверк. Артиллерийский салют. Европа корчилась от зависти. Но о том, что во время этих пошлейших игрищ была предпринята попытка покушения на императрицу, я слышу впервые. Таких сведений нет ни у Соловьева, ни у Шишкина, ни у Готье, ни даже у непосредственного участника этих событий Татищева.

— А много до недавнего времени мы знали об истинной подоплеке убийства Кирова или о покушении на Брежнева? — возразил Котяра. — Политика, ничего не поделаешь! Тем более случай неясный. Одна-единственная стрела. Никому вреда не причинила. Могла прилететь откуда угодно. Сам ведь говорил, что фейерверк был грандиозный. Мало ли какие ерундовины с неба падали. Станет твой Татищев такую мелочь регистрировать. У него самого небось рыльце в пушку было.

— Не без этого. Татищев состоял в активных организаторах так называемого заговора Волынского, непосредственно направленного против немецкого засилья, а косвенно — против Анны Иоанновны.

— Так заговор все же существовал? — вмешался я.

— Существовал, — подтвердил Мордасов. — И замешаны в нем были весьма влиятельные особы. Тот же Волынский, к примеру, исполнял должность камер-министра. Это по нынешним понятиям вроде как глава президентской администрации. Саймонов был обер-прокурором сената. Граф Мусин-Пушкин — президентом Коммерц-коллегии. Ну и так далее... Кстати, я хотел бы уточнить кое-какие детали, касающиеся девицы, вдохновлявшей заговорщиков своими ласками. Носик у нее был вот такой? — он пальцем приподнял кончик своего довольно внушительного хрящеватого шнобеля.

— Ну не такой, конечно, — я едва не рассмеялся. — Но, в общем-то, курносый.

— Ваше описание весьма смахивает на портрет цесаревны Елизаветы, любимой дочери Петра Великого, в то время находившейся в опале. О замыслах Волынского она, безусловно, знала. Недаром ведь ее лейб-медик проходил обвиняемым по этому делу. Многие историки, в том числе и большой знаток той эпохи Корсаков, считали, что Елизавета была не только знаменем, но и душой заговора. А заодно, так сказать, и телом, — даже скабрезности, произнесенные устами Мордасова, почему-то не резали слух.

— Стала бы дочь Петра ложиться под какого-то там гвардейского сержанта! — засомневался Котяра. — Мало ли у нее было на такой случай дворовых девок.

— Не скажите! — Мордасов подмигнул мне одним глазом. — Зачем же уступать дворовой девке лакомый кусок. Елизавета была большая охотница до молодых гвардейцев и даже не считала нужным скрывать это. Например, широко известны ее амуры с сержантом Семеновского полка Шубиным.

— Враки! — возмутился я. — Не было у нее ничего с Шубиным! Это прихвостни курляндские всякие небылицы плели, чтобы цесаревну опорочить.

— Скажите, пожалуйста, а откуда это вам известно? — немедленно отреагировал Мордасов. — Тоже из сна?

— Нет, — я слегка растерялся. — Известно, и все... Видели бы вы этого Шубина! У него из носа все время сопли висели, даром что ростом с коломенскую версту вымахал.

— Следовательно, вы лично Шубина видели?

— Я? Нет... А впрочем... Как будто бы и видел... — ощущение было такое, что я запутался в трех соснах.

— Скорее всего Шубина видел герой вашего сна Василий

Лодырев, — пришел мне на помощь Мордасов. — И его нелестные впечатления каким-то образом передались вам.

— Может быть... — пробормотал я.

— Скажите, а как во времена Анны Иоанновны было принято обращаться, ну, скажем, к прапорщику?

— Знамо дело, «ваше благородие», — я даже подивился наивности его вопроса.

— А к полковнику?

— Ежели к гвардейскому, то «ваше превосходительство». Наши-то полковники чином к армейскому генерал-майору приравнивались... А почему вы спрашиваете?

— Вы разве не догадываетесь? — Мордасов опять переглянулся с Котярой. — Чтобы вникнуть в подобные тонкости, нашему современнику нужно быть знатоком соответствующей исторической эпохи. Скажите, вы когда-нибудь изучали правила титулования воинских, статских, придворных и иных чинов, принятые в середине восемнадцатого века?

— Нет, — я пожал правым плечом.

— Тогда остается предположить, что вы пользуетесь памятью Василия Лодырева, который в этих вопросах ориентировался столь же свободно, как мы с вами, скажем, в марках сигарет... Что такое «явка с повинной»? — огорошил он меня очередным вопросом. — Отвечайте быстро!

— Добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, с заявлением о нем в органы дознания, следствия или прокуратуры с целью передать себя в руки правосудия, — выпалил я.

— Какова начальная скорость полета пули, выпущенной из пистолета Макарова?

— Триста пятнадцать метров в секунду!

— Масса патрона?

— Десять граммов.

— Количество нарезов в стволе?

— Четыре.

— Вы когда-нибудь стреляли из пистолета?

— Нет!

— Держали его в руках?

— Тоже нет!

— Юридическую литературу почитываете?

— Не приходилось.

— Тогда считайте, что вам посылает привет участковый инспектор Бурдейко, о котором мне рассказывал ваш врач, — он

кивнул в сторону Котяры. — Сколько до войны стоило сливочное масло?

— Восемнадцать рублей фунт, — не задумываясь, ответил я. — Это если на рынке найдешь. А в потребиловке масло отродясь не водилось.

— Сколько в колхозе полагалось на трудодень?

— Кукиш с маком полагался! Палочку для учета ставили.

— А это спустя полвека подает голос Антонида Мороз. Вот так-то! — Мордасов опять подмигнул мне, но на сей раз это вышло у него как-то очень грустно.

— Вы хотите сказать... — Я переводил растерянный взгляд с одного профессора на другого.

— Именно! — Котяра энергично тряхнул бумажкой, которую все еще сжимал в руке. — Именно это мы и хотим сказать. Все эти люди давным-давно умерли, но каким-то непостижимым образом часть их памяти, а может, и личности, переместилась в ваше сознание. Вы не сны видели! Вы вселялись в души ваших предков! Вы не только сын участкового Бурдейко и внук уголовницы Мороз, но еще и отпрыск императорской фамилии, поскольку в ваших предках числится незаконнорожденное чадо Елизаветы Петровны, истинное количество которых до сих пор неизвестно. Весьма вероятно, что в следующий раз вы побываете в шкуре монгольского нукера или новгородского ушкуйника, а впоследствии доберетесь до самых ранних колен рода человеческого. В этом смысле вам, наверное, доступно все! Вы скиталец в ментальном пространстве!

ОЛЕГ НАМЕТКИН, СУПЕРПСИХ

Надо признать, что профессор Котяра умел производить впечатление на собеседников. Причем впечатление шоковое (не путать с шокирующим!).

То, что пережил я, можно сравнить с ощущениями малого ребенка, которому нерадивый братец рассказывает перед сном сказку — сначала долго и уныло канючит: «В черном-пречерном лесу стоял черный-пречерный дом, в черном-пречерном дому стоял черный-пречерный стол, на черном-пречерном столе стоял черный-пречерный гроб...», а потом дико орет, прямо в ухо: «А в черном-пречерном гробу лежишь ты, засранец!»

Короче говоря, в плане эмоциональном Котяра меня крепко встряхнул. Если слухи о том, что психов лечат электрическим то-

ком, имеют под собой реальное основание, то он сэкономил для своей клиники не меньше сотни киловатт.

Фибры моей души еще трепетали, а Котяра уже беззаботно хохотал, приговаривая при этом:

— Ничего, ничего! Сильные эмоции вам только на пользу. Парень вы крепкий, выдержите. А впрочем, мы пока еще шутим. Не так ли, Петр Харитонович?

— Шутим, — кивнул Мордасов. — Все, о чем мы тут рассуждали, можно смело отнести к категории домыслов и измышлений. Реальных-то фактов нет никаких. Ну, допустим, приснился вам не совсем обычный сон. Потом выясняется, что схожий случай имел место в действительности. Что из того?.. Вас как по батюшке?

— Олег Павлович, — машинально ответил я, не совсем понимая, куда он клонит.

— Повторяю, что из того? Первый сон Олега Павловича, второй сон Олега Павловича, третий сон Олега Павловича. Предполагаемый папаша стреляется, предполагаемая бабушка совершает убийство, предполагаемый предок в десятом колене гибнет во время неудавшегося дворцового переворота. Можно назвать это ясновидением, можно — генетической памятью, можно — реинкарнацией, можно — уникальным психическим расстройством.

— Можно даже шарлатанством, — подсказал Котяра.

— Ну эту версию мы сразу отбросим. — Мордасов сделал рукой столь решительный жест, словно намеревался отбросить не только версию, высказанную Котярой, но и его самого. — Давно замечено, что люди с неординарной, зачастую даже больной психикой, способны творить чудеса, внушая окружающим свои собственные навязчивые идеи. Вспомним Гришку Отрепьева. Мало того, что им прельстился народ, даже княгиня Мария Нагая опознала в самозванце своего сына царевича Дмитрия. Или взять более свежий случай, связанный с проходимкой, выдававшей себя за великую княжну Анастасию, счастливо избежавшую расстрела. Она даже русским языком не владела, зато вспоминала такие интимные подробности из жизни царской семьи, что уцелевшие фрейлины и камергеры только ахали да утирали ностальгические слезы...

— Мне-то вам зачем врать? — перебил я его.

— Да мы вас в этом и не подозреваем! — Мордасов приложил руку к сердцу. — Но ведь ложь бывает разная. Одно дело — ложь предумышленная, корыстная, как в случае с Отрепьевым. И со-

всем другое — ложь безобидная, искренняя, являющаяся плодом душевного расстройства или самовнушения. Тут будет уместен один исторический пример. Как известно, маршал Мишель Ней, известный также под именем герцога Эльхингенского, остался верен своему императору до конца и был расстрелян за это Бурбонами. Лет десять спустя в Америке появился немолодой человек, выдававший себя за маршала Нея, в последний момент якобы сумевшего подкупить своих палачей. Французским он владел в совершенстве, наизусть цитировал приказы и речи императора, в мельчайших подробностях помнил ход каждого сражения, поименно знал всех высших наполеоновских офицеров, по памяти составил список всех вывезенных из Московского Кремля ценностей, раскрыл многие тайны тогдашней европейской дипломатии.

— А в результате тоже оказался шарлатаном, — догадался я.

— Увы! Впоследствии выяснилось, что он был переплетчиком и благодаря этому обстоятельству в течение длительного времени имел доступ к архиву Великой армии, хранившемуся за семью печатями. Начитавшись этих документов, буквально пропитанных кровью и пороховым дымом, бедняга тронулся рассудком и вообразил себя маршалом Неем.

— Хорошо хоть, что не самим Наполеоном, — ухмыльнулся Котяра.

— На это у него ума хватило. Ведь император к тому времени уже скончался, и его останки были возвращены на родину. Вот вам пример бескорыстной и, кроме того, весьма детальной лжи, для самого лгуна принявшей форму объективной реальности. Кстати говоря, душевнобольные частенько демонстрируют чудеса памяти. Верно, Иван Сидорович?

— Не скажу, что частенько, но случается. Закон компенсации. Забываешь снимать в сортире штаны, зато наизусть помнишь телефонный справочник города Москвы. Не узнаешь ближайших родственников, а в шахматы переигрываешь почти любой компьютер.

— Скажите, а что это за ментальное пространство, про которое вы недавно упомянули? Будто бы я скитаюсь в нем... Или это тоже была шутка?

— Почти. — Котяра заерзал на стуле. — Этот термин обозначает некий гипотетический мир, существующий вне времени и пространства, вне бытия. Доступ в него имеет только нематериальная субстанция, обычно именуемая душой. Души, оказав-

шиеся в ментальном пространстве, перемещаются там так же свободно, как мы с вами перемещаемся в этом трехмерном мире.

— Не астрал ли вы имеете в виду? — уточнил я (брошюрки по теософии мне прежде приходилось почитывать).

— Свой астрал оставьте для вечеринок при свечах, — поморщился Котяра. — Не путайте божий дар с яичницей.

Похоже, что я допустил какую-то бестактность. Ну что же, свои странности имеются и у психиатров. Пришлось спешно оправдываться.

— Про астрал это я действительно сморозил... Вульгарное словечко. Скажите, а каким способом душа может проникнуть в ментальное пространство?

— Сначала ей нужно расстаться с телом. Временно или навсегда. Существует немало легенд о людях, души которых побывали в ментальном пространстве и благополучно вернулись обратно. Наиболее известные среди них Платон, Пифагор, Ньютон, Сведенборг. Человек, приобщившийся к ментальному пространству, способен творить чудеса, исцелять и просвещать, предсказывать будущее, толковать прошлое.

— Ну это мне не грозит, — сказал я.

— Кто знает, кто знает... — Котяра задумчиво покачал головой. — Мы еще только в самом начале пути...

— Не понять вас, профессоров. Сначала крест на мне поставили. Чуть ли не шарлатаном обозвали. А теперь на какой-то путь намекаете. Ведь с самого начала было сказано — фактов нет, а есть только одни измышления.

— Вот мы и собрались здесь, чтобы найти эти самые факты. А наши сомнения и споры вы близко к сердцу не принимайте. Существуют разные способы познания. Если проблему вывернуть наизнанку, расчленить, раскритиковать и даже опошлить, первыми сгинут сор и шелуха. А уж тогда постарайся не упустить зерно истины, каким бы крошечным и невзрачным на вид оно ни казалось.

— Может статься, что после такого испытания сгинет не только шелуха, но и само зерно, — сказал я.

— Тогда его скорее всего и не было. — Котяра мучительно зевнул. — На этом, пожалуй, и закончим. Всем надо отдохнуть. И помните о моем предупреждении. Без моего ведома — никуда! Ни к бабушке, ни к прабабушке, ни к царю Гороху.

Мордасов не преминул добавить:

— Но если вас, паче чаянья, опять занесет в какие-нибудь

неведомые эмпиреи, постарайтесь оставить там памятный знак, доступный пониманию потомков.

— Какой? Срою Уральские горы? Или поверну Волгу в Балтийское море?

— Можно что-либо и поскромнее. Главное, чтобы знак поддавался ясной и недвусмысленной идентификации. Он должен быть как-то привязан к вашей личности и нашей эпохе... В общем, здесь есть над чем подумать.

— Одну минуточку, — я знаком попросил их задержаться. — Поймите, я не проникаю в прошлое. Я проникаю в сознание живущих там людей... Если только это не мой собственный бред... Сами они воспринимают мое присутствие как наваждение, помрачение ума, психический сдвиг. И ведут себя соответствующим образом, то есть гонят это наваждение прочь. И как мне, скажите, заставить в таких условиях того же сержанта Лодырева нацарапать на стене Адмиралтейства: «Олег Наметкин здесь был. Привет из двадцатого века»?

— Но вы ведь помешали ему убить императрицу. Да и Антонида Мороз схватилась за серп не без вашего влияния, — произнес Мордасов.

— То были бессознательные душевные порывы! Взрыв эмоций! Аффект! Вы же требуете от меня осознанных действий.

— Учитесь брать верх над чужим разумом, — сказал Котяра, все это время тыкавший ключом в замочную скважину дверей, ручки на которых не были предусмотрены изначально. — Вытесняйте его в подсознание. Блокируйте. Фактор внезапности на вашей стороне, что весьма немаловажно.

Прежде чем я успел оценить эту, в общем-то, очевидную идею, на помощь мне пришел Мордасов.

— Ну это уж вы, коллега, хватили лишку! — насел он на Котяру. — Нашему современнику даже в восемнадцатом веке собственным разумом не обойтись, а что уж тут говорить про десятый или двенадцатый. Не то слово сказал, не так ступил — сразу попадешь под подозрение. Или сумасшедшим признают, или колдуном, или вражеским лазутчиком. Конец, сами понимаете, у всех один... Нет, тут деликатность нужна. Не борьба разумов, а сотрудничество. Симбиоз. Взаимопроникновение.

— Скорее всего вы правы, — Котяра открыл наконец дверь. — Да только всему этому сразу не научишься. В моем подъезде проживает кассирша сбербанка тетя Паша и призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Десятников. Обращению с огнестрель-

ным оружием обучены оба. Но кто же поставит их на одну доску? В любом деле на овладение мастерством нужны годы. А где нам их взять? Мы решаем проблему в принципе. Возможно — невозможно. Доводить ее до совершенства будут уже другие. Первый самолет, если вы помните, держался в воздухе где-то полминуты. Но, чтобы прославиться, братьям Райт хватило и этого...

Едва за профессорами щелкнул дверной замок, как я провалился в сон — нормальный сон безмерно уставшего человека, сон, не отягощенный никакими кошмарами.

Но одна мыслишка у меня все же промелькнула: если последователям братьев Райт для усовершенствования летательных аппаратов вполне хватило бамбуковых реек, перкаля да простенького бензинового двигателя, то продолжателем дела профессора Котяры в этом смысле придется значительно сложнее. Ну где, спрашивается, они отыщут еще одного человека с гвоздем в башке?

Вот так началась моя жизнь в психиатрической клинике, по сути дела, ставшей узилищем для моего тела, но отнюдь не для духа, который, подобно пресловутому призраку коммунизма, имел свойство бродить везде, где ему только не заблагорассудится.

Девяносто процентов пациентов лечилось здесь за деньги, которые Котяра вкладывал в опыты над остальными десятью процентами. Результаты этих опытов должны были обессмертить его. (Лично я на месте профессора сначала сменил бы фамилию, а уж потом брался за нетленку. Представляете термин: «Синдром Котяры»? Звучит примерно так же, как «Сучий потрох».)

Работа шла сразу в нескольких перспективных направлениях. Все психические аномалии сами по себе были настолько уникальны, что (как и в моем случае) подвержен им был один-единственный человек. Таких пациентов в лечебнице уважительно называли «суперпсихами». Некоторые пребывали в условиях строгой изоляции, а другие пользовались относительной свободой и даже иногда навещали меня. С разрешения профессора, конечно.

Особенно запомнились мне двое.

Первый, носивший кличку Флаг (что, выражаясь в вульгарной форме, одновременно являлось и диагнозом), возрастом годился мне в отцы и отличался необыкновенно покладистым, незлобивым характером, хотя большую часть своей сознательной

жизни прослужил в милиции, да еще в самой стервозной ее структуре — дежурной части.

В любом даже самом маленьком коллективе всегда есть кто-то такой, кого чуть ли не ежедневно приводят в пример всем остальным, регулярно премируют к праздникам и сажают во все президиумы.

Лучший способ погубить такого усердного служаку — это выдвинуть его на вышестоящую должность, требующую не только исполнительности и усердия, но еще и самостоятельного мышления.

К чести начальников Флага, в те времена носившего скромную фамилию Комаров, они рисковать зря не стали и перед выходом на пенсию поручили ему участок работы, который нельзя было назвать иначе, как синекурой.

Из заплеванной, провонявшей всеми на свете нечистотами дежурной части, где ежечасно происходили самые душераздирающие сцены и где какую-нибудь заразу можно было подхватить даже проще, чем в распоследнем притоне, его перевели на третий этаж Управления внутренних дел. Там повсюду лежали ковровые дорожки, зеленели искусственные пальмы, а редкие посетители ходили чуть ли не на цырлах.

Официально новая должность Комарова именовалась так: «дежурный поста номер один». Располагался этот пост возле знамени управления, упрятанного от моли и пыли в высокий застекленный шкаф.

Никаких особых доблестей от Комарова не требовалось — стой себе в вольной позе у шкафа, отдавай честь старшим офицерам и пресекай все попытки посягнуть на святыню (а они в прошлом имели место, один раз на такое решился армянин-диссидент, а второй — свой же брат милиционер, уволенный из органов за пьянку).

Кроме того, надо было следить и за собой. Щетина на роже, запах перегара, мятое обмундирование и пестрые носки не поощрялись.

Так прошло несколько лет. Комаров стал такой неотъемлемой частью интерьера, что его даже перестали замечать. Лишь заместитель начальника управления по работе с личным составом, некогда начинавший карьеру уличным сексотом и потому отличавшийся редким демократизмом, в моменты доброго расположения духа (что случалось не чаще раза в квартал) одаривал постового своим рукопожатием.

Шесть дней в неделю с девяти до восемнадцати Комаров не-

отрывно смотрел на алое, расшитое золотом знамя, и скоро ему стало казаться, что знамя не менее пристально смотрит на него.

Что греха таить, прежде Комаров без зазрения совести частенько отлучался за чайком в буфет и по нужде в уборную, но со временем все эти лишние хождения прекратились. И совсем не потому, что он хотел продемонстрировать служебное рвение. Просто рядом со знаменем ему было хорошо и покойно, как коту возле печки. Даже вернувшись вечером домой, Комаров с тоской вспоминал своего бархатного кумира. «Кралю себе нашел на старости лет, — бубнила жена, — по зыркалам твоим блудливым вижу».

И что интересно — они все больше походили друг на друга, если такое можно сказать про человека и неодушевленный предмет утилитарного назначения. Конечно, знамя меняться не могло. Менялся Комаров.

Прежде мешковатый и довольно упитанный, он весь как-то подобрался, вытянулся, приобрел суровое выражение лица и внешнюю значимость (правда, перемены эти происходили столь медленно, что посторонние их почти не замечали).

Конфуз случился перед каким-то государственным праздником, когда сводный батальон управления должен был публично продемонстрировать свою выправку и строевой шаг. Заранее извещенный об этом Комаров тщательно выгладил полотнище, обновил золотистую краску навершия, но выдать знамя уполномоченному на то офицеру наотрез отказался.

Никаких разумных доводов, оправдывающих такое самоуправство, он привести, конечно же, не мог, а только что-то бессвязно бормотал. На всякий случай Комарова освидетельствовали, но он был трезв как стеклышко. Знамя из шкафа забрали, а ему было велено идти домой и хорошенько отдохнуть.

Но не тут-то было!

Едва только милицейский батальон, чеканя шаг, вышел на предназначенную для парада площадь, как все увидели, что у самого тротуара параллельно знаменосцу движется немолодой милиционер, одетый явно не по погоде (на дворе, надо заметить, стоял неласковый ноябрь).

Телодвижения его странным образом повторяли все метаморфозы, происходившие со знаменем. Стоило только порыву ветра развернуть полотнище, как корпус Комарова резко откидывался назад. Когда в руках неопытного знаменосца зашатался флагшток, в такт ему зашатался и человек.

Прямо с площади Комарова увезли в ведомственную поли-

клинику и после весьма пристрастного медосмотра, не давшего, кстати говоря, никаких конкретных результатов, спешно отправили в очередной отпуск. Инспектор отдела кадров сделал на его личном деле отметку: «Готовить к увольнению». Поскольку среди высшего руководства управления и своих психов хватало с избытком, появление таковых в низовых структурах старались пресекать на корню.

Спустя несколько дней жена Комарова, обливаясь слезами, прибежала в управление. Из ее слов выходило, что муж, временно оказавшийся не у дел, повел себя весьма странно.

Каждое утро он облачался в тщательно наутюженную накануне форму, принимал положение «смирно» и до шести часов вечера застывал в ступоре. А когда милицейский завхоз, грозно именовавшийся «комендантом», в отсутствии постового решил основательно освежить выцветшее на солнце знамя, для чего применялись химические реактивы и горячие красители, Комаров корчился от боли и стонал: «Жгет, жгет, жгет...»

В том, что человек отождествил себя с неким посторонним предметом, ничего сверхъестественного как раз и не было. В психушках хватало и людей-автомобилей, и людей-миксеров, и даже людей-пенисов, приходивших в состояние эрекции по всякому пустячному поводу.

Сверхъестественной выглядела та мистическая связь, которая установилась между человеком и надетым на деревянную палку куском пыльной материи, то бишь знаменем. Этого не мог объяснить даже главный психиатр МВД, а уж он-то на своем веку повидал немало чудес.

Слух о загадочном феномене, конечно же, дошел до профессора Котяры. Осведомителей у него везде хватало, а особенно в силовых ведомствах, чем-то весьма обязанных маститому психиатру.

Вот так несчастный Комаров оказался в лечебнице. Поскольку диагноз болезни оставался неясен, то и лечить его не спешили, а только всевозможными методами уточняли этот самый диагноз.

На какое-то время отделение, где содержались суперпсихи, стало похоже на филиал военно-исторического музея. На Комарове испытывали все типы знамен, которые только удалось раздобыть, начиная от бунчука татаро-монгольского хана Неврюя и кончая брейд-вымпелом ныне здравствующего адмирала Челнокова.

Очень скоро выяснилось, что Комаров реагирует только на

своего старого дружка, которого он безошибочно опознал среди дюжины аналогичных образцов. Когда знамя пребывало в покое, все существо Комарова излучало безмятежность. Но стоило только проколоть полотнище шилом или прижечь сигаретой, как у него начинались корчи и судороги. Однажды на Комарова напала какая-то зараза вроде чесотки. Узнав об этом, Котяра велел отправить на исследование не человека, а знамя. Его предположение блестяще подтвердилось — в образцах ткани обнаружились свежие личинки моли, справиться с которыми оказалось куда сложнее, чем с чесоткой.

Пока единственным достижением медиков было то, что Комарова удалось избавить от ежедневных приступов ступора. Но зато со знаменем он не расставался и, к примеру, заходя ко мне в гости, любовно устанавливал его на самом видном месте. (В управление Котяра вернул совсем другое знамя, спешно изготовленное по заданному образцу в каком-то подпольном пошивочном цехе.)

Надо заметить, что своей странной болезни Комаров ничуть не стеснялся и охотно рассказывал о ней каждому встречному. К сожалению, я не мог ответить ему взаимной откровенностью.

Второй суперпсих, с которым свела меня судьба, в отличие от Комарова, характер имел скрытный и все свое красноречие тратил исключительно на искажение фактов собственной биографии (вполне возможно, что для этого имелись веские причины).

Его история стала известна мне со слов одного из ассистентов профессора, склонного видеть в большинстве из нас обыкновенных симулянтов.

Человек, о котором сейчас пойдет речь, появился в этом мире при весьма неординарных обстоятельствах. Обнаружил его колхозный агроном, проверявший качество пахотных работ, накануне проведенных тракторной бригадой.

Весна в тот год выдалась поздняя, и с утра пораньше в лужах еще трещал ледок, а потому присутствие посреди пашни голого младенца мужского пола с едва зажившей пуповиной выглядело более чем неуместно.

Какие-либо следы, как человеческие, так и звериные, поблизости отсутствовали, о чем агроном впоследствии клятвенно заверил работников прокуратуры. Даже вороны, активно добывавшие на поле дождевых червей и плохо запаханное зерно, почему-то предпочитали держаться в сторонке. Это был единственный случай, когда версия об аисте, разносящем новорожден-

ных младенцев по адресам, выглядела наиболее убедительной. Впрочем, сухари-следователи, напрочь лишенные романтических иллюзий, сразу отвергли такую возможность.

Найденыша определили в ближайший детский дом и по заведенной там традиции нарекли в соответствии с местом обнаружения — Полевой. (Были среди воспитанников и Садовые, и Подвальные, и даже девочки-двойняшки — Чердачные.)

В возрасте десяти лет мальчика усыновила немолодая бездетная чета. Фамилия приемных родителей отличалась такой неблагозвучностью, что новый член семьи сохранил прежние анкетные данные.

После восьмого класса Полевой поступил в техникум легкой промышленности, который в итоге и закончил, несмотря на многочисленные конфликты с преподавателями и сокурсниками. Долго погулять ему не дали и сразу загребли в армию, остро нуждавшуюся в специалистах по проектированию и пошиву верхней мужской одежды.

Приемные родители сумели найти подход к нужным людям, и служить Полевому подфартило поблизости от дома. Мамаша почти ежедневно стирала ему портянки, папаша снабжал высококалорийными продуктами и импортным куревом, а одна знакомая дама регулярно снимала стресс, вызываемый у молодых людей половым воздержанием.

Другой бы на его месте радовался жизни и спокойно дожидался неизбежного дембеля, но ефрейтор Полевой был не из таких. Сказывался чересчур самостоятельный характер. После тяжелого конфликта со старшиной он на утреннюю перекличку не явился, совершив тем самым противоправное деяние, в перечне военных преступлений характеризуемое как «самовольная отлучка».

(Странным казалось лишь то, что обмундирование и документы нарушителя остались на месте.)

В тот же день, ближе к вечеру, в райвоенкомат поступило сообщение, что посредине свекольного поля, принадлежащего одному пригородному колхозу, богатырским сном спит неизвестный гражданин, стриженный под нуль и облаченный в нижнее белье солдатского образца.

Нужно ли говорить о том, что это было то самое поле, на котором двадцать лет назад отыскался беспризорный младенец? Или о том, что неизвестный соня был вскоре опознан как ефрейтор Полевой, беспричинно покинувший расположение своей воинской части? Как поется в популярной песне: «Вот и встретились два одиночества».

Ничего определенного беглец объяснить не мог. Дескать, заснул в казарме на койке, а проснулся среди зарослей свекольной ботвы, чему и сам безмерно удивлен.

По прямой от воинской части до свекловичной плантации было километров двадцать, то есть часов пять-шесть нормального пешего хода. За ночь, в принципе, можно управиться. Однако данная версия рухнула сразу же, как только Полевой продемонстрировал всем присутствующим свои абсолютно чистые босые ступни.

Никакие транспортные средства, в том числе и летающие, за истекшие сутки поблизости не появлялись — это гарантировали колхозные сторожа.

Поскольку гипотеза с аистом уже утратила свою актуальность, оставалось предположить, что тут не обошлось без вмешательства инопланетян. Странное происшествие решили не афишировать, и Полевой отделался легким испугом.

История повторилась спустя год после крупного скандала в солдатской чайной, только поле, на которое неведомая сила перенесла ночью ефрейтора-забияку, на сей раз было засеяно не свеклой, а картошкой. Это окончательно переполнило чашу терпения командиров, и его быстренько комиссовали по состоянию здоровья, тем более что срок службы и так подходил к концу.

На гражданке Полевой занялся посредническим бизнесом, женился, пережил несколько банкротств, со скандалом развелся, какое-то время стоял у братвы на счетчике, был в бегах, вернулся под родительскую крышу, создал благотворительный фонд с подозрительным названием «Лохвест», но с железной неотвратимостью таких стихийных явлений, как, например, весенние половодья или тропические муссоны, рано или поздно вновь оказывался посреди родимого поля, то благоухающего клевером, то ощетинившегося жнивьем, а то и сплошь заваленного снегом.

(Однажды он даже хотел взять это поле в аренду, да не вышло — вместе с полем надо было брать и колхоз, имевший десять миллионов долгу.)

В клинике Полевой пребывал уже более полугода, однако никаких чрезвычайных явлений с ним пока не случилось. Мне он показался человеком, как говорится, себе на уме, который зря лишнего шага не ступит.

Такого же мнения придерживался и уже упоминавшийся мною ассистент профессора, по версии которого всю свою историю Полевой придумал, документальную базу подделал, свиде-

телей подкупил, а психиатрическая клиника понадобилась ему лишь для того, чтобы скрыться от кредиторов.

Впрочем, вполне вероятно, что похожие слухи ходили и обо мне. Дескать, дурит хитрый мальчишка голову легковерному профессору, а тот и носится с ним как с писаной торбой. Одной только импортной аппаратуры на пятьдесят «тонн» баксов закупил! Как будто бы такие деньги нельзя было истратить как-то иначе. Хотя бы подарить каждой медсестре на Восьмое марта по вечернему платью...

Моя жизнь между тем как-то незаметно наладилась. Исходя из общепринятой в быту шкалы ценностей, можно было сказать, что я покинул ту область ада, где смерть кажется наиболее желательным выходом, и переместился в чистилище, осененное если не благодатью, то хотя бы надеждой.

Весь мой день теперь был расписан буквально по минутам. Мною занимались не только психиатры и нейрохирурги, но и физики. Случалось, что судно мне подавал какой-нибудь убеленный сединами лауреат премии имени Макса Планка.

И вообще, степень научного интереса, проявляемого к некоему Олегу Наметкину, можно было сравнить разве что с ажиотажем, в свое время возникшим вокруг гробницы фараона Тутанхамона.

Вечера проходили в беседах с интересными людьми (кроме Флага и Полевого, меня навещали и другие ходячие суперпсихи, в прошлом знакомые с Берией, Гагариным, далай-ламой и самим Иисусом Христом), а также в азартных играх, для чего использовался медицинский компьютер, координировавший работу всей остальной диагностической аппаратуры.

На ночь я всякий раз получал добрую порцию снотворного, что должно было пресечь любые несанкционированные попытки побега в ментальное пространство.

Пару раз в клинике появлялся профессор Мордасов, и тогда (обязательно в присутствии Котяры) мы обсуждали некоторые аспекты моих возможных визитов в прошлое.

Для наглядности он однажды нарисовал довольно вычурную схему, на которой я изображался крохотным штрихом, возникшим на месте слияния жизненных линий моей бедовой мамаши и участкового инспектора Бурдейко.

Последний, в свою очередь, был плодом пересечения судеб Антониды Мороз и убиенного ею солдатика. Дальше следовали безымянные линии, намеченные лишь пунктиром, пока не воз-

пикала еще одна реальная связка — гвардии сержанта Лодырева и цесаревны Елизаветы Петровны. Все остальное, как говорится, было сокрыто мраком.

— Из всего сказанного вами можно сделать вывод, что индивидуальная человеческая душа возникает уже в момент зачатия, — произнес Мордасов, поглядывая больше на Котяру, чем на меня. — А однажды возникнув, она незримыми узами связана с душами родителей, а через них — с сотнями поколений предков.

— Следовательно, проникнуть в чужое сознание вы можете только непосредственно после совокупления. Папаши с мамашей. Дедушки с бабушкой. Пращура с пращуркой. И так далее вплоть до Адама с Евой, — добавил Котяра совершенно серьезным тоном. — Отсюда и проистекает откровенная сексуальность ваших видений...

— Выходит, что я обречен переживать все новые и новые постельные сцены? — Нельзя сказать, чтобы подобная перспектива меня очень удручала, но и ничего привлекательного я в ней не находил. Можете представить себе, что ощущает мужчина, побывавший в шкуре несчастной Антониды Мороз!

— Привыкайте, — Мордасов еле заметно улыбнулся. — Зато соберете уникальный материал для монографии на тему «Сравнительное описание особенностей половой жизни различных поколений хомо сапиенс»... Любой другой, оказавшийся на вашем месте, пришел бы от такой перспективы в полный восторг.

— Готов уступить эту перспективу кому угодно! Но только пусть заодно и гвоздь отсюда заберет, — я коснулся рукой своей забинтованной головы. — Лично вы не желаете? Очень жаль... Меня вот еще что интересует. Допустим, что моя душа как-то связана с душами обоих родителей. Почему тогда мое сознание не раздвоилось, а целиком и полностью внедрилось в сознание отца?

— Психическая структура любого человека столь же неповторима, как и его генотип. На кого-то из родителей мы похожи больше, на кого-то меньше. Одна душа выбирает другую по принципу сходства. Проще говоря, сознание отца было для вас более доступным. Это как электрический ток, который всегда распространяется по пути наименьшего сопротивления, — само собой, что такое разъяснение дал мне профессор Котяра.

— То есть с одинаковой долей вероятности я могу вселиться как в мужскую, так и в женскую душу?

— Конечно. И случай с Антонидой Мороз это подтверждает. А разве вы имеете что-то против женщин?

— Отнюдь... Но мало приятного, когда какой-нибудь пьяный скот творит с тобой все, что ему заблагорассудится.

— Ничего не поделаешь! В любой профессии есть свои издержки. Думаете, что копаться в психике маньяков доставляет мне удовольствие? Я ведь когда-то и с Чикатило имел дело, и с Фишером.

Ага, подумал я, вот откуда его связи с органами. Если он только с маньяками работал, это еще полбеды. Только ведь психиатрия в свое время и диссидентами занималась. Надо с Котярой ухо держать востро.

— Если честно признаться, то я искренне завидую вам, молодой человек, — сказал Мордасов. — Не знаю, как все обернется дальше, но пока перед вами открываются уникальные возможности. Вы сможете прожить тысячу жизней. Испытаете то, что не довелось испытать никому другому. Станете свидетелем событий, скрытых от нас завесой времени.

Ну что же, историку можно простить столь напыщенные речи. Но благоглупости нельзя прощать никому.

— Возможно, вы и правы, — произнес я с горькой усмешкой. — Но пока почти любая моя новая жизнь обрывается через считаные часы, а то и минуты. Даже в случае с Антонидой Мороз я едва-едва сумел удержать ее от самоубийства. Помогло то, что ее ребенок случайно оказался поблизости.

— Да, тут, безусловно, кроется какая-то проблема, — подал реплику Котяра. — Одно из двух: или вы способны проникать только в заведомо обреченные души, или идею смерти привносите с собой.

— Существует и третий вариант, — возразил Мордасов. — Гибельные ситуации, в которых оказывается наш герой, могут быть простой случайностью. Какие-либо окончательные выводы делать еще рано.

— Поживем — увидим, — буркнул Котяра. — В этом плане пока ясно только одно: за предков женского пола можно не беспокоиться. После зачатия, по времени совпадающего, так сказать, с незримым визитом потомка, они должны прожить как минимум девять месяцев. Иначе вся эта затея изначально не имела бы никакого смысла... Впрочем, есть надежда, что скоро мы проясним все спорные вопросы.

— Как скоро? — поинтересовался я. — Нельзя ли конкретнее?

— Скоро — значит скоро, — насупил брови Котяра. — Но не раньше, чем я буду уверен в успехе эксперимента.

...Это скоро растянулось чуть ли не на месяц. У Котяры успела отрасти пегая, клочковатая бороденка (говорят, что он всегда отпускал ее в переломные моменты жизни), задействованная в экспериментах аппаратура дважды поменялась, а все привлеченные со стороны люди постепенно исчезли. Последнюю неделю ко мне не допускали даже Комарова-Флага.

Эксперимент, на который возлагалось столько надежд, начался ровно в полночь, хотя интенсивная подготовка к нему шла с самого утра.

Со мной остались только Котяра, двое его ближайших ассистентов и похожая на вяленую воблу женщина-врач, которой я никогда раньше здесь не видел.

Свои инструменты она разложила на отдельном столике подальше от моих глаз, однако я успел заметить, что среди орудий, возвращающих человека к жизни, имеются и такие, посредством которых эту жизнь можно отнять. Одних шприцев разного калибра было не меньше дюжины. Короче, набор цивилизованного пыточного мастера.

— Начнем, — произнес Котяра, когда все подключенные ко мне приборы были приведены в действие. — Постарайтесь повторить все, что вы над собой уже проделывали. Заставьте душу покинуть тело.

— Легко сказать... — я закрыл глаза.

— Нырните в прошлое как можно глубже, — продолжал он. — На пятьдесят-семьдесят поколений. Но только не переусердствуйте. Мало ли какие опасности могут подстерегать человека, пустившегося в столь опасное путешествие. Когда духовный контакт с предком состоится, постарайтесь взять его сознание под контроль. Действуйте осторожно, но настойчиво. Ничего страшного, если он вдруг почувствует признаки раздвоения личности. Такое со всеми случается. И не забывайте про опознавательные знаки, которые вы должны оставить в прошлом. Все понятно?

— А хоть бы и нет — какая теперь разница, — буркнул я.

— Тогда действуйте. Желаю удачи.

— К черту! — вырвалось у меня совершенно машинально.

Пара минут ушло на то, чтобы сосредоточиться, а затем я начал повторять, как молитву: «Умереть, умереть, умереть... Уйти, уйти, уйти...» — все это, конечно, про себя, не разжимая губ.

Так, наверное, минуло с полчаса, время вполне достаточное для того, чтобы убедиться — умирать мне совсем не хочется. Ну не капельки! Душа сидела в теле крепко, как пырей на грядке.

— Ну что? — донесся до меня нетерпеливый голос Котяры.

— А ничего, — я открыл глаза. — Не получается...

(Знаковая фраза! Сначала ты говоришь ее няньке, сидя на горшке. Потом жене, лежа в постели. И напоследок — светоносным ангелам, требующим от тебя оправданий за неправедно прожитую жизнь.)

— Попробуйте еще раз, — уже не попросил, а приказал Котяра. — Постарайтесь.

Я стал стараться. Истово! Изо всех сил! Но это было то же самое, что постараться на метле взлететь в небо или в рукопашном поединке одолеть Илью Муромца.

Некогда грозное (а главное — действенное) заклинание «Умереть, умереть, умереть...» ныне превратилось в безобидную считалочку типа: «Один баран, два барана, три барана...», якобы помогающую от бессонницы.

За всеми хлопотами и треволнениями последних дней я даже как-то не заметил, что былое неприятие жизни исчезло, а вместе с ним выветрилась и установка на суицид. Похоже, что я утратил сверхъестественные способности, в свое время так заинтриговавшие профессора Котяру, и вновь превратился в рядового паралитика с дырявой башкой... Ох, зря меня здесь так разнежили!

— Все! Не могу! — Я сдался окончательно. — Давайте отложим на следующий раз.

— Увы, это невозможно, — холодно произнес Котяра. — Средства, отпущенные на исследования, иссякли. Благодаря вам я могу стать банкротом. Опыт должен состояться при любых условиях. И обязательно сегодня.

— Да поймите же, что-то изменилось во мне! Пропал кураж. И вы сами в этом виноваты. Закормили меня, заласкали, вселили надежду. Теперь я не хочу умирать.

— А придется, — глухо произнес Котяра и вместе со стулом отодвинулся от меня.

Тон его мне очень не понравился. Как я и подозревал, облик добродушного говоруна служил для Котяры всего лишь маской. На самом деле он был расчетливым и циничным мизантропом, абсолютно равнодушным к чужой судьбе. А впрочем, маской могла оказаться и эта его новая ипостась. Котяра был не только великим психиатром, но и способным лицедеем. Человеком с тысячей лиц.

Но в любом случае связываться с ним дольше я не хотел. Уж лучше клянчить милостыню в подземном переходе. Думаю, что на инвалидную коляску моя родня разорится.

— Прошу немедленно выписать меня из этой богадельни! — решительно заявил я. — Хватит! Спасибо, как говорится, за все!

— Выписать? Вас? — на физиономии Котяры отразилось глубокое недоумение. — К сожалению, это невозможно. Ваша медицинская карта вместе со свидетельством о смерти давно сдана в архив. Поймите, молодой человек, вы не существуете. Да, вам удалось выторговать у судьбы несколько лишних месяцев. Будьте довольны и этим. Но все хорошее когда-нибудь кончается... Марья Ильинична, приступайте к эвтаназии.

Мою правую руку немедленно пристегнули к койке, а рот запечатали клейкой лентой. Женщина с бледным, бескровным лицом взяла со столика один из своих шприцев и, цокая каблучками, направилась ко мне.

Вот, оказывается, каков подлинный облик смерти! Вместо савана — белый халат, вместо ржавой косы и песочных часов — одноразовый шприц. Сходство только в морде — мертвенная бледность, пустые глаза, оскал изъеденных временем зубов...

Иголку она всадила мне в вену со всего размаха, как кинжал. Конечно, зачем церемониться со смертником? Ну и гад все же этот Котяра! Мог бы свои грязные делишки и втихаря провернуть... А то устроил чуть ли не публичную казнь...

Первым на яд отреагировало зрение. Сначала пропали краски, а потом стало стремительно темнеть, как это бывает при солнечном затмении. В ушах загудели трубы Страшного суда. Сознание угасало.

Смерть, которую я столько раз тщетно призывал, явилась ко мне сама, аки тать в ночи... Смириться? Сдаться?

Нет, меня так просто не возьмешь! Пусть тело идет в могилу, а все, что составляет основу человеческой личности — сознание, память, страсти, — отправляется в странствие по душам бесконечной череды предков.

Такую возможность подлец Котяра не предусмотрел (а может, наоборот, предусмотрел, и я продолжаю сейчас участвовать в каком-то загадочном спектакле, пусть и в совершенно непонятной для меня роли).

Но рассуждать и рефлексировать уже поздно... Надо уходить, спасаться...

«Уйти, уйти, уйти...»

Падение в бездну! Падение столь стремительное, что суровый наждак веков сдирает с меня телесную оболочку столь же беспощадно, как встречный поток воздуха сдирает одежду с человека, падающего из поднебесья.

Где я сейчас? Сколько поколений пращуров миновало? Не

пора ли уже остановиться, дабы не оказаться в шкуре динозавра или в панцире ракоскорпиона?

Да не так-то это просто! Оказывается, что инерция существует не только в пространстве, но и во времени. Сильно же напугала меня эта бледная баба! Наверное, Котяра рассчитывал именно на такой эффект. Никогда не думал прежде, что жизнь может показаться мне такой дорогой.

Нет, страх смерти лежит не в области сознания. Он из числа темных первобытных инстинктов, доставшихся человеку в наследство от зверей и рептилий.

ЭГИЛЬ ЗМЕИНОЕ ЖАЛО, НОРВЕЖЕЦ

Все, финиш! Духота и вонь. Это единственное, что я пока ощущаю. Чужое сознание (а в принципе, не такое уж и чужое, иначе бы я в него не внедрился) спит. Спит в буквальном смысле этого слова. Храп стоит такой, что хоть святых выноси.

Хотя откуда здесь взяться святым? Не иначе как я угодил в каменный век.

И все же я потревожил сон своего дальнего предка. Похоже, он начинает просыпаться. Лучше всего забиться в какой-нибудь сокровенный уголок его сознания и там отсидеться. Изучить, так сказать, обстановку.

Странное это чувство, когда вокруг да около тебя начинает просыпаться целый мир, чем по сути дела является любое зрелое человеческое сознание. Ощущаешь себя чем-то вроде альпиниста, в сумерках взобравшегося на горный пик. Еще минуту назад ты ничего не видел, хотя и волновался в предчувствии некоего грандиозного зрелища, но вот заря осветила небо, ветер разгоняет туман, и перед тобой открываются все новые и новые перспективы, пусть даже непонятные и пугающие.

Все, молчу... Предку что-то не нравится.

Ну и сон! Опять проклятые ведьмы-дисы всю ночь терзали мою душу. Опять мордатое чудовище, похожее на злобного великана Сурта, нагоняло страх, от которого холодеют члены и лопаются сердца.

И за что мне такое наказание? От людей покоя нет, так еще и боги ополчились... Или во всем виновато пиво? Уж больно много его было вчера выпито.

Вспомнив о пиве, я пошарил вокруг в поисках ковшика, ко-

горый накануне предусмотрительно захватил с собой. Но разве по карез нужная вещь сыщется вот так сразу, да еще в темноте? Попадались мне то скомканные овчинные одеяла, то обглоданные кости, то голые женские ляжки. Да, повеселились...

— Эй, Офейг! — Я швырнул в дверь первое, что подвернулось под руку, кажется, чей-то башмак. — Где ты, собачий сын!

Почти сразу в спальню вошел старый слуга Офейг Косолапый, взятый в дом еще моим отцом. В одной руке он нес светильник, где в тюленьем жиру горел фитиль, а в другой — ковш с пивом.

— Не злословь с утра, а то удачи не будет, — буркнул он.

— Прокисло, — сказал я, опорожнив ковш. — Вели достать из погреба свежего.

— Прикончили вчера все пиво, — ответил Офейг без тени почтения. — Разве ты забыл?

— Тогда пошел прочь! И приготовь мне ратные одежды.

— Все уже давно готово. Меньше спать надо. Да и девок ты зря испортил. Все можно было миром решить.

— Не твоего ума дело, старый мерин!

Нынешней ночью постель со мной делили две девки-заложницы, правда, не по своей воле. Закон я нарушил, тут спору нет. Но ведь не в первый же раз. Когда-нибудь придется за все ответ держать.

Были они обе из рода Торкеля Длиннобородого, моего давнего врага. Это с их братьями нам предстоит сегодня сразиться. Одну, кажется, зовут Аста, а вторую — Сигни.

Интересно, с кем из них я совокуплялся сегодня ночью? Или с обеими сразу?

— Эй! — Я содрал с девок овчину, которой они прикрывались. — Вставайте! Не у себя дома на полатях!

Одной, судя по пышной заднице, уже пора было замуж. Вторая выглядела совсем еще девчонкой. Ноги, как у жеребенка, кошка между ними проскочит.

Обе таращились на меня, как волчата. Надо бы перед боем с ними всласть позабавиться, да времени нет — дружинники за окном уже гремят оружием.

Я накинул на голое тело просторную рубаху и велел старшей из сестер:

— Завяжи рукава.

Она до самых глаз натянула на себя овчину и злобно прошипела:

— Петлю бы я на твоей шее завязала, душегуб.

Вся в отца. Тот тоже хулил меня последними словами, даже когда издыхал. Скоро увидим, в кого уродились его сыновья.

— Хватит дуться, — сказал я примирительно. — Сегодня будет славный день. Встретишься со своими братьями. Или они увезут тебя домой, или ты схоронишь их в могиле.

— Нынче схоронят тебя, Эгидь Змеиное Жало! — огрызнулась она. — И не на родовом погосте, а там, где прибой лижет песок.

Прирезать ее, что ли, подумал я. Нет, пусть пока поживет. Потом разберемся. Ответит за каждое дерзкое слово.

Уже в дверях я задержался и, сам не знаю почему, сказал:

— Если родишь от меня сына, назови его Олегом и отправь на службу в Гардарику[1].

— Если я рожу от тебя сына, то утоплю его в фиорде! — пообещала дочь Торкеля.

Огонь очага ярко освещал горницу. Широкие лавки, на которых прежде можно было тинг устраивать, теперь были почти пусты. Что уж тут кривить душой — последнее время меня сторонились не только добрые люди, но и всякий бездомный сброд. Никто не хочет водить знакомство с человеком, которого проклял сам ярл Хакон, чтоб ему, гадине, утопиться в нужнике!

В дальнем углу сидели за столом работники, не посмевшие сбежать накануне, и ели селедку с овсянкой. Для мужчин, которым суждено принять участие в битве (мечи я им, конечно, не доверю, но луки взять заставлю), пища, прямо скажем, недостойная.

Пришлось снова подозвать Офейга Косолапого, который уже давно был в этом доме и за экономa, и за повара, и за управителя.

— Вели зарезать самого жирного бычка, — сказал я ему. — Пусть люди поедят вволю. Ужина сегодня дождутся не все.

— Скот вчера отогнали на хутор Бьерна Немого, — хмуро ответил старик. — Осталась только одна овца с переломанной ногой.

— Тогда зарежь овцу, — процедил я сквозь зубы.

Вся моя маленькая дружина занималась тем, что укрепляла

---

[1] Гардарика — древнескандинавское название Руси. (Это я, Олег Наметкин, внушил ему такую мысль, памятуя об обещании везде оставлять памятные знаки. А разве сын со столь странным для древнего скандинава именем не памятный знак?)

ограду вокруг усадьбы. Распоряжался здесь Грим Приемыш, человек пришлый и низкого происхождения, однако единственный, на кого я мог полностью положиться.

Завидев меня, он сказал, приложив ладонь к уху:

— Прислушайся, хозяин. Петух кричит.

И действительно, в криках чаек и карканье воронов, всегда сопутствующих рассвету, я вскоре различил далекое петушиное пение.

— Откуда здесь взялся петух? — удивился я.

— Наверное, его прихватила какая-нибудь колдунья, сопровождающая в походе сыновей Торкеля, — сказал Грим. — Значит, боятся они тебя и сначала постараются извести колдовством.

— Близко же подошли к моей земле эти собачьи дети!

— Всю ночь оба их корабля простояли у Синего Камня. Там жгли костры, жарили рыбу и приносили жертвы богам. Фиорд им незнаком, и корабли двинутся вперед только со светом.

— Тогда у нас еще достаточно времени, — сказал я, сразу вспомнив голеньких сестер, оставшихся в доме.

— Смотря для чего. — Грим отвел взгляд в сторону. — Будь я на твоем месте, хозяин, то пустился бы сейчас в бега. Пока не поздно, сядем на корабль и под покровом тумана прорвемся в море. В Лохланне[1] нам все равно не дадут спокойно жить. Рано или поздно ярл Хакон пришлет сюда свою дружину. Укроемся в Исландии у моей родни или отправимся еще дальше, в Страну винограда.

— Офейг! — в третий раз за сегодняшнее утро позвал я. — Где ты опять запропастился, плешивый дурак?.. Немедленно ступай к корабельному сараю и подожги его.

— Ничего умнее ты придумать не мог? — набычился старик, приковылявший со стороны кузницы.

— Не перечь мне, раб! Кораблю уже двенадцать зим, и днище его насквозь прогнило. Сегодня к закату мы завладеем двумя хорошими кораблями или ляжем в песок за чертой прилива.

— Это ты там ляжешь. А меня схоронят на холмах, как всякого законопослушного человека. Я ведь не проклятый, — дерзко ответил Офейг, однако взял горящий факел и направился к корабельному сараю, где с прошлой осени рассыхалась наша старая посудина.

---

[1] Лохланн — Норвегия, «страна озер».

— Поможем сыновьям Торкеля отыскать в тумане безопасный путь, — сказал я, когда спустя некоторое время над крышей сарая закурился дымок. — И больше никогда не заводи со мной разговор о побеге. Мужчина не должен уклоняться от битвы даже в том случае, если против него одного выйдет дюжина врагов.

Конечно, дело было не только в моей отчаянной смелости, известной далеко за пределами Лохланна. Имелись у меня и другие, куда более обыденные соображения, но делиться ими с Гримом я не собирался. На веслах от сыновей Торкеля не уйти, ведь стоящих гребцов у нас наберется не больше десятка. На парус вообще никакой надежды нет — ветер уже которые сутки дует с моря, и не похоже, что он переменится в ближайшее время. Нет, дорога китов для нас закрыта. Гораздо разумней отсиживаться за оградой.

Я еще раз обошел усадьбу, проверяя, надежно ли заперты ворота и не осталось ли снаружи чего-нибудь такого, что враги могут использовать как таран. Заодно и в кузницу заглянул.

— Накормим сегодня воронов во славу Одина, — сказал я чумазому кузнецу, правившему на точильном камне наконечники стрел.

— Это уж обязательно! — согласился он. — На двух кораблях меньше чем сорок человек не приплывут. Славная будет сеча. Хочешь, погадаю, чем она закончится?

Как и все кузнецы, он знался с духами, и люди в округе побаивались его, хотя и не совсем так, как меня.

Сам я в гадание не верю, но отказ выглядел бы малодушием, и потому кузнец был удостоен утвердительного кивка.

Из какого-то темного угла он извлек пучок лучин, покрытых руническими знаками, ловко перемешал их в ладонях, а затем с силой швырнул за порог кузницы. Однако лучины не разлетелись во все стороны, как этого можно было ожидать, а легли кучей, словно поваленный бурей лес.

— По всем приметам выходит, что пришельцы потерпят поражение, — спустя какое-то время сообщил кузнец. — Но и сам ты вряд ли уцелеешь.

— Если такова воля богов, то я безропотно принимаю ее. — По правде говоря, пророчество кузнеца ничуть не встревожило меня.

— Никто еще не ушел от судьбы. — Кузнец вновь собрал лучины в пучок. — Счастливы те, кто умирает на поле брани.

— Сделай сейчас вот что... — сказал я и умолк, пытаясь разобраться с сумасбродными мыслями, посетившими вдруг меня.

— Тебе дурно? — обеспокоился кузнец.

— Нет... Поставь на нашем оружии вот такое клеймо. — Я пальцем изобразил на черной от сажи стене кузницы какие-то каракули. — Оно должно уберечь нас от вражеского колдовства.

(Сами понимаете, что эта хитрая задумка принадлежала вовсе не моему дальнему предку Эгелю, а лично мне, Олегу Наметкину. Само клеймо, долженствующее выполнять роль памятного знака, выглядело так: О. Н. 1977 г. То есть мои инициалы и год рождения. Спустя столетия даже дурак поймет, что это такое.)

— Какие странные руны! — кузнец был явно озадачен. — Кружки, точки, закорючки... Но только сегодня уже не поспеть. Я и горн-то не разжигал.

— Так и быть... Поставишь клейма потом. Только не забудь...

Я понимал, что несу какую-то околесицу, но ничего поделать с собой не мог. Язык ворочался как бы сам собой. Не то давал о себе знать вчерашний хмель, не то кузнец навел на меня порчу, не то духи мщения вновь принялись за свои злые шутки.

Тем временем окончательно рассвело, и туман над фиордом поредел. Корабельный сарай продолжал гореть, хотя уже и не так буйно. Ветер относил дым к лесу.

Вернувшись в горницу, я стал облачаться для битвы. Надел длинную ратную рубашку, добытую в Миклагарде[1], круглый шлем и железные наплечья, похожие на крылья ворона. В правую руку взял незаменимую в ближнем бою секиру, а в левую — рогатое копье, никогда не застревавшее в теле поверженного врага. Меч я повесил за спину, как это принято у сарацин.

А со двора уже раздавались заполошные крики:

— Плывут! Плывут!

Выгнав прочь из дома всех находившихся там мужчин, я поднялся в сторожевую вышку, откуда хорошо просматривались окрестности усадьбы.

Два корабля шли на веслах по спокойной воде фиорда, и каждый из них размерами в полтора раза превосходил тот, что вместе с сараем догорал сейчас на берегу. Борта кораблей от штевня до штевня были завешаны щитами. Немалую силу собрали против меня сыновья Торкеля, чтоб им всем подохнуть без погребения!

Вскоре первый из кораблей достиг прибрежного мелководья и остановился. Рядом замер другой. Гребцы убрали весла и,

---

[1] Миклагард — Византия.

спрыгнув в прибойную волну, до половины вытащили корабли на сушу.

Будь у меня сейчас побольше воинов, желательно конных, лучшего момента для атаки нельзя было и придумать. Кормили бы тогда дерзкие пришельцы не только воронов, а еще и рыб.

Но это все, как говорится, пустые упования. А вражеская рать между тем уже разобрала щиты и толпою двинулась к усадьбе. Впереди всех вышагивали три увальня, похожие друг на друга, как селедочные бочки, вышедшие из рук одного бочара. Наверное, это и были отпрыски Торкеля Длиннобородого, собиравшиеся не только отбить своих сестер, но и отомстить за батюшку.

В сотне шагов от ограды рать остановилась. Правильно. Негоже начинать битву молчком, не обменявшись сначала обычными для такого случая любезностями. Я к тому времени уже спустился вниз и занял место среди защитников ограды.

Один из братьев, наверное самый красноречивый, грохнул мечом по щиту и заорал, надсаживая глотку:

— Эй, хозяин! Почему не встречаешь дорогих гостей? Почему прячешься в усадьбе, словно крыса в норе? Выходит, что ты не только грабитель, клятвопреступник и насильник, но еще и трус! Сейчас, наверное, дрожишь, как осина в непогоду? Боишься выйти на честную битву!

На вызов надо было отвечать. За этим у меня никогда не станет. Недаром же я прозываюсь Змеиным Жалом.

— Кто позволил ублюдкам троллей лаять среди белого дня? — воскликнул я, высунув голову из-за верха ограды. — Откуда здесь взялись эти пожиратели червей? Разве вам, дикарям, не ведомо, что хозяин встречает только тех гостей, которые заранее званы к его столу? А алчных бродяг, подбирающих чужие куски, он гонит прочь метлой!

— Тогда попробуй прогнать нас! — Он снова брякнул мечом по щиту.

— На это не надейтесь! Для вас уготована другая участь. Лучше сами ройте яму, куда я сложу ваши трупы, только головы у всех поменяю местами.

Эти слова вывели глашатая из себя.

— Как смеешь ты, презираемый простыми людьми и бондами, так разговаривать со мной, Олафом Буйным, сыном Торкеля Длиннобородого!

— Вот так встреча! — произнес я глумливо. — Кто бы мог по-

думать, что столь знатный муж соизволит посетить наши глухие края! Да еще и не один! Кто эти двое? Никак твои братья?

— Угадал! Это Хродгейр Подкова и Сурт Острозубый, прославившиеся своими ратными подвигами во всех четырех странах света. А теперь, когда тебе известны наши имена, догадайся, что за причина побудила нас прибыть сюда с оружием в руках.

Надо было довести этих чванливых глупцов до бешенства, дабы они окончательно утратили разум, а заодно и осторожность.

— Как я понимаю, вы явились за своими сестричками. Дело похвальное. Препятствовать вам не буду. Можете забирать все, что от них осталось. Кости Асты поищите в яме с отбросами, а кожу, снятую с Сигни, вам сейчас перебросят через ограду. Где-то и волосы ее завалялись, да уж очень долго их искать.

Олаф взревел, как жеребец под ножом коновала (недаром, знать, его прозвали Буйным), и, размахивая мечом, бросился вперед. Братья и дружинники едва поспевали за ним.

Следуя моему знаку, все, кто имел луки, пустили по стреле. Серьезного ущерба они никому не причинили, но заставили врагов остановиться. Нет для воина большего позора (кроме, конечно, трусости), чем смерть от стрелы — оружия рабов и разбойников. Таких неудачников даже в Вальхаллу не пускают.

Братья сошлись все вместе и стали совещаться, то и дело поглядывая в сторону усадьбы. Было ясно, что от своих замыслов они не откажутся, хотя никакого определенного плана действий сейчас не имеют.

Пришлось прийти к ним на помощь.

— Послушайте меня, сыновья Торкеля, — крикнул я через ограду. — Ведь эта распря касается только меня и вас. Зачем вмешивать в нее посторонних людей. Побережем чужую кровь. Пусть дружина отойдет к кораблям, а вы трое оставайтесь там, где стоите. Я выйду наружу, и мы сразимся в чистом поле. Можете нападать на меня всем скопом. Если победите — станете здесь хозяевами. Если погибнете — пусть ваши люди убираются восвояси. Подходят вам такие условия?

Братья вновь устроили небольшой тинг. Если чем-то они и уродились в отца, то только не умом.

Наконец они приняли какое-то решение, и Олаф обратился ко мне:

— С каким оружием ты выйдешь против нас?

— С одной секирой. Без щита и без копья. Можете убедиться.

Я изо всей силы швырнул свое рогатое копье через ограду,

так что оно вонзилось в землю как раз на полпути между усадьбой и лесом.

— Мы принимаем твой вызов, — сказал Олаф. — Пусть наши мечи скрестятся с твоей секирой. А все остальное зависит от воли богов.

Они отдали свои щиты и копья дружинникам, после чего те отступили к кораблям. Я же, сделав вид, что хочу сообщить домочадцам свою последнюю волю, подробно разъяснил Гриму Приемышу план дальнейших действий.

За ограду я вышел со словами:

— Пришло время проучить безмозглых баранов.

Братья, наверное, ожидали от меня осторожных маневров, сопровождаемых обычным для такого случая словоблудием, но я очертя голову бросился вперед и шагов с десяти метнул секиру в Олафа.

Это был мой излюбленный прием, прежде не раз приносивший победу, и врагам следовало заранее знать о нем. Но ведь давно известно, что в дурную голову ничего не лезет, даже хмель.

С такого расстояния я бы и в ствол березы не промахнулся, а что уж тут говорить про грузного, как медведь, Олафа. Лезвие секиры вошло в его грудь чуть ли не по самый обух, и звук при этом пошел такой, словно треснула забытая на морозе бочка.

Вот тогда-то оба оставшихся в живых брата взбесились по-настоящему. Ну истинные берсерки — ни дать ни взять! Вместо того чтобы бежать назад под защиту дружины, они погнались за мной, хотя дураку было ясно, что я направляюсь к копью, одиноко торчавшему из песка.

Хродгейр Подкова оказался куда более легконогим, чем Сурт Острозубый, потому и смерть принял прежде брата. Рогатое копье вонзилось в него с такой силой, что древко вырвалось у меня из рук.

А в воздухе уже свистел меч Сурта, решившего, наверное, покончить со мной одним ударом и тем самым приобщиться к славе Сигурда и Хельги[1]. Да не тут-то было! Я выхватил из-за спины свой меч, и звон пошел такой, что на корабле пришельцев заорал от страха петух.

Драться на мечах без щитов — умение, свойственное не каждому. Главное здесь — ошеломить врага градом могучих ударов и суметь воспользоваться первой же его оплошностью.

Однако надо признаться, что на сей раз судьба свела меня с достойным противником. Я еле успевал уворачиваться от его

---

[1] Сигурд и Хельга — герои древнескандинавского эпоса.

атак. Да и удары у Сурта Острозубого были прямо загляденье. Все сверху вниз да справа налево. Не иначе как он вознамерился напрочь снести мне голову. Это, конечно, смыло бы пятно позора с его так глупо погибших братьев, да и боевой дух дружины укрепило.

Я же придерживался целей куда более скромных, сил попусту не тратил, больше защищался, чем нападал, но в одной из стычек исхитрился-таки задеть мечом его колено, неосмотрительно выставленное вперед. На ногах Сурт устоял, однако из неистового воина сразу превратился в соломенное чучело, которое могут безбоязненно колотить палками даже малые дети.

— Не пора ли тебе просить о пощаде? — молвил я. — Но предупреждаю, пощаду ты получишь только после того, как сложишь в мою честь хвалебную вису[1].

Но похоже, что мои слова уже не доходили до Сурта. Стоя на одном месте, он что-то рычал, без толку размахивая мечом. Да и не водились никогда в роду Торкеля Длиннобородого добрые скальды. Не та порода.

Мне спешить было некуда, и, держась от чужого меча на безопасном расстоянии, я стал слагать вису, достойную столь славной победы. При этом я обращался не столько к Сурту, судьба которого, по сути дела, уже была решена, а к его осиротевшему воинству, издали наблюдавшему за всем происходящим.

Виса получилась простая и доходчивая:

Трудный жребий
Мне выпал
Сражаться с тремя
Разъяренными псами.
Кто устоит против них?
Только тот,
Кто на равных с богами.
Олаф сражен был секирой.
Хродгейра пронзило копье.
Сурта могу я добить
Чем угодно,
Хоть пальцем, хоть щепкой,
Участь хозяев
Разделит и рать,
Что явилась сюда
Вместе с ними.
Смерть уже рядом.
Достойно встречайте ее.

---

[1] Виса — песня-импровизация, весьма популярная у древних скандинавов. Чаще всего воспевала собственную воинскую доблесть, но иногда сочинялась и ради выкупа.

Смысл последних слов еще не дошел до сознания дружинников, в мрачном молчании наблюдавших за бесславной гибелью своих предводителей, а мои воины и домочадцы, под прикрытием дыма скрытно подобравшиеся к кораблям, уже напали на них с тыла.

Троих или четверых пришельцев пронзили выпущенные в упор стрелы, а остальных оттеснили от кораблей и загнали в воду. Победа досталась легко — с нашей стороны погиб только кузнец, даже в бою орудовавший своим молотом. Вот ведь какая незадача — нагадал смерть мне, а нарвался на нее сам.

Оставалось еще окончательно решить участь Сурта Острозубого, который уже перестал впустую махать мечом и опирался на него, как на костыль. Сапог его раздулся от крови, словно мех от вина.

После всего, что случилось сегодня, смерть последнего из сыновей Торкеля уже не могла добавить мне ратной славы. Но, с другой стороны, и его прощение не смягчило бы сердца моих многочисленных врагов. Как же быть? Жребий, что ли, бросить?

— Почему ты умолк? — с презрением спросил я. — Кто еще совсем недавно поносил меня самыми последними словами? Если твой язык прирос к зубам, то я могу выбить их.

— Каких слов ты ждешь от меня, Эгель Змеиное Жало? — прохрипел Сурт. — Славить тебя я не собираюсь. Умолять о пощаде тоже. После пережитого позора мне незачем оставаться на этом свете. Радует меня лишь то, что в царство мертвых мы сойдем вместе.

В тот же миг я получил удар в спину — слава Одину, не мечом и не секирой, а скорее всего обыкновенным кухонным ножом. Стальных колец моей ратной рубашки он не пробил, а только вмял их в тело.

Сурт, вздымая меч, уже прыгал ко мне на одной ноге, но я успел отскочить в сторону и обернулся к новому противнику лицом.

Оказывается, на меня напала старшая из дочерей Торкеля, та самая, с которой я так славно позабавился этой ночью. Сейчас она всем своим видом — а в особенности безумными глазами — очень напоминала валькирию. Нож для разделки рыбы, зажатый в ее правой руке, при умелом обращении мог быть не менее опасен, чем меч.

Еще я успел заметить, что ворота усадьбы распахнуты настежь и двор пуст.

Ох, ответит мне Грим Приемыш за то, что оставил заложниц

без присмотра! Но сначала мне ответит эта дерзкая девчонка, покусившаяся на жизнь хозяина. На куски разорву! Скормлю собакам! И ее сестричку заодно! Изведу на веки вечные всех потомков Торкеля Длиннобородого.

Нет, нельзя допустить такое! (Это опомнился я, Олег Наметкин, прежде таившийся в чужом сознании, как мышь под веником.) Не трогай, гад, потомков!

Ведь и я отношусь к их числу, а эта растрепанная девушка есть моя праматерь, чье лоно породило длиннейшую череду поколений, приведшую меня в бездну времен.

Если она вдруг умрет, то не станет ни гвардии сержанта Лодырева, ни Антониды Мороз, ни участкового Бурдейко, ни меня самого!

Мир изменится. В худшую или лучшую сторону — не важно. Но это будет уже совсем другой мир.

Исторические ошибки надо исправлять. Пусть лучше умрет мой пращур Эгель Змеиное Жало. И как его вообще земля носит!

Я перехватил руку девчонки и легко вырвал нож. Рубить с такого расстояния было неудобно, и сначала пришлось отшвырнуть ее прочь.

А потом мое сознание вдруг помутилось, как это бывает после хорошей затрещины. Не иначе, как духи мщения решили окончательно расквитаться со мной. Что же, лучшего момента для этого и придумать нельзя.

Воля моя ослабла, а руки бессильно повисли, словно я превратился в старика. Надо было бежать прочь от этого проклятого места, а я почему-то пятился назад, прямо под меч Сурта. Вот уж кто, наверное, возрадуется...

Последняя мысль, сверкнувшая в моем сознании почти одновременно со священным огнем, возвещающим о переходе в небесный чертог, где вечно пируют и меряются силами павшие на поле брани воины, была такова: «А ведь кузнец все же оказался прав. Судьбу не обманешь...»

Часть II

ОЛЕГ НАМЕТКИН, ИСТОРИК ПОНЕВОЛЕ

Короче говоря, Эгелю Змеиное Жало, моему пращуру этак в колене сороковом, напрочь вышибли мозги (в нашей родне это, наверное, наследственное).

Спору нет, он получил по заслугам, но я-то ради чего страдаю? Сами подумайте — за считаные часы умираю второй раз подряд! Такого и врагу не пожелаешь (ну если только профессору Котяре).

Я покинул агонизирующее тело Эгеля так поспешно, что сначала даже и не понял, в какую именно сторону направляюсь — то ли дальше в прошлое, то ли обратно в будущее (да простит меня мистер Земекис за невольный плагиат).

Впрочем, этот вопрос очень скоро прояснился, ведь на сей раз я ощущал себя не снежным комом, катящимся с крутой горки, а воздушным шариком, взмывающим в небеса. Как ни странно, но в ментальном пространстве, почти не имеющем аналогий с нашим миром, понятия «вверх» и «вниз» тоже существуют.

Подъем этот был столь стремительным и неудержимым, что по ходу его я не смог зацепиться ни за одного предка, хотя и старался. В результате я вновь оказался в многострадальном теле Олега Наметкина, являвшемся для моей души как бы конечной точкой любого путешествия.

Вопреки ожиданиям, моя телесная оболочка находилась во вполне приемлемом состоянии — сердце билось, легкие дышали, в желудке урчало.

В палате почти ничего не изменилось, даже часы на стенке показывали примерно то же время. Исчезла только тетя-смерть вместе со всем своим жутким инвентарем. Моей правой руке и моему матюгальнику, то бишь рту, была возвращена свобода действий.

Некоторое время мы с Котярой в упор смотрели друг на дру-

га. Он при этом лукаво улыбался, словно дедушка Ильич, подстреливший очередного зайчика, а я размышлял, как лучше поступить — плюнуть ли ему сначала в рожу или сразу поднять крик на всю лечебницу.

Однако Котяра, очень чуткий ко всем жизненным коллизиям, опередил меня.

— Прошу покорно простить за те не совсем приятные минуты, которые вам пришлось недавно пережить, — сказал он проникновенным голосом. — Уверяю, что акт эвтаназии был всего лишь инсценировкой, а препарат, который вам ввели, совершенно безвреден. Готовясь к нынешнему эксперименту, я заранее предполагал, что прежние приемы перехода в ментальное пространство могут оказаться мало эффективными. Установка на суицид потеряла свою актуальность, не так ли? Пришлось делать ставку на совсем иные побуждения. Такие, как инстинкт самосохранения, например. И, судя по всему, мой план удался.

Поскольку я продолжал молчать, Котяра повторил с нажимом:

— Так удался или нет?

— Удался, удался, — буркнул я с самым мрачным видом. — Даже очень. Меня от страха занесло чуть ли не на тысячу лет назад... Но скажите, как это все соотносится с врачебной этикой, с правами человека, с элементарной совестью, наконец?

Мой вопрос, конечно же, ничуть не смутил Котяру. Ответ скорее всего был заготовлен заранее:

— Не мне вам объяснять, что этика психиатров и психотерапевтов в реальности несколько отличается от этики дантистов. Иногда ради пользы дела мы должны применять весьма радикальные методы лечения. Смирительную рубашку, медикаментозный шок, глубокий гипноз, электрические разряды, даже имитацию процесса собственного рождения. Это профессиональная кухня, и посторонним на ней делать нечего... Но только к нашему случаю данные примеры никакого отношения не имеют. Вы не пациент, а полноправный участник эксперимента. Испытатель, первопроходец, исследователь, сознательно рискующий своей жизнью. Отсюда и все неизбежные издержки. К сожалению, наука невозможна без жертв. Вы сами избрали такой способ существования, на что, кстати, имеются соответствующим образом оформленные документы.

Лично я про эти документы слышал впервые, но, учитывая количество самых разных бумаг, подписанных мною при поступлении в лечебницу, можно было предположить, что среди них в

случае необходимости найдется и безупречно составленный договор с дьяволом.

Видя мое замешательство, Котяра продолжал:

— Других претензий, надеюсь, у вас не имеется?

— А как расценивать ваши слова относительно того, что официально я считаюсь покойником?

— С моей стороны это была всего лишь провокация. — Котяра развел руками. — Метод психологического давления. Часть инсценировки. На самом деле такой подлог практически невозможен. В случае смерти пациента мы должны информировать его родных. Хотите пригласить сюда свою мать или брата? Они подтвердят мои слова.

— Спасибо, не надо! — решительно отказался я. — Вопрос снят. Живу, и слава богу.

— И это вы называете жизнью! Ваша настоящая жизнь разворачивается совсем в иных измерениях. А это, — Котяра с ухмылкой ткнул пальцем в мое парализованное тело, — лишь временное прибежище. Ветхий эллинг, в котором иногда находит приют океанская яхта, большую часть года вольно странствующая по свету. Ну, признавайтесь, где вы побывали сегодня?

— По-моему, это была Древняя Скандинавия. Узкие заливы, скалистые берега, сосновый лес. Селедка на завтрак и обед. Мечи и секиры. Парусные лодки с высоко задранными носами. Постоянное упоминание имени Одина.

— Вот, оказывается, куда судьба занесла вашего предка. И кто же он? Мужчина, женщина?

— Отщепенец, презревший все тамошние законы. Неистовый воин и вдохновенный скальд. Насильник. Грабитель. Неутомимый скиталец. Алчный хищник и в то же время человек широкой души.

— Вы сочувствовали ему?

— До некоторой степени.

— Пытались овладеть его сознанием?

— Всего пару раз... Честно сказать, не до этого было. Уж очень стремительно разворачивались события. Любая оплошность грозила ему смертью. В конце концов так оно и случилось...

— Как долго вы там находились?

— С рассвета и примерно до полудня. Часов пять-шесть. А сколько времени прошло здесь?

— Меньше трех минут.

— Что бы это значило?

— Время в ментальном пространстве и время здесь — разные вещи. Наверное, вы научились пользоваться этим обстоятельством. Даже помимо собственной воли. Вскоре за один здешний миг вы сможете прожить там целую жизнь.

— Занятная перспектива. Хотя, если говорить честно, оценить ее по достоинству я пока не могу. Не готов.

— Речь идет о практическом бессмертии. Причем о бессмертии духа, не обремененного дряхлеющим телом.

— По-вашему, дух не подвержен дряхлению?

— Хотелось бы в это верить. Большинство людей к старости глупеют, но это связано с процессами деградации мозговой ткани. А ваш дух, ваше сознание будут перемещаться из одного полноценного мозга в другой, попутно впитывая в себя самый разный жизненный опыт, самые разные впечатления... Впрочем, все это пока относится к области прогнозов. — Пыл его вдруг угас. — А что получится на самом деле — увидим. Дел впереди невпроворот. Главное, чтобы вы научились уходить в ментальное пространство по собственной воле, без всякой посторонней стимуляции.

— Мне бы самому этого хотелось, — признался я. — Да что-то не получается.

— Но, будучи, так сказать, вне пределов этого мира, — он покосился на вентиляционное отверстие, словно вход в ментальное пространство находился именно там, — вы покидаете свою телесную оболочку без всяких проблем. Не так ли?

— Чаще всего мне просто деваться некуда. Я покидаю гибнущую телесную оболочку, как это было сегодня.

— Прикажете убивать вас перед каждым очередным путешествием? — Котяра невесело улыбнулся.

— Нет, второй раз этот номер не пройдет, — заверил я его. — Не запугаете.

— Придется придумать что-нибудь свеженькое.

— Вы-то, конечно, придумаете! Исходя из опыта инквизиции и гестапо. — И тут меня осенило. — А что, если попробовать боль? Я, между прочим, боли боюсь больше, чем смерти. Вот и сбегу от нее куда подальше.

— Мысль дельная. — Котяра окинул меня взглядом, который можно было охарактеризовать как удивленно-уважительный. — В плане умственном, мой друг, вы, безусловно, прогрессируете. Хотя вроде бы учиться не у кого. Все ваши предки не ахти какие мудрецы.

— Жизнь учит, профессор, — сообщил я жизнерадостно. — Да и от вас ума понемногу набираюсь.

— Спасибо на добром слове. Кстати, рассказ о ваших последних похождениях необходимо задокументировать. Когда это лучше сделать?

— Лучше всего — прямо сейчас. А то вдруг забуду что-нибудь важное.

— Отдохнуть, стало быть, не желаете.

— Я не устал. Все происходило как в кино. Успевай только глазами зыркать. Правда, когда наша общая с предком голова развалилась от удара меча на две части, ощущение было не из приятных.

— Тогда приступайте. — Он вложил в мою правую руку диктофон. — Постарайтесь ничего не пропустить. Побольше деталей, имен, географических названий, если таковые упоминались. А я, чтобы не мешать вам, удалюсь.

Выглядел Котяра очень утомленным. Куда более утомленным, чем я (это если судить по моим внутренним ощущениям). Но с ним-то, положим, все понятно. Как-никак глубокая ночь на дворе. Всем нормальным людям давно пора отдыхать. А вот откуда во мне столько прыти? Умей я владеть своим телом — наверное, пустился бы сейчас в пляс. Неужели мне передалась жизненная энергия пращура, сгинувшего тысячу лет назад?

Целых два дня я был предоставлен самому себе, и в конце концов это стало надоедать. Похоже, что слова Котяры сбывались. Я ощущал себя если и не океанской яхтой, запертой в эллинге, то, по крайней мере, застоявшимся конем. Тяга к странствиям в ментальном пространстве оказалась столь же прилипчивой, как и пристрастие к наркотикам.

Каждую ночь я пытался покинуть этот мир, но всякий раз безуспешно. Психологическая установка на суицид, в свое время толкнувшая меня на эту скользкую дорожку, исчезла окончательно, а серьезную боль себе я причинить не мог.

К тому же расстроился сон. За кошмары, регулярно посещавшие меня, нужно было благодарить предков. То я вновь насиловал дочерей Торкиля Длиннобородого, то маршировал по промерзшему плацу, освещаемому только луной да огромными кострами, то тонул в ржавом комарином болоте.

Дабы хоть как-то отвлечься, я пытался припомнить все, что мне было известно о природе времени, и даже строил на этот счет свои собственные теории, в которых скупые крохи научных

фактов приправлялись обильным гарниром мистики и пряным соусом фантазий.

На третий день, сразу после завтрака, меня навестил профессор Мордасов. Как человек воспитанный, он минут пять рассуждал о вещах отвлеченных, а к делу приступил лишь после того, как похвалил меня за цветущий вид (что было несомненным преувеличением), и заглазно пожурил Котяру за чрезмерно жесткую методику экспериментов (что совпадало с моим собственным мнением).

Затем Мордасов извлек из портфеля стопку листов, содержавших распечатку моего последнего устного сообщения. Чуть ли не каждая вторая фраза была подчеркнута фломастером — местами красным, а местами синим. Поля, вперемежку с восклицательными и вопросительными знаками, испещряли какие-то похожие на тайнопись закорючки. Не хватало только краткой резолюции в левом верхнем углу — чего-то вроде «К исполнению» или «Категорически отказать».

Короче, над текстом кто-то усердно поработал.

— Я не знаток Средневековой Скандинавии, — словно угадав мои мысли, произнес Мордасов, — а потому передал ваш доклад на экспертизу компетентным специалистам. Естественно, с некоторыми купюрами и без указания источника получения информации. Сразу отмечу, что ваша история выглядит вполне правдоподобно, хотя и не содержит никаких принципиально новых сведений. Рецензент даже счел уместным заметить, что она выглядит как ловкая компиляция норвежских саг. Если что и придает ей убедительность, то не внешняя достоверность общих мест, а отдельные несоответствия с традиционной точкой зрения. Так, например, весьма сомнительно, что в те времена скандинавы держали у себя домашних кошек.

— Эгель Змеиное Жало много странствовал и мог видеть кошек в других странах, — возразил я. — Тем более что кошка упоминается в моем рассказе не как конкретный объект, а как ассоциация, случайно возникшая в моей памяти.

— Вполне вероятно. Но таких несообразностей довольно много. Компилятор, а тем более мистификатор этого себе не позволил бы. Как известно, многие литературные фальшивки выглядят гораздо убедительнее подлинных произведений соответствующей эпохи... Подробный анализ текста вас вряд ли заинтересует. Лично у меня нет причин сомневаться в достоверности описанных событий. Важно другое — сумели ли вы оставить в прошлом какой-нибудь памятный знак.

— Я упомянул об этой попытке.

— Разве... — Мордасов стал бегло просматривать текст. — Наверное, этот эпизод изъял профессор Котяра. Придется повторить его для меня.

— Незадолго до начала схватки я велел кузнецу поставить новые клейма на все наше оружие. Однако он вскоре погиб прямо у меня на глазах.

— Так-с... — Мордасов сразу помрачнел. — Жаль, что у нас ничего не вышло... А как должны были выглядеть эти клейма?

— Мои инициалы и год рождения. В современном летоисчислении, естественно.

— Незамысловато, но, в общем-то, узнаваемо. Что же, подождем до следующего раза.

И тогда я начал излагать ему мысли, занимавшие меня все эти последние двое суток:

— Профессор, давайте вспомним теорию, в равной мере удовлетворяющую и вас, и моего лечащего врача, то есть гражданина Котяру. Благодаря редчайшему стечению обстоятельств, главное из которых — засевший в моей башке гвоздь, я получил возможность вселяться в телесную оболочку предков и даже както влиять на их поступки. Антонида Мороз зарезала изнасиловавшего ее красноармейца только благодаря моему чуткому руководству. Я сорвал уже почти удавшееся покушение на императрицу Анну Иоанновну. Это я погубил Эгеля Змеиное Жало, который мог бы совершить еще немало кровавых подвигов. Но на реальном ходе истории это никоим образом не отразилось. Почему? Подобный феномен можно объяснить по-разному. Но лично я склоняюсь к следующей версии... Хотите ее выслушать?

— Почему бы и нет.

— Все события, случившиеся на земле со времен Адама и до наших дней, намертво зафиксированы в структуре мироздания, истинное устройство которого нам пока неизвестно. Текучая вода превратилась в камень. Изменить что-нибудь в прошлом нельзя. Следовательно, все, что я содеял и еще успею содеять в минувших веках, тоже является непреложным фактом истории. Еще не родившись, я подставил Эгеля под меч Сурта Острозубого и помешал Ваське Лодыреву убить императрицу. Это касается и моих грядущих путешествий в ментальное пространство. В прошлом они уже совершились. И если бы я пожелал оставить где-то метки, понятные моим современникам, то давно бы сделал это. Какой вывод напрашивается?

— Вывод такой, что нам следует немедленно приступить к

поиску этих самых меток. — В сообразительности Мордасову нельзя было отказать. — Вопрос лишь в том, имеет ли ваша версия под собой хоть какую-то реальную основу. Честно сказать, я в этом сильно сомневаюсь.

— А я думал, что наука как раз и занимается проверкой самых сумасшедших версий. Или истории это не касается?

— Почему же... Если бы сейчас, к примеру, были найдены архивы Карфагена, взгляд на античную историю мог коренным образом измениться. Мы не догматики. Но свойствами пространства-времени занимаются совсем другие науки.

— Тогда вам придется поверить мне на слово. И посвятить себя поиску пресловутых памятных знаков. В конце концов, это была ваша идея. Если профессору Котяре суждено стать новым Фрейдом, то вам уготованы лавры второго Шлимана.

— Тогда какую роль вы оставляете себе? Христа или Будды?

— Принципиального значения это не имеет. Все бессмертные создания в чем-то похожи друг на друга. Но не будем отвлекаться. Ищите мою метку. Ищите во всех временах и у всех народов, поскольку неизвестно, куда в следующий раз занесут меня родственные связи. Ищите не только на оружии, но и на других подходящих для этого дела предметах. На древних монетах, на клинописных табличках, на стенах могильников и храмов, на менгирах, на гербах, на геральдических знаках, на почтовых штемпелях, в кабалистических текстах, на костях давно вымерших животных.

— Думаете, что это легко? — Увы, но интеллект Мордасова не шел ни в какое сравнение с его решительностью.

— Конечно, не легко! Но ведь сейчас не девятнадцатый век. В вашем распоряжении мировая информационная сеть. Каждый музей, каждое археологическое общество, наверное, имеют свой собственный сайт. Где-то должны храниться сведения о всех нерасшифрованных текстах и загадочных пиктограммах. Кроме того, у истории есть немало вспомогательных дисциплин. Не так ли?

— Да, — кивнул он, — нумизматика, геральдика, палеография, сфрагистика...

— А что такое сфрагистика?

— Наука, изучающая древние печати.

— Пройдитесь и по этим сайтам. Свяжитесь с зарубежными коллегами. Наверное, это будет стоить немалых денег, но ради такого случая не грех и раскошелиться. Зато в результате вы можете получить неоспоримые доказательства пребывания моей души в минувших временах.

— Попробовать-то можно, — неуверенно произнес Мордасов. — А как точно выглядит ваш знак? Нарисуйте его здесь.

Он протянул мне последний из листков, заполненный текстом лишь на одну треть.

Я тщательно вывел на бумаге — О. Н. 1977 г. — и долго всматривался в надпись, стараясь навсегда запечатлеть ее в памяти. Кто знает, в каких условиях и на каком материале мне придется изображать этот знак в следующий раз...

Мордасов ушел и как в воду канул. Потянулись унылые дни, перемежающиеся беспокойными ночами. Котяра несколько раз заглядывал ко мне. Но все как-то мимоходом. На вопросы о предполагаемых сроках следующего путешествия в ментальное пространство он отвечал уклончиво — дескать, сначала надо самым тщательным образом изучить уже имеющиеся данные, а уж потом двигать дальше. Главным его аргументом являлись банальные пословицы типа «Не спеши начинать, а спеши кончить» или «Сделаешь наспех, получится на смех».

Знал ли он о моем последнем разговоре с Мордасовым и наших совместных планах? Скорее всего знал. Недаром ведь в клинике говорили, что без ведома Котяры и клизма не опорожнится. Знал, а потому и тянул время, ожидая результата.

Уже и не помню, в какой именно день оба они заявились ко мне, но после трагического визита в Древнюю Скандинавию прошло не меньше полумесяца.

Котяра весь просто сиял и при себе имел откупоренную бутылку шампанского. Мордасов, наоборот, выглядел, как гусыня, внезапно снесшая страусиное яйцо.

Все, что еще было способно затрепетать в моем теле, затрепетало!

— Неужели получилось? — вымолвил я прежде, чем гости успели поздороваться.

— Полный порядок! — Котяра отсалютовал бутылкой, из которой тут же хлынула пена. — Поздравляю!

— Значит, я вновь могу отправиться в ментальное пространство?

— Хоть завтра! Нам удалось раздобыть такой козырь, что никто из недоброжелателей даже пикнуть не посмеет. Теперь от спонсоров отбоя не будет. Денежки потекут рекой.

— Еще раз попрошу вас не торопиться! — Мордасов скривился, как от изжоги. — Все выглядит несколько иначе, чем вы

себе представляете. Пока о нашей находке даже заикаться нельзя. Нездоровая сенсация неизбежно погубит начатое дело.

Котяра, похоже, придерживался другой точки зрения, но возразить не успел. А помешал ему я, почти взмолившись:

— Да хоть объясните мне, что случилось! В прошлых веках отыскалась моя метка?

— Предположительно, — буркнул Мордасов.

— Почему это предположительно! — Котяра от избытка чувств даже слегка плеснул на приятеля шампанским. — Все точно, как в палате мер и весов.

— И до каких же, интересно, времен я добрался на сей раз?

— Речь идет примерно о тринадцатом веке, — ответил Мордасов. — До нашей эры.

— Почти три с половиной тысячи лет! Ничего себе! А куда меня занесло в смысле географическом? — продолжал выспрашивать я. — Далеко?

— Довольно далеко. Но лучше я расскажу все по порядку.

— Я только этого и жду!

— К сожалению, поиск в Интернете на первых порах ничего не дал. — Мордасов присел у меня в ногах и снял очки, которые, возможно, мешали ему сосредоточиться. — Тогда знающие люди посоветовали мне посмотреть сайты, закрытые для свободного посещения. Дабы получить к ним доступ, пришлось обращаться за помощью к кое-каким авторитетным лицам...

Котяра при этом подмигнул мне и ткнул себя горлышком бутылки в грудь.

— Надо признаться, что я узнал для себя очень много нового, — продолжал Мордасов, покосившись на приятеля. — В главном управлении МВД по борьбе с хищениями, например, есть подробнейшая картотека на все клады, зарытые на территории страны, включая могилу Чингисхана и библиотеку Ивана Грозного.

— Угу, — хмыкнул Котяра. — Хоть сейчас иди и бери...

— В структуре бывшего КГБ существовал спецотдел, еще с двадцатых годов фиксировавший все необъяснимые и загадочные факты. — Мордасов демонстративно проигнорировал эту реплику. — Таких исчерпывающих сведений о снежном человеке, хасидских мистиках и артефактах, обнаруженных в угольных пластах, нет больше нигде в мире.

Библиотека Конгресса США располагает исчерпывающим каталогом всех граффити. Самая богатая коллекция знаков и символов собрана в Британском музее. Мне даже позволено бы-

ло заглянуть в базу данных Международного комитета по изучению аномальных и сверхчувственных явлений. Но нигде я не обнаружил ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего избранный вами символ. Уже почти не надеясь на удачу, я обратился за помощью ко всем мало-мальски знакомым археологам.

— Влетело мне это в копеечку, — осклабился Котяра. — Запрос по факсу в Перу или Новую Зеландию — довольно дорогое удовольствие.

— Ничего не поделаешь, — Мордасов слегка смутился. — Хорошее дешевым не бывает, это еще испокон веков было известно... Впрочем, успех пришел оттуда, откуда я меньше всего ожидал. Один из патриархов отечественной эллинистики, давно позабывший даже имена собственных внуков, вдруг вспомнил, что видел нечто подобное в самом конце войны...

— Где? — не удержавшись, выпалил я.

— В архиве института кайзера Вильгельма, который ему довелось разбирать. Рисунок был напечатан в тоненькой брошюрке и снабжен текстом на непонятном языке. То есть не на немецком, не на английском и не на древнегреческом, которыми он владел в совершенстве. Хотя шрифт был латинский. Естественно, брошюрка совершенно не заинтересовала комиссию, уже завладевшую документами сказочной ценности. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

— Но ведь какую-то зацепку вы все же получили! — воскликнул я.

— Самую ничтожную. Примерное описание внешнего вида и формата брошюры. Благодаря этому другой ветеран научного фронта вспомнил, что примерно так выглядели бюллетени, издававшиеся до войны датским королевским научным обществом.

— Имени принца Гамлета, — брякнул чересчур расшалившийся Котяра.

— Нет, имени короля Кристиана, — вполне серьезно поправил его Мордасов. — В Дании у меня никаких личных связей не имелось, и с тамошними историками пришлось связываться через Шведскую академию наук. Как бы то ни было, но вскоре выяснилось, что подобные бюллетени действительно издавались до сорокового года мизерным тиражом в пятьдесят—сто экземпляров. Ответственность за их содержание нес исключительно автор. Меня сразу предупредили, что к истинной науке эти опусы имели весьма отдаленное отношение. Так... добросовестные заблуждения дилетантов, а иногда и явная фальсификация фактов.

На мое счастье, в одной из частных коллекций сохранился единственный экземпляр искомого бюллетеня, в котором малоизвестный археолог-любитель Иоганн Грегерсон описывал результаты своих раскопок на острове Крит, за год до этого вошедшем в состав Греции. Сразу хочу сказать, что дело происходило в тысяча девятьсот четырнадцатом году.

— Подождите! — Я замахал на Мордасова рукой. — Раскопки проводились перед Первой мировой войной. А когда вышла брошюра?

— В тридцать девятом.

— Почему же автор молчал четверть века?

— Это его право. Учение Коперника тоже было опубликовано через много лет после его разработки.

— Ну вы и сравнили! Коперник боялся инквизиции. А кого мог бояться этот ваш... Грегерсон?

— На этот вопрос вам никто не ответит. Иоганн Грегерсон умер во время немецкой оккупации, а его архив утерян. Лично мне эти обстоятельства кажутся маловажными. Лучше вернемся к результатам раскопок.

— Как хотите.

— На Крите в ту пору царил форменный кавардак, и Грегерсону не составило никакого труда получить от местных чиновников разрешение на проведение земляных работ. Впрочем, он мог действовать и самовольно. Это было время археологов-романтиков, фанатиков-недоучек, поклонников Гомера и последователей Шлимана, лавры которого вы мне недавно посулили.

— Если вы что-то имеете против, беру свои слова обратно. Пусть вам лучше достанутся лавры сэра Говарда Картера.

— Хоуарда... Хоуарда Картера, — поправил он меня. — У вас ужасное произношение.

— Ближе к делу, — строго произнес Котяра. — К чему эта лирика?

— Конечно, конечно. — Мордасов весь как-то подобрался. — В описываемый период Минойская культура уже была достаточно хорошо изучена, в основном стараниями доктора Артура Эванса, обнаружившего кносский дворец. Британская школа археологии в те времена была ведущей в мире. Но и другие не отставали. Итальянцы вели раскопки на юге острова, у древнего Феста. Американцы — на востоке, у залива Мирабелло. Одни только немцы почему-то держались от Крита подальше. Грегерсон приступил к раскопкам древних захоронений, на которые ему указали местные жители. Очень скоро он убедился, что боль-

шинство из них ограблено еще в античное время. Вся его добыча состояла из глиняных черепков, горсти бусинок, пары бронзовых безделушек да груды человеческих костей, которыми никто не интересовался, поскольку в экспедиции отсутствовал антрополог. Сезон раскопок между тем подходил к концу.

— Неужели ударили морозы? — удивился я. — А говорят, на Крите лето круглый год...

— Дело в том, что подошло время сбора винограда, — пояснил Мордасов. — Все землекопы, нанятые Грегерсоном, поспешили заняться куда более неотложным, а главное, прибыльным делом. На раскопках осталось только несколько бродяг, ленивых и бестолковых. Один из них забыл с похмелья все указания, полученные накануне, и принялся рыть шурф в совершенно неположенном месте. Эта ошибка и привела к открытию, которое должно было впоследствии прославить Грегерсона. Бродяга случайно наткнулся на неразграбленную могилу. Впрочем, это была даже и не могила, а обыкновенная яма, куда без соблюдения похоронных обрядов швырнули мертвое тело. Тут же находился и бронзовый меч, несомненно, являвшийся орудием убийства.

— Из чего это видно? — поинтересовался я.

— Его острие застряло в позвоночном столбе покойника... Скелет и меч — вот и все, что досталось Грегерсону. Ни доспехов, ни богатых украшений, обычных для такого случая. Однако вскоре его разочарование сменилось восторгом. Все кости скелета отличались необыкновенной массивностью. Особенно выделялся череп. По описанию Грегерсона, объемом он превосходил человеческий едва ли не в полтора раза. Кроме того, этот череп имел громадные височные выросты, в которых, по-видимому, находились придатки мозга, отсутствующие у нынешнего человека.

— Уж не о Минотавре ли идет речь? — догадался я.

— Представьте себе — нет. Хотя это была первая мысль, посетившая Грегерсона. Скелет принадлежал вовсе не человеку-быку, что было бы нонсенсом, а именно человеку, пусть и человеку иной биологической формации. Куда более мощному и, если судить по отпечаткам коры головного мозга, оставшимся на внутренней поверхности черепа, куда более сообразительному, чем мы с вами... Находка, несомненно, была сенсационной, но, дабы греческие власти не наложили на нее лапу, Грегерсон решил не поднимать лишнего шума. Землекоп, так и не понявший, какое открытие он совершил, спешно получил расчет, а сверх того бутылку виски. Грегерсон, опасаясь прибегнуть к услугам ме-

стного фотографа, самолично зарисовал свои трофеи и тщательно упаковал их в заранее припасенный ящик. Спустя сутки он покинул остров на английском пароходе. Так уж совпало, что в течение следующей недели Германия последовательно объявила войну всем странам Антанты. Началась неограниченная подводная война. Пароход, на котором плыл Грегерсон, был торпедирован в Бискайском заливе. Его груз, естественно, погиб, а пассажиров и экипаж подобрали португальские рыбаки. Военное время Грегерсон пересидел в Лиссабоне, где сначала поправлял здоровье, а впоследствии торговал сукном, скорее всего контрабандным. Интерес к археологии он утратил, как тогда казалось — навсегда. После возвращения домой наш герой приумножил свои капиталы и даже основал небольшой банк. Романтическое прошлое забылось. О своем открытии Грегерсон вспомнил только на закате жизни, заболев тяжелой формой костного туберкулеза и целиком отойдя от дел. Вот тогда-то и был написан его единственный научный труд, снабженный сделанными по памяти рисунками. Автор прямо указывал, что не может поручиться за их точность, и тем не менее гравировка, якобы имевшаяся на лезвии бронзового меча, весьма напоминает избранный вами символ. Вот полюбуйтесь.

Мордасов подал мне пару листков, отпечатанных на ксероксе. С точки зрения современной эргономики древнегреческий меч имел чересчур вычурную форму. На клинке, у самой рукоятки, просматривался неясный рисунок, в котором если что и узнавалось, так только начальное О.

На другом листке тот же самый рисунок приводился в увеличенном виде. Из курса металловедения, прослушанного в институте, я помнил, что бронза отличается редкими антикоррозийными свойствами, недаром ведь из нее изготовляют водопроводные краны. Однако двадцать пять веков пребывания в сырой могиле наложили свой отпечаток даже на этот сверхстойкий металл. Естественно, что пострадала и гравировка.

О по-прежнему не вызывало никаких сомнений, а вот Н скорее походило на римскую цифру 11. Что касается даты «1977», то ее можно было читать как угодно — и как единицу с тремя кривыми нулями, и как замысловатый китайский иероглиф. Вот вам и палата мер и весов!

— Можете не сомневаться, — заверил меня Котяра. — Графологическая экспертиза дала положительный результат. Все основные элементы вашего символа совпадают с рисунком, сделанным Иоганном Грегерсоном. Случайное сходство исключается.

— И все же тождественность не абсолютная, — задумчиво произнес Мордасов.

— Разве девяносто процентов вам мало? — нахмурился Котяра. — Перестраховщик! Это как раз тот случай, когда излишний скепсис только вредит.

— Ну хорошо! — вмешался я. — Сказано уже предостаточно. Но что из этого всего следует? Кто возьмется сформулировать окончательный вывод?

— Позвольте мне. — Котяра отставил в сторону опустевшую бутылку. — Двадцать пять веков назад вы посетили остров Крит и убили выродка, чье дальнейшее существование угрожало местному населению, а возможно — и всему роду человеческому. Для удобства будем придерживаться его общепринятого имени — Минотавр. Акция сия была не спонтанной, а заранее спланированной, о чем свидетельствует предварительно помеченное оружие. Память об этом драматическом событии сохранилась в форме легенды о злобном полубыке-получеловеке Минотавре и бесстрашном Тесее. С чем вас и поздравляю. — Котяра с чувством пожал мою правую руку

— А если все было иначе? — возразил Мордасов. — Наш юный друг, вселившийся в сознание своего дальнего предка, по собственному неразумению прикончил существо, благодаря наследственным качествам которого люди могли стать более сильными, живучими, сообразительными, а главное — более миролюбивыми и милосердными. Недаром ведь жертвой схватки стал силач и умница Минотавр, а не заурядный, но коварный человечишко.

— Это вы обо мне? — я не преминул обидеться.

— Нет, это я про афинянина Тесея, погубившего не только уникальный экземпляр сверхчеловека, но и великую цивилизацию, которую несомненно создали бы его потомки... Только не надо защищать Тесея с точки зрения мифологии. Мелкая была душонка. Вспомните, как он обошелся с несчастной Ариадной. А гибель его отца Эгея? Тут не ошибкой пахнет, а преднамеренным доведением до самоубийства. Что касается мрачной сказки о людоеде Минотавре, то ее придумали позже, дабы оправдать преступления Тесея, к тому времени ставшего властелином Афин.

— Все это ваши домыслы, коллега, — отрезал Котяра. — Плод, так сказать, горячечного воображения. Кто сейчас живет на земле? Потомки людей или потомки этого рогатого урода? История выбрала свой путь. Раз и навсегда. И мы не вправе осу-

ждать существующую реальность, а тем более — пытаться ее изменить.

— Погодите, отцы! — Спор достиг такого накала, что я просто вынужден был вмешаться. — Зачем зря грузить друг друга! Давайте разберемся беспристрастно. Я убил Минотавра или нет?

— Конечно, убили, — сказал Котяра. — Факт, безусловно, имел место. Налицо все улики, включая останки потерпевшего и орудие убийства. То, что все это хозяйство покоится на дне Бискайского залива, принципиального значения не имеет.

— И да, и нет, — сказал Мордасов. — В тринадцатом веке до нашей эры убийство свершилось. Не возражаю. Но ведь убийца еще даже не собирается посетить место преступления. Следствия не бывает без причины. Пока ваши руки не замараны кровью Минотавра, вас нельзя назвать убийцей.

— Не пытайтесь запутать нас своими парадоксами, — ухмыльнулся Котяра. — Все и так яснее ясного. Законы логики верны только для обычного мира. При малейшем соприкосновении с явлениями, порождаемыми ментальным пространством, они превращаются в свою противоположность или вообще рассыпаются в прах. Поэтому не будем дурить друг другу головы. С завтрашнего дня начинается подготовка к путешествию во времена царя Миноса. И вам, коллега, придется принять в ней самое непосредственное участие. Так что отбросьте лишнюю фанаберию.

— Минотавр должен умереть! — патетически воскликнул я.

— Вот именно, — кивнул Котяра. — В этом заключается наш долг перед человечеством. И отвертеться от него не удастся.

— А я бы предпочел родиться Минотавром, — вздохнул Мордасов.

Шутки шутками, но когда мы занялись осуществлением задуманного мероприятия всерьез, то немедленно столкнулись с массой самых разных проблем.

Раньше, к примеру, я отправлялся в прошлое наудачу. Куда попаду, там и пригожусь. А на сей раз мне нужно угодить во вполне определенную эпоху.

Вот и попробуй тут подгадать, тем более что даже специалисты продолжают спорить о реальности таких личностей, как Минос, Эгей и Тесей.

Наиболее точными свидетельствами о той эпохе можно считать труды античного хронографа Эратосфена и историка Диодора Сицилийского или Плутарха, а также сведения, дошедшие

до нас благодаря так называемому «Паросскому мрамору» — мраморной плите, на которой изложены основные события истории Греции, начиная с древнейших времен и вплоть до походов Александра Македонского.

На основании анализа всех этих исторических сведений, часто весьма противоречивых, можно сделать вывод, что в разное время на Крите правили два разных царя Миноса — один в пятнадцатом веке до нашей эры, другой два века спустя. Последний как раз и интересует нас, поскольку является современником царя Эгея, упомянутого и «Паросским мрамором», и такими корифеями античной историографии, как Диодор, Страбон и Плутарх.

Конечно, неплохо было бы иметь в своем распоряжении кости Минотавра. Радиоуглеродный анализ дал бы более или менее точную дату его смерти. Да только где они теперь, эти кости? Наверное, давно растворились в соленой морской воде.

После долгих споров мы все же решили взять за ориентир тринадцатый век. Да и какая разница — с первой попытки туда, куда нужно, вряд ли попадешь. Это, наверное, то же самое, что с крыши ГУМа угодить камнем в одну из уцелевших Кремлевских звезд (в двуглавого орла бросать камень не хочется — еще клюнет в ответ). В общем, как ни верти, а придется делать несколько заходов.

Дальше — больше. Допустим, мне повезло, и я угодил именно в тринадцатый век до рождества Христова. Как я сам об этом узнаю? По расположению созвездий? Но для этого нужны специальные приборы, а я с собой даже булавку захватить не могу. По годовым кольцам на заранее присмотренном дереве? Но свыше двух тысяч лет живут только калифорнийские секвойи.

Хорошо хоть, что в ментальном пространстве можно ориентироваться по количеству пройденных поколений, ведь каждая развилка на генеалогическом древе, возвещающая о зарождении нового эмбриона — а значит, и новой души, — ощущается достаточно определенно. Только успевай считать! Условно приравняем один век к трем поколениям и в итоге получим кругленькую цифру — сто. Мама родная, сколько же у меня там имеется родни! Даже подумать страшно.

Кроме того, неизвестно, в какие такие края меня занесет. Разбежка тут может быть колоссальная — от тайги до Британских морей. Есть во мне однозначно славянские корни, есть кельтские, есть тюркские — а это чуть ли не половина Евразии. Вот только с эллинами никакой связи пока не прослеживается.

(Да и не было тридцать три века тому назад никаких эллинов. Ахейцы были, аргивяне были, даже какие-то данайцы были, а эллинами и не пахло. И вообще сам термин «Эллада» появился много позже, после окончательного слияния дорийских и ахейских племен.)

Вот и получается, что занесет меня скорее всего куда-нибудь в ирландские болота или в забайкальскую степь. Топай потом оттуда к самому Эгейскому морю и спрашивай у всех встречных-поперечных: правит ли уже на Крите царь Минос, известный своей справедливостью не меньше, чем распутствами законной жены. Просто кошмар какой-то!

Однако и руки умывать ни в коем случае нельзя. Кем бы ни был Минотавр — врагом человечества или его спасителем, — он должен умереть. Динозавры, возможно, были милейшими созданиями, да вот только не могли ужиться с млекопитающими. Есть приговоры, которые выносятся на таком высоком уровне, что им не смеют перечить даже боги. Динозавров, говорят, убила комета. Палачом Минотавра история избрала меня. И тут уже ничего не попишешь.

Конечно, одолеть такое чудовище будет не просто. Это вам не тупоголовый Хродгейр Подкова. Силой его, конечно, не возьмешь, поэтому придется использовать другие качества человеческой натуры, весьма непопулярные у джентльменов. Что бы ни говорили упертые гуманисты, а на свете есть цели, оправдывающие любые средства. Пусть и немного, но есть. И слеза ребенка — не очень дорогая плата за спасение многих тысяч невинных душ.

Одно лишь успокаивает — моя победа есть свершившийся исторический факт, а значит, для сомнений не может быть и места. Сколько я ни провожусь с этим делом, в каких только веках не побываю, сколько шкур ни сменю — но своего добьюсь. Иного не дано.

Оба профессора, в общем-то, разделяли мою точку зрения на громадье грядущих проблем. Но если Котяра никогда не терял оптимизма, то Мордасов придерживался позиций умеренного пессимизма.

Особенно его беспокоил вопрос моей адаптации в столь далеко отстоящих от нас веках. Конечно, я во многом мог положиться на предка, в сознание которого вселюсь. Уж он-то должен знать, что почем в его мирке. Однако это преимущество теряет значение вне зоны обитания предка — степи, леса или

морского побережья. Лягушка неминуемо пропадет в пустыне, а мартышка недолго протянет в тундре. Тут и разум не поможет.

А ведь скорее всего придется тащиться на остров Крит за тридевять земель. Без знания языков, не имея никакого представления о нравах окрестных народов... Затея самоубийственная. Как тут не посочувствовать Марко Поло или Афанасию Никитину.

Внимательно выслушав доводы Мордасова, я сказал:

— Так в чем же дело! Тащите сюда словари, справочники, монографии. Все, что касается того времени и тех стран. Буду изучать.

— К сожалению, достоверные сведения об интересующей нас эпохе весьма скудны, — ответил он. — И если, к примеру, мы довольно подробно изучили образ жизни древних египтян, то о микенских греках знаем очень мало. У них к тому времени даже общий язык не сложился. И тем не менее вам придется проштудировать все, что имеется сейчас в распоряжении современной эллинистики: архаическую мифологию, поэмы Гомера, песни аэдов и рапсодов, античные гимны. Параллельно нужно заняться историей Древнего Египта, Ассирии, Вавилона, Митании и Финикии.

— А польза от этого будет? — засомневался я, побуждаемый скорее ленью, чем прагматизмом.

— Не знаю, — пожал плечами Мордасов. — Но во вред это вам не пойдет.

— Теория — это хорошо, — с глубокомысленным видом кивнул Котяра. — Но вот вам один практический совет. Если проскочите мимо нужной эпохи и окажетесь, скажем, в двадцатом веке до нашей эры, старайтесь почаще совокупляться с гречанками, египтянками, илларийками, иберийками и вообще жительницами Средиземноморского бассейна. Умножайте своих потомков, которые впоследствии окажутся вашими предками. Возможно, при следующем визите в прошлое это обеспечит вам более точное попадание.

— Мысль занятная, но спорная, — так прокомментировал эти слова Мордасов.

ШЛЫГ, КЕММЕРИЕЦ

Короче говоря, подготовка к очередному «душеходству» (термин, на мой вкус, куда более удачный, чем маловразумительное «путешествие в ментальном пространстве») потребовала от меня таких интеллектуальных усилий, что я успел возненави-

деть не только давно откинувшего копыта Минотавра, но и пребывающего в добром здравии Мордасова.

И откуда только в человеке берется столько занудства и въедливости? Нет, займусь я при случае его предками, обязательно займусь!

К тому времени, когда Котяра произнес долгожданное «Начнем, благословясь», я мог поименно назвать всех фараонов девятнадцатой династии, разбирался в тонкостях внешней политики хеттского царя Суппилулиума, умел по внешнему облику отличить фракийца от хуррита, через пень-колоду понимал критское линейное письмо, египетские иероглифы и вавилонскую клинопись, наизусть цитировал не только Гомера, но и Мусея с Линном, а кроме того, держал в своей дырявой башке множество иных премудростей, совершенно бесполезных для нормального человека.

Опять меня опутали десятками проводов, опять по экранам дисплеев поползли загадочные ломаные линии, опять за угловой столик уселась страховидная Марья Ильинична, на которую возлагалась обязанность вышибить душу из моего многострадального тела — но на сей раз не угрозой смерти, а воздействием боли.

Все зловещие пыточные инструменты, хорошо запомнившиеся мне с прошлого сеанса, ныне отсутствовали. Ножи, клещи и шприцы заменял небольшой пульт управления, провода которого терялись в хитросплетении многих других проводов, тянувшихся к моему телу наподобие щупальцев кровожадного спрута.

— Если вдруг промахнетесь очень сильно, то сразу возвращайтесь, — посоветовал мне Мордасов на прощание. — К чему зря тратить время.

— А это уж как мне самому захочется! — мстительно посулил я. — Честно сказать, профессор, вы так извели меня своими науками, что лучше я пару годочков отдохну среди дикарей. Желательно, еще не овладевших членораздельной речью.

Мордасов натянуто улыбнулся, давая понять, что оценил эту незамысловатую шутку, а затем уступил место у моего изголовья Котяре.

— Приготовьтесь, — сказал тот. — Сразу предупреждаю, что ощущения будут не из приятных. Но вы сами этого захотели. Марья Ильинична, приступайте.

Старая стерва, все это время пялившаяся на меня, как сова на мышонка, немедленно нажала кнопку на своем пульте. Не бе-

русь утверждать категорически, но мне показалось, что сладострастная улыбка скривила ее бледные уста. Ух, чтоб тебя...

Конечно, я ожидал боли. Но не такой же!

Все мои нервы, причем не только живые, но и давно умершие, казалось, вспыхнули, словно бикфордовы шнуры — и это пламя отовсюду шибануло в мозг. Я ощутил себя по меньшей мере раком, которого живьем опустили в кипяток.

Да, уж если профессор Котяра берется за что-то, то делает это на славу. Молодец, ничего не скажешь! Только в следующий раз я в его лапы не дамся. Наверное, лучше угодить на завтрак к Минотавру. Меньше придется мучиться...

И кого, спрашивается, надо винить в том, что под воздействием тисков нестерпимой боли из моего тела изверглась не только душа, но и некоторая толика желудочных газов? Впрочем, это, в общем-то, досадное происшествие можно было расценить как последний привет, посланный миру живых из разверзающейся бездны мира теней...

Возможно, когда-нибудь я научусь спускаться по лестнице поколений легким и непринужденным шагом, по собственному усмотрению заворачивая в одни коридоры жизни, любезные моей душе, и сторонясь других, в которых эта душа только зря растрачивается.

Все возможно... Но пока по этой иллюзорной лестнице приходилось лететь чуть ли не кувырком, если только такое сравнение можно употребить в отношении бестелесного существа, каковым в настоящий момент являлся я.

Впрочем, это как раз и не важно. Важно другое — не сбиться со счета ступенек, то бишь поколений предков. Три поколения — век. Тридцать — тысячелетие. И так далее, вплоть до загадочного прародителя, сто тысяч лет назад неведомо откуда появившегося на земле, заселенной саблезубыми тиграми и обезьяноподобными неандертальцами, которые, как недавно выяснилось, нам не братья и даже не дальние родственники.

Другой вопрос, сумею ли я остановить этот стремительный спуск в заранее определенном месте, ведь до сих пор все, связанное с «душеходством», происходило чисто спонтанно, вне зависимости от моей воли. Зацепился за что-то — скорее всего за психологическое сходство натуры, — и вот ты уже обретаешься в шкуре несчастной Антониды Мороз или бравого Васьки Лодырева.

Ну ничего, будем надеяться, что инерция в ментальном про-

странстве отсутствует, как отсутствует время и все другие физические атрибуты моего родного мира.

Когда число пройденных поколений перевалило за шестьдесят, я не на шутку разволновался. Минуло то, что мы привыкли называть «нашей эрой». Возродилась чужая эра. Понятно, что все установленные людьми даты условны, но ведь позади меня остались деяния апостолов и казнь Спасителя, крестовые походы и эпоха Возрождения, злодеяния инквизиции и духовный подвиг Данте. Наступило время других героев и других ценностей.

Восемьдесят. Девяносто. Девяносто пять.

Пора останавливаться!

Но как? За что можно уцепиться в мире, где изначально нет ни времени, ни пространства, ни материи, ни пустоты? Да и чем, спрашивается, уцепиться, если я сейчас всего лишь бесплотная субстанция, лишенная не только конечностей, но даже электрического заряда?

Чем же я тогда могу воспользоваться? Наверное, только разумом и волей. В ментальном пространстве имеют значение лишь одни они.

Ну что же — попробуем!

Вот и очередная ступенька, даже и не скажу, какая по счету — сбился. Я напряг волю и обострил разум. Сейчас я представлял себя пробкой, которую загоняют в горлышко бутылки, тормозной колодкой, прижавшейся к ободу колеса, пыжом, забитым в ружейный ствол, тампаксом, в критический момент увеличивающим свой объем чуть ли не вдвое.

Я действовал чисто интуитивно, но не прогадал (вполне возможно, что интуиция имеет в ментальном пространстве куда большее значение, чем вне его). Что-то вроде вихря подхватило меня и швырнуло в реальный мир, в телесную оболочку сотого или сто первого предка по нисходящей линии.

Стоял ясный день, и женщина, в лоне которой при моем активном участии только что зародилось новое человеческое существо, уже уходила прочь плоской травянистой равниной, похожей одновременно и на казахскую ковыльную степь, и на венгерскую пушту, и на африканскую саванну.

Она не оборачивалась. Оборачивался только ребенок, притороченный к ее спине широкой полосой облысевшей звериной шкуры.

Чей это был ребенок? Определенно не мой, поскольку я не

испытывал к нему никаких нежных чувств. Да и уходящая женщина совсем не трогала мое сердце. Скорее всего мы даже не были с ней прежде знакомы. Встреча наша, закончившаяся соитием, была делом случая. Оно и понятно — секса в столь давние времена еще не существовало. Был лишь инстинкт продолжения рода, как у животных.

Наверное, мы поняли друг друга без слов. Я самец, которому от природы положено брюхатить всех подряд особ противоположного пола. У нее недавно иссякло молоко, а для женщины это служит сигналом того, что можно зачать нового ребенка. Чем их больше, тем лучше, ведь выживает только один из трех-четырех.

Но хватит о бабах. Пора заняться самим собой, вернее — доставшейся мне телесной оболочкой.

Похоже, что мне повезло. Я был мужчиной, причем довольно моложавым, и принадлежал к европеоидной расе. Все, что положено, было у меня на месте. Вот только сильно болели зубы, саднило в боку, словно там созревал огромный фурункул, да чесалось тело, по которому шустро странствовали полчища насекомых. Ладони мои были мозолистыми, как копыта, а черные ногти можно было привести в порядок только с помощью рашпиля.

Одежда моя состояла из сыромятных шкур и грубых домотканых тряпок. За кожаный пояс засунут бронзовый топорик, видом своим очень напоминавший индейский томагавк. У археологов такой тип оружия, кажется, принято называть «кельт-топором». Кстати, мне от этого открытия пользы никакой — похожие топоры в свое время были распространены по всей территории Евразии, от Скандинавии до Тибета.

На левом запястье у меня имелось еще одно бронзовое изделие — браслет-змейка с сердоликовыми вставками. Будем надеяться, что простолюдинам, а тем более рабам, такие вещи носить не позволено.

В сознание предка, довольно неразвитое и мутное, я пока не лез. Мы существовали как бы порознь, хотя и в одном теле. Для знакомства еще будет время. Сначала надо разобраться, в какое место, а главное, в какое время я попал. Ох, чую, нелегко мне будет!

Привычно почесавшись, предок дико гикнул (честно признаться, я и не предполагал даже, что человеческие голосовые связки способны издавать такие звуки), и со стороны балки, по дну которой струился ручей, раздался стук копыт.

Неоседланный серый конь быстро приближался ко мне, выкидывая ноги накрест.

Рысью идет, с одобрением подумал я. (Надо полагать, что это во мне проснулась память страстного лошадника Васьки Лодырева, осколки которой я унес с собой, как изгнанники уносят на башмаках пыль родной страны.)

Скакун, прямо скажем, выглядел неказисто — короткие ноги, раздутое брюхо, клочковатая шерсть, хвост-помело, сплошь покрытый репьями. И тем не менее для меня он был куда милее женщины, фигура которой все еще мелькала среди высоких трав.

Да и конь явно симпатизировал мне, хотя и выражал это весьма своеобразно. Подскакав почти вплотную, он пронзительно заржал и попытался куснуть меня за плечо огромными желтыми зубами. Получив за эту вольность кулаком по морде, конь вскинулся на дыбы, и я заметил, что он не кован.

Что же такое получается? С одной стороны — в ходу бронзовое оружие, а это означает, что неолит давно канул в прошлое. С другой стороны — полная архаика в конном деле, столь важном для степняков-кочевников.

Ни тебе удил со стременами, ни подков! Впрочем, какие-либо далеко идущие выводы делать рано. Ирокезы и апачи гарцевали на некованых мустангах даже в конце девятнадцатого века.

Предок тем временем ухватился за жесткую гриву и ловко вскочил на коня, вдоль всей спины которого шла темная полоса, как это было у диких тарпанов.

Теперь я мог созерцать степь, так сказать, с галерки. Женщина, уносившая в себе мое семя, уже скрылась из вида, зато у горизонта я заметил табун лошадей, пасшихся по обеим сторонам балки, там, где трава была посвежее. Чуть в стороне к небу поднимался прозрачный дымок.

Туда я и поскакал, пришпоривая коня пятками. Вскоре наперерез мне выскочило несколько гнуснейшего вида собак, больше похожих на облезлых шакалов. Впрочем, узнав своего, они сразу же отстали.

На дне балки горел костер, над которым жарились нанизанные на ивовый прут куски мяса. Двое давно не стриженных мужиков, одетых примерно тем же манером, что и я, сидели у огня. Тот, который был постарше, со стертыми до самых десен зубами, при помощи кривой бронзовой иглы чинил свою незамысловатую обувку. Дратвой ему служили чьи-то тонкие, прочные сухожилия (будем надеяться, что не человеческие). Другой, еще безбородый, следил за тем, чтобы мясо не подгорело.

Оба были вооружены бронзовыми топориками, а поблизости лежали завернутые в овчину луки и колчаны, полные стрел.

Спешившись, я отпустил коня в табун, где у него было много разных дел помимо кормежки, а сам припал к глиняному горшку, наполненному кисловатым кобыльим молоком.

Пока предок жадно и не очень эстетично лакал, я внимательно присматривался к горшку. Слеплен он был вручную, без применения гончарного круга, и сплошь покрыт орнаментом, свойственным так называемой андроновской культуре.

Опять мимо! Подобные горшки пользовались в бронзовом веке такой же популярностью, как в мое время — одноразовые пластиковые стаканчики.

Конепасы на мое появление никак не отреагировали и продолжали молча заниматься своими делами. Молчал и я, то есть — предок. Времена сладкоречивых софистов и пламенных риторов еще не наступили. Беден был язык древних кочевников, и каждое слово действительно ценилось ими на вес золота. Тут анекдот не затравишь и зря не похохмишь.

Внезапно меня охватила вселенская тоска, не менее мучительная, чем зубная боль. Неужели мне суждено годами жить в грязи, во вшах, в дикости, в тупом молчании? Жрать жесткое конское мясо, спать на сырой земле, покорно сносить боль, надрываться в непосильном труде, совокупляться с непрезентабельными замарашками?

И все ради чего? Дабы в случае невероятной удачи отыскать в чужедальней стране какого-то урода (возможно, даже и не врага рода человеческого, а чудом выжившего калеку-гидроцефала) и намотать его кишки на свой меч?

Хорошо, а какая у меня есть альтернатива? Вернуться в клинику профессора Котяры? Покорно терпеть все его варварские эксперименты, мучиться от бессонницы и пролежней, ловить на себе сочувственные взгляды медсестер да еще и сушить мозги академической наукой? Фигушки. Дождутся они меня, как же... А если сбежать в какую-нибудь более цивилизованную эпоху? Зажить полноценной жизнью. Добиться богатства, власти, известности. Но для этого придется полностью подавить сознание предка, что равносильно убийству... И потом, где гарантия, что общество английских лордов или московских бояр не осточертеет мне в той же степени, как и компания скудоумных конепасов?

Ладно, не стоит зря травить душу. Ведь не прошло еще и пары часов, как я оказался здесь. Надо жить проще...

Затем меня посетила мысль, которую никак нельзя было назвать отрадной.

А почему, спрашивается, я приставлен к табуну?

Ясно, что конепасы к местной элите не относятся. Скорее наоборот. Достаточно только глянуть на моих сотоварищей — один старик, уже почти отживший свой век, другой мальчонка, еще не вошедший в возраст. Короче говоря, товар бросовый.

Тогда почему в этой компании оказался мой предок, мужчина в полном расцвете сил? Утратил доверие общества? Или провинился в чем-то?

Не в силах побороть недоумение, я даже заерзал на том месте, где сидел, и тогда ноющая боль в боку резанула ножом. Вот и ответ! Я болен или ранен, а потому на серьезное дело не гожусь. Такой и с тяжелой сохой не справится, и в лихом деле подведет.

С изъянцем мне досталась оболочка. В таком виде до Крита не добраться. Где здесь ближайшая поликлиника?

Отдав должное черному юмору, я исподволь, без нажима, заставил предка задрать подол рубахи.

Зрелище, открывшееся мне, прямо скажем, было не из приятных. На боку, чуть повыше диафрагмы, торчала багровая гуля, размером приблизительно с кулак. Первопричиной ее, несомненно, была аккуратная ранка, из которой сочился гной.

Что это — свищ, укус змеи, удар кинжала?

В мутном сознании предка неохотно, как дубовая коряга, всплыло воспоминание — угон чужого стада, короткая ночная схватка, конское ржание и человеческие вскрики, лязг оружия и хруст черепов, а потом, когда преследователи уже стали отставать, укус стрелы, спицу которой он в запале отломал, дабы та не мешала скакать.

Теперь все понятно. В ране остался наконечник стрелы, который и не дает ей зажить. Дело в принципе пустяковое, но без хирургического вмешательства не обойтись. На местных врачевателей надежды мало. Умели бы они лечить такое, давно бы вылечили.

Сам я не справлюсь — уж больно место неудобное. А что, если пригласить в ассистенты старика? Шьет он очень даже ловко. Да и резать, чувствуется, мастак. Что чужая опухоль, что чужое горло — ему все едино. Руки не дрогнут. Жаль, правда, что он не мыл их с малолетства.

Для операции понадобятся три вещи — соответствующий инструмент, антисептики и давящая повязка напоследок. (За

время скитаний по различным медицинским учреждениям я слегка поднаторел во врачебном деле.)

Вместо скальпеля сгодится тончайшая пластинка кремня, которой старик перерезает жилы. Замена хирургической игле и кетгуту тоже имеется. Антисептик придется использовать самый примитивный — собственную мочу. В уринотерапию я не верю, но в моем положении выбирать не приходится. Рубаху порвем на бинты. Пойдут в дело и листья подорожника, обильно растущие вокруг.

Боль, конечно, ожидалась адская, а потому существовала вероятность того, что я не выдержу ее и против собственной воли отправлюсь в незапланированное «душеходство», бросив ничего не понимающего предка в дикой степи с распоротым боком.

Да, перспектива поганая... Слаб человек, а душа его слаба еще в большей мере. (Нет, это не Экклесиаст. Так приговаривал мой братец, отправляясь под утро в дежурный магазин за очередной бутылкой водяры).

Совсем иное дело, если бы мы могли разделить обузу предстоящей операции пополам. Пусть предок терпит боль, а я займусь врачеванием. Ведь, строго говоря, я пока еще гость в этом теле, а гость не обязан сносить муки и невзгоды, обрушившиеся на хозяина. Все мои ощущения имеют опосредованный характер. Свет, звук, запахи, боль, вкус, похоть и многое другое, что определяет наше бытие, приходят ко мне через чужие органы чувств, от которых, наверное, можно как-то отмежеваться.

Не знаю, что получится, но попытаться стоит...

Опять пришлось действовать чисто интуитивно, методом тыка, как любят выражаться (правда, по разному поводу) электрики и половые гиганты.

Сначала я ослеп, то есть отключился от чужого зрительного центра. Потом оглох. Утратил ориентацию в пространстве. Перестал ощущать запах дыма. А сразу после этого исчезла и боль — острая резь в зубах, тупая ломота в боку и нестерпимый зуд во всем теле.

Быстренько вернув себе все другие чувства, кроме самого последнего, дарованного нам коварной Пандорой вместе с прочими бедами и напастями, я для контроля сунул руку в огонь. Волоски на тыльной стороне ладони сразу обуглились, но вместо ожога я ощутил только легкое покалывание.

Дело теперь оставалось за малым — на время подавить волю предка, не гася при этом сознания, и как можно более доходчиво объяснить старику то, что от него требуется.

Как я и предполагал, операция продлилась недолго. Прежде чем очередная порция мяса успела поджариться, треугольный бронзовый наконечник был извлечен наружу (правда, вместо пинцета пришлось использовать свои собственные пальцы), пять грубых стежков стянули края очищенной от гноя и промытой раны, а мою грудь охватила плотная повязка.

Старик оказался на удивление понятлив и хладнокровен. Все, что полагается, он сделал с той же неторопливой сноровкой, с какой подшивал обувку или ловил вшей. Чужие мученья, по-видимому, мало трогали его. Невзгоды, лишения, боль и смерть были столь обычным атрибутом здешнего существования, милосердие и сострадание просто не успели зародиться в поэтому суровых душах.

Впрочем, пользовал меня старик отнюдь не бескорыстно. За оказанные услуги он без зазрения совести вытребовал бронзовый браслет, судя по всему, имевший немалую ценность.

К ночи бок разболелся пуще прежнего, и меня стало лихорадить. Спасительный сон не шел. Даже аппетит пропал.

Старик ненадолго отлучился куда-то и принес изрядный сноп жесткой, остро пахнущей травы, соцветья которой были немедленно заварены в кипятке.

Опорожнив через силу пару ковшиков этого пойла, я почувствовал себя настолько странно (ни хорошо и ни плохо, а именно — странно), что ко мне вернулись юношеские воспоминания, давно выветрившиеся из памяти. Примерно так же, только еще гадостней, пахла анаша, которую покуривали в школе мои сверстники, позже переключившиеся на героин и экстази. По всему выходило, что старик напоил меня крепким отваром дикой конопли. Ну и жук...

Под воздействием наркоты я заснул и провалялся в глубоком забытье аж до следующего вечера. Лихорадка прошла, опухоль спала, боль хоть и осталась, но имела уже совсем другой характер, внушавший надежду на скорое исцеление. Благодарить за это, думаю, нужно было в первую очередь могучий организм предка.

Уже на закате меня посетил серый конь, которому накануне тоже крепко досталось. Из скупых слов старика я понял, что по нелепой случайности два пасшихся по соседству косяка вдруг смешались (по лошадиным понятиям это было равносильно объединению двух гаремов) и мой видавший виды сивка-бурка не устоял в схватке с более молодым и ражим соперником.

Я погладил печальную лошадиную морду и тихо сказал по-русски:

— Ничего, найдем мы тебе еще бабу...

На пару дней я был освобожден от пастушеских трудов, однако мне перепоручили хозяйственные заботы, обычно лежавшие на мальце, который, кстати сказать, приходился старику каким-то дальним родственником. Обязанности эти были несложные — доить кобылиц да жарить мясо жеребят, которое мои сотоварищи употребляли в неимоверных количествах, руководствуясь чисто волчьим принципом: жри от пуза, пока есть возможность, а не то завтра голодать придется.

Исполняя обязанности повара, я не смог удержаться от некоторых нововведений. Так, например, куски мяса теперь предварительно отбивались обухом топорика, а потом целые сутки мариновались в кислом молоке вместе с черемшой и щавелем.

Мальцу мои кулинарные изыски не очень-то понравились, зато старик остался доволен, что и не удивительно, учитывая плачевное состояние его зубов.

Спустя неделю я самостоятельно снял бинты (на боку их пришлось отмачивать горячей водой). Опухоли не было и в помине, багровая короста слезала клочьями, обнажая молодую розовую кожу, а операционный шов выглядел вполне сносно.

Следующий рассвет я встретил верхом на своем скакуне, которого нарек гордым именем Буся (уменьшительное от Буцефала). Обычай наделять каждую отдельно взятую скотину собственной кличкой среди степняков еще не завелся.

Похоже, что сменить нас собирались только поздней осенью, когда придет пора перегонять табуны на зимние пастбища. Естественно, что к тому времени меня здесь уже не будет. А пока я приступил к интенсивному исследованию окружающей местности, благо матерые жеребцы управлялись со своими косяками строже самых ревностных конепасов и никогда не позволили бы им разбрестись. От волков табун охраняли собаки, а люди были приставлены скорее для блезиру.

Главное, что требовалось от нас — поднять тревогу в случае набега врагов. В степи давно не было мира, и стычки, подобные той, в которой мой предок нарвался на чужую стрелу, случались едва ли не каждый день.

Раз за разом я отъезжал все дальше и дальше от становища. При этом мне постоянно приходилось давить на предка, челове-

ка нелюбопытного и ограниченного (благо хоть не обиженного силой и выносливостью).

За время этих странствий я не встретил никого, кроме разного рода степных парнокопытных, змей да дроф. Ничего удивительного, если учитывать плотность нынешнего народонаселения. Один человек, наверное, приходится на сто тысяч квадратных километров. Это просто чудо какое-то, что в свое время мой предок нарвался на ту самую бабу, благодаря которой я очутился именно в этом времени и в этом месте.

Судя по высоте дуги, которую ежедневно описывало солнце, был самый разгар лета, что ночью подтверждали и созвездия (благодаря чуткому руководству профессора Мордасова я все же освоил азы небесной механики). Скорее всего я находился где-то между сороковым и пятидесятым градусами северной широты, но вот только где конкретно — на западе или на востоке?

В одном из самых дальних походов я достиг берега довольно широкой реки, уносившей свои воды на юго-запад. Это давало повод надеяться, что я обретаюсь не где-нибудь, а именно в матушке-Европе, ведь азиатские реки соответствующих широт текут в основном на север.

Несколько раз я оставался ночевать прямо в степи, а вернувшись, объяснял свои долгие отлучки желанием сделать наш рацион более разнообразным. В подтверждение этой версии я добыл несколько жирных дроф и подстрелил из лука сома, охотившегося в речной заводи за утятами.

Однако мои сотоварищи категорически отказались как от птицы, так и от рыбы. Похоже, что эти продукты вызывали у них такое же отвращение, как во мне лягушки или виноградные улитки, так ценимые зарубежными гурманами. Одним словом, дикари! На конине да на баранине выросли. Пришлось скормить всю добычу собакам.

Малец вел образ жизни, скорее свойственный кошачьим, чем приматам — если не был занят урочным делом и не ел, то сразу засыпал. В противоположность ему старик все время трудился не покладая рук — точил наконечники стрел, кроил и сшивал шкуры, лепил глиняные горшки, которые сушил на солнце, а потом обжигал на костре, строгал какие-то палочки, собирал лекарственные травы.

Эта деятельность обычно сопровождалась заунывными песнями, в которых мелодичности не было ни на грош, а смысла и того меньше. Тем не менее в песнях иногда упоминались такие странные для степняков понятия, как белокрылые лодки, камен-

ные жилища и большая соленая вода. Среди своих соплеменников старик, наверное, слыл чуть ли не ученым-энциклопедистом.

Время от времени мы стали вести беседы (если только обмен парой коротких фраз можно считать беседой). Говорил, естественно, предок, а я лишь понуждал его к этому да помогал подбирать слова.

Довольно скоро выяснилось, что мой собеседник не так уж и стар, как это кажется, просто сильно сносился, словно сапог, который никогда не снимают с ноги. Деда нынешнего вождя он не помнил, а вот при его отце не раз водил в набег мужчин своего рода.

Случалось, что эти экспедиции заводили степняков очень далеко — до глухих непроходимых лесов на востоке и до великой реки на западе, считавшейся чуть ли не границей обитаемого мира.

Сам он видел эту реку только мельком, но поговаривали, что она течет через земли самых разных народов и в конце концов на дальнем юге впадает в большую соленую воду, незамерзающую даже в самые суровые зимы. (Я понял, что речь скорее всего идет о море.)

К исходу лета, когда урожай собран, а стада нагуляли жир, на берегах большой соленой воды происходит торжище. Туда приплывают на белокрылых лодках и съезжаются по суше чужеземцы самого странного вида — и с черными курчавыми бородами по пояс (не ассирийцы ли?), и с красной кожей (наверное, египтяне), и с ушами, длинными, как у зайцев (а это еще кто?).

Они берут у степняков лошадей, зерно, сыромятные кожи, вяленое мясо и невольников, а взамен предлагают оружие, украшения, бронзовые слитки и роскошные ткани.

Поняв, что рассказ о торжище весьма заинтересовал меня, старик добавил, что путь туда далек и опасен. Можно, конечно, плыть на плотах или долбленых лодках, но в одном месте из великой реки торчат каменные клыки, которые губят всех неосторожных путников. (Да не Днепр ли это? — мое сердце радостно дрогнуло.)

Те же, кто перед перекатами вытаскивает лодки на берег, попадают во власть воинственных хозяев этих мест, от которых можно откупиться только половиной всех товаров.

Как я ни старался, но никаких других сведений из старика вытянуть не смог. Басни про змееподобных людей, обитающих в северных болотах, о божественном мече, упавшем с неба, и о зо-

лотых козлах, пасущихся у истоков великой реки, меня ничуть не заинтересовали. Заодно я убедился, что греческая мифология старику совершенно неизвестна, а столь популярные в микено-минойском мире имена, как Тесей, Минотавр и Эгей, не вызывают никаких ассоциаций.

Ночью я отыскал косяк, ранее принадлежавший Бусе, и при помощи топора восстановил попранную справедливость. Кобылицы отнеслись к смене властелина достаточно хладнокровно, чего нельзя было сказать о жеребятах, чье отчаянное ржание, наверное, разбудило всю округу.

Рассвет застал меня так далеко от становища, что погони можно было не опасаться.

Я гнал лошадей на запад, дабы в случае удачи переправиться на правый берег великой реки и стороной обойти засады, караулившие путников у порогов. Дальше мой путь лежал к морю. Продав лошадей, я собирался на попутном корабле отправиться в дальние страны, где люди живут за городскими стенами, где жрецы умеют составлять календари и где ведется подробнейшая хронология царствующих династий.

В редкие минуты, когда я выпускал сознание предка из-под контроля, он с тоской озирался назад. Но, увы, дикому степняку не дано было понять причину, заставившую его покинуть родные кочевья. Ничего, рана заживчива, а память забывчива. Свыкнется со временем. Главное, чтобы берёг и обихаживал лошадей. Лично я в этом деле полнейший профан, даже кобылу от жеребца отличаю не сразу.

Что я знал о себе нынешнем? Очень немногое. Предок, чье родовое имя Шлыг можно было перевести и как «колючка» и как «шип», жил исключительно сегодняшним днем, почти не вспоминая прошлого и мало заботясь о будущем. Отца своего он не знал, а мать успел забыть. Все дети Шлыга по обычаю принадлежали к соседнему роду Качимов, где каждая женщина приемлемого возраста формально считалась его женой.

Я даже не мог понять, к какому племени принадлежит мой предок. Себя степняки называли просто — «люди». Как говорится, скромненько, но со вкусом.

Надо бы вспомнить, какой народ населял приднепровские степи в середине второго тысячелетия до нашей эры. Сарматы? Нет, они пришли значительно позднее, вытеснив скифов. А кто предшествовал скифам, загадочному ираноязычному племени?

По-моему, легендарные киммерийцы, упомянутые в сочинениях Геродота, Страбона и Плиния Старшего.

Ну что же, буду считать себя киммерийцем. Если верить американскому писателю-фантасту Роберту Говарду, люди они достойные. Один Конан-варвар чего стоит...

Великой реки я достиг только спустя десять дней — и это еще при условии почти беспрерывной скачки. Лошади отощали, а жеребята еле держались на ногах. Да и я порядком вымотался.

Ширина русла в этом месте превышала три полета стрелы, пущенной из самого мощного лука, а противоположный берег был сплошь покрыт дубовым лесом. Местность, насколько хватал глаз, выглядела пустынной, в смысле — свободной от людского присутствия. По речной глади не скользили рыбачьи челны, над лесом не поднимались дымки костров, пастухи не гнали стада на водопой.

Идиллия, да и только.

А ведь можно легко представить, как эти заповедные места будут выглядеть века этак через тридцать три — по воде расползаются радужные пятна мазута, вдоль берегов гниет ядовито-зеленая тина, пляж пятнают черные язвы кострищ, на мели ржавеет полузатопленная баржа, компания подвыпивших малороссов (или кацапов, что принципиального значения не имеет) колдует над какой-то браконьерской снастью.

Но это так, лирика... Будь на то моя воля, я бы без колебания предпочел экологически неблагополучное будущее нынешней первозданной идиллии. Привычка, ничего не поделаешь.

Поостыв, лошади жадно напились, но идти в воду не желали — напрасно Буся покусывал и лягал их. От предка тоже толку было мало — он просто обалдел, увидев столь широкую реку.

Но тут уж я сам нашел выход из положения — стал сбрасывать в воду жеребят, сразу взявших курс на противоположный берег (выбраться назад им не позволяло довольно быстрое течение). Кобылам не осталось иного выбора, как последовать за молодняком. Замыкающим в реку вошел Буся, за гриву которого я придерживался одной рукой.

Едва только твердь ушла из-под ног, как моего предка обуял ужас, невольно передавшийся и мне. Оказывается, Шлыг не только не умел плавать, но еще и страдал водобоязнью, что, впрочем, было характерно для большинства его соплеменников.

Тут я действительно допустил промашку, понадеявшись на себя (ведь как-никак с пяти лет в бассейн ходил). Но тело, принадлежавшее предку, не имело моторных навыков плаванья, а

голая теория, содержавшаяся в моем сознании, помочь здесь ничем не могла. Это то же самое, что самостоятельно научиться ходить. С первого раза никогда не получится. Но в моем положении первый раз мог оказаться и последним.

Скоро оба берега — и далекий правый, и близкий левый — исчезли из виду. Течение все усиливалось, да вдобавок еще появились водовороты. Косяк, быстро сносимый вниз по реке, уже не мог держаться сообща. Началась паника, для животных еще более губительная, чем для людей.

На моих глазах захлебнулся волной и камнем пошел на дно жеребенок, а одна из взбесившихся кобылиц утопила другую. Похоже, что я втравил в опасную авантюру не только предка, но и этих покорных человеческой воле животных. Кто бы мог подумать, что в разгар жаркого лета здесь будет такое бурное течение! Хорошо хоть, что в европейских реках не водятся крокодилы и пираньи.

Скоро стал сдавать и Буся, от которого сейчас целиком и полностью зависела моя жизнь. Прежде он энергично греб всеми четырьмя ногами, а теперь все чаще отдавался на волю волн. Постепенно слабел и я. Вполне вероятно, что будущего победителя Минотавра ожидала совсем иная участь — темное речное дно, траурные ленты водорослей и стаи рыб в роли могильщиков.

Но все обошлось. Река нас едва не погубила, она же и спасла, внезапно заложив крутой вираж влево. Течение вынесло уцелевших лошадей к правому берегу, как по мановению волшебной палочки вновь появившемуся в поле зрения.

К сожалению, до обширной отмели, сплошь усыпанной раковинами-перловицами, добрались только половина лошадей и один-единственный жеребенок. Неужели смерть этих безвинных созданий была заранее предусмотрена историей? Или причиной всему лишь моя преступная опрометчивость?

Что же будет дальше? Потяну ли я тяжкий груз, который так неосмотрительно взвалил на себя? Или рухну под тяжестью чужих страданий, невольным виновников которых мне предстоит стать? О-хо-хо, раньше надо было обо всем этом думать...

Я позволил поредевшему косяку восстановить силы, запасся кое-какой провизией (в основном рыбой и раками, которые еще вчера сами могли запросто полакомиться моей плотью) и сквозь дубравы двинулся на юг, спрямляя путь везде, где это только было возможно, и лишь изредка возвращаясь к речному берегу.

Чудесные это были леса, скажу я вам, не чета какому-нибудь дремучему ельнику — чистые, светлые, почти лишенные подлеска и бурелома. В грядущих временах такой красоты, наверное, уже не встретишь.

В пути я старался не забывать об осторожности, хотя опасался вовсе не диких зверей, а следов, оставленных пешими или конными людьми. На чужой территории нужно быть готовым ко всяким неожиданностям.

А люди, между прочим, сюда наведывались, пусть и изредка. Несколько раз я натыкался на обширные поляны, ныне заросшие папоротником, но прежде явно имевшие знакомство с сохой и мотыгой, видел полусгнивший частокол, окружавший давнее пожарище, а однажды даже обнаружил бронзовый топор, глубоко вросший в древесину старого дуба.

Спустя дней десять, когда, по моим самым скромным прикидкам, позади осталось километров пятьсот, я стал забирать дальше к западу, чтобы стороной обойти пороги, поблизости от которых, словно гиены возле падали, рыскали отряды степных разбойников.

Вот когда я пожалел, что не выучил карту Евразии назубок. Ну, допустим, дойду я до моря. А куда податься потом — в Крым, в Керчь, в Колхиду? Я, блин, даже не помнил, в какое именно море впадает Днепр — в Черное или Азовское. Да Днепр ли это вообще? Кажется, на Урале и Днестре тоже имеются пороги. Короче, полный мрак.

Дубравы между тем стали редеть, и вскоре вокруг снова потянулась ковыльная степь, но уже не ровная, как ладонь, а холмистая, сплошь изрезанная глубокими сухими оврагами. Устроить здесь засаду было проще простого.

Ночью, отпустив лошадей пастись, я не зажигал костра и спал, как говорится, «вполглаза», а днем пристально всматривался в каждую подозрительную точку на горизонте.

По моим подсчетам, море находилось уже близко, и в самом скором времени должны были появиться первые его приметы — свежий солоноватый ветер, огромные стаи водоплавающих птиц, заросшие тростником лиманы.

Эх, встретить бы добрых людей и разузнать у них кратчайшую дорогу к прибрежным торжищам. А еще лучше — нанять проводника. Да только где они — эти добрые люди? Тут надо глядеть в оба, чтобы на злых не нарваться.

Временами казалось, что я безнадежно заблудился. Куда ни поедешь — одни и те же овраги, похожие друг на друга, как мо-

тильные рвы на братском кладбище, одни и те же купы деревьев, почти не дающих тени, одна и та же выжженная солнцем степь, где все проблема — и глоток воды, и клок травы.

Поэтому, увидев, что ко мне быстро приближается туча пыли, я сначала даже обрадовался (заблуждение, простительное разве что романтическому юнцу, злоупотребляющему Буссенаром и Майн Ридом, а отнюдь не скитальцу во времени, уже который месяц пребывающему в шкуре полудикого кочевника).

В полуденный зной, когда в дремоту впадают даже непоседы-суслики, скакать так резво могли только верховые лошади, понукаемые хозяевами, — это я осознал через восприятие предка, в подобных делах весьма искушенного.

Было бы глупо надеяться, что неизвестные всадники спешат сюда, дабы выразить мне свое глубокое почтение и заодно одарить хлебом-солью. Намерения у них были явно недружелюбные. Еще хорошо, если только ограбят, а то, глядишь, и жизни пенароком лишат. Нет, надо сматываться, пока не поздно.

Я немедленно самоустранился, дав предку полную волю, и он во весь опор погнал косяк на северо-восток, где в случае удачи можно было затеряться в колючих зарослях акации. Вслед нам раздались визгливые вопли, и в небо взлетели стрелы, выпущенные скорее для острастки. Все это окончательно прояснило намерения чужаков.

Уж и не помню, сколько времени длилась эта бешеная скачка. Всем хорош был верный Буся, вот только особой резвостью не отличался, а пересаживаться на свежую кобылицу не имело смысла — все они были необъезженными.

Преследователи тем временем постепенно приближались. На их стороне было немало козырей, а один из самых главных — прекрасное знание местности. Вскоре отряд разделился — пока одна часть продолжала гнать нас вдоль кромки оврага, другая пустилась наперерез.

В этой почти безвыходной ситуации Шлыг повел себя весьма здраво. Бросив косяк на произвол судьбы (не до жиру, быть бы живу), он заставил Бусю нырнуть в овраг.

Скорее всего это была единственная возможность спастись, но увы — нас преследовали опытные охотники, истинные мастера своего дела. Причем поднаторевшие не только в ловле зверей, но и людей. Вдоволь погоняв по изгибам оврага, меня окружили со всех сторон. Сопротивляться не имело смысла — с таким количеством врагов мог, наверное, справиться только легендарный киммериец Конан-варвар.

Меня даже не стали спешивать, а лишь обезоружили и взяли на аркан. Другой аркан накинули на Бусю, уже едва державшегося на ногах.

Всадники, окружившие меня, были чернобородыми и смуглолицыми, чем-то похожими на цыган. Несмотря на жару, они носили длинные кожаные куртки, обшитые на груди и плечах бронзовыми бляхами. Вооружение их состояло из длинных мечей, двурогих луков и копий.

Но больше всего меня поразили кони разбойников, вернее, их сбруя, состоявшая из намордника, бронзовых удил с двумя поводьями, деревянных стремян и толстой попоны, заменявшей одновременно и седло, и потник. Это был уже совершенно другой уровень цивилизации.

Некоторое время мы оставались на месте, дожидаясь, пока посланные во все стороны всадники соберут разбежавшихся кобылиц, а потом отряд шагом тронулся на юг. Я оказался в самых последних рядах, то есть там, где от пыли нельзя было продохнуть. Чихал не только я, но и Буся. Где вы, родимые степи, обильные холодными ручьями и сочными травами.

Реплики, которыми изредка обменивались смуглолицые разбойники, звучали для меня полнейшей абракадаброй, однако злобные косые взгляды были красноречивее любых слов.

Дабы не нарваться на лишние неприятности, приходилось помалкивать и всем своим видом изображать покорность.

Так начался мой плен.

ШЛЫГ, НЕВОЛЬНИК

Существует такое расхожее мнение: все, что ни случается на свете, — к лучшему.

Не хочу делать никаких далеко идущих обобщений, но по отношению ко мне эта, в общем-то, весьма спорная мысль оказалась абсолютно справедливой. Утратив свободу, я заполучил то, чего так долго и упорно добивался — возможность отправиться в заморские страны (пусть даже и не пассажиром первого класса).

Но все по порядку...

Уже на следующее после пленения утро меня разлучили с Бусей, наверное, предназначенным на колбасу (селезенка его все время екала, а глаза затянулись мутной пленкой), и прямо в степи продали меня перекупщикам, имевшим вид куда более злодейский, чем самые отчаянные разбойники.

Торг длился недолго, и я наконец-то узнал свою истинную

цену. Со скидкой на варварское происхождение и отсутствие многих зубов, она соответствовала серебряному кубку среднего размера, украшенному орнаментом из львиных морд и цветов лотоса.

Дальше я двигался в скрипучей повозке, запряженной быками. Ее огромные, сплошные колеса внушали невольный ужас предку, никогда еще не видевшему подобного чуда. Стоит ли говорить о том, что перекупщики всю дорогу не спускали с меня глаз, а для пущей надежности еще и скрутили по рукам и ногам пеньковой веревкой.

Путешествие не обещало ни комфорта, ни экзотических впечатлений (скорее наоборот), а потому я на время отключился от всех внешних ощущений, оставив на всякий случай лишь чуток зрения и слуха. Если я что-то и видел, то словно сквозь дымку, а если слышал, то как через вату. Пусть предок пока отдувается за нас обоих. В случившемся несчастье он, конечно, не виноват, но ведь тело-то принадлежит лично ему. Пусть заботится. А я себе, если надо, и другое подберу, получше.

Не могу сказать, сколько времени длилось это скорбное путешествие, но следующие пять или шесть суток я провел в яме, накрытой сверху ветхой камышовой крышей, не спасавшей ни от палящих лучей солнца, ни от проливного дождя. Место было омерзительнейшее, зато сюда доносился равномерный и несмолкаемый шум прибоя.

Когда меня сажали в этот первобытный острог, там находилось около десятка узников, а когда вместе со всеми вывели на поверхность, нас насчитывалось уже свыше полусотни.

Я вернулся к действительности с некоторым запозданием и потому едва не проморгал процедуру прощания с родиной. Мне-то эти каменистые берега и заросшие лесом горы были до фени, но многие пленники повели себя чересчур эмоционально — рыдали, вопили и даже бросались на конвой, норовя лягнуть или укусить кого-либо (руки у всех нас были крепко связаны).

Буйствующих хлестали бичами, но не сильно, а скорее для проформы. Кому охота портить ценный товар.

Я окончательно очухался только на палубе неуклюжего, широкого, как корыто, судна. Его мачта с единственной реей напоминала букву Т, а с каждого борта торчало по дюжине весел, чьи лопасти формой были похожи на рыбьи хвосты. Форштевень посудины украшала грубо вырезанная лошадиная голова. Члены

экипажа, за редким исключением, имели ярко выраженную семитскую внешность.

Сопоставив все эти факты между собой, я пришел к выводу, что нахожусь на борту финикийского торгового судна. Ничего удивительного — в древности финикийцы слыли такими же заправскими мореходами, как в пятнадцатом веке испанцы, а чуть позднее англичане и голландцы. Вот только куда они собираются нас отвезти? У этого легкого на подъем народа имелись торговые интересы не только по всему Средиземноморью, но даже в Африке и в далекой стране гипербореев. Не хватало еще, чтобы меня сменяли на пучок страусиных перьев или пригоршню янтаря.

Впрочем, долго околачиваться на палубе нам не позволили. Всех пленников загнали в трюм и там освободили от пут. Бежать было некуда — судно уже быстро удалялось от берега, о чем свидетельствовало равномерное плюханье весел и сразу усилившаяся качка.

(Забыл сказать, что время для выхода из гавани моряки выбрали не самое удобное — серая мгла заволокла небо, и ветер гнал с востока довольно приличную волну.)

Никаких лежаков или гамаков нам, конечно же, не полагалось, но я успел захватить плацкартное место в носу судна, где были сложены запасные паруса, да и качало меньше. Сразу скажу, что в смысле бытовых удобств трюм не шел ни в какое сравнение с земляной тюрьмой, которую мы недавно покинули. Здесь было прохладно и сравнительно сухо, от дощатой обивки шел приятный смолистый запах, а в корме помещался вместительный глиняный сосуд со свежей водой. Спутники у меня оказались все как на подбор — сплошь молодые парни крепкого телосложения. Ни женщин, ни детей. На мои вопросы, заданные по-киммерийски, никто не отозвался. Стало быть, общества соплеменников я лишился надолго, а может быть — навсегда.

На первых порах кормежка нам почти не требовалась — море продолжало штормить, и от интенсивной килевой качки выворачивало нутро даже у кочевников, привычных к постоянной тряске.

В финикийском языке я был ни бум-бум (очередное упущение профессора Мордасова), но однажды в присутствии носатого и брюхатого моряка, чаще других посещавшего трюм, решился на такой эксперимент — ткнул себя пальцем в грудь и с вопросительной интонацией молвил по-древнеегипетски:

— Хемуу? — что означало «раб».

Финикиец не то чтобы удивился, а как-то сразу насторожился, однако произнес в ответ короткую фразу, из которой я понял только одно слово «шерден», то бишь «чужеземец, состоящий на военной службе фараона».

Вот, оказывается, какая участь нам уготована — участь наемников, солдат удачи, гвардейцев фараона, которым тот доверяет куда больше, чем собственным соотечественникам.

Ну что же — и на том спасибо! Лично меня такая перспектива вполне устраивает. А то ведь могли сделать и евнухом в гареме.

Буря трепала судно вплоть до следующей гавани, где запасы воды и продовольствия были пополнены. В этот день вместо опостылевших сухарей и вяленой рыбы нам довелось отведать свежих лепешек с медом и винограда.

Все бы хорошо, но я никак не мог забыть несчастного Бусю. Ведь это было единственное живое существо, к которому я успел здесь по-настоящему привязаться...

Не знаю, сколько времени занимает переход из Черного моря к берегам Египта в двадцатом веке, но мы провели в пути больше месяца.

За этот срок случилось несколько примечательных событий, каждое из которых могло круто изменить мою судьбу.

Сначала где-то в Эгейском море (дабы не засорять текст сносками, я стараюсь везде употреблять современные географические названия) за нами увязались пираты.

Стоял штиль, а это означало, что исход погони зависит не от сноровки матросов, управляющих парусом, и не от искусства кормчего, а исключительно от силы и выносливости гребцов. Пиратский корабль был крупнее и тяжелее нашего, особенно за счет носового тарана, зато и весел имел чуть ли не вдвое больше. На каждом гребке он выигрывал у нас чуть ли не полкорпуса.

Однако когда на палубу высыпали отъевшиеся и отоспавшиеся в трюме пленники, ситуация изменилась кардинальным образом. К полусотне гребцов добавилось еще столько же, и наше судно стало быстро увеличивать дистанцию. Скоро чужая мачта, на которой тряпкой болтался парус, и чужая носовая фигура, изображавшая грифона, исчезли за горизонтом.

Это был идеальный момент для захвата судна — вряд ли пузатые торгаши и хилая матросня устояли бы против сплоченной массы молодых и сильных пленников. Однако среди нас не нашлось сильного и решительного вожака, да и моря эти дети степей боялись куда больше, чем будущей подневольной службы...

По пути мы еще трижды заходили в порты, где невольничьи рынки были столь же обычным атрибутом повседневной жизни, как маяки или храмы. Скоро в трюме стало тесновато. Новоселы принадлежали к самым разным расам и народам. Появилась даже парочка негров, чьи плоские носы так и хотелось вытянуть до надлежащего размера.

Пленники уже не чурались друг друга, как прежде, а старались наладить хоть какие-то, пусть и самые элементарные взаимоотношения. Общение происходило на невообразимом жаргоне, состоявшем из египетских, греческих, финикийских и еще неведомо каких слов. На этом языке можно было попросить об одолжении или, наоборот, пригрозить, но рассуждать на отвлеченные темы он не позволял.

Скученность еще никогда не приводила ни к чему хорошему, смею вас уверить. Пословицу «в тесноте, да не в обиде» мог придумать только какой-нибудь садомазохист. Куда ближе к истине другая пословица — «коли тесно, так и курицу с насеста спихнешь».

Самое занятное, что враждовали не только люди, вынужденные пробиваться за водой и пищей чуть ли не по головам соседей, но и паразитирующие на их телах насекомые. (Об этом я сужу потому, что шестиногие квартиранты, досель спокойно обитавшие в складках моего платья, вдруг словно взбесились.)

Вполне вероятно, что киммерийские вши издревле презирали вшей ахейских, а те, в свою очередь, ненавидели собратьев-шумер.

Мрачные предчувствия подсказывали мне, что добром это вавилонское столпотворение не кончится. Так оно в итоге и оказалось.

В одно не слишком прекрасное утро в трюме началось смятение — кто-то из будущих шерденов (кстати сказать, попавший на судно сравнительно недавно) был найден мертвым. Внешний вид покойника не оставлял никаких сомнений в том, что он стал жертвой какой-то заразы, всегда таившейся в портовых трущобах юга и временами принимавшей масштабы эпидемии. Его распухшее лицо покрывали багровые нарывы, а изо рта и носа истекал зловонный гной.

Позвали трюмного надсмотрщика, но тот, едва взглянув на мертвеца, пробкой вылетел наружу.

Между тем двое соплеменников усопшего принялись обмывать его, черпая воду ладонями прямо из сосуда. Зазвучала заунывная молитва, предназначенная неизвестно какому богу.

В этот день я не притронулся ни к воде, ни к пище, которую нам теперь швыряли через верхний люк.

Спустя сутки умер один из тех, кто принимал участие в поминальном обряде. Болезнь, погубившая его, имела аналогичные симптомы, к которым, правда, добавилась мучительная кровавая рвота.

Ошалевшие от животного ужаса пленники непрерывно колотили в палубу и борта судна, но команда выносить покойников последовала лишь после того, как число таковых достигло полудюжины, а от трупного запаха нельзя было продохнуть.

Я сделал все возможное, чтобы попасть в состав похоронной команды (впрочем, особой конкуренции тут не было). Трупы извлекались наружу крючьями и безо всяких церемоний выбрасывались в море. Когда с этими скорбными хлопотами было покончено, нас силой оружия стали загонять обратно в трюм. Поднялся ропот — люди, вдохнувшие свежего воздуха, не хотели возвращаться обратно в зловонную могилу. Несколько пленников — по виду греков — сигануло через борт (им-то что, плавают, как дельфины). Кто-то попытался вырвать меч у надсмотрщика и был заколот на месте (завидная смерть, легкая и быстрая). Я же успел кинуться на колени перед тем самым носатым финикийцем, который недавно просветил меня насчет грядущих жизненных перспектив.

Иногда, правда редко, я умею говорить очень убедительно. Даже не говорить, а вещать. Эта способность просыпается во мне чисто случайно и всегда под воздействием какого-нибудь сильного возбудителя — страха, восторга, вожделения, в крайнем случае, алкоголя.

Главное тут вовсе не слова, а эмоциональная энергия, с которой они произносятся. Истрепанная банальность, сказанная, что называется, «от души», впечатляет слушателя куда больше, чем чьи-нибудь оригинальнейшие, но сухие тезисы. В общем, лучше Александра Сергеевича Пушкина не сформулируешь: «Глаголом жги сердца людей».

Еще будучи в выпускном классе, я однажды едва не склонил к прелюбодеянию учительницу литературы (известную ханжу и рутинершу), вместе с которой готовил после уроков экстренный выпуск школьной стенгазеты. Можно сказать, что этим подвигом любострастия я превзошел известные деяния Дон Жуана (куда субтильной и слабодушной Донне Анне против стойкого партийца Марии Матвеевны Коноваловой!). Дело не было дове-

дено до логической развязки только в силу моей постыдной неопытности и одного чисто физиологического обстоятельства, которое в телевизионной рекламе скромно именуется «критическими днями».

В другой раз я до слез напугал соседа-пенсионера (между прочим, человека отнюдь не слабонервного, а уж тем более не сентиментального), неосмотрительно угостившего меня самогоном собственного изготовления. Распалившись после второго стакана, я поведал ему наспех придуманную историю о том, что в высших судебных инстанциях якобы готовится громкий процесс над лицами, подрывающими государственную монополию на производство горячительных напитков, и что одним из главных обвиняемых по этому делу будет проходить именно он, мой сосед, которого я самым бессовестным образом сдал компетентным органам, вместе со всеми потрохами и двумя кассетами видеозаписи, сделанными скрытой камерой. Бред сивой кобылы, скажете вы? Да, но зато как это было преподнесено! Как изложено! В какой-то момент я даже сам поверил в эту идиотскую байку.

Теперь из светлого настоящего вернемся в мрачное прошлое, на борт финикийского невольничьего судна, живой груз которого (а возможно, и экипаж) был обречен стать жертвой страшного божества, называемого в просторечии Моровой Язвой.

Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы заинтриговать носатого морехода. Уж и не помню, как мне это удалось, а главное — на каком языке мы общались.

Мой визави мало что решал здесь, но благодаря его протекции я был представлен самому капитану, весьма импозантному брюнету, внешностью очень напоминавшему киноактера Мкртчяна, но размерами чрева и нюхалки даже превосходившему последнего.

Теперь все зависело только от этого перекормленного борова. И я не пожалел на него своих душевных сил! Думаю, что сейчас я мог бы склонить его к чему угодно — к содомскому греху, к попранию веры отцов, в отречению от мирских благ, даже к людоедству.

Мои запросы были куда скромнее, но их смысл с трудом доходил до простого финикийца, при рождении возложенного на алтарь грозного бога Баал-Зебула (позже несправедливо названного Вельзевулом) и считавшего древний Сидон прекраснейшим городом на свете.

И все же он уступил! Я таки убедил его, хотя нас разделяла

пропасть в тридцать три века, плохое знание языка (это еще слабо сказано!) и разница в побуждениях (он хотел спасти товар, в который вложил немалые средства, а я всего лишь жизнь своего дальнего предка).

Все дальнейшее свершалось, словно в приступе массового психоза, когда люди, окрыленные какой-либо очередной безумной идеей, уже не способны отличить добро от зла. Никто не понимал смысла происходящего, но делал свое дело быстро и усердно.

Немедленно зажглись жаровни, на которых грелись котлы с водой. Из пифосов с вином, которое предполагалось использовать исключительно в целях дезинфекции, вышибали засмоленные пробки.

Крепко связанных пленников по одному приводили на корму, где я проводил медосмотр, не забывая при этом все время споласкивать вином лицо и руки.

Позднюю стадию губительной болезни можно было легко распознать даже на взгляд — сыпь по всему телу, горячка, тяжкое дыхание, мутный взор.

К этим несчастным я даже не прикасался, а вот у всех остальных пациентов тщательно ощупывал подмышечные впадины, отыскивая так называемые «бубоны» — распухшие лимфатические узлы (уж и не помню точно, где я прочитал про такой метод диагностики заразных болезней, не то в «Чуме» Камю, не то в «Я жгу Париж» Ясенского).

Горько говорить об этом, но вынесенный мной вердикт был равносилен смертному приговору. Пленников, имевших хотя бы самые ничтожные признаки заболевания, ударом тяжелой дубины сбрасывали в море. А те, кто благополучно прошел проверку, лишались всего своего тряпья, всех волос, а затем оказывались в котле с горячей водой, где под угрозой палки вынуждены были соскребать с тела грязь и жир, накопленный за всю предыдущую жизнь. Напоследок пленников протирали вином и, вновь связав, отводили на нос судна, под надзор палубной команды.

Кое-как разобравшись с людьми, приступили к дезинфекции трюма — хорошенько проветрили его, перебили всех крыс и дважды промыли каждую доску обшивки, сначала кипятком, а потом уксусом. К полуночи, если судить по положению звезд Большой Медведицы, наши тяжкие труды завершились.

Места в трюме мне уже не было. Пленники, не понимавшие своей пользы и искренне полагавшие, что все гигиенические процедуры, которым они подвергались, есть не что иное, как

особо изощренный вид пытки (того же мнения, наверное, придерживалась и большая часть команды), растерзали бы меня на куски. Поэтому ночь я провел на палубе, пьяный в стельку.

Наутро капитан соизволил о чем-то переговорить со мной, но на сей раз мы не нашли общего языка. Вчерашний запал пропал, и я чувствовал себя устрицей, которую извлекли из раковины, побрызгали лимонным соком, но забыли съесть.

Никакой награды за свое подвижничество я не получил, да и не претендовал на это — зачем лишнее имущество рабу, который не волен распоряжаться даже собственным телом? Спасибо и за то, что разрешили вдоволь попользоваться вином.

Спустя сутки медосмотр был повторен. Симптомы заразы обнаружились только у одного пленника, причем симптомы весьма спорные (что, впрочем, не спасло его от печальной участи).

Через пять дней можно было смело констатировать, что мор побежден. На шестой день мы увидели впереди полоску низкого, заросшего тростником берега, скользящие во всех направлениях парусные лодки весьма забавного вида и стены кирпичной крепости, охранявшей вход в один из судоходных рукавов Дельты.

Нам не позволили причалить к берегу (да и подходящего причала нигде не было видно) и под конвоем нескольких военных кораблей повели вверх по рукотворному каналу, глубины в котором только и хватало, чтобы не утюжить килем жирный нильский ил.

Корабли у египтян были курам на смех — этакие плетеные папирусные матрасы с задранными краями, которые удерживались в таком положении туго натянутыми канатами. Не корабли, а арбузные корки, плавающие в помойной яме (последнее сравнение полностью соответствовало цвету и запаху вод, наполнявших канал). Сенкевич с Туром Хейердалом рискнули однажды выйти в море на похожей посудине, так едва не утопли. Об этом потом в «Клубе кинопутешествий» рассказывали. Не годится, дескать, папирус для серьезного мореходства. Воду впитывает, как губка, и все такое.

Впрочем, меня интересовали вовсе не папирусные корабли, а те, кто на них плавал, то есть сами египтяне.

Ведь это вам не какие-то киммерийцы, бесследно сгинувшие во мраке веков и даже порядочного менгира после себя не оставившие, а великий народ, без которого нельзя представить нашу цивилизацию.

Кто изобрел колодезный журавель, презерватив и табурет?

Кто первым стал изготавливать бумагу? Кто ввел в обычай употребление пива? Откуда пошла мода на макияж? Чьи мумии украшают лучшие музеи мира? Кто научил уму-разуму сыновей Израилевых? Кто придумал всех этих бесчисленных богов с симпатичными звериными мордами? Про великие пирамиды, загадочного сфинкса и Суэцкий канал (не нынешний, построенный французскими буржуями в девятнадцатом веке, а другой, древний, существовавший еще три тысячи лет назад) я уже здесь и не упоминаю.

Короче, народ-предтеча. Народ-избранник. Лучше и не скажешь. Да только известно о нем не так уж много. Ведь даже Геродот, описывавший историю Древнего Египта, пользовался в основном непроверенными слухами. Ну а его эпигоны вплоть до самого последнего времени вообще дурью маялись. Вместо того чтобы искать истину, напускали туман.

Сразу признаюсь, что египтяне произвели на меня весьма благоприятное впечатление. Люди как люди — не арийцы, конечно, но и не азиаты. Сухощавые, стройные, безбородые, со смуглой кожей, действительно имевшей красноватый оттенок. Никакого сравнения с финикийцами, каждый второй из которых был, кстати, если не боров, так тюлень. И одеты просто, без причуд. Гребцы, честно говоря, вообще почти не одеты, хорошо еще, что срам прикрыт. Зато воины щеголяют в бронзовых шлемах, защищающих не только голову, но и шею, а их чресла прикрывают кожаные передники. Роль панцирей выполняют широкие перевязи, перекрещенные на груди.

Что касается вооружения египтян, то оно состояло из серповидных мечей с длинными рукоятками, боевых дубинок и метательных палок, по сути дела являвшихся одной из разновидностей бумеранга. Копья, щиты и луки имелись у немногих.

В отличие от киммерийцев, этот народ нельзя было назвать малоразговорчивым. Гребцы покрикивали на крокодилов, нагло мешавших судоходству, воины — на гребцов и друг на друга, а командиры, которых можно было легко отличить по богатым украшениям на груди и пышным плюмажам, — те вообще обкладывали древнеегипетским матом всех подряд, начиная от крокодилов и кончая нашим многоуважаемым капитаном.

Сильно выражались ребята, это у них не отнимешь. И слов много знали, недаром ведь считались самым цивилизованным народом своего времени.

Но что это были за слова! Шипение и цоканье, гортанный клекот и скрипучее ворчание. Прямо не язык, а какая-то модер-

нистская симфония. Нет, нормальному человеку такой язык освоить невозможно! У меня-то и с английским всегда были проблемы...

Навстречу нам выплыл еще один папирусный матрас, но на сей раз такой огромный, что с ним невозможно было разминуться.

Воины на конвойных кораблях заорали пуще прежнего. Даже флегматичных крокодилов напугали. Некоторые (не крокодилы, а воины) с грозным видом целились в нас из луков.

Тут уж финикийцы засуетились. Гребцы подняли вверх весла, а все, кто был на юте, включая капитана, налегли на кормило, направляя судно к берегу.

Мы причалили к широкой дамбе, за которой начинались бескрайние болота, пестреющие водяными лилиями. Никогда бы не подумал, что Древний Египет так похож на наше Васюганье. Или это только здесь, в Дельте.

Встречный корабль тоже остановился, и его высоко задранный нос, имевший форму полумесяца, почти соприкоснулся с конской головой, побелевшей от морской соли.

Вскоре к нам пожаловала весьма представительная делегация — вельможи в париках и треугольных передниках, целиком состоявших из всяких золотых побрякушек и сердоликовых бусин, писцы с развернутыми свитками и кисточками в руках, лакеи, державшие опахала, кравчие, толмачи, глашатаи и еще много всякой другой шушеры, явно не имевшей никакого отношения ни к ремеслу, ни к сельскому хозяйству, ни к военному делу. Слуги народа, одним словом. Захребетники.

Вот, оказывается, где зародилась бюрократия — еще в Древнем Египте. Не потому ли она несокрушима, как пирамиды, лукава, как сфинкс, и многолика, как бог Монту.

Наш капитан вертелся перед чиновниками мелким бесом — не знал, чем и услужить дорогим гостям. А этим от него ничего и не надо было. Все необходимое они имели при себе — и складные табуреты, и зонтики из страусовых перьев, и вино в серебряных кувшинах, и сладкие финики, и горькие орешки. Словно на пикник собрались. Вот только девочек с собой не захватили.

Когда вся эта бражка распределилась по палубе и те, кому было положено сесть, сели, египетские воины установили подле мачты еще два предмета, предназначение которых до поры до времени оставалось для меня тайной — жаровню, полную раскаленных углей, и гончарный круг.

После долгих переговоров (оказалось, что наш капитан изъясняется на древнеегипетском как на своем родном) приступили к делу. По принципу — у вас товар, у нас купец.

Надсмотрщики выводили из трюма пленников, ошалевших от яркого солнца и предчувствия грядущих перемен. Здесь они попадали в цепкие руки египетских лекарей, не гнушавшихся заглянуть будущим шерденам ни в рот, ни в задницу.

После долгого и скрупулезного предварительного осмотра, по сравнению с которым заседание военно-медицинской комиссии военкомата показалось бы игрой в бирюльки, пленников подвергали различным испытаниям — хлестали бичом, чтобы проверить терпимость к боли, заставляли многократно приседать и подпрыгивать, ставили перед вращающимся гончарным кругом, на бликующей поверхности которого требовалось фиксировать внимание (позднее я узнал, что это весьма эффективный способ выявления потенциальных эпилептиков).

Каждого пленника, переходившего в собственность фараона, наделяли новым звучным именем и красными чернилами вносили в отдельный список. Теперь он имел полное право плюнуть в морду любому из финикийцев.

И наконец наступила очередь жаровни. Новобранцев прямо на месте клеймили личным тавром фараона, чему могли бы позавидовать многие свободные люди.

Несколько пленников по разным причинам оказались забракованными. Их тут же приобрели за бесценок какие-то подозрительные личности, неизвестно по какому праву допущенные на иноземное судно, — скорее всего подставные лица.

Шерденов построили цепочкой и увели в новую жизнь. Я мысленно пожелал им удачи. Солдатская жизнь тяжела, но пусть побед в ней будет больше, чем поражений, а вино течет обильнее, чем кровь.

Но сделка еще не завершилась. Начался процесс расчета. Носильщики перли на финикийское судно кувшины с вином и маслом, корзины с зерном, льняные ткани, свитки папируса, связки копий, зеркала, благовония, медь, бирюзу, алебастровую посуду, охотничьих соколов, дрессированных обезьян и еще много чего другого, таившегося в кожаных мешочках и деревянных ларцах.

Щедр был фараон, очень щедр, но хотелось бы знать, какая часть этих сокровищ осела в карманах корыстолюбивых вельмож и чиновников. Чует мое сердце — разворуют страну! Хоть через тысячу лет, да разворуют. Уж если мне суждено выбиться здесь в

люди, я обязательно создам (и, естественно, возглавлю) департамент по борьбе с коррупцией. А еще лучше — Главное управление с филиалами во всех номах и собственным спецназом. Штат, я думаю, потребуется небольшой. Пара тысяч толковых чиновников, примерно столько же писцов, тысяч пять воинов, желательно шерденов, ну и соответствующая обслуга, конечно.

А покровителем я выберу ибиса-Тота, самого сурового из богов, покровителя грамотеев, знатока тайных дел, создателя календаря и секретаря загробного суда. На первое время, пока не построим собственные офисы, можно будет разместиться в его храмах...

Но это я отвлекся. Иногда так приятно предаваться грезам, пусть и неосуществимым.

Солнце между тем садилось, окрашивая разливы болот в кровавый цвет. Огромные стаи белых цапель потянулись в сторону моря. Крокодилы утратили прежнюю сонливость и стали затевать в мутной воде бурные игры.

Откуда-то доносились мелодичные звуки флейты.

Матросы, получившие увольнительную, спешно сходили на берег. Их грубые лица освещала надежда — надежда приобщиться этой ночью ко всем мыслимым и немыслимым порокам большого порта. На хозяйстве остался только капитан да с полдюжины вахтенных.

Я скромно стоял в сторонке. Про меня все словно забыли.

Как же, раскатал губу! Забыли про него! В рабовладельческом обществе про человека не забывают. Это ведь живые деньги.

Последние египтяне, ожидавшие, когда остынет жаровня, еще не покинули судно, а парочка матросов самого разбойничьего вида уже двинулась в мою сторону. Сомневаться в их намерениях не приходилось, тем более что в руках одного сверкал нож.

Честно сказать, такой откровенной подлости я не ожидал даже от носатых финикийцев. Вот благодарность за все хорошее, что я для них сделал.

Ну и народец! Недаром ведь именно они изобрели потом деньги. Подкинули сюрпризец грядущим поколениям, ничего не скажешь. До сих пор люди гибнут за презренный металл. Причем массами...

А нож-то как блестит! Острый, наверное... Неужели мое пре-

бывание в теле киммерийца Шлыга подошло к концу? Жаль... Я ведь даже не успел узнать, какое нынче тысячелетие на дворе.

Конечно, так просто я этим гадам не дамся. Пусть не надеются. Привыкли невинных агнцев на своих алтарях резать... Но что же предпринять? Драться? Глупо... Молить о пощаде? Еще глупее... Это то же самое, что призывать гиен к вегетарианству.

Остается одно — бежать. А куда? Слева по борту канал, полный крокодилов. За кормой то же самое. Справа пристань, но враги подбираются именно с той стороны. Рвануть, что ли, на нос или, выражаясь по-морскому, на бак? Сяду верхом на деревянного коня и ускачу.

Правда, на баке околачивается капитан, с интересом поглядывающий сюда, но уж этого-то увальня миновать нетрудно.

Пока я размышлял таким образом, кто-то крепко ухватил меня сзади поперек туловища. Вот невезуха! Правильно говорят: забыл про тылы — проиграл сражение.

Конечно, я успел отоварить смельчака локтем по роже, но спустя мгновение на мне повисли двое дородных финикийцев. Этим было все едино — что быков глушить, что людей калечить.

Сила солому ломит — и вот я уже стою на коленях, а человек с ножом вытаскивает наружу мой язык.

Поняли, в чем тут фокус? Мне сохранят жизнь, но лишат дара речи. Чтоб не разболтал ненароком, какими такими делами мы занимались неделю назад на подходе к благословенным египетским берегам.

Ведь если фараон узнает, что ему всучили недоброкачественный товар, не прошедший, так сказать, санитарный контроль, финикийским купцам мало не покажется. Тем более случись что (тьфу-тьфу-тьфу) — виновники известны. Придется им до скончания века обходить египетские гавани стороной.

В свете этих очевидных фактов я, конечно же, являлся нежелательным свидетелем. Тогда почему со мной не расправились раньше? Столько возможностей представлялось. Вероятно, капитан, не уверенный, что с болезнью покончено окончательно, просто страховался. Да и жадность, наверное, обуяла. Безъязыкого пленника тоже можно продать, пусть и за полцены. И без того убытки огромные.

Египтяне искоса поглядывали на приготовления к экзекуции, но не вмешивались — надо думать, что принцип экстерриториальности морских судов соблюдался и в древности.

Гад, державший меня за язык, уже получил одобрительный

кивок капитана и сейчас примеривался, как бы это лучше чиркнуть ножом — чтоб с одного раза и под самый корень.

Для спасения у меня оставался единственный миг и единственный шанс из тысячи. Тем не менее я решил не пренебрегать даже такой эфемерной возможностью — изловчился и тяпнул финикийца зубами за палец. От души тяпнул, даже кость хрустнула.

Приветствую тебя, мой язык, вернувшийся на свое законное место!

Двое других матросов по-прежнему висели на мне, как многопудовые гири. Знали бы вы, какие неимоверные физические усилия понадобились на то, чтобы сдвинуть этих амбалов с места и протащить по палубе с десяток шагов! Зато в итоге мы всей кучей врезались в жаровню, что сразу изменило невыгодное положение дел в мою пользу.

Что тут началось! Дым, смрад, вопли. Угли рассыпались по всей палубе, а чем это грозит, вы можете спросить у любого инспектора Госпожнадзора. Началась, а вернее, вспыхнула паника. А мне только этого и надо было! Рыбу ловят в мутной воде, а смываются — под шумок.

Благодаря буйному нраву предков мне пришлось участвовать во многих схватках, но лишь однажды вместо оружия в них использовались клейма — полуметровые металлические стержни с костяной рукояткой и затейливой блямбой на конце.

Кое-как отбившись от матросов, кроме ушибленных ран получивших еще и многочисленные ожоги, я в несколько шагов достиг бака, где, растопырив руки-крюки, меня поджидал капитан.

Ну и вмазал я ему клеймом по жирной физиономии! Будет теперь до конца жизни носить на себе печать нынешнего фараона — благодетельного и милостивого владыки тронов Обеих земель, любимца богов и царя царей, имени которого я, к сожалению, до сих пор не знаю.

Дальше у меня был только один вариант действий — сигануть на египетский корабль, все еще стоявший к нам носом, и там просить политического убежища.

Расстояние само по себе было невелико — метра три, но плавучий папирусный матрас сидел в воде очень высоко, и в конце прыжка мне предстояло уцепиться за почти вертикальную поверхность — трюк, достойный скорее мартышки, чем человека, выросшего в степи и ни разу не взбиравшегося даже на дерево

(сами понимаете, что все действия, требующие силы или ловкости, я перепоручал предку).

Мою задачу несколько облегчали папирусные канаты разной толщины, свешивавшиеся за борт. И все равно — риск был велик. Это понимали даже крокодилы, с интересом наблюдавшие за мной снизу...

Трудно пересказать события, меняющиеся с калейдоскопической быстротой. Особенно когда при этом каждый эпизод стараешься разложить по полочкам. Получается долго и нудно.

А на самом деле все происходило в бешеном темпе, едва ли не на счет «раз-два-три».

Если начать с самого начала, то заваруха на финикийском судне выглядела примерно так. Трое здоровяков сгибают меня в бараний рог. Один заносит нож, но тут же отшатывается в сторону. Куча мала катится по палубе и врезается в жаровню. Бой в дыму. Накат на капитана. Его пронзительный вскрик. Мой отчаянный прыжок на борт египетского корабля.

Слава богу, что это папирус, а не дерево — разбиться невозможно. Цепляюсь за канаты. Срываюсь. Опять цепляюсь. Снова срываюсь и лишь в метре от воды окончательно нахожу опору в виде петли, завязанной на одном из концов. Остальное уже проблем не составляло. Все! Теперь меня не волнуют ни злобные вопли околпаченных финикийцев, ни звучное щелканье крокодильих челюстей, которое при желании можно расценить как бурные и продолжительные аплодисменты.

(Позже, вспоминая этот случай, я каждый раз задавался вопросом: а стоило ли тогда затевать такую бучу? Ведь меня же не убить собирались и даже не кастрировать, а только лишить языка. Причем чужого. Не велика потеря. Рисковал-то я гораздо большим. Впрочем, победителей не судят.)

ШЛЫГ, ОН ЖЕ СЕНЕБ, НАЕМНЫЙ ВОИН

Нельзя сказать, что мое появление оказалось для египтян приятным сюрпризом.

Они только что обмыли удачную сделку, хорошенько закусили и сейчас, с комфортом расположившись на устланной коврами палубе, услаждали душу музыкой и грациозными движениями темнокожих танцовщиц. Ну лепота, честное слово! А тут из-за борта появляется чумазый и косматый дикарь, имеющий к тому же весьма неясные намерения. Кому это может понравиться?

Музыка умолкла, танцовщицы завизжали, а телохранители, закусывавшие в сторонке, выхватили свои страховидные мечи и поспешили на выручку хозяевам.

Еще чуть-чуть, и незваному гостю не поздоровилось бы, но я пал перед самым представительным из вельмож и выпалил магическую формулу, заранее выученную назубок по настоятельному требованию профессора Мордасова.

Для меня она звучала совершенной абракадаброй, но смысл имела примерно следующий:

— О могучий и великодушный! Взываю к твоему милосердию, защитник сирот и покровитель неправедно обиженных, чьи уши открыты перед каждым, кто говорит правду! Снизойди к моим мольбам, и пусть богиня Хатхор ниспошлет твоим ноздрям вечную жизнь.

Эта фраза, в своем натуральном виде куда более короткая, чем любой перевод, являлась как бы официальной просьбой о заступничестве. С ней можно было обратиться и к фараону, и к судьям, и к жрецам достаточно влиятельных богов, и даже к портовым стражникам.

Конечно, говорил я с диким акцентом, без всяких там придыханий, прицокиваний и аллитераций, которыми так богата древнеегипетская речь, но тем не менее слушателей заинтриговал сам факт того, что прибывший чуть ли не с края света дикарь изъясняется на их родном языке, да еще столь замысловато.

Наверное, это было равносильно тому, если бы живущий в зоопарке шимпанзе стал вдруг цитировать статьи Уголовного кодекса.

Вельможа величавым жестом остановил телохранителей, намеревавшихся выпустить наглецу кишки, и стал о чем-то расспрашивать меня. Но что может ответить своему благодетелю попугай, заучивший дюжину звучных слов и совсем не понимающий их значения?

К счастью, на корабль явились египтяне, наблюдавшие все перипетии моего конфликта с финикийцами. О случившемся было доложено по цепочке: сначала писцу, вслед за тем — секретарю и лишь потом — вельможе.

Тот осклабился до ушей (наверное, тоже недолюбливал этих носатых спекулянтов) и потребовал подать символ своей власти — трость из эбенового дерева, украшенную золотым уреем. Возложив эту трость на мою голову, вельможа торжественным тоном изрек некую фразу, вызвавшую бурное одобрение присутствующих.

Лишь спустя некоторое время я узнал ее точное содержание. Вот оно:

— Отныне, чужеземец, ты будешь есть хлеб фараона, да будет он жив, здоров, славен делами и угоден богам. Кроме того, я нарекаю тебя новым именем Сенеб.

Таким образом, я был законным путем принят под юрисдикцию египетских властей, о чем немедленно была сделана запись на папирусе. Финикийцы, наблюдавшие за этой церемонией с мачты своего корабля, могли утереться.

Впрочем, мой статус оказался весьма невысоким. Рабом я не стал, но и полноценным египтянином считаться не мог. Любой портовый попрошайка, родившийся на этой земле, имел больше прав, чем я. Поэтому мой путь лежал все туда же — в шердены.

Наемников хорошо кормили и одевали, обеспечивали жильем, в случае победы одаривали частью добычи и даже позволяли заводить семью, но за малейшую провинность нещадно наказывали палками.

Гарнизонная служба в пограничных крепостях была скучна, а военные действия опасны для жизни и здоровья. Зато удача и определенные личные качества открывали шердену широкие возможности для карьеры. Многие приближенные фараона и даже номархи были выходцами из наемников.

Войска фараона формировались строго по национальному признаку. Один полк состоял из ливийцев, другой из нубийцев, третий из хеттов и так далее. Шердены были вооружены своим традиционным оружием и между собой общались только на родном языке.

Наемные отряды никогда не смешивались между собой, даже в период военных действий. Более того, между иноземными воинами фараона существовала почти открытая неприязнь, поощряемая их командирами.

Все это делалось для того, чтобы предотвратить возможность сговора, а в случае бунта одного из наемных полков легко натравить на него другие. В свете этих фактов нужно признать, что лозунг «Разделяй и властвуй» придумали вовсе не британские империалисты, а египетские рабовладельцы.

Я был определен в полк богини Нейт «Смертоносные стрелы», где служили главным образом выходцы из Европы, в том числе и греки. Наше вооружение состояло из глубоких шлемов с гребнями на макушке, круглых щитов, коротких прямых мечей и

треугольных луков местного производства, носимых обычно на шее.

Про первые месяцы солдатчины умолчу — можно подумать, что главной целью командиров было не обучение новобранцев военному делу, а дубление их шкур палками. (И вообще, у этой страны имелось три неотъемлемых символа — пирамиды, папирус и палки.)

Основные тяготы службы, конечно же, доставались предку, а я только приглядывался, прислушивался да мотал все на ус.

Пока Шлыга (а теперь уже Сенеба) в полной выкладке гоняли по жаре, учили взбираться на стены осажденных крепостей и заставляли фехтовать на учебных мечах (после каждого такого занятия несколько человек, как правило, отправлялись к праотцам, а все остальные нуждались в срочной медицинской помощи), я сумел освоить древнеегипетский язык, вернее, ту его разновидность, которая была в ходу у простолюдинов и воинов. (Аристократы, а тем более жрецы, разговаривали совсем иначе.) Подтвердилась известная истина — не так страшен черт, как его малюют.

Стараясь втереться в доверие к командирам-египтянам, я истово поклонялся их богам, особенно Атуму, к которому, по слухам, особенно благоволил нынешний фараон.

Однажды, воспользовавшись удобным случаем, я поинтересовался у полкового знаменосца (в прошлом весьма почтенного человека, попавшего в нашу компанию за какой-то неблаговидный поступок):

— Скажи, досточтимый, а каково истинное имя царя царей, из рук которого мы едим и чьи земли защищаем?

— Тутмос, — ответил знаменосец.

— А кто его отец? — продолжал выспрашивать я, поскольку фараонов с таким именем в египетской истории было предостаточно.

— Светоносный Ра, — буркнул знаменосец, отягощенный какими-то своими заботами.

— Я имею в виду не божественного отца, а земного. Как его звали?

— Его звали точно так же, как и сына, — Тутмос, — знаменосец почему-то стал нервничать.

Но я не отставал:

— Тогда не соблаговолишь ли ты сообщить мне имя деда царя царей Тутмоса, да продлятся его дни. Это нужно для того, что-

бы в храме Осириса совершить жертвоприношение в честь всех предков нашего владыки по мужской линии.

— Дед тоже был Тутмосом! — выпалил знаменосец. — Чего ты ко мне привязался, грязный варвар! Пошел прочь!

Боже милостивый, думал я, поспешно удаляясь. Тутмос, Тутмос, Тутмос! Да ведь это, похоже, восемнадцатая династия. Чуть ли не шестнадцатый век до нашей эры. Ничего себе промашечка! Недаром мои сослуживцы-греки только разводят руками, когда я интересуюсь, слыхали ли они про Тесея или Минотавра.

(Правда, нашелся один уроженец Лемноса, у которого имелся дальний родственник по имени Тесей, но не Эгеид, а Эгесдид. Кроме того, он с детства был сильно хром и зарабатывал себе на пропитание ремеслом горшечника.)

Ладно, задача-минимум выполнена, пристрелка проведена. На точное попадание с первого раза никто и не рассчитывал. Можно с чистой совестью возвращаться в будущее, тем более что здесь я время даром не терял. Расширял кругозор и повышал общеобразовательный уровень. Котяра и Мордасов, наверное, давно хотят заключить меня в объятия

А предок пусть еще послужит. Все лучше, чем пасти коней в Киммерии. Авось и в люди выбьется.

Так я потом говорил себе много раз. Особенно с утра пораньше, когда после вчерашней муштры ломит все тело, а черствый сухарь, выданный на завтрак, не лезет в глотку даже при посредстве доброго глотка пива.

Все, сегодня завязываю. Плюну в морду командиру, лягу под палки и, не выдержав боли, покину телесную оболочку Шлыга. И ему так будет лучше, и мне. Но тут же исподволь закрадывалась другая мыслишка. А вдруг в нашем родном мире что-то переменилось, и Котяра больше не пошлет меня в душеходство? Или мое тело, надолго оставшееся без хозяина, перестало функционировать? Куда я тогда денусь? В кого вселюсь? Неужели так и останусь навсегда печальной тенью, скитающейся во мраке безвременья?

И я продолжал тянуть солдатскую лямку, всякий раз находя для себя новое оправдание, а вернее, занимаясь элементарным самообманом. Доводы в пользу того, что я должен задержаться здесь, выглядели примерно так.

Я покину тело Шлыга, а его возьмут да и засекут до смерти. Жалко предка. Это раз.

Не мешало бы подучиться ахейскому языку, а еще лучше —

наведаться на Крит, дабы провести там предварительную разведку. Потом очень пригодится. Это два.

Следуя совету Мордасова, нужно оставить после себя побольше отпрысков. Тогда вероятность того, что в следующий раз я опять попаду в регион Средиземноморья, сразу повысится. Это три.

И так далее, и так далее, и так далее.

Короче, время шло, а в моем положении ничего не менялось. Шагистика. Фехтование на мечах. Рукопашный бой. Экзекуции. Грубая пища. Варварские развлечения.

Но даже эту тяжкую жизнь нельзя было сравнить с тем постыдным существованием, которое ожидало меня в клинике профессора Котяры.

Хорошо помню свое первое боевое крещение. Дело происходило на восток от Дельты, где-то в Синайской пустыне, в тех самых краях, куда за несколько лет до моего рождения хитрые арабы заманили еврейскую армию (по примеру Кутузова, заманившего французов к Москве), но, так и не дождавшись морозов, спустя семь дней капитулировали сами.

До этого мы много дней подряд шли походным маршем, изнывая от жары и безводья.

Кто наши противники и где они находятся, я даже не знал. Рядового шердена это не должно было касаться никоим образом. Пусть точит свой меч и готовится к ратным подвигам во славу фараона. Тактикой и стратегией есть кому заняться и без него. У армии достаточно опытных командиров, получивших свои первые чины еще в пеленках. Их изощренный разум предвидит каждую уловку врага, а взор проникает сквозь толщу гор и глубины вод. Зовут этих любимцев фараона «имаху», то есть достойнейшие из достойных. Воины за ними — как за каменной стеной.

Все деревни на нашем пути лежали в развалинах, а колодцы были завалены разложившимися трупами. Рыхлый и горячий песок, по которому ступали наши ноги, напоминал пепел. Даже грифы остерегались садиться на него.

Потом впереди показались скалы, много скал, целая скальная страна, но благодатной тени нельзя было найти даже здесь.

Взвыли трубы, извещая о том, что враг наконец-то обнаружен. Вздымая тучи едкой пыли, затмившей даже солнце, вперед устремились колесницы, разукрашенные золотом, птичьими перьями и лентами. С десяток их развалилось и перевернулось

прямо у нас на глазах. Ничего удивительного, это ведь не плац перед дворцом фараона. По камням и рытвинам особо не погоняешь, тем более если нет рессор.

Затем наступила очередь пехоты — «меша». Вслед за колесницами тронулся полк Хора «Разящие мечи», укомплектованный долговязыми ливийцами. Им-то, наверное, жара нипочем.

Нас, вместе с приданным отрядом копейщиков, почему-то послали вправо, в обход скал. Так оно, может, и к лучшему. Пока дойдем до места, битва закончится. Вряд ли в окрестных землях найдется сила, способная долго противостоять могучей армии фараона.

Жаль, что на добычу нам сегодня рассчитывать не приходится. Уж ливийцы-то своего не упустят. Про колесничих вообще говорить нечего. Известные мародеры. Ну ничего, целее будем.

Солнце между тем поднималось все выше. Командиры пронзительно орали, понуждая нас с шага перейти на бег. Совсем с ума спятили! Мы и так еле волочим ноги. Будь я россиянином Олегом Наметкиным, а не киммерийцем Шлыгом, так давно бы, наверное, пал жертвой солнечного удара или разрыва сердца.

Но мой предок, к счастью, был выносли в и терпелив, как верблюд.

Конечно, ведь его в детстве кормили натуральным материнским молоком, а не молочной смесью «Малыш» с рисовым отваром. Он не отбывал четыре года заключения в детском саду «Осиновая роща». Не гробил здоровье в школе. Не сушил мозги в институте. Не бегал под чернобыльским дождиком. Не пил копеечный портвейн. Не курил всякую отраву. Поэтому и здоровья у него хоть отбавляй.

Откуда-то слева стал доноситься шум боя. В отличие от ратных шумов последующих эпох (катятся ядра, свищут пули...), он был довольно однообразен. Просто монотонный лязг металла на фоне слитного, несмолкающего человеческого воя — «а-а-а-а...». Ну иногда ради разнообразия пропоет труба, взметнется боевой клич, истошно заржет умирающая лошадь, с треском развалится налетевшая на препятствие колесница — и это, пожалуй, все.

Скалы, которые мы так долго и упорно огибали, остались позади. Перед нашим полком открылась плоская сухая равнина, сплошь затянутая завесой пыли. Будь на то моя воля, я бы предпочел воевать в болотах.

Враги пока не обращали на нас внимания. Единственными, кто встречал нас, были ливийцы из полка «Разящие мечи». Но эти уже отвоевались. Беднягам никогда больше не придется есть

хлеб фараона, более того — их самих скоро съедят стервятники (а то, что останется, подчистят жуки-скарабеи).

Да, не повезло сердешным. Лежат вповалку на самом солнцепеке, и каждый утыкан стрелами, как дикобраз иголками. Наверное, попали в засаду, потому что поблизости не видно ни одного мертвого врага.

Дело, конечно, прошлое. При жизни ливийцы были людьми корыстолюбивыми и склочными, но мы обязательно отомстим за них. Все-таки товарищи по оружию. Пусть все они обретут покой в своем ливийском раю.

Наши командиры тем временем послали вперед копейщиков (кто станет беречь чужаков?), а сами перестроили полк в боевой порядок.

И вовремя, я вам скажу. Из облака пыли, огромного, как гора Арарат (сам ее не видел, но верю людям на слово), сплоченной массой вылетели колесницы.

Сначала мне показалось, что это наши. Гвардейский полк Шу «Испепеляющий ураган», первым двинувшийся к месту сражения. Те же самые развевающиеся на ветру перья, лошади той же масти, аналогичная конструкция возков. Вот только воины, составляющие экипажи колесниц, совсем не были похожи на египтян.

Стоявший рядом со мной молодой воин (такой же салага, как и я) растерянно промолвил:

— А на кого они скачут?

— На нас, сынок, — проронил одноглазый ветеран, и от этих простых слов меня буквально мороз по коже продрал (событие в Синайской пустыне просто невероятное).

Колесницы уже смели редкие цепи копейщиков и спустя считаные минуты должны были клином врезаться в наши ряды.

По команде сотников мы опять перестроились — разобрались на пары, и пока один из воинов держал два сомкнутых вместе щита, другой, оставаясь за этим прикрытием, стрелял из лука.

В ответ летели стрелы с колесниц. Но если нас защищали кожаные щиты, стянутые бронзовыми обручами, то врагов только скорость и удача.

Я стоял в самых первых рядах и видел, какой урон несут атакующие. Роковой оказывалась почти каждая стрела, даже если она поражала лошадь. Несчастное животное сразу переставало слушаться вожжей, сбивалось с шага, взбрыкивало, вставало на дыбы и в конце концов переворачивало возок.

И все же, говоря языком современных уставов, боестолкновение было неизбежно. Колесницы уже не могли повернуть на-

вад даже при желании возниц, как не может дать задний ход срывавшаяся с гор лавина.

Заранее готовые к такому развитию событий (изнурительные учения все же не прошли даром), мы разомкнули ряды, пропуская колесницы мимо себя, а когда весь вражеский отряд втянулся в образовавшийся коридор, напали на него с флангов. Лошадям подрубали ноги, вспарывали животы, выбивали глаза, а возничих и лучников просто стягивали на землю крючьями.

Все окончилось настолько быстро, что я даже не успел напоить свой меч вражеской кровью, зато взял трофей — широкий, инкрустированный золотом пояс, ранее украшавший стан одного из местных вождей.

В тот день мы отразили еще две отчаянные атаки и выстояли вплоть до того момента, когда к месту боя подошли главные силы египетской армии, совершавшие глубокий обходный маневр и слегка заплутавшие в пути.

Лязг мечей, прежде довольно монотонный, сразу перешел в крещендо. Туча пыли выросла прямо-таки до невероятных размеров, а затем выбросила на север и северо-восток тонкие, быстро удлиняющиеся щупальца — это, бросив своих солдат, удирали с поля боя вражеские царьки.

Теперь можно было немного передохнуть, утереть обильный пот и заняться врачеванием собственных ран (меня, например, весьма чувствительно задела оглобля колесницы).

— С кем мы хоть сражались? — поинтересовался я у одного из ветеранов.

— Какая тебе разница! — огрызнулся тот. — Это страна варваров. Варвары здесь везде. Одолеешь одних, напорешься на других. И так вплоть до самого Океана. Пошли лучше поищем их обоз. Он должен быть где-то неподалеку...

Война закончилась в течение месяца. Мы прошли всю эту страну от края до края, штурмом взяли столицу и овладели огромными сокровищами. Даже мне, новичку, кроме золота и драгоценных камней, досталась дюжина рабов обоего пола. Мужчин я тут же сбыл перекупщикам, следовавшим за армией, словно шакалы за охотящимся львом, а при посредстве женщин постарался присовокупить к своему генеалогическому древу несколько новых плодоносящих ветвей.

Позже я участвовал в походе на нубийцев и в морской экспедиции к берегам страны Пунт, где убедился, что сражаться в лесах и болотах ничуть не легче, чем в бесплодной пустыне.

В долгом и кровавом побоище у знаменитой горы Мегиддо (библейский Армагеддон, кстати говоря, так и переводится: «Бой у Мегиддо»), где мы, выходцы из Европы, рубились со своими соплеменниками, вторгшимися в Египет с севера, я спас полковое знамя, которое уже топтали враги.

Этот подвиг получил широкий резонанс в армии и при дворе. Кроме полагающихся по такому случаю наград и почестей, я был удостоен личной встречи с фараоном. О внешности царя царей ничего сказать не могу, поскольку, согласно правилам дворцового этикета, во время аудиенции лежал ничком на полу, но голос он имел слабый и по-бабьи писклявый.

Впоследствии все это позволило мне занять весьма почетную и доходную должность полкового знаменосца. (Египетское знамя, между прочим, имело мало общего с военными штандартами последующих эпох и представляло собой шест, на вершине которого крепились символы богов-покровителей, в нашем случае — щит и скрещенные стрелы.)

В почти непрерывных походах прошло еще несколько лет, и постепенно прежняя жизнь стала забываться. Я уже не ощущал себя Олегом Наметкиным, а история про Минотавра казалась мне полузабытым сном.

Везде мне доставалась богатая добыча, которая не транжирилась, а пускалась в рост, и везде я усердно орошал своим семенем лоно местных красавиц, оказавшихся во власти победителей.

Не могу сказать конкретно, каких успехов я достиг на стезе приумножения собственного рода, но золото выручило меня, когда наше войско (вернее, его жалкие остатки, чудом избегнувшие хеттских мечей и секир) угодило в плен. Я оказался в числе немногих шерденов, у которых хватило средств на выкуп.

Стойкость в том последнем страшном бою, где потери врага впятеро превысили наши, и последующее счастливое избавление от неволи еще больше упрочили мое положение в армии.

Я командовал крепостью на эфиопской границе, подавлял мятеж номархов в Верхнем Египте, водил в поход полки сирийских наемников, плавал на кораблях по Великой Зелени[1], штурмовал города и сидел в осаде, вел переговоры с чужеземными правителями, тайно приторговывал бирюзой и слоновой костью, водил дружбу со знатнейшими сановниками, делил ложе с принцессами и стряпухами.

---

[1] Великая Зелень — так древние египтяне называли Средиземное море.

Вершиной моей карьеры была должность носильщика царских сандалий, что по современным понятиям можно приравнять чуть ли не к секретарю совета безопасности.

Сгубило меня верхоглядство, тщеславие, амбициозность и то, что называется отрывом от действительности. Проще говоря, я зарвался.

Не имея никакого опыта дворцовых интриг, я тем не менее смело ввязался в них, подстрекаемый, с одной стороны, главным мажордомом, претендовавшим на пост визиря, а с другой — третьей женой фараона, вознамерившейся возвести на золоченый трон Обеих земель собственного отпрыска (в обход законных наследников, естественно).

В конце концов нас предали. Я, как и следовало ожидать, оказался козлом отпущения, разом растерял все свои богатства и всех сторонников, пытался бежать из страны на чужеземном корабле, но был схвачен в гавани и предан суду предубежденных и жестокосердных царских чиновников.

Все обвиняемые дружно показали на меня, как на организатора и вдохновителя заговора. Выходило, что я добивался короны не для царского сына, а для самого себя. Кроме того, мне инкриминировалось казнокрадство, тайные сношения с врагами Египта, богохульство и преступное сожительство с наложницами гарема. Увы, но большинство из этих обвинений, особенно последнее, имели под собой вполне реальную почву.

Процесс длился целых десять дней, и для освежения памяти всех подсудимых, а также свидетелей постоянно били палками по спине и по пяткам. Особо упорствующим отрезали носы и уши.

Никакое красноречие, никакие казуистические уловки и никакие взятки (кое-что из накопленного прежде я все же сумел сохранить) помочь не могли. Приговор был предопределен на самом высоком уровне.

Загвоздка вышла только с выбором способа казни. Даже кол, даже четвертование, даже утопление в бассейне с крокодилами казались судьям чересчур мягкой мерой наказания.

Для того чтобы ублажить фараона, нужно было придумать нечто из ряда вон выходящее. И эти лизоблюды постарались, можете не сомневаться! Недаром ведь говорят, что истоки человеческой мудрости следует искать в Древнем Египте.

Логика у судей была примерно такая. Уж если я посмел замахнуться на святая святых — божественную власть фараона, то и смерти заслуживаю достойной, в царском облачении, с царскими почестями и в царском саркофаге. Но, учитывая мое вар-

варское происхождение и всю мерзость совершенных преступлений, похоронить меня должно без бальзамирования (что для египтян было куда страшнее самого факта смерти, они даже любимых кошек бальзамировали), то есть живьем.

Через день меня доставили в Долину царей, именуемую также Городом мертвых, где я наконец-то смог воочию узреть великие пирамиды Древнего царства (ра́ньше на столь поучительную экскурсию все как-то времени не хватало).

Зрелище и в самом деле было потрясающее. Грани пирамид, с которых благодарные потомки еще не успели содрать облицовочные плиты, слепили глаза, а лицо сфинкса, не изуродованное ядрами завоевателей, внушало одновременно и ужас, и восхищение.

Жаль, что мне не позволили налюбоваться этой величественной и грозной красотой вволю. Палачам, изнывающим от жары, не терпелось промочить глотки, а судьи спешили доложить фараону о свершившейся казни.

Меня небрежно обмотали льняными пеленами, пропитанными горячей смолой и камедью, засунули в тесный гранитный саркофаг, опустили в чью-то заброшенную гробницу, где и замуровали, не забыв подложить под крышку саркофага несколько камешков. Дескать, подыши напоследок. Не надейся на быструю смерть.

Ничего, говорил я себе при этом. Может, так оно и к лучшему. Погулял на воле, пора и честь знать. Дома, поди, заждались. Сейчас попрощаюсь со Шлыгом — и вперед.

Однако все вышло совсем иначе. С лихвой хватило и страха, и мучений. За долгие годы совместного существования моя душа так сжилась с этим телом, что ни в какую не хотела покидать его.

Лишь когда смертный ужас достиг апогея, нутро спеклось от жажды, зловоние собственных испражнений стало невыносимым, а члены одеревенели от неподвижности, невидимая, но прочная пуповина, связывавшая душу Олега Наметкина с телом Шлыга, оборвалась.

Меня вышвырнуло в бессущность ментального пространства, а предок, оставшийся в одиночестве, наверное, умирал еще долго.

Впоследствии я узнал, что французские археологи обнаружили в Долине царей богатый саркофаг с безымянным телом, которое, вопреки всем правилам, перед захоронением не подверглось обряду бальзамирования. Сердце, внутренности и мозг

находились на своих местах, зато в саркофаге отсутствовала обязательная для таких случаев Книга Мертвых — этот подробнейший путеводитель по загробному миру.

Но главное, что поразило археологов и о чем они потом частенько вспоминали, — это застывшие на иссохшем лице умершего следы долгой и мучительной агонии...

Возьмем такой вечный вопрос — во зло или во благо даются людям знания.

Один весьма умный человек (причем умный по меркам любого времени, недаром ведь его продолжают цитировать и ныне), будучи царем Израильским, так наставлял своих отпрысков: «Ищите мудрость, как серебро». Однако спустя некоторое время, претерпев всяческие невзгоды, ниспосланные богами за гордыню, он заговорил совсем иначе: «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, тот умножает скорбь».

Весьма примечательная эволюция взглядов.

К чему я это все говорю? Сейчас узнаете.

Что я знал о Древнем Египте до того момента, как схлопотал гвоздь в голову? Обыкновенный набор мещанских благоглупостей, в котором все перемешано — и Тутанхамон, и Нефертити, и Клеопатра, и тайные знания жрецов, и богоподобные космические пришельцы, и сокровища пирамид, и оживающие в свой срок мумии. Кажется, все.

Нет, вру! Еще я знал анекдот про Египет. Как говорится, простите за юмор.

На политзанятиях Василий Иванович Чапаев спрашивает у Петьки:

— Ты хоть одну африканскую страну знаешь?

— А как же! — отвечает Петька, озабоченный не только судьбой мировой революции, но и половыми проблемами пролетариата. — Ебипет!

Известный энциклопедист Василий Иванович Чапаев над этим ответом, конечно, задумался, только крыть ему нечем. Последнюю географическую карту еще в прошлом году на курево использовали. Но, похоже, не врет Петька. Кажись, есть такая страна в Африке. Не Ебипет, так Едрипет. Похвалив ординарца за ученость, Чапаев задает следующий вопрос:

— А какие, к примеру, в той стране животные водятся?

— Ебимоты! — немедленно докладывает Петька.

Возразить трудно. Фурманов в запое. Батюшку в расход пустили. Школьный учитель к белым сбежал. Иных интеллектуалов не имеется.

— Ладно, — говорит Чапаев. — Последний вопрос. Какие растения произрастают в той стране? Назови что-нибудь из самых известных.

— Эти... как их, — Петька чешет затылок. — Ебибабы, кажется...

— А вот и нет! — живо возражает Чапаев. — Неправильно! Зря я тебя, неуча, похвалил! Не ебибабы, а бабаебы! Книги надо читать, а не за Анкой в бане подсматривать!

Теперь о Древнем Египте, вернее, о Та Кемет, как называли эту страну местные жители, я знаю почти все.

Как-никак прошел ее пешком вдоль и поперек. Поднимался по Нилу до самых Асуанских порогов. Отдыхал в тени баобабов. Лакомился мясом бегемотов. Читал папирусные свитки, от которых нынче даже праха не осталось. Слушал предания, не дошедшие до Геродота. Участвовал в ночных мистериях жрецов бога Тота, чьи учения, распространившись по свету, впоследствии породили герметизм, алхимию, оккультизм, теософию и прочие тайные доктрины. Беседовал со звездочетами, знавшими об устройстве Вселенной куда больше, чем Птолемей Клавдий.

Кроме того, не стоит забывать, что я строил козни самому фараону, спал с его наложницами и был похоронен в царском саркофаге, пусть и без соблюдения должного ритуала.

Да только какая мне от всего этого польза сейчас? Вновь оказаться в Древнем Египте вряд ли удастся (кстати, и не тянет). Отбивать хлеб у профессиональных египтологов я не собираюсь, иначе пришлось бы заново переписать всю историю доантичного Средиземноморья. Не по плечу мне такой труд, да и не по нраву.

А держать все это в себе ох как трудно. Пусть наша душа отнюдь не воск, но печати, оставленные на ней жизнью, рано или поздно проявятся. Если, к примеру, ты привык в запале хвататься за рукоять шпаги, то будешь машинально искать ее и после того, как облачишься в монашескую рясу. Когда слово «хлеб» известно тебе на двадцати языках, ты когда-нибудь оговоришься, попросив ломоть не по-русски, а по-маовитски. Про наши сны — кривое зеркало прожитого — я и не говорю. Пусть мне даже удастся когда-нибудь забыть царский саркофаг, изгнать этот кошмар из снов невозможно...

Короче, нет ничего удивительного в том, что, очнувшись на койке в клинике профессора Котяры, я не смог сразу врубиться в новую действительность и, пугая медсестер, долго молол что-то на древнеегипетском.

Особенно досталось ненавистной Марье Ильиничне, прежде донимавшей меня то страхом смерти, то болью. На ее голову я обрушил целый ушат проклятий, понятных только базарным торговкам да уличным девкам города Мен-нефер, то бишь Мемфиса.

— Жми, старая цапля, на свою хреновину! Жми, пока у тебя не отсохли руки и не перекосило пасть! Я хочу назад! Здесь мне нечего делать!

Успокоили меня быстро. Человек под капельницей то же самое, что рыбка на крючке — делай с ним что хочешь.

Едва я стал приходить в себя, как Котяра и Мордасов засыпали меня вопросами, смысл которых угадывался с трудом. Ничего не поделаешь — долгое общение с шерденами, жрецами и царскими сановниками приучило меня совсем к другому образу мышления.

Тем не менее я пытался отвечать, поминутно путая русскую речь с египетской, греческой, финикийской и даже норвежской. Со стороны наш диалог, наверное, напоминал диспут немого с глухими. Тут надо отдать должное терпению и такту обоих профессоров. Никто не тряс меня за плечо и не орал в ухо: «Какой разведкой ты перевербован — хеттской, греческой, египетской, иудейской? Какое диверсионное задание имеешь?»

Прошло немало времени, прежде чем между нами установилось более или менее нормальное взаимопонимание, и тогда я честно доложил, что никакого Минотавра не встречал, поскольку промахнулся во времени сразу на несколько веков, зато немало лет прожил в Древнем Египте, где из простых наемников сумел выбиться в носильщика царских сандалий.

Профессора дружно закивали головами — понимаем, мол, но вид по-прежнему имели несколько ошарашенный. Из «душеходства» вернулся не Олег Наметкин, изученный ими вдоль и поперек, а какой-то совсем другой человек.

Дабы сделать моим покровителям что-то приятное, я произнес:

— А вы молодцы! Совсем не постарели за этот срок.

— За какой срок? — синхронно удивились они. — У нас здесь и трех минут не прошло.

Вот это да! Здесь всего три минуты, а там добрый кусок жизни. Еще несколько таких ходок, и я могу безнадежно одряхлеть душой. Пока это не случилось, надо побыстрее покончить с Минотавром, а уж потом всерьез заняться устройством собственной судьбы.

Доведя эти умозаключения до сведения профессоров, я вновь поставил их в тупик. Похоже, что наши интересы расходились все дальше. Им позарез нужны новые данные, подтверждающие или опровергающие теоретические выкладки. А мне нужна самостоятельность, сиречь вольная воля.

— Разве вы и отдохнуть не хотите? — удрученно спросил Котяра.

— Где, здесь? — возмутился я. — Тоже мне санаторий... Утром капельница, вечером клизма. Я лучше в новом теле отдохну. Где-нибудь в шахском серале или в садах Семирамиды. А пока время терять не хочется. Трудно вживаться в чужую эпоху, привыкнув к манной кашке и кефиру... Впрочем, какой может быть базар, ведь через три минуты опять увидимся.

— Воля ваша... — произнес Котяра тоном Понтия Пилата, умывающего руки. — Приготовьтесь, Марья Ильинична. Пациент у нас такой, что с ним особо не поспоришь. Большая шишка. За каким-то там фараоном тапочки носил.

— Не тапочки, а сандалии! — поправил я его. — Зачем утрировать. Они сейчас, наверное, дороже всей вашей клиники стоили бы. Это раз. И не за каким-то там фараоном, а конкретно за Тутмосом Великим, покорителем Нубии и Сирии. Это два.

— Марья Ильинична, действуйте! — взмолился Котяра. — Как мне все это осточертело! Фараоны, императрицы, минотавры!

Боль хлестанула, словно сотня плетей одновременно. Каждая плеть имела на конце что-то острое — шип или крюк. Впившись в трепещущую душу, они с корнем вырвали ее из полупарализованного тела.

АМПЕЛИДА, АФИНСКАЯ БЛУДНИЦА

Мало просто свалиться куда-то и при сем уцелеть, надо еще проследить и подвергнуть критическому анализу все закономерности случившегося, что дает шанс когда-нибудь превратить случайное падение в осознанный и управляемый полет.

Так могли сказать многие. Например, пионер воздухоплавания — птеродактиль. Или изобретатель ранцевого парашюта штабс-капитан Котельников. Могли, но не сказали. Первый — по причине полного отсутствия разума, второй — из личной скромности.

Что же, придется взять эту миссию на себя. Но сразу уточню, что вышеприведенная фраза касается только полетов в менталь-

ном пространстве. В реальном мире я расшибся бы, даже упав с дивана.

Считать толчки, возвещающие об очередном ответвлении генеалогического древа, уже вошло у меня в привычку, но теперь я старался уловить нечто иное — общую мелодию продвижения души по клавишам-ступенькам нисходящих поколений. Слух у меня, кстати сказать, идеальный — ведь раньше по одному перестуку колес я угадывал название очередной станции метро.

Хотелось предугадать — какой путь мне выпал на сей раз. Прежний, уже испробованный, или иной, уводящий совсем в другие края и другие этносы.

Привычный пологий спуск в прошлое быстро превращался в крутое пике, и предчувствие, резко обострившееся в ментальном пространстве, подсказывало, что в Киммерию меня больше не занесет.

Если весь конгломерат моих предков можно было сравнить с бесчисленными рукавами нильской дельты, то с привычного судоходного русла я свернул в какой-то малоизвестный, но бурный поток.

На сей раз я загадал себе остановиться на цифре семьдесят пять, но слегка поторопился и вернулся в реальный мир где-то в семидесятом поколении.

Восторг и ужас первых «душеходств» давно рассеялся, и сейчас меня интересовали три чисто прагматических вопроса: «Кто я? Где я? В каком времени нахожусь?»

Стояла ночь, и в этом не было ничего удивительного, поскольку люди, достигшие определенной ступени цивилизации (особенно люди семейные), предпочитают совокупляться в темное время суток.

С окружающим мраком боролся только масляный светильник, явно казенный, потому что такого закопченного, чадящего уродца нормальный человек в своем доме держать не стал бы. Насколько позволяло судить столь скудное освещение, я находился в довольно тесном помещении с низким потолком и несокрушимыми каменными стенами. Сквозь узкое зарешеченное окошко проглядывали звезды. Сам я возлежал на грубом деревянном топчане, едва прикрытом каким-то тряпьем.

Тюрьма да и только! Ну и влип.

Впрочем, это были только цветочки. Ягодки же состояли в том, что я сам был ягодкой (простите за скверный каламбур), то есть женщиной — судя по первым ощущениям, довольно молодой, но весьма обильной телом.

Надо полагать, что со мной только что совершили половой акт (каково осознать такое бывшему лейб-гвардейцу, викингу и шердену?). Лысый и пузатый старикашка, примостившийся на краю топчана, по-видимому, был моим любовником.

Ну я и докатился!

Интересно, кто этот урод — тюремщик, воспользовавшийся своим служебным положением, или случайный сокамерник, приголубленный из жалости.

Внедряться в душу прародительницы я не спешил, решив ограничиться позицией стороннего наблюдателя. Долго задерживаться в этой дыре, да ёще в столь постыдном облике, не имело смысла, но я все же хотел определиться с местом и временем.

Особа, в которую я вселился, утонченными манерами не отличалась. Громко зевнув, она почесала свою натруженную промежность и бесцеремонно пихнула старика в бок.

— А ты, папаша, еще ничего, — сказала она. — Даже не ожидала. Навалился, как молодой.

— Когда делаешь какое-нибудь дело последний раз в жизни, надо поусердствовать, — назидательным тоном произнес старик.

Разговаривали они на греческом языке, хотя и понятном для меня, но сильно отличавшемся от ахейского наречия, бытовавшего во времена фараона Тутмоса. И на том спасибо! Слава богу, что куда-нибудь за Гималаи не занесло.

— Почему же последний? — девица жеманно изогнулась, едва не спихнув старика на пол. — Ночь впереди длинная. Спешить нам некуда. За все наперед уплачено. Целых пять оболов. Можешь хоть сейчас на меня залезать.

Ага, подумал я, ситуация начинает проясняться. Здесь властвует продажная любовь, хотя этот факт сам по себе никакой полезной информации не дает. Порок сей имеет такой же возраст, как и само человечество. Зато с оболами подфартило. Если мне не изменяет память, их начали чеканить в Аттике где-то начиная с шестого века до нашей эры. Впрочем, они имели хождение и в Северной Греции, и в Сицилии, и даже в Африке.

Если с местом назначения был почти полный порядок, то со временем я опять ошибся. Да еще как — почти на тысячу лет!

Старик между тем покинул топчан и стал прохаживаться от стены к стене, очевидно обдумывая заманчивое предложение девицы.

Видя его колебания, та сразу пошла на попятную:

— Если охоты нет, так давай пока поболтаем.

— Тебя как зовут? — спросил старик, остановившись у окна и глядя на звезды.

— Ампелида, — игриво сообщила моя распутная прародительница. — С заходом солнца я отзываюсь на это имя.

— Вот что я хочу тебе сказать, Ампелида, — старик вернулся на топчан. — Щадя мою немощь, ты предлагаешь пока поболтать. Неплохая мысль. Только я боюсь, что беседы с тобой доставят мне столько же удовольствия, сколько тебе — соитие со мной. То есть одни только разочарования. Уж лучше отведем душу завтра. Ты с каким-нибудь юным матросом, а я со своими друзьями — философами.

— Знаю я твоих друзей! — фыркнула Ампелида. — Сморчок Критон да надутый гусак Федон. Можно подумать, что я ни разу не услаждала их. А что толку? Скупердяи и нытики. Над каждой лептой трясутся.

— Зачем тратиться на то, что можно получить даром.

— Но ты ведь потратился.

— За меня заплатил городской совет, несущий все расходы по содержанию узников. По закону они обязаны исполнить мое последнее желание. Правда, в пределах сметы. Пять оболов на вино и закуску. Или плотские утехи на ту же сумму.

— В твоем положении, папаша, следует заботиться о душе, а не о плотских утехах, — ухмыльнулась Ампелида. — Призови к себе судей. Покайся. Попроси прощения у богов, которыми ты прежде пренебрегал. Помирись со всеми, кого обличал в яростных спорах.

— Каждому свое. Душа моя бессмертна. Судьи меня не простят. Боги, наоборот, уже давно простили. Что касается спорщиков, о которых ты говоришь, то им недоступны разумные доводы. Они привыкли слушать только самих себя. Их пустой болтовни я вкусил с избытком. Зато наслаждаться столь пышным телом мне приходилось не столь уж часто, — старик погладил Ампелиду по голой ляжке.

— Сам виноват. Надо было брать в жены красавицу вроде меня, а не эту стерву Ксантиппу. Ни рожи ни кожи, а туда же... Приличным людям проходу не дает. И как ты только терпишь ее столько лет!

— Жизнь с Ксантиппой стала для меня очень хорошей школой. Научившись ладить с ней, я смогу теперь поладить с самым кровожадным разбойником.

— А знаешь, что она вчера заявила на рынке? — подхватилась девица. — Это с ума сойти! Будто бы ты специально доби-

вался смертного приговора, дабы оставить ее вдовой, а детей сиротами. Уел ее, значит.

— Ксантиппа баба вздорная, но не лишенная проницательности, — сказал старик спокойно. — В ее словах всегда есть доля истины, как в фальшивой монете всегда присутствует толика серебра.

— Неужели ты хочешь сказать, что и в самом деле искал на суде не справедливости, а смерти? — изумилась Ампелида.

— Почему бы и нет? — старик лукаво подмигнул ей. — На то имелось несколько весьма веских причин.

— Что-то не верится...

— А ты послушай меня. Причина первая — житейская, — он встряхнул полой своего ветхого плаща. — Я обнищал. Все мое имущество оценено в пять мин серебра. В нашем городе завзятого спорщика скорее побьют камнями, чем одарят монетами. Принимать подачки от друзей надоело. Зато теперь афиняне обязаны тридцать дней содержать меня за свой счет да еще и похоронить на казенные средства.

— Ты, наверное, шутишь, папаша... За дурочку меня принимаешь.

— Вовсе нет. Какие могут быть шуточки перед смертью, — его руки путешествовали по пышным прелестям девицы, словно голодные крабы по дохлой рыбине.

— Ладно. Считаем, что я поверила. Каковы же другие причины, о которых ты упоминал?

— Причина вторая — личная. Мне перевалило за семьдесят. Память слабеет. Зубы шатаются. Нутро не принимает изысканную пищу. То, что я делаю с тобой, уже почти не приносит удовольствия. Я устал от этой жизни и хочу испытать другую.

— Веришь в переселение души?

— И не только в это. Я верю, что после смерти меня ждет воздаяние за праведную жизнь. Моя душа выпадет из круговорота вечных перевоплощений и получит доступ в мир высшего блаженства, где встретится с мудрыми богами и великими людьми. Такими, как Гомер, Гесиод, Аякс, Агамемнон, Одиссей. Разве это недостаточная награда за все муки постылой жизни? Все земные дела приходят к своему естественному завершению, а бестелесное существование бесконечно. Уже за одно это не стоит бояться смерти.

— Ой, щекотно! Убери лапы. За такие штучки мы берем сверх оговоренной платы... Излагаешь ты, папаша, конечно, красиво. Недаром ходят слухи, что Дельфийский оракул назвал тебя муд-

рейшим из греков. Но меня ты, признаться, не убедил. Уж лучше мучиться на грешной земле, чем витать бестелесным облаком в небе. Все упомянутые тобой причины неубедительны и смехотворны. Скорее всего ты приплел их для красного словца. Но если Ксантиппа права и ты действительно добивался на суде смертного приговора, то этому должна быть какая-то истинная, а не надуманная причина. Разлад с жизнью на пустом месте не случается.

— Это не разлад. Это вполне осознанная позиция. Но если ты настаиваешь, то можешь выслушать и третью причину, заставившую меня предпочесть смерть всем другим видам наказания и даже отказаться от уже подготовленного побега. Назовем эту причину философской. Но сначала продолжим то славное дело, ради которого ты посетила меня в этой дыре. Пять оболов — немалые деньги, и их нужно отработать хотя бы из-за уважения к щедрости городских властей.

— Бедной девушке капризничать не пристало. — Ампелида заерзала на топчане, подыскивая для себя позу поудобней. — Но про оболы больше не вспоминай. Я могу дать тебе удовольствий и на целую драхму, да только сможешь ли ты принять и оценить их.

— Уж как-нибудь постараюсь... — он закряхтел, наваливаясь на девицу.

Чтобы не сблевать, я быстренько отключился от всех идущих извне ощущений, а потом крепко призадумался.

Критон, Федон, Ксантиппа... Где-то я эти имена уже слышал... Пузатый старик с голым шишковатым черепом и рожей сатира. Смертный приговор, вынесенный неправедными судьями. Тридцатидневное ожидание смерти. Рассуждения о бессмертии души и благах своевременной смерти. Мины, оболы, драхмы. Город Афины...

Неужели судьба свела меня с самим Сократом, неугомонным спорщиком и самобытным философом? Нет, такой случай упускать нельзя. Это ведь и в самом деле умнейший человек своего времени. Он, наверное, и про Минотавра многое знает, и про Тесея, а уж нынешний год назовет без малейшей запинки. Вот так удача! Не ожидал даже...

Только побыстрее бы закончился этот срам, именуемый любовью. Девке-то что! Она профессионалка. За деньги и под козла ляжет. А каково мне, вполне нормальному мужчине, которого без зазрения совести пялит во все дырки мерзкий старикашка, пусть и прославившийся в веках своим полемическим даром.

Спустя какое-то время я осторожно, вполуха, прислушался. Старик больше не сопел и не сотрясал хлипкий тюремный топчан. Значит, можно включить зрение.

Сократ (или тот, кого я принимал за Сократа) сидел на краешке нашего жалкого ложа, а моя прародительница опять бесстыдно почесывалась, приговаривая при этом:

— Для своих лет ты просто жеребчик. Жаль только, что долгой скачки не выдерживаешь.

— Я не жеребчик, а мерин, — без всякого сожаления признался старик. — Знала бы ты меня лет тридцать назад. Вот тогда бы мы устроили настоящие скачки.

— Тридцать лет назад меня еще и на свете не было... Ну давай, излагай свою третью причину. Любопытно будет послушать.

— Как я уже говорил, основную причину, заставившую меня искать смерти, можно назвать философской, ибо она целиком проистекает из моего мировоззрения, — старик вновь заходил по своей каталажке. — Что я имею в виду... Давно понятно, что мне не ужиться с афинянами. Причем меня одинаково ненавидят и аристократы, и корабельная чернь. Я не устраиваю никого, кроме кучки праздных людей, считающих себя моими учениками. А ведь я никогда никого не убивал, не воровал, не лжесвидетельствовал, не злословил, не подвизался в сикофантах, а всегда чтил отечественные святыни и повиновался установленным законам. За что же на меня обрушилась такая нелюбовь общества?

— Действительно! — подхватила девица. — Есть даже специальный закон, запрещающий тебе вступать в разговоры с молодежью.

— Все объясняется очень просто, — продолжал старик. — У меня и у афинян разные взгляды на такие проблемы, как добродетель и порок, право и долг, свобода и ответственность, личность и общество.

— Слушай, папаша, ты сейчас не на агоре, а я тебе не народное собрание. Выражайся попроще. Иначе я больше не подпущу тебя к себе.

— А мне больше и не надо, — старик беспечно пожал плечами. — Слушай дальше. Афиняне любят свой город, чтут его законы, гордятся своей демократией. В этом смысле я не составляю исключения. Тому есть достаточно примеров. Имея немало лестных предложений из разных городов, я никогда не покидал родину. Когда Афинам угрожала опасность, я сражался в рядах гоплитов под Потидеей, Делией и Амфиполем. Я всей душой ненавижу тиранию. Вот то, что объединяет меня с афинянами.

— А что разъединяет?

— Сейчас скажу. Афиняне ради процветания родного города способны на все. И на самопожертвование, и на подвиг, и на подлог, и на прямое нарушение клятвенных обязательств. В их понимании это называется патриотизмом. Я же ставлю истину выше Афин, выше патриотизма и даже выше богов.

— Много на себя берешь, папаша.

— Потому-то я и оказался здесь... Мы много лет боролись с тиранами разных мастей, а чего добились в итоге? Городом правит демос. Справедливость вроде бы восторжествовала. Но я не могу без слез смотреть на то, во что выродилась наша хваленая демократия. Богачи перекупают голоса бедняков и в народном собрании, и в суде присяжных. Назначение на важнейшие государственные должности происходит по жребию. Вот и выходит, что суконщик становится стратегом, а винодел руководит постройкой кораблей. Законы, принимаемые в последнее время, никуда не годятся. Мнение мудрецов отвергается. Везде торжествуют невежды. Каждое голосование в народном собрании дает удручающие результаты. Оно и понятно, ведь дураки своим числом всегда превосходят умников.

— Тут я с тобой согласна. В этой тюрьме сидит двадцать человек, и ты среди них — единственный умник.

— Есть и еще один принципиальный вопрос, по которому я расхожусь с афинянами, — старик не обратил никакого внимания на реплику своей блудливой подруги. — В словесном изложении он выглядит примерно так: что есть свобода и в какой мере она может ущемляться обществом?

— Ну-ну! — похоже, что эта тема заинтересовала Ампелиду больше всего.

— Свобода, наряду с разумом, — это то единственное, что отличает нас от животных. Чем более дик народ, тем более он несвободен. Пределы свободы каждого отдельно взятого члена общества определяют и нравственное здоровье этого общества. Я считаю, что людей нельзя принуждать ни к войне, ни к труду, ни к поклонению богам, а уж тем более — к подлости. Окончательное решение должен принимать только сам человек. Права любого из живущих не могут ущемляться ради ложного понятия общественного блага. Людей должна объединять не власть и не суровые законы, а только дружба, взаимное уважение, преданность, справедливость. В идеале свободный человек не подвластен никому, даже богам.

— Вот тут ты загнул, папаша! — хихикнула девица. — Меня-

то полная свобода, положим, устраивает. Но еще больше она устраивает грабителей, фальшивомонетчиков, лентяев и пьяниц. Можно представить, какой кавардак начнется в Афинах, если все они вдруг станут неподвластны и неподсудны. У тебя отберут последний плащ, а меня будут задаром насиловать на каждом перекрестке. Ну и все такое прочее...

— Пойми, свобода — это не самоволие и не самоуправство. Это прекрасное и величественное достижение человечества. Не отдельного человека, вроде меня или тебя, а всего человечества. Прийти к истинному пониманию свободы можно только через мудрость, воспитание, всепрощение, доброту. Свободного человека нужно растить и лелеять столь же бережно, как садовник растит и лелеет редкий цветок. На это уйдут годы, а может, и века. Я сам, конечно, понимаю, что торжество свободы наступит не скоро, но ведь его нужно понемногу готовить. И чем раньше мы это начнем, тем лучше.

— И ты проповедовал подобный вздор молодежи? — Ампелида почему-то стала поправлять свои одежды, от предыдущих ласк сбившиеся чуть ли не к подбородку.

— Я не выбираю слушателей. Каждый, проходящий мимо, волен поступать по своему усмотрению — или внимать моим речам, или следовать дальше.

— Знаешь, папаша, что я тебе скажу... — Ампелида потупила свои бесстыжие глаза. — Ты только не обижайся. К смерти тебя приговорили поделом. Можешь и дальше пользоваться моим телом, но душой я на стороне судей.

— Вот и я про это, — старик закивал, обрадованный тем, что его наконец-то поняли. — Что станет с этим городом, если его обитатели вдруг воспримут мои идеи как должное? Он неминуемо погибнет. Смертный приговор, вынесенный мне афинянами, нужно воспринимать как акт самозащиты. Он направлен не против вздорного и болтливого старикашки, которого можно и щелчком зашибить, а против его пагубных идей, уже начавших завоевывать симпатии некоторых граждан. Ведь я покушаюсь на незыблемое. Отвергаю суверенитет общества в пользу суверенитета личности. Суд собственной совести ставлю выше суда народа. Таким образом, мои частные принципы входят в противоречие с принципами большинства афинян. Народ не только имел право, он был обязан приговорить меня к смерти... Впрочем, сначала суд склонен был пощадить меня, ограничившись штрафом или изгнанием. Ради этого мне следовало публично покаяться и отказаться от всех своих предыдущих слов. Но такой ис-

ход был неприемлем для меня. Ведь, по существу, судили не меня, а истину, пусть даже спорную. Глупцы, они не понимают, что любая истина сначала кажется преступницей, а позже превращается в законодательницу. Я сам определил свою судьбу, хотя кое-кто придерживается иной точки зрения. Я выбрал смерть для того, чтобы продемонстрировать людям пример личной свободы.

— Зачем такие сложности, папаша? Кинулся бы вниз со скалы — и все. Разве это не пример личной свободы?

— Ни в коем разе. Самоубийство — деяние нечестивое. Глупо кидаться в объятия смерти, если она шествует мимо. Но совсем иное дело, когда смерть стоит у тебя за спиной. Все должно идти своим предопределенным порядком. Сроки каждой человеческой жизни учтены в великом замысле природы.

— Меня предупреждали, что ты сладкоречив, как сирена, и способен навязать свое мнение любому. Так оно, может, и есть... Однако меня ты не убедил. Хотя настроение испортил. Знала бы обо всем заранее, так никогда бы не позарилась на эти несчастные оболы. Да и время сейчас такое, что я могу зачать. Только сыночка-философа мне еще не хватало...

— Увы, от судьбы не уйдешь, — ухмыльнулся старик.

— Остается надеяться, что ты уже не способен к зачатию.

— Почему же! Мои дети совсем еще малолетки. Разве это не известно тебе?

— Известно. Да только люди говорят, что Ксантиппа прижила их на стороне.

— Я придерживаюсь иного мнения. На такую клячу, как она, даже раб не польстится. К тому же при рождении сыновья очень походили на меня. Такие же лысенькие, такие же беззубые, такие же крикливые, — старик улыбнулся собственной шутке. — Так что вскоре ожидай приплода.

— Клянусь Герой, я скорее отравлю свое чрево!

— А вот это уже будет преступлением. И против богов, и против людских законов. Не спеши, моя красавица. Пройдет немного времени, и афиняне заговорят обо мне совсем по-другому. Ты еще увидишь мой бюст, установленный в Парфеноне.

За дверью вдруг лязгнуло, и грубый голос произнес:

— Эй, голубки, скоро светает! Так что ворковать вам осталось недолго. Поторапливайтесь.

— Это тюремный страж! — всполошилась Ампелида. — Он навещал мою подругу Мирталу, да что-то рано от нее вернулся. Не сладили, наверное... Мне пора собираться.

Наступила пора действовать. Я слегка притушил сознание

Ампелиды (ей это показалось чем-то вроде обморока) и спросил, подражая интонациям прародительницы:

— Кстати, пока мы еще не расстались... Напомни, какой нынче год. Я что-то запамятовала.

— Ничего нет проще. Сейчас первый год девяносто пятой Олимпиады.

Я быстренько произвел в уме несложный пересчет. Ага, триста девяносто девятый год до нашей эры. При желании можно и месяц выяснить. Про такую точность прежде даже мечтать не приходилось. А что толку! До Минотавра еще добираться и добираться. Знать бы, хотя и приблизительно, какой промежуток времени нас разделяет. Поинтересоваться, что ли, у Сократа? Он старик ушлый. С Периклом общался. Ксенофонту советы давал. О прошедших веках, наверное, побольше нашего Мордасова знает. Да только прямо в лоб его не спросишь. Дескать, в каком точно году скончался небезызвестный Минотавр, сын царя Миноса? Тут подходец нужен.

Как ни странно, но на помощь мне пришел тюремщик. Вновь толкнув в дверь, он объявил:

— Эй, приятель, говорят, что корабль со священным посольством возвращается. Жить тебе осталось всего пару дней.

— Тем лучше, — Сократ за словом в карман никогда не лез. — Наконец-то вместо твоей вечно пьяной рожи я узрею светлые лики богов.

— А в чем дело? — незамедлительно поинтересовался я. — Про какое посольство идет речь?

— Ты что — дурочка или чужестранка? — удивился старик. — Разве можно жить в Афинах и ничего не знать о Делиях, празднике Аполлона Заступника?

— Считай меня кем угодно. — Я изобразил обиду. — Да только, если честно сказать, мне начхать на все ваши праздники. Я ведь не имею афинского гражданства. Мой отец был скифом, государственным рабом, и свободу получил лишь на смертном одре. Но даже он, варвар, не был таким грубияном, как ты. Я просто спросила, а ты сразу обзываешься.

Все эти биографические сведения я успел выдернуть из затухающего сознания Ампелиды. Заодно стало ясно, как мои предки оказались в Афинах. По древней традиции, тянувшейся, наверное, еще со времен первых архонтов, порядок на городских улицах поддерживали рабы-скифы, вооруженные длинными бичами. А скифы, говорят, произошли непосредственно от кимме-

рийцев. Так что нашей родни сейчас хватает и в Причерноморье, и в Передней Азии, и здесь, в Греции.

Широко раскинулось мое генеалогическое древо, ничего не скажешь.

Обида Ампелиды, похоже, растрогала старика.

— Прости, моя красавица, я вовсе не хотел уязвить тебя, — засюсюкал он. — А что касается Делий, то это празднество учреждено афинянами в честь победы Тесея над чудовищем Минотавром, которой, как известно, способствовал сам Аполлон. Празднества происходят раз в четыре года на острове Делос, и Афины всегда посылают туда корабль с дарами, а также священное посольство, составленное из знатнейших мужей. На этот срок отменяются все военные походы и казни. Можно сказать, что я жив до сих пор только благодаря заступничеству Аполлона.

Ну и ну! Удача сегодня просто валила мне. Никто старика за язык не тянул — сам завел разговор на интересующую меня тему.

— Так и быть, прощаю... — В знак примирения я помахал рукой. — На смертников нельзя обижаться. А давно это было?

— Что? — не понял старик.

— Схватка Тесея с Минотавром. В детстве я что-то такое слышала, да позабыла. Девичья память, ничего не поделаешь.

— Очень давно, — сообщил словоохотливый старик. — Примерно за сорок лет до Троянской войны.

— Мне-то какое дело до вашей войны? Наша родня в ней не участвовала. Я тебя не про войну, я тебя про Тесея с Минотавром спрашиваю.

— От Троянской войны до возвращения Гераклидов прошло восемьдесят лет, а от этого события до первых Олимпийских игр еще триста двадцать восемь, если вести счет времени по правлению спартанских царей. Остается добавить еще триста восемьдесят лет, отделяющих нас от первой Олимпиады. Сколько получится?

— Восемьсот двадцать восемь, — машинально подытожил я.

— Считаешь ты хорошо, — похвалил старик. — Особенно для женщины. Небось раньше в палестрах[1] подрабатывала?

— Какие там палестры! Нас к ним и близко не подпускают. Мой дядя в порту менялой пристроился. Приходилось иногда помогать ему, — соврал я.

---

[1] Палестра — школа в Древней Греции, где обучались мальчики и юноши.

Старик все еще ковылял от стенке к стенке, но конечной целью явно имел топчан. При этом он еще и косился на меня. С похотью косился, чтоб ему провалиться! Пусть даже и не надеется, старый сластолюбец. Хрен он от меня получит, а не ласки. Хватит ему на сегодня. Для простаты вредно.

Чтобы как-то отвлечь Сократа от блудливых замыслов, я осведомился:

— Кто-либо из потомков Тесея дожил до наших дней?

— Даже не знаю, — он призадумался. — Как-то не интересовался... Но мой род не менее древний и славный, чем у Тесея. Между прочим, я веду происхождение от Дедала, построившего Лабиринт по заказу царя Миноса.

— Ты? Что-то не верится. — Я с преувеличенным сомнением глянул на невзрачного старикана. — Дедал, насколько мне известно, принадлежал к знатному роду. А ты сын каменотеса и повитухи. Тем более, он так и не вернулся в Афины.

— Путь в Афины ему был заказан. Здесь он был приговорен к смертной казни, как и я. Вернулись внуки Дедала, прежде укрывавшиеся на Сицилии. Можешь мне не верить, но клянусь, что я его потомок в двадцать пятом колене. На этот счет имелась надпись на мраморной плите, которую видел еще мой дед. К сожалению, она погибла во время пожара в храме Посейдона.

Старик подобрался ко мне почти вплотную и уже вознамерился было присесть на топчан, но я отогнал его пинком ноги.

— Погуляй, папаша, еще немного. Я пока не готова к соитию. Ты мне все нутро расковырял, как бык Пасифае. Лучше расскажи еще что-нибудь... Неужели Тесей в одиночку одолел Минотавра?

— По этому поводу существует немало преданий, весьма разнящихся между собой, — как ни в чем не бывало продолжил старик. — Афиняне предпочитают одну версию, критяне — другую, ионийцы — третью.

— С афинской версией мне все ясно, — перебил я его. — Дабы освободить город от позорной дани в виде юношей и девушек, Тесей прибыл на Крит, очаровал сестру Минотавра Ариадну, проник с ее помощью в лабиринт, где и заколол чудовище мечом. Не так ли?

— Так, — он кивнул. — Но ты говоришь сейчас как-то странно... Сначала прикидываешься, что даже про афинские праздники ничего не знаешь, а потом начинаешь излагать подробности из жизни Дедала и Тесея...

Это он верно подметил. Нельзя быть чересчур умным. Я ведь

всего-навсего уличная девка. В тонкостях мифологии разбираться не должна.

Пришлось с томным вздохом пробормотать:

— Сама не понимаю, что на меня накатило. Словно бы внутренний голос проснулся...

— Наверное, это заговорил твой демон-покровитель, имеющийся у каждого человека. Со мной такое тоже случается, особенно в трудные минуты... Значит, ты хочешь услышать какую-нибудь иную версию предания о Тесее и Минотавре?

— Конечно, хочу! Любишься ты, папаша, отменно, но рассказываешь еще лучше, — подольстился я.

— Тогда слушай историю, которую давным-давно мне рассказал один этеокритянин[1] весьма знатного рода, чьи предки были сподвижниками царя Миноса... Когда Тесей сошел на берег, всем уже было известно о его тайных замыслах. Ариадна, женщина хоть и молодая, но проницательная и многоопытная, предпочла кровные узы лукавым посулам пришельца. Тесей бесславно погиб в лабиринте, а Минотавр с помощью искушенной в колдовстве Ариадны принял его облик, вернулся в Афины, погубил родного отца, занял его трон и стал править железной рукой. Завоевав все окрестные города, он не только объединил Аттику, но и залил ее невинной кровью. Прекрасных юношей и девушек доставляли в его покои уже не раз в четыре года, а каждую ночь. Живыми их уже никто не видел. Смерть оборотня окутана тайной. То ли он живым был ввергнут в Аид за попытку похитить юную Елену, ту самую, что потом стала женой Менелая, то ли пропал без вести, прогуливаясь вдоль морского побережья.

— История печальная, но куда более занятная, чем предыдущая... Вспомни еще что-нибудь.

— Еще говорят, что, поменявшись с Тесеем обликом, Минотавр вместо себя заточил в лабиринте его. Человек не мог стерпеть того, что раньше терпел человекобык, и закололся собственным мечом, за что и был погребен не как царский сын, а как презренный изгой. Ариадна публично прокляла его могилу... На этом, пожалуй, и закончим. Такие сказки можно рассказывать без конца, а за окном уже светает. Разве ты забыла предупреждение тюремщика? Давай посвятим остаток этой ночи любви, — глазки у старика замаслились.

Ох как ты мне надоел, папаша, подумал я. А еще философ,

---

[1] Этеокритяне — «истинные критяне», коренное население острова, сильно отличавшееся от пришельцев-греков.

проповедующий праведную жизнь и воздержание. Денег не хватало на пьянство и разврат — вот и проповедовал. А сам, наверное, в дармовом вине утопился бы. Да и с халявной шлюхи тебя за ноги не стащишь. Нет, мне здесь больше делать нечего. Все, что надо, я выведал, а басни про Минотавра-оборотня пусть слушает кто-нибудь другой. Тюремщик, например. Похотливые лапы уже оглаживали мои ягодицы (а оглаживать тут было что, боги этого товара для Ампелиды не пожалели), и, дабы выиграть время, я сказал, легонько щелкнув старика по лысине:

— Не гони, папаша. Тюремщик уже уснул и проснется только к завтраку. Обещаю, что чуть позже отдамся тебе со всей страстью, но сначала мне нужно обделать одно маленькое дельце.

— Не упирайся, Ампелида. — Сократ нахмурился. — Иначе я пожалуюсь куда следует, и ты не получишь обещанные пять оболов.

— Вот напугал! — отпихнув докучливого старика, я покинул топчан и направился к стенной нише, где чадил светильник. — Ты забыл, что девушки моей профессии деньги берут только вперед. Последний из этих пяти оболов был истрачен еще вчера вечером.

Масла в светильнике было еще предостаточно. По крайней мере, на то, что я задумал, хватит с избытком. Прости меня, Ампелида! Постараюсь не причинять тебе серьезного вреда. Хотя ощущения будут пренеприятнейшие, тут уж, как говорится, ничего не попишешь.

Зубами задрав левый рукав до самого плеча, я плеснул на голую руку масло, которое немедленно вспыхнуло на коже.

О-о-о! Какая боль! Спасите меня, великие боги!

Последним, кого я увидел, покидая рухнувшее тело Ампелиды, был великий философ Сократ. Ухватив чан с нечистотами, он спешил на помощь бездыханной девице, потому что огонь охватил не только ее одежду, но и солому, покрывавшую пол.

Скорее всего он был порядочным человеком. В отличие от меня...

ХИШАМ, ВАВИЛОНСКИЙ ВОР И ВООБЩЕ ПОДЛЕЦ, КАКИХ МАЛО

Ночь, проведенная в темнице Сократа, оказалась плодотворной во всех смыслах — Ампелида понесла, а я узнал много полезного для себя. Но это еще не все. Пока старик огуливал пышное девичье тело (слава богу, уже не мое), я время даром тоже не терял — обдумывал план дальнейших действий.

Возвращаться в исходную точку всех предыдущих «душеходств» не хотелось. Обрыдли мне и Котяра, и Мордасов, а уж эта вампиресса Марья Ильинична — в особенности.

Зачем без толку болтаться туда и обратно? Представьте себе охотящегося зверя, который после каждой очередной неудачи порожняком возвращается в логово. Скажете — такого быть не может. Оказывается, может. И пример этому — я.

Но сейчас с подобной практикой покончено. К заветной цели нужно стремиться кратчайшим путем, пусть даже и неизведанным.

Вот только получится ли?

Короче говоря, расставшись с Ампелидой (ах, как все неудачно получилось!), я не отдался на волю неведомых стихийных сил, делающих погоду в ментальном пространстве, а постарался занырнуть поглубже в прошлое.

И знаете — получилось!

Наверное, вниз меня тянул груз неблаговидных поступков, совершенных в афинской темнице. Еще бы — нанес телесные повреждения ни в чем не повинной девице да вдобавок оскорбил великого человека, доживающего в неволе свои последние дни.

Но только каяться будем после. Сейчас не до этого.

Смерть Сократа отделяли от смерти Минотавра восемьсот двадцать восемь лет или двадцать пять поколений. Счетчика, регистрирующего пройденные годы, у меня, естественно, не было. Приходилось ориентироваться только на поколения. Будем надеяться, что лукавый старец не обманул меня.

Отсчитав в обратном порядке двадцать пять предков, я вернулся в реальный мир. Надо заметить, что с каждым новым «душеходством» я ощущал себя в ментальном пространстве все увереннее и увереннее. Сказывался, наверное, благоприобретенный опыт. Да и кое-какие способности, надо думать, имелись.

Пользуясь авиационной терминологией, можно было сказать, что, хотя до настоящего аса мне еще далеко, летуном третьего класса я считаюсь по праву.

Ревели трубы, грохотали огромные гонги, палило солнце, вокруг шумела огромная толпа, а я при всем честном народе занимался любовью с хрупкой, смуглой женщиной, лицо которой было скрыто позолоченной маской. Тут волей-неволей, а застыдишься.

Дело, похоже, было уже завершено, и какой-то бородатый тип, стоявший рядом, нетерпеливо хлопал меня по плечу — хватит, мол, слазь. Того же мнения придерживалась и женщина, толкавшая меня в грудь.

Я послушно встал, оправляя одежду, и мое место тут же занял бородач. Ноги женщины, до того охватывающие мою поясницу, теперь скрестились на его чреслах.

Оглянувшись по сторонам, я с удивлением убедился, что тем же самым занимаются еще сотни пар, расположившихся прямо на циновках, покрывавших каменные плиты обширной площади.

Трубы и гонги продолжали сотрясать воздух, мужчины менялись через каждые три-четыре минуты (некоторые тут же отправлялись искать себе новую пассию), женщины предавались любовной страсти с неестественной истовостью, а сверху на все эти непотребства спокойно взирала огромная каменная богиня с торчащими вперед остроконечными грудями и колчаном стрел за спиной. У ног ее, словно домашние собачонки, примостились крылатые львы со свирепыми мордами.

Ниже и выше меня уступами располагался громадный белокаменный город, переполненный дымом благовоний, варварской музыкой, праздными людьми и крылатыми львами. В разноязычном гомоне толпы чаще других слов звучало гулкое — «Бабилу». Вот, значит, где я оказался на этот раз!

Бабилу. Вавилон. Город городов, много раз проклятый и разрушенный, но всякий раз вновь вставший из пепла, как птица Феникс.

А эта просторная, сплошь покрытая совокупляющимися парами площадь — преддверье храма бессмертной красавицы Иштар, богини войны, раздора и плотской любви, которой верно служат многочисленные жрицы, в праздничные дни занимающиеся священной проституцией. Ну что же, у каждого народа свои развлечения. Кто-то любит в воскресенье попить холодненького пивка, а кто-то предпочитает трахаться на городской площади с исступленными фанатичками. Как говорится, дело вкуса.

Вопрос в другом — как занесло сюда моего предка? Я-то, дурак, надеялся, что в столь отдаленных краях у меня родственников нет, а они, оказывается, распоясаются по свету, как тараканы. Эх, забыл выведать у Ампелиды про ее родню со стороны матери.

Предок, чье имя, национальность и общественное положение пока оставались для меня загадкой, продолжал кружить воз-

ле храмовой площади, но, как мне казалось, искал не плотских утех, а просто выбирал самые людные места. Он скрывался от кого-то и делал это весьма умело, ведь давно известно, что дерево лучше всего прятать в лесу, а иголку — в стоге сена.

Немного освоившись в новом теле, я сразу почувствовал себя не совсем уютно. Этот молодец представлял собой полную противоположность киммерийцу Шлыгу. Вместо инертности, покорности, лени и скудоумия — дерзость, неистовость, изворотливость и сообразительность.

Говоря фигурально, если Шлыг был податливым воском, то этот типчик — куском кремня, о который и руку недолго поранить. Чувствую, трудненько мне с ним придется. Личность — она и в бронзовом веке личность.

Сейчас мой предок лихорадочно размышлял над тем, где ему лучше укрыться до вечера, чтобы потом, в темноте, скрытно покинуть город. Судя по всему, он недавно совершил нечто такое, что в древнем Вавилоне считалось тягчайшим злодеянием, и сейчас искал способ избегнуть расплаты.

Однако страха в нем не было. Точно так же, как и раскаянья. Преступления были его ремеслом и даже в некотором роде страстью, а всех окружающих людей он делил на две категории — вероятных врагов и потенциальных жертв. Да, опять мне повезло. В кавычках, естественно.

Стоило только копнуть в его сознании чуть поглубже, как он весь вздрагивал, словно укушенный оводом жеребец, и мысли, прежде предельно ясные, сразу превращались в запутанную головоломку.

По всем параметрам это был человек необыкновенный, наделенный не только острым умом и звериным чутьем, но и многими другими опасными талантами.

В другой ситуации я не стал бы с ним связываться. Хватит с меня Васьки Лодырева и Эгеля Змеиное Жало. А этот, похоже, еще похлеще будет... Но меня разбирало любопытство — какой нынче век, правильными ли были мои расчеты?

Интересно, у кого это можно здесь узнать? Наверное, только у жрецов, наблюдавших ход светил и ведущих на глиняных табличках учет небесных знамений и человеческих дел.

Но моего предка (мысленно я нарек его Вавилонским вором, по аналогии со знаменитым фильмом «Багдадский вор», которым восхищались наши дедушки и бабушки) сунуться в храм не заставишь, это ясно. Да и кто там будет с ним на эту тему разго-

варивать? Жрецы всех времен и народов строго охраняли свои тайны от посторонних.

Предок тем временем слегка изменил свою тактику. Опасаясь примелькаться, он покинул окрестности храмовой площади, но улицы по-прежнему выбирал только те, где сквозь толпу нужно было протискиваться едва ли не силой.

Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, куда он держит свой путь сейчас — ну конечно же, на городской рынок, где праздношатающейся публики, наверное, еще больше, чем возле святилища Иштар.

Скоро стало ясно, что я не ошибся. Любой рынок, в особенности восточный (а тем более древний, еще не попавший под контроль санитарной инспекции), можно загодя узнать по ароматам заморских специй, запаху жареного мяса и вони протухшей рыбы.

Торговали здесь (вернее, менялись) прямо с рук, с циновок, с повозок, из окон близлежащих зданий и, конечно же, из-под полы (но это в основном касалось фальшивого золота, ядов и дурманящих снадобий).

Купцы являли собой настоящий интернационал — были здесь и узкоглазые азиаты, и угольно-черные эфиопы, и рыжебородые кельты. Но чаще всего, конечно, на глаза попадались вездесущие финикийцы — все как на подбор носатые, крикливые, льстивые, вороватые.

Миновав ту часть рынка, где в основном торговали съестным, предок направился к лавкам, в которых был выставлен солидный товар. Никакого определенного плана он не имел, а просто убивал время и попутно ловил удобный случай, в который, подобно всем фартовым людям, верил больше, чем в богов.

Из соседней лавки донеслась греческая речь, вызвавшая в моей душе невольный отклик, который каким-то образом немедленно передался предку. Вавилонский вор приостановился. Похоже, он привык доверять любому внутреннему голосу. Учтем на будущее.

Купцы, толковавшие между собой на языке Гомера, были похожи друг на друга, словно братья-близнецы — оба лысенькие, невысокие, сухощавые, но ловкие и жилистые, как бойцовые псы. То, что они благополучно добрались сюда за тридевять земель да еще сумели сохранить свое добро, свидетельствовало о предприимчивости, бесстрашии и умении ладить с самыми разными людьми.

Правда, товар у греков был небогатый — скромные медные украшения, кувшины и кубки довольно примитивной работы, шерстяные ткани, немного египетского стекла.

Тот из купцов, который обмахивался веером, покосился на Вавилонского вора и сказал на языке, хоть и незнакомом мне, но понятном через восприятие предка:

— Чего стал? Проходи.

— Мне нравится твой товар, — ответил Вавилонский вор. — Почему же ты гонишь меня?

— Мой товар стоит недешево, — купец зевнул, демонстрируя полное пренебрежение к собеседнику и отсутствие передних зубов. — А у тебя при себе нет ни серебра, ни железа, ни рабов.

— У меня есть что-то получше.

Вавилонский вор снял с указательного пальца тонкое колечко, свитое из золотых нитей и снабженное кроваво-красным необработанным камнем.

Купец с подчеркнутым безразличием взял кольцо и, проверяя вес, подбросил его на ладони, а потом покосился на напарника, до сих пор не проронившего ни слова. В ответ тот только неопределенно пожал плечами — поступай, мол, как знаешь.

— Вещь, прямо скажем, не ходовая, — сказал первый купец. — Знать таких колец не носит, а для черни оно чересчур дорого... Я, конечно, могу его взять, но сначала хотелось бы узнать, что ты хочешь получить взамен.

— Из того, что видят здесь мои глаза, ничего. — Предок взмахнул рукой так, словно хотел вымести вон весь выставленный в лавке товар.

Это ничуть не смутило купца.

— Время сейчас такое, что все самое лучшее приходится хранить в потайном месте, — вкрадчиво пояснил он.

— Понимаю. Но мне не нужен товар. Мне нужна дружба.

— Ты собираешься купить дружбу за золото? — усмехнулся купец. — И не боишься остаться внакладе?

— Дружба с достойным человеком бесценна.

— Какая дружба тебе требуется? На веки вечные?

— Нет, всего на пару деньков.

— Каким именно образом мы должны подтвердить свою дружбу? — купец был не только хитер, но и проницателен.

— А когда вы собираетесь возвращаться назад?

— Да уж пора бы, — греки вновь переглянулись.

— Вот и увезите меня подальше от этого города. Других доказательств дружбы мне не надо, — предок ловко перехватил кольцо, которое купец продолжал подбрасывать на ладони.

— Предложение заманчивое, — сказал грек, скрестив освободившиеся руки на груди. — Но и рискованное. Войди в наше положение, незнакомец. Мы здесь чужие. За нами следят десятки пристрастных глаз. А ты, как я понимаю, не принадлежишь к числу тех, кого славят в Вавилоне. Как бы дружба с тобой не окончилась для нас кнутом и колом.

— Если ты отвергаешь мою дружбу, так прямо и скажи, — предок сделал вид, что собирается уходить. — Я поищу кого-нибудь другого.

— Нет, почему же. Дружба вещь хорошая, — осклабился купец. — Но вот если бы для нее имелись... более весомые причины. Тогда и разговор по-другому бы пошел.

— Эту причину можно считать достаточно весомой?

Теперь на пальце Вавилонского вора красовалось уже не тоненькое колечко, а массивный перстень с янтарем, драгоценностью по тем временам не менее желанной, чем изумруд или яхонт. Я даже не заметил, когда он успел его надеть.

— Похоже, ты богат, как сам вавилонский царь, — купец лишь мельком глянул на перстень и тут же отвел взгляд в сторону. — А по виду не скажешь. Одет, как простой носильщик. В сандалиях твоих только глину месить. Благовониями давно не умащался.

— Это чужая одежда, — не стал отпираться Вавилонский вор. — В своей собственной я был бы слишком приметен.

— Я так и понял. Глаз у меня наметанный, — похвалился купец. — Можно ведь и в рубище обрядиться, а руки, которые никогда не знали труда, все равно выдадут. И волосы тоже... Они хоть и упрятаны под тюрбан, но надрезаны так, как это принято у здешних щеголей. Да и нож в рукаве тебе от меня не утаить. Ну как, спрашивается, дружить с человеком, который прячет нож в рукаве?

— Не обращай на это внимания. Нож нужен мне для самозащиты. Ведь и ты все время держишь под рукой что-то тяжелое. Если не нож, то гирьку на цепочке. Не так ли?

— Может, и так... — Купец машинально глянул под прилавок. — Но нож тебе придется сдать. На время, конечно.

— Это следует понимать так, что наша дружба состоялась? — Предок, похоже, обрадовался в душе, но чувства свои тщательно скрывал.

— Понимай как знаешь. Давно тебя ищут?

— Скорее всего с сегодняшнего утра, — ответил Вавилонский вор после некоторой заминки. И в его сознании промелькн-

нула смутная картина: ночь, луна, мраморная колоннада, распростертое на полу тело в роскошных одеждах, обильная кровь, стекающая в фонтан.

— И долго еще будут искать?

— Пока не добудут мою голову, — беспечно ответил предок.

— Мы-то еще дивились сегодня, почему стража у всех ворот удвоена и каждого, покидающего город, проверяют так, словно похищена любимая наложница царя, — сказал купец. — А оказывается, что переполох поднялся из-за тебя.

— Предупреждаю заранее, за мою поимку объявлена награда, — сообщил Вавилонский вор. — Она достаточно велика, но в любом случае за мое спасение вы получите гораздо больше.

— Если только сами спасемся, — хмыкнул купец. — Тебя хоть как зовут?

— Хишам, — ответил предок, и я даже не понял, врет он или говорит правду.

— Хишам... — задумался купец. — По-вашему это, кажется, значит «счастливчик». Подходящее имя... Хорошо, пусть будет Хишам. У нас имена тоже простые. Он — Клеодем, а я — Диномах. Оба Иониды. Стало быть, дети одного отца.

— В какую сторону лежит ваш путь? — поинтересовался Вавилонский вор.

— На запад, к Нашему морю[1].

— А потом?

— Немного поторгуем на побережье, а потом отправимся в Коринф, на родину.

Терпеть дольше я не мог. Замутив сознание предка, я заставил его задать вопрос, давно волновавший меня:

— Кто сейчас правит в Афинах?

— Царь Эгей, — ответил купец.

— А на Крите?

— Сейчас узнаем, — купец высунулся из лавки чуть ли не по пояс. — Эй, Антилох, кто правит у вас на острове?

— Когда я уезжал, правил царь Минос, да продлят боги его дни и умножат потомство, — раздалось в ответ из ближайшей лавки.

Тут уж я возликовал. Вот так попадание! Прямо в яблочко. Такой шанс упускать нельзя. Даже если ради этого придется вселиться в самого дьявола.

---

[1] Наше море — так древние греки называли Средиземное море.

...Затем я полностью уступил инициативу Хишаму, избрав для себя уже привычную роль стороннего наблюдателя.

Отбросив разделявшую нас пропасть лет (и, соответственно, разницу в образовании и кругозоре), следовало признать, что предок превосходит меня во всем, а особенно в умении отстаивать свои интересы. К сожалению, все его несомненные достоинства уживались с полной аморальностью и отсутствием каких-либо внутренних тормозов.

Хишам без зазрения совести брал все, что ему нравилось, и горе было тому, кто пытался этому помешать. За ним уже давно тянулся шлейф многочисленных преступлений, но самое дерзкое из них — убийство одного из приближенных царя — переполнило чашу терпения вавилонских властей.

Все подручные Хишама были схвачены и подвергнуты пыткам. В местах, где он мог появиться, ожидали засады. Вознаграждение, объявленное за его голову, могло склонить к предательству даже лучших друзей.

Эти сведения я буквально по крупицам добыл из сознания предка за те двое суток, которые он провел в глубокой сырой яме, заваленной сверху тюками с овечьей шерстью. Вместе с ним в яме обитали крысы и ядовитые насекомые.

Отказа в вине и хорошей пище не было, но спал Хишам вполглаза и нож, который ему все же удалось отстоять, всегда имел под рукой.

На третий день снаружи раздались скорбные вопли верблюдов и ржание лошадей. Началось снаряжение каравана, отправлявшегося к Средиземному морю.

После полудня в яму спустился купец — не болтливый Диномах, а молчаливый Клеодем. Пользуясь больше знаками, чем словами, он велел Хишаму опорожнить мочевой пузырь и кишечник, потом напоил каким-то горьковатым снадобьем и вывел на поверхность. Ноги предка начали заплетаться уже через полсотни шагов, а сознание отрубилось прежде, чем он увидел свет солнца. Дурман, естественно, подействовал и на меня, но не в такой мере.

Смутно помню, как тело Хишама заворачивали в ковер, переложенный изнутри толстыми бычьими шкурами (делалось это, наверное, на тот случай, если стражникам вздумается протыкать все ковры острыми спицами). Окончательно я обеспамятовал уже после того, как ковер взвалили на верблюда и началась качка, сродни той, которую я однажды уже испытал на невольничьем судне.

Таким образом, все перипетии, связанные с досмотром груза, конфликтами со стражей и долгим отстоем у запертых городских ворот, миновали меня.

Очнулся Хишам (а вместе с ним и я) уже далеко за городом. Ночью, на стоянке, купцы немного развернули ковер, дабы дать беглецу вволю надышаться. Опасность еще не миновала — караван сопровождало множество всякого люду, среди которого могли оказаться и царские соглядатаи.

Сказать, что такой способ путешествия мучителен — значит ничего не сказать. Даже привычный к лишениям Хишам едва сдерживал стоны, а моя измученная душа так и рвалась прочь из этого еще более измученного тела.

Желанную свободу Хишам обрел лишь после того, как караван покинул пределы Вавилонского царства. Честно расплатившись с купцами (что, в общем-то, было ему несвойственно), предок тут же приобрел прекрасного верхового коня и дальше следовал со всем возможным в таких условиях комфортом.

Караван был огромен — сотни верблюдов, тысячи лошадей, сторожевые собаки, до зубов вооруженная охрана, стада овец, выполнявших роль живых консервов. Короче, целая армия, каждую ночь разбивавшая близ дороги укрепленный лагерь. Путь, который можно было проделать за пару недель, растягивался на месяцы, поскольку крейсерская скорость каравана равнялась скорости самого медлительного верблюда.

И тем не менее никто не рвался вперед, даже обладатели горячих гирканских скакунов. Безопасность путешественников виждилась именно на многочисленности и сплоченности каравана, вокруг которого беспрестанно кружили шайки грабителей.

По пути к нам прибилось немало случайных попутчиков — беглых рабов, отставных солдат, бродячих жонглеров, странствующих проповедников, блудниц, прорицателей, мелких воришек и просто непоседливых людей, желавших испытать свое счастье на чужбине.

Вся эта мелкая шушера ничуть не интересовала Хишама. Он присматривался только к купцам — не к тем, кто, подобно Диномаху и Клеодему, был отягощен заморским товаром, — а к другим, которые возвращались налегке, имея при себе только тугую мошну с золотом и драгоценностями.

Как ни скрытен был Хишам, но обвести вокруг пальца проницательного Диномаха не сумел. Тот прямо предупредил беглеца, что если кто-либо из купцов вдруг лишится в пути нажитого богатства, то с поисками злодея проблем не возникнет. Дескать,

прошлые твои дела никого не касаются, а здесь, будь любезен, веди себя пристойно. Купцы, конечно, народ корыстолюбивый и завистливый, но в дальнем походе, сопряженном с опасностями, привыкли стоять друг за друга стеной, иначе там, где пропал один, могут найти свой конец и остальные.

После этого неприятного разговора Хишам перестал общаться с купцами, хотя по-прежнему харчился с их стола, что входило в заранее оговоренную плату за спасение. Он и раньше не питал к грекам никаких теплых чувств, а уж сейчас затаил на них настоящую ненависть, для реализации которой не хватало лишь удобного случая.

Нормальных людей, к числу которых я отношу и себя, всегда интересовала психология злодеев (возможно, именно в этом кроется столь широкая популярность детективных романов).

Что заставляет обычного на вид человека преступить ту фатальную грань добра и зла, к которой другие даже не смеют приблизиться? Почему он так равнодушен к чужим страданиям и чужой жизни? По какому праву отвергает все человеческие и божеские законы? Где находит оправдание своим неблаговидным поступкам?

И что, в конце концов, движет преступником — гипертрофированный эгоизм, душевная черствость или некий слепой атавизм, доставшийся нам в наследство от звероподобных пращуров? Можно ли этих каиновых детей вернуть в лоно человеческого общества? И как — страхом, лаской, специальным лечением, перевоспитанием?

Вот почему личность Хишама представляла для меня особый интерес. Однако все способы, которые прежде легко позволяли, что называется, «влезть в душу» предков, чьи тела я использовал, на сей раз оказались малоэффективными.

Упреки совести, провоцируемые мной, не доходили до сознания Хишама, а все попытки отвратить его от зла ни к чему хорошему не приводили. Человек, как говорится, погряз в пороках целиком и полностью. Исправить его, наверное, могла только могила.

Все это грозило мне в будущем серьезными проблемами. Такого злодея нельзя вводить в дом доверчивого и мнительного царя Эгея, а уж тем более посылать с весьма деликатной миссией на Крит. Да он просто изнасилует всех юношей и девушек, вверенных его попечению, а потом продаст их первому встречному работорговцу.

Для выполнения великого исторического предназначения, то есть для устранения Минотавра, нужен совсем другой человек — или камикадзе типа Васьки Лодырева, или тюфяк вроде Шлыга. В крайнем случае я мог бы обтяпать это дельце и в одиночку. Отсюда следует, что мне нужно подавить разум Хишама, сломить волю, отстранить сознание от власти над телом, а в идеальном случае — вообще уничтожить его как личность. История учит, что на свете не бывает неприступных твердынь, точно так же, как и несгибаемых характеров. Уж если я не одолею Хишама (а по сути самого себя), то за Минотавра даже браться не стоит.

Однако время пока что терпело, и я ограничивался изучением противника, старательно выискивая в его психике уязвимые места. Таковых было немного, а лучше сказать, почти не было вообще, и постепенно я стал склоняться к опыту большевиков — «в первую очередь захватить телеграф, телефон, мосты», то бишь средства коммуникации, роль которых у человека по преимуществу выполняют органы чувств. Если, к примеру, вовремя лишить врага зрения, то он с перепугу согласится принять любые условия победителя (хотя представить себе перепуганного Хишама было весьма и весьма нелегко).

Караван между тем преодолел уже добрые две трети пути, и потери его покуда ограничивались овцами, съеденными на стоянках.

Однажды поздним вечером, когда пора уже было отправляться на покой, Диномах заговорил с Хишамом. Как всегда, он пользовался аккадским языком, в то время повсеместно распространенным на территории Передней Азии.

— Скоро мы дойдем до моря, — вкрадчиво произнес купец. — Ты останешься на побережье или продолжишь свой путь дальше?

— Еще не знаю, — ответил Хишам. — Сначала хочу оглядеться. Хочу подыскать для себя страну вольную и богатую. Не присоветуешь мне что-нибудь?

— Больше всего богатств в Египте, но сейчас эту страну раздирают войны и смуты. Греция скудна. На Крите чужаки не в чести. Я бы на твоем месте отправился в Троаду. Места там спокойные, нравы свободные, цари милосердные, а богатства прирастают год от году. Любое судно, следующее в Понт Эвксинский или обратно, платит дань владыкам Илиона.

— Я подумаю над твоими словами, — сказал Хишам, но для себя решил, что сделает все наоборот: предпочтет скудную Грецию или неприветливый Крит якобы благополучной Троаде.

Спустя некоторое время купцы заговорили между собой на греческом, уверенные, что никто из соседей не понимает их.

— Ума не приложу, как нам избавиться от этого негодяя, — сказал Диномах. — Не хватало еще, чтобы он последовал за нами в Коринф. Прирезать его, что ли?

— Боги не простят нам этого, — сдержанно возразил Клеодем. — Не забывай, что мы поклялись спасти его именем самого Зевса Всесильного.

— Тогда свяжем его по рукам и ногам и оставим в пустыне на растерзание шакалам. В этом случае его кровь не падет на нас.

— Какая разница. Богам известно не только о содеянном нами, но и о наших замыслах. Всем клятвопреступникам уготовлено место в Аиде.

— Вот нажили себе заботу, — вздохнул Диномах. — И все из-за моей скаредности. Как только вернусь домой, немедленно продам этот проклятый перстень и треть... нет, четверть от выручки принесу в жертву храму Матери Богов.

— Раньше надо было думать. — Клеодем зевнул. — Помнишь сказку про мальчика, отогревшего за пазухой змею? Как бы наше добро не вылезло нам боком.

— Ох и не говори! — опять вздохнул Диномах и, приподнявшись на локте, глянул в сторону Хишама. — Не нравится мне это соседство. Каждую ночь вижу во сне, как он подбирается ко мне и срезает с пояса кошель с золотом.

— А ты перевесь кошель на грудь, под одежду, — посоветовал Клеодем. — Я уже давно так сделал.

— И то правда... — было слышно, как Диномах шевелится под овчиной и шуршит одеждой. — Надо было сразу догадаться...

Скоро оба грека захрапели. Уснул и я, утомленный не столько тяготами пути, сколько бременем невеселых дум.

Очнулся я на исходе ночи, когда все зажженные еще с вечера костры успели погаснуть.

Очнулся — и сначала ничего не понял.

Почему мои зубы сжимают соленый от крови нож? Почему я сижу верхом на человеке, который дышит так тяжко, так взахлеб, словно бы в рот ему непрерывной струей вливают воду? Почему мои руки шарят у него за пазухой?

Но ведь это же не мои зубы! Это не мои руки! Это не я!

Только когда пальцы Хишама нащупали увесистый кожаный мешочек, набитый всякими золотыми штучками, я понял, что

случилось непредвиденное — мой падкий на чужое добро предок зарезал одного из своих спасителей.

Как должен отреагировать на такое злодеяние порядочный человек? Самое меньшее — пощечиной. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но нельзя же ударить самого себя, тем более что эти окровавленные лапы не повинуются мне. Закричать, поднять тревогу? Наверное, это возможно... И что тогда? Кого изрубят мечами, вскинут на копья или живьем зароют в землю? Хишама? Меня? Или нас обоих, поскольку волею случая мы делим одно и то же тело? А мне так надоело умирать...

Что же остается — потворствовать убийце?

Но и это не самое страшное. Я стал невольным соучастником преступления, потому что только благодаря мне Хишам сумел понять, о чем именно говорят между собой греческие купцы. Он же по-ихнему — ни бум-бум! Зато неким загадочным образом вхож в мое сознание. Такая промашка, скажем прямо, со мной случается впервые.

Хишам тем временем уже завладел кошелем и, перехватив нож в правую руку, стал подползать к Клеодему, спокойно похрапывающему по другую сторону еле-еле мерцающего кострища (оказывается, первым был прирезан Диномах).

Тут уж сторонним наблюдателем никак не останешься! Тут надо действовать! Нельзя позволить этому гаду даже замахнуться ножом.

Хишам мужик, конечно, крепкий, но надо проверить, как он держит удар. В особенности — направленный изнутри.

Как и планировалось заранее, первым объектом моей атаки стали его органы чувств — зрение, обоняние, слух. Ослепить, оглушить, ошарашить — это очень даже немало. Хотелось, конечно, чтобы первый удар стал и последним (в смысле — решающим), ведь если схватка затянется, мои шансы на успех могут растаять, как лед под южным солнцем.

Несмотря на все сомнения, атака удалась (главным образом, благодаря тишине и мраку ночи, помешавшим Хишаму понять, что же это такое случилось с его глазами и ушами), хотя, к сожалению, капитуляцией противника не завершилась.

У этого чудовища была железная воля и прямо-таки звериное упорство. Даже лишившись контакта с внешним миром, он продолжал гнуть свое — подбирался к жертве все ближе и ближе.

Спасла ничего не ведающего Клеодема только случайность — немного отклонившись в сторону, слепой и глухой Хишам угодил в кострище, где под слоем пепла еще вовсю тлели угли.

Боль от ожогов он воспринял как упреждающий удар и сразу же метнулся в сторону. Инстинкты предка действовали мгновенно и безотказно — еще не осознав до конца, какая такая беда случилась с ним, он сообразил, что задуманное злодейство не удалось и нужно спешно упосить ноги.

Особым свистом он подозвал заранее оседланного скакуна, на ощупь нашел стремя и рванул с места в карьер.

Стража, ожидавшая опасность извне, а отнюдь не изнутри лагеря, среагировала с запозданием — пустила вслед беглецу несколько стрел, чем и ограничилась. Впрочем, возгласы на аккадском языке, соответствующие нашему: «Ату его!» — звучали еще долго.

Хишам скакал, полагаясь главным образом на здравый смысл коня, и, несмотря на все мои старания, больше не дал потеснить свое сознание ни на йоту. Я контролировал зрение, слух и обоняние, он — все остальное. Более того — временами мой рассудок как-то странно туманился, словно после доброй рюмки. Наверное, предок инстинктивно пытался избавиться от злых чар, неизвестно кем наведенных на него.

Едва только рассвело, как Хишам остановил скакуна и попытался сориентироваться (солнца он видеть не мог, зато ощущал его тепло кожей).

Определив стороны света, он помчался на восток, желая опередить попутчиков, наверняка жаждавших праведной мести.

Как ни странно, но никто из разбойников, постоянно вившихся вокруг каравана, не заступил ему путь. То ли одиночные всадники не интересовали сухопутных пиратов, то ли рассветные часы они посвящали каким-то иным занятиям.

Умный конь вскоре отыскал торную дорогу и продолжал резво скакать навстречу восходящему солнцу, не прося у хозяина ни отдыха, ни пропитания.

Первую остановку Хишам позволил себе только ближе к полудню, когда на его пути попалась мелководная речка, чьи прибрежные травы могли насытить не только одного-единственного коня, но и целую отару овец. Даже не знаю, каким чутьем он отыскал столь удачное место — ведь журчание воды и запах трав были недоступны его восприятию в той же мере, что и зрительные образы.

Ослабив упряжь, Хишам отпустил коня пастись, а сам уставился в пространство и заговорил каким-то замогильным голосом:

— Раньше я не верил в россказни про демонов, вселяющихся в людей и подчиняющих их своей воле. Но это оказалось прав-

дой. Только ты не на того напал, глупый демон. Я не боюсь ни людей, ни богов. Не устрашусь и тебя. Ты ослепил и оглушил меня, но овладеть телом так и не сумел. Это у тебя никогда не получится, можешь быть уверен. Скоро я доберусь до моря, где найду колдунов, изгоняющих из людей нечистую силу. Ради этого я не пожалею золота. И тогда ты испытаешь то, что испытывает брошенная в огонь гадюка. Вот тогда я порадуюсь! Поэтому будет лучше, если мы договоримся сейчас. Можешь взять половину моих сокровищ, только верни то, что отнял. Если тебе угодно, можешь оставаться со мной. Обещаю беспрекословное послушание и долю в любой добыче. Но кое-какие уступки потребуются и от тебя. Научи меня летать по воздуху и становиться невидимым.

Как мне следовало реагировать на более чем сомнительное предложение? Отмолчаться? Или завести с предком хитроумную игру?

Первый вариант не обещал никаких перспектив — мои духовные ресурсы были на пределе. О завоевании новых позиций даже говорить не приходилось, тут хотя бы старые удержать. Второй, наоборот, выглядел многообещающим, зато и весьма рискованным. Получив обратно утраченные чувства, Хишам мог запросто добить меня, вытеснив из своего сознания, причем со значительным уроном.

Какой же вариант поведения избрать? Пока ясно только одно — верить этому подлецу нельзя. Но ведь я не замуж за него собираюсь. Общими усилиями ухайдакаем Минотавра и разбежимся. При определенной сноровке можно поладить даже с диким зверем. Пример тому — цирковые дрессировщики. Главное — постоянно демонстрировать свое превосходство, пусть и мнимое, да не терять бдительности. А шрамы (даже душевные) потом заживут.

Все пожелания Хишама я, конечно, выполнять не собираюсь, много он хочет, но некоторый компромисс возможен.

Связываться с предком напрямую, через структуры мозга, не хотелось, и я овладел речевым аппаратом, который он уступил мне без всякого сопротивления. Не знаю, способен ли глухой слышать собственную речь, а потому я вернул Хишаму слух; правда, только на одно ухо.

Затем я заговорил тем же самым замогильным голосом, который предок использовал для общения с потусторонними силами.

— Человек, ты смешон и жалок, — вещал я, завывая, как осенний ветер в трубе. — Кому ты угрожаешь? Я бессмертное

создание, и понять мою природу тебе не дано. Не обольщайся своими возможностями. Я могу погубить тебя в любой момент, но это пока не входит в мои планы. Впрочем, в твоих речах есть некоторый резон. Особенно в обещании беспрекословного подчинения. Это меня устраивает. В знак благодарности я возвращаю тебе половину слуха. Будь доволен и этим. Зрение твое останется в моем распоряжении. Ты не прогадал бы, доверив мне все тело. Я опытный воин и знаю толк в боевых искусствах. О полетах по воздуху и о невидимости даже не мечтай. Знаю, для чего это нужно тебе. Но я демон добра, а не зла. Отныне ты не посмеешь приносить вред безвинным людям. Мы будем защищать добро и справедливость. Я помогу тебе переправиться через море, научу многим полезным вещам, сделаю богатым и знаменитым. Взамен ты будешь искоренять зло, на которое я тебе укажу.

— Пока ты не вернешь мне зрение, ни о каком союзе не может быть и речи, — отрезал Хишам.

— Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Я ведь могу вселиться в этого благородного скакуна и умчаться прочь, а ты останешься здесь один, слепой и глухой. Если тебя не растерзают хищные звери, то подберет караван, идущий следом. Купец Клеодем очень обрадуется встрече с тобой.

Прежде Хишам вел себя не то что самоуверенно, а даже дерзко, но упоминание о брате зарезанного Диномаха почему-то подкосило его. Наверное, он решил, что с демоном, вникающим в такие подробности, тягаться трудно. С этой минуты его былая заносчивость пошла на убыль, хотя душонка осталась корыстолюбивой, лживой и жестокой.

Этот странный торг длился еще долго, но в конце концов мы сошлись на следующих условиях. Хишаму возвращается левый глаз, а я взамен получаю контроль над правой рукой. Решения, не требующие спешки, мы принимаем сообща. В случае внезапной опасности инициативу берет на себя тот, кто первым эту опасность обнаружит.

Вдобавок я хотел отспорить для себя еще и одну из ног, но вовремя одумался — где это видано, чтобы ногами человека распоряжались разные личности. К примеру, может сложиться такая ситуация, когда Хишам бросится вперед, а я поспешу назад. Так ведь и пополам разорваться недолго.

Спустя неделю, поменяв в пути нескольких лошадей, мы пересекли Сирийскую степь и достигли гавани Сидона, откуда можно было доплыть куда угодно, хоть до Геркулесовых стол-

нов, которые заносчивые финикийцы называли по-своему — Мелькартовыми.

Конечно, хотелось бы сразу отправиться на Крит, но я помнил предупреждение покойного Диномаха о нелюбви островитян к чужестранцам, а кроме того, столь опасная и важная миссия требовала некоторой предварительной подготовки. К примеру, нужно было загодя заказать меч с соответствующим клеймом.

Да и историческую правду не мешало бы соблюсти — совершить все подвиги, приписываемые Тесею, хорошенько засветиться в Афинах, втереться в доверие к царю Эгею, снискать популярность у народа, пресечь козни коварной Медеи, а уж потом в качестве законного наследника с помпой отплыть к берегам Крита.

Пришлось напроситься на судно, направлявшееся в Грецию (правда, не в Афины, а в Аргос). Оговоренную плату Хишам передал капитану левой рукой — я не желал даже прикасаться к этому злополучному золоту.

В пути мы старательно демонстрировали взаимную лояльность, хотя каждый втайне старался выгадать для себя какое-нибудь преимущество. Не знаю, преуспел ли на этом поприще Хишам, но я втихаря добился контроля над его нижней челюстью и теперь в случае необходимости мог действовать не только правой рукой, но и зубами.

Иногда нам приходилось обсуждать между собой некоторые неотложные дела, и тогда матросы подозрительно косились на богатого, но безумного «вавилонского купца» (именно так отрекомендовался Хишам).

По прибытии в Аргос, на фоне Вавилона или Сидона казавшегося нищей рыбацкой деревенькой, я заставил Хишама сбрить буйную бороду и максимально укоротить затейливую прическу (впоследствии такая стрижка повсеместно вошла в моду и стала называться «Тесеевой»).

Походить на коренного грека он после этого, конечно, не стал, но хотя бы перестал пугать простоватых аргосцев своей экзотической внешностью.

В первой же портовой харчевне Хишам напрочь забыл все предыдущие клятвы и левой рукой срезал с одежды захмелевшего скототорговца драгоценную пряжку.

Пришлось правой рукой выкручивать левую, а потом долго и витиевато извиняться перед пострадавшим за допущенную неловкость.

Хишам с подозрительной покорностью покаялся, объяснив

свой позорный поступок глубоко укоренившейся привычкой. Дескать, ваш Гермес начал воровать еще в пеленках, а он, Хишам, — в утробе матери.

Однако я ощущал всю фальшь и неискренность его слов, составлявших разительный контраст с мятущимся состоянием души. Уж лучше бы он взорвался, закатил скандал, перебил посуду, а не таил в себе эту бурю мрачных страстей, которые могли выплеснуться наружу в самый неподходящий момент.

На ночлег мы остались в той самой харчевне, где чужеземным купцам и мореплавателям за немалую плату сдавались задние комнаты.

Хозяин самолично подал ужин — вино, козий сыр и жареную кабанину. Девица, явившаяся стелить постель, выглядела типичной шлюхой, каковой и оказалась в действительности. Являясь полиглоткой, как и все портовые жрицы любви, она на ломаном аккадском языке быстро столковалась с Хишамом.

Я предку не перечил. Во-первых, против природы не попрешь, а во-вторых, существовала надежда, что любовные забавы как-то разрядят его, настроив на более благостный лад. Что другое, а конфликт с ним был мне сейчас ой как не нужен.

Вручая девице какую-то золотую побрякушку, Хишам произнес довольно загадочную фразу, которая, к сожалению, в тот момент не насторожила меня:

— Я плачу сверх того, что ты стоишь на самом деле, а потому поклянись исполнить любое мое пожелание, каким бы странным оно ни казалось.

— Клянусь Афродитой Всенародной! — хихикнула легкомысленная девица. — Да только ты зря беспокоишься, красавчик. Мужики еще не придумали таких пожеланий, которые я не сумела бы исполнить.

— Это мы скоро увидим, — буркнул Хишам и, резко взмахнув ножом, которым до этого разделывал кабанину, пригвоздил свою правую ладонь (а на самом деле — мою!) к столешнице.

Девица взвизгнула, но скорее от неожиданности, чем от испуга. Чувствовалось, что на своем веку ей пришлось повидать и не такое.

— Возьми веревку и крепко-накрепко перетяни мою руку выше локтя, — кривясь от боли, приказал Хишам.

Вот что он задумал! Хочет избавиться от правой руки. Согласен стать инвалидом, лишь бы только допечь меня.

Веревки поблизости не оказалось, и девице пришлось заменить ее обрывками собственной одежды. Когда тугой жгут был

наложен, Хишам опорожнил кружку вина и высказал очередное пожелание, еще более бредовое:

— А сейчас принеси острый топор и отруби руку в суставе. Да поторапливайся, я хорошо заплачу.

Но не тут-то было! Подвела девица. Подкачала. Слабонервной оказалась. Не смогла-таки выполнить скромное мужское пожелание. Рубить по живому — это вам не задницей подмахивать.

Когда крик улепетывающей потаскухи затих где-то в дальних покоях, Хишам допил вино и пробормотал:

— Дура... Да и я хорош. О топоре надо было заранее позаботиться. Хотя нет, демон не позволил бы. Ну ничего, обойдемся и без топора. Сейчас размозжу пальцы, — он потянулся за увесистым бронзовым блюдом. — В кашу их превращу. Такими пальцами демон даже шевелить не сможет. Может, хоть тогда угомонится.

Боль меня не пугала, я умел от нее защищаться. Пугало другое — перспектива потерять руку, так необходимую мне в предстоящей схватке с Минотавром.

Нельзя было позволить Хишаму осуществить этот садистский замысел. Однако правой рукой я даже кукиш сложить не мог, а единственный глаз и одно ухо, оставшиеся в моем распоряжении, для конкретных действий не годились.

Но ведь есть еще и зубы, про которые я в последнее время как-то подзабыл. А это иногда посильнее, чем волчий капкан.

Вот тебе, предок! Получай сюрпризец!

Представляю удивление хозяина харчевни, заставшего заморского купца в тот момент, когда он жадно грыз свою левую руку. При этом его правая рука была крепко-накрепко прибита ножом к столу, а остекленевшие глаза глядели в разные стороны.

Диагноз, как говорится, был налицо.

Хозяин слыл человеком простым, но бывалым (в порту других не держат). Поэтому он не стал цацкаться с припадочным гостем, а просто огрел его дубиной по голове — так здесь поступали со всеми, кто упился вином или впал в чрезмерный раж. Здоровью это не вредило, зато на некоторое время успокаивало.

Из нас двоих первым отключился Хишам (пусть и всего на секунду), но этого краткого мига вполне хватило мне на то, чтобы замутить его разум, охолостить чувства и исказить память.

Чудом уцелевшие остатки чужой личности я загнал в мрач-

ную темницу подсознания — туда, где до поры до времени дремлют наши самые примитивные инстинкты и самые зверские побуждения...

Вот так я стал полным хозяином этого тела. В наследство от Хишама мне досталось знание аккадского языка, излишняя вспыльчивость, ловкость рук, которую я старался никогда не использовать во вред людям, и немалые средства, состоявшие из драгоценных камней и золотых украшений.

Часть сокровищ я раздал нищим, а на другую часть нанял певцов-аэдов, из тех, кто поголосистей. Они должны были сопровождать мнимого Тесея до самых Афин и восхвалять его подвиги, как действительные, так и воображаемые.

В Эпидавре я отобрал дубину у какого-то пьяного бродяги, смеха ради пугавшего путников. Неправда, что она была железная и я прихватил ее с собой в качестве трофея. Только дубин мне еще не хватало.

На Истре я отколотил плотника Синида, прозванного «Сгибателем сосен». Вопреки канонической легенде он не убивал людей, а только отправлял их на лесоповал, поскольку в то время на Пелопоннесе ощущалась нехватка рабочей силы. Что касается его дочери, то клянусь, я ее не насиловал и детей от нее не имел.

В Кроммионе я ославил хозяйку придорожной харчевни «Кабан», где путников кормили сущей отравой, а вдобавок еще безбожно обсчитывали. Не знаю, откуда потом взялась небылица про кроммионского вепря Фея, убитого мной в жестокой схватке.

Истории про умерщвление разбойника Скириона, садиста Дамаста Растягивателя и маньяка Керкиона я придумал самостоятельно, а уж аэды навели на эту неловкую ложь поэтический глянец. Увы, служители муз отличались продажностью даже в те далекие времена.

Впрочем, это не важно. Главное, что они создали мне соответствующую рекламу.

В Афины я вступил, находясь в зените славы. Очаровать Эгея, на которого я был похож, как ворон на гуся, не составило никакого труда. Выстарившийся царек давно мечтал о наследнике, пусть и самозваном.

Были, конечно, и недовольные, не хочу их всех здесь перечислять, но в конце концов страсти улеглись. Медею с позором изгнали, мятеж сыновей Пелланта подавили малой кровью, а остальных заставили замолчать.

Ропот возник снова, когда пришла пора платить Кипру очередную дань, в которую, среди всего прочего, действительно входило семь отроков и столько же отроковиц. Афиняне обвиняли Эгея в том, что он не щадит их невинных детей, а сам назначил преемником неизвестно откуда взявшегося чужеземца.

Пришлось совершить еще один героический поступок — добровольно обречь себя на растерзание кровожадному Минотавру. Эгей, успевший привязаться ко мне, безутешно рыдал, но я был непреклонен и в назначенный день взошел на палубу черно-парусного корабля, отправлявшегося на Крит.

В успехе своего предприятия я не сомневался и все свободное время посвящал фехтованию на мечах.

Но потом все почему-то пошло наперекосяк. Царя Миноса я вообще не видел, Ариадна оказалась коварной стервой, а Минотавр без долгих околичностей убил меня.

Что-то здесь не так, думал я, покидая бездыханное тело Тесея. Или легенды врут, или история вовсе не застывший монолит, как мы считали раньше, а изменчивый и прихотливый поток...

Часть III

АЛЕКСАНДР ДВУРОГИЙ, МИНОТАВР

Не скрою, я был разочарован как никогда, но ментальное пространство совсем не то место, где можно предаваться радостям или печалям.

Мое задание вновь оказалось невыполненным, и сейчас нужно было срочно решать — как действовать дальше. Вернуться ли за советом к Мордасову с Котярой или, воспользовавшись какой-то иной родственной линией, вновь напасть на Минотавра?

Естественно, что я предпочел второй вариант. С телом Олега Наметкина меня уже почти ничего не связывало (по крайней мере, куда меньше, чем с телами Хишама или Шлыга, в которых я провел по нескольку лет сознательной, а главное, деятельной жизни), зато удел вольного скитальца по векам и пространствам привлекал меня все больше и больше.

Пока я рассуждал так, неведомые силы, циркулирующие в корнях и побегах моего генеалогического древа, давно уже превратившегося в дремучий лес, утащили вашего покорного слугу аж на десять поколений в прошлое.

Имея приличный опыт «душеходств», я умел уже многое, вот только разворот в ментальном пространстве так и не освоил (а возможно, этот загадочный мир просто не давал такой возможности). В каждом отдельном случае приходилось вновь возвращаться в реальный мир, вживаясь, хоть и ненадолго, в чужую шкуру, часто чесоточную и блохастую.

На сей раз я оказался в какой-то вонючей берлоге, куда лунный свет проникал сквозь отверстие в потолке, а мужчины, женщины и дети спали вповалку, не видя в инцесте, педофилии и свальном грехе ничего предосудительного.

Задерживаться здесь я не собирался и, отыскав среди спящих самого здоровенного и буйного на вид мужика, врезал ему по сопатке. Тот, еще даже окончательно не проснувшись, немедленно

выдал мне сдачи, да так, что посыпались не только искры из глаз, но и зубы изо рта.

Воя от боли, я вылетел туда, откуда только что явился — в ментальное пространство. Все произошло так быстро, что я даже не понял, в какое тело вселился — в мужское или женское.

Теперь дело было за малым. Миновав в обратном порядке десять поколений, я вновь окажусь современником Минотавра, но появлюсь уже не из Вавилона, а, скажем, из Ливии или Иберии.

И звать меня будут вовсе не Тесеем. Глупая выдумка про детей, обреченных на смерть в Лабиринте, про сурового, но справедливого царя Миноса, его влюбчивую дочь Ариадну и страдающего от собственной исключительности человекобыка на сей раз не пройдет.

Я знаю, с кем имею дело, и буду действовать соответствующим образом. Опыт, слава богу, имеется. Единственное условие, которое останется неизменным, это меч с моими инициалами — весточка, посланная из минойской эпохи в двадцатый век.

Внезапно всем своим существом я ощутил тревогу, бездонную, как пропасть, в которую мы иногда падаем в кошмарном сне.

Что-то не ладилось со мной. Что-то не ладилось и с ментальным пространством.

Даже не знаю, с чем сравнить эти не по-хорошему новые ощущения... Бывает, скажем, что ты едешь в лифте. В десять тысяч сто первый раз едешь, привык к нему, как к собственному сортиру, а он вдруг резко останавливается, застревает между этажами, и все твои планы на ближайшее будущее летят к черту. Мало того, ты остаешься в душном, тесном и темном ящике один на один со своими самыми мрачными мыслями.

Но ведь ментальное пространство — это вам не коммунальный лифт. Здесь не сошлешься на нерадивого механика, случайное отключение электроэнергии или отказ какого-нибудь реле. Здесь правят высшие силы, могущество которых не знает предела.

Так в чем же тогда дело? Почему я завис между прошлым и будущим? Почему уподобился рыбине, поднявшейся из зимовальной ямы к поверхности воды, но беспомощно ткнувшейся мордой в лед. Почему во время этого последнего, так и не завершившегося «душеходства» почти не ощущались толчки, для все-

видящих ангелов небесных означавшие зарождение новой жизни, а лично для меня — возможность выхода в реальный мир.

Долго все это может продолжаться? Несколько минут, месяц, год? Или целую вечность, ведь смерть не совместима с ментальным пространством хотя бы потому, что моей нематериальной сущности не грозит ни голод, ни удушье, ни процессы энтропии?

Ладно, думать об этом рано. Главное сейчас — не паниковать. Попробую спокойно разобраться в случившемся. Раньше верхним пределом всех «душеходств» являлась моя законная телесная оболочка, продолжавшая жить не только в памяти ментального пространства, но и в реальных координатах пространства-времени. Из нее я уходил, в нее я и возвращался. Если применительно к понятию «генеалогическое древо» использовать биологические термины, то нужно говорить о так называемом апексе, или точке роста.

Теперь кем-то создана преграда, в моем конкретном случае находящаяся примерно на уровне пятнадцатого-шестнадцатого веков до нашей эры.

Естественно, сразу напрашивается мысль — это козни Минотавра, а лучше сказать, Астерия, потому что минотаврами я отныне буду называть всех существ данной породы.

Впрочем, эта скоропалительная догадка не выдерживает никакой критики. Над такими вещами, как ментальное пространство, не властны ни люди, ни сверхлюди, ни даже боги, если бы они существовали. Это явление абсолютно иного, не познаваемого для нас порядка.

Астерия, конечно, дураком не назовешь, но он сын своего времени, и вся подноготная, связанная с моим проникновением в тот мир, не доступна его пониманию. Хотя «путь Мнемозины» — выражение довольно удачное. При определенной натяжке этот термин, придуманный оракулом, можно считать синонимом «душеходства».

Короче, любые внешние причины нужно исключить в связи с их малозначительностью. Крик петуха не может повлиять на восход солнца. Остаются причины внутренние, порожденные какими-то естественными (или форс-мажорными) процессами, проходящими в самом ментальном пространстве.

Я ведь про него почти ничего не знаю. Возможно, здесь существуют свои сезоны, и река времени, которой я доверился, судоходна только в строго определенные периоды. Тревожит только то обстоятельство, что перемены к худшему начались непосред-

ственно после моего неудавшегося покушения на Минотавра, то бишь Астерия.

Попробуем взглянуть на проблему более узко. Скорее всего я имею отношение только к ничтожной части ментального пространства, представляющей собой отпечаток судеб всех моих предков, каким-то мистическим образом запечатлевшийся в памяти мироздания и условно именуемый «генеалогическим древом».

Но что значит одно дерево по сравнению с огромным миром, где, условно говоря, существуют и бездонные моря, и неприступные горы, и необъятные пустыни? Практически ничего. Зато весь род человеческий, взятый совокупно, — это уже целый лес, а вернее, несколько отдельных лесов, потому что индоевропейцы, к коим я имею честь принадлежать, связаны с аборигенами Австралии и Америки весьма условно.

Дерево живет до тех пор, пока целы его корни и крона (всякие там саксаулы мы пока в расчет не берем). То же самое, возможно, касается и «древа генеалогического», существующего только в ментальном пространстве. Однако корни его уходят так далеко в прошлое, что повредить их практически невозможно. Этого нельзя сказать о кроне.

Если срезать все ветви, а проще говоря, на каком-то историческом этапе уничтожить всех моих родственников, то древо жизни может засохнуть. Не сразу, конечно, но в ментальном пространстве понятия «быстро» и «медленно» отсутствуют.

Допустим, что Астерий, сразу после визита Тесея осознавший всю меру угрожающей ему опасности, стал интенсивно уничтожать род человеческий и добился в этом деле немалых успехов, которые в дальнейшем развили его потомки. Множество отдельных «генеалогических древ» лишились кроны, вследствие чего их корни, проросшие сквозь века, стали засыхать. На месте человеческого леса возрос лес минотавров.

Версия, конечно, небезынтересная, но, как и всякое умозрительное построение, скорее всего неверная. Однако другой пока нет.

Что она мне дает, так сказать, для понимания текущего момента? А то, что минотавры при всем их старании вряд ли смогут уничтожить человечество целиком (хотя кроманьонцам в свое время удалось провернуть такое дельце против неандертальцев).

Значит, где-то сохранилась живая веточка (и даже не одна), с помощью которой я покину ментальное пространство.

Для чего это, спрашивается, мне нужно? Не для того, чтобы

начать новую жизнь в первом подвернувшемся теле, хотя сие было бы вполне объяснимо. И, конечно же, не для того, чтобы полюбоваться на мир будущего, в котором свирепые чудовища уничтожают моих братьев и где смертный враг представлен не в единственном числе, а в миллионах экземпляров.

Цель у меня будет одна — любым способом добраться до Астерия. Не важно, что он будет собой представлять — плод, зреющий в утробе матери, ребенка, забавляющегося игрушками, или доблестного мужа в расцвете сил. Теперь, когда я знаю истинную цену этого чудовища, ему не миновать смерти.

А если понадобится, то мы умрем вместе.

Я понимаю, что это звучит чересчур напыщенно и, в общем-то, не согласуется с моими прежними взглядами, но иногда жизнь ставит нас перед суровым выбором. Или — или. Даже Сократ, пузатый циник и пустобрех, в лихую годину стойко сражался в рядах афинских гоплитов и не однажды смотрел в лицо смерти.

Остается, правда, еще Ариадна и молодая поросль наследников, но без защиты главы рода они вряд ли выживут.

Дело за малым — вырваться из этой ловушки, в которой я застрял, как муха в паутине (или, хуже того, как муха в янтаре).

Возможно, я и обманываюсь, но временами возникает ощущение какого-то движения, направленного в сторону прошлого. Как будто бы сверху давит поршень, медленно-медленно отжимающий меня вниз.

Между прочим, моя теория позволяла объяснить это явление. Дерево жизни постепенно засыхает, и то, что еще недавно было живой, кипучей, невесомой, как эфир, плотью, цепенеет, превращаясь в непроницаемую мертвечину.

Как выразился бы врач, процесс некроза идет от центра к периферии, то есть к корням. Туда же, на правах инородного тела, следую и я. Знать бы, как долго это продлится. Неужели в конце концов мне придется вселиться в тело первого хомо сапиенс, который по всем научным данным был бабой, да к тому же чернокожей.

Внезапно я ощутил знакомый толчок — слабый, совсем иной, чем прежде, но тем не менее узнаваемый. Вот они, последние почки гибнущего древа!

Судьба давала мне шанс, но я не успел им воспользоваться. Просто-напросто прозевал. Будем надеяться, что ситуация повторится.

Время тянулось так медленно, что невольно напрашивалась мысль — вместе с моим генеалогическим древом умирает и оно. Окружающее меня ментальное пространство вырождалось, меняя былые свойства. Я опускался все глубже и глубже в прошлое, но в каком же черепашьем темпе все это происходило!

Как я и ожидал, ситуация, способствующая переходу в реальный мир, повторилась. Причем вплоть до самых мельчайших деталей, в том смысле, что я опять не успел воспользоваться представленным мне шансом. В первый раз проморгал, а теперь, ради разнообразия, проворонил. Ничего не поделаешь — трудно находиться в состоянии постоянной готовности, то задремлешь, то чем-то отвлечешься.

Удача улыбнулась мне лишь с пятой или шестой попытки.

Прежде я вылетал из ментального пространства пробкой, а теперь едва-едва выкарабкался.

Опять была ночь, опять меня угораздило вселиться в женщину, и, конечно же, со мной опять сотворили непотребство. Вдобавок все это происходило на колючей соломе, в скрипучей арбе, высокие колеса которой спицами пересчитывали звезды.

Отрадно, что люди здесь продолжали жить и размножаться. То, что происходило в ментальном пространстве, их совсем не касалось. Как, впрочем, и печальные перспективы человеческого рода.

Спешка сейчас была вряд ли уместна, но тянуть время тоже не стоило. Еще даже не одернув свои изрядно растрепанные одежды, я сунул руку между спиц колеса.

Боль, сопутствуемая мерзким хрустом, дошла аж до пяток. Прости меня, бабушка в энном поколении. Вопрос стоит о жизни и смерти человечества. А перелом со временем заживет, даже открытый. Поверь на слово благодарному пациенту трех больниц, двух клиник и одного госпиталя.

В ментальное пространство я влетел пушечным ядром — наверное, душа получила слишком большое ускорение. Конечно, возвращаться в заведомо гибнущий мирок генеалогического древа было большим риском, но выбора, увы, не имелось.

К сожалению, мои надежды не сбылись. Ментальное пространство было перекрыто и здесь. Меня вновь медленно потянуло вниз.

Ну и пусть. Не стоит драматизировать ситуацию. Сам я, надеюсь, неуязвим. Времени в запасе — немереное количество. Упорства хватит. Будем трепыхаться дальше.

Невозможно даже подсчитать, сколько раз я выходил в ре-

альный мир и вновь потом возвращался обратно. Боже, кем я только не был в бесконечной череде новых жизней! И жрецом-предсказателем при каком-то мрачном идоле, и храмовой танцовщицей, и поваром в богатом доме, и тюремщиком, и канатоходцем, и тяжеловооруженным воином неведомой державы. Но чаще всего почему-то рабом, пастухом, земледельцем и нищим, а однажды даже совершенно отмороженным дикарем, питавшимся сырым мясом и скрывавшим свой срам пучком пальмовых листьев.

Надежда на успех таяла, зато соблазн остаться на бессрочную побывку в каком-нибудь достойном теле — возрастал.

А затем, когда от усталости и отчаяния я потерял интерес не только к себе самому, но и к грядущей судьбе человечества, случилось нечто невероятное.

Предварительно повесившись на воротах своего собственного жилища, я проник в ментальное пространство, но угодил не в привычную мертвую зыбь, а в нечто вроде смерча, способного вознести к небесам что угодно, вплоть до таких нелетающих предметов, как железнодорожный состав или рыболовный траулер.

Меня уносило в будущее прямо-таки с бешеной скоростью. А привычные толчки, означавшие сами знаете что, усилились до такого предела, как будто бы мои неизвестные родственнички зачинали не ребятишек, а, по крайней мере, слонят.

Куда же я попал? Ясно, что в ментальное пространство. А откуда тогда такие непривычные ощущения? Наверное, это другое генеалогическое древо, совсем не похожее на то, к которому я успел привыкнуть. Дуб по сравнению с осиной.

Считать канувшие в прошлое поколения не имело смысла — я давно уже утратил ориентацию во времени. Приходилось, как и прежде, действовать наудачу.

Еще не опомнившись толком от столь бурных и неожиданных перемен, я изо всех сил рванулся на волю (честно говоря, за последнее время ментальное пространство успело мне изрядно осточертеть).

И опять все вышло вопреки ожиданиям. Мало того, что меня занесло на какое-то постороннее генеалогическое древо, так и на свет божий я проник совсем иным способом, чем прежде, — без всяких там сексуальных эксцессов и сцен насилия. То есть как солидный и порядочный человек.

Но я больше не был человеком...

Сначала о том, что я увидел чужими глазами.

Туман, белый и густой, словно парное молоко, закрывал три четверти горизонта, а за ним, в неимоверной дали, прежде недоступной для моего зрения, вздымались покрытые снегом горные кряжи.

Где-то там было и солнце, лучи которого освещали только самые верхушки гор, да перистые облака, скупо разбросанные по ясному небу. День намечался великолепный.

Справа и слева от меня тоже вздымались горы, но уже совсем другие — сглаженные временем, пологие, обильно поросшие лесом. Прямо из-под ног вниз уходила широкая долина, которой до полной гармонии не хватало только тучных стад да счастливых пейзан.

В противоположном конце долины копошились люди, отсюда казавшиеся маленькими, словно жучки-навозники, облепившие зеленую коровью лепешку.

Внимательно присмотревшись, я понял, что эти люди сплачиваются в боевые порядки — передние в рассыпанные цепи, задние в плотные колонны. Мелькали там и всадники, но по сравнению с пехотой их было немного.

До того места, где я стоял, из долины не доносилось ни единого звука.

Молчали и те, кто находился подле меня. Молчали не потому, что им было нечего сказать, а в силу моего бесспорного превосходства.

Все мои соратники были облачены в сверкающие доспехи, чешуей спускавшиеся ниже колен, зато головы их были не покрыты.

Но что это были за головы, что за лица!

Огромные шишковатые черепа, височные бугры, нависающие над ушами, тяжелые лбы, глубокие провалы глазниц, каменные скулы, плотно сжатые безгубые рты, гири-подбородки, далеко выдающиеся вперед.

Все были подстрижены на один манер — череп вплоть до затылка выбрит до блеска, а сзади свешивается густая, жесткая грива, в нескольких местах перехваченная золотыми фибулами.

Меня окружали минотавры.

Теперь о том, что я ощутил, оказавшись в чужом теле.

Первое впечатление было, как у автомобилиста, пересевшего из легковушки в тяжелый грузовик. Мощь, уверенность, презрение ко всем встречным-поперечным и сознание своей исключи-

тельности, так и сквозившее в сознании предка, действовали просто угнетающе.

Мысли возникали так внезапно и проносились так быстро, что я почти не улавливал их. Да и строй этих мыслей был совсем иной. Там, где обычный человек размышляет, прикидывая различные варианты, у моего предка уже имелось неизвестно откуда взявшееся готовое решение. Он как будто бы знал все наперед. Киммериец Шлыг или уличная девка Ампелида были ближе и понятнее мне, чем это существо.

Есть такое выражение — «душа содрогнулась». Душа вообще-то не может содрогаться, так говорится для красивого словца, но с моей собственной душой это, клянусь, случилось.

Я, Олег Наметкин (будем для ясности придерживаться моего первого имени), странник в ментальном пространстве, защитник человечества и охотник за минотаврами, сам стал минотавром!

Надо признаться, что каша, по моей инициативе заварившаяся на ложе лукавой Ариадны, получилась отменная. Прижив с ней ребенка, я помимо воли сделался родней всего этого свирепого племени. Не иначе как от нашей злосчастной связи пошел род быкочеловечьих аристократов, ведь его основатель, мой кровный сын, приходился племянником самому Астерию, патриарху минотавров.

Не знаю, сколько лет прошло с тех пор и сколько поколений успело смениться, но вот я стою сейчас среди врагов человечества, готовый к очередному бою, к очередной победе, к очередной резне, приближающей торжество дела, задуманного Астерием еще много веков назад...

— Не пора ли начинать, — вкрадчиво произнес один из минотавров, отличавшийся от всех прочих огромным драгоценным камнем, сверкавшим в ухе. — Зачем ждать, пока туземцы построятся в боевой порядок.

— Пусть себе строятся, — небрежно ответил мой родственник-минотавр. — Скоро солнце поднимется выше, и в долине станет жарко. Попарятся они в своих доспехах. А сюда туземцы вряд ли сунутся, слишком долог и тяжел подъем.

— Твои стратегические таланты общеизвестны, — минотавр вынул драгоценный камень из уха и на манер пенсне приставил к правому глазу. — Но я вижу, что в тылу туземцев происходит какая-то странная суета. Как бы они не отступили, уклонившись от битвы.

— Будь спокоен, Перменион. Я заранее послал в обход отряд

под командованием Клита. Да и река не позволит им уйти. Чувствуешь запах гари? Это горят переправы, еще до рассвета подожженные нашими лазутчиками. Туземцы в западне, хотя еще и не знают об этом.

— Я преклоняюсь перед твоей прозорливостью, Александр Двурогий. — Перменион поклонился и отступил за спины других минотавров.

Александр! Вот, значит, каково мое нынешнее имя. Да еще и Двурогий. Нет ли тут какой-то связи с великим завоевателем Александром Македонским? История, переделанная заново, может явить миру много мрачных и забавных казусов.

— А сейчас вернемся в тень шатра и продолжим прерванный завтрак, — сказал Александр, резко поворачиваясь на каблуках (пока говорил и действовал только он один, я же старался ничем не выдавать себя).

Такое предложение одобрили все, даже минотавр с перебинтованным лицом, которому завтрак был нужен, как мертвому припарка.

Я мало что знаю о вкусах и пристрастиях давно опочившего Астерия, но его потомки, как видно, ценили уют и комфорт. Легкий, пурпурного цвета шатер, в котором был приготовлен завтрак, вмещал не меньше сотни гостей.

У входа торчали воинские штандарты — не римские орлы, не финикийские конские головы и не египетские лики богов-покровителей, а трезубцы Посейдона, украшенные бычьими хвостами.

Пол в шатре устилали ковры. Повсюду дымились курительницы с благовониями. Не знаю, как здесь пировали, но завтракали на критский манер, сидя за столами на лавках.

Яства, правда, были довольно скромные, достойные скорее простых солдат, чем высших военноначальников, — жареное мясо, ячменный хлеб, яйца каких-то мелких птиц, кислый виноград, неразбавленное вино.

Минотавр по имени Перменион, сидевший за столом напротив меня (и, видимо, имевший на это право), спросил льстивым тоном:

— Считаешь ли ты, что после этой битвы завоевание Италии закончится?

— Нет, — ответил Александр, макая жареное мясо в мед. — Мне донесли, что жители города Рима собирают новую армию и им уже обещали помощь много раз битые нами пунийцы.

— Что это за город такой — Рим? — удивился Перменион. — Никогда о нем не слышал.

— Легенды гласят, что его основали беженцы из Троады, после того как Астерий Непобедимый в союзе с глупыми ахейцами разрушил их столицу Илион.

— Велика ли римская армия?

— Вряд ли. Но это стойкие и закаленные бойцы.

— Не лучше ли привлечь их на свою сторону дарами или посулами?

— Дары и посулы лучше прибереги для трусов. А достойного противника нельзя унижать даже пощадой. Герои заслуживают или победы, или смерти. Пусть римляне сами сделают свой выбор, как это сегодня сделают латины, умбры, оски и прочие туземцы.

— Тогда все они умрут. Армию, возглавляемую тобой, победить невозможно. И за это следует выпить, — Перменион выхватил кувшин из рук слуги-виночерпия (кстати говоря, человека) и сам наполнил кубок, стоявший перед Александром.

В этот момент в шатер вошел минотавр, доспехи которого покрывал изрядный слой пыли. Кроме меча, он имел при себе жезл в виде двух змей, обвивающих друг друга, — символ бога врачевания Асклепия.

Сдержанно кивнув присутствующим, вновь прибывший доложил:

— Прибыли пленницы из Лигурии. Мы отобрали только тех, кто способен зачать не сегодня-завтра. Жду дальнейших распоряжений.

— Сейчас ты получишь семя от каждого из потомков Астерия. — Александр обвел своих соратников тяжелым взглядом. — К полудню все туземки должны быть оплодотворены. Для верности мы продолжим эту процедуру еще несколько дней кряду.

— Нельзя ли сдать семя после боя? — неуверенно поинтересовался кто-то.

— Нельзя, — отрезал Александр. — После боя наше число может сократиться. Тогда сократится и число забеременевших туземок. А наше потомство — залог нашей окончательной победы. Так учил Астерий Непобедимый. Можете начинать с меня. Такова уж моя участь — во всем подавать пример... Эй, оруженосцы, помогите снять доспехи!

Полог шатра распахнулся пошире, и внутрь шатра вступили еще несколько минотавров-медиков, каждый из которых имел при себе поднос с многочисленными склянками.

О дальнейшем стыдливо умолчу. Даже самому оголтелому разврату можно придумать оправдание — дескать, естество требует, ничего не поделаешь. Но массовое рукоблудство, затеянное с одной-единственной целью — распространить свою породу как можно шире, вызывает невольное отвращение.

Теперь понятно, почему я попал в реальный мир, минуя, так сказать, стадию зачатия. Она состоялась, но где-то совсем в другом месте и без непосредственного участия моего страховидного родственника.

Да, интересные получаются пироги. Как говорится, о дивный новый мир! Мир, где быкочеловеческий аналог Александра Македонского воюет не на востоке, а на западе, где Рим всего лишь заштатный италийский городишко, а извечные враги римлян, пунийцы, сражаются на их стороне, где с пленниками разного пола поступают по-разному — всех женщин оплодотворяют, а всех мужчин кастрируют (последнюю новость мне удалось каким-то образом выдернуть из сознания Александра).

И еще одна тревожная мысль посетила меня. Из двух одноименных признаков, имеющихся у отца с матерью, ребенок наследует тот, который имеет более древнюю историю. Кажется, он называется доминантным.

Первые люди были черными, темноглазыми, курчавыми и низкорослыми. Арийцы во всей их нордической красе появились значительно позднее.

От брака негра и белой женщины никогда не родится белый ребенок. Стопроцентная гарантия, что он будет смугл, кареглаз и кудряв, как овечка. То же самое касается и роста, хотя этот наследственный признак в последнее время затушевала акселерация.

Насколько я успел понять, от скрещивания людей и минотавров получаются исключительно минотавры, пусть и не чистокровные. Следовательно, их род древнее нашего и не они произошли от нас, а все наоборот.

Тогда мои хлопоты обещают стать бесконечными. Монстры, подобные Астерию, будут появляться то здесь то там, во всех временах и странах. Мне не хватит и ста жизней, чтобы расправиться с ними.

Впрочем, все это пока только догадки и предположения. Главное сейчас другое — предотвратить победу минотавров или хотя бы позволить людям достойно отступить.

...Едва только Александр Двурогий с помощью оруженосцев вновь облачился в доспехи, а врачи-осеменители покинули шатер, унося свою добычу более бережно, чем символ веры, как снаружи троекратно пропела труба.

— Туземцы двинулись в атаку! — объявил Перменион, хотя все это прекрасно поняли и без него.

— Утренние прогулки не всегда полезны, — спокойно произнес Александр. — Особенно если гуляющий обременен таким количеством железа... Где начальник над метательными машинами?

— Я здесь, — за соседним столом приподнялся минотавр, на панцире которого были изображены скрещенные молот и клещи — символ Гефеста.

— Твои люди пристреляли баллисты и катапульты?

— Еще вчера.

— Когда туземцы приблизятся на приемлемое расстояние, не пожалей для них камней и стрел.

— Будет исполнено!

Артиллерист (назовем его так) исчез, и через некоторое время до моего слуха донеслись хлопки, переходящие в быстро удаляющийся свист — это через шатер в сторону приближающегося неприятеля полетели огромные стрелы и многопудовые камни.

— Я уже ощущаю, как дрожит земля, — заявил чересчур говорливый Перменион. — Не знаю, как дерутся туземцы, но шаг они печатают уверенно.

— За победу! — Александр поднял кубок, но пригубил только глоток вина, а остальное выплеснул на ближайшую из курительниц. — И да поможет нам в этом Арес Кровожадный и Посейдон Губитель!

Минотавры дружно вставали, опрокидывая столы и топча посуду вместе с угощениями. Похоже, что возвращаться сюда они уже не собирались. Перменион, оттертый толпой от Александра, вообще вышел наружу через прореху, проделанную в стене шатра мечом.

Оруженосцы немедленно подали шлемы, объемистые, как ведра. Александру поверх шлема водрузили еще и золотой венец, наверное, олицетворяющий верховную власть.

Сектор обзора сразу сократился, однако искушенный взор прирожденного стратега, каковым несомненно являлся Александр, охватил всю диспозицию противника как целиком, так и в деталях.

Туман поредел, расслоился и отступил к реке, изгибы кото-

рой уже смутно просматривались сквозь нежную сиреневую дымку. На противоположном берегу шел бой, но он никоим образом не мог повлиять на исход главного сражения.

Армия италийцев, экономя силы, приближалась мерным, неспешным шагом. Тяжело вооруженные воины были построены манипулами, имевшими по десять человек в каждой из двенадцати шеренг. Лучники и пращники двигались впереди рассыпанным строем и держали свое оружие наготове. Фланги прикрывала кавалерия, в поисках возможной засады все время заезжавшая в лес, с обеих сторон окаймлявший долину.

Камни и стрелы, дождем сыпавшиеся на италийцев, причиняли им немалый урон, но совершенно не влияли ни на порядок построения, ни на темп наступления. Я даже почувствовал гордость за этих людей.

Чтобы увидеть и осознать все это, хватило нескольких секунд. Из сознания Александра я выудил план предстоящего сражения, которым он не делился даже с ближайшими соратниками, запоздалое сожаление о том, что левый фланг недостаточно выгнут вперед и проект указа о материальном стимулировании туземок, родивших и выкормивших быкочеловеческое дитя (за первого полагалось денежное вознаграждение, за второго — дом в провинции, за третьего — надел земли с рабами мужского пола, предварительно подвергнутыми кастрации).

Мой родственник, как и его знаменитый тезка, умел решать по нескольку проблем одновременно. Ничего хорошего от такого универсализма ожидать не приходилось. Как учит история (правда, другая), гении нежны и недолговечны, как экзотические цветы. На каждого Моцарта найдется свой Сальери, а на каждого Наполеона — Кутузов.

Камень, ловко посланный из италийской пращи, задел кого-то из минотавров, впрочем, без видимого ущерба. Шеренга щитоносцев, сразу выстроившаяся перед нами, занялась ловлей и отражением всего того, что негостеприимные хозяева посылали в дар незваным гостям.

— Пускайте кельтскую фалангу, — приказал Александр, махнув рукой куда-то назад и в сторону (до сих пор он ни разу не оглянулся, и я не имел никакого представления о составе и численности войск минотавров).

Взвыли сигнальные трубы, прозвучали слова команд, и мерный топот марширующих бойцов раздался уже сзади, только на сей раз к нему примешивался звон цепей, который никак нельзя было спутать со звоном оружия, да сухие щелчки бичей.

Метательные машины сразу прекратили свою работу, тем более что снаряды падали уже далеко за спинами италийцев, пугая разве что птиц, слетевшихся поклевать свежий конский навоз.

Фаланга, в которой на глаз было не меньше двух тысяч бойцов, без задержки проследовала мимо нас и, постепенно убыстряя шаг, устремилась навстречу италийцам.

Все это были люди — рыжие и белобрысые кельты, на случай малодушия или измены скованные между собой цепями. Передние держали свои длинные копья за середину, задние — за самый конец. Щиты и мечи им не полагались — фаланга выполняла всего лишь роль живого тарана, долженствующего опрокинуть противника исключительно силой своего напора.

За кельтами следовал отряд конных минотавров, кроме всего прочего, вооруженный еще и длинными бичами, которыми полагалось подбадривать союзников.

— Почему у кельтов такой унылый вид? — поинтересовался Александр. — Разве я не велел напоить их вином, настоянном на перце?

— Утратив детородные органы, они утратили и мужество, — пояснил вездесущий Перменион. — Холощеный конь хорош в ярме, но не под боевым седлом.

Легковооруженные италийцы осыпали фалангу всем тем, что еще оставалось у них под рукой, и рассыпались в разные стороны.

Две ощетинившиеся оружием сплоченные человеческие массы должны были вот-вот столкнуться, но манипулы внезапно расступились, пропуская не способную к маневру фалангу мимо себя (прием, хорошо известный мне еще со времен службы в шерденах, но здесь доведенный до совершенства).

Разогнавшаяся под уклон фаланга уже не могла остановиться и катилась все дальше, избиваемая с флангов, а потом и с тыла италийцами. Минотавры, отчаянно пришпоривая лошадей, помчались назад.

— Что можно ждать от кастратов! — презрительно вымолвил Перменион. — Жалкие ублюдки. Только вино и перец зря на них перевели.

— Свое дело они сделали, — Александр был по-прежнему спокоен. — А сейчас его продолжат другие.

И действительно, как ни высока была дисциплина и выучка италийцев, но многие манипулы, в особенности те, которые

продолжали избивать кельтов, смешались. Боевой порядок, прежде идеальный, нарушился.

Если Александр сейчас пошлет в бой отборные части — тяжелую кавалерию, гоплитов или слонов, чей грозный рев раздавался за нашими спинами, — то люди, увлекшиеся уничтожением себе подобных, а по сути дела треплющие кость, брошенную им для отвода глаз, вряд ли устоят на своих позициях.

Нужно было срочно выходить из подполья и предпринимать какие-то решительные действия.

Физиология людей и минотавров была схожей (подтверждение тому — возможность иметь общее потомство), но почти во всем, что касалось так называемой нервной деятельности, быкочеловеки превосходили нас. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно было просто глянуть на их вместительные черепа.

Другое дело, на что была направлена работа этих замечательных черепов. Но тут уж ничего не поделаешь — не знаю, как насчет гения, а ум и злодейство очень даже совместимы. Примеров тому несть числа.

Конечно, я имел немалый опыт укрощения тех, с кем имел сомнительное удовольствие делить одно и то же тело, но здесь был случай особый. Меня можно было сравнить с радиотехником, успешно освоившим ламповые приемники, но вынужденным заняться последней моделью «Сони».

Извилин в этом мозге хватило бы на двоих, а до подсознания Александра я и не мечтал добраться. Нельзя было даже точно определить, где у него что находится — например, центр удовлетворения или центр ярости.

Впрочем, ломать — не строить! Если и не сворочу его мозги на сторону, то хотя бы шороха там наделаю. Трудно командовать армией, если у тебя в голове шарики за ролики заходят.

Попытка нанести удар по органам чувств успехом не увенчалась. Если я и попал куда-то, то явно не туда. Зрение, обоняние и слух остались под контролем Александра, но вот с голосом у него почему-то возникли проблемы. О таких, как я, говорят — целил в висок, а угодил в гузно.

С другой стороны, в этом что-то есть. Немой военачальник — нечто особенное. Были военачальники одноглазые, сухорукие, хромые, страдающие нанизмом[1], полубезумные и даже не принадлежащие к мужскому полу, а вот про немых мне слышать что-то не приходилось. Вероятно, такое невозможно в принци-

---

[1] Нанизм — ненормально низкий рост, карликовость.

пе, как беспалый кузнец или слепой меняла. Что ни говори, а положение обязывает.

Сначала Александр пыхтел, хрипел и стучал кулаком по своей железной груди. Свита тут же обратила внимание на возникшие у него затруднения. Был подан походный стул и кубок самого лучшего вина.

— Что случилось? Ты ранен? — допытывался Перменион.

Александр, продолжая тяжко хрипеть, отрицательно покачал головой.

— Подавился? — не отставал Перменион.

Александр кивнул, однако вино, отправленное внутрь одним молодецким глотком, дар речи не вернуло.

А время не ждало. Покончив с несчастными кельтами, италийцы уже ровняли свои ряды. Минотаврам, дабы развить некоторый тактический успех, надлежало без промедления нанести новый удар.

План Александра мне был известен — смелыми атаками рассеять кавалерию противника на флангах, а центр сокрушить гоплитами. Слоны составляли резерв. Битва должна была закончиться на берегах реки, где италийцам предстояло сделать драматический выбор — умереть под ударами вражеских мечей или вплавь преодолеть бурное течение.

Уже казалось, что нужный момент упущен, но Александр проявил завидное хладнокровие. Убедившись, что язык не повинуется, он стал отдавать приказы жестами.

Как я мог помешать ему? Для внедрения в психику требовалось слишком много времени. Руки его мне не подчинялись. О полном разрушении личности, как это удалось в случае с Хишамом, и мечтать не стоило — плетью обуха не перешибешь.

Оставалось одно — вести себя, как мартышка в галантерейной лавке, то есть путать, рвать и портить все, что поддается твоим усилиям. На первых порах такая вредоносная тактика успеха не принесла, слишком объемист и замысловат был мозг минотавра, но потом я ненароком задел центр, отвечающий за ориентацию в пространстве (а ведь мог задеть центр, возбуждающий храбрость, единственную добродетель, которую Гомер считал сестрой безумия).

На онемевшего Александра навалилось новое горе — оставаясь в здравом уме и твердой памяти, он утратил представление о левом и правом, близком и далеком, заднем и переднем.

Очень натурально изобразив на пальцах мерно шагающего

воина, он сделал повелительный жест в сторону, противоположную той, где находилось поле боя.

— Гоплитов послать в обход? — переспросил озадаченный Перменион.

Вместо того чтобы отрицательно мотнуть головой, Александр затряс ею сверху вниз, что было воспринято окружающими как знак одобрения.

Несколько тысяч отборных гоплитов-минотавров сделали поворот кругом и отправились на поиски горных троп, которые должны были вывести их в тыл италийцам. Более самоубийственного маневра не смог бы придумать даже откровенный изменник.

Все видя и все прекрасно понимая, Александр вскочил со стула, дабы самолично остановить уходящую тяжелую пехоту, но не соразмерил своих усилий (теперь для него было все едино — что вершок, что сажень) и в полном боевом облачении грохнулся на землю.

— Позвать врачевателей! — крикнул Перменион. — Быстрее!

Пока минотавры-лекари, являвшиеся одновременно и жрецами Асклепия, обмахивали Александра всякими подручными средствами и давали ему нюхать едкую соль, италийцы приблизились на расстояние, позволявшее обмениваться бранными словами. Наконец-то дорвавшийся до власти Перменион немедленно распорядился:

— Кавалерию вперед!

Вот этого как раз и не следовало делать. Кавалерия без поддержки пехоты то же самое, что бык без рогов — и напугает, и бока намнет, а забодать не забодает. Уж лучше пожертвовать резервом — слонами. Тем более что италийцы не имеют опыта борьбы с ними.

Мысли у Александра были здравые, но их еще требовалось как-то довести до сведения соратников. Уж и не знаю, каким усилием воли он выдавил из себя сиплое и малоразборчивое:

— Слонов! Пускайте слонов!

Перменион, которым владели сразу две взаимоисключающие друг друга страсти — угодничество и властолюбие, немедленно отдал новый приказ, при этом не успев (или забыв) отменить предыдущий.

Едва только кавалеристы-минотавры, сопровождаемые телохранителями эфиопами, державшимися за стремя хозяина, поравнялись с нами, как их настигли боевые слоны — свирепые

чудовища, размалеванные пурпуром и хной, с раззолоченными бивнями и колокольчиками в ушах.

Нагрудники и все постромки слонов были покрыты длинными шипами, а на спинах возвышались ивовые башенки с лучниками. Каждый вожатый имел при себе не только острейший крюк, выполнявший роль руля, но и тяжелый молот-клевец, заменявший, так сказать, аварийный тормоз.

Кони и слоны перемешались, что не понравилось ни тем, ни другим. Шипы наносили раны и всадникам и скакунам, а склонные к панике элефанты шарахались от лошадей, путавшихся у них под ногами. Неразбериха усугублялась тучами горящих стрел, летевших со стороны италийцев.

Прямо на моих глазах взбесившийся слон-самец сбросил со спины башенку и, подобно подбитому танку, завертелся на одном месте. Вожатый, чудом удержавшийся в своем хлипком седле, ударом молота размозжил череп гиганта, но не успел вовремя спрыгнуть и оказался под рухнувшей тушей. Аналогичные сцены происходили повсюду.

Александра поставили на ноги, и я получил возможность его глазами увидеть сцену столкновения италийской армии с обрушившейся на нее лавиной разъяренных животных. В один момент из людей, лошадей, слонов и минотавров образовалась куча мала (а на самом деле ох какая огромная!).

Долина, имевшая в ширину несколько тысяч шагов, оказалась тесной для этой кровавой забавы.

Никаких подробностей сражения различить было невозможно. Да и не сражение это было, а всеобщее побоище, где в неимоверной давке люди гибли целыми центуриями, где слонам вспарывали брюхо и совали в хобот горящую паклю и где всадник не имел никакого преимущества над пехотинцем, а, наоборот, становился легкой мишенью для летевших отовсюду стрел и дротиков.

Свита Александра, прежде соблюдавшая подчеркнутое спокойствие (Перменион не в счет), теперь обнажила мечи. Уцелевшие щитоносцы еще плотнее сомкнули строй. Все было готово к отражению атаки, хотя я даже не знаю, кто нам сейчас больше угрожал — прорвавшиеся вперед италийцы или свои собственные слоны, искавшие путь к спасению.

Чей-то голос воскликнул: «Коня! Подать коня Александру Двурогому!» — но тотчас осекся, и через сознание предка я понял причину этого. Согласно обычаям минотавров, полководец перед боем отсылал свою лошадь в обоз и в случае неудачи обя-

зан был сражаться, как простой пехотинец, оберегаемый от врага только собственным мужеством да незримой эгидой Афины Промахес[1].

Александр тоже выхватил меч, хотя и не сразу нашел его рукоятку. Большая часть слонов уже билась в агонии, а уцелевшие улепетывали в лес, давя своих и чужих. Кавалерия еще сражалась, но было понятно, что в такой толчее ей долго не продержаться.

Надо было трубить сигнал к отступлению и, бросив бесполезные метательные машины, отходить вверх по уклону долины, чтобы там, на просторе, завязать с италийцами решающую схватку (эта мысль, естественно, принадлежала не мне, а Александру).

Желая передать ее соратникам, он громко замычал и взмахнул мечом. Однако его опять поняли превратно.

— Александр повелевает стоять на этом месте до последней капли крови! — возвестил Перменион, у которого в сочленениях доспехов уже торчало несколько обломанных стрел. — Боги испытывают наше мужество, но в конце концов отдадут победу достойнейшим из своих детей, кефалогеретам!

Кефалогереты — вот, значит, как называют себя минотавры. Как же это лучше перевести? Если дословно, то собиратели голов. Не чужих, конечно, а своих собственных. В том смысле, в каком Геракла можно назвать собирателем физической мощи. Но понятнее и проще будет — головастые. Так иногда величают самого Зевса.

«О, Зевс Головастый, покровитель чужеземцев...» Уж и не помню, откуда это. Кажется, из «Немезиды» Кратина...

Невероятно, но Перменион оказался прав. Чаши весов, на которых решалась участь сражения, опять заколебались.

Отряды минотавров, рано поутру разбившие италийцев на противоположном берегу, переправлялись через реку на плотах.

Гоплиты, совершившие утомительный марш-бросок, но не потерявшие ни единого бойца, уже спускались с гор, на ходу выстраиваясь в боевые колонны.

Кавалеристы, хотя и находились в безнадежном положении, но продолжали мужественно отбиваться, разменивая каждую свою жизнь на две-три вражеских.

Вожатые сумели усмирить нескольких слонов, и те сейчас за-

---

[1] Промахес — у древних греков — боец, сражающийся впереди строя.

ходили италийцам в тыл. От лагеря на помощь регулярной армии спешили конюхи, фуражиры, кузнецы, костоправы и служители всех богов.

Удача вновь поворачивалась лицом к быкочеловекам, то бишь кефалогеретам, но для их признанного вождя Александра Двурогого это имело такое же значение, как и для Василия Ивановича Чапаева в последних кадрах знаменитого фильма — герой гибнет, но дело его торжествует.

Италийцы разметали щитоносцев и мгновенно заполнили все вокруг. Свита Александра была изрублена в единый миг (спастись успел только один Перменион).

Сам Александр продолжал защищаться, шатаясь и без толку размахивая мечом. Лиц людей он не различал, все они казались ему огромной сворой разъяренных псов, затравивших-таки могучего дикого быка.

От удара копьем лопнул подбородочный ремень, и шлем вместе с венцом улетел в сторону. Следующее копье вонзилось в обнаженную шею, а еще одно пробило сочленение доспехов между панцирем и железной юбкой, защищавшей нижнюю часть тела.

Италийцы, опознавшие вождя своих смертельных врагов, попытались вскинуть Александра на копья, дабы их торжество могли разделить все соплеменники, но это не удалось — слишком массивен был он сам и слишком много весили его золоченые доспехи.

ПЕРЕГРИН ПРОТЕЙ, МИНОТАВР

Я и сам не собирался задерживаться в теле Александра Двурогого чересчур долго, но италийцы вышибли мою душу так бесцеремонно и так жестоко, что фантомная боль в костях и мягких тканях (на самом деле напрочь отсутствующих) донимала меня потом даже в ментальном пространстве.

А между тем уже можно было подвести некоторые предварительные итоги. Амбициозным планам минотавров я, конечно, помешать не смог. Ясно было, что рано или поздно они проглотят всю Италию вместе с Римом, как некогда Рим (правда, другой) проглотил всю окружающую его ойкумену.

Зато я получил представление о делах, творящихся в нынешнем реальном мире, столь не похожем на другой реальный мир, где рождались, жили и умирали бесчисленные поколения моих предков и где я, еще будучи Олегом Наметкиным, узрел свет

солнца, научился ходить, овладел грамотой, сделал первую затяжку, познал плотскую любовь, разочаровался в химических науках и неизвестно за какие грехи получил гвоздь в голову.

Кроме того, можно констатировать, что теория о неизменности и предопределенности исторического процесса оказалась блефом. Случилось так, что вопреки предопределенности в схватке Тесея с Астерием победил последний, и в новой реальности род человеческий угасает, а род быкочеловеческий, наоборот, бурно процветает, о чем можно судить хотя бы по состоянию соответствующих генеалогических древес.

Вот и сейчас меня уносило в будущее с такой скоростью, словно я оседлал пушечное ядро. Надо было спешно прервать этот сумасшедший полет, ибо все мои интересы сосредотачивались в прошлом, а точнее — в середине тринадцатого века до нашей эры.

Впрочем, о принятых среди людей эрах и эпохах сейчас можно говорить только чисто условно, как, например, о календаре майя. Было, да быльем поросло.

И опять переход в реальный мир прошел безо всяких любовных сцен и сладострастных потуг.

Все совершилось на диво быстро и буднично. Мгновение назад в виде нематериальной субстанции я еще пребывал в ментальном пространстве, а вот сейчас сижу себе на жесткой скамейке в огромном сумрачном зале.

Хотя не стоит забывать и о том, что как раз в этот момент селекционеры с бычьими мордами в принудительном порядке оплодотворили моим семенем женщину человечьего племени, и в большом семействе минотавров скоро следует ждать прибавления (притяжательное местоимение «моим», естественно, относится не ко мне, а к существу, в тело которого я только что вселился).

Но вернемся, как говорится, к нашим баранам... Про жесткую скамью и сумрачный зал я уже, кажется, упоминал. Добавлю, что в глубине зала располагался жертвенник Посейдону, а компанию мне составляли свыше дюжины так называемых кефалогеретов, нынешних хозяев этого мира.

Все присутствующие, включая меня, были босы, облачены в грубые суконные плащи, а вместо оружия имели при себе суковатые посохи, всегда отличающие праздношатающихся бродяг от оседлого населения.

Однако я не был ни бродягой, ни нищим. Я ощущал себя сытым, здоровым и полным сил.

Вот только уверенности почему-то не хватало. Не той сиюминутной уверенности, связанной с каким-нибудь конкретным делом, а уверенности вообще, уверенности в широком смысле этого слова. Так, наверное, ощущали себя жители легендарной Атлантиды, за одну-единственную ночь утратившие и свою родину, и своих богов, и свое былое величие.

Лично для меня это был хороший знак — вполне возможно, что нынешние дела потомков Астерия обстояли совсем не так успешно, как им хотелось бы.

Между жертвенником и отведенными для нас скамьями расхаживал минотавр, которому лучше следовало бы посидеть, а то и полежать. Он хромал сразу на обе ноги, причем по-разному — на левую припадал, а правую волочил.

Зрелище создавалось довольно комическое, однако все присутствующие слушали калеку затаив дыхание, пусть и не из уважения к нему, то хотя бы из страха за собственное благополучие. Если гневливый Зевс или буйный Посейдон, испепелив очередного ослушника, всякий раз раскаивались в содеянном, то этот достойный жалости урод никогда ничего никому не прощал, полагая милость таким же пороком, как трусость или леность.

Не знаю, как именовалась его должность у минотавров, но в римской иерархии ей соответствовал ранг верховного понтифика, то есть высшего авторитета во всем, что касается вопросов веры.

— А теперь обратите внимание сюда, — колченогий приблизился к низкому обширному столу, на котором была представлена рельефная географическая карта, вылепленная из разноцветного воска.

Австралии, Антарктиды и обеих Америк на ней, слава богу, не было и в помине. Точно так же, как Малайского архипелага, Японии и Сибири.

Китай начинался сразу за Уральским хребтом. Индия размерами превосходила Африку, похожую не на продолговатую редьку, а на круглый помидор. Достаточно достоверно была изображена только Европа, а в особенности — Средиземноморье.

— Каждый кефалогерет обязан денно и нощно помнить о великой цели, завещанной нам праотцом Астерием, — продолжал колченогий бесцветным голосом. — Цель эта состоит в завоевании господства над всей Землей, а потом, если провидению будет угодно, то и над небесами... Я не оговорился. Все мы прямые

потомки Астерия Непобедимого, в отличие от жалких людишек, по происхождению равны богам, а это значит, что наше законное место находится среди Олимпийцев.

Никто не посмел возразить колченогому, хотя некоторые из присутствующих обменялись многозначительными взглядами. Сам он, склонившись над картой, подслеповато всматривался в очертания материков, а потом вдруг выбросил вперед правую руку, пальцы которой были скрючены наподобие когтей хищной птицы.

— Печально, что за без малого десять веков мы сумели покорить только Европу, Ливию и часть Азии. Борьба оказалась куда более трудной, чем это могли предположить самые скептические умы. Число кефалогеретов, нашедших в этой святой борьбе геройскую смерть, не поддается подсчету. Я знаю, что погребальные костры горят и в этот момент. Здесь, здесь, и здесь, — он поочередно ткнул рукой в центр Африки, в основание Индостана и в Скандинавию. — Наши войска повсюду продвигаются вперед, хотя и встречают ожесточенное сопротивление варваров... Но это все проблемы внешние, а мы собрались здесь для того, чтобы обсудить проблемы внутренние.

Он закинул руки за спину и быстро заковылял прямо на нас. Сидевшие в первом ряду невольно отшатнулись.

— Клеон, какие внутренние проблемы беспокоят тебя больше всего? — колченогий в упор уставился на одного из минотавров. — Кроме несварения желудка и запоров, конечно.

— Людей слишком много развелось, — неуверенно пробормотал минотавр, названный Клеоном. — Раньше их всех поголовно истребляли. Или, в крайнем случае, кастрировали. А теперь позволяют жить и размножаться. Ох, возблагодарят они нас когда-нибудь за эту жизнь!

— Разделяю твою тревогу, Клеон, — кивнул колченогий. — Да, мы позволяем людям жить подле себя. Как позволяем это коровам, овцам и собакам.

— Коровы и овцы не устраивают на нас засады. А собаки не убивают своих хозяев в постели, — набравшись духу, возразил Клеон.

— Тоже верно. Но кто будет выносить за тобой ночной горшок, подметать дорожки сада, ткать шерсть, добывать пурпур, давить вино и масло, пахать землю, ходить за скотиной? Есть много занятий, за которые не возьмется ни один кефалогерет. Тем более что большинство наших мужчин и немалая часть женщин находится в действующей армии. Политика, направленная

на полное истребление человечества, не оправдала себя. Мы вынуждены мириться с этим зловредным соседством. Сами знаете, что их женщины нужны нам для продления рода. Но женщины не появляются на свет без участия мужчин. Поэтому некоторому количеству самцов было позволено сохранить детородную функцию. На племя мы отбираем самых покорных, самых кротких, самых безропотных.

— Не так давно эти кроткие и покорные сожгли дом моего родного брата, а его самого распяли на заборе, — буркнул минотавр, сидевший прямо передо мной.

— Это так, — снова кивнул колченогий. — Но твой брат имел привычку в зимние вечера согревать свои ноги в распоротом чреве человеческих детенышей. Такие поступки не имеют оправдания.

— Разве я не вправе зарезать собственную свинью? — у спорщика от возмущения даже лопатки под одеждой заходили.

— Ты вправе зарезать зрелую свинью, нагулявшую достаточный вес. Но зачем же губить только народившихся поросят, которые впоследствии обеспечат тебя мясом на целый год. Жаль, что среди Олимпийцев нет богини по имени Целесообразность. Очень жаль.

— Но среди Олимпийцев есть бог по имени Посейдон, говоривший своему любимому сыну Астерию, что день, в течение которого тот не убил человека, прожит зря, — эти слова принадлежали уже другому минотавру, сидевшему в первом ряду с края. — Ему же приписывают пророчество о том, что окончательное торжество кефалогеретов наступит только после того, как на земле исчезнет даже сама память о человеке.

— Никто не собирается оспаривать откровения Посейдона, мудрейшего из мудрых. — Колченогий вернулся к карте. — Все его пророчества сбудутся. Но не скоро. Лазутчики доносят, что в этой стране обитает столько людей, сколько имеется песчинок на морском берегу. — Его скрюченные пальцы коснулись плоскогорий Китая и тут же переместились в Индию. — Да и здесь борьба в полном разгаре. И пока она не закончится, мы не можем отказаться от услуг людей. Недовольными и непокорными занимаются те, кто специально на это уполномочен. Мы же не палачи и не соглядатаи. Мы утешители и врачеватели душ. Мы связующее звено между небом и землей. Мы пастыри как для овец, так и для волков. По крайней мере, так должно быть. А что получается в действительности? Люди отвернулись от наших богов. Они издеваются над Аресом и Аполлоном, плюют на жерт-

венники Зевсу и Посейдону, оскверняют такие святые места, как Геликон, Дельфы и Парнас. Хуже того, они ищут для себя новых богов. И находят их. В Сирии, Палестине, Египте, Тавриде и даже на Оловянных островах. До сих пор мы смотрели на такое безобразие сквозь пальцы, позволяя людям тайно и явно поклоняться этим варварским идолам. Сразу скажу, что с нашей стороны это была непростительная ошибка. Нужно заставить людей вернуться к почитанию прежних богов. Возле общих алтарей забудется древняя распря. Человек, глубоко уверовавший в Зевса и Посейдона, никогда не поднимет руку на их прямых потомков — кефалегеретов. Как ты думаешь, Артемон, такое возможно?

— Безо всякого сомнения, — я не мог видеть этого Артемона, сидевшего где-то позади, но похоже было, что он ухмыльнулся. — Надо уже сегодня объявить, что каждый, уличенный в служении чужим богам, подлежит позорной казни. Затем следует распять, сжечь и затравить дикими зверями достаточное количество ослушников. И я уверен, что уже через месяц люди потянутся в храмы Олимпийцев.

— Вам известно, почему одни кефалогереты становятся воинами, а другие жрецами? — Взгляд колченогого могильным холодом прошелся по нашим лицам. — Скорее всего известно, но я могу и напомнить. В жрецы определяют того, кто с самого раннего детства не проявляет доблестей, достойных воина, а, наоборот, отличается мягкостью нрава, уступчивостью и вдумчивостью. Моя судьба не в счет. Прежде чем посвятить себя служению богам, я прошел сквозь кровь и огонь многих сражений, превративших меня в калеку... Что касается тебя, любезный Артемон, ты равно не способен ни к воинской, ни к жреческой службе. Исключительная тупость сочетается у тебя с трусостью и бессмысленной жестокостью. Печально сознавать, что в такую громадную голову боги не вложили ничего путного... Действительно, к вере можно приобщить и насильно. Как и к любви, например. Но такой вере и такой любви одна цена — медная лепта. Днем люди будут славить Олимпийцев, а ночью предаваться разнузданным оргиям перед ликами своих варварских божков. Более того, людская ненависть к нам только возрастет. Нет, это не выход. Принуждением ничего не добьешься. Следует искать иные пути. Пускай по этому поводу выскажется так чтимый всеми нами Перегрин.

Цепенящий взгляд колченогого уперся в меня, то бишь в минотавра, с которым я делил сейчас тело. Душевный непокой,

давно томивший моего быкоголового родственника, усилился до сердечной боли, однако голос его был подчеркнуто невозмутим:

— Я во многом согласен с тобой. Укротить людей можно только двумя способами — мечом или верой. За десять веков меч не оправдал себя. Пришло время призвать на помощь веру, хотя откладывать меч в сторону тоже не стоит.

— Какую веру ты имеешь в виду? — по-прежнему не отводя взгляда, поинтересовался колченогий.

— Такую, которая бы способствовала примирению исконных врагов. В своих речах ты недавно упомянул овец и волков. Но если мы волки, то люди отнюдь не овцы. Это скорее крысы, существа хитрые, вредоносные и живучие. Если мы сейчас не можем уничтожить всех крыс, значит, нужно научиться сосуществовать с ними. Сосуществовать таким образом, чтобы иметь для себя побольше выгоды и поменьше ущерба... Не думаю, что Олимпийцы в их нынешнем виде способны усмирить людей, привыкших отождествлять любое зло с Зевсом, Посейдоном и Аресом. По нраву им может прийтись только бог, не запятнавший себя ничьей кровью, а еще лучше — никогда не прибегавший к насилию. Например, Дионис.

— Люди и так поклоняются Дионису при каждом удобном случае, — перебил моего родственника минотавр, откликавшийся на имя Клеон. — Приходится запирать от них вино на все засовы.

— Пьяные угодны богам, — холодно ответил Перегрин. — Благодаря вину они приобщаются к блаженству. Впрочем, я назвал Диониса только ради примера. Для обуздания людей лучше всего подойдет бог, призывающий к смирению, всепрощению, покорности, аскетизму. А как он будет называться — неважно. Хотя желательно, чтобы он относился к Олимпийцам, пусть и второстепенным. Но и нам, дабы подать пример людям, придется ревностно служить этому богу. Кроме того, стоило бы как-то изменить отношение к людям, пусть и на время. Сострадание, даже показное, повлияет на них куда плодотворней, чем самые жестокие казни и гонения. Впоследствии, когда кефалогереты покорят все народы и армия вернется домой, мы поступим с людьми так, как они этого будут заслуживать.

— Идея здравая, — сказал колченогий, присев на свободную лавку. — Слушай, Артемон, и учись... Нашего любезного Перегрина не зря прозвали Протеем. Подобно этому славному сыну Посейдона, пастуху тюленьих стад и провидцу, он способен ме-

няться. Пусть и не в смысле телесной формы, а в смысле убеждений, но это тоже немало. Случается, что временами его заносит не туда, но всякий раз он возвращается на путь истинный. Известно, что в Египте Перегрин поклонялся Осирису, в Палестине — Яхве, в Сирии — местной ипостаси Адониса, в Вавилонии — Мардуку. Да и про Диониса он упоминал здесь не просто так. Во Фракии, где Перегрин надзирает над храмами, мистериями и святыми местами, культ Диониса ставится куда выше культов Зевса и Посейдона. Причем имеется в виду не всем нам известный Дионис Буйный, пьяница и весельчак, а некий Дионис Искупитель. И что интересно, люди охотно посещают храмы этого бога, приносят ему жертвы и участвуют в шествиях. Зато и случаев прямого неповиновения во Фракии куда меньше, чем в других краях. Правда, многие склонны считать Перегрина вероотступником, но я придерживаюсь иного мнения. Согласитесь, что все вокруг с течением времени меняется, все следует примеру многомудрого Протея Посейдонида. Даже сам Зевс Вседержитель сейчас уже совсем не тот, каким был прежде. Люди, которые мнят себя так называемыми философами, именуют этот процесс диалектикой. Кстати, любезный Перегрин, а во Фракии имеются философы?

— В весьма незначительном количестве, — выдавил из себя Перегрин. — Дюжина убогих старцев, доживающих свой век на помойках вместе с бездомными псами.

— А разве до тебя не дошло мое распоряжение избавиться от этих болтунов и бездельников, смущающих простой народ своими речами и своим видом?

— Дошло.

— Почему же ты не исполнил его? Впрочем, можешь не отвечать. Я и так знаю. Причиной всему твоя прирожденная мягкость и терпимость. Говорят даже, что ты не выносишь вида казней и их приходится совершать вдали от твоего жилья. Ты запретил уничтожать людей преклонного возраста...

— Вместо этого я велел посылать их на такие работы, где долго не протянет и зрелый мужчина, — нарушив все нормы субординации, выпалил Перегрин.

— Не надо перебивать меня, — произнес колченогий совсем тихо. — Обычно я этого не прощаю. Но для тебя, так и быть, сделаю исключение. На первый раз...

— Я раскаиваюсь. Это была минутная слабость. Уши — наше благо, а язык — проклятие.

— Продолжим... Ты щедро раздаешь милостыню всем нуж-

дающимся. Лечишь больных и кормишь голодных. Люди за это благоговеют перед тобой. Только не забывай, что иная доброта сродни преступлению. Ведь ты сам сказал, что люди не овцы, а крысы. Они скрытны и коварны. Им несвойственно чувство приязни к существам иной породы. Можешь и дальше играть с ними, но не заиграйся... Что же касается диалектики или, проще говоря, всеобщей изменчивости бытия, то мы обязаны считаться с ней. Меняются времена — меняются и боги, вернее, наше к ним отношение. Крон сменил Урана на троне Вселенной, но и сам впоследствии был свергнут Зевсом. Вполне вероятно, что грядет царствование Диониса. И если ты, любезный Перегрин, намерен способствовать этому, то дерзай. Как говорится, вольному воля.

Колченогий встал и, глядя в пол, заковылял вдоль первого ряда скамеек. Наступила гробовая тишина. Никто, а тем более сам Перегрин, не мог понять, что означают последние слова верховного жреца — скрытое одобрение или откровенную угрозу.

Внезапно колченогий заговорил снова:

— Все вы по моей просьбе явились сюда тайком, под личиной бродяг. Таким же манером вы и уйдете. Нигде не задерживаясь, возвращайтесь восвояси. Не хочу лишний раз напоминать о том, что все сказанное здесь должно храниться в тайне. Наша нынешняя встреча еще не сигнал к действию, а всего лишь предмет для размышлений. Если кому-то придет на ум нечто, заслуживающее внимания, то он вернется и поделится своими идеями со мной. Некоторую свободу действия мы позволим, пожалуй, одному только Перегрину Протею. Пусть продолжит начатое дело. А мы за ним присмотрим. Ты понял меня, Перегрин?

— Понял.

— Но учти, возвышение культа Диониса в ущерб другим Олимпийцам не должно возмущать фракийских кефалогеретов, традиционно приверженных Зевсу и Посейдону. Чтобы не оказаться меж двух огней, нужно овладеть искусством маневрирования. Я слышал, что ты пользуешься у земляков немалым авторитетом?

— Не у всех, — сдержанно ответил Перегрин.

— Ничего страшного. Всеобщим авторитетом пользуется одна только смерть. Вот и возьми себе в помощь что-либо из ее атрибутов. Страх, например. Или обещание вечного покоя. Поверь мне на слово, найдется немало кефалогеретов, а тем более людей, которые клюнут на это... Теперь выслушай мое последнее слово. Если твои искания приведут к нежелательным результа-

там, отвечать придется тебе одному. По причинам, очевидным для всех, мне придется отречься от тебя. Поэтому запасись не только терпением и прозорливостью, но и мужеством.

— Я постараюсь.

— Тогда ступай. Ступайте и вы все. Но выходите только поодиночке и в разные двери. И да будут милостивы к вам великие боги.

Наконец-то бесприютное зернышко моей души упало на благодатную почву. Уверен, что с Перегрином Протеем мне удастся поладить — во вред всем другим минотаврам, естественно.

Этот потомок Астерия совсем не походил на своего неистового пращура. Перегрин имел представление о милосердии и сострадании, пусть даже в весьма своеобразном, извращенном, быкочеловечьем смысле.

Так, например, терпимо относясь к каждому отдельному человеку, он ради вящей славы кефалогеретов мог без зазрения совести уничтожить все человечество в целом. Но с такой особенностью минотавров уже ничего не поделаешь. Это патологическое состояние, и лучше всего оно лечится отсечением головы.

Свои надежды на успех я связывал с духовным разладом, давно мучившим Перегрина. Ведь доподлинно известно, что любой ищущий, мятущийся разум — легкая добыча для всякой нечистой силы, роль которой в данном случае придется играть мне.

Радовало и другое — люди не сломлены даже по прошествии тысячи лет непрерывных гонений. Значит, наше дело не безнадежно.

Конечно, мне следовало спешить в прошлое — подрубать корни быкочеловеческой расы. Но заразить живую крону каким-нибудь паразитом — червем сомнения или тлей нигилизма — тоже неплохо.

Ловкий обходный маневр зачастую бывает куда эффективнее лобового штурма. Троя пала не вследствие десятилетней осады, а в результате хитрости, придуманной Одиссеем. Пусть Перегрин Протей станет тем Троянским конем, который привнесет в среду минотавров яд чуждых, тлетворных идей.

А уж такого добра (тлетворных идей) у человечества накопилось предостаточно. Эх, наградить бы еще кефалогеретов всеми людскими пороками — и считай, что наше дело выиграно.

...Естественно, что топать пешком до самой Фракии мой родственник не собирался. За городом, в укромном местечке, Перегрина дожидался оседланный конь и полдюжины слуг, считавшихся преданными хотя бы на том основании, что их семьи находились в его власти.

Людям не позволялось носить оружие, но каждый имел при себе утяжеленный свинцом хлыст, рукояткой которого можно было проломить даже медвежий череп.

Прежде чем отправиться в неблизкий путь почти через всю Грецию, Перегрин сменил плащ бродяги на добротное дорожное платье, более приличествующее его сану, и опоясался мечом, что для жреца Олимпийских богов не возбранялось.

Дорога во Фракию оказалась весьма утомительной и долгой, тем более что Перегрин не позволял скрашивать ее пирушками на лоне природы и ночевками в притонах разврата. Более или менее длительные остановки делались только возле храмов, где богам приносились жертвы и воскурялись благовония.

Все это время я осторожно, но упорно внедрялся в сознание Перегрина, действуя, как говорится, тихой сапой.

Личность любого мыслящего создания не в последнюю очередь определяют его убеждения, к числу которых можно отнести и взгляд на основные проблемы бытия, и манеру пользоваться столовыми приборами. Эти убеждения и были основным объектом моего внимания. Одни я старательно затушевывал, другие корректировал, третьи заменял чем-то иным.

Я надеялся, что к концу путешествия Перегрин превратится совсем в другое существо. Мои мысли должны были стать его мыслями, мои слова — его словами, мои поступки — его поступками.

Не скажу, что все эти манипуляции с чужим сознанием давались мне легко.

Как и большинство минотавров, Перегрин отличался гибкостью и остротой ума, памятливостью, сообразительностью, быстротой реакции и решительностью во всем, что касалось принятия решений.

Таким образом, по многим параметрам он превосходил самого совершенного человека. Но я имел в запасе совсем другие козыри. Минотавров занимали только чисто практические, насущные вопросы. Фигурально говоря, они жили, не поднимая глаз к небу.

Этот народ не имел понятия ни о литературе, ни о философии, ни о теологии, а их история, начинавшаяся с Астерия Не-

победимого, представляла собой всего лишь приукрашенный и недостоверный перечень быкочеловечьих побед, описанных по одной и той же примитивной схеме — геройство и самоотверженность минотавров, всегда почему-то находившихся в численном меньшинстве, коварство и подлость противостоящих им людишек, гений и прозорливость какого-нибудь очередного Александра Двурогого, сумевшего переломить ход сражения и превратившего назревавшее поражение в полный триумф.

Поклоняясь Олимпийским богам, минотавры не имели никакого представления о творениях Гомера и его последователей. Само собой, что они не знали Библии, Вед, Упанишад, Корана и огромного множества других великих книг, оставшихся как бы в иной реальности.

В этом смысле мозг Перегрина, вмещавший массу сугубо утилитарной, обыденной информации, был чистым листом, на котором можно было писать и вдоль и поперек.

Идея создания всеобщей, примиряющей религии занимала его уже давно, но была скорее плодом интуиции, чем ума.

Культ Диониса он предпочел культам других богов потому, что среди Олимпийцев тот стоял как бы особняком. Затравленных и обесславленных людей, уже познавших вкус идолопоклонства, сатанизма и полного неверия, мог устроить только такой кумир — бог-изгой, бог-работяга, не чуравшийся простых радостей жизни, водивший знакомство с кем попало и, главное, никогда не участвовавший в кровавых разборках, которыми так богата Олимпийская мифология.

Впрочем, Перегрин понимал и всю уязвимость своих новаций. Бог, которого он искал, предназначался не для утешения, а для обуздания людей. Покорность, всепрощение, умеренность, миролюбие — вот какие заветы он должен был проповедовать. Понятно, что вспыльчивый и вечно хмельной Дионис мало подходил для этой роли.

Потому-то и появилась его иная ипостась — Дионис Искупитель, привечающий сирых и убогих, сочувствующий скорбящим, вознаграждающий смиренных, не столько дары принимающий, сколько дары раздающий, сочетающий в себе черты бога с чертами человека.

Этот новый Дионис уже завоевал себе популярность во Фракии, но пока еще только среди людей. Кефалогереты относились к нему настороженно, а то и враждебно. Бог рабов не вызвал симпатии у рабовладельцев.

И все потому, что дионисийская вера насаждалась без долж-

ной энергии, от случая к случаю, главным образом через слухи, побасенки и неясные свидетельства.

Бог не обращался к народу напрямую, и в этом была ошибка Перегрина. Он еще не уяснил, что любой бог силен своими пророками, пламенными трибунами, исступленными фанатиками, способными зажечь адептов новой веры не только словом, но и делом.

Именно такую роль я уготовил Перегрину.

Про то, что все пророки кончали плохо, я пока старался не думать...

С чего начинал свою деятельность Христос? С проповедей и демонстрации чудес. А Мухаммед? С проповедей, пророчеств и эпилептических припадков, которые тоже считались божьим чудом. А будда Шакьямуни? С аскетических упражнений, борьбы с плотскими искушениями и опять же с проповедей.

Для удобства нужно соединить все воедино — и проповеди, и чудеса, и пророчества. С аскетизмом и умерщвлением плоти пока повременим — публика не та. Фракия — это вам не Кашмир. За радикализм здесь по головке не погладят. Сначала нужно встряхнуть это гнилое болото, а там видно будет.

Тем временем Перегрин, увлеченный духовными исканиями сверх всякой меры, уже приближался к родному дому. Многое из того, что следовало знать пророку новой веры, уже осело в его сознании.

О моем присутствии Перегрин, к счастью, не подозревал, хотя случившиеся с ним внутренние перемены ощущал весьма остро (правда, не знал — ликовать по этому поводу или скорбеть).

В конце концов я сумел внушить моему родственнику, что все происшедшее за последнее время — результат сошедшего свыше божьего благоволения, щедро наделившего его свежими идеями и знаниями.

Уезжал Перегрин тайком. Тайком и вернулся. Домашние сохраняли его приезд в секрете, а для всех остальных существовала версия, согласно которой он паломником отправился в Фивы, на родину Диониса.

Таким образом я выкроил несколько свободных дней, крайне необходимых мне для подготовки демонстрации чудес. Следует заметить, что кефалогереты, даже фракийские, не чета легковерным иудеям или арабам. Их на мякине не проведешь. Бро-

дячих циркачей, демонстрирующих на площадях изрыгание огня, глотание мечей и превращение деревянных жезлов в живых змей, они чудотворцами отнюдь не считают.

Тут требовалось нечто сногшибательное, из ряда вон выходящее, о чем раньше никто и слыхом не слыхивал. Сначала я хотел под видом серебра расплавить на огне замороженную ртуть, чтобы затем прополоскать ею рот, но где ты добудешь необходимый для этого сорокаградусный холод?

Конечно, можно было поднапрячь память и вспомнить какой-нибудь подходящий рецепт из книжки «Юный химик», которую я однажды сподобился прочитать. Но опять-таки возникнут проблемы с реактивами и химической посудой. Ведь здесь, наверное, обыкновенной марганцовки не сыщешь. Да и кого удивишь взрывом гремучего газа или исчезновением железной иголки в азотной кислоте? За душу не берет.

И тут меня осенило! Не берет за душу — возьмет за голову. Знаю я одно такое удивительное средство, загнавшее в гроб больше людей, чем порох, но в то же время подарившее им больше веселья, чем все на свете шуты и скоморохи.

Конечно, речь идет не о вине, которым без особых последствий наливаются тут все от мала до велика. Я имею в виду кое-что другое. Главное, что в этих краях ничего не знают о дистилляции жидкостей и никогда не употребляли спиртных напитков крепостью выше десяти градусов.

Ведь при наличии достаточного количества слабенького виноградного вина приготовить знаменитую чачу — проще простого. Для этого и перегонный куб не нужен. Достаточно трех-четырех горшков разного размера, жаркого огня да холодной воды.

Будет вам скоро чудо, граждане кефалогереты!

Официально объявив о своем возвращении из Фив, Перегрин пригласил на торжественный обед всех наиболее влиятельных минотавров Фракии. Явились, правда, не все, но с полсотни морд (ведь не скажешь — «лиц») собралось. Законных жен на такие мероприятия обычно не брали — те или находились на сносях, или рожали, или кормили грудью. Для развлечения мужского общества предназначались наложницы человеческого племени, ради такого случая напялившие уродливые бычьи маски.

Угощение было достойно знаменитого чревоугодника Лукулла, в этой реальности, наверное, так и не появившегося на свет. Достаточно сказать, что поварята Перегрина переловили

всех ласточек в округе, собрали всех виноградных улиток и выудили всех форелей. Про невинно убиенных быков, баранов, кабанов и каплунов я вообще умалчиваю.

Сам щедрый хозяин почти ничего не ел, но зато совершенно замучил гостей тостами, каждый раз славя то одно, то другое достоинство Диониса.

Пили и за его необыкновенную удачу, позволившую отыскать виноградную лозу там, где другие видели только дикие заросли терновника, и за его любовь к Ариадне (той самой сучке, якобы брошенной Тесеем), и за веселый нрав, и даже за божественный фаллос, кроме всего прочего считавшийся символом плодоносящих сил земли.

Наконец кому-то из ортодоксально мыслящих минотавров это надоело, и он довольно бесцеремонно заявил:

— Ты превозносишь Диониса так, словно другие Олимпийцы и мизинца его не стоят. А между тем своею жизнью Дионис обязан Зевсу, который спас его из утробы гибнущей матери и потом донашивал в собственной заднице. Еще в малолетстве он так надоел всесильной Гере, что та наказала его безумием.

— Которое и поныне является отличительной чертой всех приверженцев Диониса, — добавил другой минотавр. — Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на вакхические шествия.

Перегрин, науськиваемый мною, немедленно возразил:

— Не забывайте, что во время вакхических шествий Дионис хотя бы на время освобождает людей от пут постылого бытия, от груза повседневных забот, от ярма тоски, страха и агрессии. Исступленные пляски и пролитие жертвенного вина заменяют драки и пролитие крови. К исходу праздника все чувствуют себя мягче, добрее. Вчерашний враг кажется братом. Разве вам не довелось испытать это на самих себе?

Выяснилось, что почти никто из присутствующих не участвовал в праздниках Диониса, в лучшем случае — наблюдал их со стороны.

— Так в чем же дело! — воскликнул Перегрин. — Устраним это досадное упущение. Ничто не мешает нам устроить вакхическое шествие прямо сейчас.

Со всех сторон на него посыпались упреки. Дескать, и время неподходящее, и настроение не позволяет, и досужей молвы следует поостеречься. Вот придет осень, созреет виноград, тогда и обсудим это дело.

— А если сам Дионис подаст вам знак к началу мистерий? —

Перегрин нахмурился, давая этим понять, что шутить не намерен. — Неужели вы воспротивитесь воле бога?

— Какой знак ты ожидаешь? — поинтересовались гости.

— Это известно одному только Дионису, — ответил Перегрин. — Возможно, все стены пиршественного зала покроются виноградной лозой и плющом. А возможно, у всех нас, как у сатиров, отрастут козлиные копыта. Но в любом случае знак будет вполне вразумительный. Подождем немного. И, дабы скрасить ожидание, продолжим пир.

После каждой перемены блюд слуги подавали гостям чаши с душистой водой для омовения рук (вилок и ложек минотавры не употребляли). Вот и сейчас, стоило только Перегрину скушать паштет из соловьиных язычков (дрянь, я вам скажу, редкая), как перед ним появилась вместительная серебряная полоскательница, источавшая аромат роз, жасмина и, как ни странно, сивухи.

Стоит ли говорить, что в ней содержалась крепчайшая чача (она же граппа, а попросту — виноградная водка), на вид совсем не отличающаяся от обыкновенной воды.

Грациозным движением ополоснув руки, Перегрин для просушки поднес их к жаровне, как это делали и другие гости. В тот же момент все его пальцы вспыхнули фиолетовым пламенем, словно наконечники зажигательных стрел.

Минотавры ахать от случившегося не стали, однако дружно засопели, что у них означало крайнюю степень удивления и озадаченности. Мало того, что горела вода, вечный антагонист пламени, так еще и пламя вело себя весьма странно — не припекало оказавшуюся в ее власти плоть (горящим спиртом при определенной сноровке сильно не обожжешься, можете поверить на слово отставному химику).

Когда терпеть стало невмоготу, Перегрин, небрежно помахав руками, погасил огонь и сказал:

— Разве этого знамения вам мало? Дионис родился среди испепеляющего пламени. Пламенем он и возвестил о своей воле. Вакхическое шествие угодно ему. Покоритесь, иначе небесный огонь падет на ослушников.

— Тебе ведь этот огонь вреда не принес, — вполне резонно заметил кто-то. — Авось и нас пощадит.

— Ниспосланный Дионисом огонь щадит только его преданных почитателей. А участи сомневающихся я не завидую.

Но и этот довод не подействовал на твердолобых кефалогеретов, имевших в характере черты не только быков, но и баранов.

Пришлось пустить в ход последний аргумент, на сей раз абсолютно неотразимый:

— Дабы продемонстрировать вам чудесную силу, которой Дионис одаривает своих любимцев, я сейчас превращу эту воду в вино.

Сделав несколько замысловатых пассов, Перегрин вновь погрузил руки в полоскательницу. На сей раз между его пальцами скрывалось несколько крупинок самого лучшего сидонского пурпура (напоминаю, что ловкость рук, среди профессиональных фокусников называемая престидижитаторством, осталась у меня в наследство от Хишама).

То, что все присутствующие считали водой, приобрело интенсивный бордовый оттенок, хотя и нехарактерный для местных вин, но еще более нехарактерный для банальной «аш два о».

— Пью за Диониса и за его щедрость. — Перегрин обеими руками поднял чашу и пригубил из нее.

Пример был подан. Минотавры вновь засопели, но как-то иначе. Ослиное упрямство сочеталось у них с обезьяньим любопытством.

— Нельзя ли отведать этого чудесного вина, дарованного тебе богом? — вкрадчиво произнес один из гостей, наверное, желавший разоблачить хозяйские плутни.

— Разумеется, — охотно кивнул Перегрин. — Но предупреждаю, что это вино, наряду с нектаром и амброзией, предназначено только для богов. Смертным существам оно может показаться чересчур жгучим и терпким. Не надо пугаться этого. Пройдет совсем немного времени, и каждый вкусивший божественного напитка почувствует себя, по меньшей мере, небожителем.

При всеобщем напряженном молчании слуги передали чашу смельчаку. Подозрительно понюхав ее содержимое, он сделал добрый глоток и тут же поперхнулся (и со мной такое бывало, когда в младые годы я с пива переходил на водку).

Если бы проворный слуга вовремя не подхватил чашу, боюсь, что мне пришлось бы повторять свое библейское чудо.

Минотавр хрипел. Глаза его вылезли из орбит, как у висельника. Остальные схватились за оружие.

— Успокойтесь! — Перегрин величественным жестом вскинул вверх правую руку. — Я заранее предупреждал вас, что это вино имеет сверхъестественную силу. Случалось, что оно валило с ног самого Геракла. Вот почему в моменты скорби и печали небожители употребляют его в немереных количествах, а потом поют, пляшут и предаются плотским утехам. Кто хочет приоб-

щиться к божественным радостям, тот отведает дионисийский напиток. А кто собирается и дальше пребывать в повседневной скуке, пусть цедит то, что отвергают боги и герои.

Возгласы возмущения постепенно утихли. Те, кто порывался покинуть пиршественный зал, вернулись на свои места. Окончательно разрядил обстановку тот самый минотавр, с которого и началась вся эта заваруха.

Утерев мутные слезы и откашлявшись, он вновь припал к злополучной чаше и на сей раз одним глотком уже не ограничился. Его пример вдохновил остальных. К Перегрину чаша вернулась почти пустой. Это меня не огорчило. Запасы горячительного, слава Дионису, в нашем доме имелись, и весьма значительные.

Чуть позже состоялось вакхическое шествие, не предусмотренное никакими календарями. Клянусь Зевсом, отвратителем несчастий, и Диоскурами-спасителями, на это зрелище стоило посмотреть.

Минотавры изображали задиристых и похотливых сатиров, что получалось у них весьма достоверно, а гуляющие девки — разнузданных вакханок, чьи голые торсы опоясывали живые змеи.

Роль Диониса, естественно, досталась Перегрину, самому трезвомыслящему в этой компании.

Толпа, двигавшаяся через весь город в сторону ближайших виноградников, где предполагалось провести заключительную оргию, быстро росла. Насвистывали свирели, бряцали тимпаны. Новоявленные сатиры мекали козлами, бекали баранами и сокрушали на своем пути все, что только можно было сокрушить. Вакханки вопили: «Эвое, Дионис» — и отдавались всем встречным.

Казалось, священное безумие овладело всей Фракией, и в этом хаосе, в этой неразберихе, наверное, впервые за тысячу лет люди братались с минотаврами.

Покончив с чудесами, Перегрин занялся проповедями (впрочем, воду в вино он превращал еще неоднократно). Смысл их, если говорить кратко, сводился к следующему.

Те, кто страдает, счастливее тех, кто блаженствует, ибо по воле Диониса в свое время они утешатся в элизиуме, античном раю. Особое блаженство ждет тех, кто пострадал за правду.

Истинного бога способны узреть только самые кроткие и не-

злобивые, те, кто никогда не перечил даже ребенку, не затевал ссор, не изнывал от зависти и не оговаривал других.

Добрые дела прославляют не только того, кто их делает, но и самого Диониса. Не думайте, что он хочет нарушить извечный порядок жизни. Каждый остается при своем — кефалогереты при мечах, люди при мотыгах. Пусть притесняемые мирятся со своими притеснителями, а те в свою очередь пусть устыдятся.

Не сопротивляйся злу. Взгляните на трудолюбивого вола, стойко сносящего удары бича. Разве это не пример вам? А хозяин вола пусть призадумается. Зачем оскорблять бичом кормильца семьи?

Не забывайте славить вашего небесного покровителя Диониса, но хулить других Олимпийских богов не смейте. Помните, что все они так или иначе приходятся ему родней. От чужеземных идолов отрекитесь, ибо каждой вещи на земле предопределено свое время и место. Зачем сажать болотную траву на холме или вместо овец пасти медведей? Добром это не кончится.

Не предавайтесь унынию. Не впадайте в печаль по ничтожному поводу. Труды свои чередуйте с праздниками. Не заботьтесь о еде и питье своем, ибо бог, давший день, позаботится и о пропитании. Заботьтесь лучше о чистоте поступков и помыслов. А вы, сильные мира сего, делитесь вином и хлебом со всеми нуждающимися. По делам вашим будет и воздаяние.

Кем бы ты ни был, человеком или кефалогеретом, запомни правило: если желаешь достойного отношения к себе, то и с другими поступай соответствующим образом. Прощай обиды и забудь о мщении — оно не угодно богу. Худой мир лучше доброй ссоры.

Ну и так далее.

Большинство из этих тезисов я позаимствовал, а где именно — нетрудно догадаться. Но истина, в отличие, скажем, от золота, имеет одно редкое свойство — чем чаще ее крадешь, тем шире она распространяется.

Вот и сейчас, присвоив откровения, некогда реченные совсем другим пророком в совсем другой реальности, я подарил людям искру надежды и одновременно посеял среди минотавров зерна грядущего раздора.

Перегрин проповедовал в храмах, в ткацких мастерских, в давильнях, в кузницах, на рынках, на мельницах и скотных дворах, на бойнях и даже в притонах, где собиралось самое последнее человеческое отребье. Такие расхожие понятия, как грех, по-

рок, раскаяние и искупление, обрели свое истинное значение только благодаря его поучениям.

Каждый вечер в доме Перегрина собиралось избранное общество. Кефалогеретов влекла сюда не только возможность еще раз приобщиться к чуду превращения воды в вино, хотя этот номер по-прежнему шел на «ура». Главной приманкой были задушевные беседы о старых и новых богах, о смысле бытия, о грядущих переменах, о порядке и хаосе, о предопределенности и случайности.

Среди гостей, конечно, хватало и шпиков, но Перегрин не собирался делать из своего учения какую-нибудь тайну. Более того, он свято верил, что факел новой веры, зажженный во Фракии не без помощи нескольких кувшинов чачи, поможет минотаврам успешно следовать по пути, указанному Астерием Непобедимым. В одной частной беседе он даже заявил: «Ну что плохого в том, если человек перестанет плевать вслед кефалогерету, а тот даст ему на обед лишний ломоть хлеба?»

Наивный! Человека не накормишь до отвала даже тысячей хлебов. Получив одну подачку, он пожелает другую, потом третью и так до бесконечности, а любой отказ будет воспринят уже не как данность, а как изощренное издевательство.

С минотаврами будет иначе. Пройдет какое-то время, и те, кто наделяет людей хлебом, вступят в противоречение с теми, кто предпочитает посылать в людей стрелы. Возможно, все начнется с беззлобных шуток и подначек, но постепенно в некогда монолитном обществе возникнет трещинка, последствия чего не берусь предсказать даже я.

Вскоре последователи Перегрина из числа людей рассеялись по всему обитаемому миру, а адепты-минотавры, пусть пока и немногочисленные, стали превозносить Диониса Искупителя на столичных площадях и военных плацах.

То, что еще совсем недавно можно было задушить в зародыше, стало грозным и бесконтрольным, как эпидемия чумы. Каждый отдельный пророк разъяснял новую веру в соответствии с собственным жизненным опытом и темпераментом.

Появились радикальные секты, напрочь отрицавшие всех остальных Олимпийцев и в образе Диониса фактически провозглашавшие единобожие. В отдаленных провинциях, где надзор властей был не так строг, на месте жертвенников Зевсу и Посейдону воздвигались так называемые «тирсы» — пастушеские по-

сохи огромных размеров, увитые вперемешку плющом и виноградной лозой.

О дальнейшей судьбе Перегрина можно было бы составить целую книгу, но, к сожалению, я не располагал ни временем, ни чеканным слогом, ни вдохновением евангелистов.

Вот только несколько эпизодов из жизни первого пророка дионисийской веры Перегрина Протея, все речи и поступки которого направлял незримо витавший над ним дух Олега Наметкина.

Как-то раз во время очередной проповеди во фракийском храме Диониса, где присутствовали одни только минотавры, некто по имени Сидоний, состоявший писцом при коллегии судей, напрямик спросил Перегрина:

— А зачем кефалогеретам и людям жить в согласии, если последние так или иначе подлежат истреблению? В будущем царстве потомков Астерия Непобедимого для людей нет места. Тем самым твое учение противоречит заветам нашего праотца.

На это устами Перегрина я ответил так:

— Да будет тебе известно, любезный Сидоний, что когда-то на свете не было собак, а только одни волки. Они причиняли огромный урон стадам, а при случае задирали и одиноких путников. От ловчих ям, стрел и отравленных приманок проку было мало. Так продолжалось до тех пор, пока какой-то умник не догадался приручить попавшего в ловушку молодого волка. Минуло много веков. Теперь волки уцелели только в непроходимых чащах и неприступных скалах. Их род почти угас. И виной тому кровные братья волков — собаки. Такая же судьба ожидает в будущем и людей. Все, кто враждебно настроен к кефалогеретам, исчезнут, а возле нас останутся жить совсем иные существа — бесконечно преданные и целиком зависящие от нашей воли.

В другой раз не менее коварный вопрос задал Перегрину человек:

— Из тысячи кефалогеретов лишь один стал относиться к людям немного мягче. Остальные продолжают казнить нас за малейшую провинность, морят голодом и посылают на непосильные работы. А ты заставляешь нас терпеливо сносить унижения, да еще и боготворить мучителей. Я не могу понять, кто ты такой — блаженный, мало что смыслящий в этой жизни, или ли-

цемер, пытающийся любым путем укрепить всевластие быкоголовых чудовищ.

Мой ответ этому бунтарю был таков:

— Ты замечаешь, как растет дерево? Нет. А как вода и ветер точат скалы? Тоже нет. Почему же ты хочешь увидеть плоды наших духовных трудов уже сегодня? Ведь мы славим Диониса Искупителя всего несколько лет. Этого времени недостаточно даже для того, чтобы ребенок превратился в подростка. Ты сам говорил, что один из тысячи кефалогеретов изменился к лучшему. Разве это мало? К закату твоих дней их будет уже двое. При жизни твоего сына — пятеро. При жизни внука — все десять. И так далее. Просто надо набраться терпения. Божья мельница мелет медленно, но верно. Сейчас речь идет не о твоем собственном спасении, а о спасении рода человеческого. Когда большинство кефалогеретов признают Диониса Искупителя верховным богом, страдания людей завершатся. Но прежде минет немало времени...

В соседней Македонии, стране еще более дикой, чем Фракия, последователи Диониса, доведенные жестоким обращением до крайности, подняли бунт.

Против них послали карательный отряд, целиком составленный из минотавров. Когда запахло настоящей кровью, двое быкочеловеков отказались поднять оружие на братьев по вере. Смутьянов заковали в железо и увезли в неизвестном направлении.

Бунт удалось усмирить, но при этом погибло свыше сотни минотавров. Людские жертвы были неисчислимы. Ночью над всей страной стояло багровое зарево, затмевавшее звезды. Как я и предполагал заранее, проповедь добра на деле обернулась злом.

Перегрин одинаково осудил и бунтовщиков и карателей, но несколько тысяч фракийских земледельцев, каменотесов, пастухов и носильщиков, вооружившись чем попало, ушли в Македонию.

Спустя еще несколько дней его самого вызвали в столицу. Приглашение было анонимным, но те, кто его доставил, дали понять, что отказ чреват непредсказуемыми последствиями.

Перегрин догадывался, какой прием ожидает его в столице, однако смело покинул родной дом, предварительно попрощавшись с самыми близкими из единоверцев, и выставил для угощения весь остаток чачи.

Огромная толпа людей сопровождала Перегрина вплоть до границы с Фтиотидой, где его ожидал высланный навстречу конвой. В пути свободу пророка никто не ограничивал, но и добрым словом не поминал.

По прибытии в столицу Перегрина немедленно доставили в тот самый храм, где я впервые глянул на этот мир его глазами. Здесь вольнодумца уже поджидал всесильный хромец. На сей раз их беседа происходила наедине.

— Я не знаю, что с тобой делать, любезный Перегрин, — откровенно признался верховный блюститель веры. — Если весь дом объят пламенем, то уже поздно гасить головешку, послужившую причиной пожара. Впрочем, я не держу на тебя зла. Ты всего лишь игрушка в руках рока. Не было бы тебя, явился бы кто-нибудь другой. Конечно, тебя следовало бы обезвредить раньше, но на свою беду я осознал это слишком поздно. Только не тешь себя надеждой, что делу Астерия Непобедимого нанесен непоправимый урон. Люди бунтовали и прежде, да еще как. К концу осени с твоими выкормышами будет покончено. Вместе с ними исчезнет и память о Перегрине Протее, а Дионис Искупитель вновь превратится в Диониса Буйного, малозначительного и непопулярного божка. Что касается тебя, любезный Перегрин, то остаток жизни ты скорее всего проведешь в тайной подземной тюрьме, наедине с костями тех, кто запятнал себя вероотступничеством в былые времена... Хотя я мог бы предложить тебе и другой вариант. Желаешь знать, какой?

— Желаю, — ответил Перегрин, спокойный, как никогда (но сколько сил мне это спокойствие стоило!).

— Ты будешь прощен, если поможешь умертвить химеру, рожденную твоими бредовыми идеями. Надо полагать, что у тебя это получится лучше, чем у кого-либо другого... Видишь, я переворачиваю песочные часы. К тому времени, как их верхняя чашка опустеет, ты должен сделать выбор — темница или сотрудничество.

— Меня не устраивает ни то, ни другое, — сказал Перегрин, лишенный мною собственного мнения. — Но уж лучше терпеть позор, чем живьем гнить в темнице.

— Не думал я, что ты так быстро сдашься, — произнес колченогий задумчиво. — Не думал...

Похоже было, что он слегка разочарован. Конечно, победа, доставшаяся без борьбы, мнится полупобедой. Эх, знал бы этот гад, какие разочарования ожидают его в дальнейшем!

Близились очередные празднества в честь Диониса, и Перегрину позволено было произнести проповедь, каждое слово в которой пришлось согласовывать с колченогим.

Смысл проповеди был такой — дионисийская вера не отменена, но подлежит серьезной ревизии, вакхические шествия временно прекращаются, а жертвы богам отныне следует приносить в строгом соответствии с их олимпийским статусом (согласно которому место Диониса было чуть ли не под шконкой). Кроме того, все бунтовщики объявлялись вероотступниками и врагами человеческого рода.

Выйдя к народу, Перегрин успел произнести всего две фразы. В первой он огульно проклял всех Олимпийцев, а во второй призвал своих сторонников стоять за истинную веру до конца.

Голгофа приближалась.

Возмущение столичных кефалогеретов было так велико, что колченогий вынужден был согласиться на открытый судебный процесс.

Скрупулезное разбирательство длилось целую неделю. Обвинителей было много, защитников — ни единого. Свидетели со стороны людей едва держались на ногах от пыток и, стыдливо пряча взор, говорили как по писаному.

Во время суда Перегрину предписано было иметь на лице маску, не позволявшую раскрыть рот.

Перед оглашением приговора ему еще раз предложили отречься. Перегрин согласно кивнул, но едва маска была снята, плюнул в сторону судей.

Его приговорили к смерти, что с минотаврами не случалось уже много лет (втихомолку, конечно, могли придушить, но чтобы публично лишить жизни потомка Астерия — это ни-ни!).

В отличие от Перегрина, приговор удовлетворил меня. Уверовавшие в Диониса наконец-то получили своего первого мученика. А это так сплачивает народ!

Ночью в узилище к Перегрину явился тюремщик-минотавр, страховидный даже по меркам своего народа. В одной руке он держал глиняный кувшин, а в другой — веревочную удавку.

— Устроить твой побег невозможно, — сказал он безо всяких обиняков. — Тюрьма окружена отборными войсками, а все открыто сочувствующие тебе кефалогереты взяты под стражу.

— Благодарю на добром слове, — ответил Перегрин. — Но я не боюсь смерти. Принять ее во славу Диониса — великая честь.

— Рано утром тебя сожгут на медленном огне. Уже заготовлено три воза сырых фиговых поленьев. Я бы мог освободить тебя от грядущих страданий, — он недвусмысленно помахал удавкой.

— Пострадавший за правду обретает вечное блаженство в элизиуме. А кроме того, я еще раз хочу взглянуть на мир, в котором когда-нибудь утвердится истинная вера.

— Воля твоя, — тюремщик поклонился Перегрину. — Тогда прими этот кувшин с вином. Его прислали твои земляки из Фракии. Выпей и постарайся немного поспать. После казни я соберу твой пепел, который станет святыней для всех нас.

Уже по одному запаху было ясно, что в кувшине находится чача. Молодцы, сохранили на черный день.

Казнь была назначена на рассветный час, но все оконные проемы, балконы, крыши и окрестные холмы уже были забиты зрителями, среди которых, надеюсь, было немало сочувствующих.

Пуста была только площадь перед храмом Посейдона, где всю ночь складывали высокую поленницу. Сюда допускались лишь избранные.

Палач помог Перегрину взобраться на поленницу и там привязал его к столбу-тирсу, символу Диониса. Таким образом, бога и его пророка собирались казнить вместе.

Сырые дрова долго не загорались, и пришлось послать в ближайшую конюшню за сеном. Едва только появились первые струйки дыма, как стражники, сменившие копья на опахала, принялись отгонять его от Перегрина. Вероотступник должен был изжариться, а не задохнуться.

Самыми тяжкими оказались последние минуты, когда я вернул Перегрину свободу воли. Он сразу прозрел, протрезвел и, естественно, одумался. Однако маска, вновь надетая на его лицо, не позволила внятно попросить о пощаде.

Сначала стало жарко, как в финской бане. Потом — как в паровозной топке. Когда на Перегрине вспыхнули волосы, он был еще жив.

Жив он был и спустя мгновение, когда я навсегда покидал его. Какие они, минотавры, несгораемые...

Еще с одним эпизодом моей непредсказуемой и бурной жизни было покончено. Вот только удастся ли его забыть... Каюсь, я прямо или косвенно виновен в смерти многих предков, приютивших меня в собственном теле, но никого из них мне не было так жалко, как Перегрина Протея. И с чего бы это, кажется, ведь он даже не человек. А как вспомню ненароком, слезы наворачиваются.

Ладно, никто чужой об этом не узнает, а с собственной совестью я как-нибудь столкуюсь. Ведь не для себя же, черт побери, стараюсь. В лепешку иногда готов расшибиться, а толку никакого. Все наперекосяк получается.

К примеру, сейчас мне нужно пробираться в прошлое, к истокам быкочеловечьей расы, а меня упрямо несет все куда-то вверх, вверх, вверх... Нет, эта область ментального пространства для людей явно не предназначена. Как говорится, не лезь воробей туда, где гуси летают.

Ну что, спрашивается, мне делать в чужом будущем? Ведь там, наверное, уже и людей не осталось. В крайнем случае, сохранилась последняя парочка в зоопарке. Представьте себе — вольер с надписью: «Человек дикий или свободолюбивый. Вымирающий вид». Слева — обезьянник. Справа — дельфинарий.

А потомки людей, называемые как-то совсем иначе, надрываются на тяжелой работе, стерегут чужое добро, шустрят у минотавров по хозяйству, служат биологическим материалом в медицинских опытах. Возможно, их даже запускают в космос — вместо Белки и Стрелки.

Да я же в таком будущем с ума сойду!

Если вниз нельзя, а вверх не хочется, то уж лучше свернуть в сторону и, материализовавшись, постараться как-то обгадить пресловутое дело Астерия Непобедимого, если оно к этому времени не зачахло само собой. Сказано — сделано. Однако в реальном мире меня ожидал пикантный сюрпризец.

Я-то, дурак, уверился, что плотские ристалища, обязательные при переходе из царства теней в обитель жизни, канули в небытие вместе с моим генеалогическим древом. Оказывается — нет. В момент моего вселения в телесную оболочку родственника-минотавра он энергично... как бы это помягче выразиться... энергично трепал какую-то малышку человеческой породы, а та отдавалась этому уроду со всей возможной страстью — закатыва-

ла глазки, томно стонала и довольно успешно подмахивала задом.

Разве минотавры покончили с практикой искусственного осеменения? Или это, так сказать, всего лишь единичный эксцесс, исключение из правил? Ладно, поживем — увидим.

В парусиновой палатке, служившей прибежищем для блудливой парочки, окна отсутствовали, но лучики яркого света, врывавшиеся во все дырочки, свидетельствовали о том, что снаружи самый разгар дня.

Палатка была завалена всевозможным барахлом, но в глаза мне первым делом бросился громоздкий мушкет (а может, аркебуза) с фитильным замком. Если я что-то понимаю в военном деле, то у людей такое оружие появилось в веке пятнадцатом-шестнадцатом.

Теперь несколько слов о партнерше моего (скажем так) минотавра. Была она кожей смугла, глазами раскоса и телосложением субтильна, однако на японку или малайку походила мало. Так, нечто неопределенное, помесь мартышки с папуаской.

Короче, девчонка такая, что даже с голодухи не позаришься. Но для минотавров человеческие каноны красоты — не указ. Возможно, вот такие уродки им больше всего и нравятся. Впрочем, это меня не касается. Сам же недавно ратовал за союз людей и кефалогеретов.

Тем временем между любовниками завязался весьма занятный разговор. Не сюсюканье какое-нибудь, а крутой базар.

— Ты обещаешь сделать меня королевой Тауантинсуйу? — спросила девчонка довольно суровым тоном.

— Обещаю, — ответил минотавр, — если только твой дядя успеет привести сюда всех своих воинов.

— А если не успеет?

— Тогда, наверное, мы с тобой будем висеть на одном суку.

— У нас вешают только особ королевской крови. Это считается почетной казнью.

— Как же тогда поступают с чужеземцами и простолюдинами?

— Их просто забивают до смерти дубинами.

— Разницы мало. Для мертвого все едино — что в пыли лежать, что на солнышке висеть. Но я думаю, что удача будет на нашей стороне.

— К закату солнца все решится. Самое главное, убить или взять в плен короля. Лишившись вождя, армия сразу утратит боеспособность.

— Я это помню, — кивнул быкочеловек.

Язык, на котором они разговаривали (причем девчонка не очень уверенно), имел мало общего с древнегреческим, принятым во времена Александра Двурогого и Перегрина Протея, но я понимал его через сознание моего минотавра. Сколько же это веков прошло после моего последнего визита в реальный мир — пять, десять, пятнадцать?

— Если ты сделаешь все так, как я советовала, то Тауантинсуйу падет к твоим ногам, словно переспелый плод, — девчонка толкнула минотавра, как бы находившегося в некоторой прострации.

Что это еще за страна такая, Тауантинсуйу, подумал я. Уж не о Китае ли идет речь? Эк куда меня занесло на сей раз.

Я глянул по сторонам, надеясь увидеть расписанные вееры, лаковые шкатулки и хрупкий фарфор, а увидел накидки из перьев попугаев, трехногие ярко-красные горшки, морские раковины, оправленные в золото, и плоскую глиняную миску с вареным картофелем, мелким, как бобы.

Америка! И скорее всего Южная. Империя инков, позже названная Перу. Если минотавры добрались и сюда, то надо признать, что дела у них идут совсем неплохо.

— Вставай. Я помогу тебе одеться, — сказала девчонка, в облике которой я с запозданием распознал черты типичной индианки.

— Сам справлюсь, — ответил минотавр. — Лучше отправляйся на дорогу и высматривай своего дядюшку. Когда он появится, пусть сразу зайдет ко мне.

Она встала и накинула на себя платье из тонкой белой шерсти, сплошь украшенное золотыми побрякушками, тянувшими, наверное, на целый пуд. Если женщина в таком облачении не боится расхаживать по военному лагерю, то этому могут быть два объяснения — или она пользуется у солдат непреложным авторитетом, или золота здесь, как грязи.

Прежде чем покинуть палатку, она сказала:

— Поклянись, что не отступишься от своих слов ни при каких условиях.

Минотавр вытащил из походного мешка толстенную книгу в кожаном переплете с бронзовыми уголками и, приложив ее к своему сердцу, внятно произнес:

— Я, капитан Эрнандо де Соте, законный сын полковника Викторио де Соте, именем Диониса Искупителя, единого и всеблагого, клянусь, что исполню все обещания, данные мною этой

женщине, в своем народе называемой Чуики, а нами — Росетой... Теперь ты удовлетворена?

— Конечно. Такая клятва не произносится всуе. Если ты нарушишь ее, то во время ближайшего вакхического шествия жрецы и жрицы Диониса растерзают тебя на части.

— Кто это тебе сказал?

— Отец Вельверде. Он ближе всех вас к Дионису.

— Тогда можешь быть спокойной вдвойне. Отец Вельверде знает, что говорит.

— Ну а я со своей стороны обещаю отдать тебе все сокровища, которыми владеет король Уаскар и его ближайшие сановники. Кроме того, ты будешь назначен моим главным советником, а отец Вельверде получит право обратить весь народ Тауантинсуйу в истинную веру. Я могла бы поклясться именем творца мира Кон-Тикси Виракоча, но лучше поклянусь Дионисом. Верю, что сегодня он дарует нам победу, — закончив эту выспренную речь, девчонка выскользнула из палатки, не забыв прихватить с собой увесистую дубинку с шестигранным каменным навершием.

— Самое большее, что ты получишь от меня, это пинок под зад, — сказал минотавр вслед будущей королеве. — На то же самое может рассчитывать и отец Вельверде, чтоб его каждый день понос мучил...

Так все же не Зевс, не Посейдон, а Дионис. Жив, курилка! Значит, смертные муки Перегрина Протея не были напрасны. Хотя еще нужно посмотреть, чем это таким замечательным новая вера отличается от старой. По крайней мере, всеобщим братством разумных существ тут, похоже, и не пахнет.

Едва только минотавр, полное имя которого мне теперь было известно, остался один, как я постарался поближе познакомиться с его внутренним миром.

Знакомство, скажем прямо, оказалось кратким. Мне хватило пары секунд на то, чтобы сначала насторожиться, потом испугаться и в конечном итоге ужаснуться.

Капитан Эрнандо де Соте, законный сын своих родителей, находился на грани сумасшествия, причем сумасшествия буйного. Его разум висел на волоске, готовом оборваться в любое мгновение.

Что же это такое нужно совершить над собой, чтобы дойти до подобного состояния? Удавить собственную мать, выпить кровь из живого младенца, предать ближайших товарищей, пре-

ступить все божьи заповеди? Ох, не знаю. Но во всяком случае нужно быть с ним поосторожней. Это не разумное существо, а пороховая бочка, в которую уже вставлен тлеющий фитиль.

Выпив кружку сырой воды, Эрнандо де Соте начал медленно одеваться. Все движения его были машинальны, а в голове царил полный сумбур.

Затянув ремни доспехов, нахлобучив на голову стальной шлем и перекинув через плечо перевязь шпаги, он громко крикнул:

— Эй, часовые! Немедленно вызвать сюда Диего де Альмагро.

Спустя некоторое время в палатку вошел минотавр, на лице которого не хватало некоторых деталей — глаза, уха и кончика носа. На его плечи поверх кожаного камзола был накинут теплый плащ местной выделки. Хотя солнце стояло в самом зените, температура воздуха была отнюдь не полуденная. Как-никак сказывалось высокогорье.

— Ты звал меня, капитан? — осведомился вошедший. — Разве есть какие-нибудь новости?

— У меня нет, — ответил Эрнандо де Соте. — А какие новости у тебя, мой старый друг?

— Плохие, капитан. Солдаты ропщут. Съестные припасы заканчиваются, порох тоже, а обещанного золота нет и в помине.

— Солдаты привыкли терпеть лишения. Сами бы они роптать не стали. Их кто-то мутит. Скорее всего это братья Писарро.

— В общем хоре недовольных их голоса звучат громче всех, — согласился Диего де Альмагро.

— Прикажи казнить мерзавцев! — Эрнандо де Соте схватился за рукоять шпаги. — Всех четверых, и немедленно.

— Боюсь, что это приведет к открытому бунту. У братьев Писарро немало сторонников.

— Вот как! А если бунт все же случится, на чьей стороне будешь ты?

— На твоей, капитан. Но это не означает, что я одобряю все твои поступки. Зачем, спрашивается, ты водишь шашни с этой дикаркой?

— С Росетой? Видишь ли, прежде она была близка с королем Атаульпа, которого родной брат Уаскар недавно лишил жизни и власти. За ней стоит многочисленная и влиятельная родня. Ее дядя пообещал привести нам на подмогу десять тысяч воинов.

— У короля Уаскара их семьдесят тысяч.

— В Мексике дюжина всадников смогла обратить в бегство целую армию.

— В Мексике с нами был Кортес, — Диего де Альмагро отвел свой единственный глаз в сторону.

— Хочешь сказать, что я не гожусь Кортесу даже в оруженосцы? — Эрнандо де Соте вновь схватился за шпагу. Слова вылетали у него как бы сами по себе, без участия разума.

— Кортес был осторожен, но если надо — всегда действовал решительно. А ты уже месяц водишь нас по этой каменной пустыне. Хотя всем известно, что король Уаскар покинул свою столицу и сейчас находится всего в полусотне миль отсюда. Ты ждешь, чтобы он первым напал на нас?

— Не смей меня учить, Диего де Альмагро! Пока еще здесь командую я. Сражение произойдет сегодня вечером... В крайнем случае, завтра утром. И тогда вы все убедитесь в моей правоте. Каждый солдат получит столько золота, что не сможет удержать его в руках.

— Хотелось бы в это верить... Но если случится обратное, мы выберем другого предводителя. Хотя бы того же Франсиско, старшего из братьев Писарро. Предупреждаю тебя об этом заранее.

— Ступай прочь, Диего де Альмагро. Мне тягостно говорить с тобой.

— Я-то уйду, но ты, капитан, не забудь обуться. Не ровен час нагрянут враги, а ты без сапог...

Когда тяжкие шаги Диего де Альмагро затихли вдали, безумец вновь воззвал к часовым:

— Эй, вы, лежебоки! Пусть кто-нибудь войдет сюда.

Солдат, ввалившийся в палатку, был немолод, а доспехи вообще имел дедовские — тусклые, измятые, много раз клепанные, хранившие на себе и следы чужих мечей, и ржавчины. Столь же ветхой была и вся остальная его одежда.

— Как тебя зовут? — спросил Эрнандо де Соте, хотя еще мгновение назад хотел задать совсем другой вопрос.

— Алонсо де Молино, капитан, — браво доложил солдат.

— Де Молино... Громкое имя. Твои предки, кажется, отличились в войнах с маврами?

— Может быть. Соседи что-то такое рассказывали. Но одним только громким именем звонкую монету не заработаешь. Род де Молино давно впал в нищету. Потому я и отправился в этот поход.

— Ты не видел моих сапог, Алонсо?

— Да вон же они, стоят рядом с вами.

— Помоги мне обуться.

— А денежку не подарите? — лукаво прищурился солдат.

— Сразу после победы.

— Эх, давно мы уже эти обещания слышим...

Когда с процедурой обувания было покончено и солдат собрался уходить, Эрнандо де Соте придержал его за рукав.

— Какую часть добычи ты должен получить при дележке сокровищ короля Уаскара?

— Как и все простые солдаты. Четыре тысячи песо золотом и семьдесят марок серебром.

— Хочешь, я увеличу твою долю вдвое?

— Кто же от этого откажется. А что для этого нужно сделать?

— Сначала зарядить мушкет. И держать его все время наготове. А потом выстрелить в того, на кого я укажу.

— В Диего де Альмагро?

— Почему ты так решил? — тупо удивился Эрнандо де Соте.

— Да все говорят, что между вами змея проползла.

— Сплетни! Нас с ним водой не разольешь... Так ты принимаешь мое предложение?

— От такого предложения только дурак откажется. Жаль, мушкета у меня нет. Утопил на переправе, когда лодка перевернулась. Вот все мое оружие, — он погладил эфес шпаги, конец которой волочился по земле, как хвост павиана.

— Возьми пока мой мушкет. Но смотри, не подведи. Я добро помню, а зло не прощаю.

— Это уж как водится, — солдат легко вскинул к плечу приклад тяжелого мушкета и прицелился в золотое индейское блюдо (подарок любвеобильной Росеты-Чуики), прислоненное к стенке палатки.

Часовой удалился, и Эрнандо де Соте вновь остался без дела. А заняться чем-то ему очень хотелось. Ну прямо руки чесались.

Присев на корточки, он стал перебирать в уме все занятия, при помощи которых можно было скоротать время до вечера.

Вариантов было немного.

Первый — расправиться с ненавистными братьями Писарро. Но те так просто в руки не дадутся. Возни будет много, а шума — еще больше.

Второй — наконец-то покончить с отцом Вельверде, черес-

чур возомнившим о себе в последнее время. Говорят, что под плащом он всегда носит кольчугу. Значит, бить надо в голову. А еще лучше — зайти сзади. И по затылку его, по затылку, да так, чтобы мозги разлетелись по всей палатке!

Если такие мысли посещали Эрнандо де Соте уже сейчас, в преддверии нервного срыва, то можно представить, что будет потом, когда враз и навсегда откажут все внутренние тормоза.

Перспектива такая, что мороз по коже продирает. Море крови и горы трупов. Сначала повальное истребление подданных короля Уаскара, без разбора пола, возраста и чина. Потом — казнь союзников. На закуску останутся бывшие друзья и сподвижники. Финал известен заранее — сокровища, трон, рабы, недолгое, но бурное царствование, конец которому положит дворцовый заговор или вторжение какого-нибудь очередного авантюриста.

Нет, уж коль я оказался здесь, такого допустить нельзя. Если минотавров не удалось приструнить в Старом Свете, то надо попытаться сделать это в Новом.

Сейчас я укрощу это безумное чудовище, именуемое Эрнандо де Соте, и в одиночку отправлюсь на встречу с королем Уаскаром. Надеюсь, мы договоримся. Первым делом я втолкую ему, что лошади и мушкеты не являются абсолютным оружием, от которого нет никакого спасения, и что закованные в железо быкочеловеки уязвимы в той же мере, что и почти голые индейцы.

Затем мы совместными усилиями изгоним из страны кучку чужеземных завоевателей, создадим регулярную армию, наладим производство ружей, даже если придется целиком делать их из золота, организуем береговую оборону и построим из бальсового дерева мореходные плоты, которые будут патрулировать воды Тихого океана.

Перу таким образом станет оплотом человечества, крепостью последней надежды.

Пока я тешил себя этими планами, скорее всего несбыточными, Эрнандо де Соте наконец надумал что-то и повелительно рявкнул:

— Позвать ко мне отца Вельверде!

На сей раз пришлось ждать значительно дольше, чем это было в случае с Диего де Альмагро. Толи жрец Диониса находился где-то вне лагеря, то ли просто не торопился на аудиенцию, не сулившую ему ничего хорошего.

Между тем Эрнандо де Соте даром времени не терял — с хитростью и предусмотрительностью, свойственной некоторым

умалишенным, он в разных местах своего обиталища разложил индейские боевые дубинки, прикрыв их от посторонних глаз чем придется. Теперь куда только ни шагни — везде оружие будет под рукой.

Отец Вельверде был сух, долговяз и вообще походил на увеличенного в тысячу раз богомола (только с бычьей головой). Правой рукой он опирался на дионисийский посох-тирс, а левой перебирал четки, выполненные в форме виноградной грозди.

В глубь палатки отец Вельверде соваться не стал, а притулился у выхода. Ничего не скажешь — хитер бобер.

Он не счел нужным сопроводить свое появление какими-либо речами, а только молча буравил Эрнандо де Соте недобрым взглядом, словно рентгеном просвечивал. Это немного смутило безумца.

— Сегодня вечером мы дадим индейцам решающий бой, — произнес он натянуто.

— Я с самого утра молю Диониса о победе, — сказал Вельверде, по-прежнему оставаясь возле выхода.

— Тогда можно считать, что она уже у нас за пазухой. А как ты смотришь на то, чтобы самому поучаствовать в бою? — все это, конечно, говорилось только для отвода глаз.

— Мне нельзя брать в руки иное оружие, кроме этого, — жрец пристукнул посохом об пол палатки.

— Оружие тебе не понадобится. Ты первым приблизишься к королю Уаскару и расскажешь ему всю правду о боге Дионисе. Предложишь отказаться от прежних заблуждений, проклясть идолопоклонство и принять истинную веру. Если он воспротивится, ты крикнешь: «Бей язычников!» Для наших артиллеристов это послужит сигналом в стрельбе, а для кавалеристов — к атаке.

— А если он согласится принять дионисийскую веру?

— Сочти это за обман и поступай так, как я велел. Коль пушки заряжены, они должны стрелять.

Говоря так, Эрнандо де Соте демонстративно снял шпагу, отшвырнул в сторону и, задев гостя плечом, выглянул наружу.

— Погода благоприятствует нам, — заявил он, хотя вместо солнца видел на небе черную дырку, а вместо величественных горных пиков — могильные холмы.

Вельверде, бесцеремонно оттесненный от выхода, вынужден был отступить к центру палатки. Тем не менее он упорно держался к де Соте лицом.

А тот уже трясся от вожделения, словно голодный пес, узрев-

ший кусок мяса, но не ведающий, как к нему лучше подступиться.

Вельверде, принявший слова де Соте за чистую монету, все еще колебался. Наверное, опасался, что во время боя ему подстроят какую-нибудь каверзу. Однако серьезного повода для отказа у него не было.

— Я подумаю, — буркнул он наконец.

— Чего тут думать! Соглашайся, и в знак моей признательности немедленно получишь вот эту вещь, — он кивнул на золотое блюдо, украшенное барельефом бога солнца Инти, весьма похожего на распустившего хвост павлина.

У Вельверде было много личных достоинств, не раз выручавших его в Мексике, Панаме и здесь, в Перу, — ум, проницательность, осторожность. Да только все перевешивала алчность. Прежде он не верил ни единому слову де Соте, а тут вдруг поверил. Очень уж хотелось ему заполучить это драгоценное блюдо, которое пронырливая Росета-Чуики, наверное, сперла в дядюшкином доме.

— Мне ли зариться на языческие сокровища... Я привык довольствоваться малым. Но если ты даришь эту святыню Дионису — другое дело, — утратив бдительность, он склонился к блюду и на мгновение оказался к безумцу спиной.

Де Соте, действуя проворно, как охотящийся тарантул, выхватил из какого-то потайного места дубинку и уже было замахнулся, но тут в его коварные планы вмешалось провидение (я имею в виду, конечно же, себя).

Тактика моя была проста и уже неоднократно проверена на деле — молодецким наскоком овладеть жизненно важными участками мозга, а чужое сознание вытеснить куда-нибудь на периферию. Особого противодействия со стороны де Соте я не ожидал. Ну что, спрашивается, взять с параноика, все помыслы которого сосредоточены лишь на одном — убивать, убивать и еще раз убивать?

Но случилось то, чего я никак не ожидал. При первом же напоре сознание капитана Эрнандо де Соте рассыпалось, как стеклянный стакан, в который плеснули крутого кипятка. Хлипкая оказалась психика, на одном только честном слове и держалась.

Выронив дубинку, я (именно я, потому что у этого тела уже не было иного хозяина) отступил назад и сел на первое, что подвернулось под зад — на барабан, отозвавшийся глухим, тяжелым вздохом.

В такой ситуации я оказался впервые.

Представьте себе — на календаре глухое Средневековье. Вокруг кровожадные минотавры и дикие индейцы. Помощи ждать неоткуда — законный хозяин этого тела, мой справочник и путеводитель, мой Вергилий в адских лабиринтах чужого мира, перестал существовать как личность.

Сейчас я слабее, чем малый ребенок. Посудите сами — языка не знаю. Нынешних нравов и обычаев — тоже. Даже снять доспехи самостоятельно не смогу. Вон тут сколько всяких пряжек, застежек и крючков.

Как же мне быть? Симулировать сумасшествие? Ничего другого и не остается. Кроме разве что прыжка в ментальное пространство. Но это уже будет форменное дезертирство. С мечтой о свободном Перу, неприступном оплоте человечества, придется проститься...

Вельверде, держа под мышку золотое блюдо, уже заботливо укутанное рогожей, что-то говорил мне — наверное, интересовался здоровьем.

Я кивнул, дескать, все нормально, и машинально раскрыл фолиант, на котором недавно клялся Эрнесто де Соте. Надо же было чем-то занять дрожащие руки.

Скорее всего это было что-то вроде дионисийского святого писания. Полистав страницы, я с удивлением обнаружил, что все тексты в книге написаны по-древнегречески. Впрочем, что тут удивительного — католики во время церковной службы тоже пользуются давно позабытым латинским языком.

Строчные буквы были крупными, четко пропечатанными, а заглавные еще и ярко разрисованными от руки. В глаза мне сразу бросились два слова: «Перегрин» и «костер».

Не знаю почему, но я прочитал весь абзац вслух:

— «Одетый в незримую броню истинной веры, Перегрин Протей взошел на костер, и жаркое пламя не смогло причинить ему никакого вреда».

— Ты владеешь священным языком? — Вельверде тоже заговорил по-древнегречески, хотя и с сильным акцентом.

— В юности мне случалось прислуживать в сельском храме, — соврал я. — Там и научился.

— Вот никогда не подумал бы... Так чисто и свободно, как ты, не говорят даже магистры веры.

— В молодые годы я был способным и прилежным учеником. Куда что потом делось... — мое сожаление было абсолютно искренним.

— А ты вообще здоров, капитан? — Вельверде пригляделся ко мне повнимательней. — Лицо бледное, руки дрожат, даже голос изменился. Не подхватил ли ты лихорадку?

— Нет, это не лихорадка... Что-то с головой странное... Вспоминается даже то, чего со мной вроде и не было.

— Позвать лекаря?

— Не надо. От моей болезни нет лекарства. Да и не болезнь это вовсе. Наверное, на меня снизошла божья благодать. Сейчас я чувствую себя совсем другим. Душа очистилась от скверны. Мысли прояснились. Отныне я буду разговаривать только на священном языке, всю свою добычу завещаю церкви Диониса, а солдатские жизни стану беречь пуще своей собственной.

— Нет, ты и в самом деле болен, капитан. — Вельверде с сокрушенным видом покачал головой. — В таком состоянии тебе нельзя командовать войсками. Отмени сражение или назначь себе преемника.

— Ни в коем случае! Я чувствую в себе небывалую внутреннюю силу, которая поможет мне победить индейцев в одиночку. Не оружием, а только силой убеждения. И ты поможешь мне в этом.

— Ты это серьезно? — Вельверде с сомнением покосился на меня.

— Серьезнее не бывает.

В этот момент в палатку ворвалась Росита-Чуики и что-то затараторила. Слов ее я, конечно, не понимал, но по выражению лица сразу догадался — дядюшка не обманул и привел-таки сюда своих воинов.

Этого еще только не хватало! Чем больше оголтелого народа собирается в одном месте, тем труднее предотвратить кровопролитие. Кто-то кому-то отдавит ненароком ногу — вот и повод для войны.

Кивком поблагодарив девчонку, буквально приплясывающую на месте, я обратился к Вельверде:

— Скажи ей, чтобы индейские союзники разбили свой лагерь по соседству с нашим и ожидали дальнейших распоряжений.

Вельверде пожал плечами, однако мои слова перевел. Девчонка снова затараторила, как сорока. При этом она совершала такие резкие телодвижения и принимала такие величественные позы, что я сразу понял — речь идет о ее всемогущем дядюшке. Наверное, тот напрашивался на рандеву со мной.

— Дядя пусть пока подождет, — заторопился я. — Не до него

сейчас. Мы немедленно отправляемся на встречу с королем Уаскаром. Вели оседлать лошадей.

— Вдвоем отправляемся? — переспросил Вельверде.

— Прихватим и ее за компанию, — я кивнул на девчонку. — Будет нам вместо переводчика.

Случившиеся со мной перемены были столь разительны, что ошеломленный Вельверде не смел прекословить. Представляете себе душевное состояние маршала Ворошилова, если бы товарищ Сталин заговорил вдруг по-церковнославянски и выразил желание в одиночку обороть всю фашистскую военную машину.

Нам подвели лошадей. Мне горячего гнедого жеребца, Вельверде — флегматичного пегого мерина. Ездить верхом я, слава Дионису, умел. Спасибо за это киммерийцу Шлыгу.

Мой скакун был снаряжен всем необходимым как для похода, так и для боя. При нем имелись даже тяжелые кавалерийские пистолеты, снабженные колесцовыми замками — последним писком нынешней военной техники.

Утвердившись в седле, я ухватил Роситу-Чуики за шкирку и легко забросил себе за спину, на лошадиный круп. Дорога, естественно, была мне незнакомая, и я приказал Вельверде:

— Поезжай вперед!

Вельверде держался в седле довольно уверенно, по крайней мере для божьего служки. Плохо было то, что он все время оглядывался на меня — не по-доброму оглядывался, а с подозрением, словно опасался предательского удара.

Девчонка попробовала заговорить со мной, но я знаком велел ей замолчать — нельзя, дескать, могут услышать вражеские лазутчики.

Не успели мы отъехать от лагеря и на милю, как дорогу нам заступили четверо минотавров, до этого скрывавшиеся в густом кустарнике. Вид они имели самый решительный, а фитили их мушкетов уже тлели.

Главарь, физиономией схожий даже не с быком, а скорее с вепрем, переводя взгляд с меня на Вельверде и обратно, спросил что-то грубым голосом.

Жрец ответил длинной тирадой, начинавшейся с обращения: «Франсиско». Наверное, нам повстречались знаменитые братья Писарро, а быкочеловек, люто зыркавший на меня, был старшеньким в этом семействе.

Дабы в их темных душах не зародилась обманчивая надежда на легкую победу, я выхватил один из седельных пистолетов.

Франсиско Писарро неодобрительно буркнул что-то и вместе с брательниками вновь скрылся в кустах.

— Что они там делают? — спросил я у Вельверде.

— Говорят, что охотятся на гуи. Тут их много. Вон, посмотри.

Надо полагать, что так назывались обыкновенные морские свинки, нагло шнырявшие вокруг. Я и раньше слышал, что их мясо считается у перуанских индейцев деликатесом. Но зачем же на таких малышей охотиться с мушкетом?

Поплутав какое-то время по узким тропинкам, мы выехали на мощеную дорогу, мало чем уступавшую европейским автобанам. Строить здесь умели, ничего не скажешь. Не верилось даже, что такое шикарное шоссе предназначено исключительно для пешеходов.

Пятьдесят миль, о которых упоминал Вельверде, мы преодолели часа за два. Конечную цель нашего путешествия первой увидела Росита-Чуики. Не то чтобы она превосходила нас зоркостью, а просто хорошо знала эти места.

— Кахамарка! — крикнула она мне прямо в ухо и указала вперед.

Присмотревшись, я различил скопление низких одноэтажных строений, по цвету да и по форме мало чем отличавшихся от окружающих их суровых скал. Если верить донесениям соглядатаев и перебежчиков, именно в этом городке сегодня должен был заночевать король Уаскар, инспектировавший благоприобретенные владения и попутно безжалостно истреблявший всех сторонников своего брата-соперника.

К городу вело сразу несколько дорог, но никакого движения на них не наблюдалось. И вообще, все окрестности Кахамарки казались вымершими. Опоздать мы не могли. Значит, прибыли раньше срока.

— Уаскар! — вновь крикнула девчонка, переместив руку немного влево.

Признаться, в первый момент я ничего не заметил. Серый камень, колючий кустарник, убогий городишко и блеклое небо мало радовали взор.

Потом в той стороне, куда указывала девчонка, обозначились какие-то перемены. Казалось, луч волшебного света пронесся над кустарником, позолотив его верхушки.

Дорога шла на подъем, и, пришпорив коня, я вырвался вперед. Пурпурно-золотистая колеблющаяся кайма быстро выраз-

тала как в высоту, так и в ширину, уходя влево к самому горизонту. Очень скоро я понял, что это птичьи перья — миллионы ярчайших птичьих перьев, украшавших тысячи медных шлемов.

По соседней дороге, расположенной к нам почти под прямым углом и прежде скрытой высоким кустарником, к городу двигалась бесконечная людская процессия, для описания которой у меня вряд ли хватит достойных слов.

Такого пестрого, помпезного и массового шествия история, наверное, не знала со времен римских императоров, праздновавших свои триумфы.

Впереди мерно двигались ряды метельщиков, буквально полировавших дорожную брусчатку. Далее следовала королевская гвардия — отдельно копейщики, отдельно пращники, отдельно лучники. Но больше всего, конечно, было тех, кто имел на вооружении дубины — штатное оружие индейской армии. Вкупе воинов набиралось столько, что если бы каждый швырнул в нас по камню, то на ровном месте возник бы могильный холм, мало чем уступающий пирамиде Хеопса.

За воинами важно выступали те, кого можно было назвать сливками местного общества — особы королевской крови и аристократы, чье высокое происхождение подтверждали деформированные уши, свисавшие до самых плеч. Золота, украшавшего их одежду, наверное, вполне хватило бы на то, чтобы заплатить все внешние и внутренние долги моей исторической родины.

Самого короля Уаскара несли на роскошных носилках восемь рослых индейцев, одетых в ярко-синие туники. Несмотря на вечернюю прохладу, король был обнажен по пояс. Его лица отсюда я разглядеть не мог, тем более что мне слепили глаза блики, отражавшиеся от огромных золотых дисков-серег.

Вплотную к носилкам держались королевские наложницы, число которых превышало полтысячи штук. А дальше опять вышагивали воины, аристократы, чиновники, слуги — и у каждого на голове раскачивался роскошный плюмаж из перьев тропических птиц.

Когда голова колонны уже вступила в Кахамарку, ее хвост еще оставался за горизонтом. Такого количества людей, марширующих лишь ради того, чтобы поддержать авторитет своего вождя, я не видел со времен приснопамятных октябрьских и первомайских парадов. Но в отличие от тех бестолково-шумных шествий, где здравицы перемежались с матом, а торжественный гул труб с визгом гармошки, здесь все происходило в полном молчании.

Очевидно, король Уаскар страдал мигренью, что неудивительно для человека, совсем недавно убившего своего родного брата, несколько тысяч других ближайших родственников и бессчетное количество простонародья, случайно вмешавшегося в этот маленький семейный конфликт.

Вот с каким фруктом мне предстояло иметь дело.

С одной стороны, можно было сказать, что я скатываюсь все ниже и ниже. Но с другой стороны — чего не сделаешь для блага человечества!

Пустив лошадей в галоп, мы достигли городской площади почти одновременно с авангардом королевской свиты.

Индейцы понаслышке уже знали о грозных чужестранцах, рыскавших по стране, но впечатление, которое мы оказали на них воочию, граничило с шоком.

Что же, этих невежественных и суеверных людей, никогда не видевших зверя более крупного, чем лама, можно было вполне понять. Скачущий во весь опор минотавр — зрелище не для слабонервных.

Дабы не усугублять панику, я велел своим спутникам спешиться. Но это ничуть не успокоило индейцев. Чудовище, легко разделившееся на несколько других чудовищ, все равно остается чудовищем.

— Каковы титулы короля? — спросил я у Вельверде по-древнегречески.

— Их много, но главный — Инка, или Сын Солнца.

— Скажи, что мы тоже дети солнца, прибывшие из-за далеких морей, чтобы породниться со своими братьями-индейцами. Ты скажи, а она пусть переведет, — я вытолкал вперед Роситу-Чуики, до этого скрывавшуюся за моей спиной.

На Вельверде было жалко смотреть. Он напоминал незадачливого бычка, который вышел на лужок пощипать травки, а вместо этого оказался на корриде. И хотя жрец мало что понимал в происходящих событиях, он довел мои слова до сведения Роситы, и та звонким голосом перевела их на язык кечуа.

Среди сомкнувшихся в монолитную массу индейцев произошло какое-то движение. Воины, хотя и перепуганные, но готовые прикрывать повелителя собственными телами, расступились.

В полусотне шагов от себя я увидел короля Уаскара, так и не покинувшего носилок.

Было бы глупо перекликаться на таком расстоянии, и я дви-

нулся вперед, одной рукой подталкивая Вельверде, а другой таща за собой девчонку. Хорошо вышколенные кони, громко цокая копытами, следовали за нами.

На вид король был обыкновенным индейским парнишкой — тонкошеим, скуластым и достаточно смуглым. Его костлявую грудь прикрывало тяжелое изумрудное ожерелье, а отягощенные золотом уши размером превосходили мою ладонь.

Против закованного в броню и затянутого в черную кожу минотавра он был как молодой петушок против бульдога.

Тем не менее король смотрел на меня спокойно и твердо. Когда между нами осталось всего несколько шагов и дрожь носильщиков передалась носилкам, он ударил себя кулаком в грудь и произнес высоким, ясным голосом:

— Ама маниа! Нока Инка!

Смысл этого возгласа был ясен и без перевода: «Я не боюсь! Я Инка!»

Все его огрехи пусть останутся при нем, но надо заметить, что парень держался воистину по-королевски. Как-никак, а происхождение сказывалось. Равным ему здесь было только солнце, ярко освещавшее, но плохо гревшее этот мир.

Я низко поклонился королю и заставил спутников сделать то же самое. При этом Вельверде шепотом испросил разрешения у Диониса, а Росита аж застонала от ненависти.

— Переводи! — приказал я жрецу. — Мы прибыли в эту страну с самыми добрыми намерениями. Мы посланцы мира. Однако мир должен сохраняться не только между гостями и хозяевами, но и внутри страны. Отныне в твоем государстве не должно пролиться и капли невинной крови. К сожалению, не все мои братья, прибывшие из-за моря, думают подобным образом. Их обуревает алчность, жестокость и нетерпимость к чужой вере. Они жаждут вашего золота, ваших женщин и вашей крови. Дабы установить на этой земле вечный мир, мы должны заставить их вернуться туда, откуда они прибыли — за моря, разделяющие разные части суши.

— Я не буду переводить это, — отрезал Вельверде. — Ты изменник.

— Будешь! — выхватив из седельной кобуры пистолет, я приставил его ствол к виску жреца. — И посмей только переиначить хоть одно мое слово. Я поклялся избегать кровопролития, но боюсь, что сейчас мне придется нарушить клятву.

Вельверде молчал. Я легонько нажал на собачку, и стальное колесико, готовое вот-вот чиркнуть по кремню, заскрипело.

Этот ничтожный звук подействовал на жреца убедительней, чем тысяча самых горячих слов. Он весь сжался и заговорил — глухо, запинаясь, все время косясь на меня помутневшим взором. Перевод, выполненный Роситой, звучал еще менее убедительно. Короче, получалось что-то вроде детской игры в испорченный телефон, когда сказанное тобой слово, дойдя до адресата, приобретает прямо противоположное значение.

Король с одинаковым вниманием выслушал и меня, и Вельверде, и девчонку. Ответ его, вернее, встречный вопрос, был на удивление краток и ясен. Последовательно пройдя через две инстанции, он выглядел так:

— Ты враг своих братьев?

— Я враг всякого зла, кто бы ни творил его, — (наш дальнейший диалог я привожу без упоминании роли посредников, что лишь усложнило бы текст).

— Твои братья будут сопротивляться?

— Да.

— Говорят, что их оружие способно метать молнии, испепеляющие все живое на расстоянии многих тысяч стоп.

— Шума действительно много, а результат тот же, что и от камня, пущенного из пращи.

— Еще говорят, что звери, на которых вы разъезжаете, неуязвимы.

— Они уязвимы еще в большей степени, чем любой из здесь присутствующих.

— Тогда докажи это.

— Каким способом?

— Лиши своего зверя жизни.

Такого поворота событий я, честно сказать, не ожидал. Неужели в таком святом деле, как спасение человечества, нельзя обойтись без пролития крови? Однако выбирать не приходилось. В предстоящих сражениях будет еще немало жертв — и минотавров, и людей, и лошадей.

— Сам я не могу решиться на такое. Пусть это сделает кто-нибудь из твоих подданных, — я малодушно потупил взор, продолжая, впрочем, держать Вельверде на мушке.

Король жестом подозвал к себе здоровенного детину, сплошь обвешанного золотом и утыканного перьями, не иначе как генерала, и что-то шепнул ему на ухо.

Тот подобострастно кивнул, выхватил у кого-то из воинов дубинку с медным навершием и замахнулся на вороного жереб-

ца — ну прямо Илья Муромец, воздевающий богатырскую палицу на Змея Горыныча.

Однако боевой конь, повидавший на своем веку немало схваток, умел постоять за себя. Увидев бросившегося на него чужого человека, он яростно заржал и вскинулся на дыбы. Индеец, не имевший никакого представления о поведении лошадей, неосмотрительно сунулся вперед и, естественно, угодил под копыта.

Как могли расценить это трагическое происшествие индейцы? Только как сознательную провокацию, допущенную с нашей стороны. Все надежды на успешные переговоры рухнули по вине чересчур норовистого коня.

И тут еще Вельверде показал свою подлую сущность. Воспользовавшись моим вполне понятным замешательством, он метнулся в сторону и выхватил из посоха длинный трехгранный стилет, жертвой которого должен был стать король Уаскар, слишком гордый для того, чтобы спасаться бегством.

Убийства венценосной особы я допустить не мог, ибо это напрочь перечеркивало все мои далеко идущие планы. Но и смерти Вельверде я не желал, а на спуск пистолета нажал только для того, чтобы напугать ретивого жреца.

То, что началось непосредственно после выстрела, под общепринятое определение паники уже не подходило. Это был последний день Помпеи и первый день Страшного суда, соединенные воедино да вдобавок еще окутанные облаком порохового дыма.

Сам я был ошеломлен и напуган не меньше других. Но это было ничто по сравнению с теми чувствами, которые я испытал, узрев результаты выстрела.

Пуля, размером не уступавшая перепелиному яйцу, лишь задела Вельверде (изрядно контузив его при этом) и угодила прямиком в голову королю Уаскару.

Упасть на землю властителю Тауантинсуйу не позволила высокая спинка носилок, но от его лица остались главным образом те самые замечательные уши, украшенные золотыми дисками.

Божественное солнце не смогло стерпеть гибели любимого сына, и с небес на землю обрушился грохот, сопоставимый разве что с извержением вулкана. Вокруг засвистело, завизжало, затенькало на разные лады, и индейцы стали валиться пачками.

Что-то железное цокнуло и по моей кирасе. Понимая, что случилось непоправимое, я обернулся и увидел, что окрестные высоты заняты минотаврами, надо полагать, тайно явившимися

сюда вслед за нами. Одни палили из пушек и мушкетов, другие, обнажив шпаги, скакали в атаку.

Ко мне приближались трое — Франсиско Писарро, Диего де Альмагро и тот самый солдат, которому Эрнандо де Соте, то есть я, отдал свой мушкет.

И эта неблагодарная скотина еще имела наглость целиться в меня из моего собственного оружия!

Выстрела я не услышал, вспышки не видел, но общее ощущение было такое, словно меня прямо в доспехах швырнули под колеса бешено мчащегося поезда...

НАСТРОМО, МИНОТАВР

Моему терпению, моему упорству и моим надеждам пришел конец. Хватит, сколько можно... Да и силы иссякали. Душевные, естественно, поскольку других сил, принадлежавших лично мне, давно не имеется.

Я уже совсем не тот, что прежде. Каждая новая смерть уносит какую-то частичку личности, а смертей этих не сосчитать...

Короче, нужно признать, что я потерпел полный крах. Причем сам в этом и виноват. Взвалил на себя ношу не по плечу. Сел не в свои сани. С собственным уставом полез в чужой монастырь. И, понятное дело, наворотил такого, что вспомнить стыдно. Правда, за все ответил сполна и даже через край. Ну кого еще, спрашивается, казнили чаще, чем меня, да притом самыми изощренными способами? Нет других таких мучеников.

Сейчас меня уже ничего не интересует, а в особенности то, куда несут мою измученную душу ветры ментального пространства. В прошлое, в будущее, в никуда — какая разница!

Борьба закончилась, и меня устраивает любой финал. Небытие столь же приемлемо, как и бытие, хотя и одинаково постыло.

Единственное, чего я хотел бы, так это напоследок попросить у людей прощения. Но похоже, что просить уже не у кого...

Я был вышвырнут в реальное пространство без малейших потуг со своей стороны.

Возможно, это было связано с тем, что моя душа достигла некоего предела, за которым род минотавров уже не существовал, и поколение, в одного из представителей которого я должен был вселиться, являлось последним. Если так, то поделом вам, быкочеловеки.

Впервые мне довелось присутствовать при половом акте, оба участника которого были минотаврами (спасибо провидению хоть за то, что я и на сей раз оказался самцом).

Что можно сказать по этому поводу? Да ничего особенного. Скорее даже наоборот — влечение слабое, оргазм копеечный, удовлетворение так себе.

Не те, видно, пошли минотавры. Оскудела порода. Нет уж титанов, сравнимых с Астерием Непобедимым, Александром Двурогим и Эрнандо де Соте. В этом я смог убедиться наглядно, когда запал любовников иссяк и они отвалились друг от друга, как насосавшиеся крови пиявки.

Единственным достоинством дамы-минотавра было довольно смазливое телячье личико. Зато тело ее было изможжено, как у инокини, зад размером не превышал пару буханок ситника, а груди напоминали выжатые лимоны.

Пошаливал и быкочеловечий организм, в котором я понемногу осваивался. Ныло под ложечкой, свербело в паху, кололо в сердце, свистело в бронхах, а с головой вообще творилось полное безобразие. Фигурально говоря, это была даже не голова, а мусорное ведро, которое давным-давно не опорожнялось, вследствие чего в нем завелась не только плесень, но и тараканы.

Необъятные мозги минотавров, способные усвоить массу всякой информации, похоже, сыграли с хозяевами злую шутку — усвоили много такого, чего усваивать и не следовало бы. Воистину сказано — все наши горести проистекают от излишней изощренности ума.

Что касается лично меня, то я даже и не собирался подступаться к этой грандиозной свалке несбывшихся замыслов, извращенных страстей, вселенской тоски, самого мрачного фатализма, пренебрежения ко всем аспектам бытия и отвращения к самому себе.

Если душа человека (а равно и минотавра) — это целый мир, то я попал в мир, стремящийся к саморазрушению.

— Что будем делать дальше? — поинтересовалась дама, закуривая что-то предельно вонючее, не то средства для уничтожения насекомых, не то высушенный кусок собачьего дерьма.

— Ничего, — ответил мой минотавр. — Я едва жив. Я разбит физически и морально. Мышка, угодившая в мясорубку, и та, наверное, чувствует себя лучше.

— Еще бы! — саркастически усмехнулась дама. — Погулял ты вчера знатно. Еле приполз под утро.

— Меня можно понять и простить. Я едва не захлебнулся в пучине порочных наслаждений, — простонал минотавр.

— Понимаю... А головка после этого не болит?

— Болит! Ох, как болит, — он так сжал свой череп руками, что затрещали швы.

— Да я не про эту головку, — опять усмехнулась дама. — Потаскуха, которая вчера затянула тебя в пучину порочных наслаждений, страдает острой генитальной язвой в четвертой стадии. Ее симптомы проявляются в течение суток. Это тебя не пугает?

— Какая разница, — он пошарил возле кровати в поисках кружки с водой, но та валялась на боку. — Она в четвертой стадии, ты во второй. Конец будет один.

— Не скажи. Острая форма — это одно, а хроническая — совсем другое. Я когда острой страдала, через зонд мочилась.

— Зонд не проблема. Санитары их даром раздают.

— Тогда собирайся в больничку, — оживилась дама. — Заодно и подкумарим.

— Как же, подкумаришь... От таких, как ты, там отбоя нет.

— У тебя имеются другие предложения?

— Не знаю, — минотавр опять обхватил руками свою забубенную головушку. — На биржу надо идти. Дело какое-нибудь искать. Авось и сшибем бабок.

— Кто тебя такого в дело возьмет! Сначала в зеркало на себя полюбуйся. Рвань дохлая, и больше ничего. Уж лучше логическими опытами займись. Иногда это у тебя получается.

— Прямо на улице?

— Где же еще! А впрочем, позвони своему продюсеру. Не исключено, что он снял для тебя шикарный концертный зал.

— Издеваешься... Можно, конечно, и опытами заняться. Только не в себе я что-то... Чую всеми фибрами, что в меня вселилась некая мыслящая субстанция.

— Надеюсь, не заразная? — язвительно ухмыльнулась дама, сама насквозь пропитанная заразой.

— Она же нематериальная... Соткана из структур, более чистых, чем свет, и более легких, чем пустота.

— А если это опять какой-нибудь инопланетянин? — дама явно намекала на некий пикантный случай. — Мало тебе было одного раза? Всем миром еле откачали...

— Лучше не вспоминай. Передозировка подвела. А тут совсем иной случай. Одна бесприютная душа нашла другую.

— И что тебе от этого?

— Мне — ничего. Но этой странствующей душе нужна мо-

ральная опора. Сейчас ей очень плохо. Она страдает. Она не видит смысла в дальнейшем существовании.

— Неужели кому-то бывает еще хуже, чем нам! — искренне удивилась дама.

— Представь себе, бывает. Мир переполнен горем.

— Ну почему в тебя не вселится что-нибудь энергичное, жизнерадостное, деятельное! — взмолилась дама.

— А зачем?

— А затем, что тогда бы ты не валялся здесь бревном, а прошвырнулся по окрестностям и сбил бы немного дури. Иначе нам до следующего дня не дожить.

— Доживем как-нибудь, — минотавра стало понемногу клонить в сон. — Не впервой... Но идти в больничку ты меня сегодня не заставишь...

— Недоносок! Мразь! — Дама неловко соскользнула с постели и, как была голышом, так и поползла к инвалидной коляске, застрявшей в протараненных дверях ванной комнаты. — Одна поеду! Голая! Пусть надо мной вся сволочь смеется! Пусть меня голодные псы загрызут!

— Достала! Ну, достала! — Минотавр с превеликим трудом принял сидячее положение и стал одеваться, долго и с отвращением разглядывая каждый предмет своего туалета.

— Как там твоя квартирантка? — После того, как они оказались под открытым небом, дама сразу повеселела. — В смысле бесприютной души...

— Затаилась, — буркнул минотавр, толкая перед собой коляску. — Присматривается. Тут ей все внове.

Столь быстрое разоблачение отнюдь не встревожило меня. Во-первых, мне и в самом деле было глубоко на все начхать, а во-вторых, я ничуть не боялся этого несчастного, изувеченного жизнью быкочеловека. Наоборот, иногда в нем даже проскальзывало что-то симпатичное.

Не хочу сказать, чтобы меня очень уж интересовала окружающая обстановка, но взглянуть на быкочеловеческое будущее все же стоило. Интересно, куда завел минотавров путь, указанный Астерием Непобедимым — в райские кущи или в адские бездны?

Увы, меня ждало разочарование. Мало того, что мой минотавр был полуслеп (какой скорбный контраст с орлиной зоркостью предков!), так он еще старался не фиксировать свой взгляд на чем-либо конкретном, как бы отстраняясь от внешнего мира.

Это был типичный интроверт — личность, обращенная внутрь себя самой.

Действуя в своей привычной манере, он даже не заметил бездыханное быкочеловечье тело, лежавшее поперек пешеходной дорожки, но дама-инвалидка не преминула высказаться по этому поводу:

— Совсем обнаглели филины. Уже и дохляков не подбирают.

— Ты языком-то зря не болтай, — упрекнул ее минотавр. — Еще восьми часов нет. Труповозки позже выезжают.

— Откуда мне время знать! — окрысилась дама. — Сам же ведь мои часы загнал..

— А кто аккумуляторы от коляски на дозу «торчка» сменял? — парировал минотавр. — Ехала бы сейчас, как цаца, и меня не заставляла корячиться.

— Ладно, не петушись, — дама устроилась в коляске поудобнее и постаралась придать своему потасканному личику благостное выражение. — А то на нас санитары в окна косятся...

Медицинское заведение, в которое они прибыли, пахло вовсе не больницей, а овощебазой — то есть вечной сыростью и залежалой гнилью. Пологий пандус, ведущий к входным дверям, был сплошь забит инвалидными колясками. Одни были еще в заводской смазке, другие успели заржаветь, но похоже, что ими никто никогда не пользовался.

Потянулись гулкие пустые коридоры. Минотавр двигался, не поднимая глаз, и единственное, что я мог видеть, кроме его брюк и ботинок, были серо-голубые квадраты керамической плитки, клочья окровавленной ваты, засохшие плевки и опорожненные одноразовые шприцы, которые дама-инвалидка почему-то называла «дурмашинами».

Судя по всему, дорога сюда была для этой парочки столь же привычна, как маршрут «спальня — туалет». Последовательно преодолев несколько стеклянных дверей, украшенных загадочными пиктограммами, они оказались в просторном помещении, где имелось и гинекологическое кресло, и целая батарея капельниц, и много другого оборудования, явно имевшего отношение к медицине.

За столом, столешница которого представляла собой толстую полупрозрачную плиту, восседал минотавр, облаченный в зеленый прорезиненный комбинезон и защитную маску. На рукаве имелась эмблема, изображавшая двух свившихся вместе змей.

— Привет! — еще с порога поздоровалась дама. — Мы не рано?

— Нет, — глухо ответил санитар (по-видимому, так здесь называли всех служителей легендарного Асклепия). — Хотя сегодня вы первые. С каждым днем пациентов бывает все меньше и меньше.

«Выздоравливают, гады», — негромко буркнул минотавр, зато его подруга весело прощебетала:

— Самым первым посетителям полагается приз!

Однако санитар пропустил ее намек мимо ушей.

— Вы нас часто посещаете? — спросил он.

— Чаще не бывает. Чуть ли не ежедневно. Можно сказать, постоянные клиенты. Тут, правда, до вас другой мужчина был... Он в отпуске?

— Он умер, — сообщил санитар безо всяких эмоций. — На что жалуетесь?

— На жизнь, — дама игриво передернула плечиками.

— Имя, фамилия?

— Зовите меня Камелия. А фамилию я забыла, — она капризно скривила бледные губки.

— Провалы памяти?

— Нет, эпидемический менингит. С последующими осложнениями.

— Как вы регистрировались здесь раньше?

— Так и регистрировались, — ответила Камелия.

— А ваш спутник? — санитар внимательно глянул на моего минотавра.

— Я, в общем-то, здесь случайно, — произнес тот с независимым видом. — За компанию заглянул. На здоровье не жалуюсь.

— Имя, фамилия?

— Это обязательно?

— Желательно.

— Настромо.

— А дальше?

— Просто Настромо.

— Его потому так прозвали, что он умеет будущее предсказывать, — затараторила Камелия. — И мысли читает. Хотите узнать дату своей смерти?

— Спасибо, не надо...

Санитар провел пальцем по столешнице, и в ее глубине стали зажигаться тусклые огоньки — словно елочные гирлянды, ес-

ли смотреть на них сквозь заледеневшее окошко. Наверное, это было что-то вроде компьютера. Выходит, что минотавры все это время тоже не спали, а двигали технический прогресс вперед.

— Пациент Настромо, положите сюда свою правую ладонь, — санитар указал на малиновый круг, появившийся в центре столешницы.

— А я? — заволновалась Камелия.

— Вы пока подождите.

Мой минотавр, пожав плечами, исполнил эту просьбу, и огоньки в недрах столешницы замерцали живее.

— Когда вы принимали пищу в последний раз? — спросил санитар.

— Да только что, — минотавр по имени Настромо похлопал себя свободной рукой по животу. — Навернул дюжину бутербродов с лососиной, а сверху добавил свиной шницель.

— Вам необходимо срочно ввести хотя бы сто кубиков глюкозы и что-нибудь из витаминов. Иначе возможен вегетативно-сосудистый криз.

— Себе в задницу введи, — посоветовал Настромо, убирая ладонь со столешницы.

— Тогда вы пришли сюда зря. На этаминал натрия можете даже не рассчитывать. Ни вы, ни ваша спутница.

— Соглашайся, дурак! — Камелия яростно дернула Настромо за рукав. — Не убудет тебя от глюкозы. Зато бешенкой ширнемся.

Заскрежетав зубами, Настромо присел на трехногую больничную табуретку, закатал левый рукав и сдернул с предплечья плотную брезентовую манжетку. Под ней обнаружился вживленный в вену катетер.

Не сходя с места, санитар подтащил к себе капельницу, уже снабженную нужными флаконами, и подключил ее шланг к катетеру...

После этой лечебной процедуры моему минотавру лучше не стало, а головная боль даже усилилась — наверное, давал о себе знать легкий наркотик, введенный вместе с глюкозой.

Камелия, получив свою дозу, печально скривилась.

— Не забирает меня уже бешенка, — пожаловалась она. — Это только для школьников. Может, что-нибудь покрепче имеется? Ледышка или чума?

— Ничего другого не держим.

— Держите! Ты вола-то не верти и темноту с чернотой не разводи. Все у вас есть, если за деньги.

— Я не собираюсь с вами пререкаться, — санитар помахал над столешницей рукой, и все огни разом погасли.

— Денег у нас нет, это я прямо говорю, — распаленная бешенкой Камелия уже не владела собой. — Но отработать могу. Услуга, как говорится, за услугу.

— Мне не до шуток.

— А кто здесь шутит! Я до любви знаешь какая горячая. На все способна. Тем более что бояться уже нечего. Лауреат, так сказать, всех существующих премий. В смысле имею полный букет вензаболеваний. Но ты не бойся. Две резинки натянешь — гарантия сто один процент.

— Венерические болезни — это понятно, — помолчав немного, сказал санитар. — А как насчет иммунодефицита?

— Полный набор. Не скрываю. Но ты ведь знаешь, как предохраняться. Соглашайся, милый, не пожалеешь.

Санитар явно колебался, все время протирая салфеткой стекла своей маски.

— Ладно, вы тут забавляйтесь, а я пока погуляю, — сказал Настромо и уже от дверей добавил: — А дату вашей смерти я могу сообщить почти точно. Первое число следующего месяца плюс-минус один день. Заявляю это как практикующий ясновидец.

— Я, кстати, тоже ясновидец, — ответил санитар. — Лично вы не доживете и до полуночи.

Как видно, санитар остался доволен Камелией, иначе зачем было так накачивать ее наркотиками. Инвалидка хотя и пребывала в полной отключке, но гримаса блаженства не сходила с ее лица. Моего минотавра даже зависть взяла.

— У-у-у, тварь продажная, — пробормотал он, поправляя в коляске ее беспомощное тело.

Возвращаться домой не имело никакого смысла (там даже таблетку бензолки давно нельзя было сыскать), и Настромо, толкая перед собой коляску, двинулся на так называемую биржу, где иногда можно было перехватить какое-нибудь разовое поручение или даже найти работу, посильную для наркоманов и алкоголиков. Однако по причине раннего часа на бирже еще никого не было (тем не менее окурки и недопитые бутылки уже кто-то успел подобрать).

Силы Настромо почти иссякли, и он еле добрался до набережной. Выбранная им позиция имела то преимущество, что лю-

ди, спускавшиеся сюда с моста, не могли обойти его стороной. Развернув Камелию лицом к каналу (пусть «дурь» немного выветрится), Настромо стал поджидать потенциальных клиентов. Зажиточная публика здесь, как правило, не появлялась, но его сейчас устроила бы самая ничтожная сумма.

Завидев тучного немолодого быкочеловека, оказавшегося в этих местах явно случайно, Настромо попытался проникнуть если не в его душу, то хотя бы в самые простые страстишки.

— Вы идете не в ту сторону, — сказал он вкрадчиво. — Особа, с которой вы условились о встрече, живет не здесь. Вы просто ошиблись поворотом. Однако я бы не советовал вам рисковать. Вас ввели в заблуждение. Это вовсе не спальный район, как вы полагаете, а трущобы, где приличный человек может легко угодить в неприятную историю.

Толстяк остановился, словно налетев на невидимое препятствие. Физиономия его побагровела.

— Выследили все же... — пробурчал он, буравя Настромо ненавидящим взглядом. — Засекли... Ну ничего... Скажи той суке, которая тебя послала, что она занимается пустыми хлопотами. Я сам себе хозяин и гуляю там, где хочу.

Высказавшись подобным образом, толстяк лихо развернулся на месте и засеменил в противоположную сторону. Прежде чем скрыться с глаз Настромо, он приостановился и погрозил ему кулаком.

Вот и верь потом в быкочеловечью благодарность.

Некоторое время набережная была пуста, но затем ее заполнила публика, высыпавшая из туннеля подземки. Добыча, кажется, сама шла в руки Настромо.

— Эй, — крикнул он какому-то типу в широкополой шляпе. — Задержитесь на минутку. Предсказываю будущее, снимаю порчу, корректирую судьбы, диагностирую любые болезни. Вот у вас, например, артрит правого коленного сустава, гипертония, аденома простаты и недолеченный сифилис.

— А у тебя шизофрения! — быстро удаляясь, огрызнулся прохожий.

— Куда же вы! — взмолился Настромо. — Хотя бы на пачку сигарет дали. Разве я что плохое сказал? По нынешним временам вы почти здоровый.

Однако сифилитика-гипертоника уже и след простыл.

Следующей была женщина средних лет, только что побывав-

шая в ближайшем супермаркете, о чем свидетельствовали пестрые целлофановые пакеты, торчавшие из ее сумки.

— Зря вы оставили суп на плите, — сказал Настромо как бы между прочим. — И суп выкипел, и кастрюля прогорела. Хорошо хоть, что пожар не случился.

К сожалению, его слова не произвели на домохозяйку должного впечатления.

— Чтоб у тебя мозги выкипели, засранец! — ответила она, ускоряя шаг. — Развелось тут всяких нищебродов...

— Нет, так дело не пойдет, — сказал Настромо самому себе. — Уж если предсказывать, так только что-нибудь отрадное для души. На плохих вестях не заработаешь.

Спустя некоторое время его внимание привлекла юная особа, облокотившаяся на парапет набережной. Сейчас она была занята самым естественным в этой позе делом — плевками на точность, благо привлекательных мишеней в мутной воде канала имелось предостаточно.

— Поздравляю со скорым прибавлением в семействе, — сказал Настромо девушке. — Вы беременны на третьем месяце и скорее всего мальчиком.

— Знаю, — с пикантной хрипотцой в голосе ответила девушка. — Вот потому и пришла сюда. Хочу утопиться.

— Дело, конечно, хозяйское... Только я на вашем месте не спешил бы. С утра бывает одно настроение, к вечеру другое. Если вы ссудите мне определенную сумму, кстати, весьма незначительную, все ваши печали можно развеять в мгновение ока.

— Иди умойся, — сказала девушка, доплюнув наконец до проплывающей мимо дохлой крысы. — Если бы у меня эта определенная сумма имелась, я бы давно аборт сделала... Ладно, вижу, что здесь мне утопиться не дадут. Поищу укромный уголок...

— Удачи вам, — Настромо решил быть вежливым до конца.

За час с лишним ему удалось разжиться лишь сигаретой с анашой (угадал, сколько патронов осталось в пистолете возвращающегося с дела бандита), да бутылкой какого-то подозрительного пойла, пахнущего скорее скипидаром, чем спиртом (предсказал бездомному бродяге, что следующую ночь тот проведет под крышей и на койке, хотя умолчал, что это будет крыша морга, а под койкой подразумевается стол прозектора).

...Камелия проснулась намного раньше, чем он надеялся, и сразу заканючила:

— Ну достань где-нибудь еще одну дозу... Ну пожалуйста... Я вся просто на огне горю.

Как ни странно, но их выручили ненавистные всем филины, мотопатруль которых в кои-то веки завернул на набережную. Видя в поведении дамы-инвалида признаки тяжелейшей ломки, один из сержантов одарил ее целой горстью шприц-тюбиков с морфином.

Правда, свой поступок он мотивировал довольно оригинальным образом:

— На, курва, колись хоть до усрачки. Авось загнешься от передозировки.

Так бы оно, наверное, и случилось, но Настромо припрятал шприцы, израсходовав только парочку — один на себя, другой на Камелию.

После этого он впал в состояние блаженства и, естественно, вспомнил обо мне.

— Ну как ты себя там чувствуешь? — сказано это, сами понимаете, было не вслух, но сформулировано достаточно ясно.

Я таиться не собирался и честно признался:

— Плохо. А сейчас, боюсь, будет еще хуже. Я ведь наркотики не употребляю.

— Привыкай... А кто ты такой, собственно говоря?

— Человек, — ответил я безо всякой гордыни.

— Я тоже человек. И она, — Настромо перевел взгляд на вновь задремавшую Камелию.

— Нет, не путай, — возразил я. — Вы не люди. Вы совсем другие существа, хотя и имеете с нами много общего. Люди помельче будут, и череп у них совсем другой, без этих ваших излишеств.

— Подожди, дай вспомнить... Сначала на земле жили эти... как их... неандертальцы. Потом кроманьонцы. А уж после них — мы, кефалогереты.

— Верно. Вот я и есть тот самый кроманьонец. Ты случайно не в курсе — они где-нибудь еще сохранились?

— Точно не скажу. Скорее всего вымерли. По крайней мере, мой дед их уже не застал.

— Вымерли они, как же! — горечь обуяла меня. — Извели их всех твои предки.

— Ну прости, если так... А сам ты откуда взялся?

— Долго рассказывать.

— Представляю... Тут бумажник потеряешь, и то разговоров на неделю. А ты как-никак без тела остался. Где оно, кстати?

— В другой реальности, скажем так, — я слегка замялся. — Мне туда сейчас не добраться.

— А что ты делаешь в этой реальности?

— Честно сказать?

— Как хочешь...

— Собираюсь изничтожить все ваше подлое племя под корень. Начиная с самого первого кефалогерета, который и есть истинная причина нынешнего беспредела. Попутно хочу возродить род человеческий, невинно пострадавший от твоих праотцов-живодеров. Устраивает тебя такая программа?

— Хоть сейчас могу под ней подписаться! Кефалогеретов давно пора уничтожить. Они хуже любой заразы. Так все вокруг отравили, что глянуть тошно. Нет им места на земле... А что касается людей, я с тобой не совсем согласен. Зачем их возрождать? Тоже мне голубки нашлись. Неандертальцев за милую душу съели. И всех мамонтов в придачу. Думаешь, они получше нас будут? Ох, вряд ли. Одного поля ягодки. Только кефалогереты оказались покруче, посмелее и пожестче, чем люди. Вот и довели до закономерного финала все ваши абсурдные начинания. Будешь спорить? А-а, не хочешь... Тогда давай оставим планету такой, какой она была до появления первых мыслящих существ. Питекантропов, кажется... Пусть на ней живут вольные звери, птицы, рыбы и микробы.

— Во многом ты, конечно, прав, — вынужден был согласиться я. — Но людей все равно жалко. Родная кровь. Ну, допустим, съели они когда-то неандертальцев. Зато какое великое искусство создали! Видел бы ты античные фрески или кинофильм «Титаник». Да, люди не были ангелами, но надежда на их грядущее исправление всегда теплилась.

— А ты, оказывается, еще и шовинист!

— Есть немного. Хотя я скорее патриот... А с другой стороны, от меня мало что зависит. Свято место пусто не бывает. Закон природы. Исчезнут минотавры, то бишь кефалогереты, исчезнет и созданная ими реальность. Человечество возродится само собой — в прежнем виде, в прежнем количестве, с прежней историей и с прежними грехами. А то, куда оно пойдет дальше, уже не нашего ума дело. Тут на него повлиять невозможно... Хотелось бы, конечно, чтобы люди не повторили ваших ошибок.

— Наших не повторят. Зато своих собственных наделают. Можешь даже не сомневаться.

— Впрочем, говорить об этом рано. Я пока что единственный уцелевший представитель человеческого рода. Да и то неполноценный. Душа есть, а тело — тю-тю!

— Ладно, пользуйся пока моим, — великодушно позволил Настромо. — Только уж за «дурь» всякую не взыщи. Я без нее не могу.

— Спасибо, — поблагодарил я. — Обещаю не злоупотреблять гостеприимством. Ты лучше скажи, что тут у вас вообще творится? А то я как-то не врубаюсь.

— Ничего у нас не творится. Все нормально.

— То есть в обществе царит всеобщая гармония. Народ благоденствует. Насилия, горя, бедствий и всего такого прочего нет и в помине. Я тебя правильно понял?

— Только не надо утрировать! Не люблю... Насилие, болезни, бедствия... Как же нам без этого букета? Там, где есть такие, как мы с тобой, — всегда есть и горе. Отсюда все берется. — Он постучал костяшками пальцев по голове. — Вот где зреют плоды зла! Разве раньше ты этого не понимал?

— Ну, скажем, не так ясно, как сейчас. Очень уж у вас тут все... откровенно.

— Ничего удивительного. Всему в свой срок приходит конец. Даже богам. Даже великим народам. А перед всеобщим концом уже не до показухи. Проявляется сущность. То, что было ниспослано свыше, отлетело, как шелуха. Остался только зверь, всегда таившийся внутри нас. Вот он теперь и забавляется нами.

— Да-с, картинка мрачноватая... А как у вас насчет войн? Для людей это всегда было бедствие номер один.

— Войны? Были раньше, — он задумался. — А может, и сейчас идут. Надо у Камелии спросить. Она в туалете всегда радио слушает... Эй, убогая!

Прежде чем я успел остановить его (не хотелось, чтобы в наш безмолвный диалог вмешивался кто-то посторонний), Настромо уже растолкал свою подругу, после дозы морфина почти вернувшуюся к нормальной жизни.

— Ну что тебе? — недовольно проворчала она.

— Тут эта приблудная душа насчет войн интересуется. Воюет сейчас кто-нибудь?

— А как же, — произнесла Камелия тоном знатока. — Недавно мы с олимпийскими фундаменталистами воевали. Вот только не помню, кто кого победил. А сейчас Северная Дионисия воюет с Восточной. Так их треплют, что только пух летит. Новый Крит свое уже отвоевал. Нынче там даже верблюжья колючка не рас-

тет. Пустыня. А недавно австралийские гераклиды напали на чайников. Не могут поделить острова Восходящего солнца. Про мелкие стычки и внутренние конфликты говорить не буду. Язык устанет.

— Грамотная баба, — эта оформленная в мыслях фраза предназначалась уже исключительно для меня. — Да только вся насквозь гнилая. Долго не протянет.

— Ты, похоже, за жизнь тоже не цепляешься.

— Какой смысл утопающему цепляться за кусок дерьма? Никакого. Разве не так?

— Не скажи. Некоторые за соломинку готовы уцепиться.

— Это те, кому есть что терять. А у меня все имущество — вот, — Настромо встряхнул инвалидную коляску Камелии, и та обложила его за это непотребными словами. — Плюс алкоголизм, наркозависимость и сто болезней, начиная от пяточной шпоры и кончая прогрессирующим иммунодефицитом... И почему ты нас всех раньше не уничтожил, еще до моего рождения!

— Не смог, значит. Кишка тонка оказалась. Я же, сам понимаешь, фантом, ничто. Условное понятие. Могу действовать только чужими руками. Вот и странствую по наследственной цепочке от предка к потомку и наоборот...

— При случае передавай привет моему папаше-покойнику.

— Не перебивай. Для того чтобы пресечь род кефалогеретов наверняка, мне нужно вернуться в далекое прошлое и отыскать там вашего прародителя. — О том, что такая встреча однажды уже состоялась, я решил умолчать. — Вот как раз это у меня и не получается. Раньше получалось, а теперь нет. Силенок маловато. Человек — это все же не кефалогерет. Пожиже порода.

— Понял. Твоей душе не хватает... как бы это лучше выразиться... пробивной силы. А у меня ее с лихвой. Запросто могу тебе помочь. Я, между прочим, если не ширяюсь, одним только взглядом свечи тушу и вилки сгибаю. С духами предков общаюсь. Но это, правда, только под кайфом. Мысли потаенные читаю. Ну и все такое самое. Прирожденный парапсихолог и экстрасенс. Когда будет надо, я поднатужусь и заброшу тебя в самое начало времен. Набьешь там морду богу Дионису. Пусть в следующий раз по пьянке миросозиданием не занимается.

— В Диониса, стало быть, верите? — осторожно осведомился я.

— Ни в кого мы не верим! Но некоторые прикидываются. Хотя и здесь согласия нет. Кто-то Зевсу поклоняется, как встарь. Кто-то Гераклу. Кто-то вообще Церберу. Моя бабка, помню,

горгоне Эвриале тайком молилась, сестре горгоны Медузы. Новых сект тоже хватает. Особенно на востоке... Только ты меня не сбивай. Мы вроде о деле говорили. Не понимаю, как и почему ты вселился в меня, но хотелось бы знать, как ты собираешься выселяться. Чтоб, значит, в прошлое отправиться.

— Хорошая тема. Сам бы я ее, возможно, и не коснулся... Чаще всего я покидаю чужое тело во время его гибели. Кроме того, меня можно изгнать физической болью. Но только очень-очень сильной.

— Вот насчет боли ничего обещать не могу. Я ведь все время на наркотиках. Если не ширнусь вовремя, то с ума сойду. Придется тебе дожидаться моей смерти. Надеюсь, что недолго осталось. Слышал, что сегодня санитар сказал?

— Слышать-то слышал, но не очень верю. Это он со зла ляпнул. В качестве ответного комплимента.

— Я и сам не верю. Прощелыга... Дождется у меня! Они ведь, гады, нас не лечат, а потихоньку травят всякой гадостью. Чтоб такие, как я, землю зря не топтали. Вот и приманивают бешенкой... А куда денешься!

— Что ты там себе под нос бормочешь? — подала голос Камелия. — Бредишь?

— Нет, это я с приблудной душой общаюсь. С ней, не в пример тебе, хоть поговорить есть о чем.

— И к какому, интересно, полу принадлежит эта душа? — поинтересовалась Камелия.

— У души нет пола. А ты, похоже, ревнуешь?

— Очень нужно! Просто хотелось бы знать, кем она была раньше, мужиком или бабой.

— Сейчас узнаем, — минуту спустя, получив от меня исчерпывающий ответ, Настромо уже докладывал подруге: — Родился-то он мужчиной, но впоследствии прошел через такое количество перевоплощений, что сейчас затрудняется назвать свою истинную половую принадлежность.

— Гомик, значит, — констатировала Камелия.

Тут нашим милым беседам пришел конец, чего и следовало ожидать с самого начала. Слишком жесток был этот ущербный, деградирующий мир, и расслабляться в нем нельзя было ни на секунду. А вот мои новые знакомые расслабились, что для них, родившихся и выросших здесь, было совершенно непростительно.

Трое молодых быкочеловеков, спешивших куда-то по своим

поганым делам, внезапно заинтересовались этой несчастной парочкой.

Раньше все минотавры казались мне на одно лицо, вернее, на одну морду. Но при ближайшем рассмотрении это оказалось совсем не так. Если Камелия, к примеру, смотрелась телкой, а недавно протащившийся мимо работяга в грязном комбинезоне — усталым волом, то эти трое скорее напоминали свирепых буйволов с вечно налитыми кровью глазами.

— Красиво живете, старичье, — сказал один из них, раздавив ботинком пустой шприц-тюбик. — Морфинчиком балуетесь. А поделиться с нуждающимися слабо?

— Это не наше, — попытался отговориться Настромо. — Мало ли какой мусор вокруг валяется.

— Ваше, ваше, — ухмыльнулся громила. — По рожам вижу, что недавно ширнулись. А ну выворачивай карманы, пока мы вам потроха не вывернули!

Не надо было обладать даром провидца, чтобы заранее предсказать, каким финалом может завершиться эта неприглядная история. Однако из всех возможных вариантов разрешения конфликта Настромо выбрал наименее удачный — принял боевую стойку.

Бандюги заржали, и тот, который стоял к Настромо ближе всех, врезал ему своей массивной башкой в лицо. Это, скажу я вам, было посерьезнее, чем удар тарана в крепостные ворота.

Когда Настромо вновь пришел в себя, грабители были уже далеко. Его одежда, а равно и одежда Камелии, имела такой вид, словно ее черти выворачивали наизнанку. Наркотики искали даже в ботинках, потому что те валялись сейчас на середине мостовой.

— Вот и оттянулись, — пробормотала Камелия, подползая к перевернутой коляске. — Говорила я тебе, дураку, что надо было все сразу употребить.

— Конечно, как всегда, виноват я. — Настромо потрогал свое разбитое лицо. Боли он действительно не ощущал. Так, саднило немножко.

— А кто же еще! Сколько раз тебе говорила — меня слушай.

— Не кипятись... С чем пришли, с тем и уходим.

— А синяки, а шишки? Тебе, похоже, еще и нос сломали.

— Заживет. Не в первый раз...

Ситуация складывалась такая, что я счел необходимым лишний раз напомнить о себе, а заодно и отдать долг вежливости.

— Сочувствую вам, — произнес я мысленно. — Но, к сожалению, помочь ничем не могу.

— Тогда лучше помолчи, — ответил Настромо без прежней учтивости. — Сам видишь, у нас и без тебя проблем хватает. Потом о нашем деле потолкуем. Время еще будет.

А между тем, как выяснилось впоследствии, на завершение всех земных дел ему оставались считаные часы.

Место, в определенных кругах известное как биржа, когда-то было стадионом. С тех времен здесь сохранились бетонные остовы трибун, развалины раздевалок и просто груды камней, на которые можно было присесть. Не все местные завсегдатаи сохранили способность долго держаться на своих ногах.

Пристроив Камелию среди скучающих дам, чей образ жизни не требовал уточнений, Настромо обошел биржу по периметру, изредка здороваясь с приятелями. Никто не предложил ему выпить, закурить или нюхнуть, а свою законную добычу — бутылку мерзкой сивухи, чудом уцелевшую в драке, он решил приберечь на самый крайний случай.

Изо дня в день здесь собиралась примерно одна и та же публика, причем работодатели мало чем отличались от рабсилы, разве что морды имели куда более гладкие да не спотыкались на каждом шагу.

Несколько раз на бывшую беговую дорожку выезжала патрульная лайба, но сунуться в гущу толпы никто из филинов не посмел. Клиентура здесь собиралась такая, что могли и выкидышем запросто пощекотать.

Скоро во всех членах Настромо появилась предательская дрожь, а глаза, и так полуслепые, заволокла едкая слеза. Уже еле переставляя ноги, он вернулся к Камелии.

Та, покуривая самокрутку, вела с приятельницами оживленную беседу.

— Как успехи? — спросил Настромо.

— Голяк, — ответила она беспечно. — Вот чувихи дали «бычок» добить. А у тебя что слышно?

— Ничего, — буркнул он и вновь двинулся в обход биржи, уже не надеясь ни на что хорошее.

Скоро в толпе кого-то прирезали, и все бросились врассыпную, но не бегом, а энергичным прогулочным шагом. В возникшей давке Настромо ненароком столкнулся с неким типчиком,

державшим, как говорится, нос по ветру, а руки глубоко в карманах.

Салонные церемонии были на бирже не в чести, однако Настромо на всякий случай проронил:

— Извини, друг.

Зашибленный минотавр никакой обиды не высказал, а, наоборот, повел себя так, словно они с Настромо были давними знакомыми.

— Привет! — воскликнул он, раскрыв объятия. — Сто лет не виделись. А я, между прочим, про тебя недавно вспоминал. Как ты хоть живешь?

— Как видишь, — горький вздох Настромо был красноречивее любых слов.

— Да-а... Видок у тебя такой, что покойник не позавидует, — посочувствовал незнакомый знакомец. — Совсем доходишь... На, глотни пока «колес».

Настромо покорно сунул в рот несколько таблеток, которые вполне могли оказаться стрихнином или мышьяком. Не было сил даже на то, чтобы запить их чем-нибудь. Пришлось копить слюну.

Полегчало уже через пару минут — от сердца отлегло, в голове прояснилось, предательская дрожь прекратилась.

— Спасибо, — сказал он, пытаясь получше разглядеть своего благодетеля.

Тот продолжал радостно скалиться, вспоминая о совместных пьянках и общих подругах, однако Настромо мог поклясться, что видит его впервые. Да и разница в возрасте ставила под сомнение самую возможность их прежней дружбы. Или парень принимал его за кого-то другого, или просто ломал комедию. Впрочем, принципиального значения это не имело. Психов на бирже было еще больше, чем мошенников, и с ними приходилось ладить.

— Работу ищешь? — участливо поинтересовался странный паренек.

— Не отказался бы. А что — есть предложения?

— Могу свести с одним заказчиком. Работа плевая, деньги большие.

— Почему сам за нее не возьмешься?

— Работа для двоих. Ты со своей бабой — идеальная пара.

— Про бабу мою ты откуда знаешь? — до Настромо стало наконец доходить, что эта встреча отнюдь не была случайной.

— Откуда надо, — отмахнулся паренек, который, похоже,

был обыкновенным уличным посредником, сводившим вместе нужных людей. — Так ты берешься?

— Сначала объясни, что это за работа.

— Ну ты и любопытный! — парень от досады аж глаза закатил. — Я ведь уже говорил — ничего сложного. Храм Антея знаешь?

— Антея Землепроходца или Антея Гераклоборца?

— Гераклоборца.

— Знаю. Только туда чесать и чесать. Это при моем-то здоровье.

— Не волнуйся, подбросят вас. В храме скоро начнется служба. У них там сегодня какая-то памятная дата. Пускают всех, а особенно убогих. Но на дверях будет шмон. Не исключено, что даже рамку поставят, как в аэропорту. Проверят, конечно, и вас с бабой. А потом запустят внутрь.

— В чем же здесь фокус?

— Фокус в том, что мы в вашей каталке аккумулятор поменяем.

— Его там уже нет давно.

— Тем более. Аккумулятор будет как настоящий, никто не придерется.

— Но не настоящий, — уточнил Настромо.

— Тебе какая разница! Когда служба начнется, ты аккумулятор снимешь и затолкаешь в какое-нибудь укромное местечко, но желательно поближе к алтарю. Считай, что дело сделано. Сразу после этого сматывайся. Получишь столько, что на год безбедной жизни хватит. А если будешь экономить, то и на два.

— В аккумуляторе, надо полагать, спрятана бомба.

— Не совсем. Петарды для страха да слезоточивый газ. Это для тех гадов, которые в храме соберутся, вроде первого предупреждения. Пусть притихнут и не мешают жить хорошим людям.

— Даже если взорвутся одни петарды, все равно начнется паника. А тут еще газ... Детей затопчут.

— Не будет там детей. Сам увидишь, кто в храм Гераклоборца ходит. Одни отморозки. Новый порядок мечтают установить. Хотя это не твоего ума дело.

Действительно, уму Настромо было сейчас уже не до чужих проблем — новая волна отупляющего недомогания быстро распространялась в его теле, гася все человеческое и возбуждая все скотское. Таблеточки, которыми его угостили, были с подвохом — расслабляли хорошо, но действовали недолго.

Уже согласный в душе на любую подлость, Настромо продолжал кочевряжиться:

— А если обманете? И храм взорвете, и нас вместе с ним?

— Для гарантии один из партнеров заказчика тоже войдет в храм. Будет стоять рядом с вами.

— Тогда попрошу аванс.

— На первое время и этого хватит, — посредник протянул Настромо целую пригоршню балдежных таблеток.

Я наконец не выдержал и попытался вмешаться, но Настромо принял «колеса» не зря — сначала они заставили умолкнуть его больную совесть, а потом и меня.

Все дальнейшее происходило без сучка и задоринки, что свидетельствовало о хорошей выучке террористов, и в бешеном темпе, от которого Настромо давно успел отвыкнуть.

После очередной порции таблеток мир из серой помойки превратился в блистающий праздник. Камелия, тоже отведавшая «каликов-моргаликов» (ее любимое выражение), по слабости телесной сразу отключилась.

Впрочем, так оно было и к лучшему. Спящая баба — существо куда более симпатичное, чем баба бодрствующая.

До храма Антея Гераклоборца их доставили в закрытом изотермическом фургоне, как скоропортящийся груз (хорошо хоть, что холодильную установку на это время догадались отключить).

По пути специалист-подрывник вернул инвалидной коляске отсутствующий аккумулятор. Внешне он действительно ничем не отличался от настоящего, который Камелия сменяла на дозу «дури» еще зимой (Настромо тогда лежал в больнице с тяжелейшей интоксикацией организма).

Храм, построенный в модернистском стиле еще век назад и первоначально предназначавшийся для какого-то совсем другого бога, был похож на ледяной утес, упавший на землю из космоса.

Вокруг него уже собралась порядочная толпа. В основном это были быкочеловеки средних лет, мужчины и женщины, чей постно-трезвый вид разительно контрастировал с обликом таких отъявленных ханориков, как Камелия, Настромо и иже с ними. Впрочем, хватало и посторонней публики — после службы обещали дармовое угощение.

— Действуй, — тот из террористов, который должен был сопровождать Настромо, легонько подтолкнул его в спину. — Но больше не употребляй. Один час как-нибудь продержишься. И учти, я все время буду поблизости.

— Постараюсь, — пообещал Настромо, хотя от одной мысли о припрятанных в кармане таблетках у него теплело в груди.

Паче чаянья, рамки металлодетектора перед дверями храма не было, но шмонали всех капитально — баб отдельно, мужиков отдельно. У Настромо отобрали даже штопор, который он носил с собой исключительно для форса. Правда, в инвалидных колясках — а Камелия была здесь не одна такая — проверяли только начинку кресел.

В храме, таком беспредельно высоком, что летающие под его сводами голуби не могли прицельно гадить на прихожан, уже яблоку негде было упасть. Впереди, на самых почетных местах, расположились адепты титана Антея, ныне почему-то числившегося покровителем трезвости и здорового образа жизни.

Настромо уже собрался расположиться где-нибудь за их спинами, но набежавшие дамы-распорядительницы бесцеремонно отстранили его от Камелии, которой, оказывается, наравне с другими инвалидами было зарезервировано место непосредственно перед алтарем. К калекам здесь относились с подчеркнутой учтивостью.

Такого поворота событий не ожидал ни сам Настромо, ни его спутник, которого от подобного сюрприза даже пот прошиб.

А служба между тем уже началась. От курительниц потянуло дурманящими ароматами. Забренчали арфы и кифары. Лоснящиеся от сытости жрецы затянули хвалебную песнь в честь любимого сына Посейдона, кроткого и здравомыслящего Антея, невинно убиенного посланцем вселенского зла, пьяницей и наркоманом Гераклом, но недавно чудесным образом воскресшего.

— Что будем делать? — спросил Настромо у сопровождающего.

— Будто бы я знаю! — он потянулся к внутреннему карману куртки, где время от времени что-то подозрительно попискивало и бормотало, но тут же отдернул руку.

— Сколько у нас времени? — Настромо всем нутром ощущал холод бездны, готовой разверзнуться под ним.

— Мало, — сопровождающий озирался вокруг, как затравленный зверь.

Настромо хотел сказать еще что-то, но к ним, грозя пальцем, уже спешила дама-распорядительница.

— Тише! — прошипела она. — Уважайте чувства верующих.

Грянул новый гимн, и первые ряды дружно подхватили его. Настромо даже мог поклясться, что различает в общем хоре и тоненький голосок Камелии, обожавшей такие мероприятия.

— Уходим, — сопровождающий потянул его за рукав.

— Как же я один пойду! — возмутился Настромо. — А она?

— Дундук! Сейчас здесь камня на камне не останется! За бабу мы тебе вдвойне заплатим!

— Понял. Все понял, — Настромо вырвался из цепких лап сопровождающего и по узкому проходу — где даже бочком еле протиснешься — устремился туда, где должна была находиться сейчас Камелия.

Прихожане так увлеклись пением, что сначала никто не обратил на Настромо внимания. А когда проморгавшие его рывок дамы-распорядительницы подняли наконец тревогу, было уже поздно — вблизи алтаря нельзя применять силу даже к отъявленным преступникам.

В длинном ряду колясочников Камелия занимала крайнее место слева, рядом с колонной, поддерживающей свод. Завидев Настромо, она радостно улыбнулась, но продолжала петь, дирижируя сама себе руками.

Не теряя времени даром, он присел возле подруги и дрожащими пальцами отвинтил крепления фальшивого аккумулятора.

Кто-то из быкочеловеков в форме уже спешил к нему, но в этот самый момент аккумулятор выбросил сноп искр. Запахло уже не благовониями, а порохом, проще говоря — смертельной бедой.

К счастью, большинство из присутствующих ничего не поняли, иначе избежать паники не удалось бы. На высоте оказалась и охрана — не стала мешать безумцу, тащившему к выходу некий весьма подозрительный предмет.

Аккумулятор быстро нагревался и в двух шагах от дверей опять полыхнул искрами. Настромо выскочил на высокое крыльцо и понял, что сам спастись вряд ли успеет. Повсюду шлялись целые толпы зевак, и, дабы избежать многочисленных жертв, надо было бежать в глубь парка.

Тут в аккумуляторе что-то немелодично щелкнуло и счет времени пошел на доли секунды.

— Не забудь, мне надо в прошлое! — взмолился я.

— Не забуду, — отозвался Настромо. — Скоро все мы там будем.

Зеваки, осознавшие наконец, что дело неладно, стали разбегаться, и перед Настромо открылось свободное от живых существ пространство.

Он размахнулся, чтобы забросить бомбу куда подальше, но эта коварная штуковина оказалась порасторопней — сама от-

швырнула Настромо от себя, причем отшвырнула не целиком, а в виде множества отдельных фрагментов тела.

Вот ведь как иногда бывает...

АСТЕРИЙ НЕПОБЕДИМЫЙ, МИНОТАВР

Эта смерть была апофеозом всех моих предыдущих смертей!

Чем только меня не вышибали прежде из чужих тел, но взрывчаткой — впервые. Тут даже нематериальному существу мало не покажется.

В ментальное пространство я вылетел слегка контуженным, а потому новую ситуацию осознал не сразу. Осознание это пришло в виде двух разноречивых новостей — ну прямо как в скверном анекдоте.

Хорошая новость состояла в том, что я стремительно уносился в прошлое. Скорее всего это была заслуга Настромо.

Плохая новость тоже была связана с ним. То ли причиной всему был взрыв, то ли наши души успели чересчур близко сродниться, то ли в стремлении придать мне максимальное ускорение Настромо слегка перестарался, но сейчас я находился в ментальном пространстве не один.

Здесь же присутствовала и лишенная телесной оболочки личность Настромо, но не в виде попутчика, наделенного определенной самостоятельностью, а как часть меня самого.

Естественно, что данное обстоятельство не могло обрадовать меня. Фигурально говоря, у собаки появилась не только пятая нога, но и второй хвост, вполне способный этой собакой крутить. Ведь не трудно было угадать, на что обратятся все помыслы моего партнера, если мы вновь окажемся в реальном пространстве. Про коварного Астерия новоявленный защитник человечества даже и не вспомнит. В конопле заблудится, от мака одуреет и в вине утопится.

Надо было срочно избавляться от Настромо, благо что после пережитых потрясений он еще почти ничего не соображал. Да вот только как? Похоже, что наши души соединились не по принципам бутерброда, а по принципам коктейля. И угораздила же меня нелегкая связаться с этим наркоманом!

Между тем полет в ментальном пространстве продолжался, хотя уже и не в таком бешеном темпе. Можно было бы выйти в реальный мир и там попытаться освободиться от нежелательного спутника, но я решил тянуть в прошлое до последней возможности, дабы подобраться к Астерию поближе.

— Почему так темно? — пробормотал вдруг Настромо (вернее, его душа). — Эй, убогая, ты зачем окна завесила? Что это еще за фокусы!

— Темно, говоришь... — невесело усмехнулся я. — Глаза у тебя лопнули, потому и темно.

— А ты еще кто такой? — Грубость Настромо скорее всего проистекала от его полной растерянности.

— Я та бездомная душа, которая вселилась в тебя накануне смерти.

— Какой смерти? — возмутился он. — Что ты мелешь?

— Неужели ты ничего не помнишь? — Я был подчеркнуто спокоен.

— А что я должен помнить?

— Храм Антея Гераклоборца помнишь?

— Ну... — не совсем уверенно ответил Настромо.

— Мину в аккумуляторе помнишь?

— Погоди... — Память его была цела, но это уже была несколько иная память, и он еще не умел правильно пользоваться ею. — Не может быть... Так, значит, меня — того... Разорвало?

— На мелкие кусочки, — подтвердил я. — Но в последний момент ты успел выполнить данное обещание и по цепочке поколений послал меня в прошлое. Да еще и сам каким-то образом сумел ко мне присоединиться... Я говорю о душах, естественно.

— Камелия цела осталась? — этот вопрос, безусловно, делал ему честь.

— Все целы. Кроме тебя.

— Во влип... И что же теперь делать? И вообще — я мертвый или нет?

— В банальном смысле этого слова — да. Но душа твоя продолжает существовать. Порукой тому разговор, который мы ведем.

— На фиг мне такое существование! — возмутился он. — Ни закурить, ни выпить... Придумай что-нибудь. Ты же в таких делах специалист.

— Даже не знаю, что тебе ответить... Кое-какой опыт у меня, конечно, имеется, хотя и несколько иного характера. Но в любом случае нам нужно обособиться. Если это и возможно, то лишь в реальном мире. Моржи, например, не могут избавиться от кожных паразитов в своей родной водной стихии и вынуждены выползать на берег, чтобы там почесаться о скалы.

— Хочешь сказать, что прежний мир уже не родной для меня?

— Увы! Теперь ты эфирное создание. Привыкай к этому.

Настромо, конечно, был существом пропащим, но зато мягким и, я бы даже сказал, — воспитанным. Поэтому длинное и витиеватое ругательство, выданное им на-гора, удивило даже меня, слышавшего мат российского рабочего класса, брань финикийской матросни и богохульства египетских грабителей могил.

Впрочем, его можно было понять. После взрыва в метро я, помнится, испытывал сходные чувства. Все на свете тогда проклял — и злополучного бомжа, так некстати оказавшегося на моем пути, и собственное дурацкое великодушие, и не в меру ретивого милиционера, а в особенности того неизвестного гада, который соорудил взрывное устройство.

Прямо скажем, не повезло бедняге. Жил себе потихоньку, никого не трогал, а если и разрушал что-то, так только свой собственный организм. Раз в жизни совершил героический поступок, и вот пожалуйста — лишился тела.

Чтобы хоть как-то развеять его горе, я сказал:

— Попробуй-ка придать нашему движению дополнительный импульс. В прошлый раз у тебя это неплохо получилось.

— В прошлый раз я целехонький был, — буркнул он. — А сейчас превратился в ничто, в пустое место. Ну что, спрашивается, можно требовать от пустого места?

— Если следовать обыденной точке зрения, то мир, в котором мы сейчас находимся, тоже ничто. Следовательно, ты пребываешь в своей родной стихии, где добиться чего-нибудь можно только при помощи разума и воли. Вот и постарайся. Сам ведь хвалился своими сверхъестественными способностями.

— Ширнуться бы, — вздохнул Настромо. — Тогда дело, возможно, и пошло бы.

— Про это забудь! — заявил я категорически. — Бестелесные существа не ширяются. Сконцентрируй волю. Сосредоточься. Действуй по счету «три». Раз! Два! Три! Давай!

И он дал. Да так, что я понесся в прошлое, словно гоночный автомобиль «Формулы-1», вырвавшийся на финишную прямую. Способный парень. Хотя чему тут удивляться — ментальное пространство, в котором мы сейчас пребывали, предназначалось именно для минотавров. Он, можно сказать, был здесь как у себя дома.

Ускорение, полученное мною от Настромо, было так велико, что, преодолев извилистый и прихотливый лабиринт чужой родословной из конца в конец, я оказался в его изначальной

точке, а проще говоря, в телесной оболочке заклятого врага человеческого рода Астерия Непобедимого.

Вот уж этого я никак не ожидал!

Вновь меня окружали несокрушимые стены дворца Двойной секиры, вновь ночь пахла волшебными ароматами, вновь я видел перед собой женщину, не скрывавшую прелестей своего роскошного тела, но таившую от всех черты лица.

От Астерия только что увели зареванную девицу человечьей породы (далеко не первую за нынешнюю ночь), и сейчас он решал непростую проблему — закончить ли на этом подвиги любви или после небольшого перерыва продолжить их с прежним пылом.

— Отдохни, — посоветовала Ариадна, постоянная зрительница, а иногда и активная участница подобных забав, присущих скорее похотливым животным, чем разумным существам. — Чрезмерное усердие не идет на пользу даже жеребцам.

— Отдохни... — буркнул Астерий, пребывавший явно не в лучшем расположении духа. — А кто же тогда будет умножать наш род? Не ты ли? Совокупляешься регулярно, а на свет произвела только троих детенышей. Да и те незавидными оказались. Двое даже до года не дожили.

— Возможно, женщины нашего племени не способны зачать от человеческих самцов, — ответила Ариадна. — Кстати те двое, которые умерли в младенчестве, были твоими отпрысками.

— А третий, тот что, выжил? Ты по-прежнему утверждаешь, что он сын этого проходимца, называвшего себя Тесеем?

— Я уверена в этом. Тесей был совсем не похож на прочих мужчин. Можешь возражать, но что-то божественное в нем присутствовало. Зря ты его убил. Пусть бы жил себе в неволе и хоть иногда услаждал меня истинной любовью.

— Уж лучше помолчи, потаскуха! — На Астерия накатил приступ ярости. — Ничего божественного в нем не было, точно так же, как и человеческого. Это был злой демон, насланный на меня врагами нашего рода. Коварными и опасными врагами, которые еще даже не родились.

— И ты веришь во всю эту чепуху? — усмехнулась Ариадна. — Похоже, что Тесей сильно напугал тебя, братец.

— Напугать меня невозможно! — огрызнулся Астерий. — И это тебе прекрасно известно. Но, пообещав когда-нибудь вернуться, он вселил в меня тревогу. Тревогу постоянного ожидания. А это изматывает хуже, чем любая хворь.

— Ты не знаешь, как поступить? — деланно удивилась Ари-

адна. — Спроси оракул у Дельфийских прорицателей. И не поскупись. Пошли им в подарок целый корабль золота.

— Тут я как-нибудь обойдусь без твоих советов. Прорицание давно получено... Но оно растревожило меня еще больше.

— Почему же ты молчал все это время? — на сей раз удивление Ариадны было не напускным, а искренним.

— Не хотел зря беспокоить тебя, — нехотя ответил Астерий.

— Моя душа тверда, как камень. Тебя невозможно напугать, но то же самое касается и меня. Я спокойно выслушаю любую весть, какой бы горестной она ни казалась. Не надо меня беречь, а тем более обманывать.

— Хорошо... Но ты напросилась сама. Слушай предсказание, за которое я заплатил целую гору сокровищ.

— Сначала скажи, как ты составил вопрос?

— Я спросил: нужно ли остерегаться врага, недавно убитого мною, но пообещавшего когда-нибудь вернуться в ином облике и возобновить поединок.

— Столь странный вопрос не удивил Дельфийских жрецов?

— Нет. Они обещали дать ответ, но сначала потребовали себе оружие, которым сражался мой враг. Я приказал кузнецам склепать сломанный меч Тесея и вместе с дарами отправил его в Дельфы. Меч вскоре вернулся назад, и к нему был приложен оракул... Самый зловещий и туманный из всех оракулов, которые мне приходилось слышать за последнее время.

Астерий снял со стены мой меч, на лезвии которого едва виднелись следы кованого шва (клеймо, слава богу, уцелело), и, глядя в него, словно в зеркало, без всякого выражения продекламировал:

Вспомни Геракла, поднявшего меч
На Лернейскую гидру.
Вместо одной головы отсеченной
У той сразу две отрастали.

Ту же природу
Имеет и враг твой зловещий.
Духом нетленный,
Он тленное тело меняет
Столь же легко,
Как линяющий аспид
Меняет свою оболочку.

Жди его вновь,
Но не справа, не слева,
Не сзади.
Путь он проложит к тебе
Через лоно прекрасной подруги.

— Не понимаю, что тебя так обеспокоило, — сказала Ариадна, когда Астерий закончил чтение оракула. — По-моему, тут все ясно. Твой враг может вернуться, хотя уже и не в образе Тесея... Но что это за прекрасная подруга, лоно которой представляет для тебя угрозу?

— Не понимаешь? — Астерий засопел, совсем как разъяренный бык. — Никаких подруг среди женщин чужой крови у меня никогда не было и не будет! Ты моя единственная подруга с самого детства! Твой прекрасный лик не идет ни в какое сравнение с плоскими рожами этих тварей, которых мне приходится оплодотворять чуть ли не каждую ночь! Если верить оракулу, то опасность, грозящая мне, как-то связана с тобой! И я даже догадываюсь, в чем тут дело! Враг, пребывавший в телесной оболочке Тесея, однажды уже проник в твое лоно. Его отродье, его змееныш, которого ты называешь своим сыном, растет в этом дворце, окруженный всеобщей заботой! Я просто уверен, что в следующий раз мой враг примет его облик! Но действовать он будет не в открытую, а исподтишка!

— Что бы ты тут ни говорил, но своего единственного сына я в обиду не дам, — отчеканила Ариадна. — Мне он дороже всех тех ублюдков, из которых ты собираешься вырастить новую расу. Дороже тебя самого. Дороже благорасположения богов. Он ничем не похож на Тесея, а уж тем более — на других людей. Только его одного можно считать нашим истинным наследником. Твои подозрения неуместны. Скорее всего ты неверно истолковал смысл оракула.

— Истолкуй его иначе! — вскричал Астерий.

— Враг явится тебе в образе прекрасной женщины, от которой ты наконец-то потеряешь голову. Такие случаи уже бывали. Посланцы богов, карающие смертных, могут принимать любой облик — человека, зверя, облака, растения. Влюбившись, ты утратишь осторожность и погибнешь, припав к лону коварной красавицы.

— Это было бы чересчур просто...

— Поживем — увидим. В любом случае мой сын еще слишком юн, чтобы противостоять тебе.

— Подсыпать яд в вино может и ребенок, — возразил Астерий, но уже без прежнего остервенения.

— Твое вино и твою пищу перед каждой трапезой пробуют повара, а потом и застольные прислужники.

— Отныне первой все это будешь пробовать ты, — глухо сказал Астерий. — А теперь удались. Я устал.

— Вот в том-то и дело. Ты очень устал. Отсюда и все твои вздорные подозрения. Выспись хорошенько, и к утру мрачные мысли рассеются.

Ариадна резко встала, почти вскочила и, шурша своими полупрозрачными одеяниями, направилась к выходу. Любой знаток женской души, к коим я отношу и себя, мог без труда догадаться, что отныне из союзника Астерия она превратилась в его тайного врага.

Вот только догадывается ли об этом сам Астерий?

Быкоголовый урод опорожнил кувшин вина и тут же смежил веки. Светильники продолжали гореть, но для нас с Настромо, естественно, наступил мрак.

— Держись, — я мысленно связался с напарником. — Сейчас на тебя навалятся медиаторы сна, а потом и алкоголь. Постарайся все это перебороть. Нам нельзя спать.

— Что такое медиаторы? — поинтересовался Настромо уже слегка нетвердым голосом.

— Химическая дрисня, которая выделяется под влиянием нервных импульсов и регулирует всю жизнедеятельность нашего организма, — как можно более популярно объяснил я.

— С любой дрисней я как-нибудь справлюсь, — ответил он. — А вот бороться с опьянением даже и не собираюсь. Разве ты забыл, с кем связался?

— Не забыл, — вздохнул я, — но надеялся, что новая форма существования изменит тебя.

— Держи карман шире, — резкие перемены, случившиеся в жизни Настромо, похоже, уже перестали угнетать его. — А мы, кажись, попали по назначению? Это и есть прародитель кефалогеретов, которого ты собрался пришить?

— Он самый. Астерий, сын Миноса. Позже он получит прозвище Непобедимого... Или не получит, — спохватился я.

— Крутой дядя... Он не догадался, что мы в него вселились?

— Пока нет. Но с ним надо быть начеку. Интуиция у Астерия — будь здоров.

— Ну и что? Как он от нас избавится? Башку разобьет о стенку? Или удавится?

— Есть разные способы одолеть чужую личность, пробравшуюся в твое сознание. Борьба психологическая столь же реальна, как и борьба физическая. Мозг очень удобное место для битвы двух враждебных душ.

— Знаешь, как такая битва называется?

— Как?

— Шизофрения. Расщепление сознания.

— Наша цель не свести его с ума, а уничтожить. Причем вполне определенным образом.

— Твоя цель, твоя! — уточнил Настромо независимым тоном. — Я на мокруху не подряжался. Тем более, против своего прародителя.

Такого поворота событий я, признаться, не ожидал. Прежде мне казалось, что на Настромо можно положиться. Хотя что, спрашивается, взять с наркота, чьи понятия о долге, чести и порядочности напрямую зависят от наличия или отсутствия вожделенной дозы.

— Разве мы больше не союзники? — Не знаю, чего в моем голосе было больше — раздражения или растерянности.

— Союзники, союзники, — заверил он меня. — Но прежде, чем я помогу тебе, ты должен помочь мне.

— Каким образом?

— Не догадываешься? — Ощутив свою значимость, Настромо мог и покуражиться. — А ты подумай хорошенько.

— Тут и думать нечего! Тебе какой-нибудь отравы добавить хочется. Не хватило за целый день.

— В самую точку! Не мешало бы еще винца хлебнуть. Винцо здесь неплохое, но очень уж слабенькое.

— Да ты охренел, в самом деле! — забыв об осторожности, возмутился я. — Мы ведь находимся в чужом теле. Твои желания для него сейчас ничего не значат.

— Это надо проверить. Ты про сомнамбул слышал что-нибудь? Те против своего желания во сне черт знает что вытворяют. Даже по крышам ходят, — продолжал гнуть свою линию Настромо. — Ты, главное, отвлеки как-нибудь этого патриарха. Не дай ему проснуться. А уж все остальное я беру на себя.

— Одумайся! — взмолился я. — Ты выдашь нас раньше времени.

— Как хочешь. Учти, если я не договорюсь с тобой, придется договариваться с ним, — пригрозил Настромо. — Как я понял, этот Астерий давно ожидает какого-то незваного гостя. Вот уж он обрадуется, получив весточку о твоем появлении.

Впервые я подвергался шантажу со стороны бестелесного создания. Чувства мои были сопоставимы с потрясением верующего, у которого сошедший с иконы ангел вдруг попросил закурить. Поэтому, наверное, я сдался без долгой борьбы.

— Ладно, постараюсь подстраховать тебя. Но будь предельно

осторожен. Овладеть спящим телом не так просто. Действовать начнем только по моему сигналу.

На это Настромо презрительно ответил:

— Только не строй из себя центрового. Сознание ведь у нас общее. Все твои мыслишки я наперед угадываю. Обойдемся без команд и сигналов.

Сон Астерия был нехорош. В чужих снах сообще трудно разобраться, но кошмарные видения, мелькавшие в его сумеречном сознании, пугали даже меня. Сам Астерий все время ворочался, глухо стонал и поминутно вздрагивал, словно бык, которого кусают кровожадные слепни.

Я, как мог, блокировал все отделы его нервной системы, реагирующие на внешние раздражители. Сам того не ведая, Астерий как бы впал в глубокий обморок. Сейчас его, наверное, не разбудил бы и выстрел.

— Молодец, — похвалил меня Настромо. — Похоже, размагнитился дядька. Пора и мне браться за дело.

Однако, как я и предполагал, все оказалось куда сложнее, чем это мнилось моему самонадеянному партнеру. Примерно с минуту он тужился впустую, а потом растерянно произнес:

— Что за бодяга! Глаза не открываются.

— Плюнь ты на них, — посоветовал я. — Встань и иди по стеночке вправо. Там возле дверей, помнится, еще один кувшин стоял. Будем надеяться, что в нем тоже вино, а не козье молоко.

— Встал, — через некоторое время радостно доложил Настромо, хотя я уже и сам это почувствовал.

— Тогда смело вперед.

Двигался он не совсем уверенно, что было вполне простительно для новичка, впервые вселившегося в чужое тело, но гораздо лучше, чем это получилось бы сейчас у меня. Что ни говори, а телом минотавра должен управлять минотавр, пусть и посторонний. Человек в этом смысле похож на Мальчика-с-пальчик, примерившего сапоги великана.

По мере продвижения вперед Настромо все время шарил перед собой свободной рукой. Только бы он не напоролся на светильник, подумал я. Уж тогда-то Астерий обязательно проснется.

— Нашел! — воскликнул он гораздо раньше, чем я предполагал. — Держу за ручку.

— Проверь, это точно кувшин?

— Вроде бы... Правда, горлышко уж очень широкое.

— Это ночной горшок. Поставь его на место и иди дальше.

— Тьфу! А я уже собрался хлебнуть.

Последние шаги Настромо проделал чуть ли не на карачках, тщательно ощупывая каждый квадратный метр пола, словно бы искал не объемистый медный кувшин, а, по крайней мере, зубочистку. Вскоре его поиски увенчались успехом, о чем возвестил радостный возглас: «Хоп!»

— Держишь? — поинтересовался я.

— Держу.

— Тяжелый?

— Литров на пять, не меньше.

— Не много ли будет для тебя одного?

— Почему для одного? Нас ведь трое.

Я даже не нашелся, что ему возразить. Шуточка у Настромо удалась. Это был как раз тот случай, когда каждый глоток вина, выпитого кем-то одним, в одинаковой мере действовал сразу на троих.

Тем временем зубы Астерия, продолжавшего крепко спать, уже лязгнули о горлышко кувшина.

— Ну подожди ты, пожалуйста! — взмолился я. — Вставь пробку на место и осторожненько возвращайся на ложе. Там и выпьешь.

— Какая разница! В кровати пьют только извращенцы. А настоящий мужчина может выпить где угодно. Хоть на поле боя, хоть в общественном туалете.

Мои дальнейшие мольбы уже не могли возыметь на Настромо никакого действия. Вино обильной струей хлынуло в глотку совершенно непричастного к этой авантюре Астерия, и вскоре мутный вал опьянения достиг нашего общего сознания.

Прежде чем окончательно отрубиться, я успел подумать: «Возможно, Астерию и суждено погибнуть от меча, но сначала он сопьется. А заодно с ним и я...»

Разбудил меня деликатный стук в дверь. Наверное, уже давно наступило утро, но в нынешнем положении судить об этом мне было не дано.

Хотя я и проснулся первым, извлечь из этого какую-нибудь практическую выгоду не представлялось возможным. Сам по себя я не мог ни встать, ни попросить о помощи, ни даже разлепить тяжелые, как у Вия, веки. На то, чтобы овладеть телом Астерия, потребовалось бы немало времени и масса усилий, да я и не собирался заниматься этим, поскольку все еще надеялся на по-

мощь Настромо, который, похоже, чувствовал себя в чужой шкуре столь же уверенно, как и в своей собственной.

Между тем в сознании Астерия, необъятном и дремучем, как Муромский лес, стали возникать первые проблески мысли. Настромо никаких вестей о себе не подавал, но его присутствие ощущалось так же явственно, как после доброй пирушки ощущается тяжесть в желудке.

Проснувшись окончательно, Астерий перевернулся со спины на бок и открыл глаза, благодаря чему я смог убедиться, что минувшую ночь наше тело провело прямо на каменном полу, используя вместо подушки пустой медный кувшин.

Для Астерия такая ситуация была в диковинку, и он попытался вспомнить — как и почему оказался здесь, а не на мягком ложе. Однако никаких зацепок в его памяти не сохранилось, что, конечно же, было результатом моих вчерашних усилий.

— Господин, — донеслось из-за двери. — С вами ничего не случилось?

— Все в порядке, — хорошенько откашлявшись, сипло ответил Астерий.

— Во дворце уже давно проснулись, — продолжал голос за дверью. — Ваша матушка царица Пасифая ожидает вас к утренней трапезе.

— Скажи, чтобы начинали без меня. Я занят.

— Не нужно ли что-нибудь господину?

— Нет... Хотя подожди. Пусть принесут вина и фруктов. И позови ко мне царского лекаря.

— Будет исполнено, мой господин.

Астерий встал и, отшвырнув ногой злополучный кувшин, проковылял к ложу. Так дурно, как сейчас, он себя еще никогда не чувствовал.

Тело, которым накануне пользовались чужие существа, повиновалось с трудом, да и долгий сон на холодном полу тоже сказывался.

Алкоголь, принятый вчера в непомерных количествах, прошелся по мозгу Астерия, словно тропический ураган по одинокому атоллу — кое-что погубил, кое-что испоганил, кое-что занес песком забвения.

Тем не менее сын Миноса оставался цельной и сильной личностью, которую было просто невозможно подвигнуть на какой-нибудь необдуманный, самоубийственный поступок.

Никогда еще мститель не подбирался к своему врагу так близко, как это удалось сделать мне. И все-таки роковой удар от-

кладывался. Губительный меч продолжал висеть на стене бесполезной игрушкой, и мне еще предстояло вложить его в чьи-то послушные руки.

Борьба, предстоявшая нам, уже не являлась борьбой двух разных существ. Намечалась схватка двух сознаний, двух «эго» — собственного, успевшего сжиться с этим телом, и чужого, проникшего со стороны.

Не знаю, кто из них одержит верх, но в конечном итоге победителем все равно окажусь я — ведь поле боя, мозг Астерия, навсегда останется выжженной пустыней, в равной мере неспособной порождать ни добро, ни зло...

В дверь опочивальни снова постучали.

— Входи, — буркнул Астерий, к физическим мукам которого добавились еще и галлюцинации — именно так он мог расценивать все свидетельства присутствия в его теле чужих существ.

Первым появился мажордом, бородатый и крепенький, как Черномор. По его сигналу слуги проворно внесли кувшины с вином и подносы с фруктами. Девушка-виночерпий налила хозяину полный кубок.

Астерий пригубил немного и тут же поперхнулся. Отравленный организм не хотел принимать новую порцию яда. Много грехов было у Астерия, но алкоголизмом он не страдал.

Зато им (наравне с наркозависимостью) страдал мой приятель Настромо. Вкус вина мгновенно разбудил его. Очень быстро разобравшись в ситуации, он оценил поведение Астерия в следующих выражениях:

— Что он, козел, делает! За такие штучки нужно морду бить!

— Замри! — прикрикнул я. — Ни слова больше! Только смотри и слушай.

Из нашего краткого диалога Астерий, к счастью, ничего не понял, но пригорюнился еще больше — ну кому, спрашивается, понравится, когда в твоем сознании начинают звучать чужие, пропитые голоса.

— Пусть войдет лекарь, — распорядился он. — Да побыстрее. А вы все прочь отсюда.

— Будет исполнено, мой господин. — Вышколенные слуги исчезли, но дверь за собой оставили полуоткрытой.

Лекарь оказался египтянином — смуглым, стройным, наголо обритым. При себе он имел ларец из слоновой кости и красного дерева.

Падать ниц перед царственной особой он не стал — не дома,

чай, — а отделался сдержанным полупоклоном. Затем он поставил ларец на столик, приложил обе руки накрест к груди и произнес на ахейском наречии:

— Я приготовил то, что ты просил, господин, — средство, возбуждающее мужскую силу. Оно сделано из львиной желчи, носорожьего рога и крылышек особой мухи, живущей по другую сторону ливийской пустыни. Именно благодаря этому средству владыки Египта оставляют после себя многотысячное потомство.

(Я-то лучше его знал, откуда берется эта неисчислимая орава царских наследников. Как-никак, сам когда-то принимал участие в их воспроизводстве.)

Лекарь, наверное, еще долго распинался бы о достоинствах своей доисторической «Виагры», но Астерий мановением руки прервал его.

— Оставь это средство на потом. Сегодня мне нужно кое-что другое.

— Только прикажи, господин, и я составлю для тебя любое лекарство или любой яд, существующий в мире.

— Сегодня ночью мне стало дурно, — нехотя признался Астерий. — Сейчас я ощущаю слабость во всем теле, боль в суставах, тошноту, головокружение. Душу одолевает тоска. Я слышу бестелесные голоса. Мои члены дергаются сами собой.

— Уж не вселились ли в тебя злые демоны, господин! — воскликнул лекарь (как говорится, ткнул пальцем в небо, а угодил в яблочко).

— Вот ты и разберись в этом. Сам же говорил, что слава о твоем искусстве гремит от Геркулесовых столпов до самой Индии.

— Для изгнания бесов лучше всего подойдет кровь гарпии, смешанная с молоком кентавра. Но можно ограничиться окуриванием смолой держидерева, растущего на священной горе Сефар, до которой тысяча дней пути.

— Не надо никакой смолы! Ты мне что-нибудь против тоски дай. И против боли, — произнес Астерий слегка изменившимся голосом.

Заслушавшись баснями лекаря, я не сразу сообразил, что авторство последних фраз несомненно принадлежит Настромо, а Астерий является всего лишь их подневольным исполнителем. Вот пройдоха!

— Боль и тоску лучше всего лечит загустевший сок горного мака, растущего на восточной окраине земли. Хотя стоит это зе-

лье весьма дорого, — лицо лекаря приобрело скорбное выражение. — За одну его меру индийские купцы требуют тысячу мер золота.

— Ты же знаешь, что золото не имеет для меня значения, — говорил Астерий уверенно и складно, но в его суматошных мыслях сквозила паника: что это я, дескать, такое несу?

Да, не ожидал я от Настромо подобной прыти. Тюфяком обкуренным считал, а он орлом оказался. Сразу подмял прародителя и сейчас делает с ним что хочет. Какая сила иногда пробуждается у души, избавившейся от испоганенного пороками тела! Вопрос лишь в том, как долго Астерий будет терпеть эту самодеятельность. Ох, чувствую, расколет он Настромо, а заодно с ним и меня. Что тогда начнется!

Тем временем лекарь открыл свой ларец и жестом фокусника извлек из него маленький златотканый мешочек, содержимое которого обещало вечное блаженство, но приносило скорую смерть.

Никто ничего еще не успел сообразить, а Астерий (побуждаемый, естественно, Настромо) вырвал мешочек из рук лекаря, сунул в рот добрую щепоть чистого опиума и для верности запил ее глотком вина.

Пока душа Настромо ликовала, тело Астерия мучительно содрогалось. Казалось, еще чуть-чуть, и он извергнет коварное зелье наружу. Однако природа опиума была такова, что он умел постоять за себя сам — сначала угас рвотный рефлекс, а потом все сфинктеры желудочно-кишечного тракта сомкнулись крепко-накрепко. На какое-то время утроба минотавра превратилась в закупоренную бутылку.

Все случившееся вызвало в сознании Астерия взрыв самых разноречивых эмоций. С одной стороны, он ждал скорого избавления от физических и душевных страданий, а с другой — явственно ощущал присутствие некой посторонней воли, управлявшей его словами и поступками.

— Скоро ты испытаешь высшее блаженство, господин, — проворковал лекарь, уже успевший прикинуть в уме предполагаемые барыши. — А потом спокойно уснешь.

— Пошел прочь, сын гадюки! — прикрикнул на него истинный Астерий, а лже-Астерий тут же добавил: — Но вечером возвращайся снова и принеси все маковое зелье, которое у тебя имеется.

Так! Можно представить, какая каша заварится здесь в самое ближайшее время. Три души в одном теле — это уже явный пере-

бор. А три изрядно прибалдевшие души — просто-таки взрывоопасная смесь. Бомба с догорающим запалом.

Доза, принятая Астерием с подачи Настромо, такова, что кайф продлится не меньше часа. Потом у одного наступит протрезвление, у другого ломка. Потомок сцепится с предком, и в этой заварухе меня просто затопчут.

Возможно, Астерий и обречен, но ведь история уготовила ему совсем другой конец. Хватит мне отсиживаться в сторонке. Самое время вмешаться.

Но сначала нужно защититься от воздействия опиума. При приеме так называемых наркотических анальгетиков внутрь опьянение наступает примерно через полчаса. Значит, какое-то время у меня еще есть.

Опиатные рецепторы, которые вступают в контакт с наркотиками, располагаются в коре головного мозга весьма неравномерно. Где-то их с избытком, а где-то нет вовсе. Значит, мое сознание должно переместиться туда, где опиумный дурман будет наименее ощутим.

Правда, при этом ослабеют связи как между партнерами по телу, так и с внешним миром, но, как говорится, из двух зол выбирают меньшее.

Странствия по чужим мозгам, в том числе и по быкочеловечьим, давно перестали быть для меня экзотикой, и я успел произвести передислокацию прежде, чем сладкий опиумный яд овладел разумом тех, кто нашел себе приют в теле Астерия.

Эйфория подступила, как дуновение прохладного ветерка в знойный полдень, как томительное расслабление, завершающее акт любви, как благодать божья. Зацепило даже меня — но как-то походя, краем.

Зато обе быкочеловечьих души блаженствовали — одна вне зависимости от другой. Долго так продолжаться не могло, ведь счастливая личность нуждается в общении еще больше, чем несчастная.

— Ну что, приятель, захорошело тебе? — первым нарушил молчание Настромо. — Ты теперь меня слушай. С твоими бабками мы как в раю заживем. Хоть и недолго, но красиво.

— Кто это? — поинтересовался Астерий, благодушный как никогда.

— Кто, кто... Блядь в трико! — ответил Настромо с детской непосредственностью. — Сам ведь гостей ждал. Вот и принимай с распростертыми объятиями.

— Гостей? — недоуменно переспросил Астерий. — Каких гостей?

— Э-э-э, да у тебя совсем память отшибло. Сам же вчера стишок читал про милого дружка, который придет не слева, не справа, не сзади, а совсем с другой стороны.

— Так это ты? Мой смертный враг? — Мрачная истина стала постепенно доходить до сознания Астерия. Представляю, как он взвился бы от этой новости еще час назад. Однако сейчас неодолимая сила опиума опутывала не только его члены, но и страсти.

— Как тебе лучше сказать... — замялся Настромо, видимо, понявший, что сболтнул лишнее. — Я его попутчик. А твой смертный враг явится позже. В удобное для него время.

— Или я сошел с ума, или мной действительно овладели злые демоны, — пробормотал Астерий.

— Бери второе, — подсказал Настромо.

— Но это нечестно... Вы с помощью колдовства проникли в мою душу. Я требую поединка по всем правилам.

— Хватай себя за нос и дергай, — хохотнул Настромо. — Чем не поединок? А о правилах лучше и не заикайся. Ты ведь у нас душегуб известный. Это я еще вчера понял.

— Что вы сделаете со мной? Лишите разума? Отравите?

— Успокойся. Я к тебе вообще никаких претензий не имею. А уж если отравимся, так вместе.

— Ты действительно не тот, кто прежде называл себя Тесеем? — В душе Астерия зародилась сумасшедшая надежда, наркотиками только усугубленная.

— Боже упаси!

— Тогда мы можем договориться. Вместе со мной ты проживешь прекрасную жизнь.

Ага, намечаются сепаратные переговоры. Не хватало еще, чтобы Настромо переметнулся на сторону Астерия. Надо срочно подсуетиться. Как говорится, пришло время сбрасывать маски.

— Настромо, замолчи! — сказал я как можно более твердо. — И сделай так, чтобы я о тебе забыл. У меня есть серьезный разговор к хозяину этого тела.

Терпеть не могу, когда дуэлянты на оперной сцене, прежде чем разрядить пистолеты, поют прочувствованные арии или хороший киногерой, взяв плохого на мушку, долго и нудно пересказывает ему то, о чем зрители и так уже давно догадались. По-моему, это дурновкусие. С учетом специфики жанра, конечно.

Каюсь, но и я отдал должное этому штампу. Завел с Астерием разговор. Не удержался. Хотя мог бы молчать до самого конца.

Странно, но Астерий, похоже, даже обрадовался моему появлению. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

— А-а-а, вот и ты, — произнес он вкрадчиво. — Встретились...

— Да, это я. Тот, кого ты знал прежде под именем Тесея и в прошлый раз сумел одолеть. Но я обещал вернуться. И вот я снова здесь. Думаю, что это наша последняя встреча.

— Даже бесправный раб, осужденный на смерть, должен знать свою вину. Какое же преступление совершил я? На том же Тесее гораздо больше человеческой крови, чем на мне.

— Ты осужден за преступления, которые твои потомки совершат в будущем, — отчеканил я.

— Ни один суд не признает такую вину, — возразил минотавр.

— Есть суд, наделенный особыми правами. Назовем его для краткости судом истории. Я всего лишь исполняю его решение.

— Как же тогда понять предсказание? При чем здесь лоно прекрасной подруги? Честно признаюсь, что мои подозрения сначала пали на Ариадну.

— Подозрения твои были вполне обоснованными. Я пришел сюда из далекого будущего по лестнице поколений. От сына к отцу, от отца к бабушке и так далее. Это стало возможным только благодаря тому, что я породнился с тобой. Ариадна действительно родила ребенка от меня.

По мере того, как я говорил, внимание Астерия постепенно слабело. Последние слова, которые он пробормотал уже в полусне, были таковы:

— Ты рано радуешься... Я еще жив... А ты лишь бестелесный призрак... У тебя нет способа убить меня... Наша схватка еще впереди.

Я не стал спорить с Астерием, а терпеливо дождался того момента, когда он безвольной тушей откинется на подушки. Настромо заснул еще раньше.

И вот я стал, пусть и на время, единственным хозяином этого могучего, но сломленного наркотическим дурманом тела. С кем меня можно было сейчас сравнить? Разве что с ребенком, севшим за руль автомашины, у которой утеряны ключи зажигания, пуст бензобак и проколоты шины.

Я попытался шевельнуть рукой, но вместо этого выпустил

кишечные газы. Захотел встать на ноги — и бревном рухнул на пол. Пополз к дверям, а оказался под ложем.

Между тем время работало не в мою пользу. Надо было действовать, иначе другого столь удобного шанса мне могло и не представиться. В конце концов я овладел таким малораспространенным способом передвижения, как перекатывание. Началось долгое и мучительное продвижение к выходу.

За дверями ждала подмога. Бородатый мажордом, наверное, отходил от них только по нужде. Увидев, как я извиваюсь на полу, он побелел от страха.

— Что случилось, мой господин? Вы ранены?

— Нет, — прохрипел я. — Меч... Принеси сюда мой меч...

Когда это распоряжение было исполнено, я отдал следующее:

— Помоги встать... Вот так... А теперь веди меня к сестре.

— Позвать на помощь слуг?

— Не надо... Никто не должен знать об этом... Только ты и я... Веди меня к сестре...

Не знаю, что бы я делал без помощи этого маленького, но крепкого, как пони, человечка. Стены так и норовили толкнуть меня в плечо, а пол много раз пытался расплющить нос.

Ариадна сидела у прялки и сматывала в клубок уже готовую нить. Возможно, она предназначалась для Тесея. Какого-нибудь другого Тесея, которого попутный ветер обязательно принесет к берегам благодатного Кипра.

В дальнем углу комнаты мальчик с типичными чертами кефалогерета играл с глиняными зверушками.

При виде меня Ариадна вскочила, уронив прялку, а мальчик заплакал. Наверное, он не любил своего дядю.

Отшвырнув мажордома, я враскорячку двинулся на них, все выше поднимая меч, зажатый в правой руке. Для пущего эффекта надо было что-то сказать, но слова застревали в горле, словно комки колючей соломы.

— Отойди... — это уже была не членораздельная речь, а клокотание адской смолы. — Я не трону тебя... Мне нужен только этот выродок...

Когда мне осталось сделать всего три или четыре последних шага, Ариадна тигрицей бросилась вперед и почти без борьбы овладела мечом, на что, собственно говоря, я и рассчитывал.

— Это не поможет... — клокотание перешло в утробное шипение. — Я перегрызу его глотку зубами...

— Никогда! — звонко крикнула Ариадна. — Никогда тебе не причинить ему вреда! Получай, чудовище!

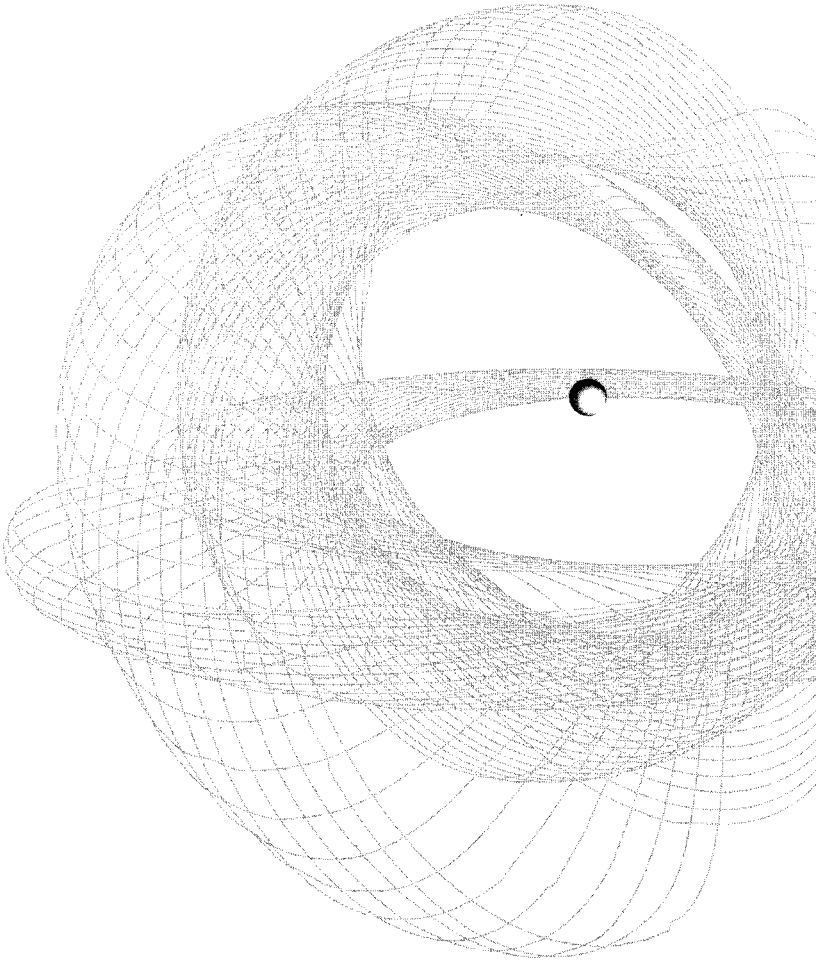
Слава богу, что я не ошибся в ней. Это была достойная дочь своего народа — быстрая, решительная и беспощадная. Меч с капустным хрустом вошел мне в грудь по самую рукоятку. Разрубленное пополам сердце затрепетало и остановилось.

Великая вещь наркотики, а равно и любая другая сильнодействующая «дурь». Под кайфом и смерть не страшна. Вместо боли я ощутил что-то вроде щекотки. Настромо и Астерий вообще не успели ничего ощутить...

...Вывалившись в ментальное пространство, я почувствовал себя по меньшей мере воздушным шаром, потерявшим гондолу. Неведомые силы подхватили меня и понесли в неизвестном направлении. Куда? Зачем? Что это — конец всему? Или начало чего-то совсем иного?

ВРАГ ЗА ГИМАЛАЯМИ

РОМАН



Поздно пить нарзан, если почки отвалились.

Народная мудрость

ПРОЛОГ

РАССВЕТ НА ПОЛЕ КУРУ

Все какие ни есть дурные знамения дали о себе знать этим утром — достопамятным утром, которому суждено было стать горестной вехой в истории человечества и с которого начала свой отсчет новая эпоха, жестокая Калиюга, время зла и насилия.

Сначала с ясного неба раздался гром и на востоке появилась хвостатая комета. Потом неизвестно откуда налетевшие вихри подняли тучи пыли, затмившие только что вставший над горизонтом солнечный диск. Со всех сторон, предвкушая обильную поживу, слетались стаи стервятников. Громко выли шакалы, от алчности забывшие про осторожность.

Все говорило о том, что звезды, которые появятся в свой срок на вечернем небосводе, отразятся не в хрустальных водах целебных источников, столь многочисленных в округе, а в остекленевших глазах витязей и озерах горячей крови.

Две огромные, до зубов вооруженные армии сходились на широкой равнине, издревле считавшейся священным местом, где раз в месяц бессмертные боги собирались вместе для дружеских бесед и жертвоприношений и где райские небеса соприкасались с грешной землей.

Кауравы, имеющие за спиной восходящее солнце, построили свои несметные рати в виде «шаката», плотного каре.

Пандавы, надеявшиеся не столько на численность, сколько на выучку войска, предпочли строй журавлиного клина — «краунца».

Центр армии пандавов возглавлял Арджуна Светоносный, осененный знаменем Рыжей Обезьяны. В руках он сжимал дальнобойный лук — гондиву, самое эффективное оружие убийства из всех, созданных человеком вплоть до эпохи пороха. Раззоло-

ченная, сплошь покрытая драгоценностями колесница Арджуны, по меткому выражению одного придворного пиита, сверкала «ярче тысячи солнц».

Знал бы сей стихоплет, да и сам дваждырожденный хозяин колесницы, что впоследствии этот эпитет будет применен к ослепительной вспышке, порожденной атомным взрывом.

Левым крылом войска командовали братья Арджуны — Юдхиштхира Справедливый и Бхима Волчье Брюхо. Правым — близнецы Накула Змееборец и Сахадева Божий Избранник.

Сам я, одетый в легкие латы, правил тройкой белых лошадей, запряженных в колесницу Арджуны.

Должность возничего кажется малозначительной только на первый взгляд, а на самом деле в пылу сражения он заменяет своему высокородному напарнику и слугу, и советника, и телохранителя, и даже санитара. Этим обязанности возничего не исчерпываются — на пирах он должен славить доблестного витязя в возвышенных стихах.

Недаром многие прославленные воины начинали свою карьеру возничими. Пример тому — кичащийся своей неуязвимостью Карна Ушастый, единоутробный брат Арджуны, а ныне один из вождей вражеского войска и смертельный враг всех пандавов.

Да, так уж получилось, что сегодня на поле Куру сошлись в непримиримом противоборстве сплошь друзья и родственники, еще недавно друг в друге души не чаявшие. Брат встал на брата, отец на сына, племянник на дядю, ученик на учителя.

Одним только всемогущим богам известно, сколько моральных сил, золота и красноречия я потратил для того, чтобы стравить между собой всех этих героев, уже собравшихся было двинуться на Европу.

Если провести аналогию с другим историческим событием, пусть и не свершившимся на самом деле, но в принципе возможным, то распрю пандавов и кауравов, людей одной крови, одной веры и общих устремлений, можно сравнить с войной между сыновьями Чингисхана. Случись такое в свое время — и судьбы многих народов имели бы совсем другое развитие.

Медленно вставало солнце, замутненное пыльной бурей, но еще медленнее сближались враждебные армии, как будто бы люди, составлявшие их, стремились хоть на краткий срок продлить свою жизнь, уже вычеркнутую богом Ямой из Книги бытия.

Вперед рвались только боевые слоны, но опытные вожатые до поры до времени сдерживали их.

Еще не поступила команда к началу сражения, еще молчали бубны и не протрубили сигнальные раковины, а стрелы всех видов, дротики и пущенные из пращи железные ядра уже летели в обоих направлениях, легко находя свои жертвы в плотном скопище воинов.

Затем в ход пошли метательные диски «сударшана», острые по краям, как бритва. Их насаживали на специальные шесты, раскручивали в воздухе и посылали в сторону врага, поразив которого, диски возвращались на манер бумеранга, и хозяева ловко ловили их при помощи тех же самых шестов.

Так на поле Куру пролилась первая кровь, но по сравнению с кровавым ливнем, который обещал вскоре затопить все кругом, это был только легкий дождик.

Полоса неистоптанной зелени неумолимо сокращалась, и в какой-то момент армии остановились друг против друга на расстоянии, позволявшем заглянуть в чужие глаза. Никто не решался начать битву первым, ибо сомнительная слава зачинщиков не привлекала ни пандавов, ни кауравов.

— Посмотри на сыновей слепого лицемера Дхритараштры в последний раз, — сказал я, озираясь через плечо на Арджуну. — Очень скоро ты не узнаешь их, обезглавленных и расчлененных, истыканных стрелами и растоптанных ногами боевых слонов.

И тогда этот рыжий ариец, кшатрий черт знает в каком поколении, что означает прирожденного убийцу, буквально вскормленного человеческой кровью, отшвырнул свой грозный лук и со словами: «Я не буду сражаться» — уселся на дно колесницы, устланное тигровыми шкурами.

Конечно, я всегда ожидал от него какой-нибудь подлянки, очень уж скользкая публика эти самые кшатрии, недаром их презирают все сословия, начиная от брахманов и кончая шудрами, но такое поведение вообще ни в какие ворота не лезло.

Зная, каким авторитетом пользуется Арджуна в обоих станах, можно было заранее утверждать, что если он сейчас хотя бы заикнется о мире, то долгожданное сражение не состоится и сотни тысяч отборных воинов, сопровождаемых колесницами и боевыми слонами, немедленно устремятся в соседние страны, неся смерть и разрушение, а главное, совершенно иной миропорядок, в котором не найдется места ни греческим полисам, ни Римской империи, ни всему тому, что должно им наследовать.

Допустить такое было невозможно, иначе все мои старания шли коту под хвост. Если придется, я заколю Арджуну, облачусь

в его доспехи и сам поведу пандавов в бой, благо, что под шлемом мои смоляные космы нельзя отличить от его рыжих кудрей.

— Ты хоть понимаешь сам, о чем говоришь? — обратился я к нему. — В последний момент отказаться от сражения — поступок, недостойный мужчины, а тем более кшатрия. Это то же самое, что не донести до рта кубок с вином или не овладеть девой, которая уже готова отдаться тебе.

— Я ничего не могу поделать с собой, — почти простонал Арджуна. — При виде дорогих и близких мне людей, которых придется лишить жизни, мои ноги подкашиваются, а руки отказываются держать оружие. Зачем мне сокровища, царства, все земные блага и даже власть над тремя мирами, если ради этого надо убивать сородичей? Пусть кауравы корыстолюбивы и вероломны, но, погубив их, мы подорвем основы нашего древнего рода. А когда рухнут родовые устои, исчезнет закон, которому мы следовали на протяжении многих веков. Никто не будет соблюдать предписанные ритуалы. Женщины, оставшиеся без присмотра, станут на путь порока, в результате чего смешаются касты и благородные арийки понесут от поганых шудров. Предки, лишенные жертвенных даров, низринутся с небес в ад, а за ними последуем и все мы, проклятые богами грешники. Уж лучше умереть самому, чем допустить подобное святотатство.

«Нет, сам ты не умрешь, я тебя, тварь рыжая, собственными руками задушу!» — подумал я, но речь повел почтительно и спокойно. Размолвки у нас случались частенько, но прежде мне всегда удавалось уломать этого хоть и буйного, но недалекого воителя, к тому же не имевшего и сотой доли моего жизненного опыта.

— Столь малодушное поведение недостойно арийца. Это минутная слабость, и ее следует побороть. Бери в руки лук и сражайся.

— Легко тебе говорить! — возразил Арджуна. — Как мне сражаться с мудрым Бхишмой, моим дедом? Или с учителем Дроной? Убив их, я тем самым вкушу отравленной пищи. Зачем жить дальше, ощущая вину за гибель столь достойных людей?

— Ты болен, дваждырожденный, — процедил я сквозь зубы. — Твоими устами вещает сумасшедший.

— Да, я болен! — дерзко ответил Арджуна. — И болезнь моя называется состраданием. Может, ты знаешь лекарство от нее? Дай хотя бы дельный совет, а то я совсем запутался. Просвети меня. Наставь на путь истинный, ведь в народе тебя прозвали пастырем.

«Ладно, — подумал я, — если не помогает психологическое давление, пустим в ход этические доводы. Тем более что все кшатрии помешаны на мистике».

— Странные речи я слышу от тебя, о лев среди людей. Ты сожалеешь о том, что не заслуживает сожаления. Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых, ибо жизнь и смерть — это лишь перемена обветшавших одежд, которые мы называем телом, а дух пребывает во веки веков. Любой из нас неоднократно менял свой земной облик, и так будет продолжаться до тех пор, пока неизбывны цепи кармы, судьбоносной предопределенности, порождаемой нашими собственными поступками. Человеческие тела тленны и преходящи, зато душа неуязвима. Она не страшится ни меча, ни огня, ни воды, ни голода. Никакие перемены не затрагивают ее. Душа не знает смерти, как не знает и рождения. А посему в равной мере не правы те, кто не хочет проливать чужую кровь, и те, кто страшится собственной смерти. Не стоит горевать о гибнущих на поле брани. В любом случае живого ждет смерть, а мертвого — возрождение. Убийство не должно приносить огорчение ни убийце, ни его жертве. В нынешнем воплощении ты принял облик кшатрия, а потому обязан выполнять долг воина, для которого битва — священная обязанность и путь достижения высшего блаженства. Твой меч не карающее оружие, а ключ от рая. Уклонившись от участия в сражении, ты навечно покроешь себя бесчестием и позором, которые неизбежно запечатляются в карме. От тебя отвернутся и люди, и боги. Ты прослывешь трусом как в глазах друзей, так и в глазах врагов. Дабы избежать столь злосчастной участи, тебе надлежит немедленно ринуться в бой. Но всегда помни о том, что удача ничем не отличается от потери, а победа равна поражению.

Увы, но моя речь, к которой прислушивался не только Арджуна, но и все, кто находился поблизости, не произвела должного впечатления.

— Это лишь доводы холодного рассудка, — продолжал упорствовать вождь пандавов. — Они не тронули моего сердца. Ты не дал мне ни просветления, ни надежды на душевное спасение.

Таким образом, у меня оставался один-единственный козырь — аргументы теологического порядка. Не исключено, что они убедят упрямого кшатрия, внезапно ощутившего разлад с суровой действительностью, и на самом деле осквернённой человеческими деяниями, а заодно просветлят его разум, омраченный отчаянием.

Для пущего вдохновения я приложился к походной фляжке,

наполненной сомой — крутым настоем эфедры, которой хваленый кокаин и в подметки не годился. Все, что осталось, прикончил Арджуна, большой любитель этого напитка.

Начал я издалека:

— Послушай, о неистовый бык, к чему нас призывает йога, великое учение о пути избавления духа от оков тела. Приобщившись к мудрости йоги, ты избежишь цепей кармы. Каждый шаг, сделанный на этой благой стезе, избавляет от многих горестей. Все наши земные свершения не идут ни в какое сравнение с величием этого учения. Лишь преодолев дебри заблуждений, порожденных прежним жизненным опытом, ты сможешь достигнуть совершенства. Укротив чувства, сердце и разум, ты найдешь счастье в себе самом, узреешь внутренний свет собственной души. Постепенно для тебя исчезнет не только постылый материальный мир, но и тяга к нему. Но это совсем не значит, что ты должен предаваться бездействию, поскольку оно противно самой природе человека. Ведь, поглощая пищу, вдыхая воздух и отправляя естественные надобности, ты действуешь даже помимо собственной воли. Запомни лишь одно: совершая какое-либо деяние, не заботься о его плодах. Действовать должно тело, а отнюдь не душа. Главный враг человека — желания. Именно желания порождают привязанность. Привязанность — причина гнева. Гнев ведет к заблуждениям. Заблуждения — первопричина гибели. Отрешившись от желаний, ты забудешь про страх, обретешь ясность ума и душевный покой. Мудрый, избавленный от привязанности как к самому себе, так и к другим, недоступный низменным страстям, ты достигнешь нирваны, состояния абсолютного неземного покоя. Лишь после этого тебе откроется высшая, спасительная истина. Хочешь знать какая?

— Хочу! — похоже, что сома уже начала действовать, а в сочетании с моим красноречием это была поистине гремучая смесь.

— Истина в том, что весь зримый мир — всего лишь иллюзия, а людишки, погруженные в суету жизни, мучимые низменными страстями, на самом деле спят.

— По-твоему, и я сейчас сплю? — Он вытаращился на меня.

— Конечно, о утеснитель врагов! Для пробуждения тебе придется приложить немало усилий. Первым делом избавься от желаний. Закрой глаза, сосредоточься, как тебя учили гуру, и повторяй за мной, да так, чтобы эти слова слышали не только боги на небе, но и твоя собственная душа. Ты готов?

— Да, пастырь, — впервые Арджуна произнес это прозвище без тени иронии.

— Я ничего не хочу, — молвил я ему прямо в ухо.

— Я ничего не хочу, — послушно повторил он.

— Еще! Проникновеннее!

— Я ничего не хочу! Я ничего не хочу! Я ни-че-го не хо-чу!

Когда эта исступленная мольба заставила притихнуть даже вражеское войско, я остановил его:

— Достаточно. А теперь скажи: у меня нет привязанностей.

— Нет привязанностей, нет привязанностей, нет привязанностей... — эхом повторил он.

— Этот мир всего лишь сон. Повторяй!

— Всего лишь сон, всего лишь сон, всего лишь сон...

— Но я должен действовать, поскольку продолжаю пребывать в цепях кармы.

— Должен действовать, должен действовать, должен действовать...

— Ну так действуй! — Я изо всей силы хлопнул его по плечу. — Труби в сигнальную раковину! Хватай свой лук! Поражай стрелами кауравов, ведь это не люди, а всего лишь кошмарные видения твоего сна!

Арджуна встал, еще более бледный, чем обычно, и с безумными глазами — и затрубил в огромную морскую раковину, носившую собственное имя Девадатта, Дар богов.

В ответ ему на левом фланге взвыла раковина Бхимы — Паунда, Сахарный Тростник, а на правом раковина Накулы — Сугхоша, Сладкозвучная. Затем армия пандавов издала громоподобный боевой клич, от которого слоны присели на задние ноги.

Еще минуту назад стрелы мелькали в воздухе, как проворные рыбешки, охотящиеся на стрекоз, а сейчас они хлынули потоком, словно идущий на нерест косяк, и наконечник каждой из них — то серповидный, то зазубренный, то бритвообразный, то похожий на зуб теленка, то на кабанье ухо, то на стрекало, — прежде чем поразить врага, успевал ярко блеснуть на солнце.

Сам Арджуна метал стрелы из своей гондивы с необычайной быстротой и ловкостью, так что каждая последующая в полете почти догоняла предыдущую.

Не остались в долгу и кауравы. Несколько точно нацеленных тяжелых дротиков поразили нашу колесницу, и мне пришлось проявить всю сноровку, чтобы прикрыть щитом Арджуну и самого себя.

День, еще не успев разгореться, быстро угасал в тучах пыли, поднятой атакующей кавалерией и контратакующими слонами.

Грохот схватки на какое-то мгновение распугал даже стервятников, как крылатых, так и клыкастых.

Так началось великое сражение на поле Куру, — называемом иначе полем Дхармы, то есть закона, — по упорству, длительности и количеству жертв не имевшее себе равных вплоть до новейшего времени. Пандавам и кауравам предстояло истреблять друг друга восемнадцать суток подряд, причем схватка продолжалась и в темноте, при свете факелов.

Таким образом, мой расчет оправдался. Кровь, которая неминуемо пролилась бы на просторах Передней Азии и Европы, была остановлена кровью, затопившей Декан.

Хочу лишь добавить, что все, сказанное мной Арджуне, было чистейшей импровизацией, порожденной душевным надрывом и действием сомы. В те времена никакого целостного учения о йоге, карме, нирване и колесе жизни у ведических арийцев еще не существовало, а я в этом деле вообще был полный профан.

Один из воинов, стоявший возле колесницы, слышал наш разговор и запечатлел его в своей памяти. Впоследствии мои слова и реплики Арджуны, неверно понятые, превратно истолкованные, обильно сдобренные мистикой и сильно разбавленные риторикой, никакого отношения к делу не имеющей, составили знаменитую книгу «Бхагавадгита», что означает «Божественная песня» или «Беседы Кришны с Арджуной».

Между прочим, Кришна — это я. Как говорится, дожили!

ГЛАВА 1

ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

Небо и земля за окном выглядели сегодня не по сезону мерзко. Даже еще хуже, чем на малоизвестной картине художника Алексея Саврасова «Вид на замоскворецкую помойку в ноябре месяце», закончить которую автору помешала скоропостижная смерть от запоя.

Мерзко было и на душе майора Донцова, но для того, чтобы адекватно отобразить это состояние, понадобилась бы по крайней мере кисть Иеронима Босха или проникновенный библейский слог. Что-то типа жалоб ветхозаветного пророка Иова: «Когда я чаял веселья, пришла скорбь; когда ожидал света, наступила тьма; когда кичился здоровьем, был снедаем тайным недугом».

Подполковник Кондаков, обирая скорлупу с вареного яйца, поинтересовался:

— Что-то ты бледный сегодня, Семеныч. Опять нездоровится?

Вполне возможно, что участие его было абсолютно искренним, но вот только слова звучали как-то фальшиво. Долгие годы службы в следственных органах различных ведомств не могли не наложить на Кондакова свой неизгладимый отпечаток, и сейчас, на закате жизни, все внешние проявления его чувств выглядели по меньшей мере лукавым притворством — и гнев, и радость, и сочувствие. Купиться на эти иезуитские штучки мог разве что неопытный баклан вроде нового Федора Раскольникова.

— Все нормально, — сдержанно ответил Донцов. — Мутит с утра немного. Скоро пройдет.

— Конечно, откуда ему, здоровью, при такой погоде взяться, — ради поддержания разговора Кондаков мог для вида согласиться с любой точкой зрения, пусть даже и совершенно неприемлемой. — Вчера метель мела, а сегодня дождь хлещет. У самого суставы ноют.

Каждый рабочий день он начинал с трапезы — стелил на

письменный стол вчерашнюю газету (чаще всего крайне радикального толка), раскладывал на ней нехитрую пролетарскую снедь, кипятил в жестяной кружке чай, а потом долго и вдумчиво работал челюстями, внимательно просматривая обращенную вверх сторону газетного листа. Причина, мешавшая ему как всякому нормальному человеку завтракать дома, оставалась загадкой — то ли сразу после сна аппетит отсутствовал, то ли со стороны домочадцев существовала угроза отравления.

Донцову, у которого с некоторых пор вид почти любой пищи вызывал отвращение, такое поведение коллеги понравиться, конечно же, не могло, но он свои чувства старался не выказывать. Во-первых, не хотел прослыть занудой, а во-вторых, соблюдал некую субординацию. Хотя они с Кондаковым и состояли сейчас в одинаковых должностях, но звания, а тем более выслугу лет имели разные.

— Мой дед в такую погоду всегда на науку грешил, — продолжал Кондаков. — Дескать, опять ученые дырку в небе провертели. И вообще, взгляды имел самые консервативные. Последним изобретением человеческой мысли, которое он одобрял, были галоши.

— Перестройку, надо полагать, ваш дед не принял? — вяло осведомился Донцов (надо ведь было о чем-то говорить).

— Он до перестройки просто не дожил. Скончался в эпоху волюнтаризма, — охотно сообщил Кондаков. — Впрочем, дед и Октябрьскую революцию не принял. Говорил, что как раз после нее все и пошло наперекосяк. Взбунтовалась природа. То ли в пику российскому народу, то ли по его примеру. Летом засуха, зимой оттепель, весной бури, осенью градобитие. Бардак, одним словом.

— Глобальное потепление климата, ничего не поделаешь, — веско произнес капитан Цимбаларь. Вообще-то он имел свой собственный кабинет, но сегодня забыл от него ключи и вынужден был дожидаться напарника, который как назло где-то задерживался. — Вечная мерзлота отступает на север со скоростью сто метров в год. Скоро все города, построенные за Полярным кругом, провалятся в тартарары, грязь затопит шахты и нефтепромыслы, могилы разверзнутся, гнус расплодится в неимоверных количествах, а чукчи вместе с оленями эмигрируют в Гренландию.

— Прямо апокалипсис какой-то. — Кондаков одним глазом подмигнул Донцову. — Ты уж нас, Сашенька, зря не стращай.

— Как же, застращаешь вас, старую гвардию, — ухмыльнулся

Цимбаларь, несмотря на молодые годы успевший побывать и за северными морями, и за южными горами. — Особенно климатом... Впрочем, процесс потепления имеет и свою положительную сторону. Средняя полоса России и Западная Сибирь скоро окажутся в зоне уверенного земледелия, как, скажем, сейчас Средиземноморье. Вокруг Сыктывкара заколосится пшеница, а в Балашихе будет вызревать виноград и хлопок.

— В Ростове соответственно кокаиновый кустарник и опиумный мак, — буркнул Донцов.

Цимбаларь на эту реплику не обратил никакого внимания. Он пребывал еще в том счастливом возрасте, когда собственное мнение кажется чем-то совершенно неоспоримым.

— В свою очередь, Великие равнины, эта житница Северной Америки, превратятся в пустыню, — с воодушевлением продолжал Цимбаларь. — Про техасскую говядину и мичиганскую кукурузу придется забыть.

— Давно пора, — сказал Кондаков, разрезая финкой плавленый сырок. — А то зажрались, тузы американские. Пусть теперь у нас продукты покупают. Надоел уже этот импорт. Ни вкуса, ни запаха. Один эрзац какой-то.

— Не позавидуешь тогда американцам, — покачал головой скептически настроенный Донцов. — Сунутся в свои хваленые супермаркеты, а там все как у нас когда-то. Килька в томате, колбаса «Отдельная», напиток «Буратино» и свиные головы.

— Ничего, не баре. С голодухи все сожрут, — категорически заявил Кондаков. — Тем более что у них там, наверное, стратегических запасов на сто лет заготовлено.

— В чем-то вы, возможно, и правы. — Цимбаларь покосился на казенную пепельницу, уже осквернённую первыми окурками. — Но с виргинским табачком тоже придется проститься. Ведь у наших агрономов-мичуринцев даже из самых элитных семян ничего, кроме махорки, не вырастает. Вне зависимости от климата и погоды.

— Отвыкать надо от дурных привычек, — сказал Кондаков. — Фидель Кастро, говорят, и тот курить бросил.

Закончив завтрак, он навел на столе порядок и наконец-то получил возможность приступить к изучению той стороны газетного листа, которая прежде была обращена вниз.

— Что там новенького пишут в прессе? — осведомился неугомонный Цимбаларь, ощущавший духовное сродство именно с Кондаковым, уже дослужившим до пенсии, а отнюдь не с куда более близким ему по возрасту Донцовым.

Недаром, наверное, говорят, что традиции передаются от дедов к внукам, а не от отцов к детям. Впрочем, их ежедневный треп нередко переходил в пикировки, а то и в натуральные свары, когда напрочь забывались и разница в возрасте, и чины, и былые заслуги.

— Разное пишут, — ответил престарелый рыцарь плаща и кинжала. — Положение на Ближнем Востоке тебя интересует?

— Вы имеете в виду арабо-израильский конфликт? Ничуть. Кому какое дело до внутренних разборок между двумя братскими народами? И те и другие — семитские обрезанцы. Милые бранятся — только тешатся. Разве не так? А этот самый Арафат — ну прямо вылитый Рабинович из анекдотов, которому в Одессе памятник поставили.

— Оригинальная точка зрения... — Кондаков зашуршал газетой, выискивая что-нибудь сенсационное. — А как насчет Балкан?

— Тем более. Отношусь к этому региону с глубоким безразличием. Мне ваши славянские сантименты до одного места. Я ведь из цыган происхожу. Моя историческая родина на Индийском субконтиненте.

— Ладно. Тогда слушай новости с Индийского субконтинента. — Кондаков поправил очки. — В штате Джамму и Кашмир группа мусульманских экстремистов расстреляла рейсовый автобус с индусами, возвращавшимися с храмового праздника. Имеются многочисленные жертвы. Полиция приступила к расследованию.

— Вот этого я не пойму! — горячо воскликнул Цимбаларь. — Почему индусы за себя постоять не могут? Ведь их численность, наверное, уже за миллиард перевалила?

— Семьсот миллионов, — уточнил Кондаков, — считая с тамилами, гуджаратуями, бенгальцами и самозваными цыганами вроде тебя.

— Какая разница! Все равно это сила. Сто на одного. При таком раскладе можно любого врага голыми руками разорвать. Почему они этих мусульман не могут обуздать? Или религия не позволяет? Мошку не проглоти, червяка не задави, злу не противься?

— Религия тут ни при чем. — Кондаков отложил в сторону газету, которую впоследствии намеревался использовать еще раз, уже в сортире. — Религия индусов в этом смысле как раз самая подходящая. У них что ни бог, то оборотень. В одной ипостаси он созидатель, а в другой, наоборот, разрушитель. Выбирай,

что твоей душе угодно. Видел бы ты их любимую богиню Деви, когда та принимает образ Кали, истребительницы демонов. Вся черная, как уголь. На шее ожерелье из черепов. В двух руках держит отрубленные головы, в двух других — мечи. Клыкастая пасть открыта, язык свисает до самого пупа. Ее жрецы регулярно смазывают своею собственной кровью. В глухих местах Кали до сих пор приносят человеческие жертвы. Да и в городах такое случается. Есть у индусов боги и пострашнее. Особенно предводитель небесного воинства Сканда, или тот же Ганеша, старший над злыми духами, составляющими свиту Шивы. Да и сам Шива хорош. Недаром в конце времен ему предстоит уничтожить весь этот мир вместе с богами, людьми и аскетами... Нет, тут дело не в религии, а совсем в другом... Отсутствует единство в народе. По всем статьям отсутствует. У мусульман все перед богом равны. Шейх молится в одной мечети с распоследним бедняком и, если надо, вместе с ним идет в бой. А индусы разделены почти на две тысячи каст. И если ты, к примеру, брахман, то из рук шудра даже стакан воды не примешь, хотя будешь подыхать от жажды. Половина населения и того хуже — неприкасаемые. Эти даже в обычный магазин не могут зайти, не говоря уже о храме. За ослушание растерзают на месте... Ну а если глубже взглянуть, то и вера свой разлад вносит. Богов у индусов столько, что их даже ученые не сумели точно сосчитать. В каждой местности, в каждой деревне свой кумир. И тот, кто поклоняется Брахме, никогда не поймет вишнуита. Вот так обстоят дела на Индийском субконтиненте. Между прочим, небезызвестный господин Бжезинский еще тридцать лет назад предрекал распад Индийского государства. И случиться это должно вслед за распадом Советского Союза, Югославии и некоторых африканских стран. Смеялись мы тогда над ним, дураки...

— Откуда вам такие подробности из индийской мифологии известны? — Эрудиция Кондакова явно заинтересовала Сашу Цимбаларя. — На месте довелось побывать или теоретически эту проблему изучали?

— Вообще-то сие тебя не касается, — произнес Кондаков многозначительно. — Но в связи с истечением срока давности могу признаться: да, бывал я в тех краях.

— Резидентом где-нибудь в Калькутте служили? — вкрадчиво поинтересовался Цимбаларь. — Под видом заклинателя змей или странствующего йога.

— Нет. Дипкурьером в системе Министерства иностранных дел, — ответил Кондаков самым обыденным тоном.

— Почту возили? — Цимбаларь изобразил самое глубокое разочарование.

— И не только, — произнес Кондаков не без гордости.

— Ага, понятно. Местных коммуняк валютой снабжали. Вот куда уплывали народные денежки.

— Местные коммуняки, как ты изволил выразиться, ориентировались главным образом на маоистов. Мы же сотрудничали с правящей партией Индийский национальный конгресс, возглавляемой в то время дорогим товарищем Индирой Ганди, — Кондаков зашамкал, подражая невнятной речи прославленного в анекдотах генсека. — Слыхал про такую?

— Приходилось. Еще один вопрос можно?

— Валяй, — милостиво разрешил Кондаков.

— Правду говорят, что лейтенантские погоны вам сам Берия вручал?

— Ну это уже полная туфта! — Кондаков, может, и обиделся, но вида не подал. — Вы меня еще в соратники Ежову и Ягоде запишите. Семичастного я еще застал, не спорю. Но в основном под Андроповым пришлось ходить. Серьезный был мужчина. Не чета нынешним начальникам. И кличку имел серьезную — Змея Очковая. В том смысле, что все насквозь видел и врагам спуску не давал. Как внешним, так и внутренним.

— Ваши слова надо понимать так, что вы оставались чекистом, даже находясь на службе в Министерстве иностранных дел? — продолжал выпытывать Цимбаларь.

— Я чекистом всегда оставался, — произнес Кондаков веско. — Даже когда подвизался в Государственном санитарном надзоре и был направлен в эфиопскую провинцию Эритрею травить саранчу... а заодно с ней и сепаратистов. Чекистом я остаюсь и в этой занюханной конторе.

— Богатая у вас биография, — восхитился Цимбаларь. — Небось на пенсии за мемуары засядете?

— И не собираюсь даже. Связан подпиской о неразглашении государственной тайны. Да и соответствующих способностей не имею. Мне обычный протокол составить и то в тягость.

— Литературную обработку я вам обещаю. Гонорар пополам. У меня, кстати, и знакомый издатель имеется.

— Если мне понадобится издатель, я лучше к американцам обращусь. В Центральное разведывательное управление. — Кондаков скорбно скривился. — Уж если продаваться, так за хорошие деньги.

— То есть в принципе вы не против, — уточнил Цимба-

ларь. — И согласны обменять на дензнаки некоторое количество известной вам оперативной информации, пусть и слегка устаревшей.

— Откровенно? — Кондаков, не снимая очков, принялся рассматривать собеседника в лупу, словно тот был не человеком, а каким-то редким насекомым.

— Конечно.

— Знаешь, Сашенька, какая между нами разница? Я свою профессию еще в средней школе выбрал. Раз и навсегда. А ты в органы потому, наверное, пошел, что в мафиозных структурах хорошее место не подвернулось. Для истинного профессионала одной выучки мало. Еще преданность делу нужна. Причем фанатичная. Настоящий разведчик, если в плен попадет, кладет свои яйца на край стола и кулаком разбивает вдребезги. Так что будь уверен — известная мне оперативная информация вместе со мной и умрет. Такие вот пироги.

— Я с вами шутя, а вы на полном серьезе, будто бы мы сейчас на совещании по бдительности присутствуем. — Цимбаларь сразу поскучнел.

— Шутить опосля будем, когда ты дело по клубу «Астролог» до ума доведешь. А то толчешь воду в ступе целый месяц. Весь отдел тормозишь, — этими суровыми словами Кондаков, наверное, собирался окончательно добить своего не по годам заносчивого коллегу. — Вместо того чтобы здесь штаны протирать, шел бы сейчас да работал. Ведь еще человек десять по этому делу не допрошено.

— Ваша правда, — ответил Цимбаларь с подозрительным смирением. — Только не десять, а все двадцать. Однако половина из них давно находится вне досягаемости наших правоохранительных органов, а другая половина, судя по всему, может быть допрошена лишь с санкции Святого Петра, владыки загробного мира. И все потому, что в свое время это дело начинали именно вы, товарищ подполковник. Наворотили чепухи всякой, вот я ее теперь и разгребаю. Следствие грамотно провести — это вам не саранчу в Эфиопии травить. И не яйцами об стол стучать. Тут одной преданности мало. Тут еще голову на плечах надо иметь.

Назревающий конфликт поколений был прерван появлением секретаря отдела Людочки, по возрасту совсем еще девчонки, но по специфике своей должности человека совсем не последнего.

Хлюпики-интеллектуалы из отдела планирования и анализа,

знатоки каббалы, теософии и оккультизма, прозвали ее Метатроном. Так по понятиям древних иудеев именовался наиболее приближенный к богу ангел, истолкователь его снов, божественный писец, указующий перст, быстроногий вестник, ходатай за всех провинившихся и единственный, кто в отсутствие вседержителя имел право садиться на небесный престол.

Все эти определения как нельзя лучше соответствовали служебным обязанностям, возложенным на секретаря, характеру личных взаимоотношений, сложившихся в коллективе, и добросердечному нраву самой Людочки.

Поскольку начальник отдела полковник Горемыкин, личность загадочная и непредсказуемая, почти не покидал свой кабинет, расположенный на самом верхнем, девятом этаже здания, и внутренней связью старался не пользоваться (были, видимо, на это свои веские причины), то Людочка Метатрон являлась основным связующим звеном между, фигурально говоря, небесным царством, где ковалась высокая политика, и грешной землей, на которой обитали те, кто должен был эту политику проводить в жизнь.

Кроме того, непосредственно через Людочку на нижестоящих сотрудников нисходила милость небожителей, а равно и их гнев, оформленный в виде стандартных приказов о поощрении и наказании личного состава.

Как и подобает ангелу, Людочка была беленькая, кудрявая и столь рослая, что, если бы не явно выраженная половая принадлежность, могла бы запросто служить в гренадерском полку. Впрочем, весь ее рост сосредотачивался главным образом в стройных ногах, а верхняя часть тела, называемая еще торсом, была столь компактной, что резинка трусиков отстояла от бретельки лифчика всего лишь на одну пядь (всем отделом мерили, когда прошлым летом справляли на пляже чей-то день рождения). Даже непонятно было, где там у нее помещаются внутренние органы.

Ясно, что при таких внешних данных Людочка могла легко сделать карьеру в каком-нибудь модельном агентстве, но она с детства являлась закоренелой фанаткой американского телесериала «Секретные материалы» и мечтала в ближайшем будущем стать отечественным аналогом рыжеволосого агента Скалли.

В настоящее время Людочка готовилась к поступлению на заочное отделение академии правоведения, осваивала вождение автомобиля и посещала все занятия по служебной подготовке, на которые допускались вольнонаемные сотрудники. Молодые ин-

структора охотно обучали ее правилам обращения с огнестрельным оружием и приемам рукопашного боя, особенно тем, которые были связаны с захватом курпуса или ног.

— Доброе утро, — сказала Людочка, брезгливо морщась и энергично размахивая перед собой папкой для документации. — Господи, и когда вы только накурить успели! Получите сводку за истекшие сутки. А вас, — она сделала перед Донцовым грациозный книксен, — начальник просит к себе.

— С чего бы это вдруг? — удивился Кондаков, как будто бы приглашение касалось именно его. — Разве сегодня отчетный день? Мы сейчас на следственный эксперимент выезжаем. Из гаража позвонили, что машину уже выслали. Да и всяких других дел выше крыши накопилось.

— Не валяйте дурака, Петр Фомич. — Людочка привычным движением смахнула лапу Кондакова со своего крутого бедра. — Приказы начальства не обсуждаются. За тридцать пять лет беспорочной службы вам пора бы это усвоить.

— Приказы на фронте не обсуждаются, — возразил Кондаков. — Или в тылу врага. А также при проведении специальных операций. Сейчас совсем другой случай. И время, слава богу, другое. Мы не стадо бессловесное, а вы там, на девятом этаже, не пастыри. Приказ приказу рознь. Задерешь ты, к примеру, юбку, если я тебе прикажу? Отвечай.

— Если прикажете, конечно, не задеру, — без тени смущения ответила Людочка. — А если хорошенько попросите, еще подумаю. Но соль в том, что вы мне никакой не начальник и вряд ли им когда-нибудь станете. Так что советую не задерживаться.

Она собралась было дружески хлопнуть Донцова папкой по голове, но, увидев постное выражение его физиономии, передумала. Зачем зря раздаривать свою благосклонность? Да и молодые силы следует поберечь, ведь предстоит обойти еще с дюжину кабинетов, в которых маются с утра непроспавшиеся, неопохмелившиеся, сексуально не удовлетворенные мужики, не имеющие никакого представления о хороших манерах.

— Иди, раз зовут, — сказал Кондаков, когда перестук Людочкиных шпилек затих в коридоре. — Наверное, и в самом деле что-то чрезвычайное случилось. Царь-колокол из Кремля сперли, или у премьер-министра любимый кот сбежал.

— Подвалило счастье... Чувствую, накрылись все мои сегодняшние планы, — морщась от ноющей боли в левом боку, пробормотал Донцов. — Что там в сегодняшней сводке интересного? Есть что-нибудь по нашей линии?

— Да вроде ничего, — пожал плечами Цимбаларь, успевший и сводку прочесть, и ногами секретаря полюбоваться. — Как всегда. Кражи, угоны, изнасилования, пожары, убийства на бытовой почве. Рутина...

— Зачем же я тогда шефу понадобился? — Донцов перелистал скопившиеся на столе бумаги, но среди них не было ни одной срочной. — Не понимаю...

— Вот он тебе все сам и объяснит, — рассудительно произнес Кондаков. — А в сводке искать нечего. Преступления по нашей линии в нее не попадают. Потому мы и зовемся особым отделом...

ГЛАВА 2

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЛКОВНИК ГОРЕМЫКИН

Хотя официально считалось, что в отделе соблюдаются условия строгой секретности, и в штате даже числился официальный сотрудник, за это дело отвечавший, тем не менее все здесь знали друг о друге все, а главное: кто каким ведомством вскормлен (простая ментовка, естественно, не шла ни в какое сравнение со знаменитой «конторой глубинного бурения» или военной контрразведкой), какую конкретно «волосатую руку» имеет в верхах и какими карьерными перспективами на будущее располагает.

Само собой, что не оставалась без внимания и частная жизнь коллег — семья, дом, душевные пристрастия. Побочные связи и тайные пороки. Увы, в реальном быту мужчины были предрасположены к сплетням и пересудам ничуть не меньше, чем женщины, общепризнанные носительницы этого порока.

Да и сама специфика профессии весьма способствовала удовлетворению праздного любопытства, от природы свойственного всем млекопитающим, — тут тебе и слухи, исправно поставляемые информаторами-доброхотами, сохранившимися еще с совдеповских времен, и широкие связи в криминальном мире, и дружеские контакты с бывшими сотрудниками силовых ведомств, забившими теплые местечки почти во всех государственных и частных конторах.

И, может быть, именно в силу этих обстоятельств глубокая тайна, окружавшая личность начальника отдела полковника Горемыкина, казалась особенно противоестественной, вроде как

паранджа, скрывающая от нескромных глаз разнузданную звезду стриптиза.

Информацией о нем не располагали ни сексоты, ни блатная братия, ни вездесущие журналисты, а зубры кадровой работы, хотя и вышедшие на пенсию, но сохранившие цепкую профессиональную память, при упоминании о неизвестно откуда вынырнувшем полковнике, явно пользовавшемся чьим-то высоким покровительством, только пожимали плечами или строили самые фантастические предположения.

Домашний адрес Горемыкина и номер его квартирного телефона были неизвестны даже Людочке-Метатрону, а номер сотового телефона регулярно менялся.

Никто из милицейских, армейских и кагэбэшных ветеранов никогда прежде не пересекался с ним по службе и, более того, даже не слышал о человеке с такой фамилией. (Сразу возникла легенда, что «Горемыкин» это вовсе и не фамилия, а нечто вроде псевдонима, присваиваемого агентам внешней разведки, засветившимся на нелегальной работе.)

На людях Горемыкин вел себя как Штирлиц в фашистском логове: не допускал ни малейшего упоминания о прежней жизни, посторонних разговоров по телефону не вел, отказавшись от услуг персонального водителя, сам управлял служебной машиной, семейные фото на письменном столе не держал и в отношениях с белокурым секретарем не позволял себе никаких вольностей.

Короче говоря, это был человек без биографии. Живая загадка. Укор болтунам и ротозеям.

В связи с отсутствием прямых и неоспоримых сведений приходилось полагаться на косвенные.

Возраст Горемыкина на глаз определили в сорок пять — пятьдесят лет (мужчины давали больше, женщины меньше). В его арийском происхождении выразил сомнение только эксперт-почерковед Шиллер, заявивший, что одно из пропавших колен Израилевых, а именно потомки Симеона, сплошь состояло именно из таких вот сероглазых и поджарых шатенов.

Манера завязывать галстук и привычка носить на лацкане пиджака значок с патриотической символикой могли свидетельствовать о причастности Горемыкина к комсомольской работе, а завидная выправка и четкая речь выдавали в нем бывшего военного.

Специфическая форма ушей указывала на пристрастие к спортивным единоборствам, а литературные, исторические и

мифологические аллюзии, частенько уснащавшие речь, — на известную интеллигентность.

Впрочем, одна незначительная на первый взгляд деталь — загадочная татуировка у основания большого пальца правой руки — ставила под сомнение все вышеуказанные предположения. По одной версии, это был символ наивысшего положения в тюремном мире, по другой — масонский знак.

Таким образом, какое-нибудь конкретное мнение о Горемыкине так и не успело сложиться.

Сразу после назначения на должность, когда от нового начальника ждали неизбежных в таком случае кадровых перетрясок и служебных репрессий, он заранее прослыл деспотом и самодуром. Впоследствии, когда ничего этого не случилось и за сотрудниками отдела были сохранены все их маленькие привилегии, включая ежечасные чаепития, постоянные перекуры и некоторое пренебрежение к вопросам бдительности, Горемыкина стали заглазно укорять в либерализме и излишней мягкости.

Воистину на каждый чих не наздравствуешься и всем одинаково мил не будешь.

В чем Горемыкина уж точно нельзя было упрекнуть, так это в излишнем самомнении или, иначе говоря, в амбициозности. Он не пытался разъяснять следователям тонкости Уголовно-процессуального кодекса и не преподавал экспертам правила проведения эксгумации, а в основном ограничивался общими указаниями, передаваемыми к тому же через заместителей или незаменимую Людочку.

И вообще, его личное общение с подчиненными было сведено до минимума, как при дворе китайских императоров. Вот почему вызов к начальнику отдела, да еще в столь раннее время, был событием экстраординарным.

— Как здоровье? — поинтересовался Горемыкин после того, как Донцов доложил о своем прибытии и пожал протянутую через стол начальственную руку.

«Кто-то уже успел настучать», — подумал Донцов и с напускной бодростью ответил:

— В порядке.

— Не жалуетесь, значит... — произнес начальник с неопределенной интонацией.

— Кое-какие жалобы, конечно, есть, — замялся Донцов. — Вот собираюсь через недельку на обследование лечь.

— В наш госпиталь?

— Еще не знаю... — Дабы избегнуть испытывающего взгляда начальника, Донцов покосился на развешанные в простенках благодарственные дипломы и почетные грамоты. — Вряд ли в нашем госпитале имеется специалист нужного профиля.

Начальник тактично не стал уточнять специализацию врача, в услугах которого нуждался Донцов, хотя мог бы наверное пошутить насчет психиатра или нарколога. Вместо этого он задумчиво повторил:

— Через недельку, значит...

— Именно, — подтвердил Донцов.

— А почему, скажем, не завтра? Здоровьем пренебрегать не стоит.

— Дела надо закончить, как положено.

— Сколько их у вас?

— Пять. Но три уже почти готовы. Дождусь результатов экспертизы, возьму несколько объяснений, и можно нести на подпись прокурору.

— Я полагаю, что ваши дела может закончить и кто-нибудь другой. Цимбаларь, например. — Начальник полистал перекидной календарь, словно бы искал какую-то памятную отметку. — А вам мы пока поручим одно совсем простенькое дельце. За неделю как раз и управитесь. А потом отдыхайте на здоровье. В смысле ложитесь на обследование.

Начальник как всегда говорил благожелательно-ровным тоном, и в его ясных глазах нельзя было прочесть ничего такого, что могло бы посеять в собеседнике даже тень сомнения.

Впитывая и регистрируя абсолютно все, эти глаза ничего не пропускали обратно, во внешний мир. «Прямо не глаза, а какие-то полупроводниковые диоды», — подумал Донцов.

Сразу напрашивалось и следующее сравнение — обладатель этих глаз не человек, а замаскированный под человека робот. Недаром ведь говорят, что Горемыкин при желании способен обмануть даже полиграф, то бишь детектор лжи. Конечно, машина с машиной всегда сговорятся.

— Почему вы молчите? — Начальник опустил взор на полированную столешницу, в которой его лик отражался как в зеркале. — Вас что-то не устраивает?

— Даже не знаю, что и ответить... Озадачили вы меня, товарищ полковник.

Донцов, разумеется, понимал, что в предложении Горемыкина таится какой-то подвох (с каких это пор начальники, ратуя

о здоровье подчиненных, стали разгружать их от служебных дел?).

Но вот только какой?

Неужели на него хотят свалить верный «висяк», который не то что за неделю, но и за год не раскроешь? Да только зачем? Мальчиков для битья в отделе и так хватает. Или начальник надеется, что прокурор, учитывая болезнь следователя, согласится продлить заведомо просроченное дело? Ну прямо чудеса какие-то.

То ли Горемыкин почуял сомнения Донцова, то ли был заранее готов к ним, но его следующий словесный пассаж был исполнен уже несколько в ином духе:

— Дело действительно простое. Тут никакого подвоха нет. Простое и в то же время неординарное. Кондакову, к примеру, я его поручить не могу. Опыт у него, несомненно, есть, да кругозор узок. Еще надорвется. У Цимбаляря, наоборот, кругозор широк, даже чересчур, но опыта не хватает. Может дров наломать. А вы подходите по всем статьям... Тем более что на вас поступила персональная заявка, — последнюю фразу Горемыкин произнес с нажимом.

— Я что-то не понимаю. Какая заявка? — удивился Донцов. — Разве мы уже по вызову работаем? Как гостиничные проститутки?

— Потом поймете... — Начальник еле заметно поморщился. — Хочу только напомнить, что вы сами напросились в наш отдел, мотивируя это тем, что заурядные дела типа пьяных драк и самоубийств на почве ревности вам изрядно поднадоели. Не так ли? Вот и получайте незаурядное дело.

Просьба такая действительно когда-то имела место, но была высказана в устной форме и без свидетелей человеку, который умел держать язык за зубами. Горемыкин по идее знать о ней не мог. Но ведь знал же!

Рано, значит, говорить о том, что наши доблестные органы утратили контроль над обществом. Лапу с пульса этого общества они, может быть, и убрали, но стетоскопом и другими подручными средствами пользуются на всю катушку.

— А что это за дело? — осторожно поинтересовался Донцов, понимая, что просто так его отсюда не отпустят.

— Убийство, — произнес Горемыкин со вздохом и, упреждая возможные возражения Донцова, тут же добавил: — Да, внешне все выглядит как обычное убийство. Но что за этим стоит, знает

один только бог. Возможно, как раз ничего и не стоит... Это был бы для нас самый лучший вариант.

С подобным трюизмом нельзя было не согласиться, и Донцов охотно поддакнул:

— Это уж точно.

— Но, как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему, — этой загадочной фразой начальник как бы ставил под сомнение свое собственное недавнее заявление о «простеньком» дельце. — Что вас еще интересует?

Горемыкин мог бы давно отослать Донцова, пожелав успешного расследования, не в его правилах было рассусоливать с подчиненными, но сегодня на него, как видно, стих нашел. Грех было не использовать столь редкий случай с максимальной пользой.

— Меня все интересует, — сказал Донцов. — А в первую очередь, кто убит и где это случилось.

— Место преступления не совсем обычное. Это частная психиатрическая клиника, где находятся на излечении пациенты с редкими формами душевных заболеваний. Одних там лечат, а за другими просто наблюдают. Можно сказать, что это своеобразный научно-исследовательский центр... Так вот, один из пациентов клиники, длительное время находившийся в коматозном состоянии, внезапно скончался. Установлено, что причиной этому послужило отключение аппарата искусственной вентиляции легких. Причем отключение умышленное.

— Где находился медперсонал?

— Там, где ему и положено находиться. Дежурный врач в приемном покое, а медсестра на посту наблюдения, буквально в десяти шагах от злополучной палаты. Забыл сказать, что это случилось ночью.

— Стало быть, никого из посторонних на тот момент в клинике не было?

— Нет, только пациенты, медперсонал и охрана. Повторяю, это частная клиника, и за режимом там следят строго.

— Тогда я не вижу в этом деле никаких особых проблем, — осмелел Донцов. — Ясно, что без участия работников клиники тут не обошлось. Допросить их всех подряд, и кто-нибудь обязательно расколется. В крайнем случае пропустить через полиграф. Зачем ему без толку простаивать? Одновременно надо разобраться с мотивами преступления. Покойник мог владеть солидными сбережениями или недвижимостью. В этом случае надо вплотную браться за потенциальных наследников. Не по-

нимаю, где здесь что-то незаурядное. Наоборот, все очень ясно. Любой участковый разберется.

— Не спешите. — Горемыкин оторвался от созерцания столешницы и метнул на Донцова короткий, жесткий взгляд: не зарывайтесь, мол, майор. — Несуразность этого дела заключается хотя бы в том, что одноместная палата, где произошло убийство, была с вечера заперта на замок, ключ от которого находился пятью этажами ниже, под надзором дежурного врача и охранника. Никто из них наверх не поднимался. Для этого пришлось бы миновать еще по крайней мере три поста и везде засветиться. Что касается медсестры, на которую, согласно вашей логике, падает основное подозрение, то ей перевалило за пятьдесят лет. Тридцать из них она проработала в клинике и пользуется безукоризненной репутацией. Я понимаю, что в жизни случается разное, но на роль киллера эта тетка явно не тянет. В палате имеется окно, однако оно оборудовано надежной решеткой, сквозь которую только кошка пролезет. Да и само окно, судя по всему, было закрыто. Не лето ведь.

— Загадка запертой комнаты, — произнес Донцов задумчиво (перечить начальнику, пусть даже в мелочах, у него охота пропала). — Весьма распространенный сюжет в детективной литературе.

— Мне детективы читать некогда. Мне и ваших творений вполне хватает. — Горемыкин кивнул на пухлую папку с многочисленными закладками, судя по всему, какое-то старое дело, доставленное из архива. — Сами понимаете, что жизнь иногда подкидывает такие загадки, что беллетристы могут отдыхать.

— Интересно, а почему про это убийство в сводках не было? Когда это случилось?

Спрашивал Донцов просто так, без всякой задней мысли, но начальник его буквально огорошил:

— Три дня назад.

— Ничего себе! — Донцов даже заерзал на стуле. — Да ведь там уже никаких улик не сыщешь. Ни отпечатков пальцев, ни следочка. Такие дела у нас тухлыми называются. Что ж так поздно сообщили?

— Сие уже от меня не зависит. — Кто-то другой при этом развел бы руками, а Горемыкин только растопырил пальцы веером.

— Какие-нибудь специалисты туда выезжали?

— Территориалы выезжали. Следователь и эксперт. Соста-

вили протокол осмотра места происшествия. Допросили, кого смогли. Кое-какие вещдоки изъяли.

— В прокуратуре дело возбуждено?

— Пока нет. Сами понимаете, что повод-то мизерный. Скончался человек, и так долгое время находившийся между жизнью и смертью. Фактически полутруп. Родственники с ним отношений давно не поддерживали. Отказались, можно сказать. Какими-либо сбережениями или имуществом покойник не обладал. Это я к тому, что корыстные мотивы преступления отпадают. Перспектив у дела никаких. И это на фоне повсеместного роста уголовной преступности. Следственная группа прокуратуры не успевает на тяжкие преступления выезжать. Кому охота поднимать шум из-за такой ерунды?

— А то, что мы с вами обсуждаем здесь это убийство — разве не шум?

— Мне так не кажется, — голос начальника вдруг обманчиво потеплел. — Считайте, что мы с вами просто шушукаемся. Как кумушки возле подъезда. Ясно?

— Ясно, — Донцов невольно подобрался. — Не первый год замужем.

— Вот и прекрасно. Рад, что между нами установилось взаимопонимание. Теперь хочу внести в этот вопрос окончательную ясность. Клинику возглавляет один очень известный и влиятельный человек. Безоговорочный авторитет в своих кругах. Доктор наук, профессор, лауреат и так далее. В свое время он оказал правоохранительным органам немало ценных услуг. Да и сейчас продолжает оказывать. То, что в Институте имени Сербского приходится ждать месяцами, он у себя может сделать за пару дней. Убийство, случившееся в клинике, профессор воспринял весьма болезненно. Лишняя огласка ему, естественно, не нужна, но в раскрытии преступления он почему-то кровно заинтересован. Впрочем, эта сторона вопроса нас не должна касаться... Не знаю, из каких источников ему стало известно о существовании нашего отдела, но просьба поступила непосредственно в главк. Причем с конкретным указанием следователя, которого он хотел бы у себя в клинике видеть. То есть майора Донцова Геннадия Семеновича. Из главка мне перезвонил заместитель начальника, курирующий наш отдел. Никаких отговорок он, естественно, не принял бы. Формула у них там одна: «Немедленно приступить к исполнению». Колесо уже завертелось. Вас привлекли бы к расследованию в любом случае, даже если бы ради этого пришлось отозвать из отпуска.

— Почему же они, такие деловые, три дня тянули? Надеялись, что покойник воскреснет?

— Кто их, психиатров, знает. Возможно, хотели разобраться во всем самостоятельно. Или надеялись на территориалов.

— Как же, помогут им территориалы... У них на каждого следователя по тридцать дел.

— Тогда придется нам отдуваться... То есть вам, — поправился Горемыкин.

— Как я понимаю, работать придется на результат, а не на протокол.

— Можно сказать и так. Укажите нам преступника, а о формальностях не беспокойтесь. Чует мое сердце, что в суд это дело не пойдет. Но только, чур, никаких кровопролитий. Это одно из непременных условий, поставленных перед нами. Преступник нужен живым.

— На какую помощь я могу рассчитывать?

— На любую. Отказа вам ни в чем не будет. Задействуйте экспертов, дознавателей, оперов, «наружку». Соответствующие распоряжения старшим служб я уже отдал. Территориалов тоже напрягайте. Они хоть и туго соображают, зато местную публику знают. Но не упускайте один важный нюанс. Привлекая помощников к разработке отдельных деталей дела, никого не посвящайте в главное. Особенно на заключительном этапе расследования, когда станут вырисовываться фигуранты. Все нити должны быть сосредоточены в ваших руках.

— Как будет с транспортом? — заранее приготовившись к отказу, осведомился Донцов (в отделе это был самый больной вопрос). — Такое дело, сидя в кабинете, не раскроешь. Свидетелей придется по месту жительства допрашивать, без повесток.

— Вы же сами знаете, какое у нас положение с транспортом. — Горемыкин вновь картинно растопырил пальцы, и Донцову даже показалось на мгновение, что начальник собирается преподнести ему две полновесные дули. — Половина машин в ремонте, остальные все время в разгоне. Придется пользоваться услугами такси или частников. Так и в смысле конспирации надежней будет... Средства, выделенные вашей службе на оперативные расходы, еще остались?

— Давно уже кончились, — вынужден был признаться Донцов, который, как человек временно непьющий, тех денег и в глаза не видел. — Да разве это средства. Слезы одни.

— Странно, — Горемыкин недоуменно приподнял брови. — Ведь квартал еще только начался. Тут попахивает финансовыми

злоупотреблениями. Надо будет при случае навести порядок в этом вопросе... Ладно, напишете заявление на материальную помощь. Двух окладов вам на первое время должно хватить. А потом что-нибудь придумаем.

— Вы мне адресочек клиники не забудьте сообщить, — напомнил Донцов.

— Все в свое время. Прошу, — начальник протянул ему квадратик глянцевого картона, украшенный серебристыми виньетками. — Здесь и адрес клиники, и фамилия человека, с которым вы будете там контактировать.

Это была визитная карточка, принадлежавшая некоему Алексею Игнатьевичу Шкурдюку, заместителю главного врача по общим вопросам, короче говоря, завхозу клиники.

Сама же клиника располагалась совсем недалеко, километрах в пяти от здания отдела. Донцов почти ежедневно проезжал мимо нее и даже не мог предположить, что в этом солидном здании, похожем на иностранное посольство, содержат психов с редкими формами душевных расстройств.

Все это, конечно, было хорошо, но вот только с визиткой у начальника вышла небольшая промашка. Получалось, что о загадочном убийстве он знал не только со слов заместителя начальника главка. Ходок из клиники здесь уже успел побывать, иначе откуда бы взялась новенькая, еще пахнущая типографской краской карточка.

Этим, наверное, и объяснялась осведомленность Горемыкина о некоторых деталях преступления. Но почему тогда он ни словом не обмолвился о визите этого самого Шкурдюка? Что еще за тайны мадридского двора! Отсутствие откровенности всегда порождает подозрения.

Впрочем, эти крамольные мысли сразу угасли, едва зародившись. Глупо было бы ожидать от Горемыкина абсолютной искренности. Начальство для того и существует, дабы скрывать от подчиненных истинное положение вещей, чаще всего плачевное. А иначе как заставить коллектив ломать горб над какой-нибудь очередной совершенно непродуктивной затеей?

Так в нашем отечестве повелось издревле, и вряд ли этот принцип мог измениться в будущем. Требовать от начальника голой правды было то же самое, что гладить ежа. Занятие бессмысленное и неблагодарное. К этому тезису Донцов привык давно. Привык и смирился.

— И все же поделитесь секретом, откуда у вас такой автори-

тет среди психиатров? — с определенной дозой лукавства спросил вдруг Горемыкин.

— Ума не приложу, — ответил Донцов. — Я с этой публикой даже на уровне районной поликлиники никогда не общался. А про светил всяких и говорить нечего. Наверное, кто-то со стороны посоветовал.

— Все может быть, — сказано́ это было таким тоном, что Донцов сразу понял: аудиенция окончена.

— Разрешите идти? — Он слегка приподнялся на стуле.

— Идите, — кивнул Горемыкин. — И помните, никакой огласки. Никаких силовых действий. Никакой самодеятельности. Ваш принцип — не обезвредить, а выявить...

ГЛАВА 3

КЛИНИКА СНАРУЖИ

Вернувшись из казенной роскоши девятого этажа в свой скромный кабинет, Донцов паче чаянья застал там Кондакова — насквозь вымокшего и злого, как схимник, которому в Великий пост подсунули скоромную пищу.

Мало того, что нынешняя работа никак не соответствовала характеру следственного эксперимента, для которого требовались ясный летний день, неограниченная видимость и абсолютно сухая мостовая, так и тюремное начальство подвело: вместо фигурирующего в деле подследственного прислало его однофамильца.

Едва коллеги успели обменяться первыми репликами, как в кабинет заглянул Цимбаларь, все это время мучившийся от любопытства.

— Ну, рассказывай, зачем тебя шеф вызывал, — без долгих околичностей поинтересовался он. — Неужели на новую должность примеряют?

(Слух о грядущих кадровых рокировках давно циркулировал в кулуарах отдела, и прогнозируемое знатоками выдвижение Донцова вполне соответствовало шкурным интересам Цимбаларя — тогда он смог бы претендовать на освободившуюся должность старшего следователя).

— Увы, Саша, вынужден тебя разочаровать, — ответил Донцов. — Начальник интересовался исключительно нашим финансовым положением. Как, спрашивал, идет расходование средств, выделенных на оперативные нужды. Сколько денег истрачено и

на какие конкретно мероприятия. Сколько осталось. Не намечается ли экономия.

— Ну и что ты ему сказал? — насторожился Цимбаларь, не всегда отличавший дружеский розыгрыш от суровой правды.

— Слукавил, естественно. Взял грех на душу. Все, говорю, в полном ажуре. Казенных средств истрачена малая толика, и на каждый рубль имеется соответствующим образом оформленный документ. Экономия ожидается, но не очень большая. Так, примерно в пределах десяти процентов.

— И он поверил? — Надежда все еще теплилась в душе Цимбаларя.

— По крайней мере сделал соответствующий вид. Похвалил и даже пообещал внедрить наш передовой опыт в работу других служб. Для изучения и обобщения этого опыта завтра к нам наведается начальник финчасти. Так что готовьтесь к ревизии.

— Врешь, наверное, — неуверенно произнес Цимбаларь. — На понт берешь.

— Зачем мне это? Мог бы поклясться, да не могу. Нечем клясться. В бога не верю, детей у меня нет, партбилета тоже, здоровья тем более. Офицерской честью клясться не имею права, поскольку у жандармов и иже с ними таковой не предполагается.

— Что же делать? — Цимбаларь вопросительно глянул на Кондакова. — Посоветуйте, Петр Фомич.

— Я здесь ни при чем, — поспешно отмежевался Кондаков. — Ты за эти деньги расписывался, тебе и отвечать.

— Но ведь водку мы пили вместе! — Голос Цимбаларя трагически зазвенел.

— Откуда я мог знать, на какие деньги ты эту водку покупал, — возразил Кондаков. — Может, ты их в лоторею выиграл.

— Но я ведь деньги из служебного сейфа в вашем присутствии брал!

— А вот этого не надо. Это не довод. Когда кто-нибудь в сейф лезет, я, между прочим, глаза закрываю. Из соображений конспирации. С младых ногтей к этому приучен.

— Эх вы, чекисты! — Цимбаларь горько скривился. — Теперь понятно, почему вас цээрушники по всем статьям обставили. Деликатные вы очень. Привыкли к позе страуса. Чуть что — и сразу в кусты. Мол, моя хата с краю.

— Не путай божий дар с яичницей! — Кондаков погрозил чересчур обидчивому коллеге пальцем. — Что у тебя в конце концов случилось? Оперативные средства раньше срока улетучились? Нашел, понимаешь, проблему. Она вечная, как вечны

спецслужбы. Даже граф Бенкендорф, будучи начальником Третьего отделения, казенные средства транжирил. А уж про наших оперативников я и не говорю. У них это как профессиональная болезнь... Послушай сейчас одну историю и сделай соответствующие выводы. В семидесятые годы сильная борьба с валютчиками шла. Считалось, что это именно они подрывают советскую экономику. Шутка ли, вместо шестидесяти восьми копеек платят за поганый доллар целую трешку. Преступление воистину тяжкое. Некоторых за него и к стенке ставили. Так вот, имели мы в то время в разработке одну бабу-валютчицу. Ловкая, стерва, под администратора «Интуриста» работала. Всякие там бундесы или штатники еще с самолетного трапа сойти не успели, а она уже тут как тут. Меняйте, говорит, господа, свою зарубежную валюту на полновесные советские рубли. Но при случае и фарцовкой не гнушалась. Любое шмотье брала, начиная от нейлоновых трусов, кончая норковыми шубами. В крайнем случае оказывала туристам сексуальные услуги, причем в любой форме, даже самой извращенной. Многостаночница, короче говоря. И что самое интересное, любители на нее находились. Хотя страшна была, как баба-яга... В общем, прихватили мы ее однажды прямо на деле. Доставили в контору, обыск чин чинарем произвели. Только нет при ней ничего компрометирующего. Пять рублей денег да всякие бабские причиндалы. А по оперативным данным, при ней должна была находиться весьма крупная сумма. Сбросить ее она никак не могла. Перещупали все швы на одежде, вспороли подкладку, оторвали подметку на сапогах. Ничего нету! Пусто. Остается одно место, в которое ушлая баба может ценности спрятать. Но я сам, к примеру, в это место не полезу. Закон запрещает, да и противно. Пришлось из соседней поликлиники гинеколога вызывать. Профессионалка, она и есть профессионалка. Ростом два вершка, а с этой профурой за пять минут расправилась. Ноги ей силой раскорячила и деньги, свернутые в трубочку, из причинного места извлекла. Составили мы, значит, все надлежащие документы, преступницу в следственный изолятор поместили, а деньги до суда в сейф. Как вещественное доказательство. Вид у них такой, что трогать боязно. Кошелек бракованный оказался, с сильной протечкой. Но вот проходит какое-то время, и оперативные деньги кончаются. Вроде как у нас сегодня. До получки еще, страшно сказать, месяц. А агентура даром работать отказывается. Развращена мелкими подачками. При каждой встрече требует минимум на бутылку с закуской. Что нам оставалось делать? Правильно, пренебречь принципами и эле-

ментарной брезгливостью. Каждый день я открывал сейф, надевал резиновые перчатки и пинцетом изымал из свертка нужную сумму. Денег мы старались не касаться и тут же заворачивали их в обрывок газеты. Так целый месяц и продержались. Потом с получки все до единого рубля возместили, причем купюрами аналогичного достоинства. А теперь мораль сей басни: вещественные доказательства, даже извлеченные из срамного места, могут иногда принести неоценимую пользу.

Выслушав эту поучительную историю, Цимбаларь отнюдь не воспрянул духом.

— Вы, похоже, предлагаете мне переквалифицироваться в гинеколога и устроить массовую проверку этих самых срамных мест? — холодно осведомился он. — Вдруг в одном из них кто-то забыл сверток с деньгами?

— Саша, срамное место попало в мой рассказ совершенно случайно, — вполне дружелюбно пояснил Кондаков. — Я речь про вещдоки вел. Сходи к экспертам, у них фальшивых денег мешки накопились. За пузырь они тебе хоть сто тысяч на время уступят. Ведь наш начфин слепой, подорвал зрение, составляя балансы. Он фальшивую банкноту от настоящей ни за что не отличит. Вот и перезимуем.

— Это, конечно, мысль. — Цимбаларь слегка задумался. — Хоть и связанная с определенным риском.

— А кто сказал, что наша работа не связана с определенным риском. Про это даже в песнях поется. «Наша служба и опасна и трудна...» — безбожно перевирая мотив, затянул Кондаков.

— Перерасход средств — это одно, а сознательный обман ревизора, да еще связанный с фальшивыми деньгами, совсем другое, — сомнения разъедали душу Цимбаларя, как денатурат разъедает печень. — Тут сроком пахнет.

— Не тужи. Оформим тебе явку с повинной, добровольное сотрудничество с органами следствия тоже зачтется, срок получишь условный и сразу пойдешь под амнистию, — заверил его старший товарищ. — Но это в самом крайнем случае. Если у начфина вдруг зрение на сто процентов восстановится. Так что рискнуть стоит.

— Ладно, ребята, не все так плачевно, как это кажется. — Донцов решил, что его невинная на первый взгляд шутка зашла слишком далеко. — Каюсь, я немного перегнул. Про то, что с расходованием оперативных денег у нас не все в порядке, начальник действительно знает. Но ревизии бояться не надо. Вероятность ее ниже колена. Вся бухгалтерия в запарке, годовой от-

чет выправляют. Если же ревизия в самом деле случится, предъявите вот эти бабки. — Он честно разделил деньги, только что полученные в кассе отдела, на две примерно равные части. — Только учтите, я вам их не дарю, а лишь уступаю во временное пользование.

— Мог бы и не предупреждать, — обрадовался Цимбаларь. — С ближайшей получки обязательно вернем. Только откуда у тебя столько? Вчера ведь на сигареты не хватало. Взятку отхватил?

— Ага, но в завуалированной форме. — Донцов стопкой сложил перед собой папки с незавершенными делами. — Деньги мои вы поделили, а теперь делите мое следственное хозяйство. Только Ярошевича не забудьте.

(Такую фамилию носил четвертый следователь, сосед Цимбаларя по кабинету, сегодня опоздавший на работу.)

— Ты что, серьезно? — чуть ли не хором воскликнули оба коллеги.

— Абсолютно серьезно. С завтрашнего дня ухожу в свободный поиск.

— Вот так сюрприз... — Кондаков стал перебирать папки, выискивая себе какое-нибудь дело попроще. — Ты ведь вроде собирался на следующей неделе в больницу ложиться?

— Лягу. Но сначала надо кое-какие вопросы утрясти.

— Если нужна будет помощь, обращайся, — великодушно предложил Цимбаларь.

— Как-нибудь сам справлюсь... Вы мне лучше вот что скажите. Кто знает клинику для душевнобольных, что на улице Сухой расположена?

— Ну я знаю, — сказал Цимбаларь после некоторой заминки. — Частное заведение. Там иностранцев за денежки лечат. А нашего брата держат для опытов. Вместо обезьян.

— Спасибо за информацию. Но это общие слова. Хотелось бы услышать что-нибудь конкретное.

— Конкретного ничего нет. Посторонним туда лучше не соваться. Охрана такая, что круче ее во всем городе нет. Там если что и случится, никто не узнает. Фамилия у главврача странная... Не то Котов, не то Бегемотов.

— Котяра его фамилия, — уточнил Кондаков. — Только ты, Семеныч, с ним лучше не связывайся. Он в самые высокие кабинеты вхож. С министрами за руку. Наверное, лечит их от разжижения мозгов и хронического дебилизма.

— Не собираюсь я с ним связываться, — ответил Донцов. — С чего это вы взяли?

— Мало ли что, — пожал плечами Кондаков. — А если у тебя с психикой проблемы, я могу адресок одной бабки дать. Лечит исключительно травами и заговорами. Одного моего знакомого от шизофрении излечила. Он себя африканским львом воображал. Рычал и даже кусался. А теперь, и то изредка, кошечкой мяукает и ко всем ластится. Ремиссия налицо.

— Вам, Петр Фомич, самим бы надо подлечиться, — ляпнул зловредный Цимбаларь. — А то мните себя генералом, хотя в натуре даже на прапорщика не тянете.

— Типун тебе на язык! — немедленно отреагировал Кондаков. — Почему же ты, такой умник, ко мне, тупому прапорщику, за советами все время обращаешься?

— А очень просто. Я внимательно слушаю вас и все делаю наоборот. Иногда очень здорово получается.

Кондаков уже открыл было щербатый рот, чтобы достойно ответить на эту дерзость, но тут запикал внутренний телефон, и он по праву старшего взял трубку.

Как и обычно в таких случаях, Кондаков с достоинством произнес: «Рассказывайте», — но тут же спохватился и перешел совсем на другой тон, который Цимбаларь называл «подобострастно-казенным»:

— Подполковник Кондаков слушает... Да... Уже знаем... Дела распределили... Конечно, по справедливости... Нет, что вы, тянуть не будем... Где он сам? Уже ушел. Попрощался со всеми и ушел... Хорошо... Хорошо... Нет, на пенсию не собираюсь. Есть еще порох в пороховницах... Будет исполнено... И вам также всего хорошего.

Вернув трубку на место, он многозначительно ткнул пальцем в потолок.

— Шеф тобой интересовался. Ушел уже, спрашивает, или с вами чаи гоняет. Если ты от него какое-то задание получил, то здесь не болтайся. Начальники любят, когда по их первому слову люди хоть в огонь, хоть в воду сломя голову бросались. Как собака за подачкой.

— Сломя голову у меня уже не получится, — сказал Донцов. — Но в чем-то вы правы. Надо побыстрее ковылять отсюда... Думаю, что скоро увидимся. Буду вам регулярно позванивать.

Время для начала расследования было не самое удобное — приближался обеденный перерыв. Сейчас каждый уважающий себя чиновник отправится в ближайшее кафе или просто за-

прется на целый час в своем кабинете. Ищи тогда этого самого Шкурдюка, который, судя по всему, исполняет роль провожатого для тех, кто допущен к осмотру маленького тихого ада, официально именуемого психоневрологической клиникой, а в просторечии — дурдомом. Так сказать, Вергилий местного масштаба.

С другой стороны, клиника всемогущего профессора Котяры — это все же лечебное заведение, а не какая-нибудь жилищно-эксплуатационная контора. Ее персонал обязан быть все время на стреме. Как пожарные или менты. Если повезет, можно даже застать сотрудников, дежуривших в ночь убийства.

Так думал майор Донцов, стоя с поднятой рукой у края тротуара (при приближении каждого очередного автомобиля приходилось проворно отскакивать назад, иначе вылетающая из-под его колес смесь грязи, соли и ледяной воды грозила нанести гардеробу старшего следователя невосполнимый ущерб).

Первой на его красноречивый призыв отреагировала ухоженная казенная «Волга» с министерскими номерами — как видно, водитель подхалтуривал, пока шеф томился на каком-то служебном совещании.

О цене сговорились быстро. Несмотря на непогоду, желающих подработать было куда больше, чем желающих прокатиться с комфортом.

— Курить можно? — деликатно осведомился водитель.

— Кури, — разрешил Донцов. — Только музыку выключи.

— Не любите современную?

— Я шум не люблю.

— Зачем тогда в органы пошли работать? — все время косясь на Донцова, водитель тем не менее успевал ловко маневрировать в потоке машин. — Пасечником бы устроились или лесником...

— Разве место работы у меня на лбу написано? Или мы уже встречались? — Совершенно заурядная физиономия водителя не пробуждала в Донцове никаких воспоминаний.

— Встречались, — сказано это было таким тоном, словно водитель сознавался в каком-то тяжком грехе.

— Почему так грустно?

— Воспоминание грустное... Нет, к вам, гражданин начальник, я никаких претензий не имею. Наоборот. Если бы не тот случай, я, наверное, уже давно землю парил. А так появилась возможность подумать.

— Срок мотал?

— Нет. Год условно дали. Но в следственном изоляторе парашу понюхал... Вам на Сухой какой номер нужен?

— К клинике подъезжай. Вон проходная с красной крышей.

— На этой стороне остановка запрещена... Ну ладно, нарушим. Ведь не гумозника какого-нибудь везу.

— Тебя как зовут? — рассчитываясь с водителем, спросил Донцов.

— Толик, — ответил тот и тут же поправился: — Анатолий Сургуч.

— Сургуч... — хмыкнул Донцов. — Зачем мне твою кликуху знать.

— Это не кликуха вовсе, а моя законная фамилия. Забыли разве?

— Каюсь, забыл. Времени-то, надо полагать, порядочно прошло.

— Почти десять лет.

— Вот видишь... У меня к тебе, Толик, есть одна просьба. Вернее, предложение. Ты в рабочее время свободен бываешь?

— Да почти всегда. Мой барин за целый день от силы два-три рейса делает. Кабинетный работник.

— Покатай меня с недельку. По разумным расценкам, конечно. Дел, понимаешь, много скопилось, и все в разных концах города.

— На служебной не проще будет?

— Было бы проще, я бы к тебе не обращался.

— Заметано, — согласился Толик Сургуч. — Вот вам номер моего мобильника. Если свободен буду, всегда подскочу.

Еще одна визитка пополнила бумажник Донцова.

Клиника была окружена старинной оградой из чугунного литья. Хотя почти все его элементы представляли собой затейливые растительные узоры, по верху шел частокол острейших пик, вид которых отбивал всякую охоту покушаться на неприкосновенность этой ограды.

Кроме ограды и густых парковых насаждений, территорию клиники охраняли еще и молодые люди, которых с медицинскими работниками роднило, наверное, только одно качество — отсутствие страха перед кровью. Чужой, естественно.

Понимая, что здесь на дурика не проскочишь, Донцов представился по всей форме, однако его служебное удостоверение не произвело на охрану никакого впечатления.

— Ждите, — сказали ему с холодной корректностью. — Нужный вам человек пока занят.

Впрочем, это была хорошая весть. Алексей Игнатьевич Шкурдюк обретался где-то неподалеку, хотя мог бы и смыться, нарушив планы Донцова.

Ждать пришлось в крохотной, похожей на аквариум комнатке со стеклянными стенами. За полчаса, впустую потраченные на проходной, в клинику не наведался ни единый посетитель, а к воротам не подъехала ни одна машина.

Все это невольно настораживало, тем более что охранники соблюдали гробовое молчание и если уж общались между собой, то исключительно жестами, словно разведчики, находящиеся на вражеской территории.

Однако появление заместителя врача по общим вопросам сразу разрядило гнетущую обстановку. К проходной он не пришел, а буквально примчался, как будто бы его здесь ожидал не суровый и въедливый следователь, а по крайней мере невеста.

— Ох, извините, — просипел он голосом, не то простуженным, не то пропитым. — Я вас с самого утра поджидал, а потом немного отвлекся. Заботы, знаете ли. Все на моих плечах лежит, начиная от туалетной бумаги и кончая транспортом.

Донцов в корректной форме выразил надежду, что столь ответственная работа, наверное, и оценивается по достоинству.

— Куда там! — Шкурдюк резко взмахнул рукой, словно отметая все домыслы собеседника. — Гроши! Я на предыдущей работе куда больше получал. По тысяче баксов в месяц выходило.

— И где же в нынешние времена платят такие деньги? — рассеянно поинтересовался Донцов.

— Представьте себе, в разъездной концертной бригаде. Я по своим склонностям вообще-то администратор. Таковым в штатном расписании и числился. Но если надо, выходил на сцену.

— В каких же ролях? — Донцов окинул администратора оценивающим взглядом и пришел к выводу, что тому лучше всего подошел бы шекспировский репертуар: пьяница Фальстаф или проходимец Яго.

— Какие там роли! Разве мы драмтеатр? Разъездная бригада — это что-то среднее между эстрадой и цирком. Я и подпевал когда надо, и подтанцовывал, и скетчи рассказывал, и даже фокусы научился демонстрировать.

— Почему тогда на медицину переключились?

— Голос сорвал. — Он ладонью похлопал себя по горлу, словно предлагая выпить. — С таким фальцетом в артистических кругах делать нечего. Пришлось переквалифицироваться.

— А почему выбрали именно психиатрическую клинику?

— Случайно. Подлечивался здесь после гастролей, вот и остался. Вы, стражи порядка, гибнете от бандитских пуль, а мы, артисты, от непонимания публики.

Никто из сослуживцев Донцова не погиб от пресловутой бандитской пули (от лихачества за рулем и от водки — другое дело), тем не менее он сочувственно кивнул и спросил, оглядываясь по сторонам:

— Нравится здесь?

— А почему нет! Публика тихая. Искусством не интересуются. Спиртными напитками не злоупотребляют. К администрации относятся с уважением. На некоторых и не скажешь даже, что они больные.

«Надо будет его через информационно-поисковый центр проверить, — подумал Донцов. — Очень уж шустрый. И глаза стеклянные, как у наркомана со стажем. Артист, одним словом...»

Беседуя подобным образом, они приблизились к клинике, состоявшей из комплекса зданий, на уровне второго этажа соединенных между собой застекленными галереями.

Первое здание, фасад которого был виден с улицы, являлось образчиком дореволюционного модерна, о чем свидетельствовали нарочито причудливые архитектурные формы, асимметричные оконные проемы и крыша, похожая на шатер хана Кончака.

Далее следовал выродок социалистического псевдоклассицизма, щедро украшенный монументальным порталом, помпезными колоннами и многочисленными барельефами, на которых чего только не было: и лавровые венки, и государственные символы, и обвивающие рюмку змеи, и скрещенные медицинские инструменты.

Этот эклектический триумвират завершала шестиэтажная коробка со стенами, щербатыми от осыпавшейся облицовочной плитки, с плоской крышей и ржавой пожарной лестницей — унылый памятник безвременья и застоя.

Каждое последующее здание объемом почти вдвое превосходило предыдущее, и их совместное созерцание наводило на грустную мысль о том, что по мере перехода от одной исторической

эпохи к другой количество психов в нашей стране неуклонно возрастает.

— В каком корпусе это случилось? — принципиально избегая слова «убийство», спросил Донцов.

— Вон в том, самом последнем. — Шкурдюк пальцем указал на шестиэтажный параллелепипед. — Пятый этаж, третье окно слева.

Указанное окно ничем не отличалось от полусотни точно таких же окон-близнецов — голубенькие шторы, стандартная рама с облупившейся краской, простая, без всяких прибамбасов решетка.

Имелись, правда, и кое-какие индивидуальные особенности, которые не могли не заинтересовать Донцова: проходящая поблизости пожарная лестница и довольно широкий карниз, огибавший периметр здания как раз между четвертым и пятым этажами.

Взобравшись вверх по лестнице (или спустившись по ней с крыши), можно было перелезть на карниз и по нему добраться до окна. Но это выглядело просто только в теории. Стену от лестницы отделяли полтора метра пустоты, а идя по карнизу, пришлось бы, как говорится, держаться за воздух.

На деле такой головокружительный трюк мог исполнить лишь опытный каскадер. Или циркач.

— Вам по проволоке не случалось ходить? — спросил Донцов у Шкурдюка.

— Никогда, — категорически заявил тот. — У меня даже на стремянке голова кружится. Вестибулярный аппарат пошаливает.

«По причине увлечения самогонным аппаратом», — хотел было пошутить Донцов, но сдержался.

Осматривать пожарную лестницу и карниз не имело никакого смысла. Если три дня назад там и были какие-нибудь следы, то ливший все это время дождь давно их уничтожил. В наставлениях по криминалистике правильно сказано — место преступления желательно осматривать непосредственно после преступления.

— Почему у вас почти все форточки открыты? — Донцов присмотрелся к окнам клиники повнимательнее.

— Погода стоит теплая, а городская котельная жарит, как в самые лютые морозы. К батареям не притронуться. Вот пациенты форточки и открывают. Чтобы не задохнуться.

— Тем не менее один ваш пациент задохнулся. Правда, по

совсем другой причине... Кстати, нужно установить, была ли в ту ночь открыта его форточка.

— Так это, наверное, отражено в протоколе, который ваши коллеги составили, — сказал Шкурдюк. — Они там целый час что-то писали.

— Вы когда новых пациентов к себе принимаете, анализам чужой больницы доверяете? Вижу, что нет. Все по новой переделываете. Вот так примерно и у нас. Надеяться можно только на собственные глаза и уши.

— Хорошо, — произнес Шкурдюк без особого энтузиазма. — Лично опрошу всех, кто накануне посещал палату. Врача, медсестру, техничку... Хотя при чем здесь форточка, если на окне решетка...

— А при чем здесь ваши замечания, если следствие поручено вести мне?

— Извините дурака! — спохватился Шкурдюк. — Ляпнул, не подумав.

— Ничего страшного... Сами-то вы что по этому поводу думаете?

— Мистика! — Шкурдюк сделал страшные глаза. — Осмыслению этот случай не поддается. Но лично я считаю, что без инопланетян здесь не обошлось. Или без астральных созданий.

— Неужели вы в эту чепуху верите?

— И не я один! Для чего тогда, спрашивается, ваш отдел создан?

— Могу ответить. Во всем, так сказать, массиве преступлений есть пять процентов, которые не поддаются раскрытию с помощью традиционных методов. Вот ими нам и приходится заниматься. Однако версии про инопланетян у нас заведомо не рассматриваются... Между прочим, а не вас ли я видел на днях в нашем отделе?

Вместо того чтобы сразу ответить на этот вполне невинный вопрос, Шкурдюк вдруг засвистел в два пальца и заулюлюкал. Целью этой психической атаки был здоровенный угольно-черный ворон, только что усевшийся на голую ветку ближайшего дерева.

— Достали меня эти твари! — Шкурдюк наклонился, отыскивая на земле какой-нибудь метательный снаряд. — Второй год с ними борюсь, и все без толку. Недавно одному генералу прямо на фуражку нагадили.

Едва только Шкурдюк ухватил подходящий камень, как во-

рон сорвался с ветки и с хриплым карканьем улетел в глубь парка.

Заместитель главного врача по общим вопросам сразу успокоился, но Донцов свой последний вопрос повторять не стал.

ГЛАВА 4

КЛИНИКА ИЗНУТРИ

— Может, пройдем вовнутрь, — предложил Шкурдюк, легкая куртка которого не могла служить защитой от промозглого ветра.

— Сначала закончим внешний осмотр, — ответил Донцов. — Чтобы больше сюда не возвращаться... Как называется этот корпус? — Он кивнул на шестиэтажку, в которой некто, пока неизвестный, лишил жизни несчастного паралитика.

— Что-то я вас не совсем понял... — Шкурдюк слегка растерялся.

— На проходной нашего ведомственного госпиталя висит схема, где обозначены все здания. Например, кардиологический корпус, урологический корпус, морг и так далее. Здесь я такой схемы не видел. А в нашем деле необходима конкретность.

— Теперь понял. — Шкурдюк увял, расстроенный своей собственной недогадливостью. — У нас так, увы, не заведено. Да и госпиталь с клиникой нельзя сравнивать. Разные масштабы. У нас, как видите, все компактно. Называйте это здание просто «третий корпус».

— Пусть будет по-вашему... Теперь, гражданин Шкурдюк, я задаю вам официальный вопрос. Каким путем можно проникнуть в третий корпус? Имеется в виду ночное время.

— Только через центральный вход. Но там всегда дежурит охранник.

— А с той стороны? — Донцов перевел взгляд на застекленную галерею.

— Там имеется раздвижная решетка. На ночь она запирается на навесной замок.

— Разве подобрать к нему ключи — проблема?

— Думаю, что не проблема. Но когда сработает сигнализация.

— Понятно... Все окна первого этажа оборудованы решетками?

— Все, кроме столовой, — упреждая очередной вопрос сле-

дователя, Шкурдюк торопливо добавил: — Это служебная столовая, для персонала. Пациенты там не бывают. Понимаете ли, решетки у нас ставятся не против тех, кто хочет проникнуть вовнутрь, а против тех, кто хочет выйти наружу.

Для пущей наглядности он даже извернулся всем телом, изображая человека, преодолевающего некую невидимую преграду.

— Но, надеюсь, столовая оснащена сигнализацией? — Странно, но здесь, на холоде, Донцов чувствовал себя значительно лучше, чем пару часов назад в теплом кабинете.

— Непременно! — заверил его Шкурдюк. — Кучу денег на нее угрохали.

Ворон, скорее всего тот самый, тем временем вернулся, но уселся подальше от людей, на крышку мусорного контейнера.

Кряжистый сутуловатый мужчина, до этого соскребавший со стены какую-то непотребную мазню, достал из кармана ломоть черного хлеба и швырнул его птице. Заместителю главного врача такая филантропия очень не понравилась.

— Аскольд Тихонович, вы опять за свое! Я неоднократно запрещал вам кормить этих стервятников! — хотя полноценный крик у Шкурдюка не получался, человек со скребком должен был обязательно его услышать.

Однако он никак не отреагировал на столь категоричное замечание и возобновил свою монотонную деятельность. Ворон, злобно каркнув на Шкурдюка, подхватил хлеб и скрылся с ним в неизвестном направлении.

— Кто это? — осведомился Донцов.

— Лукошников. — Шкурдюк болезненно поморщился. — Аскольд Тихонович. Наш дворник.

— А что он делает сейчас?

— Стену чистит, разве не видите. Какой-то мудак из баллончика размалевал. Растворителем пробовали — не берет.

— Интересно...

— Что тут интересного! В нашем доме все подъезды тем же манером испоганены. Убивать надо таких живописцев.

С этой плодотворной мыслью Донцов в принципе был согласен, но сейчас его занимало совсем другое — хулиганская мазня, на текущий момент уже почти уничтоженная, находилась прямо под окном злополучной палаты.

— Позовите сюда дворника, — попросил он.

— Понимаете ли... — замялся Шкурдюк. — Он слегка со странностями. Давайте лучше сами к нему подойдем.

— Давайте, коли так. Он случайно не из ваших бывших пациентов?

— Нет. Пенсионер. Подрабатывает здесь на полставки. Раньше, говорят, в немалых чинах ходил. Привык показывать характер.

Было заметно, что заместитель главного врача немного побаивается своего дворника.

— Здравствуйте, — сказал Донцов, подойдя к Лукошникову поближе. — Бог в помощь.

— Лучше бы сами помогли, — не оборачиваясь, ответил тот (голос был скрипучим, тон — недоброжелательным).

— Скажите, что здесь раньше было нарисовано?

— А я, думаете, понимаю? Круги какие-то, загогулины. Лучше у молодежи спросите. Или у того, кто малевал.

— И как давно эти художества появились?

— Давно, — усиленно работая скребком, ответил дворник. — Еще с лета.

— Я это безобразие сразу хотел ликвидировать, — вмешался в разговор Шкурдюк. — Но Иван Сидорович почему-то не позволил.

— Кто такой Иван Сидорович? — поинтересовался Донцов.

— Наш главврач. Профессор Котяра.

— А сегодня, следовательно, разрешил.

— Более того, потребовал в категорической форме!

— Любопытно... Но меня, в общем-то, другое интересует. Взгляните, пожалуйста, на пожарную лестницу. — Донцов обратился к дворнику.

— Взглянул, что дальше? — Тот с видимой неохотой прервал свою работу.

— Нижняя ступенька отстоит от поверхности земли примерно на три метра. Как же на эту лестницу забраться?

— Зачем? По ней спускаться положено. Эвакуироваться то есть.

— Ну а все же? — настаивал Донцов.

— Становись ко мне на горб, вот и дотянешься. — Дворник опять налег на скребок.

— А если мусорный контейнер подтащить? Не так уж и далеко.

— Он доверху набит. С места не сдвинешь.

— И три дня назад был набит?

— И три, и четыре, и пять. Мусоровозка еще в прошлую пятницу обещалась приехать. Сачкуют коммунальщики.

Одет Лукошников был довольно странно: плюгавая шапка-ушанка, ватная телогрейка, ватные штаны того же тюремного покроя, валенки с галошами. Где-нибудь в районе Воркуты такой наряд и мог бы считаться шиком, но для этой погоды и этого города никак не подходил.

Удивляла и внешность дворника. Лицо древнего старца, темное, как дубовая кора, сплошь иссеченное глубокими морщинами, с бровями, похожими на клочья серой пакли и вывернутыми вурдалачьими губами, совсем не сочеталось с могучим, сохранившим завидную подвижность телом. Глядя в это лицо, хотелось спросить: «Аскольд, где брат твой Дир?»

— Когда здесь закончите, в гараже приберете, — распорядился Шкурдюк. — Там кто-то смазочное масло разлил.

— Когда я здесь закончу, то к себе домой пойду. Чай с вареньем пить, — лениво процедил дворник. — Забыли разве, что мой рабочий день в два часа кончается.

Шкурдюк стерпел эту дерзость и как ни в чем не бывало обратился к Донцову:

— Еще вопросы к Аскольду Тихоновичу имеются?

Вопросы, конечно, имелись, а именно: сколько лет стукнуло Аскольду Тихоновичу и где он приобрел свои замашки короля в изгнании. Однако климатические условия к доверительному разговору никак не располагали, и Донцов решил, что проще будет получить эти сведения в отделе кадров клиники. Поэтому он ответил Шкурдюку:

— Пока нет.

— Внешний осмотр, я полагаю, окончен? — с надеждой в голосе поинтересовался тот.

— Предварительный окончен. Если возникнет необходимость, позже произведем и детальный. А теперь проводите меня вовнутрь.

Уже входя в двери «третьего корпуса», услужливо распахнутые Шкурдюком, Донцов помимо воли оглянулся.

Держа скребок на манер меча, Лукошников смотрел им вслед тяжелым испытующим взглядом. В этом взгляде читалась давняя нелюбовь к людям, что, в общем-то, объясняло его противоестественное пристрастие к таким несимпатичным птицам, как вороны.

«Действительно, странный тип, — подумал Донцов. — Или они здесь, в психиатрической клинике, все такие. Как говорится, среда влияет».

Для того чтобы попасть из вестибюля на лестницу, требовалось преодолеть никелированный турникет, но, по мнению Донцова, которое он не преминул высказать вслух, особой нужды в этом техническом устройстве, более свойственном военным и транспортным объектам, чем медицинскому учреждению, не было — стоявший на вахте охранник мог перекрыть своим необъятным брюхом даже ворота феодального замка.

Толстяк в камуфляже, видимо, уже осведомленный о визите следователя, подобострастно ухмыльнулся:

— Борьбой сумо занимаюсь. Весьма перспективный вид спорта.

— И как успехи?

— Пока не очень, — признался охранник.

— Что же так?

— Веса во мне еще маловато.

— Ничего, вес дело наживное... А скажите, это не вы дежурили в ночь с пятнадцатое на шестнадцатое?

Вместо охранника ответил Шкурдюк:

— Нет, не он. Тот, кто дежурил, вас наверху ожидает. Я его с самого утра вызвал.

— Похвальная предусмотрительность, — вынужден был признать Донцов.

— На том и стоим. — Шкурдюк от похвалы следователя буквально расцвел. — Все заранее предусмотреть — моя обязанность. Я заодно и дежурного врача вызвал, и медсестру.

— Благодарствую. Это, конечно, сэкономит мне какое-то время. Но сначала я хотел бы заглянуть в палату.

— Какие вопросы! Но, может быть, сначала перекусим? Время подходящее, да и вид у вас какой-то...— Шкурдюк умолк, не докончив фразы.

— Какой? Голодный? — пришел ему на помощь Донцов.

— Я бы сказал — недокормленный... — Шкурдюк потупился.

— По нынешним временам это комплимент. Все на диетах сидят. Кроме, конечно, борцов сумо... А за предложение спасибо. Но сначала покончим с делами.

Палата, в которой произошло загадочное убийство, была самой что ни на есть обыкновенной — дверь, окно, койка на колесиках, прикроватная тумбочка, стенной шкаф, лампа дневного

света. К нехарактерным деталям можно было отнести вставленное в дверь толстое стекло, решетку на окне и не совсем обычного вида стол, на котором, судя по всему, прежде располагался аппарат искусственной вентиляции легких.

Постель была заправлена свежим бельем, шкаф и тумбочка опустошены, а сама палата не то что вымыта, а буквально выскоблена.

— Тут эта штуковина стояла? — Донцов кончиками пальцев постучал по столу.

— Совершенно верно, — подтвердил Шкурдюк.

— Почему убрали?

— Другому пациенту срочно понадобилась. Такие аппараты у нас в дефиците. А шланг ваши коллеги забрали. На экспертизу.

— Он был перерезан? Вы сами это видели?

— Не то чтобы перерезан, а скорее перебит. Чем-то тяжелым, но достаточно тупым. Вроде фомки. Так следователь сказал, который здесь был.

— Зачем было вообще этот шланг трогать? Не проще было просто выключить аппарат?

— Конечно, проще! Мы сами удивляемся.

На осмотр палаты ушло не больше четверти часа. Как и предполагал Донцов, никаких следов проникновения на дверях и окне не обнаружилось. Оставалось предположить, что убийца прошел в палату сквозь стену.

Конечно, полагалось бы исследовать механизм замка, но скрупулезная экспертиза, включающая анализ микрочастиц, займет неделю, а времени в обрез.

Да и при чем здесь замок! Интуиция, столь же обязательная для следователя, как и музыкальный слух для композитора, подсказывала Донцову, что разгадка убийства кроется не в неодушевленных предметах, а в живых людях, которых он уже видел здесь или скоро увидит.

Как бы угадав его мысли, Шкурдюк извиняющимся тоном произнес:

— Пора бы свидетелями заняться. С утра не евши, не пивши. Извелись. Потом отгулы с меня будут требовать.

— Ничего, я их долго не задержу, — сказал Донцов.

Люди, вызванные на допрос, сидели рядком на стульях возле кабинета Шкурдюка, и было их трое — лохматый парень богемного вида, наверное врач, стриженный наголо здоровяк, скорее всего охранник, и немолодая зареванная женщина, ясное дело — медсестра, заранее раскаивающаяся в своих грехах.

Однако, когда дело дошло до представления свидетелей, все оказалось несколько иначе. Волосатик был охранником, в свободное время увлекающимся буддийской философией, здоровяк — врачом, к тому же ведущим специалистом, медсестра плакала отнюдь не от угрызений совести, а от зубной боли, поскольку внезапный вызов на допрос не позволил ей сходить к стоматологу.

Само собой, что Донцов сначала занялся женщиной.

В клинике она работала уже давно, профессора Котяру знала еще простым ординатором, а ныне дорабатывала последний перед пенсией год. Убиенный пациент, прозывавшийся, кстати говоря, Олегом Наметкиным (это были первые сведения, которые Донцов счел нужным занести в свою записную книжку), поступил в клинику примерно год назад. Первое время профессор с ним очень носился, а потом остыл, тем более что Наметкин, и до того почти полностью парализованный, впал в коматозное состояние.

На дежурство она заступила в двенадцать часов пятнадцатого числа, поставила Наметкину капельницу с глюкозой, опорожнила мочеприемник. Спустя примерно час, когда бутылочка с глюкозой опустела, она заперла палату, а ключ сдала на вахту. Больной в то время находился в своем обычном состоянии, аппарат искусственной вентиляции легких работал нормально, шланг был цел.

— Скажите, у вас все палаты запираются на ночь? — перебил ее Донцов.

— Нет, только те, которые внесены в особый список, составленный лично главврачом, — ответила медсестра.

Далее она в деталях поведала о том, как прошло то памятное дежурство. В коридор, где находится палата Наметкина, никто не заходил, в этом можно не сомневаться — он начинается у поста медсестры, миновать который невозможно, а заканчивается тупиком.

Ночью сестра не спала, хоть верьте, хоть не верьте, зуб уже тогда давал о себе знать, а обезболивающее не помогало. Как и положено, в течение смены она несколько раз заглянула в палату через застекленную дверь, но тусклый свет не позволял рассмотреть такие детали, как поврежденный шланг. Наметкин для своего состояния выглядел вполне прилично. Некоторые могут воспринять эти слова превратно, но иногда ей казалось, что пациент только симулирует кому, а на самом деле все слышит, видит и понимает.

Утром палату открыла санитарка, которая собиралась делать уборку, и сразу подняла крик. Наметкин был мертв уже несколько часов и даже успел остыть.

Относительно того, была ли в палате открыта форточка, сестра сказать ничего не может, всякую мелочь не упомнишь. Никакого подозрительного шума она не слышала, да и услышать не могла — пациенты храпят, как кони, лифт грохочет даже ночью, сосед Наметкина шизофреник Касымбеков, возомнивший себя эмиром Тамерланом, буянил до самого утра.

Своей вины в случившемся она не видит, добавить по существу дела ничего не может, но предупреждает гражданина следователя, что никакого беззакония не стерпит, козлом отпущения становиться не желает и в случае нужды дойдет не то что до министра, а до самого президента.

— Никто и не собирается делать из вас козла отпущения, — попытался успокоить ее Донцов. — Не волнуйтесь и вплотную займитесь лечением зуба. А я постараюсь вас впредь не беспокоить. Всего вам наилучшего и пригласите, пожалуйста, сюда охранника.

— А почему не врача? — удивился Шкурдюк, присутствующий на допросе на правах хозяина кабинета.

— Врача оставим на закуску. К нему у меня больше всего вопросов. А вы бы пока лучше покормили золотых рыбок. — Донцов кивнул на вместительный аквариум, являвшийся единственным украшением кабинета. — Не хочу никого пугать, но любая посторонняя реплика, произнесенная во время допроса, может быть истолкована как давление на следствие, что влечет за собой уголовную ответственность.

— Слушаю и повинуюсь. — Шкурдюк приложил палец к губам. — Отныне я буду нем, как эти рыбки.

«В идеальном варианте — еще и глух», — подумал Донцов.

Охранник, хоть и был последователем буддизма, религии сопливой и умиротворенной, вел себя довольно нервно и сразу заявил, что ничего полезного для следствия сообщить не может. Вечером ему сдала ключ медсестра, а утром забрала техничка, о чем имеются записи в соответствующем журнале. Об убийстве он узнал только за полчаса до окончания дежурства, когда в клинику прибыла милиция. В течение ночи никаких происшествий не случилось и сигнализация не сработала, хотя в плохую погоду такое случается.

Сам он на пятый этаж не поднимался, покойного Олега Наметкина никогда не видел, собственного мнения о причинах

убийства не имеет, а в факте ухода из жизни, пусть даже насильственном, не видит ничего трагического, поскольку это всего лишь ступенька на пути освобождения от сансары, то есть бесконечной череды перерождений, и достижения нирваны, состояния абсолютного и нерушимого покоя.

— Следовательно, вы не видите в человеческой жизни никакой особой ценности? — поинтересовался Донцов.

— За что же ее ценить! — воскликнул охранник-буддист. — Каждая очередная жизнь есть лишь наказание за грехи предыдущей жизни. Блаженство может быть достигнуто только при условии перехода из материального мира в божественную пустоту. Я мог бы развивать эту мысль и дальше, но концепция абсолютного небытия чрезвычайно трудна для понимания постороннего человека.

— Где это вы здесь видите посторонних людей? — произнес Донцов с укоризной. — Среди наиболее продвинутых адептов буддизма существует мнение, что каждое живое существо во Вселенной изначально является Буддой и перманентно пребывает в состоянии нирваны. Лишь наше личное неведение и душевная слепота мешают заметить это. Просветление может наступить в любой момент, для этого достаточно сломать привычные стереотипы бытия. Таким образом, все мы, здесь присутствующие, включая золотых рыбок, мышей и тараканов, являемся частичками божественной пустоты, существами куда более близкими друг другу, чем родные братья. Я вижу, что вы желаете возразить, но к чему эти напрасные споры в преддверии вечности. А сейчас можете быть свободны и не забудьте пригласить следующего свидетеля.

Когда несколько озадаченный охранник покинул кабинет, Шкурдюк осторожно поинтересовался:

— А вы того... тоже буддизмом увлекаетесь?

— Нет, — ответил Донцов. — По долгу службы приходилось сталкиваться. Полное отрицание реального существования может, знаете ли, завести далеко за рамки, предусмотренные Уголовным кодексом.

Врач, появившийся с некоторым запозданием (видимо, выпытывал у охранника подробности допроса), был спокоен или очень умело таковым притворялся. Впрочем, с какой стати волноваться человеку, не чувствующему за собой никакой вины?

Сразу выяснилось, что в ту злополучную ночь он оказался на дежурстве совершенно случайно — пришлось подменить товарища, у которого возникли какие-то проблемы личного порядка.

День выдался очень хлопотный, пациенты вели себя чрезмерно возбужденно, наверное, погода сказывалась, поэтому он очень устал и где-то около полуночи уснул на диване в приемном покое. Дежурным врачам это, кстати, не возбраняется — если случится что-то чрезвычайное, медсестра обязательно разбудит. Медсестра в больнице то же самое, что сержант в армии — главная надежда и опора.

При сдаче и получении ключей он не присутствовал и о том, покидал ли охранник свой пост, ничего определенного сказать не может. В шесть утра медсестра, дежурившая на пятом этаже, срочно вызвала его наверх и там сообщила о случившемся. Войдя в палату, он констатировал смерть Наметкина, причина которой была очевидна — порции воздуха одна за другой с шипением вырывались из поврежденного шланга.

По инструкции он обязан был первым делом доложить о происшествии главному врачу, а затем действовать согласно его указаниям. Но, поскольку профессор Котяра находился в отъезде, не оставалось ничего другого, как позвонить в милицию.

Лично он не сомневается, что это заранее спланированное и умело осуществленное убийство, хотя, честно говоря, мотива для него не видит. Наметкин был человеком совершенно заурядным, давно утратил все связи с внешним миром и в силу своего физического состояния мог представлять интерес только для психиатров, поскольку страдал не только параличом травматического происхождения, но и какой-то очень редкой формой душевного расстройства, сходного с шизофренией.

— Шизофрения — это, кажется, раздвоение личности? — уточнил Донцов.

— Не только. Клинические проявления этой болезни весьма разнообразны. Но в любом случае это глубокое и часто необратимое перерождение сознания, иногда приводящее к весьма любопытным результатам. Шизофреники совершили немало научных открытий и осчастливили человечество многими шедеврами искусства.

— Вы хотите сказать, что лечить шизофрению не всегда целесообразно?

— Нет, так вопрос не ставится. Подагра, кстати, также возбуждает творческие способности. Но это не повод воздерживаться от ее лечения. Просто для думающего врача существует соблазн использовать болезнь в позитивных целях. Ведь талант, скажем прямо, это тоже отклонение от нормы. Найдите вирус таланта и станете нобелевским лауреатом. Между прочим, в нашей клини-

ке занимаются не только лечением, но и научными исследованиями.

— Я что-то не пойму... Наметкина лечили или использовали вместо лабораторной крысы?

— Чего не знаю, того не знаю. У нас не принято интересоваться темами работы коллег, пока их результаты не будут опубликованы.

— Короче говоря, в жизни и смерти Наметкина могли быть заинтересованы только психиатры. И главным образом те, которые им занимались.

— Никто в нем не был заинтересован. Он был коматозником. Растением. Овощем. Всякая работа с ним прекратилась полгода назад.

— Зачем тогда вам нужны все эти проблемы с поисками убийцы? Дело бы благополучно заглохло на уровне райотдела.

— По нескольким причинам... Во-первых, убийца должен быть наказан в любом случае, вне зависимости от того, кто стал его жертвой — кумир масс или беспомощный паралитик. Разве не так?

— Согласно букве закона — так. Но многие люди думают иначе.

— Не важно. Многие люди думают, что земля плоская. Во-вторых, убийца как-то связан с клиникой. Не исключено, что это один из нас. Зачем ждать очередного сюрприза? Змею надо лишить жала... Впрочем, это мое личное мнение. У главврача могут быть и какие-то иные соображения.

Шкурдюк, которого такое заявление чем-то не устраивало, принужденно закашлял и заерзал на стуле. Донцов тем временем продолжал допрос чересчур умного врача:

— Скажите, а вам не показалось странным, что убийца перерубил шланг? Гораздо проще было бы выключить аппарат или снять с лица Наметкина дыхательную маску.

— Проще. Но со шлангом надежнее. При очередном обходе медсестра могла легко заметить, что гармошка аппарата неподвижна или что маска отсутствует. А шланг остается как бы вне поля зрения.

— Резонно... Медсестра жаловалась, что в палате, соседствующей с палатой Наметкина, всю ночь буйствовал какой-то шизофреник. Это якобы не позволяло ей слышать подозрительные шумы. Нельзя ли было накачать этого горлопана транквилизаторами? И вам так было бы спокойнее, и ему.

— Если человеку приспичило опорожнить мочевой пузырь,

он рано или поздно это сделает. Так и шизофреник в период обострения. Гормоны, провоцирующие приступ, уже циркулируют в крови. Агрессия ищет выход. Загнанная внутрь, притушенная, она отравит организм пациента. Приступ можно отсрочить, но ликвидировать невозможно.

— Это общепринятая точка зрения?

— По крайней мере ее придерживаются в нашей клинике.

— У меня в принципе все. Хотите добавить еще что-нибудь?

— Увы, но я не располагаю сведениями, способными пролить свет на убийство. Ни сведениями, ни домыслами, ни собственными предположениями. Можно, конечно, строить разные версии, копать все глубже и глубже, но это только заведет следствие в тупик. Разгадка где-то рядом, на поверхности. Если она вообще существует. А вдруг это дело рук какого-нибудь маньяка, действовавшего без всяких мотивов? Возможен ведь и такой вариант.

— Маньяк всегда оставляет следы.

— Разве их нет?

— Пока нет. Но я приступил к расследованию всего час назад... А теперь — до свидания. Спасибо за содержательный разговор.

— Подписывать ничего не надо? — похоже было, что врач слегка удивлен.

— Это предварительный допрос. Если понадобится его задокументировать, мы встретимся, как говорится, в другом месте и в другое время.

Едва только врач покинул кабинет, как Донцов обратился к Шкурдюку:

— Что можете сказать по поводу всего услышанного?

— Какие могут быть слова! — патетически воскликнул тот. — Я только развожу руками.

— Как я понял, главврач в момент убийства отсутствовал?

— Да, ездил в Норвегию на конференцию по проблемам ранней диагностики маниакально-депрессивного психоза.

— А вернувшись и узнав о случившемся, сразу потребовал расследования?

— Ну не сразу... Где-то к концу дня.

— И заодно приказал вам стереть рисунок на стене третьего корпуса?

— Он в тот день много чего приказал... Как-никак целую неделю отсутствовал. Масса всяких проблем накопилась.

— Как бы мне самому увидеться с профессором Котярой?

Шкурдюк, собиравшийся утолить жажду, едва не расплескал воду из стакана.

— Вряд ли это возможно, — просипел он. — По крайней мере в ближайшие дни. Его рабочее время расписано буквально по минутам. И потом, если бы в этом была необходимость, профессор сам бы условился о встрече. Скорее всего, у него нет ничего, что могло бы помочь следствию.

— Жаль... Но при удобном случае сообщите профессору, что я имею к нему пару конфиденциальных вопросов. Остальное будет зависеть от него самого... Кстати, у вас в клинике имеется какой-нибудь фотоархив? Портреты ведущих специалистов, групповые снимки, вид на клинику в разных ракурсах. Фото желательно свежие, давностью не более года.

— Не знаю даже... — Шкурдюк почесал затылок. — Надо поинтересоваться в отделе кадров.

— Вот и поинтересуйтесь. Заодно захватите личные дела этих сотрудников. — Донцов протянул хозяину кабинета только что составленный список.

— Сделаем. — Шкурдюк стал вчитываться в список. — Так, так, так... Ого, даже я сюда попал! За какие, спрашивается, грехи?

— Ваши грехи пусть останутся при вас. А я проверяю всех, кто имел хотя бы теоретическую возможность проникнуть в палату Наметкина. Вы ведь вхожи во все помещения клиники, не так ли?

— Вхож, — вынужден был согласиться Шкурдюк. — Но таких людей не меньше полусотни.

— Сегодня проверим одних, завтра других, послезавтра третьих. Горячку в этом деле пороть нельзя. Но если информационно-поисковый центр вдруг выдаст справку, что гражданин Шкурдюк Алексей Игнатьевич в прошлом судим за серийные убийства инвалидов-паралитиков, все мои проблемы отпадут сами собой.

— Шутить изволите, — натянуто улыбнулся Шкурдюк. — А я, между прочим, человек впечатлительный. Все близко к сердцу принимаю.

Он отсутствовал полчаса и вернулся с целым ворохом цветных фотографий и пачкой тоненьких картонных папок.

— На дворника личное дело отсутствует, — доложил он. — Лукошников у нас совместитель, по договору работает.

Бегло перелистав папки и выписав кое-что в свою записную книжку, Донцов приступил к изучению снимков.

В результате он отобрал для себя целых пять штук. Везде, хоть и с разных позиций, был запечатлен третий корпус клиники, служивший как бы фоном для всяческих жанровых сцен — коллектив на субботнике, коллектив чествует своих ветеранов, коллектив участвует в учениях по гражданской обороне и так далее.

ГЛАВА 5

ОПЕР ПО КЛИЧКЕ ПСИХ

Беспокоить водителя-левака Толю Сургуча уже не хотелось, он мог находиться сейчас совсем на другом конце города, и Донцов ненавязчиво поинтересовался у Шкурдюка — не подкинут ли его на служебном транспорте к зданию отдела милиции, откуда три дня назад в клинику выезжала следственная бригада.

— Зачем же на служебном! Лучше я вас на личном прокачу, — с редкой по нынешним временам учтивостью предложил заместитель главного врача.

— Возражать не буду, — согласился Донцов.

— Но сначала перекусим.

— Нет уж, увольте. Тогда на всех моих неотложных планах придется поставить крест. На сытое брюхо не побеседуешь.

— На голодное тем более! — упорствовал Шкурдюк.

— Все, вопрос закрыт. — Донцову пришлось перейти на полуофициальный тон. — Вы должны содействовать мне, а не совать палки в колеса.

За то время, которое они провели в клинике, погода опять резко изменилась — дождь сменился ледяной крупой, а поверхность грязи приобрела обманчивую прозрачность.

Машина, принадлежащая Шкурдюку, видимо, была куплена еще в те времена, когда он процветал на плодородной ниве попкультуры. По нынешним временам такая четырехколесная игрушка, напичканная разными прибамбасами, гражданину страны с переходной экономикой совершенно ненужными, стоила тысяч двадцать. В условных единицах, конечно.

Впрочем, на охраняемой стоянке, предназначенной исключительно для личного транспорта работников клиники, имелись тачки и покруче. Создавалось впечатление, что врачи-психиатры живут не так уж и плохо.

После прибытия к месту назначения Шкурдюк своим поведением несколько озадачил Донцова. Вместо того чтобы отбыть

восвояси или ожидать следователя в машине, он увязался вслед за ним. Вряд ли это объяснялось одним лишь праздным любопытством.

«Ну ладно, походи за мной хвостиком, — подумал Донцов. — Посмотрим, что из этого получится».

Предъявив свое удостоверение дежурному, отгородившемуся от всего остального мира пуленепробиваемым стеклом, Донцов осведомился, есть ли на месте кто-нибудь из тех, кто утром шестнадцатого числа выезжал на труп по адресу: улица Сухая, десять.

— Это в «Дом чеканутых», что ли? — перелистывая книгу происшествий, поинтересовался дежурный.

— Примерно. — Донцов исподтишка подмигнул Шкурдюку.

Однако впечатлительная душа заместителя главного врача не выдержала.

— Вы, пожалуйста, подбирайте выражения! — произнес он фальцетом. — Ваше заведение в народе, между прочим, тоже живодерней зовут.

Дежурный на этот выпад никак не отреагировал — за целый день ему приходилось слышать здесь и не такое.

— Из следствия сейчас никого нет, — сообщил он, потыкав кнопки коммутатора внутренней связи. — Загляните в розыск. Второй этаж. По коридору налево, двадцать пятый кабинет.

— Спасибо, знаю, — ответил Донцов. — Бывал уже здесь раньше.

По давней традиции, тянущейся, наверное, еще со времен знаменитого полицмейстера Архарова, кабинет сотрудников уголовного розыска выглядел как лавка старьевщика или жилище какого-нибудь нового Гобсека. Вопреки мольбам несчастных уборщиц, попрекам коменданта и прямым угрозам пожарного инспектора, здесь за самый короткий срок скапливалась масса разнообразнейшего барахла, которое и выбросить было нельзя, и сплавить на склад вещдоков не полагалось.

Была тут и ржавая арматура, послужившая орудием преступления, и фрагменты взломанных дверей, возвращенные с экспертизы; и десятки навесных замков, перепиленных, сбитых или вскрытых отмычками; и костыли, однажды вдоволь погулявшие по человеческим головам; и бронзовые плиты, сорванные с могильных памятников; и булыжники со следами крови; и много другого добра, пригодного в основном лишь для свалки.

За колченогим письменным столом, словно нарочно подобранным под стиль остального интерьера, восседал молодой опер

и что-то ловко печатал на компьютере. Донцов немного знал его по прежним встречам, вот только фамилию запамятовал. То ли Домовой, то ли Водяной — в общем, что-то фольклорное.

Одеждой, прической, манерами и даже выражением лица опер был как две капли воды похож на типичного братка из провинциальной банды, прибывшей на гастроли в столицу.

И причина этого крылась вовсе не в стремлении замаскироваться под блатного, а в некой не зависящей от человеческой воли всеобщей тенденции, нивелирующей внешний вид, оружие и лексикон постоянных врагов — так римские легионеры позаимствовали у варваров штаны, терские казаки у горцев — черкеску с газырями, а оседлый люд у кочевников — кривую саблю.

Последний раз опер виделся с Донцовым лет пять назад, когда милицейская опергруппа, игравшая роль наркокурьеров, напоролась на милицейскую же засаду, поджидавшую настоящих наркокурьеров, однако повел себя так, словно они расстались всего час назад.

— Заползай! — радушно пригласил он. — Как делишки?

— Средне, — ответил Донцов.

— Служишь или уже на пенсии?

— Служу.

— Говорили, что ты на повышение пошел.

— Было дело.

— Хорошее местечко?

— Хорошее, только работать все равно заставляет.

— К нам каким ветром занесло?

— Есть одна проблема... Ты случайно не выезжал три дня назад на улицу Сухую? Там в психиатрической клинике пациенту кислород перекрыли.

— Вот именно, что случайно! — Опер закончил печатать и откинулся на спинку стула. — Моя смена уже считай закончилась, а тут это сообщение. Представляешь, шесть утра, вся наша публика рассеялась. Из убойного отдела никого нет. Вот дежурный, тварь, меня и сосватал. Полдня там, как папа Карло, провозился. Спасибо гражданину хорошему, накормил нас.

Опер сделал в сторону Шкурдюка благодарственный жест. Память на лица у него была профессиональная.

— Тогда мне повезло. — Донцов уселся на свободный стул.

— А тебе что, собственно говоря, от меня надо?

— Хочу на это дело взглянуть.

— Забирать будете? — обрадовался опер.

— Сам еще не знаю. Пусть в верхах решают. Хотя профиль, похоже, наш.

— Ваш? — Опер навострил уши. — А что вы за птицы такие, если не секрет, конечно?

— Секрет... Есть такая хитрая контора в недрах главка.

— Делать вам там, наверное, нечего, — в словах опера сквозило естественное презрение окопного бойца к штабным крысам. — Беситесь с жиру. А я ведь уже отказной материал подготовил.

— С какой это стати? — удивился Донцов. — Здесь же очевидное убийство.

— Для кого очевидное? Для тебя? Для прокурора? Для папы римского? — Опер оказался запальчивым, как фосфорная спичка. — Причину смерти знаешь?

— Знаю. — Донцов, наоборот, был спокоен, как клиент морга. — Выход из строя аппарата искусственной вентиляции легких по причине умышленного повреждения воздуховодного шланга.

— Умышленного? У меня подошва на коцах повредилась. — Он задрал на стол ногу, обутую в мокрый ботинок весьма непрезентабельного вида. — Скажете, я это умышленно сделал? Всему свой срок имеется! Этому аппарату в обед сто лет исполнилось. Сделан сверх плана из сэкономленных деталей в последний день квартала где-нибудь в Ереване. Я, конечно, утрирую, но суть дела понятна. В процессе работы шланг постоянно вибрирует. Плюс высокая температура. Плюс низкая влажность. Плюс неаккуратность персонала. Тут железо не выдержит, а не то что резина. Она свой предел прочности имеет. Обрыв шланга случился потому, что рано или поздно должен был случиться.

— Это подтверждено заключением экспертизы? В деле имеется соответствующий акт?

— Нет — так будет. — Опер закатил глаза в потолок и забарабанил пальцами по столу.

— Сам ты хоть в это веришь?

— Я вообще ни во что не верю. Особенно с тех пор, как пионервожатая заразила меня в пятом классе триппером.

— Послушай, давай повременим с отказным, — произнес Донцов чуть ли не просительным тоном. — Покажи дело.

— На это нужно письменное разрешение начальника следственной группы.

— Не валяй дурака. Я только одним глазком взгляну. И в твоих руках.

— Тогда будешь наливать, — сдался опер.

— Это уж как водится. Могу даже расписку оставить.

Донцов подобрал огрызок карандаша и так, чтобы не видел Шкурдюк, написал на листке отрывного календаря: «Турни отсюда этого дятла. Только вежливо».

Скосив глаза, опер прочел записку и сокрушенно вздохнул:

— Да, кругом проблемы... Ладно, ожидай здесь, я схожу за делом.

Вернулся он довольно скоро, но не один, а в сопровождении малорослого, хотя и очень бравого на вид милиционера — начищенного, приглаженного и туго затянутого в ремни.

— Сержант Подшивалов! — гаркнул он, четко отдавая честь Шкурдюку. — Разрешите осведомиться, вы лицо постороннее?

— В каком смысле? — Взгляд заместителя главврача заметался, призывая на помощь Донцова, но тот углубился в изучение следственного дела, пока еще тонкого, как книжка для дошкольников.

— Я интересуюсь, состоите ли вы на службе в органах, — пояснил сержант.

— Нет, не состою, — признался Шкурдюк, еще не понимая, что от него конкретно хотят.

— Тогда убедительно прошу пройти со мной. В качестве свидетеля подпишете несколько протоколов личного обыска задержанных... Учтите, это ваш гражданский долг, — видя колебания Шкурдюка, грозно добавил сержант.

— Сходите, сходите, — не отрываясь от чтения дела, кивнул Донцов. — Думаю, что это ненадолго.

Когда Шкурдюка увели в ту сторону, где в железных клетках орали пьяницы и горланили песни проститутки, опер спросил:

— Думаешь, стукача тебе на хвост посадили?

— Сам не знаю, — ответил Донцов. — Но уж очень подозрительный тип. В каждую мелочь вникает.

— Да, дела в этом дурдоме не простые... Секретность, как в коммерческом банке.

— Деньги, наверное, хорошие проворачиваются, вот и привыкли подозревать всех подряд. Большие капиталы портят характер.

— Лучше испортить характер большими капиталами, чем нашей сучьей работой. — Опер сплюнул в пепельницу, предварительно сняв ее со стола.

— Материальчика-то бедновато. — Донцов помахал папкой.

— В спешке все делалось... Следак, который с нами был, сразу сказал, что на убийство здесь не тянет. Максимум — ненадле-

жащее исполнение служебных обязанностей. От этой печки и танцевали.

— Сам ты какое мнение имеешь?

— Между нами? — Опер хитровато прищурился.

— Могила! — Донцов сложил пальцы крестом.

— Замочили клиента. Тут двух мнений быть не может.

— А как убийца пришел и ушел?

— Это уже другой вопрос.

— Ты при осмотре ничего подозрительного не обнаружил?

— Ничегошеньки! Отпечатков масса, но все принадлежат врачам и медсестрам, которые бывали в палате вполне законно. По замку тоже все чисто. Тыркали в него только родным ключом. Дежурная медсестра вне всяких подозрений. Порядочная баба да еще с принципами. Муж отставник. Консультирует совместные предприятия. Сын — военный летчик. Посторонний мимо нее проскочить не мог. Уж поверь моему чутью.

— Неужели у тебя собственной версии нет? Что-то слабо верится.

— Версии — они как мыльные пузыри. Возникают и лопаются. Но одну могу тебе изложить, слушай. Убийца заранее спрятался в стенном шкафу. Сделав свое дело, вернулся на прежнее место, а потом, когда поднялся базар, смешался с толпой и под шумок смылся.

— Логично... Почему я сам про это не подумал? — вопрос Донцова был адресован самому себе.

— На словах логично. Только с фактами плохо вяжется. Спрятаться в этом шкафу мог только очень субтильный кент. Еще пожиже нашего окурка. — Опер кивнул на дверь, и Донцов понял, что речь идет о сержанте, приходившем за Шкурдюком. — Там глубина всего тридцать сантиметров. Это первая неувязка.

— Есть и вторая?

— Есть. Вся толпа состояла из трех человек — врача, медсестры и санитарки. До нашего прибытия в палату никто больше не заходил. Согласись, в такой толпе трудно затеряться. Особенно постороннему.

— А под кроватью спрятаться нельзя?

— Нет, там все насквозь просматривается.

— Санитаркой ты не интересовался? — спросил Донцов, но тут же спохватился: — Хотя какой в этом смысл... К ее приходу труп уже остыл. А когда вообще произошло убийство?

— Примерно часа в два.

— Где сейчас изъятый шланг?

— У экспертов. Только все они на происшествии. Возле магазина «Ирис» инкассаторов расстреляли. Слава богу, что это не моя территория.

— Ты, кстати, не заметил — форточка на окне была открыта? В протоколе осмотра это почему-то не отмечено.

— На форточку я как-то без внимания. Все же пятый этаж и решетка. Если только Карлсон подлетит... Хотя, подожди. — Опер задумался. — Бумаги, которые следак на подоконнике оставил, промокли. Дождик их замочил. Значит, открыта была форточка. А у тебя на этот счет какие-то мысли имеются?

— Тренированный человек сумел бы по карнизу добраться до окна палаты, просунуть в форточку длинную палку, на конце которой укреплен соответствующий инструмент, и перерубить шланг.

— Прямо голливудское кино какое-то, — говоря высоким стилем, сомнения омрачали чело опера. — Следственный эксперимент, конечно, провести можно. Только кто в нем согласится участвовать? Разве что каскадеры с киностудии. В преступном мире я таких штукарей не знаю.

— Я тоже, — признался Донцов. — Но на Карлсона убийство не спишешь. Начальство меня самого в психиатрическую клинику упрячет.

— Господи, и кому только этот шизик мог помешать! Родни никакой. Друзей тоже. Врагов тем более.

— Разве он был сиротой?

— Почти. Брат уехал на постоянное жительство в Канаду. Мать странствует по зарубежным курортам. Они его даже не навещали. Адреса неизвестны, сообщить о смерти человека некому.

— С одной стороны, это даже неплохо. Моя задача упрощается. Значит, все — и мотивы и преступника — надо искать внутри клиники.

— В этом я как раз и не уверен. Без ведома главврача там и мышонок не пискнет. Все под контролем. Он самодеятельности не допустит.

— На этот момент главврач отсутствовал. В Норвегию по обмену опытом шастал.

— Какая разница! Сам посуди, кто для него этот Наметкин? Да никто! Его убрать — как два пальца обоссать. И все будет тихо-смирно. Никакой корысти в смерти этого жмурика главврач не имел. Свои, из клиники, на мокруху тоже не пошли бы. Такие

номера в маленьких да еще замкнутых коллективах не проходят. Шила в мешке не утаишь. Нет, что ты ни говори, а здесь посторонний работал. Поэтому и заявление в органы поступило.

— Слушай, а к криминалу эта клиника никакого отношения не имеет? Вдруг там наркотики готовят или у пациентов донорские органы похищают?

— Ну ты и загнул! Иного криминала, кроме укрытия доходов от налогообложения, там не сыщешь. Впрочем, был один странный эпизод. Но к судьбе Наметкина он никакого отношения не имеет.

— Что за эпизод? — сразу насторожился Донцов. — Поделись.

— Было это в прошлом году осенью. Не то в октябре, не то в ноябре. Дату можно по книге происшествий уточнить. Я сам на это дело не выезжал. Подробности со слов ребят знаю. Короче, пробрался ночью в клинику какой-то уркаган. Каким способом, установить так и не удалось. Что он там искал — тоже неизвестно. Шастал-шастал по этажам и нарвался на санитарку, которая из туалета выходила. Та, завидев постороннего мужика в маске, подняла хипиш. Бабы это умеют. И сирены не надо. На шум снизу прибежал охранник. Дубинкой машет. А гость пальнул в него пару раз из шпалера и был таков.

— Без жертв, значит, обошлось.

— Он только для острастки стрелял. Обе пули в потолок ушли.

— Гильзы изъяли?

— Конечно. Правда, регистрировать преступление опять же не стали. У нас «глухарей» со смертельным исходом — выше крыши. Не хватало еще из-за двух неприцельных выстрелов дело возбуждать.

— Где сейчас эти гильзы?

— Вот тут самое интересное и начинается. Сотрудник, который на происшествие выезжал, положил их к себе в сейф. Так, на всякий случай. А тут проверка из прокуратуры нагрянула. Давай все подряд потрошить, вплоть до мусорных корзин. Откуда, спрашивают, взялись в служебном сейфе патроны от нетабельного оружия. Забыл сказать, что тот незваный гость из «ТТ» палил. Пришлось бедолаге писать объяснительную. Гильзы в лабораторию отправили, на экспертизу. И представляешь — нашлись-таки их сестрички. За пистолетом, который в клинике нарисовался, оказывается, следок имелся. Кровавый следок. Три убийства и несколько покушений.

— Интересно. А какого плана убийства?

— Да так, мелочовка. Рыночная торговка, мелкий валютчик, какой-то неопознанный тип кавказской национальности. Тихие убийства, без общественного резонанса. Кстати, хозяин пистолета в ту пору был нам уже известен и числился в розыске. Тебе это интересно?

— Очень.

— Фамилия его Ухарев. Кличка — Кондуктор. Возраст примерно сорок лет. Трижды судим. Основная специализация — киллер туалетного класса.

— Почему туалетного?

— Это по аналогии с проститутками. Самые козырные у них, которые по вызову работают. Много берут и в клиентах переборчивы. А самые последние в вокзальных туалетах промышляют. За бутылку бормотухи окажут весь спектр услуг. Вот так примерно и у киллеров. Кто-то на жирных гусей охотится — бизнесменов, депутатов, авторитетов. Ну и получает соответствующе. А кто-то другой мелкими пташками довольствуется. Убирает неверных мужей, постылых жен, базарных конкурентов, сварливых соседей. Пользуется не только огнестрельным оружием, но и любым подручным инструментом, даже топором и лопатой. Эти берут недорого. От тысячи и меньше.

— Где сейчас этот Ухарев?

— Болтается где-то по городу, если, конечно, в провинцию не свалил. Его фоторобот у всех постовых имеется. Рано или поздно попадется.

— А ускорить этот процесс нельзя?

— Конечно, можно. Если наши штаты раза в три увеличить. И на всякие дурацкие мероприятия не дергать. Типа охраны митингов или операции «Антитеррор». Это вы, белая кость, себе работу ищете, а нас она в любое время суток находит. Даже на унитазе вволю не посидишь. — Опер безнадежно махнул рукой.

— Только не надо давить из меня слезу. Давай лучше вернемся к тому случаю в клинике. В какой именно корпус проник Ухарев?

— Представь себе, в тот самый, где кантовался Наметкин. Но попрошу не обобщать. Всякие аналогии здесь неуместны.

— А этаж?

— Достал ты меня! — застонал опер. — Тот этаж, тот! Только крыло другое. И зачем я тебе все это рассказал!

— Слушай, мне нужен Ухарев. — На Донцова вдруг накатил охотничий азарт, чувство столь же древнее и неукротимое, как голод и похоть.

— Мне тоже. Кто же от гарантированной премии откажется.

— Тогда давай поможем друг другу. Мне Ухарев, тебе премия.

— Если бы это было так просто, я бы его и сам давно повязал.

— Но ведь другие его как-то находят. Мужья постылых жен и жены неверных мужей.

— Хочешь знать технологию?

— Хочу.

— Тогда слушай и мотай на ус. Хотя сомневаюсь, что моя наука тебе пригодится. Знаешь, как называется наше время?

— Время перемен. — Донцов ляпнул первое, что пришло в голову, хотя правильнее было бы сказать что-то вроде: «Время прокладок и памперсов».

— Нет, время организованной преступности, — поправил его опер. — Даже карманник обязан отстегнуть часть своей добычи авторитету, который держит этот район.

— Вот так новость! Ты мне прямо глаза на жизнь открыл.

— Подожди язвить и слушай дальше. Само собой, что киллера-единоличника никто терпеть не будет. Свои же братья-бандиты поймают и в сортире утопят. Спокойно работать можно только под надежной крышей.

— Какая же надежная крыша имеется у мелкого киллера Ухарева?

— Это как раз и не важно. Важно совсем другое. Наша блатная братва кучкуется в основном на Октябрьском рынке. Легально состоят в охранниках, а нелегально пасут всех дельцов, начиная от торговок семечками и кончая оптовиками. Вид эта публика имеет весьма колоритный. — Опер провел ладонью по своему бритому черепу. — Вычислить их можно с первого взгляда. Допустим, ты потенциальный клиент, который уже навел справки у знающих людей.

— Допустим, — кивнул Донцов.

— Смело подходишь к этим шурикам и говоришь: «Надо бы с Кондуктором увидеться, дело есть». Тебе отвечают: «Иди пока, парень, погуляй, а мы подумаем, про какого такого Кондуктора ты нам фуфло толкаешь». Первый контакт состоялся. Отходишь себе в сторонку. История эта может не иметь никакого продолжения. Значит, ты чем-то братве не глянулся. В другом случае к

тебе подваливает мелкий шкет и спрашивает, какое именно дело у тебя имеется к дяде Кондуктору. Излагаешь свою просьбу. После этого контакт опять может оборваться. А может и продолжиться. Тебе предлагают завтра в определенное время подойти в определенное место. Там и состоится конкретный разговор. Другой шкет, который первого, наверное, и не знает, берет все установочные данные жертвы и назначает цену. Да не с потолка, а вполне определенную, как в прейскуранте. На домохозяйку одна цена, на таксиста — другая. Сразу отдаешь все деньги. И с приветом. Ты их не знаешь, они тебя не знают. Иди домой и начинай готовиться к похоронам того, кого ты заказал.

— А не обманут?

— Никогда! — с чувством произнес опер. — Блатные самая добросовестная и обязательная публика в нашей стране. Если взялись кого-то убрать, то обязательно уберут. Бывают, конечно, накладки. От них никто не застрахован. Но человек, ежедневно пользующийся общественным транспортом и не имеющий надежной охраны, заранее обречен. Пусть он даже будет Брюсом Ли или Ильей Муромцем.

— Факт, безусловно, печальный.

— Какой уж есть. Но без ложной скромности скажу, что нашими стараниями поголовье киллеров сокращается. А теперь слушай сюда. — Опер наставил на Донцова свой указательный палец, словно из пистолета прицелился. — Предупреждаю, не вздумай сам лезть в это дело. Я-то уже понял, что у тебя на уме. Блатные народ ушлый и изворотливый. В нашей жизни они лучше любого профессора разбираются. Милиционера с ходу вычисляют, по одной только роже, как фашист еврея. Кроме того, их бывшие сотрудники органов втихаря консультируют. За скромное вознаграждение своих, суки, сдают. Ты еще и на рынок зайти не успеешь, а там уже самая последняя шавка будет знать, что сюда легаш ряженый топает. С тобой даже разговаривать никто не станет. Это в лучшем случае. А могут и подрезать. Чтоб другим неповадно было.

— Зачем же милиционера на стрелку посылать! Можно тихаря незасвеченного использовать.

— Это ты думаешь, что он незасвеченный. Урку не обманешь... А кроме того, где ты возьмешь тысячу баксов? Деньги-то в любом случае пропадут. Их авторитет в собственные руки получает, а уж потом с исполнителем делится. И учти, кукла не пройдет. Фальшивки тоже. Это равносильно, что мусульманину вместо баранины кусок свинины подсунуть.

— Проблема, конечно, серьезная, но разрешимая, — последние слова Донцов не сказал, а скорее выдавил из себя.

Вновь навалилась слабость, уже ставшая привычной, но каждый раз все равно пугающая. И сам опер, и все окружающие его предметы утратили вещественность, словно отодвинувшись в какой-то совсем другой, иллюзорный мир.

Хорошо хоть, что нынче слабость пришла одна, без тошноты и рвоты.

— Что с тобой? — донеслось как бы издалека. — Расстроился от моей трепотни?

— Душно у вас что-то, — произнес Донцов через силу. — Я, пожалуй, лучше на свежий воздух выйду. А за консультацию спасибо. Про пузырь я не забыл. Даже два поставлю.

— Так в чем же проблема? Рабочий день на исходе. — Опер продемонстрировал ему циферблат своих навороченных часов, где из-за обилия стрелок ничего нельзя было разобрать, — сейчас какого-нибудь добровольца в магазин сгоняем.

— Нет, не получится. Дел еще много. Да и строго у нас с этим. В любой момент могут в главк вызвать.

— Да, не позавидуешь твоей службе. У нас хоть и не сытно, да вольно. Дворовый пес с комнатной собачкой местами не поменяется.

— Знаю. Был я псом. Правда, лапы сбил и клыки стер.

— Заметно... Проводить тебя?

— Ни-ни. Я сам. — Донцов встал, опираясь на край стола. — Извини, я фамилию твою забыл. Кого спрашивать, если вдруг понадобишься?

— Зачем тебе моя фамилия? Она в памяти не держится и на слух не ложится. Здесь меня все Психом зовут. Так и спрашивай. Позовите, дескать, к телефону Психа.

— Договорились... Только ты забыл мне одну вещь на прощание подарить.

— Бери. Мне этого добра не жалко. — Опер извлек из стола несколько мутных фотографий. — Профиля, извини, нет. Один фас.

— Курносый... — вглядываясь в снимок, задумчиво произнес Донцов. — Сколько, говоришь, ему лет?

— Около сорока.

— Здесь моложе выглядит.

— Фотка старая. С паспорта переснимали. Теперь он, конечно, изменился. Нервная жизнь и неправильное питание на ком хошь скажутся.

...Постояв на крыльце под порывами пронизывающего ветра, съев горсть свежего снега, Донцов дождался, когда приступ дурноты пройдет, и вернулся в дежурку. Там уже суетился Шкурдюк, похожий на ребенка, отбившегося от мамы во время стихийного бедствия.

— Вы не представляете, какой ужас я сейчас пережил, — заговорил он, захлебываясь словами (и откуда только голос взялся). — Вы сами хоть раз заходили в этот... как его...

— Обезьянник, — подсказал Донцов.

— Это место так называется? — еще больше ужаснулся Шкурдюк.

— Нет, официально оно называется изолятором временного содержания. А обезьянник или гадюшник — это из области устного народного творчества. Касательно вашего вопроса могу пояснить, что в этом малопочтенном заведении я бывал значительно чаще, чем в филармонии. К моему стыду, конечно.

— Это просто кошмар какой-то. Я подумать не мог, что в нашем городе имеется столько лиц с антиобщественным поведением. Эти ужасные вольеры, предназначенные скорее для диких зверей, набиты битком. Причем не только мужчинами, но и женщинами... Я исполнил свой гражданский долг, подписал все, что было положено, а в результате меня еще и оскорбили!

— Кто, милиция?

— Если бы! Юная девушка ангельской внешности. Сначала она выражалась нецензурными словами, а потом задрала юбку и показала мне задницу. Ее подруги плевали в мою сторону. Мужчина весьма приличного вида обозвал ссученным босяком, ментовской совой и обещал пощекотать пером... Кстати, как это следует понимать?

— Зарежут, — хладнокровно пояснил Донцов.

— Вы считаете, что это серьезно? — Голос у Шкурдюка опять осип и, похоже, надолго.

— Вполне. Такие люди слов на ветер не бросают.

— Как же мне быть?

— Лучше всего изменить внешность. Иногда это помогает...

ГЛАВА 6

РОЖДЕННЫЙ ПОД ЗНАКОМ НЕПТУНА

Удача стала обходить Донцова уже довольно давно, сразу после разрыва с семьей. Любой суеверный человек (а Донцов, несомненно, принадлежал к их числу) счел бы данное обстоятель-

ство неминуемой расплатой за прежние грехи, но тогда напрашивался вполне естественный вопрос: а почему эта самая расплата ждала столько лет?

Неужели дело только в том, что человек, привыкший бежать по жизни вприпрыжку, под гром аплодисментов и звуки фанфар, уязвим в гораздо большей степени, чем тот, кого злодейка-судьба заранее протащила по всем своим жерновам и молотилкам?

Как бы то ни было, но под прежним беззаботным и благополучным существованием Донцова были подведена жирная черта.

Работа уже не привлекала его, как прежде. Из бульдога, славившегося неутомимостью и мертвой хваткой, он постепенно превратился в безвредного пуделя, гоняющего дичь только для виду. Новая должность, к которой он так стремился и которая должна была дать всей его жизни некий совершенно иной, свежий импульс, в действительности оказалась унылой рутиной, а дела, попадавшие в его руки, изначально не имели решения, совсем как знаменитый пасьянс «дырка от бублика», ставший причиной душевной болезни многих русских интеллигентов.

Дальше — больше. Удача так и не возвращалась, и это еще можно было как-то стерпеть, но стала вдруг наведываться ее антитеза — неудача, коварное и необоримое чудовище, до поры до времени приберегающее свои когти, но ловко ставящее подножки.

Адвокаты жены навязали Донцову долгий и мучительный имущественный спор, в результате которого он оказался на окраине города, в однокомнатной малосемейке, без машины и без библиотеки.

Любимый пес — рыжий, ласковый и наивный зверь — покрылся струпьями, облез, перестал принимать пищу, а потом вообще сгинул где-то.

За последние полгода Донцов не сумел передать в суд ни единого дела, вследствие чего прослыл волокитчиком и растяпой.

В довершение всего пошатнулось здоровье. Все время хотелось прилечь, в крайнем случае — присесть. По утрам донимала тошнота. Мышцы утратили силу, сухожилия — упругость, голова — ясность. Восхождение на пятый этаж превратилось в проблему. Престало тянуть к женщинам, потом — к водке, а в конце концов и к закуске.

Когда пришло время очередной диспансеризации, проводившейся в их ведомстве через два года на третий, Донцов, до того манкировавший подобными мероприятиями, впервые честно

сдал все анализы и без утайки поведал врачам о своем самочувствии.

Анализы были плохие, это он понимал и сам (работа в следствии многому может научить), но что является причиной пожара, сжигающего изнутри его организм, не смог определить ни хирург, ни терапевт, ни тем более эндокринолог.

Тогда Донцова подвергли ультразвуковой диагностике, для которой якобы были доступны все внутренние органы человека.

В темной узкой комнате ему предложили раздеться до пояса, уложили на жесткую клеенчатую кушетку и стали водить по телу чем-то холодным и мокрым. На маленьком черно-белом экранчике, расположенном в головах кушетки, замелькали какие-то смутные штрихи, похожие на телевизионные помехи.

Исследование проводила бледная, седая и иссохшая женщина, один взгляд на которую навевал мысль о бренности всего сущего. Руки ее, время от времени касавшиеся тела Донцова, были еще холоднее того прибора, которым она выискивала предполагаемую болезнь.

Если бы должности в больницах распределялись не по знаниям, опыту и связям, а исключительно по внешнему виду, то этой даме, наверное, довелось бы заведовать прозекторской.

Грудь, живот и пах Донцова не произвели на ультразвуковой прибор (а следовательно, и на его хозяйку) никакого впечатления. То же самое касалось и правого бока.

Зато слева обнаружилось что-то любопытное. Дама буквально утюжила бок Донцова своим прибором, заставляя его, словно в камасутре, принимать самые причудливые позы.

— Вы когда в последний раз проходили ультразвуковое исследование? — не отрываясь от созерцания экрана, спросила она.

— Никогда, — признался Донцов.

— Нужно каждый год проходить! — произнесла она с непонятным возмущением, как будто бы Донцов был уличен в каком-то неблаговидном поступке. — Одевайтесь. Завтра узнаете результат у уролога.

— Хорошо, что не у венеролога, — пробормотал Донцов, застегивая в темноте рубашку.

Дама, хоть и чахлая на вид, обладала, однако, весьма острым слухом. На незамысловатую шутку Донцова она отреагировала следующим образом:

— Смею заверить, молодой человек, что вариант с венероло-

гом был бы для вас гораздо предпочтительней. Сейчас даже сифилис излечивается.

Ее слова можно было понять так, что болезнь, обнаруженная у Донцова, лечению не подлежала.

Назавтра он уже знал свой диагноз — опухоль левой почки. Причем не какая-нибудь, а злокачественная. И не просто злокачественная, а третьей степени. Правильно говорят врачи — нет людей здоровых, есть люди необследованные.

Предстояла операция, но ее успех никто не гарантировал. А пока исследования продолжались. Донцову вводили в кровь радиоактивный йод, а в бедренную артерию загоняли зонд метровой длины. Доза рентгеновского излучения, которую он получил за это время, могла лишить здоровья сама по себе.

Будучи человеком довольно практичным, Донцов перестал покупать себе новые вещи, отложил намечавшееся протезирование зубов и отказался от приобретения дачного участка. Такое понятие, как «планы на будущее», на время утратило для него всякий смысл.

Окончательное решение его судьбы было не за горами, но прежде предстояло выполнить задание, полученное от полковника Горемыкина, — найти преступника, порешившего ничем не примечательного пациента психиатрической клиники Олега Наметкина.

Любезно доставленный Шкурдюком к подъезду своего дома, Донцов на прощание сказал:

— Завтра с утра я хотел бы осмотреть тело убитого. Как это организовать?

— К сожалению, вы опоздали, — опечалился заместитель главврача. — Вчера его кремировали.

— Зачем понадобилась такая спешка?

— А что прикажете делать? Труп невостребованный, нам его хранить негде, а холодильник районного морга забит под завязку. Следователь дал добро, тем более что заключение патологоанатома имеется.

«Что-то я этого заключения в деле не видел», — подумал Донцов.

О налете на клинику, состоявшемся осенью прошлого года, он решил не заикаться. У туалетного киллера Ухарева среди медработников могли иметься сообщники, а бывший эстрадный артист Шкурдюк не производил впечатление человека, умеющего хранить чужие тайны.

Оказавшись в квартире, Донцов сразу повалился на диван и некоторое время лежал бревном, ловя ртом воздух и дожидаясь, пока сердце с пулеметного ритма перейдет хотя бы на чечеточный.

С прошлых времен у него сохранилась привычка анализировать на сон грядущий всю проделанную за день работу. Впрочем, сегодня и анализировать было нечего. Похоже, все пока складывалось удачно.

Дело, пусть и неясное в деталях, имело несомненные перспективы к раскрытию.

На поиски Ухарева уйдет от силы день-два, и если не вмешаются какие-нибудь форсмажорные обстоятельства, через него появится выход на заказчика. А в том, что Ухарев проник в клинику с целью убийства, и не кого-нибудь, а именно Олега Наметкина, сомневаться не приходилось.

Полежав еще немного, Донцов встал, напился из-под крана сырой воды и позвонил Толе Сургучу, которому в планах поимки Кондуктора отводилась немаловажная роль.

Тот, паче чаянья, ответил без промедления, и это показалось Донцову плохой приметой. Предприятия, начинавшиеся без сучка и задоринки, чаще всего заканчивались крахом. И наоборот. Тому имелась масса примеров, как в истории человечества, так и в личной жизни самого Донцова.

Не тратя времени на всякие околичности и китайские церемонии, он предложил Сургучу встретиться в самое ближайшее время, желательно немедленно, поскольку возникла срочная необходимость в нетелефонном разговоре.

Сургуч, тщательно скрывая свое удивление, стал вежливо отнекиваться, ссылаясь на усталость после трудового дня и транспортные проблемы (в районе, где он жил, автобусы в это время действительно не ходили, а до метро было ненамного ближе, чем до китайской границы).

— Возьми такси, — посоветовал Донцов. — Расходы за мой счет.

Такой вариант, похоже, устраивал Сургуча, и он услужливо поинтересовался:

— Что-нибудь захватить по пути?

— Например?

— Ну я не знаю... — Сургуч все еще пребывал в состоянии некоторой растерянности. — Выпивки какой-нибудь или девочек.

— Спасибо. Не употребляю.

— Ни того, ни другого? — ужаснулся Сургуч.

— Можно сказать и так.

— Ну, вы прямо аскет!

Тем не менее он явился через час с целой сумкой пива, которое намеревался употребить единолично.

Убогое жилище, в котором обитал Донцов, обычно производило на гостей негативное впечатление, но Сургуч, по-видимому, решил, что это так называемая конспиративная квартира, предназначенная для тайных встреч, вербовки новых агентов и допросов с пристрастием (данную версию подтверждали многочисленные ржавые пятна на обоях, которые при желании можно было принять за кровь).

Избегая всяких упоминаний о клинике профессора Котяры, убийстве коматозника Наметкина и всезнающем опере Психе, Донцов поставил перед Сургучом следующую задачу — с утра пораньше прибыть на Октябрьский рынок, установить контакт с братвой, договориться о найме киллера и в случае удачи сделать заказ.

Уяснив, что от него требуется, Толик сразу увял. Склонность к авантюре, а тем более к риску, не была присуща его натуре.

В аккурат на это и рассчитывал Донцов. Люди самостоятельные и с врагами своими разбираются сами, без посторонней помощи. К услугам наемных убийц чаще всего прибегают как раз такие вот нерешительные и опасливые Баклажаны Помидоровичи. На подобную приманку должны клюнуть самые проницательные из бандитов.

— Я вас, конечно, очень уважаю, но посудите сами, зачем мне лишние неприятности, — сказал Сургуч, отводя глаза в сторону. — Шкура у меня не дубленая. Подставлять ее под нож или пулю резона нет.

— Никто тебя средь бела дня на рынке не тронет, — стал убеждать его Донцов. — Самое большое, так это обматерят. Но и такой вариант практически исключается. Дело верное. Пять минут страха — и двести баксов в кармане, — сначала он хотел ограничиться сотней, но такая сумма согласие Рикши не гарантировала.

— В принципе я и задаром могу помочь... — ох, как неискренне звучали эти слова.

— Задаром не надо. Деньги казенные.

— Тогда другое дело, — это было равносильно согласию. — А кого будем заказывать?

— Меня, — для вящей убедительности Донцов ткнул себя большим пальцем в грудь.

Сургуч был человеком достаточно тертым, чтобы понять — это вовсе не глупая шутка и разводить здесь всякие антимонии неуместно.

— Как скажете, — смиренно молвил он. — А мне и в самом деле ничего не грозит?

— Конечно! Об этом разговоре знаем только мы вдвоем. Когда пойдешь на стрелку, постарайся изменить свою внешность. Надень темные очки, шляпу с полями.

— Это зимой-то?

— Какая разница. Артист Боярский круглый год так ходит. Неплохо было бы еще наклеить усы. Свою машину оставь как можно дальше от рынка. Думаю, что слежки за тобой не будет, но лучше перестраховаться. Спустись в метро, немного покатайся туда-сюда. Все время меняй поезда. В вагон входи только в последний момент, когда двери уже начинают закрываться. Впрочем, не мне тебя учить. Кто на нарах хоть год перекантовался, тот, считай, университет окончил.

— Мне не повезло. Я большую часть суток вкалывал. Директором параши числился, — с горькой усмешкой признался Сургуч. — А заочное обучение, сами знаете, впрок не идет.

— Пора забыть про парашу... Деньги, которые предстоит заплатить уркам, получишь завтра в первой половине дня. На эту тему мы созвонимся дополнительно. И вот что еще. Передавая им мою фотку и адрес, сразу скажешь, что хочешь замочить мента. Мол, так и так, загубил мою молодую жизнь, горю желанием отомстить. Обойдется это, конечно, дороже, зато будет надежнее. А вдруг они справки обо мне начнут наводить. Срок исполнения определишь предельно короткий — день-два. Объяснишь, что я собираюсь свалить отсюда, потому и спешка. Заметано?

— Заметано. — Сургуч пожал протянутую ему на прощание руку. — А как же насчет девочек? Не передумали?

— В другой раз...

Ночью не давал уснуть ветер, подвывавший словно издыхающее живое существо, а под утро опять хлынул дождь, грозя непролазной грязью, подтоплением подвалов и эпидемией простудных заболеваний.

В такую погоду лучше сидеть дома, деля досуг с книгой, телевизором или бутылкой водки, а не рыскать по городу в поисках опасного и изворотливого преступника, но что же делать, если с

некоторых пор ты не хозяин себе. Надо отрабатывать ранний уход на пенсию, длительный отпуск, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие сомнительные льготы.

Появление Донцова на рабочем месте было воспринято коллегами как сюрприз. Хотя задание являлось сугубо конфиденциальным, все знали, что на период его выполнения он получил полную свободу рук и уже не обязан строго придерживаться внутреннего распорядка, установленного в отделе.

Выслушав по этому поводу обязательную порцию банальных шуток и ответив соответствующим образом, Донцов вызвал Цимбаларя в коридор для переговоров.

Когда кому-нибудь из следователей требовался пусть и не мудрый, но дельный совет, когда нужно было распутать казуистический случай или отыскать в уголовной практике прецедент, всегда обращались к Кондакову. А если предстояло рискованное предприятие, связанное со слежкой, погоней, захватом, возможной перестрелкой и мордобоем, тут уж нельзя было обойтись без Цимбаларя.

Издавна повелось, что все разговоры, не предназначенные для посторонних ушей, происходили в тупичке у большого окна, откуда открывался вид на территорию какого-то до сих пор засекреченного «почтового ящика», бесспорным украшением которого являлась безымянная статуя зверски косматого человека — по одной версии Дмитрия Менделеева, по другой — Карла Маркса.

— Какие проблемы? — закуривая сигарету, поинтересовался Цимбаларь.

— Сегодня или завтра на меня будет совершено покушение, — сообщил Донцов напрямик. — Скорее всего это случится возле моего дома, в подъезде или на лестнице. Вот фотография и приметы предполагаемого убийцы. Тебе, Саша, предстоит помешать этим планам. Главной задачей является не охрана моей особы, а задержание преступника. Нам он нужен обязательно живым, в крайнем случае способным давать показания. Это непременное условие, иначе операцию можно считать неудавшейся. Возьми себе в помощь столько сотрудников, сколько сочтешь нужным. Всяческое содействие со стороны шефа я тебе гарантирую.

— Он будет один? — Цимбаларь помахал фотографией.

— Скорее всего — да.

— Каким оружием предпочитает пользоваться?

— Пистолетом Токарева.

— С глушителем?

— Не знаю. Наверное. Долго ли соорудить глушитель из консервной банки.

— Личность его охарактеризовать можешь?

— Неоднократно судим по разным статьям. Сейчас зарабатывает на жизнь заказными убийствами. Не гнушается самой рядовой работой. Завалил минимум троих, но все они мелкая сошка.

— Как он на деле — жох или мазурик?

— Так себе... Скорее дилетант, чем профессионал. Всю дорогу с одной и той же пушкой работает. Это уже о многом говорит.

— Значит, с дистанции он стрелять вряд ли будет. Попытается подойти вплотную.

— Спасибо, успокоил.

— Ко мне какие претензии! Сам беду накликал... С какого времени начинать тебя пасти?

— Часов этак с шести. Когда я домой возвращаюсь.

— На живца, значит, мокрушника ловишь. — Цимбаларь подмигнул Донцову. — Собою жертвуешь. Как пионер-герой Марат Казей.

— С чего ты взял? — Донцов очень натурально изобразил недоумение.

— С того! Уж прости за откровенность, но таких, как ты, не заказывают. Ну кому ты, спрашивается, нужен?

— Меньше рассуждай, — нахмурился Донцов. — На язык вы все хваткие. Опосля себя покажешь, в деле. Давай действуй. Связь держать будем через дежурного по отделу. Не забыл еще мой адрес?

— Как можно! На память не жалуюсь. Сам буду возле твоего подъезда дежурить. Если окончательно закоченею, в гости попрошусь...

Экспертов в шутку называли «детьми подземелья», поскольку они обитали в подвальном помещении, где всегда горел свет, пахло гнилой картошкой, а в многочисленных трубах постоянно что-то журчало, то ли вода, то ли фекалии.

Масса бесспорных недостатков, проистекающих из-за столь незавидного месторасположения криминалистической лаборатории, уравновешивалась одним общепризнанным достоинством — сюда практически никогда не заглядывало начальство.

Здесь можно было и выпить не таясь, и отоспаться на антикварном кожаном диване, некогда принадлежавшем знаменитому

подпольному воротиле Оганесяну, большому любителю бриллиантов, для хранения которых и предназначался этот хитро устроенный диван-сейф.

В столь раннее время на боевом посту находился только начальник лаборатории майор Себякин, занятый составлением очередного заказного гороскопа. По непроверенным, но упорно циркулирующим слухам, звезды небесные приносили ему куда больший доход, чем звезды на погонах.

Вот и сейчас он листал какой-то написанный по-латыни манускрипт, бормоча себе под нос:

— Венера в седьмом доме... Сатурн в точке восхода... Солнце в оппозиции к Луне...

— Привет, — сказал Донцов, расчищая себе сидячее место среди монбланов книг и рукописей. — Ты в курсе, что со вчерашнего дня все старшие служб должны оказывать мне всяческое содействие? Начальник тебя предупреждал?

— Вчера предупреждал, а сегодня нет, — меланхолически ответил Себякин, мысли которого пребывали в астральных далях. — Марс покидает созвездие Овна... Намечается конъюнкция светил... Кризис, везде кризис...

— Неужели за ночь могло случиться нечто такое, что поставило под сомнение вчерашний приказ?

— Представь себе, могло... Сменились фазы Луны. Сразу две важнейшие планеты покинули дома, в которых они прежде находились. Астрологическая ситуация изменилась самым коренным образом. То, что вчера было справедливо и рационально, сегодня таковым уже не является. Будь я начальником отдела, то взял бы себе за правило подтверждать и отменять приказы ежедневно, но обязательно в соответствии с расположением звезд.

— Сейчас я наберу номер Горемыкина, и ты сам изложишь ему эту теорию. — Донцов сделал вид, что хочет снять телефонную трубку.

— Под знаком какой планеты ты родился? — уставился на него Себякин.

— Не скажу.

— Правильно. Хвалиться нечем. На тебе лежит печать восходящего Нептуна, именно восходящего, я особо подчеркиваю данное обстоятельство, и это заметно с первого взгляда. Только у тех, кто рожден под знаком этой роковой планеты, бывают такие холодные серые глаза, в которых тлеет тайный огонь порока и безумия. Могу побиться об заклад, что с юных лет ты искал скрытый смысл вещей, употреблял наркотики и интересовался

изнанкой жизни. Тебя привлекает все, выходящее за рамки реальности. В своих душевных метаниях ты доходил до края бездны, отделяющей жизнь от смерти. Ты всегда жаждал неизведанного, запредельного. Если охарактеризовать твою натуру математическим знаком, то это будет бесконечность. Друзьям и близким ты кажешься человеком уравновешенным и здравомыслящим, но это далеко не так. Внутри тебя затаились демоны извращения, противоречия и гордыни. Под знаком Нептуна родились такие великие личности, как маркиз де Сад, Жиль де Рец, известный больше как Синяя Борода, Игнатий Лойола, Наполеон, Бодлер, Распутин. Среди людей, родственных тебе по духу, много самозванцев, интриганов, мистификаторов, гнусных шутов и безответственных политиканов. Все они от природы склонны к умственным расстройствам, параличам, злокачественным новообразованиям и некоторым другим грозным недугам, которые современная медицина еще не умеет лечить. В самое ближайшее время тебя ждет саморазрушение. Жар твоей страждущей души испепелит хрупкую оболочку тела, и этот процесс уже начался.

Завершив сей зловещий монолог, майор Себякин заржал, но не как оперный Мефистофель, что было бы еще объяснимо, а как им же самим недавно упомянутый гнусный шут.

К маленьким странностям начальника криминалистической лаборатории в отделе относились снисходительно, ну что, дескать, взять с чудака и фигляра, был бы специалист хороший, но тем не менее душа Донцова тревожно трепыхнулась. Убрав за скобки цветастые гиперболы и прочую словесную мишуру, свойственную, наверное, всем самозваным провидцам, приходилось признать, что майор-астролог был во многом прав.

Сходилось многое: и стремление испытать все мыслимые пороки, и припадки пьяного безумия, и поиск потаенной сути бытия, и грех гордыни, и склонность к злым розыгрышам, и душевный кризис, и злокачественная опухоль, и уже начавшийся процесс саморазрушения.

Неужели Себякин и в самом деле умеет ворожить по звездам? Или этот скорбный перечень имеет, так сказать, универсальный характер и его можно вменить доброй половине сорокалетних мужчин?

На какое-то время позабыв о цели своего визита, Донцов удрученно произнес:

— Тебя послушать, так мне и на свет божий не следовало бы появляться.

— При таком злосчастном расположении планет — никогда! — с жаром подтвердил Себякин. — Но ведь обратно в материнское чрево тебя не вернешь. Вон какой вымахал! Приходится мириться с фактом твоего существования. Хотя горя себе и людям ты еще доставишь. Аукнется кому-то восходящий Нептун и Луна в десятом доме. Тем более при той жизненной стезе, которую ты себе избрал. В глухом скиту тебе следует скрываться, первородный грех замаливать, а не подвизаться среди добрых людей. Не твое нынче время, не твоя эпоха. Все начинания твои тщетны, а планы обречены на провал. Вытащишь из колоды червонного туза, а он на деле окажется пиковой шестеркой. Ох, не завидую я тебе, Донцов!

— Неужели всю эту галиматью тебе Нептун подсказал?

— Не он один. И Солнце, и Луна, и девять планет, и двенадцать зодиакальных созвездий, и десять домов неба, и мудрость многих поколений астрологов. — Он хлопнул ладонью по толстенному, переплетенному в кожу фолианту. — И мой собственный опыт. Пойми, Донцов, астрология изучает наиболее возвышенные и могущественнейшие феномены природы, за которыми кроются откровения высшего порядка. Это те же самые вещие слова, которые мы находим в священных книгах, только читать их дано далеко не каждому.

— Признайся честно, ты сам во все это веришь?

— Подобный вопрос изначально не имеет ответа. Верила ли в свои пророчества Кассандра? Тогда почему она не спаслась из обреченного Илиона. Или взять столь популярного ныне Нострадамуса. Если ему было открыто будущее, почему он сам прожил столь бездарную жизнь? Пророки, ясновидцы, авгуры и волхвы есть лишь рупор на службе у провидения. Не важно, верят ли они сами в то, что вещают их уста. Главное, чтобы в это поверил народ. И не только чернь, но и такие ушлые гаврики, как ты, Донцов. — Себякин вновь заржал, но на сей раз даже не как гнусный шут, а как старый жеребец, нажравшийся хмельной барды. — Лучше говори, зачем пришел.

— Ах да, — спохватился Донцов. — Заговорил ты меня совсем... Помнишь, месяца два назад у нас совершил вынужденную посадку суданский транспортный самолет?

— Что-то такое припоминаю... На нем, кажется, замороженные человеческие органы перевозили. Но биологические объекты не по моей части.

— Да нет же! Это совсем другой случай. Тем более что и орга-

ны оказались не человеческими, а обезьяньими... Я скандал с фальшивками имею в виду... Когда летчики расплатились за керосин наличной валютой, а на поверку вся она оказалась поддельной. Чуть ли не двадцать тысяч «зеленых». Ты тогда еще в экспертизе участвовал.

— Почему участвовал? Я ее в основном и проводил. Такой технической базы, как у нас, нигде нет, даже в Госбанке. А эпизод и в самом деле уникальный. Эти денежки когда-то в Ираке печатали на немецком оборудовании. Бумага подлинная. Клише безупречное. Соблюдены все элементы защиты. Не доллары, а конфетки. В любом обменнике их бы за милую душу взяли. Только ты здесь при чем?

— Нужны мне эти доллары. Позарез. Тысячи полторы, а лучше две.

— Я бы и сам от них не отказался.

— Тебе они на шкурные интересы нужны, а мне для казенного дела. Ощущаешь разницу? Если ты сам такое решение принять не можешь, посоветуйся с начальником. — Донцов пододвинул к Себякину телефонный аппарат.

— Огорошил ты меня. — Начальник лаборатории пальцем оттянул ворот сорочки, ставший вдруг тесным. — Раньше я с такими просьбами не сталкивался... Но раз надо, значит, надо. Напишешь рапорт на имя начальника, а мне оставишь расписку. Деньги надолго берешь?

— Не деньги, а фальшивые дензнаки, — поправил его Донцов. — А беру я их, честно признаюсь, навсегда, без отдачи. То есть они, конечно, где-то всплывут потом, но изымать их будут уже совсем другие стражи порядка.

— Час от часу не легче. — Себякин потянулся было к телефонной трубке, но так и не взял ее. — Грузишь ты меня, Донцов, своими проблемами. Воспитанным людям это не свойственно...

— Я жертва планеты Нептун. Интриган и мистификатор.

— Подожди, не перебивай... Святого Франциска Ассизского тоже, между прочим, угораздило под этим знаком родиться. Но ему подобные глупости в голову не приходили. Он у коллег-кардиналов фальшивые сольдо не выпрашивал.

— Слушай, звездочет долбаный, не испытывай мое терпение.

— И в самом деле, хватит бодягу разводить, — судя по тону, Себякин сдался. — В виде исключения удовлетворим твою просьбу. Это ведь и в самом деле никакие не деньги, а фантики зе-

леные. Тут можно аналогию с оружием провести. Боевой пистолет это одно, а его деревянный муляж — совсем другое.

— Браво! Это самые разумные слова, которые я от тебя сегодня слышал.

Когда со всеми формальностями было покончено и Донцов, получив в обмен на расписку пачку фальшивых долларов, уже направлялся к выходу, Себякин произнес ему вслед:

— Ты, Донцов, все же не забывай, что твой мистический знак бесконечность, а стремление познать непознаваемое это вовсе не порок, а скорее добродетель. Да и процесс саморазрушения при желании можно растянуть этак лет на тридцать-сорок.

Время уже приближалось к полудню, когда Толик Сургуч, в очередной раз покинув своего прозаседавшегося шефа, подкатил в заранее условленное место.

— Как дела? — усаживаясь рядом с ним, поинтересовался Донцов. — Был на рынке?

— Был. Угощайтесь. — Сургуч протянул пассажиру кулек жареных семечек.

— Поверили они тебе?

— Леший их знает! Те еще пауки. Глазами так и буравят. Правда, посторонних вопросов не задавали. Когда узнали, что я мента заказываю, даже развеселились. Давно, говорят, пора этих стопарей красноперых на уши поставить, а то расплодились, как тараканы, проходу не дают. Но цену заломили немалую. Аж две тонны.

— Я так и предполагал. — Донцов протянул Сургучу конверт с мздой за собственное убийство. — Вот это для бандитов... А это для тебя. Двести долларов, как договаривались, правда, рублями по курсу.

На оплату услуг Сургуча ушла большая часть денег, полученных Донцовым в качестве материальной помощи. Ну и ладно — как пришли, так и ушли.

— Когда намечается окончательный расчет? — спросил он перед тем, как распрощаться.

— В шесть часов. Возле кинотеатра «Ударник», — доложил Сургуч.

«Скорее всего, до шести вечера меня не тронут, — подумал Донцов. — Хотя гарантии нет».

ГЛАВА 7

ОХОТА НА КОНДУКТОРА

Вернувшись в отдел, Донцов через информационно-поисковую систему, имевшую доступ даже к картотеке Интерпола, навел справки о сотрудниках клиники, с которыми встречался накануне. В каждом из пяти случаев ответ был идентичный: «Компрометирующие сведения отсутствуют».

Затем он стал собираться в путь-дорогу, которую прежде беспрепятственно проделывал почти каждый день, даже на «автопилоте», и которая вдруг стала столь же опасной, как тропа Хо Ши Мина или какой-нибудь гималайский перевал.

В оружейке он получил пистолет с полным боекомплектом, чего не делал уже очень давно, и бронежилет, который раньше примерял только понарошку, во время учений.

Штука эта, тяжелая и неудобная, будучи одетой под пиджак, делала вполне приличного человека похожим на мелкого воришку, задаром отоварившегося в супермаркете. Кроме того, бронежилет оставлял открытым и горло, и пах, места в ближнем бою наиболее уязвимые.

Конечно, учитывая низкую квалификацию Ухарева, столь радикальными мерами защиты можно было и пренебречь, однако чем черт не шутит — подчас опасность представляет не только туалетный киллер, но даже туалетная проститутка. Утратишь на минутку бдительность, а она тебе откусит член или наградит какой-нибудь экзотической заразой.

С потомком фараонова племени[1], отвечавшим за захват Ухарева, он больше не встречался. Теперь ходить за Донцовым хвостиком была уже забота Цимбаларя.

В начале седьмого, когда короткие зимние сумерки уже превратились в полноценную ночь, он отправился домой, на последние деньги наняв частника с ярко выраженной кавказской внешностью. Удалой джигит, судя по всему, только недавно покинувший родные горы, по-русски понимал плохо, город не знал совершенно, а правила дорожного движения трактовал весьма своеобразно.

Изрядно потрепав нервы не только Донцову, но и всем встречным-поперечным участникам дорожного движения, он все-таки добрался до места назначения, совершив тем самым

---

[1] Фараоново племя — так на Руси называли цыган.

личный подвиг, сопоставимый, наверное, с восхождением на вершину горы Казбек.

Стоя прямо перед своим подъездом, темным, как вход в преисподнюю, Донцов осмотрелся.

Было без четверти семь. Сорок пять минут назад бандиты, в крепостной зависимости у которых состоял киллер Ухарев, получили пачку стодолларовых бумажек, в пику американскому империализму напечатанных большим другом советского народа Саддамом Хусейном.

Если исполнитель в тот момент находился где-то неподалеку, например за углом кинотеатра «Ударник» (а так это чаще всего и бывало), он уже вполне мог добраться сюда. Ведь сам Донцов постарался, чтобы покушение состоялось в короткие сроки.

Однако поблизости не было заметно ни единого человека — ни охотника на двуногую дичь, ни охотников за охотником. А уж эти-то должны были находиться здесь обязательно. Оставалось надеяться, что люди Цимбаларя умеют искусно маскироваться.

Размышляя над тем, кто именно вывернул электрические лампочки — киллер, оперативники или просто уличная шпана, частенько кучкующаяся по соседству, Донцов вошел в подъезд. Снятый с предохранителя пистолет он держал наготове, хотя от обыкновенного карманного фонарика было бы сейчас куда больше проку.

Дабы запутать потенциального противника, Донцов лифтом поднялся на шестой этаж, а уж оттуда по лестнице стал спускаться на свой третий.

Наиболее вероятным местом покушения была лестничная площадка перед его квартирой, и там действительно кто-то стоял, попыхивая в темноте сигаретой.

Донцова пробрало что-то вроде легкого озноба. Враз забыв и про боль в боку, и про предательскую слабость в членах, он большим пальцем взвел курок пистолета и осторожно двинулся вниз, готовый каждую секунду метнуться в сторону (правда, лестница давала слишком мало пространства для маневра — полтора метра между стеной и поручнем).

Огонек сигареты описал дугу, изо рта неизвестного курильщика переместившись к бедру; и знакомый сиплый голос вежливо произнес:

— Подскажите, пожалуйста, где здесь проживает Геннадий Семенович Донцов?

— В сорок пятой квартире, — ответил Донцов. — Вы, Алексей Игнатьевич, как раз напротив нее и стоите.

— Ах, это вы! — обрадовался Шкурдюк (ибо это был именно он). — А я, знаете ли, совсем растерялся. Темно у вас, как в шахте. Звоню во все квартиры подряд — никто не отвечает. Словно вымерли. Потом слышу, кто-то сверху спускается. Ну, думаю, повезло, сейчас узнаю ваш адрес. Подъезд-то я запомнил, а вот номер квартиры выяснить не удосужился.

— Чему я обязан столь неожиданным визитом? — Правая рука Донцова все еще была занята пистолетом, и ключ в замок пришлось вставлять левой. — Случилось что-нибудь?

— Не знаю, как и сказать... В общем-то, да. Вскрылись новые обстоятельства, так, кажется, пишут в детективных романах. Я вас целый день в клинике ожидал, а под вечер позвонил на службу. Говорят, вы уже домой уехали. А дать квартирный телефон отказываются. Вот я и решил вас навестить.

— Ежели так — заходите. — Донцов распахнул дверь.

Электрическая лампочка вещь немудреная. И цена ей копейки. Но как меняет мироощущение ее теплый свет. Подозрения рассеиваются, страхи отступают, и человек, которого ты совсем недавно держал на мушке, превращается в дорогого гостя.

Однако Шкурдюк от чашки чая отказался, а о рюмке водки не могло быть и речи — ключ зажигания болтался на его указательном пальце.

— Я даже раздеваться не буду. Дело минутное, — с порога заявил он. — Раньше-то, когда этот Наметкин в сознании был, он самыми разными вещами интересовался. У него и телевизор имелся, и компьютер, и маленькая библиотека. Потом, правда, пришлось все убрать... А пару месяцев назад санитарка, не та, что труп обнаружила, а другая, они посменно работают, находит под его кроватью листок бумаги. — Он стал расстегивать «молнию» на папке, которую до этого держал под мышкой. — Заинтересовало это ее. Во-первых, записи какие-то уж очень странные, простому человеку не разобрать. А во-вторых, откуда этот листок мог взяться, если посетителей никаких не было, а сам Наметкин даже на пушечный выстрел не реагирует. Не в окно же залетел! Подобрала она листок, да и забыла про него. Девичья память, как говорится. Но, когда убийство случилось, опомнилась. Ко мне прибежала. Так, мол, и так. Листок отдала. Вот, взгляните, пожалуйста...

Донцов принял из его рук стандартный лист не очень качественной бумаги, сплошь исписанный обыкновенной шариковой авторучкой. Первое, что сразу бросалось в глаза, — незнакомое начертание слов.

В правом верхнем углу вместо порядкового номера красовался частокол из вертикальных и горизонтальных линий.

Предложения имели разную длину, начинались с большой буквы и заканчивались точкой, но ни одно из них не читалось, поскольку состояло из некого лингвистического винегрета, в котором арабская вязь соседствовала с санскритом, египетскими иероглифами, скандинавскими рунами и другими знаками, не поддающимися никакой идентификации.

Встречались в тексте и русские слова, но не более одного на каждое предложение.

— Что вы по этому поводу сами думаете? — спросил Донцов, разглядывая лист со всех сторон. Сомнительное качество бумаги (что-то среднее между туалетной и упаковочной) его вполне устраивало, именно на такой рыхлой, низкосортной бумаге лучше всего сохранялись отпечатки пальцев.

— Думалка отказывается работать.

— Кто-нибудь еще это видел?

— Только я да санитарка.

— Попрошу о находке никому не говорить.

— Даже главврачу?

— Я, кажется, ясно выразился — никому. И скажите санитарке, чтобы держала язык за зубами.

— Важная, значит, улика? — Шкурдюк кивнул на лист со странными письменами.

— Возможно.

— Вот и я думаю... Тут уже не уголовщиной попахивает, а чем-то посерьезней... Вы это себе оставите?

— Да. Потребуется целый комплекс экспертиз. Почерковедческая, текстологическая, лингвистическая. Необходимо установить личность автора. Сам-то Наметкин написать это не мог.

— Не мог, — немного подумав, согласился Шкурдюк. — Тогда я, пожалуй, пойду. Время позднее. И вам пора отдыхать, и мне. Завтра заглянете к нам?

— Постараюсь, — ответил Донцов и мысленно добавил: «Если жив буду».

— Какие сведения вам к завтрашнему дню подготовить, кого вызвать? Я бы заранее расстарался.

— Сейчас подумаю... Подготовьте для меня историю болезни Наметкина и список книг, которыми он пользовался при жизни.

— Ничего этого нет! — Лицо Шкурдюка исказилось неподдельной скорбью. — Книги его давно разошлись, сейчас уже и не

припомнишь куда. А история болезни у нас на компьютере записывается. Умер человек — и его файл стирается.

— Человек не умер, его убили! — как Донцов ни старался, не смог сдержать раздражения. — Очень уж у вас все быстро делается. Трех дней не прошло, а труп кремировали, историю болезни стерли, вещи растащили. Вы меня, конечно, извините, но возникает впечатление, что кто-то заметает следы.

— Господи, о чем вы... — Казалось, еще чуть-чуть, и Шкурдюк рухнет в обморок. — Как можно нас подозревать? Для клиники это обычный порядок. Так всегда делалось. Честное слово!

— Верю, верю. — Донцов уже и сам был не рад, что повел себя чересчур резко. — Завтра встретимся и обо всем поговорим конкретно.

Он проводил Шкурдюка до самых дверей, а потом стоял у окна, дожидаясь, когда внизу вспыхнут фары и заурчит двигатель.

На улице бушевала прямо-таки арктическая метель, и тем, кто оказался сейчас в её власти, приходилось, наверное, несладко. Сказать что-нибудь за киллера Ухарева не представлялось возможным, а вот капитану Цимбаларю оставалось только посочувствовать.

Вдоволь налюбовавшись на слепую белую круговерть, столь же притягательную, как пламя костра или накат прибоя, Донцов вернулся к столу и уставился на загадочный листок, составлявший прежде часть какой-то рукописи, о чем свидетельствовала прописная буква в начале первого слова и отсутствие знака препинания после последнего.

Для чего ему передали этот листок, возникший как бы из небытия? Для того, чтобы помочь следствию или, наоборот, пустить его по ложному следу?

Дело, и раньше не казавшееся рядовым, теперь запутывалось еще больше. Вся надежда сейчас была на Ухарева. Фигурально говоря, его арест мог стать тем самым лихим ударом, которым нередко разрубается гордиев узел самого хитроумного преступления.

Но куда же в самом деле запропастилась эта тварь? Почему отлынивает от работы? Деньги-то ведь уже получены!

Донцов позвонил дежурному по отделу и поинтересовался, не подавал ли о себе вестей известный капитан Цимбаларь.

— На операции он, — ответил дежурный. — Пару раз связывался со мной по рации. Говорил, что все нормально. Только вот погода подкачала.

— Кто погоды боится, пусть идет служить в ансамбль песни и пляски внутренних войск. Тамошние артисты даже при малейшем сквозняке на сцену не выходят... Слушай, мне никто не звонил вечером?

— Звонил какой-то тип около шести. Фамилия еще какая-то странная... Не то Шкурный, не то Кожинов. Телефоном твоим интересовался. Я его, конечно, отшил. У нас, говорю, не справочное бюро.

Выходило, что Шкурдюк по мелочам не лукавил. Плюс ему за это. Один маленький плюс на целую кучу больших минусов.

Время по всем меркам было еще детское, однако донимала усталость суетного и нервного дня. Новый день тоже не обещал ничего хорошего — утром или под вечер должно было совершиться покушение. Промедление, а тем более срыв заказа могли вылезти Ухареву боком. Бандиты люди простые. Канцелярщину не признают. Выговор у них выносит ствол, а замечание — нож, любовно именуемый «кишкоправом».

Нужно было отдохнуть и набраться хоть каких-то силенок. Что ни говори, а собственная берлога — большое дело. Это даже медведи понимают.

Впрочем, сейчас покой и безопасность не гарантировала даже запертая на все замки собственная квартира. Тот, кто убил Наметкина, мог проникнуть к нему только сквозь кирпичную стену.

Ночь прошла неспокойно. Провалиться в спасительную бездну сна мешали странные шорохи и скрипы, прежде для квартиры Донцова не характерные. Один раз он даже не поленился встать с постели, чтобы с пистолетом в руках проверить туалет и ванную, но там, естественно, никого не оказалось.

Потом начали шуршать и попискивать мыши, недовольные отсутствием дармовых харчей (и откуда этим харчам было взяться, если на кухне даже холодильник стоял отключенный, а газ зажигался исключительно для кипячения воды).

«Надо будет кота завести, — подумал Донцов сквозь дрему и тут же спохватился: — А кто за ним присмотрит, если со мной что-нибудь случится?»

Промаявшись так всю ночь, он под самое утро крепко уснул и даже на телефонную трель отреагировал с большим опозданием. В такую рань мог звонить только дежурный по отделу, и это действительно оказался он.

Специфика этой профессии требовала выражений кратких и доходчивых, что и было продемонстрировано на деле:

— Куда ты запропастился? Бабу, наверное, в позу ставишь? На часы взгляни, охломон! Почему нос наружу не кажешь? Цимбаларь уже сбесился совсем! Он себе все на свете отморозил! Совесть имей!

— Все, сейчас выхожу... — Донцов принял сидячее положение и с ненавистью посмотрел на бронежилет, который легко было снимать, но ох как трудно надевать.

Итак, день начался.

Где ты, Ухарев, ау! Раз, два, три, четыре, пять — я иду тебя искать...

С погодой продолжали твориться чудеса. На этот раз для разнообразия чудеса приятные.

Метель утихла, и очистившееся небо светилось неяркой зимней синевой, которую в нынешнее время почти не пятнали заводские дымы и не перечеркивали инверсионные следы сверхзвуковых самолетов.

Под таким небом даже самого пропащего человека посещали мысли о целесообразности и величии этого мира, о смысле собственного существования, о необходимости веры, о значении надежды, о силе любви. И не все уже выглядело так мрачно, как накануне, и мнилось, что жизнь еще можно начать сначала, и совсем не хотелось вспоминать об отмеренном тебе роковом сроке.

В этом удаленном от центра спальном районе утро было наиболее хлопотливым и, если так можно выразиться, людным временем суток. Дети и взрослые спешили по своим делам, дворники убирали снег и долбили лед, возле гастронома разгружались машины с продуктами, в мусорных контейнерах копались бомжи, препираясь между собой из-за добычи.

— Смойся с глаз моих, подлюка! — по праву старожила орал один, уже успевший примелькаться в этом районе. — И чтоб я тебя здесь больше не видел! Такими, как ты, нужно землю удобрять!

Другой, пришлый и потому приниженный, что-то бормотал в свое оправдание.

Где-то среди этой разнообразной публики таились оперативники, призванные блюсти безопасность Донцова. Вполне вероятно, что здесь же ошивался и еще не опознанный киллер Ухарев.

Снег во всех направлениях покрывали свежепротоптанные

дорожки, и Донцов вступил на ту из них, которая вела к автобусной остановке. Если в течение ближайших десяти минут ничего не случится, то останется единственный вариант — вечернее возвращение со службы.

Внезапно кто-то толкнул Донцова в спину — толкнул не сильно, но резко, словно в него сослепу врезалась какая-то ранняя пташка.

Никаких подозрительных звуков он перед этим не слышал, но сразу сообразил, что это за птички-синички летают так низко над землей, и прямо по снежной целине рванул в сторону.

Следующий летун успел послать Донцову привет, чирикнув возле самого уха. Третий опять оказался молчуном, долбанув в бронежилет так, что Донцов едва удержался на ногах.

Дело принимало поганый оборот. Убийца расстреливал его, как мишень в тире, а телохранители все еще не подавали о себе никаких известий.

На бегу Донцов оглянулся. За те тридцать-сорок секунд, которые прошли после первого выстрела, в окружающем мире почти ничего не изменилось.

Дети и взрослые по-прежнему спешили куда-то. Дворники продолжали махать лопатами и тюкать ломиками. Разгоряченные работой грузчики извергали изо ртов клубы пара. Все окрест было голубым от снега и розовым от восходящего солнца.

Перемены наблюдались лишь в стане бомжей, причем перемены кардинальные.

Один стоял во весь рост, вытянув в направлении Донцова правую руку, кисть которой целиком скрывалась в пестром полиэтиленовом пакете. Легкая сизая дымка, похожая на автомобильный выхлоп, окутывала его, хотя взяться ей вроде было неоткуда.

Другой, еще недавно качавший права, присел на корточки, ошалело переводя взгляд со своего собрата на Донцова и обратно. Когда пакет под действием пороховых газов раздулся в очередной раз (самого выстрела, как и прежде, не было слышно), бомж-старожил резко выпрямился и ударил бомжа-пришельца водочной бутылкой по голове. Раздался воистину боевой звук — звонкий и хрясткий.

Стрелок осел в снег, сложившись, как перочинный ножик, почти пополам, а Цимбаларь с сотоварищами все не появлялся. Бомж, откровенно говоря, спасший Донцову жизнь, вряд ли принадлежал к славной когорте стражей правопорядка — эти

при выполнении оперативных заданий пустой стеклотарой не пользуются.

Впрочем, выяснить, что с ними такое приключилось — уснули, убиты, спились, замерзли до смерти, подхватили кишечное расстройство, — было как-то не ко времени. Оставалось надеяться лишь на самого себя.

Выхватив пистолет и до поры скрывая его в рукаве пальто, Донцов рысью двинулся к мусорным бакам. Утреннее солнце, отражаясь в сотнях оконных стекол, предательски слепило глаза.

В данный момент Донцова интересовал не столько сам стрелок (дойдет очередь и до него), а валявшийся на снегу полиэтиленовый пакет с пистолетом. Он хотел было крикнуть своему спасителю: «Отбрось пушку подальше!» — но воздуха в легких хватило только на то, чтобы издать утробное мычание.

Последние двадцать шагов Донцов проделал буквально на нервах — несколько минут бурного стресса сожгли энергию, которой должно было хватить на целый день.

Вблизи Ухарев оказался совершенно заурядным мужичонкой, приметным разве что рыжей клочковатой бородой да плешивым черепом (кстати, на розыскной фотке борода отсутствовала, а шевелюра, наоборот, присутствовала). Узнать его можно было исключительно по вздернутому носу а-ля Николай Кровавый, на форму которого не смогло повлиять ни беспощадное время, ни скотские условия существования.

Ухарев уже приходил в себя и тыльной стороной ладони размазывал по лицу кровь, изливавшуюся из раны над ухом. Угоди бутылка немного в сторону — и удар мог бы оказаться смертельным. Вот это был бы сюрприз!

Первым делом Донцов подобрал пакет, иссеченный пулями и пахнувший пороховой гарью. Внутри находился видавший виды пистолет «ТТ», к стволу которого с помощью скотча и изоленты была присобачена пивная жестянка, набитая войлочными прокладками. Там же перекатывались и стреляные гильзы.

— Это он в тебя, что ли, пулял? — поинтересовался бомж, продолжавший сжимать в руке отбитое бутылочное горлышко.

— В меня, — прохрипел Донцов. — Спасибо, что выручил.

— Свои люди — сочтемся. Материальный урон, конечно, невелик. — Бомж бросил в мусорный бак то, что осталось от бутылки. — А вот моральный тебе придется возместить. Я, честно сказать, от страха чуть в штаны не наложил. Первый раз в такую трясомудию встрял.

— Возмещу, так и быть... — ответил Донцов, обшаривая карманы Ухарева.

Добычу его составили самодельный нож-выкидыш, запасная обойма, горсть патронов россыпью, набор отмычек и потертый бумажник, где среди всего прочего оказались и десять зелененьких бумажек с портретом изобретателя молниеотвода Бенжамина Франклина — половина суммы, в которую была оценена жизнь майора Донцова.

— Богатенький был гусь, — с завистью произнес бомж. — А гумозником прикидывался.

— Это тебе в счет возмещения морального ущерба. — Донцов вытряхнул из бумажника все отечественные дензнаки. — И кутнешь от души, и штаны новые купишь, если старые отстирать не получится.

— А баксами с ангелом-хранителем слабо поделиться? Все себе хочешь зажилить?

— Фальшивые они. — Для наглядности Донцов разорвал одну стодолларовую купюру пополам.

— Как фальшивые? Не может такого быть! — очнулся Ухарев, но, получив рукояткой пистолета по зубам, снова впал в прострацию.

— За что он тебя? — осведомился чумазый «ангел-хранитель», подсчитывая свалившиеся с неба денежки. — Принципиальные разногласия или просто чувиху не поделили?

— Я этого хунхуза первый раз в жизни вижу. Заказали меня. Вот за эти самые паршивые бумажки... Ты мне лучше крепкую веревку раздобудь.

— Кончать его будешь? — деловито осведомился бомж. — Учти, я соучастником быть не собираюсь.

— Не привык я руки о всякое дерьмо марать. Доставлю куда следует. Пусть суд его судьбу решает.

— А ты случайно не из сучьего домика будешь? — Бомж сразу помрачнел, наверное, сожалея о содеянном.

— Есть такое дело, — признался Донцов. — Дождусь я веревку или нет?

— Наручники надо при себе носить, — буркнул бомж, копаясь в мешке, где хранилась его добыча. — Веревка будет, но за отдельную плату...

Донцову не осталось иного выхода, кроме как доставить крепко связанного Ухарева в свою квартиру — местонахождение ближайшего таксофона он, честно сказать, не знал, а сил

на то, чтобы конвоировать задержанного в отдел, явно не хватало.

Еще на лестничной площадке Донцов услышал, как надрывается его телефон.

Втолкнув Ухарева внутрь, он заставил его лечь на пол лицом вниз и только после этого снял трубку.

Звонил Цимбаларь, находившийся в состоянии крайнего раздражения:

— Ты почему из дома не выходишь? Мы со вчерашнего вечера под твоими окнами дежурим! Окоченели, как цуцики! Маковой росинки во рту не имели!

— Подожди, не разоряйся, — прервал его Донцов. — Объясни толком, где вы дежурите? По какому адресу?

— Только у меня и проблем, что твой адрес помнить! Сам знаешь, я зрительной памятью пользуюсь. И твой дом ни с каким другим не спутаю. Ты мне однажды даже ключи от своей квартиры уступил.

— Так это когда было! Три года назад! — Донцов наконец-то понял, в какую рискованную историю он по вине Цимбаларя едва не вляпался. — Я адрес давно сменил. В той квартире сейчас совсем другие люди живут. Недоносок ты, Саша, и это не оскорбление, а диагноз.

— Неужели мы маху дали? — Цимбаларь с надрыва сразу перешел на шепот.

— Еще какого! Этот гопник четыре выстрела в меня успел сделать. Только бронежилет и спас. Записывай мой новый адрес и срочно жми сюда.

— Говори, я и так запомню, — произнес Цимбаларь совсем уже убитым тоном.

— Ах да, у тебя же идеальная память... Улица Молодежная, дом шесть, квартира сорок пять. Заходите без звонка, я дверь не запирал.

Теперь пора было заняться и Ухаревым, который вел себя сейчас скромнее школьницы, решившей расстаться с невинностью, даже пощады не просил.

Донцов не без труда перевернул киллера на спину (был он хоть и тщедушен, да жилист) и вполне дружелюбно произнес:

— Привет, снайпер.

— Здрасьте, — ответил Ухарев и тут же заканючил: — За что избили? Я мимо шел и никого не трогал. Стыдно над нищим издеваться. Отпустите Христа ради.

— Не придуривайся, Кондуктор. — Донцов продемонстри-

ровал ему пакет с трофеями. — На шпалере остались твои пальчики. Сам ты давно в розыске. Псих тебе, кстати, привет передает. Давно о встрече мечтает. Так что не лепи горбатого.

— Откуда кликуху мою знаешь, начальник? — Ухарев вылупился на Донцова.

— Я и портрет твой у сердца храню. — Он продемонстрировал розыскную фотку. — Красивый ты раньше был. Кавалер на загляденье. А теперь зарос, облысел, опаршивел. Смердишь, как козел. Пора образ жизни менять. Теперь тебе и парикмахер будет дармовой, и баня бесплатная.

— Ох, зря я на это дело согласился, — с горечью молвил Ухарев. — Знал ведь, что на мента иду. Чуяло сердце, что вилы мне светят, да обратный ход уже поздно было давать.

— А ты откупиться попробуй.

— Средств не имею. А в долг ты не поверишь.

— Конечно, не поверю. Но облегчить участь могу. Не за так, конечно.

— Сдавать корешей не буду, сразу предупреждаю! — Ухарев заелозил по полу, словно змея, сбрасывающая кожу.

— Воспринимаю эти слова как неудачную шутку. Надо будет, ты все сдашь. Даже отца родного. Сам понимаешь, взяли тебя без свидетелей, допрашивают без протокола. Никакими процессуальными формальностями я не отягощен. Налью сейчас кипятка в тазик и буду там твой елдак полоскать. Когда с него последняя шкурка слезет — иначе запоешь. Есть и другие способы развязывать язык, сам знаешь. А если перестараюсь, тоже не беда. Ты ведь, кроме уголовки, никому не нужен. Найдут завтра на свалке твой изувеченный труп — и перекрестятся от радости. Одной паршивой гадиной в этом мире меньше стало. Поэтому не зли меня. Ты расколешься еще прежде, чем сюда заявятся мои дружбаны, которые с тобой цацкаться тем более не станут. Да и вопросик у меня имеется самый что ни на есть безобидный.

— Интересно будет послушать, — пробубнил Ухарев.

— С какой целью осенью прошлого года ты ночью проник в здание психиатрической клиники, расположенной на улице Сухой?

— Вопросик и в самом деле плевый. — Ухарев, выискивающий в словах Донцова какой-нибудь подвох, от умственного напряжения даже засопел. — При тех делах, которые ваша контора на меня вешает, это просто детская шалость... Не думал даже, что тот случай когда-нибудь всплывет.

— В это заведение людей силком доставляют. А ты сам полез. Вот и хочется знать, какой ты там интерес имел.

— Какой интерес может иметь в чужой хате человек моей специальности... Наняли меня. За хорошие денежки. Вальта одного убрать. Но дело не выгорело.

— Об этом потом... Какого конкретно вальта? Расскажи подробнее.

— Я его паспортными данными не интересовался. Мне схему дали. И номер палаты. Пришить его, говорят, проще простого. Он и так не жилец на этом свете.

— Как ты проник в здание?

— На первом этаже окно в столовке было не заперто. По-моему, третье слева от угла. А внутри я отмычками действовал.

— Этими? — Донцов продемонстрировал один из своих трофеев.

— Ими, родимыми, — признался Ухарев. — Ручная работа, оружейная сталь.

— А как мимо дежурной медсестры пройти собирался? — продолжал допрос Донцов.

— Припугнул бы ее. Но без всякого насилия. Такое было пожелание.

— Еще какие-нибудь пожелания у заказчиков были?

— Дай подумать... Стрелять надо было в сердце, и только в сердце. Никаких контрольных выстрелов... И еще предупреждали, что следить за мной будут. От первой минуты и до последней.

— Каким образом?

— Вот это я не знаю. На пушку, наверное, брали. Никакой слежки за собой я как раз и не заметил.

— Заказ через кого получал?

— Через братву, как обычно. — Ухарев скривился, как бы заранее предчувствуя крупные неприятности (хотя и так вляпался дальше некуда). — Не надо бы, начальник, об этом...

— Надо. Выкладывай фамилии, клички, приметы.

— Я с ними особо не якшаюсь. Встретились, разошлись... В тот раз со мной такой здоровый бугай базарил. Еще заячья губа у него. Зовут, кажется, Медиком. Второй пожиже — Ганс. Усики фашистские носит. Но в последнее время их что-то нигде не видно.

— А когда братва у заказчика деньги брала, ты разве не ходил позырить? — Вопрос был задан как бы между прочим, хотя ответ на него интересовал Донцова больше всего.

— Ходил, конечно, — не стал упираться Ухарев. — У нас так

заведено. А вдруг мне личность этого фраера знакома. Правда, близко не подваливал. Издали зенки пялил.

— Опиши мне заказчика.

— Какая-то макака желтомордая. Китаец или узбек. Годами молодой. Особых примет никаких. Он мурло свое косоглазое все время в шарф прятал... Но тебе, начальник, я как на духу скажу. Авось и зачтется. На самом деле это баба была. Или девка. Хотя и переодетая под мужика.

— Почему ты так решил?

— Не держи меня за лопуха. Я бабу в любом обличье опознаю. Даже китайскую.

— Где схема, которую ты получил перед походом в клинику?

— Сжег к чертовой матери. Мы архивы не заводим.

— Почему ты не выполнил задание?

— Честно сказать, заблудился. Темно. Клиника огромная. Все коридоры одинаковые. Шастал, шастал, а потом на какую-то дрючку напоролся. Она хай подняла до небес. Прибежал амбал с дубинкой. Пришлось его пугнуть из пушки. Уходил опять через столовку. Окно за собой притворил.

— А что киллеру бывает, если он заказ не выполнил?

— Неприятности бывают... Мою долю братва отобрала и еще по шее накостыляла. Но, поскольку заказчик никаких претензий не предъявил, скоро все заглохло.

— Сколько тебе в тот раз перепало?

— Тысяча баксов, как и сейчас. Только те настоящие были. — Ухарев вздохнул. — Хотя сначала мне они не понравились. Все новенькие, одной серии и номера друг за другом идут. Потом в одном обменнике у знакомой проверил — подлинные. Пусть Медик и Ганс ими подавятся!

В это время лязгнула входная дверь и в прихожей послышался топот многих ног.

— Вот и прибыли за тобой архангелы небесные, — сказал Донцов. — Отдохнешь пока на шконке. Если что-нибудь интересное вспомнишь — просигналишь мне.

Противоестественное чувство зависти к этому давно утратившему человеческий облик существу вдруг охватило его.

Ухарев был отвратителен как в физическом, так и в нравственном плане, и впереди его не ждало ничего хорошего — неподъемный срок в условиях, где долго не выдерживают даже сторожевые псы, да изощренные издевательства со стороны сокамерников, которые к наемным убийцам относятся еще хуже, чем

к так называемым амурикам, преступникам, осужденным за изнасилование малолеток.

И тем не менее этот выродок рода человеческого имел прекрасный аппетит, не страдал от бессонницы, не мочился кровью, не задыхался от малейшего физического напряжения и вообще отличался отменным здоровьем, нынче как бы уже и не нужным ему.

Грех говорить, но Донцов безо всяких оговорок променял бы операционный стол, маячивший ему в самом ближайшем будущем, на тюремные нары, светившие Ухареву.

С нар тоже возвращаются не всегда, но все же чаще.

ГЛАВА 8

...САНИТАРКА, ЗВАТЬ ТАМАРКА...

Когда Ухарева, сменившего обрывок грязной бельевой веревки на элегантные никелированные браслеты, увели вниз, Цимбаларь, оставшийся один на один с Донцовым, проникновенно произнес:

— Я наперед знаю, что ты мне хочешь сказать, и заранее согласен с каждым словом. Поэтому предлагаю считать, что ты уже облегчил душу, а я покаялся. Инцидент, как говорится, исчерпан. Но поскольку вина моя действительно неизгладима, можешь зачислить меня в категорию вечных должников. Такая постановка вопроса тебя устраивает?

— Рад, если до тебя что-то действительно дошло. — Донцов, успевший испытать с утра столько треволнений, сейчас был настроен миролюбиво. — Но учти, твоим обещанием я не премину воспользоваться. Посмей только от него откреститься. Сейчас возвращайся в отдел и передай Кондакову вот это. — Он протянул Цимбаларю лист с загадочным текстом, уже упакованный в прозрачный пластик.

— Криптограмма какая-то, — с видом знатока констатировал проштрафившийся капитан.

— Скажи еще — кроссворд... Пусть Кондаков выжмет из этого максимум возможного. Главное, дословный перевод, если он вообще получится. Желательно также с комментариями специалистов. Все виды экспертизы. Отпечатки пальцев. Ну и так далее. Срок исполнения — сутки.

— Я эту филькину грамоту ему, конечно, передам, но сроки и успех не гарантирую. — Цимбаларь с сомнением рассматривал

странные письмена. — Такие закорючки даже самый прожженный полиглот не разгадает. В каком только дурдоме ты это нашел...

Донцов промолчал, несколько ошарашенный интуицией коллеги. Ткнув, что называется, пальцем в небо, он угодил в самую точку.

С улицы призывно просигналила оперативная машина.

— Ты здесь остаешься или с нами в отдел поедешь? — спохватился Цимбаларь.

— Ни то и ни другое. Подбросьте меня до метро.

До поры до времени, памятуя наставления полковника Горемыкина, он предпочитал не упоминать о клинике профессора Котяры даже при сослуживцах.

Однако оказавшись перед входом в метро, похожим одновременно и на пасть библейского левиафана, и на парадные ворота крематория, Донцов воочию представил себе, какие тяготы ожидают его сначала на коварной ленте эскалатора, где если и не затолкают, то обязательно оттопчут ноги, а потом в тряском заплеванном поезде, вагоны которого бездомные горожане, промаявшиеся до утра на морозе, используют теперь вместо ночлежки, — представил и передумал спускаться под землю, решив воспользоваться услугами такси, благо, что деньги на транспортные расходы еще имелись.

Из двух разных мест, которые нужно было посетить в первую очередь — психиатрической клиники и районного отделения милиции, — Донцов без колебания выбрал последнее. По пути он не поленился заскочить в магазин, где отоварился парой бутылок водки.

Уже из дежурки было слышно, как на втором этаже опер Псих препирается с кем-то, явно облеченным реальной властью. Вопрос касался защиты чести и достоинства всех взятых гамузом сыскарей, которых некоторые некомпетентные и скудоумные деятели, чье место в лучшем случае — гондонная фабрика, пытаются использовать вместо затычек для всех дыр, существующих в отечественной правоохранительной системе.

Перепалка, которая, судя по накалу страстей, могла перейти в перебранку или даже в перестрелку, к счастью, закончилась демонстративным хлопаньем дверей.

В такой буквально наэлектризованной обстановке Донцову полагалось бы немного выждать, но уж очень поджимало время.

Впрочем, опер Псих встретил его столь же радушно, как и в

прошлый раз, да и разговор повел в прежней манере, словно они расстались только недавно.

— Нашли дурачков! — во весь голос возмущался он, явно рассчитывая на сочувствие Донцова. — Командиры, мать вашу в перегиб! Какую-то операцию «Невод» придумали. Думаешь, браконьеров ловить на реке? Дудки! Бабок гонять, которые паленными сигаретами торгуют.

— Не принимай близко к сердцу, — сказал Донцов тем тоном, который обычно именуется «примирительным». — Я к тебе с новостями. Сразу две, и обе хорошие.

Естественно, что под новостями имелись в виду водочные бутылки.

— Жаль, рановато ты явился, — молвил Псих, убирая подношения в сейф.

— Если надо, я могу и вечерком заглянуть.

— Не-е, до вечера они не доживут. Максимум до обеда, — подозрительный блеск в глазах опера и странный запашок из уст косвенно подтверждали эту версию.

— Ну и на здоровье... Ты мне лучше вот что подскажи. Интересуюсь я парочкой бандюг. Они обычно на вашем рынке ошиваются. Одного Медиком зовут. Якобы имеет врожденный дефект верхней губы. Другой — Ганс. Под фашиста косит.

— Конечно, знаю. Известные боевики. А тебе они зачем? Засветились где-нибудь?

— Лично я на них никаким компроматом не располагаю. Но потолковать за жизнь хотелось бы. — Арест Ухарева Донцов пока решил держать в тайне. — Можно это устроить?

— Нельзя, — категорически заявил Псих.

— Почему?

— По кочану! — Он сунулся в сейф, где нашли себе приют скромные, но своевременные дары Донцова, и извлек на свет божий внушительных размеров фотоальбом в бархатном переплете. — Вот полюбуйся. Это мы специально для дорогих гостей держим. Типа районной администрации и потенциальных спонсоров. Некоторых очень впечатляет.

Внимание привлекали уже первые снимки, яркие и глянцевые, изображавшие в разных ракурсах голую дебелую даму, удушенную собственным лифчиком, однако Псих со словами: «Это тебе неинтересно» — стал быстро перелистывать альбом в поисках нужной страницы.

Вниманию Донцова было представлено фото уже иного содержания — на полу какого-то питейного заведения, о чем сви-

детельствовали превращенные в бой разнообразные предметы сервировки, лежали вальтом двое мужчин в черных кожаных куртках, причем тот, кто находился на переднем плане, закинул ногу в задравшейся штанине на грудь товарища, который, в свою очередь, как бы пытался ее сбросить.

Если бы не огромная кровавая лужа, служившая фоном для этой любопытной жанровой сцены, и не многочисленные пулевые отверстия, обезобразившие могучие тела обоих молодцов, их можно было бы принять за крепко уснувших выпивох.

— Это Андрей Петухов, он же Медик, и Вячеслав Кудыкин, он же Ганс, — пояснил Псих.

Действительно, среди всего прочего на снимке присутствовали и гитлеровские усики, и заячья губа.

— Когда это случилось? — поинтересовался Донцов.

— Под Рождество. Ты разве не слышал? Бойня в загородном кафе «Дед Мазай и зайцы». Все газеты об этом писали.

— И кто их?

— Азеры.

— За что?

— Долгая история.

— А если в двух словах? Расскажи.

— Расскажи да расскажи! Что я тебе — акын какой-нибудь? Народный сказитель. Этот, как его... джамбул? — вышел из себя Псих, но, покосившись на полуоткрытый сейф, в глубине которого обнадеживающе поблескивало бутылочное стекло, сразу сменил гнев на милость. — Ну ладно, если только ради дружбы... Держали азеры в районе Ботанического сада что-то вроде подпольного тотализатора. Ставки, правда, принимали только от своих. Называлась эта контора — закрытое акционерное общество «Теремок».

— Так и называлось? — удивился Донцов.

— Именно. Мы о них, конечно, кое-что знали, но руки не доходили. Нет ничего хуже, чем с этническими группировками связываться. Все друг другу свояки, круговая порука. Стукача не завербуешь, кукушку не внедришь... Короче, случилась в этом «Теремке» беда. Кто-то увел из сейфа все наличные денежки, а это без малого сто тысяч баксов. Десять пачек в банковской упаковке со штампом федеральной резервной системы США. И что характерно, случилось это средь бела дня в хорошо охраняемом здании, куда посторонним доступ, в общем-то, заказан. О существовании этого сейфа знали только двое — хозяин «Теремка» Гаджиев и кассир, тоже Гаджиев, кстати, двоюродные братья.

Ключ от сейфа кассир прятал вообще в таком месте, которое было известно ему одному. На обед все эти инородцы, естественно, отбывали в свой излюбленный кабак «Баку». В тот день, вернувшись в офис, братья Гаджиевы убедились, что деньги в сейфе отсутствуют, хотя час назад еще были на месте. Ключ находился там, где ему и было положено. Я все это знаю от одного приятеля, который с азерами сотрудничал в частном порядке. Сам понимаешь, что официального заявления о краже они не сделали.

— Прости, что перебиваю. Мог кто-нибудь подсмотреть, куда прячет ключ кассир?

— Мог. Человек-невидимка! Повторяю, никто из посторонних в эту комнату не заходит. Окошечко крошечное, под самым потолком. Напротив пустырь. Но тот, кто прибрал деньги, знал и про ключ, и про сейф, и про то, что накануне туда положили сто тысяч.

— Соучастие кассира исключается?

— Зачем ему? Он и так распоряжался этими деньгами, как хотел. Как-никак, второе лицо в «Теремке».

— Испарились, выходит, денежки.

— Нет, тут другое. На сейфе, ключе и входной двери были обнаружены пальчики человека, к «Теремку» никакого отношения не имеющего.

— Входная дверь была взломана?

— Ее Гаджиев-младший просто не запирал. Не считал нужным. Забыл сказать, что сейф имел еще и цифровой код, но и это не спасло денежки.

— А какое отношение к краже из «Теремка» имели базарные боевики Медик и Ганс? — Донцов кивнул на раскрытый альбом с душераздирающими снимками.

— Номера пропавших банкнот были азерам известны. Через своих людей они установили наблюдение за всеми местами, где сбывается валюта. И скоро им стало известно, что Медик сбросил в одном обменнике пять сотен тех самых долларов. Позже Ганс расплатился в биллиардной еще одной сотенной бумажкой.

— И начались разборки, — подсказал Донцов.

— Само собой. Но ни на один из своих вопросов азеры вразумительного ответа так и не получили. Страсти накалялись, и на очередной стрелке наших бандюганов просто расстреляли. Их кореша в долгу не остались и выбили почти весь персонал «Теремка» вместе с братьями Гаджиевыми. Потом было еще несколько схваток, но в конце концов кто-то из авторитетов их за-

мирил. Кража из сейфа так и осталась нераскрытой, а наша картотека сразу похудела на дюжину фигурантов.

— Неужели никто из посторонних в тот день не заходил в «Теремок»? Почтальон, пожарный инспектор, водопроводчик?

— Почему же! Заходили. Несколько девок. Работу искали. Азеры, сам знаешь, к девкам лояльно относятся. Их всех камеры слежения зафиксировали.

— Не было там одной посетительницы с ярко выраженной восточной внешностью?

— Чего не знаю, того не знаю.

— Видеозаписи с камер слежения случайно не сохранились?

— Какое там! Во время последней разборки пожар случился. От «Теремка» голые стены остались. Скоро там фитнес-центр откроется, а проще говоря, бордель. Капитальный ремонт полным ходом идет.

— А где сейчас отпечатки пальцев, которые твой приятель снял с ключа и сейфа?

— Даже затрудняюсь сказать. Расследование-то производилось неофициальное, без ведома руководства. Проще говоря, купился он за хорошие бабки. Но лично я передал бы отпечатки в нашу картотеку. Не исключено, что они где-нибудь всплывут.

— Поточнее узнать нельзя?

— Нельзя, а главное, не у кого. Пропал этот пенек без вести. Теперь весны ждем. Где-нибудь в марте—апреле вытает из-под снега. А ведь предупреждали его, чтобы со всякими отморозками не водился. На двух стульях не усидишь даже при наличии очень широкой задницы.

На том они и расстались. Донцову предстоял визит в клинику профессора Котяры, а оперу Психу — участие в операции «Невод».

На сей раз Шкурдюк поджидал Донцова прямо на проходной, как будто бы никаких иных забот вообще не имел.

— Сегодня вы прекрасно выглядите! — с ходу заявил он. — Просто цветете!

— Дерьмо тоже цветет, — мрачно пошутил Донцов. — Когда плесенью покрывается.

На территории клиники почти ничего не изменилось. Дворник Лукошников шаркал метлой по асфальту в дальнем конце двора. Стая ворон, громко перекаркиваясь, обследовала мусорные контейнеры, которые за истекшие сутки коммунальщики так и не удосужились вывезти.

— Зайдем в столовую, — сказал Донцов, когда они приблизились к третьему корпусу.

— Обед еще не готов, но думаю, что от завтрака что-нибудь осталось, — поспешил заверить его Шкурдюк.

— Всякие разговоры о еде прошу прекратить раз и навсегда, — отбрил его Донцов. — Я не кормиться сюда хожу, а дело делать.

Окно, о котором упоминал Ухарев, находилось не в обеденном зале, а на кухне, где на огромных электроплитах что-то жарилось, парилось и кипело, распространяя резкие ароматы заморских специй и отечественного комбижира.

Для Донцова подобная атмосфера была чревата если не обмороком, то по меньшей мере приступом рвоты, но, поскольку на него со всех сторон пялился местный персонал, преимущественно сисястый, задастый и румянощекий, он решил во что бы то ни стало держаться гоголем.

Демонстративно пренебрегая помощью чересчур услужливого Шкурдюка, он взобрался на подоконник, вскрыл распределительную коробочку, посредством которой сигнализация оконной рамы подсоединялась к общей цепи, и убедился, что все датчики отключены. Причем сделано это было не абы как, а со знанием дела.

Никак не прокомментировав свое открытие, Донцов спрыгнул с подоконника (внутри что-то екнуло, как у запаленной клячи) и завел со Шкурдюком следующий разговор:

— Кто из работников клиники имеет доступ на кухню?

— Повара, раздатчицы, санитарки, — начал перечислять заместитель главврача. — Ну и представители администрации с инспекционными целями.

— А дворники, грузчики?

— Грузчики у нас штатным расписанием не предусмотрены, девушки сами справляются. А дворнику здесь делать нечего. Он и в столовую-то не ходит. Питается всухомятку тем, что приносит с собой.

— Ясно, — сказал Донцов, припомнив эпизод с кормлением ворона.

Дальнейшие их контакты происходили уже в кабинете Шкурдюка, без посторонних глаз.

— Вы знаете всех сотрудников клиники? — спросил Донцов, безуспешно пытаясь сосчитать золотых рыбок, снующих в аквариуме.

— Как же иначе! Я с каждым собеседование провожу. И ежеквартальный инструктаж по технике безопасности.

— Нет ли у вас женщины с характерной восточной внешностью, предположительно китаянки или узбечки, хрупкого телосложения, невысокого роста и сравнительно молодых лет?

— Есть одна такая, — даже не задумываясь, ответил Шкурдюк. — Только не китаянка и не узбечка, а бурятка. Тамара Жалмаева. Санитарка.

— В какую смену она работает?

— Сейчас выясним... — Шкурдюк снял трубку внутреннего телефона. — Попросите, пожалуйста старшую медсестру... Ирина Петровна, еще раз здравствуйте. Посмотрите по графику, когда работает Жалмаева... Что?.. И давно?.. Почему меня в известность не поставили?.. Хорошо, разберемся...

— Случилось что-нибудь? — Сердце Донцова замерло, пропустив один такт, что всегда случалось с ним, когда в наугад заброшенную сеть вдруг попадалась крупная, а главное — желанная добыча.

— Маленькая неувязочка. — Шкурдюк от смущения даже запыхтел. — Эта Жалмаева уже четвертый день не выходит на работу и не отвечает на телефонные звонки. Заболела, наверное. Нынче грипп людей так и косит.

— Где ее личное дело?

— В отделе кадров. Принести?

— Не надо, я сам схожу.

В тоненькой папочке, выданной Донцову инспектором-кадровиком, женщиной, причесанной и накрашенной по моде тридцатилетней давности, находился подлинник диплома об окончании медучилища, трудовая книжка, напечатанное на машинке заявление о приеме на работу и ксерокопия титульной страницы паспорта. Все документы были выданы на имя Тамары Бадмаевны Жалмаевой, 1978 года рождения, уроженки поселка Селендум, одноименного аймака.

Фотография изображала серьезное девичье личико, с носом пипочкой, раскосыми глазенками и гладко зачесанными назад черными волосами. До этого Донцов почему-то представлял себе буряток несколько иначе.

— На работу она сама устраивалась? — спросил Донцов.

— Сама, — ответила кадровичка. — Хотя обычно к нам по рекомендациям приходят.

— Не говорила, почему ее именно к вам потянуло?

— Я уже и не помню. Она вообще-то не шибко разговорчивая была.

— Странно... Имея диплом медсестры, согласилась работать санитаркой.

— В медсестрах у нас недостатка нет. А санитарок всегда не хватает. Я предложила, она и согласилась.

— Документы, похоже, в порядке... А как у нее с пропиской?

— Тоже все в порядке. Я паспорт сама проверяла. Адрес имеется в заявлении.

— Кстати, у вас все заявления на машинке печатаются?

— Дело в том, что кисть правой руки у нее была забинтована. Дескать, обожгла. Делать нечего, я заявление напечатала, а она подписала.

— Скорее, подмахнула, — с иронией произнес Донцов, сравнивая подписи Жалмаевой на заявлении и на паспорте. — Сходство весьма отдаленное.

— Я же говорю, рука у нее болела. — Кадровичка, не привыкшая, чтобы ей перечили, нахмурилась.

— Какие обязанности у санитарки? — продолжал выспрашивать Донцов.

— Самые разнообразные. Уборка, стирка, помощь медсестре, обслуживание пациентов и так далее. Хватает, в общем-то, обязанностей. Работа хлопотная. Не каждая на нее согласится.

— Как она характеризовалась?

— Так себе. Ни рыба ни мясо. Замкнутая. Работала без замечаний, хоть лишнего на себя не брала.

— По-русски хорошо говорила?

— Нормально. Без акцента, хотя как-то чудно... — Кадровичка наморщила лоб, подбирая нужное слово. — Как кукла. Есть, знаете ли, такие говорящие куклы. Говорит одно, а на лице написано другое. Или вообще ничего не написано.

— Я временно изымаю эти документы. — Донцов сложил все бумаги обратно в папку. — В принципе можно составить протокол изъятия. Но у нас с руководством клиники существует джентльменское соглашение, позволяющее избегать пустых формальностей. Не так ли, Алексей Игнатьевич?

— Да-да, конечно! — охотно подтвердил Шкурдюк, лицо которого выражало горестное недоумение, свойственное детям, впервые столкнувшимся с лицемерием взрослых.

— В заключение я хотел бы осмотреть все вещи и предметы, которыми в последнее время пользовалась... — он заглянул в папку, — Тамара Бадмаевна Жалмаева. А также ее шкафчик в

раздевалке. Кроме того, прошу предъявить мне все журналы, ведомости и другую документацию, где имеются ее подписи.

— Эх, дали маху, — скорбно вздохнул Шкурдюк. — Пригрели на груди змеюку...

— Попрошу не делать скоропалительных выводов, — возразил Донцов. — По-моему, я не сказал ничего такого, что могло бы бросить тень на вашу отсутствующую сотрудницу.

Покидая клинику, он мурлыкал себе под нос давно забытую песенку, ни с того ни с сего вдруг всплывшую в памяти:

Бежит по полю санитарка,
Звать Тамарка.
В больших кирзовых сапогах
На босу ногу,
Без размера,
Украсть успела, вот нахалка...

Уже к вечеру того же дня выяснилось, что паспорт, ксерокопия которого была изъята в клинике, скорее всего подлинный, хотя и с переклеенной фотографией. Его вместе с другими вещами, имевшимися в дамской сумочке, украли два года назад у гражданки Жалмаевой, прибывшей из родной Бурятии для поступления в консерваторию, о чем имелось соответствующее заявление потерпевшей.

Диплом и трудовая книжка оказались фальшивками, правда, сработанными на вполне приличном полиграфическом уровне. Как сообщил начальник криминалистической лаборатории майор Себякин, такого добра повсюду хоть пруд пруди. В каждом переходе метро предлагают, на каждом рынке. Мелких торговцев ловят пачками, но организаторы пока неизвестны. Встречаются фальшивки, исполненные на настоящих госзнаковских бланках.

— И сколько такое удовольствие может стоить? — поинтересовался Донцов.

— От двухсот до пятисот долларов, если брать в общем. А может, и дешевле. Это ведь не диплом Бауманского училища и не удостоверение члена правительства... Почему пригорюнился?

— Жалею потраченное впустую время. И зачем я только пять лет в институте мозги сушил! Купил бы себе сейчас готовый диплом — и вся недолга.

— Ушлые люди так и делали, — охотно пояснил майор-астролог. — Я когда-то секретный приказ читал про одного грузина, который дослужился до полковника железнодорожных войск, даже не владея грамотой. Правда, это еще при Хрущеве было.

— Но все же до генерала не дотянул.

— Дотянул бы, да жена сдала, которая за него прежде всей писаниной занималась. На почве ревности сдала... Между прочим, генералу или маршалу грамота вообще без надобности. Было бы горло луженое. Не буду называть фамилии, но таким примерам несть числа...

По адресу, указанному в заявлении лже-Жалмаевой, проживали совсем другие люди, никогда не водившие знакомства с бурятами, а тем более с бурятками. Номер телефона, который она сообщила при поступлении на работу, вообще не существовал в природе.

Из дюжины подписей, оставленных на различных документах, не было и двух схожих между собой.

«Как курица лапой нацарапала», — так прокомментировал эти каракули майор Себякин. Просто удивительно, что никто в клинике не обратил на это внимания раньше. Впечатляли и результаты дактилоскопической экспертизы. Кожные узоры, оставленные самозванкой на различных бытовых предметах в клинике, соответствовали тем, что имелись на загадочной рукописи, полученной Донцовым от Шкурдюка.

Более того, аналоги нашлись и в центральном криминалистическом архиве. Эти были поименованы так: «Дактилоскопические отпечатки внутренней поверхности ногтевых фаланг большого и указательного пальцев правой руки, принадлежащие неизвестному лицу, причастному к краже денежных средств из сейфа ЗАО «Теремок». Пропавший без вести коллега опера Психа хоть и не брезговал подрабатывать на стороне, однако свой профессиональный долг выполнял честно.

Что касается загадочного текста, то он по-прежнему оставался непрочитанным, хотя, по уверению Кондакова, определенные подвижки уже имелись. Во всяком случае, это была не мистификация и не набор каких-либо ничего не значащих символов, а реальное сообщение, зашифрованное столь оригинальным способом.

Правда, во всей стране набралось бы не больше семи-восьми человек, способных сделать такое. Каждый из них был на виду, пользовался безукоризненной репутацией и никакого отношения к криминальной среде (а также к психиатрии) не имел.

И в самом деле, невозможно было предположить, что вне узкого круга профессиональных лингвистов появился вдруг человек, свободно владеющий арамейским, сабейским, древнегрече-

ским, египетским и санскритским письмом. Это было равносильно тому, что какой-нибудь заурядный перворазрядник преодолел бы планку на высоте в два с половиной метра.

Короче говоря, листок бумаги, попавший в руки Донцова, являлся сенсацией сам по себе, вне зависимости от места и обстоятельств обнаружения.

Однако интуиция подсказывала ему, что расшифрованный текст не только не поможет найти убийцу Наметкина, но еще больше запутает следствие. Единственной реальной зацепкой оставалась пока девушка с нездешней внешностью, которую Донцов окрестил для себя «Тамарка-санитарка» (зачем зря полоскать фамилию, не имеющую к этой некрасивой истории никакого отношения).

Она по долгу службы посещала палату Наметкина, пользовалась целым набором фальшивых документов, легко справлялась с чужими сейфами, умела отключать охранную сигнализацию, но не могла толком расписаться в платежной ведомости, чуралась близкого общения с коллегами по работе и, по сведениям, полученным в клинике, иногда теряла ориентировку во времени и пространстве, что выливалось в краткие приступы истерии или в тяжкий, но тоже кратковременный ступор (к сожалению, эти сведения оказались новостью не только для Донцова, но и для Шкурдюка).

Как пояснила старшая медсестра: «Лучше истеричка, чем алкоголичка. Лично я по работе никаких претензий к ней не имею. Вы сами попробуйте целый день потаскать подкладные судна или перестелить дюжину обоссанных кроватей».

ГЛАВА 9

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Разыскать человека по одной только не совсем четкой фотографии — задача непростая. Тем более, если этот человек имеет опыт нелегального существования. К тому же в большом многонациональном городе, который иногда сравнивают с проходным двором, а иногда с вавилонским столпотворением.

Для этого существуют разные способы. Применительно к Тамарке-санитарке они выглядели приблизительно так.

Во-первых, раздать эти фотографии всем патрульным милиционерам, дворникам, вахтерам, охранникам и консьержкам, проинструктировать всех оперативников, поднять на ноги всех

тайных осведомителей и сексотов, привлечь на помощь печать и телевидение. Однако этот способ противоречит условиям, выдвинутым полковником Горемыкиным, а кроме того, не обещает немедленных результатов.

Во-вторых, розыск особы, имеющей непосредственное отношение к краже денег из фирмы братьев Гаджиевых, можно спихнуть на азербайджанскую преступную группировку, едва-едва успевшую зализать раны, полученные в разборках по поводу этой самой кражи. За свои кровные сто тысяч земляки братьев-покойников не только весь город перетряхнут, но и в загробный мир спустятся. Однако (ох уж это вечное «однако») с таким же успехом можно послать черта на поиски дитяти. Даже если азеры и получат часть своих денег обратно, что по истечении такого срока весьма проблематично, то Тамарка-санитарка все равно обречена. Ремни из нее будут резать, кишки на шампур наматывать, матку наизнанку выворачивать. Жалко девку, да и на расследовании лучше заранее поставить крест.

И третий вариант, самый перспективный, — обратиться за содействием к главарям азиатских диаспор (то, что Тамарка-санитарка никакая не бурятка, а скорее всего китаянка или вьетнамка, в категорической форме заявляли все, кто знал ее по жизни). Правда, эти инородцы в отличие от славян своих вот так запросто не сдают, хотя продать, наверное, могут. Пусть не за деньги, которых все равно нет, а за какие-нибудь конкретные услуги. Или уступки.

Свои умозаключения Донцов изложил Кондакову и Цимбаларю в приватной беседе за чашкой чая. При этом он старательно избегал всякой конкретики, способной пролить свет на подоплеку дела или на его фигурантов. Задача формулировалась предельно кратко и доходчиво: «Вот эта хромосома косоглазая нужна мне позарез в самый ближайший срок и обязательно в товарном виде».

— Дай-ка полюбоваться. — Цимбаларь завладел фотографией Тамарки-санитарки. — Действительно, на потомка Чингисхана не похожа. Я бы определил место ее происхождения так — Восточная, а скорее Юго-Восточная Азия. Мне похожие акашевки в Таиланде лечебный массаж делали.

— И только? — хмыкнул Кондаков.

— Что — и только? — взыскующе уставился на него Цимбаларь.

— Один только лечебный массаж?

— Исключительно лечебный. Без всякого контакта с эроген-

ными зонами. Я там здоровье восстанавливал после показательной схватки с чемпионом Гонконга по борьбе без правил. Меня в то время даже пятилетняя девчонка могла ногами забить.

— Ближе к делу, — напомнил Донцов.

— Раньше, в эпоху железного занавеса, мы бы такую мартышку-коротышку шутя отыскали, — сказал Кондаков. — А теперь их на каждом рынке тысячи. И все на одно лицо. Вот на такое. — Он щелкнул ногтем по фотокарточке.

— Это они для нас все на одно лицо. Я Сунь Ят Сена от Хо Ши Мина даже под микроскопом не отличу. А свои их очень даже различают, — возразил Цимбаларь. — Тут правильная была мысль высказана. Надо к ихним авторитетам на поклон идти. Пусть Петр Фомич слегка прошвырнется по свежему воздуху, растрясет свой простатит с геморроем. У него старые связи, наверное, в каждом восточном посольстве найдутся. Так сказать, бывшие друзья по оружию. А уж косоглазые разведчики с косоглазыми бандитами всегда договорятся. Отдадут вам девочку в целлофановой упаковочке и еще розовой ленточкой перевяжут.

— Я, допустим, пройдусь! — возвысил голос Кондаков. — А ты чем будешь заниматься, фуфломет?

— Найду чем. За меня не беспокойтесь... Ты говоришь, паспорт у нее липовый? — обратился Цимбаларь к Донцову.

— Да. Но она вряд ли им воспользуется. Девка тертая.

— Тогда она попробует сделать новый. Если загодя не сделала. Вот я и хочу зайти с этой стороны. Есть у меня кое-какие знакомства в соответствующих кругах. Не каждый день такие мордашки на наши ксивы лепят. — Он пальцами оттянул к вискам уголки век и прогнусавил: — Глаз узкий, нос плюский, совсем как русский...

— А ведь вас всех воспитывали в духе интернационализма, — произнес Кондаков с осуждением (искренним или фальшивым — неизвестно). — И откуда что взялось... Одни расисты-шовинисты кругом.

— Нас в духе интернационализма заочно воспитывали. По книжке «Хижина дяди Тома», — не замедлил с ответом Цимбаларь. — А когда эти дяди Томы и братцы Сяо стали на мой глоток кислорода претендовать и на мою бабу облизываться, тут пошло конкретное воспитание. Называется — извини-подвинься.

— Ладно, нечего попусту болтать. — За отсутствием в пепельнице свободного места Кондаков сунул окурок в чайный стакан. — Ты заходи со стороны граверов, а я возьму на себя ме-

ждународные связи. Опыт кое-какой действительно имеется... Будем надеяться, что народы, в течение полувека противостоявшие мировому империализму, сохранили внутреннее единство и поныне. Что ни говори, а приятно, когда даже воры и проститутки остались верны светлым идеалам.

— Это уж точно! — согласился Цимбаларь, неизвестно кому подмигивая в потолок.

Зазвонил городской телефон, и, как всегда, трубкой завладел Кондаков.

— Да, — сказал он после некоторого молчания. — Вы попали по адресу... К сожалению, я не располагаю сейчас свободным временем. Тем более что эта проблема касается меня только боком... Кого она касается непосредственно? Есть у нас один такой... Да, именно он и заказывал экспертизу. С ним и пообщаетесь... Всего хорошего!

Кондаков положил трубку, прежде чем Донцов, уже сообразивший, о какой именно экспертизе идет речь, успел перехватить ее.

— Лингвисты звонили? — тщательно скрывая раздражение, поинтересовался он.

— Они самые. Ждут тебя в своем институте на кафедре ностратических языков.

— Каких, каких? — дурашливо переспросил Цимбаларь. — Обосратических?

— Ностратических, лапоть! — презрительно скривился Кондаков. — Наших то есть. Все языки от Атлантического океана до Тихого — ностратические. Кроме всяких там китайско-тибетских и абхазо-адыгейских.

— Перевод, следовательно, готов? — уточнил Донцов.

— Готов. Но эти академики доходных наук горят желанием переговорить с тобой. Наверное, думают, что ты сам написал эту галиматью.

— Так и быть, съезжу. — Донцов глянул на часы. — Время терпит... А вы уж меня не подведите. В лепешку разбейтесь, но девку найдите. С тебя, Саша, особый спрос. — Он хлопнул Цимбаларя по плечу. — Сам ко мне в вечные должники напросился. Вот и отрабатывай.

— Хм, — глубокое раздумье, вдруг овладевшее Кондаковым, состарило его как минимум на десять лет. — Вечный должник... Раньше это многое значило. Вплоть до самопожертвования. Такими словами зря не бросались.

— Так это раньше! — произнес Цимбаларь назидательным

тоном. — Сейчас другие времена. Эпоха инфляции, приватизации и переоценки ценностей. Теперь вечным должником можно стать за пачку сигарет или упаковку презервативов.

Сначала Донцов хотел вновь воспользоваться услугами Толика Сургуча, но потом как-то передумал. Не очень-то тянет встретиться с человеком, который заказал тебя киллеру, пусть и за твои собственные деньги.

До Института языкознания его подбросила на двухместном «Ламборджини» дама в соболях и дорогущих украшениях.

Донцов так и не понял, чего ради она взяла его в попутчики. По крайней мере не из-за денег, ведь только одна ее сережка стоила, наверное, больше, чем старший следователь мог честным трудом заработать за год. Возможно, даму в соболях привлекал риск — авось очередной пассажир попытается ее задушить. Нынче всяких извращенок хватает.

Впрочем, навыки ее вождения (а вернее, полное отсутствие таковых) наводили на мысль, что свежеиспеченной автомобилистке просто не хочется погибать в одиночестве.

В здании, построенном еще в те времена, когда о науке языкознании и слыхом не слыхивали, Донцова поджидали двое специалистов-лингвистов — мужчина и женщина.

Представившись со старомодной учтивостью, они проводили гостя в просторный и совершенно пустой буфет, стены которого украшали портреты солидных мужей с бородами и бакенбардами, среди которых узнавался только Владимир Даль в щегольском картузе. Судя по всему, рандеву науки и сыска должно было состояться именно здесь. Допускать в академические пенаты таких особ, как Донцов, то ли опасались, то ли стеснялись.

Мужчина выглядел сравнительно моложаво, женщина находилась в конечной стадии увядания, однако постоянное пребывание в замкнутом мирке общих проблем и специфических интересов наложило на обоих неуловимый отпечаток какой-то одинаковости, даже сродственности. Глядя на них, так и хотелось сказать что-то вроде «два сапога — пара».

Серьезный разговор еще и не начинался, а уже можно было понять, что к своей уникальной профессии оба лингвиста относятся не то что с пиететом, а даже с трепетом.

Мужчина, имя-отчество которого Донцов сразу позабыл, выложил перед собой три листа бумаги — словесную шараду, из-за которой, собственно говоря, и разгорелся весь этот сыр-бор, и две компьютерные распечатки. Одна имела совершенно обыч-

ный вид, у другой в каждой строке зияли многочисленные пропуски.

Дабы занять руки, мужчина постоянно двигал бумаги по гладкой поверхности стола, меняя их местами, что очень напоминало поведение картежного шулера, зазывающего праздную публику принять участие в азартной игре «три листочка».

Первой заговорила женщина-лингвист, видимо, имевшая более высокий научный статус. Голос ее, прокуренный и стервозный, составлял разительный контраст с мягкой, интеллигентной внешностью:

— Сразу хочу сказать, что при изучении представленного вами документа мы столкнулись с определенными трудностями, о которых свидетельствуют оставленные здесь лакуны. — Она пододвинула к себе лист, пестревший пробелами. — Из восьми видов письма, на которых составлен текст, не читаются два, что составляет примерно двенадцать процентов содержания. Один — доселе неизвестную и весьма архаичную форму языка брахми, в древности распространенную на юго-востоке Евразии. Другой вообще не поддается идентификиции. Такая система графических знаков неизвестна науке.

Карандаш указал на соответствующие места в оригинале. Алфавит языка брахми напоминал пляшущих человечков, а письменность, оказавшуюся не по зубам маститым лингвистам, можно было сравнить с рядом разновеликих спиралек или с выводком змей, свернувшихся на солнце в причудливые кольца.

— Да, подкинул я вам задачку, — произнес Донцов извиняющимся тоном.

— Ничего страшного. Такова уж наша планида. Кто-то раскрывает преступления, кто-то расшифровывает тексты. По крайней мере это куда интересней, чем переводить на фарси инструкцию по эксплуатации парогенераторов... Короче говоря, подстрочный перевод имеет вот такой вид. — Она тронула лист, где на десять слов приходилась примерно одна «лакуна» (это новое для себя словечко Донцов постарался запомнить). — Читать его можно, но понять содержание затруднительно, особенно для дилетанта.

— Где же выход? — осторожно поинтересовался Донцов.

— Отсутствующие слова мы подставили по смыслу. Вот окончательный вариант перевода, хоть и приблизительный, но, с нашей точки зрения, вполне приемлемый. — Очередь дошла и до третьего листка, все это время продолжавшего на столе самые замысловатые маневры. — Хотите ознакомиться?

— Не то что хочу, а просто горю желанием. Вы меня, признаться, заинтриговали, — сказал Донцов, впиваясь взглядом в первую строку текста.

«...царь царей, некто Иравата по прозвищу Ганеша, считавшийся сыном недавно опочившего героя-кшатрия Арджуны.

Надо сказать, что он мало походил на своего легендарного отца, славившегося не только необычайным мастерством стрельбы из лука и другими воинскими доблестями, но и чисто человеческими качествами: открытым нравом, добротой, милосердием, справедливостью.

Воспитанный сначала матерью, царицей загадочного племени нагов, а потом брахманами, Иравата-Ганеша вырос ярым мистиком и записным честолюбцем, истинным «бхати», то есть фанатичным поклонником бога Шивы в самых мрачных его ипостасях.

Да и вид он имел отнюдь не царский. Голова у него была как котел, живот как бурдюк, а лицо благодаря длинному вислому носу напоминало морду слоненка, откуда и пошла кличка «Ганеша».

Люди с такой внешностью обычно отличаются добродушным нравом, однако в глазах верховного владыки мерцала волчья лютость, а в каждом сказанном слове проскальзывало непоколебимое самомнение, подкрепленное недюжинной волей.

История возвышения этого звероподобного ублюдка примечательна сама по себе. Прежде он правил крошечным царством, которое можно было без труда обойти пешком, и за тридцать лет жизни не снискал никакой славы — ни как воин, ни как правитель, ни как мудрец. Свой белый зонт, символ раджи, он сохранял только благодаря авторитету отца, прославившегося во многих сражениях.

А потом Ганешу словно подменили. Забросив пиры и охоту, он с головой погрузился в интриги, которые поначалу казались всем лишь невинными забавами. Как же мы обманывались...

Владения его стали быстро расти. Вот только один пример, характеризующий методы, которые он применял для этого.

Прикинувшись неизлечимо больным, Ганеша завещал свое царство сразу двум соседним раджам, и без того не ладившим между собой. Это неизбежно привело к вооруженному конфликту, который так ослабил обе стороны, что впоследствии Ганеша легко присоединил их земли к своим.

Не чурался он и всяких других бесчестных средств — подкупа, клеветы, фиктивных браков, убийств из-за угла.

Кроме того, Ганеша зарекомендовал себя способным полководцем, хотя победы ему приносило не стратегическое искусство, а вероломство и коварство, прежде не свойственное ариям, соблюдавшим строгий кодекс воинской чести.

Дабы запугать врагов, он посылал в бой огромные восьмиколесные повозки, запряженные свирепыми быками и украшенные гирляндами из отрубленных человеческих голов. Его воины носили доспехи, придававшие им сходство со злыми демонами-ракшасами. Использовал Ганеша и приемы, досель вообще неизвестные, — дымовую завесу, катапульты, метавшие бочки с горящей смолой, огромных воздушных змеев с трещотками, пугавшими слонов противника.

Одни ненавидели Ганешу, другие презирали, третьи боялись, но никто в ту пору не смог разглядеть в нем врага рода человеческого, еще более опасного, чем страшный яд «каллакута», добытый богами при пахтанье океана и грозивший уничтожить вселенную.

К сожалению, не чуял беду и я. Еще поговаривали...»

— Что бы это могло значить? — спросил Донцов, ощущая себя игроком в покер, вместо ожидаемого туза прикупившим шестерку.

— В общем-то, сие остается тайной и для нас, — женщина собрала все три листка в одну стопку, — но с полной определенностью можно сказать лишь то, что текст имеет отношение к индуистской культуре середины первого тысячелетия до нашей эры. Сначала мы воспринимали данный отрывок как одну из интерполяций «Махабхараты», древнеиндийской эпической поэмы, имеющей не только литературное, но и сакральное значение, однако очень скоро убедились в своей ошибке. Я популярно объясняю?

— Вполне, — ответил Донцов, а про себя подумал: «Кондакова бы сюда, вот кто на индуистской культуре собаку съел».

Между тем женщина продолжала свою речь, гладкую и корректную, но расцвеченную истерическими интонациями базарной торговки:

— При том что неизвестный автор зачастую демонстрирует глубокое знание реалий той далекой эпохи, все события представлены в абсолютно ином свете, чем это принято в классической редакции «Махабхараты». Взять хотя бы того же Ганешу, которому неизвестный автор уделяет столько внимания. Это имя одного из второстепенных богов ведического пантеона. Героя

под таким именем, а особенно состоявшего в родстве с Арджуной, этим Ахиллесом индуистской мифологии, мы не знаем. Автор не скрывает своего резко негативного отношения к этому персонажу, наделяя его такими неблагозвучными эпитетами, как «звероподобный ублюдок» или «враг рода человеческого».

— Я это, кстати, заметил, — сказал Донцов. — С юридической точки зрения подобные заявления могут восприниматься и как обвинительный акт, и как клевета.

— Юридические проблемы находятся вне сферы наших профессиональных интересов... Что касается представленной на экспертизу рукописи, то ее ограниченный объем не позволяет проследить дальнейшее развитие описываемых событий или вернуться к их предыстории, хотя по некоторым намекам, рассыпанным в тексте, можно понять, что позиция, занимаемая автором, впоследствии оказалась несостоятельной. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Надеюсь, коллега дополнит меня. — Она вместе со стулом отодвинулась немного в сторону.

Мужчина учтиво кивнул ей и заговорил, продолжая водить руками по уже пустому столу:

— Здесь было справедливо замечено, что мы имеем дело лишь с небольшим фрагментом довольно пространной рукописи, о чем свидетельствует хотя бы порядковое число «тридцать шесть», выставленное в правом верхнем углу листа и выполненное, кстати говоря, в египетской иератической системе счисления. Автором текста, скорее всего, является мужчина преклонного возраста, что вытекает из графологических особенностей почерка. Впрочем, речь может идти и о добросовестном переписчике. Автор, безусловно, является человеком нашего времени. На это указывает тот факт, что современная русская лексика занимает примерно шестую часть текста и употребляется везде, где аналогичное понятие в каком-либо из мертвых языков отсутствует.

— Простите, что перебиваю. — Донцову уже надоело молчать. — Я относительно этих мертвых языков... Автор владеет каждым из них в одинаковой мере?

— Нет. Я как раз и собирался отметить это. Фрагменты текста, выполненные на арамейском и арийском, можно считать сомнительными или, по крайней мере, спорными, а на древнегреческом и египетском, наоборот, безупречными. Когда я разбирал иероглифы, мне иногда казалось, что пером водила рука кого-либо из фараоновых писцов. Теперь о смысле текста... вернее, о его назначении. Лично мне эта рукопись напоминает объ-

яснительную записку, составленную после какой-то неудавшейся операции, но отнюдь не являющуюся самооправданием. Она не предназначена для посторонних, а потому и зашифрована. То есть мы имеем дело с документом сугубо утилитарного назначения. Здесь, к сожалению, я расхожусь во мнении со своим коллегой, — он вновь вежливо кивнул женщине, — которая воспринимает этот текст как художественное произведение, своего рода «Илиаду», написанную с позиций царя Приама.

— Хочу слегка поправить вас, — вмешалась женщина. — Сравнение с «Илиадой» в данном случае некорректно. По-моему, мы столкнулись с литературной мистификацией, не лишенной как исторического, так и эстетического интереса, типа поэм Оссиана или «Песен западных славян».

— Я попросил бы вас воздержаться от литературных дискуссий, — теперь пришлось вмешаться уже Донцову. — Не забывайте, что вы обсуждаете документ, имеющий отношение к уголовному делу. От вас требуются конкретные, не подлежащие двоякому истолкованию ответы.

— Мне кажется, вы их получили, — сказал мужчина. — Автор текста наш современник, человек уникальной эрудиции, глубоко разбирающийся в истории древнего мира. Это, конечно, звучит неправдоподобно, но он может иметь доступ к археологическим и палеографическим материалам, не известным современной науке. Рукопись предназначена не для широкого пользования, а для ознакомления людей, близких автору по уровню знаний и миропониманию. К сожалению, назвать какую-нибудь конкретную личность я не могу. Тут уж вам придется воспользоваться своими методами.

— Скажите, пожалуйста, вам не приходилось видеть этот символ прежде? — Донцов предъявил снимок, где жизнерадостные психиатры позировали на фоне третьего корпуса клиники, украшенного (или, наоборот, обезображенного) загадочным знаком, позднее уничтоженным стараниями дворника Лукошникова.

— Нет, — сказал мужчина. — Определенно нет. Скорее всего, это просто чьи-то инициалы.

— Не знаю. — Женщина пленительно задумалась. — Не хочу вводить вас в заблуждение... А имеет это какое-нибудь отношение к тексту?

— Трудно сказать. Сам интересуюсь.

— Понимаете... меня всю жизнь преследуют странные ассоциации. — Женщина закрыла глаза и пальцами коснулась своих

век. — Целые цепи странных ассоциаций... Сначала этот текст, пропитанный атмосферой Древней Индии... Потом ваш внезапный вопрос... Эта фотография... И у меня уже возникает ощущение, будто бы нечто подобное я видела именно в Индии.

— Вы там были? — вяло удивился Донцов. — Когда?

— В разные времена... Я посещала храмы, сокровищницы, библиотеки, музеи. Там хранятся многие загадочные находки, часть из которых относится еще к доарийскому периоду. Я видела оружие, как бы не предназначенное для человеческой руки, и доспехи, которые пришлись бы впору только Гераклу. Возможно, на одной из этих реликвий я и видела нечто, напоминающее ваш знак.

«В огороде бузина, а в Киеве дядька», — подумал Донцов, но ради приличия поинтересовался:

— Понравилась вам Индия?

— Сама не знаю. — Женщина продолжала массировать веки. — Нигде так не ощущаешь бренность земного существования, как в тех краях. Только в трущобах Мадраса или на берегах Ганга можно понять Будду, повстречавшего подряд старца, прокаженного, мертвеца и аскета, а после этого отказавшегося от всех радостей бытия. Странствующие заклинатели змей, обезьяны и коровы кажутся на улицах тамошних городов чем-то вполне естественным, а автомобили, дорожные знаки и полицейские с винтовками выглядят до боли чужеродно. Там люди не страшатся смерти и не радуются факту рождения. Там жизнь действительно похожа на тягостный сон.

Женщина, ясное дело, была потенциальной клиенткой для психиатрической клиники профессора Котяры, что, учитывая специфику ее профессии, было вполне объяснимо.

Ни один нормальный человек не стал бы заниматься проблемами, которым Бодуэн де Куртенэ, Даль, Марр и Иллич-Свитыч (фамилии-то какие!) посвятили всю свою жизнь.

А кроме того, языкознание является единственной наукой, в которой великий Сталин умудрился оставить свой шакалий след.

ГЛАВА 10

ТАМАРКА ОКАЗАЛАСЬ ДУНЬКОЙ

Ждать немедленных результатов от Цимбаларя, а тем более от Кондакова не приходилось. Граверы, то есть изготовители фальшивых документов, — люди осторожные и недоверчивые

даже по меркам преступного мира, а азиатские дипломаты известны своей мешкотностью и необязательностью чуть ли не со времен царя Гороха. Поэтому Донцов решил между делом прогуляться в клинику. Авось там кто-нибудь вспомнит что-то важное.

Погоду можно было охарактеризовать следующим образом: «Причудлива, как беременная барышня» — то сквозь разрывы в тучах ярко сияло солнце, то неизвестно откуда вдруг налетала метель, вскоре сменявшаяся противной моросью.

Такая погода дурно влияла не только на здоровье людей, но и на их поведение, отвращая от какой-либо конструктивной деятельности. Да что там люди — даже вороны, облюбовавшие территорию клиники, сегодня куда-то подевались.

На сей раз отсидка на проходной что-то затянулась. Донцова тут уже хорошо знали, однако никаких поблажек не позволяли. Не помогло даже полушутливое заявление, что по его удостоверению без задержки пропускают даже в женскую баню.

Шкурдюк, прибывший с опозданием, находился в несвойственном для него мрачном расположении духа. Любопытства ради Донцов выяснил, что причиной тому — дворник Лукошников, внезапно решивший разорвать с клиникой трудовые отношения.

И дело было вовсе не в факте отказа от работы, найти дворника нынче не проблема, а в хамском поведении этого самого Лукошникова, который на требование заместителя главврача хоть как-то обосновать свои капризы ответил буквально следующее: «Ты, пидор, психов воспитывай, а ко мне в душу не лезь».

— Ну почему он меня так обозвал! — убивался Шкурдюк. — Я же не подавал ни малейшего повода! Хоть бы вы на него каким-то образом повлияли. Припугнули бы статьей...

Тем самым у Донцова как бы сам собой появился повод для беседы с дворником, некогда занимавшим грозные посты в солидном ведомстве и там же, наверное, набравшимся дурных манер, ведь, как известно, ничто так не развращает человека, как огромная и бесконтрольная власть над себе подобными.

Нельзя сказать, чтобы Донцов подозревал Лукошникова в чем-то большем, чем бытовое хамство и пособничество вечно гонимому вороньему племени, и тем не менее само присутствие этого человека невольно настораживало опытного следователя, как матерую овчарку настораживает малейший запах волка.

Кроме того, профессия дворника весьма способствует разви-

тию таких качеств, как наблюдательность, проницательность и памятливость, чем с незапамятных времен активно пользовались сыщики всех стран и народов. В этом плане Донцов возлагал на Лукошникова немалые надежды. Тот вполне мог заметить нечто такое, что ускользнуло от внимания как опергруппы, так и администрации.

Под каким-то благовидным предлогом отослав Шкурдюка обратно в кабинет, Донцов отправился на поиски дворника, следы деятельности которого замечались повсюду — лед на дорожках сколот, мусорные урны пусты, свежий снег сметен в кучи, а самим кучам при помощи совковой лопаты придана кубическая форма.

Самого Лукошникова он обнаружил на задворках клиники, где тот ремонтировал свой нехитрый инвентарь, видимо, подготавливая его к сдаче. На вежливое приветствие Донцова он буркнул что-то вроде: «Наше вам с кисточкой», — а на предложение закурить, что должно было поспособствовать откровенной беседе, грубо отрезал:

— Сам не курю и тебе не советую. Ведь сдохнешь скоро, хоть бы последние дни поберегся.

— Почему вы решили, что я скоро сдохну? — Донцов от такой обескураживающей бесцеремонности даже позабыл, с чего собирался начинать разговор.

— Это в моргалах твоих написано. Я в своей жизни столько смертей повидал, сколько ты бабам палок не поставил. И если у человека в глазах вот такая муть появляется, как у тебя сейчас, не жилец он на белом свете, не жилец.

По всему выходило, что Шкурдюк был не единственным человеком, которому строптивый дворник успел сегодня основательно подпортить настроение.

— И от чего, по-вашему, я должен подохнуть? — поинтересовался Донцов.

— Сам знаешь, — ответил Лукошников. — Чего боишься, то и сделается.

— Ну тогда посоветуйте, как мне быть. Вы ведь, похоже, человек опытный. Может, в церкви свечку поставить за здравие? — Донцов попытался обратить все в шутку.

— За здравие не надо. Бесполезно. — Лукошников говорил как бы в такт ударам молотка, которым он заколачивал гвозди. — Тем более что ты в бога все равно не веришь.

— А сами вы верующий?

— Нет, — тяжко вздохнул дворник.

— Атеист, значит?

— Хуже. Отрекся я от бога. По собственной воле отрекся. Оттого, наверное, и грешил всю жизнь.

— Грехи ведь и замолить недолго. — Донцов хотел добавить соответствующую цитату из Священного Писания, но ничего подходящего, кроме «не согрешишь — не покаешься», так и не вспомнил.

— Мои грехи, мил человек, и сто праведников не замолят. — Дворник так саданул молотком по кривому гвоздю, что от него только искры полетели. — Всему на свете есть предел, да только моя вина перед богом и людьми беспредельна. Каина бог тоже не простил, а наказал проклятием вечной жизни... Вот и я, как тот Каин... Копчу небо безо всякого смысла.

— Уж очень строго вы к себе относитесь. — В словах старика звучало столько неподдельной горечи, что Донцову даже стало его жалко. — Кто сейчас без греха? Время такое...

— В любое время человеку выбор даден. Если, конечно, голова на плечах есть. Вот я свой выбор однажды сделал. Это сначала грешнику дорога везде широкая, а потом все у́же и у́же. Я сейчас, можно сказать, по ниточке хожу.

— Где же вы так нагрешить успели?

— Везде. С младых ногтей начал, когда от родного батюшки отрекся и в услужение к мамоне пошел. А уж там понеслось! Про фронтовой приказ «ни шагу назад» слышал?

— Приходилось.

— Вот этот шаг назад я и не позволял никому сделать. Заградотрядом командовал. Своих же братьев пулями на пули гнал... Эх, да что зря душу травить! На том свете все с меня полной мерой взыщется. — Покончив править лопату, он швырнул ее в кучу уже готовых инструментов. — Если ты по делу пришел, так спрашивай, пока я добрый.

«Если ты сейчас добрый, то каким, интересно, в гневе бываешь?» — подумал Донцов и, перейдя на официальный тон, осведомился:

— Давно здесь работаете?

— С лета.

— Всех знаете?

— Психов или лекарей? — уточнил дворник.

— Медперсонал.

— Знаю. Мимо меня ведь все шастают.

— Санитарку Тамару Жалмаеву тоже знаете?

— Татарку эту? Конечно, знаю.

— Почему вы ее татаркой называете?

— А для меня все азиаты — татары.

— Пропала эта Жалмаева, — сказал Донцов, внимательно приглядываясь к дворнику. — Как говорится, ни слуху ни духу.

— Туда ей, значит, и дорога, — ничто в Лукошникове не дрогнуло, ни лицо, ни голос.

— Да, странные тут у вас дела творятся... — задумчиво произнес Донцов. — Санитарки бесследно исчезают, пациентов убивают прямо в палатах.

— Это кого же здесь убили? — сразу насторожился дворник.

— Олега Наметкина. Из третьего корпуса. Вы разве не знали?

— От вас первого слышу. — Поведение Лукошникова не вызывало никакого сомнения в его искренности. — И когда же это случилось?

— Уже пять дней прошло. Его и кремировать успели.

— Свои же психи, наверное, и прикончили. — Дворник неодобрительно покачал головой. — Ну, народ! Ну, зверье!

— Нет, тут дело значительно сложнее. Заковыристое дело. Мистикой попахивает.

— Так ты за этим сюда и шляешься, — догадался дворник. — Следователь, значит. Ну-ну...

— Вы, говорят, увольняетесь? — Донцов сменил тему разговора. — Почему, если не секрет?

— Надоело. Сам даже не знаю, ради чего я здесь столько времени метлой махал. Денег вроде хватает. Пенсия хорошая. Да и подрабатываю еще.

— В каком месте?

— Сторожую в научном заведении, где всякую дрянь космическую изобретают.

На этом, собственно говоря, их беседа и закончилась. Не возникло даже намека, указывающего на причастность Лукошникова к преступлению. Удивляло лишь одно обстоятельство: как он мог не знать о преступлении, несколько дней назад всколыхнувшем всю клинику? Пил в это время, отсутствовал? Непохоже... Лукавит, прикидывается дурачком? Но какой в этом смысл? Да, странный человек. Наплевал походя в душу — и даже не извинился. Хотя это еще вопрос — можно ли считать плевком правду-матку, сказанную прямо в глаза?

Уже смеркалось, когда Донцов зашел в фойе клиники и повесил на доске приказов и объявлений заранее заготовленную бумажку: «Граждан, которым известна какая-либо информация о смерти О. Наметкина, произошедшей 15 числа сего месяца,

убедительно просим позвонить по телефону... Анонимность гарантируем».

После этого он на всякий случай связался с дежурным по отделу. Тот охотно сообщил, что капитан Цимбаларь только что явился и спрашивает его, Донцова, наверное, ищет собутыльника.

— Попроси, чтобы подождал, — сказал Донцов. — Я скоро буду.

— Тебе как рассказывать? — осведомился Цимбаларь, когда они уселись друг против друга и закурили. — Кратко или во всех подробностях?

— Давай кратко, — ответил Донцов, хотя наперед знал, что рассказывать без подробностей Цимбаларь не умеет.

— Прогулялся я, значит, по всем основным точкам, где яманными бирками, то бишь липовыми документами приторговывают, — начал он примерно в той же манере, в которой бабки-сказительницы произносят: «Жили-были старик со старухой». — Публика вся локшовая. Пацаны зеленые. Из ветеранов почти никого нет. Кого посадили, кто сам завязал, кто за бугор свалил. Но бизнес, вижу, на подъеме, хотя предложения превышают спрос. Со мной о деле никто говорить не хочет, шлангами прикидываются. Я, мол, тут просто так стою, семечки щелкаю и ваши глупые вопросы игнорирую. Видать, успели, гады, меня где-то срисовать. А один так обнаглел, что в спину тявкает: «Ты бы еще, мусор, кожанку надел и кобуру деревянную привесил». Хотел я его по физиономии отоварить, развернулся уже, а потом глядь — знакомая личность.

— Уже скоро семь. — Донцов сунул ему под нос свои часы. — Если ты будешь продолжать в том же темпе, мы здесь до полуночи просидим.

— Ты разве спешишь куда-то? — удивился Цимбаларь. — А у меня как раз вечерок свободный выдался.

— Не то чтобы спешу, но все же... — поморщился Донцов, у которого к привычным коликам в боку добавилась еще и головная боль. — Ты суть дела излагай. Выгорело у тебя что-то дельное или опять пустой номер потянул?

— Я как раз к сути дела и подхожу, — заверил его Цимбаларь. — Узнал я этого делягу сушеного, а он, соответственно, меня. Пересекались мы неоднократно, но отношения у нас остались самые нормальные. Хотя вижу, что опасается меня. Не бзди, говорю, я нынче по другому ведомству. Твоя работа мне

безо всякого интереса. А вот если поможешь одного человека отыскать, век благодарен буду и, когда тебя в очередной раз на шконку бросят, чайковского передам или дури какой. Гордый оказался. Хрен вы меня когда посадите, отвечает. Это раз. Как я тебе могу помочь, если целый день на одном месте стою? Это два. А в-третьих, не держи меня за падлу ссученную.

— О боже! — простонал Донцов.

— Нет, ты послушай, послушай! — Цимбаларь уже вошел в азарт. — Я ему популярно объясняю, что человек этот услугами граверов пользуется и мог где-то засветиться. Тем более, это даже не человек, а баба. Басурманка. Авторитетом не пользуется. Она одного хорошего пацана запежила. Такую сдать не западло. Фотку ему предъявил. Долго он ее изучал. Потом говорит, может, я тебе чем и помогу, но заранее обещать не буду. Но за это ты в порядке благодарности сделаешь так, чтобы вон того, того и того красавца, которые напротив околачиваются, здесь впредь и в помине не было. Рыночные отношения все прежние законы отменили, в том числе и воровские. Не нужна мне зловредная конкуренция. Они, вшивари, по демпинговым ценам торгуют. Короче, считай, договорились. Накинул он мне стрелку. На том же месте через три часа. Пока он по делам отсутствовал, я в ближайшую ментовку к друзьям сбегал, и мы там такой шухер навели, что один гравер, удирая, под машину попал. Четыре административных акта составили и два материала с перспективой возбуждения уголовного дела.

— Считай, что я тебя уже похвалил, — сказал Донцов. — На чужого дядю ты хорошо работаешь, слов нет. А дальше как события развивались?

— Короче, когда мой кустарь-одиночка вернулся, вокруг было пусто, как в полярную ночь на Северном полюсе. Даже лотошницы разбежались. Впечатлило это его. Ты, говорит, мужик правильный. Слово свое держишь. Такому грех не помочь. Короче, нашлись-таки люди, которые эту девку вспомнили. Появилась она на горизонте в прошлом году, летом. С виду приблуда, но ушлая, как налим. Разговаривает по понятиям, грамотно, хоть и косоглазая. Попросила достать паспорт, но не самопальный, а настоящий, чтобы принадлежал он бабе с басурманской фамилией в возрасте от двадцати до тридцати лет. Такого товара тогда не было. Его граверы обычно по дешевке у щипачей скупают. Месяц она там терлась, пока ее заказ не выполнили. Купила сразу пять штук. Фамилий, конечно, сейчас никто не помнит. Дала свои фотки, попросила аккуратно переклеить. На довесок

мелочовки всякой взяла — дипломы, трудовые книжки, пропуска. Полный комплект для нелегальной жизни. Заплатила хорошо, не торгуясь. С тех пор ее никто больше не видел. Вот и весь сказ.

— Нет, ты просто гений! — Донцов изо всех сил пожал руку Цимбаларя. — Какую прорву работы провернул! Только какой от всего этого прок, скажи на милость? То, что она выжига, я и без тебя знал. То, что по фальшивым документам живет, — тоже. Как ее найти, если ничего конкретного нет? Ни одной фамилии, ни одного адреса, ни единой зацепки.

— Подожди, не горячись. Есть одна фамилия. Того мужика, который ее на паспорт фотографировал. Она какое-то время у него жила. Возможно, даже перепихивались. Криминала за ним никакого не числится. Так, держит подпольное ателье, девочек голеньких снимает. Порнухой подрабатывает. С граверами контакты порвал.

— Что же ты сразу не сказал! Поехали к нему немедленно.

— Прямо сейчас? На ночь глядя?

— Именно сейчас. Сам же говорил, что у тебя нынче вечер свободный.

Машину с великим трудом выбили у дежурного, пообещав заправить за свои деньги. Донцов, убедившийся в пользе бронежилета, хотел вкупе с автоматом прихватить и его, но воспротивился Цимбаларь. По его словам, другого оружия, кроме столовых вилок и ножей, фотограф у себя не держал, а для психического воздействия вполне хватит табельного ствола.

Сержанта-водителя заставили поверх кителя надеть гражданскую куртку, а служебные номера замазали грязью.

— Для такой погоды сойдет, — сказал Цимбаларь. — Вот только рация демаскирует. За пять кварталов ее слышно... Может, отключим?

— Не имею права, — категорически заявил сержант.

— А с запашком за руль садиться имеешь право?

— Это, товарищ капитан, от вас самих пахнет, — парировал сержант, и Цимбаларь почему-то спорить с ним не стал.

Донцов не любил ночь, а ночной город в особенности. Ночь хороша для тех, кто прячется, но не для тех, кто ищет. Кроме того, в последнее время темнота влияла на него самым неблагоприятным образом. Там словно таился кто-то, хоть и бестелесный, но ощутимо враждебный, все примечающий и ничего не

прощающий. (А скорее всего это просто детские страхи, разбуженные болезнью, возвращались к нему.)

Маршрут Цимбаларь выбрал странный, вместо того чтобы сразу двигать в центр, где по его словам располагалась квартира фотографа, сначала завернул на привокзальную площадь. Здесь, несмотря на сравнительно поздний час, под фонарями прогуливались дамы и девицы, одетые явно не по погоде.

— Ты совсем с ума сошел! — Жадный интерес, который Цимбаларь проявлял к фланирующим на промозглом ветру красоткам, вывел Донцова из себя. — Забыл, какие у нас дела?

— Наоборот, хорошо помню. Понимаешь, этот фотограф посторонних в дом не пустит. Даже с удостоверением. Не станешь же ты ему дверь вышибать? А на девушку вполне может клюнуть. Он их каждый день фотографирует и по мере возможности трахает. Давно уже со своей клиентурой запутался. Какая когда прийти должна, не помнит. Вот мы этим обстоятельством и воспользуемся. Только телку нужно выбрать такую, чтобы на проститутку не была похожа.

— Они вроде бы все довольно прилично выглядят, — внимательно присмотревшись, сказал Донцов.

— Это на твой дилетантский взгляд. А мы имеем дело с профессионалом.

Тем временем дамы легкого поведения, заметив остановившийся неподалеку автомобиль с мужчинами, стали по одной, по двое, наведываться к нему на разведку, в полушутливой, а то и в конкретной форме делая самые соблазнительные предложения, однако разборчивый Цимбаларь бесцеремонно отгонял их прочь.

В конце концов к машине подошел мужчина с усиками, похожий на опереточного француза.

— Что-нибудь особое ищете? — без долгих околичностей осведомился он.

Цимбаларь покинул машину и долго о чем-то говорил с усатым. До Донцова доносились только обрывки фраз: «Не надо мне этих кошек драных... И рогож трепаных не надо... Ты мне что-нибудь фирменное подыщи... Батончик или виннипухочку...»

— Что такое батончик? — стесняясь своей неосведомленности, спросил у водителя Донцов.

— Молодая шлюха, — немедленно ответил тот.

— А виннипухочка?

— Ну очень молодая! — с чувством произнес водитель.

Усатый куда-то исчез, однако вскоре вернулся, ведя за руку блондинку почти двухметрового роста, но с совершенно детским, почти не накрашенным личиком.

— Суперсекс! — Водитель сглотнул слюну.

Усадив девицу на заднее сиденье, Цимбаларь сказал Донцову:

— Будешь мне пятьдесят баксов должен. Если желание есть, можешь попользоваться, все равно деньги заплачены. Но учти, ее нам только на час отдали... Трогай, — это относилось уже к водителю.

Девица все время молчала, чавкала жвачкой и, похоже, была немного не в себе.

— Как хоть зовут тебя? — обернулся к ней Цимбаларь, кроме всего прочего, выполнявший в машине роль штурмана.

— Маруся, — ответила девица совсем не девичьим голосом.

— Хохлуха?

— Шведка.

— Оно и видно... А зачем ты такая здоровая выросла?

— Ничего ты, дядя, в современной красоте не понимаешь. Мне от клиентов отбоя нет.

— Извращенцы все твои клиенты. Для любви нужна женщина хрупкая, нежная.

— Я тоже нежная. — Девица икнула, прикрыв ладошкой рот.

На этом разговор прервался, потому что машина прибыла туда, куда следует. Фары осветили щербатую стену «хрущобы» и фанерную дверь подъезда, мотавшуюся на ветру.

— Повезло, — констатировал Цимбаларь. — А я кодового замка опасался.

— Этаж-то хоть какой? — осведомился Донцов.

— Судя по всему, пятый.

— Так я и знал!

— Ты Марусю попроси, — посоветовал Цимбаларь. — Она тебя на закорках туда дотащит. Баксы-то отрабатывать надо.

Как бы то ни было, но спустя пять минут все трое оказались на лестничной площадке пятого этажа перед дверью, предназначенной скорее для бомбоубежища, чем для обыкновенной квартиры. «Глазок» в ней и то, наверное, был из бронестекла. Видимо, у фотографа были серьезные основания опасаться если и не за свое имущество, то за свою безопасность.

Донцов и Цимбаларь рассредоточились вне зоны обзора «глазка», а Маруся, уже подробно проинструктированная, по-

звонила в квартиру, предварительно придав своему личику ангельское выражение.

Приближающихся шагов слышно не было, но кто-то глухо произнес из-за двери:

— Вам кого?

— Ростислава Петровича. — Маруся кокетливо улыбнулась (за пятьдесят баксов и не такое изобразишь).

— Вас приглашали или по объявлению?

— Ага, — неопределенно ответила девица.

Внутри умолкли, видимо, внимательно изучая позднюю гостью в «глазок». Осмотр прошел для Маруси благоприятно, о чем возвестил грохот отпирающихся запоров. Когда эта симфония металла завершилась мелодичным звоном сброшенной цепочки, Цимбаларь резко пихнул девушку вперед и, выхватив пистолет, ввалился вслед за ней.

— Что-что-что-что вам надо? — раздалось из прихожей.

— По делу! — грозно рявкнул Цимбаларь. — Спецоперация. Выявляем производителей порнопродукции.

Когда в квартиру вошел Донцов, его коллега уже вовсю хозяйничал там. С воплем: «Посторонние есть?» — он быстренько обследовал все помещения, опрокинул что-то в ванной, а из туалета выволок за шкирку паренька в спущенных штанах.

— Это кто? — осведомился Цимбаларь, тыкая парня пистолетом под ребро.

— Мой ассистент, — торопливо объяснил фотограф, типичный жирненький плейбой с фигурной стрижкой на голове. — Я, собственного говоря, не понимаю...

— Молчать! А ты на пол, — приказал Цимбаларь пареньку. — Руки за спину.

В гостиной было оборудовано что-то вроде фотоателье — ширмы, расписные задники, софиты, профессиональная съемочная аппаратура. Цимбаларь тут же принялся потрошить ящики шкафов, забитые цветными крупноформатными фотоснимками.

Как виделось из прихожей Донцову, все они изображали, говоря по-французски, «ню», то есть обнаженную натуру, представленную в самых разных комбинациях и позах.

— Это мои знакомые, — немедленно сообщил фотограф.

— Славная компания, — похвалил Цимбаларь, роняя уже просмотренные снимки на пол. — Многостаночники. И с бабами совокупляются, и с мужиками, и с детьми, и даже с собачками. Только ишака не хватает.

Хозяин квартиры промолчал, раздавленный внезапно сва-

лившимся на него несчастьем. Парнишка в коридоре жалобно хныкал. Маруся без приглашения уселась в кресло, закинула ногу за ногу, едва не сшибив при этом люстру, и подобрала с пола несколько фотографий.

— Какая мерзость! — воскликнула она. — И как только люди позволяют, чтобы с ними вытворяли подобное свинство! Бр-р-р! Расстреливать надо таких фотографов.

— Это наш эксперт по порнографии, — почтительно понизив голос, сообщил Цимбаларь. — Из полиции нравов. В Европе стажировалась.

— Вы путаете порнографию с эротикой, — заканючил фотограф. — Путем изображения обнаженного тела я раскрываю в своих работах представления о красоте, ценности земного чувственного бытия и здоровой сексапильности. Я чту законы... В конце концов, у меня есть лицензия.

— Товарищ майор, проверьте лицензию у этого хлыща. — Цимбаларь подмигнул Донцову. — Если что не так, сразу наручники на него. А мы пока продолжим поиск компрометирующих материалов...

Перешагнув через «ассистента», который лежал в прежней позе, но штаны успел подтянуть, Донцов провел фотографа на кухню, где огорошил следующим заявлением:

— Я, конечно, настроен не столь бескомпромиссно, как мой коллега по службе, но со всей ответственностью заявляю — вам грозят крупные неприятности. И сразу по нескольким статьям. Развратные действия, содержание притона, незаконное предпринимательство и так далее. Не удивлюсь, если здесь найдутся и наркотики. Хотя бы одна доза. Все это потянет как минимум лет на пять-шесть. Впрочем, до суда дело может и не дойти. Люди с вашими наклонностями в следственном изоляторе редко выживают.

— Так, может, как-нибудь договоримся? — потупился фотограф. — Я ведь не бандит и не убийца. Зачем меня губить?

— То, что вы готовы к сотрудничеству, это уже хорошо, — кивнул Донцов. — Проверим вашу искренность. Где сейчас эта женщина? — На его ладони появился снимок Тамарки-санитарки.

— Честное слово, не знаю. — Фотограф приложил руку к сердцу. — Я ее уже давно не видел.

— Выкладывайте все, что вам о ней известно. Попрошу по порядку и со всеми подробностями.

— Можно я сяду? Что-то ноги ослабли.

— Пожалуйста.

— Тогда я немного выпью с вашего позволения?

— Как угодно.

— Спасибо. — Фотограф хлобыстнул полный стакан какого-то импортного зелья, и бледность на его лице стала быстро сменяться апоплексическим румянцем. — Встретились мы случайно, ей понадобились от меня кое-какие профессиональные услуги.

— Изготовить снимки для фальшивых документов, — подсказал Донцов. — Это нам известно.

— Потом она заходила ко мне несколько раз... — Вдруг, словно опомнившись, фотограф взмолился: — Так вы обещаете, что все это можно будет замять?

— Обещаю, если посодействуете найти ее.

— Я не волшебник. Но сделаю все возможное, клянусь!

— Вы лучше продолжайте, продолжайте.

— Так получилось, что она осталась жить у меня. Но только не подумайте ничего предосудительного... Просто предложила за комнату хорошие деньги, а я как раз сидел на мели. Грех было отказываться...

— Как ее звали?

— Я звал ее Дуня. Полное имя Доан Динь Тхи. Звучно, правда?

— Подождите, сейчас запишу. — Донцов извлек из кармана письменные принадлежности.

— Запишите, хотя это вряд ли вам пригодится. Я знал ее и как Гульнару Сафарову, и как Зульфию Умаробекову.

— Это тоже запишем. Она кто — вьетнамка?

— Да.

— Как оказалась здесь?

— Говорила, что сама толком не понимает. Какое-то помрачение нашло. Дескать, разумно объяснить это невозможно.

— Странно... Случалось, что и на меня помрачение находило, но дальше чьей-нибудь теплой постели я никогда не добирался, — изволил пошутить Донцов. — Чем она здесь занималась?

— По-моему, ничем таким особенным. Но деньги у нее водились.

— Кстати, о деньгах. Вы от нее много получили?

— Как вам сказать, — замялся фотограф. — Кое-что, конеч-

но, перепало. Она ведь у меня несколько месяцев жила. То да се...

— Теперь слушайте меня внимательно и постарайтесь правильно понять. — Донцов для вящей убедительности даже ухватил фотографа за лацканы домашней куртки, от чего тот пугливо вздрогнул. — Деньги вашей Дуни замешаны в одной кровавой истории. Отбирать их у вас я не собираюсь, но взглянуть не отказался бы.

— Как же я те деньги отличу от других? У меня изрядная пачечка накопилась. — Сблизив большой и указательный палец, он показал примерную толщину пачечки.

— Это не проблема. Поищите в вашей пачечке купюры со сходными номерами. — Донцов раскрыл на нужной странице записную книжку.

— Тогда позвольте мне на минутку отлучиться в спальню.

— Отлучитесь, но без всяких фокусов. Номера запомнили?

— Обижаете. У меня же профессиональная память. — Фотограф вдруг понизил голос до шепота: — А как вы намереваетесь поступить с моим ассистентом? Мальчик ни в чем не виноват.

— Пусть выметается, — милостиво разрешил Донцов.

— Спасибо, большое спасибо! — обрадовался фотограф.

Вернулся он гораздо быстрее, чем ожидал Донцов (видимо, держал деньги не где-нибудь в укромном месте, а прямо под матрасом), и предъявил две сотенные бумажки, соответствующие тем, что пропали из сейфа «Теремка».

Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что это именно Тамарка-санитарка, ныне переименованная в Дуньку, наказала братьев Гаджиевых, положив тем самым начало еще одной криминальной войне. На этих зеленых банкнотах, возможно, еще оставались отпечатки ее пальцев, хотя срок их жизни на хорошей плотной бумаге не так уж и велик.

Тут все было ясно. Но причины, заставившие вчерашнюю вьетнамскую эмигрантку жаждать смерти коматозника Олега Наметкина, по-прежнему оставались тайной за семью печатями... Впрочем, ее причастность к убийству еще надо было доказать.

— Поосторожнее с этими деньгами, — сказал Донцов. — Возможно, кто-то из бывших хозяев продолжает их искать. Если засветитесь, вас не пожалеют.

— А вы возьмите их себе, — охотно предложил фотограф. — Как вещественное доказательство.

— К делу, которое я расследую, они отношения не имеют.

— Ну тогда просто так возьмите. В компенсацию за хлопоты. — Фотограф заерзал на табуретке. — Я все равно к ним не прикоснусь.

«А если и в самом деле взять, — подумал Донцов. — Что здесь такого? За Марусю надо расплачиваться, да и расходы впереди предстоят немалые. Цимбаларь взял бы, не задумываясь...»

В беседе наступила неопределенная пауза. Донцову вдруг припомнилась пословица «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Нет, устраивать какие-либо гешефты с этим скользким типом не стоит. Себе дороже будет.

— Заберите деньги, — сказал он сквозь зубы. — Быстро. И впредь в такие игры не играйте.

— Понял. — Фотограф накрыл деньги пустой сковородой и, как за спасательный круг, схватился за початую бутылку. — Можно?

— На здоровье.

— Красивый у вас... эксперт, — сказал фотограф, сглотнув. — Мне бы такую в модели.

— Поговорите, авось и согласится. Почему Дуня ушла от вас?

— Она ничего никогда не объясняла. Приходила и уходила, когда хотела. Заказала себе собственный ключ от дверей.

— По-русски хорошо говорила?

— Лучше нас с вами.

— А по-вьетнамски?

— Наяву никогда.

— Что значит — наяву?

— Во сне она частенько бормотала что-то такое... бям-тям-ням... А больше никогда. Во сне она вообще сильно менялась.

— В сне все меняются, — пожал плечами Донцов. — Ничего удивительного.

— Нет, тут совсем другое дело. Поясняю на примере. Я все же мужчина. — Фотограф передернул пухлыми плечами. — И ко всякой экзотике неравнодушен. Однако все мои попытки сблизиться встречали со стороны Дуни резкий отпор. А вот со сна, в полудреме, она была совсем другая. Ластилась, мурлыкала, готова была отдаться, но, проснувшись окончательно, немедленно прогоняла меня. Как будто надевала на себя совсем другую личину.

— По-моему, это несущественно... Своих вещей она здесь не оставила?

— Абсолютно ничего. Ни пылиночки. Я даже сам удивился. Пустые флаконы из-под шампуня и то с собой унесла.

— Добавить ничего не хотите? — спросил Донцов, заслышав, как в гостиной Цимбаларь начинает насвистывать марш «Кавалерийская рысь», что означало: пора сматываться. Наверное, пришло время сдавать обратно Марусю.

— Добавить... добавить. — Фотограф задумался. — Вы хотите ее арестовать?

— Не исключено.

— Будьте осторожны. Она — оборотень. — Сделав такое в высшей степени неожиданное заявление, фотограф немедленно хлобыстнул третий стакан.

— Как это понять? — Донцов, уже успевший встать с табуретки, застыл посреди кухни.

— Как хотите, так и понимайте. Я свое слово сказал. Только она оборотень не обликом, а, так сказать, натурой... внутренним содержанием. Опять же обратимся к примеру. Я в Штатах немало лет прожил, английский язык в совершенстве знаю, но любой коп или даже уличный попрошайка легко определял, что я чужой. А она год назад прибыла сюда из глухой вьетнамской провинции и сразу стала как своя. За исключением мордашки, конечно. Так легко обыкновенный человек к незнакомой жизни не приспособится. Поэтому я и говорю — оборотень она. Хотя людям зла не причиняет.

— Теперь уже причиняет, — сказал Донцов.

ГЛАВА 11

ДЕНЬ УДАЧ И РАЗОЧАРОВАНИЙ

Утро началось с неприятной новости. Кондаков как ушел вчера еще до полудня на поиски связей с азиатскими мафиози, так и не вернулся. Уже скоро сутки, как он не появлялся ни на службе, ни дома. И даже вестей о себе не подавал, что на него было совсем непохоже.

Многочисленная родня ветерана уже вовсю теребила руководство отдела, хорошо хоть, что до полковника Горемыкина этот слушок не успел дойти.

— Вот будет номер, если нашего деда в какой-нибудь опиумокурильне прикончили, — сказал Цимбаларь.

— Плохо ты его знаешь, — возразил Донцов. — Павла Фомича голыми руками не возьмешь.

— Голыми руками, может, и не возьмешь, а голой бабской дразнилкой — запросто. Он, между прочим, хоть и бывший марксист, но человек весьма страстный. Я это не понаслышке знаю. Подсунь ему какую-нибудь вертихвостку — сразу клюнет. А азиатские марухи не нашим чета. Они этот перепихнин с самого детства изучают. Как у нас домоводство. Больших высот в своем деле достигли. Любого бугая могут до смерти затрахать, а не то что дедушку, износившегося на службе отечеству.

— Ты заранее не паникуй. Еще, как говорится, не вечер. Вдруг и появится.

— Хрен он появится! — воскликнул в сердцах Цимбаларь. — Пропадет, как ягненок в волчьем логове. Мясо на фарш пустят, из шкуры кошельков наделают. Азиаты, одно слово. Давай никому не скажем, что мы к этому делу причастны. Дескать, действовал по личной инициативе. Пропал по собственной вине.

— Нельзя так, — покачал головой Донцов. — Мы его в эту историю втравили, нам его и выручать. Если к обеду не появится, отправимся на поиски. Пройдем по всей предполагаемой цепочке от начала до конца. Не может такого быть, чтобы где-нибудь следов не осталось.

Однако проблема, к счастью, вскоре разрешилась сама собой. Снизу позвонил дежурный и сказал не без издевки:

— На улицу выйдите. Вас там за углом дружок поджидает.

— Почему за углом? — удивился Донцов.

— Потому что за угол держаться можно, — ответил дежурный. — А на ровном месте ноги разъезжаются. Еще скажите спасибо, что я на вас начальству не настучал.

— Ничего себе! — присвистнул Цимбаларь, слышавший весь этот разговор. — Дает дедуся стране угля.

За углом стояли два глянцево-черных внедорожника, здоровенных, как автобусы. Тонированные стекла не позволяли разглядеть тех, кто находился внутри. Однако стоило только Донцову и Цимбаларю приблизиться, как дверцы машин распахнулись, причем все сразу.

«Как начнут сейчас из автоматов в упор палить!» — осенила Донцова запоздалая мысль, но, паче чаянья, все обошлось. Из машин на них пахнуло не пороховой гарью, а банальным перегаром.

В ближнем джипе находился Кондаков, пьяный вусмерть даже на первый взгляд, и несколько пожилых азиатов в одинако-

вых серых костюмах, с одинаковыми непроницаемыми физиономиями и с одинаковой стрижкой.

Различить их можно было следующим образом: у одного татуировки покрывали все открытые части тела, кроме лица, у другого щеку уродовал глубокий рваный шрам, а у третьего отсутствовали как татуировки, так и шрамы. За рулем находился еще один уроженец Юго-Восточной Азии, но этот выглядел помоложе и авторитетом среди соотечественников, судя по всему, не пользовался.

Задняя машина была набита девушками — очень маленькими, очень симпатичными и опять же очень-очень одинаковыми. Каждая из них соответствовала представлениям Цимбаларя об идеальной партнерше для чувственных утех. Марусе с привокзальной площади они были по титьки.

— Салют, — через силу выговорил Кондаков. — Устал. Р-работал всю ночь. Им-мею обнадеживающие результаты.

— Заметно, — отозвался Цимбаларь, который мог бы и не мешаться в разговор старших офицеров. — Налаживали сексуально-культурные связи с зарубежьем?

— Н-не только... Вот хочу представить. — Он сделал рукой широкий жест, попутно задев боковую стойку машины. — Оччень хорошие люди... Пламенные патриоты своей родины. И большие поклонники нашей. Товарищ То ранен при бомбежке Хайфона. Товарищ Те боролся с антинародным режимом в подполье. Товарищ Нгуен также пострадал от сайгонской клики. Просидел в ее застенках десять лет за экс-про-приацию банков.

Все товарищи, включая оставшегося без представления водителя, дружно закивали.

— Общий привет, — сказал Донцов, стараясь не вдыхать густые ароматы, исходящие из джипа. — Рад видеть, что вьетнамские товарищи отдают дань обычаям, издревле присущим нашему народу. Мир, дружба.

— Употребление алкоголя не входит в традиции нашего трудового народа, — безбожно коверкая слова, произнес товарищ То (тот, что со шрамом). — Мы переняли эту привычку у советских инструкторов, помогавших нам громить агрессоров на суше и в небе. В тот напряженный и ответственный момент партия не вынесла своего постановления по данному вопросу, что способствовало распространению в нашей стране этой пагубной привычки.

— Но уже есть директива, направленная на ее беспощадное

искоренение, — добавил товарищ Те (тот, который не имел особых примет).

— Приятно слышать столь подробный и обоснованный ответ, — сказал Донцов, все время косясь на вторую машину, откуда им улыбался десяток очаровательных мордашек. — А что это за женщины?

Ответил Кондаков, что стоило ему немалых усилий:

— Черт их знает... Я сказал, что мне нужна женщина. Показал фото. Возможно, меня не совсем правильно поняли. Но если надо, забирайте всех скопом.

— Доан Динь Тхи среди вас есть? — крикнул Донцов в сторону второй машины.

— Дя, дя, есть, — охотно закивали головками все девушки сразу.

Татуированный товарищ Нгуен, от которого в отличие от остальных несло не перегаром, а чем-то вообще тошнотворным, внезапно горячо залопотал на своем языке, энергично жестикулируя обеими руками. Несколько раз в его сбивчивой речи проскальзывало имя Доан Динь Тхи.

— Что он хочет? — просил Донцов, по очереди обращаясь то к одному, то к другому русскоговорящему товарищу.

Однако адекватный перевод был получен лишь после того, как бывший экспроприатор банков (бывший, говоря условно, поскольку его ловкие, жилистые руки могли взломать еще немало империалистических сейфов) закончил свой экспансивный монолог и лихо отдал честь, приставив ладонь к уху.

— Товарищ Нгуен хочет сказать, что хорошо знает девушку с таким именем, — пояснил товарищ Те. — В прошлом году он сам помог ей перебраться сюда с нашей счастливой родины. Она осталась должна ему большие деньги и куда-то пропала. Недавно она появилась опять, рассчиталась за все, включая неустойку, и попросила покровительства.

— Где она сейчас? — Вожделенная добыча замаячила чуть ли не в двух шагах от Донцова, и его сердце непроизвольно дрогнуло.

Впрочем, все оказалось не так уж просто. Товарищ Нгуен в силу своей занятости не мог знать, где в каждый отдельный момент находится каждая маленькая вьетнамская девушка, попавшая под его покровительство. Скорее всего ее пристроили к какому-либо общественно-полезному труду. Торговать на рынках дарами цветущей родины или шить в мастерской модные и удобные носильные вещи.

В заключение товарищ Нгуен выразил надежду, что девушки, сопровождавшие их в этой плодотворной и поучительной поездке, ни в чем не уступают той самой Доан Динь Тхи, а, наоборот, воспитанием и кротостью значительно превосходят ее.

— Тут мы с вами целиком и полностью согласны. — Донцов, переимчивый по натуре, кивнул на восточный манер. — Но нам нужна именно Доан Динь Тхи.

Три авторитетных в своих кругах товарища вступили между собой в жаркую дискуссию, а Кондаков, находившийся уже на грани распада, мутно подмигивал Донцову и жестом римского патриция, дарующего жизнь рабу-гладиатору, демонстрировал большой палец правой руки.

Цимбаларь обронил в сторону:

— Сейчас они эту Дунь-Дунь на такое дно упрячут, что ее даже сам вьетнамский бог не найдет... Кстати, кто там у них на небесах заправляет?

— Не знаю... Будда, наверное... Или Карл Маркс.

Все внимание Донцова было сейчас сосредоточено на товарищах То, Те и Нгуене, явно пытающихся найти какой-то компромисс. Впрочем, прочесть что-либо на их плоских, малоподвижных лицах было не менее сложно, чем уловить смысл в мелодичной чирикающей речи.

Наконец совещание закончилось, и товарищ То, самый говорливый в этой компании, произнес с вопросительной интонацией:

— Вы обещаете, что Доан Динь Тхи не пострадает как в плане физическом, так и в плане нравственном?

— Само собой, — ответил Донцов. — Насколько я понимаю, она остается гражданкой своей страны, а следовательно, юрисдикция наших законов распространяется на нее в весьма ограниченной степени. Каждый свой шаг мы будем согласовывать с представителями консульства.

— Хорошо, мы сделаем для вас этот маленький подарок. Надеюсь, вы расцените его как залог нашей дальнейшей взаимовыгодной дружбы.

Товарищ То кивнул товарищу Нгуену, и тот вытащил из кармана мобильный телефон самой последней модели, где всяких функций и наворотов было больше, чем в служебном компьютере Донцова. Сразу после этого краткое сообщение улетело к адресату, в руках которого находилась судьба Доан Динь Тхи, известной так же как Тамара Жалмаева и прочее, и прочее, и прочее.

— Сейчас вас отвезут куда следует. Там будет ждать человек, которому можно доверять. Он издали покажет вам девушку. Все остальное зависит от вас. Прошу в машину. — Товарищ То указал на второй джип, из которого спешно эвакуировались веселые пассажирки, все, как одна, одетые в яркие брючки-дудочки и короткие курточки на рыбьем меху.

Донцов, наблюдая эту сцену, успел подумать, что у нашенских девушек на таком промозглом ветру обязательно покраснели бы носы и заслезились глаза, а этих, только что прибывших из тропиков, ничего не берет — за крошечный носик мороз не укусит, в узкий глаз вихрь не задует, а на желтой коже никаких следов атмосферного воздействия вообще не заметно.

Хорошо хоть, что во второй машине пахло не перегаром, а дешевой косметикой и чем-то неуловимым, что всезнающий Цимбаларь охарактеризовал не совсем галантным словом «мандачина».

Молодой водитель управлялся с могучей машиной столь же ловко и бесцеремонно, как у себя дома с трехколесной велорикшей. Магнитола исполняла заунывные восточные мелодии. Похоже, жизнь с утра ладилась.

— Могли бы пару девах для компании оставить, — сказал Цимбаларь.

— Тебе одни девахи на уме... А пистолет ты прихватил? — поинтересовался Донцов.

— Не-е... В сейфе остался. Кто же знал, что мы прямо отсюда на операцию поедем.

— Ладно, как-нибудь с одной девчонкой справимся.

— Справимся, если никто не вмешается.

— Не должны... Нам ведь обещали содействие.

— А дед все же молодец. — Цимбаларь от избытка чувств даже хлопнул себя по ляжкам. — Если бы не он, мы бы эту Дринь-Дринь до новых веников искали.

— Не Дринь-Дринь, а Доан Динь Тхи, — поправил Донцов. — Разве трудно запомнить?

— Какая разница! Я в своей стране живу и ломать язык из-за какой-то чучмечки не собираюсь. Развелись, понимаешь, всякие Мангышлаки да Фудзиямы.

— У тебя тоже фамилия не Иванов.

— Мои предки три века этой стране служат. Почитай историю. Там прямо так и сказано: «Лучшими цимбалистами на Руси

были польские жиды и волошские цыгане». Вот от этих цимбалистов и пошел наш род.

— Через три века на земле, наверное, ни русских, ни цыган, ни вьетнамцев не останется. Все перемешаются, — сказал Донцов.

— Это в том случае, если люди на земле вообще уцелеют, — добавил Цимбаларь. — Про процесс депопуляции слышал? К краху идет род человеческий. В сперме мужчин сперматозоидов в десять раз меньше, чем полсотни лет тому назад, а случаев рака, наоборот, в десять раз больше. И никакая тут медицина не поможет. Вымрем скоро, как допотопные ящеры.

— А тебе бы все каркать. Лучше бы какую-нибудь приятную новость рассказал.

— Вот поймаем эту Дрю-Дрю, и будет тебе приятная новость.

Беседуя таким образом, они подъехали к рынку, но не к родимому Октябрьскому, где бандиты, наверное, до сих пор принимали заказы для Ухарева, а к другому, куда более обширному, расположенному за Кольцевой автострадой.

У въезда на стоянку их ожидал вьетнамец, одетый уже не в представительский костюм, а в самый распоследний ширпотреб, благодаря стараниям его соотечественников ставший нынче чуть ли не униформой для жителей огромной страны, с запада ограниченной посевами бульбы, а с востока плантациями гаоляна.

Обменявшись с водителем быстрым, но красноречивым взглядом, он коротко сказал: «Место сто девяносто пять» — и для наглядности продемонстрировал свою грязную ладошку, на которой тот же номер был написан химическим карандашом. После этого стукач исчез, словно сквозь землю провалился, что для потомка славных партизан, столько лет водивших за нос агрессоров, не составляло, наверное, никакого труда.

Рынок сам по себе являл собой целый город и, если верить схеме, установленной у входа, состоял из продовольственного, вещевого, автомобильного и строительного секторов, а то место, где приехавшие сейчас находились, представляло собой обыкновенную барахолку. Здесь торговали всяким штучным товаром, начиная от старых чугунных утюгов и кончая украденными с заводов расточными и фрезерными станками.

— Слушай, мне пробка к ванне нужна, — сказал Цимбаларь. — Может, поищем?

— Давай сначала дело сделаем. А то эти рынки затягивают не хуже игорных домов.

Все же одну покупку по пути пришлось сделать — моток тонкого капронового шнура, ведь, кроме пистолета, они забыли прихватить с собой и наручники.

Первая коммерческая палатка, на которую они вышли, покинув территорию барахолки, имела номер где-то за шесть сотен.

— Не с той стороны сунулись, — констатировал Цимбаларь. — Придется крюк делать.

Проплутав немалое время среди пирамид обуви, тюков трикотажа, штабелей галантереи, леса зонтиков, бастионов теле- и видеоаппаратуры, ковровых развалов, шубных стад и частокола задранных вверх женских ножек, предназначенных для демонстрации чулок, они в конце концов добрались до искомой торговой точки, представлявшей собой тесный загон, изнутри сплошь завешенный кожаными куртками, во всех приличных странах вышедшими из моды лет этак пять назад, а скорее всего вообще никогда там в моду не входившими.

Покупатели этим товаром почти не интересовались, и Донцов с Цимбаларем, дабы зря не светиться, встали в сторонке. В загоне топтался сухонький старичок, похожий на буддийского святого, находящегося в последней стадии аскезы.

— Приплыли, — сказал Цимбаларь. — Скорее это не девушка Динь-Динь, а дедушка Дрыг-Дрыг.

— Не пори горячку, — ответил Донцов. — Постоим, посмотрим...

От долгого скитания по людному рынку и от резкого запаха дешевых товаров у него начала кружиться голова, а к горлу подкатывала тошнота. Пришлось даже съесть горсть сравнительно чистого снега, сохранившегося на подоконнике заколоченного павильона.

Цимбаларь, неправильно истолковавший такое поведение коллеги, немедленно предложил:

— Давай за пивом сгоняю. У меня самого все нутро пересохло.

— Потом, — остановил его Донцов.

В загончик завернул мужчина, габариты которого не позволяли надеяться на успешное завершение сделки. На такую фигуру куртку следовало шить не из свиней и телят, а из африканских носорогов.

Тем не менее старичок смело вступил в единоборство с этим богатырем, и чувствовалось, что просто так он его от себя не от-

пустит. Перемерив весь имеющийся под рукой товар, хозяин что-то гортанно крикнул внутрь заведения.

— Смотри, смотри. — Донцов толкнул Цимбаларя локтем.

На арене, так сказать, появилась девушка с типичной для этого рынка внешностью, несущая на шесте нечто напоминавшее хоругвь татаро-монгольского войска, но на самом деле оказавшееся демисезонной курткой примерно так семидесятого размера.

— Похожа? — осведомился Донцов, сравнивая девушку с розыскной фотографией, срочно извлеченной из бумажника.

— Может, похожа. А может, и нет, — вздохнул Цимбаларь. — Дурку мы сваляли. Надо было кого-нибудь для опознания пригласить. Хотя бы вчерашнего фотографа.

— Это верно, — согласился Донцов. — Кто же знал, что все так внезапно случится...

Совместными усилиями куртку все же натянули на богатыря, и он ушел, предварительно выторговав пять баксов. Девушка собралась возвращаться обратно.

— Начнем, — сказал Донцов. — Сами как-нибудь разберемся.

Оказавшись в загоне, выполнявшем роль одновременно и выставочного зала, и примерочной, и кассы, они распределились таким образом, что Донцов перекрыл ход наружу, а Цимбаларь, соответственно, внутрь.

— Привет, хозяин, — сказал Донцов. — Как вашу помощницу зовут?

— Зачем тебе? — Старик улыбнулся беззубым ртом. — Жениться хочешь?

— Почему бы и нет. Ну а все же?

— У нас своего имени девушки чужим людям не говорят.

— А нам придется сказать. — Он раскрыл перед носом старика удостоверение.

Цимбаларь уже растопырил руки, как паук-кровосос, нацелившийся на неосторожную мошку, но девушка не предпринимала никаких попыток к побегу. Она стояла как вкопанная, бессильно уронив тонкие руки, и обильные слезы навертывались на ее глазах, хорошо замаскированных тяжелыми раскосыми веками. И вообще это хрупкое создание совсем не походило на ту махровую авантюристку, портрет которой Донцов заранее составил для себя.

Со слов старичка скоро выяснилось, что девушку действи-

тельно зовут Доан Динь Тхи, сюда она приехала для того, чтобы познакомиться с достопримечательностями великой дружественной страны, но нехорошие люди украли у нее все документы, и вот он, всеми уважаемый Фань Мин, взял несчастную к себе в услужение.

— Знакомая песня, — буркнул Цимбаларь, поигрывая капроновым шнуром. — Да только мотив надоел. Пора бы что-нибудь новенькое придумать.

— Она живет с вами? — спросил Донцов. — Где ее вещи?

Старичок объяснил, что девушка нашла себе приют в общежитии, где проживают и другие вьетнамцы, торгующие на этом рынке, а вещей у нее раз, два и обчелся, все в маленькой сумке вмещается.

— Мы ее заберем с собой, — сказал Донцов. — А вы пока оставайтесь здесь и без нее домой не возвращайтесь. Понятно?

Старичок приложил руки к груди и ответил в том смысле, что, если могучий тигр разговаривает с бедным козлом, тому все становится понятно заранее.

— Дисциплинированный народ, — заметил Цимбаларь. — С такими приятно иметь дело.

— Да уж, с цыганами, конечно, не сравнишь.

Несколько минут они решали, как поступить с девушкой — обыскать на месте или повременить.

— По закону нельзя, — говорил Донцов. — Противоположный пол.

— Нет у нее никакого пола, — возражал Цимбаларь. — Сам видишь — ни сисек, ни зада. А вот перо или какую-нибудь спицу припрятать в интимном месте вполне могла. Засмеют нас, если упустим.

— Ладно, я ничего не вижу. — Донцов отвернулся.

Сопение, с которым Цимбаларь выполнял любую важную работу — печатал ли на машинке постановление на арест, молотил ли кулаками соперника на ринге или огуливал бабу (со слов тех самых баб), — длилось минут пять, после чего последовало резюме: «Ничего нет».

По молчаливому согласию пленницу решили не связывать. Уж очень комично выглядела бы со стороны эта троица — двое здоровенных мужчин, один бледный, другой багроволицый, ведут на веревке тоненькую, нежную девушку. Ну прямо Зоя Космодемьянская в лапах фашистских палачей.

Всю дорогу до отдела она молчала, не проронив ни звука, и

только слезы, непрерывно катившиеся из глаз, сигнализировали чужому и равнодушному миру — беда, беда, беда, со мной случилась беда.

В отделе, в комнате, предназначенной для допросов, где вся скудная мебель была намертво прикручена к полу, а из стены торчали специальные кольца для крепления наручников, выяснилось, что Доан Динь Тхи совершенно не понимает русского языка или очень ловко это симулирует.

Алексей Игнатьевич Шкурдюк, старшая сестра психиатрической клиники и фотограф Ростислав Петрович, поочередно вызванные для опознания, безошибочно указали на девушку, сидевшую среди двух других своих соотечественниц соответствующего возраста и схожей внешности.

Доан Динь Тхи с ужасом взирала на происходящее, вздрагивала каждый раз, когда пришлые люди тыкали в нее пальцем, что-то бессвязно бормотала, прижав кулачки к щекам, и отказывалась от всего, что ей предлагали — от воды, от сигарет, от бутербродов.

Дело пошло на лад лишь после того, как из консульства прибыл переводчик. С ним она заговорила не то что охотно, а взахлеб, словно с родным отцом после долгой разлуки. Немного успокоившись, Доан Динь Тхи подробно ответила на все вопросы, которые задал ей через переводчика Донцов.

К концу дня вырисовалась примерно следующая картина.

Она родилась в глухой горной деревне, где за годы новой власти мало что изменилось, где люди выращивали на полях-террасах богарный[1] рис, чай и батат, пасли буйволов, охотились за дикими свиньями и даже не помышляли о путешествиях в дальние страны.

Однажды, примерно с год назад (в свое время девушка посещала начальную школу, умела читать и ориентировалась в календаре), когда Доан Динь Тхи в одиночку шла по лесной тропинке, с ней случилось что-то вроде припадка (судя по описаниям — эпилептического).

Некоторое время она не могла пошевелись ни рукой, ни ногой, но постепенно овладела своим телом и в сумерках добралась до родного дома, однако уснуть в ту ночь так и не смогла — ее всю трясло, как в лихорадке, сознание застилали кошмары.

---

[1] Богарный рис — неполивной.

Врача в деревне не имелось, и за лечение девушки взялся местный знахарь. Она выполнила все его предписания, приносила жертвы богам, пила горькие травяные настои, ела помет черной курицы, но все это помогало мало, а лучше сказать, вообще не помогало.

Хотя Доан Динь Тхи и вернулась к ежедневному труду (иного выхода в бедной многодетной семье, где она была старшим ребенком, просто не существовало), но по-прежнему чувствовала себя неважно — тревожно спала, страдала слуховыми и визуальными галлюцинациями, а иногда ловила себя на том, что действует помимо собственной воли, словно сомнамбула (это сравнение, как и некоторые предыдущие, надлежит оставить на совести переводчика).

Спустя месяц, когда Доан Динь Тхи опять находилась в одиночестве, ее застиг новый сильнейший приступ странной болезни. Дальнейшее девушка помнила урывками.

Каким-то непонятным образом она оказалась вдруг в большом городе на берегу океана, где по улицам катили тысячи велосипедистов сразу, где ночные улицы освещал волшебный свет (до этого об электричестве девушка знала только понаслышке) и где ей впервые довелось отведать мороженого и кока-колы.

Кто присматривал за ней в то время и откуда брались деньги на жизнь, девушка не знала.

Потом начались еще более странные события. Доан Динь Тхи очутилась внутри огромной железной птицы, с ревом взмывающей в небо. От воздушной болтанки и новизны впечатлений ее стошнило прямо в самолете. Все дальнейшее целиком выветрилось из памяти.

Очередная серия впечатлений тоже была связана с городом, но уже совсем другим — многоэтажным, серым, холодным, задуваемым белым снегом. Здесь не было велосипедистов, зато потоки автомашин напоминали горные реки во время разлива.

Облаченная в диковинные одежды, она бродила по улицам этого чужого города, не понимая ни одного слова на вывесках и ни единой фразы из уст прохожих. Целый год прошел как в глубоком, кошмарном сне, лишь иногда девушка как бы просыпалась на краткое время, каждый раз поражаясь непонятным и пугающим событиям, в которые она была вовлечена.

Окончательно Доан Динь Тхи очнулась на рынке у дядюшки Фаня пять дней тому назад и с тех пор помогает ему, потому что ничего другого делать не умеет. Она потихоньку учится языку

этой страны и мечтает вернуться домой, но для этого нужно очень много денег, которые она вряд ли когда заработает.

За время, прошедшее после того, как девушка покинула родину, на ее теле появилось несколько шрамов, происхождение которых она объяснить не может. Изменились и привычки, теперь ее все время тянет к кофе и табаку.

Тех людей, которые заходили и указывали на нее пальцем, Доан Динь Тхи прежде никогда не видела. Человека по имени Нгуен, приметного своими татуировками, она не знает. И вообще, дядюшка Фань — единственное живое существо, с которым она вступила за последний год в осознанный контакт.

Все дальнейшие попытки вызвать девушку на откровенность окончились безрезультатно. Внятно она могла произнести только несколько простейших русских слов, судя по их подбору, услышанных на рынке.

Ни белый медицинский халат, ни подкладное судно, ни долларовые купюры, ни фотоаппарат не пробудили в ней никаких ассоциаций. По словам Доан Динь Тхи, все это, кроме долларов, она видела впервые. Доллары ей показывал дядюшка Фань.

Зыбкая темнота неспокойной ночи вновь накрыла город, а допрос все тянулся и тянулся. Таким разбитым, как нынче, Донцов не ощущал себя даже в тот день, когда удалось задержать киллера Ухарева.

— Постарайся вспомнить, каким именем тебя называли здесь.

Внимательно выслушав переводчика, Доан Динь Тхи кивнула и, ткнув себя пальцем в грудь, произнесла с тарабарским акцентом:

— Я Олег Наметкин.

Это уж, как говорится, был полный отпад!

ГЛАВА 12

САНИТАРКА И ДВОРНИК

Обыск, накануне проведенный ретивым Цимбаларем в бывшем рабочем общежитии, ныне превращенном азиатскими «гостями» в жуткий вертеп, где на одном этаже шили сорочки, снабженные этикетками лучших модных домов Европы, на другом паяли радиотелефоны, на трех сразу ели и спали в кошмарной скученности, а в подвале еще и содержали бордель с националь-

ной экзотикой (шоу трансвеститов и водка пополам со змеиной кровью), ничего существенного не дал.

Не было обнаружено ни поддельных документов с портретом Доан Динь Тхи (других фальшивок набрали целый мешок), ни долларов пресловутой «теремковской» серии, ни новых фрагментов зашифрованной рукописи, на что очень надеялся Донцов.

Ночь девушка промыкалась в дежурке, но сейчас с ней надо было что-то решать.

В следственный изолятор подобных клиентов не брали в связи с отсутствием достаточных юридических оснований на это. Приемник-распределитесь не обеспечивал соответствующего режима содержания — из него пачками бежали даже дети. Обезьянники соседних территориальных отделений были переполнены, да и не стоило совать туда девку — потом педикулез и чесотку не выведешь.

Оставался единственный приемлемый выход — временно поселить Доан Динь Тхи на одной из подотчетных отделу агентурных квартир (под строгой охраной, конечно), но для этого требовалась санкция самого полковника Горемыкина.

Пришлось Донцову скрепя сердце идти на поклон к шефу, делавшему все возможное, чтобы засекретить самого себя.

Секретарша Людочка, высоко и порочно закинув ноги, занималась шлифовкой своих ногтей, одним глазом заглядывая в истрепанный учебник судебной медицины, который впечатлительные люди даже в руки брать брезгуют.

Донцов непроизвольно сравнил Людочку с вокзальной Марусей, и сравнение это, увы, оказалось в пользу последней.

— Ждет? — поинтересовался он, кивая на начальническую дверь.

— Ждет, ждет, — пропела в ответ секретарша. — Ждет, как любовник молодой минуты страстного свиданья.

Выслушав просьбу Донцова, начальник обнадеживающе кивнул и произнес неопределенным тоном:

— Продвигается, значит, расследование...

Можно было подумать, что данный факт вызывает у него не удовлетворение, а скорее озабоченность.

— Похоже на то. Подозреваемая задержана. Но она немного чокнутая. — Донцов покрутил пальцем возле виска. — Или притворяется, что мне кажется куда более вероятным. Таких дел ус-

пела натворить, а теперь тюхой-матюхой прикидывается. Короче, нужна доскональная психиатрическая экспертиза.

— Вы же сейчас работаете в непосредственном контакте с психиатрами. Такие экспертизы как раз и относятся к их профилю. Вот пусть и помогают вам, — посоветовал Горемыкин.

— Нет! — решительно открестился Донцов. — Они сторона заинтересованная. Я предпочитаю независимых экспертов.

— Ваше право. Но тогда ищите их сами. Хотя боюсь, что это затянет следствие. Не забывайте, что оно должно завершиться в самые сжатые сроки. Пока, как я понимаю, взяты только исполнители. А вас ориентировали на поиск заказчиков.

Если честно, то Донцов уже и сам перестал понимать, кто какую роль в этом деле играет. Сколько он ни бился сегодня утром с девушкой, та так и не сумела внятно объяснить, что имела в виду, называя себя Олегом Наметкиным. Временами даже начинало казаться, что для нее это столь же устойчивый речевой штамп, как, например, «Сколько стоит?», «Сбавь цену» или «Пошел на хер».

Стараниями проспавшегося Кондакова была достигнута договоренность с какими-то засекреченными психиатрами, обслуживающими чуть ли не внешнюю разведку. Не откладывая дело в долгий ящик, ветеран сам взялся доставить девушку в их логово.

Сногсшибательных результатов от этой экспертизы Донцов не ожидал, а получил еще меньше. Заключение специалистов, обследовавших Доан Динь Тхи, в вольном изложении Кондакова выглядело примерно следующим образом:

— Работала с твоей девкой целая комиссия в составе пяти человек — психопатолога, судебного психиатра, психоаналитика, психолингвиста и гипнопеда. Кроме того, был еще переводчик, не из консульства, а наш, в майорских погонах. И так к ней подходили, и этак, и разные приборы к голове подключали, и на полиграфе испытывали, и в сон погружали. Только в гинекологическое кресло не сажали. Выяснилось, что сознание у девушки подавленное, отмечен депрессивный синдром в начальной стадии, нервная система истощена, но в принципе никаких патологий нет. Она вменяема в рамках, так сказать, своей социальной группы. Все, что девчонка говорила вчера, можно считать правдой. Никаких следов воздействия на ее сознание путем внушения или при помощи психотропых средств не обнаружено. И вообще, как они объяснили мне, всякие там зомби — это сказки для обывателей. Поведение человека нельзя долго держать под

неослабным контролем, а тем более заставлять его производить какие-то сложные манипуляции.

— Следовательно, эта самая Доан Динь Тхи говорила вчера чистую правду, — произнес Донцов с расстановкой. — Занесло ее к нам попутным ветром, как лепесток цветка. Целый год она прожила здесь во сне. По-русски до сих пор ни бум-бум. И, главное, никакого отношения к инкримúнируемым ей преступлениям не имеет, хотя свидетели в один голос утверждают обратное, улик выше крыши и везде остались ее пальчики. Так?

— Ко мне какие претензии? — развел руками Кондаков. — За что купил, за то и продал... Гипнопед, правда, высказал особое мнение. Дескать, не исключено, что здесь имеет место редкий случай патологии сознания... Аменуия или амбенция, не помню... В таком состоянии человек прекращает ориентироваться в окружающем, теряет осознание своей личности, перестает запоминать происходящее. Яркие фантастические переживания переплетаются с частичным восприятием объективной реальности. В то же время взаимосвязь действий и поступков сохраняется. То есть внешне человек ведет нормальный образ жизни, ничем не выделяется из своей среды, но на самом деле все это пролетает мимо его сознания. Жизнь проходит как сон, и он ничего о ней не помнит, не узнает даже самого себя. Но это, повторяю, частное мнение. Остальные члены комиссии его не поддержали. А частное мнение, сам понимаешь, к делу не пришьешь. У науки свои суровые законы.

— Это уж точно... — проронил Донцов и подумал: «Неужели тупик?»

Посидев еще немного, Кондаков смылся под тем предлогом, что вчера в интересах службы он перетрудил свой организм и сейчас нужно срочно восстанавливать водно-солевой баланс, выводить шлаки и чистить печень. О предполагаемых методах лечения он предпочел умолчать.

«А мне мозги нужно чистить», — хотел сказать Донцов, но смолчал, понимая, что не встретит у Кондакова никакого сочувствия.

Ситуация и в самом деле складывалась анекдотическая. Упрямые факты указывали на причастность Доан Динь Тхи по крайней мере к двум преступлениям, а непререкаемые научные авторитеты свидетельствовали об обратном.

Невольно напрашивалась мысль, что роль Доан Динь Тхи попеременно играли две сестрички-близняшки, имеющие не

только абсолютно схожую внешность, но и идентичные папиллярные узоры. Но даже при этом, в общем-то, неправдоподобном условии оставалась масса безответных вопросов. Спасибо полковнику Горемыкину, подкинул задачку...

От этих досадных раздумий Донцова отвлек телефонный звонок. Сплошные прочерки, появившиеся на экранчике автоматического определителя номера, обличали анонима.

Так оно и оказалось. Женский, а то и старушечий голос, в котором ощущалось тщательно скрываемое волнение, сбивчиво сообщил, что Олега Наметкина замучил (не убил, а именно замучил) не кто иной, как главный врач клиники профессор Котяра. Он постоянно ставил над мальчиком варварские эксперименты, пытал его током и травил ядами, чему имеется немало свидетелей.

Прежде чем Донцов успел хоть что-то уточнить, в трубке послышались сигналы отбоя. Диспетчер отделовского коммутатора, через который осуществлялись все телефонные соединения, подтвердила предположение Донцова — звонили из таксофона. Если более точно — из таксофона, расположенного на улице Сухой. То есть по соседству с клиникой.

Записка, оставленная Донцовым на доске объявлений, нашла-таки своего адресата. Хотелось надеяться, что не последнего.

Что касается анонимного сообщения, то, скорее всего, это была клевета. Звонила пожилая женщина, явно обделенная интеллектом, обиженная не только на своего начальника, но и на весь остальной мир. При этом не было названо никаких конкретных фактов, от которых можно было бы танцевать.

Не вызывало никакого сомнения, что, если вдруг — тьфу, тьфу, тьфу — смерть настигнет Донцова, найдется немало досужих болтунов, которые обвинят во всем полковника Горемыкина или того же Кондакова.

Тем не менее это сообщение надо было держать на заметке. Рано или поздно, но встреча с профессором Котярой состоится, и тогда пригодится любое оружие, даже фальшивое. Почему-то Донцов был уверен, что если бы профессор откровенно ответил ему на все вопросы, то мотивы преступления, а возможно, и его организаторы были бы уже известны.

Вновь зазвонил телефон, но на этот раз входящий номер высветился. Впрочем, он не относился к числу тех, которые хранились в памяти Донцова.

Это дал о себе знать Алексей Игнатьевич Шкурдюк, не далее

как сегодня утром обличавший замаскировавшуюся преступницу (Донцову даже пришлось напомнить, что речь пока может идти только о подозреваемой).

Оказывается, в клинику заявилась квартирная хозяйка санитарки Жалмаевой. Ищет свою пропавшую постоялицу, а также требует погашения задолженности по квартплате.

— Она еще у вас? — Донцов даже подскочил от неожиданности.

— Да. Рядом сидит.

— Не отпускайте ее. Я скоро буду.

Шкурдюк, как всегда встречавший Донцова на проходной, торопливо сообщил:

— Я сказал, что вы родственник Жалмаевой. Это ничего?

— Нормально.

Женщина, разыскивающая беглую санитарку (главной ее достопримечательностью, если так можно выразиться, были очки с непомерно толстыми линзами), назвалась Таисией Мироновной Новохатько и немедленно перешла в атаку на Донцова, нисколько не удивившись тому обстоятельству, что родичи имеют столь разную внешность.

— Шалопутной ваша своячница оказалась! Я как с ней договаривалась? Я договаривалась, что первого числа каждого месяца денежки на стол. Сначала-то она исправно платила, ничего не скажу. А потом вдруг как в воду канула, даже не попрощавшись. За две недели осталась должна. Вы мне ее новый адрес дайте. Или, еще лучше, из своих средств рассчитайтесь. Потом между собой разберетесь. Свои, чай, люди. Я хоть договор найма с ней и не заключала, но это дело просто так не оставлю. Неча над инвалидом по зрению издеваться.

Она сняла очки и стала промокать платочком слезы, которые были для нее то же самое, что сигаретная затяжка для Цимбаларя или сытая отрыжка для Кондакова, то есть дело самое пустяковое.

— Вы о какой Жалмаевой речь ведете? — Донцов предъявил хозяйке уже основательно затасканный фотоснимок.

— Об ней самой. — Вернув очки на место, она часто-часто закивала головой, словно кланялась иконе. — Вишь как вылупилась, бесстыжая...

— Значит, мы имеем в виду одного и того же человека, — констатировал Донцов. — И это уже хорошо. Я, конечно, могу вам дать новый адрес Жалмаевой. Вот только встретиться с ней

пока нельзя. Но передачу собрать можно. Белье, мыло, сигареты, продукты питания согласно утвержденному перечню.

— Уж не в больнице ли она? — сразу сбавила тон хозяйка.

— Зачем же? Здоровью вашей бывшей квартирантки можно позавидовать. В тюрьме она, любезная Таисия Мироновна. И будет оставаться там впредь до решения суда. — Тут Донцов для пущего эффекта немного сгустил краски.

— Свят, свят, свят, — хозяйка перекрестилась. — А ты, милок, случаем не шуткуешь?

— Мне шутковать по должности не положено. — Он предъявил удостоверение.

— Ты мне свои книжки не подсовывай! — отмахнулась Таисия Мироновна. — Малограмотная я. Инвалид по зрению к тому же.

— Малограмотная она, вы только послушайте! — восхитился Шкурдюк. — А нашу клинику по одному только штампу на халате нашла. Сыщик!

Выяснилось, что квартирантка Таисию Мироновну в свои дела не посвящала и даже место работы хранила в тайне, но, уходя, забыла на вешалке белый больничный халат (поступок Тамарке-санитарке вовсе не свойственный, скорее всего, жадная старуха просто присвоила полезную в хозяйстве вещь). Изучив имевшиеся на халате казенные штампы, Таисия Мироновна вычислила, куда ей идти за справедливостью.

— Сейчас мы отправимся к вам в гости и осмотрим комнату, в которой проживала квартирантка, — сказал Донцов. — Мне она никакая не родственница, если вы это еще не поняли. Она опасная преступница.

В последней из съемных квартир, где обитала Тамара Жалмаева перед тем, как снова стать Доан Динь Тхи, Донцова вновь ожидало разочарование.

Ушлая девка не оставила о себе никакой памяти, если не считать того самого халата, в краже которого Таисия Мироновна в конце концов созналась.

Ни в прихожей, ни в ванной, ни в спаленке, где сейчас стояла голая, лишенная белья койка, не нашлось ни одной принадлежащей ей вещи.

Зато допрос хозяйки дал кое-что интересное.

Выяснилось, что квартирантка, кроме как на работу, никуда из дома не выходила, да и Таисия Мироновна не позволяла ей затемно отлучаться — долго ли до беды. То есть что в ночь убийства

Тамарка-санитарка не покидала свою девичью постель, а следовательно, имела алиби.

— Это точно? Вы уверены? — продолжал допытывать ее Донцов.

— Куда уж точнее, — отвечала хозяйка. — Я, помимо всяких там защелок, дверь еще на ключ запираю, который у себя под подушкой прячу. Знаем мы эту современную молодежь. Одна шантрапа, даже если и порядочными прикидываются. Пустишь человека переночевать, а он сбежит под утро и все твое добро с собой прихватит.

— К двери другой ключ подобрать недолго.

— К двери, может, и недолго, да только к моему сну никаких ключей не подберешь. Я ночью вполглаза сплю, все слышу. И как соседи за стеной храпят, и как коты на крыше орут, и как тараканы шуршат.

Донцову вдруг припомнилась легенда об одном буддийском святом, который медитировал десять лет подряд, глядя на стену и внимая воплям муравьев. Силен был, конечно, мужик, но до Таисии Мироновны ему далеко.

— И как же вы ее при таком контроле упустили?

— Очень даже просто. Пошла на почту за пенсией, она и выскользнула. Уже потом я приметила, что ее вещичек нет. Моего, правда, ничего не взяла. Зря грешить не буду.

— Ну, хорошо. Допустим, ваша квартирантка никуда не выходила. А ее кто-нибудь навещал? Или, может быть, звонили?

— Звонить мне сюда можно только через колокол, который на церкви Успения висит. — Таисия Мироновна кивнула в окно, где среди серой хмури можно было разглядеть золоченые купола с ажурными крестами. — При моей инвалидности почему-то никакие льготы от власти не положены. Ни на телефон, ни на лекарства. А ходить к ней ходили, было такое. Один человек ходил. Нечасто, правда. Три раза за все время. Это когда она болела.

— Так она еще и болела? — удивился Донцов, в представлении которого Тамарка-санитарка была кем-то вроде несгибаемого Буратино.

— Случалось. Вроде как паралич на нее нападал. Она тогда пластом лежала. Даже бредила иногда.

— Как бредила? Маму с папой звала или матом ругалась?

— Бормотала что-то невразумительное. Да я особо и не прислушивалась...

— Хорошо. А что это за человек был? Описать его можете? — Донцов подумал, что от инвалида по зрению нельзя требовать

чересчур многого, но ведь есть же такие слепцы, которые любого зрячего за пояс заткнут, например бабка Ванга или Секо Асахара.

— Описать? — задумалась Таисия Мироновна. — Можно и описать, если нужда имеется... С виду он дед старый. Но еще бодрый. По лестнице как молодой шастает. Рожа страхолюдная. Я его из-за этой рожи вначале даже в квартиру пускать не хотела, да она упросила. Говорит, родня моя дальняя, троюродный дедушка. Я и сдалась. Думаю, человек деревенский, уважительный. К тому же всегда трезвый.

— Почему вы решили, что он деревенский? — насторожился Донцов, в лучшие свои годы бравший след еще до появления запаха.

— Так он в валенках с галошами приходил! Ты когда последний раз человека в валенках с галошами видел?

— Совсем недавно, — признался Донцов.

Похоже, что ниточка от Тамарки-санитарки все же протянулась к дворнику Лукошникову. Недаром этот тип вызывал такую антипатию. Друг воронов и враг рода человеческого... Впрочем, это был еще не криминал. Два одиноких существа, пусть и разные по всем статьям, вполне могли сойтись. Примеров тому сколько угодно. Сцилла и Харибда. Квазимодо и Эсмеральда. Маугли и питон Каа. Цимбаларь и Кондаков.

Вот только почему Лукошников скрывал свою дружбу с молоденькой санитаркой? Не хотел делиться душевной тайной? Стеснялся? Или причиной тому преследующие старика провалы памяти?

А если здесь бывал вовсе не Лукошников? Валенки с галошами — это еще не особая примета.

— Как он хоть с вами разговаривал? — поинтересовался Донцов. — Хамил, наверное, на каждом слове?

— Какие могли быть с ним разговоры! Он ведь немой. Только кивал головой да лыбился. Он с фронта такой, после контузии. Квартирантка меня об этом сразу предупредила.

Вот так номер! Представить себе Лукошникова немым да еще и улыбающимся, было весьма и весьма затруднительно. Тем не менее дворника (теперь, наверное, уже экс-дворника) нужно обязательно прощупать. Уж очень любопытная фигура.

И тут Донцова осенило! На одной из фотографий, позаимствованных в клинике, присутствовал и Лукошников, по-видимому, угодивший в кадр чисто случайно. И как он мог забыть

про это! Да, с головой в последнее время что-то явно не в порядке...

Стоило только Донцову вытащить бумажник, как Таисия Мироновна сразу оживилась (что ни говори, а власть вещей над людьми велика!), но каково же было ее разочарование, когда вместо вожделенных купюр на свет божий появились обыкновенные фотографии, реальной коммерческой стоимости не имеющие.

— Посмотрите, нет ли здесь человека, который навещал вашу квартирантку. — Донцов стал поочередно передавать хозяйке снимки, безымянный автор которых и предположить не мог, что со временем они будут использованы для опознания потенциального преступника.

— Да вот же он, касатик! — Таисия Мироновна немедленно ткнула кривым пальцем в скорбную фигуру Лукошникова, весьма контрастирующего с общей оптимистической атмосферой снимка. С края стоит, пригорюнился.

— Вы не ошибаетесь?

— Как можно! Я хоть и инвалид по зрению, но такую рожу среди тысячи других узнаю. И вот это я тоже видела!

— Что? — Голова Донцова сблизилась с головой Таисии Мироновны, словно на популярной в свое время открытке «Люби меня, как я тебя».

— Вот эти загогулинки. — Палец Таисии Мироновны елозил по намалеванному на стене третьего корпуса загадочному символу, ради которого, собственно говоря, эти снимки и были конфискованы из архива клиники.

— Где вы их видели? — За мгновение до того, как это было сказано, что-то словно толкнуло Донцова изнутри.

— Кто-то из них двоих намалевал. Или пень глухой, или квартирантка. Я этот рисунок в мусорной корзине нашла. На скомканной бумажечке. Еще, помню, удивилась — какой ерундой взрослые люди занимаются.

(В квартире осуществлялся, мягко сказать, тотальный контроль, и надо полагать, что Таисия Мироновна искала в мусорной корзине не скомканные бумажки, а нечто более существенное — использованные презервативы, например.)

— Бумажку ту вы, конечно, выбросили, — вздохнул Донцов.

— Нет, хранить такое дерьмо буду! — брезгливо скривилась всевидящая инвалидка по зрению.

— Ну что же, и на том спасибо. А по поводу погашения долга вам следует обратиться в суд. Вменить, так сказать, гражданский

иск. Не знаю, какими средствами располагает ваша бывшая квартирантка, скорее всего никакими, но вы надейтесь, надейтесь...

В тот же день, узнав через адресное бюро координаты Лукошникова, Донцов отправился к нему с визитом. Увы, времена наступили такие, что гость облачался не в визитку, а в бронежилет, и брал с собой не бутылку шампанского, а пистолет с дослланным в ствол патроном.

Лукошников проживал в доме, который пятьдесят лет назад по праву считался элитным, но из прежних преимуществ сохранил нынче только высокие потолки, художественную лепнину (частично) и нестандартную планировку.

Элита, вселившаяся сюда в первые послевоенные годы, успела последовательно пройти по крайней мере два новых престижных уровня быта — модерновые башни семидесятых годов и коттеджи девяностых, — а тот, кто здесь задержался, числился уже не элитой, а так, плебсом.

Лифт в этом доме хоть и напоминал музейный экспонат, но функционировал вполне нормально, что несказанно обрадовало Донцова, которого, как всегда, ожидал один из самых верхних этажей.

Лестничная площадка была так просторна, что какая-нибудь неприхотливая семья вполне могла жить на ней, используя вместо туалета мусоропровод, а вместо душа водосточную трубу. Да, все здесь было просторно, основательно и даже художественно, но какая-то печать древнего запустения лежала на каждой вещи, на каждом архитектурном элементе. Это был не жилой дом, а развалины античного Колизея.

Дверь, ведущая в квартиру Лукошникова, целиком и полностью гармонировала с общей атмосферой запущенной архаичности и даже обита была не банальным дерматином, а выцветшей от времени кожей, в свое время, наверное, составлявшей часть интерьера какого-нибудь прусского замка.

Однако долгие звонки и даже стук в эту дверь оказались безрезультатными. Замок, правда, был простенький, поддался бы даже кривому гвоздю, но нарушение неприкосновенности чужого жилища, гарантированное Конституцией, не входило в планы Донцова. Во-первых, особо не приспичило, а во-вторых, мешали люди, постоянно шаставшие вверх и вниз по лестнице.

В соседних квартирах получить информацию о Лукошникове тоже не удалось. Если на звонок и отзывались, то двери не от-

крывали и беседовать на отвлеченные темы отказывались. Люди здесь жили по большей части тертые, битые жизнью, и своих после пятьдесят третьего года уже не сдавали.

Пуст оказался и почтовый ящик Лукошникова. Полковнику (или генералу) никто не писал.

И тем не менее Лукошников оставался единственной перспективной фигурой, если, конечно, не считать профессора Котяру, неуловимого, как легендарный колобок.

В очередной раз услышав по телефону, что Донцов ищет встречи с его шефом, Шкурдюк натурально запаниковал:

— Что вы, что вы, это невозможно. Профессор на днях отбывает в Осло на съезд Международного общества психиатров. Ему даже пришлось отложить встречу с представителями патриархии.

— Но с вами-то он видится?

— Не больше пяти-десяти минут в сутки.

— Вот и выделите из этих пяти-десяти минут одну для меня. Скажите, что следователь, занимающийся убийством Олега Наметкина, настаивает на личной встрече.

— Хорошо, я постараюсь.

— Примерно то же самое вы мне однажды уже обещали. А воз, как говорится, и ныне там. — Донцов, не прощаясь, оборвал разговор, демонстрируя тем самым Шкурдюку свое полное неудовольствие.

Следующий визит к Лукошникову тоже оказался безрезультатным, более того, волосок, приклеенный поперек дверной щели (старый сыщицкий трюк) остался неповрежденным.

— Ладно, — сказал сам себе Донцов. — Если человека нет дома, будем искать его на рабочем месте.

В клинике подтвердили, что Лукошников накануне получил полный расчет, откровенно высказал все, что он думает о людях в белых халатах, и ушел, хлопнув дверью.

С дворницким трудом было покончено, но существовало еще и основное место работы, ведь, по собственным словам Лукошникова, он «сторожует в научном заведении, где всякую дрянь космическую изобретают».

Благодаря Кондакову список организаций и учреждений, занятых разработками, связанными с космической тематики, был вскоре добыт. Состоял он без малого из пятидесяти наименований.

— «Опытная лаборатория Научно-исследовательского ин-

ститута мясо-молочной промышленности», «Экспериментальные мастерские театрального общества», «Государственный протезный завод», — с расстановкой читал Донцов. — Какое, интересно, отношение они могут иметь к космосу?

— Самое прямое, — ответил Цимбаларь. — Лаборатория мясо-молочной промышленности разрабатывает консервы для космонавтов. Чтобы легко усваивались и не порождали метеоризма, весьма нежелательного в условиях невесомости. Мастерские театрального общества делают парики для оплешивевших ветеранов освоения космического пространства. Ну а протезный завод оставляю без комментариев. Тут и дебил догадается.

— Вполне возможно, что ты, Саша, опять заблуждаешься, — глубокомысленно заметил Кондаков. — На протезном заводе могут монтировать посадочные опоры для спускаемых модулей космических аппаратов.

— Скорее всего, там изготавливают подарки для инопланетян, — вмешался Донцов. — Проблема в том, как найти человека, работающего в одной из этих контор.

— Садись за телефон и обзванивай всех по списку.

Донцова такое решение вопроса не устраивало.

— Во-первых, закрытые учреждения информацию о своих сотрудниках по телефону не дают. — Он для наглядности стал загибать пальцы. — Во-вторых, сторож, а я ищу именно сторожа, может и не состоять в штате, а числиться во вневедомственной охране или в частном охранном агентстве. А в-третьих, не исключено, что отдел кадров проявит гнилой либерализм и стукнет разыскиваемому о нашем звонке. Потом ищи-свищи этого типа.

— Что ты тогда предлагаешь? — поинтересовался Кондаков, так окончательно и не восстановивший водно-солевой баланс своего организма, о чем свидетельствовал графин с водой, опорожненный за несколько приемов прямо из горлышка.

— Придется объехать все эти конторы поочередно, предварительно составив оптимальный маршрут движения. Если на каждый из адресов потратить по десять минут, то получится около восьми часов, то есть полный рабочий день. Лично я надеюсь, что удача улыбнется нам не в учреждении под номером пятьдесят, а по крайней мере двадцать пять.

— Насчет удачи это ты к Цимбаларю, — замахал руками Кондаков. — Я здесь — пас. За долгие годы совместного существования мы с удачей друг другу успели опротиветь.

— Цимбаларь останется на хозяйстве. А в путь-дорогу при-

дется отправиться нам с вами, Петр Фомич, — произнес Донцов сочувственным тоном.

— Где тогда транспорт взять? — Кондакову очень не хотелось сегодня покидать кабинет. — Не на такси же ездить. Разоримся вконец...

— Транспорт сейчас будет. — Донцов набрал номер служебного телефона Шкурдюка. — Алло, Алексей Игнатьевич! Прошу вас срочно прибыть по известному вам адресу... Да, придется поработать... К концу дня, возможно, и не управимся... Опасность вам не грозит, это я гарантирую... Конечно, заправиться не помешает... Нет, продукты питания брать не надо... Хорошо, жду...

— А кого, собственно говоря, мы ищем? — полюбопытствовал Шкурдюк, когда позади осталось уже три или четыре учреждения, так или иначе причастных к космической тематике. — Ведь Жалмаева уже задержана.

— На свободе у нее остались соучастники. Одного из них мы сейчас и ищем, — пояснил Донцов.

Список Кондакова во многом оказался устаревшим. В ателье, где прежде шили белье для космонавтов, теперь изготавливали исключительно кружевные пеньюары. Лаборатория, проектировавшая аварийные парашюты, благополучно закрылась. Мастерская, делающая уплотнители для герметичных конструкций, целиком переключилась на выпуск сверхроскошных гробов (на пребывание здесь вместо запланированных десяти минут ушли все полчаса, и виной тому был Кондаков, пожелавший поближе познакомиться с продукцией).

— Зачем тебе такая красота? — поинтересовался Донцов, сам помимо воли присматривающийся к лакированному великолепию. — Нас в казенных похоронят. Без кистей и без глазета.

— Да я не себе, — ответил Кондаков. — Для тещи присматриваю. Если я ей такую шикарную вещь пообещаю, она удавится в буквальном смысле слова.

Уже начало смеркаться, когда они подкатили к скромному заведению, значившемуся в списке как «Экспериментальное бюро по разработке нетрадиционных средств эвакуации».

— С такими темпами мы и за два дня не управимся, — посетовал Кондаков. — Давай лучше до завтра отложим.

— Управимся, — успокоил его Донцов. — Можно сказать, уже управились.

На унылой проходной, окрашенной в цвет вдовьих слез, ниже надписи «Курить на территории категорически воспрещает-

ся» и рядом со знаком «Ограничение скорости до десяти километров в час» был нарисован тот же символ, что и на стене третьего корпуса психиатрической клиники — кружки, линии, закорючки, которые с одинаковым успехом можно было принять и за буквы, и за цифры, и за китайские иероглифы...

ГЛАВА 13

ПОВЕЛИТЕЛЬ НАГАНОВ

Едва зайдя на проходную, они нос к носу столкнулись с Лукошниковым.

Старик восседал за деревянным барьерчиком, мимо которого полагалось проходить всякому, имеющему право на посещение экспериментального бюро. Для тех, кто этим правом не обладал, но на территорию режимного объекта тем не менее стремился, существовал турникет, сваренный из толстых стальных труб.

При появлении Донцова и Кондакова турникет громко лязгнул, встав на стопор.

— Предъявите пропуск, — произнес старик тем тоном, которым обычно говорят: «Осади назад, зараза!»

— Такой не подойдет? — Донцов продемонстрировал свое удостоверение.

— Нет, — отрезал старик.

— Почему, интересно?

— Если интересно, так ознакомься с «Порядком доступа на территорию».

Донцов, которому уже некуда было спешить, не поленился пробежать глазами этот самый «Порядок...», помещенный в рамочке под стеклом, как какой-нибудь важный документ. Кроме служащих бюро на территорию допускались только депутаты всех уровней, члены правительства, представители городской администрации, пожарные расчеты, бригады «Скорой помощи» и работники силовых ведомств, непосредственно закрепленные за объектом.

— Строго! — изрек Донцов.

— А ты думал! — буркнул Лукошников. — Тут, чай, не проходной двор и не распивочная. Привыкли шастать туда-сюда безо всякой нужды...

— По нужде мы, по нужде. Можно даже сказать, по большой

нужде, — с нажимом произнес Донцов. — А вы меня разве не узнали?

— Узнал, не слепой, — огрызнулся Лукошников. — Чего надо?

— Поговорить с вами надо.

— Выписывай повестку.

— Да мы ведь просто так, без протокола. По душам.

Эти слова почему-то вывели Лукошникова из себя. Вполне вероятно, что для скандала ему было достаточно малейшего повода. Таких людей раньше называли бузотерами. Существовала даже поговорка: «Пьяного бузотера — на полати, трезвого — на цепь».

— Про душу свою ты лучше хрюшке казанской расскажи! Нашлись мне тут, понимаешь, душеведы вшивые! Я вот сейчас багром вас огрею! — Лукошников кивнул на полностью укомплектованный пожарный щит, находившийся за его спиной.

Тут Кондаков незаметно толкнул Донцова локтем в бок — уступи, дескать, инициативу мне. Между двумя ветеранами состоялся следующий обмен любезностями.

— Как вас по имени-отчеству? — поинтересовался Кондаков.

— Асфальт Тротуарович, — охотно ответил Лукошников.

— Очень приятно. Я тогда с вашего разрешения буду Уксусом Хреновичем. Давай-ка, земляк, перестанем друг на друга бочки катить.

— Не я первый начал. Ворвались, понимаешь, как к себе домой... А я так привык — с культурными людьми по-культурному, с хамами по-хамски, — в устах Лукошникова это признание можно было расценивать, как акт доброй воли.

— Наше вам глубокое извинение, если что не так. — Кондаков приподнял свой малахай. — Ошибки загладим... Службу скоро заканчиваем?

— Через полчаса, — Лукошников покосился на электронное табло, наряду со временем сообщавшее также и наружную температуру.

— Вот и прекрасно. Подвезем вас домой, заодно и поболтаем.

— На черном вороне небось подвезете?

— Как можно! На джипе «Гранд Чероки». С полным комфортом, эскортом и... йогуртом, — брякнул Кондаков, так и не подобравший подходящей рифмы.

— Подвезите, если делать нечего, — согласился уже немного

отмякший Лукошников. — Только предупреждаю заранее, по дороге говорить не буду. Зайдем ко мне домой, тогда и поговорим.

— А если заодно по сто грамм сообразим? — предложил Кондаков.

— Крепче чая ничего не употребляю.

— Что так? Здоровье?

— Принципы. Отпил свое. Во как хватило. — Он провел ребром ладони по горлу. — Всего попробовал. И наливочки винной, и кровушки невинной.

Пока старики балагурили подобным образом, Донцов вышел наружу и из таксофона позвонил Цимбаларю, велев немедленно подъехать к дому Лукошникова. При пистолете и с наручниками.

Экс-дворник, которому было предоставлено почетное место на переднем сиденье, паче чаянья радушно поздоровался со своим бывшим шефом:

— Добрый вечер, Алексей Игнатьевич. На ментов, значит, ишачите?

— Попросили, знаете ли... — стал неловко оправдываться Шкурдюк. — А мне как раз по пути оказалось.

— Ну-ну. — Лукошников стал трогать руками всякие цацки на панели управления. — Давно хочу у вас спросить... Это сколько же психов надо признать нормальными и сколько нормальных людей превратить в психов, чтобы собралось денег вот на такой броненосец?

— Машину я приобрел давным-давно, еще до работы в клинике. А вас попрошу впредь воздержаться от столь оскорбительных инсинуаций, — от возмущения голос Шкурдюка, и без того дефектный, стал вообще срываться.

— Не вижу здесь ничего оскорбительного, — возразил Лукошников. — У каждого свой источник дохода. Кто-то аборты вязальной спицей делает, кто-то мертвецов в морге гримирует, а кто-то на дурачках деньги кует. Профессор-то ваш, поди, не с зарплаты такую ряшку наел.

— Профессор Котяра — специалист международного класса. Светило в своей области. Он каждый год за океаном лекции читает.

— Скажите, пожалуйста! — удивился Лукошников. — Дураков, значит, и за океаном хватает.

— Беседовать с вами дальше в таком тоне я не намерен... На-

деюсь, правоохранительные органы по достоинству оценят ваше вызывающее поведение.

Неизвестно, до чего бы они так договорились, но прямо по курсу замаячил дом Лукошникова, благодаря многочисленным архитектурным излишествам похожий на старый фрегат, навечно пришвартованный к пирсу. Заранее прибывший сюда Цимбаларь загнал служебное авто в укромное место и теперь с независимым видом околачивался возле подъезда.

Пока Лукошников под присмотром Кондакова вызывал лифт, Донцов успел шепнуть коллеге пару слов — посматривай, дескать, чтобы старик ноги не сделал, только не забудь, что в таких домах имеется черный ход.

Скромная однокомнатная квартира Лукошникова напоминала монашескую келью — кровать заправлена серым больничным одеялом, абажур вырезан из бумаги, занавески на окне отсутствуют, вещей мало, и каждая из них занимает свое строго определенное место. О более или менее длительном присутствии здесь постороннего человека не могло быть и речи.

Но одно живое существо (кроме хозяина, конечно) в жилище все же имелось. На специальной жердочке, натопырив перья, сидел здоровущий, как селезень, ворон, возможно, один из тех, с которыми вел бесплодную борьбу Алексей Игнатьевич Шкурдюк.

Перехватив дотошный взгляд Донцова, Лукошников сказал с неожиданной теплотой:

— Вот, сдружились... Самая неприхотливая тварь на свете. Собаку выгуливать надо, кошка есть просит, попугайчики сквозняка боятся. А этот в форточку влетает и вылетает. Жратву сам себе добывает. Не надоедает. Хочу еще научить его говорить. Хотя бы пару слов. Тогда будет полный порядок.

Поняв, очевидно, что разговор идет о ней, умная птица расправила крылья и хрипло прокаркала, угрожающе кивнув клювом в сторону Кондакова.

Что ни говори, а при всей своей внешней грубости Лукошников вызывал искреннее сочувствие. До какой же степени нужно было разочароваться в людях, чтобы выбрать себе в приятели ворона, существо не самое симпатичное и отнюдь не компанейское.

Донцов уже собрался начать допрос по заранее приготовленному плану, но Кондаков легкой гримасой дал понять — не торопись, мол, сначала надо расположить человека к себе.

— А чем это таким секретным ваше бюро занимается? — на-

чал он, как всегда, с вопросов для дела несущественных, но собеседника расслабляющих, вселяющих в него иллюзию собственной безопасности.

— Ерундой всякой. — Лукошников стал разливать по кружкам спитой, жиденький чай. — Методами спасения космических экипажей, когда иными средствами их спасти невозможно.

— Это что имеется в виду? Катапультирование?

— Катапультирование, — кивнул Лукошников. — Только не тела, а, грех говорить, души. Считается, что вся человеческая личность записана вот здесь с помощью электрических сигналов. — Он постучал себя по макушке. — И вот когда никакой надежды на спасение не остается, специальный аппарат эти сигналы спишет, как адаптер списывает звуки с пластинки, и пошлет их на приемник, расположенный неподалеку — на космодроме, скажем, или на самолете сопровождения. Про это даже в газетах писали. Хотя идея, конечно, спорная — но раз финансирование идет, почему бы и не попробовать.

— Выходит, человек погибает, а его сознание в этом приемнике будет жить. Одно, без тела?

— Тело потом можно будет подобрать. Хоть обезьянье, хоть дельфинье. Лишь бы серого вещества хватало. — Он вновь постучал себя по голове, отозвавшейся глухим, деревянным звуком. — Да и человеческие тела найдутся. Мало ли у нас олигофренов всяких. Но пока это все так — смелые замыслы. Дальше опытов на крысах дело не идет.

— Вот вы говорите — финансирование... А откуда оно, интересно, поступает? Денег ведь на самое насущное не хватает.

— Люди говорят, что из Америки, от национального управления по аэронавтике. Там на точно такую же работу в сто раз больше придется истратить. Где американцу лазер подавай, наши надфилем справляются. Они испытателям бешеные деньги платят, а наши все сами на себе проверяют. Экономический фактор, едреный корень.

— Что только на белом свете делается! — пригорюнился Кондаков. — Нет, даром это издевательство над естеством не пройдет. Отомстит природа за себя, отомстит.

— Ну и бес с ней, — махнул рукой разомлевший от чая Лукошников. — Меня к тому времени уже на свете не будет.

— А где же ваша семья? — Кондаков оглянулся по сторонам, словно собираясь обнаружить до поры до времени скрывающихся родственников хозяина.

— Не интересуюсь даже, — отрезал тот. — У них своя жизнь, у меня своя.

— Бобылем-то, поди, невесело жить. Ни тебе стакан воды подать, ни спинку потереть... Нашли бы себе симпатию. Одиноких женщин сейчас хватает. А за вас, наверное, любая пойдет. Непьющий, хозяйственный и с деньгами.

— Моя симпатия сейчас косу то́чит да саван штопает. И иных уже не предвидится.

— Не надо прибедняться, Аскольд Тихонович, — вмешался в разговор Донцов. — Говорят, захаживали вы к одной дамочке, и неоднократно. — Он назвал адрес квартиры Таисии Мироновны.

— Ты говори, да не заговаривайся. — Лукошников смерил Донцова тяжелым взглядом. — Не знаю я ни улицы этой, ни дома такого. Не знаю и знать не хочу. А если тебя интересует кто-то, так прямо и спроси, без экивоков.

— Так и быть. Спрашиваю прямо. Бывали ли вы когда-нибудь по указанному мной адресу?

— Отвечаю прямо — нет.

— Хозяйка утверждает обратное.

— Это ее дело. Она, наверное, из той публики, которая раньше в нашей клинике мозги поправляла. Эти что угодно могут утверждать. Что соль сладкая, что снег черный, что заграница — выдумка, а все, что ни есть в мире, — их бред.

— Тогда объясните мне, что означает этот символ? — Донцов предъявил снимок, на котором Таисия Мироновна опознала Лукошникова, случайно оказавшегося на фоне третьего корпуса.

— Не знаю.

— Зачем же тогда вы нарисовали его на проходной экспериментального бюро?

— Ты видел, как я его рисовал? Мало ли у нас всяких вахлаков, которые от безделья стены расписывают. Почему я за их мазню должен отвечать?

В ответах Лукошникова была определенная логика, а главное — непоколебимая уверенность в своей правоте. Безусловно, это был тертый калач. Загнать его в угол могли только неопровержимые факты.

— Этот документ вам знаком? — Донцов продемонстрировал фотокопию зашифрованного текста.

— Впервые вижу. — Фыркнул Лукошников.

— А что будет, если мы сравним отпечатки пальцев, оставленные здесь, с вашими собственными? — со стороны Донцова это уже был чистый блеф: на рукописи среди многих других,

имелись отпечатки пальцев какого-то неизвестного человека, но для идентификации они не годились в связи с плохим качеством.

— Ничего не будет. Умоетесь.

— Про закрытое акционерное общество «Теремок» вы слыхали? — Донцов решил пойти ва-банк.

— Не приходилось.

— Следовательно, никакого отношения к пропаже денег из его сейфа не имеете?

— Не имею, как и к пропаже вкладов населения в Сбербанке.

— Зато одна дама, которой вы симпатизируете, принимала в этом неблаговидном деле самое прямое участие. Я имею в виду «Теремок», а не Сбербанк.

— Передавай ей привет, хотя я и не знаю, про кого ты здесь толкуешь.

— В электропроводке разбираетесь?

— Допустим.

— В сигнализации тоже?

— Надо будет — разберусь.

— Сигнализацию в столовой психиатрической клиники не вы отключали?

— На фиг мне это. Всех собак на меня хотите повесить? Не выйдет.

— Вы по-прежнему продолжаете утверждать, что про убийство Олега Наметкина узнали только спустя пять дней непосредственно от меня?

— Так и было.

— В это трудно поверить. Вся клиника стояла на ушах.

— Не хочешь — не верь.

Ворон опять подал голос — требовательно и немелодично.

— На волю просится, — пояснил Лукошников. — Надоело ему тут с нами...

Он открыл форточку, и птица с криком канула во мрак, словно грешная душа, уносящаяся в преисподнюю.

Некоторое время Лукошников стоял у окна, опираясь на подоконник и глядя в ночь, потом повернулся, взял со стола остывший чайник и, не говоря ни слова, отправился на кухню.

— Куда вы, Аскольд Тихонович? — крикнул ему во след Донцов. — Мы еще не закончили. Да и чая больше не хочется. Животы от воды раздуло.

Хозяин на эти слова даже ухом не повел. Было слышно, как он наполняет водой чайник, как зажигает газ, для чего-то хлопает дверцей духовки, звякает посудой.

— Не сбежит? — прошептал Кондаков.

— Вряд ли, — ответил Донцов. — Какой из него бегун в такие годы. Да и Цимбаларь внизу караулит.

— А с чего бы это ему речь отняло?

— Совесть, наверное, не на месте. Или просто время тянет.

Донцов и Кондаков сидели как на иголках, но вот наконец раздалось приближающееся шарканье старческих шагов. Гости вздохнули с облегчением, однако, как выяснилось — преждевременно.

Дверь, ведущая из единственной комнаты в прихожую, до этого приоткрытая, резко захлопнулась, и с той стороны щелкнул замок.

— Аскольд Тихонович, что это за глупые шутки! — возвысил голос Донцов, но ответом ему был только шум, обычно производимый человеком, спешно собирающимся в дорогу.

— Там что-то горит! — воскликнул Кондаков. — Спалит нас старый хрыч! Спасаться надо!

Действительно, с кухни запахло горелым, но это был не смрад превращающегося в уголь бифштекса, а нечто ностальгическое, напоминающее дым осеннего костра, в который для разнообразия брошены ненужные любовные письма.

Путь к спасению преграждала дверь — филенчатая, крепкая, не чета нынешним фанеркам. Да и Донцов был не в том состоянии, чтобы использовать свое плечо вместо тарана. Кондаков физических нагрузок вообще чурался, ссылаясь на артрит и гипертоническую болезнь третьей степени. Однако и сгореть заживо не хотелось.

Дверь они в конце концов выбили, воспользовавшись столом, полновесным и грубым, как и все в этой квартире, но хозяина к тому времени и след простыл. Более того, он каким-то образом сумел заклинить дверь, ведущую на лестничную клетку.

Пока Кондаков разбирался с этим новым препятствием, Донцов забежал на кухню, в которой находился очаг возгорания, и голыми руками выгреб из духовки пылающие комья бумаги.

Огонь проще всего было бы погасить водой из-под крана, но это окончательно погубило бы хрупкие листы.

Поскольку половиков, скатертей, занавесок и даже приличных полотенец в квартире Лукошникова не имелось, Донцову пришлось пожертвовать собственным, еще вполне приличным пальто.

Когда с пожаром (который на деле оказался вовсе не пожа-

ром, а так, мелкой диверсией) было покончено, оба сыщика с облегчением вздохнули.

— Пакостник старый! — Кондаков размазывал сажу по потному лицу. — Уж всыплю я ему!

— Это непременно. — Донцов заметно нервничал. — Пора бы уже и Цимбаларю появиться... Кстати, а вы лифт, на котором старик уехал, слышали?

— Вроде бы...

— Куда он ушел — вверх или вниз?

— М-м-м... — Кондаков задумался. — А ты знаешь, скорее всего вверх.

— То-то и оно! Здесь же чердак на весь дом. Он по нему в другой подъезд переберется, и поминай как звали.

Общими усилиями они выломали входную дверь (оказалось, что Лукошников заклинил ее снизу топориком для рубки мяса) и, не дожидаясь лифта, устремились вниз. Гипертоник и почечник — наперегонки.

Цимбаларь, как ни в чем не бывало, грел у батареи поясницу и заодно покуривал. Проскочить мимо него было невозможно — под контролем находились и лифт и лестница.

— Что вы такие распаренные, отцы родные? — удивился он. — Отпор у клиента получили?

— Сбежал он! — вместе с последними остатками сил выдохнул из себя Донцов. — По чердаку ушел. Только не знаем, в какую сторону. Давайте все на улицу. Ты, Саша, налево, а вы, Петр Фомич, направо. Вдруг успеете перехватить. А я на всякий случай здесь останусь.

Стоит ли говорить, что в многоэтажном доме, построенном в форме буквы «Г» и имеющем двенадцать сквозных подъездов, задержать беглеца такими ничтожными силами было столь же неосуществимо, как руками поймать стрижа.

Организм Донцова исчерпал предел своих возможностей, а вдобавок в боку что-то словно оторвалось. На подгибающихся ногах он вернулся в полную дыма квартиру Лукошникова и рухнул на жесткую хозяйскую койку.

Следом приковылял Кондаков, выглядевший ненамного лучше. Цимбаларь на машине объезжал окрестности, надеясь наскочить на сбежавшего старика, но в его успех уже никто не верил.

— Дожили! — сетовал Кондаков, лязгая зубами о край кружки. — Старый пень вокруг пальца обвел.

— О старые пни много молодых ног поломано, — пробормотал Донцов, изо всех сил пытаясь удержать сердце в пределах, предусмотренных анатомическими нормами.

— Как грязной тряпкой по роже... И ведь не пожалуешься никому.

— Ничего страшного, — попытался успокоить его Донцов, и сам нуждавшийся в утешении. — Оставим здесь засаду. К Экспериментальному бюро пошлем «наружку». Все другие места, где он может появиться, тоже перекроем... Никуда не денется. Личность приметная.

— Боюсь, ляжет на дно. Хрен мы его тогда найдем.

Отдышавшись немного, Донцов прошел на кухню и занялся сортировкой того, что уцелело в огне. Всего здесь было около полусотни листов с зашифрованным текстом. Часть их безвозвратно погибла, но основная масса сохранилась, только по краям обуглилась. Бумага, собранная в пачку или сброшюрованная в книгу, — не самая доступная пища для огня, в чем Донцов уже неоднократно убеждался.

— Послушайте, — обратился он к Кондакову, приканчивающему третью кружку воды подряд. — Пока никого нет, давайте устроим здесь капитальный шмон. Авось и откопаем что-нибудь ценное.

— Ты в смысле денег?

— Я в смысле улик. Деньги, кстати, тоже улика. Особенно американские доллары одной определенной серии.

— Шмон так шмон, — согласился Кондаков. — Другого-то занятия все равно нет. Ты пока отдохни, а я пошурую. Все, что найду, к тебе буду носить.

— С кухни начинай, — посоветовал Донцов. — Тайник у него где-то там.

Тайник обнаружился сразу — две половицы свободно сдвигались в сторону. Однако, кроме мышеловки с мумифицированным мышонком, там ничего не было. Перед тем как податься в бега, Лукошников выгреб все ценное, а то, что не смог унести, попытался сжечь.

Обстучав стены и измерив при помощи спичечного коробка внешние и внутренние габариты всех предметов кухонной меблировки, Кондаков перешел в санузел, а затем и в прихожую.

Много времени это не заняло. Например, в хитрой комнатке, куда согласно старой поговорке сам царь пешком ходит, кроме выщербленной ванны, жестяной раковины и заросшего ржавчиной унитаза, нашлись только липкие обмылки, сточен-

ная опасная бритва с фашистским орлом на лезвии и полупустой флакон самого дешевого одеколона. Как Лукошников чистил зубы и чем подтирался, установить не удалось.

Все надежды оставались на жилую комнату.

Под подушкой и в матрасе ничего заслуживающего внимания не оказалось. Следы вскрытия на половицах отсутствовали. Каких-либо пустот в мебели не имелось. Два десятка книг, подобранных безо всякой системы, тоже ничем не порадовали, хотя и лишились своих переплетов. Лишь в старом фибровом чемодане, под слоем дырявых носков, изношенных сорочек и полинялых трусов, удалось откопать нечто вроде личного архива.

Сначала Кондаков аккуратно выложил на подоконник медали, начиная с довоенной «XX лет РККА» и кончая недавней «50 лет Победы». Орденов сыскалось только три штуки — две Красные Звезды и один Красного Знамени.

— Для фронтовика не густо, — заметил Кондаков, очевидно что-то понимавший в этом деле. — И те, похоже, за выслугу лет получены.

— Фронта он не видел, — сообщил Донцов. — Хотя порох нюхал. Правда, в основном свой собственный... Взгляни сюда.

Из стопки всевозможных документов, как правило, снабженных коленкоровыми обложками, он извлек скромную коричневую книжечку с косой надписью «Удостоверение». Полистав ее, Донцов торжественным тоном зачитал:

— «Народный комиссариат внутренних дел. Удостоверение личности. Предъявитель сего, Лукошников Аскольд Тихонович, состоит на действительной военной службе в 24-й дивизии войск НКВД. Должность — командир батальона. Пользуется льготами и преимуществами, установленными Кодексом, объявленным в собрании законов 1930 года № 23». Во как! И какие же это, интересно, льготы?

— Водка в распивочной без очереди и вокзальные шлюхи бесплатно, — в свойственной ему грубоватой манере пошутил Кондаков. — Я-то откуда подобные тонкости могу знать?

— Что тут еще есть... Ага, вот. «Состоящее на руках и разрешенное к ношению холодное и огнестрельное оружие, а также почетное революционное оружие». Холодного оружия нет, зато огнестрельное меняется чуть ли не каждый год. Наган, наган, наган и еще один наган. Только в сорок пятом появляется «ТТ». Почему же у него наганы не держались?

— Стрелял много, — пояснил Кондаков. — У нагана, не в пример пистолету, ствол быстро изнашивается.

— Теперь понятно, почему он невинно пролитую кровушку все время вспоминает. Стрелять-то приходилось не по мишеням, а по людям. Причем по своим. Ладно, смотрим дальше... «За передачу удостоверения личности в чужие руки виновный привлекается к строгой ответственности». Да, это вам не фунт изюма. Грозный документ.

— А как же! Случалось, что кое-кто в штаны делал, подобную ксиву узрев.

Было в чемодане еще множество всяческих справок, написанных преимущественно от руки, иногда даже карандашом, зачастую на оборотной стороне листков с немецким текстом. Все эти разномастные, крошившиеся от времени бумаженции роднили между собой только печати — жирные, лиловые, круглые, обязательно с гербом.

Единственная фотография, попавшая в архив, имела, наверное, какую-то особую значимость, иначе зачем бы ее хранить здесь, а не в семейном альбоме.

На толстом картоне с фирменными виньетками были изображены двое — мужчина средних лет в форме офицера гвардейской кавалерии, имевший явное портретное сходство с Лукошниковым, и маленький мальчик в матроске, еще лишенный каких-либо индивидуальных особенностей.

— Это он с папашей, наверное, — догадался Кондаков. — Дворянская каста. Белая кость. Голубая кровь.

Затем внимание Донцова привлекла крошечная, с ладонь величиной, справка, из которой следовало, что возраст Лукошникова Аскольда Тихоновича путем внешнего осмотра определен в семнадцать лет и что сведения о его родителях отсутствуют, но, по собственным словам, он происходит из крестьян-бедняков Нижегородской губернии.

— Странно... — произнес Донцов. — Выходит, что он беспризорник.

— Нет, тут совсем другое дело. — Кондаков взял справку из его рук. — Отрекся он от отца с матерью. Вместо волчонка овцой прикинулся. Чтобы свою будущую карьеру не подпортить. Сей документик сродни расписке, которую Иуда при получении тридцати сребреников подмахнул.

— Это нам сейчас хорошо судить, — вступился за старика Донцов. — Глядя, так сказать, из другого времени. Не дай бог никому в его шкуре оказаться.

Хранились в чемодане и другие любопытные реликвии: например, какое-то чудное удостоверение шофера первого класса с

талоном общественного автоинспектора, «не подлежащим отбору и обмену», или громадная, с газетный лист, почетная грамота, выданная Лукошникову А.Т. за активное участие в общевойсковой выставке самодеятельного изобразительного искусства, посвященной семидесятилетию товарища И.В. Сталина.

Однако наиболее пристальное внимание Донцова привлекло обыкновенное заявление в городской исполком Совета народных депутатов, где Лукошников в категорической форме требовал улучшить его жилищные условия.

Сличение почерков заявителя и загадочного автора шифрованных записок безоговорочно свидетельствовало о том, что это одно и то же лицо.

Приходилось признать поистине невероятный факт — бывший энкавэдэшник Лукошников не только ретиво выполнял свои служебные обязанности, но и втайне от всех изучал древние языки, достигнув на этом поприще завидного совершенства. Воистину наша жизнь полна парадоксов.

Итоги обыска подвел Кондаков:

— Все это макулатура, имеющая интерес только для краеведческого музея. А паспорт, пенсионное удостоверение и другие серьезные документы он с собой прихватил. Да и деньги, наверное, тоже. Кроме того, у него и оружие есть. Именной пистолет, на хранение которого имеется соответствующее разрешение... Ничего не скажешь, ценный презент ему при выходе на пенсию отвалили. Нам про такой только мечтать остается...

ГЛАВА 14

ШИЗОФРЕНИКОВ НАЧАЛЬНИК И МАНЬЯКОВ КОМАНДИР

С утра обязанности распределили так: Кондаков повез спасенную рукопись в Институт языкознания на экспертизу, Цимбаларь отправился проведать Доан Динь Тхи (а вдруг у той прорезалась память), сам же Донцов, совершив длительное турне по городу и расставив в заранее намеченных местах (Экспериментальное бюро, квартира Таисии Мироновны и так далее) посты наружного наблюдения, навестил клинику, которая, надо признаться, успела ему изрядно поднадоесть.

Отделавшись от назойливого Шкурдюка под тем предлогом, что ему нужно самому пройтись всеми предполагаемыми маршрутами преступника, Донцов переходными галереями добрал-

ся до первого корпуса, в котором, по его сведениям, и располагался кабинет главного врача.

Сначала он по ошибке попал в приемный покой, где будущие пациенты клиники ожидали своей очереди на госпитализацию — одни в сопровождении родственников, другие под бдительным присмотром дюжих санитаров, третьи в скорбном одиночестве, — но быстро сориентировался и неприметной боковой лестницей поднялся на нужный этаж, сделав по пути всего три остановки для отдыха.

Искать встречи с человеком, который тебя принципиально избегает, дело неблагодарное, но Донцов сегодня решил идти напролом, поскольку все другие зацепки, на начальном этапе расследования казавшиеся такими многообещающими, вдруг сами собой пресекались, превратившись в бесполезный мусор, словно хвоя новогодней елки, простоявшей до самого Сретенья.

Приемная главного врача вопреки ожиданиям оказалась пуста, и никто не помешал Донцову проскользнуть в заветную дверь, за которой он ожидал получить ответы на многие животрепещущие вопросы.

В скромно обставленном кабинете, похожем на ординаторскую какой-нибудь провинциальной больницы, находился всего один человек. В данный момент он стоял возле окна, спиной к входу, и при появлении посетителя даже не шелохнулся, что не позволило Донцову составить представление о его внешности.

Однако такой костюм, а в особенности такие туфли мог носить лишь всемирно известный профессор, нефтяной олигарх или самый крутой авторитет из тех, что закуривают сигары от стодолларовых банкнот.

— Добрый день. — Донцов деликатно откашлялся. — Мне нужно видеть профессора Котяру.

В ответ прозвучал негромкий отрешенный голос:

— Уточните: видеть его или говорить с ним.

— Конечно, говорить.

— Впредь попрошу выбирать выражения. Как говорил Конфуций: «Назовите вещи своими подлинными именами, и тогда успех обеспечен».

— Я майор Донцов, расследующий обстоятельства смерти Олега Наметкина.

— Очень приятно. — Человек у окна продолжал всматриваться в серую муть, объявшую город.

— Можно задать вам несколько вопросов? — Донцову очень

хотелось присесть, но в присутствии стоявшего столбом хозяина это могло показаться нетактичным.

— Согласно этикету вопросы нельзя задавать только английской королеве и папе римскому.

Расценив эти слова как завуалированное приглашение к разговору, Донцов спросил:

— Какой болезнью страдал при жизни Олег Наметкин?

— Он страдал весьма распространенной в настоящее время душевной болезнью, которая называется манией ничтожества. В отличие от куда более известной мании величия, ее симптомы проявляются в том, что больные воображают себя не Наполеоном или стратегическим бомбардировщиком, а чем-то до невозможности крошечным. Амебой, например.

«Интересные тары-бары у нас завязываются», — подумал Донцов, а вслух произнес:

— Есть сведения, что к Наметкину применялись не совсем обычные методы лечения, а именно электрошок и сильнодействующие медицинские препараты. — Тут он целиком полагался на анонимное сообщение, только по мере возможности смягчал чересчур резкие выражения.

— Это вполне объяснимо. — Человек у окна кивнул. — К существу с психологией амебы иные методы лечения применять абсолютно бесперспективно. Одноклеточный организм реагирует лишь на самое ограниченное число раздражителей — свет, электрический ток, изменение химизма окружающей среды.

— Не могли ли эти факты послужить причиной смерти Наметкина?

— Это праздный вопрос.

— Почему?

— Он не умер. Одноклеточные практически бессмертны. При делении они распадаются на две совершенно идентичные половинки, продолжающие жить в прежнем облике. И так может продолжаться до бесконечности.

Это начинало походить на дурной сон. Или человек, маячивший у окна, издевался над ним, или у него самого в голове ползали тараканы.

Донцов уже собрался перейти к более действенным мерам, ведь как-никак, а он являлся официальным лицом, пусть даже и занятым неофициальным расследованием, но тут дверь за его спиной резко хлопнула.

В кабинет ввалился лысый человек, громоздкий, как водолаз

в полном снаряжении, и, мимоходом кивнув Донцову, устремился прямиком к окну.

— Все в порядке, Павел Петрович, — произнес он довольно небрежно. — Ни о чем не беспокойтесь. Вас сейчас поместят в самую удобную палату клиники под надзор наших ведущих специалистов. Уверен, что в самое ближайшее время вы почувствуете облегчение.

Последние слова послужили как бы сигналом для двоих санитаров, до поры до времени остававшихся в приемной.

Они деликатно взяли Павла Петровича под руки и с фальшивыми улыбочками повёли к выходу — ну просто ангелы, провожающие душу праведника в райские кущи. Однако можно было легко предугадать, что, оставшись без свидетелей, они церемониться с больным не будут.

Проходя мимо Донцова, Павел Петрович повел на него глазами, где обманчивым огнем сияло безумие, и все тем же отрешенным голосом произнес:

— Запомните — единственный путь спасения, приемлемый для человека, это путь одноклеточных. Ощутите себя амебой, и жизнь сразу переменится к лучшему.

Едва дверь за психом и его свитой затворилась, как профессор Котяра — а все говорило за то, что это именно он, — извиняющимся тоном пояснил:

— Талантливейший человек, между прочим. Ученый, писатель. Мой личный друг. И надо же, возомнил себя одноклеточным организмом. А все началось с того, что он взял себе псевдоним — Амеба Инуфузорьевич Простейший. Поистине слова имеют роковую силу. Возомнишь себя быком — и вскоре отупеешь. Назовешься зайчиком и...

— И потянет на капусту, — подсказал Донцов, имея в виду отнюдь не популярный огородный овощ, а нечто совсем иное.

— Нет, станешь чрезмерно плодовитым, — закончил профессор. — Чувствую, придется нам с этим Инуфузорьевичем повозиться.

— Я следователь, ведущий дело Олега Наметкина, — вновь представился Донцов.

— Нетрудно догадаться. С чем пришли?

— Накопились кое-какие вопросы.

— А мой заместитель вас не устроит? — чувствовалось, что эта встреча для Котяры крайне неудобна, но, как человек воспитанный, он не мог сразу указать Донцову на дверь, что, напри-

мер, не составило бы особого труда для Аскольда Тихоновича Лукошникова.

— Увы, мои вопросы такого свойства, что на них может ответить только врач, а уж никак не администратор.

— Садитесь, что же вы стоите, — спохватился Котяра. — Наметкин — это, знаете ли, самая большая моя потеря в научном плане, хотя состоялась она еще задолго до его физической кончины.

— Вы имеете в виду коматозное состояние Наметкина?

— Скорее не само состояние, а его продолжительность. — Котяра говорил неторопливо, иногда задумываясь в поисках нужного слова. — Он и прежде впадал в кому, но всегда выходил из нее без особых проблем.... Боюсь, что он развоплотился. И на сей раз уже окончательно.

Донцов, державший наготове записную книжку, занес туда услышанное впервые словечко «развоплотился», а профессору сказал следующее:

— Нельзя ли выражаться более доходчиво? В рамках, так сказать, общепринятой лексики.

— Зачем? — Котяра пожал плечами, и от этого все его обильные телеса заходили ходуном. — Во-первых, я не располагаю достаточным количеством времени, чтобы просвещать вас, а во-вторых, в этом нет никакой необходимости. Представьте, что в свое время преступник похитил у супругов Кюри весь их запас с таким трудом наработанного радия. Обязательно ли в этом случае объяснять сыщику теорию деления радиоактивных элементов? Думаю, что нет. Достаточно предупредить, что похищенное вещество представляет опасность не только для преступника, но и для окружающих его людей.

— Не значит ли это, что смерть Наметкина также представляет опасность для окружающих?

— Это вопрос вопросов! — воскликнул Котяра с неожиданной страстью. — Но, поскольку наш мир стоит непоколебимо, надо надеяться, что Наметкин выполнил свое предназначение... Или продолжает выполнять.

Все, сказанное здесь, мало чем отличалось от бреда душевнобольного, возомнившего себя амебой, и Донцов, участвовавший в этом словоблудии на полном серьезе, уже сам начал ощущать первые признаки тихого помешательства.

— Хотите сказать, что Наметкин... не умер? — произнес он не совсем уверенно.

— Вы верите в бессмертие души, в существование ментального пространства, в метемпсихоз, наконец?

— Что такое метемпсихоз? — Донцов решил, что прикидываться всезнайкой больше не стоит.

— Проще говоря, реинкарнация.

— А-а-а... Если честно, то не верю.

— Тогда вдаваться в подробности не имеет ни малейшего смысла. Могу сказать вам только одно — в последнее время существовало как бы два Наметкина. Один — беспомощный инвалид, прикованный к больничной койке. Другой — гигант духа, которому в одинаковой мере были подвластны и время, и пространство. Впрочем, это моя личная точка зрения, не подтвержденная какими-либо конкретными фактами. Хотя косвенные подтверждения имеются.

— Мы в своей работе стараемся избегать всего косвенного... Такие понятия, как вина и ответственность, требуют исключительно конкретного истолкования... Скажите, а вследствие чего Наметкин приобрел свои необыкновенные способности? Здесь есть ваша заслуга?

— Лишь в той мере, в какой рождение ребенка можно считать заслугой повитухи. Наметкин создал себя сам. Как говорится, не бывать бы счастью, да несчастье помогло.

— Кто же мог желать его смерти?

— Враг. В самом широком понимании этого слова, вплоть до извечного противника рода человеческого. Тот, кто претендует на вселенскую власть. Или представляет себе устройство нашего мира как-то совсем иначе. Вы, наверное, думаете, что я несу эту ахинею с единственной целью — запутать вас? Отнюдь. Я сам давно запутался во всей этой мистической зауми. Я в конце концов практикующий врач-психиатр, а не какой-нибудь теософ. Вы один из немногих, с кем я могу быть откровенным. И все потому, что в вашей личности ощущается некая... необычность, что ли. Вы человек с нетрадиционным мышлением, способный оценить, так сказать, аромат неизведанного. Заявляю это вам как человек, кое-что в психологии кумекающий.

— Нечто подобное я недавно слышал от одного доморощенного астролога, заодно нагадавшего мне и скорую смерть. По его словам, причина моей тяги к неизведанному — планета Нептун, под знаком которой я родился... И тем не менее в случае с Наметкиным я до сих пор ничего не понимаю.

— Это не страшно, — заверил его Котяра. — Понимание бывает двух видов. Одно дается нам через чужие назидания. Дес-

кать, не балуйся с огнем. Другое приходит через собственное восприятие, иногда мучительное. В нашем примере это ожог. Естественно, что второй вид понимания гораздо более продуктивен. Проблемы, завязанные на жизни и смерти Наметкина, станут понятны вам только через преодоление тайны, окружающей их. Или не станут понятны никогда, что, в общем-то, вполне объяснимо. А сейчас позвольте мне самому задать несколько вопросов, хотя это и противоречит практике, принятой в вашем многоуважаемом ведомстве.

— Пожалуйста.

— Говорят, в этом деле уже появились первые подозреваемые?

— Да.

— Они задержаны?

— Задержана санитарка, прежде работавшая в вашей клинике.

— Она в чем-то призналась?

— Нет.

— Преступница изворотлива или следствие малоэффективно?

— Ни то, ни другое. Здесь случай особый. Сейчас ваша бывшая санитарка выдает себя за совсем другого человека, даже не понимающего русский язык. О клинике она якобы не имеет никакого представления, хотя все улики указывают на обратное. Причем ее поведение столь убедительно, что в тупик зашло не только следствие, но и комиссия из весьма авторитетных медиков, ваших коллег, между прочим... Есть еще один подозреваемый, тоже в прошлом связанный с клиникой. В настоящее время он находится в розыске.

— Способ убийства по-прежнему остается тайной?

— Скажем точнее, способ проникновения в палату Наметкина. Да, пока здесь очень многое неясно... Кстати, что бы мог означать этот символ? — Донцов уже в который раз извлек из бумажника фото, на котором фигурировали сразу два загадочных объекта — дворник Лукошников и как-то связанный с ним настенный рисунок.

— Это как бы фирменный знак Олега Наметкина, означающий «Я здесь был», — охотно пояснил Котяра. — Кстати, мы его придумали вместе. Вот это инициалы, вот это год рождения. Видите?

— Действительно, — присмотревшись повнимательнее, кон-

статировал Донцов. — Как же это я раньше не догадался! Решение ведь самое простейшее.

— Увы, косность мышления свойственна всем людям старше пяти лет. Закон природы.

— Тогда напрашивается вполне естественный вопрос: кто мог оставить этот знак? Ведь не сам же Наметкин...

— Естественно, не он. Возможно, это какая-то хитроумная ловушка. Честно сказать, я просто теряюсь в догадках.

— Наметкин был образованным человеком?

— Для своего возраста достаточно образованным.

— Он знал иностранные языки?

— Какие, например?

— Санскрит, древнегреческий, египетский, арамейский. — Теперь и Донцов благодаря визиту в Институт языкознания мог блеснуть эрудицией.

— Затрудняюсь что-либо утверждать категорически, но это вполне вероятно.

— Столь глубокие и разнообразные знания в столь молодом возрасте... Весьма занятно.

— Время, в котором он жил, не адекватно нашему, — сообщил Котяра самым обыденным тоном.

— Как это понимать? — Ощущение нереальности происходящего вновь овладело Донцовым.

— Да как вам будет угодно. Повторяю, это практически невозможно объяснить в тех терминах, которыми вы привыкли оперировать на службе. Мой вам совет — доходите до всего своим умом. Вы же человек понятливый.

— Образцы почерка Наметкина сохранились?

— Вряд ли. Он никому не писал и сам писем не получал. Поищите у родственников. Или в школе, где он учился.

— Припомните, высказывал ли Наметкин при жизни какой-нибудь интерес к Древней Индии? Шива, Ганеша, Арджуна и так далее...

— Насколько мне известно — нет.

— Вы подвергали его каким-либо шоковым воздействиям? Имеется в виду электрический ток и сильнодействующие лекарственные вещества.

— Большинство лекарств, применяемых в психиатрии, можно отнести к категории сильнодействующих. Что касается электрошока, то это весьма распространенный метод лечения, применяемый уже около века. В свое время не избежал его и Наметкин.

«Или я ничего не понимаю в людях, или он что-то недоговаривает, — подумал Донцов. — Ладно, и я не все скажу».

— Как я понимаю, Наметкин находился в клинике на особом положении. Велись ли записи о состоянии его здоровья и методах лечения помимо тех, которые фиксировались в истории болезни?

— Нет, а зачем?

— Кто номинально числился его лечащим врачом?

— Ваш покорный слуга. — Котяра отвесил полупоклон.

— Главврачу это не зазорно?

— Не забывайте, клиника частная. Что хочу, то и ворочу.

— Следовательно, обсуждать тему болезни Наметкина с кем-нибудь еще бесполезно.

— Следовательно, бесполезно, — кивнул Котяра, довольный сообразительностью собеседника.

— Почему вы так заинтересованы в раскрытии преступления? Ведь для вашей клиники это плохая реклама. Не лучше ли было замять дело без лишнего шума?

— Не хочу, чтобы моя клиника считалась местом, где можно безнаказанно убивать пациентов. Вот и весь мой интерес. А шума как раз никакого и нет. Разве вы шумите? Ни в коей мере. И у нас никто не шумит.

— Скажите, что заставило вас обратиться за помощью именно к нам? Ведь расследование начинают территориалы.

— Большинство больных на начальном этапе получают помощь от участкового врача. Аппендицит оперируют в районной больнице. Но резекция печени или шунтирование сосудов проводится уже в специализированной клинике. Это общий порядок, распространяющийся и на правоохранительные органы. Территориалам по плечу в основном семейные скандалы да уличное мордобитие. Более сложные инциденты расследуют главк и прокуратура. О существовании особого отдела, занимающегося расследованием необычных преступлений, я узнал именно в вашем главке. Признаться, это был сюрприз. При нашей-то бедности да при нашей косности создать совершенно новую структурную единицу — это дорогого стоит.

— Чем же привлек ваше внимание лично я?

— Кто-то похвалил вас, уже и не упомню...

Это было уже явное лукавство, чтобы не сказать больше. Вряд ли у Котяры с Донцовым имелись общие знакомые, способные похвалить последнего. Похулить — дело другое, но даже этот вариант выглядел неправдоподобно. С таким же успехом

случайно встреченный житель Голливуда мог бы сказать: «Донцов, а мы с Николь Кидман вчера вспоминали тебя».

В кабинет уже неоднократно заглядывали люди, наверное, имеющие какое-то отношение к психиатрии, и Котяра каждый раз кивком головы отсылал их обратно.

Сие обстоятельство, а также многозначительное постукивание кончиками пальцев по столешнице должны были, вероятно, служить для следователя напоминанием о том, что он отнимает драгоценное время у занятых людей.

При иных обстоятельствах Донцов спокойно проигнорировал бы подобные намеки, но сейчас он сам стремился поскорее закончить эту беседу. Клиника действовала на него самым угнетающим образом, впрочем, как и все другие заведения, где ограничение человеческой свободы является нормой. Да и Котяра не принадлежал к числу тех особ, с которым хочется болтать до бесконечности.

— На этом, пожалуй, и закончим, — сказал Донцов. — Похоже, разгадка преступления кроется вне стен вашего богоугодного заведения, придется расширить границы поиска.

— На свадьбе танцуют от печки, в нашей профессии — от симптомов недуга, а в следствии, как я понимаю, — от личности пострадавшего, то есть от Олега Наметкина. Первые звенья преступной цепи вы, похоже, нащупали. Теперь смело идите дальше. Вполне возможно, что вам предстоят самые невероятные открытия. Встречайте их достойно. Не принимайте безоговорочно на веру, но и не отбрасывайте прочь без скрупулезного анализа. Что касается меня — можете рассчитывать на любую помощь.

После этих слов Цимбаларь потребовал бы финансовой поддержки, Кондаков — поголовной проверки всех сотрудников клиники на детекторе лжи, а Донцов ограничился весьма скромной просьбой:

— Даже если все это закончится успешно, боюсь, что мне понадобятся ваши профессиональные услуги. Как насчет того, чтобы пройти в вашей клинике полный курс психологической реабилитации?

— Не уверен, что вы нуждаетесь именно в этом виде лечения, — произнес Котяра с неопределенной интонацией. — Но если прижмет, обращайтесь. Сделаем все возможное. Меланхоликов мы шутя превращаем в холериков и наоборот... Всего хорошего.

— Взаимно. Пусть на вашем пути как можно реже встречаются люди-амебы, а тем более люди-бомбардировщики.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — Котяра энергично постучал по деревянному подлокотнику своего кресла. — Не дай бог, если такое случится. Психи — наш хлеб. Я, можно сказать, всем шизофреникам начальник и маньякам командир. Переквалифицироваться в гинекологи мне уже поздно.

Возвращаясь на машине Шкурдюка в отдел и невпопад отвечая на его разглагольствования, Донцов вновь и вновь анализировал то, что было сказано (а также и недосказано) профессором Котярой.

Результаты допроса ничего конкретного для расследования убийства не дали, зато представили все случившееся в совершенно иной плоскости — в плоскости абсурда.

Если верить Котяре, Наметкин, уже давно кремированный, был мертв не до конца и смерти его жаждали не какие-нибудь там заурядные люди вроде Тамарки-санитарки и Аскольда Тихоновича Лукошникова, а высшие, запредельные силы, в существование которых Донцов не верил.

Конечно, все это можно было расценить как некую мистификацию, изощренную шутку пресыщенного жизнью циника, однако хваленая интуиция Донцова уже давно подсказывала ему, что в деле Наметкина что-то нечисто, подходить к нему с привычными мерками бесполезно и в расследовании надо полагаться не на Уголовно-процессуальный кодекс, а скорее на тантры и упанишады.

Тем не менее переносить расследование из мира реального в мир духов он не собирался. Этому противоречил весь его жизненный и профессиональный опыт. Ну как, скажите, пожалуйста, дактилоскопировать демонов, допрашивать эфирных созданий и брать под арест оборотней. Не было никогда такого в истории криминалистики и, скорее всего, никогда не будет.

Пусть один процент мистики останется, без нее нигде не обойтись, а в остальном следует полагаться на здравый смысл, существующие законы и принципы материализма.

И все же много вопросов так и осталось без ответа, повиснув в воздухе наподобие мыльных пузырей. Какова истинная роль в этом деле профессора Котяры? С какой стати он так разоткровенничался с майором Донцовым, человеком, в общем-то, посторонним? Откуда проистекает его осведомленность во многих вопросах, сокрытых тайной даже для Цимбаларя и Кондакова?

Добравшись до своего кабинета, Донцов первым делом позвонил в Институт языкознания, но там к дешифровке обгорев-

шей рукописи еще и не приступали. Как изящно выразился поднявший трубку лингвист: «У нас тут своих дел лопатой не перекидать».

На вопрос Донцова, что означает слово «развоплотиться», ему ответили следующим образом:

— В словаре современного русского литературного языка такое слово отсутствует. Судя по всему, это неологизм, представляющий собой антоним слова «воплотиться».

— Хорошо, а что такое «воплотиться»?

— Получить конкретное вещественное выражение. Помните, как сказано у Маяковского? «В наших жилах кровь, а не водица, мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и в другие долгие дела».

Маяковского Донцов не помнил. Средняя школа привила ему стойкое отвращение даже к Чехову и Достоевскому. Перед тем как положить трубку, он уточнил:

— Можно ли понимать развоплощение как утрату вещественности, реальности?

— Можно, можно, — заверил его лингвист.

ГЛАВА 15

КАК ПЕСОК СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

А затем события замелькали, словно кулаки знаменитого боксера Майкла Тайсона, выколачивающего душу из очередного соперника.

Сначала дала о себе знать «наружка», державшая под наблюдением проходную Экспериментального бюро, помеченную личным опознавательным знаком Олега Наметкина, который из разряда покойников был нынче условно переведен в разряд развоплощенных созданий.

Оказывается, там с самого утра околачивается какой-то странный человек, явно заинтересовавшийся знаком. Он то подходил к проходной вплотную и даже пытался заглядывать в окно, то возвращался на противоположную сторону улицы, где облюбовал себе скамеечку в чахлом скверике, разбитом на месте бывшей свалки токсичных отходов.

Одеждой и внешностью он походил на сельского жителя, приехавшего в город подзаработать, переходя улицу, шарахался от каждой проносящейся мимо машины и явно ощущал себя не в

своей тарелке. В полдень он перекусил ломтем ситника, запив его водой из туалетного крана.

Дабы не спугнуть клиента, «пастухи» из «наружки» в контакт с ним не вступали и удерживали от этого патруль муниципальной милиции, уже давно точивший зубы на залетного сазана.

Донцов немедленно отправил туда Кондакова, попросив действовать крайне осторожно.

— Что за тип там нарисовался, мы пока не знаем, но вполне возможно, что птички собираются в одну стаю, — напутствовал он ветерана. — Не исключено, что где-то поблизости ошивается и старик Лукошников. Вот только Тамарка-санитарка от компании отбилась.

Едва Кондаков отбыл, как появился Цимбаларь, по ухмыляющейся роже которого было понятно — явился он не с пустыми руками.

— Докладывай, не тяни резину, — попросил Донцов.

Но, увы, перевоспитать потомка Земфиры и Алеко было уже невозможно. С комфортом расположившись по другую сторону стола и без спешки закурив, он обратился к коллеге с проникновенной речью:

— Донцов, ты, наверное, из тех мужиков, которые на бабу глыбою валятся и делают свою работу без всякого внимания к чувствам партнерши. Хорошо ей, нехорошо или вообще мерзко — это их ничуть не интересует. А ведь в таком важном деле нужен подход, предварительные ласки, любовные игры. Так и здесь. Я еще на порог не успел ступить, а ты уже орешь: «Давай!» Какое я поимею удовольствие, если тебе все разом выложу? Правильно, никакого. Только фрустрацию наживу. То есть состояние глубокого разочарования, вызванное неосуществленными желаниями. Я после этого страдать буду. Мучиться. И не исключено, что мое душевное неудовлетворение выльется в немотивированную агрессию.

— Так и быть, начнем сексуальные игры, — сдался Донцов.

— Ну тогда слушай. Заявился я, значит, на хату, где эту козу держат. Живет она там, скажу я, припеваючи. Жрет от пуза, курит американские сигареты и смотрит по телевизору передачи из жизни животных. Особенно про обезьян любит. Родня ейная, как-никак. Свобода девахе предоставлена полная. Ходит по всей квартире, спит в комнате одна, бычки выкидывает в форточку, на кухне сама себе чай заваривает. Только когда охранник в туалете сидит или за покупками в магазин бегает, ее наручниками к

батарее пристегивают, предварительно лишив всех предметов, способных заменить отмычку.

— То есть какое-то время она все же бывает одна, — уточнил Донцов.

— Естественно. Когда на цепи сидит, когда нужду справляет и когда спит. Не полезешь ведь к ней под одеяло. Хотя ночью охранник регулярно заглядывает в спальню... А ты чего боишься? Суицида?

— Я уже и сам не знаю, чего бояться. Кстати, как ты считаешь, одного охранника достаточно?

— Если надо будет, он ее пальцем раздавит, как жужелицу. Пикнуть не даст.

— А вдруг она его сковородкой по голове? Или вилкой в сонную артерию?

— Вся посуда там одноразовая. Колюще-режущие предметы отсутствуют. Самое грозное оружие — зубная щетка.

— Опытный человек и зубной щеткой может много бед натворить... Ладно, валяй дальше.

— Осмотрел я там все внимательно, сделал необходимые замечания и попробовал с ней заговорить...

— По-каковски? — поинтересовался Донцов. — Или ты вьетнамский знаешь?

— При чем здесь вьетнамский... Существует простейший язык международного общения, понятный всем нормальным людям даже без предварительной подготовки. Кулак под нос — значит угроза. По голове погладили — молодец. Ну и так далее. Вот в таком плане мы с ней и общались. И вижу я, что девчонка с последнего раза сильно переменилась. Тогда как мышонок дрожала, дверного скрипа пугалась, при виде каждого нового человека в комок сжималась. А теперь ничего, лыбится даже. И главное, глазками так и стреляет, так и стреляет.

— Она что — флиртовать с тобой пыталась?

— Да нет же! Изучала она меня. Присматривалась. А улыбочки строила только для понта.

— Зачем тебя, Саша, изучать? — усомнился Донцов. — Ты и так весь как на ладони.

— Это тебе, суконной душонке, такое кажется... А чуткие женщины сразу ощущают во мне загадку. Впрочем, это не важно. Важно, что у девчонки настроение изменилось. С чего бы это, думаю. В ее положении особо веселиться нечему. Значит, каких-то перемен ждет. Или маляву с воли получила. Подзываю охранника и в его присутствии произвожу личный обыск.

— Опять ты за свое! Закон для кого пишется? Смотри, нарвешься на неприятности.

— Да ладно... Какие тут могут быть сантименты... А если она бритвочку под стелькой носит? Короче, ты не бранить меня должен, а, наоборот, — другим в пример ставить. Вот что я у нее в брючном кармашке нашел.

Цимбаларь предъявил свернутую в трубочку записку, на которой характерным почерком Лукошникова было что-то написано не по-русски.

— Древнегреческий, — констатировал Донцов, опознав в тексте такие приметные буквы, как «сигма» и «омега». — Понеслись в Институт языкознания. Остальное доскажешь по дороге.

Как назло, все знатоки древнегреческого, в том числе уже известная Донцову парочка, подались за город на конференцию «Структурная типология языка», но в конце концов нашлась юная практикантка, не устоявшая перед чарами Цимбаларя, а главное, кое-что кумекавшая в избранной профессии. При помощи словаря она за полчаса сделала дословный перевод записки.

Состояла та всего из пяти предложений и смысл имела довольно туманный: «У нас все готово. Долгожданный гость появился на горизонте. Время и место остаются прежними. Теперь все зависит только от тебя. Эдгар тебе поможет».

— Обстановка накаляется. — Донцов и мял записку, и смотрел ее на свет, и даже нюхал. — И это хорошо.

— Почему? — поинтересовался Цимбаларь, всегда старавшийся добывать свой хлеб малой кровью.

— Труднее всего достать противника, отсиживающегося в глухой обороне. А атакующего ловят на контратаках... Ты звякни на всякий случай охраннику. Пусть с девчонки глаз не сводит.

Спустя четверть часа, когда диск допотопного телефонного аппарата, фигурально говоря, раскалился от безуспешных попыток дозвониться до нужного абонента, Цимбаларь зловеще изрек:

— Не хотят трубку брать. Или уже некому.

Дальнейший обмен мнениями между коллегами проходил в машине, кратчайшим путем мчавшейся к месту заключения хрупкой азиатской девушки Доан Динь Тхи.

— Как эта записка могла попасть к ней? — ломал голову Донцов. — Адрес квартиры знают считаные люди. Не замешан ли здесь охранник?

— Он только утром узнал, куда именно его посылают дежурить, — возразил Цимбаларь.

— Постучали в дверь и передали записку вместе с пачкой денег.

— Лестничную площадку контролирует телекамера. Охранник отключить ее не может.

— А подбросить записку в квартиру реально?

— Как, через мусоропровод? Дверь двойная. Этаж десятый. Балконов нет. Соседи — проверенные люди.

— Ладно, с этим как-нибудь потом разберемся. Давай подумаем над текстом. — Донцов развернул записку, которую все это время не выпускал из рук. — Первая фраза: «У нас все готово». Что у них готово? Новое преступление, побег, военный переворот в Уганде, борщ с пампушками?

— Готово то, что они заранее наметили. Больше тут добавить нечего.

— Допустим. «Долгожданный гость на горизонте». Как это понимать?

— Появился кто-то, кого долго ждали.

— А почему на горизонте?

— Появился-то он появился, но поздороваться за ручку еще не успел. На подходе, так сказать.

— «Время и место остаются прежними». Здесь как раз все понятно. Знать бы только это время, а главное — место. «Теперь все зависит от тебя». Смекай, Саша, смекай. У тебя получается.

— Это я понимаю так: уходи, девочка, в отрыв, мы тебя очень ждем.

— Кто тогда этот Эдгар, который должен ей помочь? Как охранников зовут?

— Теперешнего — Митя. Остальных не знаю. А Эдгаром кто угодно может быть. Хоть Ванька, хоть Манька. Это условное обозначение. Временный псевдоним.

— Хм... Но ведь какие-то аналогии должны быть... Что мы вообще знаем об Эдгарах? Фильм раньше показывали «Эдгар и Кристина», про любовь... Эдгар Алан По на слуху, американский писатель.

— Сериал сейчас крутят по телевизору. Бразильский, кажется. Там дон Эдгаро действует, — подсказал Цимбаларь. — Подлейшая личность.

— Нет, это все мимо. Относительно Эдгара нас может просветить только девочка, к которой мы сейчас едем. Но для этого нам придется ее очень-очень сильно попросить...

Едва выйдя из лифта, они уже почуяли неладное — дверь агентурной квартиры была слегка приоткрыта.

Пистолетов у них опять не оказалось, но делать нечего — пришлось очертя голову нырять навстречу неизвестности.

Охранник, вспотевший, как после похода в сауну, пытался куда-то дозвониться по телефону.

— Не утруждай себя напрасно, — пропел Цимбаларь, входя в комнату, где пахло скорее вещевым складом, чем человеческим жильем. — Ведь это и слепому ясно.

Действительно, провод, проложенный к телефонной розетке, был вырван из-под плинтуса почти по всей своей длине, и только совершенно ошалевший человек мог этого не заметить.

— Где задержанная? — тоном, не предвещающим ничего хорошего, осведомился Донцов.

— Пропала, — еле выговорил охранник, как видно, уже вдоволь сегодня набегавшийся.

— Как это могло случиться?

— Сигареты кончились... Специально, сучка, все скурила за утро. Я сначала идти не хотел, так она истерику закатила. Головой в стену билась. На пальцах показывала, что без курева жить не может. Тогда я пристегнул ее, как положено, на браслетку и ушел. Магазинчик тут неподалеку. Вернулся буквально через двадцать минут. Глядь — двери настежь. В квартире пусто. Я пулей вниз, думал, догоню... Где там! Люди видели, как похожая азиатка частника остановила. Бордовые «Жигули» шестой модели. Номер никто не запомнил. Я назад вернулся, стал в отдел звонить. Тут вы прибыли...

— Почему рацией не воспользовались? Вам же рации положены, — рыская глазами по комнате, продолжал выспрашивать Донцов.

— Забрали рацию. Взамен мобильник выдали. А в нем батарейки сели.

— Все не слава богу... Ну показывай, где она у вас находилась.

— Это в другой комнате. Пройдемте.

Другая комната ничем не отличалась от первой — дешевая, с бору по сосенке собранная мебель, казенного вида занавески, полное отсутствие цветов и милых сердцу безделушек, везде на полпальца пыли.

Вплотную к окну стояло прожженное сигаретами кресло, а на трубе отопления болтались наручники, свободное кольцо которых было разъято.

— Вот здесь она и сидела, — безнадежно вздохнул охранник.

— Вижу... А это что такое? — Из замка наручников Донцов извлек кусок стальной проволоки, согнутый на конце наподобие крючка.

— Не знаю! Клянусь, не было здесь ничего такого раньше. Утром все осмотрел. Даже капитан может подтвердить. — Он, словно брошенная любовница, протянул к Цимбаларю обе руки.

— Нечего на меня ссылаться, — огрызнулся тот. — Упустил поганку, так стой и не чирикай.

— Пристегните теперь меня, — попросил Донцов, усаживаясь в кресло, еще, наверное, хранившее тепло тощей задницы Доан Динь Тхи.

— А тебе, знаешь, идет, — сказал Цимбаларь, когда процесс накладывания оков был закончен. — Я давно замечал: цепной пес куда симпатичней смотрится, чем пес бродячий. Ты не обижайся, я про пса только потому ляпнул, что львы и тигры у нас не водятся.

Никак не реагируя на эти пошлые шуточки, Донцов занялся выяснением степени свободы, которой обладал человек, прикованный наручниками к трубе. Из этой позиции можно было дотянуться до тумбочки, где стояла пластиковая бутылка с водой, открыть форточку, переместиться вдоль стены на полметра вправо и на полтора влево, а при большом старании даже опрокинуть ногой телевизор.

Приходилось констатировать, что цепной пес имел по жизни гораздо больше возможностей.

Освободившись от наручников, Донцов еще долго тряс занемевшей кистью руки, но допрос тем не менее продолжал.

— Вы что-нибудь подозрительное в ее поведении замечали? — спросил он у охранника.

— Да я с этой шельмой только утром познакомился! — ответил тот в сердцах. — Мне все подозрительным казалось. Когда она в туалет уходила, я, грех говорить, ухо к двери приставлял.

— Где она чаще всего бывала?

— Если не спала, то в этом кресле сидела. Телевизор смотрела или в окно пялилась. На кухню пару раз сходила. И все, в общем-то.

Донцов, облокотившись на подоконник, уставился в мутное окно. Открывавшийся за ним пейзаж не то что не представлял никакого интереса, а, наоборот, навевал самые минорные мысли, чему в немалой степени способствовало старое, предназна-

ченное под снос кладбище и какие-то заброшенные строительные объекты, занесенные снегом, словно прахом забвения.

Заинтересовало Донцова лишь одно обстоятельство, правда, внутреннего, а не внешнего свойства — и с оконной рамы, и с подоконника была тщательно стерта вся пыль, чего нельзя было сказать о других предметах интерьера.

— Как вам показалось, она чистюля была? — поинтересовался Донцов у охранника.

— Да ну! Еще та чумичка. Воду в туалете за собой забывала спускать.

Донцов присел на корточки и стал рассматривать пол под окном, при этом бок его словно огнем обожгло.

— Ну и пепла тут у вас, целые залежи, — пробормотал он. — И пух какой-то...

— Это из подушки, наверное, — неуверенно произнес охранник. — Обветшало все давно...

— Пылесос у вас имеется?

— Где-то вроде был... Прибрать здесь нужно? — Охранник обрадовался, сочтя это поручение за первый шаг к реабилитации.

— Нет. Меня интересует только это место. — Донцов пальцем очертил в воздухе овал, центром которого оказалось кресло. — Не забудьте вставить чистый пакет в пылесборник. Мы его потом с собой заберем... Я бы и сам все сделал, да спина что-то разболелась.

— Зачем вам пачкаться! Я мигом управлюсь!

— Мигом не надо... А ты, Сашок, тем временем все здесь еще разок осмотри. Спальню, туалет, ванную. Вдруг что-то новенькое появилось. В общем, не мне тебя учить.

— Скажите, меня могут уволить? — Надо полагать, что для охранника это был сейчас самый актуальный вопрос.

— За что? За какую-то шмакодявку? — презрительно скривился Цимбаларь. — Никогда в жизни. Пожурят, конечно, не без этого... Я, к примеру, и не таких птиц упускал. Помню, мы одного крутого пахана разрабатывали. Он под угрозой вышака с нами сотрудничать согласился. И уже кое-кого успел сдать. Тут один из авторитетов, про его сучью позицию якобы не ведающий, накидывает стрелку. По очень, кстати, серьезному вопросу. Выпало мне этого пахана сопровождать. В случае попытки к бегству имел полное право его дырявить. Вот... Ждали-ждали в условленном месте — никого нет. А на улице метель метет, холодрыга. Зашли мы в ближайший подвальчик обогреться. И что

обидно, я сам это предложил. Взяли пиво, по стакану водки, чебуреки. Просыпаюсь я уже под столом. Кто-то, значит, нас там заранее ждал и малинки в водку добавил. Проверил карманы — пистолет и удостоверение пропали. Правда, назавтра все в почтовый ящик подкинули и пятьсот баксов сверху добавили. Считай, две мои месячные зарплаты.

— А как же пахан, которого ты сопровождал? — поинтересовался Донцов, про такой эпизод из жизни Цимбаларя раньше даже и не слыхавший.

— Пахана попозже из канализационного отстойника выловили, — пригорюнился Цимбаларь. — Изо рта у него, между прочим, вместо языка член торчал.

— Чей? — ахнул охранник.

— Его собственный.

Экспертиза биологических образцов в отделе не производилась, и пришлось сделать изрядный крюк, дабы сдать в лабораторию главка пакет с мусором, собранным на том месте, где перед самым побегом сидела Доан Динь Тхи.

Впрочем, судя по всему, это уже вновь была хладнокровная и пронырливая Тамарка-санитарка, по справедливому замечанию однажды приютившего ее фотохудожника — девушка-оборотень.

Убив на всякие формальности целый час драгоценного времени, они из главка направились в Экспериментальное бюро, в окрестностях которого, как надеялся Донцов, должны были вскорости объявиться все лица, так или иначе причастные к загадочному убийству. Порукой тому был личный знак, можно даже сказать, родовой герб Олега Наметкина.

О том, что где-то в городе есть и другое место, помеченное точно таким же образом и выполняющее аналогичную функцию сборного пункта, даже думать не хотелось. Это означало бы полный крах расследования, поскольку первая фраза записки: «У нас все готово» — недвусмысленно указывала на намечающуюся в самое ближайшее время развязку запутанной истории.

Машину они оставили в нескольких кварталах от проходной и прогулочным шагом обошли по периметру всю территорию бюро, надо сказать, довольно обширную. В разных местах забора имелось трое ворот, включая одни, предназначенные для железнодорожного транспорта, и изрядное количество дыр. Впрочем, доносившийся из-за забора яростный собачий лай внушал надежду, что местная охрана в случае чего не опростоволосится.

Забавно, что ни Кондакова, ни того самого подозрительного человека, из-за которого поднялась вся эта кутерьма, ни кого-либо из «наружки» они поблизости так и не заметили.

— Что будем делать? — осведомился уже порядочно взвинченный Цимбаларь.

— В любом другом случае я сказал бы: ждать, — ответил Донцов. — Но сейчас такая роскошь нам не по карману. Чужая атака уже началась, и если мы не успеем вовремя организовать контратаку, можно, как говорят шоферы, сливать воду... Обойди здесь все закоулки, расспроси людей, свяжись с отделом, но обязательно найди Кондакова, живого или мертвого. А я тем временем нанесу визит в эту засекреченную контору. Не исключено, что его руководство поможет нам взглянуть на нашу проблему более осмысленным взором.

— На какую проблему? — покосился на него Цимбаларь. — Ты бы хоть объяснил толком, что происходит, а то держишь нас за лохов. Какие-то девки узкоглазые, старцы стебанутые, бумаги зашифрованные...

— Пойми, Саша, это не мои тайны... Слово дал, что все при мне останется. А тем более, я сам почти ничего не понимаю. На ощупь иду...

Конечно, встреча с Лукошниковым на проходной относилась к категории событий абсолютно невероятных, однако испытывающий взор, которым Донцов одарил сторожа, поверг последнего если не в трепет, то по крайней мере в беспокойство.

— Вы к кому? — поеживаясь, как от сквозняка, спросил тот.

— Кто из руководства на месте? — небрежным тоном осведомился Донцов.

— Только главный инженер. — Сторож совсем сник — сказывалось, очевидно, отсутствие жизненной закалки, с избытком имевшейся у Аскольда Тихоновича Лукошникова.

— Я по вопросу безопасности. — Донцов сунул под нос сторожу свое удостоверение и, пока тот не успел восстановить в памяти все параграфы «Порядка доступа на территорию», толкнул турникет, отделявший мир обыкновенный от мира режимного.

Административный корпус отстоял от проходной всего на десять метров, так что Донцов ничего не сумел рассмотреть, а тем более услышать, кроме уже успевшего осточертеть надсадного собачьего лая. Можно было подумать, кто где-то за углом свора борзых травит зайца.

Сторож был хоть и пуглив по натуре, но расторопен, и скоро о визите грозного представителя карающих органов знало, наверное, все бюро. Впрочем, так оно было и к лучшему — теперь каждый шаг Донцова предваряла бесплатная реклама и нужда всякий раз докладывать о себе отпала.

Главный инженер, человек внешне столь же заурядный, как канцелярское пресс-папье, принял его учтиво, но удостоверение изучал долго, придирчиво и со знанием дела. Таких людей раньше называли: параграф, жаренный на постном масле.

— Право, не знаю, — неуверенно произнес он, в который раз сличая бодрую физиономию Донцова на фото с весьма поблекшим за последнее время оригиналом. — Существует определенный порядок, не мной, кстати, придуманный... Обычно ваши коллеги являются сюда со специальным предписанием.

— Дело неотложное. Тут не до предписаний. — Донцов решил и дальше применять тактику напора, с успехом апробированную на стороже. — Из заслуживающих доверия источников нам стало известно, что ваша организация привлекает пристальное внимание криминальных элементов, возможно, связанных с международным терроризмом. Не исключено, что это может вылиться в какие-то преступные акции.

— Поточнее, пожалуйста. Какой характер будут иметь предполагаемые акции? — Унылое лицо главного инженера не выказало никаких особых чувств.

— Именно это я и хотел бы с вашей помощью выяснить. Сразу скажу, что тематика вашей работы в общих чертах нам известна. Хотелось бы узнать некоторые частности.

— Какие, например?

— Имеются ли у вас приборы или установки, разрушение или повреждение которых может причинить невосполнимый ущерб?

— Смотря что считать невосполнимым ущербом...

— Скажем, Хиросиму и Чернобыль.

— Исключено.

— Возможно ли использовать эти приборы и установки, а также их отдельные детали в неблаговидных целях?

— Как вам сказать... В неблаговидных целях можно использовать что угодно. Даже медицинский термометр.

— Хочу пояснить, что я имею в виду только приборы и установки, являющиеся плодом вашей эксклюзивной разработки... Кстати, они уже готовы к применению?

— Вас, очевидно, интересует так называемый психотрон, ап-

парат для считывания и фиксации электрических параметров коры головного мозга?

— Да... скорее всего, — замялся Донцов. — И он тоже.

— Признаться, я затрудняюсь с ответом. — Главный инженер снял очки и принялся энергично массировать переносицу, что для него, возможно, являлось чем-то вроде умственной мастурбации. — Боюсь, мы не совсем понимаем друг друга... Здесь Экспериментальное бюро, а не промышленное предприятие. Разрабатываемые нами устройства не предназначены для серийного применения. Скажу больше, они пока не имеют никакого практического значения. Это всего лишь опытные модели. Перспективные разработки. Наша цель выяснить, возможно ли такое в принципе.

— Ну и как — такое возможно в принципе?

— Что именно? Выражайтесь конкретнее.

— Ну, это... Не силен я в вашей терминологии... Спасение души из гибнущего тела, кажется, так.

— У нас это называется: «копирование суммарных личностных показателей, записанных в форме электрических сигналов», — снисходительно усмехнулся главный инженер. — Да, в принципе такое возможно.

— А на практике?

— Это весьма неоднозначная проблема. Многое, конечно, уже сделано, но нужны серьезные и длительные испытания. Даже если найдутся добровольцы, международная комиссия по научной и медицинской этике не позволит проводить такие рискованные опыты. Изымая всю сумму психических качеств из человеческого мозга, мы тем самым убиваем этот мозг. Его хозяин становится нежизнеспособным. Конечно, для экспериментов можно использовать заведомо обреченных людей, а вместо приемника использовать мозг высших приматов, но сначала необходимо принять соответствующие законы, разработать нормативную базу. Представляете, какие проблемы возникнут в обществе? Например, может ли электронная копия человеческой личности являться его правопреемником в юридическом смысле? Распространяются ли на него основные гражданские права? Обществу грозит хаос. И в конце концов во всем обвинят нас, как это уже неоднократно бывало в истории. Можно подумать, что Нобель изобрел динамит с целью уничтожить человечество, а братья Райт виновны в бомбардировке Ковентри.

— Но это, как я понимаю, проблемы грядущего. Меня же больше интересует насущное. Ведь психотрон создавался с чисто

утилитарной целью — спасения космонавтов из терпящего бедствие космического корабля.

— По крайней мере финансирование было открыто именно по этой теме.

— И каков примерно радиус действия вашего психотрона?

— Согласно предварительным расчетам, передатчик должен отстоять от приемника не дальше, чем на пять-шесть километров, иначе атмосферные и космические помехи так исказят сигнал, что вместо конкретной человеческой личности мы получим полную ахинею или, хуже того, зловещего монстра.

— Пять-шесть километров это немного...

— Психотрон предполагается совместить с системами посадочного комплекса. Ведь большинство аварий происходит именно во время посадки. Помните злосчастный «Союз-11»? В энциклопедии о нем так и сказано: погиб при завершении программы полета. Когда Армстронг сажал посадочный модуль «Аполлона» на поверхность Луны, он в последний момент забыл выключить двигатель, и американских астронавтов спас только щуп на стойке шасси, своевременно подавший сигнал к аварийному отключению.

— Ваша разработка является секретной, но сведения о ней, как мне известно, просочились в прессу. Это вам не мешает?

— Я бы сказал — досаждает. О сторонниках проекта я говорить сейчас не буду, но у нас появилась масса недоброжелателей — клерикалы, политиканы, правозащитники, консерваторы всех мастей.

— Сочувствую вам в ваших трудностях. Но если наша беседа будет продолжаться в том же стиле и дальше, мы просто завязнем в частностях. А время, сами понимаете, поджимает. Давайте поступим иначе. Я буду задавать краткие вопросы, а вы на них столь же кратко отвечать.

— Попробую, — с сомнением произнес главный инженер.

— Психотрон готов к применению?

— Несколько комплектов готовы, остальные находятся в стадии наладки.

— Хотелось бы взглянуть на помещение, где все это происходит.

— Вид из окна вас устроит?

— Вполне.

— Монтажно-испытательный комплекс как раз напротив.

Окно кабинета имело такие размеры, что для осмотра территории достаточно было приподняться в кресле. Монтажно-ис-

пытательный корпус походил на теплицу, размерами сравнимую с авиационным ангаром. Огни сварки освещали изнутри стеклянную крышу.

— Охрана вашего бюро поддерживается на должном уровне? — спросил Донцов.

— Думаю, что да.

— Мне на проходной так не показалось.

— На проходной вы видели вахтера. У него свои специфические обязанности. А собственно охраной заняты совсем другие люди, имеющие достаточный опыт и соответствующее оснащение. Хотите познакомиться с ними поближе?

— Нет, я верю вам на слово. В конце концов безопасность бюро должна волновать вас в гораздо большей степени, чем меня... Скажите, а сторож по фамилии Лукошников вам знаком?

— Если только в лицо... Сторожа вообще не мой персонал.

Донцову почему-то показалось, что этот безобидный вопрос задел главного инженера куда более чувствительно, чем все остальные, хотя надо признаться, что ответ прозвучал вполне естественно и убедительно.

— Теперь берем крайний случай, — продолжал он. — Допустим, ваш психотрон попал в руки преступников. Они сумеют им воспользоваться?

— С тем же успехом, с каким дикарь может воспользоваться калькулятором. Без участия наших специалистов это невозможно.

— Число специалистов, надеюсь, ограничено?

— Конечно. Три-четыре человека, не больше. Разработчик, руководитель проекта, его заместитель, ну и я, естественно, как лицо, отвечающее за техническую сторону дела.

— Какова дальнейшая судьба вашего изобретения?

— Сдадим заказчику. Остальное уже зависит от него.

— Наверное, рассчитываете на солидное вознаграждение?

— Не без этого.

— А как перспективы психотрона видятся вам самим?

— Хорошо видятся. Если создать надежный искусственный носитель интеллекта, то человеческое сознание, отъятое от тела, сможет пускаться в самые рискованные предприятия — нырять на дно океана, исследовать недра вулканов, летать на другие планеты. В глобальном смысле это настоящий технический прорыв, сопоставимый с изобретением колеса или созданием компьютера. Но мы с вами вряд ли доживем до этих времен. Психотрон будет востребован не раньше, чем через четверть века.

— В любом случае разрешите пожелать вам удачи.

Поняв, что Донцов собирается уходить, главный инженер встрепенулся.

— Не следует ли нам в ближайшее время усилить охрану? — осведомился он.

— Нет, мы сами обо всем позаботимся. Но расслабляться тоже не следует... Вы, кажется, хотите спросить меня еще о чем-то?

— Я? С чего вы взяли? Хотя... — Поведение главного инженера сейчас можно было охарактеризовать фразой: «И хочется, и колется». — Почему вы спросили про этого Лукошникова? Он как-то связан с предполагаемыми преступниками?

— Ни в коем разе. Я просто собирался передать ему привет от одной нашей общей знакомой. Но, как видно, не судьба.

Цимбаларь покуривал на проходной со сторожем, который при виде Донцова встал по стойке смирно.

Расслабленная поза Цимбаларя могла означать только одно — дела настолько плохи, что уже и спешить некуда.

— А вам это собачье тявканье жить не мешает? — поинтересовался Донцов у сторожа.

— Еще как! Голова просто раскалывается... Только это совсем не собаки. — Он понизил голос до шепота. — Это через громкоговоритель транслируют магнитофонную запись.

— Для острастки преступного элемента?

— Нет, для отвода глаз. Эти бугаи, которые территорию охраняют, все продукты, для собак предназначенные, или пропили, или сами сожрали. Вот собаки с голодухи и разбежались. Те, которых в корейский ресторан не продали. А чтобы начальство ничего не заподозрило, они это тявканье регулярно включают.

— Звучит вполне естественно, — прислушался Донцов. — Наверное, используется стереофонический эффект... А что — идея хорошая. Так ведь и голоса охранников можно записать. Дрыхни себе спокойно, а громкоговоритель будет за тебя орать: «Стой, кто идет?»

— Наука нынче далеко пошла, — глубокомысленно заметил Цимбаларь. — Только вот дураков от этого почему-то не убавилось.

— Ты кого-нибудь конкретно имеешь в виду?

— Кондакова нашего, кого же еще! Совсем выстарился. Ушел от него клиент. Как песок сквозь пальцы ушел.

— Рассказывай. — Донцов, конечно, тут же пожалел о сказанном, но, как известно, слово не воробей...

ГЛАВА 16

ВЕСТИ С ТОГО СВЕТА

По версии Цимбаларя, изложенной, кстати говоря, с чужих слов, история очередного кондаковского промаха выглядела следующим образом.

Прибыв к проходной Экспериментального бюро, Кондаков по указке агента «наружки» засек того самого подозрительного типа и стал с дистанции присматриваться к нему, но поскольку орлиным зрением похвастаться не мог и никаких оптических приборов, кроме очков для чтения, при себе не имел, то вынужден был подойти поближе.

— Это примерно как? — поинтересовался Донцов.

— Ребята говорили, что почти вплотную, — пояснил Цимбаларь, любивший преувеличения.

Впрочем, на поведении объекта слежки, уже получившего от агентов «наружки» условное прозвище Крестьянин, это до поры до времени никак не отражалось. Похоже, что он был в разладе не только с окружающим миром, но и с самим собой.

Если абстрагироваться от некоторых частностей, то Крестьянин всем своим видом напоминал тихого сумасшедшего, к тому же еще и слегка подвыпившего. Следить за таким вахлаком было одно удовольствие.

Свои рейсы к проходной он вскоре прекратил и занялся кормлением птиц, слетевшихся к нему со всей округи. Относительно видового состава птиц Цимбаларь ничего определенного сказать не мог, но скорее всего это были воробьи и голуби, которых и сейчас в скверике полным-полно.

Потом Крестьянин подхватился с места, словно получив какую-то команду, и направился в сторону ближайшей станции метро. Двигался он вполне уверенно, словно кто-то невидимый вел его за руку.

Кондаков, а также половина «наружки» в количестве одного человека двинулись вслед за Крестьянином. Другая половина, опять же состоявшая из единственного экземпляра, осталась присматривать за проходной, поскольку поведение Крестьянина могло оказаться только обманным маневром, имевшим целью увести милицейский «хвост» подальше от того места, где должны были произойти какие-то важные события.

Пока все делалось по уму.

Крестьянин тем временем вошел в широко распахнутые две-

ри станции метро и тут же затерялся в густой толпе, валившей ему навстречу (у перрона только что разгрузился наполненный под завязку поезд).

На этот случай у наших следопытов имелся заранее разработанный план — пока агент «наружки» спешно пробивался к эскалатору, где каждый человек был виден как на ладони, Кондаков оставался караулить у входа, дабы клиент не ушел, сделав в толпе заячью петлю.

Так он и стоял себе, исполненный внимания и бдительности, пока в лицо ему не плеснули какой-то едкой жидкостью, на поверку оказавшейся обыкновенным апельсиновым соком. Как бы то ни было, но Кондаков на некоторое время утратил ориентацию, что казалось смешным для Цимбаларя, но отнюдь не для Донцова.

Первую помощь ему оказал агент «наружки», вернувшийся обратно после того, как Крестьянин не обнаружился ни на эскалаторе, ни на перроне.

Опрос мороженщиц и цветочниц, делавших свой маленький бизнес на ступеньках метро, показал, что человек со сходными приметами сел, а вернее, был почти силком посажен в бордовые «Жигули» шестой модели.

Облик человека, сопровождавшего Крестьянина, достоверно установить не удалось, в этом вопросе показания свидетелей сильно различались. Одни говорили о подростке в короткой оранжевой куртке, другие о пожилом человеке в тулупе до пят.

— Где сейчас эти герои? — спросил Донцов, стойко выдержав очередной удар судьбы.

— «Наружка» вернулась на прежние позиции, им до конца смены еще четыре часа, а Кондаков сидит в кафешке за углом. Отогревается чаем с коньяком. Но я так понимаю, что ему просто стыдно тебе в глаза смотреть.

— Послушай, Саша, — Донцов говорил с проникновенной интонацией смертника, высказывающего свое последнее желание. — Какое-то время у нас в запасе еще есть. Поезжай в Институт языкознания, туда, где мы были с тобой сегодня утром, и если его сотрудники еще не вернулись с конференции, кровь из носа найди тех, на чье попечение досталась наша рукопись. Нынче же ее перевод должен быть у меня. Хоть в полночь, хоть под утро. Приложи для этого максимум усилий. Я знаю, у тебя получится. А с Кондаковым я поговорю сам.

— Ты уж его сильно не костери. Он ведь не нарочно. Жалко

старика. Еще кондрашка хватит. — Вот такой был у Цимбаларя характер: сначала смешает человека с грязью, а потом с пеной у рта бросается на его защиту.

Кондаков в обществе двух насквозь отравленных кокаином девиц сидел за угловым столиком и поправлял пошатнувшееся здоровье посредством чая с коньяком (впрочем, соотношение лечебной смеси все больше смещалось в сторону коньяка).

Выглядел он действительно неважно. Ни дать ни взять Дед Мороз на исходе новогодних праздников — нос красный, под носом сопля, глаза слезятся, руки дрожат.

Заметив приближающегося Донцова, он небрежно взмахнул рукой, и девицы-марафетчицы улетучились. Вместе с ними исчезла и недопитая бутылка коньяка.

— Простудились, Петр Фомич? — участливо осведомился Донцов.

— Не одному же тебе болеть, — буркнул в ответ Кондаков. — Позволь и мне слегка расслабиться. Продрог аж до самого костного мозга.

— Так ведь вроде не холодно на улице, — заметил Донцов.

— Так ведь вроде ветер, — передразнил его Кондаков. — Попробуй сам хоть час простоять под забором. Все на свете проклянешь.

— Как вам этот тип показался?

— Ничего особенного. Мужик от сохи, да еще, похоже, слегка стебанутый. Кто бы мог подумать, что все так обернется... Нужно было его сразу на вилы брать.

— На каком, интересно, основании? То, что он у проходной околачивается, это еще не криминал.

— Зато ушел он по полной криминальной программе.

— Говорят, что, сидя в скверике, он кормил птиц?

— Кормил, — кивнул Кондаков и, будто вспомнив что-то, жадно откусил от бутерброда с сыром.

— Каких именно, вы не обратили внимания?

— Я не орнитолог.

— Но ведь ворону от воробья отличаете?

— Я за человеком следил, а не ворон считал, — отрезал Кондаков.

— Никого из знакомых поблизости не заметили?

— Нет.

— И того, кто вас соком облил, тоже не знаете?

— Каким еще соком! — вспылил Кондаков. — Сашка Цимба-

ларь какую-то мульку придумал, и вы все поверили! А может, это и не сок вовсе был? Почему у меня до сих пор глаза щиплет?

— Пусть не сок, но ведь и не уксус, — произнес Донцов примирительным тоном.

— Я-то откуда знаю? Сразу ведь про самое плохое подумаешь. Кому охота на старости лет слепым остаться! С умыслом, гады, действовали.

— И я про то же самое. Мешали вы кое-кому, Петр Фомич. Похоже, весь этот спектакль именно из-за вас и состоялся. В противном случае они бы, наверное, совсем по-другому действовали.

— Кто — они?

— Те, за кем мы в последнее время гоняемся. Старик Лукошников, девка-вьетнамка, еще кто-то... Один из них вас и опознал.

— Девка-то откуда могла взяться? Она ведь под арестом должна сидеть.

— Сбежала сегодня утром. На тех самых бордовых «Жигулях» сбежала, которые потом возле метро видели.

— Да, фарт нам нынче так и прет. — Кондаков, и без того хмурый, омрачился вконец. — Теперь, похоже, вся шайка в сборе.

— Не хватает еще некого Эдгара, который помог девке сбежать. Вам это имя ничего не говорит? Напрягите память.

— Я за свою жизнь больше забыл, чем ты помнишь, — огрызнулся Кондаков.

— Своим склерозом кичиться не следует. А руки опускать — тем более. Будет еще и на нашей улице праздник. Я почему-то уверен, что они сюда обязательно вернутся.

— Им тут что — медом намазано?

— Длинная история.... Вы, Петр Фомич, в душу верите? Как в бесплотное создание, в коем сконцентрированы разум и воля человека?

— Не-е-а, — доедая бутерброд, Кондаков энергично замотал головой.

— И я, представьте себе, тоже... Хотя тот, кто служит в особом отделе, должен внутренне подготовиться к восприятию этой идеи. Наряду с некоторыми другими общеизвестными жупелами вроде летающих тарелочек, снежного человека, парапсихологии и Шамбалы. Рано или поздно со всем этим нам, наверное, придется столкнуться. Пусть даже и в чисто теоретическом смысле... В расследовании, которое мы сейчас ведем, проблема души за-

нимает чересчур большое место. Наметкин, говорят, за некоторое время до смерти развоплотился, то есть утратил душу. А в конторе, которую я только что посетил, разрабатывают методы изъятия души из гибнущего тела.

— Ты о своей душе лучше подумай, — покосился на него Кондаков. — Желтый весь стал, ноги скоро протянешь, а все гоняешься за какой-то химерой. В госпиталь тебе пора ложиться.

— Вот закончу дело и лягу, — пообещал Донцов.

— А если не закончишь?

— Тоже лягу. Как говорится, альтернативы нет... Я вот о чем хочу вас попросить. Очень-очень попросить. Побудьте здесь еще немного. Я, конечно, имею в виду не этот шалман, — он обвел взглядом кафе, — а пресловутое Экспериментальное бюро. Потом вас кто-нибудь сменит. Или Сашка, или я. Дело в том, что лишь мы одни знаем в лицо Лукошникова и вьетнамку. Но, пожалуйста, не повторяйте прежних ошибок. Постарайтесь устроиться так, чтобы вы видели всех, а вас не видел никто.

— Да разве я орел, чтобы в небе парить и дальние дали насквозь озирать, — возразил Кондаков, которому это предложение было явно не в жилу.

— Окрестности нас касаться не должны. Шайку Лукошникова интересует только Экспериментальное бюро, а если еще точнее — монтажно-испытательный корпус. Это такой огромный ангар со стеклянной крышей, вы сразу узнаете. Не представляю, как они туда собираются проникнуть, но без шума такой номер не пройдет. Да и свет, наверное, придется зажечь. Если это случится, немедленно дайте знать мне. Во всех других подозрительных случаях действуйте аналогичным образом. Для связи получите рацию.

— А как же сторожевые собаки? Они ведь растерзают меня, как паршивого кота. Рацией от них не отобьешься, — иных отговорок у Кондакова, похоже, не осталось.

— Нет там никаких собак, я узнавал, — заверил его Донцов. — Видимость одна, вернее, слышимость. Способ психологического воздействия на потенциальных злодеев.

— Ну ладно, ежели так. — Кондаков придирчиво осмотрел стол, но ничего съестного, а тем более горячительного на нем уже не осталось. — Вот только за здоровье опасаюсь. Я ведь не морж какой-нибудь. Загонишь ты меня своими фантазиями в гроб.

— Заскочите домой, оденьтесь потеплее, — посоветовал Донцов. — Термос с кофе прихватите... Кстати, и оружие не забудь-

те. Но применять его будете исключительно в целях самообороны. Стрелять на поражение воспрещается.

— Ты мне, положим, не начальник. — Кондаков на пальцах показал официанту: еще выпить и еще закусить. — И порядок применения оружия знаю назубок еще с тех времен, когда ты в школьном сортире за сикухами подглядывал. Но тут случай особый. Надо тебя уважить. Сам вижу, как ты стараешься это дело одолеть... Клятвенно обещаю, что нынешний прокол не повторится. Да и не по моей вине эта параша случилась. Форс-мажорные обстоятельства, как говорят юристы.

Близился вечер, и кафе постепенно заполнялось усталыми гражданами, имевшими намерение легкой закуской заморить червячка или потешить алкоголем плоть. Свободных мест за столиками уже не осталось.

— Ты пока к себе отправляйся, — сказал Кондаков. — Отдохни немного. Таблетку скушай. Ты какие, кстати, лекарства принимаешь?

— Стрихнин, — ответил Донцов, освобождая кресло, на которое уже нацелилась цветущего вида дама с подносом, заставленным всякими вкусностями.

По квартире, шевеля занавесками, гулял ветер — уходя утром из дому, он, по-видимому, забыл закрыть оконную фрамугу.

Койка была сейчас для Донцова то же самое, что спасательный круг для утопающего, и, добравшись до нее, он впервые за день почувствовал что-то похожее на облегчение.

В преддверии ночи, не сулившей покоя, нужно было хоть немного вздремнуть. Положив в изголовье включенную рацию, настроенную на общую с Кондаковым волну, Донцов постарался устроиться на койке так, чтобы не потревожить левый бок.

Усталость была так велика, что ее некоторое время не мог побороть даже сон — лучший лекарь и утешитель. Голова тупо ныла, а биение сердца буквально сотрясало измученное тело.

Расследование обещало закончиться в течение ближайших суток, и это был единственный отрадный момент в лавине неприятностей и неудач, обрушившихся на него в последнее время. Другой вопрос: чем оно закончится? Загадывать в таком деле что-нибудь наперед было занятием бесперспективным.

Какие-либо доказательства, прямо уличающие Лукошникова и Тамарку-санитарку в смерти Наметкина, до сих пор отсутст-

вовали, и Донцов даже не представлял себе, откуда эти доказательства могут появиться.

Учитывая непростой характер обоих подозреваемых, надеяться на чистосердечное признание не приходилось. Вполне возможно, что расколется этот третий, сбежавший в метро от Кондакова, но его еще надо поймать. То же самое касается и неведомого Эдгара, который с одинаковой долей вероятности может оказаться и кремнем, и хлюпиком.

Иногда о следователе говорят — шьет дело. Лучше было бы сказать — вяжет. Вяжет из ниточек разной длины и прочности, называемых фактами.

К сожалению, в распоряжении Донцова было очень мало таких ниточек. Присоединить бы к ним те, которыми, несомненно, располагает профессор Котяра, и тогда могла бы получиться очень занятная композиция. Но знаменитый психиатр выразился вполне определенно — доходи до всего своим умом. Как будто бы у Донцова этого ума — как ножек у сороконожки.

Неплохо было бы, конечно, накрыть всю компанию в Экспериментальном бюро, но нет никакой гарантии, что они сунутся туда нынешней ночью. Какой-то интерес у них там, безусловно, есть, однако маловероятно, чтобы самозваная санитарка, восьмидесятилетний старец и провинциал-недоумок смогли самостоятельно распорядиться столь сложным прибором, как психотрон. Да и для чего он им нужен? Чью душу они собираются спасти или, наоборот, погубить?

Возможно, какой-то намек даст рукопись, прошедшая через руки всех, кто фигурирует в деле Наметкина. Но тут опять случилась заминка. Ох, не ко времени подоспела эта лингвистическая конференция. Правильно говорят знающие люди: удача сродни половому влечению — если пропадет, то навсегда.

Имелось еще немало вопросов, столь неясных, что о них и вспоминать не хотелось. Ну, например: Олег Наметкин мертв? Или не совсем?

Как преступники проникли в его палату?

Кто истинный автор шифрованной рукописи? По крайней мере не Лукошников, который в трехстрочном заявлении об улучшении жилищных условий умудрился сделать дюжину ошибок...

Как удается Тамарке-санитарке, она же Доан Динь Тхи, так ловко, а главное, так убедительно, менять свое внутреннее обличье?

Каким путем попала к ней малява, написанная на древнегре-

ческом языке, а потом и кусок проволоки, которым были открыты наручники?

Мысли эти, постепенно теряя ясность, как бы сливались между собой, превращаясь в нечто напоминающее глубокую, черную трясину, и душа Донцова, развоплощаясь, тонула в ней, оставив тело ворочаться и мучительно подрагивать на койке.

Однако уснуть окончательно ему не дал телефонный звонок.

Донцов ожидал чего угодно — весточки от Цимбаларя, наконец-то уломавшего несговорчивых лингвистов, сообщений дежурного по отделу, разузнавшего что-то интересное, доклада эксперта-криминалиста из главка, которого он упросил-таки сделать анализ вне всякой очереди, — но только не этого голоса, вкрадчивого и негромкого, как бы лишенного четко выраженной половой и возрастной принадлежности, хотя и явно незнакомого, но вроде бы уже где-то слышанного.

— Это квартира следователя Донцова? — таков был первый вопрос звонившего после традиционных «алло» и «здравствуйте».

Ответ прозвучал предельно лаконично:

— Да.

— Простите, а как вас величать по имени-отчеству?

— Кто это говорит? — Сердце Донцова, уже немного успокоившееся, забилось в прежнем лихорадочном ритме.

— Скоро узнаете, — пообещал незнакомец. — Так как все же? Иван Иванович? Карл Карлович?

— Странно... Телефон мой вы знаете, а имя-отчество почему-то нет.

— Номер вашего телефона написан на аппарате, — хладнокровно пояснил незнакомец.

— А все мои паспортные данные можно найти в документах, хранящихся по соседству с телефонным аппаратом! — осерчал Донцов.

— В отличие от вас я не считаю для себя возможным заглядывать в чужие документы, — голос был по-прежнему спокоен.

— Кто вы в конце концов такой? Представьтесь, или я брошу трубку.

— Можете называть меня Олегом Наметкиным.

Нечто подобное Донцов ожидал с самого начала, и тем не менее это был настоящий сюрприз. Ведь сюрпризом можно назвать что угодно, вплоть до злого розыгрыша.

— Олег Наметкин умер десять дней назад, и его тело давно кремировано, — резко ответил он.

— Глупо было бы отрицать очевидные факты. Но из всех возможных имен это для меня самое близкое.

— Вам эти дурацкие шуточки еще не надоели?

— Ну зачем же так? Не надо нервничать. Вы все же следователь с приличным стажем, а не кисейная барышня. Вам ли бояться оживших мертвецов? Давайте поговорим спокойно. Как мужчина с... прошу прощения, я, кажется, слегка заговорился... Как благородный человек с благородным человеком.

— Хорошо, Олег Наметкин, — с нажимом произнес Донцов. — Давайте поговорим. Хотелось бы знать: какова цель вашего звонка? Просто поболтать? Вам стало скучно на том свете?

— Только не надо язвить. Об упомянутом вами «том свете» я знаю предостаточно и смею вас уверить, что это совсем не тема для упражнений в остроумии... А звоню я вам с чисто прагматической целью. У меня есть к вам одна просьба. Или, если хотите, предложение.

— Слушаю внимательно.

— Хотелось бы, чтобы нас оставили в покое.

— Кого это вас?

— Не разыгрывайте наивность. Вы меня прекрасно поняли. Конечно, все мои доводы в собственную защиту бездоказательны, но, поверьте, ставя нам палки в колеса, вы совершаете огромную ошибку, которая может сказаться плачевным образом не только на судьбе наших потомков, но и предков. О нынешнем поколении я даже и не упоминаю. Осмыслить мой тезис трудно, но тем не менее это истинная правда... Кроме того, все ваши потуги тщетны. Бессмысленно бороться с предопределенностью. Как ни старайся, а нас не одолеть. Все, что мне предстоит совершить, однажды уже свершилось, и лучшим доказательством этому является хотя бы тот факт, что я сейчас беседую с вами. Наше противостояние является лишь неотъемлемой частью всеобщего вселенского плана, в соответствии с которым существует и развивается мироздание. Вы, как умеете, досаждаете нам, мы, как можем, сопротивляемся. Обе стороны вдохновенно играют свои роли в грандиозной пьесе, финал которой заранее известен, но сюжет целиком зависит от импровизации актеров. Вот только заигрываться не следует, а вы, по-моему, грешите этим.

У Донцова было много недостатков и слабостей, но за словом в карман он никогда не лез. А вот сейчас сидел на койке, прижав телефонную трубку плечом к уху, и даже не знал, что ответить загадочному собеседнику.

— Почему вы молчите? — В голосе человека, назвавшегося Олегом Наметкиным, послышалась тревога.

Наконец Донцов выдавил из себя:

— Короче, вы считаете, что в нашем мире все предопределено?

— Конечно, неужели вы сами не сознаете этого? Для меня, например, сие является бесспорной аксиомой. А повидал я, смею заметить, немало. Мне дано было познать цену жизни и смерти, мгновения и вечности, полной свободы и рабской зависимости.

— Но если все уже предопределено, то зачем сопротивляться обстоятельствам, — возразил Донцов. — Не лучше ли отдаться на волю стихии случая.

— Предопределенность не возникает сама по себе. Она соткана из наших каждодневных поступков. За нее нужно бороться. История — это не остывшее раз и навсегда железо, а раскаленная заготовка, которую можно перековать на иной манер в любой ее момент и в любом месте. Этот мир однажды уже исчез, уступив место совсем другому, где люди были всего лишь дичью для быкоголовых чудовищ, называвших себя кефалогеретами.

— Я посоветовал бы вам обратиться к профессору Котяре, — сказал Донцов. — То, что вы шизофреник, ясно даже такому профану, как я, но он поставит более точный диагноз.

— Этого-то я и боялся. — Человек на другом конце провода тяжко вздохнул.

— Чего боялись — диагноза?

— Нет, отсутствия с вашей стороны сочувствия и понимания.

— За этими вещами следует обращаться к священнослужителям. А я всего лишь следователь. Гончий пес на службе закона.

— Понимаю... И тем не менее хочу повторить свою просьбу. Прекратите преследовать нас. Главное, что это абсолютно не нужно вам самому. Пора подумать о чем-то совсем ином. Простите за откровенность, но вы обречены. Операция, на которую возлагается столько надежд, не поможет. Метастазы уже достигли мозга, и об этом, наверное, знают все, кроме вас... Зачем вам вдобавок губить еще и меня?

Он умолк, вероятно, ожидая ответа, но Донцов не проронил ни звука. Каждый думал о своем, и мысли эти были тягостными.

Первым молчание нарушил тот, кто выдавал себя за Олега Наметкина.

— Я представляю ваше состояние, — сказал он. — Еще раз

простите. Грустно говорить об этом, но мы могли бы как-то скрасить остаток ваших дней. К примеру, обеспечить деньгами.

— Теми самыми, которые вы украли из сейфа братьев Гаджиевых? — Донцов не мог удержаться от этой маленькой колкости.

— За это нас нельзя упрекать. Деньги, о которых идет речь, были нажиты нечестным путем и предназначались для грязных целей. Мы же употребили их во благо.

— Наняли киллера?

— Я нанял его для самого себя. Как другие нанимают сиделок, домработниц, любовницу. Что здесь зазорного?

— Для себя, говорите, наняли... А вы случайно не Доан Динь Тхи, вьетнамская иммигрантка?

— Я не вправе сообщать вам какие-либо сведения, которые потом можно будет использовать против нас.

— Как же тогда мы добьемся взаимопонимания? На какой почве?

— Только на почве доверия. Мы очень хотим вам поверить. Поверьте и вы нам.

— Честно сказать, в услышанное от вас верить трудно. Это бред если не по форме, то по содержанию. Раньше я и не предполагал, что вокруг столько ненормальных. Я не могу потакать их прихотям, порожденным больным воображением. У меня есть вполне определенные обязанности по службе. Сейчас я занимаюсь конкретной задачей — поиском преступников, убивших Олега Наметкина. Если вы как-то причастны к этому делу, прошу к ответу. Для вас это наилучший выход. В юридической практике предусмотрен целый комплекс мер, поощряющих сотрудничество со следствием.

— То есть за явку с повинной вы обещаете мне условно-досрочное освобождение? — В трубке раздался легкий смешок. — Спасибо и на этом. Но в чем вы видите мою вину? В смерти Олега Наметкина? Тогда это надо расценивать как самоубийство. А такой статьи в Уголовном кодексе я что-то не припоминаю.

— Не старайтесь запутать меня. Совершено преступление, зарегистрированное в установленном законом порядке. Есть труп... то есть был. Есть настойчивое желание главного врача клиники найти и наказать убийцу. А все остальное — это лирика, пустые словеса.

— Старый лицемер...

— Это вы о ком?

— О профессоре, конечно. Не убийцы ему нужны, а Олег Наметкин в любом виде.

— Возможно, у вас имеются к профессору какие-нибудь претензии? Не применял ли он к Олегу Наметкину сомнительных или недозволенных методов лечения?

— Вы не услышите от меня ни единого слова, которое можно использовать во вред хоть кому-то. Я вас уже предупреждал.

— Это надо понимать так, что задавать любые вопросы, касающиеся деталей преступления, — бесполезно?

— Да. То же самое относится и к лицам, которых вы подозреваете. Всякие упоминания о них неуместны.

— Боитесь проговориться?

— Просто не хочу обсуждать эту тему. Поверьте, она не стоит того. Да и время мое на исходе. Бог, как говорится, любит троицу, и я в третий раз прошу вас: сделайте доброе дело. Находясь на пороге вечности, нельзя упускать такую возможность. Прекратите расследование, демонстрируйте лишь видимость активности. Уверяю, благой поступок зачтется вам и на том, и на этом свете. В противном случае вас замучают угрызения совести.

Звонивший повесил трубку, и сигналы отбоя как бы подвели черту под этим более чем странным разговором.

Выждав немного, Донцов встал и, преодолевая слабость, которая помимо всего прочего давала о себе знать еще и испариной, обошел всю квартиру, однако никаких следов визита постороннего человека не обнаружил.

Тогда он снова лег, прижимая руку к левому боку, где росло, пожирая тело изнутри, кошмарное создание, рожденное из его собственной крови и плоти.

Неужели звонивший прав и Донцов действительно обречен? Верить в столь печальную перспективу не хотелось, но частичка сознания, не отягощенная низменными заботами и страстями, а потому для нормального человека как бы лишняя, эта падчерица души, называемая то совестью, то суперэго, бесстрастно подтвердила — да, конец близок, и он может быть страшным.

Но в любом случае думать об этом не следовало. Так уж устроен человек, что мысли о грядущих невзгодах доставляют ему куда больше страданий, чем сами невзгоды.

Внезапно Донцову пришла в голову шальная идея — плюнуть на все, хлобыстнуть стакан водки и крепко уснуть, выключив рацию и сняв телефонную трубку с рычагов. Да пусть они все удавятся — и полковник Горемыкин, и профессор Котяра. На-

шли себе мальчика на побегушках. Пусть сами таскают каштаны из огня или подберут другого дурачка. Да и Олег Наметкин птица невеликая. Спишут его дело в архив. Не такие дела списывали. Тем более если от этого зависит нерушимость нашего мира.

Донцов уже собрался отправиться на кухню, где в шкафчике пылилась непочатая бутылка «Смирновской», но ему помешал новый звонок.

Неужели этот тип, выдающий себя за Наметкина, опять напоминает о себе? Наверное, будет предлагать взятку. Или Тамарку-санитарку в качестве наложницы. Тогда уж и деда Лукошникова заодно — в качестве камердинера.

Но это напомнил о себе Саша Цимбаларь.

— Привет, — сказал он.

— Виделись уже, — ответил Донцов.

— Неужели? — удивился Цимбаларь.

— Ты что — пьян? Откуда звонишь?

— С банкета. По-твоему, я не имею права выпить с нашими доблестными лингвистами? Я, между прочим, в чем-то тоже лингвист. Иностранными языками владею. Хочешь, я скажу по-цыгански: «Не буду пить винца до смертного конца»?

— Что с рукописью? — перебил его Донцов.

— Одну минуточку... — голос Цимбаларя отдалился. — Сам разбирайся. Передаю трубочку.

С Донцовым заговорила та самая женщина, которая недавно рассказывала об Индии. Как ни странно, она была абсолютно трезва, хотя шум банкета иногда заглушал ее голос.

— Мы выполнили вашу просьбу, — сообщила она. — Правда, пришлось все делать в спешке. Поэтому вы получите предварительный вариант перевода. Окончательный будет готов через день-два. Сообщите мне свой электронный адрес, и я немедленно отправлю текст.

— Знаете, у меня нет компьютера, — признался Донцов.

— А у кого-нибудь из соседей?

— Вряд ли. Их интересы лежат в совершенно иной сфере. (Один сосед Донцова торговал щенками с фальшивой родословной, а другой разводил мышат для состоятельных владельцев кошек.)

— Тогда ничем не могу помочь. — Дама-лингвист даже не сочла нужным изобразить сожаление.

И тут Донцова осенило.

— Отправьте текст на мой служебный компьютер, — тороп-

ливо сказал он. — Пижон, который находится рядом с вами, должен знать его адрес. А я туда быстренько подъеду.

— Вы Сашеньку имеете в виду? — поинтересовалась женщина.

— Именно его, — подтвердил Донцов.

— Ах, он такой очаровашка. Помогал мне переводить текст. Очень способный мальчик... Не хотите ли поговорить с ним на прощание?

— Пусть возьмет трубку.

Процесс передачи трубки продолжался довольно долго и сопровождался смачными звуками, одинаково похожими и на крепкие поцелуи, и на легкие пощечины. Потом вновь раздалось сакраментальное: «Привет». Репертуар Цимбаларя сегодня не отличался разнообразием.

— Тебя когда назад ждать? — поинтересовался Донцов.

— Никогда, — с пафосом ответил коллега. — Я решил сменить профессию. Хочу стать лингвистом. И не простым, а этим... как его... этимологическим.

— Я серьезно спрашиваю.

— Завтра утром буду как штык. А сегодня прошу не беспокоить. Мне поручено сказать тост в честь эскимосского языка. Хочешь послушать?

— Нет. Ты лучше мне на один вопрос ответь. Только честно. Правда ли, что меня считают неизлечимо больным?

— Ходят такие слухи. — Веселость Цимбаларя сразу улетучилась.

— А что конкретно говорят?

— Про метастазы всякие... Дескать, опухоль твоя уже в мозг проникла. Только ты этой туфте не верь. Про меня, например, одно время говорили, будто бы я педераст. Представляешь?

Дальше Донцов слушать не стал.

В нарисовавшейся ситуации имелся один любопытный момент. Почему, спрашивается, столь серьезное и запутанное дело поручили смертельно больному человеку?

Ответ, что называется, лежал на поверхности. Именно потому и поручили. Чтобы потом лишних разговоров не было. Никто так не умеет хранить чужие тайны, как мертвец...

Читать текст с экрана монитора Донцов страсть как не любил — во-первых, не мог по-настоящему сосредоточиться, во-вторых, в глазах после этого долго мерцали черные мушки, — а потому, связавшись по телефону с помощником дежурного, уп-

росил того загодя принять и распечатать электронное сообщение, если, конечно, найдется свободный принтер, которых в отделе было раз, два и обчелся.

Несмотря на поздний час, половина окон в здании светилась. Старшие служб и карьеристы всех мастей маялись на рабочих местах, ожидая, когда свой кабинет покинет полковник Горемыкин, который в это время, вполне возможно, занимался какими-нибудь пустяками, к служебным вопросам касательства не имеющими, — например, играл на компьютере в стрелялки-догонялки или делал массаж секретарше Людочке.

Поблагодарив помдежа, Донцов заперся в кабинете, отложил в сторону рацию, с которой не собирался расставаться до самого утра, и бегло просмотрел то, что под чутким руководством Саши Цимбаларя выдали на-гора ушлые лингвисты-полиглоты.

На первом листе было всего лишь несколько слов, сгруппированных в центре, но по смыслу почти не связанных. На втором чуть побольше. На третьем листе пара фраз уже читалась, и так вплоть до десятого, где отсутствовали только верхняя и нижняя строчки. Все это было следствием поджога, устроенного стариком Лукошниковым на кухне.

Приблизительно в таком же состоянии находилась и дюжина заключительных листов, но полсотни остальных, чей текст полностью уцелел, могли в случае удачи раскрыть все тайны, над которыми целую неделю бился майор Донцов.

Первая более или менее внятная фраза имела такой вид: «...немного лет, но реально я прожил в десять раз больше».

С этого места Донцов и начал чтение.

ГЛАВА 17

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ДУХОВКЕ

«...немного лет, но реально я прожил в десять раз больше. Долгая жизнь убивает само желание жить, истощает разум, стирает память, порождает неприятие окружающей действительности, вызывает отвращение к самому себе.

Мне думается, что причина этому вовсе не переизбыток впечатлений, чаще всего негативных, и не тяжкий груз жизненного опыта, а процесс старения сам по себе. Лишь немногие могут радоваться жизни в восемьдесят лет. Когда на первый план выходят чисто физиологические проблемы — как на подгибающихся ногах добраться до туалета, как негнущимися от артрита пальца-

ми расстегнуть ширинку и как потом помочиться вопреки простатиту, уретриту и мочекаменной болезни, — вопросы духа неизбежно отступают на задний план.

В этом смысле я нахожусь в гораздо более выгодном положении, чем обычные люди, чье тело и душа естественным образом спаяны. Мое сознание не устает впитывать все новые и новые знания, а физическая немощь, обусловленная старостью, не грозит, поскольку в силу известных причин я воплощаюсь только в людей цветущего возраста, способных выполнять (и активно выполняющих) детородные функции.

Дабы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем, могу кратко пояснить, что имеется в виду под «известными причинами».

Ребенок появляется на свет в результате слияния мужской и женской половых клеток. Это сейчас известно даже дошкольникам. От матери ему передаются одни наследственные признаки, от отца — другие. Таким образом, каждый человек в физическом смысле есть сумма качеств, заложенных в него родителями.

Человеческая душа, этот необъяснимый феномен, являющийся не то продуктом эволюции, не то неким высшим даром, зарождается уже в момент оплодотворения яйцеклетки и бывает мистическим образом связана с душами отца и матери, а через них — с длинной чередой предков, вплоть до Адама и Евы.

Со смертью родителей возможность физического контакта между поколениями прерывается, но души, оставляющие вечный след в ментальном пространстве, продолжают находиться между собой как бы в связке.

По этой цепочке в принципе можно дойти до самого первого человека и увидеть мир его глазами. Вопрос лишь в том, как научить свою душу вырываться из оков тела. Мой случай...»

Здесь в тексте отсутствовало несколько строк, видимо, в оригинале уничтоженных огнем.

— Вот стервец! — слова эти, в сердцах сказанные Донцовым, относились вовсе не к автору рукописи, личность которого до сих пор оставалась неизвестной, а к старику Лукошникову.

Следующая страница также начиналась с усеченного предложения.

«...поистине фантастические. Уж если мы затронули ментальное пространство, то следует сказать несколько слов и о нем. Сразу предупреждаю, что этот мир недоступен пониманию человека в силу тех самых причин, по которым аскариде недоступно

понимание человека как одухотворенного существа. То есть в силу несоизмеримости объектов.

Предположительно он существует вне времени, вне привычных для нас пространственных координат и вне бытия. Дорога туда закрыта для всех предметов, имеющих материальную природу, зато открыта для нематериальной субстанции, именуемой душой.

Я уже говорил, что, путешествуя сквозь время по нисходящей лестнице сродственных душ, лестнице, разветвляющейся после каждого очередного поколения, можно вселиться в телесную оболочку любого предка, хоть в пятом, хоть в сто пятом колене, но происходит это обязательно в момент зачатия новой души, которая всегда старше тела на девять месяцев.

Молния ищет в атмосфере путь наименьшего сопротивления, а бесприютная душа выбирает более доступную, более близкую душу. Примерно половина моих воплощений пришлась на женский облик.

Сначала все это казалось мне забавным, но потом изрядно поднадоело. Стыдно даже признаться, сколько раз я был изнасилован самым непотребным образом и сколько насилий совершил сам, не по своей воле, конечно.

Увы, мои предки были далеко не ангелы. Скажу больше, встречались среди них и отменные негодяи. Хотя что требовать от дикого кочевника, поклоняющегося воткнутому в землю мечу, или от наемного солдата времен фараона Тутмоса Третьего. Случалось иногда...»

Последовал очередной пробел, или, как выражаются умники-лингвисты — «лакуна». На этот раз Донцов воздержался от сильных выражений и продолжал чтение почти без задержки.

«...ожидало впоследствии. Невольно напрашивается вопрос, почему я пишу так подробно и витиевато. Этому есть свое объяснение. Данный документ есть не что иное, как письмо самому себе — послание от одной части моей личности, сохранившей память и способность писать, к другой части, эти качества утратившей.

По личному опыту знаю, что чужой рассказ о твоих собственных похождениях, забытых по причине давности лет или тяжелого перепоя, весьма освежает память. Именно на это я и рассчитываю. Кроме того, существует вероятность...»

В этом месте не хватало почти полстраницы. Но Донцов на такие мелочи внимания уже не обращал.

«...в чужой шкуре. Мне приходилось бывать и гвардейцем

времен императрицы Анны Иоанновны, и средневековым скандинавом, добывавшим себе пропитание посредством секиры, и даже легендарным афинским царевичем Тесеем, якобы убившим кровожадного Астерия-Минотавра, скрывавшегося в критском лабиринте.

Именно с этого момента и начались мои злоключения.

На самом деле Астерий оказался вовсе не уродом, рожденным развратной царицей Пасифаей от противоестественной связи с быком, как гласила легенда, а представителем новой расы разумных существ, которым предстояло сменить людей на земле, точно так же как люди в свое время сменили неандертальцев.

Зная, какой вариант будущего в конце концов восторжествовал, я тем не менее вступил в смертельное единоборство с Астерием, поскольку имел к тому времени неоспоримые доказательства того, что причиной его гибели стало оружие, помеченное моими инициалами, моим, так сказать, фирменным знаком — О.Н. 1977, — составленным из инициалов и года рождения».

Донцов прервал чтение, закурил и, глядя в пространство, сказал самому себе:

— Значит, это все же Олег Наметкин. Записки покойника... Ладно, читаем дальше.

«Моя ненависть к Астерию усугублялась еще тем обстоятельством, что благодаря блудливой Ариадне, достойной сестрице своего брата-упыря и истой наследнице мамаши-извращенки, я породнился с проклятым племенем кефалогеретов, а именно так называли себя эти выродки, говорившие на южноахейском диалекте древнегреческого языка.

В следующем воплощении я уже имел облик свирепого быкочеловека, одного из тех чудовищ, чьи орды быстро прибирали к рукам мир, прежде принадлежавший людям.

Меняя телесные оболочки, но продолжая оставаться кефалогеретом, я делал все возможное, дабы сорвать планы полного уничтожения человеческого рода, но окончательно можно было решить эту проблему лишь одним способом — погубить Астерия еще в ту пору, когда он только начинал свою вредоносную деятельность. Любой здравомыслящий человек обязательно возразит мне — дескать, изменить ход истории невозможно. Чепуха! Нет ничего проще. Стоит всего-навсего предотвратить убийство Цезаря или, наоборот, вовремя поставить крест на карьере Наполеона — и история пойдет совсем другим путем.

Загвоздка состоит лишь в том, что никто не может вернуться из настоящего в прошлое, к истокам событий.

И когда я благодаря невероятному стечению обстоятельств приобрел уникальную возможность проникать в давно минувшие века, пусть и используя для этого, так сказать, родственные связи, сразу появилась возможность корректировать историю, подгоняя ее под существующий ныне стандарт.

Тут есть один нюанс, на который необходимо обратить внимание.

Отправляясь на охоту за Астерием, я заранее знал, что где-то за двенадцать веков до рождения Христа наша схватка уже состоялась и победителем в ней вышел отнюдь не кефалогерет, доказательством чему — древняя могила, где среди костей неизвестного науке человекообразного существа был обнаружен бронзовый меч со странным вензелем.

Проще говоря, то, что я еще только собирался сделать, уже давно свершилось. Налицо явное нарушение причинно-следственных связей. Но этот принцип справедлив лишь для обычного мира с односторонним направлением течения времени. Бесприютные души, скитающиеся в ментальном пространстве, существуют совсем по иным законам.

Если из прошлого придет очередной ясный сигнал к действию (а это может быть любой помеченный мною предмет, обнаруженный, скажем, при археологических раскопках или в каком-нибудь заброшенном архиве), я приложу все усилия для выполнения предначертанного долга, тем самым замкнув причинно-следственную связь в кольцо.

К сожалению, я несколько отклонился от заданной темы. Следует излагать лишь факты в их последовательности, а не собственные умствования.

Чтобы описать все пережитое мною, начиная с первой неудачной схватки, в которой погиб Тесей, и кончая моментом, когда, воплотившись в тело ничего не подозревающего Астерия, я погубил себя, а значит, и его, — не хватит, наверное, и целой книги.

Едва только род кефалогеретов пресекся в зародыше и историческая справедливость восторжествовала, я вновь получил возможность воплощаться в людей.

Единственное, о чем я мечтал тогда, — найти спокойное местечко, где можно будет отдохнуть от всех пережитых треволнений. Душа устает еще в большей мере, чем ее материальная оболочка.

Но сначала нужно было найти подходящее тело, что весьма непросто, ведь процесс воплощения — это всегда лотерея, в ходе которой ты с одинаковым успехом можешь оказаться и султаном, предающимся плотским утехам в своем серале, и смертником, которому тюремщик из милости привел в камеру шлюху.

Да и симпатичную эпоху подгадать не так уж просто. Ориентироваться в ментальном пространстве практически невозможно, поскольку оно не дает никаких ощущений, кроме чувства падения и взлета, появляющегося в тот момент, когда душа спускается в прошлое по лабиринту генеалогических связей или, наоборот, возвращается назад в изначально принадлежащее ей тело.

Сначала все как будто бы удалось. Уловив мистический толчок, сопровождающий каждое ответвление от наследственной линии, а проще говоря, зачатие, я уже привычным манером воплотился в кого-то из любящей парочки и, пережив краткий шок, всегда сопровождающий этот деликатный процесс, быстренько обследовал свое новое тело и все, до чего только мог дотянуться.

Предварительное резюме было таково — я, слава богу, мужчина, не обремененный физическими увечьями и какими-либо явными болезнями, и, судя по роскошному ложу, которое только что покинула женщина, чьи прелести мне помешала оценить темнота, мужчина довольно состоятельный.

Необходимо заметить, что при вселении в чужое тело неизбежно возникает проблема сосуществования двух душ — родной, дарованной природой при зачатии, и чужой, вселившейся наперекор законам естества.

Здесь возможны разные варианты.

Первый — подавить исконную личность, вытеснить в подсознание, отрезать от органов чувств, а при возможности и уничтожить. Но тогда обязательно возникнут трудности с адаптацией в новой среде обитания, обычаи и язык которой тебе неизвестны.

Второй — раздельное существование обоих личностей. Ты стараешься ничем не выдавать себя, а общим телом пользуешься от случая к случаю, предварительно усыпив законного владельца. Вариант вполне приемлемый, но человек, ведущий двойную жизнь, может прослыть или шпионом, или шизофреником.

И, наконец, вариант третий, самый сложный, но и самый продуктивный — взаимовыгодное сотрудничество с чужим сознанием, своего рода духовный симбиоз. Ты пользуешься под-

сказками хозяина, но и сам помогаешь ему, привлекая богатый опыт многих прежних воплощений. Правда, этот вариант подразумевает довольно высокий интеллектуальный уровень хозяина, что встречается гораздо реже, чем хорошее здоровье.

В любом случае, прежде чем выбрать какую-либо определенную тактику сосуществования, надо сначала осмотреться и оценить все самым беспристрастным образом.

Даже если впечатление сложится сугубо отрицательное — тоже ничего страшного. Не понравилось в одном месте — пойдем в другое. Покинуть тело даже проще, чем войти в него. Уж в этомто я успел поднатореть. Прищемил палец дверью, а еще лучше сунул его в кипяток, и боль вышвырнет твою душу туда, откуда она явилась, — в ментальное пространство. Способ проверенный, хотя...»

Обнаружив отсутствие трех строк подряд, Донцов даже чертыхнулся.

«...и не дом вовсе, а внушительных размеров шатер, вход в который охраняли молодцы бандитского вида, с ног до головы увешанные оружием, не совсем привычным даже для моего наметанного взгляда: мечи странной формы, боевые топоры, которые с тем же успехом можно было назвать боевыми молотами, дубинки, изготовленные из костей какого-то огромного животного, крючья, попарно соединенные между собой куском веревки, копья с серповидными наконечниками и копья-трезубцы.

Стражники низко кланялись моему предку (интересно, с какой стороны — отцовской или материнской?) и почтительно называли его «Бхагаван»», что означает «владыка». Впрочем, как выяснилось впоследствии, это был не только титул, но и имя, одно из многих.

Сам же владыка, весьма озадаченный тем, что покинул постель в такую рань (это уж моя заслуга), принялся вымещать свое неудовольствие на слугах, немедленно явившихся к нему с тазиками для омовения, благоуханиями (вариант нынешнего одеколона) и свежими одеждами.

Слуги здесь имели черный цвет кожи, а господа — белый, но это были вовсе не североамериканские штаты времен рабства и не колониальная Африка.

Где вы, спрашивается, видели босых колонизаторов в домотканых рубашках, вооруженных костяными дубинами и щитами, сделанными из воловьих шкур?

Судя по всему, меня занесло в глухие времена раннего Сред-

невековья, когда достижения античной цивилизации уже позабылись, а свои собственные еще только зарождались. Окружающая материальная культура выглядела довольно бедновато, хотя мечи имели железные клинки, горшки были явно изготовлены на гончарном круге, а мои пальцы украшали вычурные перстни с драгоценными каменьями, в которых я, кстати говоря, разбираюсь.

Итак, с эпохой все было более или менее понятно. Осталось определить географическое положение страны, в которой я оказался по воле случая.

Жаль, что звезды уже угасли — они могли бы подсказать широтные координаты. Хотя ясно, что это не север и даже не средняя полоса. Снега здесь, наверное, отродясь не видели, хотя утро довольно свежее.

Растительность также какая-то неопределенная — такие деревья, например, мне случалось видеть и вблизи Геркулесовых столпов, и в оазисах Магриба, и в болотах Колхиды...

Определенную ясность в мои прикидки внес трубный глас, раздавшийся неподалеку. Так мог изливать свои чувства только слон-самец в гоне. Уж слонов-то в разных своих жизнях я повидал предостаточно. Приходилось мне не только кататься на этих ушастых великанах, но и сражаться с ними.

Если исключить вероятность того, что слон сбежал из ближайшего зоопарка, то вывод напрашивался сам собой — я нахожусь сейчас на юге Индии или на острове Цейлон, где в изобилии водятся слоны и проживают чернокожие люди, называющиеся, кажется, дравидами.

По всему выходило, что мне подфартило вселиться в тело какого-то местного раджи, которых здесь во все времена было предостаточно. Наверное, не меньше, чем слонов. По крайней мере такое впечатление создается после просмотра индийских кинофильмов.

Впрочем, стражники мало походили на киношных индусов, смуглых и черноусых. Кожа у них, правда, не отличалась белизной, но исключительно по причине пренебрежения личной гигиеной. Зато глаза светились нездешним льдом, а с бритых голов свешивались на плечо длинные светлые чубы, прообраз запорожских «оселедцев». Ну, прямо вылитые викинги, только от тех всегда воняло ворванью, тухлой рыбой и дрянным пивом.

Ясное дело, это кшатрии, военная каста ариев, захвативших Индостан где-то во втором тысячелетии до нашей эры. А чернокожие слуги, продолжавшие увиваться вокруг непроспавшегося

господина, — шудры, существа более бесправные, чем обезьяны, потомки туземного населения.

Скорее всего я ошибся с оценкой нынешней исторической эпохи. Это не ранний феодализм, а что-то куда более архаическое, поскольку пришельцы-арии еще не успели смешаться с аборигенами. Мой раджа приходится современником не Карлу Мартеллу, а Александру Македонскому.

Обойдя шатер по кругу, предок, ведомый мною, как бычок на веревочке, вернулся в шатер. Он — дабы продолжить прерванный сон. Я — для того, чтобы поразмыслить над создавшимся положением.

Пока все вроде бы складывалось удачно. Какое-то время можно прожить и в облике индийского раджи. Лишь бы он не вмешивался в междоусобицы и всякие конфликты, за которые в восточном государстве можно запросто лишиться головы.

Конечно, смерть не страшна бестелесному существу. Просто мне надоело умирать. Боже, какими только способами меня не убивали!

И на медленном огне жгли, и топили в болоте, и сажали на кол, и хоронили живьем в каменном саркофаге.

Для меня это, понятное дело, лишь неприятная процедура, что-то вроде медосмотра у проктолога, но пока дождешься заветного момента развоплощения, дурных ощущений нахватаешься через край.

Вот так мы и зажили в обобществленном теле моего предка-раджи, которого называли то Бхагаваном, то Варшнеей, то Дамодарой, хотя мне больше всего нравилось имя Ачьюта — «Вечный». В каком-то смысле оно подходило и мне.

Язык, на котором разговаривали между собой кшатрии, был мне, в общем-то, незнаком (хотя благодаря громадному опыту общения с представителями самых разных народов некоторые слова все же угадывались), но я понимал его через восприятие предка.

К шудрам арийцы обращались вообще на какой-то тарабарщине. Впрочем, я был уверен, что в самом скором времени освою оба эти наречия. Когда знаешь двадцать языков — двадцать первый уже не проблема.

Нельзя сказать, что образ жизни, которого придерживался Ачьюта, полностью отвечал моим представлениям о безмятежном отдыхе, так необходимом исстрадавшейся душе.

Конные прогулки, игра в кости, ежедневные упражнения в стрельбе из лука, изысканный флирт с женами, особами весьма

деликатного воспитания, сочинение возвышенных стихов, созерцание танцев и медитация в принципе соответствовали моим запросам, зато ночные оргии с наложницами, травля чернокожих рабов хищными зверями, охота на тигров, неумеренное употребление всевозможных дурманящих напитков, среди которых вино играло отнюдь не главную роль, обжорство и все его тягостные последствия — повергали в депрессию.

Разумеется, я мог бы отключиться от всех телесных ощущений, уйти в себя, словно в кокон, витать в эмпиреях, но ради этого не стоило покидать ментальное пространство. Чего другого, а покоя и тишины там хватает. На мой вкус даже с избытком.

И тогда я взялся за перевоспитание своего буйного и сластолюбивого предка (все равно надо было чем-то заполнить досуг) — исподволь, ненавязчиво вмешивался в ход его мыслей, старался удержать от опрометчивых поступков, отвращал от садистских выходок, практикуемых в любовных играх, не позволял опрокинуть лишний кубок сомы, всячески препятствовал обжорству и при этом все время оставался как бы в тени.

Вскоре я даже стал находить в этом занятии некоторое удовлетворение. Всегда приятно что-то создавать самому — хоть книгу, хоть котлеты, хоть новую личность.

Дабы мои усилия оказались более действенными, я решил привлечь на помощь религию, чьи стрелы, по выражению Рабиндраната Тагора, страшнее боевых, поскольку проникают в сердце гораздо глубже.

Как и большинство кшатриев (в отличие от брахманов), Ачьюта не отличался набожностью, хотя почти ежедневно посещал храм, вместе с другими верующими распевал заунывные гимны и приносил предписываемые традицией жертвенные дары — топленое масло, рисовые клецки и пальмовое вино.

Чаще всего он поклонялся богу по имени Индра, повелителю грома и молнии, великому воину, вдохновителю певцов, забияке и большому любителю дурманящей сомы, под воздействием которой и были совершены все его главные подвиги, как-то: победа над демоном вод Вритрой и поединок со змеей-пожирательницей Шушной, — короче, самому подходящему для кшатриев богу.

Индру в религиозных гимнах называли «Тот, который ведет к куче добра», и «Брюхатящий незамужних женщин», и «Сокрушитель чужих черепов», и «Утоляющий жажду океаном сомы».

Ясно, что пример такого бога вряд ли мог наставить заблудшего человека на путь истинный, скорее наоборот. А если брать

шире, то народу, боги которого крушат чужие черепа, брюхатят посторонних женщин и упиваются наркотой, стоит посочувствовать.

Лучше будет, если я сам придумаю кумира для Ачьюты. Пусть он, сохраняя все внешние атрибуты воинственного индуизма, сеет разумное, доброе, вечное, то есть славит общечеловеческие ценности, а не скотские выходки.

В пантеоне местных небожителей я разбирался слабо, но, покопавшись в сознании Ачьюты (предок воспринимал это как краткое помутнение сознания), отыскал бога по имени Вишну, о котором было известно немногое — он преодолевал вселенную в три шага и однажды помог Индре в борьбе с демонами.

Имея немалый опыт манипуляции чужим сознанием, я стал потихоньку прививать Ачьюте интерес к этому богу, которому моими стараниями был придан самый что ни есть положительный облик.

Надо сказать, что ум моего предка, хоть и не развитый учением, от природы был довольно гибок, и любые новые идеи он впитывал достаточно легко, тем более что эти идеи рождались у него как бы сами собой.

Зерна, посеянные мной, упали на благодатную почву. Некоторое время спустя Ачьюта несколько смирил свой буйный нрав, перестал травить людей хищными зверями, а на ложе любви вел себя как обычный эротоман, а отнюдь не как садист. Сложнее всего было отучить его от злоупотребления сомой, но, в конце концов, некоторые успехи наметились и на этом поприще.

Теперь, беседуя с женами или наставляя приближенных, Ачьюта все чаще заводил разговор о боге Вишну и о его титанических усилиях по наведению мирового порядка, благоустройству вселенной и воспитанию человека в духе сострадания, всепрощения и доброты — то есть о том, что я постоянно нашептывал ему.

Вскоре Ачьюта повелел построить кумирню, внутри которой находилась каменная скульптура, изображавшая четырехрукого Вишну, хоть и снаряженного для битвы (булава, лук, чакра и сигнальная раковина), но благостно улыбающегося.

(Кстати, о многорукости. Воинственные кшатрии, которым в битве двух верхних конечностей было, наверное, недостаточно, всех своих богов изображали именно в таком паукообразном виде.)

Дела постепенно шли на лад, хотя одно обстоятельство несколько смущало меня — сравнительно небольшое княжество

Ачьюты содержало многочисленную, хорошо вооруженную и вышколенную профессиональную армию, привыкшую кормиться войной.

Ремесленники-вайшьи целые дни напролет ковали оружие и сооружали боевые колесницы. Возничие-суты, представители весьма привилегированной касты, в чьи обязанности входило не только управление колесницами, но и сочинение хвалебных гимнов, обучали лошадей разворачиваться на крошечном пятачке и топтать копытами поверженных врагов. Молодые кшатрии с восхода до захода совершенствовались в боевых искусствах, а по ночам охотились за дасью, воинственными аборигенами, продолжавшими скрываться в лесах.

Кому как не мне было знать, что бесконечное нагнетание военной мощи приводит к тем же результатам, что и нагревание наглухо закупоренного сосуда с водой — рано или поздно он обязательно взорвется.

Дело, похоже, оставалось за малым — подыскать врага, не самого сильного, но достаточно богатого, чтобы потом было чем поживиться.

Все мои попытки обуздать агрессивные устремления Ачьюты ни к чему не приводили. Во-первых, несмотря на царский титул, он был практически заложником своих собратьев по касте, у которых давно руки чесались. А во-вторых, как я убедился, проще было волка приучить к вегетарианству, чем внушить миролюбие кшатрию. Идея абстрактного человеколюбия не играла здесь никакой роли, ведь даже святой Петр, любимый ученик Спасителя, и тот частенько хватался за меч.

Ничего не поделаешь, таковы уж были эти люди, посвященные в воины еще при рождении, сражавшиеся всю свою сознательную жизнь и собиравшиеся умереть на поле брани, поскольку иная смерть считалась у кшатриев позором.

Однажды в ставку Ачьюты, по обычаю предков-кочевников постоянно менявшую свое месторасположение, прискакали вестники. Новости, которые они доставили, относились к категории самых дурных.

Несколько дней назад на западной границе владений Ачьюты появился неоседланный рыжий конь необыкновенной красоты и стати. Никому не даваясь в руки, он бродил по самым лучшим пастбищам, отбивал косяки кобыл у местных жеребцов, но нигде не задерживался подолгу, словно был не конем, а тигром-бродягой.

Опытные люди, заподозрившие неладное, прикладывали ухо

к земле и слышали, как с запада надвигается мерный грозный гул, словно по равнинам соседнего царства катится ожившая каменная лавина. Небо в той стороне даже в ясный день было затянуто странной дымкой, а ночью полыхало отсветами далеких пожаров. Разом пропали все птицы-стервятники, почуявшие богатую поживу.

А конь тем временем двигался все дальше и дальше, и там, где он встречал закат, назавтра появлялся высокий жертвенный столб, словно выросший из земли сам собой.

Ачьюта сразу понял, что речь идет о древнем обряде «Ашвамедха», совершаемом царями, позарившимися на верховную власть.

При этом на волю выпускался специально обученный жертвенный конь, который самостоятельно странствовал по всей стране, из царства в царство. Горе было тому, кто осмеливался обидеть благородное животное, находящееся под особой защитой бога Индры.

Вслед за конем всегда двигалась огромная армия, подчинявшая себе все земли, на которых остался след священных копыт. Местные царьки либо добровольно присоединялись к захватчикам, признав тем самым вассальную зависимость от узурпатора, либо принимали безнадежное сражение, теряя власть одновременно с головой.

По прошествии времени, необходимого коню для того, чтобы обойти все владения ариев, именуемые Семиречьем, его приносили в жертву Индре, что и знаменовало собой восшествие на престол нового великодержавного правителя.

Ачьюта по моему наущению проявил благоразумие и присоединился к экспедиционной армии на правах союзника. Уж лучше вкушать жертвенное мясо в компании других царей, чем самому стать поживой для шакалов.

Поход, не всегда мирный, продолжался около года и завершился на берегу полноводной реки, называемой Сарасвати. Как ее именуют нынче, я не знаю.

Здесь при огромном стечении брахманов и кшатриев конь был торжественно заколот, изжарен и поделен между людьми и богами. Богам достались требуха и голяшки, людям — все остальное. Пир продолжался трое суток. Выпитого и съеденного в ходе его хватило бы двору Ачьюты как минимум лет на сто.

А на четвертый день ариям был представлен...»

Следующий листок отсутствовал, зато имелось краткое разъяснение, сделанное кем-то из лингвистов: «Стр. 36 была перева-

дена ранее по просьбе старшего следователя Донцова Г.С. и в настоящее время находится в его распоряжении».

Буркнув: «Все верно», — Донцов приступил к чтению тридцать седьмой страницы.

«...поговаривали, что он якшается с самыми темными силами, включая сюда колдунов-дасью, наводивших порчу не только на людей, но и на арийских богов, а также тайно поддерживает сношения с варварскими племенами как запада, так и востока.

Презрительно глянув на своих многочисленных вассалов, которые и глаз на него поднять не смели, Ганеша заявил, что это было последнее жертвоприношение коня и отныне благородных животных заменят люди, как того требуют обычаи ариев, причем не только пленники, но и отступники всех мастей, вне зависимости от происхождения и прошлых заслуг.

После этого он перешел, так сказать, к вопросам внутренней и внешней политики.

По мнению Ганеши, Семиречье, некогда покоренное героическими предками ариев, ныне было уже не в состоянии прокормить их расплодившихся потомков. Пахотные земли истощились, пастбища иссушены зноем, в лесах перевелась дичь, и скоро может случиться так, что на каждый кусок будут претендовать сразу двое желающих.

Искать военную добычу почти негде. На юге Семиречье ограничено океаном, на севере — снежными горами, на востоке — непроходимыми болотами, отравленными лихорадкой.

Остается лишь один доступный путь — на запад, на родину предков, ныне заселенную варварскими племенами, у которых всего в достатке: и лошадей, и молочного скота, и золота, и драгоценных камней, и невинных девушек.

Кто-то из присутствующих посмел возразить:

— Тот, кто имеет такие богатства, крепко держится за них. Вряд ли варвары согласятся добровольно поделиться с нами скотом, золотом и девушками.

Ганеша ответил, что золотыми слитками сражаться не будешь, а девушки, даже самые красивые, не могут заменить боевые колесницы. У варваров нет ни силы духа, ни боевого опыта, ни оружия ариев. По натуре они рабы, а не господа и безо всякой борьбы подставят свои шеи под ярмо завоевателей.

Затем наступила очередь конкретных распоряжений.

Всем царям предписывалось оставить в своих владениях ровно столько войск, сколько требуется для устрашения шудров, а главные силы, снабженные провиантом и полностью экипиро-

ванные, вести на запад, к великой реке Синдху, через которую уже наводятся переправы.

С выступлением в поход необходимо поторопиться, поскольку зимняя непогода скоро сделает дороги на запад труднопроходимыми.

Порядок движения походных колонн таков: кавалерия, пехота, колесницы, слоны и обоз.

На несмелое замечание какого-то царька, что слоны могут не выдержать тягот долгого и опасного пути, Ганеша ответил целой речью:

— Ради великой цели, которую мы перед собой поставили, не жалко ничего, а уж тем более слонов. Скажу прямо, что до границ западных стран, где нас ожидают слава и добыча, дойдет только каждый второй пехотинец, каждый третий всадник и один слон из десяти. Но даже нескольких уцелевших гигантов будет вполне достаточно, чтобы обратить в бегство целую армию трусливых варваров.

Едва «общее собрание» закончилось, как Ганеша удалился в свой роскошный шатер, увенчанный свастикой — символом успеха, счастья, благополучия, — и к нему стали вызывать всех царьков поочередно. Некоторые после этого бесследно исчезли, а другие возвысились, заняв в новом государстве важные посты.

Вскоре пригласили и Ачьюту, успевшего изрядно переволноваться (он был невоздержан на язык и в свое время отпустил в адрес Ганеши немало язвительных замечаний, которые вполне могли дойти до ушей последнего).

Вблизи царь царей выглядел еще более отвратительно, чем издали. В отличие от отца, которого называли то «белоликим», то «светозарным», сынок уродился смуглым, мало похожим на ария, что, возможно, и являлось одной из причин его болезненного самолюбия.

Мало того, что нос Ганеши смахивал на слоновий хобот, так не удались еще и зубы, росшие вкривь и вкось. Один клык даже торчал наружу, как у вепря.

— Да будешь ты славен на все десять сторон света, сын Васудевы, — сказал царь царей, выслушав от Ачьюты все подобающие случаю приветствия. — Раньше нам не приходилось встречаться, но ты частенько упоминал меня в своих речах.

Мой предок немедленно рассыпался в извинениях, ссылаясь на то, что молва может неузнаваемо исказить любое неосторожно сказанное слово.

— Почему же молва не исказила твои слова в лучшую сторо-

ну? — поинтересовался Ганеша. — Почему до меня доходили только насмешки, а не комплименты?

— Молва имеет свойства сажи. Она способна только замарать, а не обелить, и с этим ничего не поделаешь, — заюлил Ачьюта, которому после такого роскошного пира очень не хотелось расставаться с жизнью.

— На язык ты остер, сын Васудевы, — усмешка у Ганеши была очень нехорошая. — А как насчет других качеств? Что ты еще умеешь делать?

— Я кшатрий и умею делать все, что предписано человеку моей касты, — ответил Ачьюта. — Я знаю веды вместе с шестью частями, дополняющими их, а кроме того, изучал науку о мирских делах. Я сведущ во всех приемах ведения боя, без промаха стреляю из лука, причем с обеих рук, могу с равным успехом сражаться и в седле, и на колеснице...

— Тебя спрашивают совсем не про это, — прервал его Ганеша. — В моем войске сто тысяч кшатриев. Неужели на поле боя ты хочешь находиться среди простых «ратхинов»?

— Я царь, — гордо заявил Ачьюта. — И на поле боя буду находиться там, где положено царю.

— В моем войске сто царей и тысяча царевичей. Долго ли они протянут, сражаясь в первых рядах своих подданных? Не обольщайся надеждой, что на западе нас ждут легкие победы. Я насмехался над варварами только ради того, чтобы успокоить чернь. На самом деле это стойкие и умелые воины. Пусть у них нет слонов и боевых колесниц, но железных мечей и дальнобойных луков предостаточно. Многие арии не вернутся из предстоящего похода.

— Смерть на поле боя — самая желанная участь для кшатрия.

— Без всякого сомнения, это так. Но сначала надо насладиться плодами победы.

Возражать ему было трудно, а главное, незачем. Смуглолицый сын Арджуны был в чем-то прав. На кой ляд Ачьюте рисковать жизнью? Годы уже не те, да и наследники еще не вошли в силу. Пусть славу себе добывает тот, у кого ее недостаточно, а он свое уже отвоевал. Ну а мне, скитальцу в ментальном пространстве, все эти бурные эксцессы вообще без надобности. Дайте спокойно пожить еще хотя бы с годик.

Овладев сознанием Ачьюты, я заговорил своими словами, хотя и его голосом:

— О хранитель мудрости, сейчас я попытаюсь подробно ответить тебе на вопрос о моих умениях. В юности мне довелось

долго скитаться в чужих краях. Я забирался так далеко на запад, что мог созерцать скорлупу яйца Брахмы, отделяющую наш мир от других миров. Мне знакомы языки многих народов, населяющих дальние страны, а также их обычаи и военная организация.

— Почему ты молчал об этом раньше, сын Васудевы? — нахмурился Ганеша. — Ведь я хотел казнить тебя как человека дерзкого да вдобавок еще ни на что не годного. Но если хотя бы часть из сказанного тобой окажется правдой, можешь рассчитывать на мою милость.

— Клянусь первым шагом бога Вишну, что не покривил душой ни в едином своем слове, — заверил я проклятого урода, ставшего вдруг царем царей.

— Это мы сейчас проверим. Перечисли народы, населяющие запад. Если не все, то хотя бы некоторые.

— Ближе всех к твоим владениям, о безупречный, проживают шаки, называемые также скифами, — так начал я свой отчет, основанный не столько на фактах, сколько на импровизации. — Все богатства этого народа состоят из скота, войлочных кибиток и верховых лошадей. Они не обрабатывают землю и мало сведущи в ремеслах, зато неукротимы в сражениях. С ними стоило бы заключить союз, тем более что наши языки очень схожи между собой.

— Про шаков я знаю все и без тебя, — перебил меня Ганеша. — Лучше расскажи, с кем они соседствуют.

— Дальше к западу располагаются яваны, или ионийцы. Сами себя они называют эллинами. Живут яваны за каменными стенами хорошо укрепленных городов, а их корабли бороздят бескрайнее море. Богатства этого народа несметны, но пока никому не удалось одолеть их на поле боя.

— Разве яваны столь многочисленны?

— Отнюдь. Но их воины славятся своим мужеством и отменной выучкой. Сражаться они предпочитают в пешем строю и победы добывают только мечами. Искусных лучников среди них немного. Продолжить, о светоч добродетели?

— Продолжай, — милостиво кивнул Ганеша.

— К северу от яванов находятся владения полудиких племен, общее название которых млечхи. Наиболее известные из них аурасаки, пишачи и мандары. По преданию они были созданы Брахмой вместе с асурами и ракшасами из того материала, который не подошел для создания людей и богов. Некоторые из этих народов уже обрабатывают землю, другие продолжают кочевать. Они ведут постоянные войны между собой и с яванами, в бою

предпочитая конные наскоки и стрельбу из лука. Если дело доходит до рукопашной схватки — бегут.

— У них есть города?

— Нет, только временные становища.

— Каким богам поклоняются перечисленные тобой народы?

— Весьма разным. Млечхxи, например, обожествляют природные стихии — огонь, воду, землю. В большом почете у них конь. А боги яванов похожи на наших. Есть среди них и громовержцы, и пастухи, и кузнецы, и свирепые воины, и соблазнительные красавицы.

— Достаточно, — молвил Ганеша. — А теперь скажи что-нибудь на языке яванов.

Пришлось немного поднапрячься, чтобы вспомнить уже изрядно подзабытый древнегреческий язык. Царю царей, вознамерившемуся прибрать к рукам полмира, я выдал следующий афоризм собственного сочинения:

— Солнце встает на востоке, дабы властвовать над всей вселенной, но, достигнув запада, каждый раз угасает.

Не знаю, понял ли Ганеша эту двусмысленность (у санскрита и древнегреческого много общего), но перевода по крайней мере не потребовал. После некоторого молчания, когда жизнь Ачьюты, подобно мешку зерна, колебалась на коромысле невидимых весов, царь царей вынес окончательное решение:

— Величие властелина состоит не только в твердости, но и в милосердии. Я прощаю тебя, сын Васудевы, хотя за свои дерзости ты заслужил по меньшей мере усечение языка. Отныне каждое твое слово и каждый шаг должны быть употреблены на пользу государства. Перепоручи свое войско достойному преемнику, а сам войди в круг моих советников...»

Здесь Донцову пришлось прервать чтение — давал о себе знать мочевой пузырь, вследствие дефекта почки функционировавший крайне неустойчиво.

Вернувшись из туалета, он уселся за стол и, бормоча: «Шива — грива, Индра — тундра...» — позвонил в дежурку:

— У вас там какой-нибудь мифологический справочник случайно не завалялся? (При создании особого отдела его и литературой снабдили особой, а не только уставами и кодексами.)

— Сейчас гляну, — ответил дежурный, прежде служивший надзирателем в колонии для несовершеннолетних, а потому терпимо относившийся к самым странным вывертам коллег. — Было, кажется, что-то такое... Если только на подтирку не извели... Ага, есть! Сейчас перешлю с кем-нибудь.

Спустя пять минут уборщица тетя Глаша доставила Донцову толстенный справочник, но, к сожалению, не мифологический, а морфологический. Видимо, дежурный, постоянно путавший педиатров с педерастами и трахею с трахомой, не видел разницы между этими двумя научными дисциплинами.

Донцов наградил тетю Глашу сигаретой и, тяжко вздохнув, продолжил чтение.

ГЛАВА 18

ПРОДОЛЖЕНИЕ РУКОПИСИ, НАЙДЕННОЙ В ДУХОВКЕ

«Надо отдать Ганеше должное — организатором он оказался отменным. Не прошло и двух недель, как огромное войско несколькими колоннами двинулось к полноводному Синдху, где под присмотром множества крокодилов подневольные шудры строили мосты из сплавного леса.

Успех начинаниям Ганеши обеспечивали драконовские меры, применяемые к ослушникам.

Царьков, волынивших с мобилизацией, публично стегали плетьми, чиновников, не успевших вовремя снарядить обоз, клеймили раскаленным железом, всех прочих подданных, уличенных в разгильдяйстве, лени, саботаже и дезертирстве, живьем закапывали в землю.

Беспощадному наказанию подвергались даже слоны, посмевшие покинуть походную колонну или учинившие между собой драку.

Ганеша не отпускал меня от себя ни на шаг, постоянно изводя вопросами типа «Какова глубина построения пехоты яванов?» или «Сколько жен имеют цари аурасаков?».

Впрочем, любой мой ответ подвергался беспощадной критике. Иногда даже казалось, что царь царей, раздосадованный своей минутной слабостью, только подбирает подходящий повод для расправы. Хотя что могло быть проще — один его жест, и Ачьюту разорвут на части.

В связи с резко изменившимися обстоятельствами прежняя практика сосуществования с предком, дававшая ему известную свободу действий, уже не устраивала меня. Приходилось все время быть начеку, ведь Ачьюта, дальше родного Семиречья нигде не бывавший, мог не только сморозить какую-нибудь глупость, но и ненароком оскорбить царя царей.

Как говорится, пора было переводить стрелки на себя. Вот только как это сделать, не вызвав шок у предка?

И тогда я придумал следующий ход — не таясь больше, войти в прямой контакт с Ачьютой, выдав себя за бога Вишну, а его соответственно объявив своей аватарой, то есть воплощением. Мифология индуизма просто кишела подобными случаями. У каждого мало-мальски авторитетного небожителя были сотни имен и десятки аватар.

Вскоре наш внутренний диалог состоялся. То, что человек другой эпохи принял бы за белую горячку или приступ шизофрении, ортодоксально мыслящий ариец расценил как божественное откровение.

Теперь во всех ответственных случаях я действовал сугубо самостоятельно, принимая на себя полный контроль над нашим общим телом. Бывало, правда, и так, что, предварительно пообщавшись, мы принимали компромиссное решение. Но это в основном касалось бытовых вопросов. К тому времени я полностью адаптировался в новом для себя мире, выучив не только разговорный, но и письменный санскрит.

В конце концов, сферы нашей ответственности четко разделились. Я общался с Ганешей и его ближайшим окружением, выполнял все поручения, требовавшие здравомыслия, осмотрительности и эрудиции, а также произносил подобающие случаю официальные речи. Ачьюта, в свою очередь, сшибал из лука летящих цапель, демонстрировал чудеса управления колесницей, забавлялся с женщинами и изредка, испросив мое дозволение, употреблял сому.

Оба мы были ярыми врагами Ганеши, только я сознательным, а Ачьюта интуитивным. Неудачи царя царей радовали нас, а успехи огорчали.

Тогда мне казалось, что предпринятая этим выродком военная авантюра закончится на заснеженных перевалах Гиндукуша или в лучшем случае в голодных степях Прикаспия, где огромной армии придется использовать для пропитания не только несчастных слонов, но и коней.

Конечно, по-человечески мне было жалко ариев: и рыцарей-кшатриев, и проповедников-брахманов, и безответных вайшьев, на плечи которых легли все заботы о материальном обеспечении похода, — но ведь, в конце концов, они сами влезли в хомут, который так расхваливал лукавый Ганеша. Вот пусть теперь и расплачиваются за свою легковерность. Увы, это неизбежная участь

любого народа, поддавшегося на уговоры демагогов и популистов.

В том, что поход закончится пшиком, меня, кроме всего прочего, убеждала и вся история Древней Евразии, которую, слава богу, я знал не понаслышке. Ни в «Ригведе», ни в «Шуузине»[1], ни у Геродота, ни у Тацита не встречалось никаких упоминаний о попытках ариев покинуть хорошо обжитый ими Индийский субконтинент и по примеру других великих кочевых народов проложить дорогу в богатые и процветающие страны Запада.

Столь масштабная этническая подвижка, усугубленная широкими военными действиями, не могла забыться бесследно, тем более что обе конфликтующие стороны — и завоеватели, и те, кто им противостоял, — не только владели письменностью, но и успели создать великую эпическую литературу.

Одна «Махабхарата» чего стоит. Это целая библиотека сама по себе. Подробнейший справочник о жизни и деяниях древних ариев. Немалое число книг, входящих в этот цикл, посвящено подвигам прославленных героев — «Дронопарва», «Карнапарва», «Бхишмапарва», однако никакой «Ганешапарвы» не существует. Значит, нечего было воспевать сказителям-риши. Мыльный пузырь, даже громадный, не оставляет после себя следов.

Странно, но в этот момент мне даже не приходило в голову, что река истории, не встретив в положенном месте дамб и плотин великой предопределенности, которые должен был воздвигнуть я или кто-то другой, равный мне возможностями, свернула совсем в другое русло.

А тем временем армии Ганеши, за много веков до рождения Наполеона предвосхитившего его тактику: «Маршировать порознь, сражаться вместе», — уходили от берегов Синдху все дальше и дальше.

Разрозненные местные племена, и прежде подвергавшиеся набегам ариев, почти не оказывали сопротивления, руководствуясь древней восточной мудростью, гласившей, что лучший способ борьбы с бешеным слоном — это уступить ему дорогу. Не дожидаясь прихода захватчиков, они со всем своим скотом и скарбом уходили в глухие места, где можно было переждать не только вражеское нашествие, но и всемирный потоп.

Главным противником великой армии, по традиции назы-

---

[1] Шуузин — «Книга документов», древнейший памятник китайской литературы и истории.

вавшейся «Акшаухини», что означает «Средоточие четырех родов войск», оказались не смертные люди, а незыблемая природа.

Плодородные равнины и тенистые леса Пенджаба вскоре сменились суровой горной страной, где все тропы и дороги вели к одному-единственному перевалу, затянутому сумраком непогоды. Здесь в разрывах туч даже днем мерцали звезды, а пронизывающий ветер приносил с заоблачных вершин ледяную пыль, сначала приводившую молодых воинов в восторг, а позже порождавшую одну лишь глухую тоску. Здесь не было ни пищи для людей, ни фуража для лошадей, ни топлива для костров. Не было даже воды, а утолять жажду снегом арии не додумались.

Колесницы не могли передвигаться по горным тропам. Их пришлось разобрать и навьючить на слонов, и без того перегруженных. Паче чаянья, эти громадные животные, привыкшие к тропическому климату, стойко переносили холода и снегопады, а если и страдали в горах, так только от бескормицы.

Зато начался падеж среди благородных сайндхавийских скакунов, которых, как правило, запрягали в колесницы знати. Каждого такого коня сопровождал отдельный конюх, головой отвечавший за него. Мне частенько случалось видеть, как люди, желавшие сохранить собственную жизнь, скармливали свою скудную пищу четвероногим питомцам.

Пали духом не только простые воины, но и командиры. Лишь один Ганеша делал вид, что ничего чрезвычайного не происходит. Впрочем, наши бедствия почти не касались его. Слуги несли царя царей в теплом и удобном паланкине, а недостатка в вине и пище он не испытывал даже тогда, когда другие жевали сухой рис.

Однажды на очередном перевале гололед сделал дорогу непроходимой, и все попытки смельчаков продвинуться вперед заканчивались падением в пропасть. Дабы спасти положение, я посоветовал воспользоваться солью, которую везли в обозе.

Это не только сохранило множество жизней, но и подняло мой авторитет бывалого человека, который укрепился окончательно после того, как конюхи по моему совету перековали лошадей, сменив гладкие подковы на шипастые.

Как ни странно, но это еще больше настроило Ганешу против меня. Правильно сказано: хочешь заиметь неприятность — прояви инициативу. Впрочем, такое поведение царя царей было вполне предсказуемо. Стране и армии полагалось иметь только одного умного и прозорливого человека — его самого.

Кое-как претерпев все тягости и опасности горного перехо-

да, мы спустились в долину, где ожидали найти тепло, обильную траву, чистую воду и вкусную пищу.

Увы, надежды сбылись только в отношении тепла, но тепло это исходило от догорающих жилищ. Стада были угнаны прочь, пастбища вытоптаны, колодцы завалены мертвечиной. Вот так нас встречали иранские племена — единоверцы, родная кровь, братья, в свое время отставшие от основной массы ариев.

Подсчитывать потери было запрещено под страхом смертной казни, но, посетив войско Ачьюты, двигавшееся в авангарде «Акшаухини», я убедился, что оно сократилось почти на треть. Надо думать, что остальные союзные армии понесли не меньший урон.

Не имея ни географических карт, ни проводников, мы двигались практически вслепую, придерживаясь единственного ориентира — заходящего солнца. У каждого из этих людей, покинувших родину, были свои мечты: у кшатриев о добыче, у брахманов о торжестве индуистской веры, у вайшьев о сохранности собственной шкуры — и все они связывались сейчас с таинственными странами Запада, где скот был многочисленным, как саранча, земля плодородна, как речной ил, женщины красивы, как апсары, а улицы городов покрывали золотые слитки.

Но пока приходилось скитаться в безлюдных степях, страдать от жары и холода, терпеть голод и удовлетворять похоть противоестественным способом.

После случаев с одолевшей гололед солью и шипастыми подковами я зарекся проявлять хоть какую-нибудь инициативу, однако, видя бедственное положение стольких людей, в основной своей массе оказавшихся здесь не по своей воле, решил отступиться от этого золотого правила и накатал на имя Ганеши докладную записку, где предложил учредить летучие кавалерийские отряды, которые, опережая войско, должны были разведывать дорогу и не позволять местному населению уничтожать припасы.

На очередном военном совете Ганеша коснулся моего предложения, хотя изложил его как бы от собственного лица. Впрочем, меня это вполне устраивало, тем более что командиром дозорного отряда был назначен не кто иной, как Ачьюта.

Правда, не обошлось здесь и без пресловутой ложки дегтя. Дабы этот чересчур самонадеянный царек не очень заносился, а тем более не попытался сбежать, к нему приставили несколько головорезов из свиты Ганеши, ставивших волю своего носатого господина даже выше воли богов.

Вот чем обернулся отдых, которого я так жаждал, строя козни кефалогеретам и через все препоны подбираясь к быкоголовому Астерию, — ежедневной бешеной скачкой, короткими, но частыми стычками, после которых ныли натруженные оружием руки, ночевками под открытым небом, питанием всухомятку и насилием над пленницами, удивительно равнодушными к своей судьбе.

В одном из таких рейдов мы достигли отлогих песчаных берегов, которые лизала крутая волна, имевшая соленый вкус. Противоположный берег, недоступный взору, скрывался где-то за горизонтом. Навстречу нам из волн выходили полуголые рыбаки, тащившие невод.

Скорее всего, это было море, но я даже не знал, какое — Каспийское или Аральское.

От пленных рыбаков толку было мало. Водоем, кормивший их, они называли просто — «Большая вода». Когда я поинтересовался, бывает ли в этих местах лед, они ответили отрицательно, но добавили, что на северном конце Большой воды отдельные льдины зимой встречаются.

Тогда я велел извлечь из сетей улов и принести мне по одному экземпляру каждой породы. Заслышав это, арии, никогда не употреблявшие рыбу в пищу, брезгливо скривились.

Вот чудаки! Ослятину жрут, а от деликатесов, на которые весь мир облизывается, нос воротят.

Самой крупной рыбиной в улове оказалась белуга, которую я узнал по курносому рылу и лунообразному рту. Имелись и другие осетровые — стерлядка и севрюга.

Насколько мне было известно, такая рыба в Аральском море никогда не водилась, да и лед там зимой простирается от берега до берега.

На следующее утро я получил аудиенцию у царя царей, который смотрел на меня, как на созревший чирей. Отбарабанив все предписанные этикетом цветастые приветствия, я, не поднимая глаз (как бы не ослепнуть, глядя на такую светозарную красоту!), доложил, что доблестное войско ариев находится на расстоянии пяти йорджун от моря, которое западные народы называют Гирканским.

(Для справки могу сообщить, что одна йорджуна — это расстояние, которое можно преодолеть, не распрягая и не кормя коня, то есть примерно шестнадцать километров.)

Ганешу эта новость нисколько не смутила. Подумаешь, происшествие! Какое-то зачуханное море посмело встать у него на

пути. Подобные мелочи никогда не останавливали небожителей, к которым он себя, несомненно, причислял. Но и закрывать глаза на этот факт тоже не стоило.

— Велико ли это море? — поинтересовался Ганеша.

— Весьма велико, — ответил я. — Полноводному Синдху понадобилась бы тысяча лет, чтобы наполнить его. Дабы продолжить поход на запад, нужно обойти Гирканское море слева или справа. Тебе, о владыка народов, надлежит принять мудрое решение.

Тут произошла небольшая заминка. Действовать наудачу Ганеша не хотел, однако об окрестностях Каспия не имел никакого представления. Позволив каждому советнику пошептать ему на ушко, царь царей как бы между делом обратился ко мне:

— А как бы поступил ты сам, сын Васудевы?

— И тот и другой путь трудны, о наилучший из людей. Слева от моря находятся горы, еще более высокие, чем те, которые мы недавно преодолели. Справа тянется безводная пустыня, где находят себе приют только скорпионы, змеи да диковинные существа, называемые верблюдами, которые кормятся запасами, накопленными в громадных горбах. Кроме того, этот путь в два раза длиннее. Я бы посоветовал тебе, о многомудрый, вести армию через горы. По крайней мере опыт таких походов у нас имеется.

Расчет мой был прост и базировался на степени доверия, которое испытывал ко мне Ганеша (хотя правильней было бы говорить о степени недоверия).

Если бы я предложил идти через пустыню, он обязательно предпочел бы горы. И наоборот. Таким образом, советуя штурмовать Кавказ, я в уме держал Каракумы.

Почему, спрашивается, обходной путь устраивал меня больше? Ведь не из-за сочувствия же к предкам грузин и армян. Просто в этом случае поход затянется на такой срок, что у народов Запада хватит времени, чтобы подготовиться к отпору.

И тут меня словно кипятком ошпарило! Неужели я допускаю возможность вторжения ариев в Европу? Выходит, что допускаю...

А как же тогда история? Как относиться к греческим, римским, китайским и индийским источникам, не упоминавшим об этом эпохальном событии даже словечком? Да просто плюнуть на них...

Неужели, как и в случае с кефалогеретами, я вновь угодил в другую, иначе выстроенную историю? Похоже на то...

Я был так оглушен этой шальной мыслью, что даже пропустил мимо ушей слова Ганеши, обращенные ко мне. В реальность меня вернул щипок одного из царедворцев.

— Ты спишь с открытыми глазами, сын Васудевы! — возвысил голос царь царей. — Разве ты не слышал, что я повелел тебе во главе дозорного отряда двинуться в обход Гирканского моря, прокладывая удобный путь для главных сил армии?

— Прости меня, о большой палец бога Шивы! — дабы замолить оплошность, мне даже пришлось опуститься на одно колено. — Твое мудрое решение поразило меня, как молния, заставив на миг остолбенеть. А сейчас, вновь обретя способность двигаться, я немедленно отправлюсь выполнять твою волю.

Главное, что я ушел из шатра Ганеши живым, что удавалось далеко не каждому. Нет, уж лучше ночевать на голой земле под пологом неба, чем все время находиться на глазах у этого мерзавца!

В тот же день я повел свое маленькое войско на восток, постоянно придерживаясь береговой полосы. Нищие рыбаки, населявшие эти богом забытые края, заслышав стук копыт наших коней, уходили на лодках в море и оттуда наблюдали, как голодные пришельцы шарят в их хижинах.

Кроме голода и обычных дорожных тягот, нас донимала еще и соль, буквально пропитавшая все вокруг: и землю, и воздух, не говоря уже о воде, которая эту соль и порождала. Она разъедала наши глаза, проникала в легкие, коркой оседала на коже, заставляла ржаветь оружие. Никакая растительность не смогла бы выжить в этих условиях.

Попытка проложить маршрут подальше от берега также не принесла нам никаких дивидендов. Соли здесь было поменьше, зато солнце испепеляло все живое, как адский пламень. Перед походом в пустыню каждый воин нашего отряда имел минимум по три лошади, но спустя несколько недель такого пути на одну лошадь уже приходилось по два человека.

Представляю, какие муки терпели те, кто двигался вслед за нами.

Еще чуть-чуть, и пески Каракумов стали бы могилой для «Акшаухини», но стихия наконец-то сжалилась над ариями (а может, это Ганеша, знавшийся с потусторонними силами, нагадал удачу).

Небо, в эту пору года обычно безоблачное, внезапно от горизонта до горизонта затянулось сизой мутью. Хлынул ливень,

вскоре перешедший в затяжной дождь, который называется еще «грибным».

Пустыня зазеленела, как по мановению волшебной палочки. Ожили все пересохшие ручьи, среди песков забили родники. К воде потянулись сайгаки, куланы, антилопы и прочие потенциальные шашлыки.

Вдобавок ко всему, кочующие между Каспием и Аралом племена саков, дабы умилостивить грозных пришельцев (и поскорее спровадить их куда подальше), прислали богатые дары — табуны лошадей, отары овец и даже караван тех самых верблюдов, о которых я рассказывал Ганеше.

Поход благополучно продолжался, и вскоре пески отступили на восток, уступив место заболоченным плавням, из которых при нашем появлении взлетали к небу сонмища самых разнообразных птиц. Тут уж нашим хваленым лучникам было где разгуляться!

Потом берег стал резко поворачивать на запад, и мы достигли реки, двумя протоками впадавшей в Каспий с северо-востока. Несомненно, это был Урал.

Вот так армия Ганеши достигла восточных рубежей матушки-Европы. Случилось то, что раньше не могло привидеться мне даже в страшном сне. По неизвестной пока причине история человечества резко отклонялась в сторону от генерального курса, однажды уже пройденного, доказательства чему хранились в моей памяти, и уходила в область неизведанного.

Губительный перекос надо было как-то устранять, и я не знал никого в этом мире (боги не в счет), кроме себя самого, кто смог бы взяться за столь грандиозное, воистину неподъемное дело.

Здесь мне виделись две возможности. Первая, однажды уже апробированная в борьбе с кефалогеретами, — через ментальное пространство проникнуть в прошлое, воплотиться в какую-нибудь подходящую личность и загодя подорвать растущую мощь ариев. Так сказать, задушить гадину в ее колыбели.

В этом плане, конечно, проще всего было бы ликвидировать Ганешу, ставшего инициатором, а впоследствии и вождем захватнического похода. Но ведь он вовсе не Астерий, единственное в своем роде существо, из чресел которого и вышло все племя кефалогеретов. Едва убьешь этого Ганешу, как сразу объявится другой, благо социально-экономические условия способствуют.

Нет, тут предстоит серьезная работа по устранению причин,

породивших экспансионистские устремления ариев, главная из которых — избыточная мощь. Дабы эта мощь нашла себе какой-то иной выход или вообще не возникла бы, необходимо расколоть общество, организовав хорошенькую междоусобицу, например между брахманами и кшатриями. Или поднять восстание вайшьев под лозунгом Полиграфа Полиграфовича Шарикова: «Взять все, да и поделить!» А еще лучше стравить друг с другом самые могущественные аристократические кланы, как это было в Англии во времена Алой и Белой розы. Когда внутренние проблемы мертвой хваткой вцепятся в горло, все захватнические планы сразу забудутся.

Правда, этот путь чрезвычайно канителен и целиком зависит от воли случая. Можно совершить хоть сто попыток воплощения, и все они окажутся неудачными. Если угадаешь место, так обязательно промахнешься во времени. А попав в нужную эпоху, воплотишься, скажем, в эскимоса, занимающегося моржовым промыслом где-нибудь на побережье Гренландии. Добирайся потом в Индию на самодельном каяке. Есть и другой способ исправить историю, для человеческой натуры более приемлемый, хотя и менее радикальный, чем первый, изрядно попахивающий мистикой. Просто надо своевременно поставить крест на великой армии, забравшейся так далеко от родины.

И учинить это лучше всего прямо здесь, на границах Ойкумены, в крайнем случае в междуречье Волги и Дона, где много веков спустя найдет свой бесславный конец другая арийская армия, правда, двигавшаяся в противоположном направлении. Район этот на судьбы человеческой цивилизации особого влияния никогда не оказывал, а народы древности, населявшие его, бесследно исчезли. Темное дело надо делать в глухом месте.

Самым естественным образом, хотя уже в совершенно другом контексте, вновь встает вопрос о ликвидации Ганеши. Убить его — значит обезглавить армию. Общая беда всех тиранов — нетерпимость к незаурядным личностям. Поэтому их дело обычно не имеет продолжателей. Как только кнут и вожжи выпадут из окоченевших рук Ганеши, его огромное стадо, гордо именуемое «Акшаухини», сразу утратит воинственный пыл и разбредется по всему обитаемому миру, что, кстати говоря, тоже нежелательно.

Вопрос лишь в том, как осуществить покушение на деле. Лично я никогда не приближался к Ганеше ближе чем на двенадцать шагов, да и то каждый раз меня сопровождали стражники с мечами наголо, а сам я не имел никакого оружия, даже швейной иголки.

А если воспользоваться дальнобойным луком? Пущенная из него стрела за сто шагов попадет в суслика. В такую тушу, как Ганеша, и подавно попадет. Но стрелять-то придется Ачьюте, я ему в этом деле не помощник. Решится ли он на поступок, который у кшатриев считается высшей степенью бесчестия. Тут не помогут ни увещевания бога Вишну, то есть меня самого, ни его собственная ненависть к узурпатору.

И тем не менее тянуть дальше нельзя. Время и так упущено. Надо было этого гаденыша где-нибудь на Гиндукуше кончать. Спихнул под шум метели в пропасть — и дело с концом. Уже давно бы и вспоминать его перестали.

Решено — покушение состоится при переправе через реку, отделяющую друг от друга не только две части света, но и две цивилизации, которым, увы, никогда не суждено сойтись вместе. Более удобный момент вряд ли когда представится.

Поиски брода закончились безрезультатно, и Ганеша прибег к старой тактике, оправдавшей себя еще при форсировании Синдху, — отправил половину вайшьев вверх по течению реки, откуда те пригнали множество плотов, из которых и соорудили наплавной мост, способный выдержать не только слона, но и средний танк.

Впрочем, многие воины предпочитали переправляться вплавь, держась за гривы своих коней, что входило в обязательный перечень военных умений, которым кшатрии обучались с детства.

Раньше всех, на правах командира дозорного отряда, в Европу проник раджа Ачьюта, а вместе с ним, естественно, и я. След, оставленный нашей лошадью на правом берегу Урала, стал как бы вехой, от которой история человечества могла начать свой новый отсчет.

К этому времени дозорные, в большинстве своем бывшие подданные Ачьюты, буквально боготворили своего командира, позволявшего им то, что другие не позволяют даже своим детям (приспешники Ганеши, прежде верховодившие в отряде, давно уже отправились во владения бога Ямы — кто от укуса змеи, кто от скоротечной лихорадки, а большинство от удара мечом в спину).

Случалось, что, лежа у костра, я заводил разговоры о том, что миропорядок, завещанный нам предками, нарушен. Брахманы повсеместно захватили власть, а мы, кшатрии, равные им по происхождению, низведены до положения бесправных шудров. Что осталось от наших прежних привилегий? Только право подчиняться и прислуживать. Кто живет в самых просторных шат-

рах? Брахманы. Кому достается лучшая пища и самые красивые женщины? Тоже им. А как будет распределяться добыча, ради которой и задуман поход? Об этом и говорить не стоит. Все заранее ясно.

Слова мои всегда находили сочувствие и понимание, поскольку между двумя высшими кастами ариев всегда существовало подспудное соперничество, постепенно превратившееся в открытую вражду, особенно после того, как брахманы, покинув городские храмы и сельские ашрамы, прибрали к рукам не свойственные им прежде функции — командование армией, светскую власть и отправление судопроизводства.

В беседах кшатриев, особенно застольных, тема возвращения к истокам давно уже стала общим местом. Брахманы пусть занимаются жертвоприношениями, молитвами и подвижничеством. Вайшьи — земледелием и торговлей. Все остальное — извечная прерогатива кшатриев. А посему долой выскочек-брахманов! Даешь царя-кшатрия!

Короче, моих воинов вполне можно было назвать диссидентами, пусть и не поголовно всех. На их помощь я и возлагал все свои надежды, однако, опасаясь предательства, в планы покушения никого заранее не посвящал.

Едва только началась регулярная переправа, обещавшая затянуться на целую неделю, как я собрал дозорных, патрулировавших окрестности, и велел приготовиться к любым неожиданностям.

Наивные! Полагая, что неожиданности нам могут грозить только со стороны степи, они туда и глядели. А за их спинами на европейский берег отряд за отрядом переходила пехота, грохоча по бревнам железными ободьями, двигались боевые колесницы, кавалеристы вели под уздцы своих лошадей. Протопало даже несколько слонов-вожаков, которые должны были всячески ободрять собратьев, пока еще остававшихся на азиатском берегу.

Затем потянулись празднично украшенные возки, носилки и колесницы царского двора, в которых восседали советники, камердинеры, повара, музыканты, цирюльники и наложницы Ганеши.

Уже под вечер завыли сигнальные раковины, загудели трубы, застучали барабаны и забряцали бубны, возвещающие о появлении царя царей. Разогнав всякую шантрапу, которой не полагалось зреть земное воплощение бога Шивы, на мост внесли роскошный паланкин, над которым развевался флаг с изображением павлина (между прочим, очень точный символ).

Впереди и позади паланкина вышагивали по сотне телохранителей с натянутыми луками в руках и копьями наперевес. Дозорных же было не больше семидесяти человек, а реально я мог рассчитывать лишь на половину этого числа.

Главную роль в покушении я отводил себе самому. Чего бояться бессмертному и бестелесному существу? Совершив благое дело, оно вернется в ментальное пространство, где все человеческие проблемы, страхи и сомнения несущественны, впрочем, как и сам человек.

Правда, телесная оболочка, столько времени служившая мне приютом, останется на грешной земле, но это ненадолго. Тело изменника, посмевшего поднять руку на своего законного властелина, не предадут священному пламени, а скорее всего просто сбросят в воды Урала, на поживу ракам и хищной рыбе.

Прости меня, бедный Ачьюта, мой предок в неизвестно каком поколении. Подвиг твой, не оцененный современниками, скоро забудется, но памятником тебе станет прекрасный мир будущего, со всеми его сфинксами, парфенонами, колизеями, тадж-махалами, кремлями, биг-бенами и закусочными «Макдоналдс».

А теперь вперед! Шашки вон, как любил выражаться знаменитый комдив, чья судьба также оказалась связана с Урал-рекой самым трагическим образом.

Царский паланкин еще не успели поставить на твердую землю, а я уже устремился вниз с крутого берега, увлекая за собой дозорных, привыкших везде и всюду следовать за своим командиром.

Нападение было столь стремительным и неожиданным, что наш маленький отряд шутя смял телохранителей, успевших сойти с моста и несказанно этим обрадованных (что ни говори, а твердь это не хлябь, даже если поверх нее брошен настил из еловых бревен).

Правда, те, которые еще не достигли суши, дружно разрядили свои луки, но стрелы поразили только вихрь, летевший вслед за нами.

Боже, как я страшусь любой резни, даже заклания курицы, и несмотря на это, мне уже в который раз приходится всаживать меч в человеческое тело, хотя и защищенное латами, но все равно уязвимое. Ощущение в руке такое, словно вскрываешь огромную консервную банку — жестяная оболочка еще как-то противится разящей стали, зато хлипкое внутреннее содержимое

(бычки в томате?) легко выплескивается наружу, метя всех участников этого действа червленым цветом.

Я давным-давно никого не убивал (даже Астерий пал вовсе не от моей десницы), но сегодня, сейчас мне нужно убивать, чтобы подать пример подчиненным. Мне нужно убивать, чтобы добраться до этого раззолоченного паланкина, который бестолковые носильщики пытаются вернуть обратно на мост. Мне нужно убивать, чтобы отсрочить свою собственную смерть.

Драться на мечах я научился еще в армии фараона Сенуссрта Третьего, пройдя там все ступени военной карьеры, начиная от рядового наемника-шердана и кончая полковым знаменосцем, а потому рукопашной схватки не боялся, да и противники наши были слишком ошарашены, чтобы сражаться в полную силу.

Заранее готовясь к покушению, я надел на себя две самые прочные кольчуги, а маленький бронзовый щит все время держал перед лицом, памятуя о том, что телохранители Ганеши приучены стрелять в этот ничем не защищенный участок тела. Благодаря своей выучке и предусмотрительности я добрался-таки до царского паланкина, успев отбить мечом с десяток стрел, но пропустив пару весьма чувствительных ударов копьем, которые мои кольчуги, слава богу, выдержали. Одним взмахом меча я перерубил древко знамени, что всегда приводило в панику оборонявшуюся сторону, и сорвал златотканую занавеску, за которой должен был скрываться царь царей.

В моей жизни случалось немало разочарований, но это, наверное, было одно из самых сильных.

Паланкин был пуст!

Не жалея ни себя самого, ни своих верных сподвижников, я, по сути дела, сражался за подсунутую мне пустышку, за кусочек сыра, которым наживили мышеловку.

Это подтверждало и то обстоятельство, что царская охрана, еще минуту назад казавшаяся полностью деморализованной, быстро опомнилась, перегруппировалась и сейчас методично смыкала кольцо окружения вокруг немногих оставшихся в живых дозорных. Отряды лучников и копейщиков, недавно удалившихся в степь, спешно возвращались назад, и было похоже, что это загодя продуманный маневр, а не спонтанная реакция вояк на шум побоища.

Единственный шанс на спасение мне давала река, но я не был уверен, что смогу далеко уплыть в полном боевом облачении, да и царские лучники вряд ли позволят мне сделать это.

— Сын Васудевы, сдавайся! — крикнул с обрыва Ганеша, ко-

торый под видом простого воина или слуги заблаговременно перебрался на правый берег. — Однажды я уже сохранил тебе жизнь, простив за дерзость, сохраню и теперь, простив за попытку цареубийства, хотя более мерзкого преступления нельзя и придумать, пусть засвидетельствуют мои слова великие боги.

— Интересно, зачем тебе моя жизнь? — спросил я, на всякий случай придержав бранные слова, уже готовые было сорваться с языка. — Хочешь получить удовольствие, наблюдая за пытками, которым меня подвергнут?

— Удовольствие я могу получить многими другими способами, а тот, что ты предлагаешь, не самый лучший, — надменно ответил Ганеша. — И учти, в плен тебя взять проще простого. Одно мое слово — и сразу десятки стрел пронзят твои конечности. Еще проще тебя убить. Но ты мне нужен не только живой, но и здоровый.

— Лучше зарезаться, чем доставить тебе хотя бы самую маленькую радость, — сказал я, для пущей убедительности приставив к горлу лезвие меча.

— Не торопись предстать перед ликом царя мертвецов. — Ганеша сделал предостерегающий жест. — Это никогда не поздно... Но сейчас, когда путь в страны Запада наконец-то открылся перед нами, я особенно нуждаюсь в твоих советах, в твоих знаниях и в твоей проницательности. Можешь вернуться в число моих советников. Обещаю, что никто не посмеет обидеть тебя ни словом, ни действием. Ты будешь иметь все, кроме прежней свободы. Но в таком же положении находятся и все остальные советники.

Естественный, легко прогнозируемый ход событий второй раз подряд делал совершенно неожиданный зигзаг. Мой разум отказывался понимать это.

Каким образом Ганеша смог раскрыть мои планы? И почему его отношение ко мне вдруг так резко изменилось? Просто абсурд какой-то... Либо он из тех дураков, которые любого умного за пояс заткнут, либо я сам круглый идиот.

Короче, мне предлагают почетный плен. Позолоченную клетку. Единственная альтернатива — смерть! Но с этим-то я, положим, всегда успею. Запасной выход, незримый любому живому существу, для меня всегда открыт настежь. Пожалуй, надо принимать любезное (а скорее всего лукавое) предложение Ганеши. Посмотрим, какие виды имеет на меня эта бестия.

— Я согласен сдаться, но при одном условии. — Остро отто-

ченный меч продолжал холодить мое горло. — Ты отпустишь на волю всех, кто сегодня был на моей стороне.

— Если они хотят этого сами, то я не возражаю. — Ганеша по-простецки пожал плечами. — Эй, вы, подлые изменники, ступайте на все десять сторон!

(Забыл сказать, что индийские арии в отличие от нас выделяют десять сторон света — четыре основные, четыре промежуточные, зенит и надир.)

Слава богу, дозорные спасены. Хоть этот камень не будет висеть у меня на шее. Так подумал я и снова ошибся.

— Господин, о какой воле для нас ты просишь? — Один из уцелевших воинов повернул ко мне окровавленное лицо. — Оставшись одни в чужой стране, мы уподобимся пчелам, отбившимся от улья. Домой нам тоже нельзя возвращаться. Поверив тебе, мы сами избрали свою судьбу и ничуть не жалеем об этом. Позволь нам достойно умереть в честном бою, как это и полагается кшатриям. Никаких иных просьб мы к тебе не имеем. Прощай, господин. Встретимся на небесах в чертогах солнцеликого Индры.

— Прощайте...

Помимо воли я опустил глаза и потому не видел, как горсточка смельчаков, однажды опрометчиво поверивших мне, сняв латы и отбросив щиты, напала на телохранителей Ганеши, имевших многократное численное превосходство...»

Закончив чтение очередной страницы, Донцов встал, чтобы размять затекшие ноги. Время близилось к полуночи, а ничего из ряда вон выходящего так и не случилось. Молчала рация, молчали телефоны.

Стопка непрочитанных листов постепенно таяла, но штук тридцать в ней еще оставалось...

ГЛАВА 19

ОКОНЧАНИЕ РУКОПИСИ, НАЙДЕННОЙ В ДУХОВКЕ

«Получив прощение, я отнюдь не обрел доверия. Беседовать со мной Ганеша предпочитал через головы своих клевретов, судорожно сжимавших рукоятки полуобнаженных мечей. И это после того, как меня с садистской тщательностью обыскали прямо в шатре, на глазах у царя царей и его свиты.

Хотя кое в чем мое мнение о Ганеше изменилось самым кар-

динальным образом, он по-прежнему оставался трусом, что, в общем-то, было свойственно многим венценосным особам. Петр Первый, например, панически боялся просторных помещений и предпочитал ночевать в шкафу, а Иван Грозный, получив вызов на поединок от польского короля Яна Собеского, едва не упал в обморок.

Но, как говорится, вернемся к нашим баранам...

Объяснение, которое обязательно должно было состояться между нами и от которого лично я не ожидал ничего хорошего, Ганеша начал такими туманно-многозначительными словами:

— Я не стану сейчас спрашивать о том, какие причины подвигли тебя на столь неосмотрительный поступок, хотя кое-какие догадки у меня имеются. Я спрошу тебя о другом. Совсем о другом. Ты хорошо помнишь свою жизнь, сын Васудевы?

— Довольно хорошо, — ответил я, догадываясь, что Ганеша готовит какой-то коварный удар, пока, слава богу, словесный.

— Помнишь даже самые незначительные события? — продолжал он нагнетать напряжение.

— Не все, конечно. Кое-что и забылось. Но многое помню. Неужели ты подозреваешь, что я не тот, за кого себя выдаю?

— Вот как раз это я и не подозреваю, сын Васудевы, — заверил меня Ганеша. — Меня беспокоит вот что — откуда у тебя такая неразбериха в памяти. Давно замечено, что ты путаешься в своих рассказах. Дабы отделить правду от вымысла, кое-кому из моих слуг пришлось изрядно потрудиться. Оказывается, на свете есть немало людей, которые тоже помнят твою жизнь. Повитухи, кормилицы, няньки, сторожа, служившие в доме твоего отца. Ты рос у них на глазах. Потом появились наставники, возничие, оруженосцы. Они были свидетелями твоего взросления. Позже наступила очередь жен, друзей, наложниц. Вся твоя жизнь от момента рождения до нынешнего, печального дня как на ладони. И если собрать вместе свидетельства всех очевидцев, то получится странная картина. Оказывается, ты отлучался из дома только на охоту, на пирушки да на собственную свадьбу. Правда, пару раз участвовал в военных походах, но всегда в пределах Семиречья. Следовательно, рассказывая о своих скитаниях в чужих краях, ты бессовестно лгал.

— Лгал, — подтвердил я. — Но исключительно ради того, чтобы заслужить твое расположение, о долговечный.

— Предположим, что это так, — издали кивнул Ганеша. — Тогда откуда ты знаешь язык яванов?

— Я произнес первое, что пришло мне в голову. В тех словах не было никакого смысла.

— Опять ложь. Языком яванов я заинтересовался не из праздного любопытства. Среди моих советников нашелся один, который выучил этот язык, будучи рабом в далекой стране, называемой Та Кемет, или Черная Земля. Он понял твои слова и перевел мне. Смысл их, помнится, состоит в том, что солнце, встающее на востоке, достигнув запада, обязательно потухнет. Под солнцем ты, конечно, подразумеваешь меня. За это спасибо. А вот общий смысл фразы звучит угрожающе. И кстати, я не буду спрашивать сегодня, почему ты так ненавидишь меня. Я лучше повторю прежний вопрос: откуда тебе известен язык яванов, если ты никогда прежде не покидал свое царство?

Одна ложь неизбежно порождает другую. Это общеизвестный факт. Пришлось мне и дальше следовать по этому неверному пути.

— При дворе моего отца служил один старик. — Я сделал вид, что стараюсь припомнить какую-то давнюю историю. — Не то мельщик, не то водонос. От него-то я и перенял язык яванов.

— Что-то похожее я предвидел. — Ганеша опять кивнул. — Все ныне здравствующие слуги твоего отца были опрошены по этому проводу. Никто не мог припомнить ни старика, ни старушку, ни девочку, ни мальчика, от которых ты бы мог набраться этих знаний.

— Он принадлежал к низшей касте, и мы старались держать свою дружбу в тайне. — Я выкручивался, сколько мог.

— Сомневаюсь, чтобы юный царевич имел столько свободы, чтобы заводить друзей на стороне. Обычно няньки ни на миг не спускают глаз со своих высокородных питомцев.

— Со мной все было иначе. И пусть кто-либо попробует доказать обратное.

— Говорят, ты опознал Гирканское море по породам рыб, которые водятся в нем? Этому тебя тоже научил старик-мельщик?

Про рыб ему кто-то из моих бойцов настучал. Ладно, бог его простит, все они сейчас на том свете... Однако медлить нельзя. Вопрос столь высокопоставленной особы требует незамедлительного ответа, более того, ответа правдоподобного. Только где его взять? Не придумав ничего более убедительного, я с невинным видом сообщил:

— Кто-то рассказывал мне про это море и про живность, населяющую его. А кто именно, уже и не помню.

— Вот и я говорю, что с памятью у тебя не все в порядке, — произнес Ганеша как бы даже с сочувствием. — По общему мнению, до определенного момента ты был человек как человек. Жил по примеру своего отца и деда. Ничем не отличался от соседних раджей. Охотился, пил, упражнялся в военных искусствах, забавлялся с женщинами. Был жесток, но в меру. Вспыльчив, несправедлив и пристрастен, но таковы свойства всех кшатриев, по себе знаю. А потом тебя вдруг словно подменили. Ты позабыл прежние привычки, старался никого зря не обижать, речи твои иногда ставили в тупик прославленных мудрецов. Даже в любви ты стал вести себя иначе.

А я, лопух, и не догадывался, что сыск у Ганеши налажен с таким размахом. Надо опять поаплодировать ему. Вот только почему он так вцепился в меня? Чем это, интересно, мелкий царек Ачьюта, сын Васудевы, так не угодил могущественному Ганеше? Или он действительно обладает даром предвиденья и сумел заранее угадать во мне смертельного врага? В любом случае молчать нет смысла. Пока рот не заткнули, надо оправдываться.

— Человек меняется с годами, — вкрадчиво произнес я. — Приходит мудрость, и ты начинаешь снисходительно относиться к людям. Уходят силы, и на ложе любви ты ведешь себя иначе, чем в молодости.

— Но ты изменился не с годами, а всего за несколько месяцев, — вполне резонно возразил Ганеша.

— Это тоже вполне объяснимо. Случается так, что уже достаточно опытный человек внезапно как бы прозревает, поняв тщету и низость прежней жизни. И тогда все может измениться даже не за месяц, а за один день. — В доказательство этих слов я даже приложил руку к сердцу. — Прости, о достойнейший, но мне нечего больше сказать в свое оправдание. Честно признаться, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Лучше прикажи казнить меня, а не мучай понапрасну нелепыми вопросами.

— Будь на то моя воля, я бы давно казнил тебя, сын Васудевы. Но какое-то предчувствие мешает мне совершить справедливое возмездие. Мертвый ты для меня еще страшнее, чем живой.

То, что он публично признался в своей трусости, было плохим предзнаменованием. Не только для меня, но и для притихших царедворцев. Свидетели таких откровений тирана обычно долго не живут.

— Позволь не согласиться с тобой, о светоч всех добродете-

лей, — сказал я. — Мертвецы самые что ни на есть безобидные люди.

— Верно. — Он как-то странно ухмыльнулся. — Но бывают исключения. Одно на миллион или даже на миллиард случаев. И мне думается, что ты, сын Васудевы, как раз и есть такое исключение. Разве я не прав? Сознайся.

— Не понимаю, о владыка народов, в чем именно мне следует сознаться. — До самого последнего момента я не мог взять в толк, куда клонит этот тип, прежде казавшийся мне шутом гороховым, но теперь проявивший себя совсем в ином качестве, достойном скорее инквизитора, чем государя или стратега.

— Не понимаешь? Тогда я подскажу тебе. Сознайся в том, что ты вовсе не Ачьюта, сын Васудевы, а кто-то совсем другой, не так уж давно вселившийся в это тело.

Спору нет, Ганеша попал прямо в цель. Но пока оставалось неясным, каким был этот выстрел — преднамеренным или случайным. Фраза, в атеистическом и прагматическом двадцатом веке имеющая некое одно, вполне определенное значение, в среде древних ариев, насквозь пронизанной предрассудками и суевериями, звучит совсем иначе. Дабы проверить это, я охотно согласился:

— Так оно и есть, первейший из первых. Я сын Васудевы только с виду. На самом деле я Кришна, седьмая аватара бога Вишну.

— Оставь. — Ганеша отмахнулся от моих слов, как от назойливой мухи. — Я устал от этих сказок. Давай поговорим начистоту. Так и быть, первым придется признаться мне. Я вовсе не Иравата, сын Арджуны, известный больше как Ганеша, а, выражаясь на привычном для тебя лексиконе, аватара совсем другого человека, настоящее имя которого тебе знать необязательно. Согласись, в чем-то наши судьбы очень схожи. Ну а теперь, когда я раскрыл свой секрет, очередь за тобой, незнакомец. Первым делом назовись.

Как любила выражаться вездесущая Алиса, прославившаяся в книжках известного математика и педофила Чарльза Доджсона, сиречь Льюиса Кэрролла: «Чем дальше, тем любопытственней». Ситуацию, в которой я оказался, можно было смело назвать беспрецедентной. Впервые в жизни (вернее, в череде разнообразных жизней) я встретил хоть кого-то, чья душа, подобно моей, сменила место своего обитания.

Как же мне вести себя сейчас, когда карты обеих сторон практически раскрыты? Броситься Ганеше на шею? Но его при-

служники вряд ли позволят мне такую вольность. Да я и сам вовсе не горю желанием побрататься с узурпатором. Достойные люди остаются таковыми везде и всюду. А сволочь всегда сволочь. Даже в ментальном пространстве. Пока за типчиком, прежде называвшим себя Ганешей, не числилось ни одного благого поступка.

— Мое имя тебе ничего не даст, — сказал я. — Их у меня тысячи, как и у бога Вишну.

— Меня интересует самое первое, полученное тобой при рождении.

Так я ему и сказал! Имя сразу укажет на национальность, национальность — на особенности характера, и цепочка потянется — звено за звеном, — пока не захлестнется петлей на моем горле. Дабы закрыть эту тему, я брякнул первое, что пришло в голову:

— Наполеон Бонапарт.

(Не забывайте, что некоторую часть своей жизни я провел в сумасшедшем доме, где это имя почему-то пользуется исключительной популярностью.)

— Не надо шутить, — нахмурился Ганеша. — Мне известно, кто такой Наполеон Бонапарт.

— Рад за тебя, однако пусть мое первое имя останется при мне. Ты ведь тоже не назвал свое истинное имя.

— Опять дерзишь? А жаль. Я думал, что мы подружимся.

— Вполне возможно. Только для этого тебе придется вернуться за Гималаи. Вместе со всей армией, конечно.

— Ты что-то имеешь против этого похода?

— Имею. Его не было в том прошлом, которое мне известно.

— Вот именно. — Ганеша оживился. — Я создаю другое прошлое. Наверное, это самое достойное занятие на свете. Заранее предвижу все твои возражения. Как же, нарушая естественный ход истории, я совершаю преступление и так далее и тому подобное. А кто доказал, что прежний вариант истории лучше моего? Попробуй, припомни хотя бы один год, когда человечество жило без войн, мятежей, погромов, казней, гонений на иноверцев? Та история написана кровью. Бессмысленно пролитой кровью.

— Доказать это невозможно. Да, в реализованной, уже состоявшейся истории было много спорных, можно даже сказать, неприятных моментов, но пока она, слава богу, не завела человечество в тупик. А какое развитие получит твоя история — еще неясно. Сам знаешь, что из двух зол выбирают известное.

— Плевать я на это хотел! — вдруг сорвался он. — Хуже той

истории и быть ничего не может. Я уничтожу европейскую цивилизацию вместе с ее законами, судами и тюрьмами. Люди должны жить по древнему праву — праву силы.

Похоже, что у этого типчика в прошлой жизни были серьезные нелады с законом. Сей факт многое объясняет. Хотя, конечно, кое-что не мешало бы уточнить.

— Душе не так уж и просто покинуть тело, — сказал я. — Мне, по крайней мере, это хорошо известно. Скажи, ты развоплотился потому, что не желал жить?

— Я развоплотился потому, что не желал умереть. Умереть той позорной смертью, на которую был обречен. И это нежелание было так велико, что за мгновение до казни душа покинула тело и каким-то невероятным способом очутилась в далеком прошлом, в теле совершенно другого человека. Прежде я не верил в басни о переселении душ, а тут пришлось убедиться в их достоверности на собственном опыте.

Похоже, что его случай имел с моим мало общего. Впервые покинуть тело моей душе позволила психологическая установка на суицид, а потом роль побуждающего импульса стала выполнять физическая боль.

А душу Ганеши (будем пока называть его так) изгнал из телесной оболочки страх. Этот человек — гений страха, как бывают гении любви, гении ненависти или гении желания. Перевоплощение, случившееся с ним, было первым и пока последним. Он ничего не знает ни о ментальном пространстве, ни о череде нанизанных друг на друга поколений, по которым странствуют бесприютные души, ни о возможности повторных воплощений. Все это мне на руку.

— Если я правильно понял, общество отвергло тебя за какой-то неблаговидный поступок, и теперь ты собираешься этому обществу мстить, благо возможность для этого появилась, — уточнил я.

— Нет такого понятия — общество! — Похоже, я наступил Ганеше на любимую мозоль. — Это сказка, придуманная одними баранами для других баранов! Стадом живут только жвачные. Даже кошки предпочитают охотиться в одиночку. Разумное существо стоит вне общества по самой своей природе. Оно должно жить по собственным законам. Никто не вправе осудить человека, кроме его совести. Любой закон — насилие над личностью. Мир, который я собираюсь построить, будет принадлежать самостоятельным, независимым людям, уважающим только самих себя. Но сначала для них нужно расчистить место, убрать всех,

зараженных идеями стадного существования, круговой поруки, рабской морали и усредненной справедливости, рассчитанной на тупиц и блаженных.

Оказывается, он не только гений страха, но еще и гений эгоизма. Разносторонняя личность, ничего не скажешь.

— Какое место в этом новом мире ты отводишь мне? — поинтересовался я.

— Иногда, знаешь ли, хочется почесать языком с кем-то, не зацикленным на всех этих Брахмах, Индрах и Шивах. А кроме того, будет лучше, если ты останешься при моем дворе.

— Лучше для кого? Для тебя?

— Для меня, для тебя — какая разница! На словах ты вроде бы и покорился, но на деле остаешься убежденным противником моих действий. А я предпочитаю держать своих врагов на виду.

— Не проще было бы убить меня?

— Какой ты хитрый! Воплотившись однажды, ты можешь воплотиться и в другой раз. Опыт-то имеется. Оказавшись в прошлом, ты найдешь способ разрушить мои нынешние планы. Ну зачем, спрашивается, мне иметь в тылу вражеского лазутчика?

Тут он опять попал в точку. Интуиция у этого мерзавца просто поразительная.

— Да, нажил ты со мной проблему, — молвил я. — И так ее не решить и этак...

— Только не надо слишком много воображать о себе. Скоро я найду способ, позволяющий губить чужие души, — пообещал он зловещим тоном.

— Разве такое возможно? — искренне удивился я. — Безусловно, силы, способные как-то повлиять на душу, существуют, но только не в нашем мире.

— Все возможно, — отрезал Ганеша. — До прихода в Индию ариев там жили чернокожие люди, потомков которых называют дасью, что можно перевести как «демоны». Наверное, это древнейшие из народов земли. Они не знали железа и колеса, но умели делать многое такое, что уже не умеет никто. Дасью совершенствовали свой дух, а не оружие и утварь. Усилием воли они передвигали предметы и могли сутками обходиться без воздуха. Познав великие тайны природы, дасью тем не менее оказались бессильными против боевых колесниц, железных мечей и дальнобойных луков. Великолепные города были разрушены, а их обитатели нашли приют в лесах и горах. Однако сокровенные знания дасью сохранились. Я вошел в доверие к чернокожим жрецам, скрывавшимся в тайных местах. Они согласились помо-

гать мне. Скоро я получу новое оружие, способное проникать в душу так же глубоко, как меч проникает в тело. И тогда на всем свете у меня не останется достойных противников. Отпадет даже надобность уничтожать врагов. Я просто буду превращать их в послушных марионеток. Насколько проще управлять рабами, души которых целиком принадлежат хозяевам.

— Но ведь совсем недавно ты говорил об абсолютной свободе, не ограниченной никакими законами. Как же тебя понимать?

— Я имел в виду лишь немногих избранных, которые удостоятся такой чести. А рабы всегда останутся рабами. Так уж они устроены. Барану никогда не стать львом. Более того, он к этому и не стремится.

— Кстати, насчет оружия, которым якобы обладали чернокожие колдуны. Не на мне ли ты собираешься его испытать?

— Это зависит только от тебя самого. Ты дерзок потому, что уверен в собственной неуязвимости. Бессмертной душе опасность угрожать не может, а к чужой телесной оболочке ты равнодушен. Все будет иначе, едва ты убедишься в полной своей зависимости от меня. Дабы сохранить душу, а заодно с ней и тело, тебе придется служить мне верой и правдой.

— Служить тебе значит разрушать другие государства?

— Разрушать их буду я. Тебе отводится вспомогательная роль. Война — хитрая наука. Она требует не только полководцев, но и дипломатов. Ты знаешь чужие языки, обладаешь широким кругозором — тебе, как говорится, и карты в руки. Такое предложение тебя устраивает?

— А куда мне деваться? Честно сказать, я не верю твоим обещаниям, но надеюсь, что, убедившись в моей лояльности, ты сохранишь мою душу и тело в неприкосновенности.

— Это разумное решение. А сейчас можешь удалиться в предназначенный для тебя шатер. Постарайся припомнить, какие именно племена должны встретиться на нашем пути в самое ближайшее время. Я в такие проблемы не вникаю, а от советчиков проку мало. Тебе предстоит решить, какие из этих племен надлежит стереть с лица земли, а какие взять себе в союзники. Завтра в это время ты доложишь мне результаты своих умозаключений.

Конечно, мое согласие было лишь притворством, вынужденной мерой. Будучи убежденным противником Ганеши, я собирался бороться с ним всеми доступными средствами и в дальней-

шем — сначала в этом времени, а если понадобится, то и в прошедших эпохах.

Перед тем как уйти, я решился задать последний вопрос:

— Многое из того, о чем мы говорили здесь, не предназначено для посторонних ушей. Тем не менее свидетелей нашего разговора более чем достаточно. Неужели ты так доверяешь своим царедворцам?

— Представь себе, доверяю, но на это есть особые причины, — охотно ответил Ганеша. — Почему евнухи, стерегущие гарем, не могут воспользоваться красавицами, находящимися у них на попечении? В силу своего вполне определенного физического недостатка. То же самое касается и моих царедворцев. Они не смогут сообщить ничего из услышанного здесь по той простой причине, что лишены такой возможности. У них еще в детстве отрезали языки. Увы, столь высокие должности предъявляют к их соискателям и высокие требования. Кто-то жертвует детородным органом, кто-то языком, кто-то совестью. Таковы законы власти.

— Все ближе узнавая тебя, о светильник мудрости, я всякий раз восхищаюсь твоей прозорливостью и предусмотрительностью, — сказал я не без сарказма. — Надеюсь, что царские милости, которыми с лихвой обласканы твои ближайшие сподвижники, минуют меня стороной.

— Пока твой язык и твоя голова нужны мне, можешь за них не беспокоиться, — пообещал Ганеша. — Относительно остальных частей тела заранее обещать ничего не могу. Ну зачем тебе, скажи, ноги? Чтобы сбежать, для чего же еще! А не будет ног, исчезнут и дурные желания.

Не знаю, что это было — грубая шутка или явная угроза, — но я поспешил покинуть шатер царя царей. Мало ли какая блажь придет в его шальную голову.

Вскоре передовые отряды ариев вошли в соприкосновение с кочевниками, населявшими эту дикую страну. Скорее всего, аборигены относились к весьма разнообразному по этническому составу племенному союзу сарматов, ныне многочисленному и процветающему, но в ближайшем будущем обреченному на уничтожение гуннами.

Мне удалось найти общий язык с пленниками, доставленными в ставку Ганеши. Как-никак, а годы, проведенные среди киммерийцев, предшественников как скифов, так и сарматов, сказывались. В древности, не в пример новейшим временам, разго-

ворная речь менялась весьма медленно. Даже по прошествии многих веков предок мог вполне понять потомка.

По моей инициативе пленников щедро одарили и отпустили восвояси, дабы они склонили к переговорам наиболее авторитетных местных вождей, чьим дружинам в планах Ганеши отводилась роль тарана, расчищающего ариям дорогу на запад.

Такие переговоры вскоре действительно состоялись. Вновь рекой текли вино и сома, вновь ежедневно пожирались целые стада скота, вновь грациозные красавицы, искусные не только в танцах, но и в камасутре, до утра ублажали пирующих, вновь перед царским шатром дефилировали боевые слоны и колесницы, демонстрируя военную мощь ариев.

Являясь единственным переводчиком, я напропалую пользовался этим обстоятельством, и, скажу прямо, не на пользу Ганеше. Передавая ему от вождей варваров горячие заверения в вечной дружбе, я одновременно вел подрывную деятельность, разъясняя аборигенам всю подоплеку политики завоевателей.

— Те из вас, которые уцелеют в предстоящем походе на запад, не получат ни земли, ни скота, ни другой добычи, а превратятся в рабов, — так говорил я своим новым друзьям. — Вы никогда не сможете встать вровень с ариями, а тем более породниться с ними. Этого не позволят кастовые законы. Кшатрием или брахманом становятся только по праву рождения. Ребенок, появившийся на свет вне касты, не имеет никаких прав, ему заранее уготовлена участь изгоя. Даже цари чужих народов для ариев — безродная чернь. Пусть сейчас вы и пируете с ними, как равные, но арий никогда не примет из ваших рук ни кубка вина, ни куска мяса. Для них все вы нечистые.

Когда один из гостей, кажется, вождь язигов, поинтересовался причинами моей нелюбви к ариям, я ответил, что сам принадлежу к подневольному народу и горю желанием хоть как-то отомстить обидчикам.

После окончания переговоров, на которых были формально приняты все условия Ганеши, посольство отбыло к родным кочевьям. Среди отъезжающих был и я, перепачканный в сажу и одетый как языг, с вождем которых я к тому времени успел побрататься.

Мое место в шатре занял молодой воин, согласившийся пожертвовать собой ради общего блага.

На следующий день прислужники Ганеши спохватились и организовали погоню, но степь встретила их огнем пожара, быстро распространявшегося во все стороны.

Племена аланов, роксоланов, савроматов и язигов откочевали в места, недоступные для ариев, оставив только заградительные отряды, продолжавшие поджигать степь, распугивать дичь и ночью вырезать дозоры пришельцев.

А я тем временем пытался сколотить военный союз, достаточно сильный для того, чтобы дать отпор ариям. Дело это было архисложное, поскольку кочевник понимал только ту опасность, которая угрожала непосредственно ему или его кибитке, а отношения между соседними племенами или даже отдельными родами одного племени были далеки от идеальных. Часть аборигенов, несмотря на мои старания, открыто приняла сторону захватчиков.

Год прошел в непрерывных странствиях. Меняя лошадь на ладью, а с ладьи вновь пересаживаясь на лошадь, я объездил всю Восточную Европу вплоть до Карпат и Балтийского побережья. Много раз моя жизнь висела на волоске, но пока стерегла судьба, наверное, имевшая на меня какие-то свои виды.

Сначала Ганеша через своих гонцов предлагал мне вернуться, обещая простить все грехи, но потом объявил за мою голову вознаграждение столь щедрое, что привыкшие к скудности кочевники просто не могли оценить его по достоинству.

Зиму Ганеша, потерявший изрядное количество слонов, но пополнивший пехоту и кавалерию за счет принудительных мобилизаций, провел в Приазовье, а едва только весеннее половодье спало, стал переправляться через Дон. Пускать его дальше было никак нельзя.

Наши рати, к которым в последний момент присоединились меотийцы, синды, венеды и черноморские греки, по численности сравнялись с ариями, но по-прежнему уступали им почти во всех компонентах военного мастерства, а главное — в дисциплине и выучке солдат. Да и вооружение кочевников не шло ни в какое сравнение с луками, мечами и секирами кшатриев.

Оставалось полагаться на удачу, на стойкость воинов, защищавших родную землю, да на возможный разлад в стане ариев, где у Ганеши было очень много скрытых недоброжелателей.

Создать единое руководство союзной армии мне так и не удалось. Каждый мелкий царек, имевший под своим началом хотя бы тысячу воинов, мнил себя пупом земли и наотрез отказывался выполнять любые распоряжения, полученные со стороны. Учить эту степную вольницу азам тактики и стратегии было уже поздно, и мне не оставалось ничего другого, как предоставить

все воле его величества случая. Как говорится, что будет, то и будет.

Незадолго до начала боя я отправился в ставку вождя язигов Шапура, моего побратима, наиболее толкового и осмотрительного из всех военачальников, собравшихся здесь.

Следуя моему совету, он поставил своих людей на левом фланге союзной армии, имея перед фронтом заболоченную речушку, которая должна была защитить нас от атаки колесниц, этой ударной силы ариев. Правда, болото не являлось препятствием для слонов, но на этот случай мы приготовили свое особое оружие, которое пока·мычало и звенело железными путами в тылу.

Справа, уступом к нам, стояли пешие венеды, отгородившиеся от врагов стеной повозок, а дальше располагались все остальные рати, каждая из которых напоминала собой огромный табор, где на кострах жарилась баранина, шла оживленная меновая торговля, удальцы состязались в скачке и джигитовке, а обозы, жилые кибитки и предназначенные на убой стада обретались прямо в боевых порядках. Куда там было вавилонскому столпотворению против этого пестрого и разноязыкого человеческого сборища! И тем более печальными казались мысли о том, что по меньшей мере половина из этих людей не доживет до завтрашнего дня.

Поле, предназначенное для битвы, было плоское, как сковорода, изрезанное сетью неглубоких балок и сплошь поросшее кустарником. Нигде не нашлось мало-мальски приличного холмика, чтобы устроить наблюдательный пункт, и нам приходилось полагаться только на устные сообщения вестовых, которых Шапур загодя разослал во все стороны.

Перед боем почему-то хотелось вкусить немного тишины, но повсюду стоял гул, который в двадцатом веке можно услышать только на суперважном футбольном матче.

С утра у меня было самое паршивое расположение духа. Все валилось из рук, в голову словно опилок натолкали, даже кусок не лез в горло. Хотелось лишь одного — побыстрее отбыть этот дохлый номер. Честно сказать, на победу я уже и не надеялся.

О том, что арии двинулись вперед, возвестил пронзительный вой труб и грохот барабанов. Над неровной полоской кустарников, ограничивавшей дальнюю сторону поля, взметнулся лес разноцветных знамен. Похоже, что Ганеша намеревается нанести главный удар именно здесь, на нашем левом фланге.

По всем тогдашним канонам сражение полагалось начинать

с единоборств, причем равным оружием и на равных условиях. Конный бился с конным, пеший с пешим. Меч против меча, палица против палицы. Были и такие удальцы, которые предпочитали выяснять отношения голыми руками.

Сначала со стороны ариев примчалось несколько в пух и прах разукрашенных колесниц, знамена которых полоскались на ветру, как паруса, но здесь их экипажам подходящего соперника не нашлось. Аналогичную военную технику имели только греки, стоявшие на правом фланге.

Кто-то из возничих, заодно выполнявший и роль глашатая, протрубил в сигнальную раковину, а потом прокричал на санскрите, благодаря моим урокам понятном уже для многих языгов, в том числе и Шапуру.

— Мой господин, могучерукий Кшема, царь чедиев, вызывает на смертельный поединок богомерзкого предателя Ачьюту, сына Васудевы, опозорившего не только свой род, но и всех кшатриев. Выбор оружия остается за Ачьютой. Мой господин согласен сражаться хоть пешим, хоть конным, хоть на колеснице, хоть на крыльях, дарованных ракшасами.

Сам Кшема, кстати, в прошлом мой добрый приятель, в это время поочередно натягивал все свои луки, очевидно, выбирая самый тугой. Позолоченные латы покрывали не только кшатрия и его возничего, но даже запряженных в колесницу лошадей.

— Как ты намерен поступить? — поинтересовался Шапур, сам отчаянный поединщик.

— Как и подобает воину, которого вызывают на единоборство, — ответил я. — Приму вызов, а все остальное пусть зависит от воли богов.

— Но ты не просто воин, — напомнил Шапур. — Ты собиратель народов, усмиритель распрей и наш главный советчик. Если бы не твое мудрое слово, кости многих из нас, перебитых поодиночке, уже растащили бы волки. Ты сам по себе стоишь целой рати, и бесчестный Ганеша прекрасно понимает это. Он обязательно попытается пленить тебя или убьет предательским образом.

— Я знаю этого Кшему. Он благородный воин и не допустит в поединке каких-либо грязных уловок. Совсем другое дело его возничий. От него можно ожидать любой подлости.

— Так и быть, сразись с Кшемой, — после недолгого колебания сказал Шапур. — Деритесь прямо в речке, она здесь неглубокая. Пусть его доспехи станут не подспорьем, а помехой в поединке. Но ни в коем случае не выходи на противоположный бе-

рег. Возничего не опасайся. Я все время буду держать наготове свой лук.

На том мы и порешили. Осталось выбрать наиболее подходящее для этого случая оружие.

Я с одинаковым успехом владел и секирой, и палицей, и алебардой, однако на сей раз предпочел меч — не самый длинный, но и не самый короткий, расширяющийся на конце, как лопата.

Мой противник избрал меч совсем другого типа, с тяжелым волнистым лезвием, чей удар, наверное, сразил бы и слона.

Отличались и наши доспехи. Он остался в тех же латах, в которых красовался в колеснице, а я сбросил с себя все лишнее, кроме легкой кольчуги, ничуть не стеснявшей движений.

— Как поживаешь, благородный Кшема? — поинтересовался я, когда мы с двух сторон подошли к речушке.

— Плохо, любезный Ачьюта, — ответил он, а продолжил уже заунывным речитативом: — Но моя жизнь станет во сто крат краше, как только я отправлю тебя в столицу царя мертвецов Ямы. Этим я весьма порадую нашего верховного властелина Ганешу, которого ты посмел оскорбить. Трепещи, нечестивец. Тебя ожидает судьба собачонки, попавшейся на глаза голодному льву.

— Не смеши меня, приятель, — произнес я с той же интонацией. — Твои слова не могут напугать даже лягушек, населяющих эту славную речку. А сам ты похож на грозовую тучу в осеннюю пору. Гром вроде бы и гремит, только молнии не дождешься. Боюсь, что сегодня ты ничем не порадуешь своего хозяина, бесчестного Ганешу, а, напротив, весьма огорчишь своей смертью.

Наша перебранка не была вызвана личной неприязнью, а носила скорее ритуальный характер, являясь неотъемлемым атрибутом каждого поединка. Примерно те же слова произносили в сходной ситуации отец и дед Ачьюты. Кшатрии с детства заучивали эти дразнилки наравне с молитвами.

Прикрываясь щитами из воловьей шкуры, мы одновременно вошли в топкую речку, причем я погрузился только до середины бедра, а Кшема по пояс. Первые же удары в клочья разнесли щиты, предназначенные в основном для защиты от стрел, и теперь уже ничего не мешало нам махать мечами в свое удовольствие.

— Слыхал, какую награду пообещал за тебя Ганеша? — поинтересовался Кшема, за миг до этого едва не отрубивший мне руку.

— Слыхал, — откликнулся я, лихим ударом смяв его наплечник. — Собираешься заполучить ее?

— Не отказался бы. — Лезвие меча сверкнуло над моей макушкой. — Хотя возни с тобой, конечно, хватает...

— Какое доказательство моей смерти устроит Ганешу?

— Твоя голова.

— Жаль, но лишней головы у меня нет...

— Уступи ту, которая есть. Когда попадешь в плен, пожалеешь о том, что остался жив.

— Почему это я, интересно, должен попасть в плен?

— Потому что все вы там будете... Кто, конечно, уцелеет... Варварам долго не продержаться. Центр их войска уничтожат боевые колесницы, а вас растопчут слоны. Кроме того, Ганеше удалось подкупить некоторых племенных вождей. Они переметнутся на нашу сторону в самый решающий момент.

Его меч рубил все подряд — и тростник, и береговой ил, и воду. Не человек, а прямо косилка какая-то. Когда мне надоело уворачиваться, я зацепил своим лопатообразным мечом изрядный ком жирной грязи и швырнул его Кшеме в рожу. Попробуй утрись, если на голове у тебя наглухо застегнутый шлем, а на руках кольчужные перчатки.

— Это нечестный прием! — взвыл он. — Благородные воины так не поступают! Позволь мне умыться!

— Тот, кто верой и правдой служит этому негодяю Ганеше, не смеет даже заикаться о благородстве! Умоешься кровью!

От моего косого удара застежки на шлеме кшатрия лопнули, и он, сверкнув на солнце метеором, улетел неведомо куда. Кшема остался жив, но получил изрядную контузию. Его меч, словно огромная серебристая рыба, скользнул в мутную воду.

Подхватив полубесчувственного Кшему под мышки, я хотел было позвать на помощь возничего, но наши взгляды сошлись на линии, часть которой, длиной в два локтя, составляла стрела, направленная в мою сторону.

Пришлось прикрыться телом Кшемы, да простит он мне на том свете этот неблаговидный поступок. К счастью, вновь натянуть лук возничий не успел. Стрела моего побратима навеки успокоила его. Еще один подлец получил по заслугам.

Вернувшись к Шапуру, я передал ему все, что услышал от Кшемы. Новости, конечно, были самые худые, но изменить что-либо мы уже не могли.

Судя по азартным выкрикам, доносившимся к нам со стороны союзных дружин, поединки там еще продолжались.

Вскоре погиб венед, сражавшийся на секирах. С правого фланга прискакал савромат, на пику которого была насажена голова поверженного противника. Исход остальных единоборств так и остался для нас неизвестным, поскольку в войске ариев снова раздался вой труб, на сей раз возвещавший атаку колесниц.

Ради такого зрелища я даже покинул боевые порядки языгов и вместе с Шапуром перебрался поближе к центру союзной армии, где стояли аланы — высокие светловолосые люди, охочие до битвы, но в степи привыкшие сражаться наскоками, а потому не имевшие никакого опыта позиционной обороны.

Колесницы, запряженные четверками великолепных лошадей, приближались так быстро, что древки их знамен гнулись от встречного ветра еще круче, чем рога арийских луков, готовых вот-вот дать свой первый смертоносный залп.

Заранее зная, чем это может грозить, я сказал побратиму:

— Давай отъедем подальше, а иначе заработаем много лишних дырок в шкуре.

Сквозь стук копыт, грохот окованных железом колес и ржание лошадей донесся слитный мелодичный звук, словно могучие пальцы бога-создателя Брахмы тронули струну, проходящую через все три мира. Это несколько тысяч воинов-ратхинов разом спустили тетивы своих тугих луков.

Стрелы воспарили столь плотной тучей, что, подобно стае саранчи, на какое-то время затмили солнце. Первый залп еще не достиг цели, а в небо уже взлетела вторая туча. В таком темпе умели стрелять только кшатрии.

Несколько стрел, подхваченных порывами ветра, долетели до нас, и Шапур поднял самую красивую из них, с одного конца снабженную стальным неизвлекаемым наконечником, а с другого — павлиньим пером.

— Осторожней, — предупредил я его. — Случается, что кшатрии перед боем вымачивают свои стрелы в трупном яде.

— Если так, то я сохраню эту стрелу для Ганеши, — сказал Шапур. — Говорят, что змей-нагов, к породе которых, он, несомненно, принадлежит, убивает только такой яд.

— Нам следует возвращаться. — Я пришпорил своего коня. — Если колесницы прорвутся через строй аланов, то они непременно зайдут нам с тыла. В противном случае нам следует ожидать нападения боевых слонов.

Едва мы заняли свое место в первых рядах дружины языгов,

как стали прибывать вестовые. Доклады их были неутешительны.

Арии давно прорвали бы центр союзного войска, но дальнейшему продвижению колесниц мешали горы истыканных стрелами трупов. Однако на помощь колесницам уже двинулась пехота, и, если ее действия будут успешными, наша армия окажется разрезанной на две части и полуокруженной.

Правый фланг пока удерживал свои позиции, неся лишь единичные потери от шальных стрел, но греки, видя, что события на поле боя развиваются отнюдь не в пользу союзников, уже выбросили пестрые знамена, означавшие готовность к переговорам.

— Чтобы спасти центр войска, надо уничтожить пехоту ариев или хотя бы отогнать ее прочь, — сказал я. — Оставайся здесь с половиной войска и готовься воевать со слонами, а другую половину я поведу в атаку.

— Поступай так, как считаешь нужным, — ответил Шапур. — Но давай сначала простимся, ибо на том свете нас ждут совсем разные обиталища.

Мой отряд переправился через речушку, на берегу которой лежал мертвый Кшема, уже полностью раздетый мародерами, и, набирая скорость, помчался по полю, еще не затронутому битвой, заходя во фланг пешим ариям, спешившим на помощь своим колесницам, застрявшим в нагромождении трупов, как в трясине.

Не знаю, кто руководил сражением со стороны ариев — сам Ганеша или кто-то из его приближенных, — но наш маневр застал этого стратега врасплох. Стрелы язычков помешали пехоте вовремя перестроиться, а когда пешие и конные бойцы смешались, началось уже форменное истребление.

В стане ариев завыли трубы и ударили особые барабаны — мриданги. Как я и предполагал заранее, в атаку посылали слонов, эти танки-амфибии древнего мира, в отличие от колесниц способные преодолевать почти любые препятствия.

Конечно, на это стоило посмотреть!

Но, разумеется, только со стороны. А еще лучше с высоты птичьего полета. Когда на тебя, растопырив уши, несется разъяренный слон-самец, бивни которого удлинены специальными бронзовыми наконечниками, невольно хочется посторониться, но когда такие слоны надвигаются сплошной стеной, начинаешь остро сожалеть о том, что вообще посетил сей мир в его минуты роковые.

Обычно степняки плохо слушались команд, но сейчас призыв к отступлению не пришлось повторять дважды. Даже не пытаясь отстреливаться, они во весь опор понеслись назад.

Шапур издали махал нам своим флагом — уходите, дескать, в сторону, очищайте дорогу для тех, кто в состоянии сразиться со стадом атакующих слонов. Пока я заворачивал своих воинов влево, Шапур увел остальных язигов вправо, а в образовавшийся коридор ринулись матерые быки, до этого удерживаемые на месте цепями. Вперед буйных рогоносцев гнало отнюдь не пьянящее чувство свободы, а горящая просмоленная пакля, которой были обмотаны их хвосты.

Две всесокрушающие лавины: серая, будто бы всхолмленная — слонов, и черная сплошная — быков — должны были неминуемо столкнуться и уничтожить друг друга, как взаимоуничтожаются два огненных вала, пущенные навстречу. Однако слоны, несмотря на свой внушительный вид, характером оказались куда слабее быков, каждого из которых, подобно ракете, сопровождал шлейф дыма и пламени.

Не подчиняясь командам вожатых, серые великаны заворачивали обратно и давали стрекача — на сей раз опустив уши, зато задрав хвост. Налетающие сзади парнокопытные придавали хоботным дополнительное ускорение.

Полкам ариев, в чье расположение предстояло врезаться всей этой ораве взбесившейся скотины, можно было только посочувствовать.

«Победа!» — не веря самому себе, произнес Шапур, но наши надежды развеял примчавшийся с правого фланга гонец. Оказывается, пока мы здесь воевали с пехотой и слонами противника, греки бежали, увлекая за собой соседей-меотийцев. Этим не преминули воспользоваться арии, бросившие против ослабленного крыла союзной армии всю свою кавалерию, которая в самое ближайшее время должна была оказаться за нашими спинами...»

На этом наиболее сохранившаяся часть рукописи закончилась, и вновь пошли отрывочные абзацы, а потом и отрывочные фразы.

«...конь увяз по брюхо. Шапура еще можно было спасти, и сразу несколько язигов швырнули своему вождю арканы, но тяжелая стрела с серповидным наконечником, стрела, легко перешибавшая древко копья, угодила моему побратиму в затылок. Прощаясь со мной, он как будто бы заранее предвидел подобный исход дела. Ну что же, пусть его чистой и благородной душе бу-

дет уготовано достойное место в раю язычников, где каждому павшему в бою герою кроме многих иных благ полагается еще и шестиногий конь-демон, быстрый, как вихрь. Что касается моей собственной души, то сейчас она находилась в куда более худшем положении...»

«...но ночи еще надо было дождаться. Вот и еще один жизненный урок — если не уверен в победе, то выбирай для битвы короткий зимний денек, чей скорый закат гарантирует спасение в гораздо большей степени, чем острый меч да борзый конь. А лучше всего не лезь туда...»

«...недолгого сопротивления. Приставив нож к его горлу, я спросил на санскрите, почему арии, изрядно изнемогшие в битве, не вернулись в лагерь, а продолжают рыскать по степи. После такого удара кшатрий соображал довольно туго, однако из его ответа можно было понять, что это идут поиски богомерзкого предателя Ачьюты, сына Васудевы, и все воины, посланные в степь, в случае неудачи будут жестоко наказаны. Если же кому-то из них вдруг улыбнется счастье...»

«...два, а то и четыре... Не знаю, гарантировала ли успех такая тактика, однако ничего другого я просто не мог придумать. Проигрыш сражения еще не означает проигрыш всей войны. Арии понесли громадные потери, а пополнение вряд ли предвидится. Если поднять германцев, балтов и праславян, до которых, несомненно, уже дошли вести о нашествии с востока, то шансы Ганеши на успех сведутся практически к нулю. Но сначала надо позаботиться о спасении собственной шкуры, ибо нет никого другого...»

«...такими масштабами. Едва взошло солнце, как я увидел, что навстречу мне медленно движется цепь всадников, осматривавших каждый кустик, каждый овражек. Они еще не заметили меня, но это должно было неминуемо произойти. Как я мог спастись от них — пеший, с поврежденной ногой? Разве что зарыться в землю, но для этого нужна была как минимум лопата...»

«...хоть какой-то шанс. Своих мертвых они свозили в одно место, где предполагалось устроить жертвенный костер, а варваров лишь тыкали пиками, дабы убедиться в их смерти. Я сбросил доспехи, на которые мог позариться кто-нибудь из кшатриев, и улегся ничком между двумя трупами, для правдоподобия уткнувшись лицом в лужу подсыхающей крови. Все мои внутренние силы были сосредоточены на том, чтобы перетерпеть боль от укола пики...»

«...сыновья так не обращаются с дряхлым отцом. От меня да-

же мух отгоняли, вот только и пальцем не позволяли шевельнуть, буквально распяв на дне повозки...»

«...никогда прежде не приходилось встречать. С виду они напоминали бесхвостых, лишенных шерсти обезьян, и лишь глаза выдавали присутствие разума, но разума совсем другого, для нас почти непостижимого...»

«...весьма архаичные — каменные ножи, костяные крючки, горшки из необожженной глины, деревянные бумеранги. Их лица и плечи покрывали шрамы, имевшие какой-то ритуальный характер и как бы подчеркнутые мазками мела и охры. Предназначение большинства...»

«...испить это тошнотворное зелье. Результаты не замедлили сказаться. Все предметы, находившиеся в поле моего зрения, раздвоились, а вдобавок приобрели неестественные, зловещие цвета. За стеной жрец продолжал тянуть заздравное песнопение в честь богов-близнецов Ашвинов, и, понимая каждое отдельное слово, я совершенно не мог уловить общий смысл фраз...»

«...хотя я видел все это чужими глазами, находящимися сейчас совсем не там, где мои собственные, и воспринимавшими мир совсем в ином цветовом диапазоне. Тогда я попробовал шевельнуться, и это удалось. Все члены моего тела вновь слушались меня, но — о ужас! — это было не человеческое тело и не человеческие члены. Становились...»

«...в похожей ситуации. Раньше я и подумать не мог, что на такое способны существа, не имеющие никакого представления о гистологии, цитологии и молекулярной биологии. Возможно, здесь имело место...»

«...представлять какую-либо опасность. Перестав существовать как личность...»

«...поистине титанический труд. Собрать по крохам то, что было рассеяно в...»

«...никаких уступок, никаких компромиссов, поскольку объективный анализ хода истории указывал...»

«...это как бы две различные личности, вынужденные сосуществовать между собой. Такой вид мышления был, по-видимому, присущ всем людям на ранних этапах эволюции, недаром ведь они могли общаться с ими же самими придуманными богами. Позже тот же феномен стал расцениваться, как патология сознания...»

Фраза, которой заканчивалась рукопись, никакого смысла уже не имела, но звучала весьма многозначительно:

«...вопреки ожиданиям закончилось полной неудачей...»

— Вот уж поистине не в бровь, а в глаз, — сказал Донцов самому себе.

Аккуратно сложив все листы в стопочку, он сунул их в верхний ящик письменного стола, служивший как бы отстойником, откуда документы отправлялись потом по назначению — одни в архив отдела, другие в собственный сейф, третьи в утилизатор, превращавший бумагу в тончайшую лапшу.

ГЛАВА 20

ЗАДЕРЖКА РЕЙСА

— Эй, там! — Дежурный, которому в ночное время полагалось регулярно обходить все этажи, постучал в дверь кабинета. — Донцов, ты живой?

— А что, есть сомнения? — отозвался Донцов.

— Хватит сидеть взаперти. Домой иди.

— Я тебе мешаю?

— Ты мне на нервы действуешь. Здесь не ночлежка. Про последний случай в восемнадцатом отделении слышал? Там опер тоже остался после работы в кабинете, высосал втихаря пол-литра и в полночь застрелился. На почве семейных неурядиц. А крайним, как всегда, дежурный оказался. Недоглядел, дескать... Попробуй, догляди за вами всеми. Так что заканчивай эти посиделки. Если что-то, касающееся тебя, случится, я сразу перезвоню.

Конечно, дежурного можно было просто послать куда подальше, но «на пороге вечности», как выразился недавно некто, назвавшийся Олегом Наметкиным, опускаться до банального хамства не хотелось.

Прихватив рацию, Донцов покинул кабинет, на пару секунд придержав дверь, дабы дежурный смог убедиться, что посторонние лица внутри отсутствуют, электроприборы выключены и признаков возгорания не имеется.

— Кстати, тебе сегодня пакет прислали, — сообщил дежурный, как бы извиняясь за излишнюю настырность. — Из главка, спецпочтой.

Это могли быть только результаты биологической экспертизы образцов мусора, изъятого из агентурной квартиры, самовольно покинутой Тамаркой-санитаркой. Донцову они были позарез нужны.

— Почему ты сразу не сказал? — накинулся он на дежурного.

— Потому что не обязан. Вас много, а я один.

— А почему сейчас сказал?

— Сдуру, — признался дежурный. — Просто взбрело на ум. В следующий раз обязательно промолчу.

— Где этот пакет?

— В секретариате, как и положено. Людка его утром зарегистрирует и выдаст тебе чин чинарем.

— Мне он в сей момент нужен, а не утром! Как воздух нужен! Это ты можешь понять?

Вконец обозленный Донцов вернулся в кабинет (дежурный, убравшись от греха подальше, в этом ему больше не препятствовал) и, полистав записную книжку, отыскал домашний телефон эксперта. Конечно, звонить в такую пору изрядно намотавшемуся за день человеку было сущим свинством, но все проблемы морального порядка как бы отступили для Донцова на задний план.

Сейчас он ощущал себя не только слугой закона, но и стражем чего-то неизмеримо более важного — Великой исторической предопределенности, которая (а вовсе не любовь, как утверждают поэты) движет солнцем и светилами.

Телефон пиликал невыносимо долго, словно связь устанавливалась не с соседним районом, а с соседней галактикой. Донцов начал уже терять надежду (все сегодня шло наперекосяк, и в русле этой скверной тенденции эксперт мог скоропостижно скончаться, заночевать в другом месте или просто отключить назойливый аппарат), но трубку в конце концов сняли.

— Ал-ло-о! — произнес женский голос, столь сонный, что невольно самому хотелось зевнуть.

— Простите за беспокойство, но дело неотложное, — извинился Донцов. — Георгий Куприянович дома?

— Георгий Куприянович в туалете, — ответила женщина, судя по сварливым ноткам в голосе, законная супруга. — У него от вашего звонка понос случился. Ожидайте.

Судя по времени, которое эксперт провел на унитазе, его мучил не просто понос, а настоящая невротическая диарея, именуемая в народе «медвежьей болезнью». Можно было представить, что за звуки нарушают сейчас ночную тишину его жилья.

Наконец тот, кого Донцов так домогался, буркнул в микрофон:

— Слушаю...

— Георгий Куприянович, это Донцов тебя разбудил. Не обижайся, пожалуйста.

— Ничего страшного. Я все равно не спал. Живот что-то прихватило...

— Надеюсь, не по моей вине?

— Нет, исключительно по собственной. Мне ведро осетровой икры на экспертизу передали. Было подозрение, что это лягушачья, подкрашенная. Есть такая тварь, сибирский углозуб, очень похожий продукт мечет. Но все оказалось вроде бы в порядке. Заодно, конечно, и дегустацию провел. Как выяснилось, зря. Зато мой сортир благоухает теперь, как ресторан «Дары моря». А ты, собственно говоря, по какому поводу звонишь?

— Есть слух, что ты мне сегодня акт экспертизы выслал.

— Не слух, а истинная правда. Но не сегодня, а еще вчера. Ты его разве не получил?

— Не успел. Замотался на службе. Ты результат на словах сообщить можешь? Хотя бы суть.

— Сам знаешь, что по телефону это делать не положено. Один мой товарищ как раз в такой ситуации и погорел. Уж подожди до утра. Недолго осталось.

— Не могу я до утра ждать! — взмолился Донцов. — Мне, может, еще хуже, чем тебе, приспичило. С минуты на минуту должна начаться операция. От твоей экспертизы жизнь и смерть людей зависит.

— Эк тебя разобрало! Ну ладно, сейчас попробую вспомнить... Хотя нет! Опять живот схватило... Подожди секундочку.

Ждать пришлось не секундочку, а намного дольше. Осетровая икра действовала на кишечник Георгия Куприяновича куда эффективнее касторки. Или все дело было в том, что он просто обожрался дармовым деликатесом.

Разговор возобновился только спустя четверть часа, но это время не прошло даром. Эксперт не только вспомнил, но и почти дословно восстановил в памяти весь текст официального заключения.

Вот что услышал от него Донцов:

— Представленные для исследования образцы биологического происхождения представляют собой бытовой мусор, основными компонентами которого являются текстильные волокна, целлюлоза, табачный пепел, клещи разных видов, а также пух и частички оперения какой-то крупной птицы, предположительно семейства врановых. В незначительных количествах присутствует почвенный гумус и кварц, то есть песок. Проще говоря, на интересующей тебя жилплощади проживают изрядные неряхи. Мало того, что, придя с улицы, они не вытирают обувь и

стряхивают сигаретный пепел куда ни попадя, так еще и привечают у себя всяких сорок-ворон, а может, и в ощип их пускают. Многим супчик из ворон очень нравится, говорю это тебе как специалист. Сытно, а главное, не накладно... Ну как, такие выводы экспертизы тебя устраивают?

— Сам не знаю, — чуть помедлив, ответил Донцов. — Но ворона все же лучше, чем страус эму или жар-птица. Ворону еще как-то можно понять... Все, отдыхай. Еще раз извини, и большое спасибо.

— Как же, отдохнешь тут, — скорбно вздохнул эксперт. — Чую, опять брожение в утробе начинается.

— А ты икру под водку дегустировал? — поинтересовался Донцов, решивший убить на общение с хорошим человеком еще минутку-другую.

— Естественно. Икра без водки то же самое, что уха без рыбы.

— Водка из магазина?

— Обижаешь. Я же, кроме всего прочего, числюсь главным экспертом на складе конфиската. Из каждой задержанной партии спиртного беру ящик на анализы. Заглядывай в гости, если есть желание.

— Желания, к сожалению, нет. Но тебе могу дать совет. Еще раз проверь партию водки, из которой была та самая бутылка. Качественная водка считается почти идеальным дезинфицирующим средством. Пополам с ней можно пить даже испражнения холерного больного. А уж болотную воду тем паче. Еще американцами во Вьетнаме проверено... Боюсь, что вместо водки вам стеклоочиститель подсунули.

Еще одна ниточка заняла положенное ей место, и вязание, еще недавно казавшееся хаотической путаницей надерганной из разных мест корпии, стало обретать некие вполне определенные формы, пока, к сожалению, не похожие ни на что дельное.

Всякий раз, когда рация попадалась на глаза Донцову, его так и подмывало связаться с Кондаковым — выяснить обстановку в Экспериментальном бюро и хоть как-то ободрить старика. Однако такая роскошь, как человеческое общение, нынче была противопоказана обоим сыщикам. Подав голос в самый неподходящий момент, рация могла с головой выдать Кондакова.

Вынужденное безделье угнетало Донцова, и он стал размышлять над почти гамлетовским вопросом — ждать или не ждать.

Существуют разные способы разрешения насущных проблем. Один, причем не самый худший, — пустить все на самотек. Дескать, кривая вывезет.

Есть и другой способ, диаметрально противоположный первому, — путем какой-либо провокации довести ситуацию до белого каления или даже до взрыва, и тогда все подспудное, затаенное само вылезет наружу. Вот только как при этом сохранить собственную шкуру?

Грандиозность открывшейся вдруг проблемы и состояние жизненного цейтнота, в которое угодил Донцов, как бы предоставляли ему карт-бланш именно на второй способ, почти не употребляемый в цивилизованном обществе.

Кроме того, частые контакты с коллективом психиатрической клиники, как лечащим, так и находящимся на излечении, убедили его, что шок — лекарство куда более действенное, чем, например, внушение или электросон.

Номер Алексея Игнатьевича Шкурдюка он помнил наизусть и потому набрал его почти моментально. Заместителю главного врача по общим вопросам, как и любому другому законопослушному гражданину, не обремененному муками совести, полагалось сейчас спать без задних ног, однако ответ последовал незамедлительно.

— Все готово, — бодро отрапортовал Шкурдюк. — Машина уже вышла. Через пять минут спускайтесь.

— Здравствуйте, — произнес Донцов нарочито безучастным тоном. — Узнаете меня?

— Узнаю, — голос Шкурдюка, и без того не фельдфебельский, упал почти до мышиного писка.

— Говорите, все готово... — задумчиво повторил Донцов. — Это любопытно. А куда ушла машина? Забирать очередной труп?

— Я вас не понимаю, — пробормотал Шкурдюк. — Я ожидал звонок от родственника, покидающего город, потому и оговорился... Зачем вы пугаете меня?

— На чем, интересно, собирается уехать ваш родственник? В такое время поезда с вокзалов не отправляются.

— Проходящие отправляются... — продолжал оправдываться Шкурдюк.

— Назовите хотя бы один, ну? Только учтите, что железнодорожное расписание прямо у меня перед глазами.

Ответом ему было только тягостное молчание, куда более красноречивое, чем прямое признание во лжи. Употребляя боксерскую терминологию, можно было сказать, что Алексей Иг-

натьевич находится в состоянии «грогги», и, дабы окончательно добить его, Донцов без тени человеческого чувства в голосе провещал:

— Гражданин Шкурдюк, позвольте предъявить вам официальное обвинение в укрывательстве преступления и заведомо ложных показаниях. Попрошу оставаться на месте и дожидаться прибытия лиц, которым поручено проводить дальнейшие следственные мероприятия. Не пытайтесь сбежать или каким-либо иным способом помешать ходу расследования. Этим вы только усугубите свою вину.

— Какую вину? Вы, наверное, с ума сошли! — Поведение Шкурдюка еще раз доказывало, что мышонок, загнанный в угол, иногда начинает мнить себя львом. — Где ваши доказательства? Я буду жаловаться!

— Это ваше законное право. — Донцов положил трубку и уже для самого себя добавил: — Спорить со следователем вы все мастера, а теперь попробуй поспорить с собственной совестью.

Впрочем, никаких особых претензий он к Шкурдюку не имел. Человек неплохой, да душонка мелковата. Дабы творить зло, тоже характер надо иметь. Шкурдюк был нужен Донцову единственно для того, чтобы выйти на Котяру. Выйти не завтра, не через три дня, а именно сейчас, пока многоликое существо, выдающее себя за воскресшего Олега Наметкина, не успело совершить что-нибудь непоправимое.

Просить машину у дежурного, с которым только что довелось поцапаться, было не в правилах Донцова, однако тот сам пошел на мировую.

— Домой-то как доберешься? — поинтересовался дежурный. — В такое время, поди, и такси не поймаешь.

— Уж как-нибудь... Долечу на крыльях, дарованных ракшасами. — Донцову припомнилась фраза из только что прочитанной рукописи.

Дежурный, конечно же, ничего не понял, но на всякий случай хохотнул.

— Возьми нашу машину, — милостиво предложил он. — Только передай водиле, чтобы сигарет на обратном пути купил. Он знает каких. И пусть нигде не задерживается.

Донцов хотел приличия ради поблагодарить дежурного, но сделать это помешало странное чувство, вдруг охватившее его.

С беспощадной ясностью, даруемой свыше только аскетам, мученикам, страстотерпцам да еще тем, кто по собственной воле

расстается с этим миром, Донцов понял, что никогда больше не вернется сюда, не увидит этих обшарпанных стен, затоптанных ковровых дорожек, полузасохших фикусов, стенда «Лучшие люди отдела», стеклянного загона с надписью «Дежурный» и самого дежурного, в данный момент ковырявшего спичкой в ухе.

Прежде ничего такого с Донцовым не случалось, но от бывалых людей он слыхал, что подобные ощущения посещают иногда тех, кто уходит на рискованные задания, и ничего хорошего эти предчувствия не обещают. Чтобы обмануть судьбу, полагалось трижды обойти вокруг коня или перевесить шашку с левого бока на правый, но поскольку Донцов не располагал ни конем, ни шашкой, оставалось только смириться с судьбой. Да и к чему зря волноваться, если все на свете давным-давно предопределено?

Водитель, но не тот, который возил Донцова и Цимбаларя к фотографу, а другой, спал в странной, можно даже сказать, зловещей позе — неестественно запрокинув назад голову и оскалившись, словно висельник.

Машину он заводил, все еще пребывая в состоянии сна, а с места тронулся раньше, чем открыл глаза.

— Где это ты так намаялся? — участливо поинтересовался Донцов.

— А нигде! — энергично тряся головой, ответил водитель. — Просто сон у меня богатырский. Оттого и пошел на эту работу. Удобно. В семнадцать часов заступаешь на сутки, потом трое суток дома. А если к восьми или девяти утра, так я ни в жизнь не проснусь. Хоть огнем меня жги. Проверено на горьком опыте.

— Как же ты с таким талантом в армии служил? — удивился Донцов.

— В армии другое дело. Там старшина мертвеца с кровати поднимет. Хотя неприятностей по сонному делу и в армии хватало. Даже в столовой засыпал. С ложкой в руке. Меня по этой причине от караульной службы освободили.

— Трудно тебе живется, — посочувствовал Донцов.

— И не говорите! Главное, что и жена у меня любит поспать. Как говорится, два сапога пара. Завалимся, бывает, с ней вдвоем и сутки напролет дрыхнем. Не то что обед приготовить, а даже ребенка сделать некогда.

— К врачам обращался?

— Начальник автослужбы послал однажды в поликлинику, — вздохнул водитель.

— И какой же диагноз там поставили?

— Да никакой! Я в лаборатории уснул, когда кровь из пальца сдавал. Вечером уборщица прогнала.

Несмотря на свой загадочный недуг, с машиной он управлялся весьма уверенно и город, не в пример другим милиционерам-водителям, знал досконально. Причину этого сам он видел в здоровом сне, снимавшем не только усталость, но и все негативные эмоции, плохо влияющие на память.

— Я если в каком-нибудь месте хоть однажды побывал, потом его с закрытыми глазами найду, — похвастался он, подруливая к дому, в котором жил Шкурдюк. — Вас ждать?

— Не помешало бы. Да боюсь, что наш дежурный с ума сойдет. Мнительный тип.

— Что есть, то есть, — согласился водитель. — Однажды я ему сигареты не той марки купил. Так он меня потом целый месяц пилил... Да ладно, не пропадете. Ведь не на полюсе живем. Какой-нибудь транспорт обязательно подвернется.

— И я так думаю... Скажи, ты капитана Цимбаларя знаешь?

— Кто же его не знает!

— Попрощайся с ним завтра от моего имени, хорошо?

— А вы сами что же? Или в отпуск собираетесь?

— Да... Давно уже собираюсь. — Донцов вылез из машины и первым делом уставился в ночное небо, словно бы пытаясь отыскать там злополучную планету Нептун, под знаком которой его угораздило родиться.

Едва открыв дверь, Шкурдюк сразу же попытался перейти к активным действиям, выдвигая в свою защиту довольно весомые аргументы, среди которых были и презумпция невиновности, и конституционные права граждан, и прокурорский надзор, и обязательное присутствие адвоката, и многое другое, но Донцов, прекрасно знавший подобный тип людей, унял его одним-единственным словом, правда, сказанным с соответствующей интонацией:

— Засохни!

Мнительный Алексей Игнатьевич сразу решил, что столь бесцеремонное обращение допускается только с заведомо обреченными людьми, а стало быть, следователь располагает чем-то более веским, чем голословные обвинения (ордером на арест, например), и сразу сник. Нет на свете людей, которые не ощущают за собой хотя бы маленькой вины.

Робко присев на краешек своего собственного стула, он молвил:

— И все же вы не правы... Я в жизни мухи не обидел. Грубым словом никого не задел...

— Какое указание дал вам профессор Котяра, когда на стене третьего корпуса клиники появился вот этот знак? — Донцов помахал фотографией, на которой был запечатлен личный вензель Олега Наметкина. — Неужели забыли? Что-то не верится. Вы ведь буквально боготворите своего шефа. Хорошо, я освежу вашу память. Котяра запретил удалять этот знак, хотя причин своего весьма странного решения не объяснил. Разве не так?

— Так, — выдавил из себя Шкурдюк. — Но разве это преступление?

— А разве нет? Тогда те, кто накануне Варфоломеевской ночи метили крестами дома гугенотов, тоже могут считать себя невинными овечками. Этот символ, намалеванный под окном палаты Наметкина, имел вполне определенное значение. Он как бы зазывал убийц, и те не преминули явиться... Что еще сказал вам тогда Котяра? Или мне опять напомнить?

— Господи, какие страсти... — Шкурдюк поежился. — Он попросил меня следить за всеми, кто заинтересуется знаком. В первую очередь за людьми неадекватного поведения, ранее к клинике отношения не имевшими.

— Ну и чем ваша слежка закончилась?

— Честно сказать, ничем. Сначала все косились на этот знак, а потом просто перестали замечать.

— Ворон вы преследовали по собственной инициативе? Без какой-либо задней мысли?

— Просто не люблю я их. И крыс тоже не люблю.

— Вы знали об особом статусе Олега Наметкина?

— Знал кое-что.

— А если конкретнее?

— Я не врач, а хозяйственник. Отсюда и моя информация... Средств на Наметкина уходило гораздо больше, чем на любого другого пациента. Для него приобреталось новейшее оборудование, приглашались консультанты из-за рубежа. Профессор возлагал на Наметкина очень большие надежды.

— Какие именно? Ведь, как я понимаю, Наметкин был психически здоров, а паралитиками ваша клиника не занимается.

— Трудно судить о том, в чем я не подкован... Эксперименты с Наметкиным попахивали какой-то, простите за выражение, чертовщиной. То, что пациент лежал без сознания в палате, еще ничего не значило. В то же самое время он мог находиться в дру-

гом месте, причем в совершенно ином облике. И даже инкогнито явиться в клинику...

— Чтобы убить настоящего Наметкина, — добавил Донцов.

— Боже упаси! Об этом никогда и речи не было. Профессор весьма честолюбивый человек. По-хорошему честолюбивый, прошу это заметить. В свое время многие его открытия по известным причинам были засекречены, а когда наступила гласность, он уже утратил на них приоритет. Возможно, Наметкин был его последней крупной ставкой. Успех эксперимента, суть которого мне неизвестна, обеспечил бы ему мировое признание...

— Или мировую власть. Вам не приходило в голову, что Наметкин для профессора Котяры то же самое, что гиперболоид для инженера Гарина. То есть некий вид абсолютного оружия.

— Вы простите, но так может рассуждать только дилетант. — Шкурдюк мог стерпеть любую личную обиду, но к доброму имени шефа относился трепетно. — Вы не знаете психологию медиков! Если каждый человек — отдельный мир, то врач — властелин миров по самой своей природе. Это вы поймете, когда окажетесь на операционном столе. Вы узрите господа бога в марлевой маске на лице и со скальпелем в руках.

— Смею вас заверить, гражданин Шкурдюк, что представителям моей профессии тоже случается брать на себя функции всевышнего. Свобода или неволя — выбор не менее суровый, чем жизнь или смерть. Это вы поймете, когда окажетесь на нарах. Поэтому не надо становиться в позу оскорбленной невинности, а тем более закатывать истерику. О видах профессора Котяры на мировое господство я говорил в чисто теоретическом плане. Его личных моральных качеств, а тем более престижа всей врачебной братии я и словом не коснулся.

— Извините, наверное, я вас не так понял.

— Будем считать, что мы не поняли друг друга взаимно... Вы лучше мне вот что скажите: профессор Котяра продолжал работать с Наметкиным и после того, как пациент впал в кому?

— Первое время чуть ли не каждую ночь. Потом, правда, немного поостыл... Но, в общем-то, кома была для Наметкина нормальным состоянием. Но на столь долгий срок, как в последний раз, он в нее никогда не впадал.

— Как отнеслись к смерти Наметкина в клинике?

— По-разному. В основном безучастно. Для нас это явление обыденное. Но были, конечно, и злопыхатели. К любимчикам сильных мира сего простой народ всегда относился пристрастно.

— Профессор сильно переживал?

— Сначала пришел в бешенство и чуть было не уволил меня. Ведь это именно я отвечаю за охрану. Полдня просидел, запершись в кабинете, и все время звонил куда-то. А потом, похоже, ему пришла в голову какая-то конструктивная идея.

— И после этого вы посетили учреждение, в котором я числюсь на службе?

— Да. — Шкурдюк, к этому времени уже немного осмелевший, вновь потупился.

— Он назвал мою фамилию заранее?

— Да.

— В каком контексте? Положительном? Отрицательном?

— Сейчас уже трудно вспомнить... По-моему, Котяра о вас хорошо отозвался. Сказал, что расследованием займется толковый и опытный человек. Знаток своего дела.

— И все?

— Велел помогать вам... — красноречие, прежде так свойственное Шкурдюку, внезапно покинуло его.

— Помогать, стало быть... — повторил Донцов. — А заодно не болтать ничего лишнего и фиксировать каждый мой шаг.

— Зачем же так категорично... Вы войдите в положение профессора. Чужой человек будет рыться в нашем грязном белье. Не каждому это понравится.

— Что еще было сказано? — настаивал Донцов. — Касающееся лично меня? Не как следователя, а как человека со всеми его слабостями? Выкладывайте!

— В общем-то, я сам затронул эту тему. — Шкурдюк не находил места ни своим рукам, ни глазам. — Сказал, что утечка информации неизбежна. Многое может вскрыться до времени. Дескать, сейчас, когда исследования не закончены, нам лишняя реклама ни к чему. Нельзя давать повод для сенсации. Ну и так далее. Профессор меня успокоил. По его словам, причины для беспокойства отсутствовали. Он якобы отнесся к выбору следователя очень тщательно. Такой и захочет, да не подведет. Это про вас... Потом профессор сказал какой-то афоризм... Дайте вспомнить... Все люди смертны, но некоторые смертны в гораздо большей степени... Кажется, так...

— «Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен, вот в чем фокус», — поправил его Донцов. — С чего бы это профессор психиатрии стал цитировать профессора черной магии? Не оттого ли, что сам вступил на его скользкий путь?

— Признаться, я вас не совсем понимаю...

— И поделом! Я вас целую неделю не понимал. За дурачка меня держали. Надеялись, что я и убийство раскрою, и все ваши тайны с собой в могилу унесу.

— Вы обратились не по адресу. Я всего лишь мелкая сошка и не собираюсь отвечать за других. — Шкурдюк отодвинулся на самый край дивана, подальше от позднего гостя.

— Дойдет очередь и до других, — заверил его Донцов. — Почему труп Наметкина кремировали еще до начала следствия? Почему уничтожили историю болезни?

— Не знаю. Меня в такие тонкости не посвящали.

— Зато я знаю. На трупе имелись следы пыток. А по истории болезни можно было вычислить, чьих это рук дело.

— Повторяю, я не врач. Но знаю точно, что никаких пыток не было. Боль Наметкину причиняли, но это было непременное условие экспериментов. Встряска. Толчок. Побудительный импульс.

— Хорош толчок, если душа из тела вылетает! Хотелось бы послушать, как вы про этот импульс на суде будете излагать. Очень сомневаюсь, что вам кто-нибудь поверит. За исключением, быть может, адвоката. Но у того профессия такая — верить подсудимым.

— Боже, зачем я только влез в это дело? — Шкурдюк обхватил голову руками, словно боялся, что его сейчас отдерут за уши.

— Если хотите остаться чистеньким, немедленно отвезите меня к профессору. Думаю, вас он примет и среди ночи. Там на месте все и решим.

— Нет. — Не убирая рук, Шкурдюк покачал головой. — Это невозможно.

— Почему?

— Профессора вы не найдете. Даже при моей активной помощи. А больше я вам ничего не скажу.

— Еще одну загадку вы мне загадали, гражданин Шкурдюк. Но эта попроще будет. Такие загадки профессионалы щелкают, как орехи. За кем это, спрашивается, машина вышла? Кто должен спуститься вниз через пять минут? Уж не профессор ли Котяра, которого ждут не дождутся в Норвегии на какой-то там конференции?

Шкурдюк смотрел прямо перед собой, и лицо его, прежде похожее на расплывшуюся оладью, окаменело.

Убедившись, что помощи от него не дождешься, Донцов пододвинул к себе телефонный аппарат и раскрыл записную книж-

ку, где все номера были, что называется, «центровые» — звони хоть в покои митрополита, хоть в администрацию президента.

Поймав косой взгляд Шкурдюка, Донцов состроил просительную улыбочку.

— Разрешите воспользоваться вашим телефончиком? Молчание воспринимаю как знак согласия. Премного благодарен... Алло, это диспетчерская аэропорта? Барышня, когда ближайший рейс на Осло? Через полчаса! Вот блин, не успеваю. А следующий? Только спустя двое суток. Очень жаль. Придется добираться автостопом.

— Я ведь предупреждал, что вам не найти профессора. — Шкурдюк все же нарушил обет молчания. — Через неделю он *вернется, тогда и побеседуете.*

— Через неделю будет поздно. Планета Нептун перейдет в другой дом, Луна попадет под влияние Сатурна, и ситуация во всех мирах, как потусторонних, так и посюсторонних, изменится самым кардинальным образом. Нет, беседовать с профессором мы будем именно сегодня. Пока я не превратился в бесконечность.

Донцов выудил в записной книжке еще один не предназначенный для общего пользования номер и вновь овладел телефонным аппаратом. На сей раз он говорил свистящим, захлебывающимся голосом:

— Служба безопасности аэропорта? Слушайте меня внимательно и не перебивайте. В моем распоряжении всего несколько секунд. Я секретный агент, внедренный в террористическую организацию «Клиника». В авиалайнере, отлетающем ближайшим рейсом в Осло, установлено взрывное устройство. Примите незамедлительные меры к спасению пассажиров и экипажа. Все, конец связи, сюда идут... — придерживая трубку плечом, Донцов хлопнул перед микрофоном в ладоши, что должно было имитировать звук выстрела.

— Что вы делаете! — вскричал Шкурдюк. — Ведь по номеру телефона могут вычислить мой адрес! Как будто бы мне своих неприятностей мало!

— Это когда еще будет, — махнул рукой Донцов. — А теперь поехали в аэропорт. Вы получите уникальную возможность еще раз попрощаться с любимым шефом.

— Творимые вами беззакония переходят все границы, — напыщенным тоном произнес Шкурдюк. — Учтите, я делаю это только под грубым нажимом с вашей стороны.

— Я-то, конечно, учту, но вам самому от этого заявления какой прок?

— Есть люди, для которых самооправдание важнее судебных решений и людской молвы...

Машина Шкурдюка ночевала на охраняемой стоянке в пятистах метрах от дома — как говорится, хоть и под открытым небом, да под присмотром.

Во всем районе это было сейчас, наверное, самое людное место, поскольку на первом этаже проходной функционировал ночной магазинчик, где торговали отнюдь не запчастями и смазочным маслом, а по соседству светилась всеми огнями мастерская автосервиса, в которой созидательная деятельность не утихала круглые сутки.

Здесь же околачивался пеший наряд милиции, весьма заинтересовавшийся странной парочкой, за полночь собравшейся куда-то ехать. Однако один из патрульных узнал Донцова и даже поздоровался с ним.

Шкурдюк, принявший этот вполне безобидный обмен любезностями за какой-то зловещий знак, который маньяк-следователь подал своим подручным, еще глубже втянул голову в плечи.

Все светофоры мигали желтыми огнями, интенсивность уличного движения упала до уровня, свойственного осажденным городам, а на загородном шоссе, куда они вскоре выскочили, сейчас можно было устраивать автомобильные гонки любой формулы.

На горизонте уже замаячило электрическое зарево аэропорта, когда джип Шкурдюка обогнала целая кавалькада милицейских машин, среди которых был и фургончик, перевозивший робота-сапера. Шли они со включенной сигнализацией, как световой, так и звуковой, будто бы спешили на задержание целой банды опасных преступников.

— Ох и влетит нам, — поежился Шкурдюк. — Такая сумятица поднялась. Представляю, как они рассвирепеют, когда не найдут мину.

— Мина не здесь, — произнес Донцов странным голосом. — Мина за Гималаями. Уж если она рванет, то ударная волна достигнет даже наших потомков в десятом колене.

После этих слов Шкурдюк надолго умолк, решив, очевидно, что следователь, и без того чересчур нервный, вообще повредился умом.

Аэропорт выплыл им навстречу, словно белый многопалубный лайнер, счастливо одолевший и бури, и мрак, и расстояния. Это был оазис света и жизни среди океана злой, промозглой ночи. Он никак не зависел от окружающего мира, скудного и враждебного, он даже звезды в небо запускал свои собственные — и грохот этих запусков не умолкал в округе.

Оставив машину на стоянке, они вошли в огромный вестибюль, где искусственный ветер шевелил глянцево-зеленую листву искусственных деревьев, отражавшую резкий искусственный свет.

Тревожная весть, бесспорно, уже дошла сюда, но никакой чрезвычайщины вокруг не замечалось — в залах ожидания мирно дремала или вяло прогуливалась публика, в барах стояли очереди, громкоговорители зазывали всех желающих в видеосалон, и только на табло, выдававшем информацию о взлетах и посадках самолетов, продолжала светиться строка, объявлявшая о рейсе в Осло, хотя по всем правилам она должна была исчезнуть еще час назад.

Возле стойки регистрации собралась кучка людей начальственного вида в самой разнообразной форме — летной, пограничной, таможенной, милицейской. Кое-кого из них Донцов знал, не лично, конечно, а, как говорится, шапочно — с кем-то вместе учился, пусть и на разных факультетах, с кем-то сиживал на одних и тех же совещаниях, с кем-то еще приходилось встречаться на оперативных мероприятиях.

Впрочем, заправляли всем люди в штатском — энергичные, трезвые и чисто выбритые, как будто бы сейчас было ясное утро, а не самый разгар ночи.

На глазок определив старшего из них (опыт, слава богу, имелся), Донцов представился и предъявил служебное удостоверение.

— Особый отдел, надо же! — Человек в штатском удивленно вскинул брови. — И что же вас привело сюда в столь поздний час?

— Я относительно задержки рейса в Осло, — пояснил Донцов.

— А как вы про это узнали?

— На то мы и особый отдел, — многозначительно произнес Донцов. — Вам ли не знать, для чего он создавался.

Человек в штатском этого, конечно же, не знал, но виду не подал. Благодаря высокому званию такие качества, как компетентность, выучку и деловитость, ему надлежало уже не прояв-

лять, а только демонстрировать, что, впрочем, тоже требовало определенных способностей.

— Хотите пройти на летное поле? — поинтересовался он.

— Попозже. Мне нужно взглянуть на пассажиров. Не исключено, что среди них имеются наши фигуранты.

— Тогда ищите их в накопителе. Всех вернули туда... А это кто? — Он ткнул пальцем в Шкурдюка.

— Мой водитель, — ответил Донцов, незаметно толкнув Алексея Игнатьевича локтем.

— Ему там делать нечего. — Человек сделал рукой жест, словно отгонял от себя комара.

— Дожидайтесь меня в машине, — глядя прямо в глаза Шкурдюку, твердо сказал Донцов. — Понятно?

— Понятно, — буркнул тот.

— Не «понятно», а так точно.

— Так точно, — обронил Шкурдюк и вразвалочку направился к выходу.

— Вижу, что дисциплина личного состава и в особом отделе хромает, — изрек человек в штатском.

— Хромает — не то слово. Скорее ковыляет. — Стиль мышления подобных типов Донцов знал в совершенстве и сейчас волей-неволей должен был подлаживаться к нему. — Человека можно заставить работать или за страх, или за деньги. Какие у нас платят деньги, вы сами знаете. А страх в народе выветрился.

— Ничего, — заверил его человек в штатском. — Рано это быдло радуется. Вернется еще к ним страх. Как раз над этим мы сейчас и работаем...

Накопитель — продолговатое, лишенное окон помещение, откуда бортпроводницы партиями выводят пассажиров к трапу самолета, — был переполнен. Не только людьми, но и, фигурально выражаясь, граничащей с паникой нервозностью.

А что еще должен испытывать человек, сначала прошедший всю хлопотную процедуру посадки, удобно разместившийся в салоне авиалайнера, а потом чуть ли не силой водворенный в тесный загон, где даже присесть было не на что?

И виной всего этого бедлама был Донцов. Прежде, совершив нечто подобное, он бы со стыда сгорел, а сейчас ощущал себя едва ли не героем. Вот оно каково — знать истинную цену своих поступков!

Профессора Котяру Донцов нашел у самого выхода, где через распахнутую дверь был хорошо виден злополучный самолет,

окруженный пожарными и милицейскими машинами (санитарные пока держались на втором плане).

Лицо профессора выглядело усталым и обрюзгшим. Видимо, ночь была для него не самым лучшим временем суток.

— Вы как сюда попали? — спросил профессор после того, как они поздоровались.

— Да вот захотелось с вами попрощаться. Вдруг больше не увидимся.

— Я ведь не навсегда улетаю. Через неделю вернусь.

— Вы-то вернетесь, да я могу вас не дождаться. Сами ведь знаете, какое у меня здоровье.

— Судя по тону, вы имеете ко мне какие-то претензии. Я готов их выслушать.

— Дело в том, что о вероятном исходе своей болезни я узнал только вчера. Причем от посторонних людей.

— Вот оно как... Тогда извините. Представляю, каким чудовищем я вам кажусь. Дескать, привлек вас к расследованию исключительно по той причине, что потом хотел все концы спрятать в воду... Пардон, в могилу.

— А разве не так?

— Пусть будет так. Как любой практикующий врач я не лишен цинизма и на человеческую жизнь, точнее, на ее финал, смотрю несколько иначе чем, скажем, мой заместитель Алексей Игнатьевич Шкурдюк, который легко согласился бы на вечную жизнь. Представляете вы себе человечество как сборище бессмертных индивидов? Сейчас нами правил бы даже не Иван Грозный, а какой-нибудь царь Горох. Бессмертие — это застой, косность. Смерть каждого отдельного человека есть победа всего человечества в целом. Прогресс возможен лишь благодаря смене поколений. Конечно, все это отвлеченные рассуждения. Дескать, посмотрим, что ты запоешь, когда тебя самого прихватит! Да, человек слаб, и с этим приходится считаться. Но с некоторых пор к проблеме неизбежной смерти я отношусь весьма спокойно.

— Причиной этому стало знакомство с Олегом Наметкиным?

— Нет. Почему-то я всегда верил в существование некой бессмертной субстанции: души, атмана, нуса, ка. То есть чего-то такого, что отличает нас от всех других живых существ. В генетическом коде человека записаны все его видовые и индивидуальные признаки, даже форма ушей и степень волосатости тела. Но там нет ничего, что указывало бы на существование разума. Скорее

всего, это нечто привнесенное со стороны. Дарованное человеку, небом или пеклом, но дарованное. И этот дар, не имеющий никакой связи с животным миром, частью которого, несомненно, является и человек, вполне может обладать такими качествами, как нетленность, бессмертие. Отсюда уже рукой подать до метафизики, теософии, оккультизма или любой другой доктрины, признающей существование души... Хочу попутно задать вам один вопрос. Чем Олег Наметкин отличался от обычного человека, такого, как вы или я?

— Исходя из фактов — ничем. Исходя из неподтвержденных слухов, сплетен и домыслов — способностью развоплощаться, то есть отделять свою душу от тела, а потом заставлять ее путешествовать в прошлое, используя телесные оболочки предков, как ступеньки лестницы.

— Браво. Лучше и не скажешь. Похоже, время даром вы не теряли. А теперь представьте себе, что столь же экзотические способности обретут и другие люди. Вряд ли кто-нибудь откажется взглянуть на мир глазами прадеда или прабабки. Все кинутся в прошлое, и для человечества это обернется катастрофой, сравнимой разве что с атомной войной или падением огромного метеорита... Естественно, что, задавшись целью найти убийцу Наметкина, я не желал огласки, хотя заранее было ясно, что толковый следователь докопается до сути дела. Так оно, похоже, и случилось. Поэтому из дюжины кандидатур, любезно предложенных мне вашим руководством, я выбрал именно Геннадия Семеновича Донцова. Согласитесь, жалко было упускать такую возможность. Но я не мог тогда даже предвидеть, что диагноз собственной болезни является для вас тайной. Еще раз прошу прощения. Но все же мне кажется, что сюда вы явились вовсе не для того, чтобы плюнуть в мою подлую рожу.

— Теперь, честно говоря, я и сам не знаю, для чего явился сюда... Сами вы верите в историю Наметкина?

— Абсолютно! Я проверил достоверность некоторых эпизодов, рассказанных им. Все сошлось один к одному. Да и придумать такое просто невозможно. Столько деталей, столько подробностей, причем совершенно точных, из быта совсем других эпох и совсем иных народов...

— Как он приобрел свой... дар?

— Совершенно непроизвольно. Во время террористического акта, случайной жертвой которого оказался Наметкин, в его голову угодил кусок металла, так там и оставшийся. Естественно, это не могло не повлиять на деятельность мозга, с одной сторо-

ны, вызвав паралич, а с другой — пробудив совершенно необыкновенные способности. Это первый фактор. Второй фактор — сильнейшая психологическая установка на суицид, которую он стал вырабатывать в себе, убедившись, что другим путем уйти из жизни не сможет. Все это, вместе взятое, и позволило его душе однажды покинуть тело. Впоследствии, действуя уже вполне осознанно, он использовал для развоплощения болевой шок.

— Ладно. Допустим, что Наметкин посещал прошлое. И мог как-то влиять на него. Кем, по-вашему, он был — орудием слепого случая или инструментом предопределенности?

— Этот вопрос еще раз свидетельствует в вашу пользу. С самого начала для нас это была проблема проблем. В конце концов мы пришли к следующему выводу: все, что Наметкин еще только собирается сделать, в прошлом уже совершилось. Этому даже нашлись доказательства, пусть и весьма спорные.

— То есть мир в привычном для нас виде существует только благодаря стараниям Наметкина?

— Не исключено.

— Вам известно, что в античные времена он убил легендарного Минотавра, настоящее имя которого было Астерий?

— Нет, — впервые за все время разговора Котяра утратил свою слегка высокомерную невозмутимость. — Но именно эту цель он ставил перед собой, отправляясь в последнее душестранствие.

— Куда? — переспросил Донцов.

— В душестранствие. Такой термин мы придумали для обозначения его визитов в прошлое. Но откуда вам это известно? Вы встречались с Наметкиным?

— Дать ответ на ваш вопрос не так просто, как это кажется. Пока я отвечу так — вполне возможно. Кроме того, я разговаривал по телефону с человеком, назвавшимся его именем, и читал записки другого человека, также написанные от лица Наметкина.

— Неужели он раздвоился?

— Если бы! Речь идет о четырех или пяти существах. Кроме того, вполне возможно, что не все они люди.

— Это невозможно.

— Все, о чем говорили вы, прежде тоже казалось мне невозможным. Верить в это нельзя, но к сведению принять следует. Вот и вы примите мои слова к сведению.

— Хм... — задумался Котяра. — Если случаи расщепления личности встречаются сплошь и рядом, то почему же нельзя рас-

щепить душу. Вопрос лишь в методике... Кто лишил жизни телесную оболочку Наметкина? Те самые существа, о которых вы говорили?

— Да, — после некоторого колебания произнес Донцов.

— А какой в этом смысл?

— Пока не знаю.

— Вы можете свести меня с кем-нибудь из этих Наметкиных?

— Нет. Я и сам не имею с ними контакта. До самого последнего времени они были для меня дичью, а я для них — охотником.

— Теперь ваши взаимоотношения изменились?

— Это скоро прояснится.

— А возможность того, что с нами ведет игры вовсе не Наметкин, а кто-то другой, присвоивший его имя и память, вы не учитываете? Ведь мы даже представить себе не можем, в каких адских безднах он побывал и с какими порождениями потустороннего мира столкнулся.

— Такая мысль приходила мне в голову. Но кем бы ни оказалось это создание на самом деле — Наметкиным или его антиподом, — мы против него практически бессильны. С предопределенностью нельзя бороться, ни с доброй, ни с дурной.

— Предопределенность как раз и подразумевает действие, борьбу, — горячо возразил Котяра. — Ничего не предпринимая, мы и ничего не добьемся. Да, дело принимает скверный оборот... Я, пожалуй, откажусь от поездки в Норвегию.

— Зачем? Вы уже не в состоянии что-либо изменить. Роль профессора Котяры сыграна, и сейчас был ваш последний выход. Финал доиграют без вас. Кроме того, в сложившейся ситуации, — Донцов кивнул на летное поле, залитое огнем прожекторов, — внезапный отказ от полета может быть воспринят не совсем адекватно.

— Подождите. — Котяра прищурился. — Уж не ваших ли рук это дело?

— Никаких комментариев, как принято сейчас говорить.

— Господи, зачем это вам понадобилось? Наши проблемы можно было обсудить как-то иначе. Цивилизованным методом...

— Иначе, сами знаете, не получилось. Избегали вы меня всячески. А что значит какая-то задержка рейса по сравнению со смертным врагом, угрожающим нам из-за Гималаев? Или даже по сравнению с моей скорой кончиной, которая будет вам так на руку.

— Вы сумасшедший!

— С кем поведешься, от того и наберешься... А Олега Наметкина или его убийц, что одно и то же, больше не ищите. Ваши пути разошлись раз и навсегда. Постарайтесь увековечить свое имя каким-то другим способом. Например, придумайте универсальное средство от запоя...

На летном поле загудели моторы, и пожарные машины, построившись в колонну, укатили прочь. Затем стал разъезжаться и милицейский транспорт. Половина прожекторов погасла.

— Приготовьтесь к посадке, — возвестила бортпроводница, все это время поддерживавшая связь с диспетчерской. — Администрация аэропорта приносит вам глубокие извинения за доставленные неудобства. Счастливого пути.

— Прощайте, — сказал Донцов, но толпа пассажиров уже унесла Котяру к распахнутым дверям. Напоследок они успели лишь обменяться мимолетными взглядами, в которых был и взаимный упрек, и взаимное сочувствие.

Дождавшись, пока накопитель опустеет, Донцов проследовал обратно в зал ожидания, для чего ему пришлось еще дважды предъявить удостоверение. Здесь, как и повсюду в стране, действовали законы блатного мира, один из которых гласил: «Вход рубль, выход — два».

У невидимой линии, отделявшей территорию России от зоны международной юрисдикции, буквально выплясывал Шкурдюк, которого едва сдерживали два юных пограничника.

— Ваша рация разрывается! — завопил, а вернее, пронзительно засипел он, завидев Донцова. — Сначала вас все время по имени-отчеству вызывали, а потом сплошной мат-перемат пошел.

— Вот беда! Как же это я умудрился ее в машине забыть! — Донцов в сердцах даже хлопнул себя по лбу. — Проклятые метастазы, совсем памяти лишили!

ГЛАВА 21

КУРС — БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Джип Шкурдюка ракетой несся сквозь ночь, и если бы самолет, уносивший профессора Котяру в Осло, двигался в том же направлении, машина от него, наверное, не отстала бы.

Донцов в который раз пытался связаться с Кондаковым, но

тот не отвечал. Не то старик отключил рацию, не то отключили его самого.

Шкурдюк был так поглощен дорогой, которая на такой скорости могла преподнести любой сюрприз, что даже не посмел поинтересоваться самочувствием улетевшего шефа. Единственное, о чем он успел попросить Донцова, так это о гарантии сохранности своих водительских прав, поскольку правила дорожного движения были несовместимы со столь бешеной скоростью.

— Это мелочь. Завтра я их вам хоть дюжину сделаю, — пообещал Донцов. — Можно даже на разные фамилии.

К счастью, на их пути не встретилось ни милицейских патрулей, ни пьянчуг, ни бродячих псов, ни таксистов, которые страсть как не любят уступать дорогу всяким чайникам.

Не прошло и получаса, как джип подкатил к Экспериментальному бюро и, описав вокруг него петлю, остановился там, где указал Донцов — с тыльной стороны, среди куч обледеневшего мусора, похожих на противотанковые надолбы.

— Я пойду с вами, — сказал Шкурдюк, которому, наверное, просто страшно было оставаться одному в столь мрачном и пустынном месте.

— Вы фильм «Люди в черном» видели? — поинтересовался Донцов. — Там агенты спецслужбы, контролирующей инопланетян, стирали случайным свидетелям память при помощи особого приборчика. У меня ничего такого при себе нет, так что потом придется применять обыкновенный кирпич. Если согласны, то пойдемте.

Шкурдюк был категорически не согласен и, едва только Донцов покинул машину, сразу задраил окна и заблокировал двери.

Ночью все выглядело совсем иначе, чем днем, и дырку в заборе он нашел далеко не сразу. Еще труднее было сориентироваться на территории, освещенной только светом звезд. Получая солидные деньги от заморских заказчиков, администрация бюро, как говорится, экономила на спичках. Впрочем, свет могли погасить и преднамеренно, дабы он не мешал обтяпывать разные неблаговидные делишки.

Конечно, страшна была не темнота сама по себе. Страшны были всякие ямы производственного и непроизводственного назначения, которые она скрывала. Сейчас только и не хватало, что провалиться в канализационный колодец, наполненный крутым кипятком или жидкими отходами гальванического цеха.

Препятствия наземные беспокоили Донцова в гораздо меньшей степени. Они заранее предупреждали о себе то ли темным силуэтом на фоне звездного неба, то ли каким-либо специфическим запахом, то ли внезапным появлением затишка, где совсем не ощущался ветер, свободно гулявший по территории Экспериментального бюро.

Таким манером он миновал несколько производственных корпусов, затемненных, словно в преддверии бомбежки, и увидел обширный светлый прямоугольник, который, несомненно, являлся стеклянной крышей монтажно-испытательного цеха, подсвеченной снизу скупым светом.

— Где же вы так долго пропадали? — раздался из темноты упрек, не менее горький, чем знаменитое «И ты, Брут?».

— Машина сломалась, — вынужден был соврать Донцов. — А вы сами почему мне потом не отвечали?

— Да я тут в запале за все подряд дергал и какую-то штучку оторвал, — признался Кондаков. — Только не могу понять какую. Техника нынче пошла уж больно мудреная. Не то что раньше...

— Свисток, конечно, был надежнее, — согласился Донцов. — Хотя, случалось, тоже подводил. Особенно на морозе.

Он ощупал рацию, которую ему сунул Кондаков. Починить ее на месте не представлялось возможным — старик оторвал не только антенну, но и шнур манипулятора. Чего только не сделаешь «в запале»!

— Сколько человек прибыло? — поинтересовался Донцов.

— Я в темноте не разглядел. Но много. Рыл пять как минимум. Кучей ввалились и сразу свет зажгли. Они там уже больше часа ошиваются. Может, подмогу вызовем?

— Обойдемся. Оставайтесь здесь для страховки. Внутрь войдете, если только услышите выстрелы. Но надеюсь, до этого не дойдет.

Как и предполагал Донцов, дверь, ведущая в цех, была не заперта. Правила техники безопасности требовали, чтобы двери производственных помещений не имели внутренних запоров и открывались исключительно наружу, дабы рабочие, даже объятые пламенем, могли беспрепятственно покинуть место аварии.

Таиться не имело смысла, и Донцов прямиком двинулся в глубь цеха, туда, где горел свет и слышались приглушенные голоса.

Пространство вокруг было заполнено всяческой технической тряхомудией и оттого напоминало декорацию из фантасти-

ческого фильма или чрево атомной подводной лодки. Судя по разноцветным огонькам, мерцавшим в полумраке, как кошачьи глаза (представляете, целая стая кошек, и все одноглазые!), большая часть аппаратуры находилась в рабочем состоянии.

Люди, под покровом ночи проникшие в испытательно-монтажный цех, завидев Донцова, сразу умолкли и, если можно так выразиться, пришли в некоторое замешательство.

В основном это были знакомые лица — старик Лукошников, Тамарка-санитарка, главный инженер Экспериментального бюро, еще накануне вечером убеждавший Донцова в надежности местной охраны.

Был, правда, и один посторонний человек, судя по приметам — тот самый тип, который в метро увильнул от Кондакова. Выглядел он так, словно только что проснулся и никак не мог врубиться в сложившуюся ситуацию.

Внутри цеха было так же холодно, как и снаружи, а потому никто не снял верхней одежды. Лукошников был облачен в просторный ямщицкий тулуп, Тамарка-санитарка в оранжевую синтетическую курточку, а их новый товарищ свой наряд, наверное, позаимствовал у огородного пугала.

— Привет честной компании, — сказал Донцов. — А где же Эдгар?

Старик Лукошников услужливо указал на загадочное устройство, похожее на гильотину, и, присмотревшись повнимательнее, Донцов разглядел здоровенного ворона, устроившегося на его верхотуре.

— Все, значит, в сборе.

— Все, — кивнула Тамарка-санитарка. — Только вас не хватало.

— Знакомый голос, — сказал Донцов. — Не с вами ли я беседовал вчера поздно вечером?

— Со мной... А вы никак арестовывать нас пришли?

— Не помешало бы. Грешков за вами немало водится... А вы не стесняйтесь, — обратился он к главному инженеру, так и порывавшемуся отступить подальше в тень. — Делайте свое дело. На меня внимания не обращайте. С вами потом будет отдельный разговор.

— Хотелось бы знать, что еще, кроме убийства Наметкина, вы нам инкриминируете? — осведомилась Тамарка-санитарка.

— Много чего. Побег из-под стражи. — Донцов стал загибать пальцы. — Кражу в акционерном обществе «Теремок». Незаконное приобретение официальных документов. Нападение на работника правоохранительных органов.

— Пустое. Никакого убийства не было. Это вы, наверное, уже и сами поняли. Олег Наметкин жив. Вот он перед вами. — Она поочередно указала на всех присутствующих, кроме главного инженера и самого Донцова, не забыв и про ворона. — А если нет состава преступления, значит, мое задержание было незаконным. Бежав из-под стражи, я лишь восстановила справедливость... Или восстановил... Тьфу, привык называть себя в женском роде!

— Не стесняйтесь. Как вам удобнее, так и говорите.

— Теперь относительно «Теремка». Насколько мне известно, официальной жалобы от его владельцев не поступало. А бандитские разборки, последовавшие после кражи, пошли только на пользу обществу. Что касается нападения на работника правоохранительных органов, то это вопрос спорный. Документов он не предъявлял, а вел себя как маньяк. Зенки свои кровавые выпучил и ходил за нашим человеком по пятам. Да и не убыло ему от стакана сока. Хоть рожу умыл лишний раз. Но мы готовы хоть сейчас извиниться перед ним.

— Как у вас просто получается. Извинился — и гора с плеч.

— А зачем усложнять каждую мелочь? Разве мало у нас с вами других забот?

— Действительно, забот выше крыши... Даже заводской... — Донцов мельком глянул вверх, откуда черное небо следило за ними тысячами мерцающих глаз. — Почему молчат остальные? Стесняются?

— У кого что... Аскольд Тихонович говорун известный. Но, превращаясь в Наметкина, точнее, в Наметкина Второго, дар речи теряет. Не достался ему этот дар при дележке. Эдгар, которого можно назвать Наметкиным Третьим, все понимает, кое-что помнит, но разговаривать не может в силу своей вороньей природы. Для общения с ним мы пользуемся так называемым текстовым методом. Берем газету или книгу, а он тыкает клювом в нужные буквы. По поводу нашего нового товарища, Наметкина Четвертого, сказать ничего определенного пока не могу: Интеллекта на его долю перепало маловато. Самый мизер. Мы за ним ходили, как няньки. Хорошо хоть, что штаны не забывает снимать, когда на унитаз садится.

— Вы, стало быть, Наметкин Первый?

— Угадали. Большая часть его сознания досталась мне. Память, речь, страсти. Вот только писать не сподобилось. Эта способность сохранилась только у Наметкина Второго. Я диктую, он пишет, причем на разных языках.

— Я ознакомился с отчетом, составленным вашими совместными усилиями... Кстати, чего ради вы над ним корпели? Надеюсь, не в назидание потомкам?

— Вот уж действительно рукописи не горят. — Выражение досады появилось на простоватом личике Тамарки-санитарки. — Если вы внимательно ознакомились с текстом, для посторонних глаз отнюдь не предназначенным, то должны знать, в каком плачевном положении оказался Наметкин, тогда еще целостный, попав в лапы смертельного врага, осведомленного о его способностях.

— Об этом, пожалуйста, подробнее. Текст уцелел лишь частично. Конца как раз и не хватает.

— Кто такой Ганеша, вы себе уяснили?

— Да. Человек, судьбою чем-то схожий с Наметкиным. Душа, скитающаяся по чужим телам.

— В общем-то, верно. Но разница между нами есть. Хотя бы в том, что Наметкин — скиталец-охранитель, а Ганеша — скиталец-разрушитель. Эгоцентрик, обиженный на весь белый свет. Отсюда и конфликт. Понимая, что убивать Наметкина бесполезно и даже опасно, поскольку он обязательно вернется в другом облике, Ганеша задался целью уничтожить его душу. Свеженькое решение, согласитесь. На подмогу себе он призвал чернокожих колдунов, веками скрывавшихся в глухих местах от завоевателей-ариев. Их народ, на санскрите называвшийся дасью, принадлежал к древнейшему населению Земли. Они не знали ни железа, ни колесниц, ни воинских искусств, зато в сокровенных тайнах человеческого естества разбирались досконально. Все, что является практикой и теорией йоги, перешло к ариям от дасью, хотя и в выхолощенном виде. Это была совсем иная цивилизация, почти инопланетная... Наметкина несколько дней подряд поили всякими тошнотворными снадобьями, от которых у него появились диковинные глюки. Затем начался сеанс чего-то похожего на психотерапию, если только этот термин допустим в подобной ситуации. Не дай бог кому-нибудь еще пережить хотя бы малую толику того, что выпало на долю Наметкина. Он ощущал себя то зверем, то гадом, то камнем, то травой. Словами этого не передать. Короче, колдунам удалось расщепить его душу на несколько неравнозначных частей, которые и были извергнуты в ментальное пространство... Вам понятен этот термин?

— Не совсем, — признался Донцов. — Но вдаваться в подробности у нас просто нет времени.

— Хорошо. Сейчас я в двух словах расскажу о своей дальней-

шей судьбе. Оказавшись в менатальном пространстве, я, то есть осколок души Олега Наметкина, попытался, как обычно, вернуться в его телесную оболочку, прежде являвшуюся, так сказать, и отправным пунктом, и местом сбора. Однако это не удалось. Прежние пути были мне заказаны. Предки отвергали меня, принимая за чужака. После множества безуспешных попыток я воплотился в тело юной вьетнамской девушки, которую вы сейчас видите перед собой... Даже не знаю, какая связь могла существовать между ней и Наметкиным. Наверное, где-нибудь на уровне пятисотого поколения...

— И каково это, оказаться в женском теле? — не утерпел Донцов.

— Ничего особенного. Я уже привык. — Наметкин Первый вновь заговорил о себе в мужском роде. — В теле Минотавра было значительно хуже... Естественно, меня тянуло в эту страну и в этот город. Меня тянуло к собственному телу, которое пребывало в беспомощном состоянии. Вьетнамка ничего не соображала в нынешней жизни, и мне все пришлось делать самому. Как я добирался сюда, это отдельная история. К предыдущим обвинениям можете добавить незаконный переход границы, взяткодательство и сотрудничество с международной мафией.

— Свидетельства против себя юридической силы не имеют.

— И на том спасибо... Год ушел на то, чтобы обжиться, раздобыть нужные документы и устроиться на работу в клинику. Все это время сознание вьетнамки как бы дремало, поскольку мне оно только мешало. Наметкин пребывал в глубокой коме, но я сразу понял, что какая-то частица души, пусть и ничтожная, в него вернулась. Моя ущербность давала о себе знать на каждом шагу. Я не умел писать и утратил многие необходимые в жизни навыки. Хуже всего было то, что я ничему не мог научиться заново. Оставалось надеяться, что существует какой-то способ соединиться с остальными частями личности Наметкина. Но для этого их сначала нужно было собрать вместе.

— Знак на стене клиники — это ваших рук дело?

— Да. Нужен был какой-то ориентир для... остальных Наметкиных. Я верил, что рано или поздно они явятся в клинику.

— До этого вы утверждали, что не умеете писать.

— Тут совсем другое дело. Намалевать по памяти две самые простые буквы и четыре цифры сумеет даже неграмотный.

— И кто же первым откликнулся на ваш сигнал?

— Как ни странно, ворон, которого мы потом прозвали Эдгаром.

— По ассоциации с Эдгаром По? «Только я наружу глянул, как в окошко ворон прянул...»

— Возможно. Хотя получилось это совершенно неосознанно... Я не сразу признал его равным себе, в чем сейчас искренне раскаиваюсь. Потом он стал самым моим близким другом.

— И соучастником во всех преступлениях, — добавил Донцов.

— Деньги я добывал отнюдь не для развлечений. Цель моя вам хорошо известна — сохранить исторический процесс в неизменном виде. Не дать безумцу Ганеше, жаль, я не знаю его настоящего имени, разрушить то, что складывалось веками и в итоге породило наш мир. — Человеческое существо, которое язык не поворачивался назвать Тамаркой-санитаркой, широко раскинуло руки, словно пытаясь обнять все вокруг: монтажно-испытательный цех, собравшихся в нем людей, родной город, родную страну и саму планету, где были сотни других стран, тысячи городов и миллиарды людей.

— Ну, насчет средств это понятно, — сказал Донцов. — Сейчас в них кто только не нуждается. Наверное, даже ангелы небесные. Хотелось бы немного узнать о технологии ваших действий.

— Эдгар высматривал подходящую цель и наводил на нее меня. Согласитесь, трудно заподозрить в чем-то птицу, днями напролет наблюдающую за работой кассира. Да и хрупкая азиатская девушка особого внимания не привлекает. Если было нужно, Эдгар через форточку проникал в помещение и открывал дверные запоры изнутри. Умел он и многое другое — орудовать ключами, набирать шифр на кодовых замках.

— Хотите сказать, что кража из «Теремка» была не единственной?

— Что уж тут скрывать! Но мы изымали только те деньги, которые были нажиты преступным путем. Поэтому и соответствующих заявлений в органы не поступало.

— Под Робин Гуда косите, — понимающе кивнул Донцов.

— То, что вы шутите, внушает некоторую надежду...

— А как давно ваш дуэт превратился в трио?

— С прошлого лета. Правда, с Аскольдом Тихоновичем все было несколько иначе, чем со мной. Его телом удавалось пользоваться лишь урывками. Наметкиным он бывал не больше нескольких часов в сутки, причем сам об этом и не подозревал. Две личности уживались в нем независимо друг от друга.

— Это он подал мысль воссоединить душу Наметкина с помощью психотрона?

— Конечно. Тут нам повезло. Хотя о тематике работы Экспериментального бюро я к тому времени уже знал из публикаций в прессе... Но для воссоздания цельной личности мы нуждались еще и в коматознике Наметкине, вернее, в той части души, которая оставалась в нем. А поскольку похитить пациента из клиники было невозможно, хотя такой план тоже рассматривался, мы избрали единственно возможный вариант.

— Убийство! — патетически воскликнул Донцов.

— Да хватит вам! То, что вы называете убийством, было лишь еще одним шагом на пути к спасению. Не только Наметкина, как личности, но и всего человечества, включая вас самих... простите... близких вам людей.

— Не надо извиняться, — невесело усмехнулся Донцов. — Оговорились, с кем не бывает. Спасти меня могут разве что только чернокожие колдуны, тысячи лет тому назад замучившие Олега Наметкина... Хотелось бы знать, зачем вы читали коматознику историю злоключений кшатрия Ачьюты?

— Я читал это не коматознику, а той части души Наметкина, которая продолжала здравствовать в его теле, хотя почти никак себя не обнаруживала. Читал не только ради того, чтобы освежить ее память, но и побудить к вполне определенным действиям. Текст, которым я пользовался, был не отчетом, а скорее инструкцией. Как видите, она свое дело сделала. — Последовал кивок в сторону новичка, с идиотским видом пялившегося на них пустыми глазами.

— Зрелище жалкое, — констатировал Донцов.

— А вам бы все критиковать! Хоть и плохонький, да из наших, из Наметкиных. По сравнению с целым он малость, пустяк, а ведь все толком сделал. И в ментальное пространство ушел, и назад вернулся, и воплотился, как следует, и даже свое новое тело сюда пригнал. Вот что значит правильная психологическая установка.

— Рисковали вы, конечно. Могли и обмануться.

— Честно сказать, я до сих пор не уверен, что все мы в сборе. Наметкин Пятый, вполне возможно, гуляет сейчас где-нибудь по Африке, а Наметкин Шестой в образе пингвина ловит рыбу в Антарктиде.

— А если без шуток, как частице души Наметкина угораздило обратиться в птицу?

— Я и сам удивляюсь... Млекопитающие произошли от пресмыкающихся точно так же, как и птицы. Все мы в чем-то родственники. По-видимому, Наметкин Третий нырнул очень глубоко в прошлое. Аж в мезозойскую эру.

— Я бы хотел уточнить насчет первой попытки покушения. Когда вы наняли киллера... Кто отключил сигнализацию?

— Я и отключил. Наметкин Первый... Да, попали мы тогда впросак. Угораздило связаться с каким-то мерзавцем.

— Почему бы сразу не послать на дело Эдгара? Дешево и сердито. Пару раз тюкнул клювом — и шланг пополам.

— Опять издеваетесь. Не очень-то красиво поднимать руку... или клюв на себя самого. У нас такого варианта и в мыслях не было. Нужда, как говорится, заставила.

— Как я, дурак, не догадался отправить поврежденный шланг на экспертизу. Ведь на нем должны были остаться микрочастички птичьего клюва.

— Мы потом про это тоже подумали. Эдгар спер шланг прямо из кабинета следователей. Они его, наверное, до сих пор ищут.

— Еще один вопрос. Откуда вы узнали о моей болезни?

— Когда началось расследование, Эдгар стал наведываться к вашему учреждению. Слух у него похуже, чем зрение, но по человеческим меркам отменный. В ваше отсутствие коллеги только про это и судачили. Дескать, сколько еще Донцов протянет...

— Понятно. Спасибо, хоть вы меня просветили.

— Поверьте, мне очень трудно дались те слова.

— Ладно... Допустим, все у вас получится. Наметкин вновь станет единым целым и сохранит способность к воплощению. Как он будет действовать дальше? Бороться с Ганешей?

— Наметкин будет бороться не с Ганешей, а с ситуацией, позволившей ариям осуществить вторжение в Европу. Для этого придется заранее подорвать их мощь, стравив между собой разные кланы. В известном нам прошлом это уже случилось. После побоища на поле Куру военная мощь ариев уже не возродилась. Погиб цвет нации, единственным устремлением которой были захватнические войны. В том прошлом, где к власти пришел Ганеша, об этой битве и слыхом не слыхивали. Герои, по достоверным сведениям погибшие на поле Куру, спокойно доживали свой век, успев взрастить многочисленное и кровожадное потомство.

— Клин, значит, будете вышибать клином, огонь тушить огнем, а зло изживать другим злом?

— Иначе и не бывает. Добро побеждает зло лишь в сказках. Факт, конечно, прискорбный, но от него никуда не денешься. Только зло ведь тоже разное. Бывает зло бесконтрольное, оголтелое. А бывает вынужденное, строго дозируемое.

— Вам виднее. Как-никак сотня жизней за спиной... Но сейчас, похоже, вы на правах статиста. Первую скрипку сыграет наш многоуважаемый хозяин. — Донцов сделал приветственный жест в сторону главного инженера, стыдливо жавшегося поближе к аппаратным стойкам.

— Случается, что техника приходит на помощь мистике, — сказал Наметкин Первый.

— Случается, — кивнул Донцов. — Но не всегда из бескорыстных побуждений. Или наш ученый друг закоренелый бессребреник?

— Деловые отношения — самые надежные, — изрек Наметкин Первый. — Наши деньги за его услуги, и никаких антимоний.

— Деньги, надо думать, немалые?

— Все, какие у нас остались. В ментальное пространство их с собой не возьмешь, а вы от своей доли отказались.

— В могилу я их тоже не возьму, — буркнул Донцов. — Кстати, а как это все будет выглядеть? Надеюсь, обойдется без кровопролития и членовредительства?

— Это уж вопрос к хозяину. — Наметкин Первый оглянулся на главного инженера. — Идите сюда, не тушуйтесь. Кое-кто хочет знать детали предстоящей операции.

Как только всеобщее внимание сосредоточилось на главном инженере, он немедленно заявил:

— В моих действиях нет ничего противозаконного. Братья Райт катали на первом самолете всех желающих. Эдисон демонстрировал фонограф на ярмарках. Почему же я не могу использовать свое изобретение сходным образом? Эпоха тоталитаризма, слава богу, миновала.

— Интересно, а Нобель тоже давал попользоваться динамитом всем желающим? — осведомился Донцов. — Впрочем, вас никто не винит. Более того, может статься, что за сходную плату вы совершите благое дело. Однако публике желательно знать, на какое именно представление куплены билеты.

— Вот передающие установки. — Главный инженер нехотя указал на громоздкое устройство, которое Донцов вначале принял за модернизированную гильотину. — Их назначение — перевести в форму электрических импульсов все то, что принято называть сознанием, а затем перебросить полученную информацию в приемник.

— Что-то я этого приемника как раз и не вижу, — заметил Донцов.

— Приемником может служить любое существо, обладающее достаточно развитым мозгом, — пояснил главный инженер.

— Мы договорились, что это будет кто-то из нас, — добавил Наметкин Первый. — За исключением Эдгара, конечно.

— Еще раз предупреждаю, что разум человека, используемого как приемник, неизбежно пострадает. Он станет составной частью проецируемого разума. Последствия этого нельзя предугадать даже специалисту, — заявил главный инженер.

— А как же остальные участники вашей операции? — поинтересовался Донцов. — Я имею в виду тех, чьи тела банда Наметкиных использовала в своих целях. Им ничего не грозит?

— Абсолютно ничего. Утрата чуждого сознания на них никак не отразится. Это то же самое, что сбросить вериги. Хотя они очень удивятся, оказавшись вдруг в такой обстановке. — Главный инженер обвел взглядом полутемный цех, и в самом деле похожий на кошмарное видение.

— А кого вы собираетесь назначить приемником? — спросил Донцов у Наметкина Первого.

— Это решит жребий.

— Пардон! Неприятности грозят Аскольду Тихоновичу Лукошникову, девице Доан Динь Тхи и вот этому несчастному гражданину, даже имени которого мы не знаем, а жребий будут тянуть какие-то другие, совершенно посторонние люди. Это нечестно. Заявляю как дипломированный юрист.

— Иного выхода нет, — голос Наметкина Первого сразу посуровел, а Наметкин Второй, до этого не проронивший ни звука, угрожающе лязгнул затвором пистолета, на рукоятке которого, надо полагать, красовалась дарственная надпись.

— Есть. — Донцов на всякий случай вскинул руки вверх. — Используйте вместо приемника меня. Я ведь все равно обречен.

— Э, нет! — тотчас возразил главный инженер. — Так мы не договаривались. Куда я потом дену утратившего разум милиционера?

— Раньше надо было осторожничать, еще до того, как денежки брали, — отрезал Наметкин Первый. — Предложение, конечно, неожиданное. — Это относилось уже к Донцову. — И, наверное, самое разумное. Лично я его поддерживаю. Вы теряете несколько месяцев жизни, мучительных и безнадежных месяцев, а взамен получаете шанс начать совсем иное существование. В ментальное пространство мы уйдем как единое целое, а там найдем способ разделиться. Прежде такие прецеденты уже бывали.

— Пусть хотя бы расписку напишет, — не унимался главный инженер.

— Зачем? — поинтересовался Донцов. — Вы хотите огласки?

— Огласки я не хочу. Я хочу иметь на руках оправдательный документ.

— Не валяйте дурака, а лучше послушайте мой совет. Когда все закончится, немедленно уходите отсюда, но только не через те двери, в которые я вошел. Перед этим пальните из пистолета в потолок. Вон тот товарищ его вам с удовольствием уступит. На звук выстрела сюда явится мой коллега, дежурящий снаружи. Это уж ему придется разбираться, что здесь делает дворник-пенсионер, вьетнамская эмигрантка, неизвестный гражданин, прозванный «наружкой» Крестьянином, и свихнувшийся следователь. Уверен, что дело постараются замять, а про вас никто и не вспомнит. В крайнем случае допросят разок для проформы.

— Так и быть, — сдался главный инженер, и без того оказавшийся в безвыходной ситуации. — Пусть все займут положенные места. Заодно попрошу произвести окончательный расчет.

Первым в кабину психотрона впорхнул ворон Эдгар — этакий массивный летающий зверь, одинаково боевитый и на земле, и в небе.

Наметкина Четвертого запихнули внутрь чуть ли не силой.

Прежде чем занять свои места, Наметкин Первый отдал главному инженеру все оставшиеся деньги, а Наметкин Второй — именной пистолет, прежде принадлежавший Лукошникову.

Четыре одинаковые кабинки образовали квадрат, в центр которого встал Донцов.

Шли последние секунды его земного существования. Страждущая душа покидала уже почти испепеленное тело.

Впереди ее ждала бесконечность...

ЭПИЛОГ

ЗАКАТ НА ПОЛЕ КУРУ СПУСТЯ ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ

Великая битва шла на убыль, выдыхаясь, словно лесной пожар, обративший в головешки все могучие деревья, или как река, прорвавшая запруду и угодившая в зыбучие пески.

Почти все прославленные воины, некогда справедливо делившие между собой хлеб, вино и наложниц, восседавшие в од-

них и тех же пиршественных залах и собиравшиеся на войну под общие знамена, истребили друг друга в жестоких единоборствах или пали от руки простых лучников и копьеносцев.

Ожесточение их сердец было столь велико, а прошлые обиды казались такими нестерпимыми, что никто не брал пленных и сам не просил пощады.

Когда число мертвых превысило число живых, трупы перестали убирать с поля боя. Каждая новая схватка начиналась чуть в стороне от предыдущей, благо размеры Курукшетра позволяли это.

Роль могильщиков приняли на себя стервятники. Впрочем, когти хищных птиц и клыки шакалов были для кшатриев столь же приемлемы, как и огонь погребального костра. Самое позорное, что могло случиться с ними, — это мирная смерть в домашней обстановке. Таким неудачникам была заказана дорога на третье небо, где в чертогах Индры обитают павшие герои.

Дни, когда на бранном поле из-за тесноты нельзя было шагу ступить и принявшие смерть воины еще долго оставались в строю, зажатые со всех сторон телами товарищей, уже миновали, и нынче друг другу противостояли лишь кучки измученных бойцов и немногие колесницы, в которые приходилось запрягать чудом уцелевших верховых лошадей.

Все боевые слоны, краса и гордость любой армии, давно пали, пораженные в брюхо тяжелыми копьями, истыканные отравленными стрелами, обожженные горючей смолой, и сейчас их раздутые тела возвышались над человеческими и конскими трупами, заменяя стервятникам утесы, с которых те привыкли озирать окрестности.

Меня самого зовут Ашваттхаман — Могучий Конь. Происхождение мое самое низкое, но прозорливостью, хитростью, изобретательностью и многими другими качествами, не свойственными кшатриям, я завоевал доверие знатока военных искусств, брахмана Дроны, прозванного Кадушкой за то, что его якобы зачали в этой хозяйственной посудине. С некоторых пор меня считают сыном Дроны, что, конечно же, идет вразрез с законами варны.

Я сражался на стороне кауравов с самого первого дня, но на рожон не лез, заботясь больше о своей жизни, чем о славе. Побуждало меня к этому отнюдь не малодушие, а обязательства, данные перед сражением одному весьма достойному человеку. Так уж получилось, что на меня возложена важная миссия, являю-

щаяся заключительной частью хитроумного плана, придуманного в другие времена и в другой стране.

В начале битвы кауравы своим числом превосходили пандавов, однако на исходе первой недели силы сторон сравнялись, а теперь, когда массовое побоище превратилось в череду поединков, где одна колесница гонялась за другой и победу приносили опыт, выучка и отвага, но отнюдь не грубая сила, перевес явно клонился на сторону врага.

Беда состояла еще и в том, что в нашем поредевшем войске не осталось ни одного урожденного каурава, а все братья-пандавы, наоборот, уцелели.

Погиб и мой названый отец Дрона, бессовестно обманутый врагами, но почему-то меня больше всего потрясла смерть нашего предводителя — царя Дурьйодханы Неодолимого, старшего из кауравов.

В тот день удача сопутствовала пандавам, и они не только смели наши ряды, но и сумели захватить лагерь.

Дурьйодхана, усталый, израненный, лишившийся всей своей свиты, нашел прибежище в густых камышах соседнего озера. Здесь он был почти неуязвим, поскольку плавал, как рыба, даже в тяжелых доспехах.

Братья-пандавы, некогда давшие обет убить царя, рыскали в его поисках по всему Курукшетру.

Узнав об этом, я вместе с двумя другими славными витязями бросился на выручку Дурьйодхане и вскоре нашел его, по горло погруженного в воду, замутненную кровью. У него при себе даже не было оружия. В этот момент великий царь представлял собой поистине жалкое зрелище, одно созерцание которого подрывало веру в победу кауравов.

Мы попытались уговорить Дурьйодхану вернуться в строй и возобновить битву, однако он отказался, ссылаясь на усталость, хотя и пообещал восстановить силы к следующему дню. Нам не оставалось ничего другого, как вернуться назад и попытаться спасти то, что еще можно было спасти, а главное — свою попранную честь.

На ту беду проходившие мимо местные жители опознали царя и, побуждаемые корыстолюбием, выдали его пандавам.

Едва мы успели удалиться от проклятого озера на приличное расстояние, как туда примчалась вся эта свора, во главе с Арджуной, которого науськивал и подзадоривал его возничий Кришна (о нем я поведу речь потом).

Стоя на высоком берегу, пандавы принялись издеваться над

беспомощным царем, сравнивая его то с жабой, мечущей икру, то с болотной пиявкой, насосавшейся чужой крови.

— Выползай из грязи и сразись с нами, о властелин прибрежных камышей! — говорили они ему, держа наготове разящие луки.

Понимая всю безвыходность своего положения, царь ответил:

— Как мне сражаться с вами, если я одинок, спешен и безоружен, а вы угрожаете мне с колесниц мечами, копьями и стрелами.

Тогда Юдхиштхира, самый справедливый из пандавов, сделал царю следующее предложение:

— Мы могли бы убить тебя хоть сейчас, но такой поступок не достоин кшатриев. А потому предлагаем сразиться в поединке. Право выбора оружия пусть остается за тобой. Клятвенно обещаю, что если ты победишь, то будешь отпущен с миром.

Царь подумал немного и, видя, что иного пути к спасению нет, принял вызов.

Из всех видов оружия он предпочел самое редкое — палицу, пояснив при этом, что дабы блюда не приедались, их надо разнообразить. Был тут, конечно, и свой резон — правила подобного поединка, известные каждому кшатрию, предписывают бойцам спешиться и запрещают наносить удары ниже пояса.

Когда все условия были оговорены, царь восстал из озерных вод — израненный, но не сломленный, могучий, как скала, облаченный в позолоченные доспехи и сверкающий шлем. Даже враги признали, что в этот момент он был похож на Индру-вседержителя.

Со стороны пандавов на единоборство вышел Бхима Волчье Брюхо, славный не только обжорством и вспыльчивостью, но и неукротимостью в сражении. К этому времени от его могучей руки пало немало славных героев.

Поединок начался ударом царя, но Бхима легко отразил его и сам перешел в наступление, оказавшееся столь же безрезультатным. Затем удары посыпались градом с обеих сторон. От сшибающихся палиц летели искры, подобные стаям светлячков, добротные доспехи гнулись, как листья баньяна, из-под них выступала кровь.

Бой продолжался так долго, что противники несколько раз делали перерыв для отдыха, однако даже по прошествии изрядного времени никто не взялся бы предугадать его исход. Бхима превосходил царя физической силой, но тот был проворнее.

Все очевидцы дружно утверждали потом, что поединок был хоть и страшен своим озлоблением, но по-своему красив. Витязи походили то на слонов, выясняющих отношения из-за самки, то на богов, собравшихся обрушить небеса на землю.

Взаимообразно обмениваясь сокрушительными ударами, они в то же время смахивали на танцоров, состязающихся в грации и ловкости, а смертоносные палицы в их руках напоминали волшебные жезлы, дарующие как смерть, так и блаженство.

Подзадориваемый братьями, Бхима поразил царя в бок, и тот рухнул на колени. Многим показалось, что с кауравом покончено, но боль еще больше распалила его. Легко вскочив, он перешел в ответную атаку и так огрел пандава палицей по голове, что его шлем разлетелся вдребезги, а по всей округе разнесся звук, похожий на звон самого большого гонга.

Кровь хлынула по лицу Бхимы, однако он даже не пошатнулся, а лишь утерся краем стяга, по обычаю осенявшего ристалище. Бой возобновился с прежним остервенением.

Теперь они колотили друг друга, уже не заботясь о собственной защите и, падая после каждого удара, снова вставали, дабы продолжить схватку, которой, казалось, не будет конца.

И тогда хитроумный Кришна шепнул Арджуне:

— Оба бойца достойны победы, но каурав выглядит свежее. Бхима не одолеет его в честном бою. Придется прибегнуть к хитрости. Ничего зазорного в этом нет. Даже боги в своей борьбе с асурами не чурались запрещенных приемов.

Арджуну, чьи симпатии, естественно, были целиком на стороне брата, долго уговаривать не пришлось. В очередной раз поймав взгляд Бхимы, который этими переглядываниями укреплял свой дух, он выразительно похлопал себя по ляжке, что означало — забудь про правила и бей ниже пояса.

Тот сразу понял брата, ведь недаром они провели вместе в изгнании столько лет, и стал выбирать удобный момент для осуществления коварного замысла.

Выпал такой момент не скоро. Более того, в одном из эпизодов схватки Бхима чуть не погиб, опрометчиво метнув свою палицу в пандава, но благородный Дурьйодхана не воспользовался столь благоприятным случаем, за что вскоре и поплатился.

Едва только схватка возобновилась, как Бхима нанес ему предательский удар в бедро. Тазовые кости царя хрустнули, и он во весь рост рухнул на землю. Палица выпала из его рук, на губах выступила кровавая пена, и всем стало ясно, что жить герою осталось недолго.

Бхима, не в силах унять себя, пинал умирающего ногами, приговаривая при этом:

— Вспомни, презренный, как ты издевался над нами раньше! А теперь получи за все сполна!

Однако остальные пандавы не одобряли такое поведение победителя. Да и кому может понравиться, когда прямо на твоих глазах топчут истекающего кровью человека.

— Прекрати это кощунство! — Юдхиштхира по праву старшего брата оттолкнул Бхиму в сторону. — Он хоть и враг, но нам всем приходится родичем, а к тому же остается венценосцем даже в преддверии смерти. Так что обуздай свой гнев. Он получил по заслугам и пусть умрет спокойно.

Бросив тело еще живого Дурьйотханы на берегу озера, среди змеиных гнезд и коровьих лепешек, пандавы вернулись в свой лагерь и, празднуя победу, немедленно закатили пир.

Мы узнали о случившемся лишь на исходе дня и немедленно устремились к месту трагедии. Царь, уже примирившийся со своей участью, слабым голосом попросил глоток воды, благословил нас всех и тихо скончался. Тот, кто утверждает, что он дышал еще целые сутки и даже как мог отбивался от шакалов, бессовестно врет.

Стоя над бездыханным телом венценосца, я поклялся самыми страшными клятвами, что обязательно отомщу пандавам за все: за царя Дурьйодхану, за своего названого отца Дрону, за каждого убиенного каурава. Еще я добавил, что, совершая эту месть, не буду придерживаться никаких правил, пусть даже это возмутит людей и богов. Кровь за кровь. Подлость в ответ на подлость.

Такое развитие событий вполне соответствовало плану, заложником которого я вольно или невольно стал еще в те времена, когда носил совсем другое имя и топтал совсем другую землю.

Дело было за малым — подгадать подходящий случай.

Возможность исполнить клятву представилась мне лишь на исходе восемнадцатого дня битвы, который и завершил ее, поскольку немногие чудом уцелевшие сторонники кауравов разбежались, и под славным знаменем Серебряного Вепря осталось только трое витязей, включая меня самого.

Наступила ночь, и пандавы, уже считавшие себя победителями, после обильного возлияния уснули в своем хорошо укрепленном и — как они думали — тщательно охраняемом лагере.

Ну а мне и обоим моим спутникам, радже Критаварману и

брахману Крипе, было, конечно, не до сна. Затаившись на опушке леса, мы ждали. Я — прихода полуночи. Они — моего решения.

Когда на черном небосводе высыпали мириады ярчайших звезд и все твари дневные уснули, а ночные, наоборот, проснулись, я открыл свой замысел сподвижникам.

— Слышали вы в дебрях леса пронзительный крик совы? — начал я. — То ликует ночная хищница, уничтожая беспечных лесных птах, прикорнувших на древесных ветках. Этим самым сова подает нам пример к действию. Уподобившись ей, мы одолеем пандавов, которых никогда не одолели бы в открытом бою при солнечном свете. Согласен, подло убивать спящих, даже если они причинили тебе много зла, но иначе мне не исполнить клятву, данную над телом царя Дурьйодханы. Как учат древние мудрецы, для достижения благородной цели пригодно любое средство. Да разве не сами пандавы преподали нам урок вероломства? Вспомните все их коварные происки и низкие поступки. Кто обманом погубил моего отца Дрону? Проклятый Дхриштадьюмна, свояк братьев-пандавов. Кто нанес запрещенный удар венценосному Дурьйодхане? Бхима Волчье Брюхо.

Сначала моих благородных спутников обуяли стыд и горечь, но в конце концов они согласились помочь мне, ведь у каждого были свои собственные счеты с пандавами.

Прежде чем пуститься в опасный путь, мы совершили все подобающие случаю жертвоприношения, заранее замаливая великий грех, который собирались содеять.

К стану врагов наш маленький отряд прискакал уже за полночь, в ту пору, когда человеческий сон бывает крепче всего. Некто, заранее посвященный в мои планы, уже ждал нас у ворот лагеря, с головой завернувшись в накидку из тигровых шкур.

— Все готово, — глухо сказал он, — стража спит непробудным сном, об этом я позаботился. Смело входите в лагерь и делайте свое дело. Постарайтесь не упустить никого. Охотник, оставляющий в логове хотя бы одного живого волчонка, проявляет не сострадание, а безрассудство. Этим он обрекает на гибель своих еще не родившихся овец. Слышал такую присказку? Короче, действуйте. И да пребудет с вами великий Шива-разрушитель.

Последние слова предназначались скорее для моих спутников, чем для меня, никогда не верившего ни в Шиву, ни в Вишну, ни в Брахму, чтоб им всем пусто было.

— Укажи мне шатры братьев-пандавов, — потребовал я.

— На закате дня они покинули лагерь, и я не сумел их удержать, — ответил тот, кто скрывался под тигровой накидкой. —

Но их дети и вся остальная родня остались здесь. Так что работы хватит.

Все это, честно сказать, мне сразу не понравилось. На кой ляд мне сыновья Бхимы, если я поклялся убить его самого.

— А не аморально ли наказывать детей за грехи отцов? — поинтересовался я.

— Отцы, дети — какая разница! Все они, как один, замараны кровью. Неужели ты не хочешь увидеться с шурином пандавов Дхриштадьюмной, прикончившим столь любезного твоему сердцу Дрону? Кроме того, всех их стоит убить по одной простой причине — жить им в этом мире непозволительно. Ты понимаешь меня? Со временем из этих щенков вырастут свирепые волки, способные возродить былую мощь не только пандавов, но и всех ариев. А старшее поколение, можно сказать, уже обезврежено. Их лучшие годы миновали. Силы и дух истощились. Смерть наследников добьет отцов окончательно. Иди и исполняй свою клятву... Господи, ну почему я должен чуть ли не силой толкать вас всех на великие свершения!

— Согласен поменяться с тобой местами. Я буду толкать всех подряд на великие свершения, а ты режь глотки. Устраивает такое предложение? Ах, нет! Не хочешь пачкаться в крови.

— Ты зачем сюда явился? — рассвирепел он. — Болтать или дело делать? Уже рассвет скоро.

— Ладно, — сдался я. — Где шатер Дхриштадьюмны?

— В самом центре лагеря, возле знамени с изображением сокола. Правильно, оттуда и начинайте...

Арийские сказители всех рангов, в меру своих способностей восславившие впоследствии распрю пандавов и кауравов, подробно описывая эту последнюю кровавую ночь, упоминают о том, что полюбоваться на предстоящую резню явились все исчадия ада, сопровождаемые вспышками зарниц и зловещими всполохами. Были там разнообразнейшие твари — многорукие, многоногие, многобрюхие, безголовые, безглазые, бесплотные, змееобразные, ракообразные, птицеобразные, темноликие, светлоликие, криволикие, а также имевшие самые немыслимые обличья, включая помесь акулы с крокодилом и морской черепахи с бакланом. А в меня самого будто бы вселился бог Шива, вооруженный волшебным мечом возмездия.

На самом деле все было гораздо будничнее и гораздо страшнее. Грозовые всполохи на небе наблюдались, не спорю, но адские чудовища отсутствовали. Заменить их должны были мы

трое — брахман, кшатрий и я, лицо неясного происхождения, но арийской крови.

Спешившись и поручив коней заботам человека в тигровой накидке, большому специалисту в этом деле, мы осторожно вошли в приоткрытые ворота лагеря.

Воины, сломленные усталостью восемнадцатидневной битвы, вином и упражнениями по системе камасутры, спали, что называется, без задних ног. Никто из них, отправляясь на покой, не мог даже и предположить, что со стороны разгромленных кауравов грозит какая-либо опасность. О, наивные простаки!

Тишину ночи нарушали только богатырский храп, отходящие после обильной трапезы газы да шелест многочисленных знамен, на которых по традиции ариев могло быть изображено все, что угодно, вплоть до слоновой подпруги и детородного органа жеребца. Символику эту я, кстати, никогда не понимал.

Шатер Дхриштадьюмны мы отыскали довольно быстро. Кроме отсутствовавших по неуважительной причине братьев-пандавов, это был здесь единственный человек, которого я по-настоящему ненавидел.

Разбудив прихвостня пандавов пинком ноги, я подал знак своим спутникам — действуйте, но без шума. Быстро сообразивший, за какой надобностью к нему среди ночи заявились кауравы, Дхриштадьюмна принялся молить нас, но не о пощаде, а о том, чтобы его умертвили боевым оружием. Смерть от меча или, к примеру, от веревочной удавки для кшатрия не одно и то же.

Ах, как мне не хотелось говорить, но все же пришлось:

— Ты опозорил свой род, скудоумный баран, а потому недостоин почетной смерти от железа. Тебя задушат, как крысу.

Он еще хрипел в крепких руках Критавармана, а я уже покинул шатер. На душе было невыносимо тяжело, и я, не единожды стоявший на пороге смерти, впервые пожалел, что в свое время не переступил его.

Мертвые сраму не имут, как спустя тысячу лет скажет другой чубатый ариец, при рождении нареченный славянским именем Святослав.

Впрочем, деваться все равно было некуда. Если ты служишь великой Предопределенности, то должен забыть про страх, стыд и сострадание. В ее деснице ты такое же бездушное оружие, как меч в твоей собственной.

Дальше мы действовали почти открыто — держа в руках пылающие факелы, заходили поочередно в шатры и убивали всех, кто отличился на поле Куру, конечно же, отдавая предпочтение прямым наследникам братьев-пандавов.

Наши жертвы были так пьяны, так потрясены всем происходящим и так проникнуты идеей фатализма, что почти не оказывали сопротивления. Лишь сын Бхимы попытался схватиться за палицу, что стоило ему не только правой руки, но и головы, да сын Арджуны, хорошо усвоивший уроки отца, сноровисто наложил стрелу на лук, да вот только тетиву спустить не успел.

Подобно хорькам, проникшим в курятник, мы изо всех сил старались сохранить тишину, но это нам все равно не удалось, что, впрочем, частенько случается и с вонючими любителями дармового мясца.

Далеко не все пандавы соглашались умирать молча. Некоторые, подобно покойному Дхриштадьюмне, имели к нам серьезные претензии. Одним не нравилось наше оружие, другим не нравились мы сами.

Где-то ночь резанул предсмертный крик, где-то лязгнул меч, напоровшийся на латы, которые пьяный воин забыл снять перед сном, где-то завизжала женщина, случайно оказавшаяся в шатре.

Лагерь стал постепенно просыпаться. Голые, нетрезвые, безоружные пандавы выскакивали из шатров, дабы узнать, что же это такое нарушило их сон. Столь неосмотрительное любопытство многим обошлось очень дорого.

Понимая, что фактор внезапности утерян, мы вернулись к воротам и, вскочив на лошадей, врезались в мало что еще понимающую толпу. Осознание большой беды пришло к пандавам вместе с тучами стрел, которыми мы их принялись осыпать.

Началась паника, особенно губительная в столь ограниченном пространстве. Не имея перед глазами реального врага (спасибо тебе, богиня ночи Ратри!), непроспавшиеся воины обращали свою ярость друг на друга. Завязалась потасовка, вскоре превратившаяся в настоящее побоище. Кто-то успел вооружиться мечом или секирой, другие сражались древками знамен, шестами от шатров, дышлами и колесами походных возков.

Спустя еще какое-то время лагерь запылал со всех сторон, и я сразу догадался, чьих это рук было дело.

Немногие уцелевшие пандавы позже сравнивали нападавшего на них врага с богиней-губительницей Кали, чье окончательное предназначение — погрузив мир во мрак, утопить его в крови, а напоследок еще уничтожить и само время, как наиболее стойкую, хоть и текучую форму существования материи. В их устах такая версия выглядела тем более убедительно, что страшная богиня являлась некоторым авторитетнейшим пандавам во сне как раз накануне побоища.

Лично я думаю, что это вовсе не мрачная сказка, как принято считать, а всего лишь способ самооправдания перед потомками.

Короче, обвинение в конце концов пало не на кауравов, которые на тот момент считались поголовно истребленными, а на нечистую силу, вознамерившуюся освободить мать-землю от попирающих ее человеческих толп.

Самое интересное, что некоторое рациональное зерно в этом на первый взгляд фантастическом предположении все же имелось.

Тем временем разрастающееся пламя жадно пожирало шатры и повозки, наполненные военной добычей, заодно покусывая случайно подвернувшихся ему людишек. Те, кому удавалось вырваться из огненной ловушки, улепетывали на все четыре стороны, не разбирая дороги.

Пора было позаботиться о собственном спасении. Едва кони вынесли нас, уже слегка обожженных, за пределы лагеря, как человек в накидке из тигровых шкур, от которого разило смолой, серой и другими зажигательными средствами, захлопнул ворота и подпер обе створки бревнами.

Теперь, когда на полуострове Индостан осталось считаное количество пандавов, нам пора было объясниться.

— Прощайте, доблестные витязи, — сказал я своим спутникам. — Возвращайтесь в родные края и возблагодарите богов за то, что уцелели в этой братоубийственной бойне. Научитесь жить по-новому, ибо наш мир очень скоро изменится, и скорее всего не в лучшую сторону. К сожалению, я не могу последовать за вами. Меня ждут кое-какие неотложные дела. Боевого коня, доспехи и оружие я оставляю вам. Надеюсь, все это мне больше не понадобится.

Расставание не затянулось надолго. У дваждырожденных не принято горевать по поводу разлуки, в том числе и вечной.

Когда мы остались наедине, если не принимать в расчет пандавов, заживо сгоравших за высоким частоколом, я задал человеку в тигровой накидке следующий вопрос:

— Как соотносится все сделанное нами сегодня с общечеловеческими ценностями, идеей абсолютного добра или хотя бы с притчей о слезе ребенка, равноценной всеобщему счастью?

— Неужели ты собираешься начать диспут прямо здесь? — усмехнулся он. — Увы, но мне отвратителен запах горелого мяса, а от дыма слезятся глаза. Давай лучше немного проветримся. Прошу в мою колесницу. Как говорится — эх, прокачу!

В темноте заржали кони, и, сделав в том направлении несколько шагов, я различил смутное светлое пятно, подобно медузе все время менявшее свое очертание.

— Белые кони Арджуны, — догадался я.

— Они самые. И тарантас тоже его. Подарок на память.

— Признайся, ты сознательно спас Арджуну и его братьев?

— Есть такое дело.

— Интересно, за какие заслуги?

— Личная привязанность, ничего не поделаешь.

— Позволил, значит, себе слабинку?

— Виноват, кто же спорит.

— А как насчет моего вопроса? Я все еще надеюсь получить на него ответ.

— Это ты про общечеловеческие ценности и слезу ребенка? Но мы ведь с тобой не люди. Мы скитальцы в ментальном пространстве. Бесплотные и бессмертные призраки, вкалывающие для вящей славы человечества. Заметь, не отдельного человека, а всего человечества как биологического вида. Угробив здесь сотню тысяч, мы спасем миллионы в других странах и других веках.

— Разве арифметика тут уместна?

— Конечно, нет. А где взять другие доводы? Мы сделали дело. Страшное дело. Но не сделай мы его — было бы еще страшнее. Кто может нас осудить или оправдать? Никто. Совершилось деяние космического порядка. И привычные нормы морали уже не годятся. Как ни печально, но это факт.

Наш экипаж мчался сквозь ночь, и ему не нужны были ни фары, ни габаритные огни, ни стоп-сигналы.

Божественный возничий Кришна, считавший аватарой вседержителя Вишну, а на деле оказавшийся лишь очередным воплощением студента-недоучки Олега Наметкина (попробуй разберись во всех этих тонкостях!), изо всех сил нахлестывал коней.

На месте, предназначенном для непобедимого Арджуны, восседал я, Геннадий Донцов, бывший старший следователь особого отдела и бывший майор, аватарой которого, выражаясь в рамках местной терминологии, был некто Ашваттхаман, приемный сын брахмана Дроны и последний союзник кауравов.

Плохо ли, хорошо ли — но мы выполнили свое предназначение. Еще немного — и телесные оболочки обоих ариев, верой и правдой прослужившие нам столько лет, перейдут во владение их законных хозяев. Интересно, как они распорядятся своей мрачной славой?

А нас ждут иные миры, иные времена и иные воплощения! Нас ждет ментальное пространство.

СЛОВАРЬ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ ИНДУИСТСКОЙ МИФОЛОГИИ

Аватара — земное воплощение бога.

Арджуна — пандав, активный участник сражения на поле Куру.

Асуры — небесные демоны, противники богов.

Ачьюта — «Вечный», эпитет Вишну и Кришны, титул раджи.

Ашваттхаман — сторонник кауравов, участник предательского нападения на лагерь пандавов.

Бхагавадгита — «Божественная песня», философская поэма, относящаяся к эпосу «Махабхарата».

Бхима — пандав, активный участник сражения на поле Куру.

Васудева — царь Лунной династии.

Гандива — волшебный лук, якобы дарованный Арджуне богами. Сделан то ли из дерева Ганди, то ли из носорожьих рогов.

Гуру — духовный наставник.

Дваждырожденный — эпитет, обычно применяемый только к представителям высших каст.

Дрона — брахман, знаток военных искусств, сторонник кауравов.

Дурьйодхана — каурав, активный участник сражения на поле Куру.

Дхарма — одно из важнейших понятий индийской философии, весьма многозначное понятие, в данном случае — «Священный закон».

Дхриштадьюмна — сторонник пандавов, активный участник сражения на поле Куру.

Кауравы — сыновья царя Дхритараштры, двоюродные братья и антагонисты пандавов.

Крипа — сторонник кауравов, участник предательского нападения на лагерь пандавов.

Критаварман — сторонник кауравов, участник предательского нападения на лагерь пандавов.

Кришна — сторонник пандавов, одно из земных воплощений бога Вишну.

Курукшетра — поле Куру.

Кшатрии — каста воинов и правителей.

Нирвана — высшее состояние отрешенности, цель человеческих стремлений.

Пандавы — пять братьев, отцом которых формально считался царь Панду, двоюродные братья и антагонисты кауравов.

Поле Куру — равнина возле города Дели, одно из священных мест Индии.

Ратхин — воин, сражающийся на колеснице.

Ригведа — сборник древнеиндийских религиозных гимнов, ценный источник для изучения индуистской мифологии и истории.

Риши — мудрец, наставник, а также сочинитель гимнов.

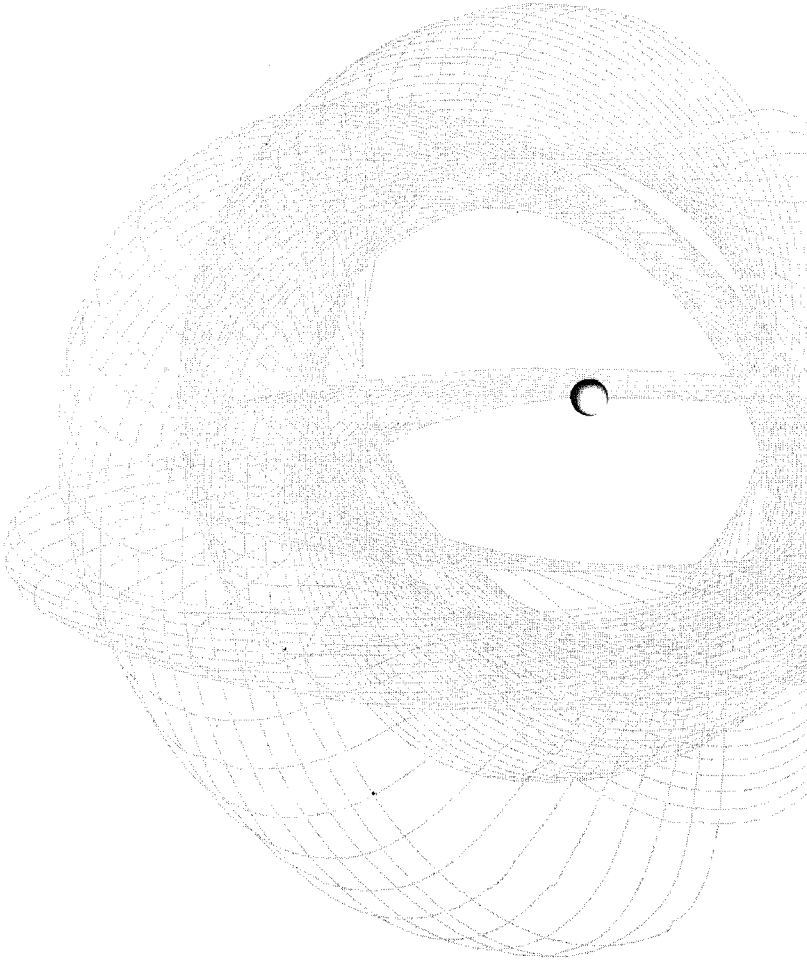
Сахадева — пандав, активный участник сражения на поле Куру.

Юдхиштхира — старший из братьев-пандавов, активный участник сражения на поле Куру.

Яма — бог смерти.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО...

РОМАН



Скажем мимоходом, что мы не позволяли себе больших отступлений от истории, но просим читателя помнить — повесть не летопись. Здесь вымысел позволен.

К. Н. Батюшков

Воспою бесконечный путь души...

Джон Донн

Часть I

ЗА ВЕРУ

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Добрыня — богатырь, княжеский вирник[1], очередное воплощение Олега Наметкина, странника в ментальном пространстве.

Владимир Святославович — великий князь.

Сухман — богатырь.

Дунай — богатырь.

Тороп, он же Вяхирь, — слуга Добрыни.

Никон — царьградский черноризец, истинный автор «Повести временных лет».

Ильдей — печенежский хан.

Торвальд Якунич — посадник.

Мстислав Ярополкович — княжич, сын великого князя Ярополка Святославовича, свергнутого своим братом Владимиром.

Блуд — боярин, ближайший советник Ярополка, предавший его и переметнувшийся на сторону Владимира.

Анна — царьградская блудница, впоследствии великая княгиня, супруга Владимира.

Михаил — царьградский нищий и еретик, впоследствии Киевский митрополит.

---

[1] Вирник — сборщик виры, откупа за умышленное убийство.

Доступная часть неба состояла как бы из двух несообщных половинок — одна светилась ядовитым померанцем, а другая отливала сизым свинцом. Под таким зловещим небом город Сидней казался особенно белым — ни дать ни взять игрушка, вырезанная из чистейшего моржового клыка.

— Уж больно хоромы близь пристани чудные, — произнес прильнувший к дальнозору моряк первой статьи Репьёв. — Будто бы паруса, ветром надутые. Кумирня, небось...

— Ан нет, — поправил его морской урядник Берсень-Беклемишев. — То вертеп ихний. Оперою называется. Потехи ради построен.

— Поди веселонравный народ там обитает, — позавидовал Репьев, до всяческих потех тоже охочий, особенно по пьяному делу.

— Народ там обитает прелукавый, — возразил Берсень-Беклемишев. — Происхождение свое ведет от татей и душегубов, которых агинянские конунги на каторгу ссылали.

— Земля эта, выходит, наподобие наших Соловков?

— Вроде того.

— А вот погодишка-то у них дрянная. — Репьев повертел окуляром дальнозора туда-сюда. — Гроза собирается.

— Не беда. Погоду мы подправим, — посулил Берсень-Беклемишев. — Расчистим небо. Не долго ждать осталось. Ты бы светоцедилку в дальнозор вставил, а то, не ровен час, окривеешь... Правильно сказано: на смерть да на солнце во весь глаз не взглянешь.

— Мать честная, совсем запамятовал!

Репьев быстренько заменил линзу дальнозора другой — тускловатой, и небо сразу поблекло, а город посерел. Да и пора бы — земного бытия всей этой красе оставалось малым-малешенько.

Коротко рявкнул гудок, предупреждающий об опасности, — зря не бегай, рот не разевай, а лучше замри, ухватись за поручень да помолчи минуту-другую.

Малая стрелка отщелкала на часовой доске десять делений, и подводная ладья «Эгир» содрогнулась, извергнув из своих недр самолетку «Индрик-зверь», снабженную изрядным бусовым[1] зарядом.

---

[1] Бус — нечто крайне мелкое (морось, мучная пыль), в данном случае — атом.

Одновременно дали залп и другие ладьи, таившиеся в водной пучине мористее, — «Гюмер», «Хрюм», «Турс». Только целили они не по городу, а по его дальним околицам, где сосредоточена была воинская сила супостатов.

Отдача толкнула ладью на глубину, и крутая волна, захлестнувшая верхний окуляр дальнозора, помешала Репьеву проводить взором самолетку, на предельно малой высоте устремившуюся к берегу. Лета до места назначения ей было всего ничего — заупокойную вису[1] пропеть не успеешь. Впрочем, по слухам, народ в Сиднее проживал сплошь безбожный, до святого слова неохочий. Вот и поделом ему!

Полыхнуло над городом так ярко, что и светоцедилка не уберегла — в правый глаз Репьева словно пчелиное жало вонзилось. Но дело свое — следить за берегом — он не оставил, а только утер невольную слезу да приставил к дальнозору левый глаз.

Прав оказался урядник Берсень-Беклемишев, не раз бывавший под бусовым обстрелом и сам не единожды во врагов самолетки запускавший, — взрыв мигом разметал все тучи, очистив небо до самого озора[2].

Впрочем, свято место пусто не бывает, и в вышние дали уже вздымалось другое облако, совершенно особенное, похожее на раскрытый зонтик. Облако это как бы тянулось к постепенно тускнеющему рукотворному солнцу, за несколько мгновений до того испепелившему богомерзкий город Сидней.

Звук взрыва через десятисаженную трубу дальнозора расслышать было невозможно, однако порожденные им стихии наперегонки неслись от берега, угрожая всему тому, что уцелело от светового и бусового излучения. Сначала налетела воздушная волна — ударная. Следом водяная — накатная, высотою в пять сиднейских опер.

Ладья запрыгала вверх-вниз, едва не всплыв раньше срока, но благодаря солидной вещественности удержалась на глубине. Зато оглушенных морских тварей из пучины изверглось без счета. Хоть уху вари, хоть рыбный пирог выпекай. Вряд ли все это могло понравиться владыке мировых вод змею Ермунганду, но чего только не стерпишь ради вящей славы истинных богов.

Вскорости адское пламя ужалось, поблекло, а потом и вообще погасло. Заодно погас и ясный день. Настоящее солнышко сияло, как и прежде, да вот только свет его не мог пробиться

---

[1] Виса — скальдическая поэзия самого разнообразного содержания, в том числе и обращенная к богам.

[2] Озор — горизонт.

сквозь пыль, дым и пар, застилавшие город Сидней. Для любопытного Репьева так и осталось загадкой: рухнула от взрыва белопарусная опера аль устояла назло бусовой силе.

Накатная волна умчалась прочь, к берегам далекой безымянной страны, славной только своим тысячелетним льдом да Полуденным Остьем[1], на которое всегда указывала магнитная стрелка матки[2], а морская гладь не успокоилась, а сплошь покрылась всплесками, словно с неба хлынул ливень вперемешку с градом. На самом деле это сыпалось вниз все то, что взрыв успел взметнуть высоко в небо.

— Пора бы уже в наступ идти, — сказал Репьев. — Пока супостаты не очухались.

— Очухаются они уже на пороге Хеля...[3] А на берег рано лезть. Там сейчас все заразное. И вода, и воздух, и земля. Зараза та страшней чумы. Если и жив останешься, то волосы вылезут, по телу язвы пойдут, мужская сила пропадет. — Берсень-Беклемишев непроизвольно погладил свой череп, голый, как колено.

— Волос, конечно, жалко. А мужская сила мне на морской службе без надобности. Одна маета от нее и томление духа. Я уже и забыл, когда бабу в последний раз видел. Даже через дальнозор.

— Такая уж наша доля горемычная, — сочувственно кивнул Берсень-Беклемишев, сам женщинами давно не прельщавшийся. — А может, оно и к лучшему... Недаром ведь говорят: где цверги[4] не сладят, туда бабу пошлют. Урона от них больше, чем благодати. Я раз присватался к одной. На плавучей вошебойке «Вурдалак» милосердной сестрой служила. Годовое содержание вместе с ней пропил, а она меня за это иноземной болезнью наградила. Сихилисой или сфихилисой, уже и не помню. Наши лекарства ее не исцеляют.

— Сама-то она где такую хворь подхватила?

— Чего не знаю, того не знаю... Божий сыск потом с ней разбирался. Говорят, померла на дыбе, так и не открывшись.

Репьев ушки держал на макушке и глаз от дальномера не отводил. Море кое-как успокоилось, зато на берегу дым и пламя стояли стеной. Надо думать, что жар и копоть уже стали досаждать небожителям.

---

[1] Полуденное Остье — Южный полюс.

[2] Матка — компас.

[3] В скандинавской мифологии царство мертвых.

[4] Цверги — злые духи, карлики, искусные в колдовстве, кознях и ремеслах.

— А ведь сколько добра зря пропадает! — вздохнул Репьев, мало что прижимистый, так уже который год досыта не евший. — Слух есть, что здешние края провиантом обильны.

— Нечего на чужое зариться. Мы не за провиант воюем, а за справедливость, — молвил Берсень-Беклемишев, вместе с мужской силой утративший на службе и охоту к еде. — Сладки харчи у супостатов, да только есть их — демонов тешить.

— Оно, конечно, так, — вынужден был согласиться Репьев. — Только от лишней миски каши справедливости не убудет. И от куска кулебяки демоны не укрепятся.

Берсень-Беклемишев на это ничего не ответил, а только прищурился, словно соринку в глаз поймал.

«Выдаст, — подумал Репьев, за которым всяких грехов числилось уже немало. — На первой же исповеди выдаст, пес шелудивый. Опять мне с божьим сыском знаться...»

Опасность угрожает моряку завсегда и отовсюду. Враг ему и бездонная пучина, и лютый шквал, и вражья сила, бусовыми самолетками да глубинными бомбами снаряженная, и неумолимый божий сыск, и якорные мины, и собственная забубенная головушка.

Недолго прослужил Репьев на ладье «Эгир», названной так в честь морского великана, не робевшего пред грозными богами, а горя успел хлебнуть с лихвой — и тонул, и горел, и в узилище сиживал, и в лихоманке трясся, и от белой горячки куролесил, и даже был однажды укушен рыбой-людоедом[1]. Потому, наверное, за жизнь свою он не держался, хотя мук телесных старался по мере возможности избегать. А уж страха никто из его рода отродясь не ведал, за что все Репьевы весьма ценились начальниками.

На этот раз беда заявилась с полуночника[2], и принесли ее на своих крыльях летуны-бомбовозы. Хотели они подводную рать застать врасплох, да просчитались. Только на одном «Эгире» дальнозоров было с полдюжины, и на берег смотрела всего лишь парочка.

Гудок зарявкал часто-часто, словно взбешенный ошкуй[3], что означало крайнюю степень тревоги.

Подводным ладьям с бомбовозами сражаться несподручно —

---

[1] Рыба-людоед — акула.

[2] Полуночник — северо-восток.

[3] Ошкуй — белый медведь.

бусовую самолетку в них не запустишь, себе дороже станет, а чтобы смаговницы[1] в дело пустить, всплывать придется, что смерти подобно. Остается одно — нырять поглубже да в разные стороны разбегаться. За всеми, чай, не уследишь. А там, глядишь, — подоспеют нашенские истребители с ковчега «Сигурд», который вместе с высадной ратью в ста верстах отсюда среди корольковых островов скрывается.

Репьев, как и положено по боевому расписанию, дальнозор внутрь ладьи убрал и к крушительскому[2] щиту подался, на котором своей поры всякое сручное пособие дожидается, начиная от простого топора и кончая порошковым огнетушителем. Если от глубинных бомб вдруг какой-нибудь ущерб случится, ему со стихией надлежит бороться — хоть с забортной водой, хоть с пожаром, хоть с удушливыми газами.

Берсень-Беклемишев был в этом деле Репьеву не помощник. Его место в лазарете, раненых к рукочинному[3] столу подтаскивать, а от стола отъятые члены убирать. Только не спешил он пока в лазарет. Бомбежки дожидался. Зачем зря ноги бить, если — не ровен час — спешить придется на небеса, в чертоги бога Одина.

Оплеухи дожидаясь, и то весь истомишься. А тут такое злоключение намечается. Ушла у Репьева душа в пятки, тем более что под глубинными бомбами ему бывать еще не доводилось. Хотя россказней самых разных наслушался. Хотя бы от того же Берсень-Беклемишева, краснобая известного.

И вот свершилось! Привалило горе-злосчастье. Не дано человеку, весь свой век на суше обитающему, испытать того, что выпадает на долю моряков, которых супостаты сверху глубинными бомбами глушат. Ох, не дано...

Одни только рыбы морские могут весь этот ужас понять, да они, бедолаги, даром речи не владеют.

Садануло так, что алатаревые[4] лампы замигали, со стен образа посыпались (в том числе особо чтимые Репьевым «Тор совместно с Одином водружают стяг победы над Букингемским дворцом» и «Мореводец Шестаков, вдохновляемый Локи, топит франкский ковчег «Эгалите»), и даже все вши от тела разом отпали.

---

[1] Смаговница — от слова «смага» (жар), изначальное название огнестрельного оружия.

[2] Крушительский — аварийный.

[3] Рукочинение — хирургия.

[4] Алатаревые — электрические. Греческий термин «электрон» соответствует славянскому «алатарь» (янтарь).

Впрочем, оба моряка целы-целехоньки остались, только Репьев умудрился носом в перегородку клюнуть.

— Сильна бомба, — похвалил Берсень-Беклемишев, всякую труху со своего лысого черепа стряхивая. — Не меньше чем в сто пудов. Да только легла далеко. Следующая ближе будет, попомнишь мое слово.

«Типун тебе на язык!» — подумал Репьев, но все случилось так именно, как предсказал бывалый урядник.

Бомба рванула будто бы всего в дюжине саженей от ладьи, и на какой-то миг Репьев ощутил себя колокольным билом, набат возвещающим. Из глаз его посыпались искры, из ушей брызнула кровь, а дух из тела девять раз подряд вышибло.

Что было потом, не Репьеву судить. В забытье он впал, как сурок в зимнюю спячку. Бревном стал бесчувственным. Обморышем.

В сознание бравого моряка вернула ледяная вода, объявшая его аж до микиток[1]. Плохи, знать, были на ладье дела. Не выдержала хваленая обшивка из уральского уклада[2], прежде позволявшая аж на целую версту вглубь нырять. Хорошо хоть, что вражьи бомбы рвались уже где-то поодаль.

Темно было, как под седалищем пса-великана Гарма, стерегущего вход в Хель. Берсень-Беклемишев на зов Репьева не откликался, наверное, уже покинул Мидгард[3]. Вредоносный был человек, а все одно жалко, тем более что задолжал он Репьеву с прошлого месяца аж целые три гривны.

Внезапно ожила переговорная труба, которой в боевом положении дозволялось пользоваться только мореводцу[4] да его ближайшим помощникам. Репьев обрадовался было, ожидая получить толковый приказ и начальственное ободрение, но голос из трубы звучал очень уж несмело. Можно даже сказать, обреченно.

— Я моряк третьей статьи Оборкин. Нахожусь на главном боевом притине[5]. Если кто меня слышит, отзовись, асов[6] ради.

Вот так чудо — рядовой моряк посмел в переговорную трубу слово молвить. Да и не одно. Неспроста, видно.

Пришлось отозваться:

— Моряк первой статьи Репьев тебя, новолупка[7], слушает.

---

[1] Микитки — подвздошье.

[2] Уклад — сталь.

[3] Мидгард — мир людей.

[4] Мореводец — капитан.

[5] Притин — пост.

[6] Асы — высшие божества скандинавской мифологии.

[7] Новолупок — едва только вылупившийся цыпленок.

Только сначала доложи, кто тебе из главного притина вещать дозволил. Где начальники?

— Побило всех начальников, — дрожащим голоском ответил Оборкин. — И самого мореводца, и помощников. Не дышат. Иных уже и водой залило.

— Лекарей вызывай! — дивясь невежеству юнца, посоветовал Репьев.

— Не отвечают лекари. И никто больше не отвечает. На дно скоро пойдем. К рыбам, — в каждом слове Оборкина звучала слеза.

— Подсилки[1] стоят? — поинтересовался Репьев.

— Стоят, похоже, — неуверенно ответил Оборкин. — А ты сам разве не слышишь?

— Оглох я слегка. Даже тебя через слово понимаю... Ты попроси промысловую[2] команду ход дать.

— Просил. Молчат.

— А сам ты кто будешь? Наблюдатель, сигнальщик али смотритель отхожего места?

— Кашевар я. Опричь того закуски начальникам подаю.

— И какие такие закуски ты нынче подавал?

— Пряники, шанежки, пироги с маком, орехи с медом, сусло с брусникой, — доложил Оборкин как по писаному. — Все в целости осталось.

— Вот и жри теперь сам свои закуски! — Репьев, со вчерашнего дня ничего не евший, сглотнул слюну. — Сытая скотина, говорят, первая под нож идет.

— Ты не изгаляйся, а лучше что-нибудь дельное присоветуй, — плаксиво промямлил Оборкин. — Где спасение искать? Богов, что ли, молить?

— Если дела не спасут, так и вера не поможет, — изрек Репьев. — Все в твоих руках, земляк. Придется подсуетиться. Ты, кроме кашеварства, еще какому-нибудь занятию обучен?

Репьев спрашивал это потому, что, согласно предписаниям морского устава, каждый член команды «Эгира» должен был иметь навык в самых разных ремеслах. Сам он, к примеру, не только свой дальнозор знал, но и со смаговницей умел управляться, а в случае нужды мог и сигнальщика подменить. Но сейчас все зависело от сноровки и деловитости какого-то сопливого

---

[1] Подсилки — машины, двигатели.

[2] Промысловый — технический, относящийся к механике.

кашевара. Репьев при всем своем желании до главного притина не смог бы добраться.

— Кое-чему обучен, — растерянно ответил Оборкин. — Стол накрывать, постель стелить, белье стирать, прибираться.

— Да ты прямо как баба! Случаем не извращенец? Впрочем, какой моряк в этом признается... Ну да ладно. Постель стелить тебе не придется. Сделай так, чтобы ладья всплыла.

— Не смыслю я в этом ничего! — сразу ударился в панику Оборкин. — Даже и не уговаривай! Мой удел рыбу солить да похлебку с дичью варить.

— Это ты про какую дичь? Про тараканов? Немало их в вашей похлебке попадается. Вот и подыхай вместе с тараканами. Заодно и я к вам пристроюсь... А дело ведь самое пустяковое. Выеденного яйца не стоит. Ребятенок бы справился.

— Всплываем мы, к примеру, а нас сверху бомбами. Что тогда? — Оборкин, похоже, пребывал в сомнениях, не менее глубоких, чем океан-море.

— Даже если нам все едино умирать, так хоть белый свет напоследок узрим. Мы ведь люди, а не черви земляные.

— Без приказа всплывать не положено. Устав запрещает.

— Плохо ты устав учил. В случае урона команды на ладье старший по званию командует. А старше меня, надо полагать, в живых никого не осталось. Вот и изволь, сударь, подчиняться.

— Рад бы, да невежество мешает. — Кажись, Оборкин сдался.

— Ничего, я тебя просвещать буду. Только действуй как велено, без самоуправства. Чтобы всплыть, надо пустогрузные[1] емкости продуть, для чего откроешь затулки[2] главного давления. Это колесики такие. По двенадцать штук с каждого борта. Ты их прежде не раз видел.

— То прежде было, а сейчас они все под водой скрылись.

— Поныряешь, если жизнь дорога. Но учти, каждую затулку следует до упора открывать. А это, почитай, оборотов восемнадцать-двадцать. Так что воздуха в грудь побольше набирай.

— Ох, пропаду я, — заскулил Оборкин. — Пропадом пропаду.

— Не пропадешь, — заверил его Репьев. — Фрейе-Заступнице молись. Главное, себя перебороть. Как первую затулку откроешь, сразу легче станет. Только не все подряд открывай, а по обоим бортам равномерно. А то, не ровен час, на борт завалимся.

Оборкин не ответил. То ли делом спасения занялся, то ли ре-

---

[1] Пустогруз — балласт.

[2] Затулок — клапан, задвижка.

шил отмолчаться. Наступила тягостная тишина, нарушаемая только плеском прибывающей воды да далекими взрывами глубинных бомб. Надо полагать, что бомбовозы загодя списали «Эгир» в расход и теперь гонялись за его собратьями.

Вот будет нещечко[1], если ладья-подранок всплывет! Для бомбовозов, наверное, это такой же лакомый кусочек, как для Репьева шанежки и пироги, зазря пропадающие в десяти отсеках отсюда.

Репьев уже терял последние крохи надежды, когда загудел сжатый воздух, вытесняя воду из пустогрузных емкостей, совокупная подъемная сила которых была столь велика, что могла поднять на поверхность даже полузатопленную ладью.

На сердце сразу полегчало. Смерть если и не отступила куда подальше, то хотя бы перестала дышать в затылок. Ладья малопомалу всплывала, имея заметный крен на корму. Репьев попытался было поднять дальнозор, но его наглухо заклинило. Вот так же, наверное, заклинило-заколодило и удачу Репьева, прежде не раз спасавшую его от самых разных напастей. А почему бы и нет? Норны[2], как и все бабы, существа капризные. Сегодня обласкают, а завтра отставку дадут.

Мертвый Берсень-Беклемишев подплыл к Репьеву и ткнул башмаком в пупок. Но что за вредная тварь — даже утопившись, другим покоя не дает!

Репьев на всякий случай обшарил карманы урядника, но ничего стоящего, кроме каких-то размокших бумаженций, не обнаружил. Это были не иначе как доносы, вовремя не отправленные в божий сыск. Писем Берсень-Беклемишев никогда не писал — от его родного городка, по слухам, осталась только яма в версту глубиной, над которой каждую ночь играли вредоносные бусовые сполохи.

Ладья поднималась хоть и медленно, но ощутимо, а тут вдруг застопорилась на месте и с бока на бок, словно утица, закачалась. Всплыли, стало быть, бортом к волне.

Прихватив с собой кирку (не иначе как от бомбовозов отмахиваться), Репьев покинул порядком опостылевший отсек и стал на вольную волю выбираться, благо что вода вокруг понемногу убывала. На этом замысловатом пути ему пришлось немало лючных заверток отвернуть и драек отдраить. И все вслепую, на ощупь. Впрочем, темнота была подводным морякам не помеха.

---

[1] Нещечко — нежданный подарок, сюрприз.

[2] Норны — низшие божества скандинавской мифологии, определяющие судьбы людей.

Их любому делу так обучали — день со светом, два без оного. Устав сего требовал, а устав умственные люди составляли.

Правда, с самым последним люком, который на верхнюю палубу выводит, пришлось повозиться. Покорежило его слегка. Вот вам и вода-водица. Если она под хорошим давлением долбанет, то все на свете разворотит. Куда там хваленому молоту дедушки Тора.

Большинство заверток так перекосило, что их пришлось силой сбивать. Вот тут-то кирка и пригодилась. Когда люк наконец откинулся, спертый воздух, вырвавшийся из ладьи, едва не вышиб Репьева наружу, как пробку из винной посудины.

Хоть и сумрачно было под новосотворенным небом, сплошь затянутым неспокойными, клубящимися облаками, из которых не дождь и не снег, а горячий пепел сеял, но Репьев, от света отвыкший, едва не ослеп.

Ладья, задрав нос и чуть притопив хвостатую корму, покачивалась на широких, разводистых волнах, словно стосаженный кит-кашалот, кроме всего прочего, снабженный еще и горбом-рубкой. Никаких иных плавучих средств ни вдали, ни вблизи не наблюдалось.

Под облаками парили вражьи бомбовозы, и гудение их было для Репьева как стервятничий клекот. Но пока они на всплывшую ладью не зарились, наверное, бомбовой запас успели истратить.

Горел не только город Сидней, горела и вся суша, простиравшаяся от него ошую и одесную[1]. Причем горело на разный манер — в одних местах чадило, в других полыхало, в третьих жаркое пламя крутилось завертью, где-то еще извергался один только черный дым.

Репьеву вдруг припомнились слова бабушки, в детстве частенько поучавшей его: «С огнем не шути, с водой не дружи, ветру не верь». И надо же было такому случиться, что повзрослевший внук в конце концов оказался перед бушующим до небес огнем, среди суровых бездонных вод, на соленом морском ветру, дувшем как бы со всех сторон сразу, — оказался один-одинешенек и без всякой защиты. (Божье заступничество во внимание можно было не принимать — как известно, у бога Одина не сто глаз, и сразу за всеми своими воинами ему не уследить.)

Впрочем, в единственном числе Репьев пребывал недолго. Из лючного лаза выбрался другой моряк, но вовсе не кашевар

---

[1] Ошую и одесную — влево и вправо.

Оборкин, как того следовало ожидать, а звуколов[1] Клычков, земляк и погодок Репьева, вместе с ним начинавший службу на давно утопшем заправщике «Фреки».

Клычков заметных повреждений на теле не имел, но весь курился сизым вонючим дымком. Он, видать, крепко угорел внизу и от свежего воздуха сразу потерял сознание, хотя перед этим успел облевать рыжий от ржавчины борт «Эгира».

На корме, позади крышки самолетного колодца, тоже откинулся люк, и наружу вылезли сразу несколько моряков, столь закопченных, что Репьев никого из них не узнал.

Да и в носовом лазе, поперек которого лежал бесчувственный Клычков, кто-то уже бранился, поминая дурным словом и чужое море, и собственную судьбу, и всех на свете богов, включая отца людей Хеймдалля и девять его матерей.

Всего спаслись двенадцать человек, ровным счетом пятая часть команды подводной ладьи — в основном те, кто согласно боевому расписанию пребывал под самой верхней палубой.

Из начальствующих чинов, похоже, никого не уцелело. Как собрались все в главном притине, чтобы шанежками да брусничным суслом отметить успешный запуск бусовой самолетки, так и остались там на веки вечные. А кашевар Оборкин, откровенно говоря, ладью спасший, им общество составил. Жаль парнишку.

Теперь, когда смертельная угроза миновала, пора было и о своей дальнейшей судьбе задуматься.

Ждать помощи со стороны не приходилось. Если какой-нибудь из подводных ладей и случилось уцелеть, то ее след, наверное, давно простыл. Удирает сейчас на предельной глубине подальше от этого места.

Ковчеги и грузовики с высадной ратью сюда заявятся не скоро — очень уж горячо на берегу. На сиднейских обывателей, если таковые уцелели, надежды тоже мало. Во-первых, им своих забот предостаточно, а во-вторых, подводному моряку в полон сдаваться не пристало. Если и уцелеешь в неволе, то потом божий сыск с тебя шкуру спустит.

Оставалось полагаться только на самого себя да на ладейную братву, повсеместно прославленную своею ушлостью и дошлостью. Любой старослужащий не единожды горел, тонул и вредоносными газами травился, но тот свет на этот не променял. Авось и нынче пронесет. Недаром ведь сказано в уставе: «Дабы

---

[1] Звуколов — акустик.

беззаветно исполнять свой долг, моряку надлежит по возможности уклоняться от смерти».

— Эй! — крикнул Репьев на корму, где собрались люди, судя по всему имевшие отношение к промысловой части. — Как делишки? На веслах восвояси пойдем али подсилок запустим?

— Сдох подсилок, — ответили ему. — Да и не сунешься сейчас вниз. Алатаревые накопители горят. Взорвемся скоро.

Действительно, из кормового лаза уже вовсю тянуло зеленовато-белесым дымком, а это означало, что до большой беды рукой подать. В море пожар — страшнее страшного. Особенно если ладейное чрево всякой взрывоопасной дребеденью набито.

— Тогда чего вы, сударики мои, ждете? — накинулся на них Репьев. — В спасательные плоты надо переходить. А то, не ровен час, вражьи бомбовозы вернутся. Уж на сей раз они нас не упустят.

Против такого решения никто не возражал, особенно когда выяснилось, что старше Репьева званием никого живого на ладье не осталось (было, правда, еще несколько моряков первой статьи, но они или ополоумели от угара, или, подобно Клычкову, лежали пластом).

Начали готовиться к спешной опрастке[1]. Наверх выволокли все пожитки, которые можно было без риска для жизни добыть в задымленных отсеках: непромокаемую одежку, моряцкие сундучки, кое-какое сручное пособие, скорострельные смаговницы и боеприпасы к ним.

Памятуя устав, не преминули облачиться в желтые плавательные поддевки и сразу стали похожи на баб — хоть и чумазых, но весьма грудастых. Потом стали спускать за борт спасательные плотики, которые от удара о воду должны были сами собой надуваться.

Первый, так и не надувшись, вскоре утоп. Наверное, какой-нибудь злодей вырезал кусок его оболочки себе на подметки. Другой, благополучно надувшись, коварно ускользнул из людских рук, отправившись в вольное плаванье.

Впрочем, никто по этому поводу особо не горевал. Плотиков, слава Одину, на ладье имелось предостаточно. Пару следующих моряки спустили на воду вполне успешно, а еще пару взяли на подчалок[2] — как-никак в каждом имелся солидный запас спорины[3], питьевой воды и даже извиня[4], употребление которого

---

[1] Опрастка — эвакуация.
[2] Подчалок — буксир.
[3] Спорина — консервы.
[4] Извинь — чистый спирт.

лись, каждая буковка дороже твоей поганой жизни стоит. Про бусовые самолетки самого последнего образца я даже не упоминаю, хотя чужеземцы за них сто пудов злата заплатить готовы. А ты все невинной овцой прикидываешься!

— Если я в чем-то и дал промашку, то без умысла. Лихие обстоятельства тому причиной. Тебя бы, такого умного, на мое место! Пыточные листы строчить вестимо полегче, чем в чужих морях под водой рыскать! Глотнул бы ты того смрада, которым мы месяцами дышим! Как же, я во всем виноват! В том, что жив остался, не утоп и не сгорел! В том, что потом на одних веслах при скудном питании до Таємании дошел, по пути половину товарищей рыбам скормивши! В том, что, на сушу высадившись, парой смаговниц да дюжиной ручных бомб всю городскую стражу Девонпорта разогнал и мореходным стругом завладел! В том, что опосля семь недель на буйных волнах болтался, пока своеземный ковчег не встретил! Тебе бы, чернильная душонка, всего этого хоть малой мерой хлебнуть!

Хотел Репьев сыскному крючкотвору до глотки дотянуться, да помешали цепи, которыми он к стене был прикован.

Исправник ликом побелел и особый сигнал тюремным смотрителям подал. Те толпой налетели и давай колошматить строптивого узника чем ни попадя.

Репьев сопротивляться возможностей не имел, а только старался беречь голову, поскольку нутро ему наперед этого успели отбить. Притомившись, смотрители мучительство прекратили и сверх прежних оков наложили еще тяжкие колодки.

В тот день его уже не кормили, а под вечер явился тиун[1], имевший при себе готовый приговор.

Он свой век уже доживал и потому, наверное, кое-какое представление о милосердии имел. По крайней мере, собственных рук клещами да плетью не марал.

Тюремные смотрители совместными усилиями приподняли Репьева с пола, потому что судебный приговор надлежало слушать стоя. Боль, обуявшую его при этом, пришлось стерпеть, дабы родню свою, а заодно и всю морскую братию лишний раз не опозорить.

Вот что объявил тиун, все время поправлявший на носу окуляры в черепаховом станочке:

— В соответствии с волей богов и руководствуясь уложением о наказаниях, военный суд признал тебя, Хлодвиг Репьев, вино-

---

[1] Тиун — судья.

ватым по всем статьям предъявленного обвинения и посему приговаривает к лишению воинского звания, имущественных прав, наследственной чести, а токмо и самой жизни, которая прервана будет посредством насаживания тела на кол. Приговор тебе понятен?

— Ничего более понятного отродясь не слыхивал, — ответил Репьев, разбитая рожа которого даже не дрогнула. — А больше в приговоре ничего не написано? Касательно снисхождения?

— Не без этого. Суд наш не только справедлив, но и милостив. Дано тебе, Хлодвиг Репьев, снисхождение. Учитывая, стало быть, прежние заслуги и смелые дела. Умрешь ты в прежнем звании, при всех имущественных правах и с сохранением чести, а вдобавок имеешь полную возможность самолично выбрать способ казни.

— А из чего выбирать, позвольте узнать? — поинтересовался Репьев, как будто бы находился не в тюремном застенке, а в похабном заведении, где блудодеи срамных баб себе для забавы нанимают.

— Ответствую тебе, Хлодвиг Репьев. — Тиун опять ухватился за свои стариковские окуляры. — Выбор имеется богатый. Усечение головы, повешение за шею, четвертование, колесование, сожжение и утопление в воде.

— Безмерна милость суда. Это в самую точку сказано. Мне как природному моряку больше подходит утопление, но исключительно в соленой воде.

— Соленых вод поблизости нет, а везти тебя, Хлодвиг Репьев, на море-окиян чересчур накладно, — ответил тиун со смиренным видом.

— Тогда выбираю усечение головы, только, чур, не палаческим топором, а моряцким кортиком.

— Хватит привередничать, — нахмурился тиун. — Твою выю не то что кортиком, а даже двуручной пилой не одолеешь. Да и некогда нам кортик искать. Сам знаешь, что казнь должна до рассвета совершиться. Если и дальше будешь дурачка валять, то непременно на кол сядешь.

— Пусть будет кол, — немедленно согласился Репьев. — Только смажьте его не бараньим жиром, как у вас принято, а китовым воском[1], дабы я и после смерти благоухал. Такова моя последняя воля, и я от нее не отступлюсь.

---

[1] Китовый воск — спермацет, пахучее вещество, содержащееся в голове кашалота.

— Уймись, Хлодвиг Репьев. — Тиун устало присел на скамейку, вытертую задом исправника до блеска. — Напрасно ты стараешься меня вздразнить. Я за сорок лет судейской службы ко всему привык. А уж к пустобрехам и подавно. Так что придержи язык и зря не разоряйся. Сейчас для тебя любая казнь есть милость. Поскольку избавляет от медленной и мучительной смерти, твои телеса давно гложущей. Накося, послушай и полюбуйся.

Тиун извлек из кармана приборчик, измеряющий бусовое излучение, и приставил его к голой груди Репьева. Приборчик, и прежде пощелкивающий, заверещал, как поросенок, почуявший опасность.

Тюремные смотрители хотя и продолжали держать Репьева чуть ли не на весу, однако постарались отодвинуться подальше. Даже многоножки-сколопендры перестали гоняться по стенам за мокрицами и замерли, словно в недоумении.

— Ты теперь сам как бусовая бомба, — сказал тиун. — Тебя можно заместо самолетки во врагов запускать. В таком состоянии ты и на воле долго не протянешь. Но допрежь сгниешь заживо. Лучевая хворь страшней проказы. Я на таких, как ты, еще в детстве нагляделся, когда супостаты мой родной город Муром с неба раздолбали. Так что зря языком не молоти, а выбирай себе самую сообразную казнь.

— А яда в твоем списке не имеется? — поинтересовался Репьев. — На яд я безо всяких условий согласный.

— Яд, говоришь, — ухмыльнулся тиун. — Так и быть, ради тебя расстараемся. Тебе какой больше по нраву?

— А какой есть?

— Всякие. Одни по мозгам бьют, другие по сердцу, от третьих кровь сворачивается.

— Нечему сворачиваться. Всю кровушку из меня твои прихвостни успели выпить. А порода у Репьевых такая, что наши сердца никакого яда не боятся. Посему подставляю под удар самое слабое мое место, мозги. Снабди меня ведром извиня или в крайнем случае получара[1]. Ноченьку я сам с собой попирую, а к утру от смертельного отравления скончаюсь. К общему удовлетворению, так сказать...

— Хитер ты, Хлодвиг Репьев. — Тиун глянул на него прямотаки с отеческим благодушием. — Достойную казнь себе выбрал. Да только почему мы тебе, злодею, угождать должны?

— А я на твое добро своим отплачу. Как только доберусь до

---

[1] Получар — пятидесятипроцентный спирт, сгорающий наполовину.

Вальхаллы, сразу словечко богу Одину за тебя замолвлю. Есть, скажу, в Мидгарде такой сударик, годами ветхий. Зажился уже. По всем статьям ему суждено в Хеле конца света дожидаться. Но ты уж сделай одолжение, возьми его в свои чертоги. Он хоть и не воинского сословия, но для нашего товарищества сгодится. Как-никак, а божьих воронов мертвечиной вдоволь кормил. Посылай за ним побыстрее своих валькирий.

— Благодарствую за доброту. — По знаку тиуна служители ослабили туго натянутые цепи. — Уважил ты меня, Хлодвиг Репьев, на старости лет. Уважу и я тебя, бравого вояку. Получишь все, что возжелал. Но учти, если до света сам не околеешь, полдень встретишь сидя на колу...

ГОЛОС ИЗ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

...Значит, мне опять умирать... Да еще такой никудышной смертью — упившись мерзким гидролизным спиртом (другого здесь не производят, пшеница выродилась). Хотя, с другой стороны, издыхать на колу тоже несладко. А ведь мне случалось расставаться с жизнью куда более достойными способами.

Например, напоровшись на бронзовый меч, который направляла рука прославленной в легендах красавицы, на самом деле оказавшейся стервой, шлюхой и уродиной. Или взойдя на высокий жертвенный костер, сложенный из фиговых поленьев, почти не дающих дыма и притом горящих очень медленно.

А как вам нравится пуля, выпущенная из мушкета конкистадора? Взрывное устройство неимоверной мощности, предназначенное вовсе не для меня, но сработавшее прямо в моих руках? Меч викинга? Ритуальный нож ацтекского жреца? Пеньковая веревка, перекинутая через рею грот-мачты королевского фрегата «Дидона»? Бочка с кунжутным маслом, в котором, оголяя нервы, постепенно растворяются кожа и мышцы? Клыки и когти дикого зверя, наконец?

Да, мне есть о чем вспоминать. Список длинный, и конца ему не предвидится. Пока существует род человеческий, я буду умирать вновь и вновь. В разных временах и странах. В разных обличьях. При разных обстоятельствах.

И делаю я все это не ради своей прихоти, а исключительно для благополучия и процветания биологического вида хомо сапиенс, существ мелкотравчатых, суетных и, честно говоря, довольно гнусных, уж поверьте мне, как знатоку, на слово.

Дело в том, что человечеству почему-то претит поступательное движение вперед. Зигзаги, которые оно выписывало на дорогах истории, можно сравнить разве что с заячьими петлями или с фигурами высшего пилотажа, выполняемыми пьяными летчиками. За каждым взлетом неминуемо следует спуск, прогресс сменяется упадком, цивилизация уступает место варварству, сорняки жестокосердия заглушают цветы гуманизма.

Вдобавок ко всему выяснилось, что существующая реальность является не бесспорной данностью, единственно возможной парадигмой, а лишь одним из множества вариантов развития истории, и варианты эти можно тасовать, как колоду игральных карт.

Вот и сейчас столбовой путь человечества, пусть и тернистый, но более или менее изведанный, вновь дал вираж, ведущий если и не в бездну, то в трясину.

Дожили — крылатые ракеты с ядерными боеголовками атакуют Сидней, а про такие города, как Москва, Лондон, Берлин и Вашингтон, вспоминают лишь в прошедшем времени наравне с Микенами и Помпеями.

Хорошо хоть, что причины этой трагической нелепости очевидны, по крайней мере для меня. Народ, к которому по факту рождения принадлежу и я, народ, известный не только своей многочисленностью, бесшабашностью и широтой натуры, но также опасной непредсказуемостью, некогда предпочел свирепых и своенравных скандинавских богов маловразумительному догмату Святой Троицы и распятому Спасителю.

Рука, искавшая свечу, нащупала нож. Боги, пришедшие на славянские земли вместе с князьями-чужеземцами, железными мечами и сакраментальным словечком «русь» (сколько копий сломается из-за него в разных временах и реальностях!), высшими человеческими достоинствами считали воинскую доблесть да полное безразличие к своей и чужой жизни, а отнюдь не смирение и благонравие.

Фигурально говоря, могучий дикий зверь, которого можно было не только приручить, но и приспособить к полезному делу, вместо кольца в нос получил вожжу под хвост и понесся неведомо куда, не разбирая дороги и топча подряд всех встречных-поперечных.

Впрочем, укрощать необъезженных скакунов истории и возвращать поток времени в прежнее русло мне было не впервой.

Благодаря моим стараниям раса сверхлюдей-минотавров, именовавших себя кефалогеретами, так и не овладела землей.

Попытка вторжения в Европу ведических ариев была пресечена в зародыше. Получил по заслугам и опасный маньяк, способный, подобно мне, путешествовать по цепочке предков в прошлое и пытавшийся по собственному усмотрению изменить историю.

Ну что же, придется подсуетиться и на этот раз. Уж таково, наверное, мое предназначение.

Поэтому прощай, бравый моряк Хлодвиг Репьев, мой родственник неизвестно с какой стороны (впрочем, то, что все люди братья, это факт, а не досужая выдумка).

Когда-то я имел свое собственное тело и звался Олегом Наметкиным. Ах, как давно это было! А может, и совсем недавно... Но тело, слишком долго остававшееся без души, обратилось в прах, а имя мое, мало кому известное и прежде, скорее всего забылось.

Да и с душой, сиречь личностью, тоже не все в порядке. Переходя из одной телесной оболочки в другую — от мужчины к женщине, от царя к рабу, от скифа к египтянину, от человека к минотавру, — она каждый раз приобретала что-то новое, но при этом теряла и свое, изначальное.

Был случай, когда моя странствующая душа подверглась расщеплению и некоторое время существовала сразу в нескольких ипостасях, в том числе и в облике ворона. В конце концов осколкам удалось соединиться в одно целое, но для этого потребовались поистине феноменальные усилия.

Согласитесь, после всего этого трудно сохранить цельность натуры.

Теперь, возвращаясь из прошлого в настоящее — от отца к сыну, от матери к дочери, как по ступенькам, — я никогда не знаю заранее, в чьем облике окажусь напоследок. Странствующая душа, подобно молнии, выбирает путь наименьшего сопротивления, что в моем случае определяется исключительно духовной близостью.

Но чаще всего это бывает кто-то из стародавнего и разветвленного служилого рода Репьевых, от которых Наметкины, судя по всему, отпочковались лет двести назад, в царствование Павла Первого.

Вот таким манером я воплотился в Хлодвига Репьева, ныне осужденного на смерть по смехотворному (увы, только на мой взгляд) обвинению.

Долгое время я не вмешивался в его мысли и поступки, лишь

приглядываясь и прислушиваясь, а главное — пытаясь разобраться в совершенно незнакомой мне реальности.

К сожалению, о прошлом этого мира, заместившего прежний, привычный для меня, где-то в конце десятого века, я не узнал практически ничего. Эти сведения отсутствовали в памяти Репьева по той простой причине, что истории как научной дисциплины в его реальности попросту не существовало. Заодно с филологией, философией, обществоведением и прочей гуманитарной казуистикой.

Уцелела одна только литература. Но и она была низведена до сочинения хвалебных од, военных гимнов, патриотических агиток и фальшивых жизнеописаний.

Моряков учили морскому делу, оружейников — оружейному, поваров — поваренному, сыскарей — сыскному. И не больше. Лишними сведениями голову не забивали. Земля есть остров посреди таинственного океана, небо покоится на спинах четырех карликов-ивергов, мир богов и мир людей связывает священный ясень, в сосудах которого циркулирует священный мед — источник жизненного обновления и магических сил. Вот вам доподлинная картина мира. А все остальное от лукавого Локи.

Кто-то, правда, работал над проблемами расщепления атомного ядра, изучал принципы реактивного движения, синтезировал новые лекарственные вещества, превращал опилки в спирт, а нефть в каучук, но сослуживцев Репьева это ничуть не касалось.

Они истово молились жестокосердным асам и свято верили в то, что грандиозное побоище, возвещающее о скором конце света — Рагнареке, уже началось, а значит, от доблести и самоотверженности каждого бойца зависит абсолютно все, даже судьбы богов, по воле которых создан мир.

Впрочем, этих простодушных людей можно было понять — обещанная прорицательницами-вельвами великая зима уже наступила, а огненные мечи хтонических великанов, которым предстояло поджечь землю и небо, вспыхивали все чаще.

Лишь в изображенных на иконах сюжетах да в заунывных матросских песнях проскальзывали иногда смутные упоминания о былых победах и поражениях, о походах против немцев, франков, аравитян, свеев и агинян (надо полагать, англичан), о рейдах в Новый Свет, об обороне Камчатки и о гибели всего живого на необозримых пространствах (причем объектом сострадания были вовсе не люди, а вороны и волки — любимцы Одина).

Понимая, что такие, как Репьев, на войне долго не живут, я

не собирался задерживаться в его теле. И сейчас момент нашего расставания приближался.

Кроме физической смерти самого хозяина меня могла вышибить из его физической оболочки еще и нестерпимая боль, источник которой в нужный момент нахожу я сам (крутой кипяток, пламя костра, расплющенный палец — без разницы). Однако я не хотел портить Репьеву последние часы жизни и терпеливо дожидался естественного конца.

Никто не в силах усидеть в одиночку ведро спирта, пусть даже пятидесятипроцентного, так называемого полубара, тем более без закуски, а он между тем приканчивал уже первую четверть. Ну прямо былинный Илья Муромец! Даже у меня, связанного с организмом Репьева скорее мистическими, чем физическими узами, начало мутиться сознание.

Впервые за время нашего совместного существования я задал ему вопрос, мысленный, конечно. Пусть расценивает его как привет от пресловутой белой горячки, кстати, хорошо известной в этой реальности.

— Ты доволен своей судьбой?

— Слава асам, приславшим мне сотрапезника! — воскликнул Репьев, зачерпывая из ведра очередную кружку. — Кто ты, приятель?

— Я твоя совесть.

— Покажись!

— Показаться я не могу, поскольку пребываю в тайниках твой души.

— Что же ты, совесть, прежде обо мне не радела? — Похоже, что Репьев был готов пустить пьяную слезу. — А нынче уже поздно... Жизнь не переиначишь. Как говорится, напала совесть и на свинью, когда та полена отведала.

— Прежде ты всегда гнал меня. Разве не помнишь?

— Робка ты, знать, была, коли гонений убоялась. Вот и пропадаю из-за тебя.

— Пропадаешь ты из-за себя. Жил неправедно и пропадаешь глупо.

— А ты меня не суди! Меня уже божий сыск осудил. — Он опять зачерпнул из ведра. — Убирайся прочь и не мешай исполнению приговора.

— Признайся мне хоть напоследок. Ты о чем-нибудь жалеешь?

— Жалею... Жалею, что дураком был и к тебе никогда не прислушивался. Еще жалею, что в поганое время родился... Да

что уж говорить, — язык его заплетался. — Прошу тебя, изыди... Не тереби душу... Позволь умереть спокойно...

Даже самый могучий организм не выдержал бы такого количества отравы. Вопрос был только в том, какой орган откажет раньше — сердце или печень. Что касается мозга, то в нем уже не осталось не то что мыслей, а даже здоровых рефлексов.

Ну что же, прощай, Хлодвиг Репьев. Хотя не исключено, что мы свидимся в какой-то иной реальности. Надеюсь, она будет не столь беспросветной.

Что касается меня, то, покинув его агонизирующее тело, я отправлюсь в непознаваемое для людей ментальное пространство, где каждый из живущих оставил свой неизгладимый след, сплетение которых образует громадное генеалогическое древо человечества, уходящее своими корнями в бездну прошлого и соприкасающееся там с посмертными следами приматов, грызунов, сумчатых, птиц, рептилий, насекомых и трилобитов.

Но так далеко мне пока не надо, хотя не исключено, что когда-нибудь интереса ради я вселюсь в тело первобытной Евы, праматери всего человеческого рода, якобы обитавшей сто тысяч лет тому назад где-то на северо-востоке Африки, а впоследствии рискну побывать в шкуре кота-махайрода или медведя-креодонта.

Разумный креодонт — это что-то!

Но сейчас у меня совсем другая задача — добраться до кого-нибудь из предков Репьева, живших в конце десятого века, а таковых должно быть не меньше пары тысяч, даже учитывая близкородственные связи.

Добраться и воплотиться, то есть обрести власть над его телом и духом.

В принципе это просто. Трудности начнутся потом.

ДОБРЫНЯ ЗЛАТОЙ ПОЯС

Неглубокая — от силы в пол-локтя — канава, свободная от бурелома и подлеска, прихотливо вилась между кондовыми соснами, и нельзя было в точности сказать, что это такое на самом деле: заброшенная звериная тропа, русло пересохшего ручья или след сказочного змея. Тем не менее верховой конь, выросший в привольных угрских степях и не любивший лесные чащобы, упорно придерживался этого маршрута и даже не пытался срезать самые причудливые петли. Всадник, давно привыкший доверять его чутью, не перечил.

Уже который день он скакал наудачу, полагаясь только на

природные приметы да на рассказы купцов, некогда побывавших в этих краях. Спросить дорогу было не у кого — разве что у белок или медведей.

Обычно сюда добирались в санях по зимнику или на стругах по большой воде, но сейчас, в разгар лета, река обмелела и не могла поднять даже самый малый челн. А дело у всадника было срочное, не терпящее отлагательств.

Князю, обретавшемуся в стольном городе, он завидовал всегда, а сейчас в особенности. Вот кому хорошо живется! Едва только пожелает посетить какой-нибудь самый никудышный городишко, так сразу следует повеление: «Править дороги и мостить мосты».

И попробуй только ослушаться! А простому вирнику, пусть и боярского рода, пусть и прославленному своими подвигами от Тмутаракани до Ладоги, приходится странствовать по бездорожью. Верно говорят новгородцы: «Князю служить — каждый день тужить».

Уже под вечер, когда лес наполнился полумраком и мошкарой, канава вывела всадника на опушку.

Огромный, глубоко вросший в землю валун заменял межевой знак, а заодно служил и капищем. Древние языческие символы, которым поклонялись не только кривичи и словене, но и мерь с чудью, были недавно сбиты и заменены руническими письменами, вокруг которых изгибался кольцом мировой змей Ермунганд.

Вера переменилась, да только хрен редьки не слаще. Раньше жертвенная кровь лилась ради Перуна, а теперь того же требовал Один. Зато грядущего спасения не обещали ни тот, ни другой.

Стреножив коня, путник устроился на ночлег возле камня. Диких зверей и лихих людей он не опасался. Звери от летней сытости присмирели, а про разбойников можно было сказать пословицей: «Смелы волки, но медведя стороной обходят».

Ночь выдалась под стать окружающей природе — таинственная и глухая. Прежде чем уснуть, путник долго всматривался во мрак и разглядел-таки далекое тусклое зарево. Наверное, это были сторожевые костры, горевшие у городских стен. Дабы утром не сбиться с пути, он лег ногами в сторону огней.

Проснулся путник еще до рассвета, при всходе поздней луны. Кричали птицы, загодя покидающие гнезда, окрестные поля серебрились от росы, всхрапывал конь, успевший за короткую ночь и отоспаться, и отъесться.

Зарево сторожевых костров исчезло, но как раз в той стороне небо мало-помалу начинало светлеть. Надо было поспешать. В город он намеревался въехать пораньше, пока посадник не подался на охоту, к коей был весьма привержен, а нужные для правды — то есть для сыска, суда и расправы — люди не разбрелись по своим делам.

Конь, однажды поставленный удилами на верное направление, с пути уже не сбивался, хотя, объезжая болотца и каменные россыпи, порой был вынужден делать изрядный крюк.

Вскоре среди осиновых колков и пустошей стали попадаться возделанные нивы со стожками уже собранной ржи. Обожравшиеся зерном вороны отяжелели до такой степени, что при виде приближающегося всадника не взлетали, а только неуклюже семенили прочь, не забывая при этом гневно каркать.

Спустя недолгое время конь достиг проселка, и его копыта глухо застучали по окаменевшей грязи, должно быть, еще вешней. Где пути-дороги, там, конечно, и переезжие люди. Навстречу всаднику двигался обоз, груженный чем-то непонятным, плотно укутанный в рогожи. Сопровождали его пешие смерды, вооруженные секирами и дрекольем.

При виде одетого в броню всадника они приостановились и скинули шапки, однако глядели недобро, исподлобья. А про то, чтобы поздороваться, никто даже и не вспомнил. Дикари, одним словом.

— Кто среди вас старший? — придержав коня, поинтересовался путник.

— Я, вроде бы, — отозвался один из смердов, но вперед не вышел, а, напротив, схоронился за спинами товарищей.

— Давно в пути?

— Спозаранку.

— Что везете?

— А ты разве ябедник?[1] — Смерд картинно подперся своей рогатиной (да и другие как-то сразу подобрались, словно зверье, учуявшее опасность).

— Уж и полюбопытствовать нельзя. — Всадник не выказывал досады, однако, как бы невзначай, коснулся лука, приторочennого к седлу.

— Про то у нашего посадника полюбопытствуй. А мы людишки подневольные. Немы, аки рыбы, и глухи, аки аспиды.

— Посадник ваш, стало быть, в городе?

---

[1] Ябедник — сборщик податей или сыщик.

— Под вечер там был. — Старшина обоза напялил шапку, давая понять, что разговор окончен.

— Ну, езжайте с миром... А ты чего уставился? — это относилось к дюжему смерду, глаз не сводившему со снаряжения всадника.

— Знатный у тебя лук, боярин! — с нескрываемым восхищением молвил он. — Отродясь такого не видывал... Где добыл?

— Сам сделал, — сдержанно похвалился всадник. — Хотя по чужеземному образцу. У нас такого рога и такого дерева не сыскать. Со ста шагов кольчугу пробивает.

Обоз между тем стронулся. Телеги скрипели, грозя вот-вот развалиться, а костлявые одры напрягали все свои скотские силы. Груз, похоже, был тяжелехонький. Соль или железо. А прежде в этих краях иного товара, кроме меда, мехов и невольников, не имелось.

Еще через пару верст стали различимы петушиные крики и собачий лай. Утренний ветерок принес запах свежеиспеченного хлеба. Конь, почуяв близкое жилье, побежал быстрее, и по прошествии некоторого времени впереди открылся бревенчатый тын, за которым виднелись тесовые крыши теремов.

Затем дорога плавно спустилась в широкий ров, где без всякого присмотра паслись коровы и гуси.

Мельком приметив, что тын воздвигнут кое-как, в расчете на смирных соседей, а городские ворота давным-давно не запирались, всадник подъехал к еле тлеющему костру, вокруг которого, завернувшись в епанчи, спали стражники.

Не сходя с коня, он тронул одного из них тупым концом копья. Тот долго ворочался, мычал и протирал глаза, а потом недовольно спросил:

— Кто таков будешь? Что надо?

— Я Добрыня, — ответил всадник. — Княжий вирник. Отведи меня к посаднику.

— Так он спит еще. — Стражник продолжал себе лежать на боку, оскорбляя боярское достоинство гостя. — Раньше полудня не проснется.

Пришлось Добрыне наклониться с седла и приподнять наглеца за шкирку. Тот вел себя кротко, не бранился и не молил о пощаде — ворот, туго захлестнувшийся на горле, не позволял.

Немного подержав быстро синеющего стражника на весу, Добрыня уронил его в кострище. Это заставило проснуться и остальных.

— Чей обоз недавно из города вышел? — осведомился приезжий.

— Кони незнамо чьи, а людишки при них — из дворни посадника.

— Кто над вами стоит?

— Нездила, сотский, — хором ответили стражники. — По-нынешнему Ульф.

— Скажите ему, что княжий вирник Добрыня велел каждому из вас всыпать по десять плетей. Да не забудьте, я проверю. А ты, холоп, — он вновь ткнул копьем измаравшегося в золе стражника, — веди меня в посадские хоромы.

Городок, поставленный совсем недавно, при князе Святославе Игоревиче, был невелик и даже слободами обрасти не успел. Улочек было всего ничего, а приличных строений и того меньше. Краше и богаче всех других, само собой, смотрелись хоромы посадника, к которым примыкал просторный двор, где он принимал дань от тяглового люда и раз в седмицу творил суд.

Дворовые оказались порасторопней городской стражи и сразу приметили важного гостя.

— Что батюшке угодно? — Какой-то малый жуликоватого вида ухватился за конский повод. — Я здешний приказчик, Страшко Ятвяг.

— Жито есть? — Добрыня спешился.

— Как не быть! Полное гумно.

— Расседлай коня. Напои и накорми житом вволю. Да только не запали. Шкуры лишишься.

— Как можно! Я в Киеве родился и у боярина Засеки одно время в стременных состоял. Тебя, батюшка, хорошо помню... Ты пока в горницу пожалуй, кваску холодного испей. Или велишь фряжского вина подать?

— После... Хозяин где?

— Почивать изволит. — Приказчик кланялся за каждым словом, словно клюющий зерно кочет.

— Так ведь солнце давно встало. Неужто посадникова служба так маятна?

— Прихворнул маленько с вечера. Видно, киселем обкушался... — Приказчик лукаво ухмыльнулся. — Тебе, батюшка, дорогу в покои показать?

— Сам найду... Про то, что в вашем городишке один именитый муж жизни лишился, ты знаешь?

— Много знать мне по холопскому состоянию не положено. А много болтать — и подавно.

— Ступай... С коня моего глаз не своди. Один его хвост дороже всего вашего городишки стоит.

Хоромы были срублены из красной сосны первого разбора от силы пару лет тому назад, однако внутри успели зарасти паутиной и пропахли кухонным чадом. Одно из двух: или посадник был никудышным хозяином, или не ощущал себя здесь постоянным жильцом.

Его самого Добрыня отыскал не сразу — одних горниц и светелок в хоромах было с дюжину, а клетей и того больше.

Посадник спал на медвежьих шкурах, брошенных прямо на пол, а в головах у него стоял запеленутый в бересту горшок с квасом.

Отпив из горшка пару глотков, Добрыня вылил остальное на голову хозяина.

— Кто посмел? — не разлепляя глаз, пробормотал тот. — Запорю...

— Вставай. Супостаты под стенами, а ты почиваешь. Какой ты после этого посадник? Ты лежака.

— Так это ты, Добрынюшка, — голос у посадника был слабый, как перед кончиной. — Вот уж кого не ждал... Хоть бы предупредил нас. Мы бы тебя на меже хлебом-солью встретили.

— Уж не взыщи с меня, непутевого, предупредить не смог... Мобильник за долги отключили, — буркнул Добрыня куда-то в сторону.

— Ты это об чем? Никак заговариваешься? — Посадник сел и сразу застонал, словно его с креста сняли. — В дороге притомился или в опохмелке нуждаешься?

— Ты каждое мое слово во внимание не бери. Шутейные они.

— Вестимо, ты шутник известный. — После нескольких не совсем удачных попыток посадник встал, наконец, на ноги. — Да только шутки твои, случается, добрым людям боком вылазят.

— Боком им вылазят не мои шутки, а собственное воровство и беззаконие... Ты хоть сам как поживаешь?

— Славно живу, не жалуюсь. Княжескую пользу блюду. Дани собираю. Рубежи стерегу... А ты сюда, Добрынюшка, никак по делу послан?

— По делу. Правду буду править, а потом и суд. И для тебя я нынче не Добрынюшка, а боярин Добрыня Златой Пояс, княжий вирник.

— Не обижайся, боярин. — Посадник подтянул повыше порты. — Одичал в этой глухомани. Ты лучше скажи, какая такая напасть в моей земле приключилась, если сюда столь славного мужа прислали.

— Будто бы ты сам не знаешь. В твоей земле с месяц назад княжеский служка Власт Долгий пропал. Слух есть, что погубили его здесь со злым умыслом.

— Вот ты про что, боярин... — Похоже, у посадника отлегло от сердца. — Было такое несчастье. Только без всякого умысла. Упился твой Власт хмельным медом, подрался, вот его, болезного, и пришибли.

— Кто пришиб?

— Кабы я знал, так этот лиходей давно бы на суку висел... Мимо нас разный народец шляется. И весь, и меря, и чудь заволочская. Варяги захаживают. Случается, что и печенеги у рубежей трутся.

Посадник хотел сказать еще что-то, но Добрыня нетерпеливо прервал его:

— Покойник где?

— Сожгли по обычаю, а горшок с прахом при дороге выставили. Волхв варяжский при том присутствовал. Хочешь — у него спроси.

— Почему сожгли, разбирательства не дождавшись? Он ведь не смерд какой-нибудь, а княжий служка. Из знатного рода. Вашим лапотникам не чета.

— Опасались, как бы он не протух. Вишь какая жара стоит.

— Квас твой не протух. — Добрыня поддел ногой пустой горшок. — Небось в леднике его держишь. Мог бы и покойника туда до времени определить.

— Не взыщи, боярин. Не сообразил я...

— А почему после смертоубийства гонца в стольный град не отрядил?

— Засуха проклятая реку выпила. Плыть нельзя. А конный до вас не скоро доскачет.

— Я вот доскакал. — Добрыня, звеня тяжелыми бронями, грозно надвинулся на посадника.

— Так это ты! — Посадник, придерживая порты, отступил в угол. — Другого такого скакателя и у степняков не сыщешь. Да и аргамака своего с нашими клячами не равняй.

— Увертлив ты, как ужака... А где барахлишко Власта? Конь? Грамоты?

— Барахлишко вместе с ним спалили. Конь на моей конюш-

не стоит. А вот грамот при покойнике не имелось, это я тебе, как отцу родному, глаголю.

— Все проверим. Потому я сюда и приехал.

— Если злодея найдешь, как с ним полагаешь поступить? — спросил посадник.

— Как издревле повелось. Выдам его родне убитого на расправу. А коль мстителя не найдется, виру потребую.

— Велика вира?

— Восемьдесят гривен.

— Тебе из них сколько причитается?

— Десятина.

— Я сто гривен дам, только оставь нас, боярин, в покое. Самая страда. Хлеб пора убирать, в гумна возить, молотить. Нынче каждый человек на счету. Даже малые дети к делу приставлены.. Твой розыск нам дороже вражьего набега обойдется.

— Что я тогда князю скажу? — Добрыня с недобрым прищуром глянул на посадника.

— Как было, так и скажешь. Дескать, заезжие тати Власта Долгого в хмельной ссоре порешили, а сами неведомо куда скрылись.

— Не на того ты, хозяин, попал. Я кривды сторонюсь и к мздоимству пристрастия не имею. Розыск проведу по справедливости. Людей зря дергать не буду, к вечеру все закончу. Скликай мужей всех сословий на вече. Ежели кто добром не пойдет, того пусть силой ведут. Ворота вели запереть и стражу везде выставь. Да не забудь предупредить, чтобы лучшее платье одели. Мол, киевский боярин на вас полюбоваться хочет...

К полудню все мужское население городка собралось во дворе посадника. Погрязшие в заботах люди, планы которых на нынешний день накрылись медным тазом, хмурились и роптали, тем более что о причинах, побудивших власть созвать вече, никто ничего не знал.

Впрочем, предположения высказывались самые разные — от угрозы моровой лихорадки до новой перемены веры.

Посреди двора поставили большую телегу, предназначенную для перевозки снопов. Вслед за княжеским посланцем на нее взошли: посадник, сотский, с полдюжины наиболее уважаемых граждан и трое волхвов варяжской веры, прежде ревностно служивших Перуну, Хорсу и Велесу.

Подле телеги местный кузнец установил горн, где на жарких

углях калилось железо, испытанию которым должны были подвергнуться не только подозреваемые, но и главные свидетели.

Вече, по обычаю, начали с жертвоприношений. Ради Одина зарезали ягненка, ради Тора зарубили петуха, ради Фрейи свернули шею голубке. Омыв руки жертвенной кровью, старший волхв попросил у богов мудрости для судей, раскаяния для злодеев и процветания для всего остального люда.

Потом встал сотский Ульф Дырявая Шкура, старый воин, некогда ходивший со Святославом на греков, и кратко изложил суть вопроса, вынесенного на мировую сходку.

Упоминание имени Добрыни Никитича, имевшего также прозвище Златой Пояс, заставило толпу приветственно загудеть. О его подвигах были наслышаны все — и о том, как Владимира Святославовича на княжеский стол сажал, и как на серебряных болгар походом ходил, и как град Полоцк на копье брал, и как с погаными сражался.

Кроме того, досужие люди сказывали о Добрыне много небылиц — про Змея Горыныча, про злую чародейку Маринку и про великую опалу, в коей ныне якобы пребывает боярин.

Весть о том, что сейчас состоится розыск злодеев, погубивших княжеского служку, также не оставила горожан безучастными, поскольку касательно этого события ходило немало слухов.

После сотского наступила очередь Добрыни. Скинув шлем, он приложил руку к сердцу и поклонился на все четыре стороны. Речь его потекла плавно и ритмично — при большом скоплении народа говорить полагалось совсем иначе, чем наедине или в малом обществе.

— Люди добрые, позвольте слово молвить. Простите, что от трудов праведных оторвал вас. Не по своей прихоти усердствую, а по воле князя Владимира Сятославовича. Причина того вам ведома. Причина, прямо скажем, худая. Случилось в вашем городе злое дело. Правду о нем выпало мне вызнать. И я ее вызнаю, если вы всем миром мне пособите. Заведем мы сейчас сокровенную беседу. Ежели кого позову, пусть смело выходит сюда, на лобное место, и говорит честь по чести, не кривит. А который станет путаться или в заблуждение нас умышленно введет, тот будет железом испытан. За это не взыщите. Не мной сей порядок заведен и не на мне кончится. Из всех вас, люди добрые, я знаю только посадника Чурилу Якунича...

— Торвальда, — процедил сквозь зубы посадник. — Торвальда Якунича...

— Торвальда, — едва заметно усмехнувшись, повторил Доб-

рыня. — С него, возблагодарив богов, и начнем... А вы все слушайте и, если что не так, поправляйте. Робеть не надо. Ограждены вы страхом грозы княжьей.

— Князь-то далече, случись какая обида, его не дозовешься, — выкрикнул из толпы какой-то удалец.

— Князь далече, да я близнехонько. — Для пущей убедительности Добрыня повел могучими плечами, после чего поворотился к посаднику. — Отвечай, Торвальд Якунич, когда ты узнал о приезде в город вольного человека Власта Долгого?

— О том пребывал в неведении. Ко мне он на поклон не являлся. Тишком в город пробрался. — Посадник отвечал таким тоном, словно его спрашивали про что-то непристойное.

— А о смерти его что можешь сказать?

— Наутро мне сотский донес. Дескать, лежит в конце Портомоечной улицы мертвец неизвестного звания без сапог и верхнего платья, а поблизости оседланный конь бродит.

— Истинно так было, — кивнул стоящий рядом сотский.

— Как ты, Торвальд Якунич, дальше поступил?

— Велел сотскому сыск учинить.

— Учинил ты его, славный воин? — Добрыня обратился к Ульфу.

— Недосуг мне было. Я ту заботу десятскому Тудору Судимировичу перепоручил. — Сотский пребывал в столь почтенном возрасте, что давно перестал принимать к сердцу такие вещи, как княжеская немилость или осуждение толпы.

— Тудор Судимирович, отзовись! — обратился Добрыня к толпе.

— Вот он я. — Легкой походкой прирожденного охотника десятский приблизился к телеге.

— Так было, как сотский сказал?

— Ей-ей, — подтвердил десятский.

— Тогда доложи нам, что ты разведал?

— Перво-наперво поспешил я на Портомоечную улицу. Глядь, лежит в канаве мертвый человек. Ликом синь-синешенек. Уста разбиты. Из платья на нем только исподнее. Но справное, из поволоки заморской. Подле гнедой конь ходит. Храпит, мертвечину учуяв. В руки не дается. Еле-еле его укротил. От коня и сыск зачал. Животина приметная, добрых кровей. Стража городовая коня признала.

— А мертвеца? — перебил его Добрыня.

— Опосля и мертвеца. Хотя не сразу. Вельми изувечен был. Да только одному стражнику в память его перстень оловянный

запал. Вот этот. — Десятский выставил вперед палец, на котором было надето скромное тусклое колечко. — По перстню только горемыку и признали. В город въезжая, он Властом Долгим назвался, а больше про себя ничего не поведал.

— За смекалку хвалю, — сказал Добрыня. — А перстенек сюда пожалуй. Его надлежит родне покойника вернуть.

— Не подумай, боярин, что я на эту безделушку польстился. — Десятский с поклоном преподнес кольцо Добрыне. — Чуяло сердце, что его сберечь надо. Улика как-никак.

— К тебе, мил человек, упреков нет. Поведай, как дальше дело было.

— Позвал я волхвов и велел поступить с мертвецом пристойно. В помощь своих людишек дал, дабы те погребальный костер сложили. Дымом на небо ушел Власт Долгий.

— Тризну справили?

— Не без того. Пусть и посторонний человек, а дедовские обычаи соблюсти следует.

— За усердие благодарствую. И тебе, Тудор Судимирович, и тебе, посадник, и вам, волхвы. — Добрыня поочередно кивнул всем упомянутым лицам. — Что ты можешь касательно его ран сказать?

— Не имелось ран. Без кровопролития обошлось. Надо полагать, что нутро ему отбили и кости переломали. Весь в синяках да багровинах был. Усердно над ним потрудились, в охотку.

— Как ты сам полагаешь, он хмельное перед смертью употреблял?

— Хоть и мертвый был, а перегаром на сажень разило.

— Бражничают ваши людишки?

— Кто как. Есть такие, что почитай каждый день во хмелю.

— Сделай одолжение, мил человек. Обойди вече и выставь всех пропойц на мои очи.

В толпе сразу раздались недовольные выкрики, но деваться было некуда — высокий тын не позволял, да и стражники зорко следили, чтобы никто не сбежал.

Десятский оказался малый не промах — действовал сурово и расторопно, не давая поблажки ни своим, ни чужим. Скоро перед телегой выстроились два десятка испитых мужиков, одетых преимущественно в отрепье. Присутствовали здесь не только славяне, известные своим пристрастием к горячительным напиткам, но и прижившаяся в городе лесная чудь, союзные степняки-торки и даже варяги.

— Вспоминайте, мошенники, кто с покойником бражничал в канун его смерти? — грозно произнес Добрыня.

Пьянчужки молчали, кто набычившись, кто искательно улыбаясь. Лишь один смельчак выдавил из себя невнятное: «Не-е-а...»

— Нет? — приставив ладонь к уху, переспросил Добрыня. — Онемели с перепуга? Уповаете, что на нет и суда нет? Обманываетесь! Будет вам суд. А пока стойте здесь, пусть на вас честной народ полюбуется... Кто не понял меня, растолкую, — это относилось уже к основной массе присутствующих. — Пусть каждый из вас пройдет мимо сих дармоедов и, если не убоится, плюнет им в рожу. Начинайте слева, становитесь справа. Не робейте и не упирайтесь. Моими устами вам повелевает сейчас сам великий князь.

Нехотя, но пошли. А что остается делать подневольному человеку? Кому охота княжьему вирнику перечить? Попробуй потом оправдайся. С властью сутыжничать, что с волком теля делить.

Горожане тянулись цепочкой между телегой и строем пьяниц, но преимущественно взирали не на своих непутевых земляков, давно всем глаза намозоливших, а на Добрыню, который, несмотря на полуденную жару, не снял с себя ни броней, ни меча, а только голову обнажил.

Да и сам боярин уделял проходящим мимо него людям самое пристальное внимание. Можно сказать, глазами ел.

Таким манером протопала уже не одна сотня, как вдруг Добрыня указал на какого-то ничем не примечательного горожанина.

— Остановись-ка, братец мой!

Тот, словно споткнувшись, замер на месте, застопорив двигавшуюся вслед шеренгу. Внимание знатной особы, похоже, ничуть не льстило ему, а, наоборот, смущало.

— Тебя как кличут? — спросил Добрыня, рассматривая горожанина с ног до головы.

— Радко Скорядич, — смиренно ответил он.

— Чем занимаешься?

— Извозом.

— Далече ездишь?

— Нет, недалече. В сумежные городишки.

— Что так?

— Кони слабосильные.

— Где ж ты, Радко Скорядич, такие ладные сапоги раздобыл?

— У заезжего купца.

— Поди, щедро заплатил?

— В меру.

— Повезло тебе, братец. Сапоги-то не простые. Заморского покроя. И сафьян на загляденье. Такие разве что в Царьграде носят да еще в стольном Киеве. Даже в Новограде ничего подобного не сыщешь. А не велики ли они тебе?

— В самый раз.

— А ну-ка, молодцы, проверьте!

Повинуясь знаку Добрыни, двое дюжих стражников приподняли Радко и хорошенько встряхнули. Сапоги пали на землю, как переспелые яблоки, дождавшиеся осенней бури. На ногах остались только размотавшиеся онучи.

— Где остальные пожитки Власта Долгого? — слово это Добрыня молвил, как мечом рубанул.

— Откуда мне знать? Мои сапоги! Облыжно обвиняешь, боярин! — кричал все еще трепыхавшийся в воздухе Радко. — Лукавое слово не доказательство. Боги истину знают!

— Вот мы их сейчас и спросим. — Добрыня упер руки в бока. — Только сначала тебя, братец, железом испытают. И если ты, паче чаянья, перед людьми и небом чист, боги тебя в обиду не дадут. Заступятся. В ином случае не обессудь... Десятский, тащи его к огню.

Дрыгающего босыми ногами Радко быстрехонько доставили к горну, где кузнец уже извлекал из углей полосу металла, раскаленную до вишневого цвета.

Слаб в поджилках оказался Радко Скорядич. Сдался, даже железа не коснувшись, а только жар его ощутив.

— Пощади, боярин! — падая на колени, возопил он. — Не губи зазря! Нет на мне крови Власта Долгого! Все скажу, как отцу родному!

— Говори, — милостиво кивнул Добрыня. — Для того мы здесь и собрались.

— Сапоги не мои. Я за них той ночью корчагу браги отдал. За них да за носильное платье. Не ведал, что они с убиенного сняты.

— С кем ты сторговался? Назови имя?

— Имя не знаю. А на улице его Вяхирем обзывают. Да вот же он, лиходей, супротив тебя землю попирает.

Человек, на которого указал несчастный Радко, уже давно стоял, потупившись и заведя руки за спину, словно загодя приноравливался к дыбе. В шеренге пьяниц он был ниже всех ростом да, пожалуй что, и тщедушней.

— Ты очи не прячь, — сказал ему Добрыня. — Чужую жизнь отнять легко, а ответ держать тяжко.

— Не убивал я никого, — по-прежнему глядя в землю, буркнул человек, прозванный Вяхирем, то есть мешком сена, лентяем.

— Сам, значит, убился? С седла упал?

— Сие мне не ведомо. Я его мертвого нашел. Остыть успел. Одежка мне приглянулась, спора нет. На том свете она без надобности. Обуяла корысть. Разнагишил покойника и все его барахлишко вот этому живоглоту снес. — Он мотнул головой в сторону коленопреклоненного Радко. — Невинной овечкой сейчас прикидывается, а сам с младых ногтей скупкой краденого промышляет. Извоз держит только для отвода глаз. Товара у меня взял на целую гривну, а взамен корчагой сусляной браги одарил. Одно слово — мироед.

— Почему коня не продал?

— Не дался мне конь.

— Поблизости никого не видел?

— Никого.

— В каких богов веруешь?

— В нынешних. Асами называемых.

— Сейчас поклянешься их именем. Слова клятвы знаешь?

— Знал, да запамятовал.

— Ничего, волхв тебе напомнит. Слушай со вниманием, опосля повторишь... А ты, посланец богов, читай внятно, не бормочи. — Добрыня отступил от края телеги, пропуская вперед косматого страховидного волхва.

Поднятый спозаранку, тот не успел позавтракать мухоморами и поганками, а потому не достиг пока состояния, позволяющего запросто общаться с богами. Но не зря говорят, что дело мастера боится. Покрутившись немного на одной ноге и в кровь расцарапав себе лицо, волхв все-таки поймал нужный кураж. Глас, разнесшийся над двором посадника, был подобен вою волка:

— О хозяева мира, властители Асгарда и Хеля, хранители меда жизни и прародители людей, призываю вас в свидетели! Клянусь копьем Одина, молотом Тора, мельницей Фрейра, власами Сив, яблоками Идунн и золотом ивергов, что не покривлю против истины ни в словах, ни в помыслах, ни в поступках. Залогом тому моя жизнь. В противном случае пусть на меня падут гнев богов и порицание людей.

Волхв еще продолжал вещать замогильным голосом, а Добрыня уже сошел с телеги и поманил к себе Вяхиря. Сошлись они возле горна, из которого услужливый кузнец уже извлек клещами железный слиток, предназначенный в будущем для изготовления меча.

— Теперь дело за малым, — сказал Добрыня. — Ты должен повторить клятву, держа железо в руке. Боги не оставят невинного своим заступничеством, а лживец, дерзающий против истины, пострадает.

— Прежде ты именем князя действовал, а теперь еще и божьи права на себя взял. Не жирно ли? — Вяхирь зло оскалился. — Если ты такой праведник, почему сам железа сторонишься? Подай мне пример, червю ничтожному.

— Так тому и быть. — Добрыня голой рукой взял из клещей исходящий сизым дымком слиток и протянул его Вяхирю.

Тот, словно в умопомрачении, ухватился за раскаленное железо и даже успел произнести: «О хозяева мира...» — но тут же взвыл и затряс в воздухе растопыренной пятерней, словно невидимую мошкару разгонял. Сквозь вонь пота, дегтя, онуч и перегара пробился запашок горелого мяса.

— Ты лжец. — Взвесив железо на ладони, Добрыня швырнул его обратно в угли. — Да еще и трус. А потому казни подвергнешься позорной. В болоте утопнешь или живым в землю ляжешь. Больше мне тебе сказать нечего.

— Верно, трус я. Со страха солгал. — Вяхирь с тоской оглянулся по сторонам, словно ища сочувствия у присутствующих. — Но на снисхождение уповаю. Не губил я никого отродясь, кроме самого себя.

— А кто тогда губил?

— Догадки имеются. Только для меня в том опять же никакой выгоды. Если простит суд, то не простят тати, на коих подозрение через меня падет. Эх, обложили со всех сторон, аки волка шелудивого! Что так смерть, что этак погибель.

— Ужо тебе, кровопийца! Еще и ломается, как красна девица. Нюни распустил. — Посадник, наверное, перегревшийся на солнце, явил бурное негодование. — Он Власта Долгого убил, он! Больше некому! Пусть за невинную кровь своим животом ответит. Истребить его! Виру с такого прощелыги все одно не сыщешь.

— Не было еще такого случая, чтобы я законную виру с виноватого не сыскал, — спокойно возразил Добрыня. — За неимущего злодея вы всей вервью[1] дикую виру заплатите. Сыск еще не кончен. Последнее слово за Вяхирем... Излагай свои догадки, не упорствуй. Облегчи сердце. А я тебя в случае чего от недоброхотов отстою.

---

[1] Вервь — община, связанная круговой порукой.

— Как же, слыхали. Только верится с трудом... Пес с псом снюхается, а боярин с боярином столкуется. Для того и пустили на свет холопов, чтобы они за все ответ держали. И за княжье самоуправство, и за боярский кривосуд, и за купеческое лихоимство.

— Его только за один поганый язык надлежит казнить! — окончательно рассвирепел посадник. — Да как он, выжига, смеет на мирской сходке поносными словами лаяться!

Добрыня между тем был настроен куда более миролюбиво. Голос свой надрывать не стал, а молвил с улыбочкой:

— Ты, как я погляжу, вольнодумец. И не дурак к тому же. Что тогда в хмельном пойле ищешь?

— Ничего не ищу. — Вяхирь опять уронил голову. — Топлю в нем свою грусть-печаль.

— К какому делу, кроме винопития, способен?

— Псарь я. С детства приставлен был к ловчим да гончим. В хворобах псовых сведущ. Да и в соколиной охоте толк понимаю.

— А скажи-ка мне: под которое крыло сокол цаплю бьет?

— Под левое, боярин.

— А ведь верно, — кивнул Добрыня. — Славное у тебя занятие. Усердные псари и соколятники завсегда нарасхват. Коль с пьянством покончишь, я тебя, так и быть, к себе в услужение возьму.

— Да я ведь вроде на смерть осужден.

— С этим успеется. Откройся перед судом, и будешь прощен. Нам истина нужна.

— Истина всем нужна. Да только каждому своя, — с философским видом заметил Вяхирь. — Истины я касаться не буду. А чему свидетелем был, поведаю без утайки.

— Сделай одолжение.

— Выпил я в тот день, каюсь, изрядно. Праздновали что-то в городе. Будто бы встречу солнца с месяцем. Вот я и набрался. Просыпаюсь ночью под забором. Темень, аки в царстве мертвых. Недалече конь всхрапывает и люди говорят. Не по-доброму говорят, с укорами. Ругня, а не разговор. Я на голоса пошел. Десять шагов не успел сделать, как слышу: один человек вскрикнул. Ну тут и началось. Видеть я в ночи ничего не вижу, только слышу, как семеро одного смертным боем бьют. Ну, может, и не семеро, а трое-четверо. Сие одним только совам да нетопырям ведомо. Сначала этот бедолага еще держался. Бранился крепко и страшными карами грозил. Земными и небесными. Потом с ног свалился. Тут они его и добили. Потом стали совет держать: как с

мертвым телом поступить. И так прикидывали и этак, а все не по уму. Тогда один говорит: нальем ему в глотку вина, люди и подумают, что он в пьяной потасовке гибель поимел. Как сказано, так и сделано. Я в то время с испуга в соломе хоронился. Долго там просидел. Когда к покойнику осмелился приблизиться, уже вторые петухи пропели.

— Дышал он еще? — спросил сотский, весьма увлекшийся этой историей.

— Куда там! Не дышал. И сердце не билось. Рядом пустой мех лежал. Вина только на пару глоточков осталось. Но вино доброе, фряжское. Жаль, зазря перевели. Что дальше было, вы уже знаете.

— По всему выходит, что ты злодеев не видел? — уточнил посадник.

— Нешто я тварь ночная, чтобы взором мрак пронзать? Видеть я ничего не видел, зато ясно слышал. И хотя в страхе пребывал, кое-что запомнил.

— Ежели запомнил, тогда до нашего сведения доведи, — велел Добрыня.

— Наговорили они вместе много чего. Такой брани мне даже в темнице не доводилось слышать. Но напоследок, пока дело до побоища еще не дошло, Власт Долгий сказал: «Не высоко ли ты себя, холоп, ставишь. Берегись, падать будет жестко». На что ему был дан ответ: «Ты сам холоп княжий. А я вольный человек. Господину моему служу не за кусок хлеба, а из почтения. То же самое и тебе предлагаю. Внакладе не будешь». Последние слова Власта таковы были: «Меня не купишь. Я князю перстень целовал. И ваше стяжательство на чистую воду выведу. Ишь, обычай взяли, варяжские мечи да секиры поганым продавать. Киеву от этого не только убыток, но и прямая угроза. Мечи те потом на наши головы падут».

— Любопытные беседы у вас по ночам случаются, — произнес Добрыня как бы в задумчивости. — А пустой мех потом куда девался?

— Не знаю, — развел руками Вяхирь. — Может, люди подобрали. Вещь в хозяйстве нужная.

— Вино точно фряжское было?

— Истинно так. Мне его в Изборске у тамошних купцов доводилось пробовать. С иным не спутаю.

— Эй, миряне! — зычно крикнул Добрыня. — У кого фряжское вино в закромах имеется?

Возгласы в ответ последовали самые различные, но преимущественно отрицательные:

— Нет!

— Откуда нам, сирым, его взять!

— Даже и вкуса не ведаем!

— Нетути!

— Мы и брагой обходимся.

— Никак насмехаешься над нами, боярин!

— Вино пить, голым ходить!

— Еще чего! Мех такого вина дороже тельной коровы стоит.

Дабы утихомирить народ, Добрыне даже пришлось вскинуть вверх десницу.

— Верю всем, верю на слово, — молвил он. — А ведь помню, кто-то сегодня зазывал меня на кубок фряжского вина... Эй, стража, доставьте сюда посадского приказчика Страшко.

— Он делом неотложным занят! — На удивление всем, посадник осмелился перечить княжьему вирнику.

— Да и мы здесь тоже не бездельничаем, — вполне резонно возразил Добрыня. — Но если твоему приказчику недосужно, я его долго не задержу.

Страшко Ятвяга доставили прямо из посадских хором, где он по неизвестной надобности пребывал в самой глубокой подклети (так, по крайней мере, доложил десятский).

Глаза приказчика воровато перебегали с хозяина на Добрыню и обратно. На Вяхиря, вдруг ставшего на вече чуть ли не главным действующим лицом, он никакого внимания не обратил.

— Ты мне поутру фряжское вино предлагал? — как бы между прочим осведомился Добрыня.

— Предлагал, боярин, — с поклоном ответил Страшко.

— Много его у вас запасено?

— До зимнего торга должно хватить.

— Дорого, небось, плачено?

— Хорошо дешево не бывает.

— Ты этим вином всех подряд угощаешь?

— Только дорогих гостей.

— А мне говорили, что ты им даже мертвецов поишь.

— Каких таких мертвецов? — Страшко даже назад прянул, как учуявшая волка лошадь. — Ты, боярин, про что?

— Да ни про что. Постой пока здесь... Ты, десятский, за ним присматривай. В подклеть, откуда его взяли, людишек верных пошли. Пусть все до последнего сучка обозреют. Заодно и поло-

вицы снимут. Если клад какой обнаружится, сюда его... А где Вяхирь? Куда он запропастился?

— Здесь я, — глухо отозвался бывший псарь, успевший затесаться в толпу добропорядочных горожан. Рожу его, прежде схожую со спелой клюквой, испятнали белые яблоки.

— Чего испужался? — Добрыня подмигнул ему. — Обличья или голоса?

— Голоса. — Вяхирь, дабы казаться незаметнее, втянул голову в плечи.

— Его ты ночью слышал?

— Его.

— Он Власта Долгого холопом княжьим обозвал?

— Он.

— Клятву дашь и железа не убоишься?

— Деваться-то все одно некуда... За слово свое буду до конца стоять.

— Верю. — Добрыня перевел пристальный взор на Страшко, еще ничего толком не понявшего. — Почему порты глиной измазаны?

— Погреб рыл. — Приказчик стал отряхиваться, словно явился в баню, а не на мирскую сходку.

— Больше некому? Дворни у вас мало?

— Дворня на вече пошла.

— Потому, наверное, и рыл, что никто подсмотреть не мог? Или спешка обуяла?

Приказчик молчал, раз за разом косясь на посадника, но тот его сейчас как бы даже не узнавал. Горожане, еще не уяснившие, что же есть общее между убиенным Властом, фряжским вином, посадским приказчиком и рытьем погреба, усиленно перешептывались.

И лишь самые сметливые бросали в спину Страшко гневные реплики типа «Убивец!» и «Кровопийца!».

— Никак онемел? — произнес Добрыня с упреком. — Не беда. Ты даже язык проглоти, а ответ держать придется. Про твои воровские дела мне во всех околичностях ведомо, окромя пары пустяков: кто велел царского служку погубить и кто при тебе в сообщниках состоял? Вопросы не простейшие, но от них твоя дальнейшая судьба зависит. Признаешься во всем — шкуру свою в целости сохранишь. Упираться вздумаешь — подвергнешься принуждению. Клещей и огня отведаешь. Тебе решать.

Посадник, до того пребывавший в некой кратковременной прострации, внезапно взревел: «Ты, изменник, мое честное имя

опозорил!» — и, вырвав у ближайшего стражника сулицу[1], метнул ее в приказчика, не успевшего сказать ни «да», ни «нет».

Тучен был князь и одышлив, но руку имел все еще верную. Сулица насквозь пронзила Страшко и едва не задела стоявшего за его спиной десятского.

Вече охнуло, ахнуло и заголосило. Кто в задних рядах стоял, тот на забор вскочил. Малорослые на плечи высокорослых вскарабкались. Чай, не каждый день такие страсти доводится зреть. Это даже занятней, чем публичное сожжение отступников, в греческую веру переметнувшихся.

А тут новое зрелище подоспело — вернувшиеся из посадских хором стражники свалили к ногам Добрыни кучу мечей, секир и прочих смертоубийственных орудий.

— Это не все, — сказали они, отдуваясь. — Там вдесятеро больше осталось. Рук унести не хватило.

— Чего ради ты у себя оружницу[2] завел, Торвальд Якунич? — обратился Добрыня к посаднику. — На кого войной собрался идти? На царя индийского или на князя ляшского?

Тот, присутствия духа не теряя, ответил:

— Рубеж в двух шагах. Набег поганых час от часу ожидается. Как же без оружейного запаса отбиваться прикажешь?

— А разве место ему у тебя под полом?

— Уж это, боярин, позволь мне самому решать. Я дому своему хозяин, а равно и жизни своих дворовых, — этими словами, надо думать, посадник хотел оправдаться за убийство Страшко.

— Нет, Торвальд Якунич, — голос Добрыни разнесся по всему вече, как львиный рык. — Закончилось твое хозяйствование. Ты в княжьем городе правил, будто бы медведь в своей берлоге. Не было тебе ни надзора, ни обуздания. Что хотел, то и воротил. Про торговлишку оружием слухи до Киева и прежде доходили. Потому и послан был сюда Власт Долгий с тайным порученьем. Не купился он на посулы твои, отчего и мученическую смерть принял. Вот так-то, Торвальд Якунич! Думал, с рук тебе все сойдет? Ан нет. Пришел конец твоим беззакониям. В Киев пойдешь, а там перед княжьими очами предстанешь. Пешком пойдешь, подле моего стремени.

— Люди, измена! — вскрикнул посадник, пытаясь вырвать сулицу у другого стражника. — Не верьте этому блудослову! Не

---

[1] Сулица — род метательного копья.

[2] Оружница — арсенал.

верьте наветам! Чист я перед вами! Не дайте в обиду! Оборони от лиходейства.

Призыв этот нашел немало сочувствующих, особенно среди посадской дворни, попытавшейся овладеть конфискованным оружием. Пришлось Добрыне на деле показать, каким бывает русский богатырь, обнаживший меч. Дворню он разогнал парой ударов, кого-то попутно изувечил, а сулицу, брошенную посадником, ловко перехватил в полете.

Впрочем, говорить о том, что все окончательно сладилось, было еще рановато. Толпа, вздорная и переменчивая, как гуляющая девка, могла легко склониться как в ту, так и в другую сторону, а в случае беды против такого скопища не устоял бы ни Добрыня Никитич, ни Илья Муромец, ни сам Святогор.

Да только княжий вирник умел управляться с народом не хуже, чем с борзым конем или булатным мечом, и, главное, знал, когда нужно подольстить, а когда цыкнуть.

— Розыск и суд окончены, — объявил он. — Посадник ваш, Торвальд Якунич, прежде звавшийся Чурилой, смещен. Дом и двор его отдается обществу на поток и разграбление. Отныне посадником будет всем вам хорошо известный Тудор Судимирович, бывший десятский. От имени великого князя Владимира прошу любить его и жаловать... Прости меня, славный Ульф. — Добрыня поклонился сотскому, взиравшему на все происходящее, как на детские шалости. — Кабы не года твои почтенные, был бы ты нынче в посадниках. Еще раз прости... А тебе, Тудор Судимирович, самое время проявить себя на новом поприще. Укроти народ и возьми под стражу злодеев.

В последовавшей за этим свалке Добрыня участия не принимал. Не боярское это дело — хлестать плетями непокорных смердов и вязать руки приспешникам отставного посадника.

Тут к Добрыне бочком приблизился Вяхирь. Всем своим видом он напоминал пугливого щенка, который хоть и ждет от хозяина подачки, но в любой момент готов дать тягу.

— Про обещание свое, боярин, не забыл? — смиренно поинтересовался он. — Возьмешь в псари?

— А ты пьянствовать бросишь?

— Сегодня в последний раз собираюсь выпить. Уж больно причина обязывающая. Не каждый день подобное случается — и на смерть осужден, и помилован, и на боярскую службу взят.

— Так ведь не взят еще. Зачем мне слуга, над которым порок властвует. Хватит и того, что я сам частенько чаркой балуюсь.

— Будь по-твоему, боярин. — Вяхирь ухватился за подол богатырской кольчуги. — Отныне ни капли!

— Это другое дело. Только смотри у меня! Если не сдержишься, я тебя из псарей в выжловки[1] переведу. Будешь на карачках за зайцами гоняться. — Добрыня похлопал его по плечу.

— Ох, боярин! — Глаза Вяхиря полезли на лоб. — Глянь, что с рукой у тебя.

— Что-что! Сжег руку, когда тебе пример подавал. — Добрыня выставил напоказ правую длань, на которой живого места не осталось.

— Я-то думал, что ты чародей и телесного страдания не ощущаешь... — пробормотал Вяхирь.

— Коли надо, ощущаю, а коли не надо — нет, — ответил Добрыня с жизнерадостной усмешкой. — Плоть-то эта богатырская — не моя. Во временное пользование взята.

— Неужто ты оборотень? — прошептал Вяхирь.

— Псаря это не касается, — отрезал Добрыня, но тут же спохватился: — Чуть не забыл! Надо бы тебе прозвище сменить. Прежнее уж больно срамное. Отныне ты будешь не Вяхирем, а Торопом.

— Назови хоть горшком, а только в печь не сажай.

— Вот и договорились.

— Боярин, просьба к тебе есть. — Вяхирь, ставший в одночасье Торопом, молитвенно сложил на груди руки.

— Выкладывай.

— Позволь мне вместе с народом посадские хоромы пограбить. Хочу одежонкой пристойной обзавестись. Негоже барскому слуге в обносках ходить.

— Хм... — Добрыня задумался. — Ладно, пограбь, если очень тянет... Но только чтобы в последний раз. Лично мне, как уроженцу правового государства, претит все, что идет вразрез с Уголовным кодексом.

— Уж больно ты слова чудные говоришь, боярин. Наверное, заклинания чародейские. Ох, чур меня... — Тороп-Вяхирь как присел со страха, так и прочь пошел на полусогнутых.

— Тебе, дурила, не понять... — молвил ему вслед Добрыня.

В Киеве опять творились беспорядки (наверное, бунтовала варяжская дружина, который месяц сидевшая без жалованья), и все ворота, кроме Жидовских, были затворены. Через них-то

---

[1] Выжловка — сука, которая ведет охотничью стаю.

Добрыня, сопровождаемый небольшой свитой, и въехал в стольный город, котрый про себя называл «чирьем земли русской».

Весь остаток дня ушел на то, чтобы поместить развенчанного посадника в поруб — подземную темницу, где случалось сиживать и самому Добрыне, — да столковаться с княжеским казначеем Будом (в недавнем прошлом Блудом, но это имя, ставшее синонимом предательства, больше вслух не упоминалось).

— Ты княжескую волю выполнил? — первым делом поинтересовался казначей.

— Выполнил, — сдержанно ответил Добрыня.

— Злодеев нашел?

— Нашел.

— А я тебе зачем нужен?

— Злато изъятое хочу сдать.

— Много злата?

— Бочка.

— А до утра твоя бочка не подождет?

— Мало ли что до утра случится. Вдруг варяги про мое возвращение прослышали. И злато присвоят, и меня на собственных воротах повесят.

— Это уж непременно... — Буд призадумался. — Так и быть, приму я злато в казну. Только сосчитаю сначала для порядка.

— Утром вместе сосчитаем. Я десятый день в пути, из сил выбился... Бочка смолой и воском опечатана, ничего ей за ночь не сделается.

Казна хранилась в неприступной башне, возвышавшейся на крутом днепровском берегу. До узеньких окошек, расположенных под самой крышей, могла добраться разве что птица, а единственный вход сторожили отборные княжеские дружинники.

— Ты здесь постой, — гремя ключами, сказал Буд. — Внутрь посторонним заходить не положено. Бочку я сам закачу.

— Внутрь я не рвусь, — ответил Добрыня. — А одним глазком заглянуть позволь.

— Гляди, только не ослепни. — Буд вместе с бочкой исчез за дверями, на которых железа было больше, чем на любых других киевских вратах. Явившись назад, он озабоченно произнес:

— Уж больно твоя бочка для злата легкая. Признавайся, чего в нее напихал?

— Полновесного злата там всего на треть, — объяснил Добрыня. — А остальное жемчуг да каменья драгоценные. Завтра воочию увидишь...

В свой скромный, но почти неприступный домишко он попал уже глубокой ночью, освещенной не только ярыми звездами, но и бушующими где-то на Подоле пожарами. Свежий ветерок доносил оттуда лязг мечей и нестройные боевые крики.

— Тиха украинская ночь... — сквозь зубы процедил Добрыня и велел слугам в честь удачного возвращения готовить пир.

Гонцы, предусмотрительно посланные в Киев еще с половины пути, должны были заранее предупредить всех, с кем Добрыне необходимо было срочно свидеться.

Гости стали собираться за полночь — почти все прибывали тайком, без конной стражи, без факелов, без шутов и музыкантов. В воротах их с почетом встречали боярские слуги и по брошенным прямо на землю холстинам провожали в гридницу, где уже были накрыты столы с яствами, названия и рецепты которых знал один только Добрыня, — гамбургеры, чебуреки, шашлыки, шницеля. Впрочем, хватало и привычных блюд: жареных лебедей, рыбных балыков, осетровой икры, переяславской сельди, разварной свинины, вяленой конины, соленых слив, пирогов, простокваши, моченого гороха, орехов.

Явившийся одним из последних вольный витязь Дунай, немало пространствовавший и в ляшских, и в литовских, и прусских землях, сказал:

— Больше никого не будет. Соратника нашего Ивора Кучковича прошлого дня в срубе спалили за чернокнижие, а купец Могута, объявленный разбойником, к печенегам сбежал.

— Тогда начнем. — Добрыня встал во главе стола. — Святой отец, читай молитву.

Царьградский черноризец Никон, в Киеве скрывавшийся под личиной нищего калика, затянул: «Отче наш...» — и все присутствующие, кроме хазара Шмуля и волжского болгарина Мусы, державшихся своей веры, стали ему подтягивать.

Когда сказано было «Аминь» и христиане перекрестились, Добрыня сам обошел гостей с кувшином греческого вина (слуги на ночные застолья не допускались). Налито было даже мусульманину Мусе, которому, как находящемуся в походе воину, строгий закон Аллаха позволял кое-какие поблажки.

— Спасибо, что хозяина почтили, что не побрезговали его хлебом-солью, — сказал Добрыня. — Теперь с божьего благословения осушим кубки.

Выпив, присели на лавки и занялись закусками. Четверть часа сохранялась относительная тишина, нарушаемая лишь чавканьем, сопением и хрустом костей, то есть звуками, скорее

свойственными насыщающейся волчьей стае. Впрочем, такое поведение было вполне простительно для людей, родившихся задолго до возникновения самого понятия «этикет».

Заморив червячка, на что ушло полпоросенка и пара балыков, Дунай спросил:

— Как съездил, Добрыня Никитич?

— Удачно, — ответил хозяин. — Добыл князю полдюжины возов варяжского оружия и бочку злата.

— Что так щедро?

— Иначе нельзя было. Тать, который всем этим прежде владел, сюда доставлен. Завтра перед князем предстанет. А язык у него длинней, чем у беса хвост, и совести никакой. Ему только дай потачку. Зачем мне лишние наветы?

— Ума и осторожности тебе, Добрыня, не занимать, — произнес купец Ушата, в крещении Роман. — Да только дела наши — хуже некуда. Соглядатаи княжеские шага ступить не дают. Где ни притулишься, там вереи дверные подслушивают и сучки стенные подглядывают. По любому подозрению в застенок волокут. Недавно двух варягов, отца и сына, греческую веру принявших, прямо в собственном дому сожгли. И лишь за то, что те отказались поклоняться деревянным кумирам — Одину и Тору.

— Что ты предлагаешь? — видя, что обжорство поутихло, Добрыня пустил кувшин по кругу.

— Бунтовать надо, пока не поздно. Ярослава на место Владимира ставить. Поговаривают, что он в почтении к греческой вере взращен.

— Мал еще Ярослав, — возразил Добрыня. — В соплях ходит... За ним ни народ, ни дружина не пойдут. Великая смута на нашей земле случится. Я, признаться, достойного преемника Владимиру сейчас не вижу. Пусть себе остается на великокняжеском столе, только окрестится.

— Как же, ожидай! Скорее бык отелится, чем он окрестится, — воскликнул Сухман, в прошлом княжий чашник, за пустяковый проступок изгнанный Владимиром со двора. — Свет еще не видывал подобного изверга. Ему лишь бы бражничать, блудом тешиться да невинных людей губить. Разве греческая вера подобный срам позволит?

— Я Владимира лучше любого из вас изведал. — Добрыня в отличие от сотрапезников говорил спокойно, взвешивая каждое слово. — Право, даже не знаю, в кого он такой уродился. Отец его, Святослав, был аки барс и иной доли, кроме бранной, для себя не желал. Во всем был стоек, даже в заблуждениях. Сама на-

тура его противилась принятию христианства. Сын не такой. Благо что с малолетства без матери воспитывался. Он не барс и даже не волк, а змей лукавый. На каждый спрос два ответа держит. Его любая вера устроит, лишь бы властвовать позволяла. Если под Владимиром великокняжеский стол пошатнется, он ради собственного спасения с дияволом побратается. И даже без оглядки. Сменит Одина на Христа столь же просто, как прежде сменил Перуна на Одина.

— Пока варяжская дружина в городе сидит, ни один киевлянин открыто не окрестится. Даже великий князь, — молвил черноризец, всем разносолам предпочитавший черствые просвиры, специально для него припасенные.

— Так изгнать их из города! — вспыльчивый Сухман стукнул кубком по столешнице.

— Как? — воскликнули сразу несколько голосов. — Откель силу взять?

— Эх, перекупить бы их, — мечтательно произнес купец.

— За какие шиши? Нет у нас такого достатка.

— В Царьграде занять, — оживился купец. — У кесарей.

— Кесари просто так не дадут, — покачал головой Добрыня. — Им залог нужен. Полкняжества, никак не меньше... Пусти козла в огород, сам голодным останешься.

— Тогда и говорить не об чем, — с горечью молвил Дунай. — Выпьем еще по кубку и разойдемся в разные стороны. Стерпим и Владимира, и Одина. Не такое приходилось терпеть. Хазарам дань платили и ляхам кланялись. Князь от бога, а боги, лукавить не будем, от человека. Если любы народу идолы поганые, так тому и быть. По дураку и колпак. Свинье грязь, соколу небо.

— Не скажи. — Добрыня поправил фитиль в потускневшем светильнике. — Вера для человека как точило, которое тупое железо в разящий меч превращает. Вера пращуров наших, надо признаться, была негодным точилом. Но и варяжская нисколько не лучше. Как лилась на этом свете кровь, так и на том будет литься, пока весь мир не воспылает, аки стог соломы. И кем бы ты при жизни ни был, праведником или грешником, все равно обречен в этом всеобщем пожаре погибнуть. К чему тогда, спрашивается, добро творить? Чего ради страсти усмирять? Волхвы варяжские учат, что участь каждого смертного предопределена заранее и изменить ее несбыточно. То же и с богами. Их конец назначен. Неизбывный рок превыше неба. Вера греческая, напротив, сулит человеку воздаяния за дела его. Подает надежду на спасение и вечную жизнь. Поименно обличает каждый грех. Лю-

бая языческая вера в сравнении с ней бедна и уныла, как убогая вдовица. Величие христианства признают все народы, вырвавшиеся из дикости. Одни мы вкупе с литвой и ятвягами в невежестве прозябаем. Где учение Христово утвердилось, там и жизнь наладилась. Нравы смиряются, промыслы процветают, законы крепнут.

— Это мы с тобой понимаем, — перебил хозяина Сухман. — А как сию истину до черного пахаря довести? До смерда, нищетой одолеваемого? До чуди и мери? До печенега? До того же самого варяга, который свой меч за живую тварь почитает?

— Для того слово дадено. Уж чего другого, а проникновенных слов в греческой вере предостаточно. Проповедников надо приглашать, толкователей, книжников. Пусть Святое Писание на доступный язык переложат. Храмы христианские надлежит повсюду ставить. Высокие и просторные. Изнутри богато изукрашенные. Простая душа в этих храмах к благодати приобщится. Обряды опять же... Разве впору сравнивать христианское богослужение с языческим? Там и певчие сладкоголосые, и образа животворящие, и благовония душистые, и ризы златотканые. А главное — свет, чистота. Самый дикий и грубый народ за светом, за красой потянется. Впоследствии и слово божие воспримет. Пусть даже не в нынешнем поколении, а в будущем. Для детей и внуков стараемся. На историческую перспективу работаем.

— Чего? — хором воскликнули все. — На кого работаем? Ты каких бесов помянул?

— Не взыщите, братья, оговорился. — Добрыня в знак раскаяния склонил голову. — Хотел сказать, радеем за грядущую участь народа нашего.

— Любопытные у тебя, Добрыня, оговорочки случаются, — хмыкнул Дунай. — То ляшское слово ввернешь, то греческое, то вообще неведомо какое. А ведь баял, что в чужеземных краях не бывал.

— В чужеземных краях не бывал, это верно, а с чужеземцами общался. От них и слов мудреных набрался. Уж не обессудьте.

— К вере греческой тебя тоже чужеземцы склонили? — поинтересовался хазар Шмуль.

— Нет, собственным умом дошел. Через усердные размышления и книжную ученость, к которой с младых лет пристрастился... Не дано нам иного пути, кроме христианского. Если варяжский обычай воспримем, в разбойников превратимся. Зачем хлеб сеять, коли его можно у соседа отнять? К чему орало, когда есть меч? Весь просвещенный мир к нам спиной повернется.

Медведями прослывем, на которых все добрые люди рогатины острят. Если и выживем, то бичом божьим сделаемся и самих себя этим обделим. Таких, как мы, греки варварами называют, что значит — дикари и невежды. Уже сейчас, поди, никто рунами не пишет. Никто младенцев в жертвенные костры не бросает. Никто в сыромятных шкурах не ходит и живую кровь на бранном поле не пьет.

— Спору нет, — кивнул купец Ушата. — В язычестве мы погрязнем, как в болотной топи. Да только путь к истинной вере тернист и извилист. Те самые греки, почитай, без малого тыщу лет по нему влачились. На костры всходили, крестные муки принимали, своей плотью диких зверей питали. Терпением и смирением гонителей веры одолели. А ты время торопишь. В один шаг хочешь семиверстный путь одолеть.

— Той тыщи лет, которая грекам была отпущена, у нас нет, — ответил Добрыня. — Да и на кой ляд нам такая прорва времени. Другие народы торную дорогу по целине проложили. Нам лишь догонять их остается. А сие уже побыстрей и полегче. Хотя и огонь, и крест, и плаха тоже будут. Без большой крови у нас ни одно свершение не обходится.

— Речи вы соблазнительные ведете, заслушаться можно, — произнес Дунай. — На днях царство божие перед нами откроется, сомнений нет. Сомнения лишь в том, как нынешний день пережить. Варяги у нас поперек горла, как кость стоят. Вот о чем прежде всего надо толковать.

— Люди-то они безвинные, — изрек черноризец, скоромной пищи избегавший, однако вином не гнушавшийся. — Не ведают, что творят. Наймиты, они и есть наймиты. Доля такая. За сребреник родного отца порешат. Овцы заблудшие. Однако власть Владимира на их мечах зиждется. Не станет варягов — и князь смягчится.

— Надо варягов с Владимиром рассорить, — проговорил Добрыня веско, словно о чем-то давно решенном. — Взбунтовать.

— Они и так каждодневно бунтуют.

— То не бунт, а пьяные раздоры. Поиздержавшийся варяг хуже голодного зверя. И своих и чужих кусает. А получит горсть монет, опять всем доволен. Нынче они княжьими посулами живут. Дескать, в свое время все сполна получите. Вот когда варяги поймут, что ждать им больше нечего, тогда и отпадут от Владимира.

— Кабы Киев с досады не сожгли, — с опаской произнес купец.

— Не осмелятся. Себе дороже будет. Уйдут восвояси или к грекам наймутся.

— На словах все просто получается, — засомневался Дунай. — Только ведь недаром говорят, что от слов до дела — сто перегонов. У нас даже лазутчиков своих среди варягов нет.

— Варяги — это уже моя забота, — твердо произнес Добрыня. — Расхлебаюсь как-нибудь. Не впервой. У вас всех и своих хлопот предостаточно. Действовать будем, как прежде договорились. Ты, Шмуль, и ты, Муса, к князю в гости напроситесь. Купцами заморскими скажитесь. На подарки, само собой, не поскупитесь. Князь до чужеземных баек весьма охоч. Особенно до похабных. Муса для затравки про гаремы магометанские расскажет, а Шмуль про содомский грех и блудниц вавилонских. Опосля на веру разговор переведите, только исподволь. Ты, Муса, живописуй обрезание и особенно упирай на запрет свинины. Про рай ваш срамной и гурий развратных не упоминай, не то прельстится князь.

— Все сделаю, как ты повелел, — Муса легким движением коснулся сердца и чалмы, — хотя душа моя горючими слезами будет обливаться. Легко ли правоверному магометанину свою веру хулить?

— Стерпишь. За то сторицей отплатится. Твоим братьям позволено будет печенегов в магометанство обратить... Тебе, Шмуль, задание схожее. Но главное, упомяни, что иудеи народ бездомный, потому как бог Яхве в гневе лишил их родины и расточил по чужим странам. Дай понять князю, что сие бедствие есть наказание за грехи ваши и что такому народу не может быть сочувствия, как нет его охромевшему коню.

— На великий грех ты меня, боярин, склоняешь, — раскачиваясь на лавке, скорбно вымолвил Шмуль.

— Какой грех, если это правда?

— Правда или кривда, а наговаривать на единоверцев всегда грех. Ангелы божьи мне на том свете язык вырвут... Ты, боярин, хоть посочувствуй мне, улести чем-нибудь.

— Чем же тебя улестить, коли ты и так все в избытке имеешь?

— Позволь мне в подвластных Киеву городах торговлишку вином основать, для чего питейные дома поставить. Пусть народ веселится и гуляет. А я с того свою выгоду поимею.

— Дело хорошее, — ответил Добрыня. — Только преждевременное. Пусть народ, о котором ты так печешься, сначала креститься научится, а уж потом чарку в руки берет. Но в унылость не впадай. Со временем все наладится. И полтыщи лет не прой-

дет, как твои единоверцы по всей киевской земле будут питейные дома держать. Да и не только по одной киевской.

— Откуда знаешь? — оживился Шмуль.

— Даром ясновидения владею. Аль ты про это в неведенье? Если желаешь, еще что-нибудь предскажу.

— Мою судьбу предскажи. — Шмуль от нетерпения даже заерзал на лавке.

— Твоя судьба ясна, как божья слеза. Еще пару раз сходишь с товаром из варяг в греки, а потом тебя печенеги подстрелят или собственные слуги задушат... Лучше я тебе судьбу народа иудейского предскажу. Хочешь?

— А предсказание доброе? — Шмуль подозрительно прищурился.

— Весьма. По прошествии тысячи лет или даже меньше того бог Яхве сменит гнев на милость. Царство иудейское возродится на прежнем месте и увенчается звездой Давида. Соберутся на Землю обетованную изгнанники со всего света и вновь заживут по заветам праотца Авраама. А посему возрадуйся, дружище Шмуль. И полагай, что мы в расчете. Такие пророчества дорого стоят.

— Неужто правители вавилонские и цари египетские позволят нам жить в мире и достатке? — усомнился Шмуль.

— Вестимо, не позволят. Да только через свое вероломство и злодейство крепко пострадают. И даже не единожды. Дойдут иудейские железные колесницы до гробниц царей египетских. Падет огонь небесный на землю вавилонскую. И на рынках опять в почете будет священный шекель.

— Все это и в самом деле свершится? Ты меня не дуришь? — Шмуль в волнении привстал из-за стола.

— Как можно! Клянусь своей жизнью и своим богом! — Добрыня отсалютовал хазару наполненным кубком. — Твое здоровье, человече!

— Пролил ты, боярин, елей на мою исстрадавшуюся душу, — расчувствовался Шмуль. — Можешь мной теперь располагать, как собственным слугой.

— Вот и славно. — Добрыня повернулся к черноризцу, без устали подливавшему вино самому себе. — Дошла очередь и до тебя, святой отец... Ты в грамоте изощрен?

— Какая тебе угодна? Греческая, латинская, коптская, самаритянская?

— Славянская.

— От учеников Кирилла и Мефодия воспринял ее в совершенстве.

— Это нам на руку. Ежели мы задумали народ на истинный путь поставить, нелишним будет и летописи свои завести. Пусть знают потомки, откуда пошла земля русская, кто в Киеве стал первым княжить и все такое прочее.

— Я о том даже приблизительно представления не имею, — обеспокоился черноризец.

— Не беда. Соберешь все сказы и легенды, сего предмета касающиеся. Если и привреешь слегка, никто тебя за это не пожурит. Потомки сами правду вызнают. Для пущей важности сообщи, что будто бы апостол Андрей, первый ученик Иисуса Христа, по нашим землям некогда скитался. Дескать, те горы, где нынче Киев стоит, он заранее благословил, хотя местечко, надо признаться, прескверне йшее.

— Выходит, Киев апостол благословил, а на Новгород наплевал? Обижаешь, боярин, — возмутился Ушата, сам уроженец этого города.

— Откуда в те времена Новгород мог взяться! — отмахнулся Добрыня. — Хотя ладно. Пусть будет каждой сестре по серьге. Допустим, что Андрей добрался-таки до Ильмень-озера. Ты сам, святой отец, в Новгороде бывал?

— Случалось, — ответил черноризец.

— Что там тебе больше всего понравилось? Река Волхов, стены городские, вече их сумасбродное, меды хмельные или, может, красны девицы?

— Бани тамошние, в которых простой народ сам себя жарой и березовыми прутьями истязает, — признался Никон.

— Так и напишешь... Засим основание Киева упомянешь. Кто его, кстати, основал? — Добрыня оглядел гостей, ожидая какой-нибудь шуточки.

— А никто, — с полнейшим равнодушием отозвался Дунай. — Он здесь от сотворения мира пребывает. Каиново городище. Бывало, и Авель сюда захаживал, рюмашку пропустить. Здесь, знающие люди говорят, тот грех и случился.

— Ты вздор-то брось пороть! — возвысил голос Сухман. — Зря не наговаривай. Не так все было. Семейство одно тут в древности проживало. Три брата и сестра. Вздорные людишки, недаром их поляне из своей общины изгнали. Заправлял всем старший брат Кий. Бражничал безмерно, а оттого головой тряс. Кивал как бы. По-полянски — киял. В честь его и поселение нарекли. Средний брат прозывался Щек. С этим все понятно.

У нас до сих пор вздорных и обидчивых людей «щекотами» дразнят. Про самого младшего Хорива разговор особый. Любострастен зело. Тем и прославился. Ведь что такое бабу харить, вы все и без меня знаете.

— У нас в Царьграде срамные девки хорицами прозываются, — ни с того ни с сего сообщил подвыпивший черноризец. — Стало быть, из здешних мест они...

— О сестре этой троицы Лыбеди ничего плохого сказать не могу, — продолжал Сухман. — Та просто дура была прирожденная и по любому поводу лыбилась во весь рот. После смерти братьев их потомков стали притеснять все кому не лень. Даже хазары. Только недолго. Убедились в нищете киевлян и оставили в покое. С паршивой овцы хоть шерсти клок, а с паршивого человека и взять нечего.

— Это уже чересчур, — поморщился Добрыня. — Таких легенд нам не надо. Следует написать кратко: град Киев основал князь Кий, с царями на равных знавшийся, хотя с какими — неведомо... Про варягов не забудь упомянуть. Как они нашими предками на княжение призваны были. Случай, конечно, темный, но из песни слов не выкинешь. Кто подскажет имя первого варяжского князя?

— Нынешние себя к Рюриковичам причисляют, — неуверенно произнес Ушата. — Стало быть, от Рюрика род ведут.

— Так и напишешь. — Добрыня легонько толкнул осоловевшего Никона. — Призвали, дескать, Рюрика.

— Никто его не призывал, — мрачно молвил Дунай. — Вне закона он в родной стране был объявлен и в бегах находился. На Волхове-реке его ладья течь дала. Вот и представился случай в чужой земле осесть. Я сам видел могилу новгородского старосты Вадима, которого Рюрик убил. Не князь то был, а вор бессовестный. И сейчас нами воровские потомки правят...

— Мы летопись собираемся писать, а не донос! — прервал его Добрыня. — Рюриковичи на престоле еще не один век просидят. Зачем народу про них горькую правду знать? Напротив, нужно намекнуть, что Рюрик будто бы от римских кесарей происходит. А оплевать его и без нас желающие найдутся. Даже через много поколений... Когда с варяжским вопросом покончим, дело сразу легче пойдет. Новое время еще у многих на слуху. Вещий Олег, обманом Киев захвативший, Игорево крохоборство, ему жизни стоившее. Месть Ольги. Деяния Святослава упомяни особо. Долго еще на Руси подобного ратоборца не будет. Владимира пока не трогай, черед до него еще дойдет. Приложи все ста-

рания, чтобы читалась та летопись увлекательней, чем греческие сказания, Омиру приписываемые.

— Как назовем ее? — осведомился черноризец.

— А назовем просто — «Повесть временных лет». Впоследствии другие летописи имя твое из заглавия изымут и труды эти славные себе припишут, но мы ведь не за славой гонимся, а за истиной... Согласен, святой отец?

— Попробуй с тобой не согласись. — Черноризец, опустошивший очередной кубок, осмелел. — Несогласного ты в землю по самую макушку вобьешь... Только одного моего согласия недостаточно. Пергамент, перья гусиные да чернила орешковые немалых средств требуют. Откуда они у странствующего монаха возьмутся?

— Не кручинься, — успокоил его Добрыня. — Добудем средства. Ты вроде говорил, что латинскую грамоту знаешь?

— Знаю, — гордо кивнул черноризец

— Слово «экспроприация» тебе знакомо?

— Нет. — Никон икнул. — «Экстаз» знакомо, «экскременты» — тоже. И все...

— Сие слово означает принудительное отчуждение чего-либо. Звонкой монеты, например. Так мы и поступим... Но учти на будущее, святой отец, — пишут не пером и чернилами, пишут душой и сердцем.

— Разве? Учту...

— Квасу ему, — сказал Добрыня. — А вина больше не позволять. У книжников голова завсегда слабая.

— Да уж и нам пора честь знать. — Сухман перевернул свой кубок донышком кверху. — Надо до света домой вернуться.

— Тогда ступайте. Бог вас сохрани. — Добрыня перекрестил гостей. — Жаль, что подорожную молитву прочесть некому... Действуйте, как условлено. Надо будет, я вас найду... Ты, Дунай, задержись пока.

Гости принимали из рук хозяина отходную чашу, прощались и по одному покидали гридницу. Первым ушел молодой витязь, ликом привлекательный, как девица. На пиру он не проронил ни единого слова, а только задумчиво улыбался. Черноризца стащили в холодные сени и там уложили на войлочные полати. Мусу и Шмуля, покидавших город, снабдили в дорогу припасами.

Когда цокот лошадиных копыт утих и на воротах лязгнули засовы, Добрыня уселся напротив Дуная, вблизи от которого на столе уже не осталось ничего съестного.

— До пищи ты алчен, а стан имеешь, как у плясуньи, — сказал Добрыня, наполняя два особых златокованых кубка.

— Живу по-волчьи, потому и не тучнею, — ответил Дунай. — День харчуюсь до отвала, десять голодаю... А какой тебе интерес до моего стана? Просватать хочешь?

— Позже узнаешь... Давай выпьем с тобой сам-друг, как в былые годы.

— Давай. — Дунай лихо опрокинул кубок и утерся широким рукавом. — Скажи-ка мне, Никитич, по какой причине ты сегодня столь милостив? Магометанам позволил печенегов в свою веру окрутить. Не по-хозяйски...

— Ничего у магометан не получится. Одни пустые хлопоты. Недолго осталось печенегам волей тешиться. С восхода идут несметные полчища половцев, которые степь делить ни с кем не собираются.

— А какого рожна перед иудеем страшной клятвой клялся? Жизнью и богом! Разве стоят те побасенки такой клятвы?

— Это истинность, а не побасенки. Я и сейчас за каждое свое слово готов ответ держать. А клятва... Ни к чему она не обязывает. Ведь сказано было — клянусь своей жизнью и своим богом. Нет у меня своей собственной жизни. И бога, откровенно говоря, нет. Так разве это клятва?

— Жизни нет... — Дунай нахмурился. — Опять балагуришь... Не пойму я что-то...

— А и не надо. — Добрыня, внезапно оживившись, хлопнул его по плечу. — Зачем голову зря ломать? Скоро луна зайдет. Пора за дело браться. Отсюда мы выйдем тайным ходом, одному мне известным...

Истово, с надрывом проорали вторые петухи, и наступил тот глухой таинственный час, когда отходят на покой последние совы, а жаворонки еще продолжают спать.

Луна, кривая и узкая, словно печенежская сабля, и прежде почти не дававшая света, окончательно сгинула, а звезды пропали в тучах, под утро надвинувшихся с Греческого моря.

Днепр, разбухший от недавних дождей, грозно шумел и лизал обрывистый берег — но не как ласковый теленок, а как злой дракон, у которого на языке только яд да колючки.

На волнах болтался челн, удерживаемый у берега рыбацким багром. В челне сидели двое, и нельзя было даже предположить, какая нужда привела их в столь неудобное место — справа возвышался сорокасаженный обрыв, увенчанный неприступной ка-

менной башней, в светлое время суток напоминавшей гигантский палец, грозящий вечному врагу города — степи.

— Не справимся до зари, — молвил примостившийся на гребной скамье Дунай.

— Ты, сказывают, в ляшской земле как поединщик прославился? — похоже, Добрыня пропустил последние слова напарника мимо ушей.

— Может, и не прославился, но имя свое не осрамил.

— Я тебя хоть раз поучал, как на иноземном ристалище держаться? Верно, даже не заикался никогда. Вот и ты меня не учи, как казну княжескую воровать... Поберегись!

Что-то тяжелое просвистело сверху и бултыхнулось в воду совсем рядом с челном.

— Что это еще за кара небесная! — воскликнул Дунай.

— Решетка оконная, — ответил с кормы Добрыня.

— Так ведь окошки под самой крышей. До них даже ящерке не добраться.

— Снаружи по голой стене не добраться, а изнутри по ступеням — проще простого.

— Стало быть, сообщник твой заранее изнутри затаился, — догадался Дунай.

— С вечера в запечатанной бочке был в башню доставлен. Сам княжий ключник Блуд ту бочку катил.

— Велика ли бочка?

— На двенадцать ведер с четвертью.

— Тесноватая избушка, — с сомнением присвистнул Дунай. — В ней разве что карла поместится.

— Карла не карла, но мужичок весьма тщедушный.

— Блуду про твой замысел ведомо?

— Окстись! Я еще из ума не выжил. Разве можно доверять человеку, который изменой погубил своего благодетеля?

— Не обижайся. Я думал, ты с ним в доле.

— Мы с тобой в доле.

— Все одно завтра на тебя Блуд укажет. Больно уж дело с бочкой подозрительное.

— Ты опять меня учить взялся?

— Все, все! Больше про Блуда ни слова.

Где-то далеко вверху, гораздо выше земли, однако ниже неба, вспыхнул тусклый огонек и, рассыпая искры, устремился вниз, но не с посвистом и грохотом, а с тихим шелестом, какой бывает в опочивальне, когда девица снимает свои наряды.

Упав на воду, огонек не погас, а разгорелся еще ярче.

— Что за диво? — изумился Дунай.

— Веревочная лестница, — пояснил Добрыня. — На конце фитиль горящий пристроен. А иначе как ее в этой тьме кромешной отыскать... Плыви туда.

Отталкиваясь багром от берега, Дунай повел челн на огонек, и вскоре Добрыня уже держал в руках свободный конец лестницы.

— Прочная вещь, — сказал он с одобрением. — Из конского волоса свита... Теперь ты понял, друг сердечный, зачем я тебя на воровской промысел взял? Не Сухмана, не Ушату, не кого-нибудь иного, а единственно тебя.

— Других дураков нет с тобой ночью по Днепру кататься, — буркнул Дунай.

— Не угадал. Увальни они все. Хоть здоровущие, но увальни. А ты, только не обижайся, ловкостью мартышке подобен. Да и не пролезет Сухман в башенное окошко. Чрево не позволит.

— А я, полагаешь, пролезу? — с сомнением молвил Дунай.

— Кроме тебя, некому... Я бы никого больше в башню не послал, да уж больно мой лазутчик слабосилен. Не управится один. Сам подумай — всю княжью казну надо наверх, к окошку перетаскать, а потом вниз на веревке спустить. А это все же золото, а не лебяжий пух.

— Велика казна?

— Да уж не мала. Боюсь, целиком в челн не поместится. Остальное утопить придется.

— Рука не дрогнет?

— Душа, может, и дрогнет, а рука — нет. Главное, чтобы Владимир без гроша остался. А свою долю ты получишь, не сомневайся.

— Мы вроде за веру истинную радеем, а не за злато греховное.

— Хорошо сказано. Хотя злато само по себе не греховно. Как и сила молодецкая. Токмо один силу свою во зло ближнему употребляет, а другой во благо. Грех не в злате, а в нас самих... Да что мы все разговоры разговариваем! Бери веревочку шелковую и полезай наверх. До третьих петухов надобно управиться.

— С лазутчиком твоим... как быть? В подобных делах, сам понимаешь, как в страсти любовной. Третий лишний.

— Есть у меня одно правило: близким зла не чинить, — веско произнес Добрыня. — Ни друзьям, ни слугам, ни псам, ни коням. Пора бы это тебе, витязь, знать...

...Ближе к полудню, когда большинство участников ночного пира еще почивали, по городу разнесся слух, что пропал княжеский ключник Буд, он же Блуд. Владимир Святославович хоть и гневался, но некоторое время терпел. Слишком многим он был обязан старому кознодею[1], а говоря откровенно — великокняжеским столом, с которого Блуд, фигурально выражаясь, самолично стащил мертвое тело законного властелина, кстати, сочувствовавшего христианству.

Решительные действия начались только под вечер. Блудова дворня толком пояснить ничего не смогла. Хозяин в своих действиях никому не отчитывался и по примеру иных знатных горожан частенько пользовался потайным ходом. Ключи, личная печать и другие служебные атрибуты в доме отсутствовали.

Зато стража на Ояшских воротах сообщила, что глубокой ночью город покинул человек, с ног до головы закутанный в черный охабень[2]. При выезде он лик не открыл, имя не назвал, но предъявил княжий перстень, коими в Киеве владели считаные люди. За всадником последовал небольшой, но изрядно нагруженный обоз. Кто-то успел заметить, что на последней из упряжных лошадей красовалось тавро боярина Буда.

Само собой, что досматривать поклажу столь важной особы стражи не посмели, за что и были в полном составе отправлены на княжескую конюшню, где каждый получил соразмерное проступку количество плетей. Быстро снарядили погоню, но она не дала никаких результатов. Буд (если это был, конечно, он) и его загадочный обоз как в воду канули.

Тогда отчаялись на крайнюю меру. К казначейской башне подтянули порок[3], который с двадцать пятого удара развалил одетые железом ворота.

Внутри башни впервые за много лет гулял сквозняк, и это не предвещало ничего хорошего. Нельзя сказать, что казна была разорена дотла. Остались меха, осталось серебро, остались заморские ткани, осталось мышиное дерьмо.

Пропали только золото и драгоценные каменья, но эта пропажа во сто крат превосходила уцелевший остаток. Великий князь был разорен.

Без промедления учинили сыск. Почти сразу обнаружилось окошко с выпиленной решеткой и свисавшая вниз веревочная лестница. Иные улики напрочь отсутствовали.

---

[1] Кознодей — строящий козни.

[2] Охабень — род длинного плаща с капюшоном.

[3] Порок — таран.

Казначейская стража, конечно же, вспомнила вирника Добрыню, сутки назад доставившего в башню бочонок, якобы содержавший немалые ценности. Это косвенно подтвердил и томившийся в порубе опальный посадник, факт своих злоупотреблений признавший, но попутно обвинивший Добрыню в таких малодоказуемых грехах, как волхование, чернокнижие и пристрастие к греческой вере.

Нашелся и упомянутый бочонок. В его опустевшем нутре чудом сохранилась прилипшая к смоле одна-единственная монетка — куфический дирхем.

Соглядатаи, с некоторых пор ходившие за Добрыней по пятам, сообщили, что боярин, возвратившись прошлой ночью домой, затеял пир, длившийся почти до утра. Проводив гостей, он свое жилье больше не покидал, а в настоящее время находится в состоянии глубокого похмелья, с которым борется посредством парной бани и кислых щей.

Последними о горестном происшествии узнали варяги, жившие в Киеве особняком, как вороны среди грачей и галок.

Люди они были простодушные, чувств своих скрывать не умели и в неистовство впадали по самому пустяковому поводу. Прослышав о банкротстве князя, которому они верой и правдой служили уже не первый год, варяги незамедлительно двинулись к его палатам. Оружие они прихватили не со злым умыслом, а потому, что просто не имели привычки с ним расставаться.

По пути к варягам присоединилось немалое количество киевлян, особенно голытьба со Щековицы. Некоторые, наиболее предусмотрительные, прихватили с собой порожние телеги.

Однако великий князь оказался не лыком шит и успел заранее покинуть город, увозя с собой всех домочадцев женского пола и все движимое имущество, кроме винных запасов.

Варяги ворвались к княжеские палаты, словно в сарацинскую крепость, отколотили челядь, изгадили внутренние покои и вылакали вино, до которого, как и все варвары, были весьма охочи. Заодно досталось и нескольким расположенным по соседству боярским хоромина, а в особенности — боярским дочкам и снохам, что, впрочем, подавало надежду на грядущее улучшение невзрачной полянской породы.

Вскоре мстительный пыл варягов поугас, чему в немалой степени способствовали добрые иноземные вина, в отличие от местного пойла вызывавшие не тупое остервенение, а благодушное веселье.

Тогда на смену воинам севера пришла терпеливо дожидав-

шаяся своего часа киевская чернь, все повадки которой подтверждали справедливость поговорки «После львиной тризны остаются кости, после шакалов — ничего».

На следующий день к варягам прибыл гонец от Владимира, просивший отсрочки с выплатой жалованья. Срок оговаривался не то что смешной, а просто издевательский — год и один день. Даже рыночным попрошайкам было понятно, что столь долго варяги в Киеве прозябать не собираются. Предоставляемые ими услуги (ликвидация и учреждение государств, замирение народов и внутридинастические разборки) пользовались в Европе повышенным спросом.

Посовещавшись между собой — а были они народом на редкость демократичным, — варяги потребовали от князя достаточное количество мореходных ладей, беспрепятственный проход в греческую землю и рекомендательную грамоту к императору.

Князь, находившийся на безопасном расстоянии, а потому не чуравшийся некоторого зубоскальства, ответил: «В пределах киевских владений вам везде скатертью дорога, ладьи ищите сами, а нет, так плывите на бревнах, как деды ваши плавали, зато с грамотой задержки не будет».

И действительно, искомая грамота вскоре явилась — составленная по всем правилам тогдашнего дипломатического протокола и снабженная висячими печатями-буллами.

Текст ее, к сожалению, недоступный пониманию варягов, однажды сделавших для себя однозначный выбор между мечом и пером, гласил:

«Братья мои, кесари византийские Василий и Константин, примите на службу сих ратных людей, прежде мне служивших. Расточите их по разным дальним местам, но в город не пускайте, ибо натворят они там много бед, как у меня натворили. Список главных смутьянов прилагается...»

Не прошло и двух дней, как варяги уже грузились на челны, струги и дубы, собранные по всей округе. Кроме мехов, съестных припасов и вина, брали они с собой в лодки наложниц, лошадей и свиней.

Горожане, высыпавшие на берег и вооруженные чем попало, но в основном вилами и дрекольем, им в этом не препятствовали. Заранее было известно, что кони порченые, а девки чесоточные. О свиньях, конечно, жалели, но что уж тут поделаешь! И свинье не заказано узреть стены Царьграда.

С левого берега за эвакуацией зорко наблюдал конный дозор печенегов.

Едва только последняя варяжская посудина, сопутствуемая проклятиями киевлян, скрылась за изгибом Днепра, как степняки во весь опор поскакали в ханскую ставку.

Спустя некоторое время, когда в брошенном князем и покинутом варягами городе еще не было иной власти, кроме власти страха и насилия, Добрыню навестил тот самый молодой витязь, который в полном безмолвии присутствовал на достопамятном пиру, положившем начало всем неприятностям Владимира.

— Долго ты пропадал, Мстислав Ярополкович, — сказал ему Добрыня, как равный равному. — Я уже беспокоиться начал.

— Кони далеко занесли, — ответил юноша, вид имевший томный, но глаза не по годам цепкие. — Да ты и сам тому виной. Будь моя воля, Блуд болтался бы на первой встречной осине или пускал пузыри в болотном бочаге.

— Не ожесточай душу, Мстислав Ярополкович. Ты ведь еще только начинаешь жить, зачем лишний грех на душу брать... Лучше поведай, как дело было. Признал тебя Блуд?

— Еще бы ему меня не признать! Я в детстве у него на коленях сиживал. За бороду таскал. Опричь того все говорят, что я ликом в отца уродился. Разве не так?

— Так... — Добрыня пристально глянул на молодца. — Хотя и разные вы. Отец твой блаженным был, муху боялся обидеть. Не человек, а ладан благоуханный. Хоть к ране прикладывай... Ты совсем другой.

— Колючка ядовитая? — усмехнулся юноша.

— Нет. В голубином гнезде сокол вылупился. Но к добру ли это чудо... Однако мы отвлеклись. Как прошла встреча старых знакомцев?

— Оробел Блуд. На колени пал. О пощаде взмолился. Про деток своих несмышленых вспомнил. Будто бы у моего отца, его изменой погубленного, деток не было... Я, каюсь, не сдержался. Огрел его пару раз. — Юноша продемонстрировал свой небольшой, но крепкий кулак. — Отвел душу. Блуд совсем раскис. Все мне отдал. И печать, и ключи от казны, и княжий перстень. Дальше все по твоей указке делалось. Уды[1] в путы, кляп в рот, мешок на голову. Из города я его в соломе вывез.

— Где он сейчас? Надеюсь, что на этом свете?

— На этом свете, да не в этих краях... Доставил я Блуда в го-

[1] Уды — конечности, члены.

род Коростень, который греки Херсонесом кличут. Как ты и велел, выставил его на невольничьем рынке. День он там простоял, нагой и в цепях, рядом с черными арапами и косоглазыми степняками. Никто даже и не приценился. Худой, видать, товар. Назавтра было объявлено, что Блуд без цены отдается, даром. Опять никто не позарился. Пришлось с приплатой сбывать. Взял Блуда один сарацин и пообещал отвезти в такие дальние края, откель в Киев возврата точно нет.

— Пускай поищет счастья на чужой сторонке, — кивнул Добрыня. — Авось его бог и простит... А теперь, Мстислав Ярополкович, поделись со мной самым сокровенным. Как ты сквозь все заставы и запоры в горницу к Блуду проник? Этого бы, наверное, и я не сумел.

— Девка знакомая помогла. Безродная гречанка, дочь невольницы. Она к Блуду в опочивальню вхожа была. Старый греховодник с другими бабами уже ничего не мог, лишь эта единственная его страсть распалить умела. Блуд ей тайный ход в покои указал, которым частенько и сам пользовался. От нее я этот путь и вызнал.

— За просто так?

— За любовь сердечную. Недаром сказано: покоряй людей не страхом, а любовью.

— Где она сейчас?

— Одному богу ведомо. Сам посуди: пристало ли мне, сыну великого князя, пусть и предательски убиенного, знаться со всякими потаскушками?

— Не заносись, — голос Добрыни сразу посуровел. — Зло не забывай, но и добро человеческое помни. Пусть она чести девичьей не имела, но всем остальным ради тебя рисковала. Даже жизнью. Завтра же найдешь эту девку, приголубишь и одаришь. В злате нуждаешься?

— В злате один только бог не нуждается. Только мне оно нынче без надобности. Не в коня корм. Сколько ни дашь, все за ночь спущу.

— Тогда возьми у меня доброго скакуна, новые брони и оружие, княжеского звания достойные. Сей скарб ты, надеюсь, не прогуляешь?

— Как бы лихие люди не отняли. — На лице Мстислава появилась скучающая гримаса.

— Не завидую я тем лихим людям, которые на твоего коня и на твой меч позарятся... Дальше как жить полагаешь?

— Полагаю к варягам пристать. Они, по слухам, в Царьград подались. Вот и я с ними. Авось императорской дочке глянусь.

— Вот с кем тебе знаться не следует, так это с варяжской вольницей. Они же голытьба, изгои. Не чета тебе, великокняжескому сыну, внуку великого Святослава. Вожди варяжские в своей земле сидят и по чужим землям не скитаются. А уж если идут в поход, так тысячу снаряженных ладей за собой ведут.

— Коль в Царьград нельзя, так здесь при тебе останусь, — беспечно молвил Мстислав.

— Оставаться в Киеве тебе тем более нельзя. Рано или поздно дядя твой, князь Владимир, вернется. Ждать пощады от него не приходится. Ты для него как утренняя пташка для совы. Живой укор и смертный враг. Зазря погибнешь.

— А вдруг ему смерть выпадет, а не мне?

— Этому не бывать! — Добрыня приложился широкой дланью к столу, да так, что запрыгала посуда.

— Кто мне не позволит?

— Я, боярин Добрыня Златой Пояс! Нужен пока Владимир. Для пользы земли русской нужен. Ты его не заменишь. И иные тоже.

— Странно получается. — Мстислав остановил на Добрыне пристальный взгляд. — Отец мой, миротворец, человеколюбец и тайный христианин, оказался земле русской противен, а закоренелый язычник, клятвопреступник и похотливый пес — нужен. Почему так?

— Не все в жизни можно объяснить. Сам знаешь: всякой вещи и всякому человеку есть свое место под небом. Когда бессилен праведник, призывают деспота. Не елей наши нивы питает, а навоз скотский.

— Как же мне тогда быть? В монахи афонские постричься? Или руки на себя наложить?

— А ты меня, бывалого человека, послушай. Место твое не здесь. Скудна еще земля наша на таких молодцов, как ты. Развернуться негде. Не оценят рабы и дикари твои подвиги. Славу ты найдешь в той стороне, где солнце западает. Туда и ступай. Латинский язык, слава богу, знаешь. Манерам научишься. Смелые и гордые люди, владеющие оружием, везде в почете. В Неметчине долго не задерживайся. Во Франкском королевстве тоже. Настоящее дело для тебя найдется только за Пиренейскими горами, где христианские рыцари держат щит против мавров. Грамоту, твое высокое происхождение подтверждающую, я выправлю.

— Там я тоже князем буду зваться?

— Нет, графом или герцогом, как у тамошней знати принято.

— Хотя бы имя мое нынешнее сохрани.

— Побойся бога, Мстислав Ярополкович! Какой же иноземец такое имя выговорит? Язык сломает, а не выговорит. Что-нибудь попроще надо. Например, Сид. Граф Сид Компеадор... Верный Сид.

— Завлек ты меня, Добрыня Никитич. — Юноша заметно оживился. — Заинтересовал... А когда отправляться?

— Чем раньше, тем лучше. Выберешь среди моих слуг с полдюжины самых толковых и расторопных. Гречанку свою прихвати. Надо ведь кому-то постель в твоем походном шатре стелить...

Владимир вошел в Киев лишь после того, как убедился, что варяги миновали днепровские пороги и возвращаться назад не собираются. Этим он еще раз подтвердил (хотя бы самому себе) репутацию дальновидного и осмотрительного политика.

Восстановление законного порядка обошлось малой кровью — на тополях и ветлах вздернули с полсотни первых встречных горожан, в большинстве своем не имевших никакого отношения к погромам.

В разграбленных палатах быстро навели порядок и уют, пострадавших бояр наградили платьем с княжеского плеча (больше, увы, награждать было нечем), боярских дочек, в одночасье утративших невинность, спешно просватали за берендейских и тюркских князьков, о такой чести прежде и не помышлявших, все уцелевшее имущество беглого казначея Блуда (позорное имя вновь вернулось к нему) было обращено в доход государства, дабы хоть частично покрыть причиненный казне невосполнимый ущерб.

Дела вроде бы вновь пошли на лад, но тут со всех сторон стали поступать дурные вести. В который раз от Киева отпала мятежная Полоцкая земля. Новгород, Смоленск и Рязань отказались платить сверхурочную дань. Отказчиков поддержали всякие инородцы вроде вотяков и муромы. Из степей двинулись орды печенежского хана Илдея, прежде неоднократно битого и вдруг, как на грех, осмелевшего.

Зашевелились и внутренние враги, прежде тихие и незаметные, словно тени: жадная и завистливая чернь, волхвы, не принявшие варяжскую веру, оставшееся не у дел многочисленное Рюриково потомство, торговые гости, недовольные княжескими поборами, влиятельное и богатое христианское подполье.

Для исправления кризисного положения необходимо было срочно принимать какие-то решительные меры, однако столь важный вопрос не мог решаться кулуарно. На себя Владимир брал только славу, успех и доходы, а неудачи, ответственность и расходы старался спихнуть на других.

Городское вече давно не собиралось, поскольку киевляне, чуждые традициям парламентаризма, свободу волеизъявления понимали исключительно как свободу рукоприкладства и вреда от подобных сборищ было куда больше, чем проку.

В силу указанных обстоятельств функции совещательного органа волей-неволей отводились великокняжескому пиру, на который по традиции, заведенной еще Игорем Рюриковичем, собирались представители всех сословий, вплоть до землепашцев и бортников.

Приглашения передавались устно, через особых посыльных, среди остальной княжеской дворни выделявшихся памятливостью и исполнительностью. Впрочем, перечень гостей, прибывших на пир, всегда сильно отличался от первоначального, как по количеству, так и по составу. Виной тому были склонность посыльных к простым человеческим радостям и хлебосольство киевлян, отмеченных княжеским вниманием. Чарка следовала за чаркой, и к вечеру посыльные теряли не только свою хваленую памятливость, но и способность самостоятельно передвигаться.

Впрочем, на бояр, даже опальных, общие правила не распространялись — каждый имел за княжеским столом свое постоянное место, свою лавку и даже свою посуду.

Пир, на котором предполагалось обсудить самые насущные проблемы княжества, был назначен на день, особо отмеченный в календарях всех представленных в Киеве религиозных конфессий, как явных, так и тайных. Христиане отмечали его как первый, или медовый, Спас, язычники славянской веры — как Осенник, праздник купания коней, а варяжские волхвы, чей год делился только на две поры, зиму и лето, — как канун листопада священного Ясеня, напоминание о неизбежной смерти, стерегущей каждого обитателя Мидгарда.

Владимир, восседавший за отдельным столом, был как никогда мрачен. Из всех своих многочисленных знаков великокняжеского достоинства на сей раз он надел только простую железную корону — подарок норвежского короля.

Места слева и справа от князя, предназначенные для самых близких ему людей, пустовали. Все пять законных жен Владимира по разным причинам пребывали в немилости, а должность

главного советника, прежде занимаемая Блудом, оставалась вакантной.

Всего собралось около семи сотен человек, чуть меньше обычного. Лавка, на которой раньше сидели варяжские ярлы, пустовала. Запоздавшие гости предпочитали толпиться у стен, чем занимать ее.

Место Добрыни было среди бояр, чья родословная начиналась от разбойников, состоявших при Рюрике в день памятного кораблекрушения на Волхове (не случись оно тогда, и история восточных славян могла пойти совсем другим путем). Сухман и Дунай пристроились у самых дверей в обществе таких же, как и они, отщепенцев — витязей хоть и славных, но не состоявших на княжеской службе.

Наиболее привередливые гости сразу заметили, что этот пир весьма отличается от предыдущих как скудным выбором вин, которые после варяжских погромов сильно подскочили в цене, так и убожеством сервировки. На серебре ел один только князь, остальным досталась оловянная и глиняная посуда (а ведь когда-то дорогие гости без зазрения совести уносили с пиров золотые блюда и чаши). Все говорило о том, что прежние благословенные времена миновали и экономика княжества отныне становится экономной.

После краткой молитвы (а скорее даже проповеди), суть которой сводилась к тому, что, пока бог Тор бдительно присматривает за оградой, отделяющей мир людей от мира чудовищ, можно спокойно веселиться и возносить хвалу пресветлым асам, на княжеский стол подали огромного жареного лебедя, державшего в клюве диковинное персидское яблоко.

Владимир, действуя как заправский повар, сам разделил его на порционные куски, которыми была наделена княжеская родня, бояре, воеводы, иноземные послы и наиболее именитые горожане. Кому от княжеских щедрот досталось крылышко, кому гузка, а кому вообще ничего, но гости наперебой благодарили за милость.

Затем аналогичная процедура повторилась с хлебом. Каждый, получивший ломоть с княжеского стола, был вне себя от счастья. Добрыне досталась горбушка — вполне определенный знак внимания.

После того как князь под заздравные кличи осушил свой кубок, гости получили полную свободу развлекаться по своему усмотрению — есть, пить, болтать, кормить сновавших повсюду охотничьих собак, швыряться костями, горланить песни, пус-

кать ветры и даже срамословить. Бог Один, и сам отличавшийся буйным нравом, ничего этого не запрещал.

Драчунов, по обычаю, не разнимали, а пьяниц, уснувших мордой в блюде, не будили. Тем более никому не возбранялось высказывать свое мнение по поводу сотрапезников, часто весьма нелицеприятное. Все это было последней отрыжкой так называемой военной демократии, некогда принятой в варяжских дружинах, взрастивших первых Рюриковичей.

Начинать деловые разговоры без соответствующей раскачки считалось дурным тоном, и важнейшее государственное мероприятие на первых порах напоминало банальную попойку, сдобренную плясками скоморохов, песнями гусляров и шутовскими выходками.

Впрочем, столь длительная и бурная вступительная часть была просто необходима — языки у киевлян, чьи деды не гнушались сырым мясом и руками ловили лисиц, развязывались не скоро. Темен был еще народ и косноязычен, а насаждавшаяся повсюду вера в мрачных богов-воителей, злобных великанов, жадных карликов и кошмарных чудовищ просвещению не способствовала.

Много вин было выпито и разлито, много яств съедено, скормлено псам и просто испорчено, много посуды перебито, много спето заунывных песен и сказано хвастливых речей, прежде чем кто-то из воевод как бы между прочим изрек, что не отказался бы сейчас полакомиться мясом молодой косули, да вот беда — всех косуль за Днепром распугали поганые печенеги, наводнившие степь. И что им только в родных кибитках не сидится?

Боярин, ведавший княжеской охотой, заметил, что печенеги пришли вовсе не за косулями, а за поживой, которую собираются получить с киевлян либо в виде откупа, либо как военную добычу, взяв город на копье.

Тут, наконец, в прения вступил и сам князь. Обгладывая бараний бок, он буркнул:

— Никогда еще копыта печенежских коней не ступали по улицам стольного города. Не бывать этому и ныне. Кровью своей умоются и портками своими утрутся.

Пьяная болтовня, споры и песнопения быстро умолкли. Жрать и лакать продолжали с прежним воодушевлением, но уже старались не греметь зря посудой и не чавкать. Как-никак, а каждое слово князя значило немало — могло и милостью обернуться, и карой.

— Живота своего не пожалеем за город наш! — рявкнул ста-

роста мукомолов. — Да только оружие у нас малогодное. Одни засапожные ножи да древокольные топоры. Надо бы обывателям мечи и бердыши раздать.

— Раздать можно, — молвил воевода, затеявший этот разговор. — Да как потом обратно сыскать?

Тут уже зашумели и другие гости, распаленные не только вином, но и заботой о безопасности родной сторонушки.

— Послать за Днепр дружину!

— На дружину уповать не приходится! Им хотя бы княжеские палаты от супостатов уберечь!

— Эх, братцы, зря мы варягов отпустили!

— Варяги твои хуже печенегов! Печенеги свой кус отхватят и уйдут, а варяги ярмом на шее не один год висели! Едва избавились от этих защитников!

— Надо соседей на помощь призвать! Новгородцев, рязанцев, смолян.

— Пока еще эта помощь поспеет! А печенеги уже своих коней в Днепре поят.

— А почему бы к грекам не обратиться? Мы ведь им против болгар помогали.

— Не до нас сейчас грекам! Их магометане с полудня теснят.

— Витязя Дуная за подмогой к литовскому князю пошлите! Он в бытность свою на тамошней службе дочку княжескую огулял. Свояку отказа не будет.

— Во-во! Князь литовский только нашего Дуная и дожидается. Поди давно секиру на его головушку наточил.

— Брехня! Дунай той дочки и в глаза не видел. Он у князя простым конюхом служил.

— Да если бы конюхом! И до конюха не дорос. Три года в привратниках подвизался, три года двор метлой подметал. Подтверди мои слова, Дунаюшка!

— Подтверждаю! — По гриднице разнесся звук увесистой затрещины. — Если мало, могу и слева добавить.

— Тихо! Никшните! Уймитесь, горлопаны! — дружно заорали княжеские телохранители-гридни, стоявшие с бердышами у него за спиной. — Надежа-князь хочет слово молвить!

Гости умолкли, словно сухим куском подавившись, только скулили собаки, да стонал под столом изувеченный Дунаем пустомеля. Владимир заговорил негромко, но веско, пристально вглядываясь в лица подданных:

— Горевать нам рано. Смятению предаваться и подавно. Казна киевская опустела, это верно. Похитил злато аспид лука-

вый, коего я на своей груди опрометчиво пригрел. Ничего, аукнется ему наша беда. Будет в Хеле кромешном гной пить и калом заедать... Злата нет, да руки и головы остались. Руки сегодня пусть отдохнут, а умом сообща раскинем. Сообща и приговор вынесем. А решать вам, князья-бояре, богатыри-воеводы, купцы-гости да пахари-кормильцы, вот что. Как казну златом наполнить? Как верных друзей-союзников завести? И как от печенегов оборониться? Сначала пусть свое слово божьи слуги скажут. — Взгляд Владимира остановился на волхвах, с постным видом восседавших на лучших местах.

Встал самый древний из них, уже даже не седой, а сизоволосый, словно леший. Прежде он звался Сновидом, а ныне Асмудом.

— Судьбы людей и судьбы народов вершатся не на пирах и даже не на бранном поле, а у священного источника Урд, где мудрые девы-норны день и ночь не отходят от своих прялок, — голос у волхва был слабый и отрешенный. — Пряжа судьбы давно готова, роковые руны вырезаны. Все, что должно случиться под небесами, а равно и на небесах, — предрешено. Кому завтра суждено погибнуть, тот неминуемо погибнет, даже укрывшись за ста щитами. Кому суждено испить чашу на победном пиру, тот счастливо избежит всех опасностей. Вот что говорят великие боги.

— Яснее они выразиться не могут? — Владимир еле заметно поморщился. — Понимаю, злато не по божьей части. А как же быть с печенежским нашествием? В оборону садиться или отдаться на милость незваным гостям? Аль в степи их перехватить?

— Благие асы, коими предводительствует всеотец наш Один, никогда не чурались бури мечей. Негоже и вам склоняться перед дикарями, не знающими истинных богов. Прославлен будет тот, кто накормит воронов вражеским мясом.

— Другого ответа я, признаться, и не ожидал. — Владимир жестом позволил волхву сесть. — А что надумали наши славные воеводы?

Ответ опять же держал старейший в своем сословии — одноглазый Турьяк-Щетина, муж хотя и храбрый, но недалекий.

— Надежа-князь, ступай себе спокойно в соседние земли. — При разговоре грузный воевода обеими кулаками упирался в стол. — Собирай рать могучую, добывай серебро-злато. Береги детушек своих, а мы уж поганых сами на городских стенах встретим. Камнями закидаем, варом обольем, стрелами засыплем. Авось и отобьемся.

— Так ведь сожгут поганые посад! — возмутился кто-то из

горожан. — Простой люд и примучают! Нагими нас по миру пустят!

— Нагой не мертвый, — отмахнулся Турьяк. — На что-нибудь да сгодится. А от погоревшего посада убыток невелик. Через год отстроится.

— Ступай надежа-князь в соседние земли! — передразнил воеводу Владимир. — Вот уж воистину: старый дурак глупее молодого! Как же я вас таких скудоумных брошу? Вы сдуру меч не с того конца ухватите. Вояки...

— Что надумал, то и сказал. — Турьяк развел руками и под неодобрительный ропот простолюдинов уселся на прежнее место.

— А вы, бояре-разумники, почему приуныли? — дошла очередь и до соседей Добрыни. — Не вы ли мудрыми советами наставляли некогда моего батюшку Святослава? Не оставьте и меня своим вспоможеньем.

— Батюшка твой Святослав чужих советов никогда не слушал, — ответил боярин Твердислав, в зрелости своей бывший первым и на пиру, и в сече. — За что головой и поплатился. Нынче печенежские ханы из его черепа заместо кубка пьют. А тебе что сказать... Мудровать здесь особо нечего. Дело со златом долгое, о нем особый сказ. С печенегами надо разбираться. Промешкаем — всего лишимся. И живота, и скарба, и чести... Откупиться от поганых нечем. Посему надлежит их на рогатину брать, как медведя. Пусть вооруженная чернь печенегов на броде встретит, а конная дружина тем временем с тыла заходит. Печенег в рукопашном бою не стоек. Ему сподручней издали стрелы метать. В теснотище они сами друг друга передавят.

— Как же, утеснили овцы волков! — криво усмехнулся Владимир. — Не устоит необученная чернь против печенежской конницы. На мечах биться — это тебе не сапоги тачать. Сам-то небось за городскими стенами метишь отсидеться, а других на верную смерть посылаешь.

— Я, князь, от врагов отродясь не бегал! — Твердислав от обиды потемнел лицом. — Если совет мой тебе на пиру не нужен, так меч в чистом поле пригодится. Надо будет — сам пеших ратников поведу.

— Советов нынче я наслушался немало, а дело так и не прояснилось, — в словах Владимира упрека было больше, чем горечи. — Биться с печенегами нельзя, а не биться тоже нельзя... Вот такая загадочка. Кто ее отгадает, на того моя милость снизойдет. Ничего не пожалею, клянусь своим княжеским достоинством!

Всеми земными благами наделю, любую просьбу исполню, будь он хоть холоп распоследний, хоть бродяга бездомный, хоть инородец презренный. Братом назову. На пиру по правую руку от себя сидеть позволю.

— Надежа-князь, дозволь осквернить твой слух нашими недостойными речами! — с лавок вскочили сразу несколько человек, возомнившие себя мудрецами и провидцами.

Кто-то один советовал откупиться тем серебром и златом, которым киевские бабы и девки себя в праздничные дни убирают. По его разумению, гривен, перстней, ожерелий, венцов и запястий должно было набраться никак не меньше воза.

Предложение это незамедлительно отклонили — воз бабьих украшений был для печенегов как наперсток вина для пьяницы.

Другой, наверное, блаженный, призывал помолиться всем миром и выпросить у бога Тора во временное пользование его всесокрушающий молот. Столь сомнительный путь даже обсуждать не стали.

Третий доброхот-радетель напомнил об ораве прокаженных, содержавшихся в глухом месте за пределами города. Вот бы заслать их всех к печенегам! Повальный мор любую силу укротит, любую рать рассеет. Совет, в общем-то, был дельный, только результатов его приходилось ожидать не скоро.

Самый глупый замысел сводился к следующему — просватать всех заневестившихся девок, включая княжеских и боярских дочек, за родовитых печенегов, которые после этого новую родню тронуть не посмеют, а сверх того еще хороший откуп дадут.

На эту идею склонный к иносказательным выражениям Владимир отреагировал предельно кратко:

— Сосватали кобылу медведю...

Когда все источники коллективной мудрости (а заодно и дурости) иссякли, со скрипучей лавки во весь свой саженный рост поднялся боярин Добрыня Никитич и в знак серьезности намерений ударил о пол бобровой шапкой.

— Теперь послушай меня, князь Владимир стольнокиевский! — молвил он с душевным надрывом, свойственным русскому человеку, идущему за «други своя» на смерть или пропивающему в кабаке материнскую ладанку. — Ох, много тут всяких пустопорожних слов сказано, и я кисель водой разводить не буду. Объездил я землю нашу вдоль и поперек и такого обилия советчиков, как у древлян, полян, кривичей и родимичей, нигде больше не встречал, даже у чуди бестолковой. Мнится мне, что

веков так через девять-десять эта местность вообще станет страной сплошных советов. И уж тогда настанет окончательный облом... Вот я и зарекся что-либо кому-либо советовать. Лучше делом заняться. Завтра же спозаранку отправляюсь в стан печенежского хана Ильдея. Знаю я его не первый год, хотя ничего хорошего за этот срок не вызнал. Хорек, даже сидя в золоченом седле, все одно хорьком останется. Кровожадным и бздюковатым. Стану я этого Ильдея от приступа отговаривать. Дескать, не смей град Киев воевать, а ступай себе обратно за Дон несолоно хлебавши. Если принесу я землякам добрую весть, пусть славят меня богатырем-героем. А не вернусь вовсе — простите душевно. Стало быть, сложил я в степи свою буйную головушку.

— Как видно, головушка тебе и в самом деле мешает, — заметил князь. — Не упомню я такого случая, чтобы один человек целую рать одолел. Про это только в сказках сказывается да в песнях поется. Отпил ты, Добрыня Никитич, свой умишко окончательно.

— Благодарствую за заботу, надежа-князь! — Добрыня сдержанно поклонился. — Да только воевать печенегов я как раз и не собираюсь. К ним особливый подход нужен. Печенеги хоть и жестокосердны, да наивны, будто дети. Поели, попили — и всем довольны. Живут только нынешним днем и о дальней выгоде не помышляют. За дешевенькую безделушку готовы косяк лошадей отдать. Могут день напролет друг с дружкой бороться или наперегонки скакать. А если начнут в кости-зернь или в шашки-тавлеи играть — удержу нет. Жен и детей проигрывают. От кобыльего молока хмелеют, а греческое вино или наша брага для них просто погибель. Меры не знают, упиваются до безумия.

— Не упоить ли ты их часом собрался? — с сомнением поинтересовался князь. — Только боюсь, что на печенегов всех наших винных запасов не хватит. Разве что по глоточку каждому перепадет.

— Задумка моя пусть пока в тайне останется. — Добрыня нахально подмигнул Владимиру. — Если добьюсь своего, то не важно, каким способом. Но и ты, надежа-князь, о своем обещании не забудь. Коль спасу Киев и живым назад вернусь, ты любое мое желание обязан исполнить.

— Про любое желание я лишку хватил. Любое желание — это чересчур, — похоже, пошел Владимир на попятную. — Бывают ведь желания невыполнимые. Вдруг ты пожелаешь на великокняжеский стол войти и самолично править. Или дочек моих невинных в свою опочивальню потребуешь.

— Не по чину мне, князь, на твою наследственную власть зариться. Прадед мой, говорят, на Рюриковой ладье простым черпальщиком состоял, даже не гребцом. Лишки воды из ладейного нутра бадейкой удалял. Нынче золотари схожими бадейками дерьмо из отхожих мест черпают... Что касается дочек твоих, они мне и даром не нужны. Хотя красавицы, конечно, на загляденье. Только зачем кроту голубка? Я на старости лет привык срамными бабами обходиться. Поэтому желаний моих не опасайся. Как служил тебе прежде верой-правдой, так и дальше служить буду. Хоть вирником, хоть чашником, хоть стольником, хоть портомоем. Но от уговора нашего не отступлюсь. Желание свое стребую. Поглядим, надежа-князь, хозяин ли ты своему слову.

— Дерзишь, Добрынюшко? — Глаза Владимира сузились, как у кошки, высматривающей мышь. — Полагалось бы наказать тебя примерно, да ведь сам на верную смерть идешь... Если свидишься с ханом Ильдеем, привет ему передавай.

— Уж непременно! От тебя, князь-батюшка, привет, а от себя самого укоризну. — Добрыня вновь поклонился, на сей раз чуть пониже.

— Погоди, боярин! Послушай, что я тебе скажу, — заторопился воевода Турьяк. — Нам-то как быть? На полатях дремать аль к осаде готовиться?

— Это, братцы, ваша забота. — Добрыня развел руками. — Как вам вернее кажется, так и поступайте. Весточка от меня до Киева через пару дней дойдет. Отсрочка небольшая. За такое время рать не соберешь, рвы не углубишь и стены не надстроишь. Разве что котлы для вара на забралы[1] втащите, если их еще ржа не съела. Эх вы, воители! Запустили оборону. Вольно вам было прежде за княжеской казной да за варяжской спиной укрываться. А теперь сами хлебнете лиха.

— Ядовит ты, боярин, ровно змея, — отозвался воевода. — Так и тщишься побольнее ужалить. Видно, недаром столько врагов имеешь.

— Да ведь у нас такой обычай от пращуров ведется. Добро творить — врагов множить. Уж и не знаю почему, но если я Киев спасу, меня все обитатели от мала до велика проклянут, а уж вы, лизоблюды и приживалы, тем паче... Другое дело — разорить полгорода. Вот тогда все зауважают и детям своим закажут.

---

[1] Забралы — верхняя часть городских стен, где во время осады сосредоточиваются защитники.

Через Днепр переправлялись выше Синявинского брода, у которого, как говорили рыбаки, видели всадников с нездешними бунчуками на пиках. Добрыню сопровождали: вольный витязь Сухман, не запятнанный печенежской кровью, черноризец Никон, уже не скрывавший тяжелого распятия, болтавшегося на его впалой груди, и слуга Тороп, успевший позабыть свое прежнее прозвище Вяхирь.

Все четверо (а Добрыня с Сухманом весили по восемь пудов каждый) с трудом разместились в ветхой долбленке, на которую даже алчные варяги не позарились, а коням пришлось плыть за кормой. Те, у кого на теле были брони, на всякий случай сняли их. Недаром говорится — от большой воды ожидай беды.

День только начинался, и над рекой еще не рассеялся предутренний туман, что киевскому посольству было только на руку — зачем чужие глаза лишний раз мозолить.

Левый и правый берег Днепра представляли собой как бы два различных мира, и не только по причине разницы в рельефе.

Справа стучали топоры, прореживая вековые дубравы, зеленела озимь, чернели пары, пасся тучный скот, в полях гикала охота, в селениях перекликались люди, петухи и собаки. Короче, жизнь кипела.

Слева, насколько хватало глаз, колыхалось безбрежное степное разнотравье, над которым стояла глухая тишина, изредка нарушаемая лишь орлиным клекотом да топотом стремящихся к водопою косуль и сайгаков. Даже светлогривые степные волки старались пореже подавать голос. Жизнь здесь до поры до времени дремала.

Это безлесое пространство, раскинувшееся между Днепром и Доном, издревле называли Диким полем. Добрые люди старались сюда без особой надобности не заезжать, а уж заехав, передвигались скрытно, зорко наблюдая за горизонтом, а то и прикладываясь к земле чутким ухом.

В дороге Добрыня поучал черноризца Никона:

— Про нашествие печенегов и наше странствие к ним ты в летописи даже не упоминай. Пусть потомки полагают, что все благие дела на киевской земле руками князя Владимира вершились. Кстати, когда будешь писать о нем, добавляй к имени какое-нибудь звучное прозвище.

— Подскажи какое.

— Да любое. Меня, к примеру, Златым Поясом кличут. У вас император был Константин Багрянородный. У данов конунг — Гарольд Боевой Зуб. Что-то в этом роде... — Добрыня оглянулся

по сторонам, но на виду не было ничего примечательного, кроме бездонного неба, бесконечной степи и встающего над горизонтом дневного светила. — Ну хотя бы Красное Солнышко... Владимир Красное Солнышко. Чем плохо?

— Уж лучше Владимир Черная Буря, — возразил Сухман. — Солнышко всем тварям и растениям жизнь дает, а от князя одна погибель.

— Не каркай! — отрезал Добрыня. — Ничего ты в политике, то есть в науке управления государством, не понимаешь. Сплочение народа требует героических примеров. Дабы было на кого в лихую годину равняться. Дескать, пращуры наши прославились, а мы чем хуже? Венценосные герои в особой цене. Божий человек Никон это подтвердит. У латинян и греков всяких героев имеется — хоть пруд пруди. И тебе Александр Македонский, и тебе Юлий Цезарь.

— Разве мы с тобой не герои? — осведомился Сухман.

— Герои. Но, так сказать, частные. А не государственные.

— Какая разница?

— Большая. Про государственных героев летописи пишут, а про частных песни слагают.

— Кто слагает?

— Считается, что народ. Но я полагаю, что это они сами себя славят.

— Тогда возьми и сложи песню про нас с тобой.

— Не так-то это просто... Хотя попытаться можно. До ханской ставки, если верить лазутчикам, еще ехать и ехать. Вот и убьем время... Решено — я буду песню слагать, а ты по сторонам глазей, чтобы печенеги нас врасплох не застали.

Некоторое время посольство двигалось в полном молчании, а потом Добрыня стал легонько мычать что-то, стараясь попадать в такт лошадиному шагу. Скоро сквозь мычание стали прорываться отдельные внятные слова, а то и целые фразы. Впрочем, сочинительство у богатыря ладилось нешибко. Придумав одну строчку, Добрыня тут же отбрасывал ее и брался за другую.

— «Как во славном было городе во Киеве...» Нет, банально, надо что-то посвежее, — рассуждал он вслух. — «Красуйся, Киев-град, и стой неколебимо, как Россия...» Мимо. Никакой России еще и в помине нет. «Киев-град, златые купола! Киев-град, звонят колокола...» Еще хуже. Не дожили мы пока до куполов и колоколов. «Утро красит нежным цветом стены княжьего дворца, просыпаются с рассветом киевляне-голытьба...» Уже лучше, но никто не оценит. «Долбленки, полные сомами, Добрыня в

Киев приводил, и все боярыни давали, когда про то он их просил...» Тьфу ты, я же героическую песню взялся сочинять, а не балагурную. Неужели придется возвращаться к первому варианту? Или придумать что-то попроще. На популярный мотивчик. «У князя в гриднице назначена пирушка...»

— Мне записывать? — поинтересовался добросовестный Никон.

— Не надо, — ответил Добрыня. — Героические песни запишут веков этак через восемь и тогда же назовут былинами. А пока их надо наизусть запоминать. Чтобы потом петь в людных местах.

— У меня, боярин, на плечах голова, а не кадушка. Она уже и так разными знаниями переполнена. Я запоминать давно разучился.

— Понятно. Сочувствую тебе, божий человек. Пьянство и память — две вещи несовместимые. Почти как гений и злодейство.

— Боярин, позволь мне твои песни заучить. — Слуга Тороп, дабы не отведать за дерзость хозяйской плети, предусмотрительно поотстал. — Голова у меня пустая и трезвая. Каждое слово для потомков сберегу.

— Попробуй, — милостиво разрешил Добрыня. — Если получится, будет тебе на старости лет верный кусок хлеба. Ну а сейчас внимайте. Зачин уже готов.

Певец из Добрыни был, конечно же, никакой, зато и слушатели ему достались неизбалованные.

У князя в гриднице
Назначена пирушка,
О том везде идет молва
Из уха в ушко.
За стол зовут бояр,
Купцов и воевод.
Допущен также был туда
Простой народ.
Там были витязи
Потык, Дунай, Добрыня,
Чей грозен нрав
И чей кулак, как дыня.
Туда, конечно,
И Сухмана занесло.
Ему нопойки —
Основное ремесло.

— А вот это ты залгался! — возмутился Сухман. — Мое ремесло — супостатов разить да землю русскую оборонять. Пью я

единственно от скуки. И с ног, заметь, никогда не валился. Нечего небылицы плести. Я ведь и разобидеться могу.

— Пойми, это ведь песня, — стал оправдываться Добрыня. — У нее свои законы. Не привравши, песню не сложишь. Тем более что выпивка герою не в укор. Александр Македонский тоже этим грешил. От пьянства, сердешный, и помер. Брось переживать и слушай дальше.

— Я послушаю, так и быть. Но если еще хоть одно обидное слово про меня скажешь, обратно в Киев вернусь, — предупредил Сухман. — Теперь понятно, почему магометане злоречивым пиитам языки обрезают.

— По части обрезания магометане известные искусники. Да только до нас это поветрие пока не дошло. Поэтому я за свой язык не опасаюсь.

Добрыня вновь запел, но слова теперь подбирал более осмотрительно:

Как только гости
Хорошенько угостились
И все раздоры
Между ними прекратились,
Надежа-князь призвал
К всеобщему вниманью,
А для острастки даже стукнул
Своею дланью.
Дурные новости посыпались
Без меры.
Они разили,
Как отравленные стрелы.
Поганый враг Ильдей
На Киев покусился
И черной тучей
На границе появился.
Злодей степной
Несет народу разоренье —
Осаду надо ждать,
Без всякого сомненья.
Да только некому
За родину сражаться:
Слаба дружина,
А подмоги не дождаться.
Богатыри позор подобный
Не стерпели
И поклялись врага побить
На самом деле.
Добрыня быстро собирается
В поход,
С собой Сухмана
Благонравного берет.

— Опять неувязочка получается, — вмешался Сухман. — С каких это пор я в благонравные записался? Благонравными бабы бывают. Или монахи. А я все же воин. Лучше назови меня непобедимым. На худой конец — могучим.

— Не ложится непобедимый в строку. Как ты не понимаешь! — раздосадовался Добрыня.

— А что ложится?

— Козлорогий, косорылый, страховидный, вечно пьяный.

— Тогда пусть благонравный остается, — вынужден был согласиться Сухман. — А я уж постараюсь соответствовать. Нрав укрочу и пьянство умерю.

— А еще говорят, что искусство не исправляет людей, — молвил Добрыня самому себе.

Здесь в богатырскую беседу вновь вмешался безродный Тороп, и вновь с безопасного расстояния.

— Почему в песне только про Добрыню и Сухмана поется? — осведомился он со всей строгостью, на какую только способен зависимый человек. — Как же мы тогда? Горе и тяготы вместе мыкаем, а слава только вам достается. Несправедливо.

— Про всякую голытьбу подзаборную в героических песнях не поется, — пояснил Добрыня. — Это уж потом, когда старый мир прахом пойдет, про вас сложат: «Кто был ничем, тот станет всем...»

— Ты, Добрынюшка, на этого свинопаса внимания не обращай. Кто был ничем, тот ничем и останется. — Сухман погрозил Торопу кулаком, хотя достаточно было и пальца. — Ты дальше пой. И где-нибудь в удобном месте обязательно вверни, что я непобедимый.

— Дальше я пока не придумал, — признался Добрыня. — Вдохновения нет. Песни сочинять — это не брагу ковшами хлебать. И не девкам подолы задирать.

Между богатырями завязалась горячая перепалка, вследствие чего они перестали следить за окрестностями. Да и Тороп с Никоном отвлеклись — уши развесили.

Спохватились все лишь после того, как в воздухе пропела стрела и, не дотянув до цели, коей, несомненно, являлось киевское посольство, сразу затерялась в высокой траве.

— Шухер! — рявкнул Добрыня (словцо было чудное, никому прежде не ведомое, но друзья-приятели к нему уже привыкли).

Всадники, до этого съехавшиеся вместе, спешно рассредоточились, дабы не стать легкой мишенью для скакавших наперерез печенегов.

— Смерти ищут, — неодобрительно покачал головой Сухман.

— Дурачье, — согласился Добрыня.

Оба богатыря, регулярно наведывавшиеся в Дикое поле (и не только кровопролития ради), вполне сносно владели печенежской речью, столь же примитивной, как и вся жизнь кочевника. Поэтому они до поры до времени не обнажали оружия, а лишь кричали навстречу степнякам:

— Стойте! Не стреляйте! Мы послы от киевского князя Владимира Святославовича! К хану Ильдею с поклоном едем!

В иных обстоятельствах печенеги, число которых не превышало дюжины, возможно, и призадумались бы, но сейчас время для мирных переговоров было упущено — стрелы уже густо падали вокруг пришельцев. Впрочем, будучи на излете, они не смогли бы пробить даже воловью шкуру, а не то что богатырскую броню.

— Хорошо же вы гостей встречаете! — возмутился Добрыня. — Вместо привета каленые стрелы посылаете! Тогда и ответ сообразный получайте!

Он натянул свой лук, ничем не отличавшийся от знаменитой гондивы, из которой легендарный индийский воитель Арджуна укладывал врагов пачками, вагонами и тачками. Истребление началось.

Тот, кто нынче звался Добрыней, но прежде носил много иных имен, в своих бесконечных перерождениях испробовал немало разных метательных орудий, начиная от примитивной пращи, с которой дикари охотятся на мелкую живность, и кончая арбалетом, дожившим до эпохи Наполеоновских войн, а потому в обращении со всякой смертоубийственной снастью достиг совершенства.

Стрелы вылетали одна за другой с интервалом, не превышающим длительности человеческого вздоха, и скоро колчан Добрыни — один из двух — опустел. Печенеги, рассыпавшись в беспорядке, скакали прочь, и уцелело их меньше половины.

— Догнать! — приказал Добрыня. — Если хоть один живым уйдет, к полудню здесь вся орда будет.

Богатыри засвистели, загикали и впервые за нынешний день оскорбили своих благородных скакунов плетью.

Низкорослые печенежские лошади, на которых можно было садиться без помощи стремени, славились своей выносливостью, неприхотливостью, злым нравом — но и только. Тягаться в резвости с чистокровным аргамаком Добрыни они, конечно, не

могли. Да и под Сухманом был конь-огонь, некогда носивший славного варяжского ярла, поверженного в честном поединке.

Короче говоря, ударившиеся в бегство печенеги излишних хлопот киевским витязям почти не доставили. Кого не сшиб стрелой Добрыня, того достал копьем Сухман. Что ни говори, а богатыри свое грозное прозвище носили не зря. Против рядового воина они были как волкодав против дворовой шавки.

Не чуравшийся грязной работы Тороп собрал хозяйские стрелы и обыскал тела степняков (кого надо, и дорезал попутно). Кроме оружия, ничего стоящего не обнаружилось. Отсутствовали даже съестные припасы.

— В набег шли, — пояснил Тороп. — Обычай у них такой. В набег берут только коня да саблю. Даже лишних портов гнушаются. А назад гонят табуны, чужим добром груженные.

— Молодые... Совсем еще ребята, — опечалился Добрыня, разглядывая безбородые азиатские лица, уже тронутые печатью смерти. — Хоть и на злое дело собирались, а все одно жалко... Божьи создания.

— Не горюй, боярин, — беспечно молвил Тороп, вытирая нож о степняка, прирезанного последним. — У половца, как у собаки, души нет. Один пар... Попадись ты им, они бы горевать не стали. Поизгалялись бы даже над мертвым телом.

Хоронить чужих покойников в Диком поле было не заведено. Имелась тут своя похоронная команда, исполнительная и добросовестная, — волки, лисицы, воронье. Спустя сутки на месте побоища обычно даже костей не оставалось.

В полдень, когда от жары и безветрия степь совсем омертвела, посольство устроило привал.

Перекусили наскоро, без вина и горячих блюд, после чего Добрыня предложил всеобщему вниманию очередной куплет героической песни, по его словам — завершающий зачин.

Вновь зазвучал навязчивый одесский мотивчик, пик популярности которого ожидался только спустя тысячу лет:

Богатырей Владимир
Лично провожает,
Подносит чарку и
Сердечно обещает:
«Коли прогоните вы
Злого супостата,
Не пожалею я для вас
Парчи и злата,
Исполню все ваши

Заветные мечты,
Если они, конечно,
Скромны и чисты».

Этот куплет Сухману категорически не понравился. Да и ясно почему — про него там ни единым словом не упоминалось.

— Не так все было, — говорил он, ну в точности как брюзгливая старушка. — Врать ври, да не завирайся... Кукиш нам князь Владимир поднес, а не чарку. Мечта твоя, опять же... скромная и чистая. Хотя бы намекнул, что она собой представляет. Истинный богатырь должен желать себе только три вещи: злато, царскую дочь и меч-кладенец. Злата побольше, царскую дочь потолще, меч поубийственней. А тебе нечто совсем иное надо! Позаковыристей!

— Такая уж у меня натура. Всегда чего-то особенного хочется. Есть вино — на квас тянет. Пора спать, а не лежится. Все мяукают — я гавкаю... Но ты, Сухман Одихмантьевич, моей мечты не касайся. Очень прошу. Вот вернемся в Киев, сам все узнаешь.

— Мне от твоей мечты какая-нибудь выгода намечается?

— Тебе — вряд ли. Зато твоим внукам и правнукам непременно.

— Умник ты, Добрыня, редкий, а пустослов — вообще редчайший. — Сухман разочарованно махнул рукой. — Какие там внуки, коли у меня даже детей нет!

Потом завели разговор о насущных делах, которые надо было улаживать не после возвращения в Киев, а с часу на час.

Тороп, ощущавший себя в компании богатырей чуть ли не ровней, смело предположил, что лагерь печенегов находится где-то рядом, от силы в одном дневном переходе, а иначе почему бы у погибших печенегов отсутствовали даже минимальные запасы харчей. Выехали косоглазые молодцы в степь погулять, косуль пострелять, собирались к обеду вернуться — ан не вышло. Богатырские стрелы все пути-дороги назад отсекли.

— А ты, пожалуй, прав. — Добрыня в знак одобрения похлопал слугу по плечу. — Я и сам чую, что до ханской ставки рукой подать. Самое позднее — завтра утром там будем. Или даже сегодня вечером... Не мешало бы к встрече подготовиться.

— Каким таким манером? — полюбопытствовал Сухман. — Знавал я народы, чьи воины перед битвой брови чернят и щеки румянят, аки девки перед посиделками. Не к этому ли ты нас, боярин, подбиваешь?

— Русский богатырь в излишнем украшательстве не нуждается, хотя рыло умыть кое-кому не помешало бы, — туманно за-

метил Добрыня. — Да только я про другое... Скучать нам в ставке не дадут. Я все печенежские штучки наперед знаю. Прежде чем серьезные беседы вести, они всякие испытания устроят. Скачки, стрельбу из лука, игру на гуслях, единоборства... Со мной им связываться не с руки. Знают поганые и моего коня, и мой лук, и мою силу. Как бы тебе, Сухман, одному за всех не пришлось отдуваться.

— Ну, напугал! — расхохотался витязь. — Да я любого печенега голыми руками удавлю. Хоть самого хана, хоть ханского гридня, хоть ханшу.

— Не хвались раньше времени. И среди печенегов богатыри попадаются. Быкам шеи сворачивают. Против таких надо не силой, а сноровкой действовать. Проворством брать. Как малая виверица[1] крысу берет.

— Вздор, боярин, говоришь! — отрезал Сухман. — Виверице проворство нужно, не спорю. У нее силенок маловато. А росомаха, ее старшая сестрица, без проворства обходится. Ей главное — супротивника лапами достать.

— Нет, ты не росомаха! Ты баран упрямый! — Обычно сдержанный Добрыня на сей раз вышел из себя. — Словами тебя, видно, не проймешь. Ты только силу понимаешь. Ладно! Что через голову не доходит, через ушибленную задницу дойдет. Будем сейчас с тобой бороться.

— Не опасаешься, что я тебя в землю по пуп загоню? — ухмыльнулся Сухман (чего-чего, а самоуверенности ему было не занимать).

— Как загонишь, так и обратно добудешь, — огрызнулся Добрыня.

Они сняли брони, разоблачились до пояса, выставив напоказ многочисленные шрамы, и подвязались широкими кушаками. Добрыня, как и полагается богатырю, был высок и дороден, но даже против него Сухман смотрелся каменной глыбой. Накатится такая на человека, и от него лишь мокрое место останется. И где только рождаются подобные силачи!

Подзадоривая и вышучивая друг друга, они сошлись прямо среди трав, достигавших рослому человеку до пояса (Торопу, стало быть, до груди). Сухман сразу медведем попер на соперника, желая облапить его и для начала хорошенько помять.

Добрыня, не в силах устоять перед таким натиском, попятился назад, а потом вдруг резко, с вывертом, присел, успев за-

---

[1] Виверица — ласка или горностай, их шкурками платили дань и виру.

хватить чужую ручищу. Сухман по инерции подался вперед, не устоял на ногах и, перевалившись через Добрыню, всей своей тушей рухнул в пышный чертополох. Земля глухо ухнула, словно на нее с разбега бросился резвящийся жеребец.

Некоторое время и незадачливый борец, и зрители молчали, поскольку никто ничего не понял. Добрыня хитровато улыбался, но тоже помалкивал.

— Вот незадача, — молвил Сухман, выбираясь из колючих зарослей. — Оступился. Наверное, ногой в барсучью нору угодил. Повезло тебе, Добрыня Никитич.

— Ошибаешься, Сухман Одихмантьевич. То не везение, а сноровка. Люди, в единоборствах ушлые, такую ухватку называют броском через плечо.

— Голову мне не морочь! — Сухман шевельнул могучими лопастями своих мышц. — Давай еще раз сойдемся. Уж теперь-то оплошки не будет.

— Да хоть сто раз! Только боюсь, что степь вокруг вытопчем. Дудакам[1] негде будет гнезда вить.

Сухман вновь ринулся на противника, но уже не как медведь, а как злой печенежский демон Тенгри-хан, имевший якобы пятисаженный рост и по семь пар верхних и нижних конечностей.

Казалось, что Добрыне нет никакого спасения и сейчас от славного витязя только мешок переломанных костей останется. Однако он опять предательски присел, только не спиной к нападавшему, а боком, вследствие чего Сухман утратил опору и странным образом завис на плечах противника.

— В чертополохе ты уже побывал, — багровея от напряжения, Добрыня выпрямился. — Куда же тебя нынче пристроить? Сам выбирай — в волчец или в репей.

Освободиться Сухман не мог, поскольку, подобно легендарному Антею, пребывал во взвешенном состоянии и только зря дрыгал ногами.

— Пусти! — прохрипел он наконец. — Дай на земле утвердиться.

— Я бы тебя отпустил, да опять скажешь, что нечаянно оступился. А эту ухватку, между прочим, мельницей прозывают.

— Сейчас я из тебя не мельницу, а колотушку сделаю, — пообещал Сухман.

— Тогда поваляйся-ка лучше на травке. Авось остынешь, — с

---

[1] Дудак — дрофа.

этими словами Добрыня сбросил свою ношу туда, где осот был погуще.

Сухман долгое время не показывался спутникам на глаза, отплевываясь и обирая с себя колючки. Добрыня успел и водички испить, и пот утереть, и малую нужду справить. Передохнув немного, он позвал:

— Эй, где ты! Угомонился или еще хочешь?

— Предупреждали меня люди, чтобы не связывался с чернокнижником. А ты, оказывается, еще и колдун вдобавок. Ну ничего, теперь я ученый. Больше на твои уловки не попадусь... Берегись! — Сухман восстал из степных трав, словно дьявол из преисподней (если только дьяволы бывают исцарапанными и обзелененными).

На сей раз он действовал куда осмотрительней (наверное, отдых в осоте пошел на пользу). Напролом больше не лез, а, наоборот, тянул Добрыню на себя, предварительно прихватив кушак на его спине.

Добрыня, как ни странно, сопротивляться не стал, привалился к Сухману, словно к милой сударушке, переступив своей ногой через его ногу и, крикнув: «Раз, два, три, задняя подножка!» — нажал плечом. Упали они вместе, но Добрыня оказался сверху да еще нечаянно (а может, и нарочно) угодил противнику локтем в подвздошье.

Из Сухмана вышибло дух, и некоторое время он не мог ни говорить, ни стонать, ни браниться, а только глотал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыбина. На его зенках, видевших много горя-злосчастья, даже навернулись такие несвойственные богатырю слезы.

На ноги он встал совсем другим человеком. Недаром говорят, что ум силу ломит. Диких зверей объезжают, кровожадных тигров укрощают, даже безмозглых змей приручают. Смирился со своей участью и Сухман, уяснивший, наконец, что Добрыню ему никогда не одолеть, ну разве что сонного или пьяного.

— Ладно, твоя взяла, — сказал он, выкатив на голову целую баклагу воды. — Так и быть, обучай меня своим ухваткам... Уж я на печенегах душеньку потом отведу! Уж я-то их, поганых, наизнанку выверну! Посчитаюсь за все прошлые обиды, а особо за коварно убиенного князя Святослава Игоревича!

После краткой передышки взялись за обучение, которое Добрыня, оговариваясь, иногда называл чудным словечком «тренировка». Сначала он в замедленном темпе показывал какой-либо бросок или подножку, а потом заставлял Сухмана повторить.

Печально, но ученик из витязя оказался никудышный. Все, кажется, было у человека — и сила, и резкость, и кураж, а вот самые простейшие приемчики почему-то не давались. Толкал не туда, тянул не так, спотыкался на каждом шагу, путался в собственных ногах и руках, все указания выполнял наоборот и вообще гробил главным образом себя, а не соперника. Проще, наверное, было медведя обучить «камаринской», чем Сухмана — обыкновенной боковой подсечке.

Убедившись в тщетности своих стараний, Добрыня в конце концов капитулировал.

— Нет, братец, как видно, ничего у нас с тобой не получится. Верно подмечено: тупо скованное не наточишь, а глупо рожденное не научишь. Отсутствуют у тебя способности. Замедленный ты какой-то, и члены между собой не согласуются. Во всяком случае, за один день борцовским хитростям не обучишься. Уж лучше дави печенегов руками. Вернее будет.

— Боярин, позволь мне себя испытать, — попросил вдруг Тороп. — Ты не смотри, что я такой ледащий. Это от недокорма, а кость у меня широкая. С пеленок к потасовкам страсть питаю. Подножку я и прежде знал. Мельницу запомнил. Да и тот бросок могу повторить, которым ты Сухмана Одихмантьевича кувыркаться заставил. Псарем я тебе угодил, татем тоже, авось и борцом сгожусь.

— Ты про татя лучше бы помалкивал. — Добрыня понизил голос. — А не то в яму, где казна схоронена, вечным сторожем ляжешь.

— Да я так... к слову, — сконфузился Тороп. — Постороннему человеку про наши тайны не догадаться...

— Ладно, забудем... Ты для начала с Никоном силой померяйся. Святые угодники не только постом и молитвой прославились, но и змееборством.

— Свят, свят, свят! — Осеняя себя крестным знамением, черноризец отбежал в сторону. — Не пристало рабам божьим во всяких бесовских игрищах участвовать, особливо в борцовских состязаниях. Их еще святитель Афанасий Александрийский проклял.

— С Афанасием Александрийским не поспоришь. — Добрыня напустил на лицо постное выражение. — Патриарх известный... Кого же тебе, Тороп, в противоборцы определить? От Сухмана сейчас проку никакого, ему бы хоть к завтрашнему дню оклематься. Придется мне самому с тобой малость повозиться. Не боишься?

— Бойся не бойся, а конец один. Только ты, боярин, меня до смерти не убивай. Нельзя в такой глуши без слуги обходиться.

Тороп был жилист, увертлив, цепок, технику борьбы схватывал на лету, но для Добрыни, поднаторевшего во всех видах единоборств, когда-либо существовавших на свете, серьезным соперником, конечно же, не являлся.

Тем не менее схватка, которую Добрыня вел вполсилы, проходила с переменным успехом. По ходу ее богатырь поучал слугу:

— В борьбе надо не только руками-ногами действовать, но и головой. Главное, чувствам волю не давай, это тебе не пирушка и не брачное ложе. Себе оплошек не позволяй, а чужие подмечай. Используй во благо не только свои преимущества, но и недостатки. Против дылды сподручней применять броски корпусом и вход в ноги, а против коротыша — подножки и подсечки. Если борешься не шутейно, а насмерть, коварных средств не чурайся. Я тебе потом кое-что из этого покажу... Человеческая плоть слаба, ее не то что мечом, а одним-единственным перстом уязвить можно. — Он легонько ткнул ученика указательным пальцем в основание шеи, туда, где сходятся ключицы.

Тороп сразу же зашелся судорожным кашлем.

— Это дыхательная жила, — пояснил Добрыня. — А здесь чревное сплетение. — Последовал новый тычок, на сей раз под ребра, что окончательно добило Торопа.

— Погоди, боярин... В глазах потемнело, — просипел он, нетвердым шагом отступая назад. — Воздуха не хватает...

— Изнемог? Что так быстро?

— Дыхало заняло... А ведь прежде случалось мне вместо клячи в воз запрягаться.

— В борьбе и не такое бывает. Будь доволен, что в причинное место не получил. Тоже славный ударчик. И напоследок самый главный совет. Никогда не тщись подкарячить соперника одной силой. Ты лучше свою силу с его складывай. Он вперед прет — ты его по ходу еще сильнее подтолкни, только ножку или бедро подставь. Ежели назад тянет, удвой его усилия, но опять же про ножку не забудь.

— Наука простая, — молвил Тороп, держась от Добрыни на приличном расстоянии. — Почему же раньше никто до этого не додумался? Разве мало всяких хитрецов и умельцев в чужедальних странах?

— Додумались кое-где. И довольно давно. Это сейчас наш Никон борьбы аки блудницы чурается, а предки его, древние эллины, весьма ловкими борцами слыли. Хотя состязались только

ради потехи да укрепления тела. А серьезную борьбу, смерть сулящую, способен вымыслить только народ, по какой-либо причине лишенный сручного оружия. Зачем свею, фрягу, дану или тому же нашенскому Сухману в борьбе совершенствоваться, если он с головы до ног в брони одет и вооружен до зубов. Как ни ловок рукопашный боец, а меч или шестопер все одно ловчее. Еще неизвестно, кто бы из нас двоих взял верх, будь у тебя при себе самый простенький ножик.

— Ножик-то у меня как раз имеется. — Тороп потянулся к голенищу щегольского козлового сапожка, снятого с предводителя убиенных печенегов. — Но я про него как-то забыл...

— А если бы вспомнил? Неужели подрезал бы меня?

— В запале мог бы. Особливо по пьянке, — честно признался Тороп. — Я, чай, русский человек. Сначала зарежу кого-нибудь по пустячному поводу, а потом каждодневно убиваться буду, пока руки на себя не наложу. Натура таковская, ничего не поделаешь.

— Занятный ты малый, Тороп. Кем только я тебя не знавал. И пьяницей, и нищебродом, и псарем, и верным слугой, и даже борцом. А ты, оказывается, еще и мыслитель. Только хорошо ли это?

— Крестить его надобно безотлагательно, а потом в Афонский монастырь на послушание отправить. Посты и молитвы всю дурь выгонят, — посоветовал Никон. — А иначе пропадет. Не от скудости души, а от ее избытка. Да и не он один. Весь ваш народ может пропасть. Недаром говорил Спаситель: блаженны нищие духом, ибо им откроется Царствие Небесное. Буйной реке плотины и береговые валы нужны, иначе она не только все вокруг затопит, но и сама в болотах и зыбучих песках иссякнет. Истинная вера будет вам защитой не только от чужаков, но и от самих себя.

— Как раз за это, божий человек, я и радею, — сказал Добрыня. — Будем уповать, что успех наш не за горами... А сейчас пора в путь-дороженьку собираться. Что-то засиделись мы здесь. И к тому же зазря...

Хотя и говорят, что степь, как море, шляхов не кажет, но опытный глаз всегда отличит нетронутую траву от той, которую спозаранку помяли-потоптали копыта горячих коней. Особенно это заметно осенью, когда степное былье подсыхает на корню, теряя прежнюю гибкость и силу.

Именно по такому следу, издревле именуемому «сакмой», и двигалось сейчас киевское посольство.

Довольно скоро они достигли одинокого печенега, согбенного под тяжестью сбруи, снятой с павшего коня. К молодецкой ватаге, напоровшейся утром на богатырей, он, судя по всему, никакого отношения не имел — и одет был несколько иначе, и годами сильно отличался, и вообще больше походил на пастуха, нежели на воина.

Завидев настигавших его чужеземцев, печенег остановился. Убегать в его положении было бессмысленно. Отбиваться — еще бессмысленней. Оставалось положиться на милость судьбы и угодливо улыбаться.

— Ты кто? — тесня его конем, осведомился Добрыня (по-печенежски, естественно).

— Темекей, — ответил пеший степняк, что в дословном переводе означало «падаль».

— Кто же тебя таким дурным имечком наградил?

— Родной отец. Только это имя хорошее. Ребенка с таким именем злые духи не украдут.

— Кто хан твой?

— Аргыш.

Это переводилось примерно так: «Собачье ухо». Очередная страшилка для злых духов.

— А кто хан Аргыша?

— Ильдей.

Имя, упомянутое на сей раз, было древнее, родовое, утратившее свой конкретный смысл. Отец нынешнего Ильдея тоже звался Ильдеем, как дед и прадед.

— Зачем вы к Днепру идете?

— Засуха поразила наши кочевья, — смиренно ответил печенег. — Стада траву ищут. Мы за стадами идем.

— Стада, стало быть, пасете. Да ведь пастухи одним арканом обходятся. А при тебе и лук, и сабля.

— Места чужие, места опасные...

— Знаешь, что мы сейчас с тобой можем сделать?

— Если бы хотели, давно сделали, — ответил печенег вполне рассудительно. — Знать, нужен я вам для чего-то.

— Угадал, косоглазый. Мы послы от киевского князя Владимира. Проводи нас к своему хану. Только не к Аргышу, а к Ильдею. Жизнь свою сохранишь, а вдобавок горсть золота получишь.

— Отведу, — охотно согласился печенег. — Нам все равно по пути. За жизнь благодарствую, а вот с золотом вы меня морочите.

— С чего ты взял? — удивился Добрыня.

— Всем известно, что ваш князь Владимир казну растерял и без единой монетки остался.

— Зачем же вы тогда в набег на Киев идете?

— Потому и идем. Нет золота — нет доброй дружины. Нет дружины — отпора не будет. А золото ваше нам ни к чему. Что на него в степи купишь? Мы ваших коней возьмем, ваш скот, ваши пожитки, ваших девок. В степи зимой все пригодится.

— Возьмешь, если до Киева доберешься. А пока задаток получи! — Сухман огрел печенега плетью, но только слегка, потому что случалось ему этаким манером даже лошадиные шкуры портить...

Лагерь хана Ильдея представлял собой целый город, перемещавшийся на запад со скоростью пятидесяти верст в день.

Центр его составляли возки-кибитки с войлочным верхом, а околицу — простенькие шалашики из кошмы и невыделанных шкур. Кроме людей, кочующий город населяли лошади, собаки, ловчие кречеты и блохи. Овцы были представлены только в освежеванном виде.

Запах кизячьих костров, жареного мяса и кислых овчин разносился ветром далеко по степи, даже дальше, чем рев верблюдов и конское ржание.

Послов в лагерь не пустили, велев оставаться на том самом месте, где они встретились с печенежской конной стражей, но при этом не разоружили, не лишили коней и даже злым словом не обозвали.

Печенеги были, конечно, дикарями, но неписаные степные законы чтили свято, в особенности те, что защищали послов и вообще всяких переговорщиков. Любой, проливший их кровь, покрывал себя несмываемым позором. Зато обмануть посла враждебной стороны считалось чуть ли не доблестью.

Длительность срока, который Добрыня и Сухман должны были провести в ожидании аудиенции, определялась степенью уважения к их номинальному сюзерену князю Владимиру. Иногда послов принимали тотчас, иногда заставляли ждать неделями. Впрочем, в условиях военного похода все сроки обычно сокращались.

Тихий светлый вечер тянулся нестерпимо медленно, и Добрыня продолжил сочинение героической песни, которая спустя

много веков должна была превратиться в былину, утеряв при этом и мотив, и размер, и рифму, да и сам смысл.

Превратности пути, схватку с печенегами и единоборство с Сухманом он опустил ради краткости (все равно потом певцы-сказители добавят от себя массу ненужных подробностей), а перешел непосредственно к описанию текущего момента.

Получилось вот что:

Богатырям дорожка
Выпала прямая.
Не помешали им
Ни враг, ни волчья стая.
Под вечер прибыли,
Родимые, в орду
И прямиком спешат
К Ильдееву шатру.

— А что нас в шатре ждет, ты наперед предречь не можешь? — поинтересовался Сухман.

— Покуда не могу. Хотя несколько разноречивых куплетов уже заготовлено. После встречи с Ильдеем выберу какой-нибудь самый подходящий... А как твоя память, Тороп? Часом не подводит?

— Все тютелька в тютельку помню. Кое-что могу и от себя добавить, — скромно признался Тороп.

— Этого я и опасался, — с досадой молвил Добрыня. — Как раз отсебятина в таких делах и недопустима. Представляешь, что будет, если каждый переписчик начнет произвольно править Святое Писание?

— Прости, боярин. Случайно вышло. В твою песню мои слова не попадут, животом клянусь.

— Тогда спой. Вижу, что невтерпеж тебе.

— Только наперед прошу не обижаться. Злого умысла не имел, так уж слова сложились, — откашлявшись, как заправский певец, Тороп затянул порочным тенорком:

В шатре Ильдея
Эту парочку не ждали
И хорошенечко
Кнутами отстегали,
А для острастки
Озлобившихся послов
Не пожалели
Ни колодок, ни оков.

Добрыня это творение, конечно же, отверг. Причем судил весьма строго и нелицеприятно:

— Ни в склад, ни в лад. Неча вороне с соловьями тягаться. А за недозволенное стихоплетство получишь дюжину плетей. Напомнишь мне, когда в Киев вернемся.

— Горька доля подневольного человека, — пригорюнился Тороп. — И слово лишнее не молвишь, и песню душевную не споешь...

Беседу слуги и господина прервал крик черноризца Никона, выставленного в дозор:

— Скачут, скачут! К нам печенеги скачут!

Действительно, со стороны лагеря приближался отряд богато разодетых стражников, каждый из которых сжимал в свободной руке развевающийся бунчук.

— С почетом едут. Словно на свадьбу вырядились, — заметил Сухман. — А уж сколько конских хвостов над ними реет, просто загляденье...

Хана Ильдея по печенежским меркам можно было назвать просвещенным правителем — как-никак, а среди двухсот его законных жен числились и гречанки, и киевлянки, и свейки, и аравитянки. В таких обстоятельствах невольно станешь полиглотом и обретешь философский взгляд на жизнь.

Послов он принял в кибитке из белого войлока, где до того вершился суд, по печенежским обычаям закончившийся немедленной расправой, о чем свидетельствовали свежие брызги крови на стенах и брошенная на видном месте плеть-семихвостка, на которой, говоря языком криминалистов, сохранились явные следы совершенных насильственных действий.

Впрочем, все это могло быть лишь инсценировкой, предназначенной для устрашения послов. Хотя устрашить чем-либо Добрыню и Сухмана было весьма проблематично, о чем Ильдей должен был знать заранее.

К этому времени богатыри уже расстались со своим оружием и прошли обряд очищения, состоявший из трех этапов — обмахивание полынным веником, обрызгивание кобыльим молоком, смешанным с кровью гадюки, и окуривание дымом (хорошо хоть, что не кизячьим).

Послы первыми поприветствовали хана и сложили на видном месте скромные подношения князя Владимира — честные[1] каменья, выковыренные из его венцов, ожерелья, снятые с жен, жалованные гривны, прежде принадлежащие без вести пропав-

[1] Честные — драгоценные.

шему Блуду, самокатный[1] жемчуг, попросту не замеченный Торопом во время кражи.

Мельком глянув на эти побрякушки, в общем-то, не достойные ни дарителя, ни одариваемого, Ильдей ради приличия осведомился:

— Как живешь-здравствуешь, Добрыня Никитич?

— Горюю, — ответил богатырь, приходившийся хану какой-то дальней родней по матери.

— А ты, Сухман Одихмантьевич?

— Тоже горюю, — тяжко вздохнул Сухман, чья кровь вообще была на четверть печенежской.

— Почему же вы горюете, славные витязи? Почему жизни не радуетесь?

— Как же нам, великий хан Ильдей Ильдеевич, не горевать, не кручиниться, ежели ты войной на Киев-град идешь. Разве мы тебя чем обидели? Разве мы твоих людишек ущемляли? Разве порчу на твой скот навели?

— Буду я ждать, пока вы меня обидите! — фыркнул Ильдей. — Время подоспело, вот и иду на вас... Скоро двадцать лет будет, как я в ханской кибитке сижу. За это время семь раз ходил на Киев и шесть раз Киев ходил на меня. Окромя того, я совместно с Киевом четырежды ходил на хазар, дважды на греков и столько же на болгар. А однажды вместе с хазарами, болгарами и греками едва не взял ваш город приступом. Вы тогда, помню, златом откупились. Десять возов нагрузили... И вы еще спрашиваете, зачем я на вас иду. Такова жизнь, славные витязи.

— А нельзя ли нам, великий хан, полюбовно договориться? — В голосе Добрыни появились такие несвойственные ему заискивающие нотки. — Свои ведь люди. Который век бок о бок живем.

— Почему бы и не договориться, — ухмыльнулся Ильдей. — Десять возов злата я на сей раз требовать не буду, а на пяти, так и быть, сойдемся. И это, заметь, только из уважения к тебе, Добрыня Никитич.

— Пять так пять. Торговаться в подобном деле не пристало. Однако, великий хан, придется тебе с годик подождать. Нужда у нас пока великая. Оскудела казна. А как только князь Владимир дани-выходы со всех подвластных ему земель соберет, так сразу и откупится. Еще и пеню за просрочку добавит.

---

[1] Самокатный — особо крупный, штучный.

— Как же, дождусь я через год вашего откупа! — возмутился Ильдей. — Я ваших ратей по весне дождусь, это уж точно!

— Дабы все сомнения отвести, давай заключим вечный мир сроком на три года. В залог князь Владимир своих сыновей пришлет. Кроме того, наперед получишь десятину от всего нашего достояния. От коней, от рогатого скота, от мехов, от холста, от паволок, от зерна, от столовой посуды, от бортнического промысла, от невольниц. Неужто такие условия для тебя не любы?

— Знаю я наперед все ваши условия! — презрительно скривился хан. — Русский человек только обманом и живет. Сыновей князю не жалко, у него их без счета. Скот дадите негодный, коней старых, меха порченые, паволоки ветхие, посуду битую, меды прогорклые, зерно пополам со спорыньей, а невольницы ваши, от чуди и мери взятые, хуже диких зверьков. Никакой от них услады. Нет, не согласен я на такие условия! Лучше сам в Киев приду и возьму все, что мне глянется.

— А воинов своих при осаде сколько погубишь? — продолжал увещевать его Добрыня. — Пока еще новые подрастут.

— Когда это князья да ханы своих воинов жалели? — искренне удивился Ильдей. — На то они и предназначены. Овца хозяину шкуру отдает, кобылица — молоко, а воин — жизнь.

— Может статься, великий хан, что воины тебе весьма скоро понадобятся. От Итиля в нашу сторону половецкие орды идут. Новые пастбища для своих стад ищут и новых рабов для пастушеской службы.

— Половцы наши братья по крови, — беспечно отмахнулся Ильдей. — Как-нибудь договоримся.

— Ох, не по уму все деется. Не по здравому смыслу. Предки наши столь опрометчивы не были. Зря свою и чужую кровь не проливали. В честном единоборстве все решали.

— Ты меня, что ли, на единоборство вызываешь? — Глаза Ильдея, и без того узкие, превратились в щелочки.

— Как можно, великий хан! Тебе только с князем Владимиром приличествует силой меряться. Или с самим царьградским кесарем. Выставляй против меня любого единоборца, пусть самого худородного. В схватке все и решится. Чья сила, того и правда. Об этом боги пекутся. Я верх возьму — принимаешь наши условия. Печенег одолеет — киевляне тебе сами ворота откроют.

— Это воля князя? Или твоя собственная?

— Нет у меня свой воли, великий хан! Я князю верой и правдой служу. Его словами говорю и его волей действую.

— Предложение приманчивое. — Ильдей с задумчивым видом поскреб свою бритую голову. — Да уж больно просто все у тебя получается. Сошлись два молодца. Померились силушкой и судьбы народные тем порешили. А коли мой единоборец споткнется? А коли у тебя какая-нибудь тайная ухватка заготовлена? Всякий нечаянный случай надлежит устранить. Посему слушай мой окончательный приговор. Состязаться будете троекратно. Причем в самых разных единоборствах. И каждый раз вы обязаны выставить иного поединщика.

— Пощади, великий хан! — взмолился Добрыня. — Войди в наше положение. Да нас вместе со слугами всего четверо.

— Пусть тогда и слуги за родной город усердствуют. Менять свои условия я не собираюсь. Не устраивают они тебя — подите прочь. За Днепром увидимся.

— Есть вопрос насчет намечающихся единоборств. А нельзя ли их заранее оговорить?

— Про то узнаете в последний час. Все, ступайте. Кибитка для вас поставлена, угощения поданы. Ешьте, пейте, веселитесь. Девок нет, не обессудьте. В набег девок с собой не берем. Дабы злее быть. Завтра, как только солнце выше моего бунчука встанет, сразу и начнем.

Когда послы покинули ханскую кибитку, Добрыня с досадой молвил:

— Обвел нас проклятый Ильдей вокруг пальца. Боюсь, одолеют завтра печенеги. Я-то сам в любых единоборствах ушлый, а вот на вас надежда слабая.

Хотя переговоры с ханом оставили горькое впечатление, спали в эту ночь крепко, причиной чему было, наверное, доброе вино, употребленное на сон грядущий. К мясным яствам даже не притрагивались — кабы не отравили их коварные печенеги.

Поднялись с первым светом. Куплет, сочиненный Добрыней накануне решительных событий, был невесел:

Поганый хан на уговоры
Не поддался,
От наших мирных предложений
Отказался.
И хоть прославился
Коварством и притворством,
Но согласился спор решить единоборством.

Ко времени, назначенному для начала состязаний, от печенежского гуляй-города осталось немного: кибитка самого Иль-

дея да еще огромная — в несколько квадратных верст — язва, пятнавшая нежно-зеленую шкуру девственной степи (впрочем, целиком обозреть ее могли разве что небожители).

Основные силы степняков, не дожидаясь исхода поединка, двинулись дальше к Днепру. Невольно напрашивалась мысль, что хан затеял состязания без особой цели, а единственно дабы развеять дорожную скуку. От этих предчувствий богатыри еще более закручинились.

— С соизволения духов земли, воды и неба — начнем! — изрек Ильдей, настроенный куда более благодушно, чем накануне. — Ответь мне, Добрыня Никитич, во что забавы ради играют киевляне?

— Много во что, — богатырь отвечал предельно осторожно, все время ожидая подвоха. — В горелки, в шары, в зернь, в кости, в бабки, в пристенок, в свайку, в отгадыши.

— А в тавлеи играют?

— Смотря в какие. Есть тавлеи индийские, чатурангой называемые. Есть аравитянские — шатрандж. Правила у них разные, а фигуры одинаковые — пехотинцы, конники, слоны, ладьи да царь с царицей. Эти игры даже холопам доступны. А вот недавно из Франкского королевства другую забаву завезли — шахматы. С ней до конца еще не разобрались. Но, по всему видать, что игра сложнейшая и интереснейшая.

— Нет, я про другие тавлеи говорю, которые попроще. Вместо фигурок там точеные кружочки. Двигать их можно только вперед, а бить в любую сторону.

— Так это ты о шашках речь ведешь, великий хан! — Добрыня понимающе кивнул. — Знаем мы такую игру. Да только вот беда — все толковые игроки в Киеве остались. А мы, убогие, все больше зернью увлекаемся.

— Однако сегодня кому-то из вас придется играть в шашки... Я со своей стороны выставляю мудрого Кюскелая, меня самого этой игре обучившего.

Из толпы ханских приближенных появился едва передвигающий ноги старец, с дряблого подбородка которого свисало несколько длинных седых волосков. На вытянутых руках он нес роскошную, инкрустированную перламутром игральную доску с заранее расставленными шашками. Белые были выточены из слоновой кости, а черные — из драгоценного турмалина.

— Почту за честь сыграть со столь почтенным человеком. — Добрыня довольно небрежно кивнул приближающемуся старцу,

но тот не ответил: то ли зрением был слаб, то ли боялся рассыпать шашки.

— Э, нет! — решительно возразил Ильдей. — Ты забыл наш уговор. Три разных состязания — три разных участника. А тебя, славный витязь, мы оставим напоследок.

Добрыня отошел в сторонку и созвал своих спутников на совет. Сразу выяснилось, что о шашках никто из них не имеет ни малейшего представления, даже Никон, прибывший из культурного города Царьграда.

— Тем не менее играть придется тебе. — Добрыня прихватил рясу на груди монаха в кулак. — И попробуй только вякнуть, что какой-то святитель это запрещает. Я тогда тебя заново окрещу, но не распятием, а дрыном. Доску шашечную видишь? Туда, ублюдок, смотри! На ней клетки. Белых не касайся, а по черным будешь шашки двигать. Как? Это я тебе сейчас растолкую. Латинскую азбуку не забыл? Пометь у себя в уме горизонтальные полосы латинскими буквами — а, бе, це и так далее. Вертикальные пометь числами, начиная с единицы. Нижняя левая клетка на доске будет «а-один». Противоположная ей по косой линии — «ха-восемь». Если я тебе скажу: «а-три» на «б-четыре» — так и двигай. Понял?

— Понял, — дрожащим голосом ответил черноризец. — А хан против подсказок возражать не будет?

— Сомневаюсь, что он знает латинскую грамоту. Да и числа я буду называть тоже по-латински. Запомни главное — твое дело двигать шашки. И ничего больше. Никаких чувств. Даже если на доске останется одна-единственная шашка.

И вот шашечная партия, ставкой в которой был — ни больше ни меньше — стольный город Киев, началась.

Старец двигал шашки специальной сандаловой палочкой, а Никон — собственной дланью, на которой сохранились следы вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака.

Лучшие места возле игроков достались, конечно же, Ильдею и Добрыне. В затылок им дышали зеваки из ханского окружения. Сам Ильдей напустил на себя царственную важность, а Добрыня все время что-то бормотал.

С первых же ходов начался разгром Никона. Под одобрительные возгласы степняков его шашки одна за другой исчезали с доски. Вскоре наступил трагический момент, когда одна белая шашка осталась против пяти черных. Право хода — несомненно, последнего — принадлежало Никону. И он сделал его, последо-

вательно обойдя все шашки соперника и попутно оказавшись в доведях[1].

В стане печенегов настало тяжкое недоумение. Старец замер, вытянув вперед худую шею, словно заранее подставляя ее под секиру.

Недобрую тишину первым нарушил Добрыня:

— У нас так говорят: не везет в игре, повезет в любви. Уверен, что почтенного Кюскелая ожидает сегодня встреча с красавицей, благоволящей ему.

— С плетью его встреча ожидает! — бесцеремонно отпихнув старца, Ильдей сам присел к доске. — Одна игра не игра. Одна победа не выигрыш. У нас так говорят. Теперь я играю белыми.

Вторая партия разительно отличалась от первой, хотя закончилась с тем же результатом. На сей раз Никон, направляемый подсказками Добрыни, не давал сопернику никаких поблажек и в десять ходов очистил доску.

Ильдей, оставшийся, как говорится, при пиковом интересе, свирепо огляделся вокруг, по обычаю всех самодержцев ища виноватого в собственной оплошности.

— А что это ты такое бормотал все время? — напустился он на Добрыню. — Порчу на меня наводил?

— Великий хан, я всего лишь молил своих богов об удаче, — смиренно ответил Добрыня. — Ведь ни на какую иную помощь мы не смеем надеяться.

— Можешь радоваться! Дошли твои молитвы куда следует. — Хан отпихнул от себя доску, да так резко, что шашки разлетелись во все стороны. — Никогда больше не сяду за эту глупую игру! Свою собственную придумаю. Чтобы в ней сразу и шашки и кости были. И умение и удача. Нардами назову. В честь духов благоприятного случая. Русских учить не буду. Они плохие люди. Нечестно играют.

— Куда уж там! — буркнул Сухман. — У вас только тот игрок честным слывет, который печенегам проигрывает. А про новую игру не беспокойся. Мы ее шутя освоим и ради шутки мандавошкой наречем.

Добрыня между тем с задумчивым видом промурлыкал свежесочиненный куплет героической песни — хоть и не громко, но внятно:

Единоборство в шашки
Долго не тянулось,
Для печенегов оно

---

[1] В доведях — в дамках.

Горем обернулось.
Пускай запомнят азиаты
На потом,
Что богатырь наш крепок
Также и умом.

— Бороться, немедленно бороться! — вскричал взбешенный Ильдей. — До смертного исхода бороться! Подавай сюда своего человека, Добрыня Никитич. Только самого себя, чур, не предлагай.

Киевляне еще только обсуждали кандидатуру единоборца, а печенежский силач был уже тут как тут. Добрыня давно заметил сидевшего в сторонке амбала, закутанного в просторный цветной халат.

Когда борец встал и сбросил лишнюю одежду, стало ясно, что подбирали его исключительно по фактурным качествам. Рост, вес и объем талии соответствовали нормам, принятым в борьбе сумо — древнейшем единоборстве на свете. Техническая подготовка единоборца пока оставалась под вопросом. Впрочем, он вряд ли утруждал себя излишними тренировками. Найти спарринг-партнера для такого тяжеловеса нелегко, даже среди неслабых печенегов, а медведи в степи не водятся.

Тороп, выпихнутый Добрыней навстречу грозному сопернику, был встречен бурным хохотом. Отмяк даже Ильдей, обозленный предыдущим поражением.

— Чем вы своего богатыря прежде кормили? — поинтересовался он. — Не иначе как водой пополам с полбой.

— Какой уж есть, — развел руками Добрыня. — Он хоть и глядится сморчком, а кашу уплетает по-богатырски.

Торопу он дал следующее указание:

— Сломя голову в схватку не бросаться. Сначала измотай этого толстобрюхого. Набегавшись, он сам издохнет.

— Я, боярин, не вчера родился. Все понимаю. — Тороп не выказывал ни малейшего признака страха. — Борьба на смерть. Или мне не жить, или поганому.

По команде Ильдея, жаждавшего немедленного отмщения, борцы сошлись и тут же разошлись — вернее, Тороп отскочил назад, не даваясь в лапы печенега.

Дальнейшие события на ристалище не отличались разнообразием — печенег ловил, а Тороп уворачивался. Временами, оказываясь за спиной неповоротливого соперника, он даже пинал его ногой под зад.

— Опять нечестная борьба! — взволновался Ильдей. — Почему твой человек убегает? Почему ты труса выставил?

— Каждая живая тварь борется, как умеет, — ответил Добрыня. — Змея-удав свою добычу кольцом давит, с места не сходя, а сокол с лета бьет. Уговор у нас один был — биться насмерть. А время не оговорено. Надо ждать. Авось к полуночи все и закончится.

Однако все закончилось значительно раньше. Стоило только вконец уставшему печенегу выпрямиться во весь рост, дабы утереть заливавший глаза пот, как Тороп с разгона бросился на него — ну прямо барс, атакующий зазевавшегося буйвола. Руками он ухватился за лодыжки противника, а головой нанес удар в чревное сплетение.

Печенег рухнул, как подкошенный, высоко задрав ноги, и что-то хрустнуло у него в шее. Прежде чем Добрыня успел оттащить своего слугу в сторону, тот успел заехать поверженному гиганту сапогом в висок.

— Два ноль в пользу «динамовцев» Киева, — выдал Добрыня свою очередную, никому не понятную шуточку. — Как же нам теперь быть, великий хан? Разойдемся по-хорошему или третье состязание устроим?

— Не спеши, славный витязь, еще второе не окончилось, — озабоченно произнес Ильдей и велел своим приспешникам: — Огнем его прижигайте, тогда очнется!

Однако на печенежского богатыря не действовал ни огонь, ни холодная вода, ни уксус, ни растирание ушей. Глаза он, правда, открыл, но самостоятельно передвигаться не мог, да, похоже, и не хотел. Впрочем, такое поведение было вполне понятно — встанешь раньше времени, а на тебя, словно бешеный пес, опять набросится этот русский отморозок. Уж лучше полежать немного с томным видом. А ханская немилость еще не смерть.

Добрыня — само собой — прокомментировал последние события в поэтической форме:

Кипел недолго поединок
Рукопашный,
И завершил его бросок
Вполне изящный.
Не одолеть поганым
Нашенской породы.
Опять горюют
Печенежские уроды.

Эта незамысловатая песнь миролюбия Ильдею отнюдь не внушила, а скорее наоборот. Не забыв плюнуть в сторону своего борца, он обратился к Добрыне:

— Число три — наиболее угодное для богов. Сущий мир де-

лится на три части — небо, землю и преисподнюю. Ночью путь нам указывают Три Царя[1]. Греки верят в Святую Троицу. Провинившихся надлежит прощать трижды. Негоже и нам отступать от этого обычая. Будем состязаться до трех раз. Кто сейчас возьмет верх, тому и вся победа достанется.

— Разве это, великий хан, по-честному? Под себя гребешь! Пользуешься тем, что нам деваться некуда. Ладно, принимаем твои условия. Только и ты своих прежних слов держись. Сам ведь обещал, что меня напоследок оставишь.

Тут уж хану выбирать особо не приходилось. Слуги киевских послов благополучно отбыли свой номер, а Сухман слыл единоборцем не менее грозным, чем Добрыня.

— Будь по-твоему, — молвил Ильдей. — Назначаю состязания в стрельбе из лука. Вот вам мета[2]. — Он снял с руки серебряное запястье. — Расстояние сто шагов. Стрелять только из печенежских луков.

— Вот так новость! — опять возмутился Добрыня. — А если мне какое-нибудь ломье достанется, из которого стрела и на десять шагов не летит?

— Выберешь лук по собственному усмотрению, — ответил Ильдей, вновь ощутивший себя хозяином положения.

Пока ханские прислужники бегали за луками и стрелами, а другие, отмерив дистанцию, устанавливали мишень, Добрыня незаметно для всех повернул перстень, украшавший его указательный палец, на один оборот. Перстень был снабжен специальным крючком для натягивания тетивы, который он накануне наточил до бритвенной остроты.

Стоявшему рядом Сухману Добрыня негромко сказал:

— Сейчас все и решится. Лучшего случая нам все одно не представится. Чем бы состязание ни закончилось, а поганый Ильдей нас обманет. Лучше мы их перебьем, чем они нас.

— Да у них только воинов при оружии больше двух дюжин, — засомневался Сухман. — Как ты их собираешься перебить?

— Стрелами из моей гондивы.

— Где еще та гондива?

— Там же, где и твой меч. Только гондиву мне скоро вернут, а меч тебе придется с боя брать.

— Когда начинать?

---

[1] Три Царя — пояс звезд в созвездии Ориона, древний ориентир кочевых народов.

[2] Мета — то, во что метят, мишень, цель.

— Когда я первого печенега подстрелю... Эй, Тороп, ты все понял? — Добрыня обратился к слуге, который от него ни на шаг не отходил.

— Уши пока целы...

— Мне стрелять из-за прикрытия удобней. А самый надежный щит здесь — Ильдей. Едва я тебе подмигну, тащи этого гусака ко мне. Коли нож еще при тебе, кольнешь его для острастки в гузно.

— Похлопочу, вестимо, а уж там как получится...

Печенежские луки, сделанные из тиса и укрепленные роговыми накладками, славились далеко за пределами степи, но ни в какое сравнение с гондивой, конечно же, не шли.

Добрыня как бы для пробы натянул один из них и незаметно перерезал тетиву перстневым крючком.

— Слабовато, — констатировал он. — Не для русской силы делалось.

То же самое произошло и со вторым и с третьим луками. В руках Добрыни их тетивы лопались, словно были изготовлены из гнилых кишок.

Делать нечего, с разрешения Ильдея принесли гондиву и колчан стрел к ней (по уверению Добрыни, печенежские стрелы к его луку не годились — коротковаты, да и оперение совсем не то).

На состязание печенеги выставили знаменитого охотника, на лету сбивавшего даже стрижа. Он попал в запястье с первого выстрела. То же самое повторил и Добрыня. Мишень отнесли на пятьдесят шагов дальше. Печенег опять не промахнулся. Он стрелял почти не целясь, навскидку, и всем, включая далекого от ратных забав Никона, стало понятно, что на сей раз коса нашла на камень.

Очередь стрелять была за Добрыней.

— Да простит меня бог. — Он сначала глянул в небо, а потом обратился к сопернику, не забыв походя подмигнуть Торопу: — Прости и ты меня, человече. Твоя смерть мне не нужна, но и в живых тебя оставить невозможно.

Лучник упал, сраженный в самое сердце. За миг до этого Тороп, приставив к горлу Ильдея нож, погнал его к Добрыне. В дальнем конце ристалища вскрикнул печенежский воин, убитый собственным мечом, доставшимся Сухману.

Прикрываясь ханом, как щитом, Добрыня быстро и методично расстреливал печенегов. На один выстрел уходило не

больше двух-трех секунд. С тыла опешивших степняков крушил Сухман.

В считаные минуты была одержана полная победа. В живых остались лишь те печенеги, кто, подобно старому Кюскелаю, не представлял никакой опасности или вовремя бросил оружие. Уцелел, конечно, и Ильдей.

— Вот видишь, великий хан, как все обернулось, — сказал ему Добрыня. — Кто коварен вдвойне, окажется в дерьме.

— Мои воины непременно вернутся, и тогда ты проклянешь день, в который родился на свет! — патетически воскликнул Ильдей, еще до конца не осознавший всю тяжесть удара, нанесенного ему судьбой.

— Пусть так, но тебе от этого легче не станет. В любом случае ты умрешь раньше меня.

Впрочем, смерть, пусть даже самая героическая, в планы Добрыни не входила. Усадив в седла связанных пленников (печенег в случае нужды мог управлять лошадью и без рук, держа повод зубами), богатыри поскакали на юг, где в укромной балке близ реки Нерпы их ожидал верный друг Дунай, приведший в Дикое поле тюрков и берендеев, нанятых за золото, некогда принадлежавшее князю Владимиру.

С некоторым запозданием, в свете значимости последних событий вполне простительным, итоги дня были подведены в поэтической форме:

И вот уже настал черед
Стрелять из лука.
Добрыне выпала
Подобная докука.
Попала в цель
Каленая стрела,
Другие двадцать
В печенежские сердца.
Сухман могучий
Тоже не дремал
И беспощадно
Косоглазых избивал.
Враги бежать пустились
Наперегонки.
Ильдей от страха
Обмочил свои портки.

Так и не дождавшись своего повелителя, печенежское войско остановилось на полдороге. Посланные обратно гонцы обнаружили кучу уже остывших трупов и уходящий на юг след — сакму.

Весть эта, вскоре облетевшая всех степняков, немедленно вызвала раздоры. В отсутствие верховной власти одни требовали немедленно пуститься в погоню, другие предлагали продолжить поход на Киев, третьи, ссылаясь на недобрые предзнаменования, собирались вернуться назад.

Не способствовала сплочению осиротевшего войска и многочисленная родня Ильдея, разные группировки которой зарились на ханский бунчук.

Двое суток продолжались жаркие споры, в ходе которых печенеги совершенно забыли об осторожности (да и чего им было здесь опасаться — не возвращения же парочки коварных русских богатырей).

На третью ночь в сонный лагерь ворвались враги. Застигнутые врасплох печенеги вынуждены были сражаться в пешем строю, весьма непривычном для любого степняка. Конные тюрки и берендеи трижды проходили сквозь их ряды — туда, обратно и снова туда. И если при первой ходке лошади то и дело натыкались на отчаянно обороняющихся людей, то во время третьей надо было изрядно постараться, чтобы отыскать живого печенега.

Добрыня и Сухман в этой бойне участия не принимали. Их путь лежал в Киев, все еще пребывавший в тревожном неведении.

Последнюю версту до Золотых ворот Ильдею пришлось идти пешком с волосяным арканом на шее, что служило главным доказательством одержанного богатырями триумфа.

Остальные пленники, обещавшие вскорости прислать за себя выкуп, были отпущены восвояси. Старый Кюскелай, в дороге сдружившийся с черноризцем Никоном, решил поменять подданство, дабы остаток жизни посвятить изучению теории и практики шашечной игры.

Киевляне, высыпавшие на стены, затаив дыхание, внимали песне, которую во всю глотку распевали Добрыня и Тороп:

Пускай на целый век
Запомнят степняки,
Что стены Киева
Крепки и высоки.
И азиатскому
Нахальному хамью
Соваться нечего
К великому Днепру.

По случаю столь блестящей и, главное, бескровной (а еще главнее — почти дармовой) победы полагалось бы закатить гран-

диозный пир с игрищами, но князь Владимир внезапно сказался больным.

Впрочем, Добрыню он все же принял, да еще не наедине, а в присутствии бояр, воевод, именитых горожан и отборных гридней (последние, наверное, должны были уберечь князя от участи Ильдея, до суда посаженного в земляную тюрьму).

Вел себя Владимир так, словно отражение печенежского нашествия было его личной заслугой, а Добрыне лишь довелось сорвать уже давно созревшие плоды победы.

Обоим богатырям кроме слов благодарности достались массивные жалованные гривны, служившие чем-то вроде медалей, собольи шубы из княжеского гардероба (Сухман свою даже на одно плечо одеть не смог), по паре черных кречетов и по дюжине выжлаков.

В ответ Добрыня преподнес Владимиру шашечный набор, сослуживший печенегам такую плохую службу, и все атрибуты ханской власти, включая бунчук, украшенный хвостами экзотических животных, древний меч китайской работы, перстень с огромной ангельской слезой[1] и белый индийский зонт, вещь в здешних местах прежде невиданную.

Княжеский прием в отсутствие вин, закусок и скоморохов быстро подошел к концу, и гостей уже начали выпроваживать за дверь, когда Добрыня во всеуслышание заявил, глядя Владимиру прямо в глаза:

— А как же наш уговор, надежа-князь? Вспомни, что ты клятвенно обещал на последнем пиру, печенежских злодеев проклиная? Дескать, исполню любую просьбу того, кто город от вражеского нашествия спасет.

— Разве тебе мало моих даров? — нахмурился Владимир.

— Даже слишком много, надежа-князь. Но сейчас я хочу просить даров не себе, а всему русскому народу, как ныне живущему, так и грядущим поколениям.

— Ты мне прямо загадку загадал. Что же это, любопытно, за дары такие?

— Желаю, надежа-князь, чтобы ты окрестился по греческому обычаю и своих приближенных к тому самому принудил. Обо всех остальных жителях земли нашей я уж как-нибудь сам озабочусь.

— Спасение твое, Добрыня Никитич, в том, что сегодня у нас праздник и ты на нем в чести, — тон ответа не предвещал ни-

---

[1] Ангельская слеза — одно из названий алмаза.

чего хорошего. — А иначе пришлось бы тебе отведать горечи из чаши моей немилости.

— Отчего тебе, надежа-князь, так немила греческая вера? Будь она столь дурна, разве приняла бы ее твоя бабка Ольга, мудростью превосходившая всех современников.

— Нельзя веру по три раза за одну человеческую жизнь менять. Ведь еще совсем недавно мы дедовских кумиров отвергли в пользу кумиров варяжских. Не поймут нас люди.

— Еще как поймут! — горячо возразил Добрыня. — Поймут и еще благодарить будут! Вера варяжская в наш народ еще не вросла. Легче будет Одина из сердца вырвать, пока там Перуновы корни сохранились. Сам посуди, что при нынешней вере человеку от жизни ждать! Черного дня, когда волки сожрут оба светила и при сполохах мирового пожара из страны вечного льда к нам прибудет корабль, сделанный из ногтей мертвецов? Греческая вера, напротив, обещает воздаяние за земные муки, вечное спасение и загробную жизнь в райских кущах у подножия престола Господнего. Большая разница! Вера варяжская не осуждает грех. Кровь и слезы человеческие для асов — что родниковая вода. Они буянят, пьют хмельные напитки и безо всякого стыда возлежат с собственными сестрами и дщерями. Христос же учит добру, милосердию, целомудрию и воздержанию. Какой народ ты хочешь иметь себе, надежа-князь? Стаю бешеных псов, при первом удобном случае пожирающих ослабевшего вожака, или стадо смиренных агнцев, боготворящих своего пастыря?

— Слова твои, Добрыня Никитич, конечно, прельстительны, да только столь важные дела с кондачка не решаются... — В голосе Владимира проскользнуло некоторое сомнение. — Тут прежде крепко подумать следует, с рассудительными людьми посоветоваться...

— Неужто здесь не рассудительные люди собрались! — подал голос Дунай. — Никто вроде твоим вниманием не обойден. Других столь умных голов в Киеве больше не сыщешь... Жизнь наша на этом свете подобна краткому сладостному мигу. Появляется она из мрака неизвестности и в том же мраке исчезает. И только греческая вера способна указать человеку его истинное место в вечном и неизбывном мире.

— Верно! Справедливо! Пора нам к христианам прислониться! Нечего от варягов милости ждать! Их ярлы и конунги сами крестятся! Поручкаемся лучше с царьградскими кесарями! Хватит дикарями жить! — наперебой загомонили бояре и воеводы, накануне получившие от Добрыни изрядную мзду.

— Молчать! — Владимир топнул ногой. — Здесь вам не вече. Нечего глотки драть. Мне решать, мне потом и ответ держать... Клятвенное обещание я Добрыне и в самом деле давал. Надо его держать. Княжеское слово это вам не пух перелетный, а печать свинцовая... Сам понимаю, что поторопились мы с варяжской верой. Она еще бестолковей нашей прежней оказалась. Не туда зовет. Народ надлежит смирению учить, а не буйству. Магометанские и иудейские законы нам тоже не подходят. Беседовал я недавно с их посланцами. Никчемные людишки... Греческая вера сама по себе приманчива, да уж больно народ лукав. Недаром мы с ними испокон веков враждуем. В Христа Спасителя верят, а сами на каждом шагу обмануть норовят. Дурачками нас считают... Вот что, Добрыня Никитич! Поезжай-ка ты, наверное, в Царьград. За свой счет, вестимо. Сам знаешь, мне посольство снаряжать не за что. Поклонись самому кесарю, уж и не ведаю, кто у них там сейчас за главного, Василий или Константин. Расскажи про наше житье-бытье. Только сильно не плачься. Что-нибудь на будущее посули. К примеру, союз против угров. Попроси у него дочку мне в жены, а также царьградского митрополита, дабы тот по заведенному канону киевлян окрестил. Как исполнишь все это — считай, что твоя взяла. Будет распятие над Днепром стоять.

— Благодарствую за доверие, надежа-князь. — Добрыня отвесил Владимиру земной поклон. — Костьми лягу, а твой завет выполню. Наперед знаю, что за мудрость и прозорливость нарекут тебя потомки Святым.

— Пророк ты у нас известный... — Владимир выглядел сейчас как купец, которого на рынке обсчитали жулики. — Ладно, ступайте все... Утомился я с вами...

Покидая княжеские хоромы, Сухман сказал Добрыне:

— Ублюдок этот про Царьград потому речь завел, что в успех твой не верит. Не добудешь ты там ни кесаревой дочки, ни митрополита.

— Не добуду, так придумаю, — беспечно молвил в ответ богатырь. — Главное не это. Главное, его согласие креститься, пусть и лживое. Уж теперь-то князюшке от своих слов не отвертеться.

Приближалась пора долгого осеннего ненастья, когда с коварным морем лучше не знаться, однако откладывать паломничество в Царьград не было никакой возможности — князь мог

изменить свое решение, да и варяжские волхвы не сидели сложа руки, а плели против приверженцев христианства интриги.

С верными слугами, добрыми приятелями и остатками княжеской казны (ох, много ушло злата на подкупы и подачки) Добрыня покинул Киев. Сначала все шло гладко, но пришлось задержаться в портовом городе Суроже, ожидая попутное судно (поздней осенью греки сюда редко заглядывали).

Со скуки маленькое посольство стало баловаться вином и водить дружбу с праздной публикой обоего пола. Душу свою, прошедшую через бесконечное количество перерождений, Добрыня вполне контролировал, а вот телу, прежде принадлежавшему человеку своенравному и порочному, иногда давал потачку.

Короче говоря, в Суроже сильно поиздержались. Запили все, кроме Торопа, но тот единолично казну оборонить не мог. Мало того, дружная ватага убыла и числом. Сухман заболел срамной болезнью, при которой все мысли заняты проблемами мочеиспускания, а вовсе не дальними странами. Дунай, затосковавший без подвигов, присоединился к компании франков, отправлявшихся в сарацинскую землю на поиски Гроба Господня. И это еще не считая слуг, утонувших в море, до смерти упившихся вином, затоптанных в кабацких потасовках и сданных собственными товарищами в чужеземное рабство.

До города Царьграда уже под самое Рождество добрались только трое — сам Добрыня, верный Тороп да черноризец Никон, так сказать, вернувшийся к истокам. Денег осталось столько, что они вполне помещались в поясах.

Добрыню, видевшего расцвет Карфагена, упадок Рима, строительство Вавилона и будни Иерусалима, столица Византийской империи ничем особым не поразила (в отличие от забубенного провинциала Торопа). Грязь, скученность, немыслимые цены, воровство, проституция всех видов, чиновничьи поборы, засилье иудейских и малоазийских купцов, варяжские громилы, азарт ипподромов и ристалищ, круглосуточно действующие питейные заведения, всеобщая продажность, великая религия, выродившаяся в помпезное зрелище и официозный дурман — ради всего этого не стоило странствовать в пространстве и времени.

Зима прошла в бесплодном ожидании вызова к императору. Константин якобы сражался с неверными в Азии, а Василий отбыл с официальным визитом в Верону и там что-то подзадержался. Императорский двор пребывал вне городских стен, и, по слухам, его стерегли пуще зеницы ока. Ни о какой кесаревой дочке, естественно, пока и речи быть не могло, тем более что владыки

Византии, как истые христиане, имели весьма ограниченное потомство.

Какой-то довольно влиятельный лагофет[1], щедро прикормленный Добрыней, в конце концов смилостивился над настырным варваром и дал ему дельный совет:

— От нас до вас вести годами идут, а дойдя, наизнанку выворачиваются. Про ваши здешние хлопоты в Киеве никто толком и не прознает. Так что невесту для князя сами ищите. Выбор, слава богу, имеется. Соответствующие грамоты я потом как-нибудь выправлю. Все равно ваш князь чтению не обучен. Для него главное — императорская булла.

— Нам бы с собой еще митрополита прихватить, — попросил Добрыня. — В вере стойкого, в быту непривередливого и с виду благообразного.

— Думаю, с митрополитом трудностей тоже не будет. Пройдитесь возле храмов. Там на каждой паперти по дюжине митрополитов сидит. Выбирайте любого на свой вкус. Соответствующий эдикт[2] я заготовлю...

Добрыня, в делах государственной важности привыкший полагаться только на самого себя, лично отправился на поиски княжеской невесты, благо, нужные места уже успел хорошенько изучить.

Сразу возникли сложности. Претенденток, конечно, хватало, но вот беда — молодые да смазливые не знали великосветского обхождения, манеры имели весьма вульгарные и частенько склонялись к самому разнузданному язычеству. Те же, кто хоть немного разбирались в этикете, умели вести связный разговор и молились триединому богу, выглядели заезженными рудничными клячами.

Положение создалось такое, что хоть объявление давай: с целью создания полноценной княжеской семьи требуется девица пристойной наружности, воспитанная, образованная, христианского вероисповедания, без вредных привычек и внебрачных детей.

Добрыня и к сводням заглядывал, но даже самые авторитетные из них столь специфическим товаром не располагали. Похоже, что самые мрачные прогнозы Сухмана сбывались.

Однажды, когда Добрыня, угрюмо взирая на людную Таврическую площадь, в одиночестве потягивал сдобренное корицей и

---

[1] Лагофет — чиновник в Византийской империи.

[2] Эдикт — императорское предписание лицу, вступающему в какую-либо официальную должность.

льдом фалернское вино, к нему подсела скромно одетая особа женского пола, уже вышедшая из девичьего возраста, но еще как бы не достигшая статуса дамы (по-русски говоря — необабившаяся).

Самой примечательной чертой ее внешности были огромные черные глаза с тем лихорадочным блеском, который появляется у мужчин на третий день непрерывных возлияний, а у женщин в минуту чувственного блаженства.

— Ты тот самый человек, который ищет невесту для варварского князя Вольдемара? — без обиняков спросила она на изысканном греческом языке, употреблявшемся во дворцах и храмах империи, но отнюдь не в заведениях, подобных тому, где они сейчас находились.

— Владимира, — поправил ее Добрыня, отставив в сторону кубок с вином. — Ты хочешь что-то сообщить мне по этому поводу?

— Хочу. — Ее припухлые губы дрогнули в едва заметной улыбке. — Почему бы тебе не остановить свой выбор на мне?

— Ты полагаешь себя достойной княжеского звания?

— Я полагаю себя достойной царского звания.

— Как тебя зовут?

— Анна.

— Хорошее имя. Звучное. И в наших дебрях пока неведомое. А как насчет всего остального? Зубы у тебя есть? Только не сочти мои слова за грубость. Ведь я выбираю невесту не себе, а своему господину.

— Сколько нужно зубов? — Она улыбнулась чуть пошире, но по-прежнему невесело.

— Тех, что есть, вполне достаточно... Кто твои родители?

— Император и императрица. Стала бы я тебя иначе беспокоить.

— Но ты хотя бы гречанка?

— Греческий язык знаю.

— А еще какой-нибудь?

— Твоему господину нужна жена или толмачка?

— Пока ему нужна невеста. А к невестам, сама знаешь, предъявляются некоторые... особые требования. Так заведено даже у варваров.

— Я готова пройти проверку. Здесь наверху есть свободные комнаты, сдающиеся за умеренную плату. — Анна, по сути, говорила кощунственные вещи, но словесный срам совсем не вредил

ее загадочному и притягательному облику, как все на свете бури и грозы не могут повредить свету вечно юной луны.

— Увы, я не повитуха... — вздохнул Добрыня.

— Но и не евнух, надеюсь... Оставь на столе монету. Одной силиквы будет вполне достаточно.

Прежде чем встать из-за стола, она опорожнила недопитый Добрыней кубок и сказала скорее тоном нравоучительным, чем извиняющимся:

— Не удивляйся. Настоящие кесаревны тоже пьют вино. И до свадьбы знаются с мужчинами. Но больше всего им хочется сбежать из этого поганого города...

Одной силиквы — крошечной серебряной монетки — не хватило. Дабы остаться до утра, пришлось добавить еще две, а на вино ушел целый тремис — монетка тоже маленькая, но зато золотая.

— Как же нам быть дальше? — спросил Добрыня при свете нового дня.

— Ты о чем? — Блеск в глазах Анны не только не угас, а, похоже, стал еще интенсивнее, и было непонятно, какая именно страсть порождает его: похоть, гордыня, властолюбие, алчность или просто охота к перемене мест.

— Да все о том же... О требованиях, предъявляемых к невесте.

— Разве я не понравилась тебе?

— Я просто потрясен. Честно говорю.

— Значит, понравлюсь и Вольдемару. А что касается всего остального... Ты слышал что-нибудь о магометанском рае?

— Приходилось.

— Девицы, услаждающие там праведников, каждый раз возобновляют свою невинность. Вполне вероятно, что я одна из этих сладострастных гурий, покинувшая небо ради грешной земли. Твой господин получит все, что может дать ему стыдливая и непорочная невеста. Не беспокойся об этом. А вот о моем приданом побеспокоиться не помешало бы.

— Большого приданого Владимир не ожидает. Царьградские кесари известны своей прижимистью. Главное для него — почет.

— Но хоть какие-то платья и украшения я должна иметь! Или ты хочешь, чтобы я предстала перед князем нагой?

— Нагота — лучшее украшение женщины. Ладно, время у нас еще есть. Попозже что-нибудь придумаем...

— Послушай, все варвары такие тяжелые, как ты?

— Нет, просто я богатырь.

— Как долго продлится наша дорога?

— Месяца три-четыре. А что?

— А то, богатырь, что твой господин не обрадуется, если я разрешусь от бремени через пять месяцев после свадьбы. Так что не особо увлекайся.

— Уж потерпи. Когда мне еще придется побаловаться княжеским телом...

Теперь остался сущий пустяк — найти митрополита. Отправляясь на поиски, Добрыня в помощь себе прихватил черноризца Никона, имевшего кое-какие связи в церковных кругах.

Большинство попрошаек, христорадничавших у царьградских храмов, назубок знали Святое Писание и были весьма сведущи в вопросах теологии, да вот только достойного впечатления не производили — все сплошь одноногие, горбатые, кривые, паршеголовые, рябые, золотушные.

Лишь возле церкви Святой Богородицы при Кладезе взор Добрыни задержался на одном нищем, вид имевшем хоть и звероватый, но какой-то на диво величественный. Особенно удалась борода — длинная, пышная, вся пронизанная нитями благородной седины.

Одет попрошайка был в неописуемые отрепья, а на ногах, покрасневших от холода, не имел даже онуч.

— Кто это? — поинтересовался Добрыня.

— Михаил, — неохотно ответил Никон. — Бывший афонский послушник. Ныне известный ересиарх. Недавно с каторги вернулся. Одни зовут его Обличителем, другие Хулителем.

— Кого же он обличает?

— Всех подряд. Только затронь его — он и тебя обличит.

— Надо попробовать... Эй, человече! — Добрыня обратился к нищему. — И не зябко тебе босыми ногами на снегу стоять?

— То, что тебе снегом видится, для меня пух ангельский, небесами ниспосланный! — ответил нищий гулким басом. — Богу надо чаще молиться, греховодник, авось тогда и прозреешь.

— Зачем же ты меня ни за что ни про что греховодником обозвал? Не по-христиански это.

— Грех обличать — главная христианская добродетель! Кто объедается, бражничает и знается с блудницами, тому закрыты врата рая. Это тебя, блядин сын, касается!

— Коли ты такой ревностный поборник веры, так шел бы в храм служить, — посоветовал Добрыня, приглядываясь к горлопану то с одной, то с другой стороны. — Нынче многим заблудшим душам поводыри и указчики требуются.

— Те, которые ныне в храмах служат, сами отпали от истинного бога, отреклись от духа животворящего, продались мамо-

не! — Нищий плюнул в сторону церкви. — Не Спасителя славят, а диавола! Град святого Константина в новый Вавилон превратили! Лукавым блядословием свои богомерзкие делишки прикрывают!

— Уж больно ты крут, отец родной. — Бывший афонский послушник определенно нравился Добрыне. — Не каждому по плечу отречение и подвижничество. Слаб человек. Прощать его надо.

— Как прощать того, кто из человека в алчного пса превратился! — Возмущению Михаила Обличителя, то бишь Хулителя, не было предела. — Истреблять их надлежит, как Спаситель бесов истреблял! Истинный христианин мирские соблазны отвергает и в вере не покой, а борение себе ищет.

— Твои слова, должно быть, не всем нравятся. Через них и пострадать можно.

— А разве я не страдаю! Кому-то суждено дудкой потешной быть, а кому-то — божьим колоколом. Пока язык мне не вырван, буду блядодеев обличать, которые в патриарших хоромах засели. Пусть мучают меня, пусть бичуют, пусть на цепь сажают, аки зверя лютого, — все одно не сдамся на их милость!

— Тяжко тебе приходится, человече, — посочувствовал Добрыня. — Один против всех не сдюжишь. Коли ты здесь таким суровым гонениям подвергаешься, так взял бы и ушел куда подальше. Учреди в отдаленном месте свою собственную епархию и славь там истинного бога себе на радость и людям во спасение.

— Где же ту епархию сыскать? — Михаил скорбно затряс бородой. — Разве что в царстве Гога и Магога.

— Можно и поближе. — Добрыня подмигнул Никону, с сомнением вслушивающемуся в этот разговор. — К примеру, в земле Русской.

— А это что еще за глушь такая? Кто эту землю создал — Господь Бог али сатана? Кто ее населяет — люди али твари бездушные?

— Земля сия обширна и обильна, лежит на полночь отсюда, за морем, — пояснил Добрыня. — Люди, ее населяющие, божьим промыслом одушевлены, однако имеют склонность к язычеству. Ты для них первым святителем станешь. Наперед могу сказать, что, когда град Константинов падет под ударами неверных, столица земли Русской, коей пока и в помине нет, провозгласит себя Третьим Римом и столпом православной веры.

— Наперед все знаешь... Ну-ну... — Михаил немного унял глотку. — Сам-то кто будешь?

— Я посланец тамошнего владыки киевского князя Влади-

мира. Он первым креститься желает, чтобы остальному народу пример подать.

— Окрестить твоего владыку недолго. — Похоже, что Михаил заранее принял предложение, прямо еще не высказанное. — Вот только имя его бесовское заменить придется. Пусть лучше впредь Василием зовется, то есть «царственным».

— Думаю, что с его стороны возражений не будет. Василий имя хорошее... особливо для кота...

— Не паясничай, блядов сын! — гаркнул Михаил. — Мои слова от Бога, а твои от праха... Лучше вот что скажи: народ ваш по натуре к чему больше пристрастен — к смирению или к буйству? Как он слово истины примет? Склонится ли перед крестом?

— Народ наш пока в невежестве и дикости пребывает. Счастье свое полагает в оргиях и злотворстве. Для того ты и надобен, отче, чтобы божье откровение ему внушить... Хотя, чую, непросто это будет.

— В вере ничего простого не бывает! Смирение через твердость приходит. Кто не пожелает святой водой креститься, в собственной крови крещение примет. Немало язычников к богу посредством огня и железа приобщилось. Христос нас за это простит. Кто не щадит тело, тот спасает душу.

— Крутая каша заварится... — Добрыня через плечо оглянулся на северо-восток, туда, где должен был находиться Киев. — Да только верно сказано: не поморив пчел, меду не испробуешь.

— Сам ты хоть к святым таинствам приобщен? — с подозрением поинтересовался Михаил. — А ну перекрестись? Почему в кукиш пальцы складываешь? Два перста ложи!

— Не лучше ли нам изначально троеперстия придерживаться, — осторожно посоветовал Добрыня. — Боюсь, как бы потом вследствие этой мелочи великий раскол в государстве не случился. Из-за лишнего пальца православные на православных войной пойдут, словно враги лютые.

— Не потерплю никакого вольнодумства! — вскипел Михаил, по-видимому уже всерьез возомнивший себя митрополитом. — Да как ты смеешь, блядодей, символы веры искажать! Ты кого церковному канону учишь?

— Поутихни, отче. — Добрыня решил слегка осадить зарвавшегося Михаила. — Ты пока еще не в Киеве на амвоне, а в Царьграде на паперти. Будешь сильно выделываться — здесь и останешься. Другого святителя подберем. Нравом посговорчивее.

— Каждый коня по себе выбирает, — буркнул Михаил. — Кто ретивого, а кто пужливого. Только на пужливого где сядешь, там и слезешь. Как хотите, но вероотступничества и греховодства я не потерплю.

— Вероотступничества не допустим, а грех при твоем содействии постараемся искоренить. — Добрыня, дабы не рассмеяться, потупился. — Ты, отче, совет дай: как быть, если душа на небо просится, а тело чревоугодия и блуда жаждет?

— В следующий раз, когда на грех потянет, возложи длань на горящую свечу, а еще лучше — на три сразу. Боль телесная всю охоту отобьет.

— Совет дельный, только боюсь руку спалить. Я ведь, кроме всего прочего, еще и воин. Когда ты с крестом к людям пойдешь, я за тобой обнаженный меч понесу. Наглядности ради, так сказать... Только попрошу впредь про всякие там блядословия и блядодействия не упоминать. В особенности про блядовых детей. Народ наш вследствие наивности своей к любой заразе прилипчив — хоть к пьянству, хоть к разврату, хоть к бунтарству, хоть к сквернословию. Ругнешься разок в людном месте — твои слова сразу и подхватят. Потом и за тысячу лет их от брани не отучишь.

— Клясться всуе не буду, но постараюсь эту блядскую привычку искоренить. — Михаил перекрестился. — Горя много познал, оттого иногда и заносит.

Здесь в беседу будущих вершителей судеб земли Русской вмешался Никон:

— Как ты, боярин, сего человека князю представишь, если на руках и ногах его следы железных оков, а на груди клеймо каторжное? — Он скрупулезно указал на все эти телесные изъяны, ясно видевшиеся в прорехах нищенской одежды.

— Не беда, — успокоил черноризца Добрыня. — Он ведь не в постель с князем собирается лечь. И не в бане с ним париться. А для иных любопытствующих мы вот такую басню придумаем. Дескать, святитель Михаил ради смирения плоти на голом теле железные вериги носит да вдобавок власяницу, всю его грудь скрывающую. Попомните мои слова, скоро такой обычай все ревностные христиане заведут.

— Следует добавить, что я постоянно занимаюсь самобичеванием. — Михаил продемонстрировал свою костлявую спину, сплошь покрытую рубцами, как свежими, так и застарелыми.

— Да ты, похоже, каждый день за веру страдаешь! — удивился Добрыня.

— Не только за веру. За воровство тоже достается, — признался Михаил. — Одним подаянием не прокормишься, будь ты хоть трижды постником.

— Кончилась, отче, твоя голодная жизнь, — молвил Добрыня. — А теперь, когда все вроде решено, давай по рукам ударим.

— По рукам ты с конскими барышниками на торгу ударять будешь, а мне, как верховному иерарху церкви, надлежит длань лобызать. — Михаил помахал своей черной от грязи лапой, однако сунуть ее Добрыне постеснялся, зато деловито спросил: — Когда отплываем в землю Русскую?

— Скоро. Надо еще императорские грамоты на всех вас выправить, а то князь наш одному честному слову не поверит.

— Не забудь до отплытия соответствующее облачение для меня приобрести, книги священные, иконы чудотворные, аналой походный и всю остальную церковную утварь.

— Где только деньги на все это брать? — Добрыня потрогал свой пояс, за последние дни изрядно потерявший в весе. — Кесаревне подавай уборы и украшения. Тебе — кресты и ризы. Так и разориться недолго... Конечно, любовь дорого стоит. Это я и раньше знал. Но вера, оказывается, еще дороже... Хорошо хоть, что надежда нам даром достается...

Киев им довелось увидеть только в конце весны, когда в садах облетал яблоневый цвет.

Слухи об удачном завершении посольства уже успели достичь города (не зря же Добрыня так упорно распространял их от самого Царьграда), и во всех капищах, унаследованных Одином от Перуна, спешно свергали каменных и деревянных идолов, чей варварский вид мог оскорбить чувства кесаревны Анны и митрополита Михаила, поменявших свою прославленную родину на киевское захолустье.

Перед тем как спуститься на пристань, заполненную восторженным народом, чьи наиболее нетерпеливые представители уже сбрасывали верхнюю одежду и лезли в Днепр, который сегодня должен был заменить священный Иордан, Анна шепнула Добрыне:

— Как ни береглась я, а, похоже, понесла от тебя. Придумай, как княжескую ревность обмануть. Ежели он к христианству склоняется, то и в непорочное зачатие должен поверить...

Михаил, стоявший с другой стороны от Добрыни, слышать ее, конечно, не мог. Глядя из-под руки на высокий днепровский берег, густо застроенный халупами простолюдинов, он разочарованно пробасил:

— Что за блядский городишко! Тут и не хочешь, а поневоле с тоски запьешь.

Великое дело было сделано, но беды и хлопоты на этом не кончились...

Часть II

ЗА ЦАРЯ

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Барков Иван Семенович — фривольный поэт, очередное воплощение странника в ментальном пространстве Олега Наметкина.

Екатерина Алексеевна — российская императрица.

Пугачев Емельян Иванович — донской казак, мятежник и самозванец.

Суворов Александр Васильевич — полководец.

Радишев Александр Николаевич — политический деятель, писатель.

Новиков Николай Иванович — политический деятель, масон.

Кулибин Иван Петрович — механик, изобретатель, монархист.

Крюков Михайло — дворянин, супермен, темная личность.

ПРОЛОГ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Река, полноводная, величавая и слегка грязноватая, как все истинные труженики, день ото дня и год за годом несла на себе в море много чего разного — и хорошего, и плохого.

К последней категории можно было отнести танкеры, оставлявшие за собой отчетливый радужный след, баржи, груженные новейшими пестицидами, шикарные яхты, оборудованные тайниками для перевозки наркотиков, разнообразнейший бытовой мусор, отходы химической промышленности, удобрения, смытые с окрестных полей, обрывки сетей, дохлую рыбу, фекалии, утопленников и просто лессовую взвесь, заставлявшую дельту мелеть и расширяться.

Но за все время своего долгого существования, включая эпо-

хи войн, колонизаций, промышленного бума и сексуальной революции, реке не приходилось еще баюкать в своем лоне предмет, более опасный, чем этот самый обычный на вид прогулочный катер, носивший несколько странное для здешних мест название «Кудеяр».

Экипаж катера состоял из трех человек — двух белых и одного черного. Белые пили бурбон, главным достоинством которого была забористость, черный дежурил у руля. Впрочем, никакой дискриминацией здесь и не пахло — просто он был единственный, кто хоть что-то понимал в компасе и аксиометре[1].

Белые, только что принявшие на грудь по стакану теплого бурбона и закусившие кукурузными хлопьями, негромко пели:

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови проклятых дворян...
Царь на разбойников гневался,
Поп им анафему пел,
Войско старалось стрелецкое,
Чтоб прекратить беспредел...

— Эх, славно! Что бы там наши атаманы ни трындели, а мне здесь нравится, — с чувством произнес нелегал Демьян Репьев, по документам числившийся жителем штата Оклахома Джекомом Джексоном. — На нашу Волгу весьма похоже. Возле Астрахани она столь же широкая. Берегов не видно. И небо такое же высокое. Загляденье!

— Возле Астрахани сейчас арбузы плавают. Во какие! — другой нелегал Митюха Дутиков, имевший карточку социального страхования на имя ветерана американской армии Ли Эша, изобразил руками нечто круглое, размерами превышающее спасательный круг. — А здесь только окурки да гандоны. Тьфу! — Он смачно сплюнул за борт.

— Да, довели народ до ручки баре тутошние, — понимающе кивнул Репьев. — Сначала казачество местное извели, чероков и команчей, а потом за муринов[2] взялись. Непосильным трудом хотят приморить. Ничего, отольются душегубам слезы дяди Тома... Эй, Ларри! — обратился он к рулевому, природному американцу, черному, как деготь. — Ты про дядю Тома слышал?

— Ноу, — покачал головой Ларри, изучавший русский язык в знаменитой подпольной школе мирового казачества на Соло-

---

[1] Аксиометр — указатель положения рулевого пера.

[2] Мурин — негр.

вецких островах. — Нашего самого знаменитого дядю зовут Сэмом. Мы собираемся ему... как это...

— Глаз на жопу натянуть, — подсказал Репьев. — Ларри, а ты Поля Робсона знаешь?

— Ноу.

— Во даешь! Да это же самый голосистый американский певец.

— Самый голосистый американский певец — Элвис Пресли, — меланхолично ответил Ларри.

— Скажешь еще, что ты и Анжелу Дэвис не знаешь, — не унимался Репьев.

— Не знаю. А кто она?

— Самая красивая ваша баба.

— Самая красивая наша баба Мэрилин Монро. — Ларри мечтательно вздохнул.

— Все у вас тут перепуталось! — Репьев в сердцах махнул рукой. — Самолучших своих людей не знаете... Прибавил бы хода, а то не успеем к сроку.

— Нельзя, — покачал головой Ларри. — Речная полиция остановит.

— Ну и жизнь у вас! Не позавидуешь. Со всех сторон простой народ обложили. То дорожная полиция, то портовая, то береговая, то муниципальная, а сейчас вдобавок и речная. Да еще эти... которые за нами гонятся...

— Федеральные агенты.

— Они самые, голубчики. Как, спрашивается, рядовому человеку такую ораву ярыжек одолеть? Мы свою полицию еще в позапрошлом веке под корень свели. Будочников повесили, квартальных утопили, околоточных в капусту изрубили. И сразу порядок наладился. Живем не тужим. Чего и вам желаем.

— Согласен, — кивнул Ларри. — Полицейских надо убивать. Я имею к этому прирожденную склонность. За что и включен в список десяти самых опасных преступников страны.

— Ничего, когда все по-нашему выйдет, этими списками только подтереться останется. Охотники превратятся в дичь, а гонимые в гонителей, — заявил Дутиков, имевший философский склад ума.

— Хотелось бы в это верить.

— Хотелось бы! — фыркнул Репьев. — Верить — твой долг. Сомневающимся среди нас не место... Давай лучше закурим.

— «Мальборо» будешь?

— Слабоваты... Я лучше свои. Правда, всего десять штук ос-

талось. — Репьев вытащил полупустую пачку сигарет «Дымок Кубани». — Хоть бы до Мемфиса на этих дотянуть...

За поворотом реки показался железнодорожный мост, похожий издали на огромную пилу, повисшую над водой. Ларри сбавил скорость и переложил руль влево, пристраиваясь к длиннющей очереди разнокалиберных плавсредств, направлявшихся в судоходный пролет.

— Что там за мешкотня такая? — Репьев, приложив к глазам бинокль, стал всматриваться в даль.

— Наверное, речная полиция досматривает суда, идущие на север, — спокойно пояснил Ларри. — Ходят слухи, что враги Америки собираются взорвать его.

— На хрена он сдался! — Дутиков опять сплюнул за борт. — Взрывать его — себе дороже. Риск большой, а ущерб копеечный.

— Не забывайте, что кроме нас у нынешней Америки существует немало других врагов. — Ларри принялся считать на пальцах: — «Союз белых граждан», «Черные пантеры», анархисты, техасские сепаратисты, японские реваншисты, мусульманские фундаменталисты, сионистские радикалы, экологические экстремисты, наркобароны, Ирокезская повстанческая армия...

— Ну и расплодилось у вас всякой заразы! — прервал его Репьев. — Как головастиков в теплом болоте.

— Всему виной демократия, — как всегда невозмутимо пояснил Ларри. — Разве у вас иначе?

— Ясное дело, иначе! В своей стране мы никакого экстремизма не допустим. Язву в зачатке лечат. К примеру, поджег малец скирду соломы, пусть даже нечаянно — нагайками его по мягкому месту, пока не обделается. Появилась у отрока тяга к нигилизму — в колодки на месячишко. А уж если кто против установлений дедовских взбунтуется или с Войсковым кругом не согласен — крюк под ребро и на солнышко. Там поневоле одумаешься. Порядок превыше всего.

— Почему тогда вас называют разбойничьим государством?

— А пусть себе клевещут... Между прочим, чтобы ты знал, в разбойничьих ватагах всегда самый строгий порядок поддерживался. Без ведома атамана никто баловаться не смел. Добычу на равные доли дуванили. Даже полонянок по справедливости делили. Чтобы распрей избежать. Потому-то и выстояли когда-то против несметных царских армий. Доказали всему миру, что такое есть вольный казак. И сейчас свою линию гнем. Почитай полмира под нашу дудку пляшет. Иерусалимское казачье войско весь Ближний Восток покорило. Забайкальские и корейские ка-

заки у япошек лучшие острова оттяпали. И у вас скоро свои порядки заведем. Войсковой круг, атаманов и все такое прочее...

— Вряд ли ваши порядки подойдут нам, — возразил Ларри. — Здесь все по-другому будет. Афроамериканцы должны получить полное удовлетворение за долгие годы угнетения. Как моральное, так и материальное. Мы поселимся в домах, которые раньше принадлежали белым, а их самих заставим обрабатывать табачные и опиумные плантации. У меня будет целая дюжина самых дорогих автомобилей и пять белых жен. Вот что такое настоящая справедливость. Прямо скажу, вы для нас всего лишь временные попутчики..

— Болтай больше! — прикрикнул на него Репьев. — Когда батюшка Емельян Иванович власть брал, у него тоже попутчики появились. Образованные, в очках, с буклями. Потом наши прадеды этими самыми буклями сапоги чистили. Против идеи всеобщего казачьего братства никому не устоять. Мир маленький, в нем только одному атаману полагается быть. А лампасы на шароварах потом носи какие хошь — хоть голубые, хоть оранжевые, хоть в клеточку. И если, к примеру, всемирного атамана из ваших выберут, из муринов, спорить не будем. С нашим удовольствием подчинимся. Мавританское казачье войско, которое испанцев одолело, сплошь черномазое, зато герои какие!

Эта беседа продолжалась до тех пор, пока бригада речной полиции не закончила обследование сухогруза, находившегося непосредственно перед «Кудеяром».

— Мы следующие, — сказал Ларри. — Прикиньтесь пьяными. Только не забудьте достать из холодильника колотый лед. Человек, пьющий спиртное безо льда, может вызвать подозрение полиции. И не открывайте рты. Человек с гнилыми зубами вызывает еще большее подозрение.

— Эх, наделать бы этой сволоте сквозняков в шкуре! — мечтательно произнес Репьев. — Да жаль, поважнее дела имеются... Ну давай, за мировое казачество! — Он разлил бурбон по стаканам, а скудные остатки разбрызгал вокруг — для запаха.

Спустя четверть часа полицейский катер, своим общим хищным видом, а в особенности стремительными обводами корпуса весьма напоминавший кита-касатку, пришвартовался к «Кудеяру», и на его довольно запущенную палубу вступили вооруженные люди в форме. При себе они имели много мудреной аппаратуры и пару собак — одну огромную, как годовалый медведь, а вторую крошечную, размером с рукавицу.

Но еще вредней собак — и это ощущалось сразу — была сухопарая баба с детскими торчащими косичками. Такие зверушки, водившиеся исключительно в Америке, дабы доказать свое природное превосходство над мужчинами, способны были в тараканью щель залезть.

Командовал отрядом лейтенант — по местным понятиям шишка немалая. Жаль только, что его фамилию порыв ветра унес в сторону. Случись что — потом поминать некого будет.

Полицейские вели себя учтиво и сдержанно, все время говорили «плиз». Даже собаки старались зря не тявкать, хотя Репьев и Дутиков, старательно изображавшие пьяных, швырялись в них объедками.

Лейтенант, принимая от Ларри папку с судовыми документами, поинтересовался (по-английски, естественно):

— Почему такое странное название — «Куд-де-яр»?

— Это имя моей подружки, — ответил Ларри снисходительным тоном. — На языке великого африканского народа бомбо, прямым наследником которого я являюсь, оно обозначает «Очень симпатичная писька».

В другом месте за такие вольности можно было и на орехи схлопотать, но только не в Америке, кичившейся своей толерантностью. Лейтенант даже сделал вид, что оценил шуточку черномазого наглеца.

— Имеются ли на борту вашей симпатичной письки какие-либо предметы или вещества, запрещенные к ввозу на территорию штата Миссисипи? Наркотики, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы?

— Я всего этого хуже огня боюсь, — охотно ответил Ларри. — Как только увижу парня, курящего марихуану, так сразу перехожу на другую сторону улицы.

— Что вы можете сообщить нам по поводу огнестрельного оружия?

— Внизу, в каюте, имеется парочка пистолетов. Заодно и лицензии на них.

— Вы можете удостоверить свою личность?

— А как же! — Ларри раскрыл бумажник, содержавший полный набор документов, включая водительские права, пять видов страховки, справку об уплате налогов и пропуск в читальный зал библиотеки Конгресса.

— Это ваши друзья? — Лейтенант указал на Репьева и Дутикова, которые в этот момент корчили полицейским страшные рожи.

— Попутчики... — Полубрезгливая улыбочка Ларри должна была означать: «И как вы только могли подумать, что гордый афроамериканец способен водить дружбу с подобной белой сволочью?»

— Почему они все время молчат?

— Пьяные, разве не заметно.

— Действительно. — Лейтенант потянул носом воздух. — Немного перебрали... Хотелось бы заодно взглянуть и на их документы.

Оба нелегала хотя ничего и не смыслили в английском, однако, заслышав знакомое словечко «документы», с готовностью предъявили свои фальшивые ксивы, изготовленные пензенской полиграфической артелью, в стенах которой отбывали пожизненный срок заключения все россияне, уличенные в подделке денежных купюр, почтовых марок, гербовых печатей, дипломов, удостоверений личности и других официальных знаков.

Документы пошли по рукам. Изучалась не только каждая буковка, а и каждая закорючка. Особенно усердствовала сухопарая стервоза — даже не поленилась куда-то по радиотелефону брякнуть. Впрочем, экипаж «Кудеяра» за свои бумаги не опасался. Они ни в чем не уступали настоящим и благополучно прошли уже с дюжину проверок.

Когда с процедурой взаимного знакомства (нельзя забывать, что полицейские представились первыми) было покончено, лейтенант вежливо обратился к Ларри:

— Нам хотелось бы осмотреть ваше судно.

— Сколько угодно. — Тот равнодушно пожал плечами. — Все двери и люки настежь. Если будете пользоваться туалетом, помойте за собой унитаз. Желательно антисептиком. Не хватало мне еще бацилл от полицейских набраться. Говорят, они у вас какие-то особые.

Досмотр проходил настолько скрупулезно, словно «Кудеяра» собирались запустить в космос.

Большая собака вынюхивала взрывчатку, маленькая — наркотики. Сухопарая полисменка повсюду совала штырь радиометра (наибольшее излучение, как выяснилось, исходило от пустой бутылки из-под бурбона). Кроме того, применялись магнитометры, спектрографы, тепловизоры, рентгеновские камеры и прочая научная амуниция, заменявшая американским сыщикам собственные глаза и собственный нюх.

Обыск, ничем не порадовавший своих инициаторов, уже подходил к концу, когда собачка-наркоманка неожиданно об-

лаяла Репьева. Ответить ей тем же он по известной причине не мог и вынужден был симулировать крайнюю степень алкогольного опьянения, по-русски именуемую «вусмерть».

Поверив глупой моське, полицейские возрадовались, хотя чувств своих старались не проявлять. Репьева деликатно поставили на ноги и обыскали под дулами автоматов. Добычей бдительных копов стала та самая последняя (и уже уполовиненная) пачка «Дымка Кубани».

Тщательно осмотрев, ощупав и даже обнюхав взятую наугад сигарету, лейтенант в конце концов решился закурить. Хватило его всего на одну затяжку.

— Где вы раздобыли эту дрянь? — утирая слезы, спросил он.

— В Нью-Орлеане купили у кубинцев, — объяснил невозмутимый Ларри. — Это специальный сорт сигарет для борьбы с вредными насекомыми и грызунами. Стопроцентная гарантия. Видите, офицер, на пачке изображена дохлая крыса. — Он указал на довольно условный портрет кубанского национального героя Виталика Пидоренко, павшего смертью храбрых при освобождении ангольского казачества от португальских помещиков и бояр.

— Для человека это не опасно? — поинтересовался лейтенант.

— Наоборот, весьма полезно, — заверил его Ларри, однако сам затянуться не решился. — Изгоняет из организма всех глистов и других паразитов. Кроме того, весьма эффективно при себорее. Хотите еще одну сигарету?

— Нет, нет! — Лейтенант отчаянно замахал руками. — У меня нет глистов и себореи... Скажите, какого рода груз находится в трюме вашего судна? Мои люди затрудняются определить его истинное назначение. Хотя ясно, что некоторые детали изготовлены с применением сверхточных технологий. Все это вызывает законное подозрение.

— Насколько мне известно, это астрономическое оборудование, офицер. — Ларри с многозначительным видом ткнул пальцем в зенит. — Мои попутчики помешаны на созерцании звездного неба. Сейчас они ищут место, где воздух наиболее прозрачен. Возможно, это будут Скалистые горы или пустыня Мохаве. Там они собираются наблюдать редчайшее природное явление — затмение звезды Хреновина.

Последнее слово, само собой, было позаимствовано из русского языка.

— Такие ученые люди, а напиваются до скотского состояния. — Лейтенант неодобрительно покосился на Дутикова, пы-

тавшегося справить малую нужду за борт и неосторожно задевшего струей женщину-полисмена.

— Это они делают для того, чтобы избежать перегрузки мозгов. Спиртное для них — то же самое, что охлаждающая жидкость для автомобильного двигателя. Увы, такова участь всех умников, к которым мы, хвала Господу Богу, не относимся.

— Можете продолжать движение... Только попрошу вас повесить на видном месте вот это. — Он передал Ларри свернутый в трубку плакат. — Здесь напечатаны портреты десяти самых опасных преступников, находящихся сейчас в федеральном розыске, а также даны их подробные приметы. Возможно, кто-то из этой дьявольской десятки встретится вам в Скалистых горах или в пустыне Мохаве. Головы первых пяти оценены в миллион, остальных — в полмиллиона. Хорошие деньги, не правда ли?

— Да, но на том свете курс доллара чрезвычайно низок... Любопытно было бы взглянуть на этих чудовищ. — Ларри развернул плакат.

— Лучше это сделать сейчас, чем на сон грядущий, — кивнул лейтенант.

Для Ларри было весьма отрадно убедиться, что сам он оценен в полновесный миллион, а Репьев и Дутиков, чересчур возомнившие о себе, всего лишь замыкают портретную галерею наиболее отпетых врагов американской нации.

Впрочем, никого из этих троих узнать по разыскным фотографиям было невозможно. В натуре имели место уже совершенно иные лица. Ларри успел сильно похудеть и обзавелся кудрявой бородкой, скрывавшей его главную примету — скошенный подбородок, а нелегалы, полгода назад оказавшиеся на обильных американских хлебах, наоборот, разъелись, как поросята, и сбрили вислые казацкие усы, представленные на фото.

Пока Ларри был поглощен созерцанием плаката, полицейские, прихватив аппаратуру и собак, спешно покидали «Кудеяр». Следующей их целью являлась огромная самоходная баржа, воздух над которой дрожал от жара, излучаемого свежеизготовленным коксом. Уж здесь-то лейтенанту и его команде было где разгуляться.

Сухопарая стерва не забыла прихватить с собой подозрительную бутылку, предусмотрительно помещенную в свинцовый контейнер.

«Кудеяр» двигался пусть и не быстро, но упорно. Остановки делались лишь для того, чтобы Ларри мог выспаться, а нелегалы — пополнить запасы спиртного. После инцидента у желез-

нодорожного моста они с бурбона перешли на местный ром, продукт еще более забористый.

Спустя пару дней экспедиция достигла конечного пункта своего маршрута — веселого города Сент-Луиса, где для них заранее было зафрахтовано место на тихом, заброшенном причале.

Пока нелегалы, чьи лица от пьянства стали похожи уже даже не на поросячьи морды, а на свиные окорока, приводили себя в божеский вид, Ларри, воспользовавшись очередным комплектом фальшивых документов, снял три изолированные квартиры в одном и том же районе города, вблизи здешней достопримечательности — небоскреба Уэйнрайт-билдинг.

На плане города арендованные квартиры образовывали как бы треугольник с длиной сторон примерно в милю. Центром треугольника являлся знаменитый небоскреб, в котором, кроме всего прочего, размещались представительства крупнейших финансовых организаций страны.

Под видом мебели в квартиры завезли оборудование, доставленное в Сент-Луис на «Кудеяре». Ничего общего с астрономическими приборами оно не имело, как, впрочем, и со всей остальной техникой, созданной человечеством за последние две-три тысячи лет.

Фигурально говоря, это было ружье среди пращей и луков, аэроплан среди воздушных шаров, танк среди кавалерии, фугаска среди свечей и факелов. Можно было сказать и сильнее — это очередная, а возможно, и последняя ступенька на роковой лестнице, ведущей человечество к самоуничтожению.

Сие устройство, носившее кодовое название «Кондырь» (в честь достославного атамана Васьки Кондырева, зорившего персидских и турецких купцов еще задолго до Стеньки Разина), являлось плодом многолетнего подвижнического труда талантливейших физиков самых разных национальностей, лишь малая толика которых сочувствовала идеям мирового казачества, а другие были просто похищены из своих спален, лабораторий, бассейнов и автомобилей.

Репьев и Дутиков, ради такого случая прекратившие не только бражничать, но и принимать пищу, немедленно приступили к монтажу «Кондыря», что прежде уже неоднократно проделывали на тренажере — и в темноте, и в сокращенном расчете, и даже в водолазных костюмах.

Когда закончилась сборка, начался кропотливый и тонкий процесс наладки, также доведенный до автоматизма. Никто из нелегалов не знал, какую именно энергию будет генерировать «Кондырь» — оптическую, магнитную, гравитационную, пара-

психологическую или демоническую, — но небоскреб Уэйнрайт должен был непременно оказаться в общем фокусе всех трех его излучателей.

На внутреннюю электропроводку надеяться не приходилось, а потому к подстанциям, питавшим лифты, скрытно проложили высоковольтные кабели. Фирма «Врата рая» установила новые входные двери — пуленепробиваемые и огнестойкие. Каждая квартира была обеспечена огнетушителями, кислородными масками, индивидуальными спасательными средствами и достаточным количеством самого разнообразного оружия. В общем, приготовления выглядели весьма зловеще.

Ларри, остаток своей жизни вознамерившийся провести в окружении богатства, комфорта, наркотиков и пяти белых жен, весьма интересовался эффектом, который должен был произвести «Кондырь». Что это будет — взрыв, землетрясение, смерч, частный случай Страшного суда или хитроумное изъятие наличности, хранящейся в сейфах небоскреба? Насколько велик окажется радиус поражения, если самое худшее все же случится? Не повлияет ли загадочное излучение на его, Ларри, мужскую силу?

— Мы и сами ничего толком не знаем, — честно признались нелегалы. — Но вашим мироедам мало не покажется. Это как пить дать. Белые почернеют, а черные побелеют.

— Раньше времени тут ничего не рванет? — Ларри с опаской покосился на хаотическую конструкцию, в недрах которой что-то гудело, пощелкивало и мигало. — Не хотелось бы погибнуть в расцвете лет да еще в двух шагах от осуществления мечты.

— Все бывает, — сказал Репьев, никогда не скрывавший суровую правду от товарищей по борьбе. — Однажды краем уха я слышал историю о нелегале Пашке Осипове, поставленном на вечное довольствие в почетной атаманской сотне. А это тебе не раз чихнуть! Там и Афонька Хлопуша, и Ванька Чика, и Максимка Шигаев числятся, самые первостатейные казачьи герои. Готовили его примерно, как и нас, только по сусанинскому плану.

— Это нелегалы-самоубийцы, что ли? — уточнил Дутиков, не отходивший от телевизора, транслировавшего круглосуточную программу новостей.

— Они самые, — кивнул Репьев. — Брали на этот курс наиболее отпетых ребят, проверенных в деле. Да и задания им выпадали — нашему не чета. Как, к примеру, пронести атомную бомбу в приемную английской королевы или на лужайку Белого дома? Правильно — никак. Дело заведомо невыполнимое. Но для настоящего казака преград быть не может. Ни в море, как говорит-

ся, ни на суше. Если тебя не пускают в нужное место вместе с бомбой, сам превратись в эту бомбу!

— Каким это, интересно, образом? — Гримаса перманентного недоверия весьма портила, в общем-то, располагающее лицо Ларри. — Проглотить ее разве что?

— Нет, конечно. Но принцип похожий. Наука все может. В том числе и превращать человека в бомбу. Для этого Осипову заменили берцовую кость. Вместо натуральной поставили искусственную, из немагнитного материала, внутри которой и размещался атомный заряд.

— А говорят, что атомная бомба величиной с автомобиль, — вновь усомнился Ларри.

— Это плутониевая, — пояснил Репьев. — У плутония или урана критическая масса — дай боже. А у радиоактивного вещества днепровия, а Америке он калифорнием зовется — всего-то несколько фунтов. Вся бомба размером не больше ручной гранаты. Такую не только в берцовой кости, а даже в заднем проходе спрятать можно. Пусковая кнопка находилась у Осипова в левой подмышке. Случайное включение вроде бы исключалось. Для этого предохранитель имелся. Короче, Осипов превратился в самоходную атомную бомбу, хотя обычная проверка выявить это не могла. Он и на авиалайнерах преспокойно летал, и в разные присутственные места был вхож, включая Ватикан и Центральную фондовую биржу Нью-Йорка... И все бы хорошо, но излучение этого проклятого днепровия-калифорния не лучшим образом повлияло на его детородный орган. Как говорится, меч превратился в плеть. В нужник сходить еще годится, но не больше. А Осипов, забыл сказать, до баб был завсегда дюже охочий. Как жаба до мошек. Приуныл он, конечно. Жизнь немила стала, хотя для сусанинцев она изначально гроша ломаного не стоит... Накануне одной весьма важной операции он попросил своих друзей-ученых о маленькой услуге. Дескать, иду на смерть ради торжества мирового казачества. Дайте в последний разок с какой-нибудь кралей оттянуться... Ученые пошли герою навстречу и вмонтировали в мошонку маленький насос. Включил его — и твое природное оружие к бою готово. Пусковую кнопку вывели в правую подмышку. Для нее предохранитель не предусматривался, поскольку даже самый большой стоячий член общественной опасности не представляет. Осипов испытал свою новую игрушку, остался весьма доволен и со спокойным сердцем отправился на задание.

— Сюда, в Америку? — поинтересовался Ларри.

— Нет, куда-то в Европу. Давно это уже было... Добравшись

до места и слегка обустроившись, он затребовал себе самую дорогую тамошнюю шалаву. Никого из начальства при этом не предупредив. А шалава принимала клиентов в лучшем отеле города. Пятизвездочном. Типа «Хилтона». Имела номер из семи комнат с персональным бассейном. Ну и пошли они коней гонять! Там ведь жеребец кобылы стоил.

— Кончилось все, конечно, плохо, — догадался Ларри.

— Это как сказать... Хотя до оргазма дело не дошло. Что там такое случилось — в точности неизвестно. Не то Осипов кнопки перепутал, не то шалава его так неудачно приласкала, не то просто короткое замыкание произошло, да только наш герой прямо с ложа любви отправился на небеса. И не один, само собой, а в очень солидной компании.

— Ты про шалаву? — фыркнул Дутиков.

— Не только. На тот момент в отеле проходила какая-то весьма важная международная встреча. Не то конференция основных экспортеров нефти, не то конгресс по вопросу коллективной безопасности. Одних глав правительств не меньше дюжины собралось, а уж всяких там министров, банкиров и сенаторов — не перечесть. Плюс жены, любовницы, сопровождающие лица, журналисты. Вот так и получилось, что Осипов свое задание не только выполнил, но и перевыполнил. За что посмертно получил все положенное — именное казачье седло с позолоченной лукой, вечную славу и пенсион для родни.

— А шалаву-таки жалко, — пригорюнился Ларри. — Она бы, наверное, еще много удовольствия нашему брату принесла.

— Когда эта бандура сработает, — Репьев указал на готовый к действию «Кондырь», — сонмище шалав причинным местом накроется. Нашел кого жалеть...

— Парни, отпустили бы вы меня, — попросил вдруг Ларри. — Все, что мог, я для вас уже сделал. Теперь и без меня справитесь. И не надо мне всех обещанных денег. Согласен на половину.

— Нет, расчет только после полного завершения операции, — категорически заявил Репьев. — Уговор такой был. И не умоляй даже, казак черножопый.

— А скоро эта операция начнется?

— С часа на час ожидаем сигнала. Потому и от телевизора не отходим.

Однако следующий день принес дурные вести. Ларри, собиравшийся заглянуть на катер с целью забрать кое-какие личные вещи нелегалов, вернулся с пустыми руками.

По его словам, причал был оцеплен полицией, а целая армия экспертов разбирала «Кудеяр» буквально на кусочки. В отдельные пакетики складывалась даже грязь, набившаяся в щели палубы. Каждый клочок использованной туалетной бумаги просвечивали особой лампой. Вот уроды!

Шухер докатился и до города. По улицам шастали патрули на бронетехнике, а возле каждого мало-мальски значимого объекта появилась дополнительная охрана. Вертолетов в воздухе было больше, чем ворон.

Вскоре диктор телевизионных новостей постным голосом сообщил, что в городе объявился опасный международный преступник Демьян Репьев, он же Джек Джексон, несколько месяцев назад объявленный в федеральный розыск.

Потом последовали комментарии, интервью и рассказы очевидцев. Замелькали фотографии той самой сухопарой полисменки, которую едва не описал зловредный Репьев. Именно ей удалось обнаружить отпечатки пальцев знаменитого террориста. И где бы вы думали — на стекле пустой бутылки из-под бурбона. Недаром, видно, говорят, что все зло на земле — от женщин.

Выходить на улицу стало опасно, и троица забаррикадировалась в главной квартире, где был смонтирован пульт управления. Остальные комплекты «Кондыря» должны были управляться дистанционно.

В томительном ожидании прошли сутки. По телевизору показывали катер, снятый в самых разных ракурсах, и портрет Репьева, уже отретушированный. Заодно всплыли имена его соучастников — Митюхи Дутикова и Ларри Гилмора. Цена за каждого из нелегалов удвоилась, хотя никакой конкретной причины для этого пока не было. Заехать на побывку в Сент-Луис — это ведь еще не преступление.

Вскоре стал досаждать голод. Ларри порывался сходить за продуктами, но его не отпускали — еще сбежит. В конце концов, когда кишки нелегалов заиграли не то что марш, а едва ли не реквием, ему позволили созвониться с подругой, имевшей безупречную репутацию борца за попранные права афроамериканцев (основными из которых в ее понимании была сексуальная свобода и возможность безнаказанно употреблять наркотики). Подруга явилась с полной сумкой ширева, марафета, плана, презервативов, вибраторов, искусственных вагин и фаллоимитаторов. Сверху все это богатство прикрывала черствая пицца — одна на всех.

Звали чернокожую активистку предельно кратко — Зо. Лар-

ри в сравнении с ней казался либералом, гуманистом и пуританином.

На грозный аппарат, слепо уставившийся в зашторенное окно, Зо не обратила никакого внимания. Если ее что и удивило, так это отсутствие у Репьева и Дутикова следов обрезания. Ей почему-то мыслилось, что казаки сродни мусульманам.

Ночь, начавшаяся как празднество разнузданной плоти, закончилась кошмаром. Как ни старались мужчины, а удовлетворить Зо не смогли, только зря распалили. В итоге ее просто выставили за дверь, что, как вскоре выяснилось, стало роковой, хотя и извинительной, ошибкой нелегалов.

Лишь после этого приступили к дегустации пиццы.

До полудня все дрыхли, как убитые, и едва не проспали экстренное сообщение, из которого следовало, что некая весьма разветвленная и влиятельная террористическая организация, базирующаяся в ряде регионов Европы, Азии и Африки, потребовала от стран так называемого свободного мира контрибуцию в размере ста миллиардов долларов золотом и драгоценными камнями.

В случае невыполнения этого абсурдного требования крупнейшим городам Старого и Нового Света грозило уничтожение. В доказательство серьезности своих намерений террористы собирались провести превентивную акцию, назначенную на тринадцать часов нынешнего дня. Объект, избранный для этого, не упоминался.

Глянув на ручной хронометр, Репьев сказал:

— Вот и пришла наша пора. Митяй, включай нагрузку. Докладывай о готовности каждую минуту. Отсчет пошел.

Дутиков поднял стальные жалюзи (в комнату сразу хлынул поток слепящего солнечного света) и уселся за пульт. Комариное гудение «Кондыря» сразу перешло в шмелиное.

— Готовность девять минут, — сообщил он. — Все нормально.

В тот же момент запиликал телефон, молчавший все эти дни. Звонила Зо. Голос ее был тверд как никогда. Девушка сразу призналась, что схвачена федеральными агентами, преследовавшими ее еще за прошлые дела. Находясь под влиянием аффекта, стресса, неудовлетворенной страсти и наркотиков, она во всем призналась. Конспиративная квартира провалена, здание окружено, но она призывает друзей не сдаваться и до конца исполнить свой долг. Смерть белым угнетателям! Дальнейшее было неразборчиво — ей, очевидно, зажали рот.

— Натрахались, — сказал Репьев, раскладывая по всей квар-

тире готовое к бою оружие. — Хоть перед смертью будет что вспомнить.

— А мне не понравилось, — сообщил Дутиков. — Не баба, а трубочист какой-то. У нас дьяволиц на иконах такими рисуют... Восемь минут. Все нормально.

Тем временем телефонную трубку взял мэр Сент-Луиса, избранный на этот хлопотливый пост всего месяц назад и сейчас, наверное, проклинавший себя за опрометчивость.

Говорил он не по делу, а только старался заморочить Ларри голову. Наверное, тянул время.

— Семь минут. Все нормально, — как ни в чем ни бывало доложил Дутиков.

Мэр еще не закончил свое словоблудие, как в дверь дружно ударили молоты штурмовой группы. Но не тут-то было! Фирма «Врата рая» работала с гарантией.

— Шесть минут. Все нормально. Есть пятьдесят процентов мощности.

Все оконные стекла разом вылетели, словно на них дунул сам бог ветров Борей. Чудо, что никого из нелегалов не посекло осколками.

К окну спустились на веревках люди в черных масках, в черных комбинезонах и в черных бронежилетах — не дай бог, если такие во сне привидятся. В квартиру полетели гранаты с нервно-паралитическим газом.

— Пять минут. Все нормально, — вследствие того, что лицо Дутикова, по примеру других нелегалов, прикрывала кислородная маска, голос его сделался глухим.

Репьев полоснул из автомата, снаряженного специальными бронебойными пулями — сначала слева направо, а потом справа налево. Полицейские повисли на своих веревках в неестественных позах, словно паяцы, хозяева которых отлучились перекусить.

— Четыре минуты. Все нормально.

Патрульный вертолет, скрывавшийся в провале соседней улицы, всплыл над крышей противоположного здания (в кабине блеснул прицел снайперской винтовки), но тут же получил в двигатель самонаводящуюся ракету «земля—воздух».

Работающий на полных оборотах винт стремился вверх, а разваливающийся на части корпус — вниз. Это противоречие естественным путем разрешил взрыв топливных баков. Репьев быстро опустил жалюзи, дабы шальные осколки не повредили «Кондырь».

— Три минуты. Все нормально. Есть восемьдесят процентов мощности.

Многоэтажное здание зашаталось, словно собиралось покинуть свой фундамент и уйти куда подальше из этого треклятого города. Причиной такой встряски был не только вертолет, рухнувший прямо на колонну пожарных машин, но и штурмовая группа, подорвавшая стену конспиративной квартиры.

Дым и пыль в два счета превратили ясный день в непроглядные сумерки, а лопнувшие водопроводные трубы добавили парку... Хоть за березовым веником беги!

— Две минуты... Тьфу-тьфу... Ничего не вижу. — Голос Дутикова донесся словно с того света.

В проломе вспыхнули злые огни чужих автоматов, и Репьев немедленно запустил туда пару гранат. Сквознячок, теперь свободно гулявший по квартире, выдул пылепарогазодымовую завесу и позволил без помех обозреть поле боя.

«Кондырь», похоже, ничуть не пострадал. Уцелели и нелегалы, лишь Ларри, на которого рухнула люстра, получил легкую контузию. Слепо выставив перед собой руки, он шел сейчас прямо на Дутикова, усиленно протиравшего окуляры кислородной маски. От цементной пыли оба они были белые, как мукомолы.

— Назад! — заорал Репьев... но было уже поздно.

Массивный Ларри походя сбил Дутикова, и тот, падая, потянул за собой пульт. Излучатель, при настройке которого приходилось ловить сотые доли вершка, мотнулся, словно колодезный журавль, и уставился в пол. Мощное и мелодичное шмелиное гудение распалось на нестройный хор ос, накушавшихся наливки.

— Осталась одна минута, — прохрипел придавленный пультом Дутиков. — Мощность на предел. Прицел сбит.

Полицейских, раз за разом пытавшихся ворваться в пролом, сдерживал только шквальный огонь ручного пулемета. Что-то творилось и за окном, но Репьеву уже некогда было оборачиваться.

— Время ноль! К запуску не готов...

— Все одно запускай! — рявкнул Репьев. — Уже ничего не поправишь.

— Сделано! — немедленно ответил Дутиков. — Будь здоров, Демьян!

— И тебе, Митяй, того же. Не тужи. Не за понюшку табака погибаем, а за светлое будущее.

— И куда нас сейчас? На тот свет?

— Пока неизвестно. Ученые гутарили, что в такой момент

мироздание наизнанку выворачивается. Вот и пронесет нас мимо рая небесного.

— А куда?

— Сие нам знать не дано. Слушок есть, что вселенная бесконечна.

— Не поминай лихом.

— И ты меня прости, если что...

В комнате сделалось неправдоподобно светло — хоть пылинки в воздухе считай. Одновременно наступила тишина. Вполне возможно, что уже загробная.

В остальном все оставалось по-прежнему, только низко над полом, возле поникшего рыла «Кондыря», появилось крохотное светлое пятнышко — солнечный зайчик, отразившийся от пустоты. Мелкие предметы, разбросанные по комнате, едва заметно сдвинулись в его сторону.

Репьев знал, что порожденная «Кондырем» материя действует по принципу курицы, гребущей все на себя, а потому светиться не может. Светились пыль и атмосферные газы, сгорающие при стремительном падении в никуда.

Ларри, держась за голову, встал и направился к окну — наверное, захотел вдохнуть свежего воздуха. Светлое пятнышко, с которым определенно творилось что-то неладное, находилось у него прямо на пути.

Репьев, видевший все это с удивительной ясностью, хотел было предостеречь соратника, но, здраво подумав, только бессильно махнул рукой: «Все мы там будем...»

Ларри сделал очередной шаг, дернулся, словно зацепившись за что-то невидимое, и его как-то странно перекосило. Правая нога афроамериканца касалась пола, одноименная рука загребала пустоту, но вся левая сторона тела, скукожившись, втянулась в прожорливое пятнышко. Какое-то мгновение Ларри оставался человеком-половинкой, а затем исчез окончательно.

— Пустили мы с тобой в мир тварь ненасытную, — молвил Дутиков. — А не пожрет ли она таким манером всю землю?

— Не должна, — ответил Репьев. — Силы не хватит. Это ведь пока только игрушка. На испуг кое-кого взять.

— Боком нам тот испуг вылезет...

Жуткие чудеса между тем продолжались. Отовсюду нахлынули потоки воздуха. Отправились в самостоятельный полет всякие мелочи вроде денежных банкнот, бумажных конвертов и окурков. Задвигались и более крупные вещи.

— Полезная штука, — высказался Дутиков, по примеру

Репьева внимательно наблюдавший за всем происходящим. — В нужник ее запустить, и не надо потом дерьмо каждый год вычерпывать. На свалке опять же помощница незаменимая... Уж скорее бы мы куда-нибудь отправились. Мочи нет своей собственной смертушки дожидаться.

— Недолго осталось, — успокоил его Репьев.

Со временем, как и с пространством, тоже творилась какая-то несуразица. Полицейский, появившийся в проломе стены еще до того, как пропал Ларри, пребывал в прежней позе, так и не завершив начатый шаг, а секундная стрелка на хронометре Репьева после запуска «Кондыря» не передвинулась даже на одно деление.

Материя сжималась (на глазах Репьева отправились в небытие чьи-то грязные носки, телефонный аппарат, полсотни стреляных гильз и оставшиеся после 3о пустые шприцы), а время, наоборот, растягивалось.

Репьев даже слегка повеселел. Прежде ему приходилось слышать, что внутри этого крошечного, ненасытного пятнышка существует свой собственный, ни на что не похожий мир, где нет ни хода времени, ни привычного для человека вещества, ни — что вполне вероятно — даже самой смерти.

Вот только есть ли там жизнь?

ГОЛОС ИЗ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

То, что для Демьяна Репьева обернулось тягостным и нескончаемым кошмаром, на самом деле произошло в считаные секунды.

Едва только высокоточная научная аппаратура, имевшаяся на вооружении полиции города Сент-Луиса (а там уже примерно знали, с кем имеют дело), зафиксировала не поддающийся рациональному объяснению скачок величины всех фундаментальных физических констант, что по времени соответствовало моменту запуска зловещей установки «Кондырь», как многоэтажный жилой дом, случайно ставший прибежищем террористов, вдруг резко уменьшился в объеме, словно пробитый воздушный шарик, а затем целиком, вплоть до последней пылинки, исчез, как бы втянувшись в самого себя.

К счастью, все его обитатели к этому моменту были уже эвакуированы.

Вместе с роковым домом пропало и некоторое количество

менее значительных предметов — несколько автомобилей, главным образом полицейских, мусорные урны, канализационные решетки, щиты дорожных указателей, лампы уличных светильников, листва с окрестных деревьев (а кое-где и сами деревья), парочка бродячих псов, проникших за оцепление, и стая ворон, ставшая жертвой собственного любопытства. Так, по крайней мере, сообщалось в официальном отчете.

Не скрою, поначалу я хотел предупредить эту катастрофу, главным образом по причинам личного свойства.

Никогда прежде мне не приходилось принимать смерть посредством черной дыры или, говоря иначе, гравитационного коллапсара. Естественно, напрашивался вопрос: а как это может отразиться на создании, имеющем нематериальную природу, то есть на мне самом? Что, если эта загадочная прорва способна втянуть в себя даже бессмертную человеческую душу? Уж лучше на всякий случай подстраховаться.

Но Репьевы, в тела которых я теперь воплощаюсь с завидным постоянством, — это еще те субчики! Покорить их не так-то просто. Многие на этом обжигались.

И хотя я действовал, так сказать, изнутри, но не слишком преуспел. Все закончилось само собой. И для меня, слава богу, благополучно. Надо констатировать, что черные дыры при всей своей загадочности целиком принадлежат этому миру и никак не влияют на ментальное пространство вкупе с его эфемерными посланцами.

Что же касается человеческих жертв, как нынешних, так и грядущих (а боевая черная дыра — это посильней, чем лук-гондива), то избежать их можно иным, уже много раз испытанным мною способом — устранить в прошлом саму причину этой трагедии.

На сей раз мне не пришлось ломать голову над тем, в какой именно временной и географической точке река истории сменила свое русло, пусть далеко не идеальное, но хотя бы досконально известное.

Скорее всего это случилось где-то в конце восемнадцатого века на восточном краю Европы, когда очередное крестьянское восстание, запалом которого, как водится, являлось казачество — буйное и непокорное сословие, сложившееся из беглых преступников и социальных изгоев, — не захлебнулось, паче чаянья, в собственной крови, а закончилось полной победой, в результате чего хлебать кровь пришлось уже совсем другим людям.

Невыносимый крепостной гнет, позволявший тем не менее

подневольным крестьянам становиться учеными, изобретателями, торговцами, промышленниками и церковными иерархами, сменился куда более ужасным гнетом — разбойничьим.

К власти пришли люди, привыкшие убивать, грабить и насиловать, а отнюдь не созидать, защищать и умиротворять. Законы разбойной артели стали законами государства. Блатная феня — официальным языком. Ни о каком национальном примирении не могло быть и речи. Восторжествовала идея всеобъемлющей расплаты, когда человек становится виноватым не вследствие совершенных преступлений, а только по факту своего рождения. Бреешь бороду — на кол. Не имеешь мозолей на руках — к стенке. Носишь очки — в рыло.

Впрочем, нечто подобное нередко случалось и в другие эпохи, и с другими народами. Чернь, объединившаяся с разбойниками, сметала постылую власть, но со временем, откормившись и перебесившись, принимала общепринятые правила игры — пусть не сразу, а где-то в третьем-четвертом поколении. Возникали новые правящие династии. Потомки грабителей и убийц придумывали себе благородных родоначальников. Откровенный грабеж сменялся сбором дани, расправы — судом, оргии — великосветскими балами, и все постепенно возвращалось на круги своя.

Лишь иногда бандитская власть сохранялась на века, превращаясь в незыблемую традицию и все глубже загоняя самое себя и подвластный народ в пучину людоедских убеждений, неправедной веры и повальной лжи. Все это, как правило, заканчивалось потом великой смутой и социальными катастрофами.

Вот и теперь, пользуясь медицинской терминологией, можно было сказать, что на лике старушки-истории появилась новая отметина — и отнюдь не мелкий прыщик, который и сам собой способен пройти, а гнойная язва, опасная не только для его обладателя, но и для окружающих. А язвы надо лечить радикальными методами, вплоть до иссечения. Значит, опять кровь, кровь, кровь...

Что же, мне к ней не привыкать.

ИВАН СЕМЕНОВИЧ БАРКОВ

— Как тебе, батюшка, Москва показалась? — не без ехидства осведомился казак, сопровождавший его от самой Тверской заставы. — Нравится?

— Почему она должна мне нравиться? — Барков с независи-

мым видом пожал плечами. — Разве это блудница, которая всем подряд кокетство строит. Москва — мученица. Ей скорбь к лицу. Судьба такая.

— Ты на что намекаешь? — посуровел казак.

— Ни на что я не намекаю. Просто одно древнее пророчество вспомнил. Ты хоть сам знаешь, откуда Москва пошла? Ну так послушай. Великий князь киевский и суздальский Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким, это место первым присмотрел. Тихо тут в древности было. Леса, горы, река. Вот он и повадился сюда наезжать. Для охоты и пирушек. Чтобы, значит, подальше от бояр и великой княгини. Только край этот был хоть и дремучий, да не пустой. Населяли его инородцы — язычники, финнам и мордве сродственные. Народ все больше смиренный, уважительный. Потому и сгинул... На берегу Москвы-реки у них капище имелось. Осквернили его однажды княжеские отроки. Потом еще. На третий раз явился ихний волхв, справедливости просит. Уймись, мол, княже, дай спокойно жить, мало ли вокруг других чащоб да пустошей. Охотиться и пировать где угодно можно, а сие место для нас святое. Нрав у Юрия Владимировича был — не приведи господь! В точности прозвищу соответствовал. Спуску не ведал. Велел он из языческих кумиров костер сложить и дерзкого волхва на него возвести. Когда огонь бороду опалил, старый чародей и провещал свое пророчество. Дескать, стольный город, который здесь впоследствии обоснуется, столько раз гореть будет, сколько ковшей вина князь удосужится выпить. Юрий Владимирович, между нами говоря, весьма охоч был до бражничанья. А тут еще назло волхву постарался. Вот с тех пор Москва и горит чуть ли не каждые двадцать лет. И впредь гореть будет, пока потомки того самого финна вольной и справной жизнью не заживут, от Руси-матушки отпав.

— Да хоть бы она и вовсе прахом пошла! — молвил казак с озлоблением. — Вредоносный городишко! Сколько тут нашего брата замучено да растерзано. Сколько истинной веры поругано. Логово сатанинское! Не зря здесь иуда Никон и антихрист Петр на свет явились. Наши старики завсегда говорили: лучше с чертом знаться, чем с москалем!

— Я от стариков и другое слыхал: вольные казаки — подлые собаки. — Барков своего провожатого особо не боялся, но коня на всякий случай придержал.

— Ах ты гадина дворянская! Вот я тебе сейчас клинком язык укорочу! — Казак в самом деле схватился за рукоять сабли.

— Безоружного рубить вольготно, он сдачи не даст. — Бар-

ков отвел глаза, дабы не встречаться с бешеным взором казака. — Что потом атаману своему скажешь? Он ведь, поди, давно меня дожидается.

— Мне атаман постольку поскольку... Я токмо перед Доном ответ обязан держать. — Казак был хоть и вспыльчив, но отходчив.

— Ты мне вот что ответь. — По опыту Барков знал: лучший способ успокоить человека — это разговорить его. — Коли Москва вам не по нраву, зачем вы так рвались сюда? Всю землю русскую от Волги до Москвы мертвыми телами устлали.

— Мы сюда за справедливостью шли, чтобы законного царя Петра Федоровича на трон вернуть. Вот с божьим вспоможением и дошли.

— Заметно...

Барков покосился на черный от пожара Кремль, мимо которого они сейчас как раз проезжали, на Никольскую башню, зиявшую дыркой вырванных часов (и кому они только мешали?), на развалины Гостиного двора и на Красную площадь, прежде сплошь застроенную лавками и лавчонками, а ныне представлявшую собой одно большое, слегка присыпанное первым снегом пепелище, где одичавшие псы и раскормленные вороны искали себе поживу.

— Дальше-то как думаете действовать? — спросил Барков. — Пойдете на Санкт-Петербург али нет?

— То не твоего ума дело... — Казак нахмурился. — Но слух есть, что воевать больше не будем. Мира Петербург просит. Там царица-изменница под арест посажена. Новая власть утвердилась. Хоть и не казацкая, но к народным нуждам ревностная... Да ты про это сам, наверное, больше моего знаешь.

На пустынной улице встречь им показалось несколько верховых казаков — наверное, только что из кабака, а иначе откуда бы взяться таким красным мордам. Ведь не зима еще. Самый молодой из компании, ехавший чуть особняком, хищно свесился из седла.

— Эй, станичник! Куда эту шишару дворянскую везешь? Уступи нам на расправу. Душа горит.

— Прочь с дороги! — Провожатый погрозил встречным казакам плетью. — Не про вас сей человече. Он царя Петра Федоровича званый гость.

Слова эти не произвели на подвыпивших казаков должного впечатления, а, похоже, только раззадорили. Съехавшись вме-

сте, они о чем-то горячо заспорили, все время оглядываясь на удаляющуюся парочку.

— С воинским послушанием у вас не очень-то... — сказал Барков, ощущая спиной неприятный холодок, словно за шиворот ему попала горсть снега.

— Послушание бабе прилично, а не казаку, — ответил провожатый. — У немчины Михельсона да горе-вояки Бибикова вон какие послушные рати были, да только где они ныне? Гниют в Яицких степях. А мы, неслухи сиволапые, знай себе по Москве гуляем.

— Атаману Заруцкому тоже по Москве доводилось гулять. Куда только потом, бедолага, подевался...

— Сравнил! То при ворах-самозванцах было, а ныне у нас законный царь Петр Федорович. Его, сказывают, уже и англицкий король признал.

— Это сомнительно... Хотя с Георга Третьего станется, он сумасброд известный.

— Вот и прибыли. — Казак плетью указал на дворец московского генерал-губернатора Волконского, ныне превращенный в резиденцию мужицкого царя. — Заворачивай во двор. Только глазами своими завидущими по сторонам меньше рыскай. Как бы наши ребятушки от излишнего усердия их тебе не вырвали.

— Не могу в толк взять... Одет я вроде по-вашему. Чикмень казацкий, пояс турецкий, папаха баранья. Конь да сбруя — донские. Почему же всякая пьянь в меня пальцем тычет?

— Рожа у тебя, барин, дюже гладкая. Что бабий зад. Праздная рожа. У подневольного человека такой рожи быть не может. Ты в следующий раз ее дегтем слегка потяни...

Судя по выбитым стеклам в окнах и обильным следам копоти на фасаде, губернаторский дворец тоже подвергался разграблению, но сейчас он представлял собой как бы сборный пункт для добра, свозимого сюда со всей Москвы.

Бобровые и лисьи шубы, правда, слегка перепачканные кровью, грудами лежали прямо на снегу. Из столового фарфора и хрусталя можно было баррикады возводить. В кострах горела причудливая барочная мебель. Лошадей вместо попон покрывали драгоценными шелковыми гобеленами.

В общем, зрелище, достойное варварской кисти. Картина неизвестного художника «Разорение Рима ордами вандалов». Впрочем, имя художника как раз и известно. Даже весьма...

Вокруг дворца были расставлены новенькие армейские пуш-

ки, как видно, взятые трофеем в городском арсенале. Конные и пешие посыльные беспрерывно сновали в воротах.

У парадного подъезда приехавшие сдали лошадей под присмотр молодому башкиру, одетому поверх зипуна в богатый женский салоп. Даже этот нехристь не сдержался — мазнул по Баркову недобрым взглядом.

Тут уж и Иван Семенович не стерпел, дал волю своему знаменитому глумословию:

— Что ты на меня косишься, кикимора скуластая? Разве я твоих баранов увел? Али кибитку обгадил? Сестру изнасильничал? Это мой город, понимаешь? Здесь верблюжья колючка не растет! Лучше бы ты в степи своей сидел! Вместе с Салаватом Юлаевым бездарные вирши сочинял!

— Особо не лайся! — предостерег его провожатый. — И имя это не упоминай. Салаватка ныне не в чести. Не пошел с батюшкой на Москву. В родных угодьях остался.

— И правильно сделал, — буркнул Барков уже самому себе. — Внакладе не будет. Потом его именем нефтезавод назовут. И хоккейный клуб высшей лиги.

В дворцовых покоях люда было немного — сюда допускались не все подряд. Провожатый, не прощаясь, завернул обратно, а Баркова встретил бывший коллежский советник Бизяев, обряженный в казацкое платье с чужого плеча, а потому смотревшийся маскарадным персонажем.

— Не ожидал, князюшка, тебя здесь увидеть, — молвил Барков с горькой усмешкой.

— А я тебя, Иван Семенович, тем паче. Сказывали, что ты еще лет семь назад душу богу отдал.

— Не принял бог мою грешную душу. Зато твоя, как видно, дюже сатане приглянулась.

— Стоит ли, Иван Семенович, кровоточащие раны бередить. — Бизяев понизил голос. — Не от хорошей жизни на службу к супостату пошел. Пытаюсь спасти хотя бы то, что божьим промыслом уцелело. Но ведь и ты, надо полагать, какие-то делишки к Пугачеву имеешь?

— Не иначе. Только я не служить к нему прибыл, а переговоры вести.

— От чьего лица, разреши узнать? — сразу подобрался Бизяев.

— От своего собственного... А почему здесь так смердит? Разве отхожих мест мало?

— Мужичье. — Бизяев презрительно скривился. — Хуже ма-

лых детей. Нужду норовят справить в китайские вазы и прочие изящные сосуды.

— Значит, к культуре тянутся, — кивнул Барков. — Это утешительно.

— Резок ты, Иван Семенович, стал. И в мнениях предвзят... Не ожидал даже. Прежде ты почтенную публику иным манером потешал... А сейчас поспешим. Он тебя давно ждет. — Местоимение «он» прозвучало со значением, словно речь шла о Господе Боге. — Даже гневаться начал.

— Подзадержались на московских улицах, — пояснил Барков. — Коню ступить негде — везде стервятина человеческая. Хоть бы прибрали.

— Руки не доходят... Да и ничего про Москву пока неизвестно. Разные мнения имеются. Некоторые горячие головы вообще спалить ее предлагают. Врагам для острастки.

— Каким еще врагам?

— Внутренним, вестимо.

— Не спешите. Лет через тридцать пять ее внешние враги спалят. Но уж зато основательно.

— То ли ты умствуешь, то ли ты глумствуешь... Впрочем, вольному воля, — вздохнул Бизяев. — Ты оружие сдал?

— Я его и не брал. Стараюсь не пользоваться. Сам знаешь, мое оружие — перо.

— Тем не менее позволь тебя обыскать. У нас тут что ни день, то покушение. Одни Бруты кругом.

— Сделай милость... Разве мог я прежде предположить, что потомок столбовых дворян будет в моих портках шарить? Сие мне как бархат по сердцу.

— Не юродствуй, прошу тебя. — Со стороны могло показаться, что Бизяев проводит обыск спустя рукава, но на самом деле он действовал осмотрительно и толково, даже стельки сапог заставил вынуть.

— Не забудь ему в ноги поклониться, — сказал Бизяев, когда обыск завершился. — Очень меня этим обяжешь.

«Ему» опять прозвучало со значением.

Они двинулись через анфиладу пустых покоев, выглядевших сравнительно прилично, если не считать ободранных со стен шпалеров да обезглавленных статуй. Вскоре впереди послышалось церковное пение. Запахло воском и ладаном.

— Часовенку домашнюю сладили. — Бизяев перешел на шепот: — На литургию при наших заботах особо не наездишься, а

персона имеется, — веско произнес Пугачев. — Сам понимаешь, какая... Ладно, давай сюда свое послание.

— Велено передать на словах.

— Велено — не велено... — передразнил его Пугачев. — С какой стати я тебе доверяться обязан? Вдруг ты лазутчик Катькисучки? Чем свои полномочия можешь подтвердить?

— Прошу! — Барков надорвал подкладку своей шапки (Бизяев проверить ее не догадался) и предъявил самозванцу свернутую трубкой грамоту, запечатанную ярко-красным сургучом.

— Дурака не валяй. — Пугачев небрежным жестом отстранил свиток. — Сам ведь знаешь, что с тех пор, как Алешка Орлов мне голову ушиб, я грамоту позабыл. Лису этому, Бизяеву, потом отдашь. Он проверит.

— Как бы не продал, — усомнился Барков. — Кто однажды согрешил, тому и впредь веры нет.

— Это уже не твоя забота. Апостол Петр от Господа Бога трижды отрекался, а все одно прощен был... Бизяеву иных милостей, кроме моих, ждать неоткуда. Замаран по макушку, а то и выше. С моего соизволения только и дышит... Между прочим, я тобой недавно интересовался.

— По какому поводу, осмелюсь узнать?

— Сейчас и не упомню. Не то казнить тебя хотел, не то одарить.

— С первым понятно. Вполне заслуживаю. А одарить за какие заслуги?

— За вирши твои препохабнейшие. Потешил ты меня ими когда-то. Что-нибудь новенькое намарал?

— Никак нет. Перехожу на крупную форму. — Для наглядности Барков обоими руками изобразил внушительный дамский бюст. — Пространный роман замыслил. На злободневную тему. Чается мне, что вещь получится посильнее, чем «Бова-королевич».

— Поведай, про что там сказывается.

— А про все! Про войну и мир. Про преступление и наказание. Про коварство и любовь. Про красное и черное. Про мужиков и баб. Про живых и мертвых. Про Руслана и Людмилу. Про Али-бабу и сорок разбойников... нет, вру, про это как раз и не будет.

— Наворотил ты, братец... — Пугачев задумался. — Так ведь про все это в Священном Писании сказано.

— То другое! Я ведь на лавры пророка Моисея или царя Соломона не претендую. Они божьей благодатью вдохновлялись.

А я если только кружкой вина. Сила моей книги будет не в выспренности, а, наоборот, в бренной обыденности. Например, я не только про любовь пишу, а и про разврат тоже. Да и преступления у меня такие, что их иной раз от подвигов не отличишь.

— Любопытно. А в каких краях действо происходит?

— Представь себе, батюшка, на Дону. В местах тебе знакомых. Смысл романа вкратце таков. Молодой казак, назовем его хоть Русланом, хоть Гришкой, хоть Емелей, прямо из родного хутора попадает на царскую службу. Оттуда ему прямая дорога на войну с германцами.

— С Фридрихом? — Пугачев, сам понюхавший пороху в сражениях с пруссаками, молодецки подкрутил ус.

— Почти... Сражается он геройски, однако огорчен творящейся вокруг несправедливостью. Постепенно проникается духом свободолюбия и самомнения. Питает вражду к дворянам-мироедам и офицерству.

— Ну один к одному обо мне писано! — Пугачев заметно повеселел. — Пойдем пройдемся, я табачка закурю.

— Тут на Руси как раз заваривается великая смута, — продолжал Барков, стараясь уклониться от облака вонючего махорочного дыма, целиком объявшего лжецаря. — Казак пристает к восставшим. Опять геройски сражается. Опять видит, что справедливости нет и на этой стороне. Еще больше проникается духом свободолюбия и самомнения. Питает вражду к зарвавшейся и зазнавшейся черни. Возвращается под дворянские знамена. С течением времени повторяется прежний расклад: геройство — разочарование — рост самомнения — переход в лагерь противника. И так раз пять или шесть, чтобы хватило на толстенную книженцию! Само собой, вера утрачена, здоровье подорвано, мошна пуста, а сердечная зазноба Людмила или там Аксинья гибнет от пули неизвестных злодеев. Все рухнуло, осталось одно самомнение. В конце концов казак возвращается в свой опустевший хутор и топит в проруби опостылевшее оружие.

— Все? — Казалось, что дым одновременно исходит из всех отверстий, имевшихся на теле Пугачева, включая еще не до конца зажившие раны.

— А разве мало? — Барков, не ожидавший такой реакции, слегка опешил.

— Нет, не мало... Как мыслишь свое творение назвать?

— Как-нибудь попроще... «Казаки», например. Возможно, «Донские казаки». Или того проще — «Тихий Дон». Как в песне поется.

— Не пойдет. — Пугачев погрозил Баркову своей ужасной трубкой. — Поносное сочинение. Тлетворное. Донской казак случайным поветриям не подвержен и правое дело на неправое менять не должен. Довелось биться с офицерьем и дворянскими прихвостнями, так бейся до конца. Руби их в окрошку хоть десять книг подряд. А если кто зачнет по каждой мелочи колебаться, так он не казак, а девка. И не надо никаких соплей про опустевший хутор! Врагам на мельницу воду льешь. Пусть твой казак с победой возвращается в зажиточное сельцо, где его встречает богоданная супружница с ребятишками, а не какая-то срамная Людмила-Аксинья. И не оружие свое он должен губить, а мужицкого царя славить... Как ты того царя, кстати, описать собираешься?

— Таким, каков он в натуре есть! Мудрый, справедливый, с орлиным взором, с усами и трубкой. Отец народов, одним словом.

— Это правильно. — Пугачев кивнул и вновь затянулся махорочным дымом, став похожим на кратер Везувия. — Но сам роман не годится. Плохой роман. Я бы даже сказал, вредительский. Зовет не туда, куда следует. Если бы я тебя не знал, мог бы подумать, что его враг народа написал.

— Ничего страшного, ваше величество! Все поправимо. У меня другая тема в запасе имеется. Еще более злободневная. Поведать?

— Давай. Все одно надо трубку докурить.

— Молодой казак, может быть, даже запорожский, с младенчества сочувствующий угнетенному народу, без колебания вливается в ряды восставших. Сражается геройски. Одержим духом самопожертвования и единения. Ни про какое самомнение даже не ведает. Колебаниям не подвержен. Везде и всюду сражается с дворянскими наймитами, а больше наймитками. Последних даже изгоняет из своей постели.

— Только не надо разврата, — внятно произнес Пугачев.

— Разврата не будет, но легкий намек не повредит... Справедливая борьба заканчивается полной победой. Здоровье молодого казака расстроено многочисленными ранениями и хворями, среди которых чахотка, лихорадка, несварение желудка, вшивость... Что, если для пущей жалости еще и французскую болезнь упомянуть?

— Не надо. Казаки к ней не восприимчивы.

— Тогда добавим ломоту в костях. Однако, несмотря на эти напасти, молодой казак продолжает геройствовать и в мирное

время. Осенью, в холода и слякоть, он прокладывает гужевую дорогу в ближайший лес, где втуне пропадают заранее заготовленные дрова, в коих так нуждаются победившие простолюдины.

— Про дрова ты вовремя напомнил. — Пугачев принялся старательно разгонять пласты сизого дыма. — О дровах и нам не помешало бы позаботиться. Авось зазимуем здесь. Что дальше-то было?

— Дальше казак, которого уже нельзя назвать молодым, окончательно становится калекой-паралитиком, но даже в столь скорбном состоянии продолжает славить мудрого, справедливого и усатого мужицкого царя, за что получает в полное владение усадьбу в Таврической губернии.

— А разве есть такая? — весьма удивился Пугачев, успевший изрядно порыскать по России.

— Ну не в Таврической, так в любой другой, где потеплее, — поправился Барков. — Для паралитика это немаловажное обстоятельство. Лекари рекомендуют. Свежие овощи опять же...

— Хвалю. — Пугачев похлопал Баркова по плечу. — Тут уж никаких возражений быть не может. В самую точку угодил. Когда допишешь роман, непременно сообщи. Я тебе любую книгопечатню в пользование предоставлю. Постарайся толковое название придумать. Чтобы в душу запало.

— А ты мне, батюшка, не посодействуешь?

— С названием? Подумать надо... Это ведь не дитя наречь. Тут святцы не помогут. — Пугачев принялся выколачивать трубку о мраморный череп какого-то античного мудреца, служившего казакам пособием для сабельных экзерциций[1]. — Что в сием сочинении главное? Беспримерная стойкость. Как ни била человека жизнь, как ни гнула, а он тверд и прям остался, подобно булатному клинку. Вот и книгу так назови — «Как куется булат». Или что-то в том же духе.

— Подходящее название, — охотно согласился Барков. — Лучше и не придумаешь. Любой сочинитель позавидует.

— А много ли этих сочинителей на Руси осталось? — поинтересовался весьма довольный собой Пугачев. — Я про задушевных сочинителей речь веду, а не про лизоблюдов наподобие Гаврилки Державина... Эх, ушел он от меня, собака!

— Да с полсотни наберется. — Барков брякнул первое пришедшее на ум число.

— Еще предостаточно... У нас власть хоть и мужицкая, да без

---

[1] Экзерциции — военные упражнения.

сочинителей и ей накладно. Указ-то, суконным языком написанный, не до каждой головы дойдет, но если его в завлекательном виде составить вроде басни или оды, совсем другой коленкор получится.

— Заслушается народ, — подтвердил Барков. — А еще лучше указ в потешных или фривольных виршах изложить. По примеру моего «Луки Мудыщева». Наизусть будут заучивать и друг у дружки списывать.

— Вот-вот! Понял ты меня. Потому всех уцелевших сочинителей надо до кучи собрать и в специально отведенном месте поселить. И пусть ни в чем нужды не знают. Для присмотра атаман грамотный потребуется. Ты бы согласился?

— Сочинителями атаманить? С превеликим удовольствием. Заодно, батюшка, и плясуний балетных мне подчини. Для приплоду.

— Нет, с этим срамом мы покончили. Негоже девкам нагишом при людях скакать. Для приплоду мы тебе кого попроще дадим. Монашек расстриженных, к примеру... Только на атаманской должности никакого Баркова быть не должно. Уж больно это прозвище богохульством и срамословием прославлено. Иное себе подбери.

— А имя как же?

— Имя оставь. Иванов на Руси, как гнуса на болоте. Имечко для любого случая подходящее.

— Пусть я тогда буду Иваном Бедным. Или Голодным. Можно еще — Кислым. В крайнем случае — Горьким.

— Как хошь, так и называйся. Только Сладким или Гладким не надо. Дабы среди обывателей зависть не сеять... Опосля вы свои рящки все едино нагуляете. Сплошь Толстыми станете.

— Хотелось бы... — вздохнул Барков. — Когда же сии нововведения начнутся?

— Не раньше, чем вся Русь мне покорится. Полагаю, недолго осталось ждать. Хотя чует сердце, что покоя мне и тогда не обрести. — Лик Пугачева, и без того отнюдь не светлый, омрачился еще пуще.

— Что так?

— О людях заботы тяготят... Дворян мы на нет сведем, тут двух мнений быть не может. Купцов, попов и мещан тоже изрядно потреплем. А вот что, скажи, с крестьянством делать? Разбаловались крестьяне без господских батогов. До крайности разбаловались. Усадьбы дворянские разграбили, теперь друг друга зачали грабить. Хозяйство совсем забросили. Про сев озимых и

думать забыли. Зачем же сеять, если барское зерно с прошлого урожая осталось! Солью земли себя возомнили, а ведь соль с землей мешаться не должна — испоганится. Во как!

— Крестьянин без надзора что вол без ярма, — горячо заговорил Барков. — Мало что бесполезен, так еще и опасен. К ногтю его надо брать. Первым делом выход из прежних имений запретить. Под страхом смерти. Землю ни в коем случае не раздавать. Иначе вместо мироедов-дворян скоро мироеды-кулаки появятся. Земля пусть остается казенной, а крестьянин при ней, как пчела при улье. Заместо барских управляющих своих казаков назначь. Думаю, десять тысяч проверенных молодцов у тебя найдется. Урожай целиком изымай в закрома государства. Оставлять допустимо только на самое скудное пропитание, остальное они сами украдут. Называться прежние поместья будут казенными хозяйствами, проще говоря, казхозами. Все крестьянское имущество подлежнт обобществлению, исключая носильное платье и личные вещи вроде мисы и ложки. Топоры и вилы взять на особо строгий учет.

— Баб тоже обобществлять? — ухмыльнулся Пугачев.

— Ни в коем случае! Тогда можно сразу крест на державе ставить. Обобществленная баба — хуже чумы. Это то же самое, что суховей или паводок обобществить. Потом никакого спасения не будет.

— Мысли ты здравые подаешь... Зря, наверное, я тебя в сочинительские атаманы определил. Тебе бы в Войсковом круге заседать, да происхождение не позволяет. Казаки поповичей не любят. А с заводскими людьми как поступить? Зело они на всех озлоблены.

— Заводские — зараза известная. Если кто эту страну и погубит однажды, так единственно заводские. Люди, только с железом и огнем знающиеся, да еще в постоянной скученности пребывающие, в нелюдей превращаются. Другой пример тому — матросня. Ну и каторжники того же пошиба. От них для святой Руси великая опасность. Я бы на твоем месте все заводы разрушил. Вот заводские поневоле и разбредутся.

— Где тогда пушки и подковы добывать?

— Подкову любой станичный кузнец изладит, а пушки нам Англия даст.

— За красивые глазки?

— Нет, за рекрутов. У нас этого добра с лихвой, а у англичан, наоборот, недостача. Гордого британского льва по всему миру ущемляют. В Европе французы, в Америке — свои собственные

колонисты, в Азии — индусы, в Африке — негры. Такую прорву врагов только русский Ванька усмирить способен. Поскольку он к своей жизни наплевательски относится, то к чужой и подавно. Так что пушек будет столько, что хоть колокола из них лей.

— Напомни-ка мне, мил друг, за что тебя с должности попросили? Кажись, за пьянство, бахвальство и худые поступки? — Пугачев лукаво прищурился.

— Навет это! — Барков насупился. — И клевета... Меня за свободомыслие преследовали и стихотворство. Завидовали... Какому русскому человеку пьянство и худые поступки не припишешь? Сам Михайло Ломоносов, мой учитель, склонность к сему имел.

— Ты на Ломоносова свои грехи не вали. Он помер давно. Меня другое заботит — можно ли тебе верить. Вдруг ты прежним врагом и пьяницей остался?

— С самого Успения не пил, ей-богу! Могу дыхнуть. — Барков на шаг придвинулся к Пугачеву. — И слово мое теперь крепче, чем алмаз. Клянусь!

— Ладно, не разоряйся... О деле толкуй. Ты Петербургом послан?

— Так точно, ваще величество.

— Чего Петербург желает? Войны или мира?

— Власти твердой. А помимо тебя никто ее предоставить не может. Все общественные силы в разброде. Лучшие умы в сомнении. Чью сторону принять, к кому притулиться? Екатерина и под арестом интриги плетет. Гвардия хоть и распущена, а тайком собирается. Среди горожан смута. Переворот в любой момент ожидается. Своими силами заговорщиков не приструнить.

— Это все словеса. А я дельных предложений жду.

— Ты, батюшка, должен всеми наличными силами на Петербург выступить. Это для наших общих врагов как бы сигналом станет. Одни прикусят язык и угомонятся, а другие, напротив, о себе заявят. Вот и пусть! Мы их не боимся. Сам знаешь, что гадину лучше всего в тот момент давить, когда она логово покидает. Нынешние петербургские власти тебе отпор дадут, но только для вида, а в удобный момент капитулируют. Только желательно, чтобы казачки в городе не очень зверствовали. Не дай бог, чтобы Москва повторилась. Зачем своих подданных, аки басурман, резать да на церковных звонницах развешивать? Время-то нынче просвещенное, на нас Европа смотрит.

— Да, озлобились тогда мои молодцы... Перестарались. Промашка вышла. — Пугачев перекрестился. — Впредь осмот-

рительней будем... Дальше у твоих единомышленников какие планы?

— За новое государственное устройство предполагают браться.

— И какой же масти сия тварь?

— Масти конституционной. Тебя, батюшка, в диктаторы. Себе они просят важнейшие места в Тайном совете, иностранную коллегию и удельное ведомство. Тебе соответственно военную коллегию и Синод. Финансы в совместное управление. Сенат и тайная экспедиция упраздняются. Все это, само собой, до созыва Поместного Собора, который и решит дальнейшую судьбу России. А пока все твои прежние манифесты восстанавливаются в силе.

— Какие еще манифесты? — Пугачев насторожился.

— Ай-я-яй! Короткая у тебя память, Петр Федорович. Прямо как у девицы. Те самые манифесты, которые ты издал, пребывая в звании императора всероссийского... Об отобрании у монастырей вотчин и крепостных крестьян. О прекращении гонений на раскольников. О свободе вероисповедания. Об уничтожении бродячих псов. О приличествующей длине париков. О недопущении в небо столицы ворон и прочих зловредных птиц. Об отмене политического сыска. О размежевании земель. О смягчении телесных наказаний... Манифесты по большей части разумные. Простой народ их с ликованием встретил. В особенности старообрядцы.

— Тю-тю, вспомнил! — Пугачев даже присвистнул. — Прежние мои манифесты само время похерило. Нынче все иначе будет.

— Как сие, батюшка, понимать? Бродячих псов в покое оставить? Земли монастырям вернуть? Зловредных птиц не гонять? Ведь упомянутый манифест был составлен вследствие того, что ворона тебе на треуголку нагадила. Прямо на ступенях божьего храма.

— Что-то я этот случай не упомню, — нахмурился Пугачев.

— Помилуй, батюшка! Да что это с тобой! Ужель ты и оду забыл, которую я в честь твоего восшествия на престол составил? Мне за нее граф Разумовский двести рублей пенсиона пожаловал.

— Сколько раз повторять, отшиб мне память проклятый Орлов! Да и ода твоя, наверное, срамная была.

— Никак нет, батюшка. Самая что ни на есть благонравная. Вот послушай отрывочек.

Барков принял соответствующую пииту позу и с чувством продекламировал:

Премудрых дел твоих начало
Надежду россам подает.
Что через жопу доходило,
Впредь через голову дойдет.

Завершив чтение, он тут же пояснил:

— Это я к тому, что ты шпицрутены на меры убеждения заменил.

— Врешь ты все. — Пугачев едва сдержал улыбку. — Даже дурак Разумовский за такую похабщину двести рублей не дал бы.

— Ода длинная была. В двадцать четыре куплета. До места, мной зачитанного, граф Кирило просто не добрался... А хошь, я тебе новую оду посвящу? В честь чудесного спасения и возвращения на дедовский престол?

Прежде чем Пугачев успел отреагировать на это предложение, Барков уже вдохновенно читал новое четверостишие:

Мохнаткой Катькиной прельщенный,
Злодей Орлов кинжал занес,
Но жив помазанник остался.
Его сонм ангелов унес.

— С одами повременим. — Пугачев решительно прервал чрезмерно распалившегося поэта. — На то будет свое время... А сейчас не мешкая возвращайся в Петербург и передай тем, кто тебя послал, что я все ихние условия принимаю. Хотя мог бы поторговаться-покочевряжиться. Едва только морозы грязь на дорогах скуют, сразу и выступлю. Встречное условие будет только одно. Пускай они Катьку построже стерегут, а еще лучше — каким-либо способом отрешат от жизни. Нельзя ей, змее подколодной, доверять. Такую стервозу только немецкая земля способна родить.

— Пока сие невозможно. — Барков развел руками. — Приговор низложенной императрице по английскому примеру вынесет всенародный суд. Они-то своего короля не пощадили... Возни, конечно, много будет, но зато потом никто не посмеет упрекнуть тебя в жесткосердии и самоуправстве.

— Ох, не доведет вас это чистоплюйство до добра. — Пугачев презрительно скривился. — Курицу зарубить брезгуете, а страной собираетесь править. Пташки милосердные! Ну ничего, с божьей помощью наведем порядок в России-матушке. Не мы Европе будем кланяться, а она нам. Вот тогда и сочиняй свои

хвалебные оды. Нам для душевной услады, себе для пропитания телесного. Золотом за них будешь осыпан.

— Дожить бы. — Барков мечтательно закатил глаза. — А то последние штаны в самом неподходящем месте прохудились.

— Штаны мы тебе, так и быть, пожалуем. Дабы в дальней дороге не отморозил причинное место. Само собой и провиант получишь. Вина не ожидай. Знаю я твою пагубную склонность к сему зелью. Еще заедешь не в ту сторону.

— Мне бы, батюшка, какими-нибудь бумагами от тебя запастись. А то в Петербурге власть столь же недоверчивая, как и здесь. Заподозрят, что я дальше Тосно никуда не ездил, а там целый месяц бражничал.

— За бумагами к Бизяеву обратись.

— А не продаст, хлыщ дворянский?

— Не успеет. Сегодня я ему полную отставку дам. И от должности, и от земной юдоли. Надокучил, ферт дворцовый.

— Тогда я, батюшка, поспешу. Дабы первого твоего советника живым застать. И самому отсель целехоньким уйти. Вдруг ты передумаешь! Нрав-то у тебя, как я погляжу, переменчивый, будто ветер-шелоник.

— О себе не беспокойся. Уйдешь. Мне ты покудова живым полезней... Только напоследок есть у меня к тебе один вопрос. Мы ведь уже не первый год знаемся, так?

— Так.

— Был я в ту пору для всех простым казаком и скитался по свету в поисках куска хлеба. Знали про меня от силы два десятка ближайших товарищей. А ты, безбедное петербургское житье оставив, зачал рыскать в степях между Волгой и Яиком, у всех встречных людишек выспрашивая: не знает ли кто человека по прозванию Емельян Пугачев. Было такое?

— Было, не спорю, — чуть помедлив, ответил Барков.

— Ведь никаких достоинств за мной тогда не водилось, а про царское свое происхождение знал я один. Чем же я тебе интересен был? Отвечай прямо, не лжесловь. Гнева моего можешь не опасаться.

— К чистосердечному признанию, батюшка, принуждаешь? Что же, изволь... Нагадала мне однажды цыганка, что погубит Россию донской казак Емельян Пугачев, бывший хорунжий. Вот я ради безопасности своего отечества и радел.

— Убить меня, стало быть, стремился?

— Имелось такое намерение, отрекаться не буду.

— Почему же ты не исполнил его? Удобных случаев, поди, хватало.

— Случаев хватало, да смысл пропал... Если в половодье река запруду подмывает, то любая капля может стать последней. И совсем не важно, как ту роковую каплю кличут — Емельяном Пугачевым, Афанасием Хлопушей, Иваном Чикой, Максей Шигаевым или Адылом Ашменевым. Один хрен — не устоять запруде.

— Это надо так понимать, что среди других бунтарей я тебе самым пристойным показался?

— По сравнению с Хлопушей или Грязновым ты, батюшка, просто голубь.

— За откровенный ответ хвалю. Больше ни о чем пытать не буду. Ступай с богом. Может, когда еще и свидимся.

— Непременно.

Поклонившись, Барков стал пятиться к дверям, но внезапно выпрямился и лукаво ухмыльнулся.

— А помнишь, батюшка, наши недавние рассуждения про манифесты? Дескать, для вящей доходчивости их лучше бы потешными виршами излагать. Вот тебе стихотворный пересказ манифеста о борьбе с воронами:

Какой такой зловредный тать
Осмелился на самодержца срать?
Зачем столице строгий вид,
Когда с небес говно летит?
Дабы такому впредь не быть,
Полеты нужно запретить.
Все виды птиц сшибать картечью,
А ангелов — срамною речью.
Заверен с самого утра
Указ сей именем Петра.

Власть мятежников, по слухам, простиралась только до Лобни, а петербургские вольнодумцы — опять же по слухам — дальше Чудова нос не совали.

Огромное пространство, расположенное между этими географическими точками, ныне представляло собой нечто совершенно неведомое, сравнимое разве что с далекой камчатской землей, лишь недавно в самых общих чертах описанной солдатским сыном Степаном Крашенинниковым.

Вполне вероятно, что там — не на Камчатке, а в Тверской и Новгородской губерниях — уже от веры Христовой отреклись и поклоняются, как в давние времена, мерзостным идолам или вообще камням да ямам.

Проверить достоверность этих пересудов, а заодно и посе-

тить северную столицу мешало то обстоятельство, что московские ямщики, прежде славившиеся своей безрассудной смелостью, нынче как-то присмирели и от столь выгодного предложения отказывались наотрез. Не помогали даже щедрые посулы Баркова, обещавшего несуразно высокую мзду аж в двадцать пять рублей серебром.

— Добавь еще полстолько, покупай мою кибитку вместе с лошадьми и езжай сам, куда душа пожелает, хоть до моря-окияна, — огрызались ямщики, по обычаю своей профессии изрядно пьяные.

Можно было, конечно, добраться до Петербурга и верхом, благо, справная лошаденка имелась, но Барков собирался прихватить с собой довольно увесистый груз.

Весь вечер он шлялся по кабакам, где имели привычку собираться труженики вожжей и кнута, выставил ради знакомства немалое количество шкаликов, стал очевидцем нескольких драк, купил из-под полы пару хороших турецких пистолетов, но ни о чем конкретном так и не договорился. Ехать за двадцать пять рублей на верную смерть никто не соглашался.

Сам Барков, памятуя о своей пагубной страсти, спиртным старался не злоупотреблять, хотя кое-что в себя, конечно, принял — и вина, и водочки, и пива. В очередной раз выбегая по малой нужде из кабака, он был остановлен неизвестным человеком, одетым не по погоде — в лакированные ботфорты и щегольскую шляпу с пером.

Прикрывая лицо краем плаща, он простуженным голосом спросил:

— Сударь намеревается ехать в Санкт-Петербург? — Выговор и все повадки выдавали в нем дворянское воспитание.

— Намереваюсь, но пока без особого успеха, — ответил Барков, старательно исполняя то дело, ради которого здесь оказался, что на пронзительном ветру было не так-то просто.

— Сударь имеет охранную грамоту, с которой его пропустят через заставы? — вновь поинтересовался незнакомец, державшийся от Баркова с наветренной стороны.

— А то как же! — похвастался поэт, успешно завершивший начатое предприятие. — Запасся я такой грамотой. Самим государем Петром Федоровичем подписана.

Человек в ботфортах издал неразборчивый горловой звук — не то слюной подавился, не то сдержал готовое сорваться с языка матерное ругательство, — но быстро овладел собой и смиренно молвил:

— Не угодно ли будет взять меня вместо кучера?

— Я бы взял, да где твой экипаж? — ответил Барков.

— За этим дело не станет. Извольте пройти чуток вперед, а я вас вскорости догоню.

Сказав так, незнакомец исчез с завидной поспешностью, что выдавало в нем человека, привыкшего ко всяким жизненным коллизиям.

Барков, которому возвращаться в кабак уже не было никакого интереса, взял свою лошадь под уздцы и двинулся по Петровке в сторону Кузнецкого моста, где жизнь била ключом, о чем возвещал яркий свет смоляных бочек. При этом он старательно обходил чернеющие на свежем снегу тела неплатежеспособных пьяниц, выброшенных из кабака бездушным целовальником. И хотя морозец стоял вполне терпимый, никто не дал бы за жизнь этих несчастных и ломаного гроша.

А ведь в достопамятные студенческие годы, когда Барков еще был самим собой, а не орудием неведомо чьей воли, случалось и ему леживать вот так. Мог бы запросто околеть или заработать воспаление нутра — ан нет, обошлось. Как видно, боженька уже тогда имел на него какие-то свои планы.

Был момент, когда сквозь посвист ветра Баркову послышались истошные крики и даже как будто хлопок пистолетного выстрела, но сие — увы — не могло считаться диковинкой в городе, захваченном разбойниками.

Пройдя с полверсты, Барков потерял надежду дождаться человека, набивавшегося ему в кучера, и уже собирался было сесть в седло, когда сзади послышался налетающий топот копыт и скрип полозьев. Подкатила кибитка, запряженная тройкой лошадей, подобранных и по стати, и по масти. Правил лихой молодец, Баркову прежде как бы и не встречавшийся, и только присмотревшись повнимательней, он опознал давешнего незнакомца, уже сменившего шляпу на теплый треух, а плащ на просторный ямщицкий тулуп. Даже поверх ботфорт у него теперь красовались необъятные валенки.

Что хорошего, спрашивается, можно ожидать от города, где люди как по волшебству и безо всякого промедления меняют свои наряды, звания, личины и убеждения? А все, что угодно — пыль в глаза, кукиш под нос, кинжал под ребро...

— Карета подана, сударь, — сказал человек, восседавший на козлах.

— А ты, братец, с кучерской работой справишься? — поинте-

ресовался Барков, несколько настороженный такими метаморфозами.

— Как-нибудь, — сдержанно ответил незнакомец. — В седле взращен.

— Может, и в седле, да не на облучке. То разные вещи.

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Взыска не будет. Еще и благодарить потом станете.

— Из города бежишь? — напрямую спросил Барков.

— Приходится.

— Звать-то как?

— Михайло Крюков, дворянский сын.

— А я Иван Барков, попович.

— Стишками прежде не баловались?

— Был такой грех.

— Тогда я ваш поклонник. Про птиц-девиц, которые так и норовят на наши сучки взгромоздиться, вы презабавно прописали... Коня своего привяжите к запяткам. Да только повод подлиннее отпустите.

— Не пора ли нам сию ложную вежливость оставить и с «выканья» перейти на «тыканье», — предложил Барков. — Мы ведь как-никак русские люди.

— Согласен, приятель. Полезай в возок.

— Сейчас залезу. Только прежде, чем в Петербург ехать, мне надо в одно здешнее местечко наведаться.

— Бога ради. Все одно нас из Москвы до рассвета не выпустят. Даже с охранной грамотой.

— Тогда гони к Даниловскому монастырю. Дом я тебе по прибытии укажу...

Яицкие и донские казаки, а еще в большей мере заволжские инородцы, привыкшие к степным просторам, ночного города опасались, предпочитая держаться вблизи площадей и рынков, где горели жаркие костры и потехи ради шла ружейная стрельба. Поэтому на глухих окраинных улочках, протянувшихся от слободы к слободе, встречи с пугачевцами можно было не опасаться.

Крюков управлял лошадью с завидной ловкостью (как, наверное, умел делать все на этом свете), да и город знал, как свою табакерку. Очень скоро, следуя указаниям Баркова, кибитка остановилась возле огромного мрачного дома, на треть каменного, на треть деревянного, а на треть вообще недостроенного.

Уличные бои, слава богу, этот район вообще не затронули, и

у Баркова, изрядно перенервничавшего в дороге, сразу отлегло от сердца.

Стук рукояткою кнута в ворота ничего не дал, кроме взрыва собачьего лая, и Крюкову пришлось перемахнуть через забор, что он легко исполнил, даже не сняв тулупа.

Лай, изрыгаемый псом, имевшим по меньшей мере бычью грудь, дошел до крайней степени остервенения, но внезапно сменился жалобным скулежом.

— Да он, как видно, душегуб, — молвил про себя Барков. — С ним надлежит ухо востро держать.

Крюков изнутри распахнул ворота, и они сообща завели лошадей во двор, напоминавший декорацию к пьесе о спящей царевне. Снег тут не убирали еще ни разу, а грязь, наверное, еще с прошлого года.

В одном из верхних окошек дома затеплился огонек свечи. Пес — громадный волкодав — паче чаянья оказался жив. Цепь, на которой он был подвешен к притолоке амбарных ворот, позволяла едва-едва дышать, но не позволяла лаять. Как Крюков сумел управиться с подобным цербером, оставалось загадкой.

Барков швырнул в светящееся оконце снежком и громко крикнул:

— Просыпайся, Иван Петрович! Встречай дорогих гостей!

Свеча покинула прежнее место, степенно проследовала мимо ряда других окон второго этажа, на минутку пропала, а потом засветилась сквозь щели сеней. Послышался лязг отпираемых запоров.

— Никак ты, Иван Семенович? — раздался изнутри грубый мужицкий голос.

— Я, тезка, — ответил Барков. — Пущай в тепло, а то в ледышку обращусь.

— Ты один?

— С приятелем.

— Приятель, небось, опять с сиськами?

— Побойся бога, Иван Петрович. Попутчик мой, Михайло Крюков. Мы с ним нынче утром в Петербург отбываем... Да открывай ты, дьявол сиволапый!

— Погодь... Не так все просто...

В проеме приоткрывшихся дверей показался хозяин. Свеча, зажатая в левой руке, освещала снизу его непомерно крупную, косматую голову — ни дать ни взять циклоп, выглядывающий из своей пещеры.

— У меня тут против злых людей предосторожность устрое-

на, — пояснил он, держась от дверей подальше. — Если любопытствуешь, нажми клюкой на порог.

Клюку Барков искать не стал, а воспользовался кнутовищем, позаимствованным у самозваного кучера. Деревянный порог, столь широкий, что его никак нельзя было миновать, подался довольно легко, а сверху, из-под притолоки, на его место стремительно рухнул тяжелый косой нож.

— И нижние окна подобным образом защищены, — пояснил хозяин. — Если не головы, так носа точно лишишься.

— А сам пострадать не боишься? — поинтересовался Барков. — Сунешься по пьяному делу во двор, а тебя этим секачом хрясь — и пополам!

— На сей случай стопорное устройство имеется. — Хозяин покрутил какую-то рукоять, и нож уполз вверх, за притолоку. — Вкупе с предохранителем.

— Все у тебя, старый мерин, предусмотрено, — похвалил Барков. — Полезное изобретение. Не телескоп, конечно, но и не мухобойка. Сам француз Гийотен мог бы позавидовать.

— Чего ему завидовать... — Хозяин поскреб бороду. — Мы с Жаном давно в переписке состоим. Недавно я ему подробную схему этой машинерии с оказией переслал. Пусть себе пользуется на здоровье. И дрова можно рубить, и виноградную лозу, и даже стальной пруток.

— Не пойдет твое изобретение Гийотену на здоровье. Разве что от головной боли излечит, — буркнул Барков. — Но зато уж дров оно во Франции нарубит, это точно...

— А на каком языке вы изволите переписываться с другом Жаном? — поинтересовался Крюков. — На французском?

— Зачем же, на латинском... Я хоть академий, как некоторые, не кончал, — хозяин покосился на Баркова, — но имею правило до всего доходить своим умом. Надо будет, и французский превозмогу.

Тут в разговор вмешался Барков:

— Хочу, Михайло, представить тебе императорского механика Ивана Петровича Кулибина. Умница редкий, но и дуролом известный. Здесь он как бы в добровольном изгнании. Если понравишься ему, он и для тебя что-нибудь изобретет. Сапоги-скороходы, например...

— Наслышан неоднократно. — Крюков поклонился. — Более того, имел удовольствие хаживать в Питере по вашему знаменитому мосту.

— Стоит, значит, мост. — Похоже, эта весть обрадовала Кулибина.

— Куда ему деваться! Правда, некоторые петербуржцы, а также приезжие взяли моду вешаться на нем. Весьма, знаете ли, удобно. Да и место приятное, со всех сторон открытое. Сегодня повесишься, завтра уже в газетке про тебя пропечатают.

Кулибин, несколько последних минут с подозрением вслушивавшийся в доносившиеся со двора звуки, вдруг оттолкнул гостей и как был босиком, так и выскочил на снег.

— Кто же вам, упырям, позволил так над моим псом издеваться! — вскричал он, высоко воздев свечу. — Терпи, Ньютон, сейчас я тебя выручу!

Барков, глядя в спину удалявшегося приятеля, задумчиво произнес:

— Если мысль о преемственности научных поколений верна, надо будет при случае посоветовать сэру Джорджу Стефенсону назвать свою собачку Кулибой, что, кроме всего прочего, означает еще и плохо выпеченный пирог.

Крюков, как истый кучер, пусть и благородных кровей, завалился спать возле коней, прямо в деннике, благо сена вокруг хватало.

Зато Баркову и Кулибину было не до сна. Наспех перекусив анисовкой и черствым хлебом, они приступили к беседе, одновременно походившей и на научный диспут, и на воровской междусобойчик.

— Где обещанное? — многозначительно произнес Барков. — Все сроки вышли.

— Обещанного сам знаешь сколько ждут, — зевая, Кулибин рыкнул львом. — Года три, а то и больше.

— Дурака-то не валяй. — Барков сделал вид, что собирается обидеться.

— Ладно, готов твой заказ, — пробурчал Кулибин, еще не простивший гостям издевательства над любимым псом. — Я его пока в подполе схоронил.

— Довел, значит, до ума?

— Старался.

— В деле испытал?

— Прямо здесь маленько попробовал. — Кулибин кивнул на бревенчатую стену, имевшую такой вид, словно над ней изрядно потрудился жук-точильщик, да не простой, а величиной с па-

лец. — Дом с таким орудием покидать опасаюсь. Времена нынче неспокойные.

— Кучность неважная, — сказал Барков, внимательно рассматривая издырявленную стену.

— А ты чего хотел? Это ведь не подарочный штуцер, который год собирают да два полируют. В спешке все делалось, сам знаешь.

— Как остальное? Патроны не клинит?

— Сначала клинило, да с этим я справился... Ствол сильно греется. Пришлось его в жестяной кожух упрятать, куда вода заливается. Весу, конечно, добавилось.

— Как-то я про это не подумал...

— Дело плевое... Вот с патронной машиной намучился — это да! А остальное терпимо.

— Гильзы из меди делал?

— На медь средств не хватило. Пока катаное железо приспособил. В Туле еле добыл. Трижды туда мотался, животом рисковал. С патронами мне туляки крепко помогли.

— И как там город Тула?

— Стоит себе. Попробуй к ним сунься! Царских заводчиков они прогнали, а мятежников и близко не подпускают. Собираются свое собственное государство учредить. Тульскую заводскую республику. В правители французского маркиза Лафайета метят.

— Почему именно его?

— Молодой, бравый, ушлый, ревностный и в пушках разбирается.

— Не лучше ли кого своего поискать? Есть у нас в России такой Алексашка Аракчеев. Годами, правда, еще весьма юн, но задатки редкостные. И бравый, и ревностный, и ушлый, а в пушках просто души не чает. С людьми, правда, крут, так тулякам ведь нужен правитель, а не повивальная бабка.

— То не мои хлопоты! Я по императрице ежечасно слезы лью. Кажется, обыкновенная баба, проклятье рода человеческого, сосуд диавольский, а ум имела поистине государственный. Огромадный ум...

— Да и дразнилку соответствующих размеров, — как бы между прочим добавил Барков. — Одаренная личность. Кругом сокровища имела. И на плечах, и между ног.

— Над святым, щелобень, глумишься! Народному горю радуешься! Императрицу спасать надо, а ты здесь зубоскалишь... Взял бы лучше меня в Петербург.

— Нельзя тебе там показываться, Иван Петрович, неужели непонятно. Здесь ты никому глаза не мозолишь, поскольку внешность имеешь самую хамскую. А в Петербурге всех любимчиков императрицы уже к ногтю взяли. По спискам и по счету. И не только полюбовников да статс-секретарей, а и портных, шутов, ювелиров, духовников, садовников. Все в Алексеевском равелине и Трубецком бастионе сидят. И ты туда же хочешь? Зачем, спросят, ты самодержице часы с секретом дарил? Чтоб простому народу и лишней минутки отдыха не было... Какого рожна оптические стекла ей шлифовал? Дабы она за ростками свободолюбия ревностно приглядывала... Чего ради на Ижорском заводе пресс редкостной силы мастерил? Чтобы эти самые ростки в зародыше давить. Была бы голова, а топор завсегда найдется... Так что сиди пока здесь. Императрицу мы как-нибудь и без тебя выручим.

— Уж постарайтесь, бога ради, а я в долгу не останусь.

— Как там крестник мой поживает? Ни на что не жалуется? — Барков перевел разговор на другое.

— Грех ему жаловаться. В Петербурге, сказывают, с провиантом беда. Нет былого подвоза. Не то что рябчиков, а бывает и хлеба не сыщешь. Я же ему, что ни день, штоф водки выдаю. Сегодня — рябиновки, завтра — кизлярки, послезавтра — перцовки, и так до бесконечности. К тому же московские вареные окорока ему весьма по вкусу пришлись. Второй доедает.

— Сударушку себе не требовал?

— Упаси боже! Зачем ему сударушку при такой-то кормежке... Перо и бумагу недавно затребовал, это было. Сочиняет что-то.

— На всякие анекдоты он великий затейник. Заслушаешься.

— Его анекдоты в аду рассказывать — и то стыдно! — Кулибин с ожесточением перекрестился. — Срамотища...

— Императрица, между прочим, их весьма одобряла. Особенно про то, как на балу со скуки в рояль насрали.

— Уймись, греховодник! — Кулибин погрозил собеседнику пальцем. — А не то прокляну...

Речь меж двух Иванов шла о лейб-гвардии подпоручике Алексее Ржевском, бездарном поэте, но неподражаемом острослове, моте, выпивохе и многоженце, благодаря своему масонскому прошлому оказавшемся в чести у новой петербургской власти и выполнявшем при ней роль посланника по особым поручениям.

Это именно Ржевский, а вовсе не Барков был послан на пе-

реговоры с Пугачевым. Однако, встретив на полпути давнишнего приятеля (встреча сия, само собой, была заранее подстроена), он не устоял перед искушениями пьянства, бильярда, карт и разврата, вследствие чего оказался за решеткой в доме Кулибина. Все свои права он практически без принуждения, можно сказать, по доброй воле делегировал Баркову, о чем впоследствии никогда не сожалел.

Известна целая серия анекдотов (вполне вероятно, придуманных самим Ржевским) о его бесконечных состязаниях с Барковым по части всяческих похабных каверз, но об этой — пусть и полулегендарной — стороне деятельности двух российских пиитов благоразумней будет умолчать.

Жизнь свою Ржевский закончил вполне добропорядочным сенатором и академиком (в отличие от Баркова, последние годы которого теряются во мраке) и в грехе сочинительства уличен больше не был.

— Отдохни чуток, — сказал Барков Кулибину. — А мне еще поработать надо.

— Небось фальшивые ассигнации печатать будешь?

— Тебе что за дело, старый хрыч? С тобой ведь полновесным серебром расплачиваются.

— Деньги подделывать не меньший грех, чем людей развращать.

— Иди Ньютона своего поучи. А еще лучше поспи.

— Какой там сон, — тяжко вздохнул великий механик. — Буду тебя потихоньку в дорогу собирать.

— Патронов-то хоть много изготовил?

— Тыщи три. На час хорошего боя хватит.

— Мало. Делай еще. Я потом за ними человека пришлю.

— Того, что в конюшне почивает?

— А хотя бы и его. Что — не понравился?

— Мне с ним не детей крестить. Как бы шпионом не оказался.

— Вряд ли. Мы случайно познакомились.

— Христос с Иудой тоже случайно встретился. Последствия известные.

— Не каркай, архимед нижегородский.

Уединившись в светелке, представлявшей собой нечто среднее между химической лабораторией и печатней, Барков разложил перед собой грамоты, полученные от несчастного Бизяева, уже, наверное, подвергшегося страшной пугачевской опале.

Одни он только слегка подправил, а другие заменил похожи-

ми по виду, но иными по содержанию, для чего пришлось изрядно поработать и пером, и бритвой, и химикатами, и даже горячим утюгом.

В ближайшей церквушке едва успели прозвонить к заутрене, а все уже было готово к отъезду. Сытые кони рыли копытами снег, Крюков с ухарским видом восседал на козлах, Барков с Кулибиным заканчивали загружать в кибитку дорожные сундуки, один из которых вид имел весьма примечательный — ни дать ни взять гроб, предназначенный карлику.

— Крепись, императорский механик, — прощаясь, сказал Барков. — Скоро все возвратится на круги своя. Быть тебе в прежней должности и при прежних интересах. Зря из дома не высовывайся и Ньютона кормить не забывай.

— Желаю всенепременнейшей удачи. — Кулибин от полноты чувств даже прослезился на один глаз. — Не знаю точно твоих планов, но хочу верить, что радеешь во славу России. Так и дальше действуй.

— Действую, — ответил Барков, уже стоя на подножке кибитки. — Так усердно действую, что иной раз задница по шву готова треснуть... Знаю, что стихи ты почитаешь пустым баловством, но не могу не подарить напоследок сей куплет:

Пусть рожа у тебя крива,
Пусть пальцем жопу подтираешь,
А только в дерзости ума
Ты равного себе не знаешь.

По случаю раннего часа казачий сотник, распоряжавшийся на заставе, запиравшей Санкт-Петербургскую дорогу, был трезв, что, впрочем, ничуть не умаляло другой его недостаток — неграмотность.

— Не велено никого за город выпускать, — молвил он, поигрывая нагайкой-волкобоем. — Поворачивай оглобли, дворянский прихвостень, а то кровь отворю.

— Лишнее на себя берешь, станичник, — ответил Барков, предъявляя подорожную, где слова «пущать везде» для вящей убедительности были выделены красными чернилами. — Я следую по особому распоряжению самодержавного императора Петра Федоровича Третьего, на что имею соответствующий письменный вид. Можешь меня, конечно, здесь сгубить, с тебя станется, только весть сия непременно до государя дойдет, вон сколько глаз кругом. И уж тогда тебе сам Каин на том свете не позавидует. Кошками твое мясо с костей снимут и псам шелудивым скормят.

— Да тут каждый проезжающий на императорскую волю ссылается. Только мы их всех на небеса отправляем. — Сотник указал нагайкой на придорожную виселицу, хоть и сделанную с запасом, но уже изрядно перегруженную. — Сейчас апостолу Петру жалуются.

— Станичник, я за свои слова отвечаю, — тон Барков имел вкрадчиво-угрожающий. — Петр Федорович на меня важную миссию изволил возложить. Для вас же, недотеп, стараюсь.

— Ты сам когда батюшку видел? — Сотник хитровато прищурился.

— Вчерась, после обедни. В бывшем губернаторском доме.

— Во что он был одет?

— В царский кафтан, золотыми цветами и серебряными травами расшитый.

— В короне, небось, красовался?

— Нет, простоволос был.

— Кто при нем состоял?

— До меня с Афонькой Хлопушей беседовал, а к иным я не приглядывался.

От костра, вокруг которого сгрудились озябшие казаки, донесся сиплый бас:

— Был этот человечишка вчера у батьки. Я его сразу заприметил. Он еще Ерошку-башкирца за что-то отчитал. Гоголем себя держал.

— Ежели так, пускай проезжает. — Сотник неохотно отступил от кибитки. — Батьке нашему, конечно, виднее, да только не туда он концы гнет. С барами дела делать — то же самое, что с шулером в крапленые карты играть — завсегда в дураках останешься. Дергать и жечь их надо, как сорную траву.

— Голова у тебя, станичник, соображает. На вот, выпей за мое здоровье. — Барков одарил сотника ассигнацией, которая сейчас (даже подлинная, а не фальшивая) шла против звонкой монеты в сотую часть цены.

— Выпить я непременно выпью, даже без твоего совета, — ответил казак, с пренебрежением принимая пеструю бумажку. — Да только не за твое здоровье. Дорога впереди такая, что если и случится живым до Петербурга добраться, то уж здоровье непременно подорвешь...

Дабы успешно путешествовать по полям да лесам, где густо рыщут голодные волки, надлежит самому быть по меньшей мере волком (еще лучше — матерым медведем), но уж никак не овцой. На том Барков с Крюковым и порешили.

пришлось повторять с самого начала, причем имя божие упоминалось при этом уже совсем в другом смысле.

Тем временем преследователи, видом своим и повадками весьма напоминавшие легендарную «дикую охоту», приблизились на расстояние, позволявшее детально рассмотреть их лица, одухотворенные предстоящим насилием.

Но, похоже, они радовались зря...

Орудие, название которому еще даже не было придумано (сам Барков, любивший оригинальность, колебался между «пульницей» и «дыробоем»), благополучно заглотило начальный патрон и, подобно сказочному дракону, разразилось сразу огнем, дымом и грохотом.

Первая очередь поразила дорожную грязь, в своем нынешнем агрегатном состоянии успешно заменявшую брусчатку. Вторая ушла в бездонное небо. Зато третья превратила конную лаву в конную свалку, где, конечно, не поздоровилось и всадникам.

Преследователи, жизненный уклад которых соответствовал примерно эпохе позднего неолита, не смогли по достоинству оценить противостоящее им порождение века машин и просвещения, тем более что попутный ветер относил дым и грохот стрельбы прочь. Объехав образовавшуюся на дороге кучу-малу по снежной целине, они возобновили погоню, но очередная порция свинца произвела в их рядах эффект серпа, врезающегося в спелую ячменную ниву.

Уцелевшие всадники, сразу вспомнив, что дома их дожидаются верные жены, малые детушки, неотложные дела и тихая молитва, расторопно повернули назад. Барков их пощадил — не из жалости, а из скаредности, ведь в преддверии грядущих грандиозных потрясений надо было беречь патроны.

Крюков, невозмутимый как всегда, покинул козлы и, обойдя ближайшие окрестности, изловил несколько наиболее пристойных на его вид лошаденок, еще не успевших осознать свое сиротство.

Баркову он сделал одно-единственное замечание:

— Зачем надо было кибитку портить? Теперь до самого Петербурга в холоде поедешь.

— Пусть в холоде, да не в гробу, — парировал певец фривольных забав.

Северная столица, едва освободившаяся от одного деспота и со страхом ожидавшая пришествия другого, куда менее лояльного и просвещенного, в отличие от патриархальной Москвы

просыпалась поздно, чему в немалой степени способствовал гнилой предзимний мрак, державшийся вплоть до десятого часа.

Да, прогадал неистовый Петр Алексеевич. В неудачном месте прорубил свое знаменитое межконтинентальное окно — можно сказать, в чуланчике или, хуже того, в нужнике. Кто знает, не будь трагического Прутского похода, поставившего крест на претензиях Азова-Петрополя принять столичный статус (а ведь хороший был план!), и история России, согретая горячим солнцем, омытая теплым морем, вспоенная соками виноградной лозы, вобравшая в себя горячую кровь южан, пошла бы совсем иным путем — без чухонской убогости, без болотных миазмов, без повальной чахотки, без постоянного страха невесть чего, без императоров с рыбьей кровью и без императриц, обуянных кроме всего прочего еще и нимфоманией, без каменных мешков Петропавловки, без чиновничьего засилья, без начальственного самодурства, без церковного угодничества, без глухого народного молчания, куда более страшного, чем открытый ропот, без декабрьского стояния на промерзшей Сенатской площади, без позора Крымской кампании, без сакраментального «Что делать?», без бомбистов и нигилистов, без студентов-неврастеников, возлюбивших топор, без взбесившихся крейсеров, без красно-бело-серо-буро-малинового террора, без тягостного сомнамбулического сна, на многие века ставшего неким суррогатом жизни.

Так думал Барков, взирая из окна кибитки на петербургские пригороды, которыми они сейчас как раз проезжали.

Переворот не оставил здесь никаких заметных следов, кроме разве что длиннейших очередей, еще с ночи выстроившихся у продуктовых лавок. Имперские двуглавые орлы красовались на прежних местах, чиновники в партикулярных шинелях спешили на службу, а горничные выгуливали господских болонок.

После всех дорожных злоключений (а эпизод с расстрелом мужицкой банды был отнюдь не последним из оных) многострадальная кибитка выглядела так, словно на ней объехали по меньшей мере полсвета, причем не только на лошадях, но еще и на туркестанских верблюдах и северных оленях.

Молодцом смотрелся один только Михайло Крюков. Скинув тулуп, треух и валенки, он красовался в прежнем своем щегольском наряде и даже шляпу с пером вернул на голову. Такому бравому кучеру мог бы позавидовать даже городской голова, он же по совместительству временный правитель новой России (вернее, четырех-пяти ее северо-западных губерний) Александр Николаевич Радищев, на встречу с которым и направлялся сейчас Барков.

Едва кибитка преодолела строго охраняемый мост через Обводной канал (двигаться можно было только по узкому проходу между рядами рогаток) и оказалась на Московском проспекте, Крюков покинул козлы и сообщил Баркову о том, что слагает с себя почетные, но весьма обременительные кучерские обязанности.

— Спасибо за компанию. Век бы тебя катал, да суетность характера не позволяет, — сказал он, пытаясь собственной слюной удалить с плаща подозрительные бурые пятна. — Здесь, видно, и расстанемся. Кибитку за рубль продашь, а за гривенник наймешь лихача в любой конец города.

— Дальше-то что собираешься делать? — Вопрос этот был задан Барковым отнюдь не из вежливости, а уж тем более не из праздного любопытства.

— Жизнь покажет... Сначала присмотреться надо. Да и разгульные заведения я что-то давно не посещал. Душа требует.

— Может, тебе денег дать?

— Премного благодарен. Только брать в долг против моих правил.

— Я не в долг, а насовсем.

— Тем более.

— Прости за праздный вопрос... Кому ты сочувствуешь — императрице или ее ниспровергателям?

— Сочувствую я только самому себе. И то не каждый день... А ты, как я посмотрю, собираешься поучаствовать в здешних интрижках?

— Исключительно из благих намерений.

— Ну-ну... Куда благие намерения иной раз заводят, ты, надеюсь, знаешь.

— Присоединяйся ко мне, — предложил Барков безо всяких околичностей. — Вдвоем мы тут все по надлежащим местам расставим.

— Уволь. Я, бывает, сапоги свои с вечера так расставлю, что утром отыскать не могу. Не гожусь ни в Бруты, ни в Кромвели... Но если тебе вдруг станет совсем туго, справиться обо мне можно в греческой кофейне на Миллионной. Спросишь любого буфетчика.

— А если я тебе понадоблюсь... — начал было Барков, собиравшийся ответить любезностью на любезность.

— Не понадобишься, — отрезал Крюков. — Зря ты в это дерьмо лезешь. Кропал бы лучше стишки... С орудием своим не очень балуйся. А то отымут. Еще лучше — утопи его в Неве...

— Вот мои полномочия, — сказал Барков дежурному офицеру, вызванному по такому случаю из кордегардии Зимнего дворца. — Имею поручение от императора Петра Третьего. Дело неотложное.

— Скажи на милость! — Офицер принял верительные грамоты Баркова с таким видом, словно это была подсохшая коровья лепешка. — Какие, интересно, дела могут быть у вора к честным людям? Никак ему в Москве скучно стало? Али уже всю кровушку из горожан выпил? Добавки требует, вурдалак?

— Сударь, извольте выражаться пристойно, — сухо произнес Барков. — Кем бы по вашему мнению ни являлось лицо, уполномочившее меня вести переговоры, под его началом находится стотысячное войско, прекрасно зарекомендовавшее себя в последней кампании. Не исключено, что через пару недель оно уже войдет в Петербург. Дабы избегнуть сего, я и прибыл сюда. Доложите обо мне по команде лично господину Радищеву.

— Экий ты, братец, быстрый. — Улыбка офицера напоминала волчий оскал. — Чай не к станичному атаману прибыл, а к правителю России. От меня до Радищева, как до неба. В свите императрицы не более полусотни чинов состояло, а у него, почитай, целый батальон. И все, как правило, бывшие аптекари да недоучившиеся студенты. В государственных делах туго соображают. Пока еще твои бумаги все инстанции пройдут. Приходи завтра. А еще лучше — адресок оставь. С посыльным ответ получишь.

— Вы что-то не поняли, сударь... — Барков старался говорить и держаться с высокомерием, подобающим официальной персоне.

— Все я понял! — рявкнул офицер. — Прочь отсюда, харя бандитская! А то штык в пузо всажу! Совсем обнаглели, хамы!

В это время у шлагбаума, через который и происходила сия отнюдь не дипломатическая беседа, остановилась лакированная коляска на летнем ходу, запряженная четверкой рысаков.

— Что случилось? — приоткрыв дверцу, поинтересовался господин с лицом надменным и бледным, как у вельможи, но одетый скромно, на манер судебного пристава или письмоводителя. — Почему вы кричите, гражданин капитан? Былое время не можете забыть? Кто позволил повышать голос на просителя?

— Осмелюсь доложить... — судя по гримасе, исказившей лицо офицера, следующими его словами было бы что-то вроде: «...Я на тебя клал с Петропавловского шпиля, гражданин застранец!»

— Отставить! — вновь прибывший решительно пресек этот еще не высказанный, но легко угадываемый крик души. — Вижу, что вашей вины здесь быть не может. Это Барков опять безобразничает. Ты, Иван Семенович, наверное, дворец с кабаком спутал?

— Про кабак, Николай Иванович, лучше помолчи, — степенно ответил Барков. — А то я припомню пару случаев, когда тебя самого из этого самого заведения за волосы вытаскивали... Но сейчас речь об ином. Я прибыл сюда с полномочиями от Пугачева.

— Вот те раз! Мы же для этой надобности в Москву Алексея Ржевского посылали, твоего давнего знакомца по журналу «Полезное увеселение». Разве он не доехал?

— Доехал, не беспокойся. Но временно взят Пугачевым под стражу, дабы вам неповадно было из меня шомполами пыль выколачивать.

— Телесные наказания отменены согласно правительственному декрету за номером один. Посему за свою шкуру можешь не беспокоиться, — пояснил человек, носивший фамилию Новиков (с ударением на последнем «о»).

Прежде по роду занятий он был причастен к литературе, а ныне входил в число наиболее влиятельных политиков Петербурга.

— Что за лексикон? — поморщился Барков, весьма ревниво относящийся к чужим непристойностям. — А еще в университете учился... Шкура у барана, запомни. Я же в церковной книге записан как одушевленное создание.

— Прости, если обидел. Мы теперь стараемся говорить запросто, без прежних церемоний...

— Отмененных согласно правительственному декрету за номером два, — закончил Барков.

— Не стоит язвить. Декрет номер два отменил сословия, звания, чины, титулы и прочую мишуру, недостойную свободного человека. Кем ты был прежде? Мещанином Ванькой Барковым, приписанным к податному сословию. А теперь полноправный гражданин новой России.

— Но опять же податный.

— Что поделаешь! — Новиков скорбно поджал и без того тонкие губы. — Таковы непременные условия существования любого государства. Власть, налоги, декреты... Мы не вправе отменить их, даже если бы и хотели.

— Не убивайся так, Николай Иванович. — Приблизившись к

коляске, Барков с покровительственным видом похлопал собеседника по плечу. — Недолго тебе эту рутину терпеть осталось. Вот явится сюда славный атаман Емелька Пугач и всю государственную казуистику единым духом отменит... Кроме, конечно, телесных наказаний, к коим испытывает неодолимую тягу.

— Тише, прошу тебя. — Новиков болезненно скривился. — К чему сеять возмутительные слухи. И так живем, словно на вулкане. Садись в коляску, я доставлю тебя куда следует.

— Мне куда следует не надо. Мне надо к Радищеву.

— Будет тебе Радищев, будет... — Новиков почему-то погрозил караульным, мрачно взиравшим на них из-под низко надвинутых киверов. — Садись скорее ко мне.

— Уступаю твоим настоятельным просьбам, Николай Иванович. Хотя хотелось бы знать, кем ты станешь для меня в этом путешествии — Вергилием или Хароном?

— Верным Санчо Пансой, — молвил Новиков, достаточно подкованный в гуманитарных науках и даже переводивший некогда отрывки из Сервантеса.

Едва карета тронулась, как ее хозяин задернул шторки, и Барков мог теперь ориентироваться только по изменчивым городским шумам, доносившимся снаружи. На проспектах щелкали кнуты, звонко цокали лошадиные копыта и кучера орали свое неизменное «Поди, поди!». На набережных явственно слышалось грозное ворчание Невы, меряющейся силами с нагоняемой из моря штормовой волной. Преодоление мостов всякий раз было сопряжено с процедурой снятия рогаток и поднятия шлагбаумов.

Судя по этим приметам, Баркова везли куда-то за город, скорее всего в Царское Село. Что могло быть причиной подобной секретности, он — хоть убей — не понимал. Но радовало хотя бы то, что его не обыскали на предмет обнаружения оружия и не заковали в кандалы.

— Где ты пропадал столько лет? — спросил Новиков, когда коляска миновала очередную заставу, о чем возвещал барабанный бой и совершенно идиотские строевые команды вроде: «Граждане солдаты, извольте взять на кар-ра-ул!»

— Изучал жизнь во всех ее, так сказать, проявлениях. Преподавал латинский язык башкирам, слагал мадригалы казачкам, учил бурлаков светским манерам. Набирался новых впечатлений, размышлял над природой вещей, искал свое место в этом мире.

— Нашел?

— Увы. Натура моя такова, что я обречен на вечные поиски.

— Человек, одаренный такими свойствами, должен непременно состоять в братстве свободных каменщиков, чья основная цель — духовное самоусовершенствование и переустройство мира на принципах рационализма.

— Я бы рад, — ответил Барков. — Да с детства питаю предубеждение к циркулю и угольнику. Чарка и дудка — это мне больше по сердцу.

— Надеюсь, со временем мы вернемся к этой теме. — Новиков был явно разочарован. — И помни, что дверь ложи «Латона», в коей я имею честь состоять Великим Магистром, для тебя всегда открыта.

— И на том спасибо. Прежде-то вы меня не очень привечали. Не по нраву были мои семинаристские замашки, а особенно низкое происхождение.

— Почему же! — горячо возразил Новиков. — Ты мне, наоборот, всегда нравился. Из самой что ни на есть сарыни[1] поднялся до высот классического искусства... Я про тебя даже хвалебную статейку в «Словаре русских писателей» пропечатал.

— Читал. Наврал ты там, конечно, с три короба. Особенно про мою безвременную кончину. А вот относительно веселого и беспечного нрава в самую точку угодил. И поэтический слог, чистый и приятный, вполне уместно отметил. Даже цензор тайной экспедиции лучше не сказал бы.

— Тщился всех вас в веках прославить. — От похвалы бледная физиономия Новикова слегка порозовела.

— Сие зря... Очень сомневаюсь, что всех этих разлюбезных тебе Афониных, Башиловых и Веревкиных хотя бы лет через десять вспомнят. В истории русской словесности, кроме меня да Сумарокова, останется разве что Фонвизин. Только не Пашка, которого ты так хвалишь, а старший — Денис.

— Постой, а как же Ломоносов? — Новиков, увлекшийся литературной полемикой, утратил всю свою былую спесь. — Человек просвещенный и ума недюжинного. Слог его хоть и неискусен, зато тверд. Изображения сильны и свободны. Лично я ставлю его в ряд лучших наших стихотворцев.

— Сплюнь, — посоветовал Барков. — Ломоносов, царство ему небесное, был человек во всех отношениях достойный, но пиит никакой. Он гармонию слов не ощущал. В детстве, навер-

---

[1] Сарынь — толпа черни.

ное, отморозил себе в Холмогорах соответствующий орган. Рифмы употреблял такие, что плакать хочется. Слова сознательно коверкал, чтобы ритмику сохранить. Поэзия должна звенеть, словно меч или лира, а у него она гундосила да сипела. Не своим делом человек занимался. Пусть бы и дальше трактаты о размножении русского народонаселения пописывал. А еще лучше — на деле бы этот славный народ приумножил. Не щадя, так сказать, чресел своих. Как племенной производитель Михайло Васильевич заслуживал всяческих похвал. Особенно в зрелом возрасте. Заявляю это с полной ответственностью, по праву ближайшего наперсника.

— А не завидуешь ли ты часом Ломоносову? — Новиков лукаво прищурился. — Он как-никак в профессора вышел. До статского советника дослужился. Собственный стеклодувный заводик имел. Крестьянами владел... Ты же, как мне помнится, так и остался переписчиком академической канцелярии. Ни славы, ни капитала не нажил.

— Главное мое преимущество перед Михайлой Васильевичем состоит в том, что я покуда жив. — Для убедительности Барков даже постучал себя кулаком в грудь. — А посему могу рассчитывать на получение незнамо каких чинов и должностей, вплоть до наместника бога на земле или цыганского короля. Да и отсутствие мое в обществе вовсе не означает, что я покидал ниву поэзии. Много вспахано, много засеяно, плоды уже созревают. В самом скором времени их сможет вкусить и местная публика, понимающая толк в изящной словесности. Собираюсь, например, опубликовать пространную поэму про то, как Геракл поочередно сожительствовал со всеми греческими богинями. Предполагаемое название «Олимпийская страсть»... Так и отметь это в своем журнальчике. Впрочем, как я понимаю, ты издательскую деятельность давно забросил и совсем иные труды сочиняешь?

— Некогда по мелочам размениваться. — Новиков погрустнел. — Народ надо спасать. Держава на волоске висит.

— Сами вы ее на этот волосок, из собственного срамного места выдернутый, и подвесили! Кроты слепые! Глухари самовлюбленные! Видя несомненные ратные успехи самозванца, надо было не императрицу свергать, а повсеместную помощь ей оказывать. Какие могут быть семейные дрязги, если дом полыхает! Как-нибудь потом разобрались бы, после усмирения мятежа.

— Мне странно слышать от тебя такие речи. — Новиков через лорнет уставился на Баркова. — Разве ты не соратник Пугачева?

— Пусть я и служу у него, но на собственное мнение право имею.

— Это уж как водится! Иначе бы ты и Барковым не был. У тебя, бывало, и пятачка на опохмелку не имеется, зато самомнения с избытком. Вследствие чего даже в кандалах сиживал.

— Кандалы на меня надевали за дерзость, а не за самомнение. Причем с ведома Ломоносова. Самому сейчас стыдно вспоминать. Каких только безумств по младости лет не совершишь! Только все это в прошлом. Нынче у нас совсем иные заботы.

— Известно ли тебе, какие планы строит Пугачев на эту зиму? — как бы мимоходом поинтересовался Новиков.

Однако этот вопрос пришелся Баркову не по вкусу. С душком был вопросик, с подковыркой.

— Ты меня куда везешь? — спросил он в упор. — К Радищеву?

— Куда же еще!

— Вот там обо всем и поговорим. Зачем одни и те же портки два раза кряду полоскать?

— Как угодно... — Новиков надулся и до самого конца пути словом не обмолвился.

Карета остановилась в укромном месте, посреди английского парка, слегка запорошенного снегом, которого здесь, вблизи от моря, было не в пример меньше, чем в российской глубинке.

Новиков ни слова не говоря куда-то удалился, лошадей взяли под уздцы солдаты, в форме и нашивках которых Барков не сумел разобраться, а его самого проводили в нетопленый павильон, состоявший, казалось, из одних только высоких — от потолка до пола — венецианских окон.

В павильоне был накрыт стол, где среди скромных, прямотаки постнических закусок красовалось несколько объемистых графинов с горячительными напитками. Вот только чарки почему-то отсутствовали. Вилки, кстати, тоже.

— Эй, служивый, волоки какой-либо сосуд для хмельного зелья. — Барков обратился к белобрысому солдатику, околачивавшемуся поблизости, однако в ответ удостоился только равнодушно-непонимающего взгляда.

Стоическое терпение Баркова иссякло уже через пять минут, и он произнес гневную тираду, используя при этом интонации и жесты, присущие тогдашним драматическим актерам:

— О, человеческое коварство! Мало того, что меня завезли в неведомо какую дыру и наделили глухонемой прислугой, так еще и жаждой хотят уморить! Нет, не бывать этому! Недаром мой по-

койный батюшка говорил: когда хочу есть, плюю на честь, когда в яйцах свербит, забываю про стыд!

От слов Барков немедленно перешел к делу — наполнил водкой серебряную салатницу, предварительно вышвырнув ее содержимое за дверь. Водка оказалась так себе, не дворцового разлива, но при старом режиме Баркову случалось пивать и не такое.

Повторить, к сожалению, не позволили — на дорожке, ведущей к павильону, заскрипели приближающиеся шаги. Вошли двое — все тот же Новиков, а на шаг впереди него какой-то незнакомый Баркову человек, одетый по-сиротски. Тем не менее в нем безошибочно угадывался правитель свободной России Александр Николаевич Радищев.

В силу некоего загадочного правила все люди, достигшие величия исключительно благодаря собственным усилиям, внешне весьма отличаются от своих среднестатистических сограждан. Либо это могучие красавцы сродни Потемкину и Кромвелю, либо редкие уроды вроде Наполеона и Тимура. Конечно, сей тезис заслуживает более убедительного обоснования, но на это — увы! — просто нет времени.

Радищев, безусловно, относился ко второй категории властителей — серые жидкие волосы, оттопыренные уши, перекошенный рот, несуразное телосложение, тонкая шея, один взгляд на которую почему-то рождал мысль о пеньковом галстуке, дуги бровей, как бы застывшие в немом вопросе. Зато лихорадочный блеск его глаз не оставлял никаких надежд на полюбовное решение какого-либо вопроса.

Короче, это был явный психопат-фанатик с задатками юродивого и кликуши — тип на Руси весьма и весьма распространенный.

Не дожидаясь, как говорится, у моря погоды, Барков расторопно поклонился и молвил смиренным тоном:

— Уж простите меня, неотесанного, за неловкость. Не сведущ я в правилах этикета, принятых ныне в нашей славной столице.

— Пустое! — Радищев предупредительно подхватил его под локоть. — К чему сии раболепные телодвижения? Свободное общество свободных граждан не должно содержать в себе и малой толики унижения, пусть даже условного.

Речь его была ясной, убедительной и довольно витиеватой, но какой-то уж чересчур надрывной. Про таких людей в народе

говорят: у него не душа, а кровоточащая рана. Другое дело, что некоторые эту рану умышленно бередят.

Между тем Радищев продолжал:

— Как мне стало известно от Николая Ивановича, — он указал обеими руками в сторону Новикова, державшегося мрачней мрачного, — вы прибыли сюда с неким поручением от лица, много сделавшего для пользы униженного и оскорбленного народа. Мы с пониманием и сочувствием относимся к той борьбе, которую он ведет с царскими сатрапами. Пребываю в полной уверенности, что нам давно пора объединить усилия, ведущие к благоденствию и процветанию народа.

— Мой покровитель склоняется к той же точке зрения. — Барков едва удержался от подобающего при таких словах поклона. — А сейчас я обязан предъявить грамоты, подтверждающие мои полномочия.

Он попытался всучить Радищеву фальшивки, на создание которых ушло столько трудов, но тот лишь замахал руками, словно балетный танцор, изображающий буйство каких-то стихий.

— Ах, полноте! Ваше честное лицо свидетельствует гораздо убедительней любых бумаг. Их легко подделать, как и всякое творение рук человеческих, а вот печать божия, наложенная на нас свыше, — он гордо вскинул подбородок, — неизменна... Вы верите в искусство физиогномистики?

— Как-то не задумывался о сем предмете. — Барков еле нашелся с ответом. — Мы все больше по псалтырю гадаем да по петушиному крику.

— А зря! У физиогномистики большое будущее. Я на нее во всем полагаюсь... Хотите узнать о себе правду? — Радищев отступил на пару шагов назад и прищурился так, словно собирался созерцать некое произведение искусства, а не заросшую щетиной и уже слегка захмелевшую рожу бывшего поповича.

— Сделайте одолжение... — вынужден был согласиться Барков.

— Вы родились в богатой и знатной семье. С детства познали тлетворное влияние роскоши и праздности, — говоря это, Радищев попеременно склонял голову то в одну, то в другую сторону, чем весьма напоминал змею, зачарованную дудочкой факира. — Однако сумели перебороть сословные предрассудки и целиком посвятили себя служению народу. Испытывая склонность к наукам, скорее прикладным, чем гуманитарным, вы, надо полагать, подвизались по горному ведомству. В привычках своих умеренны, в быту скромны, а плотским утехам предпочитаете духовное

подвижничество. В последнее время частенько подумываете о том, чтобы уйти от мирских соблазнов в какой-либо уединенный скит.

По ходу этого монолога, в котором правды было не больше, чем жемчуга в придорожной канаве, Новиков несколько раз кашлял в кулак и делал Баркову большие глаза. Тот же принимал слова Радищева с видом благостным и просветленным, словно ниспосланное небом откровение.

— По форме скул и надбровных дуг я даже могу угадать ваше имя, — продолжал самозваный физиогномист. — Оно, несомненно, начинается на букву «и».

— Точно так, — подтвердил Барков.

— Вы Илларион! — Радищев на радостях даже в ладоши хлопнул. — Или Ипполит! Нет, все же Илларион.

— Илларион Ипполитович, — тая ухмылку, подтвердил Барков. — А позвольте и мне по вашей физиономии погадать?

— Ну это не всякому дано... — Похоже, ответное предложение не совсем устраивало Радищева.

— У меня получится, голову даю на отсечение! — заверил его Барков. — Сами вы из помещиков, по ушам заметно. Служили одно время пажом при дворе. По воле императрицы отправлены были на обучение в город Лейпциг, после чего служили в штабе финляндской дивизии. Собирались перейти на службу в таможенное ведомство, да помешали известные события. Супругу вашу зовут Анной Васильевной, что ясно видно по морщинкам на челе. А сынишку предположительно Юрием, о чем свидетельствует расположение бородавок на лице. Ну как?

— В общем-то, сии подробности моего бытия широко известны. — Радищев выглядел несколько смущенным. — Они вполне могли дойти до Москвы и даже до низовых губерний.

— В словах ваших есть резон. Оспаривать их бессмысленно. Извольте тогда выслушать иные подробности — малоизвестные. По примеру британца Стерна задумали вы написать книжку, герой которой, путешествуя из одной столицы в другую, лицезрит страдания народные и горько сострадает оным. Каждая главка книги своим названием будет соответствовать почтовой станции, где путешественник соизволил останавливаться на отдых.

— Сие откровение превосходит все человеческие возможности... Да вы просто кудесник, Илларион Ипполитович! — Радищев порывисто шагнул вперед и пожал руку Баркова. — Признаюсь как на духу, подобный замысел я вынашиваю не первый год. Глава под названием «София» уже почти готова. Вот только под-

ходящий эпиграф никак не подберу. А книга без эпиграфа, сами понимаете, что ружье без штыка.

— Вы из Тредиаковского попробуйте взять, — посоветовал Барков. — Помните то место в его «Телемахиде», где земные цари, употреблявшие власть во зло, мучаются в аду? «Чудище обло, озорно, огромно...» — ну и в том же духе далее...

— А ведь в самую точку! — Радищев почти ликовал. — Николай Иванович, ты слышал? Человек из народа угадал мои самые потаенные стремления, да еще и дельный совет дал. Вот вам еще один пример величия души простого россиянина!

— Он, может, и россиянин, да не из простых, — молвил Новиков скучным голосом. — Это же Барков, поповский сын, бывший служащий академической канцелярии, недоучившийся студент. Известен как певец пошлостей и фривольностей. Счастье свое до определенного времени полагал в винопитии, мордобое и распутстве... Я тебе про него как-то рассказывал. И вовсе он не Илларион Ипполитович, а Иван Семенович.

— Как же так... — Радищев вновь прищурился. — Высокие скулы... Надбровья недоразвиты... Глаза, кроме всего прочего, посажены несоразмерно... Илларион, подлинный Илларион! Да ведь он и сам признался.

— Он забавник известный. Вот и признался шутки ради. Таковым уж уродился. Собака лает, ворона каркает, а Барков забавляется. Его дерзкие выходки даже сиятельные персоны терпели.

Подобные выпады Барков стерпеть не мог и дал Новикову соответствующую отповедь:

— Тебя, Николай Иванович, недаром при дворе «всеобщим хулителем» нарекли. Теперь, вишь, и до меня добрался. Между прочим, в забавах моих и ты когда-то деятельное участие принимал. А потому взаимные претензии лучше оставим. Надо будет, я и сам кого хошь в дурном свете могу выставить... Вы же Александр Николаевич, книжку свою пишите, пишите, — это относилось уже к Радищеву. — Она вас в веках прославит.

— Ах, давайте перейдем к делу! — спохватился Радищев, как и все политики, склонный быстро забывать собственные оплошности. — От нашей рассудительности и дальновидности нынче зависит многое... Как изволит поживать Емельян Иванович?

— Хорошо... — Барков не сразу сообразил, что речь идет о Пугачеве. — Что ему станется! В губернаторских палатах живет, на шелках спит, меды пьет, рябчиками закусывает.

С умыслом касаясь гастрономической темы, Барков надеял-

ся, что это заставит хозяев вспомнить о выпивке и закуске, втуне пропадавших на столе. И он в своих чаяньях не ошибся.

— Емельян Иванович, несомненно, заслуживает воздаяния за свои героические труды. — Лицо Радищева обрело скорбное выражение. — Вот пусть и тешит себя простыми человеческими радостями... Мы, к сожалению, не можем себе позволить ничего подобного. Народ наш бедствует и голодает. Сострадая ему, мы также воздерживаемся от пиршеств. Стол сей сервирован исключительно ради того, чтобы через муки телесные пробуждать муки совести. Созерцание недоступных для вкушения яств есть способ подвижничества и покаяния.

Закончив этот бред, Радищев взял с блюда соленый огурец, понюхал его и со вздохом вернул на прежнее место. Барков и Новиков одновременно сглотнули слюну.

Теперь стало понятным отсутствие на столе чарок, вилок и тому подобных снастей. Славное состоялось угощение, жаль, что вприглядку.

Утерев руки, испачканные рассолом, Радищев взмахнул платком — дескать, убирайте, пора и честь знать.

Немедленно явились солдаты, все как на подбор чем-то неуловимо схожие между собой, словно уроженцы одного села, где право первой ночи до сих пор принадлежит какому-нибудь остзейскому барону, чудом уцелевшему со времен императрицы Анны Иоанновны, и принялись аккуратно, хотя и неторопливо убирать нетронутые кушанья и нераспечатанные сосуды. Реплики, которыми они изредка обменивались между собой, к русской лексике не принадлежали.

— Что-то не пойму я, в каком полку эти молодцы служат, — молвил Барков, снедаемый завистью к солдатам, занятым столь несвойственным для них делом. — Обшлаги и лацканы, как у гельсингфорских гренадер, а выкладка на шароварах, как у выборгских саперов.

— Это новый полк. Названия и знамени пока не имеет, — пояснил Радищев. — Рекрутов набирали в Лифляндской и Курляндской губерниях. Идеалы свободного общества им пока ближе, чем коренным россиянам. Да и смутой не заражены. Незнание местного языка иногда имеет свои преимущества. Сейчас это наши наиболее надежные и боеспособные войска.

— Латышские стрелки завсегда надежностью отличались, — с одобрением молвил Барков. — Надежнее их могут быть только китайцы, да где их нынче взять?

— Мы в корне изменили пренебрежительное отношение к

инородцам, бытовавшее при самодержавии, — сообщил Радищев. — Коли страна наша многонародная, так и управляться должна многонародной властью, не так ли? Тайную экспедицию вместо палача Шишковского нынче возглавляет славный малый Костюшко, польский шляхтич.

— Так ведь он вроде в Петропавловской крепости сидел? — удивился Барков. — За государственные преступления.

— Выпустили ради такого случая.

— Похвальный почин. Таким образом, железный Феликс... тьфу, железный Тадеуш у вас уже имеется. Про горячее сердце, холодную голову и чистые руки он еще ничего не говорил?

— Не слышно было.

— Значит, еще скажет. Как передавит своими чистыми руками всех недовольных в Петербурге, так и разговорится. А потом беспризорными тварями займется. Сначала кошек и собак с улиц приберет, впоследствии людишек. Мания у этой шляхты, видно, такая... Да что мы о вещах второстепенных рассуждаем! Пора бы уже и главными заняться.

— И в самом деле пора! — согласился Радищев. — Какие вести шлет нам разлюбезный Емельян Иванович?

— Разлюбезный Емельян Иванович перво-наперво шлет вам привет, — попав, так сказать, в официальную струю, Барков заговорил совсем другим тоном: — И попутно предъявляет свои кондиции[1].

— По какому праву? — насторожился Радищев.

— По праву самодержца единой и неделимой России. — Барков картинно перекрестился и отвесил земной поклон в ту сторону, где по его представлению должна была находиться Москва.

— Разве он короновался?

— Он короновался без малого полтора десятилетия назад под именем Петра Третьего Алексеевича. Все сомневающиеся в этом факте считаются врагами отечества. К прежним его титлам, званиям и величаниям следует теперь добавлять — «Царь мужицкий, хан башкирский, калмыцкий и татарский, атаман донской, яицкий, оренбургский, кубанский и прочая, и прочая, и прочая».

— Вот оно как... — На лице Радищева появилось выражение, свойственное человеку, который из сладострастных побуждений расчесывает язвы на своем теле. — Этого и следовало ожидать...

— Все учреждения и отдельные лица, незаконно присвоив-

---

[1] Кондиции — условия, требования.

шие властные полномочия, упраздняются, а изданные ими законы, указы, декреты и манифесты отменяются. — Барков вещал без единой запинки, поскольку являлся истинным автором этого провокационного послания. — Все сословия, кроме дворянства, посмевшего поднять руку на своего законного императора, а посему объявленного вне закона, возвращаются в первобытное состояние. Имущество дворян, как движимое, так и недвижимое, обращается в пользу государства, которое в настоящее время представляет Войсковой казачий круг. Без проволочек и не дожидаясь дополнительных распоряжений, учиняется суд над императрицей и ее прихвостнями. По причине отсутствия нового судебного уложения суд следует вершить по совести и понятиям. Приговоры приводить в исполнение незамедлительно, привлекая к сему всех желающих, пострадавших от прежней власти. Судьи, уличенные в излишней терпимости, переходят в разряд подсудимых. Всем войскам, не подчиненным Военной коллегии императора Петра Третьего, надлежит незамедлительно разоружиться и оставаться в своих казармах вплоть до особого распоряжения. Самозванцы, без всякого на то основания объявившие себя правительством новой России, преследуются наравне с дворянством, отлучаются от церкви и лишаются всех прав состояния. Жилища их обрекаются потоку и разграблению... Вот вкратце и все. Более пространное изложение кондиций императора всероссийского Петра Третьего, всяческие приложения к ним, а также поименные списки объявленных в розыск врагов государства, где вы, господа хорошие, числитесь в первом десятке, представлены в этом документе.

Видя, что никто из присутствующих не тянет к грамоте руки, Барков свернул ее в трубку и сунул в первую попавшуюся вазу.

— Это война, — внятно сказал Новиков.

— Это божья кара. — Радищев возвел к потолку свои полубезумные глаза. — Мы ее заслужили и должны принять без малейшего ропота. Пришла пора расплаты за грабеж и унижения, которым наши деды и прадеды подвергали простой народ на протяжении стольких веков. Пиявка, ненасытно кровь сосавшая, когда-нибудь да лопнет! Каждый из нас есть преступник уже по рождению, поскольку вскормлен и выпестован за счет несчастных соотечественников, лишенных гражданского звания и для закона почти что равных тягловому скоту. Грехи наши не простит даже всемилостивейший господь!

— Опомнись, Александр Николаевич! — воскликнул Новиков. — Ты ведь, кроме всего прочего, еще и верховный главноко-

мандующий. Нужно готовиться к отпору. Нельзя отдавать Петербург на разграбление дикарям. Мало тебе бесчинств, учиненных казаками и башкирами в Москве? Не хочешь о себе беспокоиться, так побеспокойся о других. Подумай о женщинах и детях. Они требуют твоего заступничества!

— Заступничества? — Радищев повел на него стеклянным взором. — От кого? От праведного гнева братьев наших, ведомых ангелами возмездия? Не о сопротивлении должны мы думать, а, напротив, о смирении. Я первым лягу при дороге, поставив подле себя плаху с топором, и пусть любой прохожий лишит меня жизни! Пусть жилища наши подвергнутся разграблению! Пусть жены и дщери станут добычей насильников! Пусть на месте этого богом проклятого города останется пепелище! Пусть плуг победителя проведет борозду по Марсовому полю! Пусть вылетит в трубу весь присный мир, лишь бы сии бедствия оказались достойной платой за грядущее примирение всех граждан родного отечества!

Продолжая стенать подобным образом, Радищев повернулся и, не попрощавшись, покинул павильон.

— Юродивый! — бросил ему в спину Новиков. — Олух припадочный!

— Я бы сказал иначе, — мягко возразил Барков. — Несчастный человек. Тронулся умом по причине обостренного сердоболия.

— Помолчал бы лучше! — Новиков глянул на него зверем, правда, не львом, а скорее шавкой. — Не будь ты защищен статусом посла, так болтался бы сейчас на ближайшей осине, благо их тут предостаточно.

— Понимаю твои чувства, Николай Иванович. И в чем-то даже разделяю. Но и тебе придется понять меня, — произнес Барков с нажимом, а затем добавил фразу, для постороннего уха совершенно бессмысленную: — Труп истлел.

— Чей труп? — переспросил Новиков деревянным голосом.

— Сына вдовы.

— Тем не менее храм будет возведен, — молвил Новиков, а затем еле слышно прошептал: — Ни слова больше, нас могут подслушивать.

Барков в ответ понимающе кивнул и пальцем написал на запотевшем оконном стекле целый ряд значков — квадратов, углов, стрел, крестов.

Это была масонская тайнопись, известная лишь немногим избранным, а прозвучавшие чуть раньше загадочные слова об

истлевшем трупе, сыне вдовы и каком-то храме являлись древним паролем, которым разрешалось пользоваться только членам ложи, имевшим степень посвящения от Магистра и выше.

Новиков вошел в комнату, отведенную для Баркова, ровно в полночь, как того и требовало оставленное на стекле послание.

Таиться друг от друга теперь не имело никакого смысла — опытные масоны распознавали своих братьев столь же безошибочно, как урка урку или рыбак рыбака, — но ради порядка полагалось обменяться соответствующими приветствиями.

— Иахин, — сказал Барков (так назывался правый столб в притворе Иерусалимского храма).

— Воаз, — ответил Новиков (так, ясное дело, назывался левый столб).

— Слава Великому архитектору! — это уже было произнесено хором.

Затем речь пошла по существу. Первым делом Барков представился:

— В иерархии Великой Шотландской ложи я имею универсальную степень Рыцаря Кадоша, которому дозволено созерцать Гностического Змея и попирать колонны храма, ибо я несу храм в самом себе. Ты должен понимать, что столь высокое положение в братстве заставляет меня жить и действовать под покровом глубокой тайны. Я вынужден был открыться тебе только в силу чрезвычайных обстоятельств. Несколько лет назад я вошел в доверие к самозванцу, присвоившему себе имя нашего покойного брата Петра Третьего. Все последующее время я только наблюдал и делал выводы, как того требует устав Шотландской ложи. Скажу прямо, действия пугачевцев произвели на меня удручающее впечатление. Исходя из принципов нашего братства, я признаю равенство всех сословий, но не могу потворствовать демону насилия и разрушения, по трагическому стечению обстоятельств вырвавшемуся на волю. Я согласился стать посланником самозванца с единственной целью — побудить петербургское правительство к сопротивлению. Не стану скрывать, я подменил грамоту, составленную Пугачевым. Там был мед лжи, а я дал вам отведать горечь правды. Самозванец только заигрывает с вами. Власть, давшуюся ему столь дорогой ценой, он никому не уступит. Дикого зверя не остановить увещеваниями, а тем более смирением. Его нужно встречать в штыки... Отправляясь сюда, я надеялся, что человек, принявший на себя ответственность за судьбу России, обладает качествами, достойными этой роли. Увы,

меня ждало разочарование. Вместо политика, способного и на твердость, и на изворотливость, я встретил законченного неврастеника, поверившего в лукавую сказочку о справедливой народной войне... Место Радищева не у руля государства, а на паперти, среди блаженных. Теперь вся надежда на тебя, брат Магистр. Ты должен организовать отпор разбойникам, которые не сегодня-завтра объявятся на подступах к Петербургу. Какими средствами ты это достигнешь — уже не мое дело. Но некоторые советы я тебе все же обязан дать. Пугачев уверен в легкой победе, и это должно сыграть вам на руку. Сделайте вид, что готовы к капитуляции, а потом нанесите внезапный удар. У мятежников почти нет пехоты и мало артиллерии, а казачья и башкирская кавалерия не имеет понятия о тактике современного боя. Встречайте их полевыми укреплениями, рвами, рогатками, волчьими ямами, картечью. Верните в строй опытных офицеров старой армии. Заставьте обывателей копать окопы. Спустите по Волхову плашкоуты с пушками. Призовите, в конце концов, на помощь шведов. Посулите им за это какой-нибудь кусок территории, хотя бы ту же самую Эстляндию. Впоследствии заберете обратно... Впрочем, не мне тебя учить, старого вояку. Где пришлось служить?

— В Семеновском полку, — доложил Новиков.

— Это хорошо. Старые связи пригодятся... Ну, благословляю тебя! Помни, что в твоих руках находится спасение отчизны. Действуй решительно, а если надо, то и жестоко. Потом тебя оправдают — если не история, так историки.

— Брат Рыцарь, оставаясь верховным главнокомандующим, Радищев не позволит выполнить даже малую часть твоих указаний.

— Тогда Радищева придется убрать. Ничего не поделаешь — таковы суровые законы большой политики. У него много сторонников?

— Достаточно.

— Все они должны разделить участь вождя. Если дело организовать толково, одной ночи хватит с лихвой.

— Но это будет поистине Варфоломеевская ночь. — Новиков передернул плечами, словно у него вдруг зачесалось между лопатками.

— Не надо пошлых аналогий. Лучше придумать что-то свое, свеженькое... например, Ночь Длинных Ножей. И поторопись, железный Тадеуш не дремлет. Знаю я таких, как он...

— Тадеушем займемся в первую очередь. Слава богу, он ус-

пел нажить себе немало врагов... — похоже было, что голова Новикова уже работает в нужном направлении.

— У меня к тебе будет одна небольшая просьба, брат Магистр.

— Я ни в чем не могу отказать тебе, брат Рыцарь.

— Устрой мне свидание с императрицей.

— Это невозможно... — начал было Новиков, но тут же спохватился. — Когда?

— Да хоть сейчас. Зачем терять драгоценное время? Надеюсь, она не в Соловках?

— Нет, но добраться туда все равно будет нелегко.

— Никакие трудности не страшны мне, брат Магистр.

— Тогда через час спускайся в парк. Там тебя будет ожидать преданный мне человек. Можешь во всем полагаться на него, брат Рыцарь.

— С этой минуты я для тебя вновь Иван Барков, срамослов и выпивоха, по недомыслию связавшийся с бунтовщиками. Договорились?

— Да, — не очень уверенно кивнул Новиков, до этого взиравший на Баркова с собачьей преданностью.

— Не знаю, как ты обойдешься с Радищевым, но при случае передай ему пару куплетов моего сочинения:

Когда злосчастная судьба
Тебя оставит с носом,
Не надо слезы проливать,
Не стоит срать поносом.
Забудь про слабости свои,
Сдержи стенания в груди.
Беду встречай лицом к лицу
И взгляд не отводи.

— Узнаю Ивана Баркова! — с облегчением вздохнул Новиков. — Жив курилка...

За последние годы Баркову случалось бывать в разных передрягах, но все как-то больше на суше, а тут вот сподобилось на пару с флегматичным чухонцем плыть по морю на утлом ялике — да еще глухой ночью, в зазимки, при изрядном волнении.

— А как быть, если вдруг перевернемся? — поинтересовался Барков, уже насквозь промокший от брызг, буквально захлестывавших ялик. — Нигде ни огонька. Даже неизвестно, в какую сторону плыть.

— Плыть никуда не надо, — спокойно ответил гребец. — Надо скорей идти на дно. Зачем зря мучиться?

— Спасибо за совет... Скажи, а как ты сам дорогу в море находишь? Без звезд, без компаса, без маяков...

— А как кошка находит дорогу домой?

— То кошка...

— Я рыбак в десятом поколении. Надо будет, в Швецию тебя доставлю.

— На веслах?

— Зачем на веслах... Минуем Котлин, я парус поставлю. Ветер ловить будем.

— Нет, в Швецию мне пока не надо.

Очередная волна перекатилась через ялик, и гребец, фыркнув, как морж, попросил:

— Бери ковш, вычерпывай воду. Если, конечно, жить хочешь.

— Не сказать, что очень сильно хочу. Да дела неотложные подоспели. Надо как-то с ними расплеваться... — Барков пошарил по днищу ялика, где все, что попадалось под руку, было холодное, осклизлое, рождавшее неприятные ассоциации с подводным царством, русалками, водяными и утопленниками.

Ковш в конце концов нашелся, но такой мелкий, что собаку не напоишь.

— Ты часом петь не умеешь? — спросил Барков, вспомнив почему-то былину о первом русском мореходе, безо всякого ущерба для себя частенько посещавшем дно морское.

— Петь в море — плохая привычка. Горло можно простудить.

— Жалко... А вот когда Садко по морю-окияну плавал, так завсегда пел и на гуслях себе подыгрывал. Чем нередко и спасался от всякой нечисти.

— Про Садко я слышал. Давным-давно он сюда из Новгорода наведывался. Обирал всех подряд. Совести не имел. Зато рассказывать небылицы был горазд. Старики наши до сих пор говорят: «Врет, как Садко».

— Интересно... А про Добрыню ваши старики ничего не говорят? Он ведь тоже из Новгорода. Рядышком с вами жил.

— Хорошего не говорят. А брань зачем слушать... Когда назад вернешься, попроси старух спеть тебе про злодея Едрыню Никахайнена, всячески мешавшего богам поддерживать в мире порядок и равновесие. Это и есть ваш Добрыня.

— Не ожидал даже, — огорчился Барков. — Впрочем, вы, чухонцы, все извращаете. Зачем нашу речку Обжору переименова-

ли в Ижору. А Невагу[1] в Неву? Вот подожди, скоро отобьем у шведов всю Финляндию, так и с географией разберемся.

— Зря, — возразил гребец. — Пусть хоть какая-то память о пропавших народах останется. Где она, чудь? Нету. А Чудское озеро есть.

Ялик взлетел на гребень особо крутой волны, наверное, дошедшей сюда аж от берегов Готланда, и где-то далеко впереди мелькнула тусклая искорка — клотиковый фонарь военного бота «Дедал», на котором содержалась под стражей свергнутая императрица.

— А ведь матушка Екатерина малейшей качки терпеть не могла, — посочувствовал Барков. — Ее даже в тарантасе на английских рессорах тошнило.

— Кушала много, потому и тошнило, — буркнул гребец. — Теперь кушает мало, и тошнить ее перестало...

Когда до бота осталось всего ничего, от силы пара кабельтовых, гребец передал весла Баркову, а сам взялся за сигнальный фонарь. Чужаков к плавучей тюрьме если и подпускали, то лишь для того, чтобы в упор расстрелять из пушки.

Вскоре ялик благополучно пришвартовался к борту бота, который то возносился вверх, то проваливался почти до одного уровня с яликом. С палубы бросили веревочный трап и несколько соленых словечек.

Когда проверка полномочий гостя завершилась, на что хватило простого обмена паролями, Барков спросил у вахтенного помощника:

— Небось почивает ваша узница?

— Никак нет, — ответил мичман, закутанный в непромокаемый плащ. — Недавно наши матросы для нее плясали и на ложках били. А сейчас она пунша себе потребовала.

— Не обижаете, значит...

— Не смеем. Какая ни есть, а помазанница божья.

С мостка зло молвил рулевой:

— Хоть и помазанница, а все одно баба. Не видать нам через нее ни удачи, ни родного берега, ни малых детушек.

Как отметил про себя Барков, старательно высматривающий в темноте наиболее удобные пути для абордажной атаки, в его словах был несомненный резон.

— Спускайтесь к ней сами, — сказал мичман. — Только сна-

---

[1] Невага — несчастье.

чала постучитесь. А то матушка сильно швыряется, если не в духе.

— Чем швыряется?

— Да чем ни попадя! Кружками, подсвечниками, туфлями, чернильницей. Вчерась в меня своей собачонкой запустила. Характер тот еще. Не венценосная особа, а прямо чумичка какая-то.

В каюту вел крутой трап, на восьми ступеньках которого Барков споткнулся раз десять — очень уж качало бот, причем не только с носа на корму, но и с борта на борт. Можно было представить себе, каких моральных и физических сил стоит матушке-императрице каждый поход в гальюн, по морской традиции расположенный чуть ли не над самым форштевнем корабля.

Потирая свеженабитые шишки, Барков деликатно постучался в узкую палисандровую дверь, из-под которой пробивалась узкая полоска света.

— Кто там опять? — весьма недружелюбно осведомилась узница, немецкий акцент которой с годами не пропал, а, наоборот, даже усилился, став каким-то утрированным, почти нарочитым.

— Гости к вам, Екатерина Алексеевна. Из Санкт-Петербурга по срочному делу, — вежливо доложил Барков.

— С петлей или с кинжалом? — похоже, что присутствия духа императрица отнюдь не утратила.

— С добрыми вестями.

— Мор на моих супостатов напал? Али они друг дружке глотки перегрызли?

— Не совсем так. Но вы, смею надеяться, разочарованы не будете.

— Входи, ежели не врешь. Я нынче не запираюсь. Меня не то что короны, а даже крючка дверного лишили.

В каюте, имевшей одно крохотное оконце, горел масляный фонарь, забранный в решетку. Екатерина, укрывшись шалью, полулежала на диванчике, коротком и узком, как и все здесь.

А ведь прежде она на этот кургузый диванчик и присесть не смогла бы. Бывали случаи, когда при посещении древних монастырей для императрицы проламывали в стене особый вход. Знать, заключение хоть в чем-то пошло ей на пользу — пуда полтора из привычных восьми пропало.

На полу лежала внушительная груда книг, переплетенных в красный сафьян, — энциклопедия Дени Дидро, преподнесенная императрице самим автором. У изголовья стояла трость, размерами весьма напоминавшая петровскую — ту самую, которой великий реформатор лечил своих нерадивых питомцев от корысто-

любия, самодурства, пьянства и прочих хворей, так свойственных российской администрации.

— Кто же ты такой, сударь, будешь? — Екатерина приставила к глазам лорнетку. — Вроде бы мне твоя особа не знакома.

— Не имел чести быть представлен вам прежде, — как всякому воспитанному кавалеру, Баркову полагалось стоять перед венценосной особой навытяжку, но, пытаясь сохранить равновесие, он все время выделывал ногами какие-то замысловатые коленца, отдаленно напоминавшие гопак. — Зовут меня Иван Семенович Барков. Происхожу из духовного звания. Некоторое время подвизался в академической канцелярии.

— Ладно уж, присядь, — сжалилась Екатерина. — Не тот ли ты Барков, который срамные вирши сочинял? Они еще потом по рукам среди праздной публики ходили и даже в девичьи спаленки попадали.

— Отрекаться не смею. Хотя не все, что приписывается мне молвой, является таковым на самом деле.

— Хотела я тебя за покушение на общественную нравственность в крепость заточить, да ты куда-то пропал. Сказывали, что помер от водки.

— Я, матушка, по свету странствовал.

— На чей счет?

— Пииту в просвещенных государствах все двери открыты. А мне ведь много не надо. Кусок калача да стакан винца.

— Кому теперь служишь?

— Высшей справедливости.

— И как же ты сию высшую справедливость изволишь понимать?

— Про то вам месье Дидро куда более доходчиво поведает. — Барков кивнул на сафьяновые тома.

— Ко мне зачем пожаловал? — Екатерина вновь прибегла к услугам лорнетки. — Добрых людей сюда не принято допускать.

— Скажу прямо, что свидания с вами я добился обманным путем, выдав себя за другую персону. Опять же, придерживаясь сугубой откровенности, сообщаю, что ни в коем разе не являюсь сторонником форм правления, употреблявшихся вами, а тем паче не отношусь к вашим приверженцам. Однако уже уноминавшаяся здесь высшая справедливость требует восстановления прежнего порядка вещей, сиречь самодержавия, достойной представительницей которого вы успели зарекомендовать себя.

— Хитро говоришь, Иван Семенович. Не иначе как академическая муштра сказывается. Затемнять суть вещей — любимое

тамошнее занятие. Посему говори без околичностей — чего от меня хочешь?

— Хочу вернуть вас, матушка, на трон. Короче не скажешь.

— Благодарить наперед не буду. Я не статс-дама, к реверансам не приучена... А не есть ли это очередная уловка недоброжелателей моих? Открыто казнить меня не решаются, а тут вдруг такая оказия подвернулась. Сбежала императрица из-под стражи, да и сгинула неведомо где. Сама, значит, виновата. Бог наказал. И на узурпаторах нынешних царской крови нетути. Складно получается?

Ощущалось, что русскому языку Екатерина обучалась не столько у профессоров изящной словесности Штелина и Бецкого, сколько у простого, как медный пятак, Гришки Орлова, да у любимой своей приживалки Марии Саввишны Перекусихиной.

— Вам не откажешь в прозорливости, матушка, — ответил Барков. — Такое развитие событий вовсе не исключено. Ну, а с другой стороны — на что вам остается надеяться? Кто бы в конечном итоге ни пришел к власти — бунтовщик Пугачев или республиканец Радищев, — ваша участь предрешена. Так уж повелось у нас на Руси, что храм новой власти строится на костях и крови старой. Сами-то вы тоже не мошкой безвинной на трон вспорхнули.

— Стоит ли об этом вспоминать нынче? — Екатерина ожесточила голос. — Хватит и того, что тень моего убиенного супруга реет над Кремлем.

Облаченная в пышный батистовый чепец и ночной капот, Екатерина весьма напоминала иллюстрацию к сказке о Красной Шапочке. Только не ту, где прихворнувшая бабушка дожидается в кроватке внучку, а другую, где коварный волк-людоед уже напялил на себя наряд съеденной старушки.

— Простите великодушно. — Барков приложил руку к груди. — К слову пришлось... Но однажды вы уже рискнули, поставив свою судьбу на весьма сомнительную карту. И выиграли. Рискните еще разок.

— Ты сам-то в картишки балуешься? — поинтересовалась Екатерина, исподлобья глядя на Баркова.

— А чем же еще заниматься в академической канцелярии? Почитай, полдня за вистом проводили. Руку набил.

— Тогда ответь мне как бывалый игрок. Риск два раза подряд удается? Я не про копеечный риск говорю, а когда на банк все твое состояние поставлено.

— Кому как. Есть счастливчики, особо отмеченные форту-

ной. Они и по пять раз подряд банк срывают... Но сейчас, прошу заметить, ход будут делать совсем другие люди. Вы в этой игре всего лишь козырная карта. Так что подножек судьбы можете не опасаться.

— Вот уж ты меня обрадовал, Иван Семенович! Была я самодержицей всероссийской, а стала игральной картой. Хорошо хоть, что не разменной монетой... А кто главный игрок? Не ты ли сам?

— Да пусть хоть и я. Напоминаю, что партия эта будет разыгрываться во имя торжества высшей справедливости. Частные интересы здесь никакого значения не имеют. Когда вы, матушка, вернетесь на трон, меня и в помине не будет.

— И куда же ты денешься?

— Туда, куда позовет меня высшая справедливость.

— Не много ли мнишь о себе, канцелярист академический? — Екатерина презрительно поджала губы.

— Матушка, если нам с вами и не следует чего-то делать, так это пикироваться. Ни ко времени сие да и ни к месту. Высшей справедливости многое позволено. Но известно ей еще больше, — вспомнив о склонности Екатерины к мистике, Барков решил слегка припугнуть ее. — Я, например, могу легко назвать всех ваших побочных детей, заодно увязав их с отцами. Могу напомнить текст записки, хранящейся в вашей сокровенной шкатулке, где один из главных заговорщиков кается в смерти «проклятого урода» Петра Третьего. Или следует назвать дату вашего тайного венчания с Потемкиным?

— Небось мой камердинер Никита Зотов на дыбе разоткровенничался?

— Зотова и словом никто не обидел. Тем более что вашей шкатулки он не касался... Ладно, оставим прошлое. Давайте немного поговорим о будущем. Вам, несомненно, известно пророчество о скорой гибели династии Бурбонов. Оно ходило по рукам при дворе. Так вот, могу подтвердить, что в самом скором времени ваш венценосный брат Людовик и его супруга будут казнены восставшей чернью. И уже через двадцать лет после этого трагического события, в царствование вашего внука Александра, другой французский император, выходец из самого низшего сословия, приведет на нашу землю невиданную рать и даже спалит первопрестольную столицу.

— Стало быть, после меня будет править Александр? — Похоже, что семейные проблемы волновали Екатерину куда больше, чем судьбы державы.

— Не сразу. Вам наследует Павел Петрович.

— А как же... — дабы не проговориться, Екатерина прикрыла ладонью рот.

— Вы хотели сказать: а как же завещание? Его выкрадут ваши приближенные. Но правление Павла Петровича будет недолгим. Он тоже станет жертвой заговорщиков. С молчаливого согласия императорской семьи, кстати сказать.

— Про меня... ты ничего не скажешь?

— Мог бы. Только зачем? Все люди смертны, матушка. Придет и ваш черед. Но случится сия беда еще не скоро.

— А дальше... после Александра? Каково будет его детям и внукам?

— Ну, во-первых, Александру наследует не его сын, а брат. И случится это в момент великой смуты. Дальше больше... Не хочу кривить душой, но судьба почти всех ваших потомков будет трагична. Прервется династия Романовых в пятом колене после вас.

Эти мрачные, но весьма правдоподобные пророчества отбили у Екатерины всякое желание пререкаться. Баба, она и есть баба, даже венчанная на царствование, даже наевшая восемь пудов тугих телес.

Перекрестившись и наскоро прошептав молитву, она спросила:

— Как мне располагать собой дальше?

— В самое ближайшее время вас освободят и доставят в Санкт-Петербург. Там уже все будет готово к перевороту. Используйте свое былое влияние, дабы вдохновить сторонников. В дворянстве я не сомневаюсь, но надо привлечь на свою сторону и простолюдинов, изрядно наголодавшихся при республиканцах. Все правительственные войска будут заняты борьбой с Пугачевым. Об этом я сам позабочусь. Вмешиваться в их конфликт вам не следует. Пусть уничтожают друг друга. Одержав верх в столице, вы потом легко приберете к рукам и все остальные губернии. Только не будьте впоследствии излишне жестоки.

— К заблудшим я проявлю снисходительность, а зачинщиков накажу примерно. Да и как иначе? Помню, Колька Новиков на посту стоял, когда я в Семеновский полк прибыла, дабы на Гатчину его вести. Какими глазами он на меня тогда смотрел! Будто бы ангела небесного узрел! А нынче под арест меня, гаденыш, посадил. Разве такое прощается? Сашка Радищев в пажеском мундирчике по дворцу бегал. Стишки свои мне читал. На-

дежды на него большие возлагались, поелику был в заграничное обучение отправлен. Вот и отплатил злом на добро, иуда!

— Вина Радищева только в том состоит, что сердце его чрезмерно ранимо, — возразил Барков. — Не мог он взирать без слез на несправедливость, повсеместно творившуюся. Даже умом от чужого горя повредился.

— Про какую несправедливость ты здесь, Иван Семенович, упоминаешь? — возмутилась Екатерина. — Я ли о моих подданных не радела, я ли о них денно и нощно не хлопотала, я ли их заботами не жила?

— Матушка, полноте, — поморщился Барков. — Мне пули лить не надо. Я не Дени Дидро. Он хоть и философ-энциклопедист, да подлинной жизни не нюхал. В Европе, возможно, и поверят, что русские крестьяне курятиной объедаются, как вы изволили сообщать. Только я другое видел. Уезды, от голода опустевшие. Детей, солому и кору жующих. Людоедство. Знали бы вы, как башкирцы и калмыки под вашим милосердным правлением стонут. Как людям на каторге носы клещами вырывают. Как чиновники у сирот последнюю скотину в счет подати отбирают. Как за пять лет шестой рекрутский набор проводят. Как ваши верные дворяне крестьянами торгуют, будто бы бессловесной скотиной. Не благами вы одарили подданных, а нищетой и бесправием... Только не подумайте, что я к реформам призываю. Хотя бы малое послабление народу дайте. А бунт пугачевский вы вместе с Сенатом и Военной коллегией просто проспали. Чирей следует лечить своевременно, когда он величиной с просяное зерно. А уж если с кулак вырос, остается у бога спасения просить.

— Не заслужила я на старости лет подобных упреков! Впрочем, а что иное от русского человека ожидать можно? Неблагодарные! Ошиблась я в вас. Даже Григорий Александрович от меня отвернулся.

— Потемкин вам ничем помочь не может. Его по Малороссии казаки гоняют, как волка. Вам совсем на другую персону надобно надеяться.

— На кого же это, позвольте узнать?

— На генерал-поручика Александра Суворова.

— Знаю такого. Да ведь он пока, кроме сумасбродных выходок, ничем не прославился. Польских инсургентов потрепал, да у турок несколько баталий выиграл. Григорий Александрович о нем с сомнением отзывался.

— Потемкин его славе завидует. Непрост, конечно, генерал-

поручик. Весьма непрост. С изрядной придурью. Да и какой истинно русский человек покуражиться не любит? Иноземцу нашей души не понять. Зато по части стратегии он прямо Ганнибал. Да и в армии его боготворят. Далеко пойдет, аж за самые Альпы.

— Сначала пущай бунтовщиков приструнит, — буркнула Екатерина, чью женскую душу разбередили воспоминания о Потемкине.

— На это ему одной стычки будет предостаточно, можете не сомневаться.

— От твоих посулов у меня просто голова кругом идет. Нынче до утра не усну, словно юница восторженная.

— Нет уж, матушка, отсыпайтесь, пока такая возможность имеется. А то потом даже перекреститься времени не будет. Я же, с вашего позволения, откланяюсь... Эх, как подумаю, что опять по морю предстоит плыть, душа в пятки уходит. — Барков встал, цепляясь за все, что было намертво привинчено к стенам.

— Боишься... — усмехнулась Екатерина. — А ведь говорил, что тебя высшая справедливость хранит.

— Не говорил я, матушка, ничего подобного. Высшая справедливость — она вроде волшебного цветка. Существует сама по себе, избранников на подвиг вдохновляет, но в такие мелочи, как человеческая жизнь, не вникает. Богиня, одним словом. Какие у меня, смертной твари, могут быть с ней отношения. Поскользнусь на мокрой палубе — и поминай как звали! Другое дело, что вместо меня сюда явится совсем другой человек и все начинания доведет до конца. Но что это будет за морока...

— Наговорил ты мне, Иван Семенович, всякой чепухи с три короба! — Екатерина замахала на него руками. — К мартенизму вашему и прочим ересям я дурно отношусь. Ступай себе, не смущай душу...

— А ведь и в самом деле пора... Увидеться, матушка, нам больше не суждено. Стало быть, каждый останется при своем интересе. И все же слова мои на досуге вспоминайте. На память вам я свой стишок презентую.

— Не смей! — Императрица снова пришла в беспокойство. — И слушать не хочу твою похабщину.

— Побойтесь бога, матушка! Стишок самый невинный. А главное, верноподданнический. Разъясняет взаимоотношения державы нашей и ее славной правительницы Екатерины Алексеевны, то бишь Софьи Фредерики Августы Ангальт-Цербстской.

— Эва, вспомнил... Ладно, читай, — смилостивилась Екате-

рина. — Только учти, хоть одно неприличное слово ввернешь — я уши заткну.

Тяжко вздыхало холодное море, поскрипывал бот, шумел ветер, хлопали паруса, и на фоне этой унылой какофонии голос Баркова звучал едва ли не соловьиной трелью:

Вопрос лелею я в душе
Не на забаву:
К какому полу отнести
Сию державу?
Что там имеется у ней
В причинном месте —
Дыра бездонная? Сучок?
Иль оба вместе?
Открыться истине дано,
Увы, не сразу,
То, что под носом у тебя,
Не видно глазу.
Страна моя есть кавалер,
А не паненка.
Иначе как святую Русь
Сношала б немка?

На следующий день Барков опять был в Петербурге, наспех подкрепился жидкими щами и отправился на лихаче по тайным квартирам, где проживали его наемные агенты. За последнее время число их заметно поубавилось, и пришлось срочно вербовать новых, благо что при общем росте цен стоимость человеческой жизни заметно упала.

Все агенты, как ветераны, так и неофиты, получили предельно точные инструкции и средства для их исполнения.

По пути Барков заглянул и на Миллионную, но в бывшей греческой кофейне как на грех располагались теперь прислужники железного Тадеуша, пока еще вовсю упивавшегося своею недолгой властью. Хозяина кофейни, по слухам, уличили в связях с балканскими монархистами, призывавшими на престол Потемкина, а все буфетчики состояли в Первом народном полку имени тираноборца Брута. Можно было легко представить себе боеспособность этой воинской части, где капитанами служили трактирщики, а капралами — кухмейстеры.

В гостиницу Барков явился довольно поздно, но его там, оказывается, ждали, что стало ясно из многозначительного покашливания швейцара.

Правительственных ярыжек он не опасался — все бумаги были в порядке, и не только фальшивые, но и подлинные, выправ-

ленные в канцелярии Новикова, — однако на всякий случай взвел курок пистолета, гревшегося за пазухой.

Мельком подметив, что гость выбрал для ожидания весьма удачную позицию — в дальнем углу, под фикусом, рядом с черным ходом, — Барков громко осведомился:

— Кто здесь спрашивал Ивана Семеновича Баркова?

В ответ из-под фикуса раздался знакомый невозмутимый голос:

— Прости, что беспокою тебя. Имеешь для меня пару свободных минуток?

— Легок на помине, брат Михайло, — обрадовался Барков. — Прошу ко мне в номер.

Единственный стул, полагавшийся гостиничному жильцу, Барков уступил Крюкову, а сам поместился на койке, под которой хранилась не только вся его касса, но и смертоубийственное создание лейб-механика Кулибина, по вине которого (создания, а не Кулибина) в комнатке пахло оружейной смазкой и пороховой гарью.

— Позволь изложить суть дела, которое привело меня сюда, — сказал Крюков.

— Излагай.

— Так случилось, что родной город встретил меня ничуть не лучше, чем Москва. Посему нуждаюсь в средствах.

— Я тебе их прежде чистосердечно предлагал и нынче не откажу.

— Беда в том, что я поклялся покойной матушке не брать у посторонних людей в долг, а тем паче безвозмездно. Это одно из немногих жизненных правил, пренебречь которыми для меня невозможно.

— Тогда заработай эти деньги. Что тут зря голову ломать!

— Именно такое предложение я и хотел тебе сделать. Да только в камердинеры не гожусь, а кучер из меня, сам знаешь, неважный. Давай лучше в картишки перебросимся.

— Почему бы и нет? — Ситуация уже начала забавлять Баркова. — Только как ты собираешься играть без денег?

— Залог поставлю.

— Дядюшкино поместье в Тамбовской губернии? Али собственную душу?

— А ты душу в залог примешь? — сразу оживился Крюков.

— Принял бы по старой дружбе, да не берусь с лукавым соперничать. Души мы касаться не станем.

— Тогда на мое тело сыграем, — предложил Крюков и, видя недоумение Баркова, пояснил: — Не на все сразу, конечно, а на отдельные члены.

— И как ты прикажешь, к примеру, с твоей рукой поступить, ежели я ее выиграю? Отрубить?

— Распоряжаться ею будешь, как собственной, — ответил Крюков.

— Собственной я в носу ковыряю.

— И моей сможешь ковырять, — молвил Крюков на полном серьезе. — Но лучше ее как-то иначе использовать. Застрелить кого следует. Зарезать. Отколотить на худой конец.

— С руками понятно. А ноги на что могут сгодиться?

— Ноги для посылок.

— Не лучше ли тогда сразу голову выиграть? — поинтересовался Барков. — Она ведь всем заправляет.

— Увы, но основные части моего тела голове подчиняются далеко не всегда, — честно признался Крюков. — Отсюда и все мои несчастья... А голова сама по себе умеет браниться, давать советы, петь песни. Бритву на ней можно испытывать. Согласись, это немало.

— Соглашаюсь. Руки, ногу и голову мы уже обсудили. Тему детородного органа пока опустим, хотя он ничуть не дешевле головы. Какие еще части тела предлагаешь поставить на кон?

— Да что угодно, кроме сердца. — Крюков строго глянул на Баркова. — Сердце мое навечно отдано одной прелестной особе.

— Что же, я согласен. Залог приму. Со своей стороны выставлю... э-э-э... скажем пять тысяч ассигнациями.

— Лучше сто рублей звонкой монетой, — решительно возразил Крюков.

— Как пожелаешь... Судя по всему, в исходе игры ты не сомневаешься?

— Иначе я не пришел бы сюда. Кому охота зря терять ногу, а тем более голову.

— Игра предполагается честная?

— Окстись, Иван Семенович, — искренне возмутился Крюков. — Это ведь карты, а не бильярд. В них без некоторых ухищрений не обойтись.

— Тогда хотелось бы заранее взглянуть на твою колоду.

— Ты меня, похоже, за шулера принимаешь, — нахмурился Крюков. — Носить карты при себе свойственно только людям этой породы.

— Как же нам тогда быть? Не от руки же карты рисовать.

— Вели коридорному, тот мигом расстарается. — Крюков сам подергал витой шнур звонка.

Мигом явился ловкий малый в ситцевой косоворотке до колен и смазных сапогах. По тому, с каким душевным участием было произнесено сакраментальное: «Чего господа желать изволят?» — сразу сделалось ясно, что он готов исполнить любую просьбу постояльцев, тем более что среди ночи все эти просьбы были на диво незамысловаты и однообразны.

— Подай дюжину карточных колод и шампанского, — велел Барков.

— Будет сделано. Тóлько шампанское нынче по четвертному за бутылочку идет, — предупредил коридорный.

— Неси, — небрежно махнул рукой Барков. — Да прихвати еще молоток и горсть гвоздей.

— Гвозди какие требуются — кузнечные или фабричные? — уточнил коридорный. — Я это потому спрашиваю, что фабричные красивше, а кузнечные прочнее.

— Без разницы. Но чтобы не меньше трех дюймов длины.

Дожидаясь заказа, Барков и Крюков развлекались анекдотами, которые в восемнадцатом веке выглядели скорее как краткие поучительные истории, взятые из жизни известных людей.

Рассчитавшись с оборотистым коридорным (молоток обошелся в гривенник, а каждый гвоздь — в грош), Барков распечатал первую попавшуюся колоду и тщательно осмотрел несколько карт, взятых наугад.

— Какого рожна, сударь, ты их так рассматриваешь? — не без ехидства поинтересовался Крюков. — Лучшего товара на этой улице все равно не сыскать. Да и ассигнации твои, надо полагать, сходного происхождения.

— Карты, ясное дело, крапленые, — констатировал Барков. — За дурачка меня держать не надо. Но уж если я заранее согласился играть, то слово свое исполню.

Банк выпало держать Крюкову, к чему, похоже, он был готов.

Перетасовав карты и позволив партнеру снять, Крюков уже приготовился было метать, но тут Барков схватил молоток и несколькими лихими ударами пригвоздил колоду к столешнице.

— Теперь сдавай, — молвил он как ни в чем не бывало.

— Признаться, я с таким способом игры дела прежде не имел, — произнес Крюков с сомнением.

— Правилам это не противоречит, — заверил его Барков. —

А в портовых кабаках Лондона только так и играют. Карты в негодность приходят, зато всякие шулерские штучки исключаются.

— Умственные люди англичане, ничего не скажешь, — усмехнулся Крюков и принялся метать карты, одну за другой срывая их с гвоздя.

Этот проклятый гвоздь (не круглый, фабричный, а квадратный — кузнечный, весьма грубый на вид) разом лишил его всех ожидаемых преимуществ. Мало того что пропала возможность манипулировать картами, ловко срезая или передергивая любую из них, так еще нельзя было прощупать условные знаки, выдавленные на рубашке. Все теперь зависело от воли случая, который хоть и зовется слепым, но в любимчики себе почему-то выбирает людей, меньше всего этого желающих (а таковым был как раз Барков, ничего не терявший при любом исходе игры).

Спустя час, когда шампанское кончилось, пол в номере устилали зверски изорванные карты, а в собственности Крюкова, кроме неотчуждаемого сердца, остались только такие малозначительные органы, как желудок, кишки и мочевой пузырь.

Играть на них Барков категорически отказывался.

— Сам посуди, — убеждал он Крюкова. — Зачем мне твой мочевой пузырь, если я головой владею. Не позволю ей употреблять жидкость, и мочевой пузырь останется не у дел.

Поскольку Крюков, разгоряченный шампанским, продолжал отстаивать свою точку зрения (игра до последнего, то есть вплоть до шкуры и ногтей), Барков шутки ради приказал:

— Велю, чтобы твои легкие, ныне мне принадлежащие, перестали сотрясать воздух!

— Насовсем? — уточнил Крюков. — Или временно?

— Лучше насовсем, — не подумав, брякнул Барков. — Заболтал ты меня сегодня... Эй, человек, еще шампанского!

Крюков послушно умолк, слепил из хлебного мякиша шарик и незаметно для Баркова отправил его себе в рот.

Когда шампанское наконец появилось (по уверениям коридорного — последнее в гостинице) и Барков, склонный к широким жестам, первый бокал предложил в пух и прах проигравшемуся партнеру, тот отрицательно покачал головой, стал вдруг быстро синеть и замертво рухнул со стула.

— Ну и дурак ты, — сказал Барков, когда стало ясно, что смертельная опасность миновала. — Прямо олух царя небесного! Разве так можно? Еще чуть-чуть, и пришлось бы тебя ногами вперед выносить.

— В глотке зачем дырку сделал? — просипел Крюков, трогая обрезок гусиного пера, торчавший из его трахеи.

— А как тебя иначе спасать, если дыхательное горло было закупорено! — Барков указал на хлебный катышек, лежавший на видном месте. — Пришлось проводить операцию трахеотомии, благо, мне это не впервой. Хлебнул я с тобой горя, Михайло!

— Подожди. — Крюков вернулся на стул и выдернул трубочку из горла, после чего его голос стал куда как явственнее. — Надо разобраться... Кто велел моим, то бишь своим, легким остановиться?

— Я, — признался Барков. — Так ведь это же было не всерьез!

— Я привык людям на слово верить. Еще и переспросил потом... Вижу, что команда поступила сугубо существенная. Двусмыслия не допускает. Стал я думать, как дыхание прекратить. Можно, конечно, и по собственной воле, но потом, когда сознание помутится, оно опять восстановится. Повеситься — еще хребтина в шее разорвется, а ведь она уже не моя. Вот и прибег к самому простому способу — залепил дыхало. Зато тебе меня упрекнуть не в чем.

— Ясное дело, ты человек долга. Это я уже понял! — теперь, прежде чем сказать что-либо, Барков взвешивал каждое свое слово. — Посему в знак восхищения и признательности возвращаю тебе весь проигрыш. Руки, ноги, голову и все такое прочее.

— Чужого мне не надо! — решительно запротестовал Крюков. — Подачек не принимаю.

— Ладно, тебя не переспоришь. — Барков задумался, чему весьма мешали пары шампанского, туманившие его сознание. — Тогда послужи мне!

— Приказывай! — Крюков со стула не встал, но плечи расправил и спину выпрямил, словно на плацу.

— В Невской губе, где-то между Лисьим носом и Петергофом, болтается бот, называемый «Дедал». Там содержится под арестом бывшая императрица Екатерина Алексеевна. Тебе надлежит в самое ближайшее время сей бот захватить, а узницу освободить. Задание понятно?

— Самое ближайшее время — это когда? — деловито осведомился Крюков.

— Завтрашняя ночь. В крайнем случае — послезавтрашняя.

— Экипаж велик?

— Человек десять-пятнадцать. При полудюжине пушек.

— Кроме матросов, есть еще кто-нибудь на борту?

— Сам не видел, но думаю, что какая-то охрана из тайных агентов должна иметься.

— Куда потом императрицу девать?

— Спрячешь где-нибудь в предместье. На днях республиканские войска из города уйдут. Бунтовщиков громить. Сразу смута начнется. Гвардия и дворянство восстанут. Вот пусть императрица их и возглавит. Она одна целого кавалерийского полка стоит. С ней до победного конца и останешься.

— Иной конец, стало быть, не предвидится?

— Ни в коем разе! Все заранее рассчитано, а главное — за все заплачено. Между прочим, голод организовать дороже стоит, чем всех городских нахлебников прокормить... Кстати, запасись и ты деньжатами. Со звонкой монетой поаккуратней будь, а ассигнаций бери сколько заблагорассудится.... Амбиции прежние оставь, поскольку деньги ты берешь у меня практически моими руками и для моих нужд.

— Вот дожил! — вздохнул Крюков. — Теперь по собственной воле только малую нужду могу справить. Хоть на том спасибо!

Вновь кибитка мчала Баркова в неведомую даль, вновь из метели возникали верстовые столбы, вновь по почтовых станциях путников встречали не радушные смотрители, а придорожные виселицы, уснащенные всеми сословиями подряд — и бунтовщиками, и монархистами, и республиканцами, и просто безвинной публикой, чем-то не приглянувшейся тому, кто нынче творил в России-матушке суд и расправу.

Дорога Баркова лежала на запад, в губернии, лишь недавно присоединенные к метрополии, а потому сравнительно благополучные. Бунтовщики сюда соваться и не собирались, местное дворянство-шляхетство, совсем недавно крепко проученное, пока выжидало, а крестьянство имело столь смирный нрав, что его даже розгами пороть было любо-дорого.

Эх, обманулась матушка Екатерина! Не донскими казаками надо было яицкую степь заселять, а белорусскими крестьянами.

Не доезжая Бреста, Барков повернул на Кобрин и скоро услышал стук барабана, отбивавшего походный шаг. Просторное снежное поле, одним своим концом упиравшееся в земляной вал, гребень которого защищали старинные бастионы, было превращено в армейский плац. Виселицы присутствовали и здесь, только на них болтались манекены, предназначенные для отработки штыковых ударов.

Длинная дорожка была выстлана деревянными шпалами, от-

стоявшими друг от друга ровно на аршин. Солдаты, в зимнем обмундировании маршировавшие по этой дорожке, старались при каждом шаге попадать точно на шпалу, что пока удавалось далеко не всем.

Да и сами солдаты выглядели несколько странно — сплошь малорослые, неповоротливые, узкоплечие и широкозадые. Ружья им заменяли свежевыструганные палки.

Лишь присмотревшись повнимательнее, Барков понял, что войско, упражнявшееся на плацу, поголовно состоит из баб. Исключение (нельзя сказать, чтобы весьма приятное) составлял только тщедушный и хромой командир, обряженный, как огородное пугало. Его потрепанная треуголка напоминала о приснопамятных временах императрицы Елизаветы Петровны. Шинель со споротым шитьем была наброшена прямо на исподнее. Одна нога помещалась в сапоге, а другая — в мягкой домашней туфле.

Подпрыгивая, крутясь волчком и размахивая руками, словно мусульманский дервиш, он выкрикивал строевые команды, перемежавшиеся весьма оригинальными поучениями:

— Ать-два, ать-два! Выше нос! Задом не вертеть! Ать-два, ать-два! Держать интервалы! Шеренга от шеренги на два шага! Ать-два, ать-два! Слушать барабан! Тянуть ногу! Походный шаг — аршин, и никак не меньше! Ать-два, ать-два! Подобрать пузо! Не болтать сиськами, вы не в кабаке! Ать-два, ать-два!

Потом бабье войско училось разворачиваться на марше в линию и встречать воображаемого противника в штыки.

Офицер как мог вдохновлял храбрых воительниц:

— Налетай скопом! В штыки! Ура! Бей, круши! Коли один раз и сразу сбрасывай врага со штыка! Коли другого, коли третьего! Четвертого бери в полон, коли просится! Грех понапрасну убивать! Атакуй, атакуй! Ура!

Лишь спустя примерно час барабаны умолкли и последовала долгожданная команда:

— Отбой! Ступайте по домам кашу варить. Чтоб завтра на рассвете все опять здесь были!

Бабы толпой убежали в сторону бастионов, и только тогда Барков посмел приблизиться к бравому офицеру, продолжавшему приплясывать на снегу.

— Здравия желаю, Александр Васильевич! — поздоровался гость. — Как ваши старые раны? Не ноют?

— Какое там не ноют! — фальцетом воскликнул генерал-поручик Суворов, хозяин поместья «Кобринский ключ», а также

всех его окрестностей. Аж клыками рвут, как дикие звери. Особенно головушка беспокоит, которую мне турецкий янычар ятаганом задел. Два стакана водки утром натощак выпиваю, а облегчения все равно никакого нет.

— От двух облегчения не будет. Вы три попробуйте, — посоветовал Барков. — Три стакана обязательно помогут. Я только этим от мигрени и спасаюсь.

— Три невозможно. После трех я с шага сбиваюсь. — Суворов подошел поближе и внимательно всмотрелся в собеседника. — Так это ты, Ванька! Не узнал сразу, богатым будешь.

— Я и сейчас, грех жаловаться, не бедствую, — солидно молвил Барков.

— Поцеловал бы я тебя, стервеца, встречи ради, да уж больно у тебя рожа страховидная. Еще приснится потом... То ли дело я! — Суворов принял вызывающую позу, достойную скорее субретки, чем героя. — Ну прямо Аполлон! Нарцисс!

— И верно, — согласился Барков. — Где мне с вами равняться! Вон вы скольких красавиц сразу очаровали. Какие персики да бутончики! Просто устоять невозможно. Одна беда, шаг до аршина не дотягивают и на поворотах заносит.

— Это ты верно подметил, — кивнул Суворов. — Аршин-то мы как-нибудь освоим, а вот относительно поворотов... Уж больно гузно моих чудо-богатырш отягощает.

— Природа-с, — посочувствовал Барков. — Супротив нее не попрешь... А как вам вообще пришло в голову барышень под ружье поставить?

— А что тут такого! Чем баба мужика хуже? Если в штыковом бою и уступит, так в стрельбе добрую фору даст. Руки от пьянства не дрожат, глаза табачищем не замутнены. Чистоплотность опять же не в пример сильному полу. Лишнего не думай, все они исключительно добровольцы. Холостячки к тому же. При поляках здесь увеселительные заведения располагались. Кафешантаны всякие да дома свиданий. Куда певичке или потаскушке деваться? А тут верный кусок хлеба и кое-какое жалованье. Мещанки и крестьянки тоже служат. Последним впоследствии воля обещана. Один батальон уже полностью укомплектован, включая капралов и обер-офицеров... Вот только подходящее название для него никак не придумаю. Окромя похабщины, ничего в голову не приходит. — Суворов снял треуголку и пригладил свои жиденькие полуседые волосенки. — Почитай половину ума мне этот турок ятаганом выбил. Может, ты чего-либо присоветуешь?

— Ничего нет проще. Назови своих чудо-богатырш батальоном смерти.

— Почему смерти? — удивился Суворов.

— Каждый, кто увидит, до смерти обхохочется.

— Все проказничаешь, — надулся Суворов. — Ну-ну...

— Где уж мне с вами в проказах состязаться, Александр Васильевич! Я тем прославился, что однажды поэту Сумарокову в шляпу наложил. Вместо ожидаемой оды, так сказать. А вы, говорят, малую нужду перед фрунтом целой дивизии справляли. Да еще под вражеским обстрелом.

— Того не нужда телесная требовала, а тактическая необходимость, — возразил Суворов. — Я этаким способом направление ветра определял, ибо собирался смоляные бочки перед вражескими позициями зажечь. Дабы дым мешал ихним стрелкам верный прицел брать.

— И зажгли?

— Не посмел. Уж больно ветер переменчив был. А сверх того — порывист. Вполне могло дым на наши плутонги[1] погнать... И тем не менее в той виктории заслуга моего шутильника имеется. — Суворов залихватским жестом подтянул свои подштанники.

— А вдь какой сюжет! — восхитился Барков. — Так и просится на бумагу! Полководец Суворов, по тактической нужде писающий в сторону вражеского войска! Одну минуточку!

Закатив глаза, он некоторое время что-то бормотал, словно зубную боль заговаривал, а потом вдохновенно продекламировал:

Русский чудо-богатырь
Мужал, взирая на пустырь.
Лаптем с детства щи хлебал,
На приличия начхал.
С репы пернет, да и рад —
В Польше сдох конфедерат.
Плюнет, скукою томим, —
Враз татары сдали Крым.
Справит малую нужду —
Флот паши идет ко дну.
А когда приспичит жопе —
Вот забегают в Европе!

Однако ожидаемой похвалы Барков не дождался.

— И ты, горемычный, стишками балуешься, — приуныл Суворов. — Вот и мой племяш Митька Хвостов туда же. Я его и на

---

[1] Плутонг — небольшое военное подразделение, построенное для стрельбы залпами.

должность хорошую пристроил, и с графским титулом помог, а он все одно бумагу марает. Ну прямо болезнь какая-то!

— И в самом деле болезнь, — подтвердил Барков. — Графоманией называется. Весьма прилипчивая зараза... А скажите-ка, Александр Васильевич, без утайки: вы кроме бабьего войска еще какими-либо силами располагаете?

— Есть маленько, — скромно признался Суворов. — Батальонов пять пехоты да пара эскадронов кавалерии. Собрал потехи ради. Чем еще прикажешь на старости лет забавляться? Жаль, артиллерии пока маловато. Но добрые люди обещали дюжину полевых орудий раздобыть... А ты почему спрашиваешь?

— Собираюсь вас на войну позвать.

— С кем? — оживился Суворов.

— Да с кем угодно! Вы ведь, если случай представится, любого противника вдребезги разнесете. Хоть самого Марса.

— Повоевать мне очень даже охота, скрывать не буду. — Суворов в предчувствии новых бранных подвигов стал лихорадочно потирать руки. — Засиделся я здесь. Давно пороха не нюхал, давно смерть в глаза не видел... Давай на австрияков двинем! Зачем они под себя пол-Польши прибрали? Несправедливо! С ходу форсируем Дунай, штуромом возьмем Вену, а императором провозгласим моего приятеля принца Кобурга. Потом соединимся с французами и откроем совместный фронт против всех наших недоброжелателей вкупе — пруссаков, шведов, англичан.

— Полагаю, что французы как-нибудь и без нашей помощи обойдутся. — Барков деликатно перебил вошедшего в раж генерал-поручика. — Нам бы сначала в своем отечестве порядок навести.

— Непременно наведем! Со следующей недели и начнем. Слух есть, что татары Крым себе вернули. Вот мы их оттуда и вышибем. Диспозиция знакомая. Попутно и запорожское казачество искореним. Мало им прежде от русских штыков доставалось! Вконец обнаглели. Даже на здешние края набеги совершают. Летось дойное стадо угнали вместе с моей любимой буренкой. Хохлы проклятые!

— Это все потом, Александр Васильевич. — Барков говорил с Суворовым, как с капризным ребенком. — Сейчас главная забота — смуту подавить.

— И подавим! Кто в главных смутьянах числится? Уж не Потемкин ли? Он в последнее время зазнался чрезвычайно! Сатрапа персидского из себя корчит! Все мои прошения похерил!

— Александр Васильевич, вы совсем запутались! Главный

смутьян — Емелька Пугачев, тот самый, который себя за покойного императора Петра Федоровича выдает. Он Москву взял и на Петербург походом собирается. А в столице иные смутьяны, республиканцами называемые, императрицу свергли. Вот мы их сначала между собой стравим, как злых петухов, а потом из победителя суп сварим.

— И все это пятью батальонами? — с сомнением произнес Суворов, бытовой маразм которого отнюдь не мешал его полководческим талантам. — Вряд ли сие возможно. Это скорее авантюра, чем военная кампания. Проще будет моих солдатушек сразу в могилке схоронить.

— Но ведь прежде вам случалось громить врагов, имевших десятикратное превосходство, — напомнил Барков. — Взять те же Козлуджи. Восемь тысяч гренадер одолели сорокатысячный турецкий корпус.

— Под Козлуджами я имел достаточную артиллерию, — ответил Суворов.

— Будет вам нечто и получше артиллерии. Это я клятвенно обещаю. Недавно лейб-механик Кулибин презентовал мне свое новое изобретение. Презабавнейшая штука! Размером чуть побольше мушкета, а одним залпом сотню человек способна свалить... Да и насчет подмоги можете не сомневаться. Едва только слух пройдет, что генерал Суворов в поход на супостатов выступил, так сразу волонтеры объявятся. Со всех концов России сюда кинутся. Имя ваше в армии многое значит.

— Да уж побольше, чем любое другое, — самодовольно кивнул Суворов. — Однако очертя голову в поход не следует бросаться. Сначала надо стратегию разработать, военный совет провести, молебен отслужить, провиант запасти.

— Давайте на сей раз без стратегии обойдемся! — взмолился Барков. — Военный совет в Минске проведем, молебен в Смоленске отслужим, а провиант по пути будем брать. Уж больно дело спешное! Нельзя долго примериваться. Как говорит Наполеон Бонапарт: главное ввязаться, а там посмотрим.

— Что еще за Бонапарт? — Лицо Суворова сделалось кислым. — Принца Конде знаю. Маршала Тюренна знаю. Евгения Савойского знаю. А это что за птица? К чему мне выслушивать сомнительные афоризмы какого-то выскочки?

— Прошу простить, это я по недомыслию брякнул, — стал оправдываться Барков. — По части афоризмов с вами даже Юлий Цезарь не сравнится. «Пуля дура, а штык молодец». Каково сказано! Изречение на все времена. Штык с вооружения сни-

мут, а поговорка останется. Или еще лучше: «Дело мастера боится». Вся академия будет голову ломать — ничего лучше не придумает. А ведь эти слова, Александр Васильевич, в первую очередь к вам относятся. Блесните еще разок своим полководческим мастерством, спасите родину, а уж она вас не забудет. Впоследствии даже орден вашего имени учредят.

— Лукавишь ты, Ванька, как всегда. — Суворов продолжал отговариваться, словно красная девица, побуждаемая к блуду. — На сомнительное дело подбиваешь. Я ведь присягой больше не связан. Сам себе хозяин. Хочу воюю, хочу ворую, хочу пирую. Родину, конечно, жалко, да только мнится мне, что в своем нынешнем положении она сама виновата. Всем все прощала, вот и докатилась до последней крайности.

— Стало быть, в ее судьбе поучаствовать отказываетесь... В Кобрине собираетесь отсидеться? Под защитой бабской рати?

— Ты меня, сопляк, не совести. Прав на то не имеешь... Пускай нас лучше случай рассудит, который есть не что иное, как божий промысел. Пойдем мы сейчас с тобой потихонечку в усадьбу. Там уже, должно быть, каша в печке упрела. У меня, между прочим, единственная русская печь на весь Кобрин... И посмотрим, какая тварь нам на пути встретится. Ежели собака — о походе и разговоров быть не может. Ежели кошка — безотлагательно начинаем сборы.

Подобное пари, конечно, нельзя было признать честным. Кошкам в такой мороз полагалось сидеть по домам, в крайнем случае — по теплым хлевам. А собачья судьба известная. Пес в любую непогоду на улице. Да разве Суворова переубедишь! С ним даже всесильный Потемкин старался не связываться.

По бережку замерзшего канала, соединявшего крепостной ров с рекой Мухавец, они двинулись в сторону городской околицы. Суворов заметно прихрамывал, хотя тросточкой не пользовался и от руки, предложенной Барковым, отказался.

— Ежели понадобится, я пешком до Стамбула дойду, а то и дальше, — молвил он высокомерно.

Дабы улестить генерала, Барков деликатно поинтересовался:

— С ногой-то что у вас, Адександр Васильевич? Пулей задело или холодным оружием?

— Ага, холодным, — кивнул Суворов. — Жена однажды иголку обронила, а я на нее босой пяткой наступил. Вот с тех пор и маюсь. Все мои беды от нее.

— От иголки?

— Нет, от жены, пропади она пропадом!

Едва только они поравнялись с первой хатой, глядевшей на божий свет крохотными слюдяными окошечками, как во дворе загремела цепь, возвещавшая о скором появлении сторожевого пса.

Барков уже собирался плюнуть с досады, но тут на их пути неведомо откуда возник здоровенный рыжий котище. Уставясь на людей золотистыми круглыми глазами, он злобно и требовательно рявкнул.

Суворов, ничуть не чинясь, ответил ему примерно тем же звуком, а потом пояснил Баркову:

— Арнаут, любимец мой. Взял для него мяска из дома, да не удержался, сам съел на плацу. Вот он меня и корит за это.

Так они и пошли дальше — Барков с Суворовым по одной стороне улицы, а кот Арнаут по другой. Время от времени генерал переговаривался с котом на его языке, и, похоже, беседа складывалась далеко не приятельская.

— Знатно вы мяукаете, — похвалил своего спутника Барков. — Натуральней не бывает.

— Это что! — махнул рукой Суворов. — Я еще и лаять умею. Вот послушай. Гав-гав-гав!

Спустя пять минут все собаки в Кобрине надрывались так, словно почуяли поблизости волка.

Маленькое войско выступило в поход в полном соответствии с заветами своего основателя и предводителя, гласившими: «Где пройдет дикий козел, там пройдет и солдат», «Первые задних не ждут», а также «Солдат не разбойник, однако в пути добычей кормиться должен».

Сначала делали по тридцать верст в сутки, потом пехоту посадили на сани, реквизированные у промышлявших извозом мещан, и за пару дней достигли местечка Койданово, откуда до губернского Минска было уже рукой подать.

Здесь экспедиционный отряд ждали плохие новости. Парламентеры, высланные начальником Минского гарнизона, державшего нейтралитет, предупредили, что любое армейское подразделение, продвинувшееся хотя бы на полверсты восточнее Койданова, будет беспощадно истреблено.

— Да ведь нас генерал-поручик Суворов ведет, герой Польской и Турецкой кампаний! — вспылил командир авангарда.

— Да хоть сам митрополит, — ответили парламентеры. — Мы вас, братцы, предупредили. Или разоружайтесь, или восвояси ступайте. Если, конечно, картечи отведать не желаете.

— Спасибо, но в такую погоду я предпочитаю грог, — поворачивая коня, ответил суворовский штаб-офицер.

Решить дело молодецким наскоком, как это бывало у Туртукая или Гирсова, не представлялось возможным — город защищали двадцать тысяч солдат, да не какие-нибудь там спаги или янычары, а хорошо вымуштрованные гренадеры и уланы — поэтому решено было пока остановиться в Койданове.

На первый взгляд местечко выглядело как образец веротерпимости. Гоштольдову гору — единственную здесь — венчал кальвинистский собор. Под горой красовался костел «Опека божья». Чуть дальше располагалась православная Покровская церковь. Христианские храмы окружало кольцо синагог. У истока речки Нетечки притулилась скромная мечеть.

Впрочем, вскоре выяснилось, что кальвинистов отсюда еще полвека назад выжили униаты, наиболее усердных католиков перевешал карательный отряд премьер-майора Рылеева, а православных мобилизовали в ополчение, еще летом ушедшее к Москве и там, надо полагать, благополучно сгинувшее.

Таким образом, население местечка было представлено в основном ортодоксальными иудеями и в гораздо меньшей степени татарами — потомками крымчаков, плененных в свое время Гидемином и Витовтом. Почти полностью ассимилировавшись, они тем не менее продолжали молиться Аллаху, а свою белорусскую речь записывали арабской вязью.

Местечко имело еще ту особенность, что на три хаты здесь приходилась одна лавка, а на пять — шинок. Любая другая армия в подобных обстоятельствах непременно утратила бы боеспособность, но на суворовских чудо-богатырей этот злосчастный обычай не распространялся.

Генерал-поручик относился к своим солдатушкам как к родным деткам — трогательно о них заботился, но в случае ослушания порол нещадно. От телесных наказаний не были избавлены даже служивые дамы и барышни, причем по такому случаю розги в руки брал сам Суворов. Похотлив был старичок, но все его малые слабости извинялись громадным стратегическим талантом.

Сразу после обеда состоялся военный совет, на котором главнокомандующий категорически отверг предложение Баркова подкупить минского коменданта генерал-майора Христофора Газенкампфа.

— Дубина редкая, — так охарактеризовал Суворов своего коллегу. — Башка тупая, норов ослиный, но представление о чести имеет безупречное. Отродясь ничего себе из полковой кас-

сы не брал. Будучи в младших чинах, неоднократно дрался на дуэли по самому ничтожному поводу.

— Эти сведения внушают определенную надежду, — сказал Барков. — Человек чести уязвим в гораздо большей степени, чем завсегдатай сомнительных заведений, которых, как я слышал, в губернском городе предостаточно.

— Одних только ресторацій с девочками больше дюжины, — сообщил какой-то знаток. — А гостиниц с нумерами да домов свиданий и не сосчитать.

— Мне нравятся города, где разврат в почете, — доверительно сообщил Барков. — Разрушая их, по крайней мере не мучаешься угрызениями совести.

Оставив Суворова и его штаб корпеть над свежими крокáми[1] и донесениями лазутчиков, Барков отправился на прогулку по местечку, заглянул во все подряд синагоги, открытые по случаю субботнего дня, переговорил с раввинами и уже под вечер напросился в гости к рабби Шимону бен Лурие, духовному (да и светскому) предводителю местных евреев.

Это был человек неопределенного возраста, чьи длиннейшие пейсы имели цвет пеньковой пакли, а глаза скрывались за дымчатыми очками. Он угощал Баркова рубленой печенкой, вареной курицей, фаршированной щукой и домашней водкой, настоянной на корнях мандрагоры, но сам в трапезе участия не принимал — суровые заветы его веры запрещали в субботу пользоваться вилкой и ложкой, равно как и другими орудиями труда.

Для начала Барков осведомился о порядке вступления в иудаизм, но это оказалось делом настолько канительным (даже не принимая во внимание обязательное обрезание), что сразу отбивало охоту у любого потенциального прозелита.

— Мы не стремимся распространить свою веру повсеместно, как это делают другие конфессии. — В каждом слове местечкового рабби мудрости было больше, чем во всех сочинениях петербургского академика Палласа. — Главное сохранить ее чистоту до тех пор, когда Спаситель, воцарившись в Иерусалиме, станет править миром в соответствии с божьими заповедями. Вот почему так высоки требования к тем, кто хочет приобщиться к потомкам Авраама и Моисея.

---

[1] Кроки — схемы местности, составленные на основании глазомерной съемки.

— Сколько твоих братьев по вере проживает здесь? — поинтересовался Барков.

— Затрудняюсь ответить. Последняя перепись колен Израилевых проводилась римлянами при царе Ироде. С тех пор мы стараемся избегать подобных мероприятий.

— Ты имеешь в виду перепись, совпавшую по времени с рождением Христа? — переспросил Барков.

— Прошу тебя, не надо упоминать при мне имя этого отступника, — смиренно попросил рабби. — Паршивая овца может затесаться даже в стадо Яхве.

— С такими рассуждениями недолго и до неприятностей, — молвил Барков.

— Разве католики хвалят Лютера? Разве православные попы славят протопопа Аввакума? Кому по нраву еретик, извративший смысл той веры, в которой был рожден. Но оставим этот пустой разговор. Ты ведь явился сюда не для того, чтобы обсуждать догматы христианства.

— Не для того, — согласился Барков. — Позволь мне задать прежний вопрос несколько иначе. Сколько дворов в местечке принадлежат евреям?

— По меньшей мере каждый второй, — ответил раббе.

— А в Минске?

— Каждый третий, а то и больше.

Шаркая домашними туфлями, явилась жена Шимона и, даже не спрашивая позволения, вылила ему в рот стопку водки и дала закусить куриной гузкой. Однажды тяжко согрешив уже тем, что родилась в женском обличье, она теперь могла позволить себе некоторые поблажки даже в святую субботу.

— Каждый третий... — задумчиво повторил Барков. — Можно сказать, что Минск — еврейский город.

— Можно. Почему нет... — кивнул рабби. — Да вот только гарнизон в нем стоит православный, а суд вершит генерал-немец. Та же самая история про Понтия Пилата.

— Но евреи в конце концов одолели Понтия Пилата, — многозначительно молвил Барков.

— Другой вопрос, кто от этого выиграл. — Раббе поправил свои замечательные очки. — Я прожил на свете так долго, что научился читать в душах людей. Знал бы ты, как это печально. Почтенный человек еще и рта не открыл, а я уже знаю, каким способом он собирается обмануть меня. Милая девушка едва успела улыбнуться, а я вижу всю греховность и продажность ее натуры. Вот и ты... Рассуждаешь о какой-то безделице, а хочешь

лишь одного: нашими руками захватить город, вставший вам как кость поперек горла. Сейчас ты скажешь буквально следующее: сделай это для меня, проклятый жид, иначе я расплету шнуры твоего талеса и приготовлю из них много хороших удавок, на которых повешу всех христопродавцев, посмевших перечить русскому господину.

— Верно, раббе, ты упредил слова, уже готовые сорваться с моих уст, — кивнул Барков. — Поэтому придется сказать иначе: сделай для меня это, уважаемый учитель, и в знак благодарности получишь много-много денег.

Он открыл перед Шимоном бен Лурие шкатулку, набитую сотенными ассигнациями.

— Хорошие деньги, — похвалил раббе. — Хотя и не совсем настоящие. В прежние времена мы бы нашли применение и для них, но сейчас все переменилось в худшую сторону. Мадам, чья пышная фигура украшает эти бумажки, растеряла все знаки своей власти. — Он ткнул длинным ногтем в портрет Екатерины. — Нет уже ни короны, ни скипетра, ни державы. Потому и деньги обесценились.

— Не пройдет и недели, как упомянутая тобой мадам вернет себе и корону, и трон, и все остальное. Само собой, вздорожают и ее деньги. Ради этого мы и стремимся на восток.

— Жаль, что ваш славный путь пресекся именно здесь, — посочувствовал раббе.

— Вот я и хочу, чтобы твои единоверцы расчистили его.

— Ты просишь помощи у беспомощных. Ты ищешь защиту у беззащитных. Евреи давно разучились держать в руках оружие. Все кому не лень притесняют нас. Наших предков изгнали из Германии. Но и на новом месте мы не обрели покоя. По этой земле прокатывается по две-три войны за век, а то и больше. Немцы воюют с литовцами. Литовцы воюют с татарами. Шведы нападают на поляков. Поляки не дают спуска казакам. Москали успевают уесть всех подряд и каждого в отдельности. Войны заканчваются миром. Поляновским, Андрусовским, Столбовским, Ништадским, Оливским, Ям-Запольским. Кто-то у кого-то отрывает кусок землицы, кто-то кому-то платит контрибуцию, но всякий раз крайними остаемся мы, евреи. Иван Грозный что-то не поделил с Сигизмундом Августом, и по пути на запад московские стрельцы сожгли наше местечко, а обывателей передавили, как клопов. То же самое сделали польские жолнеры, когда шли на восток. Спустя сто лет уже Ян Казимир не угодил чем-то вашему Алексею Михайловичу. Для своих разбирательств они, ко-

нечно же, выбрали наш несчастный край. Мало того, русские позвали себе в помощь украинских казаков. Этот бандит Золотаренко, чтоб ему пусто было, не оставил от Койданова камня на камне, а всех обитателей пустил под меч, чем потом весьма похвалялся. Ты думаешь, наши беды на этом закончились? Ничего подобного! Петр Первый затеял войну с Карлом Двенадцатым. И место для этого они выбрали, само собою, не под Москвой и не под Стокгольмом, а между Днепром и Бугом. На Полтаву они повернули уже потом, когда здесь не осталось ни фуража, ни провианта. Опять Койданово горело, опять наши братья прощались с жизнью, а дочки с невинностью, опять лавочники и шинкари остались с голым задом... А когда нет войны, тогда есть погромы. Все нам вспоминают: и распятого Христа, и Иуду, и мацу, и пейсы, и откупничество, и обрезание, и ростовщичество, и Каббалу, и даже наши песни. Кого только не рожают после погромов многострадальные еврейки! И татарчат, и хохлят, и москалят. Всех их по закону Торы мы зачисляем в иудеи. Вот и удивляются посторонние люди: откуда берутся белобрысые да косоглазые евреи... Сегодня новое дело! На постой в местечке стала неведомо чья армия. Что нам ждать — пожаров, погромов, избиений? Будь у нас вдоволь денег, мы бы откупились. Будь у нас оружие — защищались бы. Но евреи умеют только торговать, портняжничать, лечить хвори да чинить сапоги.

— Умеете вы и многое другое, прибедняться не надо, — сказал Барков. — Давать деньги в рост, содержать увеселительные заведения, писать философские трактаты. Но для исполнения моего плана достаточно и того, что вы умеете торговать. Выслушай меня, рабби, и я уверен, что мы поладим...

На следующий день к генерал-майору от инфантерии Газенкампфу чередой потянулись приказчики из ювелирных лавок, модных магазинчиков, портняжных мастерских, парикмахерских и всяких других заведений, предназначенных для потакания извращенным вкусам щеголей и щеголих.

На генеральское бюро пачками ложились неоплаченные счета за покупки, сделанные его женой, его любовницей и даже — о, стыд! — любовником его жены ротмистром Тележниковым (этот подлец, кроме всего прочего, имел неограниченный кредит в винной лавке купца Шмеерсона, где одного шампанского приобрел на полторы тысячи рублей).

Короче говоря, для покрытия внезапно возникшего долга не хватило бы всех сбережений генерала, а ожидать помощи из под-

московных поместий — увы! — не приходилось. Вот во что вылились бриллианты жены, шляпки любовницы, свое собственное пристрастие к редкостям и ненасытная утроба ротмистра Тележникова.

Генерал вышвырнул счета в окно, просителей велел гнать в шею, приказал арестовать Тележникова; а в ответ получил достойную отповедь от жены, знавшей обо всех амурных похождениях супруга, и корректное замечание от дворецкого, якобы давно предупреждавшего хозяина о бедственном состоянии его финансов.

Успокоение Газенкампф нашел только в бутылке крепкой жидовской водки, тайно доставленной в кабинет преданным ординарцем (после случая с ротмистром Тележниковым шампанское просто не лезло в горло).

Однако настоящие неприятности только начинались, и пьяное забытье не могло ни рассеять, ни отсрочить их. Наутро судебный пристав доставил все неоплаченные счета обратно и даже присовокупил новые — из игорных домов (жены) и вертепов (сына). Обычно вежливый и предупредительный, на сей раз он был неумолим, словно ангел возмездия, и в случае неуплаты долга грозился описать генеральское имущество.

Денщик сбегал за очередной бутылкой и вместе с ней доставил местную газетенку «Губернские ведомости», где все печальные коллизии вчерашнего дня подробно живописались в грязной статейке «Генерал от галантереи».

Бессовестный щелкопер, скрывавшийся за псевдонимом Шмель, ловко перемешал крупицы правды с ушатом лжи, обвинив генерала во всех мыслимых и немыслимых грехах, включая недавний прорыв городской канализации и упадок нравов в среде дворянской молодежи.

Еще недавно появление подобного пасквиля даже представить себе было невозможно! Нет, здесь уже ощущалась определенная система, чья-то направляющая рука, некая расчетливая и злая воля.

Генерал распорядился прикрыть газетенку, арестовать весь ее штат, начиная от издателя и кончая наборщиком, а главное, выявить этого самого таинственного Шмеля, которому заранее полагалось пять сотен шпицрутенов, но городской совет, прежде не смевший и слова поперек сказать, внезапно заартачился. Газенкампфа публично назвали гонителем свобод, сатрапом, палачом и стяжателем.

Скандал разгорался, словно стог сухого сена, в который уго-

дил шальной окурок. Когда генерал направлялся в свой штаб, вслед ему с тротуаров неслись брань и ехидные реплики. Кто-то даже осмелился метнуть тухлое яйцо, что для мирного северо-западного края было вообще случаем беспрецедентным.

В приемной Газенкампфа дожидалась делегация от офицерского собрания гарнизона. Представители всех воинских частей в чине не ниже полковника вежливо, но настойчиво предложили генералу объясниться по каждому пункту предъявленных обвинений, грозя в противном случае собственной отставкой.

Заверив делегатов в своей полной непогрешимости, но попросив отсрочку ввиду состояния здоровья, Газенкампф вернулся на квартиру, составил несколько прощальных писем (жене, любовнице, духовнику, офицерскому собранию и гарнизонному аудитору), употребил еще одну бутылку водки, после чего застрелился из карманного пистолета, сработанного в Париже матером Лепанжем.

Эта смерть осталась почти незамеченной на фоне других бурных событий, разыгравшихся в городе.

Владельцы питейных заведений дружно заявили о том, что военнослужащие любого звания, включая распоследних обозников, имеют право бесплатного приобретения горячительных напитков. Подобное благодеяние, конечно же, нашло немедленный отклик в суровых солдатских сердцах.

А ближе к вечеру наиболее авторитетная из содержательниц увеселительных заведений мадам Зисла Гершензон провозгласила «ночь открытых дверей». Льгота эта, естественно, касалась только душек-военных.

Генерал Газенкампф, оплакиваемый домочадцами, кредиторами и ординарцами, лежал в гробу, а его гарнизон пустился во все тяжкие. Тон задавали гусары и уланы, извечно соперничавшие между собой. Впрочем, не отставала и пехота, хотя внешне не столь блестящая, но упорная во всем, даже в непотребствах.

Оргия продолжалась и на следующий день, хотя кое для кого похмелье успело вылезти боком — неизвестные злоумышленники заклепали орудийные стволы и свели из конюшен всех строевых лошадей. В довершение этих бед взорвался пороховой склад, находившийся в городском предместье Зеленый Луг. На пять верст вокруг вышибло оконные стекла. Местами занялись пожары.

На рассвете третьего дня по Койдановскому тракту в город Минск вступили суворовские гренадеры и мушкетеры. Сопротивления им никто не оказал, но забот хватало и без этого — тушить пожары, разнимать дерущихся, отрезвлять беспробудно

пьяных, разоружать сравнительно трезвых. Подвалы ратуши и губернаторского дворца превратились в огромную гауптвахту. Все бордели, рестора́ции и распивочные закрылись на неопределенный срок.

Тело генерала Газенкампфа со всеми подобающими почестями предали земле в самом центре города, вблизи от пересечения улиц Захарьевской и Долгобродской, там, где впоследствии стали хоронить всех высших офицерских чинов, а затем и просто именитых граждан.

Войско Суворова увеличилось без малого в три раза. Пушки удалось отремонтировать, вот только безвозвратно пропали лошади и гарнизонная казна. Впрочем, их и не искали. Не до того было.

Кроме шкатулки, набитой фальшивыми ассигнациями, раббе Шимону бен Лурие достался еще усыпанный изумрудами австрийский военный крест, почему-то бывший у Суворова не в чести, да наскоро сочиненный Барковым стихотворный экспромт:

Сие славное местечко
Орошает река Нетечка.
Оттого и житье мещанина
Засосала болотная тина.

Как и предрекал Барков, молебен отслужили уже в Смоленске — город встретил Суворова звоном всех колоколов. Надо было поспешать, и стоянки хватило только на то, чтобы принять от горожан хлеб-соль, пополнить запасы провианта да распределить по полкам вновь прибывших волонтеров.

Теперь от них просто отбоя не было, и на службу брали не всех подряд, а с оглядкой, отдавая предпочтение обстрелянным воякам. Правда, несколько батальонов пришлось сформировать из восторженно настроенных гимназистов и семинаристов — а иначе они увязались бы за армией просто так. Этих Барков почему-то называл молодогвардейцами.

За Смоленском повернули на северо-восток — дошли слухи, что сермяжные рати Пугачева, вбирая в себя крестьянскую вольницу, дезертиров, гулящих людей и прочий сброд, уже преодолели половину расстояния до Петербурга, а выступившие им навстречу республиканцы спешно возводят полевые укрепления на берегах Волхова и Шелони.

Развязка приближалась, и теперь шли почти без отдыха, бросая по пути больных и обессилевших. Забыв про горячую кашу, питались исключительно всухомятку.

Суворов верхом на невзрачной казачьей лошадке метался от головы колонны к хвосту, выкрикивая, словно заклинания:

— Вперед, чудо-богатыри! Нас ведет сам Господь Бог! Он наш генерал! Били мы врагов чужеземных, побьем и врагов домашних! Свалимся им как снег на голову! Всех изрубим, перестреляем, в полон возьмем! Готовьтесь к сражению! Первое дело — глазомер! Второе — быстрота! Третье — натиск! Вперед, не останавливаться! Бей в барабан, дуди в дудку, пой песни! Марш, марш, марш!

Барков, сделавшийся кем-то вроде начальника разведки, каждый день рассылал во все стороны конные разъезды и отдельных лазутчиков, переодетых в крестьян, коробейников и странствующих монахов. Многие не возвращались, но добытые сведения позволяли тем не менее составить приблизительное представление о взаимном расположении двух идеологически разных, но одинаково антизаконных формирований, по одной версии собиравшихся брататься, а по другой — сражаться насмерть.

Вскоре стали поступать известия из Санкт-Петербурга. Были они крайне противоречивы. Кто-то клятвенно утверждал, что императрица погибла при захвате бота «Дедал», к власти пришел триумвират в составе Радищева, Костюшко и старообрядческого попа Сисоя Ижорского, а все масоны заточены в крепость. Кто-то иной, наоборот, с пеной у рта доказывал, что Новиков провозглашен диктатором, Радищев прибегнул к самоубийству, Костюшко на французском корабле отплыл в Америку, а сторонники монархии, возглавляемые Екатериной, штурмуют столицу с севера. Короче, путаница царила полнейшая, как это всегда бывает во время стихийных бедствий или при сломе исторических эпох.

Достигнув Валдая, славного не только своими колокольчиками, но также вкуснейшими бубликами и развратными девками, узнали, что пугачевские отряды, растянувшиеся на много верст, прошли здесь всего два дня назад. Быстренько восстановив в городе законную — императорскую — власть и оставив гарнизон, укомплектованный простуженными и обмороженными, бросились в погоню, при этом ни на миг не забывая об осторожности.

По прошествии суток с севера стал доноситься глухой несмолкаемый гул, похожий на раскаты далекой грозы, в этих местах редкой даже в теплое время года. Без всякого сомнения перуны сие имели рукотворное происхождение.

— Похоже, баталия завязалась нешуточная, — заметил Барков. — Зарядов не жалеют.

— По звуку пальбы чую, что полная бестолковщина там творится. — Суворов, приложив ладонь к уху, внимательно вслушивался в шум канонады. — Беда, коль армиями берутся командовать беглые каторжники да недоучившиеся студиозусы. Это то же самое, что христианское молебствие доверить басурману. Хоть и стараться будет, а все равно обмишурится.

На военном совете решили очертя голову вперед не лезть, а выжидать, заодно отрезав пути снабжения пугачевской армии.

Вскоре передовые отряды стали перехватывать обозы с ранеными бунтовщиками, отправлявшимися на излечение в тыл. Судя по характеру увечий, борьба пока шла позиционная, состоявшая из обмена ядрами, а не из рукоприкладства. То же самое подтверждали и допросы, проводившиеся в Иверском монастыре, временно превращенном в концентрационный лагерь. Внезапно случившийся досуг Суворов по своему обыкновению проводил в русской бане, где обязанности мыльщиц и парильщиц исполняли цветущие молодки, таким способом зарабатывавшие себе на жизнь. Промысел сей являлся для Валдая столь же традиционным, как лаковая роспись для Хохломы или плетение кружев для Вологды. Имелись здесь и настоящие мастерицы своего дела, к которым специально ездила мужская клиентура из обеих столиц.

Каждый раз нагишом выбегая во двор, чтобы окунуться в прорубь, генерал-поручик не забывал вслушиваться в неутихающий грохот орудий, доносившийся сюда аж за полсотни верст, и со знанием дела комментировал:

— Мортиры и единороги что-то приумолкли. А полевая артиллерия шрапнелью садит, аж захлебывается. Видать, дело до сшибки дошло.

Бунтовщики, переметнувшиеся на сторону суворовских войск и накануне посланные в разведку (для верности за отца оставляли в заложниках сына, а за брата — другого брата), принесли более точные сведения.

Пехота Пугачева раз десять ходила в атаку по речному льду и частью полегла под вражеским огнем, а частью утопла в громадных полыньях, зато казачья и калмыцкая конница обошла фланги республиканцев, и сейчас там шла такая отчаянная рубка, что пар от разгоряченных тел и пороховой дым застилали солнце.

Спешно прервав банные забавы, Суворов приказал армии

строиться в походную колонну и выступать, не принимая во внимание сгущавшиеся сумерки и крепчающий мороз.

— При ласковой погоде привольно гулять только барышням, — заявил он, усаживаясь на коня. — А солдату сподручнее воевать в мороз или бурю. Его ведь, клянусь своей печенкой, враг в такую погоду никак не ожидает. Били мы турок в солончаках, конфедератов побеждали в болотах, а с бунтовщиками в снегах расправимся. Только нельзя забывать про глазомер...

— Быстроту и натиск! — докончил Барков, из седла перемести вшийся на облучок кибитки, в которой под рогожами хранилось чудо-оружие механика Кулибина. — Да только вы, Александр Васильевич, супротив своих заветов что-то весьма долго в бане провозились. Или неприятель численное превосходство явил, или одно из воинских искусств вам внезапно отказало.

— Глазомер меня не подвел, — без тени смущения признался генерал-поручик. — Все цели я разглядел и оценил досконально. Натиск тоже был довольно успешен. А сгубила меня, как ни странно, быстрота, в этом славном деле совершенно неуместная. Учитывая прежние ошибки, намереваюсь на обратном пути взять реванш... Рекомендую и тебе, Ванька, принять участие в банной баталии. Сие в любом возрасте весьма пользительно.

— Если доживу, то обязательно воспользуюсь вашим советом, — пообещал Барков.

Декабрьская ночь придавила мир таким морозом, что даже воздух оцепенел, а самая горячая кровь стыла в жилах. Грохот впереди утих, и только зарницы временами озаряли небо.

Солдаты, прежде почитавшие езду в санях за благо, теперь соскакивали с них и бежали рядом, захлебываясь сухим кашлем и проклиная все на свете.

После пятнадцати верст пути Суворов велел раздать всем по чарке водки. Некоторые, выпив, пытались закусить пирогом или бубликом, взятым про запас, но все съестное превратилось в камень. Погибающие от холода солдаты без команды покидали строй, поджигали первую попавшуюся избу или стог сена и грелись возле такого костра до тех пор, пока он не обращался в пепел.

После тридцатой версты приказано было налить по второй чарке, но хватило уже не всем. Небо за правым плечом стало светлеть, и это внушало хоть какую-то надежду — свет подсознательно связывался с теплом.

Впереди стали ухать пушки. Казалось, что до них уже рукой

подать, хотя, если верить карте, до места боя оставалось верст пять-шесть.

К счастью, на пути оказался тыловой обоз бунтовщиков, где уже варили кашу и кипятили сбитень. Благодаря самообладанию и хитрости Суворова обоз захватили без боя. А случилось это вот как.

Генерал-поручик, обряженный в долгополый тулуп и лисий малахай, вырвался на своей казачьей лошадке вперед и тоном отнюдь не командирским, а скорее панибратским объявил, что к «амператору Петру Федоровичу» прибыло пополнение из Смоленской губернии.

Войско, в неравной борьбе с холодом напялившее на себя что ни попадя и без всяких штандартов следовавшее за своим начальником на крестьянских дрогах и розвальнях, никакого подозрения тоже не вызывало. А когда обман раскрылся, защищаться или поднимать сполох было уже поздно. Впрочем, в обозе всегда служили люди, к опрометчивым поступкам и зряшнему геройству не склонные. Они сами выдали Суворову несколько казачьих старшин, верховодивших здесь, и стали каяться, отбивая земные поклоны:

— Помилуй нас, батюшка, мы силком от родного хозяйства взяты и никакого иного оружия, кроме кнутов, в руках отродясь не держали.

— Помилую, — пообещал Суворов. — Но задницы ваши бунтарские розгами обдеру. Только не сейчас, а как потеплеет, дабы вы причиндалы свои не обморозили и в родное хозяйство при полном мужском достоинстве явились.

Пока отогревались горячей пищей и водкой, обнаруженной в обозе, окончательно рассвело. Бой впереди тоже разгорался, хотя палили в основном из ружей и пистолетов, что могло означать только одно — дело подходит к концу (но вот к какому именно, до сих пор оставалось неясным).

Суворов опять вскочил в седло и приказал трубить сбор.

— Всем приготовиться! — вещал он, объезжая повеселевшее войско. — Атака будет! Наступаем плутонгами! Дадим залп, от силы — два, а потом сразу в штыки! Если кавалерия налетит, стройся в каре и штык ставь лошади в пузо! Никто не смеет пятиться и на полшага назад! Врага будем крушить с тыла, а посему его картечи можно не опасаться.

В атаку двинулись скорым шагом, но глубокий снег этому мало способствовал. Люди еще как-то пробирались вперед, но лошади, проваливаясь по грудь, идти отказывались. Сразу отста-

ла и артиллерия, если не считать кибитки Баркова, ехавшей вслед за Суворовым.

Впрочем, природные каверзы ничуть не смущали генерал-поручика, похоже, собиравшегося решить дело лихим штыковым ударом, как это уже не единожды удавалось ему в Бессарабии и Польше.

Одно только не учел великий полководец — боевых качеств своего нынешнего противника. Ведь прежде его взятым от сохи чудо-богатырям приходилось сражаться лишь с турками, известными своим фатализмом, да с изнеженной шляхтой, больше привыкшей к бальным залам, чем к кровавым ристалищам, а здесь земляк шел на земляка, брат на брата, и всем известная коса, наловчившаяся губить податливые травы, вполне могла наскочить на баснословный камень.

Долго ли, коротко ли, но в конце концов атакующие достигли поля брани, но не нынешней, а вчерашней или позавчерашней, о чем свидетельствовали окаменевшие трупы, изрядно запорошенные снегом.

Сегодня схватка шла на другом берегу реки, лед которой был основательно побит ядрами и представлял собой почти неодолимое препятствие для конницы и артиллерии (за суворовскую пехоту можно было не опасаться — та в случае нужды смогла бы без особых потерь форсировать любой из адских потоков — хоть огненный Флегистон, хоть болотистый Ахеронт). И Барков, и Суворов немедленно прибегли к помощи подзорных труб. Дым и пар, окутывавшие побоище, конечно же, затрудняли наблюдение, но даже неопытному глазу было очевидно, что полевые укрепления республиканцев взяты штурмом, а сами они оттеснены в чистое поле, где пять или шесть пехотных каре, непрерывно атакуемых конницей, медленно превращались сначала в беспорядочные толпы, а потом и в груду трупов.

Надо сказать, что густой ружейный огонь, производимый республиканцами, наносил бунтовщикам весьма значительный урон. Пространство за рекой устилали уже не снега, а пропитанные кровью серые мужицкие армяки, нагольные татарские полушубки и пестрые калмыцкие халаты.

Да только кому придет в голову беречь на поле боя всяких там смердов и инородцев, которые в тучные годы плодятся, словно саранча! Уж только не их самозваные вожди, имевшие самое подлое происхождение. Недаром говорят: нет хуже того пана, что выбился из хама.

— Исход схватки отнюдь не определился, — сказал Суворов,

не отрываясь от подзорной трубы. — Теперь все будет зависеть от запасов пороха и пуль, оставшихся у обороняющейся стороны. Если хватит на час хорошей стрельбы, то бунтовщики непременно отступят. А нет, победу черни принесет их численность.

Но случилось непредвиденное — республиканцы, завидевшие, что со стороны пугачевского лагеря надвигаются массы свежих воинов, окончательно пали духом и стали бросать оружие, чем не замедлили воспользоваться их враги. Началась беспощадная резня.

— Дело тухлое, — сказал Суворов. — Впрочем, нам не о чем жалеть. Мы ведь никого спасать и не собирались. И те и другие — враги отечества.

— Оно, конечно так, — тяжко вздохнул Барков. — А только все одно на душе тошно. Русские люди как-никак гибнут.

— С такими мыслями, Ванька, тебе на военном поприще делать нечего, — нахмурился Суворов. — В бою люди не гибнут, а дело свое делают в соответствии с выучкой, личными достоинствами и качеством оружия. Хороший солдат нигде не пропадет, если только роковой случай не вмешается. А кто на учениях зевал, в богадельнях отлеживался да ружье свое ленился чистить, тот пусть ответ перед ангелами небесными держит... Да что я тут с тобой тары-бары развожу! Атаковать надобно, а не то время упустим.

По сигналу горниста все штаб-офицеры съехались к Суворову и выслушали от него план дальнейших действий:

— Кавалерию разделить на две части. Улан увести вдоль реки влево, а драгун вправо. Пусть в удобном месте переправятся и скачут к месту боя. Пехота наступает в лоб. Артиллерию развернуть на этом берегу и бить навесным огнем. Не жалеть ни тех, ни других, поскольку обе противоборствующие стороны есть мятежники и отступники, нарушившие священную клятву, данную матушке-императрице и своему отечеству! С развернутыми знаменами и барабанным боем — вперед марш!

Все эти распоряжения были исполнены на диво быстро и точно. Четыре батареи конной артиллерии открыли стрельбу еще раньше, чем первые цепи гренадер ступили на лед. Запоздавшая кавалерия двинулась в разные стороны на поиски удобной переправы.

— Сами-то вы, Александр Васильевич, где собираетесь находиться? — поинтересовался Барков. — Войско ваше как добрый часовой механизм действует. Если ему правильный ход даден, то

часовой ключ до поры до времени без надобности. Под часовым ключом я, конечно, вашу милость подразумеваю.

— Тебе бы все метафоры измышлять, пиит бездарный... В немецкой армии оно так, может, и принято, только я привык в деле среди своих ребятушек быть. С этого места батальное полотно удобно писать, а ходом боя управлять затруднительно. Рано еще наше войско с часами сравнивать. Оно любой сюрприз способно поднести, особенно на таком морозе. Если смелость имеешь, прошу пожаловать со мной на тот берег.

— Смелостью гордиться не могу, но и труса не привык праздновать, — ответил Барков. — А посему согласен составить вам компанию.

Взвалив смертоубийственную машину на плечо, а сундуки с патронными лентами поручив заботам двух дюжих канониров, взятых из резерва, он вслед за Суворовым вступил на лед, хоть и успевший набрать трехвершковую толщину, но во всех направлениях разлинованный трещинами и зиявший громадными полыньями, над которыми курился легкий парок.

Не успели они преодолеть и трети расстояния, разделявшего берега, как в сотне саженей слева огромная льдина внезапно перевернулась и накрыла нескольких солдат, угодивших под нее.

— Обходи стороной! — крикнул Суворов замешкавшейся цепи. — Их уже не спасете, а себя погубите! Солдат с полной выкладкой из ледяной купели не выберется!

Слова эти еще звучали в морозном воздухе, как справа в воду ухнул целый полувзвод.

— Царство им небесное! — Суворов перекрестился, а потом, обернувшись назад, вызвал командира пионерской[1] роты, оставленной в помощь артиллеристам. — Берите доски, жерди, лестницы, веревки и ступайте вслед за гренадерами. Спасенных из воды тащите к кострам, раздевайте донага и растирайте водкой.

До середины реки было уже рукой подать. Лед здесь трещал и прогибался, поверх его пошла вода. В теплых сапогах Баркова, предназначенных отнюдь не для защиты от сырости, сразу захлюпало.

— Шли бы вы вперед, Александр Васильевич, — посоветовал он, приостанавливаясь.

— Что так? — Тот даже не обернулся.

— Вы сложением легкий, чертиком везде проскочите, а у ме-

---

[1] Пионеры — сапёры. Екатерининские пионеры, кстати говоря, носили красные форменные галстуки.

ня трехпудовая железяка на горбу. Если беда случится, могу ненароком и вас на дно утянуть.

— Сам, стало быть, смерти не боишься?

— Нет, — спокойно ответил Барков. — У меня эта жизнь не последняя.

— Набрался ты, братец, всяких мистических бредней. А зря! Одна у человека жизнь, смею тебя заверить. Про то и в Писании ясно сказано. А посему каждому человеку надлежит свою жизнь беречь, как богоданное чудо.

— Меня, признаться, совсем другое беспокоит. — Барков сделал еще один шаг и провалился по колено. — Где сейчас сам Емелька Пугачев? Раньше он перед боем богатый шатер раскидывал и возле него ставил штандарты с императорскими вензелями. А сейчас свое присутствие нигде не кажет. Ох, не нравится мне это. Как бы каверзу какую не подстроил!

— Признаюсь, сия мысль и меня с некоторых пор гнетет. — Суворов несколькими ловкими прыжками выбрался на сравнительно безопасное место. — Все хитрости турецких пашей и польских генералов я могу наперед разгадать. У одних мышление косное, у других салонное. А Пугачев человек сокровенный, огонь и воду прошел, партизанщину изведал. Да и учителя у него знатные были. Кто знает, что в его буйную головушку взбредет!

— То-то и оно... — Теперь Баркову приходилось выверять каждый шаг.

— Ты лучше бросай свою машину и выбирайся ко мне, — посоветовал Суворов. — Нельзя отказываться, если генерал-поручик и георгиевский кавалер тебе, поповичу, руку помощи предлагает.

— Спасибо, Александр Васильевич, за сердечное участие. Да только нельзя мне с этой штукой расставаться. Она для нашего святого дела вроде как палочка-выручалочка.

Высокий берег не позволял видеть того, что происходило за рекой, но там внезапно случилось нечто непредвиденное. Дружное «ура!» атакующих гренадеров захлебнулось, и повсюду разнесся свирепый вопль: «Ги! Ги! Ги!»

— Казакам гикнулось, а нам, простофилям, икнулось, — невесело пошутил Суворов. — Вот тебе, Ваня, и разгадка. Пугачев с лучшими своими войсками в засаде скрывался и только сейчас ударил. Ничего не скажешь, подгадал момент, стервец!

Солдаты, успевшие благополучно переправиться через реч-

ку, посыпались назад — на коварный лед. Вслед им роем летели пули.

Какой-то обер-офицер, прежде чем уйти под воду, успел крикнуть Суворову:

— Спасайтесь, ваше превосходительство! Западня!

Не прошло и минуты, как весь берег, насколько хватало глаза, густо покрылся бородатыми всадниками в черных барашковых папахах, надвинутых на самые глаза. В первых рядах красовались вожди бунтовщиков: и громадный Чика-Зарубин, и страховидный Хлопуша, и полковник Грязнов, и сам «Великий Государь», Емелька Пугачев, над головой которого развевался черно-красный императорский штандарт.

Оставив без внимания копошащихся под берегом гренадеров, казаки палили из ружей по артиллеристам, спешно пытавшимся переменить прицел пушек. Несколькими залпами с орудийной прислугой было покончено.

Лишь после этого Пугачев соизволил обратить внимание на людей, ожидавших своей участи на льду реки.

— Довоевались аники-воины... Будете знать, каково с императорской гвардией силой тягаться. А где же ваш знаменитый генерал Суворов? Ага, вижу, вижу... Слыхал о твоих подвигах, — глумливо ухмыльнулся атаман. — Хотя с виду натуральная мартышка. У меня такая прежде в петербургском дворце обитала. Жизнь я тебе, генерал, так и быть, сохраню. Будешь при моей Военной коллегии советником состоять. Только спервоначала присягу примешь.

— Много чести для хорунжего, чтобы боевой генерал ему присягал, — дерзко ответил Суворов. — Я тебя, злодея, даже плетью огреть побрезгую.

— Тогда не взыщи, дедушка. Ты свою участь выбрал. Рыбам привет передавай... А кто это там еще? — Пугачев козырьком приложил ко лбу ладонь, отягощенную висячей плетью. — Ба, кого я вижу! Не иначе как Иван Барков к нам припорхнул. Вот так встреча! На мою пощаду, собака, можешь не надеяться. Лучше сам утопись.

— Сейчас, только камень к шее привяжу, — пообещал Барков, заправляя патронную ленту в машину смерти.

В последний момент он вспомнил, что забыл залить воду в кожух. На таком морозе это, возможно, и не было обязательным, но, как говорится, береженого бог бережет. Никакой посуды под рукой не оказалось, и пришлось воспользоваться собственной шапкой.

— Ты над чем это там колдуешь? — под хохот казаков поинтересовался Пугачев. — Никак напоследок чая пожелал испить?

Достоинство кулибинского изобретения состояло еще и в том, что оно ничем не выдавало своих боевых свойств. С какой стороны ни глянь — самовар самоваром. Да только несладко придется всякому, кто удосужится хлебнуть чайку из этого самовара!

Ну, помогай боже! Барков с заметным усилием вскинул свою тяжеленную «палочку-выручалочку». Лишь бы только не замерзла ружейная смазка да не перекосило первый патрон, как это уже бывало прежде.

В считаные мгновения лавина свинца проделала в стене всадников огромную брешь. Окровавленной головой свесился с седла Чика. Вместе с лошадью рухнул под обрыв Хлопуша. Поник императорский штандарт. Бился в агонии жеребец Пугачева. Только сам атаман куда-то исчез.

Со всех сторон к берегу подлетали новые бородатые конники, но их ожидала та же незавидная участь. Почти каждая пуля находила свою жертву. Да и пули эти были особенные! Попадая в цель, они разворачивались, как бутон, причиняя смертельные раны людям и лошадям.

Страшную вещь придумал Кулибин, но какой с него спрос — до Гаагской мирной конференции, запретившей такой тип пуль, оставался еще целый век.

Когда Барков расстрелял последнюю ленту, ледяная вода уже обжигала ему то, что Суворов деликатно называл причиндалами. В ушах продолжал звенеть злой лай пулемета, а перед глазами плавали мерцающие пятна. Сил не было даже на то, чтобы разжать онемевшие пальцы.

Исход сражения был окончательно решен. Суворов, размахивая шпагой, повел в атаку уцелевших гренадер. Слева и справа налетели уланы и драгуны, час назад ушедшие на поиски переправы. Их палаши и пики быстро завершили то, что начали пули Баркова. Кавалеристам истово помогали неизвестно откуда взявшиеся солдаты в гвардейской форме, упраздненной республиканцами.

— Как поживаешь, милостивый государь? — поинтересовался с берега Крюков, на плечах которого сверкали полковничьи эполеты.

— Хвастаться нечем, — ответил Барков. — А каково драгоценное здоровье нашей императрицы?

— Лучше не бывает. И аппетит вернулся, и доброе располо-

жение духа... Кстати, она шлет тебе свою особую признательность.

— Передавай ей мою нижайшую благодарность. Слава богу, что все свершилось так, как и было задумано. — Холода Барков больше не ощущал, только очень уж щекотало грудь ледяное крошево, проникшее за пазуху.

— Сам передашь. Заодно и все причитающиеся тебе от матушки блага получишь... Я, как видишь, уже удостоен. — Расстегнув шинель, Крюков гордо продемонстрировал кресты и звезды, украшавшие его молодецкую грудь.

— Вот те на! — Барков, оказывается, еще не утратил способности удивляться. — Да ты, похоже, у императрицы в фаворе.

— Завидуешь?

— Нет, кумекаю... Не числится в исторических анналах такой фаворит. Орлов был, Салтыков был, Потемкин был, Мамонов был, Зубов был, еще много кто был, а Михайлы Крюкова и в помине не было. Что-то здесь неладно.

— Все ладно... Ты столбом не стой, а ложись на лед. Сейчас я тебя выручу. — Сбросив щегольскую шинель, Крюков стал спускаться на речной лед.

— Не стоит трудов, — стал отговариваться Барков. — Моя миссия завершилась. Себя лучше побереги.

— Вздор несешь. Долг платежом...

Докончить Крюков не успел. Шальная пуля, прилетевшая из дальней дали, звонко поцеловала его в висок.

— Историческая справедливость восторжествовала, — пробормотал Барков. — Нет такого фаворита и не было...

Последние мгновения жизни поэта, бродяги и авантюриста Ивана Семеновича Баркова были в буквальном смысле слова скрыты туманом, возникшим от соприкосновения раскаленной ружейной стали с холодной водой.

На прощание из полыньи донеслось трогательное в своей простоте двустишие:

Блажен, кто все от жизни брал,
Бил подлецов и девок драл...

Часть III

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Джон Рид — американский журналист радикального толка, очередное воплощение странника в ментальном пространстве Олега Наметкина.

Миша Япончик, он же Яков Свердлов — одесский налетчик, позже председатель ВЦИК.

Владимир Ленин — большевик. По определению Троцкого, «политический шулер».

Лев Троцкий — меньшевик, примкнувший к большевикам. По определению Ленина, «политическая проститутка».

Иосиф Сталин — боевик-налетчик, тайный агент охранки, последовательный и стойкий большевик. По выражению Ленина, «чудесный грузин». По выражению Троцкого, «гений посредственности».

Григорий Зиновьев — большевик, примиренец, ликвидатор, отзовист, друг и собутыльник Ленина.

Александр Керенский — эсер, министр-председатель Временного правительства.

Александр Богданов — революционер без четко выраженной партийной принадлежности, врач, ученый-самоучка, писатель-фантаст.

Павел Дыбенко — матрос, анархист, примкнувший к большевикам, председатель Центробалта.

Александра Коллонтай — большевичка, на личном примере пропагандировавшая революцию в половых отношениях. Любовница Троцкого, Дыбенко и многих-многих других.

ПРОЛОГ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

В лучший ресторан провинциального города Верхнеудинска «Серебряный омуль» зашел гражданин неброской европейской наружности, чей рассеянный и несколько пресыщенный вид выдавал завсегдатая подобных заведений. Да и одет гость был весьма примечательно — вроде бы и ничего особенного, но в таком виде и на дипломатическом рауте показаться не стыдно.

Несмотря на сравнительно ранний час, в ресторане шел пир горой, и причиной этого, как ни странно, было очередное обострение политической обстановки на Дальнем Востоке.

Молодые офицеры воздушной пехоты, танковых войск и аэрокосмических сил, скучавшие на своих базах в Иркутске, Братском Остроге и даже в Урге, почему-то взяли за правило посещать злачные места именно этого города, чему, наверное, в немалой степени способствовали здешние девушки-полукровки, экзотическая внешность и вольные нравы которых славились по всему свету, включая первые лунные поселения Новый Тамбов и Керенск.

С транспортом никаких проблем не возникало. Билет на авиарейс из Урги в Верхнеудинск и обратно стоил полсотни, а, кроме того, хватало и попутных самолетов, где одно посадочное место обходилось в литр коньяка.

Пока посетитель закуривал из золотого портсигара и осматривался по сторонам, к нему вальяжной походкой приблизился метрдотель-туземец, чье плоское луноподобное лицо по пьянке можно было принять за поставленный на ребро бронзовый поднос (а именно такие были в ходу у местных официантов).

Витиевато поздоровавшись, метрдотель осведомился о цели визита столь достойного гостя (некоторые клиенты заглядывали в «Серебряный омуль» вовсе не из гастрономических интересов, а с целью заказать девочек или приобрести травку).

— Намереваюсь перекусить, — ответил тот. — Кенигсбергский городской голова Роман фон Кнобель однажды рекомендовал мне вашу ресторацию.

— Романа Карловича мы хорошо знаем. — Метрдотель улыбнулся и глаза его при этом совершенно исчезли. — Сердечный человек. Однажды хрустальной посуды в буфете на двести рублей побил.

— Это у него не отнимешь, — кивнул гость. — Тевтонская кровь. Рыцарь скандального образа.

— Вот только с вашим размещением затрудняюсь, — посето-

вал метрдотель. — У нас, как видите, аншлаг. Свободных столиков в наличии нет.

— Не беда. Я согласен подсесть к какому-нибудь достойному гражданину.

— А не лучше ли к гражданке? — метрдотель понизил голос.

— Нет-нет. Я, знаете ли, устал с дороги. Предпочитаю помолчать в компании мудреца, чем развлекать пустоголовую дурочку.

— Мудрецы к нам, каюсь, не часто захаживают. Но достойные люди всегда имеются. Не без этого... — Метрдотель окинул взором зал. — Обратите внимание на мужчину за угловым столиком. По-моему, вполне приемлемая кандидатура. В годах, одет прилично. Пьет умеренно.

— А он никого не ожидает?

— Вряд ли. Накрывать велел на одну персону... Подождите минутку, я осведомлюсь.

Все той же вальяжной походкой татарского баскака метрдотель приблизился к угловому столику и, поклонившись, заговорил о чем-то с мужчиной средних лет, державшим на вилке маринованный гриб. Тот мельком глянул в сторону бесприютного гостя и небрежно кивнул, заодно сделав метрдотелю упрек, касавшийся, впрочем, не качества блюд, а свежести роз, украшавших столик (весь букет незамедлительно заменили).

— Матвей Ильич Зряхин, журналист, — представился гость, усевшись на предназначенное ему место. — По служебной надобности из Петрограда.

— Репьев, — кивнул его визави, судя по всему, обосновавшийся здесь надолго. — Никита Петрович. Человек свободной профессии.

В мгновение ока появился официант, азиатский лик которого тоже можно было спутать со столовой посудой, но уже не с подносом, а скорее с супницей.

Для затравки он предложил гостю стандартный набор блюд — омуля под пикантным соусом, вологодский сыр, салат «Дары Байкала», рыбное ассорти, икру двух видов, заливной олений язык, жаркое из глухаря, молочного поросенка, фаршированного гречневой кашей, и медвежью отбивную «по-каторжански». Из горячительных напитков — тифлисское вино, крымский коньяк и варшавскую водку.

— Неси, — милостиво позволил Зряхин, но тут же уточнил: — А водка точно варшавская? Не шанхайская?

— Как можно! — воскликнул официант. — Натуральная «Збожжовая». Китайским товарам у нас давно бойкот объявлен.

— А сам ты часом не китаец? — Зряхин взыскующе уставился на официанта.

— Упаси боже! Я коренной россиянин. Крещеный к тому же. Могу предъявить специальное удостоверение от министерства национальностей и культов.

— Ну, смотри у меня... — Зряхин погрозил ему пальцем. — Икру на льду подашь, и лимончик к ней не забудь.

Когда официант удалился, Репьев флегматично молвил:

— Врет, шельма... Тут каждый третий косоглазый — китайский шпион. Купит себе родословную у бурята или якута и ходит гоголем. Коренной россиянин! Поди разбери, какой он породы на самом деле. Давно пора закон о генетической экспертизе гражданства принять. Почему Дума с этим тянет?

— Уж больно закон несовершенный, — сказал Зряхин. — Я его проект читал. Невинные люди могут пострадать. Например, потомки тех китайцев, которые в сороковых годах прошлого века бежали к нам от преследования коммунистов.

— Как сюда прибежали, так пусть и обратно бегут. Обойдемся без них. — Из батареи бутылок, стоявших перед ним, Репьев выудил одну, еще не початую. — Выпейте пока моей водочки, если не брезгуете. Я вам в ликерную рюмку налью.

— С превеликим удовольствием.

Чокнувшись, они выпили, а потом закусили муссом из раковых шеек (Репьев от блюд стандартных давно перешел к особенным).

Тем временем и заказ Зряхина подоспел. То, что не поместилось на основном столе, официант сгрузил на приставной.

— Я, как патриот, целиком и полностью поддерживаю бойкот китайских товаров. Но, как гурман, страдаю от отсутствия пекинских жареных уток, — вздохнул Репьев. — Ведь у нас их, откровенно говоря, готовить не умеют. Или недосолят, или на огне передержат, или специи не те положат. Конфуз получается, а не пекинская утка.

— Истинная правда! — поддержал его Зряхин. — Не дано нашим поварам постичь тонкости пекинской кухни. А все потому, что они душу в это дело не вкладывают. К халяве привыкли. Так и норовят словчить. Голову даю на отсечение, что это жаркое приготовлено не из глухаря, а из обыкновенной индейки. Разленился народ. Более того, разбаловался.

— Сия пагубная тенденция прослеживается во всех аспектах

нашей нынешней жизни, — наливая себе коньяка в фужер, молвил Репьев. — Жаркое из фальшивого глухаря это еще куда ни шло. Я вам про другой случай расскажу, совершенно плачевный. Недавно в одном готовом для запуска космическом корабле государственная комиссия обнаружила сигаретный окурок. И не где-нибудь, а в святая святых — навигационном блоке! Прежде бы за такое по головке не погладили, а нынче сошло. Кого-то из наладчиков лишили премиальных, а главному инженеру проекта объявили устное замечание. Просто профанация какая-то!

— Законы пора ужесточить, — кивнул Зряхин. — Тут двух мнений быть не должно. Но сами понимаете — демократическое общество, парламентская форма правления, разделение функций власти. За что боролись, на то и напоролись. Левая оппозиция в Думе провалит любой законопроект, направленный на изменение существующего Уголовного кодекса. Вот если бы либералы объединились с кадетами, тогда совсем другое дело. Но боюсь, сие невозможно.

— Да, павлина и осла в одну упряжку не поставишь, — согласился Репьев.

— Впрочем, я полагаю, что следующие выборы все расставят по своим местам. Пора бы уже народу прозреть.

— Не забывайте о том, что выборы могут и не состояться в связи с введением военного положения. А до этого рукой подать! — Репьев для наглядности резко выбросил вперед правую руку и едва не сбил цветочную вазу.

— Не преувеличивайте, — возразил Зряхин. — Думаю, и на этот раз все обойдется. Достаточно будет одних демонстраций. Да и результаты блокады должны сказаться. Поговаривают, что наши ударные авианосцы уже покинули места своего базирования.

— Покинуть-то они их покинули, но от Константинополя и Кенигсберга до Желтого моря дистанция немалая. Тем более что Суэцкий и Панамский каналы для пропуска таких махин не предназначены. Вокруг Африки придется идти. Крюк изрядный!

— Но атомные подлодки, по слухам, уже заняли позиции вблизи китайского побережья.

— А что толку? Не будет же атомный ракетоносец класса «Борис Савинков» гоняться за каждой джонкой. Полную блокаду столь протяженной береговой линии могут обеспечить только авианосцы. А их во Владивостоке, как назло, всего шесть штук. Причем один на ремонте, а два вынуждены постоянно патрулировать Японское море.

— Для человека свободной профессии у вас весьма глубокие познания в военном деле, — сказал Зряхин. — Многое из того, что вы сейчас сообщили, неизвестно даже мне, журналисту с достаточно широкими связями.

— А вы посидите с мое в этом ресторане, еще и не такое узнаете. — Репьев лукаво подмигнул соседу. — Совсем недавно один полковник-танкист, выпивший не меньше литра водки, детально разъяснил мне план предполагаемого вторжения в Китай. План, между прочим, весьма любопытный. С изюминкой, так сказать. Противник ожидает главный удар с севера, из района Кяхты через пустыню Гоби, где заранее сосредоточивает свои силы. А удар будет нанесен с востока, через реку Уссури и равнину Сунляо. Этим самым сразу отсекается вся Харбинская группировка, и дорога на Пекин открыта. Каково?

— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... — с сомнением молвил Зряхин. — Уссури — река коварная. Одни плавни да болота.

— Все предусмотрено! — Репьев пьяно хохотнул. — Восемь понтонных полков скрытно переброшены в район Хабаровска. Еще шесть находятся на марше. С такой техникой можно Корейский пролив форсировать, а не то что Уссури.

— Вы бы потише говорили, — посоветовал Зряхин. — Время тревожное, еще в контрразведку загребут.

— Плевать на контрразведку! Пусть китайцы свои секреты прячут, а русскому человеку скрывать нечего. Здесь все все знают. Желаете убедиться? Эй, потомок Чингисхана! — Репьев подозвал официанта. — Послушай, любезный, я приятеля ожидаю. Служит он в Сорок девятом полку дальней авиации. Не прибыли еще эти соколы на ваш аэродром?

— Сорок девятый полк дальней авиации? — призадумался официант. — Вчера сели две эскадрильи штурмовиков. Сегодня должен прибыть Четырнадцатый транспортный полк... А вот про дальнюю авиацию ничего не слышно. Хотя их могли и в Иркутске посадить. Если хотите, я узнаю.

— Сделай одолжение. Заодно и водочки захвати.

Едва Зряхин с Репьевым успели выпить по одной рюмке, как официант был уже тут как тут.

— Полк, про который вы спрашивали, отправился прямиком на Сахалин, — доложил он. — Приятель ваш сейчас, наверное, на берегу пролива Лаперуза прохлаждается.

— Вот видите. — Репьев скривил дурашливую гримасу. — А вы говорите: контрразведка! В контрразведке, между прочим, у

нас служат милейшие люди, прекрасно понимающие особенности русской души. Они на многое смотрят сквозь пальцы. Да и как иначе? Если придерживаться буквы закона, придется пересажать половину офицерского корпуса, если не больше. Это ведь никаких тюрем не хватит! К чему такая чрезвычайная мера? Сегодня какой-нибудь капитан или полковник изрядно выпьет вот в таком заведении, наврет с три короба первому встречному, плюнет в официанта, набьет морду собутыльнику, вступит в связь с продажной женщиной, опоздает на боевое дежурство, то есть совершит деяния, влекущие за собой как уголовную, так и дисциплинарную ответственность. Зато завтра он слезно покается перед командирами и товарищами, будет терзаться муками совести, а в боевой обстановке покажет чудеса героизма, стойкости и самопожертвования. Такая у него натура, ничего не поделаешь. Ее за тысячу лет ни Европа, ни Азия переломить не смогли. Вы со мной согласны?

— С известными оговорками, — ответил Зряхин, имевший какие-то свои контраргументы.

— Оговорки не принимаются! — Репьев по-рачьи выпучил глаза, но тут же расплылся в лукавой улыбке. — И вообще, если смотреть в корень проблемы, глухарей и всякие там фрикасе-пикасе должен готовить вовсе не россиянин, а какой-нибудь инородец, хотя бы тот же китаец. Вот он пусть свою душу в это малопочтенное мероприятие и вкладывает. А нашему брату совсем иная участь предназначена.

— Какая, если не секрет?

— Секрет! Но вам я его доверю, — наклонившись к уху Зряхина, Репьев внезапно гаркнул: — Жрать этого глухаря! Гы-гы-гы... А если серьезно: держать в повиновении все иные народы, создавать духовные ценности и моральные ориентиры, служить, так сказать, образцом для восхищения и подражания. В конце концов, мы империя или кто?

— В некотором смысле да. — Зряхин энергично растер свое пострадавшее ухо. — Если, конечно, абстрагироваться от принципов демократии и мирного сосуществования, заложенных в основу российской конституции.

— Абстраги-р-роваться! — предразнил его Репьев. — Вы можете себе представить, чтобы римский гражданин, пусть даже плебей, жарил глухарей на кухне? Или монтировал блок навигации... э-э-э, допустим, триремы? Это, простите за выражение, нонсенс. Истинный римлянин мог запачкать свои руки только кровью врагов или стилом для письма, из-под которого выходи-

ли бессмертные стихи и мудрые законы. Куиквэ суум! Каждому свое!

— Но ведь Римская империя просуществовала недолго, — с долей иронии заметил Зряхин.

— Хе-хе, недолго! Без малого тысячу лет, если само понятие «империя» толковать расширенно. А что за память о себе она оставила! Какие сооружения, какой язык, какие деяния, какой героизм! Да только нам тысячи лет не надо. Нам и века хватит, чтобы переделать весь мир.

— Заявление весьма смелое. Я бы даже сказал — опрометчивое. Покоряя другие народы, Римская империя покрыла себя не только славой, но и позором. Вспомним гибель Карфагена, разрушение Иерусалима, геноцид даков и галлов. Многие племена после контакта с Римом вообще исчезли.

— Что тут плохого? — Репьев, как мог, изобразил крайнюю степень удивления. — Динозавры тоже исчезли. Может, о них поплачем? Мы или они! Терциум нон датур! Третьего не дано!

— И кому же, интересно, вы отводите участь динозавров?

— На данный момент? — прополоскав горло шампанским, уточнил Репьев.

— Хотя бы.

— Если на данный момент, то великому южному соседу. Номина сунт одиоза! Не будем называть имена. — Похоже, что страсть к латинским афоризмам всерьез обуяла Репьева.

— Понятно. — Зряхин кивнул. — Но сей неназванный сосед может иметь несколько иную точку зрения на собственную участь. Не забывайте, что кроме всего прочего это еще и ядерная держава. Я уже не упоминаю здесь о весьма многочисленной и боеспособной соседской армии.

— Разве динозавры не обладали численным превосходством над всеми другими тварями, в ту пору населявшими землю? Ужель диплодок не был сильнее крысообразного первозверя, от которого произошли млекопитающие? А где сейчас потомки этих царей природы? В лучшем случае здесь. — Репьев ткнул вилкой в салат из черепашьих яиц.

— Динозавров убил астероид, а отнюдь не первозвери, — возразил Зряхин.

— Вот здесь вы попали в самую точку! — Репьев, и без того сидевший как на иголках, оживился еще больше. — Вроде бы дело случая, зато как эффективно! Попробуй побегай с ружьем за каждым отдельным динозавром. Он ведь, гад, наверное, стал бы сопротивляться. Такая махина, да еще с двумя мозгами! Резуль-

таты сомнительны, а жертвы неизбежны. Да и сколько времени потеряно зря. Кошмар! Совсем другое дело — астероид. Р-раз — и ваших нет! Наши соответственно в дамках. Но астероид — это уже слишком. Всем на орехи достанется. И правым и виноватым. Нужно придумать что-то более тонкое, более гуманное. Дабы не всю планету в прах обратить, а лишь некоторую ее определенную часть. Например, Великую Китайскую равнину вкупе с Лессовым плато.

— Что-то я не пойму... Это какая-то идея из области фантастики?

— Зачем же! Самая что ни на есть реальность. Секретное космическое оружие, имеющееся на вооружении российской армии. Не верите?

— Если честно, то нисколечко.

— Тогда давайте побьемся о заклад. Неужели денег жалко?

— Ваших жалко, — с нажимом на первое слово ответил Зряхин.

— Про мои беспокоиться не надо... Ставлю сотню. — Репьев извлек из кармана смятую банкноту с портретом Михаила Ивановича Терещенко, первого министра финансов свободной России.

— Принято. — Зряхин продемонстрировал свой туго набитый бумажник. — Но я даже не представляю, какие аргументы в пользу своей версии вы собираетесь привести.

— Окститесь! Привести сюда такие аргументы технически невозможно! — воскликнул Репьев. — Давайте еще немного выпьем, и я вас самого к этим аргументам доставлю.

— Надеюсь, вы не шутите?

— Какие могут быть шутки, если спор идет о ста рублях. Для меня это в конце концов вопрос чести! Эй, хан Батый! — подзывая официанта, Репьев постучал ножом о хрустальный графин.

— Чего изволите? — Тот как из-под земли появился..

— Приготовь счет, любезный. Мне и вот этому гражданину. Да гляди, не соври! И подыщи нам комфортабельный транспорт до поселка Онохой. Такси или частника.

— Придется за два конца платить. Туда и обратно.

— Заплачу, не твоя забота.

— Давайте я вас сам отвезу. — Если бы у официанта имелся хвост, он бы им подобострастно завилял. — Моя смена как раз через полчаса заканчивается.

— Годится, — кивнул Репьев. — А мы за полчаса прикончим

все, что еще представляет хоть какой-либо кулинарный интерес. Начнем или, вернее, продолжим с водочки. Под спаржу.

— Я лучше под грибочки, — сказал Зряхин. — И тем не менее все это выглядит весьма и весьма странно. Хотя в моей журналистской карьере случалось и не такое...

Вырвавшись из ресторанного чада на свежий воздух, Репьев замурлыкал какой-то мотивчик, отдаленно напоминавший вальс «На сопках Маньчжурии». Источник его вдохновения был налицо — типичный для азиатской степи холмистый пейзаж, тщательно оберегаемый от поползновений цивилизации.

Зряхин, как видно, имеющий музыкальный слух, по этому поводу не преминул заметить, что натуральные маньчжурские сопки имеют куда более пологую форму, чем здешние. И к тому же сплошь покрыты культурными насаждениями, основное из которых гаолян — китайское сорго.

— Так вы и в Маньчжурии побывать успели! — восхитился Репьев.

— Не приходилось, знаете ли.

— А ведь как все досконально знаете!

— Я, между прочим, и в Антарктиде не бывал, но знаю, что там водятся пингвины.

— Пингвины? Кто бы мог подумать! — продолжал выкаблучиваться Репьев. — А я, дурак, полагал, что кенгуру!

Официант, успевший сменить форменный сюртук на повседневное платье, проводил их к своей машине — довольно приличному внедорожнику «Ангара». В салоне уже кто-то сидел, и официант извиняющимся тоном пояснил, что это метрдотель, также закончивший свою нелегкую вахту (по причине наплыва публики ресторан работал круглосуточно, и обслуживающий персонал, согласно трудовому законодательству, сменялся через каждые двенадцать часов, чего нельзя было сказать о некоторых клиентах, бражничавших по два-три дня подряд).

— По пути ли нам? — усомнился Репьев.

— По пути, по пути! — заверил его официант. — В Тальцах выйдет... Ну как ему откажешь? Начальник все же.

— Вот и славно, — молвил Репьев, влезая на переднее сиденье. — Вы оба будете посредниками в моем споре с этим гражданином.

— А о чем спор? — поинтересовался официант.

— Не твоего ума дело, — отрезал Репьев. — Кондиционер есть? Включай. И музыку какую-нибудь заведи.

— Сами выбирайте. Дисков целая куча. — Официант, который таковым в данный момент уже не являлся, лихо рванул с места.

Машина понеслась вперед, освещая дорогу целой дюжиной фар. Метрдотель, занимавший своей тушей большую часть заднего сиденья, и стесненный им Зряхин молчали. Репьев менял компакт-диски в магнитоле, пока не подобрал музыку по своему вкусу — хор забайкальских казаков-староверов, завывающих что-то отрешенно-грозное.

Бесцеремонно проверив перчаточный ящик, в просторечье именуемый «бардачком», Репьев обнаружил там водительское удостоверение хозяина.

— Бато...жопа Цыденбаев, — запинаясь, прочел он. — Вот те на!

— Батожап, — ничуть не обидевшись, поправил водитель.

— Те вы еще россияне! — возмутился Репьев. — А говорил, что крещеный... Тебя, наверное, куда заковыристей кличут? — Он обернулся к метрдотелю. — Ты ведь из себя во-о-он какой видный! Сразу и не объедешь.

— У меня имя совсем простое, — охотно ответил метрдотель. — Жикцырен Сынгежапов.

— Ребята, вы меня просто убили. — Репьев поник головой. — А я еще собирался здесь жениться... Как хоть ваших баб тогда зовут?

— Мою жену зовут Артамон, — ответил Батожап. — Грамматический род в бурятском языке не выражен.

— А мою Очирханда, — добавил Жикцырен.

— Больше вопросов не имею, — сказал Репьев. — Ты бы, любезный, добавил газка.

Однако прокатиться с ветерком не получилось. Миновав одну армейскую колонну, внедорожник каждый раз попадал в хвост другой, а военным водителям, как известно, лихачить не полагается. Затяжному обгону соответственно мешали бесконечные встречные колонны.

Хорошо хоть, что бронетехника не попадалась — для ее прохода по обеим сторонам шоссе имелись грунтовые дороги, жутко перелопаченные гусеницами.

— Вчера самоходки на север шли, — сказал Батожап. — Целый день шли и всю ночь. Страшно сказать, сколько тысяч. Пыль солнце застлала.

— Зачем перебрасывать к границе такие массы обычных войск, если, по вашему утверждению, в российской армии имеется оружие невиданной мощи? — произнес Зряхин уже даже не с иронией, а почти с издевкой.

— А чтобы ввести в заблуждение разведку противника, — пояснил Репьев. — Заодно и некоторых любопытствующих типов вроде нас с вами.

Дорога впереди разветвлялась, и в этом месте находился пост военной автоинспекции, усиленный парочкой бронетранспортеров.

— Тальцы прямо, а нам направо, — сбавляя скорость, сказал Батожап. — Только боюсь, как бы нас не тормознули.

— Против каждого яда есть противоядие. — Репьев прилепил на ветровое стекло машины бирку с кроваво-красной надписью «Проезд всюду». — Вчера у одного интенданта за бутылку водки выменял. Как чувствовал, что пригодится!

Постовые подозрительно покосились на проезжающую гражданскую машину, но этим и ограничились.

— Я, пожалуй, сойду, — сказал Жикцырен. — Отсюда до моей деревни рукой подать.

— Ничего подобного! — решительно возразил Репьев. — Успеешь в свои Тальцы. Сначала разрешим спор.

— Обещаю весь выигрыш пустить на пропой, — усмехнулся Зряхин.

— За что я не люблю журналистов, так это за их манеру порождать в людях беспочвенные надежды... Давай влево! — Репьев ухватился за руль машины.

— Там же знак «Проезд воспрещен»! — воскликнул Батожап.

— Дурак! Нам — проезд всюду! Даже в Кремль.

Бетонка, на которую они повернули, была пуста. Можно даже сказать, зловеще пуста. Через каждые пятьсот метров появлялся дорожный знак, прозванный водителями «кирпич». Затем пошли знаки, не предусмотренные правилами движения, — «Запретная зона» и «Стой, караул стреляет без предупреждения».

— Вам это ничего не напоминает? — Репьев покосился на Зряхина.

— А что это мне должно напоминать?

— Ну-у, не знаю... Исправительные лагеря, например. Колонию строгого режима. Каторгу, наконец.

— Не сподобился такой чести...

— Все поправимо, — уже совсем не по делу брякнул Репьев.

Спустя километров шесть-семь свет автомобильных фар уперся в зеленые металлические ворота с эмблемой аэрокосмических сил — соколом, летящим на фоне планет Солнечной системы.

Из проходной, на ходу натягивая повязку «Дежурный», появился офицер с мятым, полусонным лицом.

— Нам опять везет! — обрадовался Репьев. — Это же майор Сизокрылый, мой должник. Вместе в Селенге тонули.

Майор Сизокрылый (если, конечно, это был он) радости позднего гостя отнюдь не разделял. Проверив какую-то бумаженцию, предъявленную Репьевым, и осветив ручным фонариком салон машины, он недовольно буркнул:

— Одни мужики... Могли бы ради такого случая и парочку бабенок прихватить.

Когда машина была пропущена на охраняемую территорию, Зряхин нервно поинтересовался:

— Ради какого «такого случая»? Что имел в виду дежурный?

— Из ксивы, которую я ему всучил, следует, что мы являемся выездной концертной бригадой гарнизонного офицерского собрания. Певец, аккомпаниатор, артист разговорного жанра и силовой жонглер. — Похоже, что Репьев врал напропалую, но вывести его на чистую воду не представлялось возможным: бумажка, послужившая пропуском, осталась на проходной.

Дикая растительность за ограждением была куда пышнее, чем на воле, и скоро машина уже ехала через густой сосновый лес. Правда, мошкары здесь роилось столько, что иной раз казалось — метель метет.

— Не повезло тем, кто на этой базе служит, — сказал Репьев. — До высокогорной нормы всего десяти метров не хватает. А иначе бы совсем другой паек полагался и год выслуги за полтора шел. Хоть сам лопатой подсыпай.

— Зато место красивое, — похвалился Жикцырен. — Старики его называют Гнездом Злого Духа. В декабре, когда Байкал замерзает, тут такой ветер поднимается, что на ногах не устоять. Однажды к нам в Тальцы бочка авиационного бензина отсюда прикатилась. Отец ее на трех баранов променял.

— Одно плохо: ракеты, которые отсюда стартуют, иногда падают нам на голову. Степь как свалка сделалась. Скот нервничает. В каждой деревне крыши из казенного дюраля и бельевые веревки из высоковольтного кабеля, — пожаловался Батожап.

За этими разговорами они не заметили, как дорога стала постепенно спускаться в ров с бетонированными стенами, нырнула в просторный капонир, а потом и вовсе превратилась в тоннель.

Под землей везде горел свет, было людно, и даже вагончики ходили по узкоколейке. Документы у чужаков никто не прове-

рял, только на выхлопную трубу автомобиля заставили надеть фильтр, якобы поглощавший ядовитые газы.

У бронированной двери с надписью «Входа нет» Репьев велел остановиться.

— Вроде бы добрались, — не очень уверенно сообщил он. — Я когда в прошлый раз сюда наведывался, немного под мухой был, но основные приметы запомнил... Все, выходим! Машину смело оставляй, отсюда не угонят.

— Холодно-то как. — Зряхин поежился.

— Потому что земные недра, — пояснил Репьев. — Преисподняя! Но не царство мертвых, а... как бы это лучше выразиться... логово демонов возмездия. Только нам их бояться не следует. Здесь они вполне ручные и не кусаются.

Дверь, паче чаянья, открылась безо всяких проблем, и начались бесконечные лестничные переходы — иногда вверх, но чаще всего вниз, вниз, вниз...

Репьев радушно здоровался со всеми встречными (а это в основном были офицеры от майора и выше), но ему почти никто не отвечал.

— Послушайте, — сказал Зряхин, не очень-то привычный к долгой ходьбе. — Я согласен признать свой проигрыш. Деньги плачу немедленно. Только давайте, пожалуйста, вернемся.

— Ничего подобного! — возмутился Репьев. — Об этом не может быть и речи. Я не вымогатель какой-то. Имейте немного терпения. Скоро придем.

И действительно, распахнув очередную бронированную дверь (цвет которой вместо опостылевшей болотной тины на сей раз имитировал карельскую березу), они оказались уже не в унылом и пустом бетонном коридоре, порождавшем ассоциации с тюремными застенками, а во вполне обжитом и весьма просторном помещении. Легким полумраком и множеством уютных, изолированных лож оно напоминало зрительный зал оперного театра. Сцену заменял огромный телевизионный экран, разделенный по вертикали на три части.

Средняя часть изображала земные континенты в равноугольной меркаторской проекции. По этим разноцветным континентам, словно вошь по татуированной груди великана, ползла крохотная светящаяся точка, оставлявшая за собой явственный след, похожий на параболу. В настоящий момент точка добралась до долины Ганга, но, похоже, намеревалась плавно повернуть на северо-восток.

На боковых экранах картинки постоянно менялись: то это

была просто космическая пустота, расцвеченная звездами, то поверхность Луны с куполами и башнями станции Новый Тамбов, то какие-то чрезвычайно сложные металлические конструкции, опять же запечатленные на фоне черной вселенской бездны.

Живое существо появилось лишь однажды и скорее всего чисто случайно. Это был человек в космическом скафандре, явно не подозревавший, что за ним наблюдает такое количество зрителей. Звук его голоса сюда не доносился, но простые и доходчивые матерные слова легко читались по губам.

— Наш человек, — констатировал Репьев.

Повсюду — длинными рядами и отдельными группами — сидели люди в военной форме, и перед каждым светился экран компьютера.

В первых рядах поблескивали золотые генеральские погоны и бледные лысины, увенчанные седым пухом. Если кто-то в зале и разговаривал, то исключительно шепотом.

— Знаете, где мы сейчас находимся? — Репьев толкнул Зряхина локтем.

— Догадываюсь, — буркнул тот. — Не вчера родился.

Репьев отыскал для своей компании пустую ложу, расположенную на самых задворках, у аварийного выхода. Компьютеров здесь было больше, чем кресел, и все как один дружно демонстрировали миловидную косоглазенькую дикторшу, судя по высокопарно-торжественному тону, делавшую какое-то важное заявление.

— По-китайски чешет, — одобрительно произнес Репьев. — Вы нам, Матвей Ильич, не переведете?

— Увы, восточными языками не владею. — Похоже, Зряхина ничуть не удивило, что подвыпивший Репьев помнит его имя и отчество.

— Мне с китайскими поварами случалось общаться. — Жикцырен даже засопел от смущения. — Кое-что усвоил... Я так понимаю, что эта дамочка делает кому-то последнее серьезное предупреждение. Дескать, в противном случае наглые агрессоры получат по заслугам и навсегда зарекутся посягать на суверенитет и безопасность великого народа.

— Ай-яй-яй, какая грубиянка! — опечалился Репьев. — Хотя по виду не скажешь. Прическа — волосок к волоску. И ноготки накрашены. Натуральная принцесса Чумиза.

Зряхин, вытащив свой роскошный портсигар, попытался было закурить (нервы-то не железные), но неведомо откуда взявшийся офицер зловеще зашипел:

— Прекратить! Никакого курения, или я выставлю вас вон!

Зряхин, не привыкший к подобному обращению, хотел что-то возразить, однако офицер, вырвав у него уже зажженную сигарету, а заодно и весь портсигар, исчез столь же стремительно, как и появился.

— Ничего страшного, — успокоил журналиста Репьев. — После покурим. А вещи ваши непременно вернут. Ни одна сигаретка не пропадет.

Светящаяся точка на карте между тем уже двигалась над Тибетом. Изображения на боковых экранах более или менее стабилизировались. Слева на фоне звезд маячил какой-то космический летательный аппарат, формой напоминавший пивную бутылку. Справа давалась крупномасштабная панорама лунной поверхности, где среди дикого нагромождения скал выделялся комплекс громадных антенн, расположенных кольцом.

Внезапно бутылкообразный спутник пропал, и на его месте появилось человеческое лицо, отягощенное громадным числом малосимпатичных деталей, в обычных условиях почти незаметных. Так, например, каждый волос, торчащий из ноздри, был толще бревна, а каждая пора напоминала лунный кратер.

— Узнаете? — прошептал Репьев. — Сам командующий аэрокосмическими силами генерал Корнилов... Потомок спасителя России Лавра Георгиевича... Принял, так сказать, славную эстафету от великого предка.

Человек на экране заговорил, и по всему залу разнесся властный голос, усиленный многочисленными динамиками:

— Продолжаем работать по заключительной стадии проекта «Пхур-ту».

Всезнающий Репьев немедленно пояснил:

— «Пхур-ту» — это такой ритуальный кинжал, которым буддийские монахи изгоняют злых духов. Подходящее названьице, не так ли?

Никто не успел ответить ему, потому что громоподобный голос генерала Корнилова вновь оглушил всех:

— Командно-измерительным комплексам, задействованным в проекте, доложить о готовности.

Первыми откликнулись из космоса:

— Луна-один к работе готова. — Впечатление было такое, что говорящий находится где-то прямо в этом зале, а не за четверть миллиона километров от Земли.

То же самое слово в слово повторили и другие станции,

скрывавшиеся под кодовыми названиями типа «Алебарда» и «Гарпун».

— Жду доклада синоптиков. — Глаза генерала Корнилова, на желтоватой склере которых просматривался каждый сосудик, уставились куда-то вдаль.

Лунный пейзаж на правом экране замигал и резко сузился, и на освободившемся месте появилось изображение миловидной женщины, чей весьма достойный бюст был — увы — затянут в офицерский мундир.

— Погода в интересующем нас районе характеризуется крайней неустойчивостью, — сообщила дама-синоптик. — Я бы рекомендовала отсрочить осуществление проекта.

— Сие уже не в нашей компетенции, — изрек генерал. — Вы только что слышали официальное заявление китайского правительства. Сейчас все решают минуты, если не секунды... Какие отклонения от штатной ситуации вы прогнозируете?

— В связи с низким коэффициентом прозрачности тропосферы и аномальным геомагнитным фоном возможно рассеивание энергетического импульса в направлении северо-восток и северо-северо-восток. Будут затронуты весь Корейский полуостров и юг Уссурийского края. — Лицо женщины, даже несмотря на стократное увеличение, выглядело безупречно, лишь в глубине зрачков таился некий изъян, скорее угадываемый, чем очевидный, — то ли подспудный ужас, то ли душевный разлад.

— Группа стратегического планирования слышит меня? В указанных районах есть наши части? — поинтересовался генерал.

На экране женщину-синоптика мгновенно сменил взлохмаченный тип в полковничьих погонах, только что занимавшийся каким-то посторонним делом, о чем со всей очевидностью свидетельствовали его блудливые глаза. После некоторой заминки он доложил:

— Несколько дивизионов связи, до пяти батальонов войск разных родов, ракетно-зенитный комплекс.

— Своевременная эвакуация возможна?

— Попробуем... — Полковник наморщил лоб.

— Что значит — попробуем? — Генеральский рык едва не заставил динамики взорваться. — Вы как отвечаете? Что за расхлябанность на боевом посту? В отставку захотели?

— Прошу прощения, гражданин генерал. Эвакуация маловероятна, — отрапортовал перепуганный полковник.

— То-то же... — Командующий несколько смягчился. — К сожалению, война не обходится без жертв. Погибших предста-

вить к наградам. Военные юристы пусть займутся компенсациями... Что может доложить сектор разведки?

Шеф шпионского ведомства не стал афишировать свою личность — предназначенная для него часть экрана покрылась мраком. Да и голос звучал как-то неестественно — так могла бы говорить ожившая деревянная кукла:

— Данные радиоперехвата, визуальные наблюдения и агентурные сведения разнятся в деталях, но совпадают в главном — во вражеском стане царит замешательство. Политическое руководство утратило единство. Генералитет занят внутренними дрязгами. Имеются первые признаки паники. Все мероприятия, направленные на дезинформацию противника, выполнены. В настоящий момент проводится всеобъемлющая операция по окончательной ликвидации вражеской агентуры в восточных и юго-восточных губерниях.

— Пожелаю вам успеха... А сейчас попрошу от всех, кто слышит меня, предельной собранности. Каждая группа работает по своей индивидуальной программе. Запуск исполнительного механизма будет произведен автоматически в заданное время. Да поможет нам бог!

На боковые экраны вернулись прежние картинки: космический аппарат, летящий над Землей, и лунная поверхность, испохабленная человеком. Причем сразу бросалось в глаза, что на обоих спутниках, как искусственном, так и естественном, произошли разительные перемены.

Летающая бутылка, раскрыв свои борта, превратилась в летающую плоскость. На Луне, в центре антенного кольца, разверзлась пропасть, из которой медленно поднималось некое циклопическое сооружение — ни дать ни взять новая Вавилонская башня, на сей раз силой сверхсовременных технологий защищенная как от смешения языков, так и от тяжкого пресса земной гравитации.

— Ох, что будет... — пробормотал Батожап. — У меня аж поджилки трясутся...

— Объясняю для непосвященных, — стараясь не привлекать к себе постороннего внимания, вполголоса молвил Репьев. — Сейчас вы видите космическую мину, летящую за пределами нашей атмосферы. Очень скоро она взорвется, но не просто взорвется, а превратится в антивещество. Тот, кто хоть шапочно знаком с теоретической физикой, легко представит себе примерную мощность такого взрыва. Вопрос другой — как распорядиться высвободившейся энергией. Установка, на ваших глазах выпол-

зающая из лунных недр, для того и предназначена. Это, так сказать, ловушка-излучатель. Два в одном, как сулит реклама. Она не позволит энергии аннигиляции рассеяться в пространстве, а компактным пучком направит в заранее намеченную цель.

— К нам, на Землю? — с опаской поинтересовался Жикцырен.

— Куда же еще...

— В том месте, наверное, очень светло станет, — осмелился предположить Батожап.

— Светло, — кивнул Репьев. — И очень жарко. Температура на поверхности грунта достигнет нескольких тысяч градусов. Все органические вещества, естественно, мгновенно испарятся или обуглятся. Тех, кто скроется в глубинах планеты, достанет жесткое излучение невиданной интенсивности, а окончательно добьет ударная волна, способная превратить в крошево самый прочный базальт и самый толстый бетон. Диаметр зоны поражения составит приблизительно три тысячи километров. То, что не сделает первый аннигиляционный заряд, довершит другой. Вон он, родимый, на подходе...

Репьев кивнул на демонстрационный экран, по которому уже ползла новая светящаяся точка, в точности повторяющая путь предыдущей.

— Грандиозно! — сказал Батожап. — Шашлык из миллиарда душ.

— А я овец в кошару не загнал, — приуныл Жикцырен.

Зряхин ничего не сказал, но, похоже, скрипнул зубами.

В следующее мгновение раздался тревожный гудок сирены, и на всех экранах сразу возникло слово «Пуск».

Первая светящаяся точка, достигшая мест слияния двух великих рек Хуанхэ и Вэйхэ, исчезла. Тут же полностью пропало изображение на левом экране — полько помехи заплясали. По поверхности Луны стремительно пробежали длинные черные тени, а потом все там окуталось пылью, чего, наверное, не случалось уже несколько миллионов последних лет.

— Дайте изображение Земли из космоса, — потребовал через динамики генерал Корнилов.

— Придется подождать, — ответили ему. — Вся следящая аппаратура на Луне и космических станциях отказала. Очень сильный электромагнитный импульс. Может так случиться, что компасы людям уже больше не понадобятся. Сейсмическая служба регистрирует в юго-восточном направлении землетрясение си-

лой до десяти-двенадцати баллов по шкале Рихтера. Имеются также...

— Хватит, — отрезал командующий. — Сделаем небольшой перерыв. Надо выпить шампанского...

— Я бы тоже выпил, да жаль, нечего. — Репьев задернул шторку, отделяющую их ложу от остального зала. — Ну вот и все, Матвей Ильич. Представление закончится уже без нашего участия. Кто выиграл пари?

— Вне всякого сомнения, вы. — Зряхин вел себя спокойно, только пальцы его дрожали, и, дабы скрыть это, он попытался сунуть руки в карманы.

— А вот не надо! — Жикцырен, все последнее время проведший на ногах (кресла ему не хватило), положил свою огромную лапу Зряхину на плечо. — Руки держать на виду.

— Что это еще за новости! — возмутился журналист. — Да как вы смеете!

— Закрой хайло, свояк. Можно подумать, что тебя в первый раз вяжут.

Бритвой он ловко оттяпал Зряхину лацканы пиджака, а потом вместе с Батожапом провел тщательный обыск. Добыча оказалась небогатой — бумажник, перстень, булавка для галстука, связка ключей, носовой платок.

— Все на экспертизу, — приказал Репьев, наблюдавший за обыском со стороны. — Тут электроники на миллион рублей.

— Сотенку-то возьмите, — процедил сквозь зубы Зряхин, которому как раз в этот момент надевали наручники. — Заработали.

— Непременно возьму. Но попозже. В рамочку ее вставлю и на видном месте повешу.

— Рядом с моим скальпом? Или вы, по примеру папуасов, высушиваете головы своих врагов?

— Не беспокойтесь, смертная казнь у нас отменена.

— Кому вы это рассказываете! Я не сявка дешевая.

— Верно, вы волк матерый. Не познакомиться ли нам снова?

— Хватит и одного раза. И вообще, мне осточертели ваши низкопробные шуточки. Поэтому от разговоров воздержусь.

— Тогда мне придется пообщаться с бездушной, хотя и весьма эрудированной машиной. — Репьев потыкал в клавиши стоявшего перед ним компьютера, и на экране появился портрет мнимого журналиста, снятый в казенном ракурсе «профиль — фас». — Вот видите... Никакой вы не Зряхин, а тем более не Матвей Ильич. Врать нехорошо.

— Людям врать — нехорошо. А всякой мрази — просто необходимо, — огрызнулся арестованный.

— Ваши оскорбления пропускаю мимо ушей. Зря стараетесь... — Репьев продолжал всматриваться в экран компьютера. — А зовут вас на самом деле Николаем Михайловичем Скрябиным. Вы правнук того самого бунтовщика-марксиста Скрябина, который после известных петроградских событий прошлого века бежал в Китай, где сначала примкнул к партии Гоминьдан, а впоследствии переметнулся к коммунистам. Хороша семейка! Все как один, включая женщин, активно участвовали в подрывной работе против России.

— Не против России, а против ее реакционного пробуржуазного правительства, — возразил арестованный. — Это совершенно разные вещи.

— Свои аргументы приберегите для суда присяжных. Про родственников больше не будем. Сейчас о них, увы, можно только скорбеть... Лично вам вменяется в вину нелегальный переход российской границы, подрывная деятельность и создание бандформирований в Персидской, Курдской, Тифлисской и некоторых других губерниях, сбор разведданных, составляющих государственную тайну, причастность к диверсионным актам, фальшивомонетничество, враждебная пропаганда и агитация, сопротивление органам власти, покушения на жизнь работников правоохранительных органов...

— В содержании притонов и сводничестве меня, надеюсь, не обвиняют? — перебил его задержанный. — А также в растлении малолетних?

— Чего нет, того нет.

— И на том спасибо.

— Пожалуйста. Букет и так достаточно пышный. На пожизненный срок вполне потянет... Хлопот вы нам, скажу прямо, доставили преизрядно. Из-под надзора столько раз ускользали, что и не счесть. А попались на простенький крючок. Для столь опытного агента это непростительно.

— Как-то не предполагал, что мной лично займется начальник всей российской контрразведки.

— Вот и вы меня опознали. Честно сказать, не ожидал... — предыдущие слова арестованного заметно озадачили Репьева. — Где же я, интересно, прокололся?

— Нигде, можете не волноваться... А узнал я вас по всяким иезуитским штучкам, о которых в нашей среде ходит немало легенд. К сожалению, узнал слишком поздно.

— Для вас — к сожалению, для меня — к счастью.

— Орден за мою душу предполагаете получить?

— Ну зачем же! Не ради орденов служим.

— Понятно, ради идеи... Только убедительно прошу вас: не утомляйте меня подобным бредом. Лучше дайте закурить.

По знаку Репьева Батожап извлек из кармана пачку сигарет, но арестованный отмахнулся от нее закованными руками:

— Сами этой дрянью травитесь. Я курю только свои... Мои принесите.

— Ишь чего захотели! — Репьев подмигнул ухмыляющемуся Батожапу. — Свои! Да ведь ваши сигаретки с сюрпризом. В одних — яд, в других — отмычки, в третьих — стреляющие устройства. Про сам портсигар я уже и не говорю. Уникальное произведение. Просто чудо шпионской техники! В нашем музее для него найдется достойное место.

— Даже сигарету пожалели... Думаете, я собираюсь вас убить?

— Меня — не знаю. А себя самого — вполне возможно.

— Нет, я бы еще пожил. Пусть даже и на тюремных харчах. Самоубийство не по мне. А вот к вам я испытываю жгучую ненависть. Даже челюсти сводит.

— Майор Цыденбаев, проверьте его рот! — отодвинувшись подальше, приказал Репьев. — Эти фанатики на все способны.

Батожап лезвием ножа разжал зубы арестованного (тот, впрочем, не сопротивлялся) и, как заправский стоматолог, стал изучать их состояние. Окончательное заключение было таково:

— Коронок нет. Пломбы натуральные. Под языком чисто. В общем, ничего подозрительного. Носовые каналы проверить?

— Повременим. — Репьев вернулся на прежнее место. — С чего бы это вдруг вы завели разговор про ненависть?

— Просто хотел узнать, какую смерть вы предпочитаете.

— Дома в постели.

— Но контрразведчику больше подходит пуля. Вражеская, естественно.

— Это если речь идет о неосмотрительном контрразведчике. О лопухе.

— Вот и подыхай лопухом!

Скрябин особым образом сплел пальцы закованных рук и, прежде чем кто-либо успел помешать ему, привел в действие стреляющее устройство, искусно замаскированное в протезе левого мизинца. Крохотная шприц-игла угодила Репьеву в предплечье, и смертельный яд, которым китайские императоры уби-

вали своих врагов на протяжении многих тысяч лет, подействовал почти мгновенно.

Полковник Сынгежапов, незамедлительно явившийся к месту трагедии, выговаривал своему коллеге:

— Сто раз я тебя предупреждал, что руки арестованным надо за спиной заковывать. Учи вас, мазуриков, учи... Вот и загремим теперь под трибунал. А ведь ордена светили...

ГОЛОС ИЗ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Ситуация, скажем, самая банальная. Очередной Репьев. Очередные злоключения. Очередная смерть.

И очередные проблемы!

Только, кажется, сделал дело, направил поток истории в надлежащее русло — ан нет, опять осечка. И чую, что на сей раз я сам виноват. Перестарался. То ли тягу к бунтарству в народе искоренил, то ли государственные устои чрезмерно упрочил.

Февральская буржуазная революция, как ей и полагается, свершилась в положенный срок, а вот октябрьский переворот что-то не состоялся. В результате все опять пошло наперекосяк, только уже иначе.

Впрочем, начнем по порядку. После падения монархии Временное правительство наделало массу глупостей, но с годик кое-как продержалось. Смутьянов усмирило, с голодом справилось, фронт не развалило, вольную чухонцам не дала. И даже до Учредительного собрания дотянуло.

А тут с божьей да американской помощью и победа подоспела. Одолела Антанта германо-австрийский блок. Стали победители мир делить. Сообразно с собственными аппетитами. Кому-то достался Эльзас с Лотарингией. Кому-то Того с Камеруном. Япония прихватила Маршалловы острова. Австралия — Новую Гвинею. Сербию накормили от пуза Боснией, Хорватией, Словенией, Македонией и переименовали в Югославию. Россию тоже оделили жирным куском — Восточной Пруссией и черноморскими проливами. Получите, дескать, компенсацию за свои муки, за свое долготерпение и за два с половиной миллиона загубленных душ.

Но главное не это и даже не контрибуция, поистине астрономическая. Главное то, что, избежав ужасов Гражданской войны, Россия получила возможность следовать путем цивилизованных

стран, таких, как Англия или Швеция, а не путем, скажем, Оттоманской Порты.

Кажется, живи себе да радуйся. Умножай богатства, плоди народонаселение. Продвигай в массы культуру, с которой у российских подданных, скажем прямо, во все времена было неблагополучно. Поддерживай добрые отношения с соседями. Заседай в Лиге Наций, благо Россия оказалась в числе ее учредителей.

Сначала так оно вроде и было, но со временем нарисовалась совсем другая картина. И не от вредности нашей, и не от жадности неосмысленной, а от какой-то, знаете ли, душевной ненасытности.

Ну всего нам мало! Узки привычные рамки. Уж если пир, так на весь мир. А если радость — так до слез. Плясать — до обморока. Любить — до смертоубийства. Горевать — чтоб чертям тошно стало.

Выпадет кого-нибудь в небе ловить, так не синицу и даже не журавля, а как минимум Змея Горыныча. Если в карты играть — обязательно с перебором. Вот так! Знай наших.

Опуская многие малозначительные частности, могу констатировать, что спустя всего век буржуазно-демократическая Россия из второстепенной страны, экспортировавшей лишь зерно, пеньку, лес, щетину, меха да эмигрантов, превратилась в сверхдержаву, в этакого мирового жандарма, на сей раз сытого и безупречно экипированного (кроме всего прочего ядерным и аннигиляционным оружием).

Но ведь жандарм — это вовсе не миссионер и не сестра милосердия. Его предназначение — пресекать брожение в умах и принуждать к порядку всех недовольных, как своих, так и чужих. Заодно, по мере возможностей, обращать в казну смежные территории с тягловым людом. Рвение для жандарма — черта похвальная. Суровость — тем более... Жаль только, что некому бывает поставить зарвавшегося жандарма на место.

Вот что порой случается, если огромная государственная машина, силой обстоятельств резко рванувшая с места, не имеет в своей конструкции тормозов. А ведь в иной реальности, которую я привык считать генеральной, таким тормозом послужил большевистский переворот. И пусть тормоз этот оказался во многом губительным для собственного народа (а какой же тормоз не стирает обод колеса?), но для всего остального мира в исторической перспективе он обернулся благом.

Обреченный на бестелесное существование, я тем не менее

остаюсь патриотом страны, в которой прошла вся моя короткая земная жизнь. Но в гораздо большей степени я патриот всего рода человеческого и просто обязан восстановить прежний баланс сил, привычный мне статус-кво.

А потому прощай, таинственное и непознаваемое ментальное пространство. В который уже раз прощай.

Здравствуй, мир людей, в одного из которых мне предстоит воплотиться. Здравствуй, тысяча девятьсот семнадцатый год христианской эры, для кого-то уже такой далекий, а для меня всегда близкий. Столь же близкий, как год гибели Илиона или дата основания Рима...

ДЖОН РИД, АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Ясным июльским днем, лишенным всех недостатков, свойственных южному лету, как-то: жары, духоты, пыли и мух, — на прекраснейшем клочке балтийского побережья, с одной стороны омываемом теплым мелководным заливом, а с другой — уютным озерцом, полным кувшинок, окуньков, стрекоз и солнечных бликов, появились три приезжих господина, одетых явно не по-дачному.

Один, демонстративно сложив руки на груди и попыхивая сигарой (для голодного Петрограда вещью редчайшей), держался особняком, а двое других расхаживали парой, тыкая тросточками в густую траву и кусты. Все трое натянуто молчали, и создавалось впечатление, что парочка в чем-то проштрафилась перед одиночкой-курильщиком.

— Хотя дело и происходило впопыхах, я прекрасно помню, что мы оставили здесь ориентир, пустую коньячную бутылку, у которой из предосторожности отбили горлышко, — произнес наконец невысокий головастый человек, совсем недавно сбривший бороду и усы, а потому ощущавший себя несколько стесненно. — Не правда ли, Григорий Евсеевич?

Его напарник, напротив, только что начавший отпускать на лице растительность, не совсем уверенно ответил:

— Вполне возможно, Владимир Ильич... Но не исключено, что это было чуть дальше, вон за теми кустами.

— Там мы уже были, не путайте меня ради всего святого, — отмахнулся бритый.

Этот нервный диалог привлек к себе внимание человека с сигарой, прежде целиком занятого какими-то своими мыслями.

— Интересные получаются дела, — молвил он с заметным

заокеанским акцентом, — шведскую границу вы пересекли, имея при себе два баула, битком набитых золотыми германскими марками, а спустя некоторое время явились в Петроград практически с пустыми руками. Меня вы, помню, клятвенно заверили, что спрятали деньги до лучших времен и впоследствии, когда сойдет снег, обязательно разыщете их.

— Разыщем, разыщем, — заверил его бритый, вместо «разыщем» произносивший «газыщем». — Мне в Швейцарии случалось и не такие тайники под снегом устраивать.

— Давайте про Швейцарию забудем, — строго сказал иностранец. — Здесь Российская империя, ныне переименованная в республику. Здесь пустая коньячная бутылка четыре месяца просто так лежать не будет, особенно в подобном месте. И не горлышко следовало отбивать, а донышко, чтобы посторонним людям неповадно было в нее дождевых червей складывать.

— Мы, признаться, не подумали. — Бритый и небритый виновато переглянулись. — Холод в ту пору стоял. Темень вокруг. Дождевые черви на память как-то не приходили.

— А все ли у вас было тогда в порядке с памятью? Бутылку-то вы, надо понимать, из Стокгольма не пустую везли. Здесь, наверное, и распили.

— Дабы не погрешить против истины, скажем так: докончили, — признался бритый, впрочем, без тени смущения. — Вам, американцам, людям без исторических корней и традиций, не дано понять русскую душу, вновь обретшую свою родину.

Привычно откинув назад лобастую голову, он хотел почесать бородку, но так и остался стоять с растопыренными пальцами, которые затем сами собой сложились в кукиш.

— И вот что в результате мы получили от своей родины, — с невеселым вздохом добавил он.

Иностранец, строгость которого была скорее напускной, чем искренней, между тем продолжал:

— Я вообще не понимаю, ради чего нужно было прятать эти деньги, с таким трудом добытые мною в Берне. Разве вы пираты? Или после долгого пребывания в Швейцарских Альпах вы возомнили себя гномами, стерегущими золото драконов? Как вас угораздило зарыть в мерзлую землю такую баснословную сумму? Еще вчера вы жаловались мне, что Временное правительство закрывает большевистские газеты и разоружает красногвардейцев. Да за средства, похороненные вами, можно было устроить десять подпольных типографий и вооружить целый полк!

— Кто же заранее мог предполагать, что нас встретят на

Финляндском вокзале цветами и оркестрами. — Бритый лукаво усмехнулся. — Мы готовились к самому худшему, вплоть до ареста. Вот, Григорий Евсеевич подтвердит. Зачем подносить такой богатый подарок Временному правительству. Вот мы и решили закопать деньги где-нибудь возле Сестрорецка, чтобы в удобный момент вернуться за ними. У вас, батенька, нет никакого понятия о конспирации.

Небритый, до того державшийся весьма застенчиво и скромно, вдруг с вызовом произнес:

— После окончательного торжества социалистической революции мы вернем вам это презренное золото!

— Пренепременно, — подтвердил бритый, обмахиваясь своей круглой шляпой. — У нового общества просто отпадет нужда в нем. Пролетарии, освободившиеся от вековой эксплуатации, будут строить из золота общественные туалеты. Пусть справляют свою естественную нужду на то, что являлось предметом поклонения для их классовых врагов! Разве это не послужит уроком истории для всего человечества?

— Позвольте с вами не согласиться. — Иностранец с задумчивым видом уставился на кончик своей сигары.

— Относительно золота?

— Нет, относительно общественных туалетов. В новом обществе их попросту не будет. Ну если только в самых незначительных количествах.

— Куда же они денутся? — удивился бритый. — Нужда ведь останется.

— Нужда останется. А туалеты исчезнут, — мрачно молвил иностранец. — Увы, такова общая закономерность всех социалистических революций, до сих пор не разгаданная теоретиками классовой борьбы.

— Да, у Маркса об этом ничего нет... — Бритый призадумался. — А где же, позвольте поинтересоваться, пролетариат будет справлять свою нужду?

— Где придется. За углом, за кустиком, в ближайшем подъезде, прямо посреди улицы.

— Прошу прощения, а как же дамы? — взволновался небритый.

— После торжества социалистической революции дам не будет.

— А кто тогда будет?

— Массы, — многозначительно произнес иностранец. — Массы, массы, массы, одни только массы.

— Интересно, кто это сказал?

— Николай Эрдман.

— Наверное, какой-нибудь очередной ренегат вроде Плеханова или Каутского. Ах, канальи! Еще и мнят себя социал-демократами. Так опошлили святое понятие, что мне даже стыдно причислять себя к этой партии... Григорий Евсеевич, приготовьте записную книжку. Я немедленно продиктую проект решения о переименовании Российской социал-демократической рабочей партии... ну, скажем, в Коммунистическую. Есть, правда, еще одно подходящее название — фашистская, — подразумевающее пучок прутьев, единство, но это доброе слово уже прибрал к рукам итальянский социалист Муссолини, с которым я встречался на конспиративной квартире в Цюрихе. Интереснейшая, скажу вам, личность, хотя марксизм трактует весьма превратно, на манер того же Троцкого, не к ночи он будь помянут.

— С переименованием партии торопиться не будем, — твердо сказал иностранец. — Тем более что партии как таковой в данный момент уже нет. Кто в подполье, кто в тюрьме, кто во вражеском стане. Все надо начинать заново. Вот почему я и вспомнил про эти деньги.

— Опять двадцать пять! Вы, батенька, придаете деньгам слишком большое значение. Плюньте на них, — посоветовал бритый и для наглядности сплюнул сам. — Беда в том, что вы во многом продолжаете оставаться на мелкобуржуазной платформе. Общение с рантье и лавочниками испортило вас.

— Смотря кого оно испортило, — молвил в ответ иностранец. — Вы ведь в Цюрихе и Париже с пролетариатом тоже не очень-то общались. Все больше с кельнерами да гарсонами. Пиво пили, на велосипеде катались, в кафешках танцевали. Себе ни в чем не отказывали. По дороге в Россию, где якобы ожидали ареста, не преминули посетить стокгольмские магазины. Разоделись в пух и прах. Ботиночки новые, костюмчики новые, даже тросточки — и те новые. Откуда, спрашивается, взялись капиталы?

— Но только не из ваших берлинских денег! — возмутился бритый. — Оделись мы на средства, собранные шведскими единомышленниками. И вообще, мне начинают докучать ваши упреки. Мы политические деятели, а не какие-то содержанки! Нашли о чем сокрушаться! О тридцати сребрениках, полученных от кайзера Вильгельма! Я не заключал с германскими империалистами никаких соглашений и не брал на себя даже моральных обязательств. А золото принял только как знак уважения, сделанный одной политической силой другой политической силе,

чьи интересы на определенном историческом этапе совпали. Я с чистой совестью могу игнорировать все спекуляции, распространяемые по этому поводу так называемой свободной прессой.

— Если собираетесь строить свободное общество, то привыкайте и к нападкам свободной прессы. В условиях подлинной демократии это священная корова. Поверьте мне как журналисту с именем и опытом, объездившему полмира.

— Ничего подобного! — запальчиво заявил бритый. — Я сам в прошлом журналист, и учить меня не надо! Для прессы может быть только одна истинная свобода — выражать волю пролетариата, наиболее передового класса нынешнего общества. Все остальное от лукавого! В случае прихода к власти большевиков мы немедленно заткнем пасть всем этим буржуазным газетенкам. На первое время вполне хватит и одной «Правды». Не так ли, Григорий Евсеевич?

— Именно так. — Небритый, которому, очевидно, сейчас досаждало абсолютно все, а в особенности солнечный свет, болезненно поморщился. — А не оставить ли нам на время это пустое занятие? Траву скоро скосят, и бутылка найдется. Есть в конце концов и другие приметы... Давайте лучше вернемся на станцию Разлив.

— Да, да! — оживился бритый. — В вокзальном буфете имеется вполне приличное пиво синебрюховского завода. Ничем не хуже швейцарского или немецкого. Великолепное пиво! Не так ли, Григорий Евсеевич?

Небритый на сей раз ничего не ответил, только кивнул, сглотнув слюну. Зато высказался суровый иностранец.

— Пива после социалистической революции тоже не будет, — внятно произнес он. — Поэтому привыкайте. Да и нечего вам делать на станции. Временное правительство объявило вас в розыск. За поимку назначена довольно внушительная сумма. На людях, сами понимаете, появляться опасно. Внешность вы слегка изменили, но этого мало. Придется пока здесь отсидеться. Благо, погода хорошая. Купайтесь, загорайте. Заодно, глядишь, и денежки найдутся. Если надо траву косить — косите. Надо землю копать — копайте. К осени и управитесь.

— Где же нам, позвольте узнать, жить? Не под кустом ведь? — заволновался бритый.

— Шалашик поставьте в укромном месте. Относительно снабжения я сам позабочусь. Разносолов не обещаю, но селедкой и черным хлебом обеспечу.

— Про чай не забудьте, — напомнил бритый. — И про газеты!

Газеты — это самое главное. Причем любых направлений, включая проправительственные.

— Газеты само собой, — кивнул иностранец. — Селедку-то во что-то надо заворачивать... Какие еще будут пожелания?

— Ружье, — сказал небритый. — И удочку.

— А мне что-нибудь для умственной деятельности. — сказал бритый. — Хорошо бы полное собрание сочинений Маркса и Энгельса.

— Полное не обещаю, — ответил иностранец. — Но «Критика Готской программы» и «Анти-Дюринг» будут.

— Благодарствую. — Бритый оглянулся по сторонам, как бы заранее выбирая место для лагеря. — И долго продлится это наше добровольное изгнание?

— До тех пор, пока в Петрограде все не утрясется.

— Вы хотите сказать: пока не прекратятся гонения на большевиков?

— Нет, пока большевики не доведут свои гонения на Временное правительство до логического конца и не возьмут власть одной рукой за горло.

— В чем же тогда должна состоять наша роль? — Бритый насторожился.

— В решающий момент вы возьмете правительство за горло другой рукой. Так вернее будет.

— Задушим, стало быть, министров-соглашателей. Ну-ну... А потом?

— А потом сформируете новое правительство и разделите министерские портфели между соратниками. Но предварительно скажете для истории какую-нибудь выспреннюю фразу про то, что социалистическая революция, о необходимости которой постоянно твердили большевики, победила. Впрочем, не мне вас учить ораторскому искусству.

Слова эти мало успокоили бритого. Картавя от волнения еще больше, он засыпал своего оппонента множеством вопросов, больше похожих на упреки:

— Кто же займется подготовительной работой? Агитацией в массах? Созданием рабочих отрядов? Организационными мероприятиями? Разложением казачьих и юнкерских формирований? Подпольной печатью? В партии почти не осталось толковых товарищей, способных взвалить эту непомерную ношу на себя. Как они обойдутся без нас?

— В феврале распрекрасно обошлись. Обойдутся и на сей

раз. Меньше будет фраз, зато больше дела. Победа добывается не резолюциями, а штыками.

— По-вашему, мы не годимся для вооруженной борьбы? — возмутился бритый. — Вы ставите нас на одну доску с безответственными болтунами вроде Дана и Церетели! Отсюда один шаг до прямого обвинения в забвении интересов пролетариата. Хуже того, вы, очевидно, полагаете, что мы просто путаемся в ногах у восставшего народа!

— Ничего подобного. Все как раз наоборот. Вы, Владимир Ильич, вождь пролетариата. Вы его знамя, и никто это не оспаривает. И когда пролетариат пойдет в свой решительный бой, знамя должно быть у всех на виду. Впереди штурмующих колонн. А что же получится, если коварные враги не сегодня-завтра вырвут это знамя из ослабевших рук трудящихся и надругаются над ним? Совершенно понятно, что такая беда глубоко опечалит пролетариат. Как следствие он может пуститься во все тяжкие, даже в запой. Вот вам и конец революции. Печальный конец. Так что берегите себя, Владимир Ильич и Григорий Евсеевич. Но и мы, со своей стороны, я имею в виду центральный комитет и всех сочувствующих партии большевиков, тоже будем беречь вас. Снабдим фальшивыми документами, оденем попроще, оградим от нежелательного внимания буржуазных элементов. Когда погода начнет портиться, переведем в какое-нибудь теплое помещение, под крышу. А Рождество, надеюсь, вы встретите уже в Зимнем дворце.

— Спасибо на добром слове, товарищ Джон Рид. — Бритый опять машинально потянулся к своему голому подбородку, но тут же отдернул руку. — Для российского рабочего движения вы сделали чрезвычайно много. Вытащили нас из швейцарского захолустья, постоянно поддерживали материально, можно сказать, спасли в страшные дни разгула буржуазной реакции. Надеюсь, мы будем плодотворно сотрудничать и в дальнейшем. Большевистская партия, со своей стороны, изыщет возможность по достоинству вознаградить ваши заслуги.

— Мне много не надо. — Джон Рид скромно потупился. — У подножия мемориала, где найдут свое вечное успокоение борцы, павшие за свободу трудящихся, оставьте местечко и для меня.

— Какие-то у вас шуточки невеселые. — Бритый прищурился, словно лекарь, выискивающий у пациента тайную хворь. — Сами ведь говорили, что скоро все наладится.

— Это смотря что наладится... Я, Владимир Ильич, знавал многих людей, чьи мечты сбылись, но ни единого, кого бы это

долго радовало. Скорее наоборот, вместо радости наступало горькое похмелье. Боюсь, как бы и вас не постигла подобная участь... — Джон Рид отошел немного в сторону и носком ботинка выковырял из травы невзрачный бурый гриб из тех, которыми гнушаются даже самые прожорливые жучки. — Вот вам еще одно поручение. Кроме поиска денег, конечно. Собирайте для меня вот такие грибочки. Режьте их на части и сушите на солнце. Чем больше соберете, тем лучше. По мере накопления их будет забирать специально посланный мной человек.

Владимир Ильич Ленин просьбе американца особого значения не придал, видимо, сочтя за очередное чудачество, а подошедший ближе Григорий Евсеевич Зиновьев брезгливо поморщился.

— Это ведь поганка. Ее еще собачьим грибом зовут. Сущая отрава. Лучше я вам боровичков соберу. Они вот-вот должны появиться. Жареные боровички под «смирновскую» — истинное наслаждение! — Он чмокнул кончики пальцев, сложенные щепотью.

— Боровичков мне как раз и не надо, — запротестовал Джон Рид. — Для собственного употребления, конечно, собирайте. На одной селедке долго не протянешь. Но я интересуюсь исключительно вот такими уродами. Только попрошу вас каждый раз после окончания сбора грибов тщательно мыть руки. Не приведи господь, если пролетариат раньше срока потеряет своих вождей... Вам же, Григорий Евсеевич, мой личный совет. Причем совет настоятельный. Постарайтесь все же найти пропавшие деньги. Иначе лет этак через двадцать про них опять вспомнят. Но разговаривать с вами будут уже на повышенных тонах. Вполне возможно, что дело дойдет и до рукоприкладства.

— А уж это, батенька мой, вы загнули! — воскликнул Ленин. — Никогда не поверю, что через двадцать лет после торжества социалистической революции в нашей стране к кому-либо из свободных граждан будет применяться насилие.

— Будет, — невесело усмехнулся Джон Рид. — И через двадцать, и через сорок, и, наверное, даже через сто. Революцию в сознании сделать куда сложнее, чем революцию на улицах.

— Вы прямо фантазер, — не унимался Ленин. — Вас бы свести с бывшим революционером Александром Александровичем Богдановым. Мало того, что он скатился с позиций диалектического материализма в болото идеалистических воззрений, так еще и написал нелепую книжонку под названием «Красная звезда», где далекое будущее человечества представлено в совершен-

но ложном свете. Люди у Богданова пользуются услугами разумных машин, летают на Марс при помощи энергии атома, питаются искусственной пищей, а в промежутках между этим предаются свободной любви и декларациям в духе Маха и Авенариуса. Каждое слово в этой книжонке, а возможно, и каждый знак препинания попахивают махровым ревизионизмом.

— С Александром Александровичем я знаком довольно близко, — сказал Джон Рид. — Правда, наши общие интересы находятся скорее в сфере научной, чем в литературной. В основном они касаются проблем манипулирования человеческим сознанием.

— Ах, опять этот идеализм, — замахал руками Ленин. — Опять поповщина и филистерство!

— Не скажите. Направление в научном смысле весьма плодотворное. Да и практическая его реализация обещает принести интереснейшие результаты. Людей больше не придется убеждать речами и прокламациями. Пропагандистов и агитаторов заменят химические вещества и особые радиосигналы. Откушают люди специально приготовленного супчика, прослушают записанную на фонографе простенькую мелодию — и сразу воспрянут духом. Или с тем же успехом впадут в глубочайшую депрессию. В зависимости, так сказать, от запросов текущего момента... Что касается упомянутого мной Николая Эрдмана, то никакой он не ревизионист, а нормальный пролетарский драматург, хотя и весьма талантливый. Вот из-за этого своего таланта он и хлебнул горя.

— Затравили буржуазные прихвостни? — поинтересовался Ленин.

— Нет, засадили в кутузку собственные братья — пролетарии. Впрочем, это случится еще не скоро... А сейчас давайте прощаться. Весьма спешу. Нынче же по неотложным делам отбываю на юг. Не забывайте о моих поручениях — грибы и деньги. Деньги и грибы.

Ясным августовским днем, отягощенным всеми недостатками, присущими южному лету, как-то: жарой, духотой, пылью и мухами, — от перрона одесского вокзала отправлялся пассажирский состав, сплошь представленный вагонами первого класса.

По некоторым приметам, очевидным для каждого знающего человека, состав можно было назвать литерным, то есть особо важным, идущим вне всякого графика, однако в расписании он значился как вполне обычный поезд Одесса — Санкт-Петербург (железнодорожное ведомство, известное своим консерватизмом,

не очень-то спешило с заменой названия недавно переименованной российской столицы — авось все вскорости вернется на круги своя).

И тем не менее состав был особенным. Крикливые мешочницы, бравшие штурмом даже бронепоезда, не смели и приблизиться к нему. Никто не совал в окна вагонов вареную кукурузу, копченых бычков, пироги с капустой и бутыли с молодым вином. Городская милиция, с недавних пор заменившая старорежимных жандармов, держалась в тени, а проще говоря, боялась высунуть нос на перрон. Кондукторы стояли у своих вагонов навытяжку, как гвардейцы, и билеты у прибывающих пассажиров проверять даже не пытались.

Надо сказать, что и сами пассажиры, собиравшиеся посетить революционную столицу, выглядели не совсем обычно. Все они как на подбор были мужчинами отменного здоровья и цветущего возраста, разодетыми в клетчатые пиджаки, малиновые жилеты, желтые штиблеты и щегольские канотье. Для Одессы подобная публика была не в редкость, но никогда прежде она не собиралась такой толпой в одном месте да еще средь бела дня. По крайней мере, аналогичного случая в памяти старожилов не сохранилось.

Багаж эти пассажиры имели при себе самый минимальный — так, выпить-закусить на первое время, — но их шикарные пиджачки подозрительно топорщились в самых неподходящих местах. А что поделаешь — времена изменились, и даже невзыскательные портовые гопники спешно меняли браунинги на маузеры.

Поездку в Петроград, названную в бульварной прессе «познавательной и ознакомительной экскурсией, призванной повысить культурный уровень одесских граждан», хлопцы с Пересыпи и Молдаванки воспринимали как очередное развлечение, из сплошной череды которых и состояла вся их жизнь, не обещавшая быть излишне долгой.

Перед державной столицей, где, правда, вместо царя нынче правил какой-то повсеместно проклинаемый Сашка Керенский, они не испытывали никакого ложного пиетета — щелкали себе семечки, безбожно дымили контрабандными сигаретами, ржали, как жеребцы, и не стеснялись в соленых выражениях. Надо полагать, что точно так же они собирались вести себя и на Невском проспекте.

В просторном комфортабельном купе, предназначенном исключительно для особ императорской фамилии и зарубежных

послов, расположился король местного преступного мира Мишка Винницкий, больше известный под кличкой Япончик. Компанию ему составлял знаменитый американский журналист Джон Рид, за последние годы не пропустивший ни одной вооруженной заварухи и недавно публично заявивший, что намеревается написать книгу под названием «Десять налетов, которые потрясли Одессу». Консультировать маститого автора взялся сам Япончик, и, похоже, небескорыстно.

До отхода поезда еще оставалось какое-то время, и пока Япончик проверял явку своих людей, отобранных не с кандачка, а по совету таких авторитетных в городе бандитов, как Рувим Каплун и Савка Ломовик, Джон Рид решил сбегать на Привоз, располагавшийся буквально в двух шагах от вокзала, на что указывал характерный селедочно-фруктовый дух, проникавший сюда даже сквозь ароматы угольной гари и машинной смазки.

Не то чтобы он нуждался в съестных припасах или каких-то дорожных мелочах вроде игральных карт или штопора, а просто хотел обозреть один из самых известных на европейском континенте рынков, о чудесах которого был много наслышан заранее.

Торговля начиналась еще на дальних подступах к Привозу и носила характер навязчиво-насильственный, чему в немалой степени способствовало громадное количество дезертиров, нашедших здесь свой приют и свой источник существования. Зазывные крики продавцов оглушали свежего человека, как рев шторма, но и эта сумятица голосов порождала порой свой девятый вал, свои незамысловатые перлы:

— Утка, копченая утка! Всего пять рублей штука! Если бы она могла за себя сказать, так попросила бы больше!

— Огурцы в рассоле, огурцы в рассоле! Чтоб вы так жили, как эти огурцы!

— Чеснок, дешевый чеснок! Папа римский имел бы большое счастье понюхать этот чеснок!

— Голуби, чистопородные голуби! Незаменимы в диетическом супчике, а если надо, слетают в Китай и обратно!

На слегка ошарашенного Джона Рида налетела распаренная баба, размахивавшая, словно флагом, огромными полосатыми подштаниками.

— Мужчина, исподники, как на вас пошитые! — Она попыталась примерить свой товар прямо поверх костюма клиента. — В точности по фигуре! Берите, сильно не пожалеете!

Бабу оттеснил в сторону одноногий моряк, торговавший заплесневелым трубочным табаком, который, по его словам, был

добыт водолазами из трюма английского корабля «Черный принц», во время Крымской кампании затонувшего у Балаклавы вместе со всей войсковой казной. К табаку прилагалась нарисованная от руки карта местонахождения легендарных сокровищ.

Джон Рид от такого счастья деликатно отказался, но заманчивые предложения следовали одно за другим — патентованные пилюли против полового бессилия, коллекционные вина из подвалов святейшего князя Воронцова, французские подмышники, российские ордена, турецкий кофе, венецианское стекло (на диво мутное), античные монеты в большом ассортименте, медный почтовый рожок середины прошлого века, подзорная труба, переделанная в микроскоп («Кого сейчас тянет к звездам? — печально молвил продавец. — Зато все интересуются зловредными бациллами».), сильно расстроенная тальянка, нательный крест с животворящими мощами святителя Николая Тмутараканского, обувные стельки, излечивающие мозоли и подагру, винтовочный обрез, валенки с коньками (это в августе-то месяце!), револьвер «бульдог» с единственным («Но верным!») патроном в барабане, медвежья желчь, с виду похожая на обыкновенный деготь, пара кастетов (комплект для обеих рук), ножные кандалы, якобы снятые с самого Котовского, номерная бляха последнего одесского городового и прочая, и прочая, и прочая...

Несмотря на то что предприимчивые торгаши устроили на залетного иностранца настоящую охоту, он пробился-таки в глубь рынка и приступил к осмотру его сомнительных достопримечательностей, как движимых, так и недвижимых. К числу первых, например, относились такие ветераны Привоза, как тетя Песя Лапидус, не отходя от прилавка родившая, а главное, воспитавшая семерых сыновей, впоследствии ставших украшением банды Япончика, или отставной солдат Овсей Зуб, изрубленный под Мукденом самурайским мечом до такой степени, что сейчас деньги за свой грошовый товар он принимал пальцами босой левой ноги.

Очень скоро выяснилось, что купить здесь можно практически все, включая недавно побеленную будку таможенного поста, единственную на всю округу водонапорную башню, юных персидских невольниц, за которых выдавали бесстыжих бессарабских цыганок, и любую из маячивших на рейде роскошных яхт.

Впрочем, удивило Джона Рида не это, а колоссальная разница в ценах на один и тот же товар, продаваемый в разных концах рынка. Так, например, фунт осетровой икры, за который возле входа просили десятку, в дальнем конце Привоза тянул всего на

трояк, а стоимость кавунов, баклажанов и яблок на дистанции в пятьсот шагов падала раз в пять.

Сей феномен Джону Риду запросто объяснила одна веселая деваха, торговавшая вразвес россыпными спичками:

— Ты на воротах вещь купил и домой довольный пошел, а если в конец базара за дешевкой сунешься, можешь и без кошелька остаться. На риск у нас скидка.

Глядя на все это великолепие, как-то не верилось, что крупнейшие города России, в том числе и обе столицы, объяты голодом. Здесь даже позволяли отведать предлагаемый товар — колбасу, вино, сыр, фрукты, — правда, не всем подряд, а только солидным на вид клиентам.

Дабы не возвращаться в вагон совсем уж с пустыми руками, Джон Рид приобрел бутылку «настоящего» ямайского рома, имевшую на горлышке еще и висячую сургучную печать, круг тминной колбасы и томик апокрифических мемуаров великого инквизитора Томаса Торквемады, изданный в Харькове на украинском языке.

Рискуя растерять сии сокровища (попробуй унеси три довольно увесистые вещи в двух руках!), он прибыл на вокзал за десять минут до отправления поезда. По перрону в сопровождении многочисленной свиты уже расхаживал бывший одесский градоначальник, нынче состоящий в должности комиссара Временного правительства, и, кислыми улыбочками отвечая на приветствия бандитов, довольно внятно бормотал себе под нос:

— А щоб вам туды не доихать и назад не вернуться...

Япончик, покуривая в открытое окно вагона, сдержанно сказал:

— Мистер Рид, я могу задержать поезд и на сутки, но зачем начинать наш вояж с такой дурной приметы. Всем было строго приказано: за четверть часа до отъезда лежать на полках зубами к стенке.

— Простите, немного запоздал, — извиняющимся тоном молвил Джон Рид. — Хотелось напоследок еще раз подышать воздухом этого благословенного города.

— Дышать воздухом ездят в Аркадию, а здесь дышать можно только фекалиями.

Едва Джон Рид успел разместиться в купе, как Япончик стал придирчиво рассматривать его покупки.

Со словами: «Эту набитую дерьмом собачью кишку даже нищие есть не будут!» — он выбросил колбасу на перрон, едва не

угодив во фланирующего вдоль состава градоначальника, а откупоренное вино, понюхав, отставил в сторону.

— Беги на Привоз, позови сюда Шуру Рудя, — велел он через окно мальчишке-беспризорнику. — Шоб он через пару минут был здесь.

Пока мальчишка исполнял приказание, Япончик небрежно полистал книжку, посредством которой Джон Рид намеревался скрасить дорожную скуку.

— Знаю я этого Торквемаду, — сказал он, поморщившись. — Раньше он в Харьковском уголовном суде письмоводителем служил. За всех сочиняет. И за царицу Клеопатру, и за хана Мамая, и за самого Гришку Распутина. Лишь бы платили.

— У сочинителей горький хлеб, — вздохнул Джон Рид. — Знаю по себе.

Снаружи в окно деликатно постучали. Это спешно явился тот самый виноторговец, у которого была приобретена злополучная бутылка.

— Миша, — сказал он, — ты хочешь перед отъездом побалакать со мной за жизнь?

— Нет, Шура, — ответил Япончик. — Я хочу сказать, что ты меня просто удивляешь. С каких это пор бураковая самогонка пополам с денатуратом стала называться в Одессе ямайским ромом? Это же курам на смех.

— Миша, но ты обрати внимание на бутылку, — стал оправдываться Рудь. — Могу забожиться, что она приплыла сюда с самой Ямайки. Редкой красоты бутылка.

— Шура, вино не девка. В нем важно внутреннее содержание, а не оболочка, — вполне резонно заметил Япончик. — А потому забирай свое майно и пей его прямо у меня на глазах. И если в бутылке останется хотя бы одна капля, твоей дальнейшей жизни не позавидуют даже те погорельцы, которые изображены на картине «Последний день Помпеи». Ты ведь меня хорошо знаешь.

— Да, Миша, я тебя хорошо знаю, — согласился Шура Рудь. — Ох, вылезет мне это знакомство боком... А на перехват ничего не позволишь?

— Пей так. Настоящий ром не закусывают.

— Как хорошо, что моя любимая мама не дожила до этого момента...

Хотя Рудю полагалось быть крупным специалистом не только по изготовлению и сбыту, но и по употреблению спиртного, очень скоро на глаза несчастного виноторговца навернулись

слезы. Тем не менее он высосал бутылку до конца и в подтверждение своей лояльности даже перевернул ее горлышком вниз.

— Молодец, тут нет второго слова, — похвалил его Япончик.

— Какие могут быть споры между порядочными людьми. — Рудь утробно рыгнул. — Извольте получить денежки обратно...

— Денежки отнесешь в церковь, — распорядился Япончик. — Поставишь на них свечку за здравие раба божьего Александра.

— Миша, я не имею никакого отношения к православной церкви. Ты же знаешь, что мое место в синагоге.

— Глупый, эта свечка не про тебя, а про Сашу Керенского. Меня что-то очень беспокоит его здоровье. Не приведи господь, если, пока мы будем в дороге, он умрет или заболеет. С кем тогда иметь дела в столице? А ведь в Зимнем дворце, говорят, такие сквозняки...

Дежурный по вокзалу уже прозвонил в колокол отправление, когда на перроне вновь появился расторопный беспризорник.

— Вот, возьмите! Пиня Кисель передал. — Мальчишка бросил в окно серебряные карманные часы. — Они очень извиняются.

— Мои! — удивился Джон Рид. — Вот так случай... Передайте Пине от меня спасибо.

— Спасибо Пине передавать не надо. — Япончик оттеснил Джона Рида от окна. — Скажи ему, что, вернувшись в Одессу, я устрою на Привозе большой жидовский переполох.

— Веселый город, — сказал Япончик, когда Одесса скрылась за горизонтом и вдоль путей потянулась плоская, выжженная солнцем степь. — Веселые люди. Вокзальный телеграфист шепнул мне по дружбе, что городские власти отбили в столицу спешную депешу по нашему поводу. Вы думаете, что они просят встретить нас цветами и оркестром? Болячка им в бок, они просят поголовно арестовать всех пассажиров этого поезда и под конвоем отправить в самую надежную тюрьму. Можно подумать, что на свете есть такая тюрьма, откуда Миша Япончик не сбежит в первый же банный день!

— Я предусмотрел такое развитие событий, — сказал Джон Рид. — Если что-то петроградским фараонам и достанется, так это пустой поезд.

— Приятно иметь дело с умным человеком. Мне ваша Америка почему-то представляется как одна большая веселая Одесса.

— Примерно так оно и есть. За исключением того, что в Аме-

рике нет Потемкинской лестницы и Дюка Ришелье. Зато много негров, китайцев и индейцев.

— А они нам надо? В Одессе всякого сброда и так предостаточно. Вы думаете, что кто-то станет плакать по Мише Япончику? Сильно ошибаетесь. Желающих занять его место — это просто удавиться! Завтра же случится налет на такие приличные заведения, которые мои хлопцы всегда обходили боком. А одесситы потом скажут, что виноват я.

— Ничего, вам надо немного развеяться. Сменить обстановку. Перейти, так сказать, с провинциальной сцены на столичные подмостки.

— Это мы запросто. Такой спектакль питерским буржуям устроим, что и Марксу не снилось даже в самом страшном сне. После нашей революции месье Робеспьер перевернется в своем гробу от зависти.

— Ваша эрудиция меня обнадеживает. — Джон Рид, у которого от дыхания раскаленной степи начались головные боли, отодвинулся в глубь купе. — Ведь в Петрограде из короля налетчиков Миши Япончика вам предстоит превратиться в видного большевистского деятеля Якова Свердлова.

— Чего ради? Вы думаете, меня так больше зауважают?

— Просто это часть плана, подчиняться которому вы обещали. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время вам доведется занять один из центральных постов в революционном правительстве. Согласитесь, что человек с преступным прошлым может вызвать много нареканий со стороны недоброжелателей. Тут уж, хочешь не хочешь, а надо соответствовать. Придется слегка изменить манеры. Научиться носить пенсне и шейный платок. Сменить пиджачок на кожанку, а штиблеты на краги. Притоны и малины это одно, а партийные заседания и политические дискуссии совсем другое.

— За меня можете не беспокоиться. — Япончик показал большой палец. — А то я не терся среди образованных людей? У меня в приятелях ходили и анархисты, и бундовцы, и монархисты, и даже один профессор римского права. Вот кто мог сказать за жизнь. Ломовые извозчики из Слободки, слушая его, плакали навзрыд. А в Слободке жизнь далеко не сахар... Ксивы подходящие вы мне уже нарисовали?

— Вот, пожалуйста. — Джон Рид извлек из саквояжа тоненькую пачку документов, перевязанную тесемкой. — Все тут: паспорт, свидетельство об окончании пяти классов гимназии, освобождение от воинской службы по состоянию здоровья, справка

от полицейского пристава о частичном отбытии срока наказания, перечень некоторых фактов биографии, которые вам надлежит запомнить.

— Что он вообще за гусь, этот ваш Яков... — Япончик заглянул в паспорт, — Михайлович?

— Да так, ничего особенного. Враг существующих порядков, каких тысячи. Происходит из выкрестов. Отец гравер. Родился и вырос в Нижнем. Занимался агитацией среди рабочих и студентов. Сидел. Однажды шлепнул агента охранки, но следствие это не доказало. За границу не выезжал. В тринадцатом году сослан в Туруханский край. Там слегка повредился умом. В самом начале марта покинул село Селиваниху и по льду Енисея отправился за две тысячи верст в Красноярск. Дальнейшая его судьба неизвестна.

— Клички имел?

— «Малыш», «Андрей»... Там все написано.

— Его подельники подмену не раскроют?

— То-то и оно, что таковых почти не осталось. Да и беды здесь особой нет. Сейчас у революционеров все перепуталось, и не только у большевиков. У каждого по пять-шесть фамилий. В Питере есть только один человек, который хорошо знал Свердлова. Это Иосиф Сталин, он же Джугашвили. Будете работать вместе. Я вас сведу.

— Чтобы Миша Япончик промышлял на пару с каким-то кавказским козлом, с каким-то Мудашвили! — возмутился король налетчиков. — Что я, с забора упал! Да на меня после такого позора плюнет любой одесский прохожий и будет прав!

— Ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Сталин имеет авторитет среди большевиков, находится в курсе всех внутрипартийных интриг, а главное, в свое время тоже занимался налетами. Не один банк завалил.

— Ну если он идейный громила, тогда совсем другие пироги, — несколько успокоился Япончик. — Эх, был я сам себе хозяин, а теперь должен кланяться всем направо и налево.

— Питер не Одесса. Его за одну ночь на испуг не возьмешь. Но, учитывая ваши способности, я уверен, что все образуется. Скучать, по крайней мере, не будете. Ваши люди получат карт-бланш на запугивание столичной буржуазии. Сначала этот номер может и не проскочить, но после пяти-шести серьезных налетов дела пойдут столь же гладко, как и в Одессе. Властям не до вас. Старая полиция разгромлена, а новая милиция еще не оперилась. Им хотя бы с политическими справиться. Главный ваш бенефис, конечно, случится во время переворота. Берите двор-

цы, арсеналы, банки, склады. Другой вопрос, стоит ли их громить, если вы уже стали полновластными хозяевами этого добра.

— Мы, а не народ? — уточнил Япончик.

— Вы и кучка подобных вам счастливчиков. Но уж точно не народ.

— Если я что-то понимаю в политике, так ваш Маркс думал по-другому.

— Когда дело дойдет до дележки, кто же у Маркса будет спрашивать. Он свою жизнь красиво прожил.

— Большую игру вы затеяли, мистер Рид. Очень большую. Да вот только своих козырей до сих пор не открываете. Не пойму я что-то, где тут ваш интерес?

— Поверьте, Яков Михайлович, уж позвольте мне теперь вас так называть, что мои козыри откроются значительно позднее. Уже не при вашей жизни.

— Хитро заворачиваете, ох хитро... Таких проходимцев, как вы, даже в Одессе надо поискать. Одно слово — Америка...

Германский фронт еще с пятнадцатого года прочно обосновался в Белоруссии, и цивильные поезда между Черным и Балтийским морями ходили теперь через Первопрестольную, давая изрядный крюк. Однако, используя одному только ему известные связи, Джон Рид добился того, чтобы их состав пустили по старому маршруту через Могилев и Витебск, то есть практически через прифронтовую полосу. Это должно было не только сильно сократить время в пути, но и сбить с толку ищеек Временного правительства, буде те пожелают перехватить бандитскую «экскурсию» где-то на полдороге.

Впрочем, первому не суждено было сбыться — беспризорный поезд придерживали чуть ли не на каждой станции, пропуская вперед то воинские эшелоны, то санитарные составы, то бронелетучки. Не помогали ни просьбы, ни грозьбы, ни попытки сунуть «барашка в бумажке». Мздоимство, буквально разъедавшее тыловые учреждения, в зоне военных действий как-то не прижилось.

Отпетые одесские урки, памятуя категорический приказ Япончика вагоны без крайней нужды не покидать и вообще вести себя смирно, как «кочет в супе», отсыпались в предчувствии грядущих беспокойных ночей, играли по маленькой в «стос» и «секу», травили незамысловатые байки и трижды в сутки организованно посещали вагон-ресторан, где по примеру всей воюющей России царил строгий сухой закон.

Слегка оттянуться довелось только в Витебске, и то, правда, по прямому указанию Япончика. За полдня вынужденной стоянки (немецкий аэроплан сбросил бомбу, угодившую точнехонько во входную стрелку) хлопцы в канотье распотрошили дюжину вещевых лавок и устроили шмон на рынке, отличавшемся от Привоза в той же мере, в какой мелкая и болотистая Западная Двина отличается от могучего Черного моря.

Делалось это не в целях наживы или пустого молодечества, а исключительно ради того, чтобы сменить крикливые одежки, приличествующие ну разве только портовому городу, на скромное деловое платье, позволяющее легко затеряться в серой петербургской толпе.

Ослушников, покусившихся на местный самогон или на какие-то не соответствующие нуждам момента предметы вроде кошельков, бумажников, часов и золотых цепочек, Япончик лично бил по морде своим кулаком, увесистым, как трехфунтовая гиря.

Вот так, поневоле следуя марксистскому принципу «шаг вперед, два шага назад», сутками выстаивая в открытом поле, занимаясь самозаготовкой дров для паровозной топки, дважды попадая под шальной обстрел и постоянно отбиваясь от поползновения дезертирско-спекулянтских толп, одесситы кое-как добрались до узловой станции Дно, с которой у Джона Рида были связаны какие-то особые планы.

Поезд сразу загнали на запасной путь, а в сумерках напротив него остановился санитарный состав. Окошки столыпинских вагонов были замазаны известкой, а сами вагоны, кроме обычного знака Красного Креста, имели еще и другой, понятный только для посвященных. В международном своде сигналов бедствия он обозначал присутствие в транспорте инфекционных больных.

Едва только люди Япончика спешно перегрузились в новый состав, как на его площадках встали суровые часовые с винтовками. Отсюда и до самого Варшавского вокзала гости столицы проследовали уже без всяких приключений.

Вселяясь в конспиративную квартиру, расположенную в двух шагах от особняка легкомысленной плясуньи Кшесинской, еще в апреле месяце реквизированного большевиками, Миша Япончик философски произнес:

— Я все-таки удивляюсь на ваших буржуев. Как это жить, не имея никакого чутья! Я бы на их месте давно забился в темный угол и дрожал мелкой дрожью... А вообще город мне понравился. На каждом углу по медному всаднику или в крайнем случае по медному пешеходу. Куда там нашему малахольному Дюку...

...Хотя Рид был всегда на редкость выдержан (а чего зря суетиться, когда впереди у тебя целая вечность), но долгое ожидание в этом клоповнике, являвшем все признаки человеческого неблагополучия, причем ожидание издевательское, надуманное, не вызванное никакими особыми обстоятельствами, понемногу стало раздражать и его.

Человек, ради встречи с которым он заявился сюда, находился совсем рядом, за дощатой перегородкой, оклеенной замызганными обоями, давно превратившимися в лохмотья. Рид отчетливо слышал, как он осторожно расхаживает там, стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, как подходит к дверям, разделяющим две комнаты, и через щелку пристально рассматривает его, а потом опять отходит прочь, словно переборчивая невеста, так и не решившая, нравится ей жених или нет.

Когда происходящее окончательно надоело Риду, он громко откашлялся и затопал ногами, делая вид, что собирается уходить. Этот простенький прием сработал безотказно — дверь отворилась, и к нему вошел мужчина средних лет, ничем особенным, кроме своей неявно выраженной кавказской внешности, не примечательный.

Лишь люди, подобные Риду, знавшие, сколько преступлений предстоит совершить этому невзрачному, рябоватому человеку в дальнейшем, могли при его появлении испытывать какие-либо сильные чувства, чаще всего дающие о себе знать холодком, пробегающим по спине, или учащенным сердцебиением. Впрочем, сам Рид, благодаря бесконечной цепи перерождений лично знавший немало кровопийц и маньяков, оставался сейчас спокойным, как удав.

Нормальным людям в такой ситуации полагалось здороваться, и он, нисколько не чинясь, поздоровался первым.

Джугашвили (Сталиным его пока еще почти никто не называл, а только — Кобой или, хуже того, Чижиковым), категорию нормальных людей покинувший уже довольно давно, здороваться не стал, а лишь буркнул что-то маловразумительное да зыркнул на гостя глазами неопределенного цвета (одни находили их желтыми, другие — рыжими, третьи — карими) и столь же неопределенного, но во всяком случае недружелюбного, выражения.

— Вы якобы имеете ко мне поручение от Ленина? — Джугашвили выговаривал слова медленно и с расстановкой.

— Совершенно верно, — ответил Рид. — Но об этом несколько позже... Еле отыскал вас. Далеко забрались.

— Подальше спрячешься, целее будешь, — усмехнулся в усы Джугашвили. — Так, кажется, говорят в русском народе.

— Немного не так. Но сие не важно... Сразу хочу сказать, что вы прячетесь, в общем-то, зря. Временное правительство не имеет к вам особых претензий. Насколько мне известно, речь о вашем аресте даже не шла.

— Насколько ему известно! — фыркнул Джугашвили. — А кто вы, собственно говоря, такой?

— Я американский журналист, сочувствующий большевикам, и, между прочим, вы меня прекрасно знаете.

— Я знаю, что вы американский журналист. Но откуда американскому журналисту могут быть известны планы министра юстиции Временного правительства? Вы что, вхожи в его кабинет? Имеете общую любовницу? Играете с ним по воскресеньям в крикет? Что вы за птица?

— Несмотря на все свои промахи и шатания, Временное правительство старается придерживаться общепринятых в Европе демократических принципов. Список большевиков, подлежащих аресту, был опубликован в газетах. — Рид заранее знал, что, ведя переговоры с этим человеком, нужно научиться пропускать мимо ушей оскорбления, идущие вовсе не от ситуации, а от свойств его первобытной натуры.

— И вы верите газетам? — опять усмехнулся Джугашвили. — Тогда вам нечего соваться в политическую борьбу.

«Где уж мне против вас, Иосиф Виссарионович! Недоверие — ваша патологическая черта», — хотел было сказать Рид, но вовремя сдержался и произнес совсем другое:

— Сейчас вы наиболее авторитетный член большевистской партии, остающийся на легальном положении. Троцкий арестован, Ленин в глубоком подполье, Бухарин и Каменев, по сути, ведут ликвидаторский курс. Кому, как не вам, возглавить дальнейшую подготовку социалистической революции. В первую очередь это касается выпуска рабочих газет, повсеместной агитации и восстановления Красной гвардии.

— Какая социалистическая революция? — Джугашвили скривился так, словно раскусил клопа, орды которых в ожидании ночного пиршества уже шебаршили за обоями. — Социалистическая революция в июле закончилась крахом! Партия поддалась на уговоры некоторых безответственных авантюристов и, вместо того чтобы исподволь накапливать силы, ввязалась в открытую борьбу. Моська оскалила зубы на слона, вот и крепко по ним получила! Все сметено ураганом контрреволюции, как и в пятом

году. А вы болтаете здесь про какую-то дальнейшую подготовку. Э-э-э, глупые люди...

— Что же вы тогда предлагаете? Вообще поставить крест на партии?

— На той, что была, — да! — Джугашвили сделал решительный жест рукой, словно рубил кому-то голову. — Разве это партия? Одни болтуны и начетчики. Просидели всю жизнь по швейцарским да французским пивным, а мнят себя народными вождями. Понимали бы они что-нибудь в народной жизни! Самое главное для них — теоретические споры. Что сказал Бернштейн? А как ему возразил Бебель? А что по этому поводу думает Каутский? Схоластика! Только на язык скорые, а запал в бомбу никто не вставит и даже типографский шрифт в руках не держали. Чистоплюи... Нет уже прежней партии! И правильно Временное правительство сделало, что засадило Троцкого в тюрьму... Судить их всех надо, начиная с Ленина! За измену делу рабочего класса! Такая формулировка вполне подойдет. А тем, кто уцелел, бросать надо прежнюю говорильню. Пора возвращаться к методам революционной работы, опробованным после пятого года. Убивать министров, полицейских, предателей! Проводить эксы! Распространять листовки! Добывать оружие! В каждом городе создавать боевые дружины! Боевые, а не дискуссионные!

— То есть вы призываете большевиков из легальной парламентской партии превратиться в группу заговорщиков-террористов? Но ведь как раз в этом вас сейчас и обвиняют противники.

— Пусть обвиняют. Брань на воротах не висит. Придет время — посчитаемся.

— Не сомневаюсь... То есть на нынешнем этапе вы отвергаете легальные методы борьбы?

— Категорически! — Джугашвили принялся мерно расхаживать по комнате — от стенки к стенке, от стенки к стенке...

— Не мне, конечно, учить вас, но вполне вероятно, что истина, как это чаще всего и бывает, лежит где-то посредине. Партия должна походить на организм, способный не только выживать, но и действовать в любых условиях. Для нее одинаково важны как теоретики, так и практики. Кто-то заседает в Думе, кто-то пишет статьи для газет, а кто-то создает боевые отряды. Хотя, конечно, большевистская партия за последнее время дала сильный крен в сторону теоретиков...

— Разве это крен? Это переворот вверх дном! Считайте, что мы уже захлебнулись! — воскликнул Джугашвили, и Рид почему-то подумал, что смуглость его лица и желтизна глаз, возможно, как-то связаны с избытком желчи.

— Полноте, — произнес он миролюбиво. — Все не так уж безнадежно, как вы себе представляете. Проигранная стычка не означает проигрыш в войне. Согласен, для большевиков наступили не лучшие времена, но и Временное правительство дышит на ладан. Оно окончательно утратило поддержку общества. На него давят и справа и слева. Нельзя упускать такой момент. Война в Европе не сегодня-завтра закончится, и тогда говорить о революции будет поздно. Политическая ситуация в России колеблется, как маятник. Искусство истинного революционера в том и состоит, чтобы предугадать наиболее удобную для себя фазу. Хватит прятаться от жизни, пора активно вмешиваться в нее. Надо готовить социалистическую революцию.

— С кем готовить? — Джугашвили принял позу, которую нельзя было назвать иначе как «вопрошающей». — С трусом Каменевым? С лисой Рыковым? С публичной девкой Коллонтай? С книжным червем Луначарским? С аристократом Чичериным? Вы страдаете политической слепотой, господин американец!

— Не всем дано... быть провидцем, — с многозначительной паузой вымолвил Рид. — А соратники, на которых можно будет положиться, у вас будут. За этим дело не станет. Одного из них зовут Яковом Свердловым. Только не надо возмущаться! Это не тот Свердлов, которого вы знали по Туруханской ссылке... Или не совсем тот... Надеюсь, вы найдете общий язык. Подобно вам, он человек дела и не терпит пустопорожних рассуждений. А главное, при его особе состоит несколько сотен преданных людей, неспособных отличить материализм от идеализма, зато привычных к оружию. Ваш приятель Камо по сравнению с ними — кисейная барышня. С помощью этой публики вы пополните партийную кассу и дестабилизируете общественный порядок в Петрограде, что будет весьма на руку революционерам. Другие люди займутся тем же самым в Кронштадте, Москве, на Урале...

По мере того как Рид говорил, Джугашвили постепенно замедлял свои шаги, а потом и вовсе остановился. Теперь на гостя уставились не только беспощадные рысьи глаза, но и кривоватый, желтый (опять желтый!) от никотина палец.

— Вы за кого говорите? — Недостаточное владение языком имело то преимущество, что в моменты сильного возбуждения слова не путались, а, наоборот, изрекались хотя и редко, да метко. — За себя? За Ленина? За центральный комитет? За партию эсеров? Или, может, за Керенского? Кто вас сюда звал? Почему вы учите меня стратегии революционной борьбы? Возвращайтесь в Америку и учите там своих рабочих! А мы ученые! Все это

попахивает провокацией... Ступайте туда, откуда пришли, и будем считать, что этого разговора не было. Постарайтесь больше не попадаться мне на пути, господин журналист. И то же самое передайте вашему мифическому Свердлову!

Лицо Рида не выражало ничего, кроме скуки, которую, впрочем, можно было принять и за брезгливость. Дождавшись конца этой гневной филиппики, он сказал:

— Другого ответа и не ожидалось. Скажем прямо, я отношусь к вам без всякой симпатии, скорее наоборот. И на это есть свои причины. Тем не менее нам придется сотрудничать, и здесь уже ничего не поделаешь. А поскольку сотрудничать по доброй воле вы не желаете, придется использовать меры принуждения. Полистайте вот эту папочку... Там имеется десяток документов, позаимствованных из другой, куда более пухлой папки, о чем можно судить по нумерации листов. Некоторые бумаги вам хорошо знакомы, а кое-где имеется и ваша подпись. Прошу!

Поколебавшись немного, Джугашвили принял папку («бьют — беги, дают — бери»), раскрыл ее и с минуту изучал первый попавшийся документ, чему нисколько не мешал царивший в комнате сумрак.

Рид, знавший, что от этого человека можно ожидать любых сюрпризов, держался настороже.

— Вздумали испугать меня дешевой фальшивкой? — Джугашвили закрыл папку, но не отшвырнул ее прочь, как того следовало ожидать, а сунул под мышку.

— Приберегите эти трюки для более наивной аудитории. — Рид поморщился. — Хотите комплимент? Вы неплохо держитесь для человека, которому довелось воочию узреть свой ночной кошмар. Признайтесь, снилась, наверное, вам эта папочка, и не раз. Да и жандармский офицер снился, втравивший вас в этот срам. В феврале, на второй день революции, когда в Петрограде еще и духу вашего не было, я присоединился к толпе, громившей Охранное отделение. Подозреваю, что в подавляющем большинстве она состояла из тайных агентов сего малопочтенного учреждения, спасавших свою шкуру. Прежде чем здание объяло пламя, я отыскал в архивах несколько весьма любопытных досье, в том числе и на осведомителя охранки Иосифа Виссарионовича Джугашвили. Ваша подлая деятельность представлена там весьма подробно. Листки, которые я вам сейчас передал, это еще самое безобидное. Можете их сжечь, если желаете.

— Вы зря радуетесь. Большевиков не запугаешь клеветой. Мы к ней привыкли. Вам никто не поверит.

— Клевета есть клевета, а факты есть факты. Их легко проверить, тем более что многие из тех, кто указан в досье, благополучно живут и здравствуют. Как любит выражаться один мой одесский знакомый, им будет что сказать вам за свою исковерканную жизнь.

— Если я соглашусь принять ваши условия... — Джугашвили буквально выдавливал из себя каждое очередное слово.

— Если вы примете мои условия, а главное, выполните их, досье перейдет в вашу полную собственность. — Рид охотно пришел на помощь собеседнику. — Можете зажарить на нем шашлык, можете вставить в рамочку, можете завещать благодарным потомкам.

— А какая гарантия того, что вы сдержите свое обещание?

— Только мое честное слово. Знаю, что вы никогда никому не верите, даже Господу Богу, но ничего другого предложить не могу. А чтобы хоть как-то успокоить вас, скажу одну вещь. Если революция, о которой сейчас шла речь, восторжествует, то все опасные для вас люди, в том числе и я, окажутся в полной вашей власти. Как козлики у серого волка. Уверен, что этой своей волчьей властью вы сумеете распорядиться.

— Ладно, я подумаю.

— Бросьте! Не так вы устроены, чтобы думать. Вы уже для себя все решили, и это «ладно» я воспринимаю как «согласен». Завтра же отправляйтесь на станцию Разлив к Ленину и вместе с благословением получите у него формальные права местоблюстителя. Про нашу встречу, само собой, упоминать не стоит. А вот грибки, которые он там для меня собирает, доставите сюда... И не надо страстно пожирать меня глазами. Я не Сашенька Коллонтай и даже не Инесса Арманд... Утешайтесь мыслью, что ваши враги долго не живут. Увы, но это факт. Отныне нам предстоит встречаться довольно часто. Все инструкции будете получать только устно, дабы не закладывать основу для нового компромата... По душам мы беседуем в последний раз, а потому хочу дать вам один совет. Как идеалист материалисту. Революционером должна двигать не ненависть к угнетателям, а симпатия к угнетенным. Только при этом условии может состояться настоящая социалистическая революция. А пока — до свидания. Нахвамдис, как говорят у вас на Кавказе...

— Наверное, я первый заокеанский гость, посетивший эту скорбную обитель? — молвил Джон Рид, озираясь на толстые каменные стены, окружавшие его.

— Почему же... Журналистов американских я действительно не упомню, а вот иные соотечественники ваши бывали, — ответил начальник петроградской тюрьмы «Кресты», в кабинете которого и происходил этот разговор. — Однажды побывал у нас фокусник, мистер Гудини. По личному разрешению министра внутренних дел. Ну и ушлый молодчик! Всем нашим надзирателям нос утер. Его для пробы в кандалы заковали и в одиночке заперли. Выбрался! И пяти минут не прошло. Да мало того, что сам выбрался, так и других арестантов из камер повыпускал.

— Да, припоминаю, — рассеянно кивнул Рид. — Про этот случай писали в американских газетах. Только удивляться здесь нечему. Мистер Гудини — редкий феномен. Он не то что из тюремной камеры, а, наверное, даже из преисподней смог бы выбраться.

— Передавайте ему при случае нижайший поклон. Скажите, что помним и обратно ждем.

— Мистер Гудини несколько лет назад скончался от несчастного случая. — Рид сделал скорбное лицо.

— Свят, свят, свят. — Начальник тюрьмы перекрестился. — Все мы под богом ходим. Даже такие ловкачи... Кроме мистера Гудини попадали к нам и другие американцы. За разбой сиживали, за контрабанду, за поношение властей. Правда, надолго у нас не задерживались. Консульство ваше своих подданных в обиду не дает. Даже преступников.

Собеседник Рида на тюремщика вовсе не походил, а обликом своим скорее напоминал пожилого земского врача — добродушного, флегматичного, недалекого, хотя и знающего всю подноготную своих пациентов. Да и одет он был не в мундир, а в потертый штатский сюртук. Гостя он угощал чаем с вишневым вареньем и свежими баранками, за которыми бегал в трактир дежурный надзиратель.

— Как я понимаю, вы здесь недавно? — спросил Рид, для блезиру державший на коленях раскрытый блокнот.

— Здесь недавно. — Косточками пальцев начальник постучал по крышке стола. — А в тюрьме, почитай, уже лет тридцать. С простого коридорного начинал. Потом до старшего надзирателя дослужился. В феврале, когда царя-батюшку скинули, новая власть приказ издала. Приказ номер один, во как! Дескать, чины, звания, вставание во фрунт и отдание чести отменяются, а командиров надлежит избирать на митингах из числа нижних чинов. У нас хоть и не воинская часть, но митинг мы все одно собрали. В присутствии комиссара Временного правительства. Вот

тогда общество меня начальником и попросило. Я сначала отказывался, да уломали. С тех пор и тяну лямку. Сначала монархистов содержали, потом революционеров, которые супротив новой власти поднялись, а скоро, чую, и эту самую новую власть придется сажать. Для уголовников камер не осталось. Сплошь одни политические. Каждый вечер песни хором распевают. Про замученных тяжелой неволей и павших в борьбе роковой... А разве у нас, скажите, неволя тяжелая? Два часа прогулки ежедневно. Трехразовое питание, причем кормим лучше, чем во фронтовых частях. В переписке и свиданиях не отказываем. Вы же со своими знакомыми безо всяких проволочек увиделись... Борьбы роковой у нас вообще никакой нет. При прежнем начальнике, каюсь, случалось. Перепадало кое-кому под горячую руку. Зато теперь ни-ни. К арестантам на «вы» обращаемся, как к барам.

— Где же сейчас прежний начальник, позвольте узнать? — Внимание Рида привлек висевший в простенке портрет жандармского подполковника с молодецкими усами и совершенно безумным взором. — Наверное, на повышение пошел?

— Нет, здесь он, милостивец, у нас, — простодушно признался нынешний начальник. — В лучшем коридоре ему апартаменты предоставили. Прежде в таких только графья да именитые купцы сиживали.

— Что же он у вас — арестованный? — удивился Рид.

— Ну не так чтобы очень... — замялся бывший надзиратель, революционным вихрем заброшенный на самую вершину тюремной пирамиды. — Только пусть посидит до Учредительного собрания. Больно уж грозен был. Много из себя понимал... Учредительное собрание во всем и разберется.

— Как вы полагаете, — Рид сделал пометку в своем блокноте, — каким образом Учредительное собрание решит дальнейшую судьбу России?

— Царя-батюшку вернут, тут сомневаться не приходится, — с непоколебимой убежденностью заявил начальник тюрьмы.

— Но разве русский народ не страдал под игом самодержавия? Все говорят, что при царе плохо жилось.

— Пусть говорят. Русскому народу завсегда плохо жилось. Ему горы золотые дай, так он их пропьет-прогуляет. Натура такая. Царя теперь ругают, а при нем хлебушек стоил от силы две копейки фунт. Нынче и за пятнадцать не купишь. На улицах бандиты да дезертиры проходу не дают. Полицейского не дозовешься. Еще новую моду взяли — магазины и склады грабить.

Средь бела дня подъезжают на пролетках, наставляют револьверы и все подчистую выгребают. Если кто сопротивление окажет — пристрелить могут. Недавно в одной лавке хозяйку изнасиловали.

— Сопротивление оказала?

— Нет. Выручку в панталоны хотела запрятать. Отобрали и выручку, и панталоны. Мы, говорят, из Одессы, здрасьте!

— Безобразие. Такого нет даже в Чикаго, — сокрушенно покачал головой Рид.

— Вот, а вы говорите — царское иго... Коню лучше хомут, чем волчьи зубы.

— Чай я, значит, допил, спасибо, теперь и к делу пора приступать. — Рид многозначительно уставился на начальника тюрьмы.

— Ах, да-да... — Тот в смущении задвигал по столу разные письменные принадлежности: чернильницу, пресс-папье, бювар. — Вы опять про свое... Списочек-то ваш где?

— Прямо перед вами лежит.

— Теперь вижу. — Начальник водрузил на переносицу старомодное пенсне с помутневшими от времени стеклышками. — Знаю я этих господ. Культурные, обходительные... Согласен, здесь таким не место. С них и домашнего ареста вполне достаточно. Отпустим Троцкого, Луначарского, Каменева... Мадам эту отпустим, Коллонтай. Ох, и заводная бабенка! Аж горит вся... Не просто так, конечно, отпустим, а под залог, со всеми полагающимися юридическими процедурами. Но вот относительно Дыбенко, простите, ничем помочь не могу.

— Что так?

— Нельзя его сейчас на свободу выпускать. Зверюга, а не человек. Горя потом не оберешься. Когда его забирали, шестерых юнкеров изувечил. Теперь в цепях сидит на хлебе и воде. В карцере безвылазно. Кроме кандалов и решеток на него никакой другой управы нет. И хотел бы вам услужить, да не могу... — Начальник развел руками, и Рид заметил, что сюртук у него под мышками разошелся по швам.

— Ну коли так, пускай посидит. Глядишь, к февральской годовщине и одумается... Но режим содержания, надеюсь, вы ему сможете облегчить? За отдельную плату, разумеется.

— Это всегда пожалуйста. Сегодня же снимем цепи и вернем в общую камеру.

— Тогда будем считать, что все вопросы сняты. Это вам. Так сказать, в виде взаимной благодарности. — Рид положил на стол

пухленький пакет, который прежде скрывал под блокнотом. — Североамериканские доллары, как и договаривались. По нынешним временам самая надежная валюта.

— Премного благодарен. — Начальник тюрьмы смахнул пакет в выдвижной ящик стола. — Только всех сразу выпустить невозможно. Нездоровые слухи пойдут. Я их по одному, по двое... К субботе, глядишь, и управимся.

— Почему именно к субботе?

— Так ведь некоторые ваши знакомые в иудейской вере состоят. Наречены соответствующим образом, и фельдшер мне после осмотра докладывал:.. Небось захотят в субботу синагогу посетить, облегчить душу.

— Да они все неверующие! Хуже того, воинствующие атеисты. Впрочем, суббота меня вполне устраивает.

— Чайку больше не желаете?

— Нет, спасибо. И так на неделю вперед нахлебался. Живот как барабан.

— Заходите, если еще кто понадобится. Анархисты там какие или боевики-максималисты. Экземплярчики есть — ого-го! Под стать вашему Дыбенко.

— Буду иметь в виду...

Все произошло в соответствии с планом, разработанным Ридом. Троцкого выпустили из «Крестов» в самое неурочное время, чуть ли не на рассвете, да еще не через центральную проходную, возле которой всегда могли ошиваться экзальтированные личности обоего пола с цветами и шампанским, а через хозяйственные ворота, откуда как раз в эту пору бочками вывозили нечистоты.

Вот тут сразу и сказалась разница между двумя великими революционерами — Сталиным-Джугашвили и Троцким-Бронштейном. Первый, подобно крысе, предпочитал трущобы, подвалы, полумрак, малолюдье, а еще — явочные встречи, кулуарные решения, заочные приговоры. Второй, напротив, жить не мог без бушующей толпы, ясного дня, огромных площадей, дворцовых балконов, публичных обвинений и зажигательной полемики.

Оказавшись вдруг в узком промежутке между глухой кирпичной стеной и топким, изгаженным берегом канала, откуда не видно было привычных петроградских ориентиров вроде купола Исакия или шпиля Адмиралтейства, малознакомый со столицей Троцкий пришел в растерянность и стал заговаривать с прохо-

дившими мимо людьми, большинство из которых специально подослал Джон Рид.

После того как расхристанный солдат и не проспавшийся после вчерашнего перепоя рабочий послали будущего «демона революции» куда подальше, он сразу утратил интерес к общению с простым народом.

Вот тут-то и подкатил Джон Рид на шикарной пролетке!

— Кого я вижу! — воскликнул он с восторгом, в котором менее удрученный человек мог бы и усомниться. — Здравствуйте, Лев Давыдович. Сколько лет, сколько зим! Говорят, гора с горой...

— А марксист с марксистом обязательно свидятся, — закончил Троцкий, несколько воспрянувший духом. — Вы ведь, кажется, марксист, не так ли?

— Счел бы за честь считаться таковым, особенно в ваших глазах. Но боюсь, что мой теоретический багаж оставляет желать лучшего.

— Не вижу в этом особой беды. Многие наши самозваные лидеры вообще не читали Маркса, а если и читали, то в пересказе Плеханова или Аксельрода. Об истинном революционере следует судить не по количеству проштудированных томов, а по реальным делам. Вы вот сами, к примеру, сложа руки не сидите. По слухам, из «Крестов» нас освободили не без вашего участия.

— Стараемся по мере сил... А вы, я вижу, налегке?

— Как схватили филеры на улице, так прямо в кутузку и доставили. Вы здесь один? — Троцкий продолжал недоуменно оглядываться по сторонам. — Признаться, я рассчитывал на куда более горячую встречу.

— Просто весть о вашем освобождении еще не дошла до широких масс. Я сам узнал об этом чисто случайно. Сразу и примчался сюда. Особо не огорчайтесь. Скоро вам от восторженных поклонников отбоя не будет. Вы ведь сейчас в Петрограде популярнее, чем оперные теноры.

— Теноры поют о чужих страстях, я же говорю о том, что наболело на душе у каждого, — со значением произнес Троцкий. — Разница, как между соловьиной трелью и набатом.

— Что же вы стоите? Прошу в коляску, — спохватился Рид. — Куда поедем?

— Право, не знаю. Еще так рано... Хотелось бы стряхнуть с себя прах тюремных застенков. Помыться, перекусить по-человечески, выпить глоток вина.

— Тогда лучше ко мне на квартиру. В гостинице много по-

сторонних глаз. Вы ведь, прямо скажем, обрели свободу не совсем законным образом.

— И до каких пор прикажете мне скрываться? Бежал от царских ищеек в Америку — и угодил там в лагерь для нежелательных иностранцев. С великим трудом вырвался на родину — опять тюрьма! Вот она, судьба борца за пролетарскую свободу. Одни плевки да тернии.

Когда пролетка тронулась, Рид вежливо осведомился:

— Ну и как вам показалось в «Крестах»?

— Тюрьма как тюрьма. Бывают лучше, бывают хуже. Я ведь с юных лет скитаюсь по узилищам. Даже своим революционным псевдонимом взял фамилию надзирателя одесской тюрьмы Троцкого. Пусть, думаю, матерый защитник самодержавия хоть чем-то послужит делу освобождения рабочего класса.

— Я, между прочим, недавно был в Одессе.

— Ну и как там? Не вспоминают меня?

— Не стану кривить душой. У одесситов сейчас в чести совсем другие герои. Лавочники, налетчики, декаденты. Короче, засилье мелкобуржуазной стихии.

— Ничего, дайте только срок, и мы поганой метлой очистим Одессу от всей этой сволочи.

— А надо ли? Пусть бы сохранился заповедник прежней жизни. Один-единственный на всю пролетарскую страну. Так сказать, в назидание потомкам.

— Не путайте заповедник с очагом заразы. — К Троцкому возвращался его прежний апломб, порастраченный в тюрьме. — Если мы всерьез собираемся построить новый мир и взрастить нового человека, то первым делом должны освободиться от таких пережитков буржуазного либерализма, как ложно понимаемая жалость и половинчатость. Сорняки вырывают с корнями, иначе они будут прорастать снова и снова. Такова логика социалистической революции, мой друг... Кстати, как там на Западе? В тюрьме я несколько поотстал от текущих событий. Пролетариат еще не очнулся от спячки?

— Пока еще зевает и потягивается.

— Худо дело. Такая позиция наших братьев по классу тормозит развитие мировой революции. Необходимо срочно расшевелить их. Иначе все наши усилия здесь окажутся тщетными. Российское революционное движение зашло в тупик. Предпринимать какие-либо активные действия — бессмысленно и даже самоубийственно. Сейчас наша главнейшая задача — делегировать во Францию, Германию, Италию наиболее энергичных и

грамотных марксистов, имеющих опыт зарубежной работы. Лично для себя я выбираю наиболее сложный участок работы — Англию. Развенчаем догматиков, соглашателей, оппортунистов и социал-шовинистов, прибравших к рукам руководящую роль в рабочем движении. Добьемся того, чтобы европейский пролетариат осознал свое основное историческое предназначение — быть могильщиком буржуазии. Тогда, глядишь, и наши дремучие лапотники потянутся за ними. Уверен, что не пройдет и пяти лет, как мы создадим Европейскую социалистическую республику. А там настанет черед и других континентов.

Именно этого Джон Рид и боялся. Не прозрения европейского пролетариата, до него, слава богу, было как до Луны, а иллюзий, которые строили на сей счет Троцкий и ему подобные.

Не ровен час — улетит демон революции в дальние края, порастратит там втуне свою сказочную силушку, а то и вообще насмерть убьется, и останутся в России одни только революционные лешие, ведьмы да домовые, мелкая сошка, короче говоря. Уж эти-то дело освобождения рабочего класса загубят на корню. Не вселенский кровавый шабаш у них получится, а мелкое злодейство вкупе с партизанщиной.

Нет, такие прирожденные смутьяны, как товарищ Троцкий, на дороге не валяются. Грех терять гения бунтарского искусства, виртуоза-поджигателя. Это уже потом, когда вся Россия запылает от края до края, всякие там Ворошиловы, Фрунзе да Бела Куны наловчатся подбрасывать дрова в огонь. Но сейчас, когда люди-спички, люди-зажигалки наперечет, их следует беречь и холить, что, кстати говоря, тоже непросто.

К каждому свой специфический подход нужен, особое обращение. А кроме того, каждого следует к делу в нужный момент подпускать, в свой черед. Один только и умеет, что революцию на пустом месте организовывать. Зато стараниями другого эта революция, как моровое поветрие, во все щели проникнет. Третий доведет ее до абсурда, без чего тоже нельзя. А четвертый, теми же самыми революционными лозунгами прикрываясь, всех прежних пролетарских борцов выведет в расход, чтобы особо не резвились. Разделение труда, ничего не поделаешь. Каждому овощу свое время, каждому пророку свой крест, каждому герою своя плаха.

Нет, Лев Давыдович, не суждено вашим планам сбыться. Если вы когда-нибудь и уедете на Запад, так только подыхать. А огонь изрыгать и людишек пожирать, как демону от природы и

положено, будете здесь, на вскормившей вас многострадальной Русской земле.

Эх, не видать вам перманентной революции как своих ушей...

По пути Джон Рид останавливался в самых разных местах и отдавал распоряжения — иногда по телефону, но чаще всего устно. Доверенных людей у него было не так уж и много, но с обязанностями своими они справлялись безукоризненно, ведь не за идею работали, а за деньги.

До квартиры Рида добирались не кратчайшим путем, а, как говорится, через Сахалин и Камчатку — время надо было потянуть. Троцкий, обретший наконец благодарного слушателя, непрерывно произносил обличительные речи, направленные как против Временного правительства и буржуазии в целом, так и против головотяпства коллег-революционеров, ничего дальше своего носа якобы не видевших.

Если Риду и удавалось вставить свою реплику, то с трудом. Воспользовавшись моментом, когда Троцкий сморкался, он как бы между делом поинтересовался:

— А нельзя ли мировую революцию начать здесь, в России? Костер-то ведь с края поджигают.

— Костер с края потому поджигают, что там солома лежит. — За словом в карман Троцкому лазить не приходилось. — А Россия — сырое полено. Его куда ни сунь, толку не будет. Один дым. Солома там! — Он указал в сторону мелькнувшего на горизонте Финского залива. — Здесь если что и загорится, так не скоро.

Дом, в котором Рид снимал целый этаж (положение влиятельного американского журналиста обязывало), находился в самом центре города, на углу Лиговки и Невского. Место самое удобное — знай себе митингуй.

Не успел освежившийся в ванной Троцкий отведать деликатесов, добытых на «черном» рынке, как с улицы донесся нестройный хор голосов, преимущественно женских:

— Лев Давыдович, покажитесь! Лев Давыдович, просим! Скажите нам что-нибудь! Гип-гип, ура!

— Ничего не поделаешь, — развел руками Рид. — Народная любовь — штука хоть и вдохновляющая, но во многом докучливая. Придется уступить настоятельным просьбам публики. Попрошу на балкон. Цыпленка потом доедите.

— Удобно ли это будет? Не скомпроментирую ли я вас? — При случае Троцкий мог и поломаться.

— Что же здесь неудобного? Для меня это, наоборот, большая честь, — расшаркался Рид. — Когда-нибудь в ознаменование вашего посещения на фасаде дома установят мемориальную доску.

Едва только Троцкий появился на балконе, как из толпы, подавляющее большинство которой составляли не проспавшиеся после ночных подвигов одесские налетчики, праздные зеваки, по дешевке нанятые на соседних улицах, полицейские агенты (как же без них обойдешься!) и репортеры скандальной хроники, полетели пышные осенние цветы. Развернулось несколько красных знамен, и даже появился наспех намалеванный плакат «Товарищ Троцкий — наш вождь!».

Сработано все было хоть и на скорую руку, но впечатляюще. Сталин бы, конечно, на эту туфту не клюнул, но осторожная ночная крыса и гордый орел, которому солнце собственной славы застит глаза, — разные существа, потому-то, наверное, они так не любили друг друга.

Поймав кроваво-красную хризантему, Троцкий сунул ее в петлицу и соединенными над головой руками поприветствовал толпу, ответившую ему восторженным ревом. Громче всех надрывались налетчики, уже успевшие перехватить коньячка. Полицейские агенты безмолвствовали. Репортеры строчили.

Дальше все пошло как по нотам. В присутствии большого скопления народа Троцкий воспламенялся, словно племенной бык, подпущенный к телке. Причем воспламенялся всерьез и надолго.

— Товарищи, я рад приветствовать в вашем лице представителей народа, истерзанного войной, голодом и произволом властей! — воскликнул он, обращаясь к сытой, в пух и прах разодетой публике. — Гнев, накопившийся в ваших душах, ищет выход и вот-вот прорвется наружу, сметая все препоны и рогатки, устроенные продажным Временным правительством. В эту беспримерную историческую минуту, когда своевременна лишь одна наука — наука восстания, когда уместно лишь одно искусство — искусство баррикад, пролетариат должен сплотиться для решительного штурма бастионов буржуазии, в том числе и тюрем, в одной из которых, небезызвестных «Крестах», мне недавно довелось побывать...

Получивший некоторую передышку Джон Рид вернулся к кофе и мадере. Слушать набор этих трескучих фраз, в которых махровая демагогия сплеталась с дешевым популизмом и явной ложью, желаемое выдавалось за действительное и все призывы

адресовались не сознанию, а самым темным инстинктам слушателей, для здорового организма было столь же вредно, как и вдыхание опиумного дыма.

С балкона Троцкий вернулся возбужденный, как после бурной любовной встречи, и сразу набросился на остывшего цыпленка. Джон Рид не преминул подольститься к нему:

— Своими речами, Лев Давыдович, вы кружите голову не только простым рабочим и солдатам, но и поднаторевшим политикам. Недавно один видный революционер в приватной беседе признался мне, что поклонялся Ленину только до тех пор, пока не услышал вас. Далеко, говорит, еще Ленину до товарища Троцкого. Этот и мертвых поднимет на баррикады.

— Только, пожалуйста, не противопоставляйте меня Ленину. — Троцкий перешел к десерту. — Ленин великий революционный стратег, и этого не могут затмить его отдельные идеологические и оганизационные ошибки, идущие от чрезмерного догматизма.

— Пусть он и стратег, спорить не буду, да только без вашего тактического чутья ничего не добьется. Что стоил бы Наполеон без своих солдат и своих пушек? А вы один замените целую армию.

— Вы так считаете? — Любой комплимент в свой адрес Троцкий принимал за чистую монету.

— Не я один! Такого же мнения придерживаются и большинство мыслящих революционеров. Да вам только захотеть — и Временное правительство капитулирует. Весь трудящийся Петроград, весь гарнизон, все балтийские матросы выступят по первому вашему зову. А когда победите здесь — просим на Запад. Но уже не под видом туриста, а во главе революционных армий. Грохот солдатских сапог для тамошних обывателей — куда более весомый довод, чем призывы агитаторов. Может случиться так, что Европейская социалистическая республика возникнет не через пять лет, а уже через год-два.

— Мысль, безусловно, занятная... — Троцкий призадумался. — А какую роль в этом плане вы отводите Ленину?

— Роль тени отца Гамлета, какую же еще. Где он сейчас? Никто не знает. Или опять сбежал за границу, или прячется в каком-нибудь глухом углу. Если и вернется, так только в самый канун восстания, чтобы снова сбить всех с толку, как это было в апреле.

— Какой нынче месяц? — спросил Троцкий, вслушиваясь в уличный шум, вновь расцвеченный приветственными возгласа-

ми «Лев Давыдович, с возвращением вас!» и «Лев Давыдович, покажитесь хоть на секундочку!».

— Да уж сентябрь наступил.

— Осень, моя любимая пора... А почему бы не подгадать революцию к двадцать пятому октября, дню моего рождения? — Пока это звучало только в порядке шутки, но ведь недаром говорят, что хорошая шутка дело рядит.

— Было бы просто замечательно! — Рида от собственной безудержной лести уже просто выворачивало. — Великая октябрьская троцкистская революция! Звучит!

— Надо подумать. — Троцкий промокнул салфеткой губы.

Рид вспомнил, что почти то же самое ему недавно говорил Сталин. Ну и мыслители подобрались, прямо один к одному! Спинозы на вас нет!

Страсти снаружи тем временем все накалялись, и в окно летели уже не только цветы, но и более увесистые предметы. Патронная гильза от трехлинейки, например, едва не угодила в вазу с фруктами.

— Уж простите меня. — Троцкий встал. — Нельзя долго испытывать терпение революционных масс. Мы ведь, по сути, всего лишь народные слуги. Пойду брошу парочку ободряющих слов.

Спустя минуту с балкона уже доносилось сакраментальное:

— Превратим перманентную бойню в перманентную революцию!

Теперь можно было вздохнуть спокойно. Переходя с митинга на митинг, с одного собрания на другое, с трибуны на трибуну, пересаживаясь из президиума в президиум, Троцкий поневоле дотянет до самого грандиозного представления в своей жизни — всеобщего вооруженного восстания. А уж потом пусть хоть удавится! Дальнейшее Джона Рида не интересовало.

Громадная деревянная бочка на колесах, запряженная парой костлявых кляч, негодных даже для живодерни, задом подкатила к берегу канала, огибавшего нищую городскую окраину. Содержимое бочки глухо плескалось, наполняя окрестности резким зловонием тюремного нужника.

Мужичок-парашник долго мучился с пугливыми лошадками, подгоняя их поближе к воде. Когда же дощатая крышка с ассенизаторской бочки была наконец снята, из густых нечистот, словно Нептун из пены морской, восстал могучий бородатый мужчина в драной тельняшке. Прохожие старушки, невольные

свидетельницы этого воистину чудесного явления, перекрестились и от греха подальше пустились наутек.

Тщедушный парашник был заранее готов к подобному повороту событий, однако на всякий случай спрятался за лошадьми, словно ища защиту у этих разнесчастных тварей.

Слов благодарности от своего не совсем обычного пассажира он не ожидал, но и к такой лавине забористого военно-морского мата был тоже не совсем готов.

— Ты почему, селедка пучеглазая, драть тебя реей в зад, дерьмо под самую крышку налил? Сказано ведь тебе было, пингвин ушастый, только полбочки наливать!

— Кабы это от меня одного зависело, — стал оправдываться парашник. — Тюремный надзиратель над душой стоял и в каждое поганое ведро палкой тыкал. Кто бы меня с полупустой бочкой за ворота выпустил? Стража сразу бы недоброе заподозрила.

— Хорошо тебе, черпак дырявый, сейчас баланду разводить, а мне дерьмо пришлось глотать! — В доказательство этих слов моряк продемонстрировал свою бороду, слипшуюся явно не от каши с маслом. — Нас, балтийских матросов, в чем только не топили — и в соленой воде, и в собственной крови, и в зыбучих песках, а вот в говне еще никогда!

— Говно не срам, отмоется, — резонно заметил парашник, в этом вопросе, надо полагать, что-то смыслящий. — Я здесь с умыслом остановился. Место удобное. И вода чистая имеется. — Он указал на торчавшую невдалеке водоразборную колонку. — Попрошу на омовение.

— Попрошу? — взревел моряк, почему-то посчитавший вполне здравое предложение парашника за оскорбление. — Нет, это я тебя, чалдон трюмный, сейчас попрошу! Так попрошу, что ты по речным волнам, аки посуху улепетывать будешь!

Подняв фонтан брызг, весьма усугубивших кислую вонь, уже немного развеявшуюся на ветру, матрос покинул бочку и, в два прыжка оказавшись возле ошеломленного парашника, со всего размаха заехал ему кулаком в зубы. «Будешь знать, баклан японский, как полоскать в дерьме революционных матросов!»

Затем бывший тюремный узник содрал с себя одежду, состоявшую только из тельняшки, клешей да подштанников, и в чем мать родила уселся под трубой колонки. Парашник, вытирая кровь с разбитой губы, налег на скрипучий рычаг. Ворочаясь под струей ледяной воды и натирая себя вместо мыла уличной грязью, моряк продолжал почем зря костерить своего спасителя.

Впрочем, оставаясь нагим, как праотец Адам, впечатление

голого человека он отнюдь не производил (если, конечно, не принимать во внимание свисавшее до самой земли мужское достоинство). Причиной этой забавной иллюзии были татуировки, покрывавшие тело моряка от пяток до загривка.

В первую очередь внимание привлекала синяя змея, обвивавшая грудную клетку. Змеиный хвост начинался у копчика балтийца, а жало целилось в ухо. На руках, ногах и ягодицах красовались более мелкие, но зато сюжетные рисунки, представлявшие мифологических чудовищ, различные половые извращения, причем предпочтение почему-то отдавалось зоофилии, сражения парусных кораблей и зодиакальные символы, больной фантазией неизвестного живописца искаженные до неузнаваемости.

Итогом всех этих художественных изысков являлась прочувствованная надпись, опоясывающая чресла моряка: «В море ветер, в жопе дым — балтийский флот непобедим!»

— Ну хватит, а то простудитесь, — сказал Джон Рид, наблюдавший за этой сценой со стороны. — Одевайтесь. Вот вам полный комплект морской формы.

Пугая редких прохожих, голый бугай проследовал к пролетке, возле которой прогуливался Рид. Парашник семенил сзади. Лошади дремали, уронив головы. Возле бочки стали собираться прожорливые чайки.

— Новяга, — удовлетворенно молвил моряк, разворачивая черный бушлат. — Вошь не сидела. И пуговицы все на месте.

— Обратите внимание на сукно, — похвалился Рид. — Не сермяга какая-нибудь, а натуральный английский товар. Вот только не знаю, впору ли вам придется. И так самый большой размер, который только сыскался на рынке.

— Сойдет, — проронил моряк, натягивая клеши прямо на голое тело. — До своих доберусь, а там обмундируюсь в лучшем виде.

Рид тем временем отсчитал полсотни золотых царских пятерок и передал парашнику из рук в руки.

— Купи себе приличных лошадей, — строго приказал он. — Это же стыд и позор на таких одрах по столице разъезжать.

— Зато злодеи не угонят, — ответил парашник. — И дезертиры не сожрут... Барин, добавили бы еще парочку червонцев. Ведь без зубов меня оставил, дьявол окаянный. Когда я к вам нанимался, не было такого уговора — по зубам бить. Мы, чай, не безе с марципанами кушаем, а черную корку. Как ее, проклятую, без зубов раскусишь?

— В воде размачивай, — посоветовал Рид, бросая парашнику

еще одну монету. — Все твои зубы и рубля не стоят, да уж ладно, получай... Исключительно за твое пролетарское происхождение. Класс-гегемон...

— Я не Гегемон, а Агафон, — обрадовался парашник. — Куплю сейчас косушку от щедрот ваших. И торбу овса лошадкам.

— Подожди! — остановил его уже почти полностью одетый моряк. — В твоей бочке моя бескозырка осталась. Память о линкоре «Республика», бывшем «Павле Первом». Волоки ее сюда.

— Вы с ума сошли, — поморщился Рид. — Представляете, во что превратилась ваша бескозырка?

— Ладно. — Моряк удрученно махнул рукой. — Тогда, будь другом, похорони ее где-нибудь в приличном месте. Я с этой бескозыркой, как с божьей тварью, сроднился.

Когда пролетка, провожаемая пронзительными криками чаек, тронулась, моряк сказал:

— Зря ты, братишка, этого дерьмовоза золотом одарил. Я бы его лучше в этой самой поганой бочке утопил.

— Он еще может пригодиться, — ответил Рид, незаметно отодвигаясь от моряка подальше. — «Кресты» — неисчерпаемый кладезь народных талантов. Там кого угодно можно раздобыть — и палача, и поэта.

— Сашка Коллонтай освободилась? — поинтересовался моряк, разглаживая свои еще не совсем просохшие усы.

— Уже дней пять как на свободе. Передать ей что-нибудь?

— Не надо. Сам разыщу. Влюбился я в эту стерву. Хоть и образованная, а душа нашенская, революционная. Торпеда, а не баба! Давай заскочим к ней на полчасика, а? — Моряк глянул на Рида с такой страстью, словно он и был этой самой вожделенной мадам Коллонтай.

— Опасно. С минуты на минуту в «Крестах» поднимут тревогу. Будет лучше, если вы покинете Петроград. Возвращайтесь в Кронштадт или Гельсингфорс. Там ваши единомышленники, там ваша вотчина.

— Деваться некуда... — Моряк обиженно засопел, словно ребенок, которого лишили лакомства. — Кронштадт так Кронштадт... Там меня в самом деле ни одна собака не посмеет тронуть. Первым делом, как вернусь, утоплю комиссара Временного правительства. Онипка его фамилия. Посмел, гаденыш сухопутный, поднять руку на Центробалт. Я ему эту руку в задницу по самый локоть засуну. Потом расстреляю всех изменников во главе с адмиралом Вердеревским. Учредим Кронштадтскую революционную республику, независимую от остальной России.

А если кто на нас сунется, разнесем из орудий главного корабельного калибра. Ты, братишка, еще не знаешь, что такое шестнадцатидюймовый фугас. Когда он взрывается поблизости, так лопаются перепонки не только в ушах, а даже у девственниц в срамном месте. Десять залпов всеми башнями — и нет Петрограда.

— Уж больно вы решительно настроены. Не надо бы...

— Надо, братишка, надо! Тебе, штатской курице, балтийского матроса не понять. Нам кирпичные стены глаза не застят. Мы на вольном просторе взросли. Штормами просолились. У топок прокоптились. Что для вас страшным кажется, для нас мелкие брызги.

— Охотно верю. Море, конечно, штука завлекательная, но и про сушу забывать нельзя. — Рид перевел разговор на тему, больше всего занимавшую его: — В Петрограде назревает революционное восстание, возглавляемое большевиками. Необходимо, чтобы Центробалт поддержал восставших штыками, а если надо, то и корабельными орудиями.

— Нет уж, братишка, уволь! — оскалился моряк. — Спасибо, конечно, что выдернул меня с тюремных нар, но идейному анархисту с большевиками не по пути. Разное у нас понимание революции. Нам немецкие умишки не указ. Своя голова на плечах имеется, хоть и стриженая.

— Разве вы против коммунизма?

— Мы за коммунизм обеими руками, только чтобы без всяких властей. Каждый сознательный гражданин должен сам себе властью быть.

— А несознательный?

— Несознательные до коммунизма не доживут, как головастики до нового лета. Или подохнут, или переродятся. Вы собираетесь заводы рабочим отдать, а мы собираемся эти заводы с лица земли снести, чтобы они небо не коптили. Что пролетарий, что буржуй — одинаковые гады. Природу под себя подмяли, поля и реки отравили. Человек должен к естественной жизни вернуться, без всяких там фиглей-миглей. Такая у нас программа. Лично я между Керенским и Марксом никакой разницы не вижу. Кроме бороды, конечно. Передавай им обоим привет от балтийского моряка Пашки Дыбенко.

— Керенскому при случае передам. А вот Марксу не обещаю. Помер он.

— Вот так случай! То-то я гляжу, вы все какие-то смурные ходите. Без вождя, значит, остались в самый интересный момент. Бывает... Ну ладно, я, пожалуй, здесь спрыгну. Вон нашен-

ский катерок на рейде дымит. А Сашке Коллонтай ты все же обо мне напомни. Дескать, сохнет по тебе, зазнобушка, геройский балтийский моряк.

— Обязательно передам. Мало того, уговорю ее в гости к вам съездить. Ожидайте на днях, — посулил Джон Рид, для которого все эти революционеры и контрреволюционеры вместе с их страстями и помыслами («Подумаю!») были всего лишь разменными фигурами в грандиозной, воистину исторической игре.

— Прилетит, стало быть, пташка, на крыльях любви, — изволил пошутить матрос Дыбенко, ставший председателем Центробалта не в силу своих умственных или волевых качеств, а исключительно благодаря славе бузотера и дебошира.

— Нет, верхом на мандате центрального комитета большевистской партии. — Рид постарался на шутку ответить шуткой.

Если кому-нибудь из пионеров немого кино (немцу Лангу, американцу Гриффиту или россиянину Протазанову) пришла бы вдруг идея снять фантастический фильм, где среди прочих персонажей числится и так называемый «безумный профессор», лучшего исполнителя этой роли, чем Александр Александрович Богданов (в девичестве, то есть до знакомства с социал-демократическим учением, — Малиновский) и желать не приходилось.

С первого взгляда было ясно, что он человек не от мира сего, причем в самом высоком смысле этого понятия. К той же компании, наверное, относились Архимед, Ньютон, Кант и Циолковский.

Взор Богданова вечно блуждал в запредельных далях, губы бормотали какие-то откровения, не предназначенные для постороннего слуха, на кончике кривого носа постоянно висела мутная капля, нечесаные лохмы торчали во все стороны, а из карманов прожженного реактивами старушечьего салопа, одевавшегося и при посещении присутственных мест, торчали стетоскоп, логарифмическая линейка, увеличительное стекло, вечное перо и гранки очередной ученой статьи, коих за свою жизнь он написал великое множество, отдавая предпочтение проблемам медицины и философии.

В отличие от большинства своих коллег по революционной работе, чей кругозор ограничивался несколькими классами гимназии, а то и вообще церковно-приходского училища, Богданов имел три университетских образования, что позволяло ему считать Маркса близоруким ортодоксом, Троцкого припадочным

выскочкой, а Ленина вообще недоучкой. Нельзя сказать, что Богданов отрицал авторитеты. Их для него просто не существовало.

Одно время он действительно симпатизировал философу-идеалисту Маху, полагавшему, что в основе мироздания лежит не материя, а всего лишь наши ощущения, но вскоре разочаровался в этой концепции, сосредоточив все внимание на проблемах управления массовым сознанием и переливании крови (последнее интересовало его отнюдь не в медицинском плане, а как путь к созданию расы сверхлюдей, достойных жить в мире будущего).

На досуге Богданов сочинял утопические романы, где пропагандировал свои весьма нетривиальные взгляды на мораль, искусство, семью и секс.

Ленин, имевший характер отнюдь не ангельский, люто ненавидел Богданова, ставил на одну доску с иудой Каутским и постоянно поносил в партийной прессе, что, впрочем, не помешало Александру Александровичу стать делегатом почти всех большевистских съездов.

Джон Рид, наоборот, сразу сошелся с Богдановым накоротке. Они даже сдружились, если только это понятие применимо к отношениям двух особ, патологически неспособных испытывать обыкновенные человеческие чувства.

Рид снабжал Богданова всем тем, чего так не хватало в объятом голодом и разрухой Петрограде: новейшим научным оборудованием, редчайшими химикатами, самыми свежими специальными изданиями, даже сахаром и хлебом. Богданов со своей стороны поставлял идеи — единственное, что имелось у него в избытке.

Для ординарно мыслящих людей эти идеи выглядели форменным безумием, но каждая несла в себе рациональное зерно, обещавшее дать всходы спустя много-много лет...

Вскоре Сталин доставил из Разлива первую партию загадочных грибов («Кого собираетесь травить этими поганками? Международную буржуазию? Ха-ха-ха...»), и Богданов приступил к изготовлению чудесного эликсира, посредством которого можно было легко манипулировать сознанием масс, как революционных, так и контрреволюционных.

Риду в этих экспериментах отводилась роль ассистента, благодарного слушателя, а на крайний случай — пожарника. Делая несколько дел сразу, Богданов не переставал комментировать происходящее (вполне вероятно, что, ежедневно рискуя жиз-

нью, он видел в Риде продолжателя своей научной деятельности).

— Порядковое название этих грибов — пластинчатые. Семейное — страфориевые. А родовое, согласно принятой ныне классификации, — псилоцибе, — вещал он, попутно разгоняя газетой «Рабочий путь» ядовитые испарения, пробивавшиеся из перегонного куба. — Они содержат самые разнообразные алкалоиды: холин, мускарин, триптамин.

— Признаться, эти термины режут мой слух, привыкший к певучей и образной русской речи, — молвил Рид. — Псилоцибе — звучит как-то дико. Совсем другое дело: веселка, вешенка, груздь, боровик, бздюха.

— В средней полосе России таким сортом грибов никто никогда не интересовался. Вот и обошли его метким названием, — пояснил Богданов. — Мои предки, славяне, предпочитали одурманивать себя хмельным медом и брагой. Зато северные народы этот грибок давно оценили. Эвенки называют его — окай, а чукчи — ванак. Тамошние шаманы, поедая сушеные шляпки, приводят себя в состояние экстаза. Индейцы майя считали псилоцибе даром небес и даже ставили в его честь каменные изваяния...

Один из великого множества медных змеевиков, делавших лабораторию Богданова похожей на логово сказочной Эгле — королевы ужей, утратил герметичность, и повсюду распространился запах, в сравнении с которым даже вонь тюремной параши могла показаться ласковым дуновением зефира.

Пока Рид, прилагая героические усилия, устранял аварию, а Богданов всеми возможными способами пытался проветрить лабораторию, в заранее приготовленную реторту поступила первая порция готового к употреблению грибного экстракта.

— Так о чем мы тут с вами беседовали? — Богданов, вернувшийся на прежнее место, вопросительно глянул на Рида (мыслей у него в голове было столько, что они все время разбегались, и почтенный ученый постоянно пребывал в положении кошки, рискнувшей поиграть сразу с несколькими мышами).

— Про гриб псилоцибе и индейцев майя, — охотно напомнил Джон Рид.

— Ах да... Ни одна религиозная церемония не обходилась без отвара псилоцибе. Причем употребляли его не только жрецы, проводившие кровавые жертвоприношения, но и жертвы, обреченные на заклание.

— Короче, веселились все, — пробормотал Рид, у которого с

непривычки не только мутилось в голове, но и в желудке бунтовало.

— Веселились или, наоборот, обретали ледяное спокойствие, это нам как раз и предстоит выяснить, — изрек Богданов, имевший дурную привычку ставить опыты на себе самом или на ближайших своих сотрудниках. — Знаете, в чем состоит главная проблема любого практикующего фармацевта? В правильном определении дозы лекарственного вещества, а также яда. Помните убийство Распутина? Цианистый калий не подействовал на него, причиной чему стала передозировка. Экстракт псилоцибе сам по себе не ядовит, это уже доказано. Но вот в каких количествах его следует употреблять, дабы достичь желаемого эффекта, пока не совсем ясно. Этим мы сейчас и займемся...

Говоря так, Богданов пододвинул Джону Риду стакан с дистиллированной водой, в который успел что-то капнуть из пипетки.

— Это мне? — без особого восторга осведомился тот.

— Вам, кому же еще... Пейте, не бойтесь. Я бы и сам выпил, да боюсь оставить без присмотра аппаратуру.

Рид послушно выпил, но на первых порах совершенно ничего не ощутил. Вода как вода. Безвкусная, да вдобавок тепловатая. Эх, сейчас бы синебрюховского пива, так ценимого Лениным! Или хотя бы поддельного ямайского рома, ставшего жертвой излишней щепетильности Мишки Япончика.

Дабы скоротать время, они заговорили о последнем романе Богданова, в котором тот живописал строительство марсианских каналов.

— Выглядит все, скажем прямо, довольно наивно. — Рид неожиданно для себя самого резанул правду-матку. — Если марсиане уже овладели атомной энергией, не проще ли было добывать воду из минералов, где она содержится в связанном состоянии, чем рыть в мерзлом грунте громадные траншеи?

— Каналы являются как бы символом созидательной деятельности, — пояснил Богданов, глаз не спускавший со своего собеседника. — Должны же разумные существа направлять куда-то свою творческую энергию. Вот пусть и роют каналы. Вопрос об их целесообразности не обсуждается.

— А не лучше ли тогда возвести новую Вавилонскую башню? Ну чем не символ созидательной деятельности? Или утыкать всю планету каменными идолами, как это уже имело место на острове Пасхи? Ты, Саша, вроде бы и умный человек, но рассуждаешь, прости меня за откровенность, как последний дурак... В духе нашего общего приятеля Троцкого. Дай тому волю, он все на

свете перекопает... Сталин — наоборот... Этот под кого-то другого копал бы. И вообще, достали вы меня! Марксисты, монархисты, анархисты, дери вас реей в зад...

— Прежде вы часто употребляли нецензурные выражения? — поинтересовался Богданов.

— Тебе какое дело! Допустим, что часто. А может, и не очень... Я американец! Человек воспитанный. Не чета некоторым... Саша, ты знаешь, как по-английски будет «дерьмо»? Шит! Вот ты этот самый шит и есть. Плесни мне еще чего-нибудь. Да не жалей... Сейчас споем... «Вставай, проклятьем закл... зекл... зекалэмэнэ...»

Очнулся Рид на матрасике, который прежде служил постелью хозяйскому псу, недавно скончавшемуся после одного неудачного эксперимента.

Человек в здравом рассудке улечься на этот блошиный рассадник никак не мог, а посему соответствующие выводы напрашивались сами собой... Но, с другой стороны, Рид не ощущал никаких мук похмелья. Голова его была свежей, жажда не мучила, тошнота не досаждала. Вот только все, что предшествовало отходу ко сну, напрочь выпало из памяти.

— Как самочувствие? — поинтересовался Богданов, успевший наполнить экстрактом псилоцибе уже с полдюжины реторт.

— Бывает и лучше. — Рид сел. — Хотя я ожидал чего-то гораздо худшего.

— Какие выводы следуют из нашего опыта? — Богданов одел очки и раскрыл лабораторный журнал. — Опишите, пожалуйста, ваши ощущения.

— Одну минуточку... — Рид попытался внимательно вслушаться в свой организм. — Вам простыми словами или научными?

— Как угодно. Но желательно без мата.

— Велика была доза?

— Один миллиграмм.

— Тогда пишите: употребление одного миллиграмма препарата спустя четверть часа вызывает у человека средней массы состояние, сходное с алкогольным опьянением, однако без видимых негативных последствий, свойственных последнему.

— Если вы пришли в норму, продолжим опыт. — Богданов отложил свое неизменное вечное перо в сторону. — На сей раз увеличим дозу псилоцибе вдвое.

— Не лучше ли будет пригласить добровольца со стороны? — Джон Рид пошел на попятную.

Богданову это весьма не понравилось. Самому себе он, по слухам, и вторичную холерную сыворотку прививал, и свиную кровь переливал, и даже пытался пересадить семенные железы обезьяны.

— Вы хотите огласки? — воскликнул он. — Если нет, так потерпите еще немного. Кроме того, для чистоты эксперимента необходим один и тот же испытуемый. Дабы потом не пришлось делать скидку на индивидуальные особенности организма.

Делать нечего — пришлось Риду снова лакать эту гадость, тем более что инициатором эксперимента с грибом был он сам.

Кивком поблагодарив Богданова за душевную фразу: «Простите, но здоровья пожелать вам не могу» — и сдержав рвотный позыв, Рид стал дожидаться результатов действия двойной дозы псилоцибе, которые, учитывая предыдущий опыт, могли быть самые непредсказуемые. В тягостном молчании прошли и четверть часа, и еще столько же, но симптомов опьянения все не появлялось.

Время тянулось невыносимо медленно, словно его двигали не тайные силы вселенной, как это следовало из новейшей теоремы молодого немецкого физика Эйнштейна, а те самые заезженные клячи, которые вывезли из «Крестов» бочку с нечистотами.

Внимательно приглядываясь, а главное, принюхиваясь к обстановке лаборатории, Джон Рид все больше убеждался, что оставаться в столь мерзком месте и дальше решительно невозможно. Затея с грибами оказалась дурацкой авантюрой, недостойной порядочного человека, а про недавнее знакомство с балтийским моряком Пашей Дыбенко противно было даже вспоминать.

Но сильнее всего Рида раздражал сам Александр Александрович Богданов. Вскоре он пришел к выводу, что тот весьма напоминает собой вурдалака не первой свежести. Недаром ведь так интересуется переливанием крови... Действительно, редкий урод. Да от него, наверное, лошади на улице шарахаются.

— Мы, помнится, не закончили обсуждения моего романа. — Богданов говорил, словно сопли жевал.

— А чего его обсуждать, — фыркнул Рид. — Это не роман, а тоска зеленая. И охота вам было на него время тратить.

— Возможно, вы и правы, — с подозрительной легкостью согласился Богданов. — А какую литературу, извольте узнать, вы почитаете за образец?

— Да никакую. Везде тоска. Один дурак сочиняет скучней-

шую книгу, а другие дураки ее читают, словно иного занятия нет. Тьфу!

— Так вам и Шекспир не нравится?

— Этот хуже всех. Читаешь его, и отравиться хочется. Как Джульетта. Или удавиться, как Дездемона.

— А чего все же хочется больше — удавиться или отравиться? — с иезуитской ухмылочкой продолжал выпытывать Богданов.

Подумав немного, Рид ответил:

— Больше всего — удавиться.

— И, кроме этого, вы не испытываете никаких других желаний? Только откровенно.

— Если откровенно, то абсолютно никаких. Удавиться, удавиться и еще раз удавиться.

Поняв, наконец, в чем именно состоит главная цель его жизни, Джон Рид ощутил громадное облегчение. Мир оставался грязной помойкой, прежнее существование выглядело стыдобищем, отвратительным был даже сам факт принадлежности к роду человеческому, но радовало хотя бы то, что со всем этим предстояло расстаться в самое ближайшее время.

Рид немедленно отправился на поиски веревки, поскольку этот метод самоубийства казался ему самым приемлемым. Главное, что сразу не подохнешь, как под колесами паровоза или от пули в висок, а повисишь еще немного, наслаждаясь прощанием с опостылевшим бытием. Говорят, что при этом еще и оргазм испытываешь. Пусть, напоследок не помешает....

— Да что же это такое в самом деле! — обойдя всю лабораторию, взмолился Джон Рид. — Куда подевались все веревки? Удавиться и то нечем! Придется отравиться, если другого выбора нет. Александр Александрович, какое радикальное средство вы мне порекомендуете?

— Ложку меда, — молвил Богданов, все это время ходивший за Ридом, что называется, по пятам.

Как-то отреагировать на эти издевательские слова журналист не успел, потому что ученый треснул его по макушке увесистым никелированным молотком, применяемым в хирургической практике.

Очнулся Рид все на том же собачьем матрасике, но на сей раз со связанными руками. Надо же, и веревка нашлась!

Голова болела, но лишь в том месте, где наливалась солидная шишка. Все случившееся помнилось предельно ясно, вот только

нельзя было восстановить прежнее ощущение беспредельной, убийственной тоски.

— Какова была доза? — спросил Рид.

— Два миллиграмма... Может, вас сначала развязать? — участливо поинтересовался Богданов.

— Нет. Записывайте, пока я ничего не забыл... Употребление двух миллиграммов препарата вызывает состояние отрешенности, быстро переходящее в глубокую депрессию, характеризующуюся суицидальными настроениями. Считаю, что дальнейшее увеличение дозы может привести к необратимым изменениям в психике. Настаиваю на прекращении опытов.

— Но ведь желаемый результат не достигнут! — горячо возразил Богданов. — Мы ищем способ превращения вполне заурядного человека в бесстрашного льва, а не в пьянчужку, тем паче в самоубийцу. Предлагаю довести дозу до трех... нет, даже до пяти миллиграммов.

— Вы с ума сошли, Александр Александрович! Не иначе как надышались парами псилоцибе.

— Поверьте моей научной интуиции! — настаивал Богданов. — Я нутром ощущаю здесь какую-то закономерность. Сначала лишь банальное опьянение. Потом депрессия. Могу поклясться, что следующим этапом будет душевный подъем, окрыляющая душу эйфория.

— А вдруг не эйфория, а еще более глубокая депрессия? Несовместимая, так сказать, с жизнью... Хорошо вам говорить, наблюдая за моими выбрыками со стороны. Побыли бы хоть немного в чужой шкуре...

— Порукой тому, что я абсолютно уверен в благополучном исходе опыта, будет мое участие в нем, — решительно заявил Богданов. — Согласен составить вам компанию.

— Здравствуйте! Хотите, я вам сейчас стишок прочту. Автора, каюсь, запамятовал. Кажется, Барков... «Наутро там нашли два трупа. Студента, павшего ничком, и потаскуху голяком».

— Не надо ничего бояться! Пока вы пребывали в бесчувственном состоянии, я убрал все опасные для жизни предметы. Даже ножницы и булавки.

— Вам бы, Александр Александрович, не в лаборатории ядовитыми газами дышать, а на фронте полки в атаку водить. Умеете вы людей уговаривать. Не хуже Троцкого, — тяжко вздохнул Рид, наблюдая, как вооруженный пипеткой Богданов колдует сразу над двумя стаканами.

Чокнувшись смеха ради (хотя какой тут смех — заплакать

впору), они выпили. Грибной экстракт, даже взятый в такой лошадиной дозе, на вкусе воды никак не отражался. Да и неудивительно — всего пять тысячных процента от объема. Можно сказать, исчезающе малая величина, но как за душу берет!

Пока дьявольское зелье еще не начало действовать, предусмотрительный Богданов обошел лабораторию, погасил все горелки, спиртовки и свечи, а едкие, взрывчатые и ядовитые вещества, включая весь наработанный запас экстракта псилоцибе, поместил в сейф, ключ от которого вручил дворнику, строго предупредив, что до завтрашнего дня этот ключ не понадобится. Если же кто-нибудь, пусть даже и сам Богданов, паче чаяния явится за ключом раньше срока, гнать всех в шею, ибо то будут вовсе не люди, а принявшие их облик злокозненные оборотни.

В хлопотах прошло минут десять (за временем они следили внимательно, желая точно зафиксировать момент начала действия экстракта). Оставшись не у дел, оба естествоиспытателя просто не знали, куда руки девать. Верно ведь говорят, что жданки докучливы.

— Чувствуете что-нибудь? — поинтересовался нетерпеливый Богданов.

— Надо бы по нужде отлучиться, — признался Джон Рид.

— По нужде у нас во двор ходят, — сказал Богданов. — Я вас, пожалуй, провожу. Осточертело в четырех стенах сидеть. Хоть свежим воздухом подышим.

— И то верно, — согласился Рид.

Шишка на голове уже перестала беспокоить его, прежняя тоска бесследно рассеялась, а во всем существе, не исключая и душу, ощущался какой-то подъем, свойственный скорее восторженной юности, чем скептической зрелости. Это была еще не эйфория, но что-то весьма похожее.

Пока Богданов запирал дверь лаборатории на амбарный замок, планы Джона Рида несколько изменились, и он, как истый поборник пролетариата, справил нужду прямо в подъезде.

Хотя снаружи уже смеркалось, но перспектива улицы виделась необычайно четко, вплоть до мельчайших деталей, прежде как бы ускользавших от взора. То же самое, наверное, испытывал и Богданов, по лицу которого, весьма усугубляя его природную асимметричность, гуляла блаженная улыбочка.

Они попытались обменяться новыми впечатлениями, но сразу убедились, что почти не понимают друг друга. Впрочем, это ничуть не обескуражило смелых экспериментаторов, как не обескуражило бы их сейчас и любое другое, гораздо более значи-

мое событие, например появление на Невском проспекте огнедышащего дракона.

Да особой нужды в цветистых фразах и не ощущалось — для общения вполне достаточно было мимики, жестов, односложных слов.

Таким манером они прошли всю улицу, радостно улыбаясь каждому встречному и галантно пропуская вперед даже бездомных кошек. Возле церкви, забор которой состоял из врытых в землю пушечных стволов, соединенных между собой якорными цепями, спутники щедро одарили нищих, истратив на это богоугодное дело большую часть своей наличности. Недовольным остался только увечный солдатик, принявший пятифунтовый билет британского королевского казначейства за шоколадную обертку.

Затем их внимание привлекли громкая музыка и зазывные крики, доносившиеся со стороны парка, где среди заброшенных цветочных клумб и неухоженных шпалер громоздился цирк-шапито, похожий на огромную, изрядно поношенную тюбетейку.

Весь этот шум производили несколько разряженных и размалеванных скоморохов. Бряцая медными тарелками и гудя в рожки, они наперебой вопили козлиными и петушиными голосами:

— Спешите видеть! Последний день чемпионата мира по французской борьбе! Сегодня на арене только чемпионы своих стран! Незабываемое и душераздирающее зрелище! Беременных женщин и слабонервных просим воздержаться! Для солдат и гимназистов скидка! К нам! К нам! К нам!

— Зовут, — сообщил Богданов.

— Зовут, — согласился Джон Рид.

— Пойдем?

— Пойдем, раз зовут.

Пребывая все в том же безмятежном расположении духа, они сунулись было в двери цирка, откуда пахло конским потом и опилками, но строгие привратники в раззолоченных ливреях завернули их в кассу. Вторая попытка оказалась более удачной, и, проникнув под своды брезентового шатра, Богданов и Рид уселись в первом ряду, рядом с барьером, на который было очень удобно класть натруженные долгой ходьбой ноги. Несмотря на назойливую рекламу, зрители заполняли цирк едва ли наполовину.

В проходах сновали мальчишки, разносившие квас, пирожки с ливером, семечки в кульках и штучные папиросы «Тройка» по пятаку за дюжину. Наши приятели в этом товаре совершенно

не нуждались, однако малолетним торговцам отказать не посмели. Богданов занялся семечками, сплевывая шелуху под кресло, а Джон Рид принялся жевать пирожок, к которому прежде побрезговал бы даже прикоснуться.

Грянула музыка, куда более приятная для слуха, чем какофония, производимая скоморохами снаружи. Снискав жидкие аплодисменты зрителей, на арену вышел представительный господин, одетый и загримированный под главного героя оперы «Жизнь за царя» — Ивана Сусанина (недавно оперу в соответствии с веяниями времени переименовали, и стало полнейшей загадкой, чего ради вздорный старик водит голодных поляков по костромским лесам).

Голосом, который был слышен не только в любом закоулке цирка, но, наверное, и на паперти соседней церкви, господин объявил «парад-алле».

Из-за кулис под звуки марша цепочкой потянулись борцы с хмурыми и сосредоточенными лицами людей, которым предстоит долгий и утомительный трудовой день. Изредка улыбались лишь те, кто видел среди зрителей свою зазнобу.

Двойник Ивана Сусанина, носивший громкое звание главного арбитра мирового чемпионата, называл каждого очередного борца по имени, перечислял все его спортивные титулы, среди которых имелись и весьма экзотические вроде: «Самый сильный человек города Стамбула и окрестностей», а кроме того, расхваливал физические достоинства претендентов, как действительные, так и мнимые.

Внешне борцы были самые разные — похожие и на портовых амбалов, и на приличных господ, и просто на каторжан, — но никто из них не весил меньше семи пудов, на что специально упирал арбитр.

В первой паре боролись чемпион Абиссинии, якобы выросший среди обезьян-горилл, и чемпион Швеции, имевший на правом предплечье широкую черную повязку. Когда та после первых же захватов сползла на локоть, взорам присутствующих открылась татуировка, состоявшая всего из двух слов: «Дави сук». Шрифт почему-то был русский.

Зрители, сразу позабывшие замысловатые фамилии борцов, для удобства стали именовать их Обезьяной и Сукой.

Первые четверть часа противники только топтались на середине арены, пытаясь захватить друг друга за какую-нибудь часть тела, находящуюся выше пупа. Предпочтение отдавалось шее и

торсу. От взаимных оплеух по спине и загривку в цирке чуть ли не канонада стояла.

Зрители, ожидавшие чего-то совсем другого, стали подавать возмущенные реплики:

— Сука не борется!

— Обезьяна спит!

— Пощекочи их, любезный!

Не прерывая схватку, арбитр прикрикнул на борцов, и дело сразу пошло живее. Первый же захват шведа оказался удачным, и он, ловко опрокинувшись на спину, перекинул абиссинца через свою грудь. Тот, словно бы заранее готовый к этому, столь же ловко принял позу, среди гимнастов, борцов и любителей нетрадиционного секса называемую «мостиком».

Швед, навалившись сверху, принуждал противника к капитуляции, а тот только круче выгибал спину. Этот эпизод растянулся еще минут на пятнадцать, причем оба борца сопели, как кузнечные меха.

Зрители вновь зашумели:

— Обезьяна не борется! Подымай их! Сука заснул! Подымай их!

Арбитр снова выразил свое неудовольствие, и борцы вернулись в стойку. Теперь бросок провел уже сильно посветлевший от пролитого пота абиссинец, и все повторилось с точностью до наоборот — швед изгибался дугой, а абиссинец эту дугу старался разогнуть.

Зрители затосковали. На арену полетели недоеденные пирожки, огрызки яблок и даже заранее припасенные конские какашки. Помимо профанов, вроде Богданова и Рида, за чемпионатом наблюдали и настоящие знатоки французской борьбы. Этим мнилось, что обоим соперникам вместо благородного спорта следует заняться пастьбой коров, что итог схватки предрешен заранее и все, происходящее на арене, есть не честное единоборство, а дешевый спектакль, недостойный денег, потраченных на него.

Свои претензии они не стеснялись высказывать вслух:

— Обезьяна, езжай домой, тебе кила мешает!

— Насыпать Суке перца под хвост!

— Эй, дядя, хватит нас дурить!

— Борцы выискались, ети вашу мать!

Такие обвинения задели арбитра за живое. Прервав схватку, он обратился к публике со следующим предложением:

— Если кто-то сомневается в мастерстве и силе наших чем-

пионов, пусть сам выйдет на арену. При любом исходе поединка я презентую смельчаку тысячу рублей серебром из собственных средств.

Крикуны сразу угомонились. Одно дело — сидя в десяти саженях от арены, швырять на нее огрызки, и совсем другое — меряться силой с семипудовым бугаем. Так и калекой остаться недолго. Даже тысяча рублей не пригодится.

Арбитр, очень довольный собой, решил еще и покуражиться:

— Где же вы, господа? Выходите смелее! Мы вас ждем! — При этом он имел неосторожность сделать призывный жест в сторону двух приятелей, все еще находившихся под воздействием грибного экстракта.

— Зовут, — сообщил Богданов.

— Зовут, — согласился Джон Рид.

— Пойдем?

— Пойдем, раз зовут.

Богданов оказался порасторопнее и под хохот зрителей первым выбрался на арену. Вежливое предложение арбитра представиться или хотя бы снять шляпу он категорически отверг и смело бросился на шведа, оказавшегося поблизости.

Тот хитроумных захватов производить не стал, а просто наклонился и ухватил нового противника за лодыжки. Спустя мгновение оставшийся без шляпы Богданов уже висел вниз головой. Арбитру осталось только зафиксировать чистую победу чемпиона Швеции.

Подавляющему большинству публики казалось, что комический эпизод, несколько разрядивший обстановку, на этом и закончился. Большинству, но не всем. Богданов, продолжавший болтаться в воздухе, выглядел беспомощным только со стороны. Обладая полной свободой рук и определенными познаниями в анатомии, он не преминул воспользоваться этими козырями, а проще говоря, врезал кулаком в наиболее близкую для себя и весьма уязвимую цель.

Швед выпустил свою жертву и взвыл так, как не взвоет даже самая голосистая сука, прищемившая хвост. Отдельные крепкие словечки, прорывавшиеся сквозь этот вой, принадлежали скорее к языку Пушкина и Толстого, а отнюдь не Стринберга.

Абиссинец, бросившийся на выручку коллеге, был остановлен Джоном Ридом. Без долгих околичностей тот ударил обезьяньего выкормыша ногой в скулу, да так, что отлетела подметка даже у добротного американского ботинка. Публика горячо приветствовала этот весьма нетривиальный по тем временам прием.

Другие борцы в драку не полезли — для них это было то же самое, что врачу-гинекологу подглядывать в окно женской бани.

Зато крепко досталось арбитру, невольно спровоцировавшему весь этот скандал. Потеряв кафтан, парик и накладную бороду, он выбежал из цирка на проспект и засвистел в свисток, которым дворники и филеры подзывают городовых.

И стражи порядка не преминули явиться. А ведь когда надо, их не дозовешься!

Рассвет нового дня застал Богданова и Рида в кутузке.

— Можно сказать, что эксперимент в целом удался, — сказал Богданов, остававшийся ученым в любой обстановке.

— В целом — да, — согласился Рид, осторожно трогая свое разбитое лицо.

— Каково же будет резюме?

— Резюме? Сейчас... Дайте подумать... Употребление пяти миллиграммов препарата вызывает состояние эйфории, перемежающееся приступами немотивированной агрессии. Было такое?

— Было, — не стал отпираться Богданов.

— Подопытный легко поддается внушению...

— Чрезвычайно легко! — подтвердил Богданов, непроизвольно повторяя удар, которым был повержен чемпион Швеции.

— Его речь становится бессвязной, а поступки нелепыми, немотивированными, несообразными с нормами морали. — Джон Рид говорил как по писаному, и не верилось даже, что накануне, проникнув за кулисы, он выпустил из клеток всех цирковых хищников.

— Хочу добавить, — произнес Богданов. — Вчера, когда вы уже спали, со мной случилось нечто странное... Я ощутил себя ребенком примерно трех или четырех лет от роду...

— Слава богу, что не внутриутробным плодом. После сильных душевных потрясений и не такие кошмары бывают.

— Нет, это совсем другой случай... Дело как будто происходило в нашей усадьбе под Белгородом. Рядом была няня, которую я с тех пор больше не видел. Хорошо помню, что у меня болел животик и я сильно капризничал. Даже запустил в няню игрушкой.

— Стало быть, вчерашний борец не первая ваша жертва, — понимающе кивнул Рид. — Вы питали склонность к насилию еще с детства.

— Да хватит вам! Короче, ко мне вернулись впечатления,

давным-давно стершиеся в памяти. Причем впечатления на удивление яркие и детальные.

— Поскольку меня сия участь миновала, дополнение к резюме будет выглядеть так: у пятидесяти процентов подопытных возникают галлюцинации, в основе которых лежат забытые воспоминания детства. Вот, пожалуй, и все.

— Пожалуй... — Богданов встал и напился из деревянной бадьи (Джон Рид, ночью принявший эту бадью за парашу, счел за лучшее промолчать). — Теперь, когда период экспериментов закончился, предстоит решить немало практических проблем. Например, как лучше организовать массовый прием псилоцибе. Не станете же вы строить революционный полк и капать каждому солдату в манерку пять миллиграммов экстракта. Не все согласятся, да и сколько времени на это уйдет.

— А если накануне восстания добавить псилоцибе в городской водопровод?

— Разве вы забыли, кто у нас пользуется водопроводом? По большей части жители центральных районов — зажиточные особы, чиновники, лица свободных профессий. Одним словом, потенциальные контрреволюционеры. Их-то какой смысл возбуждать. На рабочих окраинах зачастую и колодцев-то нет. Из Невы воду берут... А тем более как в таком случае регулировать дозу? Один выпивает в сутки литр жидкости, другой — пять. Вдобавок нельзя подвергать опасности здоровье стариков и детей. Нет, про водопровод даже и речи быть не может!

— Тогда у меня есть иное предложение... Экстракт псилоцибе можно превратить в сухое вещество?

— Вне всякого сомнения.

— Порошок следует смешать с поваренной солью. В необходимой пропорции, конечно. Ведь люди в среднем употребляют одинаковое количество соли. Если не ошибаюсь, около десяти граммов в сутки.

— Да, такова физическая потребность организма, — подтвердил Богданов.

— В день восстания все революционные части получат завтрак, сдобренный вашей солью. Знать об этом будут лишь немногие люди, умеющие хранить тайну. Остальное пойдет как по нотам — эйфория, внушаемость, немотивированная агрессия. То самое, что мы с вами вчера испытали на своей шкуре.

— Хм, — призадумался Богданов. — Наша победа неизбежна, но я несколько опасаюсь за безопасность сторонников Временного правительства. Конечно, юнкеров следует слегка по-

мять, это им пойдет только на пользу. А как же женский батальон? В нем служит немало достойных дам, обманутых социалшовинистической пропагандой.

— Ваши оппортунистические настроения, Александр Александрович, мне не нравятся. Нашли о ком беспокоиться накануне социалистической революции... Войны, в том числе и справедливые, не только двигают вперед технический прогресс, но и посредством смешения разноплеменной крови улучшают человеческую породу. Вам ли, профессору медицины, не знать этого! Что здесь плохого, если однажды ночью пролетарская кровь в массовом порядке смешается с буржуазной?

Ответить Богданов не успел, потому что снаружи загремели отпираемые засовы. В проеме дверей показался Мишка Япончик, сменивший канотье на кожаную кепку, а клетчатый пиджак на строгий френч. Подозрительно зыркнув на незнакомого ему Богданова, бывший (и будущий!) король одесских налетчиков отрапортовал:

— Яков Свердлов, член центрального комитета большевистской партии... Прошу на волю, товарищи.

— Нас признали невиновными? — обрадовался наивный Богданов.

— А как же! — ухмыльнулся Япончик, отступая от двери, в которую его люди уже затаскивали связанных по рукам и ногам тюремщиков.

Освобождение отмечали в трактире «Подкова», обслуживавшем ломовых извозчиков (более приличные заведения еще не открылись).

Япончик рассыпался в комплиментах:

— Мы-то вас прежде за умников держали. Револьвер доверить опасались. Мозги партии, как-никак. А вы вдвоем весь чемпионат французской борьбы на рога поставили. Голыми руками! Ну, герои...

— Надеюсь, вы утрясли с хозяином цирка все проблемы материального плана? — поинтересовался щепетильный Богданов. — Помнится, речь в участке шла о многотысячных убытках. У них там какой-то очень редкий тигр сбежал. Кроме того, некоторые борцы нуждаются в лечении.

— Тигра, надо думать, уже поймали, — сообщил Япончик таким тоном, словно речь шла не о грозном хищнике, а о паршивой болонке. — Куда ему в Питере деваться на зиму глядя... Тот карась, который шведом прикидывался, действительно чуть на-

следства не лишился. Но к вам он претензий не имеет. Просил извиниться. А цирковой барыга еще и должен остался. Эти деньги мы сейчас и пропиваем.

В перерыве между тостами Джон Рид шепнул на ухо Богданову:

— У меня в самое ближайшее время намечается свидание с одной весьма любвеобильной дамой. Я на свою мужскую силу не жалуюсь, но тут случай особый. Темперамент, по слухам, редкостный! Торпеда, а не женщина.

— Думаю, что смогу вам помочь, — ответил Богданов. — Мне прислали из Африки сушеные листья весьма редкого тропического растения. Говорят, что носороги, отведавшие их, гоняются даже за зебрами.

— Это то, что мне нужно! — Рид под столом пожал Богданову руку. — Я ведь, если признаться, не блуд собираюсь тешить, а служить делу социалистической революции.

Сашеньке Коллонтай было уже за сорок, и, когда разговор заходил о прежних браках, ей случалось путаться в количестве супругов. Впрочем, для ее любимых занятий — революционной деятельности и плотских утех — ни возраст, ни бурное прошлое помехой не являлись.

Более того, Сашенька принадлежала к той счастливой породе женщин, которых одежды, пусть даже и самые роскошные, только портят. В неглиже она выглядела на тридцать, а голышом вообще превращалась в невесту.

Нагота не только возвращала ей молодость, но и дарила чувство согласия с самою собой. В этом незамысловатом наряде Сашенька ощущала себя столь же естественно, как и Ева до грехопадения (кстати, понятие греха для нее было столь же косвенным, как и понятие стыда).

Если другие пришли в революцию по велению сердца, она сделала это по велению тела, примкнув, естественно, к наиболее радикальной, большевистской партии (левее большевиков были только анархисты, но те в довоенной России о себе еще ничем не заявили).

Говорят, что одно время агенты охранки гонялись за Сашенькой по всей Европе. Вызнав всех ее любовников, царское правительство надеялось заполучить полный список большевистской, а также и эсеровской верхушки. Однако выросшая в генеральской семье девица была весьма искушенным конспирато-

ром, как и все завзятые сластолюбки. Посадить ее удалось только в России, за компанию с Троцким и Луначарским.

Оказавшаяся на свободе стараниями Джона Рида, Сашенька просто обязана была отблагодарить его (говоря на языке Мишки Япончика — «подарить фактурный акт»), что по обоюдному согласию и свершилось однажды в перерыве между заседаниями Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, в котором гражданка Коллонтай играла далеко не последнюю роль.

Постельные забавы отнюдь не мешали единомышленникам обсуждать актуальные политические проблемы. Сперва немного поспорили о роли Франсуа Меринга в борьбе с ревизионизмом правого крыла социал-демократов, причем Джон Рид совершенно справедливо указал на некоторые теоретические ошибки, допущенные немецким революционером в его известной дискуссии с Эдуардом Бернштейном, а потом как-то незаметно переключились на тему пролетарского интернационализма (идея мировой революции не только продолжала витать в воздухе, революция казалась чем-то неизбежным, как восход солнца).

— Возьмем самый простой пример, — говорила Сашенька Коллонтай, к тому времени уже успевшая слиться с партнером и лежа, и стоя, и крест-накрест, и вальтом, и верхом, и на четвереньках. — Вот ты американец. Родился на другой стороне земного шара. А от простых русских мужиков ничем особым не отличаешься. Даже повадки одни и те же. Это я говорю к тому, что в самом ближайшем будущем все народы должны объединиться. И непременно на социал-демократической основе.

— Позволь с тобой не согласиться, — возразил Рид, имевший на этот счет несколько иное мнение. — Вполне вероятно, что немецкий социал-демократ в постели ведет себя тождественно социал-демократу российскому, что обусловлено общей культурной традицией. Однако, смею категорически утверждать, что жительница Индии в этом плане даст солидную фору, ну скажем, чухонке.

— И что же, интересно, в этих индусках такого особенного? — В пылу полемики Сашенька опять взгромоздилась на Рида верхом. — Неужели то, что у других женщин вдоль, у них поперек?

— Нет, физиологии это никак не касается. — Риду пришлось несколько повысить голос, чтобы его не заглушал скрип кровати. — Разница состоит в половом воспитании. Индуска с детства готовит себя к тому, чтобы стать предметом удовлетворения

мужской похоти. Это, понимаешь ли, посерьезней ваших Бестужевских курсов. Упор делается не только на практику, но и на теорию. На сей счет существует даже фундаментальное учебное пособие, к большому сожалению пока не переведенное на европейские языки.

— Похоже, ты намекаешь, что в науке любви я невежда? — обиделась Сашенька. — Прежде мне приходилось слышать о себе куда более лестные отзывы.

— Я совершенно иное имел в виду. — Риду, вынужденному одновременно и оправдываться, и энергично работать тазом, приходилось туго. — Рано подводить все народы под общий знаменатель. Разница в образе жизни, зависящая и от религии, и от климата, и от уровня развития производительных сил, и даже от рациона питания, будет сказываться еще очень долго. Та же индуска, к примеру, и в зрелом возрасте выглядит девочкой. На молоке и фруктах особо не раздобреешь. Телесная инфантильность, в свою очередь, подразумевает несколько иные методы совокупления. Зачастую весьма оригинальные. Чтобы усладить мужчину, индуска в буквальном смысле готова встать на голову.

— А давай попробуем! — сразу загорелась Сашенька, как истая революционерка, стремившаяся ко всему новому.

— Попробовать-то можно... — молвил Джон Рид, скептически оглядывая свою далеко не хрупкую подругу. — Да только опасаюсь я за твою голову. Она ведь принадлежит не тебе и даже не партии, а бери выше — истории. Не ровен час, свернем... Давай уж лучше продолжать по старинке.

— Хо-чу на го-ло-ве! — Голос Сашеньки обрел ту самую непреклонность, за которую ее так ценили соратники по революционной борьбе. — На го-ло-ве! И даже не смей со мной спорить. Меня в свое время Лафарг с Плехановым не сумели переспорить...

Время в милых забавах летело незаметно, и вскоре Джон Рид почуял, что растратил силушку, по зову которой, собственно говоря, сюда и явился.

Африканское снадобье, любезно предоставленное Богдановым, зарекомендовало себя с самой лучшей стороны, но совершить чудо — увы! — не смогло. То, что создано природой из нежной плоти, даже стараниями всех колдунов племени мумбо-юмбо в носорожий рог не превратится.

А Сашенька, похоже, всерьез увлеклась дискуссией о грядущ-

щем единении народов (а заодно и практическими примерами такого единения).

— Я согласна принять некоторые твои тезисы, — говорила она, мостясь к Риду своим пышным задом. — Рано ставить на одну доску англичан и папуасов. Но различия между ними могут быть устранены в течение двух, от силы трех, поколений. Англичанин и папуас, воспитанные в сходных условиях, закончившие одну и ту же школу и занятые одинаковым трудом, будут отличаться друг от друга разве что цветом кожи.

— Какую школу ты имеешь в виду — английскую или папуасскую?

— Не знаю... Скорее всего английскую.

— А если папуас не захочет в ней учиться?

— Что значит — «не захочет»? Кто его станет спрашивать? Ты еще поинтересуйся у спекулянтов на рынке, хотят ли они жить при социализме. Смешно! Любая революция — это принуждение. Какие тут могут быть сантименты! Всякие там «хочешь — не хочешь» исчезнут на долгие годы. Актуальным сделается лишь одно понятие — «надо!» — Говоря так, Сашенька почему-то критически покосилась на чресла Джона Рида. — Впрочем, мы отвлеклись от главного... Когда исчезнет разница в образе жизни, настанет черед ликвидировать и разницу во внешнем облике. Путем межрасового скрещивания будет создана единая человеческая общность. На земле не останется ни белых, ни черных, ни желтых.

— А какие останутся?

— Смугленькие, — Сашенька сразу погрустнела, словно вспомнив некую безвозвратную потерю, — вроде цыган.

«Знаем мы одного такого цыгана, — подумал Джон Рид. — С бородой и в тельняшке». Вслух же он произнес следующее:

— Как ты представляешь себе это самое «обязательное межрасовое скрещивание»?

— Очень просто... Народное хозяйство при социализме будет плановым?

— Согласно теории Маркса — да.

— Следовательно, планирование коснется и интимных отношений. Каждый белый мужчина, достигший совершеннолетия, получит плановое задание по оплодотворению африканок и азиаток. Негр соответственно — азиаток и белых. Ну и так далее.

— Задумка, безусловно, грандиозная.

— Как же иначе! Строительство нового общества вообще задача грандиозная. Грядет полный переворот во всех областях че-

ловеческой жизни. Догадайся, над проектом какого декрета я сейчас работаю?

— Об учреждении публичных домов с мужским персоналом.

— Фи, как пошло! О равенстве мужчин и женщин в интимной сфере.

— Разве сейчас существует какая-то дискриминация?

— Сплошь и рядом! Не все такие душки, как ты. Мужчины вовсю кобелируют, а женщин обвиняют в безнравственности. В грядущем свободном мире подобная несправедливость исчезнет. Каждый гражданин и, само собой, гражданка получат право удовлетворять свою страсть с любым представителем противоположного пола по собственному выбору. За отказ — уголовная ответственность.

— Представляю... Иду я, значит, себе по улице, вижу красивую женщину и сразу — цап ее!

— Совершенно верно. Но и любая женщина тебя тоже — цап!

— Где же граждане грядущего свободного мира собираются удовлетворять свою страсть? Прямо на мостовой?

— Скажешь тоже! Для этих целей повсеместно будут устроены специальные помещения. В театрах, ресторанах, учреждениях, вокзалах, на каждой улице, в каждом поселке. Но если кому-то нравится любить друг друга прямо на мостовой — пожалуйста. В глазах общества публичное соитие станет столь же невинным актом, как, скажем, улыбка или воздушный поцелуй. Разве тебе не случалось улыбаться приглянувшейся незнакомке?

— Эх, дожить бы до столь славных времен... — молвил Рид, но не с вожделением, как того следовало ожидать, а скорее с содроганием. — Уж это воистину будет всем революциям революция. Великая сексуальная революция!

— Но пока она не совершилась, давай устроим сейчас еще одну ма-а-ленькую революционную схватку, — лукаво улыбнулась Сашенька.

— Демонстрацией обойтись нельзя? — с надеждой поинтересовался Рид. — А еще лучше — забастовкой?

— Надо сначала вникнуть в создавшуюся ситуацию. — Сашенька, если хотела, могла быть и снисходительной. — Да, вижу, что штыковая атака невозможна. Что же, прибегнем к рукопашной.

— Боюсь, что в моем случае не поможет и рукопашная, — печально признался Рид.

— Тогда остается последнее средство. — Сашенька плотоядно облизнулась. — Павших духом революционеров побуждают к действию ловкие языки агитаторов...

...О главном Рид заговорил только перед самым своим уходом.

— К тебе есть одно важное партийное поручение. Если не веришь мне на слово, могу затребовать решение центрального комитета.

— Верю, миленький, верю! — ласково проворковала Сашенька, продолжавшая нежиться в постели (наверное, еще кого-то ожидала).

— Тебе надлежит отправиться в Кронштадт для проведения... агитационной работы среди моряков. — У Рида в самой простой фразе почему-то случилась невольная заминочка.

— Всех подряд агитировать? — дурашливо хохотнула Сашенька.

— Нет, главным образом председателя Центробалта Павла Дыбенко. Знаешь такого?

— Конечно, знаю! — Сашенька несказанно обрадовалась. — В «Крестах» вместе сидели. Записочками обменивались. На прогулках переглядывались. Очень интересный мужчина!

— Теперь сможешь познакомиться с ним поближе. В Кронштадте от него все зависит. В настоящее время моряки находятся под сильным влиянием анархистов и отказываются поддерживать Петроградское вооруженное восстание. Ты обязана склонить Дыбенко на сторону большевиков. Каким образом, это уже твои заботы. Впрочем, ученого учить — только портить... Я буду поддерживать с тобой постоянную связь. — Встретив страстный Сашенькин взгляд, Рид поспешно уточнил: — Не любовную, а телеграфную. Накануне восстания верные люди передадут тебе мешок поваренной соли. Ее надлежит добавить в пищу морякам, отправляющимся в Петроград.

— Можно узнать — зачем?

— От поноса. Чтобы в пути медвежьей болезнью не страдали.

— Ой, как интересно! А с тобой, миленький, мы еще встретимся?

— Непременно. Сразу после взятия Зимнего дворца жду тебя в императорской спальне. Еще вопросы имеются?

— Имеются. Про какую это индийскую книгу ты недавно вспоминал?

— А-а-а... Называется она «Камасутра». «Искусство любви», стало быть. А зачем тебе?

— Собираюсь перевести ее на русский язык.

— Дело нужное. Только написана она на санскрите. Язык для наших краев весьма редкий.

— Ничего, выучу, — пообещала Сашенька. — Сам знаешь, большевики поставленных целей всегда добиваются...

— Мистер Рид, вы похожи на умного человека. Тогда объясните мне, какая зараза напала на этот город? Все словно с ума посходили. Сейчас здесь даже хуже, чем было в Одессе, когда матрос Вакуленчук устроил тот памятный шухер из-за куска несвежего мяса. Но тогда никто не видел на Дерибасовской броневиков. Дамы спокойно гуляли по бульвару, и пьяная солдатня не тыкала их в задницу штыками, — так говорил Мишка Япончик, покуривая перед парадным входом Смольного института (пробегавшая мимо мелкая большевистская сошка подобострастно расшаркивалась: «Здравствуйте, товарищ Свердлов!», «Доброе утро, Яков Михайлович!»).

— Города во многом похожи на людей, — отвечал Джон Рид, битый час дожидавшийся автомобиля, заказанного для поездки в Зимний. — Разве вы этого не замечали? Они рождаются, мужают, стареют и умирают. Более того, города подвержены всем человеческим болезням. Венеция страдает ревматизмом. Лондон — насморком. Рим — манией величия. Париж — бессонницей. Москва сразу и вшивостью, и запоями. Берлин с некоторых пор подвержен дистрофии. Со временем эти недуги проходят, если только не становятся хроническими... Петроград по европейским меркам еще очень юный город, и ему предстоит переболеть многими детскими хворями. Виной тому и климат, и скудное питание, и дурная наследственность. Нынешней осенью его обуяло гнойное воспаление. Наверное, продуло западными ветрами. Отсюда лихорадка, озноб, судороги, галлюцинации, бред. Болезнь, конечно, неприятная, но, к счастью, несмертельная. Будем надеяться, что нарыв вскоре прорвется. Вот только со зловонным гноем надо поосторожнее. Он весьма заразен.

— Спасибо, вы меня успокоили. — Япончик небрежно отшвырнул окурок, за которым наперегонки бросились двое красногвардейцев, охранявших вход. — А кого вы, собственно говоря, ожидаете? Дрючки из благородных семейств сюда больше не ходят. Ищите их на панели возле «Астории».

— Здешний комендант обещал мне авто. Да вот что-то нет его...

— Ваше авто перехватил Сталин. Это еще тот налетчик! Штамп ставить негде.

— Вот незадача... Ну и взгрею я его при встрече!

— Советую быть поосторожней. Это не тот человек, которому можно положить палец в рот. И куда вы, интересно, собираетесь в такую погоду? Кругом ведь стреляют.

— Представьте себе, у меня назначена встреча с министром-председателем Керенским.

— Повезете ему ультиматум?

— Рано еще. Да и не мое это дело. Пусть кто-нибудь из военно-революционного комитета везет. Я журналист. Хочу взять у Керенского интервью для американской прессы.

— Если так, то мы сейчас что-нибудь придумаем. К Керенскому на пролетке не поедешь. Нужна шикарная машина.

На ходу вытаскивая пистолет, Япончик вышел на середину улицы и спустя пять минут остановил приглянувшийся ему «Роллс-Ройс», капот которого украшал американский флажок.

— Господа, транспортное средство реквизировано для нужд революции, — говорил он, выталкивая из машины возмущенных пассажиров. — А мне ваш дипломатический статус до одного места... Авто надо больше выпускать, господа буржуи. Чтобы на всех хватило. Недовольные могут получить компенсацию от герра Маузера. Девять граммов свинца — это, ясное дело, немного, но зато навечно.

Город и впрямь был серьезно болен, но его нынешнее состояние скорее напоминало кризис, за которым вполне может последовать выздоровление, а отнюдь не агония.

Толпы праздной публики переполняли улицы. Бойко торговали магазины. На подножках трамваев гроздьями висели пассажиры. Кое-где уже сооружали баррикады. Когда начиналась интенсивная стрельба (а одиночные выстрелы не стихали уже третьи сутки), люди или разбегались, или ничком ложились прямо на мостовую, и никто при этом не выражал какого-либо неудовольствия.

Дальше арки Генерального штаба автомобиль Рида не пропустили, а его самого под конвоем юнкеров повели через Дворцовую площадь, с некоторых пор напоминавшую дровяной склад. Кое-где за поленницами скрывались короткоствольные полевые орудия, но прислуги возле них заметно не было. Немногочисленные защитники правительства, попадавшиеся навстречу, походили на сомнамбул, не понимающих смысла своих действий.

Самому старшему из юнкеров, сопровождавших Рида, на вид не было и семнадцати лет. Все они держались с преувеличенной бодростью, но на мир смотрели глазами бездомных собак.

— Чем вас кормили сегодня, господа? — спросил Рид по-французски.

— Супом из воблы, месье, — вежливо ответили ему.

— Вот вам двадцать долларов. — Рид достал бумажник. — Сходите после службы в приличный ресторан. И поверьте, господа, я предлагаю вам это от чистого сердца.

— Спасибо, месье, но русские воины подачки от иностранцев не принимают. А кроме того, нам не полагается покидать пределы дворца. Здесь мы спим, здесь и питаемся.

— Я бы не советовал вам оставаться здесь и дальше. Это не лучшее место для времяпрепровождения. Скоро оттуда полетят пули. — Рид указал на набережную, где уже виднелись большевистские патрули.

— Месье, мы в долгу не останемся. — Юнкер перебросил винтовку с одного плеча на другое. — Встретим распоясавшееся быдло как полагается.

В вестибюле дворца седой швейцар в синей ливрее принял у Рида пальто и шляпу. Можно было представить себе, что творится сейчас на душе у этого старого служаки, которому и Керенский, и Ленин, и Троцкий виделись одинаковыми хамами сродни Стеньке Разину или Гришке Отрепьеву.

В приемной министра-председателя находился один-единственный офицер, сосредоточенно кусавший свои ногти, и Рид прямиком направился к приоткрытым дверям, из-за которых доносился начальственный голос, распекавший кого-то.

Керенский на повышенных тонах разговаривал по телефону:

— Гатчина? Мне нужен командир Десятого казачьего полка! Почему его нельзя позвать? А вы кто такой? Матрос Чижик? Что за безобразие! — Он отшвырнул трубку.

(Откуда министру-председателю было знать, что все линии связи, соединявшие Зимний дворец с частями гарнизона, контролируются Петроградским советом и дежурившие на аппаратах красногвардейцы нарочно несут всякую околесицу, дабы сбить противника с толку.)

Завидев гостя, Керенский встал и демократично подал ему руку. В отличие от своих подчиненных, он выглядел бодрым и самоуверенным.

— Вы, конечно, понимаете, что я не располагаю ни минуткой свободного времени, — начал он хорошо поставленным голосом опытного оратора. — Однако для корреспондента американской газеты, так и быть, сделаю исключение. Великий американский народ, спасающий Европу от тевтонского нашествия,

должен знать всю правду о том, что происходит сейчас в союзной ему России.

— И что же, по вашему мнению, происходит сейчас в России? — Джон Рид раскрыл свой неизменный блокнот, все страницы которого были разрисованы чертиками.

— Я буду краток. В России предпринимаются попытки поднять чернь против существующего порядка вещей, сорвать намечающееся Учредительное собрание и открыть фронт германским войскам. Я говорю «чернь» совершенно сознательно, ибо все здоровые силы нации, вся демократическая общественность России протестуют против этих подлых поползновений. Сейчас мы имеем дело не столько с амбициями какой-нибудь конкретной политической партии, сколько с использованием невежества и преступных наклонностей определенной части населения. Нам грозит отнюдь не революция, а стихийная волна разрушений и погромов...

Керенский вещал бы в этом духе и дальше (говорить кратко он отродясь не умел), но Рид довольно бесцеремонно прервал его очередным вопросом:

— Как вы, учитывая сказанное, собираетесь действовать в дальнейшем?

— Все группы и партии, осмелившиеся поднять руку на свободу русского народа, будут ликвидированы! Любая попытка бунта получит решительный отпор!

— Вы располагаете для этого достаточными силами?

— Более чем достаточными! — это были уже не просто слова, а какие-то заклинания.

— Говоря откровенно, мне так не показалось. Город наводняют бушующие толпы тех, кого вы зовете чернью. Повсюду развеваются красные флаги. Солдаты гарнизона или сохраняют нейтралитет, или переходят на сторону восставших. Заводские рабочие вооружаются. Любой, кто смеет заикнуться о своих симпатиях к Временному правительству, рискует жизнью.

— Я не отрицаю, что численное превосходство находится на стороне бунтовщиков. Зато на нашей стороне дисциплина и выучка отборных армейских частей. Скоро сюда прибудут казачьи полки и добровольческие формирования георгиевских кавалеров. Порядок в столице будет восстановлен в течение ближайших суток... А почему вы не записываете? — насторожился Керенский.

— Разве? — Рид удивленно уставился на чистую страницу

блокнота. — Вы меня просто убаюкали своими речами. Единственное, что я не могу понять: вы сами верите в то, что говорите?

— Позвольте! — Керенский в упор уставился на Рида. — А какую именно американскую прессу вы здесь представляете?

— Свободную. Другой у нас нет... Хотя, что скрывать, я пришел сюда вовсе не ради интервью. Вы, Александр Федорович, глубоко симпатичны мне как человек. Более того, я симпатизирую и вашему делу. Но поверьте на слово бывалому человеку — оно безнадежно. Временное правительство, а следовательно, и вы сами, находится на краю гибели. Не надо тешить себя пустыми иллюзиями. Казаки бросили правительство на произвол судьбы. Георгиевские кавалеры — это сказочка для детей. Вас защищают только наивные юнцы да экзальтированные дамы, которые разбегутся после первого залпа картечи. В самое ближайшее время в Петрограде высадится десант из Кронштадта. Это двадцать пять тысяч разнузданных головорезов, утративших человеческий облик. Орудия их кораблей способны превратить в руины не только Зимний дворец, но и весь город. Председатель Центробалта матрос Дыбенко, возглавляющий десант, объявил вас своим личным врагом.

— Пушки Петропавловской крепости не позволят кораблям мятежников войти в Неву! — патетически воскликнул Керенский, вновь хватаясь за телефон. — Я немедленно созвонюсь с комендантом.

— И вам ответит какой-нибудь солдат по фамилии Бобик или Тузик. Взгляните лучше в окно! Над Петропавловской крепостью с утра реет красное знамя. Пушки ее фортов направлены на Зимний дворец.

— Предательство! Кругом предательство! — Керенский забегал по кабинету. — Во всем виноваты Милюков и Терещенко! Надо срочно менять состав кабинета министров!

— Александр Федорович, поймите, вы обречены не в силу каких-либо организационных просчетов или неисполнительности министров. Вы обречены в силу объективных исторических факторов. Россия не созрела еще для настоящей революции, и то, что происходит сейчас, это действительно бунт черни, подстрекаемый безответственными политиками из числа левых радикалов. В стране отсутствует гражданское общество, а упомянутые вами здоровые силы нации находятся в подавляющем меньшинстве. Народ на девять десятых состоит из людей, неспособных отличить добро от зла. Вам ли, бывшему провинциальному адвокату, не знать этого. Волна февральского бунта вознесла

вас на самую вершину власти. Чернь молилась на вас и ваших соратников, как на богов. Но если боги не исполняют молитв, то чернь безжалостно сметает их и находит себе новых кумиров. Эта страна обречена. Вы не сможете спасти ее. Спасайтесь хотя бы сами.

— Смешно! — Керенский стукнул кулаком по столу, отчего затренькали все телефоны сразу. — Какой-то мелкий газетчик смеет указывать мне, главе правительства великой державы! Сейчас я прикажу арестовать вас!

— Это, наверное, единственное, что вы еще можете, — печально усмехнулся Рид. — Но содержать меня под стражей придется в ваших личных апартаментах. Все петроградские тюрьмы захвачены бунтовщиками. Неужели вам и это неизвестно?

— Признавайтесь, кто подослал вас ко мне! Большевики? Немцы? Союзники?

— Я здесь сугубо по личной инициативе. Давайте хотя бы минутку поговорим спокойно. Первым делом вам нужно покинуть Петроград. Поезжайте в Гатчину, Царское Село, Псков, куда угодно. За Зимним дворцом установлено строгое наблюдение. Обязанность эту большевистский центральный комитет поручил Якову Свердлову, моему доброму приятелю. Он беспрепятственно выпустит вас из дворца. Можете воспользоваться автомобилем с дипломатическим флажком, на котором я прибыл сюда. Задерживаться в России надолго я вам тоже не рекомендую. Скоро тут заварится такая каша, в сравнении с которой Смутное время или пугачевский бунт покажутся детскими забавами. Америка готова предоставить вам политическое убежище. Вот паспорт гражданина Соединенных Штатов и все документы, необходимые для натурализации, включая купчую на недвижимость в штате Нью-Йорк. Кроме того, прилагается чек на весьма солидную сумму, благодаря которой вы сможете продержаться первое время. Потом вас прокормят лекции и мемуары. В политическую деятельность больше не ввязывайтесь. Это не ваша стезя... Как видите, у меня самые серьезные намерения. Бумаги я оставлю на вашем столе. Можете воспользоваться моим предложением, можете отклонить его — дело ваше. Но зачем продлевать бессмысленную агонию...

— Нет, лучше застрелиться! — Керенский сел, обхватив голову руками. Казалось, еще чуть-чуть, и он разрыдается.

— Мысль здравая, но несколько запоздавшая. Стреляться надо было неделю назад, когда вы еще представляли собой какую-то политическую силу.

— Это крах... Это гибель России. — Теперь, когда позерство и напускная бравада исчезли, перед Ридом предстал слабый заурядный человечишка — очень несчастный и бесконечно одинокий. Власть, данная для того, чтобы принуждать и подавлять других, раздавила его самого.

— За Россию можете не беспокоиться, — сказал Рид. — Она пройдет через все круги ада, но уцелеет. У вас впереди долгая и сравнительно благополучная жизнь. Вы надолго переживете всех своих политических противников. Вот уж чьей участи не позавидуешь... Впрочем, теперь вы частное лицо и должны беспокоиться только о себе самом. Прощайте, Александр Федорович.

— Разве мы не увидимся в Америке? — произнес Керенский слабым голосом.

— Нет, мне суждено умереть здесь.

— Блажен тот, кто знает уготовленную ему судьбу...

Красногвардейские костры окружали Зимний дворец плотным кольцом, словно логово затравленного зверя. Пронзительный октябрьский ветер то завивал пламя в штопор, то разворачивал его, как багровое полотнище. Взгляд невольно выискивал в толпе тех, кому предстояло сегодня гореть на этих кострах.

Никто ничего толком не знал. Везде митинговали, выдвигая самые разные лозунги. Мосты по нескольку раз в сутки переходили из рук в руки и в зависимости от того, чья сторона брала верх, то сводились, то разводились.

Над кораблями, присланными Центробалтом в Петроград, метались лучи прожекторов, а сами плавучие крепости казались грозными символами возмездия — божьим (или сатанинским) молотом, занесенным над беззащитным городом, погрязшим в грехе и беззаконии. В эту ночь никто не ложился спать, а все, кто относил себя к неробкому десятку, высыпали на улицы.

Джон Рид, возвращавшийся со спектакля Мариинского театра, попросил извозчика подбросить его поближе к Дворцовой набережной. Тот долго упирался, проклиная самоуправство и подозрительность красногвардейцев, но в конце концов за утроенную плату согласился. Перестрелка не затихала с самого утра, но петроградские рысаки, слава богу, уже перестали пугаться выстрелов — хоть забирай их всех в гвардейскую кавалерию.

К удивлению извозчика, красногвардейские заслоны пропускали Рида беспрепятственно. Благодаря близкому знакомству со Свердловым-Япончиком, он запасся мандатами на все слу-

чаи жизни, кроме разве посещения райской обители, где печать Петросовета во внимание не принималась.

Пространство, прилегающее к Зимнему дворцу, заполняли толпы восставших. Почти все были пьяны и в нынешней обстановке абсолютно не ориентировались — одни полагали, что революция уже победила и пора расходиться по домам, другие, наоборот, предрекали кровавую схватку.

В первых рядах чадили моторами бронеавтомобили, все еще носившие прежние имена — «Рюрик», «Олег», «Игорь» и так далее. Тут же в окружении своих подручных расхаживал и Мишка Япончик, с ног до головы затянутый в скрипучую кожу. С некоторых пор он все меньше походил на легкомысленного одесского налетчика и постепенно приобретал несвойственные ему прежде черты революционного интеллигента, которые составляли самую сволочную часть большевиков.

Впрочем, и прежних своих занятий он не оставлял. Из надежных источников Риду было известно, что Япончик заказал мастерам по изготовлению фальшивых драгоценностей копию большой императорской короны, которой в удобный момент собирался подменить подлинную. Кого он собирался ею короновать? Уж не самого ли себя!

— Пора бы и начинать, — сказал Рид, отпустив извозчика, чья судьба в этой давке могла сложиться весьма плачевно.

— Значит, не пора. Каждый фрукт, прежде чем упасть с дерева, должен созреть, — философски заметил Япончик.

— А кто здесь вообще распоряжается?

— Даже не знаю. Появлялся Дыбенко со своей бабой, но он что-то не в себе. Вроде как обкуренный. Ленин в Смольном заседает. Только вчера из подполья вышел. Троцкий тоже там. На трибуне распинается. И как только глотку не сорвет...

— Вы хоть Льва Давыдовича с днем рождения поздравили?

— Впервые слышу. И в самом деле?

— Могу побожиться. — Рид ловко перекрестился (при Япончике ему и не такое дозволялось).

— Это надо же так подгадать! День рождения и революция в одну дату.

— Великий человек, что тут поделаешь... А как вам показался Керенский?

— Мелкий фраер. Вдобавок к авто выпросил у меня еще и бочку газолина. Боялся, что не доедет до места назначения.

— А мне его жалко, — сказал Рид. — Вот она, судьба истин-

ного русского демократа. Отдал всего себя борьбе за счастье народа, а оказался в полном дерьме. Разве это не печально?

— Ясное дело, что не позавидуешь... Тем более что его матросня с пеной у рта ищет. Эти вообще с ума посходили! У них там, в Кронштадте, прямо зверинец какой-то!

Будто бы в подтверждение этих слов со стороны Невы грохнул пушечный выстрел, и снаряд угодил прямиком в фасад Зимнего дворца. Вспышка разрыва на мгновение озарила всю Дворцовую площадь.

— Что же они, башибузуки, делают! — возмутился Япончик, с некоторых пор относившийся к бывшей царской собственности как к своему личному достоянию. — Ведь договаривались садить только холостыми зарядами! Немедленно передать на корабли семафор о прекращении огня!

Многотысячная вооруженная толпа, принявшая орудийный выстрел за сигнал к началу штурма, стронулась с места и, постепенно набирая скорость, устремилась к дворцу. Наперерез ей бросились только что прибывшие из Смольного комиссары военно-революционного комитета — долговязый Подвойский и приземистый Овсеенко, отзывавшийся также на фамилию Антонов. Взятые вместе, они очень напоминали популярную комическую пару — Пата и Паташона.

— Назад! Стой! Приказа к атаке не было! — кричали комиссары, размахивая маузерами.

— Стихия, ничего не поделаешь, — поравнявшись с ними, молвил Джон Рид. — Горную лавину уговорами не остановишь. Да вы не переживайте! Все само образуется. Лучше погрейтесь. Первосортный французский коньячок.

Он протянул комиссарам фляжку, содержимое которой было сдобрено экстрактом гриба псилоцибе. Те отхлебнули хорошенько и спустя пару минут уже неслись к дворцу с самыми решительными намерениями. Туда же толпа увлекала и Джона Рида.

На его глазах красногвардейцы разоружили юнкеров, не успевших даже передернуть затворы своих винтовок. До насилия, слава богу, дело не дошло, и юнцов под честное слово отпустили восвояси, надавав, правда, затрещин.

В вестибюле перепуганные старики-швейцары пробовали урезонить восставших, распаленных спиртным и предчувствием кровавой схватки.

— Осторожней, господа! Не повредите паркет! Господа, не угодно ли будет оставить винтовки в гардеробе?

А очумевшие господа, по древнему народному обычаю не

пропускавшие ничего, что плохо лежит, уже волокли из дворца ковры, мебель, посуду, стенные часы, шторы, ящики вина, постельное белье с императорскими вензелями, а главное, одежду, на которую в Петрограде нынешним временем был большой спрос.

В задних комнатах визжали последние защитницы Зимнего дворца — бабье, составлявшее так называемый Женский ударный батальон смерти. То ли их там насиловали, то ли просто щекотали, но лесбиянкам, которых в батальоне было подавляющее большинство, откровенные мужские ласки, похоже, не нравились.

Во дворец врывались все новые и новые партии восставших, но громадное здание впитывало их в себя, как губка. Кто-то стремился в винные погреба, кто-то прямо в сапогах валился на императорскую постель (будет потом о чем внукам рассказать!), еще кто-то, как зачарованный, бродил по роскошным залам.

Рид замечал все больше знакомых лиц. Япончик, расставив у каждого входа и выхода свою братву, отбирал у мародеров похищенное дворцовое имущество. В обнимку с Коллонтай появился матрос Дыбенко, но тут же снова исчез, ограничившись каким-то мелким сувениром для дамы.

Пат и Паташон (Подвойский с Овсеенко) под дулами маузеров вывели из дворца главную добычу этой ночи — кучку перепуганных министров уже не существующего Временного правительства.

Не обошлось и без Александра Александровича Богданова, интересовавшегося результатами своих фармакологических опытов. Внимательно вглядываясь в матросов, даже не подозревавших, что они, по сути, являются подопытными кроликами, он пытался что-то выспрашивать у них, но те дружно посылали странного человека в причинное место на переделку, а то и подальше.

Уже под занавес прибыл Сталин в шинели, небрежно наброшенной на плечи. По-хозяйски разгуливая в вестибюле, он недобро косился на Джона Рида.

Дурное расположение его духа можно было понять — метил как минимум в народные комиссары внутренних дел, а оказался всего лишь председателем по делам национальностей. Где эти национальности? Глазом не успеешь моргнуть, как они разбегутся по своим суверенным государствам. И финны, и литовцы, и украинцы, и даже обиженные богом белорусы давно рвутся к независимости. Кавказ вообще пороховая бочка. Всякие там азиа-

ты тоже себе на уме. Развалится «тюрьма народов» — и нет больше национальных вопросов. Кем тогда командовать? С кем социализм строить? С русскими да евреями?.. Тут еще этот подлый американкашка перед глазами мельтешит... Досье охранки он отдал, не обманул. А если копию себе оставил? Нет, никому нельзя верить. Никому. Особенно газетчикам...

Приметив Богданова, слоняющегося без дела, Сталин подозвал его к себе (а память на людей у него была — куда там Наполеону!).

— Ты, говорят, сильно ученый? — спросил Сталин, в такт словам помахивая потухшей трубкой. — В снадобьях разбираешься?

— Стараюсь по мере сил, — охотно ответил Богданов, которому было лестно внимание столь влиятельной особы. — А вы никак приболели?

— Я здоров, можешь не радоваться. Но есть некоторые товарищи, которым помочь нужно. Сделай для меня такое снадобье, чтобы человек, приняв его, через пару дней помер. Не просто помер, а как бы от тифа или этой... испанки.

— Много вам этого средства? — как ни в чем не бывало осведомился Богданов (а почему бы не услужить члену центрального комитета большевистской партии?).

— Для одного человека, — ответил Сталин, но, заприметив невдалеке еще и Свердлова-Япончика, поправился: — Нет, для двух.

— Будет сделано, Иосиф Виссарионович.

— Вот и хорошо. Гуляй пока.

Джона Рида, который этот диалог слышать не мог, но о своей судьбе все знал наперед, вдруг обуяла воистину вселенская тоска, прежде заглушаемая повседневными заботами. Такая тоска — что хоть стреляйся! Но зачем стреляться, имея друзей вроде Сталина, Троцкого, Свердлова и Дыбенко. Эти тебе зажиться на белом свете не дадут!

Круто повернувшись на каблуках, Джон Рид направился к выходу. Слава богу, петроградские кабаки были открыты далеко за полночь, и даже социалистическая революция им была не указ...

ЭПИЛОГ

Уже давно майору Репьеву не приходилось путешествовать по Москве вот так свободно, безо всяких помех, словно у себя на даче от веранды до нужника. Ни тебе светофоров, ни автомо-

бильных пробок, ни придирчивых инспекторов дорожного движения, никого! Знай себе поддавай газу, дыми на весь проспект.

Вот только после этого славного путешествия придется кое-где асфальт менять. Ну, ничего, Лужков подсуетится. Сам виноват, что допустил в столице такое безобразие. Это в кои-то века здесь пушки в последний раз стреляли? В тысяча девятьсот семнадцатом, когда юнкеров из Кремля вышибали. Считай, восемьдесят пять лет прошло. Срок!

Громко заверещала рация, но слов разобрать было нельзя — наверное, глушат, гады. Да ничего, задача ясна заранее. Вот он, Белый дом, как на ладони. Гнездо мятежников. По нему и слепой не промахнется.

Загудела, поворачиваясь, танковая башня, и коротко рявкнула пушка. Приятель Репьева, майор Ишаков (а в экипажах были сплошь одни майоры, солдату такое дело разве доверишь), оказался молодцом. Положил снаряд, как на учениях, прямо в окошко какого-то заранее указанного на схеме кабинета.

Пальнули и другие танки, попарно выстроившиеся на набережной. Верхние этажи Белого дома окутались черным дымом, но причиной тому были вовсе не танковые фугасы, а автомобильные покрышки, подожженные сторонниками Хасбулатова и Руцкого. Это они так подмогу себе вызывают! Да только кто к ним на выручку придет? Особенно к балаболке Хасбулатову. Вот Руцкого, честно сказать, жалко! Правильный мужик, но не в свое дело вмешался. Летал бы себе и дальше в бомбардировочной авиации.

Вновь рявкнула пушка. Вновь по стене белокаменной высотки расползлась дымная клякса. Вновь восторженно взвыли зеваки, заполнившие все окрестности. Вновь майор Репьев, потомок древнего служилого рода, похвалил своего приятеля майора Ишакова, происхождение которого было туманным.

История шла своим чередом.

История шла как надо.

СОДЕРЖАНИЕ

ГВОЗДЬ В БАШКЕ. *Роман* 5
ВРАГ ЗА ГИМАЛАЯМИ. *Роман* 319
ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО. *Роман* 627

Литературно-художественное издание

Брайдер Юрий Михайлович
Чадович Николай Трофимович

ОХОТА НА МИНОТАВРА

ТРИЛОГИЯ ОБ ОЛЕГЕ НАМЕТКИНЕ

Ответственный редактор *Д. Малкин*
Редактор *Е. Самойлова*
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *И. Ковалева*
Корректор *М. Фирстова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74; 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: **sale@eksmo.com.ua**

Подписано в печать 16.05.2005.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 50,4. Уч.-изд. л. 54,4.
Тираж 5000 экз. Заказ № 274.

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства
на ОАО "Тверской полиграфический комбинат"
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон:(0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru





Олег Наметкин, ставший жертвой терроризма и собственного добросердечия, за мгновение превратился из здорового молодого парня в беспомощного инвалида, навсегда прикованного к постели. Однако в качестве компенсации за мучения он приобрел удивительный дар: теперь его душа может, покидая на время бренную оболочку, путешествовать по ментальному и временному пространству. Но игры со Временем очень опасны: одна из вылазок «душеходца» Наметкина в глубокое прошлое заканчивается катастрофическими последствиями для всего человечества...

ISBN 5-699-12386-5



ЮРИЙ БРАЙДЕР
НИКОЛАЙ ЧАДОВИЧ



Спасем человечество в предельно-сжатые сроки!

ОХОТА НА МИНОТАВРА